

ЛОНДОН

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ. РАССКАЗЫ

Любовь к жизни. Рассказы

Джек Лондон

Аннотация
Джек Лондон. Любовь к жизни. Рассказы
Сын волка
- Белое молчание
- Сын волка
- На сороковой миле
- В далекой стране
- За здоровье того, кто в пути
- Право священнослужителя
- Мудрость снежной тропы
- Жена короля
- Северная одиссея

Бог его отцов
- Бог его отцов
- Великий вопрос
- То, чего никогда не забыть...
- Сивашка
- Человек со шрамом
- Джан нераскаявшийся
- Сила женщины
- Там, где расходятся дороги
- Дочь авроры

На конце радуги
Презрение женщины
Дети мороза
В дебрях севера
Закон жизни
Нам-Бок – Лжец
Заклинатель духов
Жители солнечной страны
Болезнь покинутого вождя
Киш, сын киша
Смерть лигуна
Красавица Ли-Ван
Лига стариков
Вера в человека
Осколок третичной эпохи
Гиперборейский напиток
Мужская верность
Золотое дно
Тысяча дюжин
Замужество Лит-Лит
Батар
История Джис-Ук
Любовь к жизни
Любовь к жизни
Бурый волк
Встреча в хижине

Путь белого человека
История киша
Неожиданное
Путь ложных солнц
Трус Негор
Потерянный лик
Потерянный лик
Поручение
Развести костер
Пятно
Золотой луч
Исчезновение Маркуса О'Брайена
Остроумие Порпортука
Смок Беллью
Вкус мяса
Мясо
За золотом на ручей индианки
Малыш видит сны
Человек на другом берегу
Гонки
Смок и малыш
Маленький Карсон
Как вешали Калтуса Джорджа
Ошибка Господа Бога
Яичный переполох
Поселок Тру-ля-ля

Тайна женской души

Джек Лондон. 1876 – 1916

Аннотация

Любовь к жизни – то, что отличает творчество Джека Лондона, особенно его «Северные рассказы». В сборник «Любовь к жизни» вошло полное собрание сочинений писателя, посвященных северной теме. Каждый рассказ – история о преодолении: себя, условий, природы, собственной натуры. Книга дополнена иллюстрированным информационным блоком об авторе, его творчестве и жизненном пути.

Джек Лондон
Любовь к жизни. Рассказы

Сопроводительная статья подготовлена А. Шевченко

© Облонская Р., перевод на русский язык. Наследник, 2021
© Нора Галь, перевод стихотворений. Наследники, 2021
© Гурова И., перевод на русский язык. Наследник, 2021
© Чуковский Д.Д, перевод на русский язык, 2021
© Чуковский Н.К., перевод на русский язык. Наследники, 2021
© Шевченко А.С., сопроводительная статья, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2021

* * *

Сын волка

Белое молчание

— Кармен не протянет, пожалуй, и пары дней. — Мэйсон выплюнул ледышку и с сожалением посмотрел на собаку. Потом снова взял ее лапу в рот, продолжая обкусывать намерзший меж пальцами лед.

— Никогда, знаешь, я не видал, чтобы собака с благородным именем была на что-нибудь годна!.. — сказал он, кончая это занятие и отбрасывая животное в сторону. — Они все какие-то чахлые и дохнут от слишком развитого чувства ответственности. Разве заболевают собаки с простенькими именами, вроде Кассияр, Сиваш или Хёски? Вот посмотри на Шукума, — он…

Тррах! Скелетообразный зверь сделал страшный прыжок, и его белые зубы промелькнули у самой глотки Мэйсона.

— А-а, чтоб тебя… — Затрещина по уху, удар кнута — и животное уже лежало в снегу, слабо взвизгивая, а желтая пена бежала у него изо рта. — Так вот я говорю: Шукум, сам-то он как будто еле волочит ноги, а вот увидишь, он съест эту Кармен. Не пройдет и недели, как съест.

— А у меня предложение как раз обратное, —

отвечал Мельмут Кид, поворачивая замерзший хлеб, поставленный к огню. — Давайте-ка съедим лучше Шукума, пока он еще чего-нибудь не предпринял. Что ты скажешь на это, Руфь?

Индеанка поставила кофе на обломок льда и перевела глаза с Мельмута Кида на мужа и потом на собак. Она не сказала ничего. Все это были чересчур явные трюизмы[1], и говорить не стоило. Впереди двести миль непрерывного пути с жалким шестидневным запасом для них самих, а для собак — ничего. А другого выхода нет. Двое мужчин и женщина сгрудились у огня и принялись за еду. Собаки лежали в упряжке — это была дневная передышка — и с жадностью следили за каждым проглатываемым куском.

— Сегодня последний завтрак, больше не будет, — сказал Мельмут Кид. — И я вам скажу, держите ухо востро с собаками, они становятся подозрительными. Что им стоит, в самом деле, при удобном случае перервать кому-нибудь глотку?

— А я был когда-то председателем в Эйварее и преподавал в воскресной школе!.. — Выпалив это, Мэйсон погрузился в задумчивое созерцание

---

[1] Сноски: 1

Трюизм — очевидная, всем известная истина.

своих дымящихся мокасин и очнулся только тогда, когда Руфь поставила перед ним кружку чая. — Вот хорошо, что у нас еще есть кирпичный чай! А я ведь видел, как он растет, там, в Теннесси[2]. Что бы я дал сейчас за горячий кусок пирога! Не беда, Руфь: больше ты голодать не будешь. И мокасин носить тоже не будешь.

Женщина просияла при этих словах, и в глазах ее заструилась и поплыла большая любовь к белому господину — первому белому человеку, какого она знала, и первому человеку вообще, который относился к ней — женщине — несколько лучше, чем к вьючному животному.

— Да, Руфь, — продолжал ее муж, переходя на тот невообразимый жаргон, на котором они только и могли объясняться между собою. — Погоди только, пока мы это все обделаем! Мы отправимся тогда По Ту Сторону. Мы возьмем лодку Белого Человека и поедем на Большую Соленую Воду. Да, скверная вода, тяжелая вода — целые горы, — вверх и вниз, вверх и вниз — все время. И такая большущая, и такая длинная... Очень далеко. Ты десять раз ляжешь спать, и двадцать раз ляжешь спать, и сорок раз ляжешь спать (для наглядности

---

[2] Сноски: 2

Теннесси — юго-восточный штат центральной полосы США.

он подсчитывал по пальцам). И все время вода, скверная вода. А потом мы приезжаем в большую деревню. Народу тьма — вот как москитов в прошлое лето. А вигвамы… о, какие высокие вигвамы — десять елок, двадцать елок… Ха-йу?

Он беспомощно остановился, бросив умоляющий взгляд на Мельмута Кида. Потом, на языке знаков, добросовестно подытожил двадцать елок — точка в точку. Мельмут Кид улыбался немного насмешливо, а у Руфи глаза стали совсем широкие от изумления и удовольствия. Ей показалось даже, что он шутит, и такая снисходительность особенно радовала ее бедное женское сердце.

— А потом ты влезаешь — ну в коробку — и поехала! — Для иллюстрации он подбросил кверху свою пустую кружку и, ловко поймав ее, продолжал: — Пфф! Приехала вниз! О, великие ученые люди! Ты едешь в Форт-Юкон, я еду в Северный город — двадцать пять ночей и длинный шнурок между нами — все время шнурок. Я беру шнурок и говорю: «Алло, Руфь! Как вы там поживаете?», а ты говоришь: «Это мой милый муж?» А я говорю: «Да». А ты говоришь: «Не могу испечь хлеба, соды нет». А я говорю: «Посмотри-ка в шкафчике, под мукой». А потом — «до свиданья». Ты смотришь

в шкафчик и находишь массу соды. И все время ты — в Форт-Юконе, я — в Северном городе!

Руфь так непосредственно проявила свое восхищение этой волшебной историей, что оба мужчины расхохотались. Собачий рев сразу обрезал все чудеса По Ту Сторону, и, пока удалось разнять визжащих и рычащих псов, женщина снарядила сани, и все было готово к отъезду.

— Пшли! Черти! Хи-и! Пшли же! — Мэйсон заработал кнутом и, когда собаки налегли в упряжку, сдвинул сани, подпирая их шестом. Руфь последовала со второй упряжкой, оставляя с последней Мельмута Кида, который помог ей сдвинуться. Сильный и грубый, способный свалить быка ударом кулака, Мельмут Кид не мог привыкнуть бить измученных собак и всячески старался ободрять их, что погонщики делают весьма редко. Он даже чуть не заплакал…

— Ну-ну! Пойдем, пойдем, бедные вы, колченогие бестии! — бормотал он после нескольких неудачных попыток самому сдвинуть сани. И в конце концов терпение его было вознаграждено, и с кряхтеньем и оханьем они торопились догонять товарищей.

Разговоров больше не было: напряженная работа не допускала такой роскоши. Ибо из всех

смертельно тяжелых работ северные переезды — самая тяжелая. Счастлив тот, кто может проделать свой дневной путь по наезженной дороге, хотя бы и ценой молчания!

Ибо из всех изнуряющих работ самая тяжелая — пробивать след по снегу. На каждом шагу тяжелые плетеные лыжи проваливаются так, что снег приходится на уровне колен. Теперь вверх, совершенно перпендикулярно вверх, так как уклонение на один дюйм в сторону грозит целой катастрофой: лыжа должна быть поднята до самой поверхности, ни за что не зацепившись. Теперь вперед, то есть вниз, и другая нога с осторожностью поднимается перпендикулярно на расстоянии полуярда[3]. Всякий, кто в первый раз пробует такой способ передвижения — если ему даже посчастливится благополучно вынести из опасности лыжи и не растянуться самому при неверном шаге, — через какую-нибудь сотню ярдов совершенно выбьется из сил. И всякий, кто вынесет целый дневной переезд наравне с собаками, залезает на ночь в свой меховой мешок столь довольный собой и гордый, что и словами не рассказать. А тот, кто может сделать переезд

---

[3] Сноски: 3
Ярд = 3 фута = 0,9144 м.

в двадцать ночевок, несомненно, достоин зависти богов.

Послеобеденное время тоже прошло с тою серьезностью и почти жутью в душе, какая рождается в Белом Молчании, — безмолвные путники тянули свою лямку. У природы много различных способов убедить человека в его смертности и ничтожестве — безостановочное движение моря, бешеная сила бури, толчки землетрясений, долгие перекаты небесной артиллерии, но самым поразительным — поражающим до отупения — является воздействие Белого Молчания. Всякое движение остановилось, небо безоблачно и точно вылито из свинца; малейший шепот кажется святотатством, и человек становится робким и пугается звука собственного голоса. Он — единственный знак жизни среди призрачной пустыни этого мертвого мира, и он пугается своей дерзости и чувствует себя несчастным червяком — ничем больше.

Так тянулся день. В одном месте река делала крутую петлю, и Мэйсон захотел для сокращения пути пересечь перешеек. Но собаки не могли взять высокий берег. Один раз, другой — и, хотя Руфь и Мельмут Кид подпирали сани, собаки не брали. Тогда налегли из последних сил. Не-

счастные звери, ослабевшие от голода, старались как могли. Еще, еще — и сани вскарабкались по крутому подъему. Но передняя собака забрала слишком вправо и запутала в веревки лыжи Мэйсона. Результат был самый плачевный: Мэйсон был сбит с ног, одна из собак упала, и сани поползли вниз, таща все за собою.

Тррр! — бешено заходил длинный кнут по спинам собак, полоснув ту, которая упала.

— Нельзя, Мэйсон! — вмешался Мельмут Кид. — Несчастные бестии и так едва волочат ноги. Подожди, я припрягу своих.

Услышав последние слова, Мэйсон удержал на мгновение кнут, но потом пустил еще раз его змеиные кольца по телу неудачницы. Кармен — это была Кармен — жалобно взвыла, зарылась на мгновение в снег, а потом упала на бок, вытянув ноги.

Это был трагический момент: околевающая собака и неминуемая ссора между двумя товарищами. Руфь переводила умоляющий взгляд с одного на другого. Но Мельмут Кид сдержал себя, хотя глаза его явно выражали неодобрение, и, нагнувшись над собакой, перерезал веревки. Ни слова не было сказано. Пришлось впрягать двойную упряжку в каждые из саней, и пре-

пятствие осталось позади. Сани тронулись, и околевающая собака тащилась позади всех. Пока животное может передвигать ноги, его не пристреливают. Это последняя милость — тащиться вместе со своими, сколько хватит сил, в надежде на кусок мяса, если только людям посчастливится убить оленя.

Уже раскаиваясь в своем поступке, но слишком упрямый, чтобы признаться в этом, Мэйсон шел впереди каравана, нимало не подозревая, что новая опасность висела над его головою. Шагах в пятидесяти от их дороги возвышалась могучая ель. Целые столетия она стояла здесь, и целые столетия судьба уготавливала ей этот конец. Быть может, готовила она его также и для Мэйсона.

Он остановился, чтобы подтянуть развязавшийся ремень сапога. Сани стали, и собаки, едва дыша, легли в снег. Тишина была жуткая. Ни малейшее дыхание не шевелило убранного инеем леса. Холод и молчание иной жизни, иных пространств убили душу и сомкнули уста испуганной природы. В воздухе задрожал вздох — они даже не услышали его, а скорее ощутили, как предчувствие движения в застывшей пустоте. И гигантское дерево, сломленное тяжестью снега и своих бесконечных лет, в последний раз сыгра-

ло свою роль в трагедии жизни. Человек услышал предостерегающий хруст и хотел отскочить, но было уже поздно — удар пришелся ему по плечу.

Внезапная опасность, близкая смерть — как часто Мельмут Кид стоял с ними лицом к лицу! Иглы ели еще не перестали дрожать, как он уже отдал свои короткие приказания и схватился за дело. Голос индианки тоже не дрогнул в праздных стонах и жалобах, что непременно случилось бы с большинством ее белых сестер. По его приказу она бросилась всей тяжестью своего тела на сымпровизированный[4] рычаг, стараясь уменьшить тяжесть дерева и прислушиваясь к стонам мужа, в то время как Мельмут Кид атаковал дерево топором. Сталь как-то весело звенела, въедаясь в замерзший ствол, и каждый удар сопровождался прерывистым вздохом работающего — «Ху! Ху!».

Наконец Киду удалось освободить из снега то жалкое нечто, что было еще недавно человеком. Но еще страшнее страданий его товарища была тупая мука на лице женщины, ее взгляд, взгляд ничего не видящий, полный надежды и безнадежного вопроса. Немного было сказано. Все, кто

---

[4] Сноски: 4
Сделанный наскоро.

с севера, с детства учатся понимать тщету слов и безмерную ценность действий. При температуре в шестьдесят пять ниже нуля человек не может пролежать долго в снегу и остаться в живых. Поэтому сани разгрузили, и несчастный, завернутый в меха, был положен на кучу ветвей. Перед ним развели костер — из того же дерева, которое погубило его. Позади лежащего и отчасти над ним был устроен отражающий экран из брезента, он собирал лучи тепла и направлял их на больного — штука, какую знают все изучавшие физику на деле.

Люди, которые делят свое ложе со смертью, хорошо знают, когда прозвучит призыв. Мэйсон был страшно изувечен. Это было ясно из самого поверхностного осмотра. Его правая рука, нога, а также и спина были переломаны, и все члены были парализованы; не менее тяжки были и внутренние повреждения. Только по стонам — редким и тихим — можно было заключить, что он еще жив.

Надежды не было. И нечего было делать. Жестокая ночь длилась — хорошая доза безнадежного стоицизма[5] индейской расы — для Руфи, а для

[5] Сноски: 5

Стоицизм (стоики — философы Древней Греции и Рима) в общепринятом смысле — твердость, стойкость в несчастьях.

Мельмута Кида — новые глубокие борозды по бронзовому лицу. В конце концов, Мэйсон страдал меньше всех: он уносился в Восточный Теннесси, в Великие Дымящиеся Горы, вновь переживая свое детство и юность. И самым волнующим были обрывки песен давно забытого родного юга, — когда он бредил о плавучих западнях, об охоте на выдру, о набегах за арбузами.

Для Руфи это был непонятный язык, но Кид понимал и переживал все — так переживал, как только может переживать человек, на целые годы выброшенный из всего, что называется цивилизацией.

Утро привело в сознание умирающего, и Мельмут Кид наклонился к нему совсем близко, чтобы уловить его шепот.

— Помнишь ты, как мы собирались в Танана, четыре года будет, когда тронется лед… Я не очень-то думал о ней тогда. А ведь она была больше для меня, чем хорошенькая, и был во всем этом… да, такой привкус восхищения, что ли. Знаешь, я только потом ее раскусил. Она была мне хорошей женой, Кид. Всегда плечо к плечу в трудную минуту. А уж что до переездов, сам знаешь, такую другую не найдешь. Ты помнишь, как она стреляла там, на Оленьих Порогах, чтобы

дать время тебе и мне спуститься со скалы? Пули свистели по воде как град, помнишь? А когда мы все голодали в Нуклукието? А когда был ледоход, а она бежала через реку за новостями? Да, она была мне хорошей женой, лучше, чем та, другая… Никогда не говорил тебе, да? Один-то раз пробовал говорить, помнишь, в Штатах? Потому же я и сюда попал. Мы выросли вместе. Я уехал, чтобы был предлог для развода. Она так и сделала.

Но все это не касается Руфи. Я надеялся все ликвидировать к будущему году и уехать на родину вместе с ней — но теперь поздно. Не отсылай ее, Кид, к ее племени. Для женщины чертовски тяжело возвращаться к своим. Ты подумай: почти четыре года на наших бобах и на нашем сале, и муке, и сушеных фруктах — и вернуться на рыбу и на карибу[6]. Ей будет очень тяжело: узнать нашу жизнь и наше обхождение, увидеть, что лучше, чем у своих, и в конце концов вернуться к ним. Позаботься о ней, Кид. И почему бы тебе… Впрочем, ты ведь их боишься всегда… Да и ты не говорил мне ни разу, почему ты-то попал сюда. Будь с ней подобрее, Кид, и отошли ее в Штаты, как только сможешь поскорее. Только устрой

---

[6] Сноски: 6
Канадский северный олень.

все так, чтобы она могла вернуться к своим, если захочет, если у ней, знаешь ли, вдруг сделается тоска по родине.

И насчет малыша… Он нас очень сроднил, Кид. Надеюсь только, что мальчик. Ты подумай — моя кровь! Его нельзя оставить расти здесь. А если девочка? Почему бы и нет… Продай мои меха; за них получишь, на худой конец, пять тысяч, и столько же еще мне должна Компания. Соедини мои деньги с твоими и пусти все вместе в оборот. Мне кажется, что спрос повышается. И ты позаботься, чтобы он получил хорошее образование. И главное, Кид, это прежде всего, пусть он не возвращается сюда. Эта страна не для белых людей.

Я — человек конченый, Кид. Три-четыре ночи самое большее. Ты говоришь, что не хочешь уезжать. Но вы должны ехать! Ты помни, ведь это моя жена, мой мальчик… Господи, только бы мальчик! Ты не можешь оставаться со мной. Я требую, я, умирающий, требую, чтобы ты ехал.

— Дай мне три дня, — просил Мельмут Кид. — Тебе, может быть, станет лучше; все как-нибудь переменится…

— Нет.

— Только три дня.

— Вы должны ехать.

— Два дня.

— Кид, ради моей жены и ради моего ребенка. Ты не должен просить.

— Один день.

— Нет, нет! Я требую…

— Только один день. Можем же мы пожертвовать одним днем. Мы как-нибудь сэкономим на провианте. А я, может быть, набреду на оленя.

— Нет, а впрочем, хорошо: один день пусть, но ни минутки дольше. И еще, Кид, не оставляй — ну, не оставляй меня одного. Раз — и готово. Один раз дотронуться до курка. Ты понимаешь? Подумай! Подумай только! Плоть от моей плоти — а я его никогда не увижу. Пошли сюда Руфь. Я хочу попрощаться с ней и сказать, что она должна думать о мальчике и не ждать, пока я тут буду умирать. А то она, пожалуй, откажется ехать с тобой, если я не скажу. Прощай, старина, прощай. Кид, еще. Вот что, поройся около спуска. Я намыл один раз целых сорок центов с лопаты. И еще, Кид!..

Кид наклонился ниже, чтобы уловить последние, едва слышные слова. Умирающий пересилил свою гордость.

— Мне очень жаль, зачем… Ну ты знаешь — Кармен.

Оставив женщину, тихо плачущую около мужа, Кид надел свою парку и лыжи, вскинул ружье на плечи и пошел в лес. Он не был новичком в суровых страданиях Севера, но ни разу еще не приходилось ему решать такую трудную задачу, как сейчас. Говоря отвлеченно, это была простая математическая задача — возможность спасти три жизни ценою одной, уже обреченной. Но здесь он остановился. Целых пять лет, плечо к плечу, по рекам и дорогам, в полях и рудниках, встречая ежеминутно смерть, опасность и голод, ткали они свою дружбу. И так крепка была эта связь, что часто он замечал, наблюдая за собою, что ревнует товарища к Руфи с того времени, как она встала между ними. И теперь эта дружба будет убита его собственными руками.

И он молился об олене, об одном-единственном олене, но вся дичь точно бежала из этой стороны, и, когда наступила ночь, измученный человек притащился к своим с пустыми руками и истерзанным сердцем. Рычание собак и резкие вскрики Руфи заставили его бежать скорее.

Выскочив из леса, он увидел женщину, размахивающую топором посреди бешено ревущей стаи. Собаки преступили железные законы своих повелителей и атаковали провиант. С ружьем на-

перевес он бросился в середину стаи, и извечная жестокая драма борьбы за существование была разыграна со всей свирепостью, соответствующей окружающей первобытной обстановке. Ружье и топор поднимались и опускались — почти всегда попадая в цель — с монотонной правильностью; гибкие тела зверей взметывались в воздух с дико сверкающими глазами и оскаленными зубами; человек и животное боролись за преобладание, боролись до последнего предела возможности. Наконец избитые животные уползли за линию света, отбрасываемого костром, зализывая свои раны и испуская стоны отчаяния в ночное звездное небо.

Весь запас сушеной рыбы был уничтожен, и путникам оставалось каких-нибудь пять фунтов муки на двести верст пути. Руфь вернулась к мужу, а Мельмут Кид освежевал еще не остывшее тело одной из собак, череп которой был раздроблен топором. Куски мяса были тщательно отобраны и спрятаны, а шкура и внутренности были отданы собакам.

Утро принесло с собою новое беспокойство. Собаки набросились друг на друга. Кармен, которая все еще цеплялась за свое жалкое существование, была разорвана стаей. Кнут безостановочно

колотил по их спинам. Они визжали и выли под ударами, но отказывались сдвинуться, пока не были уничтожены последние жалкие клочки: кости, шкура, шерсть — все исчезло.

Мельмут Кид принялся за дело, прислушиваясь к Мэйсону, который уже опять был у себя в Теннесси, разговаривал, бешено спорил и умолял давно забытых друзей и братьев.

Мельмут решил воспользоваться близостью двух молодых елок. С помощью Руфи он сделал нечто вроде мешка, какие делают иногда охотники, чтобы сохранить мясо от волков и собак. Одну за другой пригнул к земле и друг к другу верхушки молодых елок и связал их ремнями из оленьей шкуры. Потом он усмирил собак и впряг их в двое саней; на них он погрузил все, что у них было, за исключением мехов, в какие был завернут Мэйсон. Кид замотал и обвязал эти меха плотнее вокруг тела умирающего, прикрепив за два конца к верхушкам елок. Одного удара охотничьего ножа было бы достаточно, чтобы отпустить вершины и бросить тело высоко в воздух.

Руфь выслушала последние приказания мужа и не сопротивлялась. Бедняжка слишком хорошо была обучена покорности. С детства она привыкла склоняться и видела, как и все другие

женщины склонялись перед господами земли, и ей казалось законом природы, чтобы женщина не сопротивлялась. Кид разрешил ей одну вспышку горя, когда она целовала последний раз мужа — в ее племени так не делали, потом отвел ее к передней запряжке и помог ей надеть лыжи. Тупо, автоматически она взяла кнут и веревку и «подняла» собак в дорогу. А Кид вернулся к Мэйсону, который впал в коматозное[7] состояние; и долго еще после того, как она скрылась из вида, Мельмут Кид, сгорбившись у огня, ждал, надеялся, просил, чтобы смерть сама пришла к его товарищу.

Невесело оставаться одному с тяжелыми мыслями в Белом Молчании. Темная тишина ночи — добрая тишина. Она точно прячет, защищает человека, касается до него тысячами неосязаемых прикосновений. Но яркое Белое Молчание, прозрачное и холодное, под тяжестью свинцового неба — оно безжалостно.

Прошел час. Два часа. Но человек не умирал. В полдень солнце, не поднимаясь над южным горизонтом, разбросало вспышки огня по небу и так же быстро стерло их опять. Мельмут Кид

---

[7] Сноски: 7
Кома — болезненная спячка, оцепенение.

поднялся, подошел к товарищу и посмотрел на него. Белое Молчание насмешливо следило за ним, и ему стало невыносимо страшно. Раздался короткий выстрел, и Мэйсон взлетел в свою воздушную гробницу, а Мельмут Кид пустил собак бешеным галопом.

Сын волка

Мужчина редко умеет ценить близких ему женщин — до тех пор, по крайней мере, пока не потеряет их. До его сознания совершенно не доходит тонкая атмосфера, излучаемая женщиной, пока он сам купается в ней; но стоит ей уйти — раскрывается и растет в его жизни пустота, и им овладевает странный голод по чему-то неопределенному, чего он не умеет назвать словами. Если друзья, окружающие его, так же неопытны, как и он сам, они будут сомнительно качать головами и предложат ему серьезно лечиться. Но голод будет все расти и становиться острее; мужчина потеряет всякий интерес к событиям ежедневной жизни и станет раздражительным. И в один из дней, когда эта пустота станет совершенно невыносимой, на него снизойдет откровение.

Когда нечто подобное происходит на Юконе[8], мужчина достает себе лодку — летом — или запрягает собак в сани — зимой — и едет на Юг. И через несколько месяцев, если он только при-

---

[8] Сноски: 8

Юкон — главная река Аляски. Берет начало в прибрежных скалах Британской Колумбии, впадает в залив Нортон Берингова моря.

вязан так или иначе к Северу, он возвращается назад с женой, которая отныне будет делить его привязанность к Северу и его труд. Все это говорит, конечно, прежде всего о врожденном мужском эгоизме. И одновременно оно может служить введением в описание приключений Скрэфа Маккензи, случившихся с ним очень давно, раньше, чем страна Юкона была запружена «че-ча-квас'ами», еще тогда, когда Клондайк был известен только своими рыбосушильнями.

На Маккензи отразилось его пограничное происхождение и жизнь пограничника. На лице его отпечаталось двадцать пять лет непрестанной борьбы с природой, из которых последние два года — и самые жестокие — он провел в поисках золота за пределами Полярного круга. Когда описанная выше болезнь захватила его, он нисколько не удивился, так как был человек практичный и много раз видел людей в таком же положении. Но он подавил все признаки болезни и только стал еще упорнее работать. Все лето он боролся с москитами и мок на берегу Стюарт-Ривер, сплавляя лес вниз по Юкону до Сороковой Мили, и в конце концов построил себе такую комфортабельную хижину, какая только может быть построена в этой стране. Она выглядела на-

столько привлекательно и уютно, что несколько человек навязывались к нему в компаньоны, предлагая поселиться вместе. Но он наотрез отказывался, и притом довольно грубо, что вполне соответствовало его сильному и решительному характеру, а сам, однако, закупил через почтовую станцию двойной запас провианта.

Скрэф Маккензи был человек практичный, как это было указано выше. Если он чего-нибудь хотел, он обыкновенно добивался своего, но при этом не отступал от ранее намеченного пути, лишь настолько, насколько это было необходимо. Кровному сыну тяжелой нужды и тяжелого труда совсем не по душе было бесконечное путешествие в шестьсот миль по льду, две тысячи миль через океан да еще около тысячи миль до родных мест — все это из-за какой-то одной жены. Жизнь слишком коротка для таких прогулок. Он собрал собак, погрузил в сани довольно странную поклажу и пустился прямиком между двумя водоразделами, восточные холмы которых подступали к Танане.

Он был смелым путешественником, а его собаки-волкодавы выносили на худшей пище более тяжелую работу и более длинные перегоны, чем всякая другая запряжка в Юконе. Через три

недели он добрался до племени стиксов Верхней Тананы. Те очень удивились его дерзости. За ними установилась плохая слава; говорили, что они убивают белых людей из-за такой безделицы, как хороший топор или старое ружье. А он пришел к ним безоружный, и во всем его поведении была очаровательная смесь заискивающей скромности, фамильярности, холодной выдержки и наглости. Нужно хорошо набить руку и глубоко изучить душу дикаря, чтобы с успехом пускать в ход столь разнообразное оружие; но он мастер своего дела и знал, когда уступить, а когда — наоборот — торговаться до исступления.

Прежде всего он отправился на поклон к вождю племени, Тлинг-Теннеху, и подарил ему пару фунтов черного чая и табака, чем и завоевал его несомненную благосклонность. После этого он вмешался в толпу мужчин и девушек и объявил, что вечером дает потла́ч. Утоптали овальную площадку в сто шагов в длину и двадцать пять в ширину. В середине был разложен большой костер, а по обеим его сторонам набросали кучи сосновых веток. Было устроено нечто вроде трибуны, и человек сто пели песни племени в честь прибывшего гостя.

Последние два года научили Маккензи сотне

слов на их наречии, и он в совершенстве перенял их глубокие гортанные гласные, их языковые конструкции, близкие японским, все их величания, приставки и прочие особенности их языка. Он произнес речь в их вкусе, удовлетворяя их врожденную склонность к поэзии потоками туманного красноречия и образными оборотами. Ему отвечали в том же духе Тлинг-Тиннех и главный шаман. Потом он раздарил всякие мелочи мужчинам, принял участие в их пении и показал себя настоящим чемпионом в игре в пятьдесят две палки.

А они курили его табак и были довольны. Но молодые держали себя несколько вызывающе — петушились, поддерживаемые явными намеками беззубых матрон и хихиканьем девушек. Им пришлось столкнуться на своем веку всего с несколькими белыми — Сыновьями Волка, но эти немногие научили их очень странным вещам.

Маккензи, конечно, отметил этот факт, несмотря на всю свою кажущуюся беспечность. Если сказать правду, то, лежа поздно ночью в своем спальном мешке, он снова и снова обдумывал все это — обдумывал серьезно — и выкурил не одну трубку, пока не составил план кампании. Из де-

вушек ему понравилась только одна — Заринска, дочь самого вождя. По фигуре, чертам лица, росту и объему она несколько ближе других подходила к идеалу красоты белого человека и была своего рода аномалией среди своих соплеменниц. Он возьмет ее, сделает своей женой и назовет ее — ах, он непременно назовет ее Гертрудой. Решив это окончательно, он повернулся на другой бок и сейчас же заснул, как настоящий сын своей всепобеждающей расы.

Это было сложное дело и тонкая игра; но Маккензи вел ее чрезвычайно хитро, с неожиданностью, которая озадачивала стиксов. Он позаботился прежде всего внушить всем мужчинам племени, что он очень меткий стрелок и бесстрашный охотник, и вся деревня гремела от рукоплесканий, когда он подстрелил оленя на расстоянии шестисот ярдов. Однажды, поздно вечером, он отправился в хижину вождя Тлинг-Тиннеха, сделанную из шкур карибу, очень много и громко говорил и раздавал табак направо и налево. Он, конечно, не преминул оказывать всяческое внимание шаману, ибо достаточно оценил его влияние и очень хотел сделать его своим союзником. Но это высокопоставленное лицо оказалось весьма надменным, решительно

отказалось умилостивиться какими-либо жертвоприношениями, и с ним, видимо, приходилось считаться как с несомненным врагом в будущем.

Хотя случая подойти ближе к Заринске и не представилось, Маккензи бросил ей несколько взглядов, красноречиво и нежно предупреждавших ее о его намерениях. И она, конечно, прекрасно поняла их и не без кокетства окружила себя толпою женщин, так что мужчины не могли подойти к ней: это было уже начало победы. Впрочем, он не торопился; помимо всего, он прекрасно знал, что ей все равно ничего не остается, как думать о нем, а несколько дней подобных размышлений могли только помочь ухаживанию.

В конце концов, однажды ночью, когда он решил, что пришло время, он быстро покинул прокопченное дымом жилище вождя и вошел в соседнюю хижину. Заринска, как и всегда, сидела посреди женщин и девушек, и все они шили мокасины и спальные мешки. При его появлении все засмеялись и громко зазвучала веселая болтовня Зарински, обращенная к нему. Но потом вышло так, что все эти матроны и девицы были самым бесцеремонным образом выставлены за дверь одна за другой, прямо в снег, где им не оста-

валось делать ничего другого, как только спешно разнести по деревне интересную новость.

Его намерения были весьма красноречиво изложены на ее языке — его языка она не знала, — и по прошествии двух часов он поднялся.

— Так что Заринска пойдет в хижину белого человека, да? Ладно. Теперь я пойду говорить с твоим отцом, потому что он, может быть, думает иначе. И я дам ему много подарков; но пусть он все-таки не требует слишком много. А если он скажет — нет? Ладно. Заринска, значит, все-таки пойдет в хижину белого человека.

Он уже поднял шкуру входной двери, когда тихий возглас девушки заставил его вернуться. Она опустилась перед ним на колени на медвежью шкуру, с лицом, залитым внутренним светом, вечным светом Евы, и застенчиво принялась развязывать его тяжелый пояс. Он смотрел на нее сверху вниз, растерянный, подозрительный, прислушиваясь к малейшему шуму снаружи. Но следующее ее движение рассеяло все его сомнения, и он улыбнулся от удовольствия. Она вынула из мешка с шитьем ножны из оленьей шкуры, красиво разукрашенные яркой фантастической вышивкой, потом взяла его большой охотничий нож, посмотрела почтительно на его острое лез-

вие, потрогала его пальцем и всунула в новые ножны. Потом она повесила ножны на пояс.

Честное слово, это была сцена из Средневековья — прекрасная дама и ее рыцарь. Маккензи поднял ее высоко на воздух, прижимая свои усы к ее красным губам: для нее это была чужеземная ласка Волка, встреча каменного века со стальным.

В воздухе стоял невообразимый гам, когда Маккензи с толстым узлом под мышкой широко распахнул дверь хижины Тлинг-Тиннеха. Дети бежали по улице, стаскивая сухие сучья для потлача, крикливая женская болтовня удвоила свою интенсивность, молодые люди совещались мрачными группами, а из хижины шамана доносились зловещие звуки заклинания.

Вождь был один со своей подслеповатой женой, но одного взгляда было достаточно для Маккензи, чтобы убедиться, что цель его прихода уже известна вождю. Поэтому Маккензи начал прямо с дела, выставляя напоказ расшитые ножны как предупреждение о состоявшемся уже соглашении.

— О, Тлинг-Тиннех, могучий вождь племени стиксов и всей земли Танана, повелитель лосося, и волка, и оленя, и карибу! Белый человек стоит

перед тобою с великим предложением. Много лун была пуста его хижина, и много ночей провел он в одиночестве. И сердце его изглодало себя в молчании, и выросла в нем тоска по женщине. Белый человек хочет, чтобы женщина сидела рядом с ним в хижине и встречала бы его, вернувшегося с охоты, ярким огнем и вкусным ужином. Странные вещи слышались ему в тишине: он слышал топанье маленьких ножек в детских мокасинах и звуки детских голосов. И однажды ночью снизошло к нему видение. И он пошел к Ворону, твоему отцу, великому Ворону, отцу племени стиксов. И Ворон говорил с одиноким белым человеком и сказал ему так: «Подвяжи твои мокасины и надень твои лыжи, и положи в сани еды на много ночей, и положи в них еще красивые подарки для великого вождя Тлинг-Тиннеха. Потому что ты должен теперь повернуть лицо твое в ту сторону, где весною солнце опускается за край земли, и ехать в страну этого великого вождя. Ты привезешь с собою богатые подарки, и Тлинг-Тиннех — мой сын — примет тебя, как отец. В хижине его есть девушка, в которую я вдохнул дыхание жизни для тебя. Эту девушку ты должен взять себе в жены».

— О, вождь, так говорил великий Ворон. И вот

я кладу мои подарки к твоим ногам; и вот я здесь, чтобы взять твою дочь.

Старик запахнул свою меховую одежду с полным сознанием своего королевского достоинства, но ответил не сразу, так как в эту минуту вбежал мальчик и передал ему требование немедленно явиться на совет старейшин.

— О, белый человек, которого мы прозвали Смертью Оленей и которого зовут еще Волком и Сыном Волка! Мы знаем, что ты происходишь из могущественного племени; мы гордимся таким гостем нашего потлача; но королевской лососи не пристало сходиться с мелкой лососью, или Ворону сходиться с Волком.

— Нет, это не так! — воскликнул Маккензи. — В деревнях Волков я встречал не раз дочерей Ворона — жена Мортимера, и жена Тредгидю, и жена Барнаби, который вернулся после двух ледоходов, и о многих других женщинах я слышал, хотя глаза мои и не видели их.

— Сын, твои слова справедливы; но разве было что хорошего от таких встреч? Это то же, что воде сойтись с песком или снежным хлопьям сойтись с солнцем! А приходилось тебе встречать некоего Мэйсона и его жену? Нет? Он приходил сюда вот уже десять ледоходов тому назад — первый из

всех Волков. И вместе с ним приходил еще могучий человек, стройный и высокий, как молодой тополь; сильный, как дерзколицый медведь. И лицо у него было похоже на полную летнюю луну; его…

— О! — прервал Маккензи, узнав хорошо известную всему Северу фигуру. — Мельмут Кид!

— Он самый могучий человек. Но не встречал ли ты женщину с ними? Она была родной сестрой Зарински.

— Нет, вождь, но я слышал о ней. Мэйсон… Это было далеко, далеко на севере — старая сосна, отяжелевшая от долгих лет, раздавила его жизнь. Но любовь его велика, и у него было много золота. Женщина взяла это золото и взяла своего мальчика, и ехала долго-долго, несчетное число ночей, к северному полуденному солнцу. Она и теперь живет там и не страдает от мороза и снега, и полуночного летнего солнца, и полуденной зимней ночи.

Новый посланец прервал их, принеся от совета категорическое требование явиться немедленно. Когда Маккензи выталкивал его за дверь, он различил неясные тени вокруг костра совета, услышал ритмическое пение низких мужских голосов и понял, что шаман разжигает злобу

народа. Надо было спешить. Маккензи вернулся к вождю и сказал:

— Ну я хочу взять твое дитя! И ты посмотри, посмотри сюда: вот табак, чай, много кружек сахара, теплые одеяла, платки — посмотри, какие плотные и большие. А это, видишь, настоящее ружье, и вот пули к нему, много пуль и много пороха.

— Нет, — возразил старик, видимо борясь с искушением завладеть богатствами, разложенными вокруг него. — Ты слышишь, мой народ собрался. Они не хотят этой свадьбы.

— Ведь ты — вождь.

— Но мои юноши в большом гневе за то, что Волки берут их девушек и им не на ком жениться.

— Послушай, о Тлинг-Тиннех! Раньше чем ночь перейдет в день, Волк направит своих собак к Горам Запада и еще дальше в страну Юкона. И Заринска будет впереди его собак.

— Но ранее того, чем ночь дойдет до своей середины, мои юноши бросят собакам тело Волка, и его кости затеряются в снегу, пока весна не оголит их.

Это была атака и контратака. Бронзовое лицо Маккензи густо вспыхнуло. Он возвысил голос.

Старая женщина, которая до этой минуты восседала равнодушной зрительницей, поползла к двери. Когда он оттащил ее и грубо толкнул на ее сиденье из шкур, он услышал, как пение сразу прекратилось и послышался гвалт многочисленных голосов.

— Еще раз я кричу тебе, о Тлинг-Тиннех! Волк умирает, стиснув зубы, но с ним вместе уснут десять твоих самых сильных воинов, а они нужны тебе, потому что приближается время охоты, а за ним время рыбной ловли. И еще раз говорю тебе — какая польза от моей смерти? Я знаю обычаи твоего народа: твоя доля в моем имуществе будет очень мала. Отдай мне дитя твое — и все это будет твоим. И опять же говорю тебе: придут мои братья, а их много, их земля никогда не бывает слишком заселена: и дочери Ворона принесут детей в жилищах Волков. Мой народ сильнее твоего народа. Так решила судьба. Согласись — и все это богатство будет твоим.

Снаружи заскрипели по снегу мокасины. Маккензи взвел курок ружья и вынул из-за пояса револьвер.

— Согласись, о вождь!

— А мой народ скажет «нет»?

— Согласись, и все это будет твоим! А с твоим

народом я поговорю после.

— Волк хочет так? Хорошо, я беру его подарки, но говорю ему: берегись!

Маккензи пересмотрел еще раз приношения, посмотрел, не заряжено ли ружье, и завершил сделку калейдоскопически пестрым шелковым платком. В хижину вошел шаман с дюжиной молодцов, но он смело растолкал их и вышел на улицу.

— Собирайся! — коротко бросил он Заринске, проходя мимо ее хижины, и стал поспешно запрягать собак. Через несколько минут он уже шел на совет во главе своей запряжки, и женщина была с ним. Он занял место на верхнем конце огня, рядом с вождем. По левую сторону, несколько сзади, он поставил Заринску. Это было место, принадлежащее ей по праву, а кроме того, не худо было обеспечить себя сзади, ибо момент был очень серьезный.

На другом конце многочисленные фигуры сидели на корточках у огня, и голоса их тянули песню давно забытых времен. Это пение со странным обрывающимся ритмом и частыми повторениями не было красиво. «Жуткое» — вот какое определение было наиболее точным. На самом конце, под наблюдением шамана, плясало человек десять

женщин. Он сурово укорял тех из них, которые не умели отдаться всецело экстазу обряда. Почти скрытые тяжелыми массами черных волос, изгибая стан и словно разбитые во всех членах, они медленно раскачивались, и их тела извивались в такт беспрестанно меняющемуся ритму.

Это была дикая сцена: невероятный анахронизм. На юге девятнадцатое столетие заканчивало последние годы своего последнего десятка, здесь царствовал первобытный человек — тень восставшего из гроба доисторического пещерного жителя, забытый обрывок Древнего мира. Желто-бурые собаки — волкодавы — лежали между своими хозяевами, одетыми в звериные шкуры, дрались из-за мест, и отсветы костра отражались в их красных глазах и на оскаленных пенящихся зубах. Лес теснился вокруг толпою неподвижно дремлющих привидений. Белое Молчание, отодвинутое на время в туманную глубину его, казалось, выжидало только минуту, чтобы прорваться в круг людей; звезды танцевали по небу большими скачками, как они делают это всегда в часы Великого Холода; а Духи Полюса тянули через все небо сверкающие одежды своей славы.

Скрэф Маккензи вряд ли ощущал дикое величие происходящего, переводя внимательный взгляд

с одного лица на другое, вдоль ряда меховых фигур. На одно мгновение глаза его остановились на новорожденном ребенке, сосавшем голую грудь матери, — и это при семидесяти с лишним градусах мороза. Он подумал об изнеженных женщинах своей собственной расы и презрительно усмехнулся. И, однако, от тела такой изнеженной женщины произошел и он сам.

Пение и пляска кончились, и шаман стал красноречиво говорить. Ловко пользуясь запутанной и обширной мифологией, он играл на доверчивости своих слушателей. Дело было серьезное. Творческим началом, воплощенным в Вороне и в Вороне, он противопоставлял Маккензи — Волка — как начало воинственное и разрушительное. Борьба этих двух начал протекает не только в духовной сфере, нет, бороться должны люди, каждый за своего тотема[9]. Они — дети Джелкса Ворона, великого бога Прометея[10], принесшего им огонь, а Маккензи — сын Волка, иначе говоря, сын Дьявола. Поэтому тот, кто вносит перемирие в эту вечную борьбу, кто отдает своих дочерей

---

[9] Сноски: 9

Герб клана и название божества рода.

[10] Сноски: 10

Прометей — по греческой мифологии — сын титана Иапета, будто бы похитивший с неба огонь и принесший его людям.

в жены исконному врагу, совершает гнуснейшую измену и величайшее святотатство. И не было такого резкого выражения и такого унизительного сравнения, какого шаман не употребил бы по отношению к Маккензи, изображая его как слугу и посланца сатаны. В продолжение его разглагольствовании из гущи толпы слышалось сдержанное злобное рычание.

— О братья мои, велик Джелкс и всемогущ! Разве не принес он нам огонь, рожденный небом, чтобы мы могли согреться? Разве не он выпустил солнце, луну и звезды из их небесных ям, чтобы дать нам зрение? Не он ли научил нас побеждать духов Голода и Мороза? Но теперь Джелкс прогневался на детей своих, и их осталась всего одна горсть, и он не хочет уже помогать им. Потому что они забыли его, и делают дурные дела, и вступили на дурные пути, и принимают врагов в свои жилища, и сажают их к своему огню. И Ворон скорбит о преступлениях детей своих. Но если они воспрянут и покажут ему, что хотят вернуться, он выйдет из тьмы и поможет им. О братья, сегодня Принесший Огонь шепнул шаману свои повеления, и вот я передаю их вам. Пусть юноши уведут девушек в свои хижины. Пусть они вцепятся в глотку Волка, и пусть бес-

смертной будет их ненависть. И тогда женщины их принесут плод, и они размножатся и станут великим народом. И Ворон выведет племена наших отцов и дедов из страны Севера, и они снова оттеснят Волков и обратят их в пепел прошлогодних костров. И они завладеют всей страной! Вот повеление Джелкса, великого Ворона.

Это обещание пришествия Мессии вызвало бурю восторга в рядах стиксов. Все они вскочили со своих мест. Маккензи высвободил большие пальцы из рукавиц и ждал. Все требовали Лисицу и не хотели успокоиться, пока один из юношей не выступил вперед и не начал говорить.

— Братья! Мудро говорил шаман. Волки уводят наших женщин, и наши мужчины бездетны. Нас осталась какая-нибудь горсть. Волки отбирают наши теплые меха и дают взамен злых духов, запертых в бутылки, и одежды, сделанные не из шкур бобра или рыси, но из травы. И одежды эти не дают тепла, и наши воины умирают от непонятных болезней. Я, Лисица, не имею жены. А почему? Два раза уже девушки, которые нравились мне, уходили в становище Волков. Вот и теперь я собрал шкуры бобров и оленей и карибу и хотел заслужить милость Тлинг-Тиннеха, чтобы жениться на дочери его, Заринске. И вот вы

видите — лыжи надеты на ее ноги, чтобы идти впереди собак Волка. Я говорю не только за себя. Чего хотел я, того хотел и Медведь. Он тоже хотел быть отцом ее детей, и много шкур собрал он для этого. Я говорю за всех юношей, у которых нет жен. Волки жадны. Они всегда хотят получить лучшие куски. Во́ронам остаются одни объедки.

— Смотрите, вон Гукла! — вскрикнул он, грубо указывая на одну из женщин, которая была калекой. — Глядите, ее ноги такие же кривые, как бока березовой лодки. Она не может собирать сучья или носить за охотниками их добычу. Что же? Ее выбрали Волки?

— О! О! — кричали слушатели.

— А вот Маира, глаза которой перекошены злым духом. Даже маленькие дети пугаются при виде ее, и я слышал, что даже медведь уступает ей дорогу при встрече. Что же? Ее взяли?

И снова раздался дикий рев одобрения.

— А вон там сидит Пишета. Она не слышит моих слов. Она никогда не слышала крика совы, и голоса своего мужа, и лепета своего ребенка. Она живет в Белом Молчании. Посмотрели ли на нее Волки? Нет! Им нужны лучшие куски — объедки они оставляют нам!

— Братья, не будет этого больше! Никогда

больше Волки не прокрадутся к нашим кострам. Настало время!

Огненный столб северного сияния — пурпурно-красный, зеленый, желтый — поднялся к зениту, соединяя горизонт с горизонтом. Закинув голову и вытянув руки, Лисица указывал на него.

— Смотрите! Это встали души отцов ваших. Великие дела совершатся сегодня ночью!

Он отступил назад, и его место нерешительно занял другой юноша, выталкиваемый вперед товарищами. Он был на целую голову выше их всех, и его широкая грудь, несмотря на сильнейший мороз, была обнажена. Он переминался с ноги на ногу. Слова застревали у него во рту, и ему было, видимо, очень не по себе. На лицо его страшно было смотреть, ибо чуть ли не половина его была когда-то снесена во время схватки. Наконец он ударил себя в грудь сжатым кулаком, послышался глухой звук, как от барабана, и голос его полетел над толпой, как рев океанской пучины.

— Я — Медведь, я — Серебряное Копье и Сын Серебряного Копья. Когда мой голос походил еще на голос девочки, я уже убивал рысь, и оленя, и карибу. Когда он звучал, как голос росомахи[11],

---

[11] Сноски: 11

Росомаха — млекопитающее животное из семейства куньих.

попавшей в западню, я перешел через Северные Горы и убил троих с Белых Берегов; а когда он стал походить на рев Чинуки, я встретил дерзкого медведя и не уступил ему дороги.

Он остановился и выразительно провел рукою по своему обезображенному лицу.

— Я не умею говорить, как Лисица. Язык мой замерз, как река. Я не могу говорить долго. У меня мало слов. Вот Лисица говорит, что великие дела придут сегодня ночью. Ладно! Слова бегут у него с языка, как весенние потоки, но он слишком бережлив на дела. Сегодня ночью я буду бороться с Волком. Я свалю его, и Заринска будет сидеть у моего огня. Медведь сказал.

Несмотря на то что вокруг Маккензи поднялся ад, он не сдвинулся с места. Понимая, насколько бесполезно ружье на таком близком расстоянии, он вынул оба револьвера и приготовился. Он знал, конечно, что в случае массового нападения надежды не было, но, верный своему гордому слову, готов был умереть со стиснутыми зубами. Но Медведь сдержал своих товарищей, отбросив самых дерзких назад ударами своих страшных кулаков. Когда шум немного стих, Маккензи оглянулся на Заринску. Она была изумительно хороша. Наклонившись вперед на лыжах, она

стояла с раскрытыми губами и нервно вздрагивающими ноздрями, как тигрица, готовая к прыжку. Ее большие черные глаза впивались в соплеменников со страхом и с вызовом. Напряжение ее было так велико, что она, казалось, перестала дышать. Одной рукой она судорожно схватилась за грудь, а в другой так же судорожно сжимала плетку и стояла так, словно превращенная в камень. Под его взглядом она пришла в себя. Глубоко вздохнув, она отодвинулась назад, посмотрев на него глазами, в которых было нечто большее, чем любовь.

Тлинг-Тиннех пытался говорить, но его заглушали. Тогда Маккензи выступил вперед. Лисица открыл было рот, чтобы крикнуть что-то, но Маккензи с такой яростью замахнулся на него, что он отскочил назад, подавившись собственным возгласом. Его поражение было встречено шумным смехом и привело его товарищей в несколько более спокойное состояние.

— Братья! Белый человек, которого вы хотите называть Волком, пришел к вам с ласковыми словами. Он не обманщик: он не говорил вам лжи. Он пришел к вам как друг, как тот, кто хочет быть вашим братом. Но ваши юноши говорили по-своему, и время ваших слов прошло. Прежде

всего я говорю вам, что у шамана неправедный язык и что он лживый пророк, и что слова, которые он говорил, шептал ему не тот, кто принес Огонь. Уши шамана закрыты для голоса Ворона, и он сплетал хитрые выдумки и дурачил вас. У него нет никакой силы. Когда, помните, все собаки были убиты и съедены; когда внутренности ваши отяжелели от лохмотьев кожи и мокасин; когда умирали старики, и умирали старухи, и умирали маленькие дети на иссохших грудях матерей; когда вся страна была во мгле и вы погибали, как лососи, на берегу, скажите, когда голод поселился у вас, сумел ли шаман послать удачу вашим охотникам? Наполнил ли он мясом ваши желудки? И еще раз говорю я: нет силы у шамана. Вот! Я плюю ему в лицо!

Хотя все невольно отшатнулись при виде такого святотатства, шума не последовало. Некоторые женщины были сильно напуганы, а мужчин охватило возбуждение как бы в ожидании чуда. Все взгляды были направлены на две центральные фигуры. Шаман, сознавая всю опасность положения и чувствуя, что влияние его колеблется, открыл было рот, чтобы разразиться ругательствами, но отступил перед подавшейся вперед фигурой Маккензи, его поднятыми кулаками

и горящими глазами. Маккензи презрительно усмехнулся и продолжал свою горячую речь:

— Теперь я говорю Лисице и Медведю. Кажется, им понравилась эта девушка? Да? Так ведь я же купил ее раньше. Смотрите, Тлинг-Тиннех опирается на ружье, и много еще другого добра лежит у его огня. Но мне хочется быть любезным с этими юношами. Лисице, у которого язык высох от лишних слов, я подарю пять длинных пачек табаку. Это смочит ему язык, чтобы ему было удобнее побольше шуметь на совете. А Медведю, встречей с которым я горжусь, я дам так: одеяла — два, муки — двадцать кружек; табака — вдвое больше, чем Лисице. А если он согласится поехать со мною через Восточные горы, я подарю еще ружье, точь-в-точь такое, как у Тлинг-Тиннеха.

Маккензи улыбался, отходя на свое место, но сердце его было полно опасений. Ночь все еще длилась. Девушка подошла к нему, и он внимательно слушал ее предупреждения о том, какие штуки выделывает ножом Медведь во время схваток.

Было постановлено решить спор поединком. Вдоль костра была утоптана площадка длиною в шестьдесят мокасин. Много было разговоров о поражении шамана. Некоторые, впрочем,

утверждали, что он просто не хотел показать свою силу. А другие вспоминали разные случаи из прошлого и соглашались с Волком. Медведь вышел на середину площадки с длинным охотничьим ножом русской работы в руках. Лисица обратил всеобщее внимание на револьверы Маккензи. Поэтому Маккензи снял пояс, надел его на Заринску и ей же поручил свое ружье. Она покачала головой с сожалением, что не умеет стрелять: редко приходилось женщине брать в руки такие драгоценные предметы.

— Слушай, если опасность будет грозить мне сзади, крикни громко: «Мой муж!» Нет, не так; еще раз: «Мой муж!»

Он рассмеялся, когда она повторяла его слова, ущипнул ее за щеку и вошел в круг. Медведь превосходил его не только ростом и силой, но и его нож был длиннее вершка на два. Скрэф Маккензи много раз смотрел в глаза людей при подобных же обстоятельствах; и теперь, по одному взгляду, он понял, что перед ним стоит настоящий мужчина. Но отблеск огня на стали заставил его гордо и радостно вздрогнуть — отблеск стали, сердца его расы…

Снова и снова оттеснял его Медведь до линии огня или выбивал из площадки в глубокий снег,

и снова и снова ловкими приемами боксера он выбирался на середину. Ни разу из толпы окружающих не услышал он одобрительного возгласа, тогда как его противника поддерживали аплодисментами, советами, предостережениями. Но он только крепче стискивал зубы при каждом звоне скрещивающихся ножей, нападая и отражая удары со спокойной выдержкой сознающей себя силы. Вначале ему было как-то жаль своего противника; но потом это чувство потонуло в первобытном инстинкте самозащиты, а еще позже он уже все забыл — осталась одна жуткая радость борьбы. Все десять тысячелетий культуры спали с него: это был пещерный дикарь, дерущийся за самку.

Два раза Маккензи удалось задеть Медведя и удачно вывернуться. Но на третий он попался и, чтобы спастись, должен был ухватиться за него свободной рукой: они сошлись тело с телом. Тут только почувствовал Маккензи всю ужасную силу своего противника. Мускулы его напряглись до судороги, а жилы готовы были лопнуть, и тем не менее русская сталь сверкала все ближе и ближе. Он попробовал податься назад, но этим только ослабил себя. Тесный круг меховых фигур сомкнулся еще теснее: все были уверены в развязке

и не хотели упустить ни одной детали. Но вдруг Маккензи, отклонившись немного в сторону, неожиданно — боксерским приемом — ударил Медведя головой. Тот неловко откачнулся и потерял равновесие. В то же мгновение Маккензи нанес ему сильный удар и навалился на него всею тяжестью тела, отбросив за черту, в глубокий снег. Медведь вскочил, весь покрытый снегом.

— О мой муж! — голос Зарински дрожал от ужаса.

На звук спущенной тетивы Маккензи успел низко пригнуться к земле, и стрела с наконечником из рыбьей кости пролетела над его головой и впилась в грудь Медведя, который покачнулся и упал на своего припавшего к земле противника.

В одно мгновение Маккензи высвободился из-под Медведя и уже стоял на ногах. Медведь лежал без движения, но по другую сторону костра шаман брал уже вторую стрелу.

Нож Маккензи сверкнул в воздухе. Целый сноп света прорезал темноту, когда он перелетал через костер. И шаман, из горла которого торчала теперь одна рукоятка, пошатнувшись, упал прямо в огонь.

Чик! Чик!.. Лисица завладел ружьем Тлинг-Тиннеха и тщетно пытался зарядить его; услышав

за собою смех Маккензи, он сейчас же поставил ружье на место.

— Та-ак! Значит, Лисица не умеет обращаться с этой игрушкой? Он, значит, совсем женщина? Ладно, дай его сюда, я научу тебя.

Лисица колебался.

— Дай сюда, я тебе говорю.

Лисица подошел к нему с видом побитой собаки.

— Вот, смотри: так, а потом так. — Патрон вскочил на место, и курок щелкнул.

— Лисица говорил, что великие дела совершатся сегодня ночью? Он правильно говорил. Великие дела совершились, но немного между ними было дел Лисицы. Что же, он все еще хочет взять Заринску в свою хижину? Может быть, он собирается идти по пути, который проложили для него шаман и Медведь? Нет? Ладно!

Маккензи презрительно отвернулся и вынул свой нож из горла шамана.

— Может быть, еще кто-нибудь из юношей хочет попытаться? Волк будет валить их по двое и по трое, пока не переберет всех. Нет? Ладно. Тлинг-Тиннех, еще раз отдаю тебе ружье. Если когда-нибудь тебе случится быть в стране Юкона, знай, что для тебя в хижине Волка всегда най-

дется место у огня и много еды. Ночь переходит в день. Я ухожу, но я могу еще раз вернуться.

Он казался им каким-то сверхъестественным существом, когда через толпу направился к Заринске. Она встала на свое место во главе запряжки, и собаки тронулись. Через несколько минут лес призраков поглотил их. Маккензи выждал, пока они скроются, и только тогда надел лыжи.

— А разве Волк забыл о пяти длинных пачках?

Маккензи с досадой обернулся к Лисице, но положение было слишком комично.

— Я дам тебе одну… короткую.

— Как Волк захочет, — покорно ответил Лисица, протягивая руку.

На сороковой миле

Когда Джим Белден Большой довольно легкомысленно высказал безобидное с виду предположение, что крупитчатому льду это «вполне свойственно», он совершенно не представлял себе, что из этого выйдет. Точно так же и Лон Мак-Фэн, когда утверждал, что якорный лед «всегда так». Да и Бэттлс не предвидел ничего особенного, когда не согласился и заявил, что такого льда и не существует вовсе и все это одно вранье.

— И это ты говоришь мне! — закричал Лон. — Когда мы уже не первый год здесь! И когда столько дней мы едим с тобой из одного горшка!

— Но ведь эта штука противоречит здравому смыслу, — настаивал Бэттлс. — Ты рассуди. Ведь вода теплее льда…

— Разница-то невелика.

— Ну все-таки теплее, если не замерзла. А ты говоришь — намерзает на дно.

— Только якорный лед, Дэвид, только якорный. И разве ты никогда не видал, как он скапливается? Вода прозрачная, как стекло, и вдруг, как облачко, комочки булькают, и выплывают, и выплывают, пока вся река не закроется от берега

до берега, точно выпавшим снегом.

— Гм! Пожалуй, и со мной так случалось, когда, бывало, клюкнешь малость у руля. Только все это булькало из соседней бутылки, а вовсе не из-под воды…

— И ты никогда не видел его на руле? Ни одной крошечки?

— Нет. Да и ты не видел. Это противоречит здравому смыслу. Это тебе скажет всякий.

Бэттлс обращался ко всем сидящим вокруг огня, но все его доказательства предназначались для Лона Мак-Фэна.

— Здравый там или не здравый, а я тебе дело говорю. Последний раз, когда была низкая вода — год тому назад, — я видел эту штуку вместе с Ситкой Чарли, когда мы спускались вниз по реке — ты помнишь — пониже Форта Надежды. Была осень, все как следует: солнце на золотых лиственницах и на осинах и в каждой струйке — солнце. И тут уж и зима, и синий туман с Севера — все вместе. Ты и сам это видал, когда бахрома льда по берегу, и воздух звонкий и искрится, и ты чувствуешь его, ну через все тело, и с каждым глотком прибавляется тебе жизни. Вот тут-то, милый мой, мир всегда кажется совсем маленьким, и такая, знаешь, несправедливость

хватает тебя за пятки…

Ну вот, мы, значит, едем. Как я уже сказал, бахрома по берегу, а больше льда нигде, как вдруг индеец поднял весло и кричит: «Лон Мак-Фэн! Смотрите, смотрите туда! Хоть я и слышал об этом, а видать еще не видал!» Как вы знаете, ни Ситка Чарли, ни я не родились здесь, ну, значит, обоим было внове. Мы и повисли по обеим сторонам лодки и глядим в воду. Ну так вот, я тебе говорю, совсем то же, что я видел, когда ловил жемчуг. Там только кораллы росли так со дна — целыми лесами и садами. Вот это и был якорный лед: он облепил все подводные камни и поднимался вверх, как белые кораллы.

Но самое удивительное зрелище было впереди. Когда мы проехали рифы, вода стала вдруг молочного цвета и вся поверхность покрылась сразу, ну, такими кружками. Весной, когда рыба играет, бывает так, или еще когда идет дождь. Это поднимался якорный лед. И вправо, и влево, и далеко вокруг вода была такая же. А вокруг лодки была точно каша изо льда или густая похлебка. Облепила борта, облепила весла. Много раз до этого я переезжал через пороги и много раз после — и никогда не видал ничего подобного. Только раз в жизни и видел.

— Говори, тоже! — сухо заметил Бэттлс. — Думаешь, поверю такому вздору? Скорее всего, солнце испортило тебе глаза или осенний воздух сегодня укусил за язык.

— Собственными моими глазами я это видел, и если бы Ситка Чарли был здесь, он поддержал бы меня.

— Но факты остаются фактами, и никак ты их не обойдешь. Это противоречит законам природы — чтобы вода замерзала не сверху!

— Но мои же собственные глаза…

— Только не горячись, пожалуйста, — остановил его Бэттлс, видя, что вспыльчивая кельтская кровь товарища начинает уже бурлить.

— Значит, ты мне не веришь?

— Если ты так, черт возьми, уперся, что и слушать ничего не хочешь, то вот и не верю: я прежде всего верю законам природы и фактам.

— Так что же, я вру, по-твоему? — загремел Лон. — Ты спроси-ка лучше свою сивашку, пусть она тебе скажет, правду я говорю или нет.

Бэттлс весь вспыхнул. Ирландец невольно задел его. Жена его была наполовину белая — дочь русского купца-меховщика, и венчались они в православной миссии в Нукато, тысячу миль вниз по Юкону, она была более высокого

происхождения, чем обыкновенные сивашки и местные женщины. Все это были, конечно, такие тонкости, которые понятны только жителям Севера.

— Все врешь! Теперь я вижу, — заявил Бэттлс решительно.

В ту же минуту Лон Мак-Фэн швырнул его на пол, а шесть человек, сидевших вокруг огня, бросились разнимать их.

Бэттлс поднялся, вытирая кровь вокруг рта.

— Это для меня не новость, только ведь удар за удар. Ты и не подумал, что придется расплачиваться?

— Никогда ни один человек меня лгуном не называл. И так плохи мои дела еще никогда не были, чтобы долгов не платить. Так или иначе, как хочешь.

— У тебя по-прежнему 38/55?[12]

Лон кивнул.

— Ты бы лучше раздобыл более подходящий, а то мой прошибет через тебя дырки, что твой грецкий орех.

— Не беспокойся, пожалуйста; у моих пуль нюх-то хороший тоже. А где и когда прикажешь

---

[12] Сноски: 12
Калибр револьвера.

ждать тебя? У проруби место великолепное, не правда ли?

— Не плохо. Будь там через час, и тебе не придется сидеть в ожидании.

Оба надели рукавицы и вышли из хижины, не обращая внимания на возражения товарищей. Все вышло из-за пустяка. Но у людей упрямых и необузданных из пустяков часто вырастают весьма крупные последствия. А кроме того, обитатели Сороковой Мили, запертые полярной зимой, испортили себе пищеварение чрезмерной едой и вынужденным бездействием и стали раздражительными, совсем как пчелы в конце года, когда их ульи переполнены медом.

Никаких законов здесь не было. Конная полиция тоже еще была делом будущего. Каждый сам оценивал обиду и сам назначал наказание, соответствующее степени его раздражения. Редко приходилось прибегать к совместным действиям, и ни разу за всю жизнь поселка не была нарушена восьмая заповедь[13].

Джим Белден Большой созвал импровизированный митинг. Скрэфа Маккензи выбрали председателем и послали за отцом Рубо. Поло-

---

[13] Сноски: 13
«Не укради».

жение было довольно трудное, и они понимали это. Они, разумеется, могли бы силой предотвратить дуэль, и это было как раз то, чего они хотели, — но такая мера противоречила бы их убеждениям. Несмотря на то что их примитивная этика признавала за каждым право отвечать на удар ударом, они не могли вынести мысли, что такие два товарища, как Бэттлс и Мак-Фэн, будут драться насмерть. Они, конечно, назвали бы трусом человека, который бы не принял вызова, но и согласие его им тоже казалось совершенно неправильным.

Топот мокасин, громкие крики и пистолетный выстрел прервали их прения. Дверь отворилась, и вошел Мельмут Кид с дымящимся револьвером в руке и веселой усмешкой в глазах.

— Попал. — Он заменил пустой патрон и прибавил: — Уложил твою собаку, Скрэф.

— Желтого Клыка? — спросил Маккензи.

— Нет. Ту, вислоухую.

— Черт тебя дери! Эту-то с чего?

— Выйди и посмотри.

— Впрочем, может, и хорошо, в конце концов. Он, пожалуй, их всех перекусал. Сегодня утром вернулся Желтый Клык, и его вырвало, во-первых, а во-вторых, он чуть не сделал меня вдовцом.

Прыгнул на Заринску — только она его здорово отделала, хотя и сама тоже хорошо получила. Тогда он опять убежал в лес. Надеюсь, и не вернется. А ты многих потерял?

— Одну, но зато самую лучшую: Шукума. Стал кидаться на всех сегодня утром, налетел как сумасшедший на запряжку Ситки Чарли, ну а те его мигом разорвали. А теперь две из них взбесились и тоже убежали. Немного у нас останется собак на весну, если мы ничего не выдумаем.

— Да и людей не больше.

— А что такое? Что случилось?

— Да вот у Бэттлса и Мак-Фэна вышло недоразумение, и они разрешают его сейчас у проруби.

Весь инцидент был ему подробно рассказан, и Мельмут Кид, привыкший к повиновению товарищей, взял на себя уладить дело. Он быстро составил план действий, и все обещали точно выполнить его.

— Видите ли, — закончил он, — мы не можем и не должны лишать их права драться. Но я не думаю, чтобы им захотелось драться после того, как они увидят все прекрасные последствия этого. Жизнь — игра, а люди — игроки. Они готовы ставить полную ставку, даже при расчете один на тысячу. Но отнимите у них эту ничтожную

надежду — и они не захотят играть. — Потом он обратился к заведующему складом: — Пожалуйста, отмерь нам шесть ярдов хорошей манильской полудюймовки. Мы создадим сегодня хороший прецедент, который останется у жителей Сороковой Мили на вечные времена, — обещал он. Потом он намотал веревку на руку и отправился с товарищами к проруби, чтобы вовремя захватить противников.

— А какое право он имел, черт возьми, трогать мою жену? — гремел Бэттлс в ответ на дружеские увещевания. — Нечего было ее трогать, нечего было ее трогать, — повторял он упрямо, шагая взад и вперед в ожидании Лона Мак-Фэна.

А Лон Мак-Фэн, с красным лицом и заплетающейся речью, поднял целое восстание против церкви.

— Ладно, отец! — кричал он. — В таком случае я с легким сердцем завернусь в огненное одеяло и лягу себе на постель из раскаленных углей. Но никогда и никто не скажет, что Лон Мак-Фэн проглотил оскорбление и даже руки не поднял в защиту. И не надо мне вашего вечного блаженства. И просить не буду. Тяжелая у меня была жизнь, но сердце всегда было на месте, вот что.

— Только не сердце, Лон, — возразил отец Ру-

бо. — Это гордость толкает тебя на то, чтобы убить ближнего.

— Французские тонкости, — ответил Лон. И потом, собираясь уже отойти, прибавил: — А панихиду будете служить, если мне не повезет?

Священник только улыбнулся и занял место впереди. Все двинулись за ним на широкую грудь молчаливой реки. Утоптанная маленькими санками тропинка вела к проруби. По обе стороны лежал глубокий, нежный снег. Люди шли друг за другом и не разговаривали, а присутствие священника, одетого в черное, придавало шествию торжественный вид похоронной процессии. Это был теплый день для Сороковой Мили. Небо, отягченное облаками, ближе наклонилось к земле, а ртуть поднялась на необычайную высоту — двадцать ниже нуля. Но ничего радостного не было в этом тепле. Воздух был тяжелый, а облака висели неподвижно, обещая ранний снег. И земля, погруженная в свою спячку, относилась к этому совершенно равнодушно.

Когда дошли до проруби, Бэттлс, который во время пути, очевидно, еще раз вспомнил всю ссору, выпалил последний раз свое «нечего ее было трогать», а Лон Мак-Фэн злобно молчал. Возмущение душило его, и он не мог говорить.

Несмотря на то что оба противника были очень заняты своими обидами, их очень удивляло поведение товарищей. Они ожидали насильственного вмешательства, а такое молчаливое попустительство почти оскорбляло их. Казалось бы, они могли рассчитывать на нечто большее со стороны людей, с которыми так сжились, и в их душе поднималось неясное чувство обиды: друзья идут сюда, как на какое-то парадное представление, и станут смотреть — без одного слова протеста — на то, как они убьют друг друга. Или они уже потеряли всякую ценность в глазах коммуны? Все происходящее совершенно озадачило их.

— Ну, спиной к спине, Дэвид. И какое вы хотите расстояние? Пятьдесят или вдвое?

— Пятьдесят, — был злобный и короткий ответ.

Но вдруг свежая веревка, отнюдь не выставляемая напоказ, а просто обмотанная вокруг руки Мельмута Кида, привлекла внимание ирландца и вызвала в нем неопределенную тревогу.

— А на что тебе веревка?

— Ну, живее. — Мельмут Кид посмотрел на часы. — У меня тесто поставлено, и я вовсе не хочу, чтобы оно перекисло. Да и ногам холодно.

Все остальные тоже на все лады выказывали

нетерпение.

— Но все же веревка-то зачем, Кид? Она совсем новая, и я думаю, что твой хлеб не такой тяжелый, чтобы его поднимать веревкой.

Бэттлс оглядывался по сторонам. Отец Рубо, чувствуя, что комизм положения захватывает его, закрыл лицо рукавицей.

— Нет, Лон. Эта веревка не для хлеба, а для человека. — Мельмут Кид умел производить впечатление, когда это было нужно.

— Какого человека? — Бэттлс почувствовал вдруг ко всему происходящему какой-то интерес.

— Для второго.

— Для какого второго?

— Послушай, Лон, и ты тоже, Бэттлс. Мы поговорили тут немножко о ваших глупостях и решили вот что. Мы знаем, что остановить вас не имеем права…

— Я думаю, милый мой!

— Мы и не собирались. Но одну вещь мы можем сделать. Не только можем, но и должны. Мы должны сделать, чтобы эта дуэль осталась единственной в истории Сороковой Мили и чтобы это было на вечные времена уроком для всех «че-чаквас'ов», какие едут вверх или вниз по Юкону. Тот из вас, кто останется в живых, будет повешен на

ближайшем дереве. А теперь можете начинать.

Лон подозрительно усмехнулся, но потом лицо его просветлело, и он воскликнул:

— Отмеряй, Дэвид, пятьдесят шагов! И мы будем стрелять, пока кто-нибудь не упадет по-настоящему. Они не посмеют этого сделать! Это просто так, шуточки янки!

Он занял свое место с веселой улыбкой на лице, но Мельмут Кид остановил его.

— Лон, ты меня давно знаешь?

— Да, порядочно.

— А ты, Бэттлс?

— В высокую воду, в июне, будет пять лет.

— А было ли хоть раз за все это время, чтобы я не сдержал своего слова? И говорил ли вам это кто-нибудь?

Оба покачали головами, поглядывая на веревку, которая лежала рядом.

— Ладно. Так если я вам пообещаю что-нибудь, вы поверите?

— Поверю, как твоей подписи, — сказал Бэттлс.

— Поверю, как в спасение души и во все святые слова, — прибавил поспешно Лон Мак-Фэн.

— Так слушайте! Я, Мельмут Кид, даю вам мое слово — а вы знаете, что это значит, — что тот из вас, который не будет застрелен, повиснет вот

на этой веревке ровно через десять минут после своего выстрела.

И он отошел назад, как Пилат, умывающий руки.

Все молчали. Небо опустилось еще ниже, и на землю полетели тонкие иглы мороза, правильные геометрические фигурки, нежные и легкие, как дыхание, но которые будут лежать всю долгую полярную зиму, пока не вернется солнце. У обоих противников в прошлом было зарыто много разбитых надежд, зарыто с проклятием или с насмешкой, но в душе всегда оставалась все же вера в Бога, в Фортуну[14]. Однако эта милосердная богиня была на этот раз исключена из игры. Они внимательно изучали лицо Мельмута Кида, но оно было так же таинственно, как лицо Сфинкса. Когда прошло несколько минут, все почувствовали, что надо заговорить. Наконец молчание было прервано воем собаки со стороны Сороковой Мили. В этом диком вое был какой-то невероятный пафос отчаяния, потом он перешел в протяжное рыдание и постепенно замер.

— Охота рисковать тоже! — Бэттлс поднял воротник своей куртки, растерянно выглядывая из

---

[14] Сноски: 14

Фортуна (Судьба) — древнеримская богиня, будто бы наделявшая людей по своему капризу счастьем и несчастьем.

него во все стороны.

— Великолепно сыграно, Кид! — воскликнул Лон МакФэн. — Вся выгода банкомету, а играющим ни шиша! Да? Самому дьяволу так не сыграть, и черт меня возьми, если я ввяжусь в это!

На обратном пути, пока взбирались на обледенелый берег и шли по улице до Поста, нет-нет да и раздавались подозрительные покашливания вроде застрявших в горле смешков и все почему-то очень часто мигали, смахивая снег с ресниц. И вдруг снова раздался вой собаки, но уже совсем близко, и в нем были новые, угрожающие ноты. Какая-то женская фигура выскочила из-за угла. Кто-то крикнул: «Вот он, вот!» Индианский мальчик, окруженный полдюжиной перепуганных собак, задыхаясь, бежал к ним со всех ног. А позади всех, ощетинившись, несся серой молнией Желтый Клык. Все бросились бежать, кроме американца. Мальчик споткнулся и упал. Бэттлс остановился на мгновение, схватил его за шиворот и бросился к штабелям дров, куда уже взобрались некоторые из его товарищей. Желтый Клык, преследуя одну из собак, тоже повернул назад. Обезумевшее от страха животное сбило Бэттлса с ног и понеслось по улице. Мельмут Кид

выстрелил. Желтый Клык перевернулся в воздухе, опрокинулся на спину, вскочил и одним прыжком бросился на Бэттлса.

Но этот роковой прыжок был предупрежден Лоном Мак-Фэн, который соскочил с дров и перехватил собаку на лету. Оба покатились в снег. Лон крепко держал животное за горло на вытянутых вперед руках, и все лицо его и глаза были залиты брызгами вонючей собачьей слюны. Наконец Бэттлс, спокойно с револьвером в руке выжидавший подходящего момента, закончил схватку.

— Вот это была настоящая игра, Кид, — заметил Лон, поднимаясь на ноги и стряхивая снег с рукавов. — Тут и я заработал недурной процент.

Ночью, когда Лон Мак-Фэн, стосковавшись о всепрощающих объятиях церкви, устремился в хижину отца Рубо, Мельмут Кид долго еще обсуждал случившееся.

— Да разве бы ты сделал? — приставал Маккензи. — Ну, предположим, они бы стреляли?

— А разве я когда-нибудь изменял своему слову?

— Положим, нет, да я не об этом. Ты мне отвечай на вопрос: мог бы ты или нет?

— Знаешь, Скрэф, я все время сам задаю себе этот вопрос, и вот…

— Ну?
— Ну и вот, до сих пор ничего не мог ответить.

В далекой стране

Когда человек решается ехать в далекую страну, он должен быть готовым забыть очень многое из того, чему его учили с детства, и наоборот: усвоить многие новые привычки, соответствующие новым условиям жизни; он должен оставить старые идеалы и старых богов и очень часто даже перевернуть вверх дном весь моральный кодекс, каким до этого времени руководствовался. Для людей, обладающих приспособляемостью простейших организмов, новизна такой перемены доставляет даже наслаждение; но для тех, кто уже окончательно сформировался в определенной среде, гнет изменившихся условий жизни совершенно невыносим; они сгибаются и душой и телом от непредвиденных лишений, принять которые они не могут, и этот надлом, связанный всегда с попытками противодействия, часто является для них источником самых разнообразных несчастий. Для таких лучше всего, конечно, как можно скорее вернуться опять на родину; затяжка неминуемо приведет их к гибели.

Человек, отказавшийся от европейской цивилизации и вставший лицом к лицу с первобыт-

ной простотой Севера, может рассчитывать здесь на успех в отношении, обратно пропорциональном качеству и количеству своих безнадежно укрепившихся привычек. Если он из «подающих надежды», он, конечно, скоро заметит, что материальные удобства почти несущественны. В конце концов, замена изысканного меню грубой пищей, жестких башмаков — мягкими бесформенными мокасинами или пружинной постели — ямой в снегу — совсем пустое дело. Гвоздем обучения будет умение по-новому подойти ко всем вещам, и прежде всего к людям — к своим товарищам. Прежняя выдержанная «воспитанность» должна будет уступить место прямоте, бескорыстию и терпимости. Этим, и только этим, он сможет добыть себе бесценную жемчужину — подлинные товарищеские отношения. Ему незачем будет говорить на каждом шагу «спасибо»; ему совсем не нужно раскрывать рта, и свою благодарность он должен доказать только на деле. Короче говоря, во всем действие должно будет заменить слово и смысл вытеснить букву.

Когда весть о полярном золоте облетела весь мир и соблазн Севера ущемил все человеческие сердца, Картер Уэзерби бросил свое насиженное

место клерка, перевел половину своих сбережений на жену, а на остальное купил себе все необходимое для путешествия. По своей натуре он вовсе не был романтиком — романтизм был окончательно задавлен в его душе долголетнею близостью к коммерческим операциям. Он просто устал от бесконечных трений на службе и надеялся, кроме того, хорошо заработать. Как и многие другие глупцы, он пренебрег путем старых пионеров Севера и в начале весны отправился в Эдмонтин; там, на свою беду, он связался с партией золотоискателей.

Собственно, ничего особенного в этой партии не было, за исключением разве ее планов. Целью ее, как и обычно, был Клондайк. Но от дороги, какую они спроектировали по карте для достижения этой цели, положительно перехватило дух у самых смелых туземцев, выросших среди опасностей и превратностей этого края. Даже Жак-Батист, сын туземной женщины из племени чиппева и какого-то французского бродяги (он родился в хижине из оленьих шкур севернее шестьдесят шестой параллели и был выкормлен на соске из сырого сала) — даже Жак-Батист, хотя и нанялся ехать до линии вечного льда, все-таки с сомнением качал головою, когда спрашивали

его совета[15].

Несчастливая звезда Перси Кёсферта, очевидно, стояла в своем апогее[16], когда он тоже присоединился к компании аргонавтов. Он был очень обыкновенный человек, у которого размеры текущего счета в банке вполне соответствовали его культурным потребностям — а этим сказано очень много. Собственно говоря, у него не было никакого основания пускаться в такую авантюру, решительно никакого, за исключением, впрочем, чрезмерно развитого воображения, которое он принимал за прирожденный романтизм и жажду приключений. Очень и очень многие люди впадают в ту же роковую ошибку.

С первым дыханием весны партия двинулась по реке Элк-Ривер, вслед за тронувшимся льдом. Это была основательная флотилия, хорошо снабженная провиантом и сопровождаемая целой стаей

---

[15] Сноски: 15

Чтобы иметь представление о необычайности предложенного плана (подробный маршрут указан автором ниже), достаточно посмотреть на карту Северной Америки. Путешественники решили спуститься от Большого Невольничьего озера по реке Маккензи до Ледовитого океана, затем подняться вверх по течению реки Малый Пиль, переправиться на реку Паркюпайну, впадающую на высоте Полярного круга в реку Юкон, и по реке Юкон — на реку Клондайк, составлявшую цель путешествия.

[16] Сноски: 16

Апогей — высшая точка восхождения.

так называемых «вояжеров» — бродяг-метисов с их женами и детьми. Изо дня в день всем приходилось работать на лодках и челноках, бороться с москитами и всякими другими паразитами, обливаться потом и ругаться на переправах. Тяжелая работа всегда обнажает человеческую душу, и еще прежде, чем озеро Атабаска осталось к югу, каждый из них успел показать себя во всем разнообразии своей окраски.

Картер Уэзерби и Перси Кёсферт оказались обжорами, лентяями и вечно ноющими брюзгами. Вся партия в целом меньше жаловалась на болезни и усталость, чем каждый из них в отдельности. Ни разу не случилось, чтобы они сами вызвались сделать что-нибудь из тысячи и одной мелких обязанностей, какие неизбежны в пути. Если надо было принести ведро воды, лишнюю охапку дров, вымыть и вытереть посуду или перерыть багаж, чтобы найти ту или иную внезапно понадобившуюся вещь, оба эти прекрасные экземпляры цивилизации находили у себя вывихи, нарывы или другие заболевания, требовавшие всеобщего и неотложного внимания. Вечером они первыми уходили с работы, бросая ее часто неоконченной, а утром выходили последними — как раз перед завтраком. Они первыми садились

за стол и были последними в приготовлении обеда; они первыми тянулись к чему-нибудь вкусному и никогда не замечали, что забирали чужую порцию. Когда их сажали на весла, они просто обмакивали их в воду, предоставляя лодке плыть по течению. Они думали, что никто этого не замечает, но товарищи ругали их сквозь зубы, а Жак-Батист открыто издевался над ними и посылал их к черту с утра до вечера. Впрочем, Жак-Батист не был, конечно, джентльменом.

На Большом Невольничьем озере закупили собак с Гудзонова залива[17] и погрузили их тоже в лодки вместе с запасом сушеной рыбы и пеммикана[18]. Челноки и лодки, увлекаемые быстрым течением Маккензи, скоро доплыли до земли Баррена.

После Большого Медвежьего озера вояжеры, испуганные приближением совсем неведомых для них стран, стали сбегать один за другим, а когда экспедиция достигла Форта Доброй Надежды,

---

[17] Сноски: 17

Большое Невольничье озеро — в Канаде; Гудзонов залив — в США. Залив представляет собою внутреннее море, соединенное Гудзоновым проливом с Атлантическим океаном.

[18] Сноски: 18

Мясные консервы, приготовленные из вяленной на солнце оленины, нарезанной узкими и длинными полосами. Способ сохранять мясо, принятый у североамериканских индейцев.

то сбежали уже последние и самые смелые, пустившись назад по течению реки, которой они было доверились так необдуманно. Остался один Жак-Батист. Разве он не дал слова довести их до вечного льда?

От карт теперь уже не отрывались, но они оказались неверными, составленными от руки, кое-как, по слухам. Однако надо было поторапливаться, так как летнее солнцестояние уже кончилось и надвигалась зима. Проплыв вдоль берега залива, через который Маккензи впадает в океан, они вошли в устье Малого Пиля. Тут начался тяжелый подъем — вверх по течению, и оба «нетрудоспособные» вели себя еще хуже, чем всегда.

Буксирный канат, и багры, и весла, и опять багры, и мели, и пороги, и переправы посуху — все эти мучения внушили одному из них полное отвращение к рискованным коммерческим операциям и раскрыли другому всю истинную ценность романтизма и необыкновенных приключений. В один прекрасный день они решительно взбунтовались и отказались работать, а когда Жак-Батист изругал их самыми последними словами, поползли прочь и хотели спрятаться. Но метис избил обоих и, окровавленных, снова

поставил на работу. И тот и другой первый раз в жизни испытали, что такое насилие и побои.

Провозившись достаточно на порогах Малого Пиля, путешественники употребили остаток лета на переправу через водораздел между Маккензи и Вест-Рэтом. Эта маленькая речонка впадает в Паркюпайну, а та, в свою очередь, в Юкон, в том месте, где великий северный путь пересекает Полярный круг. Но тут они были неожиданно застигнуты зимой; в один прекрасный день их лодки были заперты льдом, и им пришлось спешно переносить на берег весь багаж. В эту ночь река несколько раз замерзала и снова ломала лед; наутро она стала окончательно.

— Мы не можем быть более чем в четырехстах милях от Юкона, — решил Слопер, измеряя ногтем большого пальца расстояние по карте. Заседание совета, на котором оба «нетрудоспособные» вволю нахныкались, приходило к концу.

— Пост Гудзонова залива далеко позади. Больше постов не будет. Отец Жака-Батиста бывал здесь по делам мехопромышленной компании и даже отморозил себе два пальца на ногах.

— Черт тебя дери! — воскликнул кто-то из партии. — Неужели так и не встретим белых?

— Нет, белых больше не будет, — подтвердил

назидательно Слопер. — Но от Юкона до Даусона всего пятьсот миль, а отсюда — добрая тысяча, пожалуй.

Уэзерби и Кёсферт ахнули в один голос.

— А сколько же времени понадобится на это, Батист?

Метис подумал с минуту.

— Если будем работать как в аду и никто не будет отставать, двадцать-сорок-пятьдесят дней. А если эти грудные младенцы потащатся с нами (он указал на «нетрудоспособных»), ничего не могу сказать. Может быть, когда ад промерзнет насквозь, а быть может — и еще дольше.

Приготовили лыжи и мокасины. Кликнули одного из товарищей, который вышел из избушки, стоявшей неподалеку от костра. Эта избушка была одной из многочисленных тайн Севера. Кто построил ее и когда? Никто не знал этого. Перед ней были две могилы с высокими кучами камней, и в них, может быть, была погребена тайна несчастных путешественников. Но кто закрыл камнями эти могилы?

Решительный момент наступил. Жак-Батист оставил на минуту возню с запряжкой, привязав непослушную собаку. Дежурный по кухне, молчаливо протестуя против перерыва в своей работе,

бросил кусок сала в дымящийся котелок с бобами и подошел ближе. Слопер поднялся. Его фигура представляла смешной контраст с упитанными телами «нетрудоспособных». Желтый и слабый, приехавший из какой-то лихорадочной местности Южной Америки, он был неутомим в своих вечных скитаниях и на работе не отставал от других. Он весил, вероятно, не более девяноста фунтов, если считать вместе с охотничьим ножом, а его поседевшие волосы говорили, что весна к нему уже не вернется. Молодые упругие мускулы Уэзерби и Кёсферта были, вероятно, раз в десять больше, чем его, по объему, и, однако, он мог бы загнать их обоих до смерти за один день пути. Весь последний день он подбивал своих более сильных товарищей на этот тысячемильный, невообразимо трудный путь. Он был воплощением своей беспокойной расы, и тевтонское упрямство, соединенное с быстрой хваткой и предприимчивостью янки, помогало ему держать тело в полном подчинении духу.

— Пусть всякий, кто согласен продолжать путь на собаках, как только лед станет окончательно, скажет «да».

— Да! — воскликнуло восемь голосов, восемь голосов, которые отлично сознавали все труд-

ности и лишения на протяжении многих сотен верст мучительного пути.

— Кто против?

— Я, я! — Первый раз оба «нетрудоспособные» были вполне заодно, и притом без малейшего нарушения личных интересов.

— И что вы с этим поделаете? Скажите, пожалуйста! — прибавил Уэзерби вызывающим тоном.

— По большинству! По большинству! — кричали остальные.

— Я знаю, конечно, что экспедиция может и не удаться, пожалуй, если вы не поедете с нами, — очень мягко заметил Слопер. — Но я надеюсь, что если мы все наляжем из последних сил, то, может быть, и обойдемся без вас как-нибудь. Что скажете, ребята?

Одобрительный гул был ответом.

— Ну вот видите… — озабоченно произнес Кёсферт. — Что же мне, собственно, тогда делать?

— Так вы не идете с нами?

— Н-нет.

— Тогда делайте, черт возьми, все, что вам угодно. Это нас не касается.

— Вычисляйте там и решайте вместе с вашим великолепным партнером, — прибавил тяжело-

весный Вестернер, указывая на Уэзерби. — Когда придет время готовить обед или идти за дровами, он присмотрит, конечно, чтобы вы не сидели без дела.

— Значит, решено, — заключил Слопер. — Завтра утром мы снимаемся и первую передышку делаем в пяти милях отсюда, чтобы привести все в окончательный порядок и убедиться, не забыли ли чего.

На другой день сани уже скрипели железными полозьями, а собаки налегали на постромки, для которых они родились и в которых должны были умереть. Жак-Батист остановился рядом с Слопером, чтобы еще раз посмотреть на хижину. Из трубы ее жалостно поднимался серый дымок. Оба «нетрудоспособные» стояли у дверей.

Слопер положил руку на плечо товарища.

— Жак-Батист, слышал ты когда-нибудь о килкенских котах?

Метис покачал головой.

— Так вот, друг ты мой, эти килкенские коты дрались До тех пор, пока от них не осталось ни шкуры, ни мяса, ни когтей — ничего! Понимаешь, совсем ничего. Ладно. Теперь так. Эти двое работать не любят. И они не будут работать. Это мы все знаем. И вот они останутся вдвоем в этой

хижине на всю зиму, очень долгую, очень темную зиму. Килкенские коты, а?

Француз в Баптисте пожал плечами, но индеец ничего не сказал. Впрочем, это движение плеч было достаточно красноречивым и почти пророческим.

Первое время в хижине все шло как по маслу. Грубые шутки товарищей заставили Уэзерби и Кёсферта сознательнее отнестись друг к другу и к своим обязанностям. Да в конце концов, для двух здоровых людей работы было совсем немного. А возможность избавиться от побоев «собаки-метиса» делала их совсем радостными. Первое время каждый из них старался перещеголять товарища, и они исполняли все свои несложные обязанности с таким рвением, что товарищи, изнывавшие в это время на трудном пути, вероятно, широко раскрыли бы глаза от удивления.

Ничего трудного и страшного не предвиделось. Лес, обступивший их с трех сторон, был неисчерпаемым запасом топлива. В нескольких шагах от хижины протекала Паркюпайна, и, прорубив ее зимний покров, легко было достать кристально чистую, текучую воду. Впрочем, даже такое несложное дело скоро им надоело. Прорубь упор-

но замерзала, и приходилось часами обивать этот противный лед. Неизвестные строители хижины сделали сбоку подобие кладовой для хранения запасов. Здесь и был сложен весь провиант, оставленный им товарищами. Пищи было достаточно, без преувеличения хватило бы, чтобы откормить троих. Впрочем, большая часть ее была довольно грубая и не очень-то вкусная. Но сахара, во всяком случае, было вполне достаточно для двух нормальных людей; к несчастью, в этом отношении эти двое были скорее похожи на детей. Они не замедлили сделать открытие, что горячая вода, хорошо сдобренная сахаром, вещь очень недурная, и усердно поливали ею свои яблочные оладьи и мочили в ней корки хлеба. И, конечно, кофе, чай и в особенности сухие фрукты тоже поглощали основательное количество сахара. Первое их столкновение произошло поэтому в связи с сахарным вопросом. А это вещь очень серьезная, когда двое людей, которым не уйти друг от друга, начинают ссориться.

Уэзерби любил потолковать о политике, тогда как Кёсферт, который всю жизнь только стриг купоны, предоставляя неизвестным силам заботиться об их ценности, ничего решительно не понимал в этом деле и отшучивался эпиграмма-

ми[19]. Но клерк был слишком туп, чтобы оценить остроумие товарища, и напрасная трата красноречия раздражала Кёсферта. Он привык блистать в обществе, и полное отсутствие подходящей аудитории заставляло его почти страдать. Он чувствовал в этом какое-то личное оскорбление и бессознательно обвинял своего тупоголового товарища.

За исключением еды и других примитивных хозяйственных вопросов, у них не было решительно ничего общего, ни на одном пункте они не могли сойтись. Уэзерби был всю жизнь клерком и не знал и не понимал ничего другого. Кёсферт — знаток в искусстве — сам писал масляными красками и не чужд был литературе. Первый был невысокого полета и считал себя джентльменом, второй был действительно джентльмен и сознавал это. Следует, впрочем, заметить, что человек может быть настоящим джентльменом и не иметь ни малейшего понятия о чувстве товарищества. Клерк был настолько же чувствительным, насколько его товарищ эстетом, и его любовные похождения, по большей части выдуманные, которые он любил размазывать на все

[19] Сноски: 19

Эпиграмма — краткая стихотворная или прозаическая меткая характеристика, насмешливое замечание.

лады, производили на утонченного любителя искусства такое же впечатление, как аромат сточных труб. Он считал клерка грубым, нечистоплотным животным, которому место разве только в грязи вместе со свиньями, и при случае сообщил ему об этом. Тогда он услышал в ответ, что он сам желторотый сосун и паразит. Уэзерби не сумел бы объяснить, что он понимает под словом «паразит», но оно чем-то его удовлетворяло, а этого ему было вполне достаточно.

Уэзерби целыми часами распевал «Бостонского бродягу» или «Красивого юнгу», отчаянно фальшивя на каждой ноте, а Кёсферт чуть не плакал от бешенства и наконец, не выдержав, бросался из хижины в лес. Но спасения не было. Мороз был такой, что долго выдержать не было возможности, и они снова были заперты в тесной хижине вместе с кроватями, печкой, столом и всем прочим — на пространстве десять на двенадцать ярдов. Само присутствие каждого из них являлось уже личным оскорблением другому, и они проводили время в угрюмом молчании, которое день ото дня становилось продолжительнее и злее. Очень часто брошенный одним взгляд или презрительное поджимание губ выводили из себя другого, хотя они и старались совершенно

не замечать друг друга во время этих периодов молчания. И величайшее изумление вырастало понемногу в их душах: как это Господь Бог мог сотворить «такого»!

Работы не было, и досуг стал для них почти невыносимым. А это, естественно, делало их еще более ленивыми. Они впали постепенно в своего рода физическую летаргию[20] и не могли ее сбросить, так что малейшая обязательная работа возмущала их. Однажды утром, когда очередь готовить завтрак была за Уэзерби, он вылез из-под груды своих одеял и под храп товарища зажег лампу и развел огонь. Вода в горшках замерзла, и умыться было нечем. Впрочем, это было ему безразлично. Пока вода оттаивала, он нарезал сало и принялся за ненавистное ему приготовление хлеба. Уже проснувшийся Кёсферт посматривал на него из-под опущенных век. Разумеется, произошла бурная сцена, во время которой оба наговорили друг другу достаточно теплых слов, и в конце концов было решено, что каждый сам будет приготовлять себе завтрак. Неделю спустя Кёсферт тоже забыл умыться, что не помешало

[20] Сноски: 20

Летаргия — мнимая смерть, болезненное состояние, похожее на сон, характеризующееся неподвижностью организма и отсутствием реакций на внешние раздражения.

ему съесть завтрак с обычным удовольствием. Уэзерби злорадно усмехнулся. После этого происшествия глупая привычка умываться по утрам была окончательно изгнана из их обихода.

Когда запас сахара и всяческих вкусных вещей стал подходить к концу, они испугались, как бы не прозевать своей порции, и из опасения, чтобы другой не съел больше, каждый из них объедался. От такого соревнования в обжорстве страдали не только сласти, но и люди. Неподвижная жизнь и отсутствие свежих овощей испортили им кровь — и через некоторое время у них на теле стали появляться отвратительные красные прыщи. Но они не обратили никакого внимания на это предостережение. Потом начали опухать мускулы и суставы, на теле выступили черные пятна, а рот, десны и губы покрылись точно слоем густых сливок. Но общее несчастие их не сблизило, и их взаимное отвращение росло по мере того, как болезнь развивалась.

Они совершенно перестали заботиться о своей внешности и сильно опустились. Хижина стала похожа на свиной хлев, кровати никогда не убирались, и подстилка из еловых веток никогда на них не менялась. Они очень жалели, что не могут целый день лежать под одеялами, потому

что мороз был ужасающий и печка пожирала массу дров. Они совсем обросли грязными волосами, а до их одежды не захотел бы дотронуться даже тряпичник. Но это их мало беспокоило. Они ведь были больны, и, кроме того, никто не мог их видеть. А затем, всякое движение причиняло им боль.

Ко всему этому прибавилась еще одна опасность — Северный Бред. Великий Холод и Великое Молчание породили его в декабрьскую тьму, когда солнце окончательно ушло за линию южного горизонта. Он проявился у каждого в соответствии с его характером. Уэзерби стал до крайности суеверным и против воли делал все возможное, чтобы воскресить в своей душе тени, уснувшие в соседних могилах. Это было прельстительное занятие, и мало-помалу они стали являться ему во сне, они залезали к нему под одеяло и рассказывали о всех бедах и горестях, какие случались с ними при жизни. Он старался отодвинуться, чтобы избежать их холодного прикосновения; а когда они прижимались плотнее, чтобы отогреть об него свои замерзшие члены, и рассказывали ему на ухо все, что должно еще произойти, он кричал на всю хижину. Кёсферт ничего не понимал — они давно уже перестали

разговаривать между собою, — и, разбуженный этими криками, инстинктивно хватался за револьвер. Потом он, нервно передергиваясь, садился на постель и так, не смыкая глаз, просиживал всю ночь с дулом, направленным в сторону товарища. Кёсферт решил, что тот сходит с ума, и стал опасаться за свою жизнь.

У него болезнь приняла менее острую форму. Неизвестный человек, построивший бревно за бревном всю хижину, укрепил для чего-то на крыше ее флюгер. Кёсферт заметил, что флюгер этот всегда обращен к югу, и однажды, раздраженный его упорной пассивностью, повернул его на восток. Он ждал, не спуская с флюгера глаз. Но в воздухе не было ни малейшего движения, и флюгер остался на месте. Тогда Кёсферт повернул его к северу и дал себе клятву не трогать его до тех пор, пока ветер не повернет. Но воздух, оставаясь таким же нездешне-спокойным, пугал его, и часто среди ночи он вставал и бежал смотреть, не сдвинулся ли флюгер совсем немного; самое малое уклонение успокоило бы Кёсферта. Но нет, флюгер оставался неподвижным, неумолимым, как сама судьба. Воображение Кёсферта возбуждалось все больше и больше, и в конце концов эта мысль о флюгере стала для него навязчивой

идеей. Иногда ему вдруг приходило в голову идти через лес, в том направлении, какое флюгер указывал, и тогда Бред окончательно завладевал его душой. Он жил теперь, окруженный чем-то невидимым и непонятным, и тяжесть вечности, навалившаяся на него, казалось, готова была ежеминутно его раздавить. На Севере все оказывает такое сокрушающее действие — отсутствие жизни и движения, тьма, бесконечное, неестественное спокойствие всего окружающего, молчание, насыщенное призраками, а в нем, в этом молчании, каждое биение сердца кажется каким-то святотатством, торжественный лес, затаивший в себе что-то страшное, и, наконец, нечто такое невыразимое, чего нельзя определить словами.

Мир, который Кёсферт еще так недавно оставил, мир политических столкновений и грандиозных предприятий отошел куда-то совсем далеко. Изредка, правда, всплывали воспоминания — какие-то галереи и биржа, какая-то мешанина из вечерних туалетов и социальных обязанностей, приятных мужчин и очаровательных женщин, которых он знал раньше, воспоминания такие туманные, словно все это ему было ведомо много столетий назад на какой-то другой планете. Здесь

реальными были его призраки. Стоя перед своим флюгером, с глазами, устремленными в полярное небо, он не мог заставить себя поверить, что существует какой-то Юг, в это самое мгновение напоенный шумом, жизнью и деятельностью. Нет, такого Юга не было, не было вовсе и людей — живых, рожденных женщинами, не было и не могло быть, чтобы кто-то там женился и выходил замуж. Позади этой черной линии горизонта тянутся опять черные пустынные пространства, а позади них — опять такие же, пустые и черные. И не было и нет солнечных стран, отяжелевших от запаха цветов. Это все у него былые детские представления о рае. Залитый солнцем Запад, залитый благоуханиями Восток, улыбающаяся Аркадия[21], блаженные райские острова — ха-ха-ха! Смех рассек пустоту и испугал его. Нет, солнца не было. Вселенная, вся вселенная — мертва, холодна и черна, и живет в ней только он один. Уэзерби? Но в такие минуты Уэзерби в счет не шел. Ведь это был, в конце концов, какой-то Калибан, чудовищное привидение, прикованное

[21] Сноски: 21

Аркадия — одна из провинций Древней Греции, населенная пастушескими племенами, славившимися своим гостеприимством и добродетельной жизнью. В переносном смысле — счастливая страна, населенная людьми, живущими чистыми радостями сельской жизни.

к нему, Кёсферту, с незапамятных времен в наказание за какое-нибудь забытое им преступление.

Кёсферт жил бок о бок со Смертью, окруженный мертвецами, обессиленный ощущением собственного ничтожества, раздавленный владычеством уснувших веков. Величие окружающего стирало его, уничтожало. Все вокруг было возведено в превосходную степень, за исключением его самого, — полное прекращение всякого движения, бесконечность покрытой снегом пустыни, высота неба и глубина молчания. Хоть бы повернулся этот чертов флюгер! Ударил бы гром, загорелся бы лес, или небо свернулось бы, словно свиток, или рухнула вселенная — что-нибудь, что-нибудь! Нет, ничего. Молчание обступило его, и Северный Бред положил свои ледяные пальцы на его сердце.

Однажды, как какой-нибудь Робинзон, Кёсферт открыл на берегу реки следы, едва заметные черточки от лапок кролика на нежной верхней снеговой корочке. Это было целое откровение. На Севере, значит, была жизнь. Он захотел найти его, этого кролика, посмотреть на него, подышать на него. Он совсем забыл о своих распухших ногах, нырял в глубоком снегу и приходил в экстаз от своего открытия. Лес поглотил его, а кроткие

полуденные сумерки быстро потухали, но он продолжал свои поиски, пока измученное тело не отказалось двигаться и он беспомощно не упал в снег. Он убедился, что следов не было, что это был один бред, и рыдал, и проклинал свое безумие. Поздно ночью он дотащился до хижины на четвереньках, с отмороженными щеками и странно неподвижными ногами. Уэзерби неприязненно ворчал и не предложил ему своей помощи. Кёсферт колол иголкой пальцы ног и держал их перед печкой в надежде, что они отойдут. Через неделю у него открылась гангрена.

У клерка были свои заботы. В последнее время мертвецы все чаще и чаще выходили из своих могил и редко оставляли его одного, спал ли он или бодрствовал. Он всегда ждал их и всегда боялся и не мог без дрожи проходить мимо двух могил. Однажды они пришли ночью, подняли его и погнали за дверь на работу. Он очнулся среди развороченных им камней в непередаваемом ужасе и дико бросился назад в хижину. Но, вероятно, он пролежал в снегу некоторое время, так как ноги и щеки оказались тоже отмороженными. Иногда настойчивое присутствие теней приводило его в бешенство, и он прыгал по хижине, рубил вокруг себя воздух топором и опрокидывал

все на своем пути. Во время таких припадков Кёсферт завертывался в одеяла и, взведя курок револьвера, следил за сумасшедшим, готовый выстрелить, если бы тот подошел слишком близко. Но однажды, придя в себя после окончания припадка, клерк заметил направленное на него дуло. Это возбудило его подозрительность, и с этой минуты он начал также бояться за свою жизнь. Они стали внимательно следить друг за другом и со страхом оборачивались, когда кто-нибудь из них случайно проходил за спиной другого. Подозрительность перешла мало-помалу в манию преследования, которая не оставляла их даже во сне. Из-за обоюдного страха они оставляли лампу на всю ночь, и оба, ложась спать, проверяли, достаточно ли в ней жира. Малейшего движения одного было достаточно для того, чтобы другой вскочил; и долгими молчаливыми часами они следили друг за другом из-под своих одеял, держа пальцы на спуске револьверов.

Благодаря Северному Бреду, нервному напряжению и прогрессирующей цинге, они потеряли всякое подобие человеческое и походили теперь на загнанных, затравленных зверей. Отмороженные щеки и носы почернели. Отмороженные пальцы ног стали отваливаться по суставам —

сначала отвалились первые, потом вторые. Каждое движение причиняло боль, но печка была ненасытна и требовала себе дань ценою пытки для несчастных изуродованных тел. Изо дня в день ей нужна была пища, в полном смысле слова кровавая пища, и они на коленях тащились в лес за дровами. Однажды, ползая в поисках сухого хвороста, они залезли с противоположных сторон в узкий проход под нависшими ветвями. И вдруг, совершенно неожиданно, две мертвых головы столкнулись.

Болезнь так изменила их, что узнать друг друга было невозможно. Они вскочили на ноги, крича от ужаса, и бросились бежать к дому на своих изувеченных культяшках. Столкнувшись у дверей хижины, они выли и царапались как звери, пока наконец не поняли своей ошибки.

Изредка у них бывали светлые промежутки, и в один из них они поделили поровну сахар — яблоко раздора. Каждый положил свой сахар в отдельный мешок и жадно прятал его в чулане: у каждого оставалось всего несколько чашек, и они совершенно перестали доверять друг другу. Но однажды Кёсферт ошибся. Еле двигаясь от боли, с трясущейся головой и полуслепыми глазами, он пополз в кладовую и совершенно нечаянно

вытащил мешок Уэзерби вместо своего.

Это случилось в первых числах января. Солнце уже перешло через свое самое низкое стояние, и теперь в полдень на южной стороне неба показывались желтые полоски света. На другой день после своей ошибки Кёсферт чувствовал себя лучше — и душой, и телом. Когда подошел полдень и забрезжил свет, он выполз наружу, чтобы полюбоваться мимолетным сиянием, которое было для него обещанием солнца вернуться. Уэзерби тоже чувствовал себя немного лучше и уселся рядом с ним. Они прикорнули в снегу под неподвижным флюгером и ждали.

Вокруг них была тишина смерти. В других странах, когда вся природа застывает, все же ждешь движения воздуха или какого-нибудь голоска, который вот-вот затянет прерванную песню. На Севере ждать нечего. Два человека жили здесь, как два привидения, среди заколдованной тишины. Они не могли бы вспомнить ни одного звука в прошлом и не ждали звуков от будущего. Эта неземная тишина была извечна — спокойное молчание вечности.

Их глаза были обращены к Северу. За их спинами где-то внизу, под высокими южными горами, незримо для них катилось солнце по какому-то

чужому небосклону. Они могли только следить за медленно занимающейся, неясной зарей. Бледный дымно-красный свет все разгорался. Он становился ярче, переходя из красно-оранжевого в пурпурный и шафранно-желтый. Эти отблески на северной стороне неба были так ярки, что Кёсферт был убежден: за ними — солнце. Чудо-солнце, встающее с севера! И внезапно все краски с картины были убраны. Небо обесцветилось. Они затаили дыхание. Что это? Мелкая изморозь внезапно загорелась в воздухе, а на снегу лежало тонкое очертание флюгера. Тень! Настоящая тень! Они вскочили и поспешно повернули головы по направлению к югу. Тоненький золотой ободок чуть виднелся из-за занесенных снегом плеч горного кряжа; он улыбнулся им на одно мгновение и сейчас же исчез.

Когда они посмотрели друг на друга, в глазах их стояли слезы. Ими овладела какая-то необычайная нежность, и их неудержимо потянуло друг к другу. Солнце вернулось. Солнце завтра будет с ними опять, будет и послезавтра, и дальше, дальше… И каждый раз оно будет оставаться все дольше, и потом придет время, когда оно совсем не уйдет с неба ни днем, ни ночью, не зайдет за горизонт. И не будет ночи. Ледяные засовы зимы

будут сломаны. И снова подует ветер, и ему будет отвечать лес. И земля будет купаться в блаженном сиянии, и жизнь вновь заиграет. Взявшись за руки, они уйдут от этого ужасного бреда и снова вернутся на Юг. Они оглянулись друг на друга, и их руки встретились — эти жалкие, изъеденные руки, опухшие и скрюченные в рукавицах.

Но обещанию солнца не удалось сбыться. Север — всегда Север, и странные силы правят здесь душой человека. И никогда не поймут их люди, не бывавшие в этой далекой стране.

Час спустя Кёсферт положил в печь кусок хлеба и стал обдумывать, что смогут сделать хирурги с его ногами, когда он вернется домой. Теперь «дом» не казался ему уже таким далеким. Уэзерби рылся в кладовке. Внезапно он разразился страшными ругательствами, которые потом странно оборвались. Тот — «другой» — украл у него сахар! И все-таки неизвестно, как бы повернулось еще все дело, если бы оба умерших не вылезли из-под камней и не стали лить ему в голову свои раскаленные слова. Потом они совсем спокойненько вывели его из кладовки, которую он даже забыл запереть. Это потому, что время пришло. Это потому, что сейчас должно было произойти то самое, о чем они всегда рассказывали ему по

ночам. Они повели его не торопясь — так, совсем спокойненько, — к куче дров, и там они положили ему в руки топор. Потом они помогли ему отпереть дверь хижины и даже сами закрыли ее за ним, он ясно слышал, как она скрипнула и как щеколда шумно упала на свое место. И он знал, что они стоят за дверью и ждут, чтобы он сделал свое дело.

— Картер! Что вы, Картер!

Перси Кёсферт испугался, взглянув на лицо клерка, и поспешно загородился столом.

Картер Уэзерби приближался. Не торопясь, без возбуждения. И в лице его не было ни злобы, ни жалости, а скорее какое-то терпеливое послушание — тупой взгляд человека, который все равно должен что-то сделать и вот делает — методически, не спеша.

— В чем дело, я вас спрашиваю?

Клерк двинулся назад, отрезая ему отступление к двери, но не произнес ни слова.

— В чем дело, Картер, в чем дело? Давайте обсудим…

Кёсферт быстро обдумал положение: улучив минуту, он ловким боковым движением очутился на постели, где лежал его «смит-вессон». Прислонившись спиной к стене и не спуская глаз

с сумасшедшего, он взвел курок.

— Картер!

Порох вспыхнул прямо в лицо Уэзерби, но он все же кинулся вперед, взмахнув топором. Топор врезался в позвоночник, и Перси Кёсферт сразу перестал ощущать свои нижние конечности. Тогда клерк навалился на него, хватая его за горло своими слабыми пальцами. Удар топора заставил Кёсферта выронить револьвер, и теперь, задыхаясь под тяжестью противника, он беспомощно шарил рукою по одеялу. Тут он вспомнил. Он просунул руку за пояс клерка и вытащил его охотничий нож. И они очень-очень крепко прижались друг к другу в этом последнем объятии.

Перси Кёсферт чувствовал, что силы оставляют его. Нижняя часть его тела уже отмерла. Мертвая тяжесть Уэзерби расплющивала его и держала неподвижным, словно капкан медведя. Хижина наполнилась знакомым запахом, и он сообразил, что это горит его хлеб. Но разве не все равно? Он ведь не понадобится ему. А в кладовке осталось еще верных шесть кружек сахара! Если бы он мог предвидеть все, что случится, он не экономил бы так последние дни. А флюгер, сдвинется он когда-нибудь или нет? Может быть, вот сейчас он понемножку двигается? Почему бы и нет? Разве

он не видел сегодня солнца? Вот он пойдет сейчас и посмотрит. Нет, сдвинуться нет возможности. Никогда он не думал, что клерк такой тяжелый.

Как скоро остывает хижина! Это, верно, потух огонь. Холод налегает. Наверное, теперь ниже нуля, и дверь начинает промерзать изнутри. Он не может этого видеть, но отлично все знает по температуре воздуха — у него достаточно опыта. Вот теперь побелела нижняя петля двери. Узнают ли когда-нибудь люди, что случилось с ним? Как отнесутся к этому его друзья? Скорее всего, прочтут об этом в газете, за кофе, и будут потом обсуждать происшествие в клубе. Он видит их очень ясно. «Бедный Кёсферт, — шепчут они, — и совсем неплохой малый был, в конце концов». Он улыбнулся похвале и пошел дальше, разыскивая турецкие бани. На улицах была знакомая толкотня. Смешно, что никто не обращает внимания на его мокасины из оленьей шкуры и дырявые немецкие носки. Лучше взять извозчика. А после ванны не худо бы зайти побриться. Нет, сначала он закусит. Бифштекс, картофель и зелень — какое все свежее! А это что там такое? Сотовый мед — течет как золотистая смола. Только зачем они принесли столько? Ха-ха, да ему же никогда не съесть этого! Чистильщик сапог? Ну да, конеч-

но. Он ставит ногу на ящик. Чистильщик смотрит на него с любопытством, и Кёсферт, вспомнив о мокасинах, поспешно уходит.

Трр!.. Это, наверно, флюгер. Нет, просто в ушах шумит. Да, ничего больше — просто в ушах шумит. Иней покрыл теперь уже щеколду. Пожалуй, и верхнюю петлю. Между проконопаченными балками в потолке появляются маленькие белые точки. Как медленно они нарастают. Нет, не так уж медленно. Вот эта — совсем новая. Теперь их уже так много, что не стоит считать. Вон там две срослись вместе. А вот к ним присоединяется третья. Только теперь это уже не точки и не пятнышки. Они сливаются вместе — и похожи на простыню или на саван.

Ну что же, он не один. Если когда-нибудь архангел Гавриил разбудит своей трубой молчание Севера, они встанут вместе, держась за руки, и вместе подойдут к великому белому трону. И Бог будет их судить, да, сам Бог их будет судить!

И Перси Кёсферт закрыл глаза и погрузился в сон.

За здоровье того, кто в пути

— Наливай.

— Погоди, Кид, не будет ли уж слишком? Виски и спирт — и так уж здорово. А если еще бренди и перцовку, и…

— Говорят тебе, наливай. Кто приготовляет пунш, в конце концов, я или ты? — И Мельмут Кид блаженно улыбался сквозь клубы пара. — Если бы ты прожил здесь столько, сколько я, сын мой, и питался бы все время потрохами лососины и воспоминаниями о кроликах, ты бы знал, конечно, что Рождество бывает только раз в году. А Рождество без пунша — это все равно что заявка без золота.

— Что правда, то правда, — согласился Джим Белден Большой, приехавший со своей заявки в Мэзи-Мэй, чтобы провести Рождество с товарищами, и питавшийся последние два месяца, как всем было известно, одной олениной. — А ты не забыл, какой «хуч» ты приготовил нам на Танане?

— А… знаю, о чем ты… Ну, ребята, и посмеялись бы вы, если бы видели, как перепилось все племя! А и было-то всего-навсего только здорово пере-

бродившее пойло из сахара да кислой закваски немного. Это было еще до тебя, — сказал Мельмут Кид, обращаясь к Стэнли Принсу, молодому технику, знатоку рудничного дела, приехавшему сюда года два назад. — Ни одной белой женщины не было тогда здесь, а Мэйсон задумал жениться. Отец Руфи был вождем одного из племен на Танане и, конечно, упирался, как и все племя. Безвыходно, понимаете? Ну что тут будешь делать: я пожертвовал последним фунтом сахара. Тонкая была работа; пожалуй, и за всю жизнь такой не запомню. Посмотрели бы вы только, как они гнались потом за нами вниз по реке!

— А женщина? — спросил француз-канадец Луи Савуа, начиная интересоваться рассказом; он уже слышал кое-что об этом разбойничьем деле прошлой зимой на Сороковой Миле.

Тогда Мельмут Кид — прирожденный рассказчик — передал без всяких прикрас историю северного Локинвара. Не у одного из этих закаленных искателей приключений сердце забилось сильнее, и знакомая неясная тоска потянула на солнечные пастбища Юга, где от жизни можно было взять что-то еще, кроме бессмысленной борьбы с холодом и смертью.

— Мы переправились через Юкон как раз после

первого ледохода, — закончил Мельмут Кид, — а погоня была на берегу ровно через четверть часа. Но это как раз спасло нас: начался второй ледоход, и они были от нас отрезаны. Когда наконец им удалось добраться до Нуклукието, весь Пост уже приготовился встретить их. А что касается брачной церемонии — это уж вы спросите отца Рубо.

Иезуит вынул трубку изо рта, но не мог ничего сказать, выражая свое настроение только многозначительными улыбками, которым дружно аплодировали и католики, и протестанты.

— Черт возьми! — воскликнул Луи Савуа, путаясь в словах: его, очевидно, захватила романтичность приключения. — О, ma petite[22] индеанка, мой Мэйсон храбрый. Черт возьми!

Когда жестяные кружки с пуншем первый раз обошли вокруг стола, Бэттлс Неумолкающий вскочил на ноги и затянул любимую пьяную песню:

Учитель и Ворд-Бичер –
У них такой обычай –

---

[22] Сноски: 22
Моя крошка.

Ругают корень сассафраса[23]*:*
– Его мы запрещаем!
Но мы-то, мы-то знаем,
Не проведут сюртук и ряса!..

Рев пьяного хора подхватил:

Его мы запрещаем!
Но мы-то, мы-то знаем,
Не проведут сюртук и ряса!
Не проведут сюртук и ряса!..

Рискованная смесь Мельмута Кида оказывала свое действие. Все лишения и ужасы северной жизни не задавили в них горячей радости жизни — и шутки, песни и рассказы о всевозможных приключениях перекидывались с одного конца стола на другой. Они собрались сюда из дюжины различных стран и пили за все подряд. Англичанин Принс предложил тост за «дядю Сэма», скороспелого младенца Нового Света. Янки Бэттлс пил за королеву, «да благословит ее Господь», а Савуа и Мейерс — немецкий коммерсант — чокнулись за Эльзас-Лотарингию.

---

[23] Сноски: 23

Сассафрас — укропное дерево из семейства лавровых, растущее в лесах Сев. Америки, от Канады до Флориды и к западу от Миссури. Древесина корней содержит эфирное сассафрасовое масло.

Тогда поднялся Мельмут Кид с кружкой пунша в руке и поглядел в замерзшее окно, на котором было по крайней мере три дюйма льда.

— За здоровье того, кто застигнут в пути сегодняшнею ночью; да хватит ему провианта; да будут целы ноги у его собак; да не отсыреют его спички!

Крак! Крак! — послышалась вдруг хорошо знакомая всем музыка собачьей плетки, потом визг мельмутовских собак и скрип полозьев около самой хижины. Разговоры замерли — все ждали, что будет.

— Опытный ездок: сначала о собаках, а уж потом о себе, — шепнул Мельмут Кид Принсу, когда послышалось щелканье зубов, волчье рычание и визг собак: их привычному слуху было ясно, что незнакомец кормит собак и отгоняет чужих.

Потом раздался ожидаемый стук в дверь — резкий и уверенный, и незнакомец вошел в комнату. Ослепленный светом, он остановился на мгновение у двери, давая всем возможность разглядеть себя. Это была интересная фигура и весьма живописная в своем полярном меховом одеянии. Он был дюйма на два или на три выше шести футов, с хорошо развитой грудью и плечами; его гладко выбритое лицо стало ярко-алым от мороза; длин-

ные ресницы и брови побелели от снега, и когда он снял свою шапку из волчьего меха, он, право, походил на сказочного царя-мороза, рожденного только сейчас волшебством ночи. Вышитый пояс с двумя крупными револьверами и охотничьим ножом стягивал его кожаную куртку, а в руках он держал, кроме неизбежной собачьей плетки, прекрасное бездымное ружье самой новейшей конструкции. Когда он вошел, по его походке — вообще говоря, твердой и упругой — можно было заметить, что он сильно устал.

Наступило натянутое молчание, но сердечный привет вошедшего: «Здорово, ребята!» — сейчас же привел всех в себя, и в следующее мгновение Мельмут Кид уже пожимал его руку. Хотя они никогда не встречались, оба достаточно слышали друг о друге и были рады познакомиться, и прежде чем приезжий успел произнести хотя бы одно слово в объяснение своего появления, он был уже представлен всем присутствующим и в руке у него очутилась большая кружка пунша.

— Как давно проехали здесь крытые сани с тремя мужчинами и восемью собаками? — спросил он.

— Дня два тому назад. Вы за ними?

— Да, моя запряжка. Увели из-под самого носа,

негодяи. Я, значит, выиграл уже два дня. Захвачу на следующем перегоне.

— Думаете, они пожалеют порох? — спросил Белден, чтобы поддержать разговор. Мельмут Кид занялся приготовлением кофе и старательно нарезал сало и оленье мясо.

Незнакомец многозначительно погладил свои револьверы.

— Давно из Даусона?

— Выехал в двенадцать.

— Вчера в полночь?

— Сегодня.

Шепот изумления пробежал вокруг. И было отчего: ибо теперь была полночь; значит — семьдесят пять миль трудного речного пути в течение двенадцати часов!

Разговор вскоре стал общим: вспоминали различные случаи из давнишних путешествий. Пока молодой незнакомец ел, Мельмут Кид внимательно изучал его лицо и очень скоро пришел к заключению, что красивое, честное и открытое лицо ему, Киду, нравится. Оно было еще совсем молодое, хотя и тронутое уже резцом борьбы и тяжелого труда. Его голубые глаза, искрящиеся, когда он говорил, и мягкие, когда молчал, вероятно, делались стальными в минуты столкновений.

Широкие скулы и квадратный подбородок говорили об упорстве и непреклонной воле. Но, несмотря на все эти черты могучей львиной натуры, в нем была какая-то мягкость, почти женственность, которая говорила о его большой впечатлительности.

— Вот таким образом мы и сошлись со старухой, — говорил Белден, заканчивая очень пикантное повествование о своей женитьбе. — «Вот и мы, отец», — сказала она. «Ну и черт с вами», — сказал он ей. А потом мне: «Джим, ну, ну, сделай что-нибудь толковое; вот мне надо вспахать сорок акров[24] до обеда». А потом повернулся к ней и говорит: «А ты, Сали, ты иди мой посуду». Я уж было обрадовался, но он вдруг посмотрел на меня да как зарычит: «Иди сюда». Я так и пошел к нему, весь в муке!

— А дети у вас есть в Штатах? — спросил незнакомец.

— Нет. Сали еще раньше умерла. Вот почему я и здесь. — Белден стал задумчиво разжигать свою трубку, которая было погасла, и когда она задымилась, спросил: — А вы женаты?

Вместо ответа незнакомец открыл часы, снял

---

[24] Сноски: 24

Акр = 40,47 ара (около 900 квадратных сажен). В древности — площадь земли, которую можно обработать за день на паре быков.

их с ремня, заменявшего цепочку, и передал Белдену. Тот поправил лампу, внимательно осмотрел внутреннюю сторону крышки и с невольным восторженным восклицанием передал часы Луи Савуа. Этот несколько раз подряд воскликнул: «Черт возьми!» — и в свою очередь передал их Принсу, у которого, как все заметили, дрогнули руки, а глаза стали необычайно нежными. Таким образом часы переходили из одних корявых рук в другие, а на внутренней стороне их крышки была приклеена фотография женщины: одной из тех нежных, привязчивых женщин, о которых мечтают многие мужчины; у ее груди был ребенок. Те, которые еще не видели этого чуда, сгорали от любопытства; а те, кто видел, — замолкали и становились задумчивыми. Все они умели смотреть в лицо голоду, болезни и внезапной смерти где-нибудь в пути, но изображение неизвестной женщины с ребенком на руках превращало их самих в женщин и детей.

— Я еще не видел малыша, мальчик, она пишет. Теперь уж ему два года, — сказал незнакомец, когда его сокровище вернулось к нему. Он пристально посмотрел на фотографию, потом захлопнул часы и отвернулся, но все успели заметить еле сдерживаемые слезы на его глазах.

Мельмут Кид предложил ему лечь на скамейку и отдохнуть.

— Разбудите меня в четыре, ровно в четыре. Только не позже. — С этими словами он лег и через минуту уже спал тяжелым сном уставшего человека.

— Ей-богу, молодец! — решил Принс. — Три часа сна после семидесяти пяти миль на собаках, а затем опять в дорогу. Кто он такой, Кид?

— Это Джек Уэстондель. Он приехал года три назад; работает как лошадь, но ему положительно не везет. Я никогда не встречался с ним, но Ситка Чарли много рассказывал мне про него.

— Скверно, когда судьба забрасывает человека, у которого такая милая жена, да еще в такие молодые годы, в эту Богом забытую дыру, где каждый год стоит двух лет, проведенных где-нибудь в другом месте.

— Беда в том, что у него заявка скверная, а он упрям. Два раза промыл — и все-таки ничего.

Здесь разговор был прерван восклицанием Бэттлса, что инцидент исчерпан. И скоро опять грубое веселье заставило их забыть черные, долгие годы однообразной пищи и мертвящего труда.

Один Мельмут Кид как-то не мог уже больше

отдаться веселью и все время тревожно поглядывал на часы. Потом он вдруг надел рукавицы и бобровую шапку и пошел рыться в кладовой.

Он не мог даже дождаться назначенного часа и разбудил гостя на четверть часа раньше. Молодой великан насилу поднялся, и ему пришлось растирать все тело, чтобы быть в состоянии держаться на ногах. Он вышел из хижины шатаясь, но собаки были уже запряжены и все готово к отъезду. Вся компания пожелала ему счастливого пути и удачной охоты, а отец Рубо, наскоро благословив его, увел всех в хижину; и не мудрено — не очень-то приятно стоять на семидесятиградусном морозе с открытыми ушами и голыми руками.

Мельмут Кид помог ему выбраться на дорогу и, горячо пожимая на прощание руку, говорил:

— Там, в санях, вы найдете сто фунтов[25] лососиной икры. Это хватит собакам на столько же времени, на сколько хватило бы ста пятидесяти фунтов рыбы, а вы не найдете корма для собак в Пелли, как вы, может быть, рассчитывали. — Незнакомец посмотрел на него с удивлением, и глаза его вспыхнули. Но он не перебивал Мельмута Кида.

---

[25] Сноски: 25
Английский фунт = 373,242 грамма.

— Вы не достанете ни одного золотника ни для себя, ни для собак раньше, чем доедете до Файф-Фингерс, — а это верных две тысячи миль. Постарайтесь потом добраться до открытой воды на Тридцатой Миле и тогда захватите большой пароход на Ле-Бардж.

— Почему вы так говорите? Разве слухи обо мне могли перегнать меня?

— Я ровно ничего не знаю. И больше не хочу ничего знать. Знаю только, что запряжка, за которой вы гонитесь, никогда не была вашей: Ситка Чарли продал ее этим людям прошлой весной. Но он говорил мне о вас как о честном человеке, и я верю ему. Теперь я увидел ваше лицо, и оно мне понравилось. И я видел — черт возьми, удержите же вашу соленую воду в глазах, — ну, видел вашу жену и, ну… — Кид снял рукавицу и вытащил кошелек.

— Нет, этого мне не надо, — и он судорожно сжал руку Мельмута Кида со слезами, замерзшими на щеках.

— Если так, то советую вам — не жалейте собак; лишь только какая упадет, обрезайте постромки и покупайте новую. И не скупитесь — хоть по десять долларов с фунта. Вы достанете их и в Файф-Фингерс, и в Литл-Салмон, и в Хуталин-

ква. И еще следите за тем, чтобы ноги не были мокрые. Старайтесь, чтобы чулок хватило на перегон. А если нет — разводите огонь и меняйте в дороге.

Не прошло и четверти часа, как звон колокольчиков заявил о прибытии новых посетителей. Дверь отворилась, и конный полисмен Северо-Западной территории вошел в комнату в сопровождении двух погонщиков-метисов. Все они — так же как и Уэстондель — были хорошо вооружены и казались очень усталыми. Метисы как местные уроженцы переносили путь сравнительно легко; но молодой полисмен совершенно изнемогал. Однако бульдожье упрямство его расы держало его на ногах и должно было держать до тех пор, пока он не свалится.

— Когда уехал Уэстондель? — спросил он. — Он ведь здесь останавливался, не правда ли?

Вопрос, собственно, был излишним, так как следы повествовали весьма обстоятельно. Мельмут Кид быстро взглянул на Белдена, и тот, сообразив, откуда дует ветер, отвечал неопределенно:

— Да, порядочно.

— Полно, дружище, говори прямо, — убеждал его полисмен.

— Вы что же, сцапать его собираетесь, а? Он что

же, дел там наделал, в Даусоне?

— Он нагрел Гарри Мак-Фарлэнда на сорок тысяч долларов; обменял золото в конторе Компании на чек и в Сиэтле, если мы не догоним его, он, разумеется, получит по нему. Когда он уехал?

По одному повелительному взгляду Мельмута Кида возбуждение погасло во всех глазах, и полисмен увидел вокруг себя неподвижные, деревянные физиономии.

Он насел с расспросами на Принса, и, хотя этому было ужасно трудно смотреть в честные, строгие глаза земляка, он все же понес что-то несуразное по поводу трудной дороги.

Тогда полисмен обратился к отцу Рубо, который не мог же лгать.

— Четверть часа тому назад, — отвечал священник. — Но он отдыхал здесь четыре часа, и собаки тоже.

— Едет уже пятнадцать минут и отдохнул, о Боже! — бедный малый отшатнулся назад, чуть не падая от усталости и отчаяния. Он бормотал что-то о десятичасовом перегоне из Даусона и о том, что собаки загнаны.

Мельмут Кид протянул ему большую кружку с пуншем. Выпив ее, полисмен направился к двери, приказав погонщикам следовать за собой.

Но теплая комната и перспектива отдыха были слишком соблазнительны, и они уперлись. Кид понимал немного их полуфранцузский жаргон и прислушивался с тревогой.

Они божились, что собаки загнаны окончательно, что Сиваша и Бабет придется застрелить на первой миле, что остальные тоже не лучше и что во всех отношениях правильнее будет передохнуть.

— Одолжите мне пять собак, — сказал полисмен, поворачиваясь к Мельмуту Киду.

Тот отрицательно покачал головой.

— Я дам вам чек в пять тысяч на капитана Константэйна. Вот мои бумаги, я уполномочен поступать по своему усмотрению.

Последовал тот же молчаливый отказ.

— Тогда я реквизирую их именем королевы!

Вопросительно улыбаясь, Кид взглянул на свой великолепный арсенал, и англичанин, почувствовав свое бессилие, повернулся к двери. Погонщики опять запротестовали, но он накинулся на них с яростью, называя бабами и собаками. Темное лицо старшего метиса вспыхнуло от гнева. Он встал и в хорошеньких выражениях пообещал полисмену путешествие на своих двоих, прибавив, что будет в восторге, когда тот

свалится и останется один в снегу.

Молодой офицер собрал всю силу воли и быстро направился к двери, стараясь показать, что он уже отдохнул. Все видели, что это неправда, и оценили его героические усилия. Ему не удалось скрыть болезненной судороги, перекосившей лицо. Обледеневшие собаки прикорнули в снегу, и было почти невозможно поднять их на ноги. Погонщики были обозлены, а потому били их жестоко, но несчастные звери только визжали и выли под ударами. Только когда отрезали Бабет — передовую собаку, сани сдвинулись наконец с места.

— Грязное животное! Лгун! Черт возьми, вот негодяй оказался! Вор! Да хуже всякого индейца! — Было ясно, что вся компания возмущена до крайности. Прежде всего за то, что их так провели, а потом за поруганную этику Севера, где честность считается первым украшением настоящего мужчины.

— А мы еще помогали мерзавцу, когда все уже было известно! — Все глаза с упреком обернулись на Мельмута Кида, который поднялся из угла, где устраивал Бабет, и молча принялся разливать по кружкам остатки пунша.

— Холодная сегодня ночь, ребята, — очень хо-

лодная ночь сегодня, — начал он издалека свою защитительную речь. — Все вы бывали в пути, и все вы знаете, что это значит. Нельзя бить собаку, когда она упала. И потом, вы слышали только одну сторону. И я вам скажу еще, что ни вам, ни мне не приходилось ни разу есть из одного горшка или спать на одной постели с таким хорошим человеком, как Джек Уэстондель. Прошлой осенью он отдал всю свою промывку — сорок тысяч — Джо Кастрелю, чтобы купить ему пай в Доминионе. Теперь он был бы уже миллионером. А что сделал Кастрель, вы знаете? Уэстондель задержался в Сёркле, ухаживая за товарищем, который заболел цингой, а Кастрель в это время пьянствовал у того же Мак-Фарлэнда, пока не спустил все до последней крупинки. Его нашли потом мертвым в снегу. А несчастный Джек лишился возможности ехать нынешней зимой к жене и ребенку, которого он еще не видел. Вы обратили внимание: он взял ровно столько, сколько прокутил его товарищ, — сорок тысяч. Ну и взял и уехал. Что вы на это скажете?

Кид обвел глазами своих слушателей и, заметив, что выражение их лиц стало мягче, высоко поднял свою кружку.

— За здоровье того, кто в пути! Да хватит ему

провизии! Да будут целы ноги его собак! Да не отсыреют его спички! И поможет ему Бог… Счастливый ему путь и…

— К черту конную полицию! — кричал Бэттлс под звон опустевших кружек.

Право священнослужителя

Это будет рассказ о человеке, не сумевшем оценить свою жену, а также о женщине, оказавшей ему слишком большую честь, выйдя за него замуж. Случайно в эту историю окажется впутанным один иезуитский священник, про которого говорили, что он никогда не лжет.

Священник этот был неотъемлемой собственностью страны Юкона — весьма полезной собственностью, но те, двое, попали сюда случайно. Они были одною из пород золотоискателей. В общем, существует два типа золотоискателей: одни несутся в центре золотого потока, другие плетутся в хвосте.

Эдвин Бентам и Грэс Бентам были золотоискателями и, несомненно, плелись в хвосте, ибо, когда они приехали, Клондайкский поток 97 года уже давно спустился вниз по реке и осел в голодном городе Даусоне. Когда Юкон закрыл свою лавочку и заснул под слоем снега в три фута, странствующая парочка оказалась у порогов Файф-Фингерс, все еще на расстоянии многих дней пути от Золотого Города.

Осенью здесь было убито большое количество

скота, и отбросы лежали целыми кучами. Три «вояжера», сопровождавшие Эдвина Бентама и его жену, осмотрели эти запасы, сделали в уме маленькую арифметическую выкладку и, заметив поблескивание верного барыша, решили здесь остаться. Всю зиму они продавали кости и замерзшие кожи проголодавшимся запряжкам — и совсем дешево продавали, по доллару за фунт, — почти по своей цене. Через шесть месяцев, когда солнце вернулось и Юкон ожил вновь, они надели свои тяжелые пояса с зашитыми в них деньгами и отправились обратно на юг, где живут и до сих пор, рассказывая небылицы о Клондайке, которого никогда не видали.

Эдвин Бентам был от природы ленивым малым, и, если бы не жена, он, вероятно, с удовольствием присоединился бы к спекуляции мясом. Но жена, играя на его тщеславии, убедила его, что он сильный и вообще выдающийся человек и что такой, как он, конечно, легко преодолеет все трудности и, разумеется, добудет золотое руно[26]. Ему ничего не оставалось, как стиснуть зубы, продать свою долю костей, купить сани и одну собаку и направить лыжи к Северу. Незачем упоминать,

[26] Сноски: 26

Руно баснословного золотого барана, похищенное якобы аргонавтами из священной рощи Арея в Колхиде (греческий миф).

что лыжи Грэс Бентам не отставали от него. И даже больше: проковыляв спереди три дня, муж очутился сзади, и путь прокладывала уже жена. Впрочем, при каждой встрече позиции менялись. Таким образом, его мужское достоинство не могло быть заподозрено встречными, которые, как привидения, проскальзывали иногда мимо. Попадаются все же и такие мужчины на свете.

Каким образом могло случиться, что такой мужчина и такая женщина соединились на всю жизнь, чтобы делить и горе и радость, — это к рассказу не относится. Об этом мы все и так знаем, а те, кто в это вмешивается или хотя бы слишком близко подходит к таким вопросам, рискуют потерять один из лучших идеалов человечества, широко известный под названием нравственного миропорядка.

Эдвин Бентам был, собственно, мальчишкой, втиснутым по ошибке в тело взрослого человека, — мальчишкой, который с милой улыбкой мог обрывать крылья у бабочки — одно за другим — и в то же время постыдно отступать в ужасе перед каким-нибудь слабосильным парнем, раза в два меньше его ростом. Это был избалованный плакса под маской мужчины, с мужскими усами и с мужской фигурой, пролакированный

сверху самым незначительным слоем культурности и общепринятых условностей. Вот именно: это был клубмен[27], пустой светский болтун; человек, который обращает социальные обязанности в грациозную забаву и несет всякий общепринятый вздор с неописуемой слащавой очаровательностью; человек, который много говорит — и плачет от зубной боли; человек, который, женившись на женщине, превращает ее жизнь в такой ад, какой не сумел бы ей уготовить и последний негодяй. Мы встречаем таких людей на каждом шагу, но редко представляем себе отчетливо, что это такое. Лучший способ узнать их до конца (кроме способа выйти за них замуж) — есть с ними из одного горшка и спать на одной постели в продолжение ну, скажем, недели — срока вполне достаточного.

Увидеть Грэс Бентам — значило увидеть стройное, полудетское существо. Узнать ее — значило узнать душу, которая раздавила сама себя и все же сохранила все очарование вечной женственности. Это была женщина, поддерживавшая и ободрявшая своего мужа в его северных изысканиях; она прокладывала для него дорогу в снегу,

---

[27] Сноски: 27
Клубмен — клубный завсегдатай.

когда никто не мог этого видеть, и потом потихоньку плакала, считая себя недостаточно выносливой.

Таким образом путешествовала эта странная парочка вниз по реке до Форта Селькирк, а затем сто миль мрачной пустыней по реке Стюарт. А когда последние короткие дни кончились, мужчина лежал в снегу и всхлипывал, а женщина, кусая губы от невыносимой боли в ногах, уложила его в сани и помогла собаке дотащить его до хижины Мельмута Кида. Мельмута Кида не было дома, но Мейерс — немецкий коммерсант — поджарил хороший бифштекс из оленины и приготовил постель из свежих еловых веток.

Лэк, Лангэм и Паркер были крайне взволнованы, и не напрасно, если обсудить дело основательно.

— О Сэнди, скажи, пожалуйста, ты сумеешь отличить ссек от вырезки? Пойди к нам, посмотри, пожалуйста. — Это воззвание исходило из кладовки, где Лангэм безрезультатно сражался с непонятными для него кусками мороженой оленины.

— Поворачивайтесь же скорее с вашей стряпней! — командовал Паркер.

— Знаешь, Сэнди, будь другом, сбегай в Миссури

Кэмп и займи у кого-нибудь немного корицы, — просил Лэк.

— Ну, ну, пошевеливайтесь! Почему ты… — но грохот упавших в кладовой консервов и мяса пресек строгий выговор.

— Ну, ступай теперь, Сэнди; спустишься до Миссури в одну минуту.

— Оставь его в покое, — перебил Паркер. — Как я буду месить тесто для бисквитов, когда стол грязный?

Сэнди остановился в нерешительности, но факт, что ведь он — «человек» Лангэма, оказался решающим. Он гордо отшвырнул в сторону кухонное полотенце и пошел помогать хозяину.

Эти многообещающие отпрыски богатых семейств явились на Север ради развлечения, с целой кучей денег, которые и прожигали, не стесняясь, и вдобавок еще с «человеком». Хорошо, впрочем, что двое из их компании отправились вверх по Белой Реке в поисках мифических залежей кварца, так что Сэнди приходилось разрываться только между тремя хозяевами, у каждого из которых были свои кулинарные идеалы. Два раза в течение утра окончательный распад лагеря казался совершенно неизбежным и предотвращался только безмерной снисходи-

тельностью того или другого из рыцарей круглой сковороды. В конце концов их совместное творение — настоящий изысканный обед — было закончено. После этого они сели за игру в «разбойники», которая должна была решить, на кого будет возложена одна очень важная миссия, и таким образом предотвратить все будущие пререкания по этому поводу.

Это счастье выпало на долю Паркера. Он причесался с пробором, надел рукавицы и медвежью шапку и направил свои стопы в хижину Мельмута Кида. Возвратился он в сопровождении Грэс Бентам и Мельмута Кида, причем первая была очень огорчена, что ее муж не мог воспользоваться любезным приглашением, так как поехал осмотреть рудники у Гендерсон-Крика, а Кид чувствовал себя усталым после поездки вниз по реке Стюарт. Мейерс был тоже приглашен, но отказался, так как был весь поглощен интересным опытом квашения теста с помощью хмеля.

Ладно, без мужа, конечно, можно было обойтись, зато женщина — о, они не видели ни одной женщины за всю зиму! И пребывание ее здесь — одной ее — обещало новую эру в их жизни. Эти три молодых человека были людьми со средним образованием и джентльменами, но теперь

они положительно дрожали над своим мясным супом, которого они так долго были лишены. Возможно, что и Грэс Бентам страдала от такого же голода; во всяком случае, этот первый веселый час после многих недель тьмы и холода значил для нее очень много.

Но едва это удивительное первое блюдо, способ приготовления коего искусный Лэк заимствовал у своих родителей, было подано на стол, как послышался громкий стук в дверь.

— О, почему вы не входите, мистер Бентам? — спросил Паркер, вставший посмотреть, кто стучит.

— Жена моя здесь? — грубо спросил этот достойный человек.

— Здесь, конечно. Мы же вам оставили записку у Мейерса.

Паркер старался пустить в ход самые нежные ноты, внутренне изумляясь, что все это значит.

— Почему вы не входите? Мы ждали вас с минуты на минуту и вот оставили вам место. И главное, как раз вовремя: только что подали первое блюдо!

— Войди же, Эдвин, милый, — пролепетала Грэс Бентам из-за стола.

Паркер, естественно, отодвинулся.

— Я пришел за женой, — грубо произнес Бентам, и в его интонации был неприятный привкус собственника.

Паркер задыхался. Он был на волоске от того, чтобы обрушить свой кулак в лицо противного посетителя, но сдержался и отошел. Все встали. Лэк опустил голову и чуть не сказал: «Неужели вы пойдете?»

Затем началась обычная кутерьма прощанья: «Так мило с вашей стороны… Ужасно досадно… Честное слово, бывает же так!.. Да неужели, в самом деле?.. Еще раз благодарю вас… Счастливо добраться до Даусона…» И прочее, и прочее…

Ягненку помогли надеть куртку и вручили его затем хозяину-мяснику. После этого дверь захлопнулась, и они с отчаянием стояли вокруг опустевшего стола.

— Черт! — Лангэм не получил с детства достаточного образования по этой части, а потому его ругательства были слабы и однообразны. — Черт! — повторил он, смутно сознавая недостаточность этого словечка и напрасно стараясь подыскать более выразительное.

Можно смело назвать талантливой женщиной ту, которая умеет затушевывать слабые места ничтожного мужа, укреплять его неустойчивую

душу своей непобедимой волей, вливать в него свою честолюбивую предприимчивость и побуждать его к великим свершениям. Но еще более талантливости и тактичности требуется для того, чтобы сделать это все так тонко, что вся честь останется за мужем, и он сам до глубины души будет верить, что все это сделал он, и только он.

Все это умела делать Грэс Бентам. Приехав в Даусон с несколькими фунтами муки и многими рекомендательными письмами, она сделала все возможное, чтобы выдвинуть вперед своего большого младенца. Это она смягчила каменное сердце грубого варвара, который был председателем Компании, и завоевала его доверие. Но переговоры велись Эдвином Бентамом, и заявка была обещана ему. Это она таскала своего младенца вверх и вниз по ручьям и речкам, через мели и водоразделы, по самым диким заявкам. И все говорили в один голос: «Что за энергичный парень, этот Бентам». Это она изучала карты, и выспрашивала рудокопов, и вколачивала географические данные и всякие названия в пустую голову мужа, а все изумлялись, как он успел так хорошо узнать страну и все местные условия. В конце концов все решили, что жена для него — обуза, и только немногие, более упрямые, ценили

ее и жалели.

Она работала; он получал похвалы и вознаграждение. На Северо-Западной территории замужняя женщина не может сама промывать золото либо получить заявку на берегу реки и на кварцевые залежи. Поэтому Эдвину Бентаму пришлось пойти к комиссару золотых приисков и записать на себя заявку № 23, третья линия по Френч-Хиллю. А когда пришел апрель, они намывали по тысяче долларов в день, и впереди было еще много-много таких дней.

У подножия Френч-Хилля протекала речка Эльдорадо, и на речной заявке стояла хижина Клайда Уартона. В то время он не намывал ежедневно по тысяче долларов, но кучи нарытого песка все росли и росли, и скоро должно было наступить время, когда они должны были пройти через промывные ящики и оставить на дне их в течение нескольких дней много сотен тысяч долларов. Он часто сидел в своей хижине, курил трубку и мечтал об удивительных вещах, в которых, впрочем, ни кучи драгоценного песка, ни полтонны золота в сейфе Компании не играли никакой роли.

И когда Грэс Бентам мыла жестяные тарелки в своей хижине наверху, она часто смотрела вниз на Эльдорадо и тоже мечтала — конечно, тоже

не о песке. Они часто встречались, ибо тропинки, ведущие на их заявки, пересекались, а кроме того, весною на Севере много о чем можно поговорить.

Но ни разу ни один из них не открыл своего сердца ни блеском глаз, ни движением губ.

Так было вначале… Но однажды Эдвин Бентам был невероятно груб. Подростки всегда грубы. К тому же, чувствуя себя королем Френч-Хилля, он чрезвычайно высоко возомнил о себе, забывая, что всем обязан жене. На этот раз Уартон слышал все, перехватил на тропинке Грэс Бентам и говорил весьма бурно. Грэс почувствовала себя совсем счастливой, хотя и не хотела слушать и заставила его дать обещание никогда, никогда не говорить таких вещей. Ее час еще не пришел.

Но вот солнце повернуло назад, на свою северную дорогу; черная ночь опять перешла в стальные сумерки; снег стаял; вода опять бежала по замерзшей земле; и промывание золота началось снова. День и ночь желтая глина и речной песок пробегали через тонкие решета, оставляя свою дань смелым людям, пришедшим с юга. И вот в это беспокойное, возбужденное время пришел час Грэс Бентам.

Ко всем нам приходит этот час, ко всем, конеч-

но, кто не слишком флегматичен. Очень многие добродетельны не потому, что у них какая-то прирожденная склонность к добру, а просто потому, что они слишком ленивы. Те из нас, кто знает минуты слабости, конечно, меня поймут.

Эдвин Бентам взвешивал намытое золото на прилавке у Форкса, причем достаточное количество этого золота переходило через сосновый прилавок в карман трактирщика; и вот в это время его жена спустилась с холма и скользнула в хижину Клайда Уартона. Уартон не ждал ее, но это нисколько не изменило дела. И многих горестей, и многих напрасных мучительных ожиданий можно было бы избежать, если бы этого ее поступка не заметил отец Рубо и не свернул бы в сторону от главной дороги к реке.

— Дитя мое!

— Погодите, отец Рубо. Я уважаю вас, хотя я и не вашей веры, но не становитесь между мной и этой женщиной.

— И вы понимаете, что делаете?

— Понимаю. И если бы вы были всемогущим Богом и могли бы низвергнуть меня в вечный огонь, я и тогда бы поспорил с вами.

Уартон усадил Грэс на стул и заслонил ее с вызывающим видом.

— Вы сядете вот сюда и будете сидеть спокойно, — продолжал он, обращаясь к иезуиту. — Сначала буду говорить я, потом — вы.

Отец Рубо вежливо наклонил голову и сел. Он был человек уступчивый и научился ждать. Уартон опустился на стул рядом с женщиной и взял ее руку в свою.

— Значит, вы меня правда любите и увезете меня отсюда? — Лицо Грэс Бентам приняло в себя все спокойствие, исходящее от этого человека, у которого она всегда могла найти теперь поддержку и защиту.

— Дорогая, вы помните, что я вам говорил тогда! Разумеется…

— Но как же вы это сделаете? А промывка?

— Неужели вы думаете о таких пустяках? Ну, например, я передам все дело отцу Рубо. Я вполне могу доверить ему расчет с Компанией.

— Только подумать! Я его никогда не увижу.

— Какое счастье!

— И уеду?.. Нет, Клайд, я не могу, я не могу…

— Уедете, уедете, конечно, уедете. Вы послушайте, как это все будет. Мы соберем кое-что и отправимся…

— А если он поедет за нами?

— Я ему переломаю ребра…

— Нет, нет! Только не драться, Клайд. Вы должны обещать мне.

— Ладно! Тогда я скажу товарищам, чтобы выгнали его с заявки. Они все видели, как он обращается с вами, и не очень-то его любят.

— Нет, этого вы не должны делать. Вы не должны его обижать.

— Не понимаю. Что же тогда? Дать ему войти сюда и увести вас на моих глазах?

— Н-нет, — сказала она совсем тихо, нежно погладив его руку.

— Тогда предоставьте все дело мне и не волнуйтесь попусту. Я постараюсь не обидеть его. А он-то много беспокоился, обижены вы или нет?! В Даусон мы не вернемся. Я пошлю вперед весточку своим ребятам, чтобы провели мне лодку вниз по Юкону. А мы переберемся через водораздел и спустимся к ним по Индиан-Ривер. Потом…

— А потом?

Ее головка лежала на его плече. Голоса их стали совсем тихими и нежно-ритмичными; каждое слово было лаской. Иезуит беспокойно задвигался на стуле.

— А потом? — повторила она.

— А потом мы поедем дальше и дальше, через пороги Уайт-Хорс и через Бокс-Кэнон.

— Да?

— И через Шестидесятую Милю. А потом будут озера, а потом Чилкут, Дайэ, и доберемся до моря.

— Но, милый, я совсем не умею грести.

— Ах, какая глупенькая! Я возьму с собой Ситку Чарли. Он хорошо знает все реки и места для причала, и вообще лучший знаток пути, даже среди индейцев. А у тебя будет только одно дело — сидеть в середине лодки, и петь песни, и изображать из себя Клеопатру[28], и бороться с москитами. Нет, для москитов еще слишком рано, мы и тут в выигрыше.

— А потом, мой Антоний?

— Ну а потом пароход в Сан-Франциско, и — весь мир. Никогда больше не вернемся в эту проклятую дыру. Подумай только! Весь мир перед нами. Я продам здесь все. Мы и так достаточно богаты. Уолдверский Синдикат даст мне полмиллиона за остатки в земле, и еще столько же будет с этих куч, и еще столько же за Компанией. Мы

---

[28] Сноски: 28

Клеопатра — египетская царица, славившаяся своей красотой, пленившей Антония, одного из римских полководцев.

поедем в Париж на выставку 1900 года[29]. Мы поедем в Иерусалим, если это тебе вздумается. Мы купим дворец в Италии, и ты будешь изображать Клеопатру, сколько захочешь. Нет, ты будешь моей Лукрецией[30], Актеей и всем, чем захочет быть твое милое маленькое сердце. Но ты не должна, никогда не должна…

— Жена Цезаря выше подозрений.

— Разумеется, но…

— Но разве я буду твоей женой?

— Я не об этом…

— Но ведь ты будешь любить меня совсем так же и никогда, никогда… я знаю, ты будешь такой, как и все. Ты устанешь, я тебе надоем и… и…

— Как ты можешь?!

— Обещай мне!

— Да, да, конечно, обещаю.

— Ты говоришь это так легко. Но как ты можешь знать? И как я могу знать? Я так мало могу дать, но это так много для меня. О Клайд, обещай мне, что никогда…

---

[29] Сноски: 29

Золотые россыпи были открыты на Клондайке в 1896 г. События рассказа относятся к последним годам минувшего столетия.

[30] Сноски: 30

Лукреция — римлянка, подвергшаяся бесчестию со стороны Секста и покончившая с собой; заставила мужа и отца поклясться отомстить преступнику.

— Ну-ну, вот ты начинаешь уже сомневаться. До самого дня нашей смерти, ты это знаешь.

— Подумать! Я один раз говорила то же самое… ему… и вот…

— Ну и вот ты не должна больше думать об этом, любимая моя девочка; никогда, никогда я…

И первый раз их дрожащие губы встретились. Отец Рубо смотрел на дорогу к реке, но ждать дольше был уже не в состоянии. Он кашлянул и повернулся.

— Теперь ваша очередь, отец! — Лицо Уартона было залито огнем первого поцелуя. Голос его звенел гордым восторгом, когда он уступил право этому другому. Он не сомневался в исходе. Не сомневалась и Грэс, и улыбка играла вокруг ее губ, когда она посмотрела на священника.

— Дитя мое, — начал он, — сердце мое обливается кровью, когда я смотрю на вас. Это прелестный сон, но ведь он не сбудется.

— Почему, отец? Я же сказала «да».

— Вы не понимаете, что делаете. Вы не подумали о клятве, данной человеку, который называется вашим мужем. Мне приходится напомнить вам о святости этой клятвы.

— А если я вспомню о ней и все-таки откажусь?

— Тогда Бог…

— Какой Бог? У моего мужа Бог, которому я не хочу поклоняться. Богов много всяких…

— Дитя, так нельзя говорить! Нет, вы так не думаете, конечно. Я понимаю. У меня у самого тоже бывали такие минуты. — На одно мгновение он очутился в родной Франции, и неясное лицо с печальными глазами затянуло, словно туманом, сидящую перед ним женщину.

— А в таком случае скажите, отец, разве мой Бог не отрекся от меня? Я не была хуже других женщин. Я терпела от мужа очень много. Почему я должна терпеть еще? Почему я не смею взять это счастье? Я не могу, я не хочу возвращаться к нему! С ним все покончено.

— Скорее вы отреклись от своего Бога. Вернитесь. Положите свою тяжелую ношу в его руки, и тьма вокруг вас рассеется. О дитя мое…

— Нет, это все ни к чему. Сама посадила цветок, сама буду и поливать его. Я пойду до конца. И если Бог накажет меня, я уж как-нибудь справлюсь. Вы, конечно, не поймете. Вы не женщина…

— Моя мать была женщиной.

— Но…

— И Христос родился от женщины.

Она не отвечала. Наступило молчание. Уартон

нетерпеливо поглаживал усы и смотрел на дорогу. Грэс оперлась локтями на стол, и ее лицо было серьезно и решительно. Улыбка исчезла. Отец Рубо нащупывал почву.

— У вас есть дети?

— Прежде я хотела, а теперь — нет. И я рада, что их нет.

— А мать?

— Есть.

— Она вас любит?

— Да. — Ее ответы были едва слышны.

— А брат? Впрочем, он мужчина… А сестры есть у вас?

Она ответила дрожащим кивком.

— Моложе вас? Намного?

— На семь лет.

— А об этом вы хорошо подумали? Да, об этом. О вашей матери подумали? О сестре подумали? Она стоит сейчас на пороге своей женской жизни, и этот ваш дикий поступок может значить для нее очень много. Могли бы вы подойти к ней сейчас? Смотреть в ее молодое, свежее лицо, взять ее руку в свои или прижаться к ней щекой?

Его слова вызывали в ее мозгу яркие живые образы, и наконец она вскрикнула: «Не надо, не надо!» — и отшатнулась, как собака, которая

хочет избежать плетки.

— Но вы должны же прямо посмотреть на это все; и лучше сейчас, чем после.

В глазах его, которых она не могла видеть, была большая жалость, но на лице, напряженном и нервном, не было и тени снисхождения. Она подняла голову от стола, удерживая слезы, и старалась овладеть собой.

— Я уйду. Они не увидят меня никогда. И в конце концов забудут меня. Я буду для них все равно что мертвая. И… и я уйду с Клайдом… сегодня уйду.

Казалось, что это был конец. Уартон выступил вперед, но священник остановил его движением руки.

— Вы хотите иметь детей?

Молчаливое «да».

— И молились о них?

— Часто.

— А вы подумали, что будет, если у вас будут дети, теперь?

На мгновение глаза отца Рубо остановились на человеке у окна.

Свет радости промелькнул по ее лицу. Потом она почувствовала сразу всю тяжесть того, что произойдет сейчас. Она с отчаянием подняла

руку, но он продолжал:

— Можете вы представить невинного младенца у себя на руках? Мальчика! Свет отнесется мягче к девочке. Подумайте, ведь у вас у самой молоко превратится в желчь! И вы сможете быть гордой и счастливой своим мальчиком и будете спокойно смотреть на других детей?..

— О пощадите! Молчите!

— Несчастный козел отпущения за…

— Не надо! Не надо! Я вернусь. — Она упала на пол у его ног.

— Вот вырастет ваше дитя без одной дурной мысли, и когда-нибудь кто-нибудь грязно бросит ему в лицо самое любимое имя…

— Боже, Боже!

Она билась на полу. Священник вздохнул и помог ей подняться. Уартон бросился к ней, но она его остановила.

— Не подходите ко мне, Клайд. Я ухожу.

Слезы струились по ее лицу, и она не старалась вытереть их.

— После всего? Ты не уйдешь. Я не пущу тебя.

— Не трогай меня. — Она задрожала и отступила.

— Нет, я не оставлю тебя! Ты моя! Слышишь, моя! — Потом он зарычал на священника: — О,

какой же я был дурак, что дал вам распустить ваш глупый язык! Благодарите вашего Бога, что вы не простой смертный, а то бы я… Вы хотели воспользоваться привилегией своего сана. Ну что ж, воспользовались! А теперь уходите из моего дома. Слышите, а то я забуду, кто вы и что вы.

Отец Рубо поклонился, взял за руку Грэс и направился к двери.

Но Уартон загородил им дорогу.

— Грэс, ты сказала, что любишь меня.

— Да, сказала.

— А теперь?

— И теперь говорю.

— Повтори еще раз.

— Я люблю вас, Клайд, я вас люблю.

— Слыхали, вы там? — закричал он. — И с такими-то словами на губах вы пошлете ее назад, на вечную ложь и вечную муку с этим человеком?!

Но отец Рубо неожиданно втолкнул женщину в соседнюю комнату и запер дверь.

— Ни слова! — прошептал он Уартону, опустившись на стул в небрежной позе. — Помните, ради нее!

Вся комната вздрогнула от резкого удара в дверь; потом щеколда поднялась, и вошел Эдвин Бентам.

— Моей жены не видали? — спросил он после обмена приветствиями.

Оба отрицательно покачали головами.

— Ее следы спускаются от хижины вниз, — продолжал он испытующе. — И потом они обрываются на большой дороге, как раз против вас.

Его слушатели были как на иголках.

— И вот я… я подумал…

— Она была здесь! — загремел Уартон.

Священник взглядом заставил его замолчать.

— Вы видели ее следы до самой хижины, сын мой? — Хитрый отец Рубо: он очень старательно затоптал все следы, когда шел по тропинке час тому назад.

— Я не останавливался, не смотрел… — Его глаза глядели подозрительно на дверь, ведущую в другую комнату. Потом они вопросительно обратились к священнику. Отец Рубо покачал головой отрицательно, но сомнения, по-видимому, не рассеялись.

Тогда священник прошептал тихую, короткую молитву и поднялся.

— Если вы сомневаетесь, ну что же… — Он сделал вид, что хочет открыть дверь.

Священник не мог лгать. Эдвин Бентам часто слышал это и верил этому.

— Нет, отец, разумеется, нет! — возразил он поспешно. — Я только не понимал, куда это ушла жена, и подумал, что, может быть… Вернее всего, она у мистрис Стэнтон на Френч-Гёлче. Какая славная погода, не правда ли? А новости слышали? Мука упала до сорока долларов за сто кило, и говорят, «че-ча-квас'ы» целыми стадами отправились за ней вниз по реке. Ну мне пора. До свидания.

Дверь захлопнулась, и из окна видно было, как он направился на Френч-Гёлч.

…Несколько недель спустя, как раз после июньского половодья, два человека ехали в челноке по середине реки. Они нагнали плывущую ель и привязали к ней лодку. Это помогало парусу и увеличивало его слабую силу, как какой-нибудь буксир. Отец Рубо решил оставить верховье реки и вернуться в Минуук, к своей черной пастве. К ним пришли белые люди, и теперь они оставили даже рыбную ловлю и отдавали слишком много времени некоему божеству, временное жилище которого было в бесчисленных черных бутылках. У Мельмута Кида тоже были кое-какие дела на низовье, и потому они путешествовали вместе.

Только один человек на всем Севере знал

Павла Рубо — не отца Рубо, — и это был Мельмут Кид. Только перед ним снимал священник свою официальную одежду и обнажал свою душу. И почему бы нет? Эти два человека достаточно знали друг друга. Разве не делили они между собой последний кусок рыбы, последнюю щепотку табаку, последнюю и самую интимную мысль на пустынных пространствах Берингова моря, в мучительном лабиринте Большой Дельты, на ужасном зимнем пути от мыса Барроу до Паркюпайны?

Отец Рубо молчаливо дымил своей изношенной в путешествиях трубкой и смотрел на красный круг солнца, темневший дымным пятном на самом краю северного горизонта. Мельмут Кид вынул часы. Была полночь.

— Ладно, старый друг! — Кид, очевидно, продолжал прерванный разговор. — Бог, разумеется, простит эту ложь. Вот вам слова человека, который хорошо сказал о *лжи*:

> *Если губы ее сказали хоть слово, помни, что на твоих –*
>
> *печать молчания.*
>
> *И пятно позора на том, кем выдана тайна.*

Если Гервард тяжко, и самая черная ложь прояснит его горе, –

Лги, пока движутся твои губы и пока хоть один человек остался

в живых, чтобы слушать твою ложь…

Отец Рубо вынул трубку изо рта и подумал вслух:

— Твой автор говорит правду, но не это мучит мою душу. Ложь или раскаяние — это зависит от Бога. Но все-таки, все-таки…

— Что все-таки? Ваши руки чисты…

— Не совсем, Кид, я много думал об этом, и факт остается фактом. Я знал — и все-таки заставил ее вернуться.

Звонкая песнь реполова донеслась с лесистого берега; вдали откликнулась куропатка; олень шумно фыркал, купаясь.

А два человека курили трубки и молчали.

Мудрость снежной тропы

Ситка Чарли совершил невозможное. Быть может, другие индейцы не хуже его постигли мудрость снежной тропы, но он один постиг мудрость белого человека — честь тропы и ее закон. Однако это далось ему не в один день. Мозги туземцев туги на обобщения, и необходимо, чтобы факты повторялись часто, пока явится настоящее понимание. Ситка Чарли с детства постоянно вращался среди белых и мужественно решил связать свою судьбу с ними, раз навсегда отрезав себя от своего народа. Но, уважая и даже обоготворяя могущество белых, он еще не разгадал самой его сущности — чести и закона. И только в результате опыта, накопленного годами, уразумел эту сущность. Чужак — он знал ее даже лучше, чем сами белые. Индеец — он совершил невозможное.

Из этого родилось у него презрение к собственному своему народу, — презрение, обычно им скрываемое, но теперь вырвавшееся наружу в виде вихря многоязычных ругательств, сыпавшихся на головы Ка-Чукти и Гоухи. Они ползали перед ним, как пара ворчащих овчарок, слиш-

ком трусливых, чтобы напасть, но недостаточно утерявших свою волчью природу, чтобы спрятать клыки. Они были некрасивы, как, впрочем, и сам Ситка Чарли. Лица их были очень худы, а скулы — усеяны безобразными струпьями; струпья эти то трескались, то снова замерзали на сильном морозе; а глаза их сверкали мрачным блеском, порожденным голодом и отчаянием. Люди, находящиеся по ту сторону границы чести и закона, не заслуживают доверия. Ситка Чарли знал это; поэтому-то он еще десять дней тому назад заставил их бросить ружья вместе с остальным лагерным скарбом. Ружья остались только у него и у капитана Эпингуэлла.

— Марш! Развести огонь! — скомандовал он, вынимая драгоценную коробку спичек и неразлучные с нею полоски сухой березовой коры.

Оба индейца угрюмо принялись за работу и стали собирать сухие ветки и валежник. Они были слабы, часто останавливались и, наклоняясь, ловили себя на бесцельных движениях или, спотыкаясь, ковыляли к месту костра, причем колени их стучали друг о дружку, как кастаньеты. После каждой принесенной охапки индейцы приостанавливались, словно от полного бессилия или смертельной усталости. Порой глаза их

принимали выражение терпеливого стоицизма и глухого страдания; а затем, казалось, «я» снова вспыхивало в них и как бы разражалось диким криком: «Я, я, я жить хочу!» — доминирующей[31] нотой всего одушевленного мира.

Легкий ветерок дохнул с юга, щипля неприкрытые части их тел, и вгонял мороз огненными иглами в их кости сквозь меха и мышцы. Поэтому, когда огонь разгорелся и на снегу оттаял влажный круг, Ситка Чарли заставил своих упиравшихся товарищей помочь ему в установке прикрытия. То было примитивное сооружение — обыкновенное одеяло, натянутое параллельно костру с наветренной стороны и наклоненное под углом приблизительно в сорок пять градусов. Это одеяло преграждало путь холодному ветру и направляло тепло назад и вниз на тех, кто должен был сгрудиться под его защитой. Затем они набросали ложе из зеленых сосновых веток, чтобы тела их не приходили в соприкосновение со снегом. Когда эта работа была закончена, Ка-Чукти и Гоухи принялись за свои ноги. Обледенелые мокасины страшно износились от долгого путешествия, и острый лед береговых откосов изрезал

[31] Сноски: 31
Доминирующий — преобладающий, господствующий.

их в клочья. Сивашские носки были в таком же состоянии; когда они оттаяли и были сняты с ног, пальцы — почти все изуродованные — рассказали несложную сказку снежной тропы.

Оставив их обоих за просушкой обуви, Ситка Чарли повернул назад по той же дороге, по какой пришел. У него тоже было сильное желание присесть у огня и расправить болевшие члены, но честь и закон не позволяли. Он с трудом подвигался по замерзшему полю; каждое движение вызывало протест, каждый мускул оказывал сопротивление. Там, где вода между откосами берегов затянулась коркой, ему несколько раз приходилось мучительно ускорять движения, когда хрупкий грунт под его ногами угрожающе колебался. В таких местах смерть приходила легко и быстро. Но он отнюдь этого не хотел.

Нараставшее беспокойство Ситки исчезло, когда над одной из излучин реки появились два индейца. Они спотыкались и стонали, как люди, обремененные тяжелой ношей; а между тем мешки на их спинах весили всего несколько фунтов. Ситка стал горячо их расспрашивать, и ответы, по-видимому, ободрили его. Он поспешил дальше. Вслед за индейцами шли двое белых, с двух сторон поддерживая женщину. Они тоже

двигались как пьяные, и члены их дрожали от утомления. Но женщина лишь слегка опиралась на них, стараясь подвигаться вперед собственными силами. При виде ее лицо Ситки Чарли озарилось мгновенной вспышкой радости. Он питал большое уважение к мистрис Эпингуэлл. Он видал много белых женщин, но эта была первая, которая путешествовала с ним по снежной тропе. Когда капитан Эпингуэлл объяснил ему рискованное предприятие и предложил плату за услуги, он задумчиво покачал головой; ибо речь шла о неизведанном пути через унылые пустыни Севера, и он предвидел, что это будет одно из тех путешествий, в каких человек подвергается наибольшим испытаниям. Но когда он узнал, что жена капитана собирается сопровождать их, он начисто отказался от какого бы то ни было участия в этом деле. Будь это женщина его племени, ему было бы безразлично… Но эти женщины с юга… нет, нет, они были слишком мягки, слишком нежны для таких предприятий.

Ситка Чарли не знал этого рода женщин. За пять минут перед тем ему и не снилось, что он возьмет на себя руководство экспедицией; но когда она пришла к нему со своей дивной улыбкой, со своей прямой и ясной английской речью

и заговорила о деле, не упрашивая и не уговаривая, он немедленно согласился. Будь в ее глазах слабость, просьба о сожалении либо желание использовать прерогативы[32] своего пола, он остался бы тверже стали. Но ее ясные глаза и ясно звенящий голос, ее полная откровенность и молчаливое утверждение равенства — все это лишило его всякого благоразумия. В тот момент он почувствовал, что перед ним — женщина нового сорта. И еще раньше, чем они стали товарищами по путешествию, он понял, почему сыновья таких женщин покоряют землю и море и почему сыновья его соплеменниц не могут устоять против них. Мягкая и нежная! День за днем он наблюдал за ней, усталой, изможденной, но неукротимой, и неустанно ему слышались эти слова: мягкая и нежная! Он знал, что ее ножки были рождены для ровных тропинок и земель, осиянных солнцем, что не знали они грубых мокасин Севера, что их не целовали леденящие губы мороза. И он с изумлением глядел, как они целыми днями без устали и без отдыха были в движении.

Всегда у нее находилась улыбка и ободряющее слово; в них она не отказывала даже последнему

---

[32] Сноски: 32

Прерогативы — преимущественные права, предоставленные одному лицу, учреждению или государству.

носильщику. По мере того как дорога становилась труднее и глуше, она, казалось, все крепла и набиралась новой силы. А когда Ка-Чукти и Гоухи (которые хвастались, будто им известна всякая отметинка на этой дороге, как ребенку — кожаные полосы своего «тепи») наконец признались, что не знают, где находятся, она подала голос милосердия среди мужских проклятий. Она пела им в тот вечер до тех пор, пока они не почувствовали, что усталость свалилась с них и что они готовы встретить будущее с надеждой. А когда появился недостаток в пище и каждая скудная порция ревниво отмеривалась, она восстала против всех махинаций своего мужа и Ситки Чарли, требуя и получая такой же паек, как и остальные — не больше и не меньше.

Ситка Чарли гордился своим знакомством с этой женщиной. Что-то новое и неизведанное вошло в его жизнь благодаря ее присутствию. До тех пор он сам себе был хозяином, поворачивался направо или налево без чьей-либо указки; он сформировал свой характер, следуя только своим импульсам, воспитал свое мужество, не считаясь ни с чем, кроме своей воли. Теперь же он впервые почувствовал, что кто-то извне воззвал к его лучшим чувствам. Один только одобрительный

взгляд ясных глаз, одно благодарное слово ясно звенящего голоса, одно легкое движение улыбчивых губ — и он шел много часов в блаженном опьянении. Это было новым стимулом для его мужества; ибо в первый раз в жизни он сознательно гордился своим знанием снежной тропы. Они вдвоем все время ободряли падавших духом товарищей.

Лица обоих мужчин и женщин просияли, когда они заметили его, так как, в конечном счете, он был тем посохом, на который они опирались. Но Ситка Чарли — по своему обыкновению твердый, — скрывая страдание и радость под железной невозмутимостью, спросил о состоянии остальных, осведомил их о расположении костра и продолжал свой обратный путь. Вслед за тем он встретил одного индейца, без ноши, прихрамывающего, со сжатыми губами и с глазами, отражающими боль. В его ноге жизнь вела безнадежный бой со смертью. Для него было сделано все возможное, но в последний момент слабый и неудачливый должен погибнуть; и Ситка Чарли видел, что индейцу оставалось жить лишь несколько дней. Долго продержаться он не мог, и Чарли сказал ему несколько суровых, но ободряющих слов. Затем следовали еще два индейца,

на которых он возложил обязанность помогать Джо — четвертому белому члену экспедиции. Они покинули его. Ситка Чарли одним взглядом угадал по коварно затаенной упругости их движений, что они в конце концов сбросили с себя его власть. Поэтому он не был застигнут врасплох, когда в ответ на приказание вернуться на поиски покинутого он увидел блеск охотничьих ножей, выхваченных из ножен. Жалкое зрелище: трое истомленных людей, бросающие свои последние силы в лицо могучей Пустыни. Но двое отступили под свирепыми ударами прикладом и вернулись, как побитые собаки — к своре. Два часа спустя, ведя под конвоем Джо и сопутствуемые Ситкой Чарли, замыкавшим шествие, они подошли к огню, где остальные члены экспедиции сгрудились под прикрытием навеса.

— Несколько слов, товарищи, прежде чем мы ляжем спать, — сказал Ситка Чарли, после того как они проглотили свои скудные порции пресного хлеба. Он говорил с индейцами на их языке, предварительно сообщив белым суть своей речи. — Несколько слов, товарищи, для вашего же блага, чтобы вы могли остаться в живых. Я дам вам закон. Каждый, кто его нарушит, — умрет. Повинен в этом будет только он один. Мы

миновали Холмы Молчания и сейчас идем по верховьям Стюарта. Быть может, через одну, а не то — через несколько ночевок, во всяком случае, в свое время, мы доберемся до Юкона, где у людей есть много пищи. Поэтому будем лучше соблюдать закон. Сегодня Ка-Чукти и Гоухи, которым я приказал прокладывать след, позабыли, что они мужчины, и убежали, как трусливые дети. Правда, они забыли — забудем и мы. Но впредь пусть помнят! А если случится, что они опять забудут, то…

Он небрежным, но угрожающим жестом схватился за ружье.

— Завтра они будут нести муку и следить за тем, чтобы белый человек Джо не оставался лежать на дороге. Чашки муки сосчитаны. Если к вечеру окажется недохватка хотя бы в одну унцию… Поняли? Были сегодня и другие забывчивые. Оленья Голова и Тройной Лосось бросили белого человека Джо в снегу. Пусть больше не забывают. С рассветом они пойдут вперед и будут прокладывать след. Итак, вы знаете закон… Смотрите же в оба, чтобы его не нарушить!

Ситка Чарли был не в силах сохранить сомкнутую линию. От Оленьей Головы и Тройного Лосося, пролагавших след впереди, до Ка-Чукти,

Гоухи и Джо линия растянулась на милю с лишним. Все они спотыкались, падали и отдыхали как угодно. Все они напрягали последние остатки сил, влачились вперед, пока силы не истощались. Каждый раз, как человек падал, он был твердо убежден, что больше не встанет. И все же он подымался снова и снова. Воля побеждала, и тело подчинялось ей; но каждая победа превращалась в трагедию. Индеец с отмороженной ногой уже полз вперед на коленях. Он редко отдыхал, так как знал, какой штраф взыскивает мороз. Даже губы мистрис Эпингуэлл под конец застыли в каменной улыбке, и глаза ее глядели, ничего не видя. Часто она останавливалась, прикладывая к сердцу руку в перчатке; голова ее кружилась, и она тяжело дышала.

Белый человек Джо перешагнул предел страданий. Он больше не просил, чтобы его оставили в покое, не молил о смерти. Он был спокоен и доволен в своем безболезненном и бредовом состоянии. Ка-Чукти и Гоухи грубо тащили его вперед, причем на долю его выпадало немало свирепых взглядов и пинков. Им это казалось венцом справедливости. Сердца их были горьки от ненависти, тяжелы от страха. Почему они должны отягощать свою силу его слабостью?

Ведь это была смерть. А если нет… они помнили о законе Ситки Чарли и о ружье. По мере того как день угасал, Джо стал все чаще падать; и так трудно становилось его поднимать, что они все больше и больше отставали. Порой они все трое валились в снег — так утомлены были индейцы. А между тем на спинах их была и жизнь, и сила, и тепло. Мешки с мукой заключали в себе всю их жизненную потенцию. Они не могли не думать об этом, и в том, что произошло, не было ничего удивительного.

Люди свалились подле бурелома, где тысячи ярдов хвороста как бы сами просили спички. Рядом во льду была прорубь. Ка-Чукти посмотрел на дерево и на воду; то же сделал и Гоухи; а затем они посмотрели друг на друга. Ни одного слова не было произнесено. Гоухи зажег огонь, Ка-Чукти наполнил небольшую кружку водой и согрел ее. Джо разглагольствовал о вещах из иного мира на непонятном для них языке. Они намешали муки в горячую воду, пока не получилась густая жижица, и выпили много кружек этого напитка. Джо они не угощали; но его это не трогало. Его вообще ничто не трогало, даже его мокасины, дымившиеся среди угольев догоравшего костра.

Кристальная снежная завеса падала вокруг

них, мягко лаская и закутывая их в тесно облегающие белые одежды. И теперь их ноги могли бы еще протоптать много следов, если бы судьба не отнесла тучи в сторону и воздух снова не стал бы прозрачен. Десятиминутная отсрочка могла бы их спасти. Но Ситка Чарли, оглянувшись назад, увидел колонку дыма, поднимавшуюся над костром… и догадался. Он взглянул вперед на тех, кто был надежен, и на мистрис Эпингуэлл.

— Итак, мои добрые товарищи, вы опять позабыли, что вы мужчины. Хорошо. Очень хорошо. Будет меньше животов, требующих корма.

С этими словами Ситка Чарли снова завязал мешок с мукой и взвалил его на спину поверх своей собственной ноши. Он расталкивал Джо до тех пор, пока боль не прорвалась сквозь блаженство бедняги и не подняла его на нетвердые ноги. Затем он вытолкнул его на тропу и указал ему направление. Оба индейца попытались улизнуть.

— Стой, Гоухи! И ты также, Ка-Чукти! Или мука дала твоим ногам столько силы, что они могут опередить быстрокрылый свинец? Не думайте, что вы сумеете обмануть закон. Будьте мужчинами хоть напоследок и радуйтесь, что умираете с полным брюхом. Марш! Прислонитесь спиной к дереву, плечом к плечу. Ну, марш!

Оба спокойно повиновались, ибо только будущее пугает человека, а не настоящее.

— У тебя, Гоухи, есть жена и дети и юрта из оленьей кожи в земле Чиппева. Какова твоя последняя воля на этот счет?

— Дай ты ей то, что принадлежит мне, как сказал капитан, — простыни, бусы, табак и коробку, издающую странные звуки, по обычаю белых людей. Скажи, что я умер на тропе, но не говори как.

— А ты, Ка-Чукти, у которого нет ни жены, ни ребенка?

— У меня есть сестра, жена фактора в Кошиме. Он бьет ее, и она несчастна. Дай ты ей то, что мое по контракту, и скажи ей, что ей хорошо бы вернуться к своему племени. Если ты встретишь ее мужа, помни: убить его было бы добрым делом. Он бьет, а она боится.

— Рады ли вы умереть по закону?

— Рады.

— Тогда прощайте, мои добрые товарищи. Да воссядете вы перед полными горшками в теплых юртах, прежде чем угаснет день!

С этими словами он поднял ружье, и многократное эхо разбило молчание. Едва оно замолкло, как другие ружья заговорили в отдалении. Ситка

Чарли вздрогнул. Выстрел был не один; а ведь в экспедиции было еще только одно ружье. Он бросил беглый взгляд на людей, лежавших так спокойно; странно и злобно улыбнулся над мудростью снежной тропы… и поспешил навстречу людям с Юкона.

Жена короля

I

В старину, когда Север был еще молод, социальные и гражданские добродетели были немногочисленны и весьма просты. Когда бремя домашних забот становилось слишком тягостным и тихая грусть у камелька превращалась в непрерывный протест против мрачного одиночества, южные искатели приключений, за неимением лучшего, платили установленную цену и взамен получали туземных жен. Для женщин это было как бы предвкушением царствия небесного, так как — надо отдать справедливость белым проходимцам — они лучше обращались с женами и больше заботились о них, чем их краснокожие соперники. Белые, конечно, тоже были довольны такого рода сделкой; радовались и индейцы. Продав своих дочерей и сестер за шерстяные одеяла и устаревшие ружья, променяв свои теплые меха на тонкий коленкор и дрянной виски, дети природы скоро и беззаботно умирали от истощения и иных заболеваний, связанных с благодатью высшей цивилизации.

Во дни этой аркадской простоты Кол Галбрэт странствовал по тем местам и заболел на низовьях реки. Это было освежающим событием в жизни добрых сестер Святого Креста, которые дали ему убежище и лекарство, хотя им и не снилось, какой горячий эликсир вливается в его жилы от прикосновения их мягких рук и от нежного ухода. Кола Галбрэта стали волновать странные мысли, не покидавшие его, пока он не остановил своих взоров на Мэдилайн, одной из барышень Миссии. Однако он ничем не выдавал себя и терпеливо выжидал удобный момент. С наступлением весны он окреп и, когда солнце пустилось в небесах по золотому кругу, а по всей стране расплескалась радость и забилась жизнь, он напряг свое еще слабое тело и уехал.

Мэдилайн — барышня в Миссии — была сиротой. Ее белый отец однажды не уступил дороги серому медведю и незамедлительно умер. Тогда мать ее, индеанка, за неимением мужчины, который бы наполнил ее кладовую на зиму, пустилась на рискованный эксперимент и решилась переждать до движения лососей с пятьюдесятью фунтами муки и двадцатью пятью солонины. Вскоре маленькая Чук-Ра появилась на свет с помощью добрых сестер и должна была впо-

следствии носить другое имя.

Но у Мэдилайн все же еще были родные, ближайшим из коих считался забулдыга-дядя, разрушавший свои жизненные силы непомерным количеством привезенного белыми людьми виски. Каждый день он пытался вознестись в обитель богов, и, сообразно этому, ноги его искали кратчайшего пути к могиле. В трезвом виде он испытывал ужасные муки. Совести у него не было. Вот к этому-то престарелому прощелыге и явился Кол Галбрэт с официальным визитом, и в последовавшем затем разговоре они извели много слов и много табаку. Были произнесены взаимные обещания, и в результате старый язычник захватил несколько фунтов сухой лососины, сел в свое каноэ из березовой коры и поплыл по направлению к Миссии Святого Креста.

Свету не дано знать, какие обещания он дал и что именно он наврал (сестры ведь никогда не сплетничают), но, когда он возвращался, на его черноватой груди висело медное распятие, а в каноэ сидела его племянница Мэдилайн. В ту же ночь была отпразднована пышная свадьба и потлач, так что в следующие два дня никто в деревне не ловил рыбы. Но уже наутро после свадьбы Мэдилайн отрясла с мокасин своих прах

низовьев реки и вместе со своим супругом, отпихиваясь баграми, перебралась на жительство к верховьям, в местность, именуемую Лоуэр-Коунтри. И во все последующие годы она была хорошей женой, делила с мужем все тяготы и варила ему пищу. Она не позволяла ему сбиться с пути, пока он не научился копить золотой песок и упорно работать. Наконец он разбогател и построил барак в Сёркле; и так велико было его счастье, что люди, навещавшие его в семейном кругу, сильно ему завидовали.

Но Север начинал входить в возраст, и появились прелести цивилизации. До сих пор Юг посылал только своих сыновей; теперь же он изрыгнул новое нашествие — дочерей. Они не были ни сестрами, ни женами, но им удалось вбить мужчинам в головы новые идеи и наладить строй всей жизни согласно своим собственным привычкам. Туземные женщины уже не сходились для плясок, не кружились с шумом по центральной площади в добром старом Вирджиниа-риле и не наслаждались веселым «Дэн Тэккером». Они снова впали в свой национальный стоицизм и жалобно наблюдали из бараков за нравами белых сестер.

Затем новое нашествие последовало через горы

с плодоносного Юга. На этот раз появились женщины, получившие большую власть в стране. Слово их было законом; а закон их был стальным. Они сурово относились к женам-туземкам, в то время как первые пришелицы смягчились и вели себя тихо. Нашлись трусы, которые устыдились своего сожительства с дочерьми этой страны и стали глядеть с отвращением на своих темнокожих детей; но были и другие — были мужчины, которые остались верными и гордились своими туземными браками. Когда вошло в обычай разводиться с женами-туземками, Кол Галбрэт сохранил свое мужское достоинство и за это почувствовал на себе тяжелую руку женщин, позже всех пришедших, меньше всех знавших, но управлявших страной.

В один прекрасный день Эппер-Коунтри, которая лежит много выше Сёркла, была объявлена богатой местностью. Собачьи упряжки возвестили об этом Соленым Водам. Нагруженные золотом суда повезли приманку по Тихому океану; кабели и провода пели об этом; и мир впервые услышал про реку Клондайк и побережья Юкона.

Кол Галбрэт спокойно жил все эти годы. Он был для Мэдилайн хорошим мужем, и она принесла ему благословение. Но затем им овладело какое-

то недовольство. Он испытывал смутную тоску по людям своего племени, по жизни, из которой был исключен, неопределенное, порой охватывающее человека желание порвать со всем и снова вкусить зарю жизни. А между тем вниз по реке шли дикие слухи о чудесном Эльдорадо, яркие описания города, палаток и землянок и комические рассказы про разных «че-ча-квас'ов», прибывавших массами и ставивших вехи по всей стране. Сёркл вымер. Все ушли вверх по реке и образовали новый и удивительный мир.

Кол Галбрэт в конце концов тоже забеспокоился и пожелал убедиться собственными глазами. Поэтому после промывки он отвесил на больших весах Компании две сотни фунтов песку и взял чек на Даусон. Затем он поручил надзор за своим рудником Тому Диксону, поцеловал на прощание Мэдилайн, обещал вернуться до первого ледохода и взял билет на пароход.

Мэдилайн ждала, прождала все три месяца, пока светило солнце. Она кормила собак, уделяла много времени маленькому Колу, смотрела, как умирало короткое лето и как солнце пустилось в свой далекий путь к Югу. Она много молилась, по обычаю сестер Святого Креста. Темные дни наступили, а с ними появилась и ледяная кора

на Юконе, и короли Сёркла возвращались на зимнюю работу в рудниках, но Кола Галбрэта не было. Правда, Том Диксон получил письмо: его люди привезли ей на санках новый запас сухой сосны на зиму. И Компания получила письмо, ибо собачьи упряжки привезли для кладовых Мэдилайн самую лучшую провизию, причем Компания уведомила, что ее кредит неограничен.

Во все времена мужчина считался главной причиной женских страданий. Мужчины держали язык за зубами, поругивая лишь одного из своих отсутствующих собратьев; что же касается женщин, они не думали им в этом подражать. Поэтому Мэдилайн без излишних проволочек услыхала странные вести о похождениях Кола Галбрэта и, между прочим, о некоей греческой танцовщице, которая будто бы играет с людьми, как дети с куклами. Мэдилайн же была индеанкой, и у нее не было ни одной подруги, у которой бы она могла спросить разумного совета. Она поочередно то молилась, то строила какие-то планы. Но однажды ночью она решилась, запрягла собак и, крепко привязав к саням маленького Кола, тайком выбралась из города.

Хотя Юкон еще не был закован, однако береговой лед все нарастал, и с каждым днем река

все больше превращалась в мутный ручеек. Только тот, кто сам это проделал, может знать, что вынесла Мэдилайн во время перехода в сто миль по береговому льду; никто другой не поймет тех трудностей и мучений, с какими она преодолела еще двести миль по крепкому льду, образовавшемуся после того, как река замерзла по-настоящему. Но Мэдилайн была индеанкой; со всем этим она справилась, и вот однажды вечером раздался стук в дверь Мельмута Кида. Кид накормил свору изголодавшихся собак, уложил спать здорового мальчугана и затем обратил свое внимание на истомленную женщину. Стягивая с нее обледенелые мокасины, он слушал ее рассказ и покалывал острием ножа ее ноги, чтобы узнать, до какой степени они отморожены.

Несмотря на исключительную мужественность Мельмута Кида, душа его была мягка и женственна; благодаря этому он мог завоевать доверие рычащего волкодава либо исторгнуть исповедь из самого холодного сердца. Но не он этого искал. Сердца сами раскрывались перед ним, как цветы перед солнцем. Известно было, что сам отец Рубо исповедовался ему; а мужчины и женщины Северной земли непрерывно стучались к нему в дверь — в дверь, у которой щеколда никогда

не закладывалась. По мнению Мэдилайн, он не мог поступить неправильно или ошибиться. Она знала его с того самого времени, как связала свою судьбу с народом своего отца; и ее полудикому уму представлялось, что в нем сосредоточилась мудрость всех веков, что между его прозорливостью и будущим не могло быть преграждающей завесы.

Вся страна жила ложными идеалами. Общественное мнение Даусона не совпадало с воззрениями более ранней эпохи, и быстрый расцвет Севера таил в себе много нехорошего. Мельмут Кид видел это и знал насквозь Кола Галбрэта. Он знал также, что поспешность — мать всех зол, а кроме того, собирался дать хороший урок и пристыдить этого человека. Поэтому в ближайший вечер были призваны на совет Стэнли Принс, молодой рудничный эксперт, и Джек Харрингтон Счастливый со своей скрипкой. В ту же ночь Бэттлс, который многим был обязан Мельмуту Киду, запряг собак Кола Галбрэта, привязал к санкам Кола Галбрэта-младшего и канул в темноту, направляясь к реке Стюарт.

II

— Так! Раз-два-три, раз-два-три. Теперь обратно. Нет, нет! Начинай снова, Джек. Смотрите — вот так!

Принс показывал па, как человек, способный руководить котильоном[33].

— Итак: раз-два-три, раз-два-три. Назад! Ага! Вот так уже лучше. Попробуйте снова. Знаете, вы не должны глядеть себе под ноги. Раз-два-три, раз-два-три. Шаги помельче! Ведь вы не идете с шестом за собаками! Повторите еще раз. Вот так! Так и надо. Раз-два-три, раз-два-три.

Принс и Мэдилайн кружились и кружились в нескончаемом вальсе. Стол и стулья были отодвинуты к стене, чтобы увеличить пространство. Мельмут Кид сидел на скамье, подперев коленями подбородок, и с большим интересом наблюдал. Подле него сидел Джек Харрингтон, пиликал на скрипке и следил за танцорами. Это обучение тремя мужчинами одной женщины создавало единственную в своем роде ситуацию. Самой патетической чертой обучения был, без сомнения,

---

[33] Сноски: 33

Котильон — старинный танец. Состоит из кадрили, между фигурами которой вставляют другие танцы: мазурка, вальс, полька.

тот деловой вид, с которым они его выполняли. Ни одного атлета для поединка, ни одну овчарку для запряжки не тренировали так упорно, как ее. Но они работали с хорошим материалом, ибо Мэдилайн, в противоположность большинству женщин своей расы, не приходилось в детстве носить большие тяжести и работать на снежных тропах. Вдобавок она была хорошо сложена и стройна, как ива, и обладала большой грацией, которой до сих пор никто не замечал. Вот эту-то грацию трое мужчин и старались подчеркнуть и оформить.

— Беда в том, что ее учили танцевать шиворот-навыворот, — бросил Принс сидящим на скамье, после того как усадил на стол свою запыхавшуюся ученицу. — Она быстро усваивает, но все-таки я мог бы достигнуть большего, если бы она никогда в жизни не протанцевала ни одного па. Но объясни мне, Кид: я не могу понять вот этого…

Принс повторил своеобразное движение плеч и головы, которое портило походку Мэдилайн.

— Ее счастье, что она была воспитана в Миссии, — отвечал Мельмут Кид. — Нагрузка, знаешь… и таскание тяжестей на голове… Другим индеанкам тяжко приходится. Но она не ходила под ношей, пока не вышла замуж, да и тогда толь-

ко в первое время. Видела и она плохие времена с этим своим супругом; они вместе пережили голод на Сороковой Миле.

— Сумеем ли мы эту привычку вытравить?

— Не знаю. Быть может, помогут продолжительные прогулки с тренерами. Во всяком случае, чего-нибудь можно будет достигнуть, не правда ли, Мэдилайн?

Она утвердительно кивнула головой. Если Мельмут Кид, который все знает, говорит это, — значит, так и есть. Это было все, что она знала.

Она подошла к ним, горя желанием начать снова. Харрингтон осматривал ее так внимательно, словно лошадь на ярмарке. По-видимому, зрелище было не безнадежно, ибо он спросил, внезапно заинтересованный:

— Что же получил этот ваш оборвыш-дядя?

— Одно ружье, одно одеяло, двадцать бутылок «хуча». Ружье поломанное. — Она произнесла это с досадой, как будто ей было обидно, что ее девичество было так низко оценено.

Она хорошо говорила по-английски, подражая в говоре своему мужу, но все же чувствовался индейский акцент — злоупотребление странными гортанными звуками. Ее инструкторы взялись даже за исправление этого недостатка, и не без

успеха.

Скоро Принс обнаружил новое обстоятельство.

— Говорю тебе, Кид, — сказал он, — она не может выучиться танцевать в мокасинах. Наденьте ей на ноги туфли, а тогда — с Богом на паркет… Фью!

Мэдилайн подняла ногу и с сомнением оглядела свой бесформенный мокасин домашней работы. В прежние зимы, как в Сёркле, так и на Сороковой Миле, она не одну ночь протанцевала в такой обуви, и тогда это не возбуждало никаких нареканий. Но теперь… теперь, если что-нибудь было не так, об этом должен был знать Мельмут Кид, а не она.

А Мельмут Кид действительно знал и, кроме того, обладал верным взглядом. Поэтому он надел фуражку и варежки и спустился с холма, чтобы нанести визит мистрис Эпингуэлл. Ее муж Клов Эпингуэлл — крупный государственный чиновник — считался важным лицом в городе. Однажды, на губернаторском балу, Кид обратил внимание на ее стройную маленькую ножку. Зная, что она столь же умна, как и красива, он не затруднился попросить ее о небольшом одолжении.

После его возвращения Мэдилайн на несколько

минут исчезла в смежной комнате. Когда она появилась вновь, Принс был ошеломлен.

— Клянусь Юпитером! — пролепетал он. — Кто бы мог подумать. Маленькая волшебница! Однако, сестрица…

— Английская женщина, — прервал его Мельмут Кид, — с английской ножкой. Эта девушка происходит от расы с маленькими ступнями. Мокасины только расширили ее ноги, но она не обезобразила их в детстве беготней за собаками.

Но это объяснение не сумело унять восторгов Принса. Коммерческий инстинкт Харрингтона был задет за живое, и, глядя на очаровательную форму ступни и сгиба, он мысленно повторял возмутительный список: «Одно ружье, одно одеяло, двадцать бутылок хуча».

Мэдилайн была женой короля — короля, на чьи желтые сокровища можно было купить два десятка разодетых по моде кукол. И все же ее ноги никогда не знали другой обуви, кроме красной дубленой оленьей кожи. Сначала она с опаской оглядывала изящные туфельки из белого шелка; но она быстро поняла чисто мужское восхищение, какое светилось в глазах у мужчин. Лицо ее озарилось гордостью: на одно мгновение она была опьянена своим женским очарованием;

но затем она пробормотала с возрастающим презрением:

— А ружье поломанное…

Тренировка продолжалась. Ежедневно Мельмут Кид уводил ее гулять, чтобы исправить походку и укоротить шаг. Узнать ее едва ли могли, ибо Кол Галбрэт и остальные старожилы были словно затерянные дети в толпе чужаков, наводнивших страну… А кроме того, у северного мороза острое жало, и нежные южные женщины, для защиты своих щек от его поцелуев, предпочитали носить парусиновые маски. С закрытым лицом и телом, укутанным в беличью парку, мать и дочь могли бы встретиться на узкой тропинке и друг друга не узнать.

Учение подвигалось вперед. Вначале медленно, но затем неожиданно пошло быстрее. Началось это с того момента, когда Мэдилайн примерила белые шелковые туфли и, так сказать, обрела самое себя. В это мгновение она впервые стала гордиться своим ренегатом-отцом, независимо от того чувства достоинства, какое могло у нее быть. До сих пор она считала себя женщиной-чужеземкой низшей породы, взысканной милостями своего повелителя. Муж казался ей богом, который вознес ее, без всяких особых заслуг с ее

стороны, на свою божественную высоту. Но она никогда не забывала (даже после рождения маленького Кола), что она не принадлежит к его народу. Подобно тому, как он был богом, женщины его племени были богинями. Она могла себя им противопоставлять, но никогда с ними себя не сравнивала. Быть может, близкое знакомство рождает презрение. Как бы то ни было, она наконец поняла этих непоседливых белых людей и взвесила их на правильных весах. Конечно, сознательно проанализировать она не могла, но все же в таких вопросах обладала чисто женской чуткостью. В тот вечер — с туфлями — она оценила внезапное, откровенное восхищение своих трех друзей; и впервые в жизни сравнение напрашивалось само собой. Речь шла, правда, только о ступне и сгибе, но… но сравнение, естественно, не могло остановиться на этом пункте. Она судила о себе по мерке своих белых сестер, пока их божественность не оказалась поколебленной. В конце концов, ведь они были только женщинами. Так почему же ей не подняться до их уровня? При этом она узнала, чего ей недостает, и из сознания своих слабостей выросла ее сила. Так упорно добивалась она своего, что ее три учителя часто до глубокой ночи удивлялись вечной тайне

женственности.

Между тем приближались святки. Через неровные промежутки времени Бэттлс посылал с реки Стюарт вести о здоровье маленького Кола. Скоро они должны были уже вернуться. Не раз случайный посетитель, услыхав плясовую музыку и ритмическое притоптывание, входил в дом, но заставал только пиликающего Харрингтона и остальных двух друзей, отбивающих такт или шумно спорящих из-за спорного па. Мэдилайн никто никогда не видел, так как она вихрем убегала в смежную комнату.

В один из таких вечеров Кол Галбрэт ввалился в дом.

Только что пришли утешительные вести с реки Стюарт, и Мэдилайн превзошла самое себя не только в отношении походки, движений и грации, но и в женском лукавстве. Они затеяли остроумную словесную дуэль, и она блестяще защищалась; затем, поддаваясь временному опьянению своей силой, она кокетничала с ними, покоряла и увлекала. И инстинктивно они преклонились не перед ее красотой, умом или остроумием, а перед чем-то невыразимо женственным, чему мужчина покоряется, но чего он не умеет назвать. Комната сотрясалась от

смеха и топота, когда они с Принсом кружились; Харрингтон выводил самые невероятные фиоритуры, в то время как Мельмут Кид, окончательно предоставленный самому себе, ухватил метлу и предавался безумному круговращению на свой риск и страх.

В этот момент дверь затряслась от сильного стука, и их быстрые взгляды заметили отодвигание засова. Но они уже пережили немало таких случаев. Харрингтон не оборвал ни одной ноты. Мэдилайн стрелой вылетела через открытую дверь во внутреннюю комнату.

Метла с шумом полетела под лавку; и в тот самый момент, когда Кол Галбрэт и Луи Савуа просунули свои головы в дверь, Мельмут Кид и Принс, обнявшись, кружились по всей комнате в диком шотландском вальсе.

Вообще говоря, индейские женщины не имеют привычки падать в обморок, но Мэдилайн была теперь ближе к обмороку, чем когда-либо в жизни. Целый час она просидела, сгорбившись, на полу, слушая тяжелые голоса мужчин, то нараставшие, то ниспадавшие, словно гром. Как знакомые ноты слышанных в детстве мелодий, струились ей в душу все переливы голоса мужа, волнуя сердце и заставляя колени дрожать, пока

она в полуобморочном состоянии не прислонилась к двери. Хорошо, что она не видела и не слышала его ухода.

— Когда думаете вы вернуться в Сёркл? — просто спросил Мельмут Кид.

— Я еще мало думал об этом, — отвечал тот. — Полагаю, что не раньше ледохода.

— А Мэдилайн?

При этом вопросе Кол покраснел и быстро опустил глаза. Мельмут Кид мог бы почувствовать к нему презрение, если бы меньше знал людей. Но теперь в нем все возмущалось против жен и дочерей, которые явились в эту землю и, не довольствуясь тем, что узурпировали места туземок, вселяли нечистые помыслы в головы мужчин и покрывали их позором.

— Я думаю, что ей хорошо живется, — поспешно отвечал король из Сёркла и добавил, как бы извиняясь: — Я, знаете, поручил охрану своих интересов Тому Диксону; и он следит за тем, чтобы она получала все, что ей нужно.

Мельмут Кид положил свою ладонь на его руку и внезапно прервал его речь. Они вышли из дому. Над их головами северное сияние с пышной расточительностью щеголяло своими изумительными красками. У ног их расстилался сонный

город. Где-то далеко собака подала одинокий голос. Король опять заговорил, но Кид сжал его руку, приглашая к молчанию. Звуки умножились. Одна за другой собаки подхватывали лай, и, наконец, многоголосый хор заполнил ночной воздух. Тому, кто впервые слышит эту колдовскую песню, впервые открывается величайшая тайна Севера. Для того же, кто слышал ее, она звучит, как торжественный погребальный звон над потраченными усилиями. В ней — плач истязаемых душ, ибо в нее внедрилось наследие Севера, страдание неисчислимых поколений, напоминание живым и реквием по заблудшим овцам человечества.

Кол Галбрэт слегка вздрогнул, когда лай стал замирать, переходя в полуподавленные всхлипывания. Кид ясно читал его мысли и вместе с ним переживал все тяжелые дни невзгод и голодовок; и с ним же была терпеливая Мэдилайн, разделявшая страдания и опасности, никогда не отчаиваясь, никогда не жалуясь. Сетчатка его ума трепетала от целой вереницы картин, суровых и отчетливых; а десница Прошлого тяжелыми перстами сжала его сердце. Это был психологический момент. Мельмут Кид совсем уже был готов пойти со своей последней карты и выиграть

игру; но урок пока еще был бы слишком слаб, и он решил переждать. Минуту спустя они пожали друг другу руки, и украшенные бусами мокасины короля, скрипя вниз по холму, вызывали громкие протесты словно оскорбленного снега.

Мэдилайн в своем оцепенении мало походила на то шаловливое существо, чей смех за час перед тем был так заразителен и чей живой румянец и блестящий взгляд на время заставили ее учителей позабыть обо всем. Слабая и бессильная, сидела она в кресле, в том же положении, в каком усадили ее Принс и Харрингтон. Мельмут Кид сердился. Так никогда ничего не выйдет. Когда придет момент свидания с супругом, она должна повести дело уверенно. Было совершенно необходимо, чтобы она проделала все на манер белых женщин, иначе победа окажется вовсе не победой. Поэтому он говорил с нею сурово, не смягчал выражений и посвящал ее в слабости своего пола, пока она не поняла, что мужчины, в сущности, простофили, а слово женщины для них — закон.

За несколько дней перед праздником Мельмут Кид вторично посетил мистрис Эпингуэлл. Она быстро произвела смотр своим дамским тряпкам, нанесла продолжительный визит товарному

отделению Компании и вернулась вместе с Мельмутом Кидом, чтобы познакомиться с Мэдилайн.

Затем наступил период, какого барак еще никогда не переживал. Во время кройки, примерки, приметывания, шитья и бесчисленных других удивительных и неведомых операций мужчины-заговорщики почти всегда выгонялись вон. В такие дни бар раскрывал перед ними свои двойные, укрепленные против ветра двери. Все трое так часто наклонялись друг к другу и пили так много странных тостов, что зеваки уже учуяли запах неведомых россыпей, скрывающих неисчислимые богатства. И всем было известно, что несколько че-ча-квас'ов и по крайней мере один старожил держали свое снаряжение наготове, позади стойки бара, готовые бежать по их следам в любой момент.

Мистрис Эпингуэлл была способной женщиной. Поэтому, когда она вернула Мэдилайн ее воспитателям в самый день праздника, та оказалась настолько изменившейся, что они даже испугались. Принс накинул на нее одеяло с Гудзонова залива, отдав комический реверанс, — впрочем, скорее настоящий, чем притворный; а Мельмут Кид, ведя ее под руку, почувствовал, как тяжело ему будет играть свою привычную роль ментора.

Харрингтон, у которого список покупок все еще не выходил из головы, тащился в арьергарде и ни разу в течение всей дороги до города не открывал рта. Когда они подошли к заднему входу бара, они сняли с плеч Мэдилайн одеяло и расстелили его на снегу. Выбравшись из мокасин Принса, она прошла по одеялу в новых шелковых туфельках. Маскарад был во всем разгаре. Она колебалась, но они толкнули дверь и ввели ее внутрь. Затем сами обежали кругом, чтобы войти через главный вход.

III

— Где Фреда? — спрашивали старожилы, в то время как «че-ча-квас'ы» столь же энергично вопрошали, кто такая Фреда. Имя ее, точно жужжание, наполняло бальный зал. Оно было у всех на устах. Седеющие «парни из кислого теста» (поденные работники на приисках, гордые своим званием) либо смотрели покровительственно на щеголеватых неженок и красноречиво лгали — ведь эти «парни из кислого теста» специально созданы для того, чтобы играть в мяч с истиной, — либо бросали на них дикие взгляды, полные возмущения по поводу их невежества. Около сорока королей с верховьев и низовьев

состязались между собой; каждый считал, что находится на верном пути, и подкреплял свою догадку желтым песком своего королевства. Пришлось дать помощника весовщику, на котором лежала тяжелая обязанность взвешивать мешки, в то время как несколько игроков, державших в руках законы Фортуны, записывали ставки и определяли фаворитов.

Которая же была Фреда? Раз за разом казалось, что греческая танцовщица обнаружена, но каждое открытие вносило панику в круг игроков и приводило к бешеной регистрации все новых и новых ставок со стороны тех, кто хотел себя обеспечить. Мельмут Кид заинтересовался состязанием, тем более что его приход был встречен бурными возгласами кутил, знавших его за настоящего парня. Кид хорошо разбирался в походке и умел узнавать голоса; его выбор пал на чудесное создание, искрившееся в костюме «Северного сияния». Но гречанка была слишком хитра даже для его прозорливости. Большинство охотников за золотом, по-видимому, высказывалось за «Русскую боярышню», которая была самой грациозной во всем зале, а потому не могла быть никем иным, кроме Фреды Молуф.

Во время кадрили разразилась буря восторга.

Наконец-то ее открыли! На прежних балах, во время grand-rond[34], Фреда исполняла неподражаемое па, с ей одной доступной вариацией. Когда объявили эту фигуру, «Русская боярышня» выполнила это единственное в своем роде ритмическое движение. Целый хор возгласов («я же вам говорил!») потряс могучие стропила крыши… как вдруг заметили, что «Северное сияние» и еще одна маска, под названием «Дух Полюса», исполнили па так же хорошо. А когда два близнеца, «Собаки солнца» и «Королева мороза», сделали то же, весовщику дали еще одного помощника.

Бэттлс ворвался прямо со снежной тропы в самый разгар возбуждения и налетел на них, как зимний ураган. Его оттаявшие брови превратились в водопады: его обледенелые усы, казалось, были унизаны бриллиантами и отражали свет радужными лучами; а пляшущие ноги скользили по льдинкам, приставшим к его мокасинам и немецким носкам. Северный танец — нечто совершенно непринужденное, ибо люди со снежных троп и приисков потеряли всякую разборчивость, если она когда-либо у них была. Только в высшем чиновничьем кругу

---

[34] Сноски: 34
Хоровод, круг.

условности еще сколько-нибудь соблюдались. Здесь же кастовые различия потеряли всякое значение. Миллионеры и нищие, погонщики собак и полисмены брались за руку с «дамами из центра» и кружились в хороводе, выкидывая самые замечательные коленца. Примитивные в своих удовольствиях, буйные и неотесанные, они проявляли не грубость, а скорее неуклюжее рыцарство, столь же подлинное, как и самая утонченная вежливость, и неловко ухаживали за своими дамами. В поисках греческой танцовщицы Кол Галбрэт устроил так, чтобы попасть в одну группу с «Русской боярышней», на которую пало всеобщее подозрение. Но после того как он протанцевал с ней один круг, он готов был побиться об заклад на все свои миллионы не только о том, что она не Фреда, но и о том, что рука его когда-то уже лежала на ее талии. Где и когда — этого он сказать не мог. Но интригующее чувство чего-то знакомого так его мучило, что он обратил все свои старания на выяснение ее личности. Мельмут Кид, по его мнению, сделал бы лучше, если бы ему в этом помог, вместо того чтобы пригласить «Боярышню» на несколько туров и говорить ей что-то серьезное заглушенным голосом. Но усерднее всех ухаживал за «Русской

боярышней» Джек Харрингтон. Один раз он отвел Кола Галбрэта в сторону, принялся строить самые дикие догадки относительно того, кто она такая, и утверждал, что он выиграет. Это раззадорило короля Сёркла, ибо мужчина по природе своей — не одноженец, и он позабыл сразу о Мэдилайн и о Фреде для новых поисков.

Вскоре распространилась весть, что «Русская боярышня» — не Фреда Молуф. Интерес возрастал. Дело становилось загадочным. Они знали Фреду, хоть и не могли ее найти. Здесь же было нечто, что они нашли, но чего не знали. Даже женщины не могли ее распознать; а они знали каждую хорошую танцорку в городе. Многие принимали ее за даму из чиновничьего круга, решившуюся на безумную эскападу[35]. Некоторые утверждали, что она исчезнет перед тем, как начнут снимать маски. Другие были в такой же мере уверены, что это репортерша канзасской газеты «Звезда», приехавшая описать их за девяносто долларов со столбца. А весовщики неустанно работали.

В час ночи все пары собрались в зале. Маски стали снимать среди взрывов веселья и смеха,

---

[35] Сноски: 35
Эскапада — неразумный, рискованный поступок.

точно в толпе беззаботных детей. Не было конца охам и ахам, когда поднималась маска за маской. «Северное сияние» оказалось коричневой негритянкой, доход которой от стирки белья достигал пятисот долларов в месяц. Близнецы «Собаки солнца» обнаружили усы на своих верхних губах и были опознаны: они оказались братьями — владельцами крупных приисков на Эльдорадо. Медленнее других размаскировалась пара — Кол Галбрэт и «Дух полюса». Напротив них стоял Джек Харрингтон с «Русской боярышней». Все уже сняли маски, а греческой танцовщицы все еще не было. Все взоры обратились на эту группу. Кол Галбрэт в ответ на крики толпы поднял маску своей дамы. Прекрасное лицо и блестящие глаза Фреды засияли перед ними. Поднялась буря, но скоро утихла благодаря захватывающей таинственности «Русской боярышни». Ее лицо все еще было закрыто, и Джек Харрингтон боролся с ней. Танцоры от возбужденного ожидания хихикали и поднимались на цыпочки. Он резко дернул ее за изящную маску, и тогда… тогда раздался взрыв негодования со стороны веселящихся. Над ними подшутили. Они протанцевали весь вечер

с туземкой, на которой лежало табу[36].

Но те, кто ее знал (а их было немало), быстро положили этому конец, и в зале воцарилось молчание. Кол Галбрэт подошел к Мэдилайн большими шагами и сердито заговорил с ней на чинукском жаргоне. Но она сохранила свое спокойствие, по-видимому позабыв о том, что явилась мишенью всех взглядов, и отвечала ему по-английски. Она не выказывала ни страха, ни гнева, и Мельмут Кид трясся от удовольствия при виде ее светской уравновешенности. Король чувствовал, что он зло высмеян, разбит наголову; его вульгарная сивашская жена переросла его.

— Пойдем, — наконец сказал он. — Пойдем домой!

— Извини, — отвечала она, — но я обещала поужинать вместе с мистером Харрингтоном. А кроме того, ведь и танцы еще не кончились.

Харрингтон предложил ей руку, чтобы увести ее. Она выказывала явное намерение повернуть супругу спину; а в это время Мельмут Кид придвинулся ближе. Король Сёркла был огорошен. Дважды его рука протянулась к поясу, и дважды Кид наклонялся, готовясь к прыжку. Но уходящая

---

[36] Сноски: 36

Табу — запрет, запрещение известных действий.

пара безопасно добралась до двери в столовую, где устрицы продавались по пяти долларов за порцию. Толпа вздохнула, разбилась на пары и последовала за ними. Фреда надулась и вошла в столовую вместе с Колом Галбрэтом. Но у нее было доброе сердце и хорошо подвешенный язык, и она стала раскрывать для него устрицы. Что она говорила — это неважно. Но его лицо попеременно то бледнело, то краснело, и он несколько раз свирепо выругал самого себя.

В столовой поднялся настоящий содом от криков и шума, но сразу прекратился, когда Кол Галбрэт подошел к столу своей жены. С момента, когда маски были сброшены, многие держали пари на кругленькие суммы, чем все это кончится. Все наблюдали с интересом, затаив дыхание. Голубые глаза Харрингтона были спокойны, но под свисавшей скатертью на коленях у него покоился «смит-вессон». Мэдилайн подняла глаза случайно, без всякого любопытства.

— Могу я… могу я просить вас на следующий танец? — пролепетал король.

Жена короля бросила взгляд на свое карнэ[37] и

[37] Сноски: 37

Маленькая записная книжка. Для буржуазных балов иногда изготавливаются специальные карнэ с расписанием танцев. В таком карнэ дамы делают отметки об их приглашении на тот или иной танец.

кивнула головой.

Северная одиссея

I

Сани пели свою вечную жалобную песню вместе со скрипом сбруи и дребезжанием колокольчика вожаков; но люди и собаки были утомлены и не издавали ни звука. Тропа была покрыта свежевыпавшим снегом. Они уже отъехали далеко, а между тем собаки, нагруженные камнеподобными кусками замороженной оленины, упорно прижимались к непротоптанной поверхности и не отставали с чисто человеческим упрямством. Тьма уже спускалась, но нечего было и думать о разбивке лагеря на эту ночь. Снег мягко падал сквозь неподвижный воздух не хлопьями, а мелкими замерзшими кристаллами изящной формы. Было очень тепло, не больше десяти градусов ниже нуля, и люди чувствовали себя хорошо. Мейерс и Бэттлс подняли наушники, а Мельмут Кид снял варежки.

Собаки уже днем были утомлены; но теперь они стали обнаруживать новую силу. Самые коварные из них стали проявлять какое-то беспокойство и протестовать против уз упряжки.

Они сопели, навострили уши и злились на своих более флегматичных братьев, подгоняя их многочисленными легкими укусами в зад. Те, словно дети, заражались их беспокойством и помогали распространять эту заразу дальше. Наконец вожак передних саней испустил резкий радостный крик, глубже вошел в снег и налег на ошейник. Остальные собаки последовали за ним. Постромки натянулись, санки понеслись вперед, а люди напирали на шесты и ускоряли бег, чтобы не попасть под ноги вьючных псов. Утомления целого дня словно и не было, и они стали криками подгонять собак. Животные отвечали радостным лаем. Они неслись сквозь сгущавшуюся тьму шумным галопом.

«Джи! джи!» — кричали люди по очереди, когда их сани, наклоняясь, как корабли под ветром, свернули с тропы.

Затем — еще пробег в сто ярдов до затянутого пергаментом, освещенного окна, которое рассказывало свою сказку о родной хижине, о потрескивании юконской печки и дымящихся котелках с чаем. Но хижина подверглась нашествию. Около шестидесяти собачьих глоток зарычало угрожающим хором, и столько же мохнатых тел бросилось на собак, везших первые

сани. Дверь распахнулась, и человек, одетый в пурпурную форму северо-западной полиции, по колено вошел в гущу рассвирепевших животных, спокойно рассыпая успокоительные удары тяжелым концом хлыста. После этого люди пожали друг другу руки; таким образом Мельмут Кид был встречен в своей собственной хижине чужим человеком.

Стэнли Принс, который должен был его встретить — а на нем лежала обязанность заботиться об упомянутой выше юконской печи и горячем чае, — хлопотал вокруг гостей. Их было что-то около дюжины, совершенно неописуемая толпа, едва ли не самая странная, когда-либо служившая королеве для охраны законности и перевозки почты. Все они были самого различного происхождения, но совместная жизнь создала из них единый тип — тип сухой и жилистый, с мускулами, развившимися на снежных тропах, с обожженными лицами и невозмутимыми душами, глядевшими прямо вперед ясным и неуклонным взором. Они ездили на собаках королевы, вселяли страх в душу ее врагов, ели ее скудный рацион — и были счастливы. Они жили подлинной жизнью, совершали подвиги, переживали романтические приключения, сами

о том не зная.

И чувствовали они себя совсем как дома. Двое из них растянулись на койке Мельмута Кида, распевая песенки, которые пели их французские предшественники в те дни, когда они впервые вступили на Северо-Западную землю и женились на индианках. Койка Бэттлса подверглась такому же нашествию, и три-четыре дюжих voyager'а[38] уместились с ногами на его одеялах, слушая рассказ одного, который служил в речной бригаде под начальством Уолслея, когда тот пробивал себе путь в Хартум. А когда он кончил, один ковбой стал рассказывать о дворах и королях, о лордах и леди, которых он видел, когда Бэффало-Билль совершал турне по европейским столицам.

В углу двое метисов — бывшие товарищи по проигранной кампании — чинили сбрую и говорили о временах, когда Северо-Запад горел огнем восстания и Льюсис Риль был королем.

Грубые остроты и еще более грубые шутки летели от одного к другому, а о великих опасностях на тропах и реках говорили как о вещах обыденных, только для того, чтобы вспомнить о каком-нибудь юмористическом замечании или

---

[38] Сноски: 38
Вояжер — путешественник, пассажир.

забавном происшествии. Принс увлекся этими неувенчанными героями, свидетелями того, как делалась история людьми, которые принимали все великое и романтическое как слишком обычное и повседневное. Он угощал их своим драгоценным табаком с беспечной расточительностью, и падали ржавые цепи с воспоминаний, и воскрешались, специально для него, давно забытые одиссеи[39].

Когда разговор замер и путники, набив последние трубки, развернули туго скрученные спальные мешки, Принс обратился к своему товарищу за дальнейшими справками.

— Кто такой ковбой — ты знаешь, — отвечал Мельмут Кид, принимаясь за развязывание своих мокасин. — Нетрудно также обнаружить британскую кровь в его соседе по постели. Что же касается остальных, то все они — дети прежних coureurs du bois[40], смешанных с Бог знает сколькими другими кровями. Те двое у двери принадлежат к поколению метисов времени

---

[39] Сноски: 39

Одиссеи — в переносном смысле: путешествия, исполненные приключений. «Одиссея» — эпическая поэма древнегреческого поэта Гомера, описывающая странствия и приключения Улисса (Одиссея).

[40] Сноски: 40

Лесные бродяги, лесные охотники.

усмирения — так называемые bois brulés[41]. Этот парень, опоясанный шерстяным шарфом — обрати внимание на его брови и скулы, — явный шотландец, выросший в дымном «тэни» своей матери. А тот красивый малый, что подложил куртку под голову, — это французский метис, ты слышал его говор? Видишь ли, когда метисы восстали под предводительством Риля, тогда чистокровки держались в стороне, и с тех пор они недолюбливают друг друга.

— Но что представляет собой этот мрачный парень там у печки? Я готов поклясться, что он не говорит по-английски. Он весь вечер не раскрывал рта.

— Ошибаешься: он достаточно знает по-английски. Следил ли ты за его глазами, когда он слушал? Я следил. Но остальным он ни сват ни брат. Когда они говорили на своем patois[42], можно было видеть, что он ничего не понимает. Я и сам ума не приложу, кем бы он мог быть. Давай попытаемся узнать.

— Подбросьте-ка парочку поленьев в печку! — крикнул Кид, возвысив голос и глядя прямо на

---

[41] Сноски: 41
Горящие леса.

[42] Сноски: 42
Patois — провинциальное наречие, народный жаргон.

того, о ком шла речь.

Тот немедленно повиновался.

— В него где-то вколотили дисциплину, — заметил Принс тихо.

Мельмут Кид кивнул головой, снял носки и стал пробираться к человеку, лежавшему у печки. Там он повесил свою влажную обувь среди двух десятков таких же пар.

— Когда думаете вы прибыть в Даусон? — спросил он испытующе.

Человек несколько мгновений изучал его, прежде чем ответить.

— Говорят, семьдесят миль. Так? Ну, стало быть, дня через два.

Можно было заметить только весьма слабый иностранный акцент, но не было ни неуверенности, ни нехватки в словах.

— Бывали вы прежде в этих местах?

— Нет.

— Северо-Западная территория?

— Да.

— Родились там?

— Нет.

— Ну так где же, черт возьми, вы родились? Вы не из этих? — Мельмут Кид показал жестом на всех погонщиков и на обоих полисменов, улег-

шихся на койке Принса. — Откуда вы взялись? Я видел такие лица, как ваше, но никак не могу припомнить где.

— Я знаю вас, — сказал тот вместо ответа, переводя разговор на другое.

— Каким образом? Видали меня когда-нибудь?

— Нет. Ваш товарищ, тот священник, в Пэстилике, много времени тому назад… Он спросил меня, видал ли я вас — Мельмута Кида. Он дал мне пищу. Слышали вы от него обо мне?

— О! Вы тот парень, который обменял шкурки выдры на собак?

Человек кивнул головой, вытряхнул свою трубку и показал свое нежелание продолжать беседу тем, что завернулся в свой мех. Мельмут Кид погасил жировую лампу и полез под одеяло, рядом с Принсом.

— Ну! Кто же он такой?

— Не знаю. Каким-то образом замял разговор и замкнулся, как раковина. Но все же это парень, достойный твоего любопытства. Я слыхал о нем. Все побережье дивилось на него лет восемь тому назад. Есть в нем, знаешь, что-то таинственное. Он пришел с Севера в середине зимы, пройдя много миль вдоль Берингова моря, и спешил так, точно дьявол гнался за ним по пятам. Никто

не слыхал, откуда он пришел, но, должно быть, он явился издалека. Он был страшно истомлен, когда получил пищу от шведского миссионера в Заливе Головина, и осведомился о дороге на юг. Мы слышали об этом после. Затем он покинул береговую полосу и направился прямо через Нортон-Сунд. Ужасная погода, снежные бураны и сильные ветры; но он пробрался там, где тысяча других не могла не погибнуть. Он пропустил стоянку Св. Михаила и добрался до Пэстилика. Потерял все, кроме двух собак, и почти умирал от голода.

Он так спешил дальше, что отец Рубо снабдил его провизией; но он не мог дать ему собак, ибо сам только и ждал моего приезда, чтобы отправиться в путь. Мистер Улисс был слишком умен, чтобы пуститься в дорогу без животных, и рыскал по окрестностям в течение нескольких дней. У него в санях лежал тюк великолепно выделанных шкурок выдры, — знаешь, морской выдры, которая идет на вес золота.

В Палестине жил своего рода старый Шейлок[43], русский купец, у которого было несколько

[43] Сноски: 43

Шейлок — главное действующее лицо комедии Шекспира «Венецианский купец». Имя Шейлока сделалось нарицательным для обозначения алчного ростовщика, неумолимого кредитора.

собак, годных для живодерни. Торговались они недолго, но когда чужак снова отправился на юг, перед ним бежала большая свора собак. Мистер Шейлок приобрел шкуры. Я видел их. Они были великолепны. Мы вычислили и определили, что он заработал на собаках не меньше пятисот долларов за каждую. И это не потому, что иностранец не знал цен на морскую выдру; он — индеец особого сорта, и немногое сказанное им показывает, что он повертелся среди белых.

После того как лед сошел с морских берегов, пришла весть с острова Нунивака, что он заезжал туда за провиантом. Затем он исчез из виду, и теперь я впервые за восемь лет слышу о нем. Итак, откуда он приехал? И что там делал? И почему оттуда уехал? Он — индеец; был он неизвестно где; он научился дисциплине, необычной для индейца. Вот еще одна загадка Севера, которую тебе предстоит разгадать, Принс.

— Большое спасибо. Но у меня и без того довольно дела, — отвечал тот.

Мельмут Кид уже заснул и тяжело дышал; а молодой горный инженер вперил взор прямо в темноту и ждал того странного возбуждения, которое всегда приходило перед тем, как он впадал в забытье. И когда он наконец заснул, его мозг

продолжал работать, и он, по своему желанию, тоже совершал путь сквозь белую неизвестность, пробивался вместе с собаками по бесконечным тропам и видел людей, живущих, трудящихся и умирающих, как и подобает людям.

На следующее утро, за несколько часов до зари, погонщики и полисмены двинулись в Даусон. Но власти, следящие за интересами ее величества и управляющие судьбами самых незначительных ее подданных, не дали почтарям отдохнуть. Через неделю они появились на реке Стюарт, нагруженные письмами для Соленых Вод. Собаки их, правда, были заменены свежими; но все же это были только собаки.

Люди надеялись на какое-нибудь убежище, где бы они могли отдохнуть. Кроме того, Клондайк был новой частью Севера, и им хотелось хоть краем ока взглянуть на Золотой Город, где драгоценный песок струился рекой и танцевальные залы чуть не рушились от непрерывных кутежей. Но они сушили свои носки и курили вечерние трубки с тем же увлечением, как и при первом посещении, только кое-кто из более дерзких носился с мыслью о дезертирстве и возможности перейти через неисследованные Скалистые горы на восток, а там по долине реки Мэкензи достиг-

нуть знакомой местности около Чипеуайэна. Двое-трое даже решили вернуться к себе домой по этой дороге, когда истечет срок их службы. И они принялись строить планы на будущее, обдумывая это рискованное предприятие, как горожанин обдумывал бы воскресную прогулку за город.

Человек со шкурками выдры казался очень взволнованным, хотя почти не принимал участия в дискуссии; наконец он отвел в сторону Мельмута Кида и некоторое время говорил с ним шепотом. Принс бросал в их сторону любопытные взоры, но тайна еще более сгустилась, когда оба они надели шапки и варежки и вышли за дверь. Когда они вернулись, Мельмут Кид поставил на стол весы, отвесил шестьдесят унций золота и переложил их в мешок чужеземца. Затем к ним присоединился начальник погонщиков, и с ним заключили какую-то сделку. На следующий день отряд ушел вверх по реке, но человек с выдрами захватил несколько фунтов провизии и повернул назад в сторону Даусона.

— Я не знал, что мне делать, — сказал Мельмут Кид в ответ на расспросы Принса. — Бедняга по той или иной причине хотел бросить службу, по-видимому, это было для него весьма важно,

хотя он и не говорил, в чем дело. Видишь ли, это так же, как в армии: он подписал контракт на два года, и единственное средство избавиться — это откупиться. Он не мог дезертировать и затем жить тут, а ему почему-то приспичило остаться в этой местности. Он сказал, что решился на это, когда попал в Даусон. Но никто его не знает, у него нет ни цента за душой, и я — первый человек, с которым он перемолвился словом. Поэтому он переговорил с вице-губернатором и условился с ним на тот случай, если он получит от меня денег… взаймы, понимаешь. Он сказал, что уплатит в течение года и, если я захочу, поведет меня на богатейшее место. Он его еще не видал, но знает, что оно богатое.

Вот поди ж ты! Когда он вышел со мною на двор, он чуть не плакал. Клянчил и уговаривал, ползал передо мною по снегу, пока я его не поднял; болтал как сумасшедший. Клялся, что он добивался этой цели много-много лет и теперь не может вынести разочарования. Я спрашивал, какая это цель; но он не хотел говорить. Он сказал, что они могут перевести его на другой участок санного пути, так что он попадет в Даусон только через два года, а тогда будет слишком поздно. Никогда в жизни не видал, чтобы человек так вел себя. А когда я

согласился помочь ему, то мне опять пришлось тащить его из снега. Я велел ему смотреть на это как на продовольственный вклад в его дело. Ты думаешь, он согласился на это? Нет, сударь! Он клялся, что отдаст мне все, что найдет; сделает меня богаче, чем может вообразить самый жадный человек… и тому подобные пустяки. Обычно человеку, который вкладывает свою жизнь и свой труд взамен материального вклада, очень трудно бывает расстаться даже с половиной того, что он нашел. За этим что-то скрывается, Принс; заметь себе это. Мы еще услышим о нем, если он останется в здешних местах…

— А если не останется?

— Тогда мое добродушие будет посрамлено, и я потеряю шестьдесят с лишним унций.

Вместе с долгими ночами пришла и стужа, и солнце начало свою старую игру в прятки вдоль южной снеговой линии, прежде чем пришли какие-либо вести о вкладе Мельмута Кида.

Но вот в одно темное утро, в начале января, тяжело нагруженная собачья запряжка подкатила к его хижине на низовьях реки Стюарт. Человек с выдрами явился, а рядом с ним шел другой — из тех, способ отливки которых боги теперь уже позабыли. Люди никогда не говорили о смелости

и удаче, чтобы не назвать имени Акселя Гундерсона; ни один рассказ у лагерного костра о силе, выдержке и отваге не обходился без упоминания о нем. А когда разговор начинал угасать, его снова раздували рассказами о женщине, которая делила с ним судьбу.

Как уже замечено, при создании Акселя Гундерсона боги вспомнили свою прежнюю сноровку и сработали его по типу тех людей, которые рождались во дни молодости вселенной. Ростом в семь футов, он возвышался, подобно башне, в своем живописном костюме, сразу обличавшем в нем короля Эльдорадо. Грудью, шеей и конечностями он напоминал исполинов. Для того чтобы выдержать триста английских фунтов его костей и мускулов, лыжи его должны были быть на добрый ярд длиннее, чем у прочих людей. Лицо его, грубо обтесанное, с наморщенным лбом и массивными скулами, с немигающими бледно-голубыми глазами, само рассказывало о человеке, не знавшем никакого другого закона, кроме закона силы. Покрытые ледяными инкрустациями волосы его, цвета спелой ржи, точно дневным светом озаряли ночь и волною падали на его медвежью куртку. Морской навык смутно чувствовался в его походке, когда он спускался

по узкой тропе, перегоняя собак; и он ударил рукоятью хлыста в дверь Мельмута Кида, словно северный морской король во время набега на южные земли, властно требующий пропуска в замок.

Принс засучил рукава на своих женственных руках и месил кислое тесто, непрестанно бросая взгляды на трех гостей — таких гостей, какие вряд ли еще когда-либо приходили под чей-нибудь кров. Чужеземец, которого Мельмут Кид прозвал Улиссом, все еще интриговал его; но главный его интерес теперь сосредоточивался на Акселе Гундерсоне и его жене. На ней отразился день, проведенный в пути, ибо она изнежилась в уютных хижинах с тех пор, как ее муж разбогател, и теперь она устала. Она отдыхала, прислонившись к его огромной груди, как стройный цветок к стене, лениво отвечая на добродушное подшучивание Мельмута Кида и приводя кровь Принса в странное волнение случайным взглядом своих глубоких темных глаз. Ибо Принс был молод и здоров и долгие месяцы почти не видел женщин. А она была старше его, и к тому же индеанка. Но она не походила на тех туземных женщин, с какими он встречался: она много путешествовала, побывала, между прочим, и в его городе; как

он понял из разговора, знала много из того, что знали женщины его расы, и еще много такого, чего они, естественно, знать не могли. Она могла состряпать блюдо из провяленной на солнце рыбы или устроить постель на снегу; а наряду с этим мучила их танталовыми муками[44], подробно рассказывая о тонких обедах, и вызывала странную тоску в их желудках упоминанием о некоторых яствах, которые почти изгладились у них из памяти. Она знала нравы северного оленя, медведя и маленького голубого песца, а также разных амфибий[45] северных морей. Она искусилась в мудрости лесов и потоков, и повесть, начертанная людьми, птицами и зверями на нежной корочке снега, была для нее открытой книгой; и при всем том Принс мог уловить одобрительное подмигивание, когда она прочла устав лагеря. Эти правила были сочинены неистощимым Бэттлсом в те времена, когда кровь еще кипела; они отличались своей изящной простотой и юмором. Принс всегда поворачивал их

[44] Сноски: 44

Тантал — царь лидийский. По греческой мифологии, был обречен Зевсом на нестерпимые муки жажды и голода. Стоя по горло в воде, он не мог достать воды, а видя на берегу роскошные плоды, не мог овладеть ими...

[45] Сноски: 45

Амфибии — земноводные, имеющие легкие и жабры.

к стене перед приходом дам. Но кто мог ожидать, что эта туземная женщина… Ну да теперь уже было поздно.

Так вот какова была жена Акселя Гундерсона, женщина, чье имя и слава прошли по всему Северу рука об руку со славою ее мужа! За столом Мельмут Кид поддразнивал ее с фамильярностью старинного приятеля, а Принс тоже отбросил робость первого знакомства и присоединился к нему. Но она сумела постоять за себя в неравном бою, в то время как ее муж, более тугой на соображение, только одобрял ее. Он очень гордился ею: каждый взгляд его и каждое движение обнаруживали, какое важное место в его жизни она занимает.

Человек с выдрами ел молча; в веселой схватке о нем позабыли, и задолго до того, как другие поели, он встал из-за стола и вышел на двор к собакам. Вскоре и его товарищи по путешествию натянули свои перчатки и парки и последовали за ним.

Снег не шел в течение многих дней, и сани скользили по хорошо утоптанной тропе к Юкону, точно по гладкому льду. Улисс вел первые сани; со вторыми шли Принс и жена Акселя Гундерсона, а Мельмут Кид с желтокудрым гигантом

гнали третью запряжку.

— Это только попытка, Кид, — сказал Аксель, — но я думаю, что здесь будет дело. Он никогда там не был, но рассказывает правдоподобную историю; он показал мне старую карту, о которой я слышал, когда был в Хутенэ много лет назад. Я хотел, чтобы вы пошли с нами; но он странный человек и поклялся, что просто-напросто бросит все к черту, если еще кто-нибудь войдет в дело. Когда я вернусь, я вам первому дам весть и поставлю вашу веху рядом с моей, а кроме того, возьму вас в половинную долю при постройке поселка.

— Нет! Нет! — воскликнул Аксель, когда Кид попытался прервать. — Я веду это дело, и, когда вернусь, мне потребуется два ума. Если все пойдет гладко, это будет второй Крипль-Крик. Слышите, дружище? Второй Крипль-Крик! Это не песчаный прииск, понимаете, а кварц, и если мы будем правильно его разрабатывать, мы его используем весь, миллион за миллионом. Я и прежде слыхал об этом месте; и вы тоже слыхали. Мы построим город… тысячи рабочих… хорошие водные пути… пароходные линии… товарное движение… пароходы местного сообщения… быть может, железная дорога… лесопилки… элек-

трическая станция… свой банк… коммерческая компания… Только держите язык за зубами, пока я не вернусь.

Сани остановились там, где тропа пересекала устье реки Стюарт. Широкое пространство — бесконечное снежное море — расстилалось далеко на неведомый Восток. Лыжи были сняты с саней. Аксель Гундерсон пожал руку спутникам. Его большие подбитые лыжи погружались на добрых пол-ярда в мягкую, как пух, поверхность, утаптывая снег так, чтобы собаки бежали не проваливаясь. Жена шла по следу за санями, обнаруживая большую опытность в обращении с неуклюжей обувью. Тишина нарушилась прощальными ободрениями; овчарки завизжали, и человек с выдрами своим кнутом беседовал с непокорной собакой.

Через час поезд стал походить на длинную черту, проведенную карандашом по огромному листу белой бумаги.

II

Однажды ночью, много недель спустя, Мельмут Кид и Принс занимались решением шахматных задач с разорванного листка старого журнала. Кид только что вернулся из своих владений

в Бонанце и отдыхал, готовясь к долгой охоте на оленей. Принс тоже провел на россыпях и тропах почти всю зиму и изголодался по одной неделе благословенной жизни в хижине.

— Заслонись черным офицером и дай шах королю. Нет, так не выйдет. Смотри, при следующем ходе…

— Зачем выдвигать пешку на два квадрата. Ее возьмут en passant[46] и уберут слона с дороги.

— Погоди! Образуется прорыв и…

— Нет, она защищена. Валяй! Увидишь, что выйдет.

Было очень интересно. Кто-то успел дважды постучать в дверь, пока Мельмут Кид не крикнул: «Войдите!»

Дверь распахнулась, и что-то ввалилось в комнату. Принс окинул это существо одним взглядом и вскочил на ноги. Ужас, отразившийся в его глазах, заставил Мельмута Кида быстро повернуться. Он тоже был ошеломлен, хотя видал на своем веку немало страшного… Существо вслепую заковыляло к ним. Принс стал пятиться назад, пока не добрался до гвоздя, на котором висел его «смит-вессон».

---

[46] Сноски: 46
На проходе.

— Господи, что это такое? — шепнул он Мельмут Киду.

— Не знаю. Похоже, что с голода и от мороза… — отвечал ему Кид, отодвигаясь в противоположный конец комнаты.

— Берегись. Оно, может быть, бешеное! — предупредил он, возвращаясь на место, после того как запер дверь.

Нечто подошло к столу. Яркий свет жировой лампы привлек его взоры. Это его забавляло, и оно разразилось каким-то старческим кудахтаньем, очевидно, означавшим веселое настроение. Затем он — ибо это существо было мужчиной — неожиданно отклонился назад, одернул свои кожаные штаны и запел песню, которую поют матросы, вертя кабестан, в то время как море ревет им в уши:

Янки едут вниз по речке…
Двинь, ребята! Двинь, двинь!
Кто ж у них за капитана?..
Двинь, ребята! Двинь, двинь!
Донатан Джонс из Каролины…
Двинь, ребята!..

Он неожиданно оборвал, проковылял с чисто

волчьим рычанием к полке с мясом и, прежде чем они могли воспротивиться, вцепился зубами в кусок сырой солонины. Между ним и Мельмутом Кидом завязалась свирепая борьба; но безумная сила покинула неизвестного так же быстро, как и вселилась. И он, ослабев, отдал свою добычу. Общими усилиями они усадили его на табурет, и он всем корпусом навалился на стол. Небольшая доза виски подкрепила его, так что он мог погрузить ложку в сахарницу, поставленную перед ним Мельмутом Кидом. После того как его аппетит был слегка утолен, Принс, содрогаясь, поднес ему кружку слабого мясного сока.

Глаза странного существа сверкали мрачным безумием, которое то вспыхивало, то угасало при каждом глотке. На лице его почти не было кожи. Изможденное, с провалившимися щеками, это лицо весьма мало напоминало человеческое. Мороз полосовал его, и каждое новое дыхание вечного холода оставляло на полузалеченных рубцах новый слой струпьев. Эта сухая, жесткая поверхность была кроваво-черного цвета и изборождена болезненными трещинами, обнажавшими сырое, красное мясо. Кожаная одежда его была грязна и в лохмотьях; а по одному боку опаленный и прожженный мех показывал, что

он лежал на своем костре.

Мельмут Кид указал на место, где выдубленная на солнце кожа была отрезана полоска за полоской, — ужасный знак голодовки.

— Кто вы такой? — тихо и отчетливо произнес Кид.

Человек не обратил на это никакого внимания.

— Откуда вы идете?

— Янки едут вниз по речке, — прозвучал писклявый ответ.

— Без сомнения, бедняга пришел вниз по реке, — сказал Кид, тряся его и стараясь привести в сознание.

Но человек вскрикнул от прикосновения и прижал руку к своему боку, очевидно, от боли. Он медленно поднялся на ноги, все еще налегая на стол.

— Она смеялась надо мной… так… с ненавистью в глазах… и она… не хотела… пойти…

Его голос ослабел, и он готов был упасть навзничь, если бы Мельмут Кид не ухватил его за руки и не прокричал:

— Кто, кто не хотел пойти?

— Она. Унга. Она смеялась и ударила меня… так и так… А потом…

— Ну?

— А потом…

— А что — потом?

— А потом он лежал совсем тихо… в снегу… долгое время… все еще… там… в снегу…

Кид и Принс беспомощно поглядели друг на друга.

— Кто — в снегу?

— Она… Унга. Она взглянула на меня с ненавистью в глазах. А потом…

— Ну, ну…

— А потом она взяла нож. Вот так… и — раз, два… Она ослабела. Я шел очень медленно. А в том месте много золота, очень много золота.

— Где Унга? Где Унга?

— Она… в… снегу…

— Продолжайте! — Кид жестоко сжимал кисть его руки.

— И… я… был бы… в снегу… но… я… должен был… заплатить… долг. Это… тяжело… я должен был… заплатить… долг… заплатить долг… я… должен был…

Односложный лепет прекратился, когда он порылся в кармане и вынул мешочек из лосиной кожи.

— Долг заплатить… пять фунтов… золота… за

вклад… Мель… муту… Киду… я…

Истомленная голова упала на стол, и Мельмут Кид уже не мог ее поднять.

— Это Улисс, — сказал он спокойно, бросая мешочек с золотым песком на стол. — Я думаю, с Акселем Гундерсоном и его женой все кончено. Давай сунем его под одеяло. Он индеец: выживет, а тогда расскажет еще что-нибудь.

Когда они срезали с него одежду, на груди его обнаружились две незажившие ножевые раны, нанесенные умелой рукой.

III

— Я расскажу о том, что произошло, на свой манер; но вы меня поймете. Я начну сначала и расскажу о себе и о женщине, а потом о мужчине.

Человек с выдрами перешел поближе к печке, как делают все люди, которые долго были лишены огня и боятся, что дар Прометея может исчезнуть в любой момент. Мельмут Кид усилил огонь в жировой лампе и повернул ее так, чтобы свет ее падал на лицо рассказчика. Принс перегнулся всем корпусом через край койки и тоже стал слушать.

— Я — Наас, вождь и сын вождя, рожденный

между закатом и восходом, среди темных волн в отцовском умиаке. Всю ночь мужчины работали веслами, а женщины вычерпывали воду, заливавшую нас, и мы сражались с бурей. Соленая влага замерзала на груди моей матери, пока дыхание ее не прекратилось вместе с непогодой. Но я, я возвысил свой голос над ветром и бурей… и остался в живых. Мы жили на Акатане…

— Где? — спросил Мельмут Кид.

— Акатан, что среди Алеутских островов, Акатан, что позади Чигника, позади Кардалака, позади Унимака. Итак, я говорю, мы жили на Акатане, что лежит посреди моря, на краю света. Мы добывали из соленого моря рыбу, нерпу и выдру, и дома наши подпирали друг друга на скалистой полосе, между опушкой леса и желтой бухтой, где лежали наши каяки. Нас было немного, и мир был очень мал. На востоке лежали чужие земли, острова, подобные Акатану. И мы думали, что весь свет — одни только наши острова, и были спокойны.

Я не походил на людей своего племени. В песке бухты валялись искалеченные мачты и покоробленные волнами планки такого судна, каких мой народ никогда не строил. И я помню, что на самой вершине острова стояла сосна, никогда

раньше не росшая там, — гладкая, прямая и высокая. Говорили, что два человека взобрались на эту вышку, повертелись вокруг нее и много дней наблюдали смену дня и ночи. Эти два человека вышли из моря на той лодке, куски которой валялись в бухте. Они были белы, как вы, и слабы, как дети, когда нерпа уходит и охотники возвращаются домой с пустыми руками. Я знаю об этом от старых мужчин и старых женщин, которые слышали это от своих отцов и матерей. Эти чужие белые люди сначала не могли освоиться с нашими обычаями. Но затем они окрепли от рыбы и тюленьего жира и стали жестоки. И они построили себе каждый по дому и взяли себе наших женщин; и со временем пошли у них дети. Так родился тот, кто стал отцом моего отца.

Я сказал уже, я не походил на свой народ, потому что я носил в себе чужеземную кровь тех белых людей, которые вышли из моря. Говорят, что у нас были другие законы перед приходом этих людей; но белые были жестоки и воинственны и сражались с нашими людьми до тех пор, пока у нас не стало людей, которые бы осмелились биться с ними. Тогда они сделались вождями, отняли у нас наши старые законы и дали нам новые, и человек стал сыном своего отца,

а не своей матери, как было у нас в обычае. И они постановили также, чтобы первородный сын получал все, чем владел его отец; а остальные братья и сестры должны были сами зарабатывать, чтобы не умереть. И дали нам еще другие законы. Они показали нам новые способы ловить рыбу и убивать медведей, живущих глубоко в лесу, и научили нас откладывать большие запасы на случай голода. И все это было хорошо.

Но когда они стали вождями и уже не было людей, которые могли бы противостоять их гневу, тогда начали они, эти странные белые люди, сражаться друг с другом. И тот, чью кровь я ношу в себе, всадил свое длинное копье на глубину руки в тело другого. Их дети возобновили бой, и дети их детей; и была между ними большая ненависть и много черных дел еще и в мое время, так что в каждой семье оставалось только по одному человеку, чтобы передать дальше кровь тех, что жили до него. В моем роду я был один; от другого человека оставалась только девушка Унга, которая жила со своей матерью. Ее отец и мой отец однажды ночью оба не вернулись с рыбной ловли; но после они были выброшены на берег большим приливом и крепко держали друг друга в объятиях…

Народ удивился, так как была вражда между обоими домами, и старики качали головами и говорили, что вражда будет продолжаться, если от нее родятся дети и от меня родятся дети. Они твердили мне это еще в детстве, до тех пор, пока я не поверил и не стал смотреть на Унгу как на врага; ведь она должна была стать матерью детей, которые будут враждовать с моими детьми. Я думал об этом изо дня в день и, когда дорос до отроческих лет, начал спрашивать, почему это должно быть так. А они отвечали: «Мы не знаем, но так поступали ваши отцы». А я удивлялся, почему же те, что придут, должны продолжать вражду уже отошедших, и не мог найти в этом смысла. Но народ говорил, что это должно быть так; а я был только отроком.

И еще они говорили, что я должен спешить, чтобы моя кровь была старше и окрепла прежде ее крови. Это было легко, так как я был вождем, и народ глядел на меня снизу вверх благодаря деяниям и законам моих отцов и богатству, которым я владел.

Любая девушка пришла бы ко мне, но я не находил ни одной по сердцу. А старики и матери советовали мне торопиться, так как в это время охотники уже предлагали большую плату за Ун-

гу; а если ее дети окрепнут раньше моих, то мои наверное умрут.

Но я все не находил девушки — вплоть до одной ночи, когда я возвращался с рыбной ловли. Солнце светило вот так низко и прямо в глаза; ветер гулял на свободе, и каяки бежали вперегонку с белыми гребнями. Как вдруг каяк Унги перегнал меня, и она поглядела на меня вот так, а ее черные волосы развевались, как ночная туча, и щеки были влажны от брызг. Как сказано, солнце светило прямо в глаза, а я был еще отроком. Но каким-то образом мне все стало ясно, и я понял, что это кровь призывает кровь. Когда она пронеслась вперед, то на расстоянии двух ударов весел она оглянулась — поглядела так, как только эта женщина, Унга, умела глядеть, и я опять понял, что это был призыв крови. Народ закричал, когда мы обогнали ленивые умиаки и оставили их далеко за собой. Но она быстро работала веслами, а мое сердце было как надутое брюхо паруса, и я не мог ее обогнать. Ветер становился все свежее, море все белело, и, прыгая, как тюлени с наветренной стороны корабля, мы неслись по золотой тропинке солнца.

Наас нагнулся так, что едва не соскользнул со стула, в позе гребца, мысленно снова переживая

гонку. Где-то там, сквозь печку, видел он подпрыгивающий каяк и развевающиеся косы Унги. Голос ветра звенел у него в ушах, и запах соли освежал ноздри.

— Но она пристала к берегу и, смеясь, бежала по песку к дому своей матери. И великая мысль пришла мне в ту ночь — мысль, достойная того, кто был вождем всего акатанского народа. Поэтому, когда взошла луна, я спустился к дому ее матери и поглядел на богатства Яш-Нуша, нагроможденные перед дверью, — богатства Яш-Нуша, сильного охотника, который задумал стать отцом детей Унги. Другие молодые люди тоже сваливали там свои богатства — и затем убирали их снова; и каждый юноша приносил большую кучу, чем предыдущий.

Я же улыбнулся луне и звездам и пошел к своему дому, где было сложено мое добро. И я нагромождал свои богатства, пока моя куча не стала на все пальцы руки выше, чем куча Яш-Нуша. Здесь была рыба, вяленная на солнце и прокопченная, и сорок тюленьих шкур, и двадцать мехов (каждая шкура была завязана у морды и туго наполнена жиром), и еще шкуры медведей, которых я убивал в лесу, когда они по весне выходили из берлог. Были тут бусы, и одеяла, и красные одежды, ко-

торые я выменял у народов, живших на востоке. И я глядел на кучу Яш-Нуша и смеялся; ибо я был вождь на Акатане, и мое богатство было больше, чем богатство всех юношей, а мои отцы совершали подвиги и давали законы и на вечные времена вложили свое имя в уста народа.

И вот, когда настало утро, я спустился к бухте, поглядывая краем ока на дом матери Унги. Мой дар еще стоял нетронутым. А женщины улыбались и говорили друг другу хитрые слова. Я удивлялся, потому что такой цены никто еще не предлагал; а ночью я еще увеличил груду и рядом с нею положил каяк из хорошо выдубленных шкур; каяк этот никогда еще не плавал по морю. Но днем он был на месте, на посмешище всем мужчинам. Мать Унги была лукава, а я рассердился — ведь позор покрыл меня перед всем моим народом. Итак, в эту ночь я прибавил еще, пока куча не стала огромной, и втащил на нее мой умиак. А стоил он целых двадцати каяков. И наутро груды уже не было.

Тогда я стал готовиться к свадьбе, и даже народ, живший на востоке, прибыл на пир, когда дан был знак потлача. Унга была старше меня на четыре солнца по нашему летосчислению. Я был только отроком; но я был вождем и сыном вождя,

а остальное неважно.

Но какой-то корабль показал свои паруса над гладью океана и становился все больше по мере дыхания ветра. С его желобов стекала прозрачная вода, а люди суетились и упорно работали у насосов. На носу стоял могучий человек, следивший за глубиной воды и отдававший приказания громовым голосом. Глаза его были бледно-голубого цвета глубоких вод, а на голове у него была грива, как у морского льва. Волосы же его были желты, как солома на юге или льняные веревки, которые плетут корабельщики.

В последние годы мы издали видали корабли; но это был первый зашедший в Акатанскую бухту. Праздник прервался; женщины и дети разбежались по домам; а мы, мужчины, натянули свои луки и ждали с копьями в руках. Но когда передние лапы судна нащупали бухту, чужие люди не обратили на нас внимания и занялись своим делом. Когда прилив кончился, они накренили шхуну и зачинили большую пробоину на ее дне. Поэтому женщины снова выползли из домов, и пир продолжался.

Когда прибой опять начался, чужеземцы спустили шхуну в глубокую воду и затем присоединились к нам. Они принесли подарки и вели

себя дружелюбно; поэтому я дал им место на пиру и от широты своего сердца предложил им дары, какие дарил всем гостям; ибо это был день моей свадьбы, а я был вождем на Акатане.

Тот — с гривой морского льва — был тоже здесь, такой высокий и сильный, что всякий ждал, не затрясется ли земля от его шагов. Он долго, не отрывая глаз, глядел на Унгу со скрещенными руками — вот так — и оставался с нами, пока солнце не ушло и не пришли звезды. Затем он спустился вниз, к своему кораблю. После этого я взял Унгу за руку и повел ее в свой дом. И там началось пение и великий смех, а женщины говорили хитрые слова, по обычаю женщин в такое время. Но мы не обращали внимания. Затем народ оставил нас одних и разошелся по домам.

Еще не смолк последний шум, когда вождь чужеземцев вошел в дверь. С ним были черные бутылки. Мы пили из них и развеселились. Вы понимаете, я был только отроком и прожил всю жизнь на краю света. Поэтому кровь стала как огонь, а сердце сделалось легким, словно пена, летящая с волны на утесы: Унга сидела молча в углу среди шкур, с расширенными глазами, как кажется, от страха. А тот, с гривой морского льва, глядел на нее и долго не отрывал глаз.

Затем вошли его люди с тюками товаров, и он нагромоздил передо мною такое богатство, какого не было на всем Акатане. Тут были ружья, большие и малые, порох и заряды, и раковины, и блестящие топоры, и стальные ножи, и хитрые орудия, и странные вещи, подобных которым я никогда не видал.

Когда он знаками показал мне, что все это — мое, я решил, что он великий человек, раз он такой щедрый. Но он также показал мне, что Унга должна уйти с ним на его корабль. Вы понимаете? Унга должна была уйти с ним на его корабль! Кровь моих отцов вдруг закипела во мне, и я хотел пронзить его своим копьем. Но дух, сидевший в бутылках, украл силу у моих рук, и он схватил меня за шею — вот так — и ударил меня головой о стену дома. И я ослабел, как новорожденный ребенок, и мои ноги не захотели больше меня держать. Унга закричала, когда он потащил ее к двери, и цеплялась руками за все вещи в доме, пока они все на нас не упали. Затем он взял ее на свои большие руки; а когда она дергала его за желтые волосы, он смеялся, как смеется самец нерпы во время течки.

Я пополз к бухте и стал созывать свой народ. Но народ боялся. Только Яш-Нуш был мужчиной,

а они били его веслом по голове, пока он не упал лицом в песок и больше не двигался. И они подняли паруса под звуки своих песен, и корабль отплыл вдоль по ветру.

Народ говорил, что это хорошо, потому что не будет больше борьбы кровей на Акатане; но я не говорил ни слова, выжидая полнолуния; тогда я нагрузил свой каяк рыбой и жиром и ушел на восток. Я видел много островов и много народов, и я, живший на краю света, узнал, что свет очень велик. Я говорил знаками; но они не видали ни шхуны, ни человека с гривою морского льва и все время указывали на восток. И я спал в неудобных местах, и ел противную пищу, и встречался со странными людьми. Многие смеялись, потому что считали меня пустоголовым; но иногда старые люди поворачивали мое лицо к свету и благословляли меня; а очи молодых женщин становились мягкими, когда они расспрашивали меня о чужом корабле и об Унге, и о людях с моря.

Таким путем, через грозные моря и великие бури, прибыл я в Уналаску. Там были две шхуны, но ни одна из них не была той, которую я искал. Поэтому я переправился на восток; а свет становился все обширнее. И на острове Упамоке не

было никакой речи о корабле, и на Кадиаке, и на Атогнаке. Итак, попал я однажды в скалистую землю, где люди выдалбливали в горе большие пещеры. Там была и шхуна, но не та, какую я искал, и люди нагрузили ее камнями, которые они выламывали. Это мне казалось ребячеством, потому что весь свет сделан из камня; но они дали мне пищи и поставили меня на работу. Когда шхуна сидела глубоко в воде, капитан дал мне денег и велел уходить.

Но я спросил, куда они едут, и он указал на юг. Я сделал знак, что хочу ехать с ними; он сперва посмеялся, но потом, так как людей не хватало, взял меня для помощи при корабельных работах. Так научился я говорить по-ихнему, и натягивать канаты, и сворачивать тугие паруса при внезапных шквалах, и отбывать свою смену у рулевого колеса. Но это не было мне чуждо, потому что кровь моих отцов была кровью мореходцев.

Я думал, что будет легкой задачей найти того, кого я искал, раз уж я попал к его собственному народу; но когда мы однажды подъехали к берегу и плыли через узкий проход в порт, я увидел почти столько же шхун, сколько у меня пальцев на руках. Другие корабли стояли у пристаней на протяжении нескольких миль, скученные, как

мелкие рыбки; а когда я пошел мимо них, расспрашивая о человеке с гривой морского льва, они смеялись и отвечали мне на языках многих народов. И я узнал, что они прибыли из самых далеких стран земли.

И я пошел в город и начал смотреть в лицо каждого человека, но они были подобны треске, косяком идущей вдоль берега, и я не мог счесть их. И шум донимал меня до тех пор, пока я вовсе перестал слышать, и голова у меня закружилась от большого движения. Так шел я все дальше и дальше по землям, которые пели под горячими лучами солнца, где богатые жатвы лежали на полях, где большие города были полны мужчинами, живущими, как женщины, с лживыми речами в устах и с сердцами, черными от жажды золота. А в это время мой народ на Акатане охотился и ловил рыбу и был счастлив от мысли, что свет мал.

Но взгляд очей Унги, возвращавшейся с рыбной ловли, всегда был со мною, и я знал, что найду ее, когда придет мое время. Она шла предо мною по тропинкам сквозь вечернюю мглу или увлекала меня за собою по тучным полям, влажным от утренних рос; а глаза ее обещали так много, как может обещать только Унга-женщина.

Так обошел я тысячи городов. Иные люди были добры и давали мне пищу, иные смеялись, а иные ругали. Но я держал язык за зубами и шел по странным дорогам, и видел странные вещи. Порою я, вождь и сын вождя, работал на людей — людей с грубой речью и твердых, как сталь, которые выжимали золото из пота и горя своих ближних. И все же ни слова не узнал я о том, что искал, пока не вернулся назад к морю, как тюлень к скалистому островку. Но то был другой порт, в другой стране, лежавшей к северу. И здесь я услыхал смутные рассказы о желтоволосом мореходце и узнал, что он — охотник за тюленями и что он уплыл в то время далеко в океан.

Тогда я нанялся на тюленью шхуну вместе с ленивыми сивашами и поплыл по его непроторенному следу к северу, где охота была во всем разгаре. Мы провели в дороге много утомительных месяцев, и говорили со многими корабельщиками, и много слышали о диких поступках того, кого я искал; но ни разу не повстречали мы его на море. Мы направились к северу, вплоть до островов Прибылова[47], и убивали тюленей в бухте целыми стадами, и втаскивали их теп-

[47] Сноски: 47
Острова в Беринговом море, на север от Алеутских островов.

лые тела на корабль, пока по нашим желобам не заструились сало и кровь, и ни один человек не мог оставаться на палубе. Потом погнался за нами паровой корабль, который стрелял в нас из больших пушек. Но мы все натягивали паруса, пока море не залило и не вымыло дочиста нашу палубу и мы не скрылись в тумане.

Говорили, что, пока мы убегали со страхом в сердце, желтоволосый мореходец пристал к Прибыловым островам, прямо к фактории; а пока часть его людей справлялась со служащими Компании, остальные выгрузили со складов десять тысяч свежих шкур. Я говорю, что это слух, но я ему верю; ибо в то время, когда я странствовал по берегу, ни разу его не встречая, северные моря были полны рассказов о его необузданности и отваге, пока все три народа, чьи земли находятся в тех краях, не стали рыскать за ним на своих кораблях. И я слышал также об Унге, потому что капитаны громко восхваляли ее и она постоянно была с ним. Она переняла обычаи его народа, говорили они, и была счастлива. Но я знал лучше, знал, что ее сердце стремится назад, к ее собственному народу у желтой бухты на Акатане.

Итак, после долгого времени я вернулся к гавани, которая лежит у узкого прохода. Там я

узнал: он пересек пояс великого океана, чтобы охотиться за нерпой на восток от теплой земли, что тянется к югу от русских морей. И я, успевший стать моряком, сел на корабль с людьми его племени и поехал вслед ему на охоту за нерпой. И здесь было несколько кораблей с этой новой земли. Но мы взяли стадо тюленей с фланга и гнали его к северу в течение всей весны того года. А когда самки понесли плод и пересекали русские воды, наши люди стали роптать и очень боялись. Ибо там был туман, и каждый день люди пропадали со шлюпок. Они не хотели работать; поэтому капитан повернул корабль назад, по тому же пути, по которому приплыл.

Но я знал, что желтоволосый мореходец был бесстрашен и что он не отстанет от стада даже до русских островов, куда мало кто решается заходить. Поэтому я взял челнок и темною ночью, когда вахтенный прикорнул на фок-мачте, поплыл один к теплой длинной земле. И я пошел на юг, чтобы в заливе Иеддо встретить людей, необузданных и бесстрашных. И девушки в Иошиваре были малы и блестящи, как сталь, и приятно было на них смотреть; но я не мог остановиться, так как знал, что Унга плывет у скалистых островов Севера.

Люди в заливе Иеддо сошлись со всех концов земли и не имели ни добра, ни двора, а плавали под японским флагом. И с ними я поплыл в богатые бухты Медного острова, где наши солильни наполнились шкурами. И в этом спокойном море мы не встретили людей, пока не были готовы к отплытию.

И вот однажды туман рассеялся от резкого ветра, и мы увидели, что на нас несется шхуна, а прямо за нею, в ее кильватере[48], дымящиеся трубы русского военного судна. Мы стали убегать по ветру, а шхуна подходила все ближе, подвигаясь на три фута, в то время как мы делали два. А на корме ее стоял человек с гривою морского льва и смеялся от избытка своей жизненной силы. И Унга была тут, я сразу узнал ее, но он послал ее вниз, когда над поверхностью моря заговорили пушки. Как сказано, они делали три фута против наших двух, пока мы не увидали их зеленого руля, поднимавшегося при каждом прыжке. А я стоял, шатаясь, у рулевого колеса и, обращенный спиной к русским пушкам, посылал проклятия.

---

[48] Сноски: 48

Кильватер, или килевая линия, — след, остающийся позади идущего корабля. Когда одно судно следует за другим тем же курсом так, что видит все мачты передового судна на одной линии, это значит, что второе судно идет в кильватере первого.

Ибо мы знали, что он хочет обогнать нас, чтобы удрать, пока нас поймают. И те сбивали наши мачты, пока мы не стали носиться по воле ветра, как раненая чайка. А он ушел за полосу горизонта — он и Унга.

Что могли мы сказать? Свежие шкуры сами за себя говорили. Поэтому они повезли нас в русский порт, а затем в глухую местность, где заставили нас работать в соляных копях. И некоторые умерли, а некоторые… не умерли.

Наас стянул одеяло со своих плеч, обнаруживая рубцеватую и корявую кожу, отмеченную легко узнаваемыми следами кнута. Принс поспешно прикрыл его, ибо смотреть на это было не очень приятно.

— Тяжело было нам жить там; иногда люди убегали на юг, но всегда возвращались. Поэтому, когда мы, пришедшие из Иеддо, поднялись ночью и отняли у стражи ружья, мы двинулись на север. И земля эта была очень обширна, с равнинами, окруженными водой, и большими лесами. И пришли холода, и почва покрылась снегом, а никто из людей не знал дороги. Много утомительных месяцев мы странствовали по бескрайнему лесу… Я теперь уже не помню, потому что пищи было мало, и мы часто ложились, чтобы умереть.

Наконец, мы дошли до холодного моря; но только троим из нас пришлось взглянуть на него. Один выехал из Иеддо в качестве капитана, и он знал наизусть расположение больших земель и того места, где люди могут переправляться из одной земли в другую по льду. И он повел нас… я не знаю как… это продолжалось так долго… пока осталось только двое. Когда же мы пришли к тому месту, то нашли пятерых из того чужого народа, который живет в той местности, и у них были собаки и шкуры; а мы были очень бедны. Мы сражались в снегу до тех пор, пока они умерли, и капитан умер, а шкуры и собаки стали моими. Тогда я перебрался по льду, который уже вскрывался, и некоторое время я плавал на льдине, пока западный ветер не вынес меня к берегу. Затем — залив Головина, Пэстилик и священник… А там — на юг, на юг, к теплым солнечным странам, где я странствовал раньше.

Но море больше не приносило выгоды, и те, которые плавали за нерпой, получали мало прибыли при большом риске. Команды рассеялись; капитаны и матросы больше не говорили ничего о тех, кого я искал. Поэтому я удалился от океана, никогда не отдыхающего, и остался на суше, где деревья, дома и горы всегда сидят на одном месте

и не двигаются. Я путешествовал далеко и узнал много вещей и даже способ писать и читать по книгам. Это хорошо, что я так делал, так как мне думалось, что Унга, должно быть, знает все это и что когда-нибудь, когда придет время… мы… вы понимаете… когда придет время.

Так я блуждал, как те маленькие рыбки, которые распускают парус по ветру, но не могут управлять рулем. Мои глаза и уши всегда были открыты, и я бывал среди людей, которые много путешествуют, ибо я знал, что им стоило только увидать тех, кого я искал, чтобы сохранить их в памяти.

Под конец пришел человек, только что сошедший с гор, с обломками скалы, в которых золото лежало кусками величиной с горошины. И он слышал, он встречал, он знал их. Они были богаты, говорил он, и жили в том месте, где вытаскивали золото из земли.

Это было в дикой стране и очень далеко; но со временем я пришел в лагерь, скрытый между гор, где люди работали день и ночь, далеко от взгляда солнца. И все же время еще не пришло.

Я прислушивался к человеческим разговорам. Он уехал, они уехали, как говорили, в Англию, чтобы соединить там людей с большими день-

гами — образовать компанию. Я видел дом, где они жили; он больше походил на дворец, такой, какие можно видеть в старых странах. В ночную пору я влез через окно, чтобы видеть, как он с нею обращается. Я ходил из комнаты в комнату, и мне казалось, что так должны жить короли и королевы, — так все было хорошо. И все они говорили, что он обращается с нею как с королевой, и многие недоумевали, какого племени женщиной она могла быть; потому что в жилах ее текла другая кровь, и она отличалась от акатанских женщин; а никто не знал, кто она такая. Да, она была королевой. Но я был вождем и сыном вождя, и я заплатил за нее несчитаное количество шкур, лодок и бус.

Но зачем столько слов? Я был моряк и знал пути кораблей по морю. Я последовал за ними в Англию и затем в другие страны. Иногда я слышал про них рассказы, иногда читал в газетах. Но ни разу я не мог приблизиться к ним, потому что у них было много денег, и они ездили быстро, а я был бедным человеком. Затем их постигла неудача, и богатство ускользнуло от них, как завитушка дыма. Газеты в то время были полны этим; но потом о них уже ничего не было слышно, и я узнал, что они вернулись туда, где можно

было еще добывать золото из земли.

Они были выброшены из мира, ибо теперь они были бедны. Так странствовал я от лагеря к лагерю на север, до самого Кутенэ, где напал на след; они приходили и уходили, одни говорили — туда, другие — сюда; наконец третьи сказали, что они пошли к побережьям Юкона. И я пошел по этой дороге и по той, все время переходя с места на место, так что, казалось, мне должен был надоесть мир, который так велик. Но в Кутенэ я шел с одним метисом из северо-западных земель по скверной тропе, по длинной тропе… Метис был близок к смерти, когда настала голодовка. Он прежде ходил на Юкон по неизвестному пути через горы, и когда он почувствовал, что его час приближается, он дал мне карту и открыл мне тайну одного места, и поклялся своими богами, что там много золота.

Затем люди толпами потянулись на север. Я был бедным человеком; я продал себя в погонщики собак. Остальное вы знаете. Я встретил его и ее в Даусоне. Она не узнала меня, ибо я в те времена был отроком; а ее жизнь с тех пор была такова, что у нее не было времени вспоминать о том, кто заплатил за нее неслыханную цену.

Ну хорошо. Вы выкупили меня со службы. Я вер-

нулся, чтобы повести дело по-своему. Ибо я долго ждал, и теперь, когда он был у меня в руках, мне было не к спеху. Как сказано, я имел в виду повести дело по-своему, так как я перечитывал свою жизнь и вспоминал холод и голод в бесконечном лесу у русских морей. Как вы знаете, я повел его на восток — его и Унгу — на восток, куда многие уходили, но откуда мало кто возвращался. Я повел его на урочище, где кости и проклятия людей лежат подле золота, которое им не досталось.

Путь был долог, и тропа не протоптана. Наши собаки были многочисленны и много ели. И сани наши не могли служить нам после наступления весны. Мы должны были вернуться раньше, чем тронется река. Поэтому мы то там, то тут зарывали припасы, чтобы облегчить свои санки и устранить опасность голодовки на обратном пути. В Мэк-Квестшене было три человека, и около них мы устроили кладовую; так же мы поступили в Майо, где помещался охотничий лагерь с дюжиной жителей Пелли, перебравшихся через горы с юга. После этого, идя все дальше на восток, мы уже не встречали людей. Только спящая река, неподвижный лес и Белое Безмолвие Севера.

Как сказано, путь был долог и тропа не протоптана. Иногда мы делали не более восьми или

десяти миль в день, а ночью спали как убитые. И ни разу им не пришло в голову, что я — Наас, вождь Акатана, судья беззаконных.

Теперь мы рыли маленькие ямы для провианта, и легко было ночью возвращаться по протоптанному следу и менять их место так, что можно было подумать, будто припасы расхищены росомахами. Затем еще есть места, где река образует пороги: там вода своевольна и сносит лед, и съедает его ниже по течению. На таком месте сани, которые я вел, провалились, и собаки тоже; а он и Унга думали, что это несчастный случай — и ничего больше. А на санках было много провизии; там же были самые сильные собаки. Но он смеялся, так как жизнь в нем была сильна, и давал мало пищи остальным псам, пока нам не пришлось вырезать их из упряжки одного за другим и кормить ими их же товарищей. «Мы пойдем домой налегке, — говорил он, — переходя от ямы к яме без саней и собак». Это было правильно, так как провизия у нас почти истощилась и последняя собака издохла в упряжке в ту самую ночь, когда мы добрались до золота и до человеческих костей и проклятий.

Чтобы достигнуть этого места — карта говорила правду, — в сердце великих гор, мы должны

были выдалбливать во льду ступени по отвесной скале. Мы искали позади ее долины, но долины не было. Снег расстилался далеко — гладкий, как большие хлебородные равнины, а повсюду вокруг нас могучие горы просовывали свои белые главы между звездами. И в середине этого странного плоскогорья, которое должно было быть долиной, земля и снег круто спускались вниз, к самому сердцу земли. Если бы мы не были моряками, наши головы закружились бы; но мы стояли на краю бездны и искали способа спуститься в нее. И вот с одной стороны, с одной только стороны стена обвалилась так, что спуск походил на наклон палубы во время кормовой качки. Я не знаю, почему это случилось, но это было так.

«Это пасть ада, — сказал он. — Давайте спустимся вниз».

И мы спустились. А на дне оказалась хижина, построенная каким-то человеком из бревен, которые он накидал туда сверху. Это была очень старая хижина; люди умирали в ней поодиночке в разные времена, и на кусках березовой коры, которые валялись там, мы прочитали их последние слова и проклятия. Один умер от цинги; у другого товарищ похитил последнюю пищу и порох и

тайно бежал; третий был изувечен лысомордым медведем; четвертый охотился за добычей и умер с голоду и т. д. Они не хотели покинуть золота — и умерли подле него. А бесценное золото, которое они собрали, желтело на полу хижины, словно в волшебном сновидении.

Но душа у него была тверда и разум ясен — у того человека, которого я завел так далеко. «У нас нечего есть, — сказал он, — мы только посмотрим на это золото, откуда оно берется и много ли его здесь. Затем мы быстро уйдем, раньше чем оно ослепит нас и украдет разум. Таким образом, мы сумеем когда-нибудь вернуться сюда с большим запасом пищи и завладеть всем».

Поэтому мы осмотрели большую жилу, проходившую по стене колодца, как подобает настоящей жиле; и мы измерили ее, и проследили ее сверху донизу, и всадили вехи для заявки, и пометили их в знак нашего права. Тогда, с коленями, дрожащими от голода, со слабостью в желудках и с сердцами, готовыми выпрыгнуть через рот, вскарабкались мы в последний раз по отвесной стене и повернули обратно.

На последнем перегоне мы волокли Унгу и часто падали, но наконец достигли ямы с провизией. И вот… там провизии не было. Это было

ловко сделано, потому что он подумал, что это росомахи; и он проклял их и своих богов. Но Унга была смела и положила свою руку в его, так что я отвернулся, чтобы сдержать свое сердце. «Мы отдохнем у костра, — сказала она, — вплоть до утра и наберем силы из своих мокасин». Поэтому мы разрезали верхние края наших мокасин на узкие полоски и варили их в течение половины ночи, чтобы мы могли разжевать и проглотить их. А наутро мы заговорили о нашей судьбе. Ближайшая яма была в пяти днях пути. Мы не могли до нее добраться. Нам нужно было найти добычу.

«Мы пойдем на охоту», — сказал он.

«Да, — сказал я, — мы пойдем на охоту».

И он решил, чтобы Унга оставалась у костра и берегла силы. И мы ушли: он — на поиски оленя, а я — к тому месту, куда я перенес провизию. Но я ел мало, чтобы они не заметили во мне большой силы. А к вечеру он много раз падал по пути в лагерь. А я притворялся, что очень страдаю от усталости, спотыкаясь на своих лыжах, точно каждый шаг был моим последним шагом. И мы набирались силы у своих мокасин.

Он был великий человек. Его душа поддерживала его тело до последнего часа. И он не плакал громко, разве только о судьбе Унги.

На второй день я последовал за ним, чтобы не пропустить конца. Он часто ложился отдыхать. В ту ночь он чуть не умер; но наутро он слабо выругался и снова вышел на охоту. Он был подобен пьяному. Я часто смотрел на него, ожидая, что он сдастся. Но у него была сила сильного, и душа его была душой великана, потому что она поддерживала его тело в течение этого изнурительного дня. Он застрелил двух птармиганов, но не захотел их есть. Огня не нужно было; они и так давали жизнь; но он думал об Унге и повернул к лагерю.

Он уже не шел, а полз по снегу на руках и коленях. Я подошел к нему и прочитал смерть в его глазах. Он бросил ружье и понес птицу в зубах, как собака. Я шел рядом с ним на ногах. И он глядел на меня в минуты отдыха и дивился, что я так силен. Я видел это, хотя он уже не говорил; а когда его губы двигались, они двигались беззвучно.

Как сказано, он был великий человек, и сердце мое говорило о жалости; но я перечитывал свою жизнь и вспоминал холод и голод в бесконечном лесу у русских морей. А кроме того, Унга была моею, и я заплатил за нее неслыханную цену шкурами, лодками и бусами.

Так прошли мы через белый лес, а Безмолвие тяжело налегало на нас, как мутный морской

туман. И духи прошлого носились над нами в воздухе; и я увидал желтую бухту на Атакане, и каяки, вперегонку возвращавшиеся с рыбной ловли, и дома на опушке леса. И люди, сделавшиеся вождями, были тут, — законодатели, кровь которых я носил в себе и с кровью которых я обвенчался в Унге. Да, и Яш-Нуш шел подле меня, с влажным песком в волосах, и в руках у него все еще было боевое копье, которое сломалось, когда он упал. И я понял, что время пришло, и увидел обещание в глазах Унги.

Как сказано, мы шли таким образом по лесу, пока дымный запах костра не ударил нам в ноздри. И я склонился к нему и вырвал птармиганов из его рта. Он повернулся на бок и стал отдыхать, а рука, на которой он лежал, медленно поползла к ножу, висевшему на бедре. Но я отнял у него нож, улыбаясь ему в лицо. Даже тогда он не понял. Тогда я стал представлять, точно я пью из черных бутылок и нагромождаю на снегу кучу всякого добра, и переживал снова все, что произошло в мою брачную ночь. Я не говорил ни слова, но он понял. И все-таки он не испугался. На губах его появилась усмешка холодного гнева, и он снова собрал свои силы, когда узнал об этом. Было уже недалеко, но снег был глубок, и он тащился очень

медленно. Однажды он так долго лежал, что я перевернул его и поглядел ему в глаза. Иногда в них светилась жизнь, а иногда — смерть. А когда я отпускал его, он снова полз. Так мы пришли к костру.

Унга тотчас же прильнула к нему. Его губы двигались беззвучно; затем он указал на меня, чтобы Унга могла понять. А после этого он долгое время лежал на снегу очень тихо. И до сих пор он там, на снегу.

Я не говорил ни слова, пока не зажарил птармиганов. Тогда я заговорил с ней на ее родном языке, которого она не слыхала много лет. Она выпрямилась — вот так, — и ее глаза расширились от удивления. И она спросила, кто я такой и где научился этому говору.

«Я — Наас», — сказал я.

«Ты? — сказала она. — Ты?» — И подползла близко, взглянула на меня.

«Да, — отвечал я. — Я — Наас, вождь Акатана, последний в моем роду, как ты — последняя в твоем».

И она засмеялась. Клянусь всем, что я перевидал, и подвигами, которые я совершил, я не хотел бы вторично услышать такой смех. Он вогнял озноб в мою душу, когда я сидел там, в Белом

Безмолвии, наедине со смертью и с женщиной, которая смеялась.

«Подойди, — сказал я, так как думал, что она помешалась. — Поешь этой пищи, и двинемся в путь. Отсюда далеко идти до Акатана».

Но она спрятала лицо в его желтой гриве и смеялась так, что, казалось, небеса не могли вынести этого смеха. Я думал, что она обрадуется при виде меня, и поспешил вернуться к воспоминаниям прежних дней; но выходило как-то не так.

«Пойдем, — крикнул я, с силой схватив ее за руку. — Путь далек и мрачен. Поспешим».

«Куда?» — спросила она, садясь и переставая смеяться.

«На Акатан», — отвечал я, ожидая, что лицо ее прояснится при мысли об этом. Но оно сделалось похожим на его лицо — со своей усмешкой холодного гнева.

«Да, — сказала она, — мы пойдем рука об руку на Акатан, ты и я. И будем жить в грязных хижинах и есть рыбу и сало, и наплодим целый выводок — выводок, которым мы будем гордиться во все дни нашей жизни. Мы позабудем обо всем мире и будем счастливы, очень счастливы. Это хорошо, очень хорошо. Идем! Поспешим! Идем назад на Акатан».

И она провела рукой по его желтым волосам и улыбнулась нехорошей улыбкой. И в глазах ее не было обещания.

Я сидел молча и удивлялся странности женщин. Я вернулся к той ночи, когда он оттаскивал ее от меня, а она кричала и дергала его за волосы, — за волосы, с которыми она сейчас играла и не хотела расстаться. Я вспомнил также про выкуп, который дал за нее, и про долгие годы ожидания; и я обхватил ее крепко и потащил ее от него, так же как сделал он тогда. Но она упиралась, так же как в ту ночь, и боролась, как кошка за своего котенка. А когда костер был между нами и им, я отпустил ее, и она села и начала слушать. И я рассказал ей обо всем, что было в промежутках; обо всем, что случилось со мною в чужих морях; обо всем, что совершил я в чужих землях; обо всех моих поисках и голодных годах, и об обещании, которое я носил в себе с самого начала. Да, я рассказал ей все, даже то, что произошло между мной и этим человеком в тот самый день и во дни еще недавние. И пока я говорил, я видел, как в глазах у нее нарастает обещание, яркое и большое, как наступление зари. И я прочел в них жалость и женскую нежность, любовь, сердце и душу Унги. И я снова был отроком, потому что ее

взгляд был взглядом Унги, когда она бежала со смехом от бухты к дому своей матери. И не стало жестокого беспокойства и голода, и ожидания. Время пришло. Я почувствовал призыв ее груди, и казалось, что я должен склониться к ней головой и позабыть обо всем. Она раскрыла мне свои объятия, и я прижался к ней.

Затем вдруг гнев вспыхнул в ее очах; рука ее была у моего бедра. И раз, и другой она ударила ножом.

«Пес! — засмеялась она и бросила меня в снег. — Свинья!» А затем она стала смеяться, пока не послышался треск Безмолвия, и пошла к своему мертвецу.

Как сказано, она ударила ножом раз и другой; но она была слаба от голода, и мне не суждено было умереть. И все же я намеревался остаться на месте и смежить глаза в последнем сне вместе с теми, чьи жизни пересеклись с моею и повели мои ноги по неведомым тропам. Но на мне лежал долг, который не позволял мне отдохнуть.

А путь был далекий; мороз был лютый; и мало было пищи. Пелли не настреляли оленей и расхитили мою кладовую. Так же поступили и трое белых людей; но они лежали худые и мертвые в своей хижине, когда я проходил мимо.

После этого я ничего не помню до того времени, пока не пришел сюда и не нашел пищи и огня, много огня.

Окончив рассказ. Наас пригнулся к печке совсем близко, как бы ревниво. Долгое время тени от жировой лампы разыгрывали трагедии на стене.

— А Унга? — вскричал Принс, весь еще под сильным впечатлением рассказа.

— Унга? Она не захотела есть птармиганов. Она лежала, обняв руками его шею, глубоко спрятав лицо в его желтые волосы. Я близко придвинул костер, чтобы она не чувствовала холода; но она отползла в другую сторону. Я и там развел костер. Правда, это мало помогло, потому что она не хотела есть. И вот так лежат они до сих пор там, на снегу.

— А вы? — спросил Мельмут Кид.

— Я не знаю. Но Акатан мал, и у меня нет желания вернуться и жить на краю света. Да и от жизни теперь мало толка. Я могу пойти к Константину: он закует меня в кандалы, и затем они натянут веревку — вот так, и я крепко засну. Впрочем… нет. Я не знаю…

— Но, Кид, — запротестовал Принс, — ведь это убийство.

— Молчи! — закричал Мельмут Кид. — Ибо есть вещи, которых нам не понять… Кто здесь прав, кто виноват, мы решить не в силах; и не нам их судить.

Наас еще ближе придвинулся к печке. Спустилось Великое Молчание, а видения перед глазами трех людей появлялись и исчезали.

Бог его отцов

Бог его отцов

I

Кругом был густой, первобытный лес — отчизна веселых комедий и мрачных трагедий. Здесь борьба за существование велась с той злобой, на которую способен только дикарь или зверь. За гегемонию в Стране Радуги боролись еще только англичане и русские. Янки пока стоял в стороне, словно выжидая, когда сможет пустить в ход свое золото и накупить земель. Все носило девственный характер. Огромные волчьи стаи гнались за стадами оленей, отбивали старых и слабых самцов и беременных самок. Так происходило много-много поколений назад, так происходило и теперь. Немногочисленные туземцы все еще почитали своих начальников, преклонялись перед знахарями и колдунами, изгоняли злых духов, сжигали ведьм, сражались с соседями и поедали их с превеликим аппетитом. Так было и в то время, когда кончался период каменного века. И здесь кончался свой каменный век. По неведомым дорогам, через не обозначенные на картах пустыни стали все чаще и чаще появляться сыны

белокурой, голубоглазой и неугомонной нации. Чисто случайно или с известным намерением, в одиночку или малочисленными группами они являлись неизвестно как и откуда, — и либо умирали в стычках с туземцами, либо, победив, проходили дальше. Военачальники высылали против них своих воинов, колдуны и знахари неистовствовали, но все было напрасно: ибо камню не победить стали! Подобно волнам огромного моря, они проникали в леса и горы, пробирались по рекам или же вдоль берегов на собаках. Это были сыны великого и могучего племени. Их было чрезвычайно, неисчислимо много, но этого не знали, об этом не догадывались закутанные в меха обитатели Севера… Много неведомых пришельцев из далеких стран нашли здесь смерть, и они так же мужественно встречали смерть при морозном блеске северного сияния, как их братья — в раскаленных песках пустыни или в дышащих смертоносными испарениями тропических чащах. Они умирали, но за ними шли другие, которым, в свою очередь, предстояло либо умереть, либо победить. Великое, неведомое племя добьется своего, ибо так указано в книге его судеб.

Время было около полудня. На горизонте стоя-

ли алые краски — редкие на западе и густые на востоке. Они обозначали положение невидимого полярного солнца. Не было ни дня, ни ночи. В тесном объятии слились мрак и свет, умирающий день встретился с нарождающимся днем, и от этого на небе стояло два круга. Птица-кильди робко пела свою вечернюю песенку, а реполов громко приветствовал наступающее утро. Вдоль поверхности Юкона с жалобными криками и стонами проносились стаи птиц; над застывшими водами насмешливо хохотал лун[49].

У берега стояли в два-три ряда челноки, сделанные из березовой коры. Копья с наконечниками из моржовой кости, костяные резные стрелы, луки, грубые сети и многое другое указывало на то, что стояла пора, когда лосось мечет икру. Близ берега находилась беспорядочная куча палаток, из которых доносились голоса рыбаков. Молодые люди боролись друг с другом или же ухаживали за девушками, а пожилые скваy неторопливо разговаривали и в то же время сучили веревку из молодых корней и побегов. Подле них забавлялись дети — дрались, возились или же вместе с собаками, огромными волкодавами, катались

[49] Сноски: 49
Лун — птица из породы нырцов.

по голой земле. Несколько поодаль, по ту сторону лужка, находился другой лагерь, заключавший лишь две палатки. Это был лагерь белолицых. Белые всегда были в полной безопасности. Их лагерь господствовал над лагерем индейцев, находившимся в какой-нибудь сотне ярдов от них. И на всякий случай от одной из этих двух палаток вела дорожка прямо к берегу, к пирогам.

Из одной палатки неслась капризный плач больного ребенка, которого мать старалась успокоить и убаюкать колыбельной песней. У догорающего костра разговаривали двое: американец и метис.

— Да! Я люблю церковь, как может любить только преданный сын. Моя любовь к ней так велика, что дни свои я проводил, спасаясь от нее, а ночи… ночи в снах о мщении. Послушайте!

В голосе метиса слышалось явное раздражение.

— Послушайте. Я родом с Красной реки. Мой отец такой же белый, как вы сами. Вся разница в том, что вы — американец, а он — англичанин, или, что называется, джентльмен. Мать моя была дочерью вождя, и я стал настоящим мужчиной. Хорошо. И вот словно кому-то захотелось узнать, какая такая кровь течет в моих жилах. Ведь я был по отцу белым и к тому же всегда жил с бе-

лыми. Была там одна белая, которая частенько ласково поглядывала на меня. Она была из богачей. У ее отца, француза по крови, было много всякого добра — земли, лошадей и прочего. Он всегда настаивал, что девушка не должна иметь собственного мнения. И вот почему его так разозлило все то, что потом произошло.

У девушки же оказалось собственное мнение, благодаря которому мы вскоре и очутились перед священником. Но нас опередил ее отец, который черт знает что наговорил и наврал священнику. Кончилось тем, что священник отказался венчать нас. Вы понимаете, как все это вышло. Вначале церковь отказалась признать мое рождение, а затем и брак. Что же, как не церковь, принудило меня пролить человеческую кровь! Правда, ясно теперь, что я имею полное основание любить церковь? Короче говоря, я несколько раз ударил священника по его бритой физиономии и вместе с девушкой помчался в Ферт-Пьер, где священствовал более сговорчивый и добрый человек. Но за нами вслед помчались ее отец, брат и всякие там другие люди. Дрались мы до тех пор, пока я не вышиб из седла троих человек, а остальных заставил повернуть восвояси. Мы с девушкой ушли в горы и леса, где стали жить невенчанными.

Но как вам понравится продолжение моего рассказа! Женщина, в общем, такое странное существо, что ни одному мужчине не понять ее. Между прочим, я в схватке выбил из седла отца моей любимой; остальные мои преследователи впопыхах проехали по его телу. Это мы успели заметить, но я вскоре забыл про это, а она… Она не забыла. Оказалось, что в тихие, мирные вечера, когда мы лежали при свете звезд, она переживала все тот же страшный час. Это было с нами неразлучно. Словно третье лицо сидело у нашего костра и делало нас чуждыми друг другу. Она пыталась бороться с ужасным, мертвящим ощущением, но страшный час припоминался еще подробнее, еще яснее… Видно было по всему — и по ее глазам и по порывистому дыханию, — как она страдает.

Вскоре после того она родила девочку и скончалась. Желая дать ребенку кормилицу, я направился к родным моей матери… Но вдруг все вспомнили, что мои руки обагрены кровью, — правда, по милости церкви. Вспомнили также, что меня повсюду ищет полиция. Меня спас дядя, брат моей матери, начальник конной полиции. Он на время укрыл меня, а затем дал лошадей, корм и все прочее. Я ускакал к Гудзонову заливу,

где проживало очень немного белых. Жил я спокойно, так как белые ни о чем не расспрашивали меня. Одновременно я работал и проводником, и погонщиком собак, и охотником, работал до тех пор, пока моя девочка не подросла и не превратилась в высокую красивую девушку.

Вам, конечно, известно, какие дурные мысли и дела рождаются в долгую, суровую зиму. Начальник поселка был очень предприимчивый и жестокий человек. Он не отличался ничем таким, что могло бы привлечь к нему женщин, и тем не менее он стал заглядываться на мою девочку. Господи Боже мой! Для того чтобы ему легче было обделать свое скверное дело, он надумал послать меня в далекий путь. Так он и сделал — бессердечный, жестокий человек! У моей девочки была непорочная, белая душа — белая, как и ее тело. Она не выдержала этого ужаса — и умерла.

Я вернулся домой в холодную, ненастную ночь. Я несколько месяцев провел в отсутствии, и мои собаки, подъезжая к дому, заметно хромали. На меня, не говоря ни слова, как-то странно смотрели и туземцы, и белые, и я, неизвестно почему, почувствовал гнетущий страх. Но как человек деловой, я прежде всего накормил собак и сам поел. Затем обратился к соседям за разъяснени-

ями, и вот все, точно по уговору, отступили от меня: они страшились меня и моего гнева. Слово за словом мне передали всю историю, печальную историю, и все удивлялись моему поразительному спокойствию.

Выслушав рассказ, я немедленно отправился в дом начальника, причем — уверяю вас — был и действовал тогда спокойнее, чем теперь, когда рассказываю вам. Тот при виде меня перепугался насмерть и стал звать белых на помощь, но они отказались, считая начальника достойным наказания. Тогда он побежал к священнику, но я последовал за ним. Однако пастор стал на моем пути и начал говорить о том, что человек, объятый гневом, прежде всего должен подумать о Боге. Я указал на свои отцовские права и потребовал, чтобы он дал мне пройти, но он заявил, что к начальнику я пройду только через его труп… Опять на моем пути стала церковь, все та же церковь! Я не совладал с собой — и переступил через труп священника, а затем отправил начальника навстречу моей дочери пред Богом — пред дурным Богом, — Богом белых людей.

Поднялась страшная суматоха, и я понял, что мне необходимо скрыться. Я пересек Страну Великого Раба и по долине реки Маккензи дошел до

вечных снегов, миновал Белые Горы и по Юкону добрался сюда. И с тех пор, кроме вас, я не видел ни единого белого. Вы — первый и, возможно, последний. Я теперь постоянно живу с туземцами. Это простые, бесхитростные люди, которые относятся ко мне с большим уважением. Я пользуюсь у них большим влиянием, настолько большим, что каждое мое слово — для них закон. Что я говорю — говорят и они. Что я думаю — думают и они. И вот я от имени всех нас требую, чтобы вы ушли от нас. Вы не нужны нам. Если с нашего позволения вы присядете у наших костров, то вслед за вами и в самом непродолжительном времени придут и ваша церковь, и ваши священники, и ваши боги. Знайте и помните, что каждого белого, который заглянет к нам, я заставлю отречься от веры его отцов. Для вас я делаю единственное исключение. Примите это во внимание — и уходите. Чем скорее вы уберетесь отсюда, тем будет лучше для вас.

— Я не могу и не должен отвечать за моих единоплеменников, — сказал белый, с задумчивым видом набивая трубку.

— Но мне достаточно знать ваш род, — произнес другой. — Вас очень много, и вы прокладываете дорогу для других. Со временем они явятся сюда

и завладеют всем в стране, но при мне этого не будет. Мне говорили, что англичане уже у устья Большой Реки и что русские дошли до нижнего течения Юкона.

Гей Стокарт с изумлением взглянул на метиса.

— Разве Юкон впадает в Берингово море? — с изумлением спросил он, так как, подобно своим соплеменникам, предполагал, что Юкон впадает непосредственно в Ледовитый океан.

— Не знаю. Знаю только, что в нижнем течении Юкона собралось очень много русских. Если хотите, можете сами убедиться в этом. Кстати, вы и вернетесь к своим. Не советую вам идти на Койокук — не советую вам как начальник, которому покорны все воины и все жрецы.

— А если я все-таки не послушаюсь вас и не отправлюсь ни к русским, ни к англичанам?

— Тогда вы отправитесь к вашему злому Богу — Богу белых!

Над горизонтом стояло багрово-красное, задернутое легкими тенями, солнце. Батист Красный поднялся с места, слегка кивнул головой и среди красноватых сумерек направился в свой лагерь.

II

Гей Стокарт очень энергично, хотя и коротко, выругался. Тотчас же его жена подняла глаза и пристально посмотрела вдоль по берегу. Она отличалась удивительной способностью догадываться о настроении и планах мужа по тем ругательствам, которые он произносил. По этой самой причине она определила, что данный случай заслуживает большого внимания. Большой челнок, весла которого ярко сверкали на заходящем солнце, пересекал реку, направляясь к берегу. Гей Стокарт внимательно наблюдал за человеком. В трех гребцах, работавших с ритмической правильностью, не было ничего странного, но внимание янки привлек красный платок, повязанный вокруг головы одного из них.

— Билл! — крикнул Гей Стокарт. — Эй, Билл!

Из соседней палатки, зевая, потягиваясь и протирая заспанные глаза, выглянул огромный, громоздкий, словно развинченный человек. Бросив случайно взгляд на реку, он тотчас же пришел в себя.

— Ах, черт! И зачем это принесло его сюда!

Гей Стокарт покачал головой и сделал шаг назад, желая достать ружье.

— А его действительно надо было бы подстрелить, — заметил Билл. — Не то, чего доброго, он все попортит нам.

Однако Гей Стокарт отказался от этой мысли и пытался в том же направлении воздействовать на Билла. Тем временем челнок причалил к берегу, и из него, кроме двух индейцев, вышел белый, обращавший на себя внимание необыкновенным головным убором.

— Приветствую вас словами Павла Тарсийского! Да будет с вами мир и радость.

Его появление и приветствие были встречены холодным молчанием.

Приезжий продолжал:

— Приветствую Гея Стокарта, великого грешника и богоотступника. Знаю, что вашим сердцем владеет великий бог наживы, а умом — злой дух. Знаю еще, что в одной палатке с вами живет ваша любовница. Зная это, я, Стордж Оуэн, посол Божий, приказываю вам раскаяться и очиститься от всякия скверны!

— Да оставьте вы кликушеский тон! — с раздражением вскричал Гей Стокарт и указал по направлению индейского лагеря.

Стордж Оуэн, миссионер и ставленник Господа на земле, подошел к самому берегу и распорядил-

ся, чтобы вынесли на сушу все его вещи.

Тогда Гей Стокарт подошел совсем близко к нему.

— Послушайте! — сказал он, коснувшись плеча миссионера. — Вы какого мнения насчет своей безопасности?

— Моя жизнь, равно как и смерть, — в руках Господа, и в его саду я лишь работаю по его начертаниям.

— Ах, да бросьте же эти слова! Вас не пугает мученическая смерть?

— Да исполнится воля Господа.

— Хорошо. Если вы очень хотите, воля Господа исполнится именно здесь. Но все же я считаю своим долгом предупредить вас и дать вам некоторый совет. От вас зависит, принять его или не принять. Заявляю вам, что, оставаясь здесь, вы сами себя обрекаете на смерть, — и не только себя, но и нас, Билла, мою жену…

— Она не христианка!

— Повторяю, что вы смертельно угрожаете всем нам. Последнюю зиму я провел и пострадал вместе с вами и знаю, что вы очень добрый человек. Конечно, я считаюсь с вашей почтенной миссией обращать язычников, но все же очень прошу вас хоть немного подумать о последствиях. Тут живет

Батист Красный — не индеец, а человек одного с нами происхождения. С одной стороны, он так же упрям и стоек, как я когда-то был, а с другой стороны — так же ограничен и фанатичен, как вы теперь. Раз только вы сойдетесь, я умываю руки, умываю даже в том случае, если вы пригрозите мне вечным пребыванием в аду. Поняли меня? Если поняли, то немедленно воспользуйтесь моим советом и убирайтесь отсюда. Уезжайте вниз по реке, и вы попадете к русским, среди которых найдете много священников. Они, наверно, помогут вам переехать Берингово море и вернуться в цивилизованный мир. Послушайтесь меня и оставьте нас как можно скорей.

— В сердце моем Господь, а в руке — Евангелие его, и мне нечего бояться ни козней дьявола, ни козней человеческих, — торжественно ответил миссионер. — Я все же встречусь с этим ужасным человеком и попытаюсь воздействовать на него словом Божьим. Лучше вернуть в лоно христианства одну заблудшую овцу, чем обратить тысячу язычников. Сильный во зле будет так же силен и в добре. Примером тому может служить Савл, ушедший в Дамаск с тем, чтобы пригнать в Иерусалим пленных христиан. Сказано в Евангелии следующее: «И послышался ему голос Спасите-

ля: — Павел, за что преследуешь меня? — И с того дня Павел перешел на сторону Господа Иисуса Христа и потом был велик и ревностен в спасении душ человеческих». И, подобно Павлу Тарсийскому, я работаю в саду Божьем и из любви к нему терплю напасти и горести, насмешки и презрение, боль и страдания.

Он тут же обратился к своим лодочникам:

— Не забудьте захватить чайник, мешок с чаем, олений окорок и котелок.

После того как прибывшие с ним люди — им же обращенные в христианство — вышли на берег, все трое, не выпуская из рук дорожных принадлежностей, опустились на колени и возблагодарили Бога за благополучное прибытие на место.

Гей Стокарт смотрел на всю эту церемонию с насмешливым и вместе с тем неодобрительным видом. Он отличался слишком трезвым и положительным взглядом на вещи, и подобные торжественные проявления были всегда чужды ему.

Между тем из своей палатки выглянул Батист. Глядя на все то, что происходит на стороне белых, он вспоминал о женщине, которая жила с ним в лесистых горах, — вспоминал и о дочери,

похороненной где-то около сурового Гудзонова залива.

III

— Батист, перестанем говорить об этом. Да не то что говорить — и думать об этом нечего. Я согласен с вами, что этот человек очень плохо понимает житейские дела и просто глуп, но при всем том я не могу отречься от него.

Гей Стокарт замолчал. Видно было, что эти слова выражали всю его душу, всю грубую этику его существования.

— Послушай, Батист, — продолжал он после паузы. — Он уж давно приелся мне; против своей воли он сделал мне много плохого. Но опять же… Как это ты не хочешь понять, что мы с ним одной расы? Он белый и… Да будь он даже негр, я не позволил бы себе отстоять свою жизнь за счет его жизни.

— Хорошо! — заявил Батист Красный. — Я сделал вам большое одолжение тем, что дал право выбора. Я теперь ухожу от вас, но скоро вернусь — вернусь со всем моим народом. И тогда вам опять придется выбирать: либо я убью вас, либо вы откажетесь от своего Бога. Если же вы хотите, чтобы я оставил вас в покое, отдайте

мне миссионера. Если вы этого не сделаете, вы погибнете. Мое племя ненавидит всех вас, даже ваших младенцев. Вот посмотрите: наши дети завладели вашими лодками.

Он указал на реку. Нагие индейские ребятишки на лодках белых неслись по течению; очутившись за пределами ружейного выстрела, они взялись за весла и стали торопливо грести по направлению к берегу.

— Отдайте в наше распоряжение миссионера, и я верну вам лодки, — сказал Батист Красный. — Хорошенько обдумайте мое предложение. Я не хочу, чтобы вы торопились.

Гей Стокарт покачал головой. Он взглянул на жену, державшую у груди ребенка, и, весь во власти колебаний, не находил в себе силы смотреть на стоявших около него белых.

Его сомнения разрешил миссионер, который после решительного заявления Батиста подошел совсем близко.

— В моей душе нет страха, — сказал он. — И я хоть сейчас готов идти к неверующим. У нас еще достаточно времени, я верю в чудо и надеюсь, что к одиннадцатому часу мне удастся обратить язычников на путь истинный.

— Вот вам удобный случай! — шепнул Билл на

ухо Стокарту. — Самое лучшее будет, если он пойдет к ним заложником. Пусть они устраиваются там с ним, как хотят.

— Нет, — твердо ответил Стокарт. — Я обещал ему, что мы поведем переговоры вполне честно. Тут, Билл, все равно что на войне, и поэтому надо считаться с правилами войны. Он до сих пор вел себя очень честно, даже предостерег нас, и поэтому я не смею нарушить мое слово.

— Он все равно исполнит свое обещание.

— Я знаю это, но тем больше оснований для меня быть таким же честным. Я не должен допустить, чтобы он оказался честнее меня. Ведь ты понимаешь, что если мы отдадим ему миссионера, то раз навсегда покончим с этим делом. Как же по-твоему: отдать?

— Нет… — колеблясь, произнес Билл.

— Вот видишь! И ты не решаешься!

Билл смутился, покраснел и перестал спорить. Батист Красный терпеливо ожидал ответа.

Гей Стокарт подошел к нему и сказал следующее:

— Послушай, Батист. Тебе известно, что я пришел сюда с целью идти дальше на Койокук. Ты знаешь, что у меня не было никаких дурных тайных мыслей. Их тогда не было и теперь нет. Вдруг

приходит сюда этот священник. Ведь не я же привел его сюда. Он пришел бы сюда независимо от того, здесь я или нет. Но теперь, раз он здесь и раз он — мой единоплеменник, я обязан стать на его защиту. Если ты, Батист, и весь твой народ будете добиваться своего, вам еще хуже будет. Замрет жизнь в вашем поселке; совсем, точно после голода, опустеет ваш лагерь. Конечно, мы пострадаем, но и твои люди…

— Но те мои люди, которые останутся в живых, будут пользоваться миром и спокойствием, и их слуха не будут раздражать чужие слова о чужих богах.

Гей Стокарт и Билл пожали плечами и ушли, а Батист Красный вернулся к себе.

Стордж Оуэн созвал людей, и они все вместе стали молиться. Стокарт и Билл срубили несколько высоких сосен и сделали из них брустверы, вполне пригодные для защиты.

Ребенок уснул. Жена Стокарта положила его на меха и стала помогать мужчинам. Вскоре лагерь белых был защищен с трех сторон; четвертая сторона имела естественную защиту в виде очень крутого откоса. Покончив с укреплением, Стокарт и Билл принялись за кустарник. В это же время из неприятельского лагеря стали доносить-

ся призывы колдунов, возбуждавших индейцев, и треск барабанов.

— Всего хуже то, что они думают захватить нас врасплох, — сказал Билл, когда они с топорами на плечах возвращались в лагерь.

— Конечно, они ждут ночи, когда нам будет очень трудно целиться и стрелять.

— В таком случае, быть может, лучше нам начать? — И Билл тотчас же сменил топор на ружье.

Над толпой индейцев отчетливо возвышался один из колдунов, и Билл прицелился в него.

— Готово? — спросил он.

Гей Стокарт открыл ящик с боевыми припасами, устроил в безопасном месте жену и дал Биллу знак.

Тот выстрелил.

Колдун упал. Жуткое молчание немедленно сменилось яростными воплями, которые, в свою очередь, сменились потоком стрел.

— То же самое я сделаю с метисом… — заряжая ружье, пробормотал Билл. — Готов клясться, что попаду ему в самую переносицу.

Он выстрелил.

— Не выгорело? — сказал Стокарт, мрачно качая головой.

Видно было, как Батист агитировал среди своих подчиненных. Некоторые из них рвались в бой, но большинство, охваченное невыразимым страхом, бросилось бежать и вскоре очутилось вне выстрела.

Настроение Сторджа Оуэна изменилось. Еще несколько времени назад готовый единолично отправиться в стан неверующих, одновременно готовый встретить чудо и мученичество, он чувствовал, что его мало-помалу оставляют возбуждение и страсть проповедника по убеждению. Вдруг заявило свои права чувство самосохранения. Вместо абстрактной надежды пришел физический страх, а любовь к Богу сменилась любовью к жизни.

Ему было знакомо это состояние. Он вдруг вспомнил, как еще недавно, в критический момент, когда всем находящимся в лодке угрожала опасность, он в числе прочих бросил весла и, поддавшись общей панике, стал молить Бога сохранить ему жизнь.

Это воспоминание было неприятно ему. Ему стало стыдно, ибо он снова почувствовал, как слаб его дух и немощно его тело. Заговорила любовь к жизни.

Да, это было сильнее его, и он не мог бороться

с этим могучим инстинктом. Его отвага — если только это можно было назвать отвагой — имела своим источником религиозный фанатизм, между тем как отвага Стокарта и Билла вытекала из глубоко заложенных в них убеждений. И в них говорила любовь к жизни, но сильнее того были расовые традиции. И они боялись смерти, но не хотели жизни, купленной ценою вечного позора.

Стордж Оуэн встал с места, весь охваченный готовностью самопожертвования. Он было уже занес ногу, желая перелезть через укрепления и проникнуть во вражеский лагерь, как вдруг, дрожа и стеная, подался назад.

«Господи, как я слаб… Кто я, что осмеливаюсь идти против велений Господа моего? Еще до моего рождения все было вписано в книгу судеб. Смею ли я, жалкий червяк, испортить хоть единую страницу этой книги? Да свершится воля Господня!»

Он снова занес ногу, но вдруг к нему подскочил Билл и, не говоря ни слова, сильно ударил его. Миссионер от неожиданности готов был закричать как безумный, но Билл, уже забыв про него, все свое внимание обратил на его спутников. Те почти не обнаружили страха и тотчас же принялись помогать Гею и Биллу.

— Притащите сюда миссионера! — обратился Стокарт к Биллу, после того как перестал шептаться со своей женой.

Спустя несколько минут Стордж стоял перед ним с самым растерянным видом, и Стокарт сказал ему следующее:

— Повенчайте нас — да поскорее!

Он прибавил, обратясь к Биллу:

— Кто его знает, чем это еще кончится: поэтому я думаю, что всего лучше будет привести в порядок все свои дела.

Индеанка беспрекословно повиновалась желанию своего белого господина. Она относилась к подобной церемонии совершенно безразлично и к тому же считала себя женой Стокарта с того самого момента, как вошла в его дом.

Свидетелями венчания были спутники миссионера, которого не переставал торопить Билл. Гей подсказывал жене должные ответы, а к известному моменту, за неимением кольца, обвил ее пальцем свой указательный палец.

— Поцелуйтесь! — торжественно провозгласил Билл.

Стордж Оуэн был до того убит происходящим, что не мог даже протестовать.

— А теперь крестите ребенка!

— К тому же по всем правилам! — приказал Билл.

В качестве купели послужила большая чашка с водой. Как только кончился обряд крещения, ребенка отнесли в безопасное место. Затем развели костры и стали готовить ужин.

Уже заходило солнце, и ближе к северу небо приняло кроваво-красный оттенок. Угасал свет, все длиннее становились тени, и все тише становилось в лесу. Слабее и слабее доносились голоса птиц, и наконец на землю спустилась ночь.

Между тем у индейцев с каждой минутой становилось все шумнее; сильнее прежнего грохотали барабаны, оглушительные звуки которых смешивались со звуками национальных индейских песен.

Однако и у них шум прекратился, едва только солнце опустилось за горизонт. Всю землю заполнили мрак и ничем не нарушаемое молчание. Убедившись в царящей вокруг тишине, Гей Стокарт подошел к укреплениям, опустился на колени и стал наблюдать в промежутки между отдельными бревнами.

Послышавшийся плач ребенка отвлек его внимание. Мать склонилась над ребенком, и ребенок тотчас же снова заснул. Воцарилось безгранич-

ное, углубленное молчание. Вдруг откуда-то донеслось громкое пение реполовов.

Ночь близилась к концу.

На открытом месте показалась неясная группа людей, и тотчас же послышался характерный шум стрел, вызвавших в ответ ружейные выстрелы. Вдруг копье, брошенное опытной и сильной рукой, пронзило женщину из Теслина, и почти одновременно стрела, проникнув меж бревен, попала в руку миссионера.

Бой разгорался. Вскоре весь участок земли под баррикадами был завален трупами, но оставшиеся в живых индейцы неслись вперед со страстностью и стремительностью морских волн. Стордж Оуэн скрылся в палатке, а его спутники были подняты людской волной и тотчас же сметены ею. Гею Стокарту могучими усилиями удалось пробиться вперед и очистить вокруг себя место. Темная рука вытащила крохотного ребенка из-под мертвого тела матери и со всего размаху ударила его о бревна.

Кольцо дикарей становилось все тесней, а стрелы и копья падали все чаще. Занялась заря; вскоре поднялось солнце и залило поле битвы яркими лучами. Уже во второй раз индейцы устремились на Стокарта, но он опять, действуя одним топо-

ром, отразил нападение. Люди падали у его ног, а он попирал ногами мертвых и умирающих.

В небе разгоралось солнце, и все звучнее пели птицы. Индейцы временно отступили, а Гей — от усталости и волнения едва держась на ногах — воспользовался перерывом и оперся на топор.

— Клянусь душой своей, — вскричал Красный Батист, — ты мужчина! Отрекись от своего Бога — и ты будешь жив!

Стокарт отрицательно повел головой.

— Смотрите! Женщина! — Сторджа Оуэна вывели и поставили рядом с метисом.

Он был невредим — только несколько царапин на руке. Глаза его блуждали с выражением величайшего ужаса. Его неверный взор был привлечен могучей фигурой Гея Стокарта, который, несмотря на множество ран, с самым бесстрашным видом опирался на топор. Все существо этого человека, по обыкновению, дышало неукротимой отвагой, гордостью и несравненным спокойствием. И Стордж Оуэн почувствовал непреодолимую зависть к человеку, который с таким ясным, открытым взором встречает смерть. Во всяком случае, уж если кто-нибудь из них и походил на Христа, так не он, Стордж Оуэн, а Гей Стокарт.

Он вдруг почувствовал слепое озлобление про-

тив предков, которые целым рядом поколений передали ему слабость духа, и одновременно им овладел великий гнев против Творца, создавшего его таким жалким и слабым. Даже для более сильного человека при таких условиях был неизбежен религиозный крах, а со Сторджем Оуэном случилось то, чего всегда можно было ожидать от него. Из страха перед людьми он восстал против Бога. Еще недавно в своем бескорыстном служении Богу он вознесся высоко, но вознесся для того, чтобы теперь тем стремительнее свергнуться вниз. Только теперь ему стало ясно, до чего бессильна и беспочвенна всегда была его вера. Ему была ниспослана вера, но не было силы и духа отстоять ее.

— Где же великий Бог твой? — насмешливо спросил Батист Красный.

— Я не знаю… Я ничего не знаю.

Он весь похолодел и был подобен малому ребенку, отвечающему на вопросы законоучителя.

— Но ты веришь в Бога?

— Верил.

— А теперь?

— А теперь не верю.

Гей Стокарт вытер струившуюся по лицу кровь и улыбнулся, Стордж Оуэн взглянул на него с лю-

бопытством. Стокарт не принимал никакого участия в разговоре, стоял в стороне, и слова Батиста едва достигли его слуха.

А тот сказал следующее:

— Послушайте все вы, что я вам скажу: я отпускаю этого человека, не причинив ему ничего дурного. Пусть он идет с миром и возьмет с собой в дорогу все необходимое. Он придет к русским и расскажет их священникам о стране Батиста Красного, о стране, где не признают никакого Бога.

Индейцы проводили миссионера до склона горы и там задержались с ним — в ожидании развязки. Батист Красный обратился к Гею Стокарту:

— Ты слышал, что я сказал: здесь нет никакого Бога.

Тот, не ответив, продолжал улыбаться.

Один из молодых индейцев взял копье наперевес.

— Веришь ли ты в Бога?

— Да, я верю в Бога моих отцов.

Батист Красный подал знак, и молодой индеец пронзил копьем грудь Гея Стокарта.

Стордж видел костяной наконечник, прошедший навылет; видел, как Стокарт, по-прежнему

улыбаясь, закачался и стал медленно опускаться на землю. Одновременно он услышал стук сломавшегося и упавшего на землю древка. Когда все кончилось, Стордж отправился вниз по реке — с тем чтобы рассказать русским о стране Батиста Красного, о стране, где не признают никакого Бога.

Великий вопрос

I

Миссис Сейзер пронеслась по Даусону положительно как метеор: она мгновенно появилась и мгновенно же исчезла. Приехала она ранней весной, на собаках, в сопровождении французов из Канады, в продолжение месяца жила среди даусонцев и с первой водой уехала вверх по реке. Даусон, населенный преимущественно мужчинами, был поражен этим спешным отъездом, и все жители чувствовали себя сиротливо до тех самых пор, пока новое событие не заставило забыть о миссис Сейзер. Все были в восхищении от нее и приняли ее с распростертыми объятиями. Это вполне понятно, так как миссис Сейзер была очень изящна, красива и ко всему этому — вдова. За нею увивались несколько крупных золотоискателей с Эльдорадо, несколько чиновников и молодых людей, жадных до шелеста женских юбок.

Некоторые инженеры, знавшие покойного мужа миссис Сейзер, относились к его памяти с необыкновенным уважением; о его деятель-

ности положительно ходили легенды. Он был известен в Соединенных Штатах, но еще большей известностью пользовался в Лондоне. Естественно, возникал вопрос большой важности: почему миссис Сейзер так поспешила приехать в Даусон? Но жители Севера, относясь очень спокойно к теории, признают факт и считаются только с ним, а для многих из них Карина Сейзер была неопровержимым и слишком важным фактом. Однако прекрасная вдовушка нисколько не считалась с отношением к ней даусонцев, и отказы на бесчисленные предложения последовали с такой же головокружительной быстротой, с какой были сделаны и самые предложения. Миновал месяц — и миссис Сейзер исчезла! Вместе с ней исчез факт, но остался вопрос.

Известному разрешению этого вопроса способствовал следующий случай. Ее последняя жертва, Джэк Кауран, без всяких результатов предлагавший ей свое сердце и право на пятьсот футов россыпей на Бонанце, решил потопить свое горе в бесконечных ночных кутежах. И вот однажды ночью он совершенно случайно встретился с французом Пьером Фонтаном, старшим попутчиком Карины Сейзер.

Они быстро сошлись, выпили и разговорились.

Благодаря легкому опьянению беседа приняла очень откровенный характер.

Пьер Фонтан сказал:

— Вы спрашиваете меня, почему мадам Сейзер приехала сюда? Для этого вам придется поговорить с самой мадам Сейзер. Я лично ничего не знаю или, вернее, знаю только то, что за все время нашего знакомства она расспрашивала меня только об одном человеке. Она говорила мне следующее: «Послушайте, Пьер, вы во что бы то ни стало должны мне помочь найти этого человека. Я готова дать вам очень много; я дам вам тысячу долларов, если вы найдете этого человека». Вы хотите знать имя этого человека? Извольте, я вам назову его: Дэвид Пэн. Да, m'sieu[50], — Дэвид Пэн. Она не перестает говорить об этом человеке. Я же не перестаю приглядываться ко всем встречным и поперечным, но никак не могу заработать свою тысячу долларов.

Да, могу вам еще сказать, что несколько человек из Сёркла хвастаются, что знают этого Дэвида Пэна. Они заявляют, что он работает на Берч-Крик. Хотите знать, как к этому заявлению отнеслась мадам Сейзер? Она сразу просияла и

---

[50] Сноски: 50

M'sieu *(фр.)* (сокращение слова monsieur) — мосье, господин.

сказала одно слово: «Хорошо!» А мне она затем сказала следующее: «Пьер, приготовьте собак. Мы скоро едем. Если мы найдем Дэвида Пэна, я дам вам не тысячу долларов, а гораздо больше». Я же ответил ей: «Oui, и едем скорее, allons, madame»[51].

Ну теперь я уверен, что деньги мои. Хорошо, очень хорошо. И вот являются какие-то люди из Сёркла и говорят, что этот самый Дэвид Пэн только что возвратился в Даусон. Так мы с мадам ничего и не выиграли.

Да, m'sieu! На этих днях мадам говорит мне следующее: «Пьер, купите лодку и все такое. На днях мы едем вверх по реке». Да, и вот завтра мы едем. Ситка Чарли уже купил лодку и все принадлежности к ней за пятьсот долларов.

На следующий день Джэк Кауран рассказал про свой разговор с французом. Положительно весь Даусон терялся в догадках: кто такой этот Дэвид Пэн и в каких отношениях он находится с Кариной Сейзер?

Действительно, в тот же самый день, согласно словам Пьера Фонтэна, миссис Сейзер вместе с проводниками оставила Даусон и отправи-

---

[51] Сноски: 51
Allon's, maciame *(фр.)* — идемте, мадам.

лась вверх по реке, вдоль восточного берега до Клондайка; здесь, желая миновать дороги, они пересекли небольшую речку и исчезли среди массы островов по направлению к югу.

II

— Oui, madame, вот это и есть то самое место. Один-два-три острова ниже реки Стюарт. Вот это и есть третий остров!

С этими словами Пьер Фонтэн направил лодку против течения; со свойственной ему ловкостью он выскочил на берег и укрепил ее.

— Подождите, мадам. Я пойду погляжу.

Едва только он исчез за мысом, как тотчас же раздался лай собаки, и спустя несколько минут Пьер вернулся.

— Там хижина! Я довольно тщательно осмотрел ее, но в ней никого не оказалось; полагаю, однако, что живущий там ушел недалеко и ненадолго, иначе он не оставил бы собак. Готов спорить, что он очень скоро вернется.

— Пьер, помогите мне выйти из лодки. Я очень устала, и мне трудно самой подняться. Только, пожалуйста, осторожнее.

Она встала во весь рост — стройная и прекрасная. Похожая на нежную лилию, она все

же опиралась на руку Пьера с силой, которая говорила об упругих, развитых мускулах. Все ее движения, полные свободы и ловкости, подтверждали мнение, что в ее теле таится большая сила.

Несмотря на то что она хотела казаться спокойной и беспечной, выйдя на берег, она покраснела, и ее сердце забилось тревожней обычного. Она с каким-то особым, почти благоговейным интересом подходила к дому, а ее разрумянившееся лицо говорило о большой радости, которую она испытывала.

— Да вот, посмотрите! — воскликнул Пьер, указывая на щепки, валявшиеся среди рядов аккуратно сложенных дров. — Ведь это совершенно свежая рубка. На мой взгляд, щепки лежат здесь два-три дня, не более.

Миссис Сейзер в знак согласия кивнула головой. Она хотела было заглянуть через небольшое окно внутрь хижины, но толстая промасленная бумага, пропускавшая свет, не позволяла видеть, что находится за нею. Тогда Карина пошла к двери, приподняла тяжелый засов, но вдруг передумала, опустила руку, и засов упал на свое место.

Она вдруг опустилась на колени и с молитвен-

ным видом поцеловала грубо обтесанный порог. Казалось, Пьер Фонтэн ничего не видел. Да если бы и видел что-либо, он скрыл бы это и никому не сказал бы ни слова.

Один из лодочников, спокойно закуривавший трубку, был поражен необычайной строгостью, которая зазвучала в голосе Пьера Фонтэна:

— Эй, вы там! Ле-Гуар, устройте, чтобы было помягче, давайте побольше шкур и одеял.

Сиденье в лодке было разобрано, и большая часть мехов перешла на берег, где миссис Сейзер расположилась очень удобно.

Лежа на боку, она смотрела перед собой, на широкий Юкон, и ждала. Небо за горами, стоявшими по другую сторону берега, было темно и затянуто дымом невидимого лесного пожара. Сквозь тучи дыма едва-едва проглядывало послеполуденное солнце, которое бросало на землю слабый свет и столь же слабые тени. Кругом, до самого горизонта, была девственная природа, были темные воды, высокие скалы, в расщелинах которых держался вечный лед, и поросшие соснами берега.

Все было тихо, и ничто не указывало на близкое присутствие человека. Словно земля на огромном протяжении погрузилась в небытие и была окутана непроглядной вечной тайной безгранич-

ного пространства.

Может быть, именно природа вызвала нервное волнение миссис Сейзер. Во всяком случае, она сидела очень беспокойно, то и дело меняла место и положение, глядела то вверх, то вниз и сосредоточенно рассматривала мрачные берега реки.

Так прошло около часа. Лодочники ставили палатку на берегу, а Пьер оставался возле миссис Сейзер.

— А вот и он! — воскликнул наконец Пьер Фонтэн, пристально вглядываясь по направлению верхней части острова.

Вниз по течению скользила лодка. На корме можно было различить мужскую фигуру, а на носу — женскую. Обе фигуры ритмично покачивались в такт веслам.

Миссис Сейзер не замечала женщины до тех самых пор, пока лодка не подошла совсем к берегу, и только тогда ее внимание привлекла необыкновенная и своеобразная красота женского лица. Куртка из оленьей шкуры, разубранная бисером и плотно облегающая тело, вырисовывала прекрасные, словно точеные линии тела. Шелковый, яркий и кокетливо повязанный платок на голове едва прикрывал тяжелую массу иссиня-черных волос.

Миссис Сейзер не могла оторвать взгляда от чудесного лица, которое, казалось, было отлито из красноватой меди.

Из-под красивой линии бровей открыто и слегка кося смотрели зоркие, черные, большие глаза. Щеки были несколько бледны и худы, но не болезненного оттенка; правильный рот и нежные тонкие губы говорили о силе и мягкости. На лице были следы древнего монгольского типа; было так, точно после долгих и многих веков скитания вернулись первоначальные расовые отличия. Это впечатление поддерживали красивый орлиный нос с тонкими изящными ноздрями и вообще характерное выражение орлиной дикости, которой дышало все ее существо. Очевидно, она была индеанкой, но тип этот был доведен до совершенства. Краснокожие могут гордиться, если среди них хоть изредка появляются образцы такой несравненной красоты.

Женщина гребла так же глубоко и сильно, как и мужчина, она помогла направить лодку против течения и причалить к берегу. Спустя минуту она уже стояла на берегу и при помощи веревки вытащила из лодки четверть недавно убитого оленя. Вскоре к ней присоединился мужчина, и они общими усилиями подняли челнок на берег.

Их с радостным визгом окружили собаки, и в то время как девушка возилась с собаками, мужчина увидел поднявшуюся с места Карину Сейзер. Он стал протирать глаза, словно не доверяя своему зрению.

— Карина! — воскликнул он очень просто, тотчас же подошел к ней и протянул руку. — Господи, я не верю своим глазам. Может быть, мне все это снится. Как-то раз меня весною ослепил снег, и я на некоторое время потерял зрение. Со мною это бывало несколько раз.

Карика Сейзер побледнела, и сердце ее болезненно сжалось. Она могла ожидать чего угодно, только не холодного тона и просто протянутой руки. Однако она овладела собой и сердечно ответила на рукопожатие.

— Помните, Дэвид… Ведь я часто угрожала вам тем, что вот возьму и приеду к вам.

— Только перед самым-то приездом и не написали ни слова. — Он рассмеялся и взглянул на индеанку, которая в эту минуту входила в хижину.

— Я вполне понимаю вас, Дэвид… Очень может быть, что на вашем месте я поступила бы точно так же.

— Прежде всего пойдем и чем-нибудь заку-

сим, — сказал он весело, не обращая внимания на интонацию миссис Сейзер. — Вероятно, вы порядком устали. Какой дорогой вы ехали сюда? Вверх по реке? Значит, вы зимовали в Даусоне? Или, может быть, вы воспользовались последним санным путем? Это ваши? — и он указал на проводников, устроившихся у костра.

После того он открыл дверь и предложил Карине войти в дом.

— В прошлом году я отправился из Сёркла вверх по реке, — продолжал он. — Пришлось идти по льду, и я временно поселился здесь. Я думаю пока что заняться изысканием на Гендерсон-Крик. А если не удастся, пойду вверх по берегу Стюарт.

— А вы, знаете, не очень изменились, — сказала она, стараясь перевести разговор на личные темы.

— Да, я, пожалуй, немного исхудал, но зато у меня окрепли мускулы. Вы это хотели сказать?

Она не ответила, пожала плечами и стала глядеть на девушку, которая развела огонь и при слабом освещении жарила большие куски оленьего мяса.

— Вы долго прожили в Даусоне?

Он обтесывал березовое топорище и задал вопрос, не подняв головы.

— Нет, всего несколько дней, — ответила Карина, все еще следя за индеанкой и почти не слушая Пэна. — Вы что спросили? Сколько я прожила в Даусоне? Ах, в Даусоне я прожила месяц и очень была рада, когда уехала. Надо вам сказать, что я не очень-то люблю северян. Они слишком уж несдержанны в своих чувствах.

— В сущности, они по-своему правы — в том отношении, что отказались от многих условностей. А время для путешествия вы избрали очень хорошее. Вы можете осмотреть все и уехать отсюда еще до появления москитов. Ваше счастье, что вы не имеете представления о том, что за ужасный зверь москит.

— Возможно. Но расскажите мне что-нибудь о себе. Как живете? Что делаете? С кем встречаетесь?

Говоря таким образом и задавая вопросы, она не отрывала взгляда от индеанки, возившейся у печки.

В эту минуту Винапи растирала на камне кофе, и делала это с упорством, свидетельствующим о нервах столь же первобытных, как и способ растирания. Держа в руках кусок кварца, она раздробила отдельные кофейные зерна.

Дэвид Пэн обратил внимание на пристальный

взгляд Карины Сейзер, и легкая улыбка скользнула по его губам.

— Да, здесь раньше был кое-кто, — не спеша ответил он. — Несколько молодцов с Миссури и из Корнуэллса. Они все теперь работают на Эльдорадо.

Миссис Сейзер внимательно посмотрела на девушку.

— Индейцев здесь, кажется, немало, — заметила она.

— Индейцы издавна живут ниже Даусона. Редко-редко кто-нибудь заглянет сюда. Кроме Винапи, здесь никого нет, но и она родом из Койокука.

Вдруг страшная слабость овладела Кариной Сейзер. Ей казалось, что Дэвид Пэн отодвинулся от нее на огромное расстояние, а вся бревенчатая хижина закружилась, как пьяная. Только очутившись за столом, она несколько пришла в себя. Она почти все время молчала, сказала лишь несколько слов о погоде и о стране, а Дэвид пустился в объяснения различий между золотыми россыпями в Верхней и Нижней Стране.

— Вы даже не считаете нужным осведомиться о причине моего приезда сюда, — сказала наконец Карина. — Очевидно, вы и без моих объ-

яснений все знаете…

Они встали из-за стола, и Дэвид снова принялся за свое топорище.

— Вы получили мое письмо?

— Последнее письмо? Думаю, что не получил. Очень может быть, что оно прибудет позже вас и странствует теперь около Берч-Крик. О почте в наших местах лучше не говорить. Это сплошной позор. Ужас — и больше ничего!

— Дэвид, что же с вами такое случилось? Вы деревянный какой-то… — Она заговорила твердо и резко, основываясь на прежних отношениях. — Почему вы не спросите, как я живу? Неужели же вас это совсем не интересует? Знаете, мой муж умер!

— Разве? Как жаль. Когда же это случилось?

— Дэвид! — Она готова была заплакать от огорчения. — Но хоть несколько писем моих вы получили? Вы, правда, не отвечали, но я все же не могу себе представить, чтобы вы совсем не получали моих писем…

— Нет, зачем же? Несколько писем ваших я получил. Вот только не получил последнего письма, в котором вы писали о смерти мужа. Должен признаться, что почти все ваши письма я прочел Винапи вслух, так сказать, в назидание ей: знай,

мол, какие такие твои белые сестры. Я склонен думать, что она извлекла из этого немалую пользу. Вы как думаете?

Она сказала, не обращая внимания на резкость Дэвида:

— В последнем письме, в том самом письме, которого вы не получили, я действительно говорила о смерти моего мужа, полковника Сейзера. Это было ровно год назад. В том же самом письме я предлагала вам не приезжать ко мне, так как я намеревалась приехать к вам. Я наконец исполнила то, чем так неоднократно грозила.

— Я, собственно говоря, не знаю, про какие именно угрозы вы говорите.

— Не про угрозы, а про обещания в предыдущих письмах.

— Правда, вы несколько раз писали про свой *возможный* приезд, но никто из нас не был уверен в этом. Вот почему я лично считаю себя теперь свободным от каких-либо обещаний. Виноват, я помню кой-какие обещания, — вполне возможно, что и вы их помните. Они были даны очень давно…

Он положил топорище на пол и поднял голову.

— Да, это было очень и очень давно, но я удивительно ясно помню все, каждую мелочь. Мы были

с вами в саду — в розовом саду вашей матушки. Все вокруг нас распускалось, цвело, и в нас самих стояла такая же точно весна, как и в природе. Вы помните, я привлек вас к себе в первый раз и поцеловал вас в губы…

— Довольно, Дэвид, не напоминайте… Я помню все не хуже вашего… Боже, как часто и много я плакала, желая хоть как-нибудь загладить все скверное в моем прошлом. Если бы вы только знали, сколько я вынесла за это время!

— Вы дали мне тогда много обещаний — и в последующие, незабвенные дни неоднократно повторяли эти же самые обещания. Каждый взгляд ваш, каждое прикосновение, каждый звук вашего голоса был обещанием… Не знаю, стоит ли говорить дальше. Одним словом, между нами вдруг стал человек, который годился вам в отцы. Ни вы, ни он с этим, однако, не считались. С точки зрения чисто светской, это был вполне корректный и достойный полного уважения человек. Простите, я уже кончаю… Он обладал двумя десятками довольно скверных рудников, небольшим участком земли, стоял во главе кой-каких коммерческих предприятий и…

— Я не отрицаю всего этого… — прервала его Карина, — но вы забываете про многие другие об-

стоятельства. Вы совершению упускаете из виду денежные дела моих родителей… Они в то время страшно нуждались… Я не могла спокойно относиться к этому и принесена была в жертву. Нет, я сама, по доброй воле, принесла себя в жертву. Ах, Дэвид, как вы всегда пристрастно относились ко мне! Это правда, что я ушла от вас, — но почему вы не подумаете о том, чего мне стоило все это?

— Стесненные обстоятельства родителей… Жертва семейного положения и все такое… А я говорю совсем иначе: вас совсем не привлекала мысль о том, чтобы ехать за мной в такую глушь.

— Но ведь в то время я только вами и жила…

— Простите, в любовных делах я всегда был и остался неопытным человеком. И поэтому я тогда никак не мог постигнуть…

— Но теперь… теперь?

— Итак, нашелся человек, которого вы сочли достойным вашей руки. Посмотрим, что это за человек. Скажите мне, пожалуйста, — чем именно он воздействовал на вас, чем пленил вас? Какие такие замечательные достоинства вы открыли в нем? Не стану отрицать того, что это был умелый, энергичный человек, умеющий устраивать дела. Существо, вообще говоря, ограниченное,

он был настоящим талантом в смысле перевода чужих денег в свой собственный карман. Он, как никто другой, умел наживаться. К тому же современный закон был всецело на его стороне. Христианская этика, безусловно, одобряет подобную деятельность. Одним словом, на обывательский взгляд, он был вполне порядочным членом общества. Но вот на ваш-то взгляд, каков он был? Ведь у вас были свои взгляды — взгляды, распустившиеся в розовом саду.

— Не забывайте, что вы говорите о покойном.

— Это абсолютно не меняет дела. Я все же спрашиваю вас, что такое он представлял собой? Ничего больше, как огромное, неимоверное толстое создание, интересы которого всегда были направлены только на материальную сторону вещей. Он не знал и не понимал, что такое духовные запросы; его оставляла глухим самая прекрасная песня, оставляла слепым самая безупречная красота. Обыкновеннейший толстяк, с обрюзгшим лицом, дряблыми щеками и огромным животом, наглядно говорящим об его обжорстве.

— Но ведь он уже умер! А мы живем и будем жить. Ради Бога, выслушайте меня. Вы упрекаете меня в непостоянстве. Пусть я согрешила! Ну а вы? Разве же вы не грешны? Хорошо, я согласна

с вами: я нарушила свои обещания, но вы-то? Ведь и вы нарушили свои обещания. Где ваша любовь, распустившаяся в розовом саду? Где она? Что с ней?

— Она там же, где всегда была, — здесь! — крикнул Дэвид, ударив кулаком по груди. — Она здесь!

— Я знаю, что ваша любовь была великой любовью. Мне всегда казалось, что нет ничего выше ее. Так неужели же теперь у вас не хватит настолько великодушия, чтобы простить меня, — меня, которая теперь плачет и молит о прощении?

Он боролся с самим собой. Слова замирали на его губах. Она заставляла его открыться во всем и сказать то, что он скрывал до сих пор от самого себя. А она не отрываясь глядела на него, уверенная в том, что скажется сила прежней любви. Желая скрыть от нее выражение своего лица, он отвернулся, но она обошла кругом него и снова заглянула в его глаза.

— Взгляни на меня, Дэйв, я умоляю тебя взглянуть на меня. Я все та же, что была… Я нисколько не изменилась. И ты… ты тоже не изменился. Мы остались теми же.

Она положила свою руку на его плечо, а он не замечал этого, почти не слышал того, что она го-

ворит. Его привел в себя треск спички: Винапи, не принимавшая никакого участия в том, что происходило в двух шагах от нее, зажгла масляную лампу, которая стала очень медленно разгораться. Ее фигура четко обрисовалась на черном фоне, и внезапно вспыхнувшее яркое пламя обратило бронзу ее чудесного лица в царственное золото.

— Ведь вы видите… сами понимаете, что это невозможно… — простонал он, слегка отталкивая от себя белую женщину.

Он повторил:

— Это невозможно… это невозможно…

— Послушайте, Дэйв… Ведь вы понимаете, что я не девушка и что я очень далека от девичьих иллюзий. — Она говорила тихо, не решаясь подойти ближе к нему. — Я уже взрослая женщина и прекрасно все понимаю. Конечно, мужчины всегда и повсюду остаются мужчинами. Уж так водится. Я нисколько не поражена и почти предвидела это. Но ведь этот ваш брак недействителен? Он не законный?

— Здесь, на Аляске, подобных вопросов не предлагают, — тихо произнес Дэвид.

— Да… но…

— В таком случае не о чем говорить. Здесь других браков не бывает.

— А у вас есть дети?

— Нет.

— Нет… И не…

— Не знаю. Во всяком случае, то, что вы предлагаете, невозможно.

Она снова совсем близко подошла к нему и ласково и любовно стала проводить рукой по его загорелой шее.

— Значит, это вовсе не брак… Насколько я понимаю местные порядки, здесь все мужчины так поступают. Да и не только здесь. Мало кто из поселенцев намеревается здесь остаться на всю жизнь. В таком случае девушку или женщину, с которой мужчина прожил известное время, обеспечивают на целый год всем необходимым, дают некоторое количество денег — и все!

Она пожала плечами.

— Девушка вполне довольна, а мужчина… Вы точно так же можете поступить. Мы можем обеспечить ее не только на год, но и на всю жизнь. Скажите, пожалуйста, чем она была в то время, когда не знала вас? Самой обыкновенной дикаркой, которая ровно ничем не отличалась от остальных туземок. Летом она питалась рыбой, а зимой — олениной… Большую часть года она голодала, но зато в праздники наедалась до от-

каза. Нечего говорить о том, что вместе с вашим появлением для нее началась настоящая жизнь… Только через вас она узнала, что такое счастье. Вы ей дали узнать много хорошего, и теперь, когда вас уже не будет с ней, ей все же будет лучше, чем до того, как вы вошли в ее жизнь…

— Ах, нет… нет, — запротестовал он. — Вы страшно ошибаетесь.

— Не я, Дэвид, ошибаюсь, а вы, только вы. Вы совершенно забываете о том, что, в сущности говоря, вы с ней — абсолютно разные существа. Вы принадлежите к разным расам. Она — местная жительница, которая слишком привыкла ко всему, с чем срослась с детства. Ее невозможно безболезненно оторвать от родной почвы. Она — дикий, первобытный человек, который умрет точно таким, каким родился. Совсем другое — мы с вами. Мы — господа, мы — украшение вселенной, больше того — ее представители. Дэвид, мы созданы друг для друга. В нас звучит высший голос, голос расы, голос рода. Все в нас подсказывает, что нам должно делать. Вам это подсказывает ваш собственный инстинкт, и вы не станете отрицать этого. Множество поколений стоит позади вас, и вам необходимо волей-неволей считаться с этим могучим фактом. Ваш род

насчитывает тысячи поколений — быть может, сто тысяч поколений, — и вы не смеете допустить, чтобы он прекратился. Против этого восстанут все ваши предки. Против этого восстанет самый ваш инстинкт, который, уж во всяком случае, сильнее воли. Раса же сильнее вас как отдельного человека. Опомнитесь, Дэйв. Придите в себя, возьмите себя в руки — и уедем. Мы еще так молоды, и нас зовет жизнь, которая так хороша…

Он в это время глядел на Винапи, которая собиралась выйти из хижины покормить собак. При этом он несколько раз медленно покачал головой.

Карина провела рукой по его шее и прижалась щекой к его щеке. И вдруг перед ним встала вся его жизнь. Он в одно мгновение вновь пережил все перипетии борьбы с безжалостной природой, все тяжелые годы беспрерывного голода и мучительного холода, годы бесконечных и жестоких стычек с дикой, первобытной природой. И вдруг к нему пришло искушение — искушение в образе любимой им некогда женщины… И это живое искушение стало нашептывать ему сказки про теплую, с мягким климатом страну, где так много радости, света, наслаждений… И помимо его собственной воли пред его глазами воскрес-

ло все прошлое, все пережитое, и, как живые, предстали знакомые, давно позабытые лица, как в калейдоскопе замелькали былые события, ожили веселые часы, зазвучали милые песни и ясный смех…

— Дэвид! Идем со мной. Я теперь достаточно богата, нам не надо будет ни о чем заботиться… Идем же, Дэвид.

Она стала оглядываться.

— У нас будет средств более чем достаточно, у нас не будет никаких забот, — наша единственная забота будет заключаться в том, чтобы как можно больше наслаждения взять от жизни. Идем!..

Последние слова она произнесла уже в его объятиях. Она вся дрожала от безграничной любви к нему, а он, забывшись, крепко прижимал ее к себе.

Сквозь толстые стены хижины доносились в комнату крики Винапи, разнимавшей сцепившихся собак. Голос Винапи и глухое ворчание собак напомнили Дэвиду другую картину. Он вдруг увидел себя в лесу, в схватке с огромным медведем. Вместе с ревом страшного зверя смешались остервенелый лай собак и точно такие же, как теперь, крики Винапи, натравливавшей

собак на медведя. Он сам почти на краю смерти… Едва-едва переводит дыхание… Сердце бьется со страшной силой… В двух-трех шагах от него, в предсмертных муках, с распоротыми животами, с переломанными позвонками бьются и жалобно воют собаки… Девственную белизну снега осквернили ярко-красные потоки смешавшейся крови человека и животных… Но всего ярче ему в эту минуту представляется сама Винапи, в каком-то безумном опьянении бьющая медведя огромным охотничьим ножом.

От этой картины холодный пот выступил на его лбу… Он освободился из объятий Карины и отступил от нее на несколько шагов.

А она не могла точно определить, что именно произошло с ним, но ее изощренный женский инстинкт тотчас же подсказал ей, что Дэвид уходит, навсегда уходит от нее. Она воскликнула:

— Дэвид… Дэвид, я не уйду от вас, я не оставлю вас. Хорошо, вы не хотите уехать отсюда, мы останемся здесь… Я останусь здесь и буду жить вместе с вами. Зачем мне весь остальной мир, раз вас там нет? Я останусь как ваша жена. Я буду готовить вам пищу, кормить ваших собак, повсюду сопровождать вас… Я способна на все, я могу грести… Уверяю вас, что я очень сильная.

Он прекрасно знал это, знал в то время, как, не отрывая от нее взгляда, отстранялся от нее. Его лицо побледнело и приняло холодное, жесткое выражение.

— Я сейчас расплачусь с Пьером, и пусть он убирается отсюда вместе с лодочниками… Я же останусь здесь с вами. Ничто не в состоянии испугать меня. С вами я готова идти хоть на край света. Послушайте меня, Дэйв… Я вполне согласна с вами в том, что в прошлом я допустила страшную ошибку; но дайте же мне возможность теперь исправить ее. Я всей душой стремлюсь к тому, чтобы искупить свой тяжкий грех. Очень может быть, что тогда я не совсем понимала, что такое любовь, позвольте же мне теперь показать вам, насколько я выросла в этом отношении…

Она зарыдала и, упав на пол, обняла колени любимого человека.

— Хоть на секунду вдумайтесь в мое положение и пожалейте меня. Как я провела эти годы! Сколько я выстрадала, сколько перенесла! Вы не поверили бы, если бы я все рассказала вам.

Он склонился и поднял ее с земли.

— Выслушайте, Карина, внимательно то, что я скажу вам, — произнес он, открывая дверь и помогая Карине выйти на свежий воздух. — Все это

невозможно. Мы не смеем думать только о себе, и поэтому вам необходимо уехать, и уехать как можно скорее. От души желаю вам счастливой дороги. Не скрою от вас, что переправа через Шестидесятую Милю сопряжена с очень большими трудностями, но у вас прекраснейшие на Юконе лодочники, с которыми вам нечего бояться. Попрощаемся, Карина.

Она уже овладела собой и смотрела на Дэвида без всякой надежды в глазах.

— Но если Винапи… — Ее голос дрогнул, и она отказалась от последней попытки.

Он понял не высказанную ею мысль и ответил:

— Даже и в таком случае.

Пораженная его странным тоном, она едва слышно прошептала:

— Это положительно непостижимо… Невероятно. Но не будем больше об этом говорить. Поцелуйте меня, — сказала она еще тише и подошла к нему ближе.

Затем повернулась и ушла.

— Мы сейчас снимаемся, — сказала она, обращаясь к Пьеру Фонтэну, который в ожидании своей госпожи не спал. — Мы уезжаем.

Его зоркие глаза тотчас же заметили выражение горя на ее лице, но все же он сделал самый

невинный вид. Создавалось впечатление, точно он не сомневался, что именно такое распоряжение последует из уст миссис Сейзер.

— Oui, madame, — согласился он. — А какой дорогой мы поедем? На Даусон, что ли?

— Нет! — очень спокойно ответила она. — Мы поедем не на Даусон, а вверх по реке, в Дайэ.

Пьер Фонтэн, не медля ни секунды, нисколько не церемонясь, стал расталкивать проводников, стаскивать с них одеяла и торопил их взяться за дело. Его громкий энергичный голос разносился на далекое расстояние вокруг.

Лагерь был снят с удивительной быстротой, и проводники, пошатываясь под тяжестью всевозможных горшков, котелков и одеял, направились к лодке. Карина Сейзер уже стояла на берегу и спокойно ждала, пока ее люди уложат весь багаж и устроят ее в лодке.

— Мы подойдем к головной части острова, — сказал Пьер, возясь с длинным причальным канатом. — Нам всего бы лучше пройти к заднему проливу, где вода гораздо спокойнее и медленнее. Я думаю, что нам это удастся.

Острый слух Пьера тотчас же уловил шум шагов по прошлогодней сухой траве. Он оглянулся и увидел индеанку, окруженную тесным

кольцом ощетинившихся волкоподобных собак. Карина тотчас же заметила, что лицо девушки, остававшееся спокойным во все время разговора с Дэвидом Пэном, теперь пылало от негодования.

— Что такое ты сделала с ним? — резко спросила она, обратясь к Карине. — Как ты только ушла, он почти больным улегся на скамью. Я спрашиваю его: «Что с тобой, Дэвид? Ты болен?» Он сначала помолчал, а затем сказал мне вот что: «Ради Бога, Винапи, оставь меня в покое… Все пройдет сейчас». Что такое ты сделала с ним? Мне кажется, что ты нехорошая женщина…

М-с Сейзер с большим любопытством разглядывала дикарку, которой предстояло всю жизнь провести с Дэвидом…

— Мне кажется, что ты нехорошая женщина… — медленно и с усилием, с каким вообще произносят иностранные слова, повторила Винапи. — Я думаю еще, что тебе всего лучше уехать отсюда. Ведь он у меня единственный. Я — индеанка, а ты — белая американская девушка, которая всегда найдет сколько угодно мужчин. Твои глаза такие же голубые, как небо. И кожа твоя белая и мягкая.

Она провела смуглым пальцем по нежной щеке белой женщины. Она была прелестна, и если бы

между ними не стоял мужчина — Дэвид Пэн, — Карина Сейзер была бы в состоянии целые годы жить рядом с ней.

Пьер колебался, не зная, что предпринять, ввиду явно воинственного вида девушки. Он сделал было шаг вперед, но Карина, в душе благодаря его, все же сделала ему знак, чтобы он отошел в сторону.

— Ничего, ничего… — успокоительно сказала она. — Пожалуйста, оставьте нас.

Тот с самым почтительным видом отступил на несколько шагов и заворчал.

— Белая, мягкая щечка, как у ребенка.

Винапи поочередно коснулась обеих щек Карины.

— Скоро у нас появятся москиты, и от их укусов твоя мягкая кожа покроется волдырями и пятнами. Ах, какие пятна, какие раны! Москитов у нас много, и ран будет много. Хорошо будет, если ты уедешь отсюда еще до того, как разведутся москиты.

Она указала на дорогу, идущую вниз по течению, и продолжала:

— Эта дорога идет на Сент-Майкель, а вот та, — она указала вверх по течению, — на Дайэ. Тебе гораздо лучше ехать на Дайэ. Прощай!

Пьер положительно не верил своим глазам, когда увидел, что миссис Сейзер обняла индейскую девушку, крепко поцеловала ее и разрыдалась на ее плече.

— Люби его… — сквозь слезы пробормотала она.

После того, не подымая головы, она стала спускаться по берегу к лодке.

Очутившись в лодке, она оглянулась и крикнула:

— Прощай!

Пьер следом за ней прыгнул в лодку, укрепил руль и дал сигнал к отплытию.

Ле-Гуар затянул старую французскую песню. Проводники, похожие при слабом свете звезд на призрачные тени, низко пригнулись под туго натянувшейся веревкой. Рулевое весло стало быстро рассекать воду — и лодка вскоре исчезла в ночном мраке.

То, чего никогда не забыть…

Фортюн Ла-Пирль бежал по снегу, спотыкаясь на каждом шагу, плача и проклиная свое счастье, Аляску, Ном, карты и того человека, которого он пырнул ножом. Горячая кровь уже застыла на его пальцах. Страшная картина неотступно стояла перед его глазами и жгла его мозг. Он видел человека, ухватившегося за край стола и медленно опускавшегося на пол, разбросанные по сторонам фишки и карты, мгновенный трепет, охвативший всех присутствовавших и сменившийся напряженной тишиной, крупье, остановившихся на полуслове, и жетоны, как бы замершие на столах, испуганные лица, бесконечный момент общего молчания, и многое другое. И вдруг услышал страшный рев, а за ним — призывы к мести, которые, казалось, сейчас гнались по его следам и свели с ума чуть ли не весь город.

«Все черти преисподней спущены с цепей!» — криво усмехнулся он про себя, снова нырнув в непроглядный мрак и направляясь к реке.

Многочисленные огни заструились из всех открытых дверей, из всех палаток, хижин и танцевальных зал, выбросивших на улицу мно-

жество народа, охваченного неутомимой жаждой мщения и погони за преступником. Рев людей и вой собак бесконечно терзали его уши и ускоряли бег. Он бежал все дальше и дальше, а звуки за ним мало-помалу стали ослабевать, и через некоторое время ярость погони сменилась озлоблением от неудачных и бесцельных поисков.

Но одна тень неотступно неслась за ним. Время от времени поворачивая назад голову, он различал эту тень, которая то принимала неясную форму на бесконечном снежном фоне, то мигом исчезала в глубоких тенях, отбрасываемых какой-нибудь хижиной или вытащенной на берег лодкой.

Фортюн Ла-Пирль ругался, как женщина, — слабо, жалко, с ясными намеками на то, что скоро иссякнет источник слез, и все дальше уносился в лабиринт наваленного льда, палаток и пробных ям. Он то и дело налетал на протянутые по всем сторонам веревки, кучи мусора и бессмысленно вколоченные палки и на каждом шагу спотыкался о горки беспорядочно сваленного и примерзшего леса, принесенного течением. Иногда ему чудилось, что погоня за ним окончательно прекратилась, и тогда он уменьшал шаг, причем его голова кружилась, а сердце колоти-

лось до того сильно, что вызывало мучительные приступы удушья. Но через момент он убеждался в том, что жестоко ошибался, ибо сбоку, неведомо откуда и как, снова появлялась та же неотступная тень и снова заставляла его сломя голову уноситься вперед. Вдруг быстрая мысль, как молния, пронеслась в его голове и оставила по себе холодную дрожь, которая так знакома северным людям. Тень приняла в его глазах типичные символические формы, которые понятны только игрокам. Молчаливая, неумолимая и неотвратимая, она представлялась ему воплощением его собственной судьбы, которая подошла к нему вплотную в тот самый момент, когда игра кончилась и надо было платить наличными деньгами за фишки и жетоны.

Фортюн Ла-Пирль твердо верил, что у каждого человека бывают такие редкие и замечательные моменты, когда его мозг, окончательно освободившись от власти пространства и времени, выступает вперед совершенно нагой, шествует по граням вечности и читает великие факты из открытой книги судеб. Он не сомневался в том, что такой именно момент наступил для него лично, и вот почему, когда он снова устремился прочь от берега и понесся по заснеженной тундре, его

нисколько не испугало то, что преследующая его тень как бы приняла более четкие очертания и значительно приблизилась к нему. Подавленный сознанием полной беспомощности, он вдруг остановился посреди белого поля и резко повернулся назад. Тотчас же его правая рука высвободилась из рукавицы, и высоко поднятый револьвер сверкнул в бледном сиянии звезд.

— Не стреляйте! Я безоружен.

Тень приняла более осязательные формы, и при первых же звуках человеческого голоса у Фортюна Ла-Пирля подогнулись колени, и он почувствовал в желудке резкие спазмы.

Весьма возможно, что при иных обстоятельствах совершенно иначе сложились бы все последующие факты, но все дело было в том, что Ури Брам не имел при себе оружия в ту ночь, когда он сидел на жестких скамьях «Эльдорадо» и видел, как Фортюн Ла-Пирль убил человека. Этим же обстоятельством объясняется и другой факт, заключавшийся в том, что Ури понесся по Большому Пути в обществе такого не подходящего для него компаньона, как тот же Ла-Пирль. Но, так или иначе, он снова повторил следующие слова:

— Не стреляйте! Разве вы не видите, что я со-

вершенно безоружен?

— В таком случае, черт вас побери совсем, чего ради вы гонитесь за мной? — спросил игрок, опустив револьвер.

Ури Брам пожал плечами.

— Сейчас этот вопрос не представляет большой важности. Я хочу, чтобы вы пошли со мной.

— Куда?

— В мою палатку, на самом конце стоянки.

Фортюн Ла-Пирль снова опустил конец мокасина в глубокий снег и хорошо подобранным набором ругательств постарался убедить Ури Брама, что он сумасшедший.

— Кто вы, — закончил он свою тираду, — и кто я? И с какой такой стати я должен по вашему желанию всунуть голову в петлю? Скажите, пожалуйста!

— Я — Ури Брам! — очень просто ответил тот. — И моя хижина находится недалеко, в конце лагеря. Я не знаю, кто вы такой, но я собственными глазами видел, как вы вытрясли душу из живого человека. На ваших руках еще до сих пор осталась его кровь — его красная кровь; и, словно на второго Каина, рука всего рода человеческого поднялась на вас. Вам негде преклонить голову, а у меня имеется хижина, которая…

— Ради вашей собственной матери, замолчите! — перебил его Фортюн Ла-Пирль. — Или я тут же на месте превращу вас во второго Авеля! Вот клянусь вам чем вы только хотите, что я сделаю именно так, как я только что сказал! Подумайте, глупый вы человек, что тысячи людей гонятся по моим следам, ищут и рыщут по всем направлениям, и как же я при таких условиях смогу найти защиту и приют в вашей хижине! Я хочу и должен убежать как можно дальше, дальше, дальше! Ах, какие подлые свиньи! Правду сказать, я испытываю огромное желание повернуть назад и полоснуть некоторых из них. Будет одна, но настоящая и прекрасная схватка, и я покончу со всем этим грязным делом. Паршивая игра — эта жизнь. И ну ее к черту!

Он на мгновение остановился, подавленный всей тяжестью несчастья, свалившегося на него, и Ури Брам решил воспользоваться этой минутой слабости. Этот человек никогда не отличался особенным красноречием, и речь, которую он сейчас произнес, была самая длинная за всю его жизнь, за исключением лишь той, которая будет приведена несколько попозже и в другом месте.

— Вот по тому-то самому я и говорю вам про мою хижину. Я могу спрятать вас в ней так, что

никто и никогда не найдет вас, а пищи у меня сколько угодно. Ведь, так или иначе, вам все равно нечего делать и некуда деться. Собак у вас нет, да и вообще ничего нет, а море замерзло. Ближайший от нас пост — Сент-Майкель. Погонщики разнесли про вас весть по всей округе, и о вас уже знают до самого Анвига. Вы сами видите — у вас нет ни единого шанса на спасение. Так вот, по-моему, вам остается одно: переждать у меня, пока вся эта буря уляжется. О вашей истории все позабудут через месяц или даже того меньше, забудут и те, что поедут в Йорк, и те, что останутся здесь. Уверяю вас, что вы удерете под самым их носом, а они и не заметят этого. У меня имеются свои собственные представления о справедливости. Когда я выбежал из «Эльдорадо» и понесся за вами по берегу, то я всего меньше думал о том, чтобы поймать вас и выдать полиции. У меня свои собственные воззрения, которые не имеют ничего общего с их воззрениями.

Он замолчал при виде того, как убийца вынул из кармана молитвенник. При мерцающем желтоватом свете северного сияния на северо-востоке, с обнаженными на морозе головами и голыми руками, положенными на священную книгу, два человека обменялись клятвой, соглас-

но которой Ури Брам обещал никогда не выдавать Фортюна Ла-Пирля, что в точности впоследствии и выполнил.

На пороге его хижины игрок помедлил с минуту, еще раз подумав про себя о странном поведении этого человека, который вдруг пожелал спасти его. И на ту же минуту им снова овладели сомнения. Но он вошел.

При свете свечи он успел заметить, что хижина довольно комфортабельна и что никаких посторонних людей в ней нет. Он начал быстро свертывать папиросу, в то время как хозяин занялся приготовлением кофе. Благодаря приятной теплоте его мускулы несколько размякли, и он слегка, с полупритворной небрежностью и ленью откинулся назад, причем ни на миг не отрывал взора от лица Ури, которое пристально изучал сквозь кольца дыма. Это было крупное и значительное лицо, и сила его была того странного свойства, которое не сразу поддается определению и характеристике. Морщины шли очень глубоко и кое-где были похожи даже на шрамы, а в резких, серьезных чертах лица не имелось ни намека на юмор или сердечность. Под высоко и далеко выступающими вперед лобными костями, за густыми пушистыми бровями сидели серые и

холодные глаза. Скулы значительно выдавались, образуя глубокие впадины. Подбородок и челюсти говорили о силе, а узкий лоб — об упрямстве, а в случае необходимости — и о безжалостности. Все остальное — нос, губы, голос, линии рта — было чрезвычайно сурово. Фортюн Ла-Пирль увидел перед собой человека, который давно привык ограничиваться собственным обществом и редко искал совета у кого-либо. Это был человек, которому приходилось по ночам очень много бороться с собой и демонами, но который подымался с зарей с таким выражением лица, что никто и никогда не мог бы догадаться, что думает и как живет этот отшельник. Фортюн — сам по себе существо поверхностное и легкомысленное — никак не мог разобраться в этом узком, но, несомненно, глубоком человеке. Он мог бы еще понять его, если бы тот пел, когда бывал весел, и вздыхал бы, когда ему было грустно. Но не представлялось никакой возможности расшифровать эти скрытые черты, как нельзя было и измерить эту замкнутую душу.

— А ну-ка, помогите мне, господин Человек! — приказал ему Ури, когда чашки с кофе были опорожнены. — Нам надо устроиться так, чтобы никакие визитеры не застали нас врасплох.

Считаясь с удобствами хозяина, Фортюн назвал свое имя; он оказался очень ловким помощником. Ложе Ури стояло у стены, почти в самом конце хижины, и представляло собой весьма примитивное сооружение, так как основа его состояла из сплавных неотесанных бревен, покрытых мохом. Неотделанные концы в ногах подымались вверх неровным рядом. В той части ложа, что была поближе к стене, Ури содрал мох и вытащил три доски. Образовавшееся отверстие было заполнено.

Фортюн принес из кладовой несколько мешков с мукой и положил на пол, как раз под раскрытым четырехугольником. Поверх муки Ури положил несколько длинных, так называемых «морских» мешков, которые, в свою очередь, были затянуты несколькими полотнищами меха и одеялами. Покрытый мехами, которые тянулись от одного конца ложа до другого, Фортюн Ла-Пирль мог лежать совершенно спокойно, нисколько не боясь привлечь внимание чересчур любопытных посетителей, которые могли сколько угодно смотреть на кровать Ури и все равно считали бы, что она пуста.

В продолжение нескольких последующих недель повсюду был произведен ряд самых тща-

тельных обысков, причем не была пропущена ни единая хижина или палатка, но Фортюн лежал в своем убежище так же спокойно, как ребенок в зыбке. В сущности говоря, на хижину Ури Брама вообще никто не обращал внимания. Меньше всего кто-либо мог подумать о том, что именно здесь скрывается преступник, убивший Джона Рандольфа. Когда же миновала пора усиленных обысков и поисков, Фортюн начал преспокойным образом разгуливать по хижине, раскладывая вечный пасьянс и раскуривая бесконечные папиросы. Несмотря на то что его экспансивная натура любила веселье, шум, шутки, остроумие и неподдельный смех, он довольно быстро привык к молчаливости своего хозяина. За исключением действий и планов преследователей, состояния дорог и цен на собак, им и говорить-то не о чем было. Да и об этом они беседовали довольно редко и очень коротко.

Фортюн занялся было разработкой систем для игры в карты, и целые часы и целые дни проходили в том, что он тасовал и сдавал, тасовал и сдавал, записывал всевозможные комбинации карт, составлял таблицы, а затем снова тасовал и сдавал. Но в конце концов и это занятие адски приелось ему, и, опустив голову на стол, он

предавался сладкому мысленному созерцанию веселых и шумных картежных домов, которые были открыты всю ночь и в которых по очереди работали крупье и надзиратели, а шарик рулетки неугомонно звенел и вертелся от зари до зари. В такие моменты сознание полного одиночества и крушения всех надежд действовало на него столь ошеломляюще, что он по целым часам сидел, устремив взор в одну точку и ни на мгновение не меняя позы. В иные же моменты его дурное настроение находило себе некоторый выход в страстных и горестных излияниях. В конце концов, жизнь мало улыбалась ему, и он не взял от нее того, чего жаждал.

— Ну и поганая же игра — жизнь! — повторял он каждый раз по-иному, и только в этом отношении были какие-то перемены, так как каждый раз звучали новые нотки озлобления. — Собственно говоря, мне всю жизнь не везло и не везет. Вероятно, я был проклят уже при самом рождении, и горе я стал сосать вместе с молоком матери. Просто-напросто кто-то неудачно на мой счет бросил кости, и вот вся игра криво пошла! Но я-то разве виноват в этом? Разве меня мать смела упрекать в этом? Но она упрекала, она во всем винила только меня — и всегда винила!

Почему она не повела меня по иному пути? Почему мне не помогли другие люди? И чего ради и зачем я попал в Сиэтл? Почему я, как грязная свинья, жил в Номе? И как так случилось, что я попал в «Эльдорадо»? Кому это нужно было? Ведь как все это вышло! Я шел к Большому Питу за спичками — вот и все! Почему у меня как раз вышли спички? И зачем мне захотелось курить? Ну разве вы не видите, как все обстоятельства и факты складывались против меня! Все на свете, все люди, все — все было против меня, и чуть ли не еще до моего появления на свет Божий! Уж так кто-то подстроил, чтобы никогда и нигде мне не улыбались ни надежда, ни радость! А, черт бы все это побрал! Как мне не везет! Ну скажите на милость, чего ради на моем пути стал Джон Рандольф, которому почему-то и зачем-то вздумалось в одно и то же время назначить ставку и поставить фишку? Все из-за него, мерзавца, вышло, и я очень рад, что расправился с ним именно так, как он того заслуживал. Ну почему он не сумел держать язык за зубами и предоставить удаче хоть единственный раз повернуться ко мне лицом? Ведь он прекрасно знал, в каком паршивом положении я нахожусь и что не сегодня-завтра я останусь без гроша в кармане. И почему я не

сумел вовремя овладеть собой и задержать свою же руку? Ах, почему? Почему, почему?

И Фортюн Ла-Пирль буквально катался по полу, неистово вопрошая судьбу: почему так ужасно и несчастно сложилась его жизнь?

Во время таких приступов отчаяния Ури Брам обычно не произносил ни слова, не выражал даже знаком своего отношения к делу, но, казалось, глаза его с каждым мгновением становились тусклее и тупее, и видно было по всему, что состояние Фортюна его решительно не интересует.

Ведь, в конце концов, между этими двумя существами не было абсолютно ничего общего, и этот факт до сих пор заставлял неоднократно задумываться убийцу и спрашивать самого себя: ну чего ради этот человек вдруг заступился за него и взял его под свою защиту и покровительство?

А между тем время выжидания естественно близилось к концу. Ведь известно, что даже самая острая жажда справедливого возмездия с течением времени уступает место жажде золота. Убийца Джона Рандольфа успел уже попасть в местные анналы, и о нем начали мало-помалу забывать. Если бы он внезапно снова появился на свет Божий, то граждане Нома, конечно, на время задержали бы свои приготовления в путь-дорогу и

воздали бы справедливости все то, что ей следует, но ввиду того что о местопребывании Фортюна Ла-Пирля до сих пор ничего и никому не было известно, вопрос о его поимке лишился остроты, потеряв все особенности проблемы, которую надо немедленно разрешить. В настоящее время назрели более насущные вопросы. На дне рек и вдоль берегов было золото, были рубины. В самом недалеком будущем должен был вскрыться лед, и вот почему многочисленные граждане Нома все свои мысли отдавали тому, чтобы отправиться в места, где чудеснейшие вещи можно достать по неслыханно низкой цене.

И вот однажды ночью Фортюн Ла-Пирль стал помогать Ури Браму запрягать собак, и в скором времени оба отправились по зимнему санному пути в южном направлении. Собственно говоря, нельзя было это направление называть *южным*, потому что несколько восточнее Сент-Майкеля они оставили море, пересекли водораздел и пошли по Юкону до самого Анвига, на расстоянии нескольких сот миль от устья великой реки. Затем они взяли на северо-восток, прошли Койокук, Тананау, Минук, обошли Большой Поворот у форта Юкон, в двух местах пересекли Полярный круг и через Плоскогорья направились на

юг. В общем, это был очень утомительный путь, и Фортюн снова стал удивляться: чего ради Ури Брам пошел с ним, но тот заявил ему, что у него на Игле имеются заявки, где в настоящее время работают люди. Игль лежал почти на самой границе, и на расстоянии нескольких миль от него, над бараками форта Кудахи, уже трепетал в воздухе английский флаг. А затем шли: Даусон, Пелли, Пять Пальцев, Уинди-Арм, Карибу-Кроссинг, Линдерман, Чилкут и Дайэ.

На следующее утро, после того как миновали Игль, они поднялись очень рано. Это была их последняя стоянка, после которой им предстояло расстаться. Фортюн чувствовал себя на редкость хорошо и легко. Все вокруг уже предвещало весну и дышало ею. Дни становились все длиннее. Путь шел уже по индейской территории. Полная свобода была совсем близко, солнце вернулось, и с каждым днем убийца все ближе подходил к желанной границе. Мир был велик, безграничен, и снова надежды и мечты расцветали с былой силой.

Во время завтрака Фортюн Ла-Пирль беспечно насвистывал и напевал веселенькие песенки. Ури Брам неторопливо запрягал собак. Но когда все было готово и Фортюну буквально не стоялось

на месте, Ури Брам подтолкнул к костру свежее полено и уселся на нем.

— Приходилось ли вам когда-нибудь слышать о Пути Дохлой Лошади? — спросил он.

При этом он сосредоточенно взглянул на Фортюна, который покачал головой, желая выразить страшное возмущение по поводу такой непредвиденной отсрочки.

— Да, бывают иногда такие встречи, встречи при таких обстоятельствах, которых *никогда нельзя забыть*, — продолжал Ури медленно и очень тихо. — И вот мне лично пришлось однажды при таких особенных обстоятельствах встретиться с одним человеком на Пути Дохлой Лошади. Надо вам сказать, что в 1897 году на Белом Перевале пострадало так много народу, что и передать нельзя, так что название этого места дано вполне правильно и разумно. Лошади там падали буквально как москиты, и от Скагуэ до озера Беннет лежали целые горы лошадиных трупов, которые гнили без конца. Кони издыхали на Скалистых горах, отравлялись на Сэммите и помирали от голода на Озерах. Они падали на дороге, там же, где стояли, или тонули в реках под тяжестью наваленной на них ноши. Они разбивались чуть ли не в куски о скалы, спотыкались

о камни и ломали себе спины, падая с поклажей. Нередко случалось, что они так утопали в грязи, что их не было и видно. Там они задыхались в жидком иле или же напарывались на сваи, вбитые в подпочву, и разрывали себе внутренности. Случалось, что хозяева застреливали их тут же на месте или же загоняли до смерти. Лошади околевали, и тогда люди возвращались на берег и покупали новых лошадей. Многие даже не заботились о том, чтобы прикончить несчастных животных, а снимали с них седла и подковы и бросали их там, где те падали. Сердца людей окаменели. Люди озверели — все люди, которые проходили по Пути Дохлой Лошади.

Но был там один человек с сердцем Христа и его же терпением. Это был такой порядочный и честный человек, какого редко встретишь. Как только караван останавливался на полуденный отдых, он немедленно снимал поклажу с лошадей и тем давал им возможность хоть сколько-нибудь отдохнуть. Он платил по пятьдесят долларов и больше за сто фунтов корма для них. Собственные одеяла он неоднократно подстилал под седла лошадей, у которых были слишком натерты спины. А другие люди натирали седлами такие дыры на спинах лошадей, что туда при желании могло

пройти хорошее ведро для воды. Другие, видя, что с копыт лошадей спали подковы, не обращали на это никакого внимания и гнали животных до тех пор, пока копыта несчастных не превращались в одну сплошную кровоточащую рану. А этот человек тратил последние деньги на подковные гвозди. Знал я обо всем этом только потому, что мы спали с ним на одном ложе и ели из одного горшка. Знал я это потому, что мы стали с ним братьями на том самом пути, где все остальные люди доходили до последних излишеств и умирали с богохульственными проклятиями на устах. Как бы он ни устал, он всегда находил момент для того, чтобы ослабить или же подтянуть подпругу, и очень часто в его глазах стояли слезы, когда он смотрел на все море ужаса и несчастья. При подъеме в горы, когда кони спотыкались чуть ли не на каждом шагу и подымались на передних ногах, точно кошки на стену, случалось всего больше несчастий, и весь путь был устлан скелетами лошадей, скатившихся вниз. И он всегда стоял здесь, стоял в отвратительной, адской вони, всегда имея наготове нужное подбадривающее слово или ласку, причем не сходил с места до тех самых пор, пока мимо него не проходил весь караван. Если же какая-нибудь лошадь провали-

валась, этот человек задерживал все движение до тех пор, пока лошадь не была спасена, и никто из нас не осмеливался в такие минуты перечить ему или же становиться на его пути.

Почти в самом конце нашего перехода один человек, который успел за это время погубить около пятидесяти лошадей, вздумал купить наших лошадей, но мы взглянули на него и на наших коней — горных лошадок из Восточного Орегона. Он предлагал нам пять тысяч долларов, и мы готовы были уже согласиться, но тут вспомнили о ядовитых травах Саммита, о проходе через Скалистые горы, и человек, которого я привык считать братом моим, не сказал ни слова в ответ, но разделил весь табун на две равные части: в одной были его лошади, а в другой — мои; затем он взглянул на меня, и мы без слов поняли друг друга. Я погнал его лошадей в одну сторону, а он моих — в другую, мы взяли в руки наши ружья и перестреляли всех лошадей до единой, в то время как человек, загнавший пятьдесят лошадей, ругал нас на чем свет стоит. Но тот человек, с которым мы сошлись как братья на Пути Дохлой Лошади…

— Да ну, о чем там разговаривать! — воскликнул Фортюн Ла-Пирль и на миг криво усмехнул-

ся. — Ведь вы говорите о Джоне Рандольфе! Чего же там!

Ури кивнул головой и сказал:

— Я очень рад, что вы поняли меня.

— Я готов! — ответил Фортюн, и прежняя, привычная горечь снова проступила в его чертах. — Делайте что нужно, но делайте поскорее.

Ури Брам поднялся на ноги.

— Всю мою жизнь я верил в Бога! — заявил он. — Я верил и верю, что он любит справедливость. Я верю, что он и теперь глядит на нас и выбирает, на кого должен пасть его жребий. Я верю, что он желает проявить свою собственную волю с помощью моей правой руки. И до того сильна моя вера в него, что я хочу предоставить нам обоим равные шансы, и пусть Господь Бог сам выполнит суд свой и расправу.

При этих словах сердце Фортюна исполнилось невыразимой радости. Он не знал того, что касалось Бога Ури, но верил в свое собственное счастье, и верил еще, что это счастье стало улыбаться ему с той самой ночи, как он убежал по снегу вдоль берега.

— Но, — заметил он, — у нас ведь имеется только один револьвер!

— Мы будем стрелять по очереди, — ответил

Ури и, выбросив барабан из «кольта» Фортюна, начал внимательно осматривать его.

— А карты пусть решат, кому стрелять первому!

Кровь Фортюна взыграла при мысли о том, что ему сейчас придется взять в руки карты. Он полез в карман и вынул колоду. О, теперь он нисколько не сомневался в том, что счастье не оставит его больше…

Он подумал о возрождающемся солнце, когда снял карту для сдачи. Он стасовал карты, и Ури открыл для него короля пик, а для себя — двойку. Когда противники стали отмерять пятьдесят шагов по обе стороны их стоянки, Фортюн почувствовал, что вот-вот для него откроется заповедная область бесконечного блаженства.

— Если Господу Богу угодно будет задержать мой удар и вы убьете меня, то мои собаки и сани будут ваши, — сказал ему Ури. — Запродажную бумагу, уже готовую, вы найдете в моем кармане.

И произнеся эти слова, Ури совершенно спокойно вытянулся во весь свой огромный рост и остановился против дула револьвера.

Фортюн бросил беглый взгляд на солнце, заливавшее ярким, искрящимся светом океан, и взял

на прицел. Он был очень осторожен и внимателен. Два раза подряд он опускал оружие, потому что весенний ветер слишком шумно потрясал сосны. А на третий раз он опустился на колени, крепко, обеими руками схватил револьвер и выстрелил. Ури сделал полуоборот на месте, вскинул руки, дико заметался на один лишь момент и рухнул на песок. Но Фортюн тут же понял, что попал не совсем удачно, потому что в противном случае Ури не вертелся бы.

Когда Ури, превозмогши слабость, с трудом поднялся на колени и потребовал револьвер, Фортюн вздумал было еще раз выстрелить, но тотчас же отбросил эту мысль. Счастье до сих пор достаточно улыбалось ему, и он боялся, что оно снова повернется к нему спиной, если он сплутует. Нет, он честно сыграет свою игру! К тому же Ури был слишком тяжело ранен, и ему будет не под силу твердо держать в руках тяжелый «кольт».

— Ну куда же делся ваш Бог? — иронически спросил он, передавая раненому револьвер.

И Ури ответил:

— Господь Бог еще не произнес своего слова! Берегитесь и приготовьтесь к тому, чтобы выслушать его!

Фортюн повернулся к нему лицом, но стал

несколько вполоборота для того, чтобы меньшую площадь своего тела подставить под выстрел. Ури, как пьяный, заерзал на месте, он тоже выжидал, желая воспользоваться некоторым затишьем, когда ветер не так сильно качал деревья. Револьвер был слишком тяжел, и эта тяжесть внушала ему такие же сомнения, как и Фортюну. Но он крепко держал его в вытянутых руках, затем поднял над головой и начал медленно опускать вниз и вперед. Когда в поле его зрения попала левая сторона груди противника, он спустил курок. Фортюн не завертелся на месте, но сразу потускнели, а затем погасли веселые огоньки в глазах убийцы Джона Рандольфа, и когда залитый солнечным светом снег стал вдруг темнеть и чернеть, игрок в последний раз проклял неверное счастье, которое и на этот раз сыграло с ним скверную шутку.

Сивашка

— О, если бы я была мужчиной!

Сами по себе слова ее звучали довольно нерешительно, но ее черные глаза излучали столько подавляющего презрения, что оно не могло не оказать своего влияния на находившихся в палатке мужчин.

Томми, английский матрос, поморщился, но старый, неизменно рыцарски настроенный Дик Хемфриз, корнуэлльский рыбак и в свое время крупный американский рыботорговец, смотрел на женщину так же доброжелательно и сочувственно, как и прежде. Он привык отдавать женщинам слишком большую часть своего простого сердца, для того чтобы сердиться на них, когда они иногда капризничали, или же когда слишком ограниченный кругозор не давал им возможности видеть те или иные вещи в их истинном свете. Вот почему ничего не вымолвили эти два человека, которые только три дня назад приняли в свою палатку полузамерзшую женщину, согрели ее, напоили, накормили и спасли ее вещи от жадных индейцев-носильщиков. Им, кроме того, пришлось уплатить этим носильщи-

кам довольно изрядное количество долларов, не говоря уже о том, что силой вещей они вынуждены были прибегнуть к своего рода военной демонстрации, которая выразилась в том, что Дик Хемфриз держал наготове револьвер, в то время как Томми, по личной оценке, расплачивался с индейцами.

Конечно, само по себе это дело было совсем пустячное, но оно имело весьма большое значение в глазах женщины, которая нашла в себе мужество единолично отправиться на Клондайк в знаменитый и приснопамятный 1897 год. Мужчины были слишком осведомлены о положении вещей и поэтому никоим образом не могли одобрить поступок женщины, возымевшей столь вздорную мысль и не побоявшейся арктической зимы.

— О, будьте уверены: если бы я была мужчиной, я знала бы, что надлежит мне делать!

Она повторила эти слова со сверкающими глазами, в которых отражалась вся сконцентрированная настойчивость пяти поколений, родившихся в Америке.

Воспользовавшись наступившим молчанием, Томми сунул в печь форму с сухарями и подбросил дров. Темный румянец начал проступать

под его смуглой кожей, и когда он нагнулся, его затылок стал багровым. Дик вдевал трехгранную морскую иглу в свои сильно потрепанные ремни и нисколько не смущался предвестниками женского катаклизма, который грозил потрясти много видевшую на своем веку старенькую палатку.

— Ну и что же было бы, если бы вы были мужчиной? — спросил он, и в его голосе послышалась невыразимая доброта.

Игла застряла в отсыревшей коже, и Дик на мгновение остановился.

— Если бы я была мужчиной! Я немедленно стянула бы ремни на спине и двинулась бы в путь-дорогу. Неужели же вы думаете, что я торчала бы здесь, когда Юкон не сегодня-завтра совсем станет и когда еще половина имущества не переправлена на ту сторону? А вы, мужчины, вы сидите здесь; сидите сложа ручки, боясь ветерка, и лужицы, и сырости. А я вам говорю, что наши янки — люди, во всех отношениях отличные от вас. Они скатаны совсем из другого теста. Они двинулись бы по дороге на Даусон, если бы даже весь ад восстал против них. А вы, вы… Словом, я уже сказала вам, что, будь я мужчиной…

— Ну в таком случае, дорогая моя, я очень рад,

что вы не мужчина! — сказал Дик, продев нитку в иголку.

Буйный порыв ветра со всего размаху ударил по палатке, и острый, частый и снежный дождь забарабанил по ее тонкой парусине. Дым, уходивший в трубу, возвращался назад через печную дверку, принося с собой острый запах молодой ели.

— Господи Боже мой! И почему же это женщина никогда не может внять голосу разума?

Сказав это, Томми поднял голову из каких-то темных глубин палатки и повернул к девушке свои влажные от едкого дыма глаза.

— А почему это мужчина не в состоянии доказать, что он действительно мужчина и имеет право на это звание?

Томми вскочил на ноги и произнес при этом такое ругательство, которое, конечно, смутило бы менее бывалую женщину. Затем оторвал плотные узлы и отвернул полы палатки.

Все трое выглянули наружу, и то, что они увидели, на миг охладило их. Несколько насквозь промоченных палаток образовали донельзя жалкий фон, вдоль которого несся пенящийся поток воды. Сверху низвергался горный поток. Кое-где местами низкорослые ели, залегшие в аллювиальной почве, подтверждали близость

более крупного леса. Несколько подальше, на противоположной стороне, сквозь дождевую завесу виднелись белесоватые очертания ледника. И в ту минуту, как они выглянули из палатки, ледниковая масса сплюнула на землю огромную глыбу льда, которая громоподобным шумом покрыла тоненький и жалкий писк горных и речных вод и ветра.

Молли невольно сделала шаг назад.

— Ну, женщина, смотрите! Смотрите во все глаза, какие только имеются у вас! И вот имейте в виду, что в такую-то погоду надо сделать три мили до озера Кратер, надо пройти через два ледника, вдоль отчаянных скалистых холмов, по колено в воде, в бурной, адски шумной воде! Слышите вы, что я говорю вам: вы, женщина-янки. А теперь глядите: вот они, ваши мужчины-янки!

Томми страстным движением поднял вверх руку и указал на палатки, которые ветер раздирал в клочья.

— Черт побери всех ваших янки! Неужели же действительно кто-нибудь из них вышел в такую погоду на дорогу? Неужели они укрепили ремни на спине и двинулись вперед? Неужели хоть один из них находится теперь в пути? И вы желаете учить мужчин и указывать им, что да как нужно

делать! Смотрите, смотрите, говорю я вам!

Еще одна огромная глыба сорвалась с ледника и с грохотом ударилась о землю. Ветер с визгом, с писком ворвался в открытую дверь и надул палатку так, что сделал ее похожей на чудовищный пузырь, который едва-едва удерживали туго натянутые веревки. Дым окутал все окружающее, а едкая, острая изморозь больно била по лицу. Томми торопливо запахнул парусину и вернулся к своей мучительной работе у печки, которая вызывала у него безостановочные слезы. Дик Хемфриз бросил починенные ремни в угол и зажег трубку.

Даже Молли на одну минуту поколебалась в своем решении.

— Но ведь там мои платья! — почти плакала она, на миг побежденная «вечно женственным». — Они лежат на самом верху, под крышкой сундука, и черт знает во что превратятся. Они совершенно пропадут, совершенно!

— Милая моя, не стоит так волноваться! — перебил ее Дик, когда она произнесла последнее жалобное слово. — Ну чего вы волнуетесь! Я так стар, что гожусь вам в отцы, и есть у меня дочка, которая постарше вашего будет! И вот верно говорю вам: дайте нам только добраться до Даусона,

и я там таких вещей накуплю вам… Последнего доллара не пожалею!

— Да, а интересно знать, когда-то мы доберемся до Даусона! — Презрение с прежней силой и страстностью зазвучало в ее голосе. — Да вы до того двадцать раз сгниете здесь или же потонете в какой-нибудь лужице! Куда там вам! Ведь вы… вы… англичане!

Последнее слово, вырвавшееся с необыкновенной силой, казалось, готово было выразить крайнюю степень ее презрительного негодования. Уж если оно не подействует на них, что же, в таком случае, может на них повлиять?

Затылок Томми снова залился багровым жаром, но он продолжал держать язык за зубами. Глаза Дика еще больше смягчились. У него было большое преимущество пред Томми в том отношении, что он был в свое время женат на белой женщине.

Кровь пяти поколений, родившихся в Америке, при подобных обстоятельствах является весьма неприятным наследством. А среди «подобных обстоятельств» необходимо упомянуть о близком соседстве с соплеменниками. Мужчины, находившиеся в палатке, были англичане. Предки Молли побивали этих англичан на море и на

суше. По всем данным можно было судить, что так же колотить их они будут и впредь. Традиции ее расы настоятельно требовали, чтобы она отнеслась к этим людям с должным вниманием и пониманием их естества. Сама по себе она была женщиной нынешней и вполне современной, но в то же время в ней могуче говорило великое прошлое. Это не только Молли Тревис сейчас надевала резиновые сапоги, макинтош и ремни на спину. Нет, то тысячи призрачных рук стягивали пряжки этих самых ремней. Тысячи далеких предков напрягали ее челюсти и придавали такое решительное выражение ее глазам. Она, Молли Тревис, возымела намерение пристыдить этих англичан, но они, бесчисленные тени, решили утвердить свое превосходство над родственной расой.

Мужчины нисколько не препятствовали ей. Дик только позволил себе предложить ей свой клеенчатый плащ, указав на то, что ее макинтош при настоящих условиях принесет столько же пользы, сколько и простая бумага. Но она выразила свою ненависть столь резко, что он еще плотнее прежнего стиснул трубку в зубах и уже не проронил ни слова вплоть до тех пор, пока она не отвернула парусину палатки и не пошла по

залитой водой дороге.

— Вы думаете, что ей удастся это дело? — Голос Дика выражал резкий контраст с выражением его лица.

— Удастся ли ей? А я так думаю, что если она и доберется до своего сундука, то за это время холод и слякоть и всякая прочая дрянь сведут ее с ума. Удастся ли ей? Ведь она совсем сумасшедшая! Вы сами, Дик, знаете, что это за ужас! Вам приходилось объезжать мыс Горн, приходилось работать с парусами в бурю, шторм, снег, метель и заворачиваться в промерзшую насквозь парусину, которая доводила вас до того, что вы готовы были выть и стонать, как малый ребенок! Вы все знаете, а поэтому можете догадаться, чего ей будет стоить добраться до сундука. Непогода так скрутит ее, что она не будет в состоянии отличить юбку от чана для промывки золота или же от чайника!

— Все-таки, по-моему, мы плохо поступили, что пустили ее!

— Ничего подобного! Попробовали бы вы не пустить ее, так, клянусь вам всем святым, она превратила бы эту палатку в сущий ад и все-таки ушла бы! Вся беда в том, что в ней слишком много отваги! А может быть, эта отвага проучит

ее немного!

— Да, — согласился Дик, — она действительно чересчур самолюбива! Но все же она славная девушка. Правда, немножко глупа, потому что нельзя же было ей браться за такое дело, но она нисколько не похожа на всех тех кисейных барышень, которыми наши города полны до отказа. Она, милый мой друг, из тех женщин, что родили и вскормили нас с вами, а такие люди, как мы, должны уважать отвагу! Ведь женщина вскармливает мужчину! Ведь не будем же мы настоящими мужчинами, если нас станут воспитывать существа, именуемые женщинами только потому, что они носят юбки! Кошка, но во всяком случае не корова, может родить тигра!

— Ну а если они слишком неразумно поступают, неужели же мы и в таком случае должны потворствовать им?

— На подобный вопрос трудно сразу ответить!.. Каждому из нас ясно, что острый нож всегда режет глубже и сильнее тупого, но из этого не следует, что мы должны обламывать о кабестан[52] кончики наших острых ножей!

— Так-то оно так, но что касается меня, я пред-

[52] Сноски: 52

Кабестан — вертикальный ворот для наматывания якорного каната и поднятия груза.

почитаю иметь дело не с такими зубастыми женщинами! Мне нужны женщины с менее острыми зубами.

— Ну а что вы знаете о женщинах? — спросил Дик.

— Да так, кое-что знаю о них!

Томми достал пару мокрых чулок Молли и развесил их на коленях, чтобы они немного подсохли. А Дик, с любопытством поглядывая в его сторону, стал рыться в мешке Молли и вынул оттуда множество отсыревших вещей, которые через некоторое время разложил около печки, желая также подсушить их.

— А мне казалось, будто вы говорили, что никогда не были женаты, — сказал он.

— Я сказал это вам? — воскликнул Томми. — Нет, клянусь Господом Богом, я этого не говорил. Нет, как же, я был женат, и на такой женщине, подобной которой, кажется, никогда и не бывало! Да, это была настоящая женщина!

— Сошла с кильватера? — и движением руки Дик символизировал бесконечность и вечность.

— Да!

— Смерть от родов? — снова спросил Дик и снова получил утвердительный ответ, который последовал после некоторой паузы.

Бобы начали слишком шумно кипеть на открытом огне, и Томми отодвинул горшок несколько в сторону, на менее горячее место. После того он заостренной деревянной палочкой определил состояние сухарей и тоже отодвинул их в сторону, предварительно накрыв мокрым полотенцем.

Дик — как и подобало мужчине — молчал, скрывая интерес, вызванный несколькими словами Томми.

— Совсем другая женщина по сравнению с Молли! Настоящая сивашка!

Дик кивнул головой в знак того, что он вполне понимает.

— Не такая гордая и своевольная, но преданная мужу и в горе, и в радости. К тому же она замечательно работала веслом и, если нужно было, была так же вынослива и терпелива, как Иов. Она так же спокойно управляла лодкой в бурю, как и в тихую погоду, а с парусом управлялась не хуже любого мужчины. Однажды в поисках золота мы прошли по Теслинской дороге, миновали Озеро Неожиданностей и Литтл-Иеллоу-Хэд. У нас вышла вся провизия, и волей-неволей пришлось взяться за собак, а когда кончились собаки, мы начали кормиться упряжью, мокасинами и мехами. И ни разу эта женщина не издала ни

малейшего вздоха, никогда не капризничала и не ломалась. До того как мы тронулись, она неоднократно предупреждала меня насчет провизии, но когда случилось несчастье, она ни разу не упрекнула меня и не указала, что в свое время предупреждала меня. «Ничего, Томми!» — говорила она изо дня в день, между тем как слабела так, что не могла уже поднимать ноги, обутые в мокасины, и натерла себе ступни до крови. «Ничего, дорогой мой, ничего! Лучше подохнуть с голоду и быть твоей женой, чем присутствовать ежедневно на потлаче и быть клух[53] великого вождя Джорджа». Ведь вы, кажется, знаете, что Джордж был вождь чилкутов? Он страшно хотел, чтобы эта женщина пошла к нему.

Да, правду сказать, то было замечательное времечко! Конечно, когда я впервые попал на берег, я был очень смазливый парнишка. На китоловном судне «Северная звезда» я прибыл на Уналаску и гнался за котиками до самого Ситки. Вот тогда-то я и встретился со Счастливым Джеком, вы знаете его?

— Да, кое-где мне пришлось повстречаться с ним! — ответил Дик. — Он взялся доставить

---

[53] Сноски: 53
Клух — жена.

мою поклажу. Это было в Колумбии. Красивый парень, который всегда слишком любил красивых женщин и виски?

— Он самый и есть! Мы с ним поработали вместе года два, торговали одеялами и разными разностями. А затем я решил работать самостоятельно и поехал на Джуно, где и встретился впервые с Киллисну, которую, для краткости, звал просто «Тилли». Встретил я ее на индейском балу, на берегу. Вождь Джордж как раз закончил годовой торг со стиксами за Перевалами и приехал в Дайэ чуть ли не с целой половиной своего племени. На танцы собралось несметное количество сивашей, среди которых я оказался единственным белым. Никто из них не имел обо мне ни малейшего представления, разве только несколько купцов, с которыми я встречался на Ситкинском тракте. Но зато я, со слов Счастливого Джэка, знал почти всю подноготную многих из них.

Все, само собой, беседовали на чинукском наречии, не зная, что я говорю на нем лучше многих из них. Всего больше стрекотали две девушки, которые сбежали из миссии Хэйна, что на канале Линна. Это были две прехорошенькие девочки, на которых было приятно глядеть, и я подумал,

что за ними не мешает приударить; но они были так юны, и я вскоре оставил эту мысль. Слишком остры для меня, вот что. Я был для них чужаком, явившимся неизвестно откуда, и они вздумали подшутить надо мной. Повторяю, они не догадывались, что я прекрасно понимал все, что они говорили.

Но, само собой разумеется, что я и виду не показывал и продолжал все время танцевать с Тилли. И чем дольше и дольше мы танцевали с ней, тем сильнее наши сердца рвались друг к дружке. — «Подыскивает себе женщину!» — сказала одна из девушек, а другая качнула головой и ответила: «Подыскивать-то можно, но какой толк из этого выйдет. Он найдет разве только тогда, когда наши женщины совсем останутся без мужчин». Мужчины и сквау окружили нас и в ответ на это замечание начали подтрунивать надо мной, скалить зубы и повторять только что сказанное девушками. «А ведь мальчик он недурненький!» — снова промолвила первая девушка. И не стану, дружище, отрицать, что в то время я был довольно интересный парнишка. У меня было гладкое молодое лицо, и я, что называется, был мужчиной среди мужчин — настоящий мужчина! Эти слова ее, конечно, подзадорили

меня. «Тоже нашел себе пару: танцует с девушкой вождя Джорджа! — сказала вторая девушка. — Первым делом Джордж так бабахнет его веслом, что из него весь дух выйдет, и таким образом он отобьет охоту у него впредь заниматься такими штучками». Вождь Джордж казался все время довольно угрюмым, но при этих словах расхохотался и стал хлопать себя по коленкам. В общем, это был довольно противный тип, который действительно не прочь был поработать со мной веслом.

— Что это за девушка? — спросил я Тилли, когда мы вертелись с ней в самой середине круга. И как только она назвала мне их имена, я немедленно вспомнил о них все то, что в свое время сообщил мне Счастливый Джэк. Я знал всю подноготную, касающуюся и их самих, и их родных, знал многое такое, чего не знали и их соплеменники. Но до поры до времени я держал себя чрезвычайно скромно и продолжал ухаживать за Тилли, не обращая никакого внимания на их колкие замечания и на хохот, которым эти замечания встречались. «Подожди немного, Томми, подожди немного!» — говорил я себе.

И действительно, я ждал и сдерживал себя до тех самых пор, пока танцы не подошли к кон-

цу и вождь Джордж не вернулся с веслом. Все вокруг были уверены, что сейчас что-нибудь да произойдет, и ждали этого, но я продолжал танцевать, делая вид, что все это меня нисколько не касается. Тут девушки из миссии опять что-то отпустили по моему адресу, и, как я ни был на них зол, я не мог удержаться от того, чтобы не рассмеяться. А затем я резко повернулся в их сторону и спросил:

— Что, вы ничего больше не можете прибавить?

Нет, надо было вам видеть, какой эффект произвело то, что я вдруг заговорил с ними на чинукском наречии! Ну-с, а потом я уже дал волю своему язычку! Я рассказал им все, что касалось их с той, или другой, или третьей стороны, и что касалось также всех их родных — отцов, матерей, братьев, сестер — словом, про всех и про все! Я им поведал про все штучки, которые они сделали, про все фокусы, которые они любили, и про весь стыд, который пал на их голову. Я жег их и прокаливал безо всякой жалости и боязни. Нечего говорить о том, что все тесной толпой окружили нас. Никогда до сих пор им не приходилось слышать, чтобы белый человек так ловко изъяснялся на их тарабарском языке. Теперь уже все смея-

лись в ответ на мои слова — все, за исключением этих двух девушек из миссии. Дошло до того, что даже сам вождь Джордж забыл про свое весло, или же он настолько проникся уважением ко мне, что не осмелился пустить его в ход.

Но что стало с девушками!

— Перестань, Томми, — закричали они, заливаясь слезами. — Перестань. Мы будем хорошими. Клянемся тебе, Томми, ей-ей, клянемся. — Но я теперь прекрасно знал, с кем имею дело, и поэтому продолжал честить их на чем свет стоит. И я говорил и костил их до тех самых пор, пока они не упали передо мной на колени и не стали всем святым для них заклинать меня замолчать. Тогда я бросил взгляд на вождя Джорджа, а тот, не зная, что ему со мной делать, решил отделаться оглушительным дурацким смехом.

Да, вот как обстояли дела. Когда я в эту ночь расстался с Тилли, то дал ей слово, что вернусь приблизительно через неделю, и при этом намекнул ей, что впредь хочу гораздо чаще и дольше видеть ее. Она была не из тех женщин, которые умеют так ловко притворяться и у которых никогда не узнаешь, что им нравится, а что — противно. Как подобало честной и порядочной девушке, она самым непритворным образом

выразила свою радость по поводу моих слов.

Эх, если бы вы знали, что это за прелестная девушка была! Я нисколько не удивлялся, что вождь воспылал к ней такой страстью.

Но тут все способствовало мне. Так сказать, весь ветер вышел из парусов вождя и подул в мою сторону. Мне ужасно хотелось тут же сразу забрать эту девушку с собой и покатить с ней по направлению к острову Врангеля, но, к сожалению, это было легче сказать, чем сделать. Оказалось, что она проживала вместе с каким-то дядей, который состоял при ней опекуном или чем-то в этом роде. Это был тяжелобольной человек, который должен был в недалеком будущем отправиться на тот свет из-за чахотки или же какой-то другой легочной болезни. Человек этот по характеру был страшно неустойчивый, и настроение его менялось чуть ли не каждую минуту, но при всем том она никоим образом не желала оставлять его в таком состоянии. До того как отправиться в путь, я заглянул к старику, чтобы лично убедиться, как долго еще он будет портить воздух на сем свете, но тут оказалось, что старый хрыч обещал племянницу вождю Джорджу, и когда он вдруг увидел меня, то так рассердился, что у него хлынула кровь горлом.

— Смотри же, Томми, — сказала она, когда мы прощались с ней на берегу, — приезжай и забери меня отсюда. — И я ответил ей: — Да, я сделаю это, как только ты скажешь мне хоть единое слово. По малейшему знаку и призыву!

И тут я расцеловал ее так, как белый мужчина целует женщину, а она, как тростинка, задрожала в моих объятиях. Не могу передать, до чего сильно все это подействовало на меня. Я был готов немедленно броситься к старику и задушить его на месте.

Но вместо того я отправился вниз, по направлению к Врангелю, прошел Сент-Мэри и спустился даже до островов Королевы Шарлотты: продавал, покупал, промышлял и так далее, и так далее. Зима в то время стояла адски суровая и морозная. Наконец я получил весточку от Тилли и поехал в Джуно. «Езжай туда! — сказал какой-то оборванец, который принес мне поклон от любимой девушки. — Киллисну велела сказать тебе: «Приезжай!» — «А в чем дело? — спросил я. — Что случилось?» — «А случилось то, что назначен потлач, и вождь Джордж хочет сделать Киллисну своей клух».

Ну и погодка выдалась! Все время дул отвратительный, порывистый северный ветер. Соленая

морская вода замерзала на палубе, как только попадала туда. Еще за сто миль до Дайэ мы попали в зубы этому подлому таку. В качестве помощника я взял с острова Дугласа одного лодочника, но на полпути он был смыт волной в воду. Я три раза поворачивал мою старую посудину, желая отыскать несчастного, но ничего из этого не вышло. Ни малейшего следа от него не осталось!

— Вероятно, окоченел от холода! — вставил старый Дик, перерывая рассказ и во время наступившей паузы развешивая для просушки одну из юбок Молли. — Окоченел и, как свинец, пошел ко дну.

— Да, я и сам так думал. Таким образом, мне пришлось одному закончить поездку, и я, полумертвый, прибыл однажды вечером в Дайэ. Прилив благоприятствовал мне, и я без особых трудностей провел лодку в бухту. Двигаться дальше не было ни малейшей возможности, потому что пресная вода у берегов замерзла. Что же касается моих блоков и фалов, то они так обледенели, что и нечего было думать о том, чтобы поднять грот или кливер. Прежде всего я вкатил в себя пинту чистого виски, а затем, оставив лодку на таком расстоянии, чтобы в любую минуту можно было двинуться в обратный путь, закутался

в одеяло и отправился вдоль поля в лагерь.

Без всякой ошибки можно было предугадать, что готовится пир на весь мир. Чилкуты явились в полном составе — с женами, чадами, домочадцами и даже собаками. Я уже не говорю про племена Собачьих Ушей, Маленького Лосося и индейцев миссии. Я так думаю, что человек пятьсот собралось на свадьбу Тилли, и при этом ни единого белого человека не было за двадцать-тридцать миль в окружности.

Никто не обратил на меня никакого внимания, потому что я спрятал голову и лицо в одеяло. Я с трудом пробирался между собаками и детишками, пока наконец не очутился в центре пиршества, которое было устроено на открытом месте, среди деревьев. Кругом горело огромное количество костров, а снег был так укатан мокасинами, что по твердости мог поспорить с портландским цементом.

Недалеко от меня находилась Тилли, вся в бусах и одетая в ярко-красное платье. Против нее поместился вождь Джордж со своими старшинами. Шаману помогали великие знахари из других племен, и у меня мороз по коже пошел, когда я стал вглядываться и вслушиваться в чертовщину, что происходила вокруг меня. Я подумал при

этом, как удивились бы ливерпульцы, если бы в эту минуту увидели меня. И я подумал также о желтоволосой Гесси, брата которой я поколотил после моей первой поездки только за то, что ему не понравилось ухаживание матроса за его сестрой. Думая о Гесси, я взглянул на Тилли. «Какие странные вещи происходят на старом Божьем свете! — подумал я. — Иногда люди попадают туда, куда матери их и в мыслях никогда не заносились, глядя на своих деток в колыбельке».

Ну так вот! Когда шум стал совсем оглушительным и когда музыканты забили в моржовые барабаны, а шаманы затянули свои дикие песни, я обратился к Тилли и сказал ей: «Ты готова?» И представьте себе: она даже не вздрогнула, не изменилась в лице, и ни единый мускул не дрогнул в ней.

— Я знала, что ты придешь! — ответила она. — Где мы встретимся?

— На высоком берегу, там, где кончается лед, — шепнул я ей в ответ. — Беги, как только я крикну тебе.

Должен ли я говорить вам о том, что там было несметное количество собак? Ну, словом, их было так много, что и не сосчитать! Здесь, там, с боков, ближе, дальше. Собаки были на каждом шагу,

куда бы я ни повернулся. Не собаки, а настоящие волки! Когда они начинают вырождаться, их спаривают с дикими волками, и тогда на свет Божий рождаются не дай Бог какие драчуны! Как раз у большого пальца моей ноги лежал один зверь, а у пяток — другой. Я схватил первого за хвост и так закрутил его, что чуть-чуть не оторвал, а когда пес раскрыл пасть, желая вонзить в меня свои клыки, я бросил в эту пасть вторую собаку и крикнул Тилли: «Беги!»

Вам, вероятно, приходилось видеть, как дерутся собаки. В мгновение ока в свалку ввязалось около сотни собак, которые образовали невообразимую кашу и вцепились друг в дружку так, что кругом полетели клочья. Само собой разумеется, что в драку вмешались женщины и дети, и вскоре сошел с ума весь лагерь. Тилли, не теряя золотого времени, понеслась вперед, я последовал за ней. Но когда я вдруг оглянулся через плечо и увидел всю эту дикую орду, меня черт дернул сыграть с ними шутку; вот почему я скинул с плеч одеяло и повернул назад.

Тем временем собак уже развели и толпа немного успокоилась. Никто не оказался на прежнем месте, и поэтому сразу не обратили внимания на то, что Тилли исчезла.

— Здорово! — крикнул я, схватив вождя Джорджа за руку. — Как живешь? Желаю тебе, чтобы дым над твоей трубой подымался как можно дольше и чтобы весной стиксы принесли тебе много мехов!

Вот честью клянусь вам, Дик, что обрадовался он мне так, что словами и не передать. Поймите: он взял надо мной верх и женится теперь на Тилли! Шутка сказать! О том, что я увлекался девушкой, стало известно по всем лагерям, и мое присутствие здесь заставило его возгордиться пуще прежнего. Все вокруг уже знали меня, а теперь, когда я сбросил одеяло, они начали попрежнему издеваться надо мной и скалить зубы. Это было, конечно, страшно забавно, но я еще больше позабавил их тем, что притворился абсолютно ничего не знающим и не понимающим.

— В чем тут дело? — спросил я. — Кто это женится сегодня?

— Вождь Джордж! — сказал шаман, отвесив низкий поклон начальнику.

— А мне казалось, что у него уже имеются две клух.

— Две есть, а взял еще третью! — ответствовал шаман, снова поклонившись.

— Ах вот как! — спокойно произнес я и повер-

нулся, словно все это нисколько не интересовало меня.

Но этот номер не прошел, так как все вокруг меня начали гнусаво распевать: «Киллисну! Киллисну!»

— Почему Киллисну? Что Киллисну? — спросил я.

— А Киллисну сделалась теперь третьей клух вождя! — завопили они. — Третья клух!

Я подскочил на месте и поглядел на вождя. Он кивнул головой и горделиво выпятил грудь.

— Она ни в коем случае не может быть твоей клух! — важно сказал я. — Нет, она не будет твоей клух, — повторил я, видя, что он весь почернел и начал поигрывать своим охотничьим ножом. — Посмотри! — снова крикнул я и стал в позу. — Ведь я великий знахарь! Последите все за мной.

Я снял рукавицы, засучил рукава и сделал с полдюжины пассов в воздухе.

— Киллисну! — воскликнул я. — Киллисну! Киллисну!

Я занялся колдовством, и это начало оказывать на них свое действие. Все глаза были прикованы ко мне, и поэтому никто не обратил внимания на то, что Тилли исчезла. После того я еще три

раза позвал Киллисну, подождал и снова три раза позвал ее. Все это я делал для того, чтобы придать всему фокусу побольше таинственности и чтобы побольше напугать их. Вождь Джордж никак не мог догадаться, к чему я клоню, и хотел прекратить эту чепуху, но шаманы предложили ему подождать немного, желая увидеть, на что я способен, и обещая ему, во всяком случае, превзойти меня. К тому же он был довольно суеверный тип и очень боялся магии белого человека.

И тогда я длительно и мягко, чисто волчьим позывом позвал Киллисну и звал ее так долго, пока все женщины не задрожали, а мужчины не насупились.

— Смотрите!

И я прыгнул вперед, подняв палец в сторону скваy (ведь вы знаете, что женщин всегда легче убедить, чем мужчин!). Я несколько раз повторял: «Смотрите!» — и весь подавался вперед, точно следя за полетом какой-то птицы в воздухе. Все выше, все выше… Я задирал голову вверх до тех пор, пока, казалось, мои глаза уже ничего больше не видели в небе.

— Киллисну! — сказал я, смотря на вождя Джорджа и снова указывая в небо. — Киллисну!

И вот, дружище, клянусь всем святым на земле

и в небе, что мое колдовство удалось мне вполне. Во всяком случае, добрая половина этих дураков была уверена в том, что Киллисну действительно скрылась в небесах. Впрочем, я думаю, что в то время, как они пили в Джуно мое виски, они видели еще более замечательные вещи. Почему бы мне было не проделывать таких чудес, раз я продавал им злых духов, закупоренных в бутылках? И если они верили этому, то легко могли поверить и всему другому. Некоторые женщины в испуге закричали, а все остальные тихо перешептывались.

Тут я сложил на груди руки, высоко поднял голову, и они все отступили от меня. Как раз приспело время мне улетучиться, но тут вождь крикнул:

— Хватайте его!

Трое-четверо направились было в мою сторону, но я ловко увернулся и сделал несколько пассов, точно имея в виду отправить их вслед за Тилли, и указал им на небо. Как они смеют прикоснуться ко мне? Да ни за что на свете я не позволю им этого святотатства! Начальник Джордж еще раз указал им на меня, но никто из них не тронулся с места. Тогда он попытался единолично забрать меня, но я повторил свои фокусы и сразу же от-

шиб у него желание приблизиться ко мне.

— А ну-ка, пусть ваши шаманы попробуют проделать те же чудеса, что я показал вам! — вызывающе сказал я. — Пусть они попробуют спустить Киллисну с неба, куда я отправил ее.

Но знахари прекрасно знали границы своих возможностей и стыдливо молчали.

— Ну в таком случае пожелаю вам, чтобы дети ваши рождались так же быстро и густо, как лосось мечет свою икру! — сказал я, готовясь улизнуть. — Пусть долго и прочно высится в воздухе тотем вашего племени! И пусть никогда не прекратится дым, подымающийся над вашим лагерем.

Если бы эти босяки видели, какого стрекача я задал, когда бежал вдоль берега, направляясь к лодке, то они, наверно, подумали бы, что мое волшебство проделало какие-то шутки со мной самим. Тилли поддерживала теплоту своего тела тем, что рубила лед вокруг лодки и делала все необходимые приготовления к тому, чтобы мы немедленно могли сняться с места. Господи Боже мой, как мы неслись вперед!

Подлый порывистый таку завыл по-прежнему, и по-прежнему же вокруг нас и чуть ли не на нас замерзала вода. Пришлось спустить все паруса,

я сидел на руле, а Тилли все время рубила лед. Таким манером мы проработали полночи, пока наконец мне не удалось провести наш шлюп к острову Норкюпайне, где, дрожа от страшного холода, мы вышли на берег. Все было мокро, одеяла тоже промокли насквозь, и бедняжке Тилли пришлось сушить спички на собственной груди.

Таким образом, старина, вы сами видите, что я достаточно знаю про то, что касается женщин. Семь лет, Дик, целых семь лет мы прожили с ней как муж и жена, вместе делили радость, вместе знавали горе. Вместе плавали, вместе и торговали. А затем однажды, посреди зимы, она умерла — умерла от родов в Чилкуте. В последние минуты своей жизни она не выпускала моей руки, а в это время лед уже трещал снаружи, и холод пробирался в нашу хижину, и морозом оседал на окнах. Снаружи — заунывный плач одинокого волка и тишина, а внутри — смерть и тишина. Вам никогда, Дик, до сих пор не приходилось слышать тишину, и дай Бог, чтобы и впредь не пришлось слышать ее, сидя у постели умирающего. Можно ли ее слышать? Конечно, можно. Ее дыхание звучит как сирена, а сердце стучит, стучит, стучит, точно прибой о морской берег.

Да, Дик, это была сивашка, но настоящая жен-

щина! Душой, Дик, она была белая, совсем белая. В один из последних дней своих она сказала мне следующее:

— Сбереги, Томми, мою перинку и храни ее всегда.

Я обещал ей это. Тогда она открыла глаза, полные муки, и продолжала:

— Томми, я всегда была хорошей женой для тебя, и вот почему ты должен мне кое-что обещать… — Казалось, слова застревали в ее горле. — Ты должен обещать мне, что если женишься, то женишься непременно на белой. Не надо больше сивашек, Томми, не надо, я прошу тебя. Я знаю, что говорю. Теперь в Джуно имеется много белых женщин, я знаю. Твои единоплеменники называют тебя «мужем скваy», а их жены при встрече отворачивают головы и не пускают тебя, как всех остальных мужчин, в свои хижины. А почему? Только потому, что твоя жена — сивашка! Разве же это не так? И это нехорошо. И вот почему я умираю. Обещай мне сделать то, о чем я прошу тебя. Поцелуй меня в знак того, что ты исполнишь мою просьбу.

Я обещал ей это, и она слегка вздремнула, шепча:

— Так будет хорошо! Так будет хорошо!

В последние минуты она была так слаба, что мне приходилось наклоняться к самым ее губам, когда она говорила.

— Смотри же, Томми, не забудь про перинку!

И она умерла, умерла от родов на станции Чилкут.

Новый шквал страшно потряс палатку и чуть-чуть совсем не опрокинул ее. Дик снова набил свою трубку, а Томми взял чайник и отставил его в сторону, на тот случай, если Молли все-таки вернется.

А что же в это время делала девушка со сверкающими глазами и кровью настоящего янки?

Ослепленная, почти без сил, ползая на руках… задыхаясь от страшного ветра, который, словно в тисках, зажал ее горло, она направлялась теперь обратно к палатке. На ее плечах болтался довольно объемистый тюк, который еще больше затруднял ее движения, так как, казалось, на нем одном сосредоточилась вся ярость бури. Едва стоя на ногах и слабо шевеля руками, она ухватилась за веревки, удерживающие палатку, и тогда Дику и Томми пришлось втащить ее внутрь. Там она сделала последнее усилие, зашаталась и без сил свалилась на землю.

Томми расстегнул ремни на ее плечах и снял

поклажу, но в это время послышался звон посуды и стук горшков. Дик, наливавший виски в чашку, успел через тело девушки мигнуть Томми, который мгновенно мигнул ему в ответ. Его губы прошептали лишь единственное слово «платья», но Дик неодобрительно кивнул головой.

— Послушайте, бедная девочка, — сказал он, когда Молли выпила виски и почувствовала себя несколько лучше. — Тут для вас имеются совершенно сухие вещи. А ну-ка, попробуйте облачиться в них. А мы тем временем выйдем наружу и закрепим палатку. Как оденетесь, кликните нас, и мы сядем за обед. Кликните, когда оденетесь.

— Ну, милый мой, теперь я готов клясться вам чем угодно, что спесь-то с нее сбита! — сказал Томми, когда оба устроились на подветренной стороне палатки. — Теперь она не будет уже так петь о своей отваге.

— Но ведь отвага-то — самое лучшее, что в ней есть! — ответил Дик, пряча голову от волны изморози, которая налетела на него из-за угла палатки. — Это та самая отвага, которая сидит во мне и в вас и которая сидела в наших матерях еще до того, как мы родились на свет Божий!

Человек со шрамом

Джэкоб Кент всю жизнь страдал непомерной жадностью. С течением времени эта жадность породила хроническое недоверие к людям, которое так извратило его ум и характер, что сделало его страшно неприятным человеком в делах. Кроме того, он страдал галлюцинациями, которые зачастую овладевали всем его существом. С детства он был ткачом и работал за ткацким станком вплоть до того времени, как клондайкская золотая лихорадка отравила его кровь и заставила бросить насиженное место.

Его хижина стояла как раз на полпути между Шестидесятой Милей и рекой Стюарт, и те люди, которые привыкли проходить по дороге на Даусон, смотрели на него как на своего рода грабителя-барона, который неуклонно взимает пошлину и дань со всех тех, кто пользуется его дурно содержимыми дорогами. Но ввиду того что большинству этих рыцарей наживы с реки Стюарт не были знакомы подобные исторические фигуры и названия, они отзывались о Джэкобе Кенте в несколько более примитивных выражениях, в которых главную роль играли весьма

живописные и выразительные прилагательные.

Между прочим, надо отметить, что эта хижина вовсе не принадлежала ему, а в свое время была построена двумя золотоискателями, которые пригнали сюда плот специально для этой хижины. Это были очень добродушные парни, и после того, как они бросили свой домик, путешественники, которые прекрасно знали этот путь, стали всегда останавливаться в нем на ночь. Это было очень удобно, так как избавляло их от необходимости разбивать собственный лагерь и тратить зря массу времени. С течением времени создался неписаный закон, согласно которому каждый последний путник оставлял вязанку дров для следующего гостя. Редкая ночь проходила без того, чтобы здесь не находили себе приюта от пяти до двадцати человек.

Джэкоб Кент обратил внимание на создавшееся положение вещей и через некоторое время въехал в хижину полноправным хозяином. С тех пор установились новые порядки, и усталые путники должны были уже платить по доллару с человека за привилегию спать на голом полу. Джэкоб Кент исправно отвешивал золотой песок из их мешков и так же исправно отвешивал его с солидным «походом» в свою пользу. Мало того, он устроился

еще так, что его прохожие постояльцы кололи для него дрова и носили воду. Конечно, это был форменный грабеж, но так как его жертвы отличались крайне добродушным характером, то они не подымали споров и криков и нисколько не препятствовали ему преуспевать за их счет.

Однажды в апрельский полдень Джэкоб Кент сидел у своих дверей и грелся в лучах воскресающего весеннего солнца. В эту минуту он удивительно походил на жадного паука, который поглядывает на дорогу в ожидании жирных мух. У его ног простирался Юкон — огромное море льда, которое двумя изгибами исчезало на севере и юге и имело добрых две мили от одного берега до другого. Вдоль его суровой груди пробегал санный путь шириной в восемнадцать дюймов и длиной в две тысячи миль. Можно было смело утверждать, что никакой другой путь на белом свете не выслушивал такого безграничного количества отборных ругательств, как этот.

Сегодня Джэкоб Кент чувствовал себя исключительно хорошо. В последнюю ночь он побил рекорд в том отношении, что в его хижине нашли себе приют двадцать восемь человек. Конечно, нельзя сказать, чтобы все постояльцы остались довольны ночлегом, так как некоторые из них —

человека четыре — всю ночь провели под его собственной лежанкой, на которой он спал. Но тем не менее в его мешочек прибавилось изрядное количество золотого песку. Этот мешочек с его блестящим желтым богатством в одно и то же время был для Кента источником и всех его радостей, и всех горестей. Небо и ад залегли в нем. Принимая во внимание, что его домик в одну комнату стоял совершенно одиноко, можно было понять, что Джэкоб Кент жил в непрестанном страхе, что рано или поздно его ограбят. Все это было чрезвычайно легко проделать бородатым отчаянным людям, которые заглядывали к нему. Ему часто снилось, что в его домик врываются бандиты, и он просыпался в состоянии неописуемого кошмара. Всего чаще его сновидения посещала одна компания, которую он успел уже прекрасно изучить, причем всего больше приглядел к главарю — с бронзовым лицом и шрамом на правой щеке. Этот парень очень часто попадался ему на глаза, и только из-за него он вырыл вокруг хижины множество потайных ям, где и прятал свое добро. После каждой такой ямки он отдыхал в продолжение нескольких ночей, пока в его сны снова не врывался человек со шрамом и снова не покушался на его сокровища. Кент

просыпался посреди самой отчаянной схватки, вскакивал с ложа и прятал золото в новом, еще более потайном месте. Нельзя сказать, чтобы эти видения сами по себе и, так сказать, непосредственно мучили его. Но он верил в предчувствия, в силу внушения и в астральную проекцию живых персонажей, которые в настоящую минуту, независимо от того, где они находились, мысленно покушались на его имущество. Вот почему он продолжал безжалостно эксплуатировать всех тех, кто переступал порог его дома, и в то же время невыразимо страдал с каждой новой песчинкой золота, попадавшей в его мешок.

В то время как он сидел так, греясь в чудесных лучах солнца, его мозг посетила мысль, которая заставила его подскочить на месте.

Все радости его жизни сконцентрировались на том, что он взвешивал и перевешивал свое золото. Но в этом занятии имелась тень, которая омрачала всю его радость и заключалась в том, что его весы были слишком малы. Действительно, он мог на них взвесить максимально полтора фунта за один раз, а между тем его запас был уже по меньшей мере в три раза больше. Ему ни разу не удавалось до сих пор взвесить все свое золото сразу, и это лишало его огромного счастья, ко-

торое заключалось в том, чтобы видеть все свои богатства собранными воедино. Лишенный этой возможности, он чувствовал, что одновременно лишается и половины блаженства. Мало того, он находил, что из-за такой незначительной причины умаляется сам по себе факт обладания богатством. И вдруг у него мелькнула идея, каким образом разрешить столь важную проблему, — вот это и заставило его вскочить на ноги. Он внимательно осмотрел дорогу налево и направо. Никого и ничего подозрительного не было. Кент вошел в хижину.

В несколько секунд стол был очищен, и Джэкоб Кент поставил на нем весы. На одну чашку он положил тяжесть, равную по весу пятнадцати унциям, а другую чашку сбалансировал соответствующим количеством золотого песку. Затем он переложил песок на ту чашку, где лежали гири, и снова сбалансировал вторую чашку соответствующим количеством песку. Таким образом он высыпал весь имевшийся в его распоряжении золотой запас и свободно, облегченно передохнул. Он задрожал от восторга, безмерно восхищенный. Тем не менее он продолжал старательно вытряхивать мешок до последней золотой песчинки и до тех пор, пока одна чашка не коснулась стола.

Равновесие он восстановил тем, что прибавил к первой чашке пенни и пять зерен с другой чашки. Он стоял, откинув голову назад и испытывая неведомое доселе блаженство. Мешок его был пуст, но нагрузочная способность весов возросла неимоверно. Он мог теперь взвешивать в них любое количество песку — от малой песчинки до нескольких футов. Маммона[54] глубоко вонзила свои пальцы в его сердце. Солнце продолжало катиться к закату, и теперь лучи его, лизнув порог, упали на чашки весов, доверху нагруженные сверкающим золотом. Драгоценные горки, похожие на золотые груди бронзовой Клеопатры, чудесно отражали мягкий, ровный свет. Исчезли время и пространство.

— Черт побери совсем! Да вы никак производите здесь золото! Верно я говорю?

Джэкоб Кент стремительно подался назад и в то же самое время схватил свое двуствольное ружье, которое находилось под рукой. Но когда взор его упал на лицо непрошеного гостя, он остолбенел и снова подался назад. *Это был Человек со Шрамом!*

Гость глядел на него с большим любопыт-

---

[54] Сноски: 54
Маммона — дух стяжания, земные блага, золотой кумир.

ством.

— О, все обстоит совершенно благополучно! — успокоительно сказал он. — Не подумайте только, что я собираюсь сделать что-нибудь дурное вам или же вашему проклятому золоту! Но вы как будто нездоровы! — прибавил он после минуты размышления. — Что с вами? — И он указал на пот, который катился с лица Кента, и на его подкашивающиеся ноги. — Но почему же вы ничего не говорите? — продолжал он, видя, как тот делает усиленные движения для того, чтобы перевести дух. — Может быть, что-нибудь случилось с вами? В чем дело? Да говорите же!

— О… от… куда… это… у вас? — Кент наконец собрался с силами и, подняв дрожащий указательный палец, показал на страшный шрам на лице незнакомца.

— А это один матрос, с которым я вместе плавал, нанес мне свайкой удар. Свайка полетела в меня с бом-брамселя. Ну-с, а теперь, когда вы наконец снова обрели дар речи, разрешите узнать, что случилось с вами? В настоящее время я хочу знать только одно: что с вами? Черт побери, вы так взволнованы, так дрожите… И почему это вас так заинтересовал мой шрам? Я и это хочу знать! Ну, говорите!

— Нет, нет! — ответил Кент, упав на стул и сделав при этом болезненную гримасу. — Меня просто так заинтересовало.

— А вам приходилось когда-либо видеть подобную штуку? — подозрительно спросил гость.

— Никогда в жизни!

— Ну и как же: нравится вам мой шрам?

— Да, нравится!

Кент одобрительно кивнул головой, решив про себя всячески ублажать этого странного визитера, но он совершенно не ожидал того взрыва возмущения и негодования, с которым были встречены его старания быть приятным.

— Эх вы, глупая, старая, мокрая курица! Как вы смеете говорить, что этот позор, которым всемогущий Господь Бог украсил мое лицо, вам нравится! Что вы хотите этим сказать?

И тут почтенный и пылкий сын моря разразился таким бешеным потоком типично восточных ругательств, что в одну кучу были свалены и боги, и дьяволы, и ныне здравствующие люди, и их предки и потомки, и метафоры чудища. И все это было преподнесено с таким хулиганским мастерством, что Джэкоб Кент был буквально парализован. Он еще больше подался назад и поднял над головой руки, точно выжидая, что

вот-вот над ним будет учинено физическое насилие. У него был при этом такой испуганный и вместе с тем смешной вид, что незнакомец вдруг замолчал, остановившись посреди замечательного и на редкость красочного ругательства, и разразился оглушительным хохотом.

— Солнце растопило верхний слой льда на дороге, — между отдельными пароксизмами веселости произнес Человек со Шрамом. — Теперь путь совсем испортился, и вы должны благодарить Господа Бога за то, что он послал вам такое счастье в моем лице. А ну-ка, дорогой мой, растопите вашу печку, а я тем временем распрягу моих собак и накормлю их. Но смотрите не жалейте дров: там их много! И времени, чтобы нарубить дров, у вас тоже хватит. Да, кстати, захватите с собой ведро и принесите сюда воды. И поживее! Не доводите меня до того, чтобы я показал вам, как надо работать: вам же хуже будет!

Это была совершенно неслыханная вещь! Джэкоб Кент стал разводить огонь, наколол дров, принес воду — словом, занялся обычными хозяйственными услугами для гостя!

Когда Джим Кардижи оставлял Даусон, его голова была забита рассказами и анекдотами о подлости этого придорожного Шейлока, а в пу-

ти от многочисленных жертв ему пришлось еще больше услышать о художествах этого человека. Вот почему с чисто матросской любовью к матросским же шуткам он решил проучить этого молодца. Он не мог, конечно, не обратить сразу же внимания на то, какой эффект — и эффект совершенно неожиданный — произвело его появление, но он не имел ни малейшего понятия о том, какую роль в этом деле сыграл шрам на его щеке. Но, не понимая этого, он видел ужас, вызванный одним видом его лица, и решил эксплуатировать его самым беззастенчивым образом, как это сделал бы любой современный торгаш, желающий выгодно сбыть тот или иной товар.

— Лопни мои глаза, если мне приходилось когда-нибудь видеть такого ловкого парня, как вы! — в восторге вскричал он, склонив набок голову и следя за тем, как возится хозяин. — По-моему, вы совершенно напрасно выехали на Клондайк, где вам нечего делать! Вам бы стоять во главе хорошего трактира, вот это для вас настоящее дело! Мне, правда, очень часто приходилось слышать о вас от товарищей по работе, но я понятия не имел о том, на что вы способны. Прямо молодец!

Джэкоб Кент испытывал непреодолимое желание выпалить в гостя из своего ружья, но магическое действие шрама было слишком сильно. Ведь перед ним сидел настоящий Человек со Шрамом — тот самый человек, который так часто грабил его во время кошмарных снов! Он видел перед собой воплощение того существа, чья астральная форма так часто повторялась в его видениях. Сколько раз этот человек покушался на его добро, и теперь — в этом не могло быть никаких сомнений — он явился сюда в полной человеческой оболочке для того, чтобы овладеть наконец его богатством. Ах, этот шрам! Кент так же не был в силах оторвать своих глаз от него, как не мог бы остановить биение своего сердца. Как он ни пытался, взор его возвращался к этому шраму так же неизбежно, как магнитная стрелка к полюсу.

— Я вижу, что мой шрам здорово-таки мешает вам! — прогремел Джим Кардижи, вдруг глянув поверх своих одеял и встретившись с напряженным взором хозяина. — Я вам вот что посоветую. И, по-моему, будет самое лучшее для вас, если вы сделаете то, что я прикажу вам. Лягте-ка спать, потушите лампу и не глядите на меня: тогда и не увидите моего шрама. Слышите, вы, старая

швабра: лягте, говорю я вам, и не выводите меня из себя.

Джэкоб Кент так нервничал, что вынужден был вместо одного раза три раза дунуть на огонь, чтобы погасить его. После этого он, не снимая даже мокасин, забрался под одеяла.

Матрос, лежа на своем весьма жестком ложе, очень скоро захрапел, а Кент, устремив глаза во мрак ночи и не спуская пальца с курка своего ружья, решил ни на минуту не закрывать глаз и бодрствовать всю ночь. Ему не удалось спрятать свои пять фунтов золота, которые до сих пор еще лежали в его патронном ящике у самого изголовья. Но, несмотря на все старания, он, в свою очередь, скоро уснул под невыразимой тяжестью, упавшей на его сердце. Если бы он не задремал в таком состоянии, весьма возможно, что демон сомнамбулизма не был бы вызван, и Джиму Кардижи не пришлось бы на следующий день промывать золото Джэкоба Кента.

Огонь в печи боролся, пока мог, а затем погас. Мороз мало-помалу стал проникать через законопаченные мохом щели в стенах и охладил комнату. Собаки снаружи постепенно умолкли, перестали ворочаться, свернулись на снегу и мечтами унеслись в чудесные небесные страны, где

имеется великое множество лососины, но совсем нет собачьих погонщиков и их помощников.

Матрос спал, как бревно, между тем как Кент, весь во власти чудовищных снов, все время беспокойно ворочался с боку на бок. Около полуночи он вдруг сбросил с себя одеяла и поднялся на ноги. Интересно отметить, что все последующее он проделал без малейшего проблеска света. Весьма возможно, что он не раскрывал глаз из-за царившей вокруг темноты, но возможно и то, что он не подымал век только из боязни снова увидеть страшный шрам. Но, так или иначе, факт таков, что, ничего не видя, он открыл свой патронный ящик, вынул из него что-то, плотно зарядил ружье, причем не просыпал ни песчинки, забил заряд двойным пыжом, после чего все убрал и снова завернулся в свои одеяла.

Когда дневное светило наложило свои голубовато-серые пальцы на пергаментное окно хижины, Кент немедленно проснулся. Повернувшись на локте, он открыл патронный ящик и заглянул в него. То, что он увидел в нем, или, вернее, то, чего он не увидел там, произвело на него довольно странное впечатление, если принять во внимание его крайне неврастенический темперамент. Он посмотрел на спящего на полу

человека, тихо опустил крышку ящика и снова лег на спину. На его лице появилось выражение совершенно необычного для него спокойствия. Ни единый мускул не дрогнул. Никто не мог бы заметить хотя бы малейший след душевного волнения или возбуждения. Он лежал так довольно долго, причем ни на миг его мысль не переставала работать, а когда он наконец поднялся с лежанки и начал двигаться по комнате, то представлял собой хладнокровного, уравновешенного человека, который все проделывал без малейшего шума и спешки.

Случилось так, что тяжелый деревянный гвоздь был вбит в бревенчатое стропило как раз над головой Джима Кардижи. Джэкоб Кент, работая чрезвычайно тихо и осторожно, достал полудюймовую веревку и перекинул ее через этот гвоздь так, что оба конца веревки свесились до пола. Один конец он обмотал вокруг своей талии, а на другом сделал подвижную петлю. После того он взвел курок ружья и положил его на расстоянии протянутой руки на кучу ремней из оленьей кожи. Страшным усилием воли он принудил себя смотреть на шрам, накинул подвижную петлю на голову спавшего Джима, натянул веревку тяжестью собственного тела, которое немного

отклонилось в сторону, а затем схватил ружье, намереваясь выстрелить при первой же необходимости.

Джим Кардижи проснулся, вздрогнул и устремил дикий взор на два направленных в его сторону стальных дула.

— Где оно? — спросил Кент, немного ослабив веревку.

— Ах ты, подлец…

Кент без дальнейших слов снова подался в сторону и тяжестью тела натянул веревку.

— Мерзавец… подл…

— Где оно? — повторил Кент.

— Что? — спросил Джим, когда хозяин дал ему возможность на миг перевести дух.

— Золотой песок!

— Какой такой золотой песок? — ничего не понимая, спросил матрос.

— Ты прекрасно знаешь, о чем я говорю! Где мой песок?

— Понятия не имею о нем. Черт тебя возьми, за кого же ты, в конце концов, принимаешь меня? Что я — сейф, что ли? На кой черт он мне?

— Может быть, знаешь, а может быть, и не знаешь, но, так или иначе, я решил душить тебя до тех самых пор, пока ты не скажешь. И имей

в виду: если ты поднимешь руку, то я тут же на месте уложу тебя!

— Силы небесные! — прорычал Джим, когда веревка снова натянулась.

Кент на время несколько ослабил нажим, и матрос, поворачивая во все стороны голову, словно для того, чтобы уменьшить трение, сумел растянуть петлю настолько, что передвинул ее почти на подбородок.

— Ну! — вскричал Кент, надеясь, что матрос сейчас же признается во всем.

Но Джим только усмехнулся в ответ.

— Жулик ты и прохвост, вот что я скажу тебе! — ответил он. — Можешь убираться со своей веревкой ко всем чертям!

Как он и предвидел, трагедия мало-помалу начала превращаться в фарс. Ввиду того, что Кент был гораздо легче Кардижи, все его усилия приподнять мнимого вора в воздух ровно ни к чему не приводили, и ноги матроса все время оставались на полу. Затылком же своим он упирался в подвижную петлю.

Поняв, что ему не удастся сразу задушить противника, Кент решил душить его постепенно и медленно и тем заставить признаться в краже. Но Человек со Шрамом не выражал ни малейшего

желания подвергнуться медленному удушению. Прошло пять, десять, пятнадцать минут, и доведенный до отчаяния Кент опустил своего пленника на пол.

— Ладно! — произнес он, вытирая обильный пот, выступивший на его лице. — Я не повешу тебя, а просто-напросто застрелю. Имеются такие люди, которых никакая веревка не берет. Ладно!

— Милый мой, ты только пол попортишь, если таким образом отправишь меня на тот свет, — сказал Джим, стараясь как-нибудь выиграть время. — Нет, дружище, ты лучше послушай меня, и я дам тебе дельный совет. Или, что будет еще лучше, давай вместе подумаем, что нам делать. Ты говоришь, что потерял золото, и утверждаешь, что я знаю, куда оно делось. А я говорю, что не знаю, куда оно делось. Так вот давай подумаем…

— Силы небесные! — крикнул Кент, стараясь в точности передать интонацию матроса. — Это ты мне самому предоставь. Я уж сам подумаю, что да как мне сделать. Ты лежи смирно, не шевелись, или же, как Бог свят, я без дальних слов уложу тебя на месте.

— Ради моей матери…

— Пусть Господь Бог сжалится над ней, если она действительно любит тебя. Ты что там делаешь?

Он предупредил какое-то подозрительное движение матроса, приставив к его лбу холодное дуло ружья.

— Говорю же я тебе толком: лежи спокойно и не шевелись! Если ты сдвинешься с места хоть на волосок, не жить тебе на свете!

Принимая во внимание, что Кент ни на миг не спускал пальца с курка ружья, легко себе представить, какая адская работа предстояла ему. Но он был ткач, и вот почему матрос в несколько минут был связан по рукам и ногам. Закончив эту часть работы, он вытащил пленника наружу и положил его у самой стенки хижины, после чего устремил свой взор на реку и стал следить за тенями, отбрасываемыми солнцем на землю.

— Ну теперь вот что я скажу тебе! — обратился он к матросу. — Я даю тебе времени до двенадцати часов, а потом…

— А потом? — спросил тот.

— А потом я отправлю тебя по прямехонькой дороге на тот свет. Если же ты честно признаешься во всем, то я оставлю тебя в таком положении, пока мимо не проедет ближайший пикет конной полиции.

— Пропади я на месте, если я знаю, чего ради ты сошел с ума. Говорю я тебе, что я невинен, как

малый ягненок, а ты, черт тебя знает — к чему и зачем, пристал ко мне и строишь из меня дурака… Старый ты проклятый разбойник… Ты…

И тут Джим Кардижи дал волю своему богатому и красочному языку, причем на сей раз превзошел даже самого себя. Для того чтобы удобнее было слушать такие замечательные богохульства, Кент вынес из хижины стул и поудобнее уселся на нем.

После того как матрос исчерпал весь свой — казалось бы, неисчерпаемый — запас ругательств и проклятий, он вдруг замолчал, глубоко задумался и стал напряженно следить за движением солнца, которое, по его мнению, неприлично быстро бежало теперь к западному полушарию. Его собаки, удивленные тем, что их до сих пор не запрягли, собрались вокруг него. Его беспомощность вызвала полное сочувствие со стороны животных, которые поняли, что случилось что-то неладное, хотя никак не могли понять причины и характер несчастья. Теснясь все ближе и ближе к нему, они мрачными завываниями стали выражать ему свое собачье соболезнование.

— Чук! Чук! Прочь, сиваши! — крикнул он, стараясь какими-то особыми судорожными движениями отогнать их от себя.

При этом он убедился, что находится на краю покатости. Отогнав собак на приличное расстояние, он задумался над вопросом: какого рода и откуда взялась эта покатость? Он не видел ее, но только понимал и чувствовал, что она непременно должна быть. Ему не потребовалось много времени для того, чтобы прийти к определенному и вполне удовлетворившему его заключению.

Он начал с того, что человек — каждый человек, по самой природе своей — очень ленив. Человек всегда делает только то, что необходимо, но никак не больше. Когда он строит себе хижину, то, естественно, нуждается в земле для крыши. Этих предпосылок было вполне достаточно для логического вывода, что строитель этой хижины брал ту землю, которая была поближе к нему. Теперь Джиму Кардижи было ясно, что он лежит на краю ямы, из которой Джэкоб Кент брал землю для крыши своей хижины.

Он подумал, что можно извлечь значительную пользу из этого открытия, если только умело утилизировать его; а затем все свое внимание обратил на ремни из оленьей кожи, которыми были опутаны его руки и ноги. Руки его были связаны на спине, и оттого, что он все время держал их в снегу, они были совершенно мокрые. По опыту

он знал, что оленья кожа от сырости растягивается, вот почему он теперь, без видимых усилий, растягивал ремни все больше и больше.

Он жадно и пристально следил за дорогой, и когда вдруг на отдаленном белом фоне ледяного затора мелькнула какая-то черная точка, он тоскливо взглянул на солнце, которое уже подходило к зениту. Снова и снова он видел вдали черную точку, которая то поднималась на ледяные холмы, то стремительно пропадала в снежных провалах. Но он не смел следить за нею более настойчиво, боясь возбудить тем подозрение своего врага. Как-то раз Джэкоб Кент поднялся на ноги и начал ни с того ни с сего напряженно вглядываться вдоль дороги, чем насмерть испугал Джима Кардижи. Но сани в это время неслись по участку дороги, параллельному ледяному затору, скрылись на время из виду, и, таким образом, опасность для матроса миновала.

— О, я погляжу еще, как тебя за такие штучки повесят! — угрожающе крикнул Джим, стараясь во что бы то ни стало привлечь внимание Кента. — Да, за такие дела по головке тебя не погладят, и я уверен, что мы еще встретимся с тобой в… аду! Да, дорогой мой!

— А мне вот что еще интересно знать! — вскри-

чал он после небольшой паузы. — Веришь ли ты, приятель, в привидения?

По тому, как вздрогнул Кент, он понял, что попал именно туда, куда надо было, и продолжал:

— Ведь ты знаешь, что привидение вправе посещать того человека, который не исполняет своего слова. Вот почему ты не имеешь никакого права застрелить меня до восьмой черты… то есть до двенадцати часов дня. Если же, черт лохматый, ты позволишь себе такую подлость, так уж будь уверен, что я стану являться к тебе, когда только можно и нельзя будет! Уж я влезу тебе в печенки, попомнишь ты меня! Ты слышишь, что я говорю тебе? Если ты застрелишь меня раньше на минуту или даже на секунду, то не избавиться тебе никогда от моих визитов!

Кент недоверчиво и неуверенно взглянул в его сторону, но не выражал желания поддержать разговор.

— По каким часам ты будешь считать? Какая здесь долгота? Как ты будешь знать, что твои часы верно показывают?

Кардижи упорствовал, тщетно надеясь привлечь к себе внимание Кента.

— Ты будешь считать по местному времени или же по часам Компании? Помни, негодяй, если

ты застрелишь меня раньше времени, то я ни на минуту не дам тебе покою! Я честно предупреждаю тебя. Я вернусь. Ну а раз у тебя нет часов, как же ты будешь знать точное время? Вот что мне интересно знать! Но почему ты молчишь?

— Я отправлю тебя на тот свет как раз вовремя! — ответил наконец тот. — У меня имеются тут солнечные часы!

— Никуда они не годятся! Ведь надо принять во внимание отклонение стрелки на тридцать два градуса!

— Не беспокойся: у меня часы верно показывают.

— Но как ты выверил их? Компасом?

— Нет! Я выверяю их всегда по Северной звезде!

— Верно?

— Верно!

Кардижи заворчал и бросил украдкой взор на дорогу. Сани, на расстоянии какой-нибудь мили, как раз в эту минуту одолевали подъем, и собаки неслись во всю прыть — удивительно легко и быстро.

— Сколько осталось до черты? — спросил Джим.

Кент подошел к своим примитивным часам и

взглянул на них.

— Три дюйма! — ответил он после внимательного осмотра их. — Еще три дюйма до полудня!

— Но имей в виду, что до того, как выстрелить, ты должен закричать: «Восемь склянок!»

Кент согласился и на это условие, и оба погрузились в молчание. Ремни на кистях Джима совсем растянулись, и он начал осторожно работать за спиной руками.

— Сколько осталось? — спросил он.

— Один дюйм!

Матрос слегка зашевелился, желая убедиться, что он успеет вовремя сделать то, что задумал, и сбросил с рук первые обороты ремней.

— Сколько осталось?

— Полдюйма!

Как раз в этот момент Кент услышал шум полозьев по снегу и перевел взгляд в сторону дороги. Погонщик лежал, вытянувшись на санях, а собаки неслись по прямой дорожке, ведущей к хижине. Кент живо повернулся и вскинул ружье к плечу.

— Постой! Ты еще не отсчитал восьми склянок! Увидишь, я замучу тебя моими визитами!

Кент смутился. Он стоял у солнечных часов, на расстоянии каких-нибудь десяти шагов от своей

жертвы. Человек на санях, должно быть, понял, что происходит что-то неладное. Он вскочил на колени и жестоко стегнул бичом собак.

Тени упали на шест. Кент посмотрел на часы.

— Приготовься! — торжественно приказал он. — Восемь ск…

Но за одну крохотную часть секунды до того, как Кент кончил, Джим Кардижи свалился в яму. Кент задержал выстрел и подбежал к краю ямы. Б-бах! Ружье разрядилось прямо в лицо матроса, который уже успел вскочить на ноги. Но из дула не показался огонь, а вместо того огненная лента вырвалась с другой стороны ствола, чуть ли не у самой собачки, и Джэкоб Кент свалился на землю. Собаки выскочили на берег и потащили сани по его телу. Погонщик соскочил на снег в тот самый момент, как Джим Кардижи выбрался из ямы.

— Джим! — воскликнул вновь прибывший, который сразу узнал приятеля. — В чем дело? Что тут случилось?

— Что случилось? Да ничего особенного! Я так, побаловался немного, для собственного здоровья! В чем дело, ты спрашиваешь? Эх ты, дурак, дурак! Ты сначала помоги мне совсем сбросить ремни, а там я тебе все расскажу. Да ну, живей, не то я

так всыплю тебе!

— Уф! — вскричал он, когда приятель начал работать своим складным ножом. — В чем дело? Я сам страшно хотел бы знать, в чем тут дело. Пока я еще сам ни черта не понимаю. Может быть, ты поможешь мне разобраться в этой чепухе? А?

Кент был мертв, когда они перевернули его на спину. Старое, тяжелое, заряжающееся с дула ружье лежало рядом с ним. Стальные части оторвались от деревянных. У самого приклада, близ правого ствола, зияло отверстие с развороченными краями, длиной в несколько дюймов. Матрос поднял ружье и стал с большим любопытством рассматривать его. При этом из отверстия полилась струя желтого песка, и только тогда Джим Кардижи все понял.

— Черт, вот черт! — вскричал он. — Наконец-то я понял! Вот куда делось пропавшее золото! Черт побери меня, а заодно и тебя, если я сейчас же не примусь за промывку этого добра! Беги, Чарли, скорее за тазом для промывки!

Джан нераскаявшийся

...Потому что нет закона, ни божьего, ни человеческого, за 63° северной широты.

Джан катался по полу, царапаясь и лягаясь. Ему пришлось пустить в ход руки и ноги, и он боролся угрюмо и молча. Двое из троих повисших на нем отдавали друг другу всевозможные приказания и прилагали все старания к тому, чтобы скрутить маленького волосатого черта, который ни за что не желал скрутиться. Третий человек выл: его палец был зажат между зубами Джана.

— Ну, Джан, брось свои шутки и будь настоящим человеком! — едва дыша, произнес Рыжий Билл, крепко схватив Джана за шею. — Черт тебя побери, почему ты не хочешь быть повешенным, как и полагается порядочному человеку?

Но Джан пуще прежнего вцепился в палец третьего человека и по-прежнему катался по полу палатки, опрокидывая и разбрасывая во все стороны горшки и кастрюли.

— Вы не джентльмен, сэр! — упрекал его мистер Тэйлор, тело которого послушно следовало

за всеми движениями его же пальца, попавшего в пасть Джана. — Вы убили мистера Гордона, самого почтенного и уважаемого человека, который когда-либо следовал по пути, проложенному собаками. Вы злодей, сэр, и человек без всякой чести и совести.

— И вы — не товарищ! — перебил его Рыжий Билл. — Если бы вы действительно были товарищем, то дали бы себя повесить безо всякого шума и скандала. Бросьте мучить и досаждать нам и дайте повесить себя. Дело мы сделаем быстро и проворно, так что вы и оглянуться не успеете.

— Да что вы там возитесь с ним! — зарычал матрос Лаусон. — Всуньте его голову в горшок с кипящими бобами — и баста!

— Позвольте, сэр, позвольте! — запротестовал мистер Тэйлор. — Вы забыли про мой палец.

— Да убирайтесь вы с вашим пальцем! Вечно вы суетесь не туда, куда надо! Надоели! Вытащите ваш палец!

— Но я не могу, сэр, вытащить его! Поймите же, что он застрял в глотке этого злодея и уже почти откушен наполовину.

— Будьте осторожны!

Но едва послышалось предостережение Лаусона, как Джану удалось приподняться немного,

и весь воинственный квартет снова стал летать по палатке, среди кучи мехов и одеял. Когда дерущиеся подались несколько в сторону, на полу обнаружилось тело человека, лежащее совершенно неподвижно и залитое кровью, сочившейся из ружейной раны на затылке.

И все это было результатом безумия, которое внезапно овладело Джаном, — безумия, которое овладевает человеком, слишком долго копавшимся в сырой земле, в состоянии первородной наготы, внезапно увидевшим плодородные долины родного края и почувствовавшим аромат сена, травы, цветов и только что вспаханной целины. В продолжение долгих пяти лет Джан сеял семя на иной почве. Стюарт-Ривер, Сороковая Миля, Сёркл, Койокук, Коцебу были свидетелями его ревностного посева, и вот в Номе он должен был собрать жатву, но не в Номе, богатом золотыми берегами и рубиновыми песками, а в Номе 1897 года, до разбивки города Энвиля и до организации района Эльдорадо.

Джон Гордон был настоящий янки и, следовательно, должен был знать, как держать себя. Но он произнес острое словцо именно тогда, когда глаза Джана и без того были налиты кровью и когда он скрежетал зубами от ярости. И вот почему

в палатке чувствовался запах селитры, и один человек лежал совершенно неподвижный, а другой боролся, как загнанная крыса, и категорически отказывался от того, чтобы вполне мирным и корректным образом дать себя повесить.

— Если бы вы хотели послушать меня, мистер Лаусон, — заявил мистер Тэйлор, — то прежде чем доконать этого человека, надо было бы освободить из его зубов мой палец. Тогда дело легче пошло бы. О, он поступает, как мудрая змея. Да, сэр, мудрость его — чисто змеиная!

— В таком случае — попробуем топором! — прорычал матрос. — Дайте мне сюда топор.

С этими словами он приставил лезвие топора почти к самому пальцу мистера Тэйлора и просунул его дальше, между зубами Джана, действуя так, точно у него в руках был рычаг.

Джан напряг все силы, не поддавался, дышал носом и фыркал, как кит.

— Ну еще! Ну еще! Вот теперь пошло по-настоящему!

— Благодарю вас, сэр! Ах, как легко стало!

И мистер Тэйлор схватил руками дико болтающиеся в воздухе ноги Джана.

Но пленником овладела чисто берсеркерская ярость. Он весь был залит кровью, на губах у него

скопилась пена, но он ругался так, как это может делать только человек, оттаявший в южном аду после пяти невероятно морозных лет. Человеческая гроздь бросалась то взад, то вперед, потела, едва дышала, ползала, точно многоногое отвратительное чудище, которое вдруг восстало из неведомых земных толщ.

Масляная лампа скатилась на землю и погасла в собственном же масле; полуденные сумерки едва-едва пробивались сквозь грязную парусину в палатку.

— Ну, ради самого Господа Бога, прошу вас, Джан, опомниться! — снова взмолился Рыжий Билл. — Ведь дурного мы вам не сделаем и ничего такого себе не позволим, кроме того, что аккуратно и по всем правилам повесим вас. Ведь ничего страшного тут нет, а вы ведете себя самым непозволительным и даже возмутительным образом. Нет, подумать только, что мы столько времени все делали вместе и сообща, и вдруг такое поведение с вашей стороны! Нет, голубчик, этого я от вас никогда не ожидал.

— Вся беда в том, что мы даем ему слишком много свободы. Эй, Тэйлор, нажмите-ка ему сильнее на ноги и навалитесь на него всем телом.

— Верно, верно, мистер Лаусон. Вы тоже налягте

на него, как только я крикну вам. — Кентуккиец пошарил вокруг себя в кромешной тьме. — Ну, давайте, сэр, давайте! Как раз время теперь! Ну, давайте!

Нажим был сделан до того сильный, что четверть тонны человеческого мяса мигом скатилась к самой стенке палатки. Деревянные гвозди не выдержали натиска, веревки лопнули, и палатка рухнула, в падении своем накрыв грязным полотном копошившихся людей.

— Сами на себя беду накликаете! — продолжал Рыжий Билл, вцепившись обоими толстыми пальцами в волосатое горло, владельца которого он только что подвернул под себя. — Мы уже достаточно повозились с вами, а тут еще придется с полдня провозиться, после того как мы прикончим вас. Нет, это не по-товарищески!

— Я был бы очень рад, если бы вы освободили меня от этого дела! — пробормотал мистер Тэйлор.

Рыжий Билл, в свою очередь, что-то пробормотал, выпустил мистера Тэйлора, и в ту же минуту оба вылетели из-под парусины. Джан лягнул матроса и сломя голову пустился наутек по снегу.

— Ах вы, черт бы вас драл, дьяволы, лентяи! — заорал Лаусон. — Бек! Брайт! Бери его! Ату!

Ату! — И он пустился вслед за Джаном. Бек и Брайт, в сопровождении остальной своры собак, бросились вдогонку за убийцей, которого очень скоро поймали.

Собственно говоря, все это было ни к чему. Не было никакого смысла Джану убегать, и так же бессмысленно было бросаться за ним в погоню. С одной стороны простиралась безграничная, непроглядная снежная равнина, а с другой — замерзшее море. Ведь ясно было, что, не имея ни пристанища, ни провизии, беглец не мог далеко забраться. Самое лучшее, что они могли сделать, так это предоставить ему временную свободу и ждать, пока он не вернется добровольно, а это должно было случиться неминуемо, потому что мороз и голод живо пригнали бы его.

Но все эти люди ни на минуту не задумались над истинным положением вещей. Несомненно, тут сказалась та доля безумия, которая кипела в крови каждого из них. Была пролита кровь, и жажда мести, жажда страстная и неутолимая, говорила в них сильнее всего остального. «Мне отмщение, и аз воздам», — сказал некогда Господь Бог, но надо думать, что эти слова его относились к странам с более умеренным климатом, где теплое солнце значительно умеряет

энергию человека. Но здесь, на Севере, люди пришли к тому убеждению, что это Божье заявление хорошо лишь в том случае, если оно поддерживается крепкими мускулами, и вот почему они предпочитают рассчитывать и надеяться только на самих себя. Господь — повсюду, об этом они, правда, слышали, но ввиду того что он на целых полгода набрасывает густую тень на землю, они не всегда знают, где он обретается. Таким образом, они бродят во тьме, и ничего удивительного нет в том, что они часто сомневаются: стоит ли всегда жить по Десятикнижию?

Джан, как слепой, бежал вперед, не отдавая себе отчета в том, куда и где ступают его ноги, ибо всем его существом владел один лишь глагол: *жить*. Да, жить! Существовать!

Бек серым призраком ринулся на него, но промахнулся. Человек с бешенством устремился на Бека и споткнулся. Тогда белые клыки Брайта вонзились в его куртку, и он упал в снег.

Жить! Существовать!

Он боролся теперь за свою жизнь с необычайным бешенством и представлял собой центр, вокруг которого вертелись и скакали осатаневшие люди и собаки. Его левая кисть схватила за загривок одного волкодава, в то время как вся

рука по локоть крепко обняла шею Лаусона. Каждое движение собаки усиливало беспомощное положение матроса. Правая рука Джана впилась в рыжие кудри Билла, которые теребила безо всякого сожаления. Но всех сильнее страдал мистер Тэйлор, который без движения лежал под этой живой и подвижной грудой тел.

Это была настоящая мертвая хватка, потому что безумие придало Джану невероятные силы. Но вдруг, безо всякого, казалось бы, основания, Джан ослабил напряжение всех своих мускулов и преспокойно перевернулся на спину. Его противники слегка отодвинулись в сторону, несколько смущенные и неспособные сразу разобраться в том, что происходит. Джан злобно усмехнулся, глядя на них.

— Ну вот, друзья мои! — начал он, по-прежнему усмехаясь. — Вы предложили мне быть вежливым. Я подумал и решил быть вежливым. Итак, что вы намерены делать теперь со мной?

— Вот и прекрасно, Джан! — ответил Рыжий Билл. — Но не волнуйтесь: все устроится как нельзя лучше. Я все время понимал, что вы рано или поздно одумаетесь. Повторяю, не волнуйтесь: мы проделаем все, что надо, самым точным и аккуратным образом.

— Проделаете все, что надо? А что надо?

— А надо повесить! И вы должны поблагодарить вашу счастливую звезду за то, что она послала вам такого ловкого вешальщика, как я. Я прекрасно знаю свое дело. Мне уже неоднократно приходилось проделывать это в Штатах, и могу без лести сказать, что знаю это дело до точки!

— Кого же вы это хотите повесить? Меня, что ли?

— Ну конечно, вас!

— Что такое? Ха-ха! Нет, вы послушайте только, что этот дурак говорит! Послушай, Билл, дай мне руку, я встану на ноги, и пусть этот человек меня повесит.

Он не торопясь поднялся на ноги и оглянулся вокруг.

— Господи Боже мой, вы послушайте только, что говорит этот человек! Он хочет ни больше ни меньше, как повесить меня! Хо-хо-хо! Нет, голубчик, меня это не устраивает!

— Ишь ты, шваб![55] — насмешливо произнес Лаусон. — Я думаю, что тебе это не понравится! Тоже сказал! — И с этими словами он отрезал

---

[55] Сноски: 55

Шваб — немец из Швабии (Швабия — бывшее герцогство Германской империи, в древности известное под именем Алеманнии).

длинный ремень от саней и со зловещим видом начал связывать узел. — Разрешите довести до вашего сведения, что сегодня будет заседать суд Линча.

— Постойте, постойте, не торопитесь! — Джан решительно отступил назад от готовящейся для него петли. — Я имею кое о чем порасспросить вас и сделать вам несколько предложений. Эй, Кентукки, что вы знаете насчет суда Линча?

— Да, сэр, я знаю кое-что о суде Линча. Этот институт учрежден порядочными людьми и джентльменами и представляет собой весьма уважаемое и старое учреждение. Видите, всякий там подкуп может иметь место в коронном суде, но суд Линча всегда судит верно, честно и без задержек. И главное — нелицеприятно! Вот это самое главное! Законников можно купить и продать, но в этой просвещенной стране закон и справедливость свободны как воздух, которым мы дышим, сильны как спирт, который мы пьем, и скоры как…

— Да перестаньте болтать! — перебил Лаусон эту замечательную речь. — Давайте разузнаем, чего этот босяк хочет.

— Ладно, Кентукки! — не обращая внимания на слова Лаусона, сказал Джан. — Теперь разъясните

мне следующее: если человек убивает другого человека, то суд Линча может приговорить его к повешению?

— Если, сэр, все улики против него, то можно повесить!

— Ну а в нашем деле улики эти так велики, что их хватит на повешение доброй дюжины молодцов! — вставил Рыжий Билл. — Вот что, Джан!

— А вас, Билл, я еще не спрашиваю! Ваш черед придет, и тогда мы поговорим с вами. Я должен этого Кентукки еще кое о чем расспросить. Ну а если суд Линча не приговаривает преступника к повешению, что тогда?

— Если суд Линча не приговаривает человека к повешению — значит, человек этот может считать себя совершенно свободным, а руки свои — чистыми от крови. А затем, сэр, наша великая и славная конституция говорит следующее: два раза по одному и тому же делу нельзя привлекать человека и держать его под угрозой смертной казни.

— И, значит, такого человека, преступника этого, нельзя ни расстрелять, ни бить клобом[56] по голове, ни вообще ничего такого?..

---

[56] Сноски: 56
Полицейская дубинка.

— Нет, сэр, нельзя!

— Очень хорошо! Эй вы, болваны, вы слышали, что сказал наш товарищ? Ну а теперь я побеседую с Биллом. Как вы сами сказали, Билл, вы хорошо знаете это дело, а потому хотите повесить меня. Так я вас понял?

— Можешь биться об заклад, Джан! — отозвался тот. — Повторяю, что дело это я знаю, и если вы не станете больше мешать мне, то я повешу вас так аккуратно, что вы сами будете любоваться и даже гордиться моей работой! Вот увидите! Я — знаток этого дела!

— Да, Билл, вы — знаток, вы — умница, Билл, и понимаете кое-что другое, помимо вешанья людей. Вы знаете, конечно, что два да один — три. Верно?

Билл утвердительно кивнул головой.

— И вы понимаете еще, что из двух вещей нельзя сделать три вещи. Верно? Ну-с, а теперь внимательно следите за моими словами, и я кое-что покажу вам. Для того чтобы повесить человека, необходимо иметь под руками три вещи. Первым делом надо иметь человека. Хорошо, очень хорошо! Я — этот человек. Вторая вещь — надо иметь веревку. Лаусон достал веревку. Очень хорошо! А третья вещь заключается

в том, что надо иметь, *на чем* повесить! А теперь я попрошу вас обозреть окрестности и указать мне на ту третью вещь, через которую можно перебросить веревку. А? Что вы имеете по этому поводу сказать?

Чисто механически все присутствующие посмотрели на окружавшие их снег и лед. Да, это было очень однообразное зрелище, лишенное каких-либо разительных контрастов или же смелых контуров, зрелище удручающее, скорбное и монотонное. Глаза видели только море льда, медленный изгиб берега, залегшие на горизонте плоские холмы и надо всем — безграничный снежный покров.

— Ни деревьев, ни скал, ни хижин, ни телеграфных столбов — ничего! — проворчал Рыжий Билл. — Ничего такого приличного и подходящего, на чем можно было бы поднять в воздух этакого человечка ростом в пять футов. Я отказываюсь. Я не могу так работать!

Он почти скорбно поглядел на ту часть тела Джана, где голова его соединялась с плечами.

— Нет, я отказываюсь, — печально сказал он Лаусону. — Бросьте веревку, она теперь ни к чему. Очевидно, Господь Бог не создал своих мудрых законов для этой страны! Факт!

Джан победно усмехнулся.

— А теперь, я думаю, я могу пойти в палатку и покурить немного! Как вы находите?

— Так, по внешности, сын мой, вы как будто бы и правы, — ответил Лаусон, — но при всем том вы — несомненный дурак, и это тоже факт! — Последние слова относились к Рыжему Биллу. — Уж так я и вижу, что придется мне, морскому человеку, учить вас, земных клопов, уму-разуму. Приходилось ли вам когда-либо видеть ножницы? В таком случае попрошу вас обратить ваше внимание на следующую штуку!

Матрос работал чрезвычайно поспешно. Из-под кучи мусора, который был навален на лодку еще прошлой осенью, он вытащил пару длинных весел, которые связал вместе лопастями, почти под прямым углом. Когда эта часть работы была закончена, он вырыл две ямы в снегу, почти до самого песка. В месте скрещения обоих весел он повесил две подвижные веревки, из коих одну прикрепил к ледяной глыбе, а конец другой передал Рыжему Биллу.

— А теперь, сынок мой, вы понимаете, что и как надо делать!

К своему непередаваемому ужасу, Джан увидел, как виселица подымается в воздух.

— Нет, нет! — закричал он и сжал кулаки. — Мне это не нравится. Я не хочу, чтобы вы повесили меня! Выходите сюда, вы, головотяпы! Выходите по очереди, и я уложу вас всех поодиночке. Черт возьми, я не согласен! Я сделаю все, что только будет в моих силах, но на виселицу я не пойду. Уж лучше до того я двадцать раз подохну, но на виселице вы не увидите меня!

Матрос предоставил двоим остальным бороться с Джаном, который снова совершенно обезумел. Все свалились на землю, по которой стали неистово кататься и разбрасывать во все стороны снег и землю.

Их невероятные усилия могли бы вдохновить автора на новую трагедию человеческих страстей, разыгрываемую на белоснежном фоне, брошенном природой.

Поминутно из общей кучи в воздух выбрасывалась то нога, то рука Джана, а Лаусон только и ждал этого и немедленно наваливался на предательски высунувшуюся часть тела и крепко стягивал ее веревкой. Воющий, стонущий, царапающий и богохульствующий Джан был наконец побежден, дюйм за дюймом связан по рукам и ногам и поднесен к виселице, которая в ожидании своей жертвы, наподобие неумолимых гигант-

ских ножниц, высилась в воздухе. Рыжий Билл расширил петлю и очень тщательно поместил ее под левым ухом висельника.

Мистер Тэйлор и Лаусон ухватились за подвижную веревку, готовые при первом же слове Рыжего Билла вздернуть Джана, но Билл медлил, с чисто художественным одобрением разглядывая свою работу.

— Господи Боже мой! Да вы взгляните, что там!

Ужас, послышавшийся в голосе Джана, заставил всех остальных остановиться.

Обрушившаяся наземь палатка вдруг приподнялась и, протянув в воздух призрачные руки, точно пьяная, заковыляла в их сторону. Но уже через мгновение Джон Гордон нащупал выход и вышел наружу.

— Черт вас побери, что…

Но слова застряли в его глотке, когда он увидел, что на его глазах происходит.

— Да постойте вы, черти! Постойте! Я не убит! — закричал он и с разгневанным видом бросился к группе людей, готовых совершить злое дело.

— Позвольте мне, мистер Гордон, поздравить вас со счастливым избавлением от неминуемой смерти! — отважился произнести мистер Тэйлор. — Чистая случайность, сэр, чистая слу-

чайность — не больше!

— Да убирайтесь вы с вашей случайностью! Я мог тысячу раз умереть и даже сгнить, а вы даже не позаботились о том, чтобы посмотреть, что со мной! Эх, вы…

И мистер Гордон отвел душу многословным потоком английской брани, составленной преимущественно из решительных, звучных и энергичных фраз, в которых преобладали вводные предложения и красочные прилагательные.

— Пуля только поцарапала меня! — продолжал он, когда нашел, что брани уже достаточно. — Вернее, она пометила меня. Приходилось ли вам когда-нибудь, Тэйлор, метить скот?

— Как же, сэр! В божеских странах я неоднократно делал это.

— Ну так вот! То же самое случилось и со мной. Пуля коснулась кожи на моем затылке. Она задела меня, но никаких серьезных повреждений не причинила. — Он повернулся к связанному человеку. — Ну, Джан, вставай! Я сейчас здорово отколочу тебя, разве только ты, как следует быть, извинишься предо мной. Эй вы, остальные, расступитесь! Дайте нам простору!

— И не подумаю я извиняться пред вами! Вы только освободите меня от веревок, и я покажу

вам! — ответил Джан Нераскаявшийся, в душе которого дьявол все еще не был побежден. — А вот после того, как я справлюсь с вами, Гордон, я возьмусь за каждого из этих болванов в отдельности. Уж я покажу им! Попомнят они меня!

Сила женщины

Полы палатки заколыхались, и внутрь заглянула заиндевевшая волчья голова.

— И! Ги! Чук! Сиваш! Чук, отродье дьявола! — раздались со всех сторон негодующие крики.

Бэттлс со всего размаху ударил собаку оловянной тарелкой, и та тотчас же исчезла. Луи поправил полы палатки и стал после того отогреваться у печки. Вне палатки было очень холодно. Несколько дней назад спиртовой термометр лопнул на 68 градусах ниже нуля, а холод меж тем все продолжал увеличиваться. Трудно было сказать, когда именно кончится страшная стужа.

Разве только боги принудят — в противном случае лучше не отлучаться в такой мороз из палатки и не дышать студеным воздухом. Многие очень часто вовсе не считаются с этим и простужаются насмерть — простужают легкие. Вскоре после того появляется сухой, отрывистый и частый кашель, который усиливается от запаха жарящегося сала. Одним словом, дело кончается тем, что весной или летом в мерзлой земле выжигается яма, куда сбрасывается человеческий труп, покрывается таким же мерзлым мохом и остав-

ляется там навсегда, в несомненной уверенности, что в указанный час мертвец встанет в полной сохранности. Для людей, верующих слабо и сомневающихся в воскресении из мертвых, трудно указать более подходящую страну, чем Клондайк, для того чтобы умереть в ней. Конечно, из этого далеко не следует, что здесь так же хорошо жить, как и умирать.

Вне палатки было очень холодно, но не слишком тепло было и внутри ее. Вокруг единственной печки собрались все обитатели палатки и то и дело спорили за лучшее местечко около нее. Почти половину палатки занимали в беспорядке набросанные сосновые ветки, на которых были разостланы пушистые меха. Остальную часть пола покрывал утоптанный мокасинами снег, и тут же валялись разные горшки, чашки и тому подобные принадлежности арктического лагеря.

Печка была накалена докрасна, но находившаяся в нескольких шагах от нее ледяная глыба выглядела так, точно только что была взята с реки. Давление снаружи заставляло тепло палатки подниматься кверху. В том самом месте потолка, где проходила печная труба, находился маленький круг сухой парусины. Несколько дальше, имея трубу центром, шел большой круг сырой

парусины. Вся же остальная палатка — потолок и стены — была почти на полдюйма покрыта сухим белым кристаллическим инеем.

— Ох… Ох… Ох… — послышались страдальческие стоны молодого человека, спавшего, закутавшись в меха; он оброс бородой, был очень бледен, и у него был болезненный вид. Он не просыпался, а между тем его стоны становились все громче. Тело то и дело вздрагивало и судорожно сжималось, точно вся постель была покрыта крапивой, из которой оно напрасно пыталось освободиться.

— Надо хорошенько растереть его, — сказал Бэттлс.

Тотчас же несколько человек, искренне желавших помочь больному, принялись самым безжалостным образом растирать, мять и щипать его.

— Ах, чертовская дорога, — пробормотал тот едва слышно и, сбросив с себя меха, уселся на постели. — Черт возьми! Ведь чего только я не делал: много ходил, упражнялся в беганье, закалял себя всевозможнейшими способами, и при всем том в этой богопротивной стране я оказался изнеженнейшим из изнеженнейших.

Он подошел к огню, сгорбившись, уселся около

него и вынул папироску.

— Не подумайте, пожалуйста, что я жалуюсь. В конце концов, я всегда, в любую минуту могу взять себя в руки. Мне просто стыдно за себя, вот и все. Я сделал каких-нибудь тридцать миль, а разбит и слаб так, точно какой-нибудь хилый франтик, которому пришлось пройти несколько миль по отвратительному деревенскому шоссе. Вот в том-то и вся штука. Дайте-ка закурить.

— Нечего отчаиваться, молодой человек, — отеческим тоном сказал Бэттлс и протянул горевшую ветку. — Со всеми происходит одно и то же. Вы думаете, что со мною было иначе? Ничего подобного. Господи Боже мой, если бы вы знали, до чего я мерз и коченел. Бывало так, что мне требовалось целых десять минут для того, чтобы приподняться с места и стать на ноги, — так все ныло, трещало и болело во мне. А судороги какие были! Меня прямо-таки сворачивало в узлы, и весь лагерь чуть ли не полдня должен был возиться со мной. На мой взгляд, вы переносите все легче, чем кто-либо из нас. Потерпите, миленький мой, все будет, будет и такое время, когда мы, старички, будем почивать в могиле, а вы будете носиться по этой стране точно так же, как мы теперь. Счастье ваше в том, что вы не жирны и

не склонны к ожирению. Ох, этот жир многих отправил на тот свет раньше времени.

— Вы говорите, жир?

— Вот именно, я говорю про жир. Ничего нет хуже, как отправиться в дорогу с толстяком.

— Вот никогда не слышал.

— Ну вот, а теперь услышали. Имейте в виду, молодой человек, что толщина нисколько не мешает, если требуется непродолжительное, хоть и очень сильное напряжение, но что та же толщина очень мешает, когда нужно длительное и устойчивое усилие. Где стойкость и выносливость, там нет места жиру. Приходилось ли вам видеть, как тощая голодная собака всасывается в кость? Точно так же и нам частенько приходится всасываться в дело и работать долго-долго не покладая рук: в таком случае необходимы худые, жилистые товарищи. Толстяки тут, я так думаю, никуда не годятся.

— Что верно, то верно, — вставил свое слово Луи Савуа. — Я знавал одного человека — толстого-претолстого. Просто буйвол. И вот встретился этот толстяк на Сульфур-Крике с очень худеньким человечком по имени Лон Мак-Фэн. Вы, наверное, знаете этого Лона Мак-Фэна; он — ирландец, небольшого роста, с рыжими волосами.

Встретились они и пошли вместе. Шли они, шли, шли очень долго, днем и ночью. Толстяк очень уставал, часто садился или ложился на снег, а худенький все время подталкивал его и кричал на него, точно на крохотного ребенка. Толкал он его до тех самых пор, пока они не дошли до моей хижины. Тут толстяк как залег спать, так целых три дня не сползал с моей постели. Готов поклясться, что другого такого толстяка я еще не видел. Ну и толстяк, я вам скажу. Уж было действительно в нем жиру, как вы говорите.

— Это, вероятно, был Аксель Гундерсон, — сказал Принс.

А Бэттлс прибавил:

— Правда, Аксель Гундерсон — самый толстый человек, который когда-либо был здесь. Я должен вам сказать, что он — исключение, которое подтверждает правило. А вот взглянули бы вы на его жену, Унгу. Женщина она небольшая, весит всего-навсего фунтов сто с лишним, но на ней только мясо и ни одной лишней унции жиру. Она удивительно вынослива и здорова, а о муже заботится так, как лучше и желать нельзя. Нет ничего такого на земле, над землею или под землею, чего она не достала бы для него.

— Ну что ж... раз человек любит... — заметил

кто-то.

— Ах, да не в этом только дело.

— Послушайте, господа, — сказал Ситка Чарли, который сидел на ящике со съестными припасами. — Вот вы все рассказываете про жир, про толстых людей, про стойкость женщин и про любовь. Рассказываете вы очень хорошо, и я невольно вспомнил про то, что случилось очень давно, много лет назад, когда страна эта была еще совсем-совсем юной и когда человеческие костры были так далеки один от другого, как звезды на небе. Вот тогда-то мне и пришлось повстречаться с одним толстяком и худенькой женщиной. Да, братья мои, женщина она была маленькая, но сердце ее было больше, чем жирное сердце мужчины. Что и говорить, стойкая была женщина! Нам пришлось вместе совершить очень изнурительное путешествие, дойти до самых Соленых Вод. Морозы стояли лютые, снег лежал глубокий, и, ко всему этому, мы голодали. Но любовь в женщине была сильнее всего остального. Не думаю, чтобы что-либо было выше любви.

Он замолчал и начал топором переносить кусочки льда с широкого деревянного обрубка в горшок, в котором оттаивала питьевая вода.

Все уселись поближе к огню, поплотнее, а Чар-

ли, устроившись удобнее прежнего, продолжал:

— Должен сказать, господа, что кровь у меня, как и у всех сивашей, красная, но зато сердце белое. Первым я обязан недостаткам моих предков, вторым — достоинствам моих друзей и товарищей. Еще будучи мальчиком, я узнал великую правду — я узнал, что наша земля отдана вам и что сивашам нечего думать о соперничестве с вами. Олени и медведи обречены на вымирание, та же участь ждет и нас. Узнав и поняв это, я вошел в ваши хижины и приблизился к вашим кострам и, как видите, вполне уподобился вам. На своем веку я видел очень многое, узнал многие странные вещи и, скитаясь по нашей стране, встречался и сталкивался с самыми различными людьми. Я смотрю на все точно так, как и вы. Я знаю людей и сужу о них опять же на ваш манер. Вот почему я думаю, что вы не истолкуете в плохую сторону, если я расскажу кое-что плохое про одного из ваших. И я полагаю, что если я отзовусь с похвалой о ком-нибудь из нашего племени, вы не скажете: «Ситка Чарли — сиваш, глаза его лживы, а речи его недостоверны». Не так ли?

Все в один голос выразили Чарли свое согласие.

— Ну вот. Женщину звали Пассук. Я купил ее

у племени, которое живет на взморье. Мое сердце не рвалось к ней, и мои взгляды не искали ее взглядов. Ее глаза всегда были потуплены; она была робка и боязлива, как вообще все девушки, попавшие в неволю к людям, о которых раньше не имели представления. Итак, говорю, я не думал ухаживать за нею. К тому же я в то время задумал большой переход. Мне требовался человек, который помог бы кормить и гнать собак и грести. Выбор мой пал на Пассук.

Я, кажется, еще не говорил вам, что находился на службе у правительства. Должен вам указать на это. Взяли меня на военное судно вместе с санями, с собаками, с запасами провизии — и вместе с Пассук. Пошли мы на север и дошли до самых льдов Берингова моря, где и сошли: я, Пассук и собаки. Мне дали деньги, карту земель, которых еще никто из нас до сих пор не видел, и тюк. Этот тюк был хорошо упакован и защищен от влияния погоды; я должен был доставить его на китоловное судно, которое было затерто льдами у берегов великой реки Маккензи. Да, велика Маккензи, но все же нет реки больше нашего Юкона — Юкона, отца всех рек.

Однако все это неважно. Рассказ мой не имеет никакого отношения ни к китоловному судну,

ни к зиме, проведенной мною среди льдов Маккензи. Весной, к тому времени, когда дни стали длиннее, а снег кое-где почернел, мы отправились на юг, к Юкону. Тяжело было идти. Как я уже сказал, снег кое-где почернел, но мы при помощи багров и весел шли вверх по течению до самой Сороковой Мили. Зима стояла очень суровая, и нас всех достаточно измучили и мрак, и холод, всего же больше — голод. На каждого человека Компания выдавала только сорок фунтов муки и двадцать фунтов солонины; бобов совсем не было. Собаки днем и ночью выли от голода; люди совсем отощали, а лица их пожелтели и сморщились. Сильные слабели, а слабые умирали. Немало было и цинготных среди нас.

Как-то ночью мы все сошлись у компанейских складов; пустые полки еще сильнее дали почувствовать нам пустоту наших желудков. Мы сидели и тихо разговаривали при свете очага, так как свечи хранили для тех, кому суждено будет прожить до весны.

Беседовали мы до тех пор, пока не решили отправить кого-нибудь из нас на Соленые Воды — пусть, мол, узнают о наших страданиях. Тут взгляды всех остановились на мне: все знали, что я опытный человек. Я им сказал: «До мис-

сии 700 миль. Эту дорогу и всю остальную мне придется сделать на лыжах, так что дайте мне лучших собак и много пищи. Я пойду, а со мной вместе пойдет Пассук».

Все согласились со мною — все, кроме Джеффа, здорового, толстого янки. Говорил он со мною, да и вообще со всеми, уж очень свысока. Послушать его, так он был не менее моего опытен, чуть ли не родился на лыжах и вырос, вскормленный молоком оленьей самки. Он настаивал на том, что должен идти вместе со мной. Я, дескать, могу заболеть, свалиться от усталости, и в таком случае он один доставит куда следует известия о нашем горестном состоянии. Был я тогда очень молод и не знал, что такое янки. Не мог я знать, что в нем говорит только жир и что хитрый янки говорит одно, а думает другое. Одним словом, получили мы лучших собак, лучшую пищу и втроем — Пассук, Джефф и я — отправились в путь-дорогу.

Конечно, большинству из вас приходилось бегать по девственному снегу, работать рулевым шестом и воевать с речным льдом. Поэтому не буду распространяться о трудностях пути и скажу лишь, что в иной день мы делали десять миль, а в иной и все тридцать, но чаще десять. Несмотря на то что мы как будто взяли много пищи, и

хорошей пищи, все же ее оказалось недостаточно. Собаки находились в очень жалком состоянии и неспособны были работать. На Белой реке из трех пар саней осталось уже две пары, а мы прошли только двести миль. Мы старались ничего не терять, и мясо павших собак немедленно попадало в желудки живых.

До самой Пелли мы не видели ни одного человека, ни одного дымка. Я предполагал в Пелли раздобыть кое-какие припасы и, кстати, оставить здесь Джеффа, который не переставал жаловаться на трудности дороги. Однако меня ждало большое разочарование. Местный фактор встретил меня в самом удрученном состоянии духа, указал мне на пустые провизионные склады и на могилу миссионера, обнесенную для защиты от собак высокой каменной оградой.

Тут же я увидел нескольких индейцев. Я обратил внимание на то, что среди них не было ни детей, ни стариков. Ясно было, что и из оставшихся в живых немногие дотянут до весны.

После этого мы с легкими желудками и тяжелым сердцем пошли дальше. От миссии, расположенной у самого моря, нас отделяли пятьсот миль глубокого снега и столь же глубокого, ничем не нарушаемого безмолвия. Ко всему тому при-

соединилась темнота, и в полдень солнце лишь на несколько минут слабым туманным пятном показывалось на горизонте. Однако дорога была лучше прежнего, я немилосердно гнал собак и оставался в дороге возможно большее время.

Я уже говорил о том, что всю дорогу пришлось сделать на лыжах, отчего ноги болели и покрылись незаживающими ранками. Наши муки с каждым днем росли, и дошло до того, что однажды утром, когда мы подвязывали лыжи, Джефф разрыдался, как мальчик. Желая помочь ему, я посадил его на передок более легких саней. Он для собственного удобства снял лыжи, и вследствие неровностей дороги его мокасины оставляли глубокие следы в снегу, куда попадали собаки задних саней.

Я довольно резко указал ему на это, он обещал быть внимательнее, но тотчас же нарушил свое слово. Не стерпев, я ударил его кнутом, и после того дело пошло на лад: собаки больше не проваливались. Раз дело касалось физических страданий или жира, Джефф был сущим ребенком.

В то время как Джефф лежал у огня и стонал, Пассук готовила пищу, по утрам помогала мне запрягать собак, а вечером — распрягать их.

Она с необыкновенным вниманием следила за собаками, и этим, а также и многим другим оказывала мне в пути неоценимую помощь. В простоте душевной я считал, что она обязана все это делать, и никогда не задумывался над причинами ее усердия. У меня было много других забот, — к тому же я был слишком молод и мало понимал женщин. Лишь впоследствии я стал кое-что понимать.

А тем временем Джефф вел себя недостойным образом. Собаки находились в самом жалком состоянии, а он пользовался каждым подходящим для себя случаем и присаживался на задок саней. Пассук вызвалась следить за одной парой саней — таким образом, его совсем освободили от каких-либо обязанностей. Утром того же дня я выдал ему причитающуюся на его долю пищу и вынудил его пойти вперед. Мы с Пассук занялись упряжкой собак и значительно позже его двинулись в путь; тем не менее приблизительно в полдень, когда на горизонте показалось солнце, мы обогнали его. Мы заметили замерзшие слезы на его щеках — и все же пошли дальше, мимо него.

Остановившись на ночь, мы приготовили для него пищу и приготовили ему постель; желая

указать наше местопребывание, мы развели большой костер. Джефф пришел к нам лишь через несколько часов, пришел, прихрамывая, и тотчас же набросился на пищу, затем с бесконечными стонами вытянулся на постели и заснул. Не подумайте, что он был болен, ничего подобного; он просто с трудом переносил тяготы дороги, очень скоро уставал и страдал от неудовлетворенного голода. Но уверяю вас, что мы с Пассук уставали нисколько не меньше его, ведь на наших плечах лежали все обязанности и труды. Главная и единственная беда была в том, что он был чересчур жирен… Он ровно ничего не делал, но мы честно делились с ним провизией.

Как-то мы набрели в Стране Безмолвия на две странствующие человеческие тени. Это были белые — мужчина и мальчик. Каждый из них имел по одеялу, на котором спал по ночам. У них были небольшие запасы муки, которую они разбавляли водой и пили. Взрослый мужчина сказал мне, что у них осталось только восемь маленьких мерок муки, между тем до Пелли оставалось не меньше двухсот верст. Он добавил, что следом за ними идет индеец, который, несмотря на получаемый от них ежедневный паек, вдруг начал отставать. Я не поверил им, зная по опыту, что индеец не

отстал бы, получай он ежедневный паек, и я не дал им из своих припасов. Они пытались было стащить самую жирную (и, однако, невыразимо худую) собаку, но я пригрозил им револьвером и приказал убраться подобру-поздорову. Они повиновались и, пошатываясь, точно пьяные, пошли дальше по Стране Великого Безмолвия, по направлению к Пелли.

К тому времени у нас остались лишь три собаки и одна пара саней. На собак было больно смотреть: кожа да кости. Известное дело: если мало дров — огонь хилый, и в хижине холодно. Нам это было слишком понятно. Провизии осталось совсем мало, и вследствие этого холод давал себя сильнее чувствовать; мы все до того почернели, что нас, пожалуй, не узнала бы родная мать. Всего больше мучили нас ноги. Я лично по утрам всегда обливался потом от мучительных усилий сдержаться и не закричать от боли. Пассук же по-прежнему шла впереди нас и за все время не издала ни единого стона. А попутчик наш, мужчина, стонал, а временами даже вопил.

На Тридцатой Миле течение отличается большой быстротой, и вот почему там всегда очень много полыней и трещин. Как-то случилось, что он вышел раньше нас и отдыхал, когда мы

подходили к нему. Оказалось, однако, что между нами — полынья, которую он успел раньше обойти. Обходя, он так расширил полынью, что для нас оказалось совершенно невозможным перейти через нее. Нам оставалось одно: найти ледяные мостки, что мы и сделали. Перебросили мы это через полынью ледяной мостик, и Пассук, как более легкая, пошла первая; на всякий случай она взяла с собой длинный шест, который держала поперек; но, будучи очень легкой, она без всяких усилий, не сняв даже лыж, перешла через полынью. Очутившись на той стороне, она сделала попытку перетащить собак, но у тех не было ни шестов, ни лыж, и они были унесены быстрым течением. Я сделал все, что от меня зависело, и поддерживал сани до тех самых пор, пока хватило сил. Конечно, корму в них осталось совсем мало, но все же можно было предполагать, что на неделю хватит. Как бы там ни было, собаки погибли в быстром течении.

На следующее утро я разделил весь жалкий остаток провизии на три равные части, отдал Джеффу его часть и сказал ему, что теперь он может поступать как ему заблагорассудится. Саней и поклажи, дескать, у нас уже нет, и мы пойдем вперед легко и быстро. Но он принял обиженный

тон и заговорил с нами совсем не по-товарищески и уж совсем не так, как мы того заслуживали. Он стал жаловаться на боль в ногах, но ведь у нас с Пассук ноги-то не меньше болели. С собаками кто, как не мы, возились? Он вдруг самым решительным образом заявил, что скорее умрет на месте, чем сделает хоть один шаг дальше. Тут Пассук недолго думая взяла свои меха, я — горшок и топор, и мы двинулись было дальше, но Пассук вдруг взглянула на паек Джеффа и сказала:

— Стоит ли бросать на ветер столько пищи?

Я молчал и только повел головой. Для меня товарищ всегда останется товарищем.

Тут Пассук заговорила о всех тех, кто остался на Сороковой Миле, указала мне на то, что среди них есть очень много людей, гораздо более достойных, чем наш попутчик, и напомнила, что все возложили на меня свои последние надежды… Видя, что я по-прежнему молчу, она быстро выхватила из-за моего пояса револьвер, и, как говорится, Джефф преждевременно отправился к праотцам.

Я стал упрекать Пассук, но в данном случае мои слова не оказали на нее ни малейшего действия, и она даже не подумала раскаяться в своем поступке. В глубине души я сознавал, что она,

безусловно, права.

Чарли замолчал и снова стал бросать кусочки льда в горшок с питьевой водой.

Все молчали, и время от времени по их спинам пробегала дрожь от непрестанного воя продрогших на морозе и сетующих на свою судьбу собак.

Чарли продолжал свой рассказ:

— Пошли дни за днями, а мы с Пассук, подобно двум слабым теням, пробирались по беспредельной снежной равнине. Всего не расскажешь… Одним словом, стали мы приближаться к Соленым Водам и там только набрели на индейца, который также, подобно тени, плелся по направлению к Пелли.

Я, конечно, не ошибся, предположив, что белые мужчина и мальчик нечестно делились с ним. Оказалось, что они оставили ему провизии едва-едва на три дня. Покончив с мукой, он стал кормиться мокасинами, но и от мокасин осталось уже немного. Индеец был со взморья и обо всем рассказал Пассук, которая понимала и говорила на его языке.

Он до сих пор не бывал на Юконе, совсем не знал дороги и направлялся к Пелли.

— Далеко ли до Пелли? Две ночевки? Может быть, десять? Сто?

Он ничего не знал, кроме того, что идет на Пелли. Возвращаться на родину было невозможно, и оставалось одно: идти вперед.

Он не затрагивал вопроса о пище, так как видел, что и мы нуждаемся. Когда Пассук смотрела на меня и индейца, она напоминала мне птичью самку, чувствующую, что весь ее выводок в смертельной опасности. Я сказал ей следующее:

— Этого человека обманули, и поэтому я дам ему из наших запасов.

Мне на одно мгновение почудилась в ее глазах радость, но вдруг она нахмурилась и долго не отводила взора от меня и индейца. Наконец она сказала следующее:

— Нет. До Соленых Вод далеко, а смерть подстерегает нас. Лучше будет, если эта смерть заберет чужого человека и пощадит моего Чарли.

Мы не помогли бедняку, который пошел своей дорогой. А Пассук всю ночь проплакала, и я впервые видел ее плачущей.

«Нет, — подумал я, — тут что-то есть… Не станет она без причины плакать. Нет дыма без огня». Я решил, что она расстроилась под влиянием дорожных бедствий.

Странная, очень странная штука — жизнь. Много я думал об этом, а все же ни к чему не при-

шел. Чем больше думаю, тем меньше понимаю. И откуда только берется это странное желание жить — жить во что бы то ни стало? В конце концов, что такое жизнь? Обыкновенная игра, с той лишь особенностью, что в ней никто никогда не выигрывает. Жить — это много работать и так же много страдать, страдать до тех самых пор, пока не подберется противная старость и не бросит нас на холодный пепел потухшего костра. Нет, что там ни говори, а жизнь — тяжелая штука!.. В страдании человек родится, в страдании же испускает последний вздох свой, и все дни и все часы его исполнены горести и мук. Странное дело: вот смерть уже распахнула свои объятия, а бедный человек все еще борется, все еще, обратив взор назад, рвется к жизни. А ведь сама-то смерть приятна! Скверно только одно: жизнь и все живое.

И при всем том мы страстно любим жизнь и ненавидим смерть. Странно, очень странно!

Днем, в пути, мы почти не разговаривали с Пассук, к вечеру же мы так уставали, что как мертвые валились на землю… А утром, чуть свет, уже снова были на ногах и продолжали свой путь. Мы плелись, точно какие-то мертвецы, и все вокруг нас было так же мертво. На своем пути

мы не встречали ни единого живого существа: ни птички, ни белки, ни кролика… Застыла река и в своих белоснежных покровах не издавала ни единого звука.

В деревьях застыл сок. Было холодно точно так же, как теперь. Звезды стояли совсем-совсем над головой и, большие-пребольшие, прыгали и танцевали в воздухе. Днем в небе стояло северное сияние. Тогда чудилось много солнц — солнца были повсюду, куда ни взглянешь. Воздух сверкал и переливался, как драгоценные камни, а снег был словно алмазная пыль. Повторяю, мы были не то как мертвые, не то как пьяные и совсем забыли о том, что такое время.

Одна мысль была у нас: достичь Соленых Вод. Туда были направлены наши глаза, туда стремились наши души, туда плелись наши ноги.

Мы отдыхали около Тэхкина и совершенно не заметили этого; мы смотрели на Белого Коня, но не видели его; мы ступали по неровной почве Великого Ущелья, но не чувствовали этого. Мы ничего не видели и не чувствовали. Дошло до того, что, часто падая от усталости на землю, мы чисто инстинктивно обращались лицом к тем же Соленым Водам. Наши запасы подходили к концу, но мы продолжали делиться поровну. Пассук

чувствовала себя очень плохо, а у Карибу-Кроссинг она совсем ослабела.

На следующее утро мы уже не пошли дальше, а лежали на земле под одним одеялом. Эта дорога многому научила меня: я стал понимать женскую душу и ценить женскую любовь, вот почему я решил остаться на месте и рука об руку с Пассук встретить смерть.

Это случилось в восьмидесяти милях от миссии, и мы могли видеть Чилкут, высоко над лесом несущий свою гордую, открытую ветрам главу.

Только теперь заговорила Пассук. Она говорила со мной, почти касаясь губами моего уха. Теперь ей уже не был страшен мой гнев, и она стала раскрывать передо мной свою душу — рассказывать о своей любви и о многом другом, чего я тогда не понимал.

Она говорила так:

— Чарли, я была хорошей женой своему мужу, а мужем моим был ты. Я раскладывала для тебя огонь, варила пищу, кормила твоих собак, вместе с тобой работала веслами — и никогда ни на что не жаловалась. Я ни разу не сказала, что в доме моего отца теплее и лучше, чем под одним одеялом с тобой, не говорила я и того, что в Чилкуте я ела больше, чем теперь. Когда ты

говорил, я слушала и не пропускала ни слова. Когда ты приказывал, я повиновалась. Ведь это так, Чарли?

И я неизменно отвечал:

— Да, это так…

Она продолжала:

— Когда ты в первый раз пришел в Чилкут, ты, даже не взглянув на меня, купил меня — так, как другие покупают собаку. Купил и увез. И тогда сердце мое восстало против тебя и наполнилось болью и страхом. Но это было очень давно. С тех пор ты совсем изменил свое отношение ко мне. Последнее время ты любил меня так, как добрый хозяин любит свою собаку. Правда, твое сердце оставалось холодным по-прежнему, и в нем не было места для меня, но все же я не могу жаловаться: ты был и оставался справедлив ко мне. Я повсюду следовала за тобой, и ничто — ни опасность, ни страх — не остановило меня. Я всегда сравнивала тебя с другими мужчинами и видела, что ты не похож на них, ибо ты честен, как ни один из них, — ибо слова твои разумны и вески, а язык правдив. И мало-помалу я стала гордиться тобой — и мое сердце рвалось только к тебе, и мои мысли были только о тебе. Ты был для меня как солнце в середине лета, как золотое летнее солн-

це, которое день и ночь остается на небе. И куда бы я ни смотрела, я видела мое солнце — я видела тебя… Но, Чарли, твое сердце было и оставалось холодно, и не было в нем местечка для меня.

Тогда я ей сказал следующие слова:

— Это все верно, что ты только что мне сказала. Сердце мое было холодно, и не было в нем места для тебя. Но это было и прошло. Теперь мое сердце подобно снегу, падающему весной, тогда, когда к нам снова возвращается солнце. Тогда все тает, тогда шумит и бурлит вода, распускаются деревья, и зеленеют травы. Весной кричат и поют птицы; все поет и радуется тому, что уходит зима. Теперь, Пассук, все пойдет по-иному, потому что я узнал женщину и любовь.

Она просияла и еще больше склонилась ко мне, желая, чтобы я прижал ее к своему сердцу. Она тихо сказала:

— Я так рада.

И после того долго лежала почти без всякого движения, опустив голову на мою грудь. Через некоторое время она произнесла:

— Я очень устала и плохо себя чувствую, но все же хочу кое-что рассказать тебе. Это было давно, я была девочкой и жила в Чилкуте. Я играла одна в комнате, заваленной кожами. Дома никого не

было: мужчины ушли на охоту, а женщины и дети помогали им свозить мясо. Вдруг в мою комнату заглянул огромнейший бурый медведь и словно вздохнул. Очевидно, он только что проснулся от зимней спячки и был очень голоден; отощал он до того, что шерсть положительно клочьями висела на нем. В это время мой брат только что вернулся с охоты; увидев зверя, он бросился на него с горящей головней, а собаки тем временем, еще не освободившись от упряжи, напали на медведя сзади. Поднялся ужасный шум. Все кожи были разбросаны по комнате, в борьбе разбили и разломали все в хижине и чуть не опрокинули и самую хижину. В конце концов брат убил медведя, но на его лице медвежьи когти оставили немало следов. Разглядел ли ты того человека, который недавно повстречался нам? Обратил ли ты внимание на его рукавицы и руки? Чарли, это был мой брат. И я все же сказала, что ему не надо давать пищи, и он пошел своей дорогой, в Страну Безмолвия, без пищи.

Так вот, друзья мои, какова была любовь Пассук, умершей на снегу близ Карибу-Кроссинг. Она любила той любовью, выше которой ничего на свете нет, и братом пожертвовала ради человека, поведшего ее на муки и смерть. Перед смертью,

за минуту до того, как закрылись ее глаза, она взяла своими холодеющими руками мою руку и просунула ее под свою шубку, до самой поясницы. Я нащупал что-то очень твердое и понял тогда, что все время она съедала лишь половину своего ежедневного пайка, а остальную половину сохраняла — очевидно, имея в виду меня.

Она сказала мне:

— Дорога Пассук здесь кончилась, а тебе, Чарли, идти дальше. Твой путь лежит на Чилкут, к Хэнс-миссии и дальше, к самому морю. Но ты пойдешь еще дальше — ты пройдешь много неизвестных земель, переплывешь очень много рек, и все годы твои — вся жизнь — будут полны почестей и славы. А в великом пути своем ты пройдешь мимо многих очень хороших женщин, но ни одна из них не даст тебе больше любви, чем дала и могла бы тебе еще дать Пассук.

Я прекрасно знал, что эта женщина говорит чистейшую правду, но один Бог знает, что за безумие вдруг овладело мною. Отшвырнув от себя туго набитый мешок, я начал клясться, что не сделаю ни шага дальше и умру вместе с Пассук.

Ее ослабевшие глаза ласково, с благодарностью взглянули на меня и наполнились слезами. Она прошептала:

— Ситка Чарли всегда был честнейшим из людей и никогда не нарушал своего слова. Он должен сам знать это и не терять напрасно слов здесь, откуда так близко к Карибу-Кроссинг. Значит, он опять забыл про несчастных жителей Сороковой Мили, которые дали ему часть из последних своих запасов, с тем чтобы он пошел куда следует и рассказал о том, что следует. Пассук всегда гордилась своим мужем, пусть же он встанет, привяжет к ногам лыжи и пойдет своей дорогой, тогда Пассук спокойно умрет. Гордость ее не будет попрана.

Когда она похолодела в моих объятиях, я похоронил ее, подобрал мешок с провизией, подвязал лыжи и, собрав последние силы, пошел дальше. У меня подкашивались ноги, глаза ничего не видели, голова кружилась самым ужасным образом, а в ушах стоял невообразимый шум.

Я продолжал свой путь, и все время мне казалось, что со мной рядом, поддерживая меня, идет Пассук. Когда я без сил падал на холодный снег и засыпал, она будила меня и выводила на правильную дорогу. Только она спасла меня.

И в полубезумном состоянии, преследуемый кошмарными видениями, шатаясь как пьяный, я добрался до Хэнс-миссии, что лежит у моря…

Чарли отбросил полотно палатки.

Уже был полдень. Роняя холодный, скупой свет на Гендерсон, на горизонте стоял солнечный диск, а по обе стороны его играло северное сияние. В воздухе сверкал иней. Почти у самой хижины, подняв к небу длинную морду, выла собака с ощетинившейся заиндевевшей шерстью.

Там, где расходятся дороги

Ах, значит, я должен уехать отсюда, А ты, моя радость, останешься здесь!

(Народная песня)

Лицо певца поражало своим невинным, ясным выражением. Глаза его смотрели открыто и весело. Он подался вперед, добавил воды в котелок с варившимися бобами, затем взял горящую головню из костра и стал ею отгонять собак, теснившихся вокруг ящика со съестными припасами. У него были голубые глаза, длинные, золотистого оттенка волосы и привлекательное лицо.

Сгрудившиеся сосны словно снеговыми шапками окружали стоянку и отделяли ее от всего остального мира. Над соснами поднимался молодой месяц, и едва-едва намечался его рог. В небе было ясно, и звезды переливались многоцветными огнями. Зеленовато-белые полосы возвещали скорый расцвет северного сияния на юго-востоке.

На медвежьей шкуре, заменявшей постель, лежали двое мужчин. Между мехом и снегом на-

ходились сосновые ветви. Одеяла были скатаны. Для защиты от ветра и холода за спинами людей находился навес — кусок полотна, натянутый между двумя деревьями под углом в 45 градусов. Кроме того, что навес препятствовал дуновению ветра, он задерживал еще тепло костра и отражал его вниз, на медвежью шкуру.

Третий мужчина, почти вплотную придвинувшись к огню и к свету, сидел на санях и чинил мокасины. Куча мерзлого песку справа указывала то место, где люди работали ежедневно с утра до вечера в поисках золотоносного песка. Слева стояли четыре пары лыж, говоривших о способе передвижения, которым пользовались золотоискатели.

Как-то странно и вместе с тем трогательно звучала песня под студеным северным небом. Однако она не способствовала настроению людей, смертельно уставших за целый день и присевших отдохнуть к огню. Напротив, она создала тоску в сердце, она вызвала какое-то особое поющее чувство, несколько напоминающее физический голод. И это чувство уносило их беспокойные мысли далеко на юг, уносило через безграничное снежное пространство в страны, где всегда так много тепла и света.

— Зигмунд, да перестаньте вы петь! — взмолился один из его товарищей.

Он судорожно, со страдальческим видом сжал руки, но никто не видел этого, так как он скрыл руки в складках медвежьей шкуры.

— А почему, Дэв Уэрц, мне не петь? — спросил Зигмунд. — Почему мне не петь, раз мне весело?

— Какое там веселье! У вас нет для этого ровно никакого повода, так что и петь не стоит. Господи Боже мой, да оглянитесь вокруг себя, подумайте о той отвратительной пище, которой мы уже целый год засоряем наши желудки. Подумайте о том, что мы живем, как скоты, и работаем, как скоты.

Золотоволосый Зигмунд умолк, оглянулся вокруг и увидел заиндевевших собак и морозный пар, выдыхаемый людьми и животными.

— А все-таки не понимаю, почему мне не может быть весело! — сказал он и рассмеялся. — Тут все хорошо; мне нравится. Что же до пищи… — Он с видимым удовольствием пощупал свои напрягавшиеся мускулы. — Может быть, и правда, что мы и живем и работаем, как скоты, но зато мы зарабатываем по-царски. Ведь каждое ведерко дает нам не меньше двадцати долларов. Чем здесь не Клондайк? И вы это прекрасно знаете.

Это знает и Джим Хевс — знает и молчит. Молчит и Хичкок. Точно старуха, чинит он мокасины и терпеливо ждет своего времени. Только вы бунтуете и никак не можете дождаться весны. Вот постойте: придет весна, и все мы будем богаче иного короля. Ну чего торопиться? Конечно, вам хочется как можно скорее вернуться в Штаты, а разве мне этого не хочется? И мне хочется, и вам хочется, и всем нам хочется, да только надо выждать, а ждать нетрудно, когда видишь, как с каждым днем растет у тебя золото — золото желтое и светлое, как масло. Вы, Дэв, положительно как ребенок! По-моему, надо ждать, а пока что — петь. Я и пою:

Только год промчится, и лоза созреет,
Я вернусь, любовь моя, сюда,
Если верным твое сердце будет,
Ты моею станешь навсегда.
Только год промчится, и минует время,
Я вернусь, красавица, домой.
Если и тогда ты верной будешь,
Мы сыграем свадебку с тобой.

Волкоподобные собаки, ощетинив шерсть,

рыча и воя, все ближе теснились к теплу. Послышался шум, подобный шуму при просеивании мелкого сахара. Зигмунд, поняв, что кто-то подходит на лыжах, оборвал песнь и снова бросил в собак горящей головней.

В полосе света, отбрасываемой костром, появилась индеанка, закутанная в меха. Она отбросила лыжи, откинула головной покров из беличьих шкурок, расстегнула парку и подошла ближе к огню. Зигмунд и остальные тепло приветствовали ее, а Хичкок немного подвинулся и предложил девушке сесть рядом с ним.

— Что слышно, Сипсу? — спросил он на чинукском наречии. — Я слышал, будто у вас голодают. А что говорит колдун? Чем он объясняет плохую охоту и отсутствие оленей?

— Да, охота в этом году плохая, и мы думаем кормиться собаками. Наш колдун нашел причину несчастья и завтра принесет очистительную жертву.

— А кого же он принесет в жертву? Вероятно, младенца или какого-нибудь выжившего из ума старика, который живет в тягость и себе и всем вам?

— Нет, на этот раз ты ошибся. Нужда у нас большая — жертва нужна большая. Колдун решил

принести в жертву не кого иного, как дочь вождя — меня.

— Господи! — с усилием воскликнул Хичкок.

Видно было по всему, что сообщение девушки чрезвычайно поразило его.

— Мы с вами стоим там, где расходятся дороги, — спокойно произнесла девушка. — Мы живем очень близко друг от друга, и вот я пришла в последний раз взглянуть на вас.

Она была первобытным существом, и сообразно этому были примитивны ее взгляды и привычки. Она смотрела очень просто на жизнь, и в ее глазах приношение в жертву человека было в обычном порядке вещей. Силы — те силы, которые управляют светом и тьмой, теплом и холодом, расцветом и увяданием, — разгневались. Их нужно умилостивить. Об этом желании богов говорило многое: и смерть в воде под подломившимся льдом, и гибель в лапах у медведя, и смертельная болезнь, постигавшая человека в его жилище. Сначала появлялся сухой частый кашель, а затем жизнь из легких уходила через рот и нос. Вот каким образом боги выражали свой гнев, а через колдунов давали знать о своей воле. Колдуны же мудры и всегда поступают безошибочно. Все на свете просто и понятно. В конце

концов — смерть!

Все дело лишь в том, что смерть эта не всегда приходит одним и тем же путем. Но происходит смерть от одного и того же — от всесильного и непостижимого.

Но Хичкок был более культурным человеком, чем Сипсу; он не признавал подавляющей силы авторитета и сказал следующее:

— Нет, Сипсу, это никуда не годится. Ты молода и еще не жила. Ваш колдун глуп, если он мог сделать такой ужасный выбор. Этого не будет!

Девушка спокойно улыбнулась и так же спокойно ответила:

— Жизнь многим нехороша. Плоха она тем, что одних людей она создала белыми, а других — красными. Нехороша и тем, что скрестила наши пути, поставила нас рядом, а теперь снова разделяет. Что мы можем поделать? Раньше, бывало, вот в такие самые голодные дни, как теперь, к нам заходили ваши братья — белые. Их было три человека, и они, подобно вам, заявляли, что этого не будет. Пока они были, этого не было. Но они умерли, и все у нас пошло по-прежнему.

Хичкок покачал головой, повернулся к товарищам и сказал:

— Вы слышали, господа, что рассказала Сипсу?

Ведь индейцы собираются принести ее в жертву. Что вы скажете?

Уэрц и Хевс взглянули друг на друга, но ничего не сказали. Зигмунд сидел, склонив голову, и ласкал собаку, прилегшую у его ног; он привез эту собаку из дальних стран, очень любил ее и уделял ей много внимания. Та девушка, о которой он часто думал и часто вспоминал, портрет которой висел на его груди и любовь которой давала ему силы в самые тяжелые минуты, подарила ему эту собаку — ее последнее прости перед отъездом его на Далекий Север.

— Ну, что скажете? — повторил Хичкок.

— Может быть, это не совсем так, — задумчиво произнес Хевс. — Очень может быть, что это басня, — ничего больше!

— Оставьте!

Такое явное равнодушие к судьбе человека стало выводить его из себя.

— Но что вы намерены делать, если это окажется не басней, а действительностью?

— Я лично не вижу никакого повода для нашего вмешательства, — сказал Уэрц. — Раз они решили, они и должны сделать по-своему. У них этот обычай существовал еще до нас, и, может быть, на этом основана вся их религиозная жизнь. Нас

это нисколько не касается. У нас одно дело: добывать золото, добыть его в нужном количестве, а затем уехать из этой Богом проклятой страны. Кроме зверей, здесь никто жить не может, кроме зверей и этих дьяволов. Но чем эти дьяволы лучше зверей? Помните, господа, что самая опасная штука на свете — глупость!

— Вот с этим я вполне согласен! — воскликнул Хевс. — Здесь нас только четверо, и мы находимся на расстоянии трехсот миль от Юкона, то есть от наших. Что мы можем поделать с полусотней дикарей? Убеждения наши не помогут. Если мы затеем ссору, они укокошат нас. И чего ради нам беспокоиться? Золото здесь есть, собирать его можно без помехи — и слава Богу! Я вполне согласен с Дэвом.

— Ну конечно! — сказал Дэв Уэрц.

Хичкок с возмущенным видом повернулся к Зигмунду, который продолжал тихонько напевать:

Только год промчится, и лоза созреет,
Я вернусь, любовь моя, сюда.

— Что ж, Хичкок, — произнес он наконец, — я согласен с ними. Что мы можем поделать, если на нас нападут пятьдесят дьяволов? Один друж-

ный натиск с их стороны — и капут нам! Какая польза от этого? Девушке все равно не миновать смерти. Я понимаю — бороться с ними, если вы чувствуете за собой силу… А так!..

— Сила есть! — прервал его Хичкок. — Четверо белых во сто раз сильнее четверых красных. Подумайте же о девушке.

Зигмунд продолжал гладить собаку.

— Вот именно, я и думаю о девушке. У этой девушки голубые, как летнее небо, глаза. Ее смех звучит, как летняя волна; у нее такие же золотые волосы, как и у меня; а косы толщиной с мою руку. Она живет очень далеко отсюда, в теплой, мягкой стране — и ждет меня. Она ждет так долго, что я не имею права бросить работу теперь, когда набрал уже так много золота.

— А вот мне было бы страшно и стыдно смотреть в голубые глаза, раз я знаю, что из-за меня погибли черные глаза.

Хичкок произнес это с явной насмешкой. Он всегда был способен к подвигу, любил дело ради дела, независимо от того, какую пользу он лично извлечет из него.

Зигмунд с суровым выражением покачал головой.

— Напрасно, Хичкок, вы стали бы убеждать

меня. Я еще не сошел с ума. Следует считаться и с совестью, и с фактом. Факт таков, что я не попусту приехал в эту варварскую страну. С другой же стороны, я держусь того мнения, что не стоит затевать скандал. Конечно, жаль девушку, но необходимо также считаться с народной традицией. Мы чисто случайно попали сюда именно в это время. Поймите же, что они точно так же приносили в жертву людей много тысяч лет назад, теперь так поступают и вряд ли когда-либо откажутся от этого. Я не понимаю, зачем вам волноваться, раз мы с ними разных рас. Вы извините, Хичкок, но я вполне согласен с Уэрцем и Хевсом.

Собаки насторожились и зарычали. Зигмунд замолчал и стал прислушиваться.

Один за другим появлялись индейцы — высокие, страшные, безмолвные и похожие на тени в мехах. Вдруг послышались резкие, гортанные звуки: это колдун заговорил с Сипсу. Его лицо было причудливо раскрашено, а с плеч свисала волчья шкура с оскаленными клыками и свирепой мордой.

Между белыми и красными еще не было произнесено ни слова. Обе стороны, видимо, старались сохранить мир. Сипсу незаметно подошла к своим лыжам.

— Прощайте, Хичкок, — сказала девушка; но тот молчал и даже не кивнул головой.

В отличие от всех белых, являвшихся на Север, Хичкок никогда не стремился к любовным утехам у местных женщин. Сипсу? Да, он с большим удовольствием встречался с нею, болтал у костра, но делал это не как мужчина, который ясно сознает, что он — мужчина, а она — женщина. Точно так взрослый болтает с ребенком. Подобно ему поступил бы всякий другой человек, пожелавший рассеять однообразие унылого, серого существования. Это было все, или почти все, ибо сюда примешивались и чисто рыцарские побуждения. Правда, он был американец, но при всем том его душа возмущалась против той участи, которая ожидала невинную индеанку.

Он сидел совершенно молча, сидел, подавшись вперед, и мгновениями казался живым олицетворением стихийной силы — такой же великой, как и его раса. Он прислушивался к тому, что происходит в нем.

Уэрц и Хевс время от времени с виноватым выражением поглядывали на него. Та же видимая неловкость чувствовалась в поведении Зигмунда. Хичкок производил впечатление большой непоколебимой силы, и в существовании этой

силы его товарищи неоднократно убеждались во многих случаях их совместной жизни. Вот почему они с известным любопытством и с нескрываемым беспокойством следили за ним.

Напряженное молчание продолжалось очень долго. Уже почти потух костер, когда Уэрц зевнул, стал потягиваться и наконец заявил, что пора спать. Тут Хичкок встал.

— Вы — трусы, и я не хочу больше знать вас.

Он говорил очень тихо, почти спокойно, но в каждом его слове звучала сила.

— Я предлагаю делиться! — продолжал он. — Сделаем это так, как будет наиболее выгодно для вас. Согласно нашим условиям, я имею право на четвертую часть — значит, на мою долю приходится 25–30 унций золота. Дайте весы, и мы сейчас же займемся дележкой. Зигмунд тем временем отмерит мне четвертую часть провизии. Кроме того, на мою долю приходится четыре собаки, но мне мало будет четырех, и вот почему я предлагаю вам часть своих рабочих принадлежностей за лишних собак. Если вы хотите, то, кроме этого, могу дать вам шесть-семь унций золота. Согласны?

Зигмунд, Уэрц и Хевс отошли в сторону и стали совещаться. По истечении некоторого времени

выступил Зигмунд и сказал:

— Хичкок, раздел мы произведем вполне правильно и честно; нас здесь четыре человека, и каждый из нас имеет право на четвертую часть — ни больше ни меньше. Конечно, это зависит от вас — взять свое или оставить. Опять же, больше четырех собак мы не можем дать, так как сами очень нуждаемся в них. Если вы хотите оставить здесь ваши рудничные принадлежности, оставляйте. Одним словом, поступайте так, как вам захочется.

— Правильно, и комар носа не подточит, — с усмешкой произнес Хичкок. — Ну что ж: пусть будет так! Согласен. Я очень тороплюсь и не намерен тащить с собой всякую дрянь.

Тут же на месте и без дальнейших слов приступили к дележу; после того Хичкок уложил все свои скудные пожитки, прикрепил их к задку саней и запряг своих четырех собак. К своим рабочим инструментам он и не прикасался, но вместо того с некоторым вызывающим видом бросил в сани с полдюжины постромок. Однако товарищи не воспротивились этому; они лишь пожали плечами и следили за Хичкоком до тех пор, пока он не скрылся из виду.

Человек полз по снегу на четвереньках. По обе

стороны неясно вырисовывались очертания хижин. Время от времени доносился жалобный вой собак. Вдруг к ползущему человеку совсем близко подошла собака, но, казалось, он не обратил на нее никакого внимания. Тогда собака подошла еще ближе и потянула воздух. Лишь тогда, когда она коснулась мордой человека, последний подался вперед и схватил собаку за горло. Та замертво упала на землю, а Хичкок пополз дальше.

Таким образом добравшись до юрты начальника лагеря, Хичкок долго лежал снаружи, чутко прислушиваясь ко всему тому, что происходит внутри палатки, и старался определить, где находится Сипсу. Судя по шуму и возбужденным голосам, можно было понять, что в хижине собралось много народу.

Услышав, наконец, знакомый голос девушки, Хичкок по-прежнему бесшумно пополз дальше и остановился там, где как раз напротив него за оленьей шкурой находилась Сипсу. Выждав некоторое время, он стал рыть яму в снегу и после того просунул голову внутрь палатки. Как только внутреннее тепло коснулось его лица, он замер без движения.

Большая часть его тела осталась снаружи; он не решался поднять голову, ничего не видел и

только по запаху мог определить, что близ него находится груда кож. Желая убедиться в этом, он протянул вперед руку и нащупал кожи. С другой стороны он почувствовал прикосновение меховой одежды.

«Вероятно, это Сипсу», — подумал Хичкок.

Он решился на риск. Несколько поодаль горячо спорили начальник и колдун, а еще дальше, в углу, жалобно хныкал голодный ребенок. Хичкок медленно и осторожно поднял голову и слегка коснулся меховой одежды. Он стал прислушиваться к дыханию и тотчас же определил, что это дышит женщина. Тогда он осторожно, но довольно сильно нажал мех и почувствовал, как под его прикосновением вздрогнуло женское тело. Он выждал, пока трепетная рука не спустилась вниз и не коснулась его волос. Спустя мгновение женская рука уже проводила по его лицу, и его глаза встретились с глазами Сипсу.

Она ни на секунду не переставала владеть собой; словно случайно переменив позу, она облокотилась на груду шкур и стала приводить в порядок свою парку.

Таким образом она незаметно скрыла его. Несколько выждав, она опять, будто случайно, склонилась над ним, и ухо ее слегка прижалось

к губам Хичкока.

Он шепнул:

— Воспользуйся первой удобной минутой, выйди из дому и иди по снегу до той группы сосен, которая стоит на изгибе реки. Там я буду ждать тебя; там стоят мои сани. Сегодня ночью мы уедем на Юкон. Постарайся захватить с собою собак.

Сипсу, словно не веря всему тому, что должно было случиться, несколько раз покачала головой, но при этом радостно заблестели ее глаза. Она открыто гордилась тем вниманием, которое ей выражал белый человек. Дочь своего племени, она не знала, как можно ослушаться мужчину, — и вот почему, когда Хичкок повелительным тоном повторил: «Я буду ждать тебя», — она ничего не сказала, но Хичкок знал, что она исполнит его приказание.

— Не забудь же про собак, — сказал он в последнюю минуту. — Я жду тебя. Старайся не терять лишнего времени. Мрак скоро сменится светом, а ради тебя заря завтра не задержится.

Спустя полчаса Хичкок ждал возле саней Сипсу и, желая согреться, топал ногами и размахивал во все стороны руками. Вдруг он увидел Сипсу, которая вела с собой двух собак. Завидя чужих, его собаки ощетинились, зарычали, и Хичкоку

нелегко было успокоить их.

Его сани стояли довольно близко к индейскому лагерю, стояли к тому же на наветренной стороне, и можно было опасаться, что ветер доносит в лагерь каждый звук.

— Припрягай собак, — совсем тихо приказал Хичкок. — Ставь их в хвосте, впереди пойдут мои собаки.

Едва только она принялась за исполнение его приказа, как собаки Хичкока с прежним остервенением набросились на чужаков. Несмотря на то что Хичкок с поднятым ружьем метался во все стороны, неугомонный собачий вой разносился по всему полю.

— Ну теперь у нас будет даже чересчур много собак, — мрачно сказал Хичкок и вооружился топором. — Как только я брошу тебе собаку, ты немедленно запрягай ее.

Он сделал несколько шагов вперед и остановился в выжидательном положении между двумя соснами. Он знал, что индейские собаки, встревоженные поднявшимся шумом, не замедлят явиться сюда. Он не ошибся. На снегу вскоре обозначилось темное, быстро растущее пятно, — это была первая собака, которая с волчьим воем неслась впереди остальных собак и указывала

им направление.

Хичкок стоял за деревьями в тени. Когда собака оказалась на расстоянии нескольких футов от него, он подался вперед, схватил ее за передние лапы, бросил на землю, ударил ее промеж ушей и тотчас же швырнул в сторону Сипсу. В то время как девушка запрягала собак, Хичкок с топором в руках защищал проход между деревьями. Казалось, свирепые индейские собаки наступали со всех сторон, ибо со всех сторон сверкали глаза и оскаленные белые клыки. Сипсу работала ловко и быстро, но она не успела еще припрячь первую индейскую собаку, как Хичкок оглушил уже вторую собаку и точно так же швырнул ее Сипсу. Он повторял это до тех пор, пока в его упряжке не было десяти рассвирепевших собак. Только тогда он произнес:

— Теперь хватит!

Но именно в это мгновение появился молодой индеец, который с удивительным проворством и ловкостью стал расталкивать собак, намереваясь подойти к саням. Хичкок ударил его прикладом, и тот упал сперва на колени, а затем навзничь. Свидетелем этой сцены был бегущий вслед за ним колдун.

Хичкок приказал Сипсу гнать собак. Девушка

гикнула, и собаки, точно сорвавшись с цепи, помчались вперед. Сипсу стоило больших усилий удержаться на высоко подскакивавших санях.

Надо было думать, что боги разгневались на колдуна, ибо поставили его на пути саней Хичкока. Передняя собака, задев лыжи колдуна, сбросила его наземь, а остальные девять собак подмяли его под себя и протащили над ним сани. Однако он тотчас же вскочил на ноги, и неизвестно, на чьей стороне оказалась бы победа, если бы Сипсу не догадалась несколько раз ударить его тяжелым бичом по глазам. На помощь ей подоспел Хичкок и ударил его с такой силой, что несчастный индеец отлетел на несколько футов. После того колдун вернулся в лагерь, умудренный опытом насчет силы кулака белого.

Рассказывая о случившемся начальнику и совету старейшин, колдун чувствовал большую ненависть ко всем белым без исключения.

— Ну, вставайте, лентяи, вставайте, довольно вам спать. Завтрак будет готов еще до того, как вы оденетесь.

Дэв Уэрц сбросил с себя меховое одеяло, приподнялся и зевнул.

Хевс потянулся и, обнажив худые руки, стал лениво потирать их.

— А любопытно знать, где провел эту ночь Хичкок? — сказал он, потянувшись за мокасинами.

Мокасины за ночь промерзли, и Хевс в носках, на цыпочках, подошел к огню, чтобы отогреть их.

— Он хорошо сделал, что уехал, — продолжал он. — Хотя, с другой стороны, он прекрасный и выносливый работник.

— Это правда. Только уж слишком любит командовать. Это его самый главный недостаток. Сипсу вряд ли хорошо придется с ним. Что-то он чересчур сильно заботится о ней. Подозрительно!

— Ну ерунда! Ничего серьезного нет. Хичкок часто поступает из принципа. На его взгляд, индейцы поступают неправильно. Нельзя спорить: конечно, это неправильно, но при всем том мы не имеем никакого основания вмешиваться в дела индейцев. Пусть себе делают что хотят. Напрасно Хичкок поторопился с дележом.

— Принципы — вещь хорошая, но в свое время и на своем месте. А кто едет на Аляску, тому лучше на время схоронить принципы дома.

Уэрц подошел к Хевсу и стал вместе с ним отогревать мокасины.

— А может быть, ему следовало бы помочь?

Зигмунд озабоченно покачал головой. С одной стороны, ему надо было следить за бурно кипящим кофе, с другой стороны — поджарить мясо. При всем том он не мог отделаться от мысли о девушке с глазами, как летнее море. А думая о ней, он не мог не петь.

Его товарищи, перекинувшись еще несколькими словами, умолкли. Уже было семь часов утра, но до рассвета оставалось еще добрых три часа. Погасло северное сияние, и среди глубокой темноты палатка была единственным базисом света. На темном фоне резко и четко вырисовывались фигуры людей. Воспользовавшись гробовым молчанием, Зигмунд стал петь громче и совсем громко запел последнюю строфу своей любимой песенки:

Только год промчится, и лоза созреет...

Вдруг раздался оглушительный залп ружейных выстрелов.

Хевс застонал, сгорбился, сделал мучительное усилие выпрямиться, но тотчас же замертво свалился на землю. Голова Уэрца свесилась на грудь, и он весь стал медленно опускаться. Он вдруг заметался, и на губах его показалась пена. А золотоволосый Зигмунд вскинул руками и свалился

поперек костра. Так и чудилось, что сейчас снова зазвучит его неоконченная песня…

Глаза колдуна были так подбиты, что превратились в сплошное темное пятно. Он поссорился с начальником племени из-за ружья Уэрца. Кроме того, он позволил себе набрать бобов больше, чем следовало. Но главным образом ссора возникла из-за того, что он присвоил себе медвежью шкуру. Все вместе взятое явилось причиной очень дурного расположения духа колдуна. Его настроение еще больше испортилось, когда, желая убить собаку Зигмунда, он погнался за ней, но по дороге споткнулся, упал в яму и вывихнул себе плечо.

Разграбив лагерь белых, индейцы вернулись домой, и тогда среди женщин началось великое ликование.

Несколько дней спустя в соседний лес забрело стадо оленей, которое целиком было перебито индейскими охотниками. Индейцы решили, что боги смилостивились, и с тех пор стали относиться к колдуну, ставленнику богов, с еще большим уважением.

Спустя некоторое время после того собака, подарок золотоволосой девушки, пробралась в опустевший лагерь и всю ночь и весь день выла

над своим мертвым господином. Затем она исчезла, а через несколько лет индейские охотники стали замечать странную перемену в волках. Перемена главным образом выразилась в оттенках шерсти, каких раньше не замечалось.

Дочь авроры

— Итак, вы хотели бы жениться на мне? Нет, вы — как бы это сказать? — вы слишком ленивый человек, а это нехорошо. Уверяю вас, что ленивый человек никогда не назовет меня своей женой.

Вот как говорила Джой Молино Джэку Харриигтону. Накануне она то же самое, только по-французски, говорила Луи Савуа.

— Послушайте, Джой!

— Нет! Зачем же я стану выслушивать вас? По-моему, вы поступаете очень нехорошо, что так много времени отдаете мне и ничего не делаете. Подумайте, как это вы станете добывать пропитание для своей семьи? Ведь у вас нет золота. А вот другие имеют очень большой запас золотого песка.

— Напрасно, Джой, вы так думаете. И я достаточно работаю. Нет дня, чтобы я не рылся либо там, либо здесь. Вам известно, что я только что вернулся и что мои собаки измотались вконец. Работаю я не меньше других, да вот счастья нет. Иным везет, и они добывают массу золота, а вот я — ни черта!

— Ах, не то вы говорите! Вот помните про того

человека? Ну вот тот самый Мак-Кармак, который вместе с женой ушел на Клондайк и там нашел золото… Вы почему не пошли с ним? Вот другие пошли — и разбогатели.

— Как же вы не знаете, что я в то время работал на Тананау и не имел никакого представления ни об Эльдорадо, ни о Бонанце? А потом уже было слишком поздно.

— Это только отговорка — и больше ничего. Вы вообще любите увиливать.

— Как вы сказали?

— Я говорю, что вы вообще любите увиливать. Вот, например, есть такое хорошее местечко на Эльдорадо. Явился туда некий человечек, набил там колышков и ушел. Никто не имеет понятия о том, что с ним после того приключилось. В течение шестидесяти дней он должен использовать свое право. После того туда набежит масса народу. Желая добыть право на участок и нужную бумагу, все понесутся туда с быстротой ветра, а кто успеет — разбогатеет. Уж их-то семьи не будут нуждаться.

Слова Джой живо заинтересовали Джэка Харрингтона, но он скрыл это и спросил самым равнодушным тоном:

— А когда срок?

— Я уже говорила про это Луи Савуа, — продолжала Джой, не обращая никакого внимания на вопрос Джэка. — Я так думаю, что он не прозевает этого дела.

— А, черт бы его взял!

— Да, Луи Савуа сказал мне следующее: «Джой, я — человек сильный и выносливый, и собаки у меня сильные. Я попытаюсь. А пойдете ли вы за меня замуж, когда я выиграю это дело?» И я сказала ему... Я сказала...

— Что же вы сказали ему?

— Я сказала ему: «Если Луи Савуа выиграет свое дело, я, конечно, буду его женой».

— А если он не выиграет?

— А если он не выиграет, то — как бы вам сказать? — то Луи Савуа не будет отцом моих детей.

— А если я выиграю?

— Если вы выиграете? Ха-ха! Да никогда вы не выиграете!

Она расхохоталась. Ее смех действовал на Джэка Харрингтона самым раздражающим образом, но все же он должен был признать, что даже злой ее смех чудесно ласкает ухо.

Джэк Харрингтон не был исключением и давно привык к такому отношению Джой Молино. Не только его одного — она заставляла страдать

всех своих поклонников. В подобные минуты она была прелестна; в подобные минуты, словно цветок, раскрывался ее рот. От острых поцелуев, от страстных укусов мороза нежно розовело лицо, а глаза зажигались тем несравненным прекрасным огнем, какой составляет неотъемлемую особенность женщин.

— Ну а если я выиграю? — настойчиво повторил Харрингтон.

Джой Молино перевела взгляд с собаки на человека и обратно.

— Что скажешь, Волчий Клык? Если Джэк Харрингтон окажется сильным и добьется своего, выйдем ли мы с тобой замуж за него? Твое мнение, Волчий Клык?

Волчий Клык весь насторожился и зарычал.

— Однако очень холодно! — вдруг с чисто женской непоследовательностью сказала Джой Молино.

Она поднялась с места и стала приводить в порядок свою собачью запряжку.

Джэк Харрингтон продолжал с бессмысленным видом смотреть на нее. Уже с самого начала их знакомства он в присутствии девушки как-то глупел, но, с другой стороны, то же знакомство прибавило ему терпения.

— Эй, Волчий Клык, вперед! — крикнула Джой Молино, вскакивая в сани.

Собаки тронулись с места и понеслись по направлению к Сороковой Миле. Харрингтон, не сходя с места, искоса, но внимательно следил за девушкой. Там, где путь раздваивался и уходил на форт Кудахи, Джой Молино на время остановила собак и затем повернула назад.

— Эй вы, лентяй! — воскликнула она. — Одно слово: лентяй. Волчий Клык, скажи ему следующее: если он выиграет, я — его жена!

В самом скором времени вся Сороковая Миля знала про готовящийся поединок между Луи Савуа и Джэком Харрингтоном. Стали держать пари и загадывать на разные лады, кто выиграет и на ком остановится выбор Джой Молино. Точно весь городок разделился на две части, и каждая часть мечтала отстоять своего любимца. Началась борьба из-за лучших собак, которые должны были иметь огромное значение для исхода поединка. Кроме того, что соперники стремились обладать любимой женщиной, ими еще владела мысль о золотых рудниках, оцениваемых по меньшей мере в миллион долларов.

Как только распространился слух о том, что Мак-Кармак открыл золотые россыпи, почти вся

округа, за исключением отдельных лиц, таких как Джэк Харрингтон и Луи Савуа, работавших на западе, двинулась вверх по Юкону. Оленьи пастбища и небольшие речки расхватывались самым беспорядочным образом и случайно.

Так же случайно было занято одно из богатейших золотом мест — Эльдорадо.

Олаф Нельсон отмерил себе пятьсот футов, поставил должный знак, набил колышки — и исчез. В то время ближайшее явочное отделение находилось в полицейском помещении в форте Кудахи, который лежал напротив Сороковой Мили, по другую сторону реки. Как только зародились легендарные слухи про Эльдорадо, стало известно, что Олаф Нельсон захватил часть земли на Нижнем Юконе. Олафа Нельсона не было на месте, и никто не знал, где он.

Вот почему сотни золотоискателей с нескрываемой жадностью глядели на участок, принадлежащий пропавшему без вести счастливчику. Но ввиду того что еще не истек шестидесятидневный срок, никто не имел права посягать на собственность Олафа Нельсона. Вся округа знала о таинственном исчезновении Нельсона. А несколько десятков людей уже делали все необходимые приготовления, чтобы по истечении

срока, как говорится, сорваться с места и устремиться по направлению форта Кудахи.

Но жители Сороковой Мили, в общем, относились ко всему этому очень спокойно. Городок отдал всю свою энергию на то, чтобы снабдить всем необходимым Джэка Харрингтона и Луи Савуа. До явочного отделения было сто миль, и все полагали, что оба соперника должны четыре раза менять в пути собак. Конечно, последняя смена собак должна иметь решающее значение, вот почему оба состязающихся наибольшее внимание уделяли тому, чтобы обеспечить себя лучшими собаками для последних двадцати пяти миль. Благодаря всему этому цены на собак достигли небывалой высоты.

И тут-то все подумали о Джой Молино. Мало того, что она являлась чуть ли не единственной причиной этой истории, она обладала еще лучшими собаками на протяжении от Чилкута до Берингова моря. В качестве передовой собаки Волчий Клык не имел себе подобных, и, безусловно, тот счастливец, который имел бы в своей запряжке Волчьего Клыка, мог быть наполовину уверенным в победе. Нечего говорить о том, что Джой положительно замучили просьбами, но она оставалась непоколебима и ни за что не хо-

тела расставаться с любимой собакой. Для обоих лагерей оставалось утешением, что никто из конкурентов не воспользуется ею.

В общем, мужчина создан так, что совершенно не в состоянии проникнуться психологией женского изощренного ума. Это относится одинаково к мужчинам, живущим замкнутой или же открытой жизнью. То же самое случилось и с мужчинами Сороковой Мили. Они были слишком просты для того, чтобы проникнуть в тайные хитрые замыслы Джой Молино; они и признавались впоследствии, что так до конца и не поняли загадочной натуры этой женщины, которая родилась и выросла при свете северного сияния и отец которой жил здесь и вел крупную торговлю мехами задолго до того, как позднейшие обитатели Сороковой Мили задумали путешествие на Север. Но, конечно, все это не оказало на Джой никакого влияния и нисколько не лишило ее специфических женских качеств. Мужчины отчасти понимали, что она играет ими, но смысл и глубина игры были скрыты от них. Они видели лишь часть раскрытых карт, но главный свой козырь Джой Молино показала лишь в самом конце игры, вот почему мужчины чуть ли не до самого последнего момента обретались в состоя-

нии приятного ослепления.

Прошла неделя, в течение которой значительная часть горожан временно перешла на то место, откуда должны были отправиться Джэк Харрингтон и Луи Савуа. Все вели самый строгий счет времени, так как намеревались прибыть на место за несколько дней до истечения срока и таким образом отдохнуть самим и дать отдохнуть собакам. По дороге они встретили многих жителей Даусона, стремившихся к той же цели — к тому же участку Олафа Нельсона.

Спустя два дня после отъезда конкурентов Сороковая Миля начала посылать смены собак — первую на 75 миль, вторую на 55 и третью на 25 миль от Сороковой Мили; последняя смена была так прекрасно подобрана, что почти весь поселок несколько часов провел на пятидесятиградусном морозе, подробно разбирая необыкновенные достоинства собак. В последнюю минуту к месту сборища приехала на своих собаках Джой Молино. Она подошла к Лону Мак-Фэну, который заведовал запряжкой Харрингтона, и не успела оглянуться, как он отвязал Волчьего Клыка и запряг его впереди собак Харрингтона. После того, не медля ни секунды, он помчался по направлению к Юкону.

— Бедняжка Савуа! — раздалось со всех сторон.

Джой Молино ничего не ответила, лишь вызывающе сверкнула глазами и вернулась домой.

Была полночь. На участке Олафа Нельсона собралась добрая сотня закутанных в меха людей, которые предпочли шестидесятиградусный мороз теплому жилищу и мягкой, уютной постели. Некоторые из них уже занимались предварительными работами. Небольшой полицейский отряд должен был следить за тем, чтобы соревнование велось по всем правилам. Было отдано строгое распоряжение, чтобы никто не вбивал колышков до последней секунды последнего, шестидесятого дня. На Крайнем Севере такие приказы отличаются удивительной, почти сверхъестественной силой. Ослушников пуля поражает с быстротой молнии.

Стояла ясная и холодная ночь. Северное сияние разбросало по всему небу зыбкие, причудливые цвета. Точно могучие руки Титана воздвигли над землей огромные арки: от горизонта до зенита плыли розовые, холодные и ярко блещущие волны света, а к звездам шли широкие зеленовато-белые искристые полосы.

Полицейский, закутанный в медвежью шубу, выступил вперед и вытянул руку. Тотчас же под-

нялась невообразимая суета. Золотоискатели стали поднимать на ноги собак, распутывать постромки и запрягать. После того все, один за другим, с колышками в руках начали подходить к отмеченному месту. Они так хорошо знали этот участок, что все могли проделать с завязанными глазами. По второму сигналу они сняли с себя все лишнее и насторожились.

— Слушай!

Шестьдесят пар рук сбросили рукавицы, и шестьдесят пар ног стали твердо на искристый снег.

— Вперед!

Соревнующиеся мигом рассеялись по всем сторонам и с непередаваемой быстротой начали вбивать колышки и знаки. Вслед за тем они вскочили в сани и понеслись вдоль по замерзшей реке. Снова повторилась прежняя суета: сани налетали на сани, одна собачья запряжка набрасывалась на другую; животные ощетинивали шерсть и скалили клыки, а от всего этого в воздухе стоял непрерывный шум. Все понимали, что пришел важный, самый главный момент, и у каждого из соперников имелись друзья, которые старались помочь ему. Мало-помалу из общей кучи выскальзывали отдельные сани

и, пара за парой, скрывались из виду.

Джэк Харрингтон по опыту знал, что предстоит великая суета, и спокойно ждал возле своих саней. Близ него в таком же выжидательном положении стоял Луи Савуа, внимательно следивший за своим соперником — одним из лучших погонщиков собак на Севере. Оба двинулись в путь лишь после того, как окончательно улегся шум. Им пришлось сделать добрые десять миль, прежде чем они догнали ушедших раньше.

По обе стороны пути тянулись безграничные снежные поля. Если бы кто-нибудь сделал попытку обогнать другого — эта попытка ничем хорошим не окончилась бы, так как его собаки по брюхо ушли бы в снег.

Совершенно однообразная дорога шла на расстоянии пятнадцати миль — от Бонанцы и Клондайка до Даусона.

Там ожидала первая смена, но Харрингтон и Савуа сменили собак на две мили выше остальных. Они воспользовались общей суматохой и обогнали добрую половину саней. Выехав на широкий Юкон, Джэк Харрингтон и Луи Савуа имели впереди себя каких-нибудь тридцать человек, не больше.

В месте наиболее сильного течения откры-

тая вода на расстоянии мили шла между двух огромных масс льда. Теперь она лишь недавно покрылась легкой коркой льда и превратилась в ровную упругую поверхность — скользкую, как навощенный пол.

Выехав на эту дорогу, Харрингтон, придерживаясь одной рукой за сани, привстал на колени и отчаянно захлопал бичом. Каждый удар его сопровождался непередаваемыми ругательствами. Собаки, почуяв под ногами плотный, гладкий лед, помчались во всю прыть. Мало кто из постоянных жителей Севера так ловко правил собаками, как Джэк Харрингтон. Когда Луи Савуа показалось, что его соперник начинает обгонять его, он стегнул собак, прибавил ходу и все время стремился к тому, чтобы морды его передних собак касались задка саней Джэка Харрингтона…

Харрингтон решил не терять ни секунды, и едва только к его саням вплотную подали свежую смену, он с резким криком прыгнул на новые сани и, не переставая ни на секунду кричать и щелкать бичом, помчался дальше. Точно так же поступил со своей сменой Луи Савуа. В то же время оставленные обоими соперниками собаки были на пути других соревнующихся и усиливали шум и замешательство. Впереди всех несся

Харрингтон, на долю которого выпала честь расчищать путь. За ним, не отставая, мчался Савуа.

Между тем мороз крепчал и дошел до 60 градусов ниже нуля. Опасно и невозможно было оставаться без движения. Зная это, Харрингтон и Савуа время от времени соскакивали с саней и с бичами в руках бежали сзади собак, до тех самых пор, пока не согревались, после чего снова садились в сани.

Таким образом, то на санях, то бегом они миновали вторую и третью смену. Остальные золотоискатели растянулись позади них миль на пять. Многие из них еще пытались обогнать гонщиков из Сороковой Мили, но все их попытки были тщетны.

На третьей смене, на 25-й миле от Сороковой Мили, вплотную к саням Харрингтона подъехал Лон Мак-Фэн. Увидя впереди запряжки Волчьего Клыка, Джэк Харрингтон поверил в свою окончательную победу. Он знал, что с такой запряжкой он не пропадет. Нет такой запряжки на свете, которая могла бы обогнать его теперь! И Луи Савуа увидел Волчьего Клыка и, увидев его, понял, что его дело проиграно. Тогда он стал проклинать самого себя, а вместе с тем коварную женщину, Джой Молино.

В то же время он не забывал дела. Впереди него, разбрасывая во все стороны снежную искристую пыль, мчался Джэк Харрингтон, и Савуа решил не отставать от него и бороться за свое счастье до последнего момента. Уже рассеивались тени, и стало светлее на юго-востоке. А соперники все мчались и мчались и не переставали изумляться тому, что сделала женщина, Джой Молино.

Сороковая Миля встала чуть свет, сбросила с себя теплые постельные меха и высыпала на дорогу, откуда можно было видеть Юкон на протяжении нескольких миль — до ближайшего изгиба. Несколько в стороне от всех стояла Джой Молино, и пространство между нею и блестящей колеей дороги было совершенно свободно. Люди сидели вокруг горящих костров и заключали последние пари, ставя золотой песок и табак. Больше всего пари было за Волчьего Клыка.

— Едут! — завизжал мальчик-туземец, забравшийся на сосну.

На груди Юкона, у самого изгиба, на белом снегу показалось черное пятно. Тотчас же показалось и второе пятно. По мере того как эти пятна росли, на значительном расстоянии стали обозначаться и другие пятна. Мало-помалу можно было разглядеть очертания саней, собак, а затем и людей,

лежавших на санях.

— Волчий Клык идет первым, — шепнул полицейский агент, повернувшись к Джой. Та только улыбнулась.

— Десять против одного за Харрингтона, — крикнул один из золотых королей и достал из кармана мешок с золотым песком.

— Всего только? — спросила Джой.

Полицейский агент неодобрительно покачал головой.

— У вас есть при себе хоть сколько-нибудь золотого песка? — спросила Джой, обращаясь к агенту.

Тот показал ей свой мешок с золотом.

— На пару сотен наберется? Ладно! Я принимаю пари.

Она продолжала загадочно улыбаться. Полицейский чиновник глядел не отрываясь на дорогу и что-то соображал.

Харрингтон и Савуа все еще стояли на коленях и немилосердно хлестали собак; впереди по-прежнему шел Харрингтон.

— Десять против одного за Харрингтона! — снова закричал богач, вызывающе размахивая туго набитым мешочком.

— Принимаю пари! — заявила Джой.

Чиновник повиновался и пожал плечами, словно желая сказать, что допускает это исключительно ради такой женщины, как Джой.

Уже прекратились пари, и наступила почти могильная тишина.

Словно судно на море, словно судно под жестоким ветром, качаясь и ныряя, мчались сани. Несмотря на то что морда передовой собаки все еще касалась задка саней Харрингтона, Луи Савуа имел очень мрачный вид.

А Джэк Харрингтон не разжимал губ и не смотрел ни вправо, ни влево. Его запряжка шла по-прежнему твердо и ритмично, а Волчий Клык, растянувшись во всю длину, опустив голову почти до земли и изредка слабо подвывая, великолепно вел собак.

Все затаили дыхание. По-прежнему царила мертвая тишина, время от времени нарушаемая скрипом полозьев и свистом бичей.

Вдруг воздух рассек зычный призыв Джой Молино:

— Эй, Волчий Клык, Волчий Клык!

Волчий Клык, услышав призыв, тотчас же свернул с дороги и направился в сторону своей госпожи. За ним покорно последовала вся запряжка, сани на одно мгновение перегнулись, и

Джэк Харрингтон, как стрела, вылетел на снег. Едва только Савуа мелькнул мимо него, Харрингтон вскочил на ноги и стал с отчаянием следить за тем, как его соперник несется вдоль речки.

— Да, он ловко правит собаками! — сказала Джой Молино, обращаясь к чиновнику. — Я не сомневаюсь, что он придет первым.

На конце радуги

I

По двум причинам Малыш из Монтаны снял свою форму и мексиканские шпоры и отряс с ног своих пыль холмов Идахо. Во-первых, натиск крепкой, трезвой и серьезной цивилизации совершенно разрушил примитивные статуты жизни западных скотоводов, а новое, утонченное общество поглядело весьма и весьма недружелюбно на Малыша и ему подобных. Во-вторых, наступил один из тех циклопических моментов, когда вся раса поднялась и отодвинула свои границы на несколько тысяч миль назад. Таким образом, не имея даже этого в виду, достигшее полной зрелости общество дало простор подрастающему поколению. Правду сказать, новая территория в значительной части своей была совершенно бесплодна, но все же несколько сот тысяч квадратных миль полярной земли явились райским откровением для всех тех, кто до сих пор задыхался у себя на родине.

К числу этих людей принадлежал Малыш из Монтаны. Отправившись на морской берег с по-

спешностью, которую могла вызвать только погоня за ним нескольких шерифов, он удачно сел на пароход, вышедший из Пюджет-Саунда, и с грехом пополам перенес в третьем классе морскую болезнь и морское питание. Он высадился в Дайэ в один из ранних весенних дней и ступил на берег желтый и истощенный, но с самоуверенным и энергичным выражением лица. Ознакомившись с ценами на собак, съестные припасы и снаряжение, а также узнав про пошлины, установленные двумя конкурирующими правительствами, он очень скоро понял, что это местечко ни в коем случае не может почитаться Меккой для бедного человека.

Вот почему, не откладывая дела в долгий ящик, он живо принялся за жатву в том месте, где он не сеял. Между берегом и холмами скопилось несколько тысяч нервных пилигримов, и вот за этих-то пилигримов и взялся наш Малыш. Первым делом он открыл *фаро* в деревянном игорном доме, но ряд неприятностей вынудил его бросить это дело и отправиться дальше. Тут он занялся продажей подковных гвоздей, которых продавал четыре штуки на доллар до тех

пор, пока неожиданный «десант»[57] ста бочек с такими же гвоздями не прервал этой выгодной торговли и не заставил Малыша продать остаток ниже своей цены.

Вскоре после того он поселился в Шип-Кэмп, организовал артель профессиональных грузчиков и сразу, в первый же день, поднял фрахт на десять центов на фунт.

В благодарность за это грузчики весьма благосклонно относились к его *фаро* и сквозь пальцы смотрели на некоторые его неблаговидные приемы, благодаря которым значительная часть их заработка переходила в его руки. Но его коммерческие повадки были слишком грязны для того, чтобы их долго терпеть, вот почему грузчики однажды ночью напали на него, сожгли его хижину, разделили банк и отправили его подальше с пустыми карманами.

Незадачливость почти никогда не оставляла его. Он вошел кое с кем в соглашение насчет того, чтобы переправлять через границу виски, причем заранее знал, что ему придется пользоваться для этого самыми подозрительными средствами, но по дороге он растерял своих про-

---

[57] Сноски: 57
Десант — высадка войск.

водников-индейцев, и уже первая партия виски была конфискована конной полицией. Еще много других крайне неудачных попыток так обозлили его, что в продолжение двадцати страшных часов он терроризировал население Озера Беннет, куда прибыл после сделки с виски. Конец его художествам на Озере Беннет положила компания золотоискателей, которая приказала ему как можно скорее убраться отсюда подальше. Вообще говоря, Малыш всю жизнь относился с большим уважением к подобным приказам и на сей раз так спешно оставил поселок, что «случайно» оказался на санях с чужой запряжкой.

Этот поступок был равносилен конокрадству в странах с более умеренным климатом. Малыш знал это и поэтому проехал мимо поселков между Беннетом и Тэгишем и остановился лишь за сто миль к северу.

Но должно же было так случиться, что наступила весна и что большинство наиболее богатых обитателей Даусона решили двинуться с последним льдом на юг. Он встретился с ними, много беседовал, запоминал их фамилии и проехал дальше.

У него была прекрасная память и горячее воображение. Что же касается правдивости, то этой

чертой характера он никак не мог похвастать.

II

Даусон, всегда жадно ловивший новости, издали увидел сани Малыша на Юконе и вышел навстречу новому гостю.

Нет, он не привез с собою газет. И не знал ничего касательно того, был ли повешен Дюран. Точно так же он не мог ничего сообщить о том человеке, который выиграл приз в День благодарения. Он ровно ничего не слышал об американо-испанской войне, не знал, кто такой Дрейфус[58], но что касается О'Бриэна… Как, разве же они ничего не слышали об О'Бриэне? — Он утонул в Белом Коне. Единственный спасшийся был Ситка Чарли. Джо Ледью? Ну, тот отморозил себе обе ноги, которые ему ампутировали в Пяти Пальцах. А Джэк Дэльтон? Погиб на «Морском Льве» вместе со всеми остальными. А Бэттлс? Погиб на «Картаджине» в Сеймурском проходе, где из трехсот человек осталось в живых только

---

[58] Сноски: 58

Дрейфус — французский офицер, еврей по происхождению, герой знаменитого процесса, имевшего огромное политическое значение. В 1894 году был осужден за шпионаж и государственную измену и сослан на Чертов остров. Впоследствии был реабилитирован. Против Дрейфуса были все силы антисемитизма и реакции.

двадцать. А Билл с Быстрых Вод? Провалился сквозь рыхлый лед вместе с шестью оперными артистками, которые сопровождали его. Губернатор Уэлш? Пропал вместе со всеми остальными на восьми парах саней близ Тридцатой Мили. Деверо? А кто это Деверо? Ах, почтальон! Застрелен индейцами около озера Марш.

И так далее.

Новости, привезенные Малышом, живо распространились по всему поселку. Множество людей толпились вокруг него, желая навести у него справки относительно своих друзей и товарищей по пути. Одни толкали других и в свою очередь выталкивались из круга третьими, причем их удивление было столь велико, что они даже забывали должным образом выругаться. К тому же времени, как Малыш из Монтаны достиг берега, вокруг него собралась толпа в несколько сот человек, одетых в меха. Близ Бараков он был попрежнему в центре процессии, но наибольшее столпотворение имело место у здания Оперы, где произошла настоящая давка и чуть не началась драка из-за желания поскорее узнать последние новости. Малыш со всех сторон слышал приглашения выпить с ним. Еще никогда до сих пор на Клондайке не принимали так радушно новичка,

или, как их там называли, *чечакваса.* Весь Даусон переполнился невозможными и разнообразными слухами. Еще ни разу на него не сваливалась подобная лавина несчастий. Его история не знала такого катаклизма бедствий. Согласно словам Малыша, все искатели, отправившиеся весной на юг, погибли.

В поселке опустели буквально все дома и хижины. Все выбежали на улицу, горя страстным желанием найти и увидеть человека, который привез такое множество потрясающих новостей. Жена Бэттлса, русская полукровка, в непередаваемом отчаянии уселась у своей печи и, качаясь взад и вперед и из стороны в сторону, посыпала белоснежным пеплом свои волосы цвета воронова крыла. На Бараках до половины был спущен национальный флаг. Даусон глубоко и мрачно оплакивал своих покойников.

Собственно говоря, трудно было бы отдать себе отчет в том, чего ради Малыш проделал все это. Трудно даже отыскать хоть мало-мальски разумную или же хотя бы понятную причину. Можно лишь допустить, что в данном случае сыграло роль то обстоятельство, что этот человек был органически чужд правде. Но так или иначе, в продолжение пяти долгих дней вся округа была

повергнута из-за него в ужас и горе, и в продолжение пяти дней он был единственным человеком, на котором сосредоточивалось всеобщее внимание. Поселок предоставил в его распоряжение все самое лучшее в смысле крова и пищи. Салуны приглашали его распоряжаться их помещениями по полному его усмотрению и желанию. Охота за ним продолжалась с прежней настойчивостью. Лица, занимавшие самое высокое официальное положение, определенно заискивали, прося дать им как можно больше исчерпывающих сведений, и дошло даже то того, что его чествовали в Бараках сам Констэнтайн и его ближайшие помощники.

Так продолжалось вплоть до тех пор, пока в одно прекрасное утро в Даусон не приехал Деверо, правительственный курьер, и не остановил своих утомленных собак у конторы Золотопромышленного Общества.

Он умер? Кто это сказал? Пусть ему перво-наперво дадут здоровый кусок жареной оленины, и он покажет всем, как он умер! Что такое? Губернатор Уэлш в настоящее время находится в Маленьком Лососе, а что касается О'Бриэна, то он прибудет сюда с первой же водой! Умер? Пусть ему дадут кусок оленины, и он покажет им всем!

Тут снова весь Даусон загудел, как пчелиный улей. Национальный флаг над Бараками вновь поднялся до самой верхушки флагштока. Жена Бэттлса немедленно умылась и надела чистое платье. Все население выразило единодушное желание, чтобы малопочтенный Малыш из Монтаны как можно скорее скрылся с горизонта. И Малыш скрылся и, как всегда, «случайно» оказался в санях с чужой запряжкой. Даусон огласился радостными криками при виде того, как Малыш пустился по Юкону, и от души пожелал твердокаменному грешнику быстрой езды и счастливого достижения крайней цели поездки. А вскоре после того хозяин запряжки хватился своих собак, не нашел их, сделал об этом заявление Констэнтайну и получил взаймы одного полисмена.

III

Наметив себе конечной целью Сёркл и несясь по льду, который уже подавался под полозьями саней, Малыш из Монтаны пользовался тем, что дни стали гораздо длиннее, и гнал собак с раннего утра до позднего вечера. Он нисколько не сомневался в том, что владелец собак пустится за ним в погоню, и поэтому желал достигнуть аме-

риканской территории еще до того, как вскроется вся река. Но уже к концу третьего дня он пришел к определенному убеждению, что ему ни в коем случае не обогнать весны. Юкон гудел и рычал под своими зимними оковами. Поневоле приходилось делать большие объезды, потому что санный путь проваливался чуть ли не на каждом шагу, а лед, находившийся в непрестанном движении, с громоподобным треском исчезал в образующихся ямах. Вода, проникая через бесчисленные полыньи, начала разливаться по всей поверхности льда, и к тому времени, как Малыш достиг хижины дровосека, которая стояла на самой стрелке, собаки уже начали спотыкаться и скорее плыли по воде, нежели бежали по льду. Новый гость был весьма угрюмо принят двумя обитателями хижины, но, не обратив на это никакого внимания, он начал распрягать собак и готовить себе пищу.

Дональд и Дэви представляли собой характернейшие образцы пограничных неудачников. Уроженцы Канады, всю свою жизнь проведшие в городе, они в один несчастный для них день решили реализовать все свое имущество — и отправились на Клондайк. И только теперь они почувствовали, до чего они не подходят для

этих мест. Вечно голодные, неизменно грустные, страдая от невыносимой тоски по родине, они поступили на службу к Компании в качестве пильщиков дров для проезжающих судов, причем поставили условием, чтобы при первой возможности их отправили домой. Совершенно не считаясь с возможностями, которые всегда таятся в ледоходе, они самым наглядным образом демонстрировали свою полную беспомощность тем, что выбрали своим постоянным жильем хижину на этом острове. Хотя Малыш был очень мало знаком с ледоходом на большой реке, тем не менее он с сомнением стал озираться вокруг и бросал весьма завистливые взгляды на противоположный берег, возвышающиеся скалы которого обещали надежную защиту против льдов всего Северного океана.

Накормив собак и сам поев, он зажег трубку и начал бродить взад и вперед по берегу, желая как-нибудь разрешить создавшееся положение. Этот остров, подобно всем остальным вокруг, повышался по мере приближения к верхнему концу. Именно тут Дональд и Дэви построили свою хижину и нарубили огромное количество дров. Далекий берег находился на расстоянии доброй мили, а между островом и ближайшим бе-

регом залег канал шириной около ста ярдов. При первом взгляде на все это Малыш почувствовал непреодолимое желание немедленно запрячь собак и переправиться на другую сторону, но при более детальном рассмотрении местности он увидел быстрое течение воды, уже вылившейся на лед. Несколько пониже река делала крутой поворот на запад, и на этом месте легко можно было увидеть целый лабиринт маленьких островков.

«Вот где будет полный затор!» — заметил Малыш про себя.

С полдюжины саней, по всем признакам идущих на Даусон, неслись теперь по ледяной воде и направлялись к острову. Переезд по реке из опасного превратился уже в просто невозможный, и путники с неимоверным трудом достигли твердой земли и подъехали по тропе к хижине дровосеков. Один из них, совершенно ослепленный солнцем, с беспомощным видом волочился позади саней. Все они были молодые, сильные парни, грубо одетые и утомленные до последней степени.

Несмотря на то что Малыш никогда до сих пор не встречался с ними, он сразу понял, что они — не его поля ягоды.

— Эй! Что слышно на даусонской дороге? —

спросил передовой, переводя глаза с Дональда на Дэви и остановив их на Малыше.

Первые встречи в диких странах никогда не характеризуются излишними церемониями. Разговор в самое короткое время сделался общим, причем новости о Верхней и Нижней Странах чередовались с равномерностью, которая была вполне понятна при данных условиях. Но запас новостей у вновь прибывших очень скоро иссяк ввиду того, что они приехали из Минука, находившегося на расстоянии тысячи миль пониже этого места. А Малыш из Монтаны обладал более свежими сведениями, и вот почему он был засыпан вопросами в то время, как путники разбивали лагерь, и должен был рассказать им обо всех новостях за последние двенадцать месяцев.

Вдруг всеобщее внимание было привлечено резким криком, поднявшимся над оглушающим грохотом реки. Все повернулись к берегу. Вода с прежней силой продолжала заливать ледяную поверхность, а лед, взятый сверху и снизу в могучие тиски, с трудом удерживался в своих берегах. Полыньи образовались со всех сторон, по всем направлениям, тут же на глазах, и воздух наполнился отчаянным шумом и треском, напоминавшим звуки стрельбы в ясный день.

Двое мужчин, находившихся на реке, гнали в их сторону собачью запряжку вдоль еще не покрытой водой полосы льда. Внезапно оба человека провалились в воду и начали, спотыкаясь на каждом шагу, пробираться вперед. А за ними на том самом месте, где момент назад ступали их ноги, сразу провалился лед, и льдины перевернулись. Открытая вода поглотила смельчаков до самого пояса и в то же время похоронила сани и собак, которые на мгновение поднялись под прямым углом к поверхности. Но мужчины остановились, решив во что бы то ни стало спасти животных. Несмотря на невыносимо холодную воду, они начали шарить подо льдинами своими складными ножами и срезать постромки.

И только после того, как приезжим удалось добиться своего, они сквозь пенящуюся воду и скрежетавшие льдины начали пробираться к берегу, к которому, в свою очередь, бросились все находившиеся на суше, во главе с Малышом, искусно скакавшим по отдельным дрожавшим под ним льдинам.

— Провались я тут же на месте, если это не Малыш из Монтаны собственной персоной! — воскликнул один из мужчин, которому Малыш только что помог выкарабкаться на берег. Он

носил красный мундир конного полицейского и с комическим видом помахал правой рукой в виде приветствия. — Малыш, — продолжал он, — я имею специальное предписание арестовать вас! — и с этими словами он вынул из своего бокового кармана насквозь промокшую бумагу. — Я надеюсь, что вы подчинитесь мне вполне спокойно и мирно.

Малыш бросил взор на хаотическое состояние реки и пожал плечами, а полицейский, проследивший за его взглядом, улыбнулся.

— Где собаки? — спросил его компаньон.

— Джентльмены! — перебил его полицейский. — Этот человек, который сейчас приехал со мной, Джек Сэзерлэнд, собственник № 22 на Эльдорадо…

— Уж не Сэзерлэнд ли 1892 года?

Этот вопрос задал ослепший от солнца человек, который, спотыкаясь, подошел поближе.

— Он самый и есть! — ответил тот и схватил руку слепого. — А вы кто будете?

— О, я пришел туда гораздо позже вашего, но помню вас, когда я был совсем зеленый. Товарищи! — обратился он к остальным. — Это — Сэзерлэнд, Джек Сэзерлэнд, который с отличием и первый кончил университет. А ну-ка, золото-

искатели, пожалуйте поближе и приветствуйте его! Сэзерлэнд, это — Гринвич, который два года назад выиграл приз…

— Да, да, помню. Мне пришлось читать об этой игре! — ответил Сэзерлэнд, обменявшись рукопожатием с новым знакомым. — И я помню еще, как много шума вызвал ваш первый удар.

Гринвич густо покраснел под своим темным загаром и неловко отступил назад, чтобы уступить место другим.

— А вот это — Матью, из Берклея. У нас имеется еще здесь несколько человек с Востока. Пожалуйте сюда, кто из Принстона. Ну живо! Ведь это же Сэзерлэнд, Джек Сэзерлэнд!

Тут все они набросились на Сэзерлэнда, подняли его на руки и понесли в лагерь, где надели на него сухое платье и напоили бесчисленным количеством черного чаю.

Дональд и Дэви, всеми забытые, убрались восвояси, где занялись еженощной игрой в криб[59]. Малыш из Монтаны последовал за ними вместе с полицейским.

— Послушайте, — обратился он к своему стражу, — прежде всего вам необходимо переменить

---

[59] Сноски: 59
Криб — карточная игра.

белье и платье на более сухое! — И он предложил ему из своих скудных запасов. — Надо думать, что вам придется разделить со мной и ложе, потому что вам некуда больше деваться.

— А знаете, милый мой, что я вам скажу! — заявил полисмен. — Оказывается, что вы — довольно славный парень! — И он начал натягивать на ноги чулки Малыша. — Мне ужасно неприятно, что придется доставить вас обратно в Даусон, но я надеюсь, что они ничего дурного не причинят вам.

— Ну, не торопитесь! — И Малыш загадочно улыбнулся при этих словах. — Ведь дело еще не дошло до этого. Если мне придется двинуться отсюда, то я пойду вниз по течению, и у меня такое впечатление, что вам придется пойти вместе со мной.

— Да ничего подобного!

— Ну вот выйдем наружу, и я вам покажу. Видите, эти два олуха, — и он указал толстым пальцем через плечо, — здорово влопались, когда выбрали этот остров для жилья. Но… прежде всего набейте трубку. Табак у меня превосходный, и удовольствие вы получите отменное. Имейте в виду, что вам не очень-то много придется курить в будущем.

Полисмен, не скрывая удивления, вышел вместе с Малышом, а Дональд и Дэви побросали карты и последовали за ними. Люди из Минука обратили внимание на то, что Малыш, стоя на берегу реки, показывает пальцем то вверх, то вниз, и подошли ближе.

— В чем дело? — спросил Сэзерлэнд.

— Ничего особенного!

Надо сказать, что к Малышу очень шло, когда он старался выразить полное равнодушие.

— Ничего особенного, если, конечно, не считать того, что скоро восстанет весь ад и ринется на нас. Вы видите вон тот изгиб реки? Так вот там и будет главный затор, в котором скопится несколько миллионов тонн льда. Столько же миллионов тонн льда соберется и выше. Верхний затор разрушится раньше, а нижний немного задержится и не пустит его. Пу-у-у-ф!

Драматическим жестом руки он смахнул остров с лица земли:

— Шутка ли сказать: миллионы тонн!

Он повторил свой уничтожающий жест, а Дэви завыл:

— Мы работали столько месяцев! Я не хочу этого! Не может этого быть, не может быть! Я думаю, что вы шутите! Скажите, что вы шутите, — взмо-

лился он.

Но когда Малыш резко рассмеялся и повернулся к нему спиной, он бросился к своим штабелям дров и начал отбрасывать дрова подальше от берега.

— Да помоги же мне, Дональд, — вскричал он. — Чего ты стоишь сложа руки! Неужели же пропадет вся наша работа и мы так и не вернемся домой!

Дональд схватил его за руку и начал трясти, но тот вырвался.

— Разве же ты не слышишь, что говорят тебе? — воскликнул он. — На нас надвигаются целые миллионы тонн воды, которые зальют весь остров.

— Да приди ты в себя, дурак ты этакий! — продолжал урезонивать его Дональд. — Ты что, совсем рехнулся?

Но слова его нисколько не подействовали на Дэви, который продолжал с прежним упорством убирать дрова. А Дональд направился к хижине, вошел в нее, взял свои и Дэви деньги, спрятал их в поясе и отправился на самую возвышенную часть острова, где выше всех остальных деревьев вытянулась огромная сосна.

Люди, стоявшие у хижины, услышали стук

его топора и усмехнулись. Гринвич вернулся с разведки с донесением, что все они попали в ловушку, из которой невозможно выбраться. И думать нечего было о том, чтобы как-нибудь перебраться на ту сторону канала, и тогда слепец из Минука затянул песню, которую мигом поддержали все остальные:

Это правда? Это правда?
Что ты думаешь о ней?
Мне же кажется – он лжет.
Но почем я знаю?

— Да ведь это просто грешно! — заявил со вздохом Дэви, глядя на то, как все начали танцевать в косых лучах заходящего солнца. — Ах, какая досада, что пропадут такие замечательные дрова!

В ответ на его жалобу донесся припев:

Но почем я знаю?

Внезапно грохот, доносившийся с реки, прекратился. Великое и странное молчание охватило все вокруг. Лед вырвался из береговых тисков и поднялся над поверхностью реки, которая, в свою очередь, поднялась очень высоко. Медленно и тихо вода вздыбилась на двадцать футов и продолжала подниматься до тех пор, пока

громадные льдины не начали мягко толкаться о берег. Конец острова как более низменный уже был залит, и белый поток без какого-либо усилия стал подниматься вверх по склону. Вместе с напором воды начал расти и шум, и в самом скором времени весь остров затрясся и завизжал от ударов страшных льдин. Под все увеличивающимся давлением могучие ледяные горы, весом в сотни тонн, взлетали в воздух с легкостью горошин. Полярный хаос разрастался с каждым мгновением, и для того, чтобы услышать друг друга, люди должны были наклоняться к самым устам говорившего. Время от времени треск льда в канале возвышался над общим грохотом. Вдруг весь остров судорожно задрожал от рухнувшей на его конец грандиозной льдины, которая вырвала десятка два сосен вместе с корнями, плотно окружила их, понеслась дальше, подняла мутный ил со дна реки и, бросив его на хижину, срезала ее и окружавшие ее деревья словно гигантским ножом. В первую минуту могло показаться, что она едва-едва коснулась основания хижины, но мигом стоймя, точно спички, поднялись балки, и постройка рухнула.

— Целые месяцы работы пропали ни за что! — выл Дэви.

— Хватит у вас еще времени думать о том, как вернуться домой! — сказал полисмен, дав ему хороший подзатыльник и толкнув на более безопасное место.

Дональд с верхушки своей сосны видел, как разрушительная льдина снесла все дрова и исчезла вниз по течению. Словно удовлетворившись нанесенными разрушениями, ледяной поток на время вернулся в свои берега и застыл. Одновременно уменьшился и шум, и стоявшие внизу могли услышать слова Дональда, который предлагал им взглянуть на реку. Как и предсказывал Малыш, главный затор образовался на самом повороте реки, где лед создал громадный барьер, залегший от одного берега до другого. Река замерла, и вода, не находя естественного выхода, начала снова подниматься, причем уровень ее через две минуты стоял уже так высоко, что покрыл людей по колени, а собак заставил с беспомощным видом плавать вокруг хижины. И вдруг подъем воды остановился.

Малыш из Монтаны покачал головой.

— Наверху образовался затор, и вот почему воды сейчас не прибавляется.

— Сейчас весь вопрос заключается в том, какой затор двинется первый! — прибавил Сэзерлэнд.

— Совершенно верно! — подтвердил Малыш. — Если раньше двинется верхний затор, то для нас нет никакого спасения.

Люди из Минука молча повернулись от берега и запели Rumsky Но, вслед за которым в спокойном воздухе звучал: The Black and The Orange.

Хор певцов немного раздался и включил в свой состав Малыша и полисмена, которые живо усвоили мотив и начали петь вместе со всеми остальными.

— О Дональд, неужели же ты так и бросишь меня на произвол судьбы? — завыл Дэви, подойдя к дереву, на верхушке которого продолжал сидеть его товарищ. — Дональд, Дональд, помоги же мне! — Он взвыл, как малый ребенок, тщетно стараясь охватить окровавленными руками скользкий ствол дерева.

Но Дональд не отрывал взора от реки, и вдруг послышался его голос, полный невыразимого отчаяния и ужаса:

— Господь всемогущий! Идет… идет… на нас идет!

Стоя по-прежнему по колени в воде, люди из Минука, Малыш из Монтаны и полисмен воздели руки к небу и звучнее прежнего запели страшный «Боевой гимн республики», но голоса их скоро

потонули в надвинувшемся на них грохоте.

И тут Дональд был свидетелем того, чего не может видеть человек — и остаться затем в живых. Великая белая стена поднялась в воздух и всей своей тяжестью упала на остров. Деревья, собаки, люди были снесены так, словно рука Господа Бога вытерла пыль с лица земли. Это Дональд еще успел увидеть, а через мгновение он покачнулся на своем насесте и низринулся в ледяной ад.

Презрение женщины

I

Все же случилось так, что Фреда и миссис Эпингуэлл наконец встретились. Фреда была гречанка и танцовщица по профессии. По крайней мере, она выдавала себя за гречанку, хотя многие сомневались в этом, принимая во внимание то обстоятельство, что ее классическое лицо моментами выражало слишком много силы. Кроме того, адские огни, которые часто зажигались в ее глазах, в свою очередь, зарождали сомнения относительно ее национальности. Некоторым людям — только мужчинам! — были знакомы эти ее особенности, и кто видел их раз, не забыл их до сего дня и, надо думать, не забудет до смерти.

Она никогда не говорила о себе лично, и в минуты, когда она находилась в абсолютно спокойном состоянии, ее греческое происхождение явно говорило само за себя. Ее меха считались лучшими во всей стране, начиная с Чилкута и кончая Сент-Майкелем, и имя ее очень часто срывалось с уст мужчин.

Но тут же надо указать на то, что миссис Эпин-

гуэлл была женой полицейского начальника и, значит, с точки зрения общественного положения стояла очень высоко, так как ее орбита проходила между самыми выдающимися представителями избранного даусонского общества, которое среди обывателей было известно под названием «официальная свора». Ситке Чарли пришлось однажды проделать с ней очень тяжелый путь в то время, когда голод сделал человеческую жизнь дешевле фунта муки, и, по его мнению, она была выдающейся женщиной, равной которой почти не было в округе. Правда, Чарли был индеец, и критерий его отличался весьма примитивными особенностями, но его слово было веско, и к вердикту[60] его всегда прислушивался всякий.

Обе женщины, каждая в своем роде, были типичными победительницами мужчин, но жизненные пути их не имели между собой ничего общего, ни единой точки соприкосновения. Миссис Эпингуэлл царила в своем собственном доме и затем в Бараках, где главным образом подвизалось молодое поколение. Не стоит уж говорить об официальном мире, в состав которого

[60] Сноски: 60
Вердикт — приговор присяжных или судей.

входили люди, причастные и к полиции, и к суду, и так далее.

Что же касается Фреды, то она царила в городе, но ее подчиненные были те же самые люди, которые занимали весьма важные официальные посты в Бараках и которых миссис Эпингуэлл кормила и угощала чаем в нагорной хижине из необструганных досок.

Каждая из них прекрасно знала о существовании другой, но жизненные цели их были диаметрально противоположны, и несмотря на то что они часто слышали друг о друге и отличались чисто женским любопытством, они внешне не проявляли никакого интереса. Такое положение, безо всяких осложнений, могло бы продолжаться до бесконечности, если бы в город не явилось новое лицо в образе натурщицы, которая прибыла на превосходной запряжке по первому льду и которой сопутствовала космополитическая репутация. Лорен Лизней, венгерка родом, очень привлекательная женщина с артистическим лицом, ускорила ход событий, и из-за нее главным образом миссис Эпингуэлл оставила свой дом на Холме и явилась к Фреде; а Фреда, со своей стороны, на время оставила те места, где ее всего чаще можно было встретить,

и посетила губернаторский бал, к смятению всех присутствовавших.

Все это, конечно, старая-престарая история, о которой в свое время знал чуть ли не весь Клондайк, но вся штука в том, что даже в Даусоне весьма немногие знали истинную причину всего случившегося. Кроме этих нескольких людей, никто не мог дать себе точный отчет в поступках как жены полицейского начальника, так и гречанки-танцовщицы. И на долю не кого иного, как Ситки Чарли, выпала честь познакомить и этих немногих с настоящими фактами дела. С его уст сорвались слова, которые подняли завесу над некоторыми довольно таинственными обстоятельствами. Весьма сомнительно, чтобы сама Фреда пожелала рассказать обо всем какому-нибудь писателю. Точно так же невероятно, чтобы миссис Эпингуэлл намекнула кому-нибудь об этом. Очень может быть, что они и сказали кое-что, но это не похоже на них.

II

Имелись основания думать, что Флойд Вандерлип был сильный человек. Тяжелая работа и весьма неудовлетворительная пища не представляли для него ничего ужасного: по крайней мере,

так отзывались о нем те, которые знавали его в первые годы пребывания на Клондайке. В минуты опасности он держал себя как лев, и когда ему пришлось проявить власть над полутысячей умирающих от голода людей, все отметили, что не было человека, который спокойнее его выдерживал бы блеск солнца или вид направленного на него ружейного дула. Но при всем том у него имелась одна слабость, которая вытекала из его положительных качеств, но все же отличалась отрицательными свойствами. Его отдельные качества характеризовались большой силой, но им недоставало координации. Вот, например, несмотря на то что он обладал очень влюбчивым характером, он чуть ли не по доброй воле провел несколько лет — лет очень скучных и бледных — на Севере, где увлекался охотой на оленей, ловлей лососей и добычей золота. К тому времени, когда он вбил достаточное количество угловых и центральных кольев на богатейших клондайкских участках, эта любовная лихорадка снова дала себя почувствовать и окончательно овладела им, когда он занял подобающее место в обществе в качестве общепризнанного короля Бонанцы. Тут вдруг он вспомнил об одной девушке, которая проживала в Штатах, и проникся убеждением,

что она все время ждет его и что жена, вообще говоря, есть очень приятное приобретение для человека, который живет и работает за шестьдесят третьим градусом северной широты. Подумав об этом, он написал соответствующее письмо, вложил в него нужное количество денег на расходы, приданое и так далее и адресовал его на имя Флосси. Флосси? Да! Ну человек смышленый поймет все остальное.

Словом, он построил очень уютный домик на своем участке, другой домик купил в Даусоне и сообщил обо всех этих новостях своим приятелям.

И вот где и когда сказалось вышеупомянутое отсутствие координации между мыслью и действием. Ждать было страшно скучно. К тому же долго сдерживаемая страсть не пожелала знать дольше никаких отсрочек. Флосси была еще только в пути, но зато Лорен Лизней находилась на месте. И она была здесь, и ее космополитическая репутация волочилась за ней. Правда, она не была уж так молода, как в те годы, когда она позировала в самых великосветских художественных студиях и когда принимала у себя кардиналов и князей.

И само собой понятно, что финансы ее находились в незавидном состоянии. Живя в свое время

очень широко и даже роскошно, она теперь без всякого отвращения подумывала о связи с королем Бонанцы, состояние которого было столь велико, что выражалось шестизначными цифрами. Подобно мудрому солдату, который после многих лет тяжелой службы удаляется на покой в уютное местечко, она приехала на Север с единственной целью — выйти замуж. Вот почему в один прекрасный день, когда Флойд Вандерлип покупал в универсальной лавке столовое белье для Флосси, Лорен Лизней подарила его таким взглядом, после которого все остальное было сделано чрезвычайно легко.

Когда мужчина свободен, ему прощается многое, что ставится ему же на вид, когда он связан по рукам и ногам семейными путами. Та же самая история произошла и с Флойдом Вандерлипом. Со дня на день должна была приехать Флосси, и вот почему в городе хоть и туманно, но много говорили о том, что Лорен Лизней катается на его запряжке по главной улице. Кроме того, она сопровождала сотрудницу «Звезды Канзаса», которая сделала несколько фотографических снимков с его владений на Бонанце и присутствовала при том, как эта репортерша написала огромную статью в шесть колонок касательно

тех же золотоносных участков.

Они вместе и по-королевски обедали в хижине Флосси, на ее же столовом белье. Мало того, люди обращали внимание на некоторые его визиты, и хотя ни в чем предосудительном его, казалось бы, нельзя было обвинить, все же создалась атмосфера, благоприятствующая острым языкам мужчин и насмешкам женщин. Только миссис Эпингуэлл не обращала на все это ни малейшего внимания. Отдаленный шум болтливых языков доносился до нее очень слабо, потому что она привыкла хорошо относиться к людям, верить в них и им и закрывала уши для всяких сплетен. Она слушала, но не слышала.

Совсем иначе обстояло дело с Фредой. У нее не было никаких оснований любить мужчин, но, по странной конструкции своей души, она всегда рвалась к женщинам — к тем самым женщинам, которых, казалось бы, она должна была еще меньше любить. И она всем сердцем рвалась к Флосси, которая находилась теперь на Большом Пути и не побоялась отправиться на холодный, жестокий Север повидать человека, не имеющего больше терпения жить без нее. Фреде она рисовалась слабенькой, беспомощной девушкой со слабо очерченным ртом и прелестно надутыми

губками, с развевающимися солнечными волосами и чудесными глазами, в которых всегда и неизменно отражались все простенькие и милые пустячки жизни. Но в то же время она видела Флосси с завязанными от мороза носом и ртом и устало ковыляющей за собаками в пути. Вот почему однажды на танцевальном вечере Фреда улыбнулась Флойду Вандерлипу.

Весьма мало мужчин были созданы так, что улыбка Фреды могла оставлять их абсолютно равнодушными и спокойными. Во всяком случае, Флойд Вандерлип к числу этих стоиков не принадлежал. Внимание, выраженное натурщицей-венгеркой, заставило его несколько по-иному посмотреть на себя, а несомненный интерес к нему, проявляемый теперь Фредой, совсем вскружил ему голову. Несомненно, в нем имеются некоторые достоинства и качества, на которые женщины сразу же обращают внимание! Какого рода и сорта эти достоинства, он сам не имел ни малейшего представления, но считался с фактом их существования — и вот почему возгордился сверх меры. Ясно, что мужчина, которому удалось чуть ли не сразу привлечь внимание двух женщин, — интересный и даже необыкновенный мужчина! Когда-нибудь, когда у него будет

побольше времени, он специально займется самоанализом и постарается определить, какие такие в нем замечательные особенности, но в настоящее время он возьмет то, что богам угодно послать ему. И мало-помалу им стала овладевать одна робкая мысль: собственно говоря, что он нашел во Флосси? И следствием этой мысли было определенное сожаление по поводу того, что он слишком поторопился с вызовом девушки.

Конечно, серьезно считаться с Флосси в данном случае не приходилось. Его участки на Бонанце были очень богаты и многочисленны, и все это делало его человеком значительным, который должен был считаться с занимаемым им общественным положением.

Ясно, что при сложившихся обстоятельствах он может принимать всерьез только Лорен Лизней. Только она — настоящая, вполне подходящая для него женщина! Она в свое время очень широко и открыто жила и сумеет теперь должным образом использовать его богатство и придать желательный блеск и тон его дому.

Но Фреда улыбалась и продолжала улыбаться до тех самых пор, пока он не стал встречаться с ней довольно-таки часто. Тогда она, в свою очередь, начала кататься по главной улице на

его собаках, что заставило призадуматься венгерку-натурщицу, которая в ближайшее свидание буквально ослепила его своими князьями, кардиналами и забавными интимными анекдотами из придворной и даже королевской жизни. Она показала ему также несколько очень милых посланий, неизменно начинавшихся: «Моя дорогая Лорен!» и кончавшихся: «Преданный вам до гроба». На некоторых письмах имелась собственноручная подпись какой-то ныне здравствующей королевы.

В глубине души своей Флойд искренне удивлялся, что такая знатная женщина уделяет ему столько внимания и посвящает ему чуть ли не весь день и все время. Но натурщица вела свою игру довольно искусно, очень часто проводила лестные параллели между ним и теми благородными и великосветскими персонажами, которые были вызваны в жизнь главным образом ее пылкой фантазией, и довела его до того, что он совершенно потерял чувство меры и стал искренне жалеть о том, что был до сих пор лишен всех прелестей и утех жизни.

Но все же Фреда более искусно проводила свою политику. Если она кому-нибудь льстила, то этот человек не догадывался о лести. Если она сходила

со своего пьедестала, то никто не замечал этого. Если человек чувствовал, что она интересуется им, то чувство это было до того утонченное, что мужчина долго не мог понять, что, собственно говоря, происходит и почему он удостоился такой несомненной чести.

Вот таким-то образом она крепко захватила в свои сети Флойда Вандерлипа и каталась на его собаках.

В это именно время все и случилось, и ошибка обнаружилась. Слухи о частых встречах танцовщицы с Флойдом росли с каждым днем, принимали все более и более определенный характер и, наконец, докатились и до ушей миссис Эпингуэлл. Она, в свою очередь, много думала о Флосси и представляла себе, с каким трудом, с какими мучениями бедняжка пробирается в мокасинах по бесконечным снежным полям, и вот чем объясняется, что супруга полицейского начальника пригласила однажды Флойда Вандерлипа на чай и после того стала приглашать его в свой нагорный домик все чаще да чаще. Тут Вандерлип окончательно потерял голову и, что называется, потонул в море блаженства и самодовольства. Нет, никогда до сих пор на мужчину не производилась подобная атака! Шутка

сказать: на него посягают целых три женщины, причем четвертая находится в пути и в самом скором времени предъявит к нему точно такие же претензии!

Три женщины — и какие женщины!

Но вернемся к миссис Эпингуэлл и к той ошибке, которую она допустила. Об этом деле она очень осторожно и издалека заговорила не с кем иным, как с Ситкой Чарли, который продал собак гречанке. При этом ни одно имя не было упомянуто. Легкий намек был дан только тогда, когда миссис Эпингуэлл сказала:

— Она… ужасная женщина.

На что индеец, из головы которого не выходила натурщица, ответил в тон:

— Она… ужасная женщина.

Он был вполне согласен с тем, что возмутительно становиться между мужчиной и девушкой, которая едет сюда, чтобы выйти замуж за этого самого мужчину.

— Я уверена, Чарли, что это — очень простая девушка! И подумай только: она едет в чужую, неведомую страну, где у нее нет ни единого друга, ни единого человека, которому она могла бы довериться. Мы должны что-нибудь сделать для нее.

Ситка Чарли обещал оказать свое содействие и удалился, нисколько не сомневаясь в том, что дурная женщина — это Лорен Лизней, и восхищаясь благородством миссис Эпингуэлл и Фреды, которые пожелали помочь совершенно незнакомой им Флосси.

Надо сказать, что миссис Эпингуэлл была так же правдива и открыта, как ясный, погожий день. Ситке Чарли, которому пришлось однажды побывать с ней за Холмами Белого Безмолвия, выпала честь навсегда запомнить ее лучистый взгляд, ясно звучащий голос и подавляющую откровенность. У нее была совершенно особая манера отдавать приказания и подходить ко всякому делу прямо и с надлежащей стороны. Познакомившись с Флойдом Вандерлипом и достаточно узнав его характер, она не отважилась подойти к нему с обычной для нее меркой. Но, решив дойти до конца, она не остановилась перед тем, чтобы спуститься в город и поехать к Фреде, причем сделала это посреди белого дня, на виду у всех, и все видели, как она остановилась у двери танцовщицы. Она, равно как и муж ее, стояла выше всяких сплетен и пересудов. Она пожелала видеть эту женщину, говорить с ней — и не видела причины, почему бы ей не сделать этого.

И вот в один прекрасный день, когда термометр показывал ниже 60°, она остановилась на снегу перед дверью Фреды и в продолжение пяти минут вела разговор с горничной танцовщицы. На ее долю выпало сомнительное удовольствие повернуться спиной к двери и пойти назад, в свой дом, причем сердце ее было полно досады по поводу такого отношения к ней.

«Но кто такая эта женщина, которая не пожелала принять ее?» — задала она себе вопрос.

Могло показаться, что все вывернулось наизнанку. Ведь правильнее было бы допустить, что именно гречанка пришла к ней, жене полицейского начальника, и не была принята, а вышло наоборот. Во всяком случае, миссис Эпингуэлл могла утверждать одно: если бы Фреда пожелала явиться к ней на гору — независимо от причины и повода, — она очень радушно допустила бы ее к своему очагу, у которого они уселись бы как две женщины и говорили бы просто как две женщины.

Но вышло так, что она преступила границы условности и сама же унизила себя, потому что, очевидно, ее мысли и ее образ действий не сходились с мыслями и приемами женщин из города. Ей было стыдно, что она довела себя до такого

позора, и вот почему в ее сердце скопилось много недовольства против Фреды.

А между тем Фреда не заслужила такого отношения. Миссис Эпингуэлл удостоила ее высокой чести и явилась к ней, к женщине, потерявшей свое положение в обществе, и Фреда, храня традиции своей прежней жизни, ни в коем случае не могла допустить это. О, в глубине души она поклонялась этой женщине, и для нее не было и не могло быть большей чести и радости, как принять ее в своей хижине и говорить с ней бесконечно долго… Но глубокоуважаемая миссис Эпингуэлл, относясь также с известным уважением к себе, хотя, по мнению многих, она находилась уже за пределами уважения, вынуждена была отказаться от того, чего так страстно желала.

Не успев еще опомниться от недавнего посещения миссис Мак-Фи, жены местного пастора, которая тотчас же по приходе набросилась на нее с бесконечными и оскорбительными упреками, она никак не могла уяснить себе причины этого последнего визита. Она никак не могла представить себе, какую такую беду она наделала, в чем провинилась, и поэтому была уверена, что та женщина, которая сейчас ждет у ее двери, не пришла сюда с целью миссис Мак-Фи: предать

проклятию ее грешную душу.

В таком случае чего ради она явилась? Несмотря на все любопытство, которое обуревало ее, она облачилась в непроницаемую броню тех людей, которые не имеют права на гордость, и, сидя в своей комнате, дрожала, точно девушка под первыми ласками возлюбленного. Если миссис Эпингуэлл очень страдала, возвращаясь к себе, то она страдала отнюдь не меньше нее и, чтобы хоть немного утешить боль, зарылась головой в подушку и так, с сухими глазами и пересохшими губами, немая, лежала долго, без всякого движения.

Миссис Эпингуэлл прекрасно и глубоко изучила человеческое сердце. В этом отношении она имела право считать себя универсальной, так как с почти одинаковой легкостью разбиралась в деяниях цивилизованных людей и варваров. Она понимала и улавливала одни и те же примитивные импульсы у голодного волкодава и умирающего от голода человека и заранее могла предсказать, как при одинаково сложившихся обстоятельствах поступит каждый из них. Для нее всякая женщина прежде всего была женщиной, независимо от того, облачена она в пурпур или же носит лохмотья. И вот почему на Фреду она

смотрела только как на женщину. Она нисколько не удивилась бы, если бы была любезно принята танцовщицей и завела с ней разговор на общую, обеим понятную тему. Точно так же ее не очень удивило бы, если бы Фреда приняла ее сурово и некорректно, что вполне можно было ожидать от такой женщины. Но то, как поступила по отношению к ней танцовщица, было выше ее понимания. И в то же время страшно разочаровало ее. Из этого можно было легко сделать тот вывод, что она совершенно не усвоила себе точки зрения Фреды. И это очень хорошо. Некоторые точки зрения мы можем усвоить себе лишь с большим трудом и путем известного самопожертвования, и — повторяю — это очень хорошо для всего мира, что в некоторых случаях универсальность взглядов и познаний изменяет многочисленным миссис Эпингуэлл. Осквернение нельзя понять без того, чтобы не коснуться грязи, которая всегда и везде пребывает в липком состоянии. Но многих подобные неприятные эксперименты не останавливают. Собственно говоря, все это не имеет большого значения для нашего рассказа, за исключением разве того, что миссис Эпингуэлл возвращалась домой очень огорченная, а сердцу Фреды она стала милей и ближе, чем когда бы

то ни было.

III

И таким-то образом дела шли в продолжение целого месяца. Миссис Эпингуэлл прилагала все старания к тому, чтобы ослабить действие чар греческой танцовщицы на Флойда Вандерлипа, хотя бы до приезда Флосси. Флосси, неустанно изо дня в день пробираясь по ужасающе тяжелой дороге, все ближе и ближе подходила к месту, где ее должен был ждать возлюбленный. Фреда, со своей стороны, отчаянно боролась против венгерки, а венгерка не останавливалась ни перед чем в намерении и стремлении получить долгожданный приз. А мужчина, из-за которого весь сыр-бор разгорелся, носился между ними, как легкий челнок, не помня себя от гордости и моментами считая себя вторым Дон-Жуаном.

В том, что Лорен Лизней в конце концов все-таки овладела им, был виноват он — и только он. Чрезвычайно интересно и поучительно проследить за тем, как мужчина овладевает девушкой, но совершенно невозможно представить те приемы, которыми пользуются женщины, когда они хотят покорить мужчину. Вот почему ни единый пророк на свете не мог бы за двадцать четыре

часа предсказать, что сделает Флойд Вандерлип. Весьма возможно, что вся прелесть венгерки заключалась в том, что она была прекрасным и очаровательным животным. Возможно и то, что она околдовала его старыми, как мир, баснями о дворцах и князьях. В конце концов, легко допустить, что она просто-напросто ослепила его — человека, который всегда жил и работал в самых примитивных и некультурных условиях, — и довела его до того, что он согласился бежать с ней вниз по реке и обвенчаться в Сороковой Миле.

Остановившись на этом намерении, он купил у Ситки Чарли собак — ясно, что такой шикарной женщине, как Лорен Лизней, одной пары саней было слишком мало, а затем направился вверх по реке с тем, чтобы отдать распоряжения управляющему его участками на Бонанце на время своего отсутствия.

В общем, он довольно туманно дал понять, что ему нужны собаки для перевозки леса с мельницы к шлюзам, но Ситка Чарли сразу все понял и тем подтвердил слухи о своей догадливости.

Он согласился представить к известному сроку требуемых от него собак, но едва Флойд Вандерлип повернулся к нему спиной, с тем чтобы

уехать на свой участок, как Ситка Чарли в неописуемом смятении духа побежал к Лизней.

Не может ли она сказать ему, куда уехал мистер Вандерлип? Он условился достать этому джентльмену к известному сроку собак, но некий бесчестный человек, а именно немецкий купец Мейерс, закупил чуть ли не всех свободных собак и тем страшно поднял на них цену. Ему необходимо повидаться с мистером Вандерлипом, потому что из-за этого самого бесчестного человека он на целую неделю опоздает против обусловленного срока. Так вот, не знает ли она, куда делся мистер Вандерлип? Поехал вверх по реке? Очень хорошо! Он тотчас же отправится по его следам и сообщит ему о непредвиденной и неприятной отсрочке. Верно ли он понял ее, что джентльмену нужны собаки в пятницу вечером? Собаки действительно необходимы к этому дню? Это, конечно, очень неприятно, но во всем опять же виноват этот бесчестный немец. Животные уже стоят на пятьдесят долларов дороже — каждое! — и если ему придется платить по такой высокой цене, то его потери будут огромны. Он должен узнать, согласен ли мистер Вандерлип на такие дополнительные расходы. Она думает, что он согласится? В качестве его друга она даже готова поручиться

за него и выдать разницу заранее? А он ничего против того не будет иметь? Это очень хорошо, что она так защищает его интересы! Значит, она говорит, что в пятницу ночью? Очень хорошо! Собаки будут на месте к условленному времени.

Ровно через час Фреда уже была поставлена в известность, что бегство назначено на пятницу, ночью. В то же время она узнала, что Вандерлип уехал в Бонанцу, и, таким образом, ее руки были связаны.

В пятницу утром по льду прибыл Деверо, государственный почтальон, с почтой. Вместе с почтой он привез сведения о Флосси. Он проехал мимо ее стоянки на Шестидесятой Миле. Люди и собаки находились в хорошем состоянии. Надо думать, что она приедет на следующий день.

Услышав это, миссис Эпингуэлл почувствовала значительное облегчение. Находясь в данную минуту на реке, Флойд Вандерлип был в безопасности, а затем, как только гречанка-танцовщица снова попытается овладеть им, ей помешает невеста, которая к тому времени уже будет здесь. Но в тот же день, после обеда, огромный сенбернар, доблестно защищавший ее дверь, был опрокинут голодной сворой только что прибывших маламутов. Он совершенно потонул секунд

на тридцать под этой серой взлохмаченной массой, но в самую критическую минуту был спасен двумя сильными людьми, которые с топорами в руках бросились на выручку. Еще две минуты — и можно было бы с уверенностью сказать, что он был бы разорван на части и что части эти были бы унесены в желудках наступавших врагов. Но и при удачно сложившихся для него обстоятельствах он был здорово потрепан. Ситка Чарли первым делом постарался исправить нанесенные повреждения, причем всего больше внимания отдал правой передней ноге, которая слишком долго оставалась в челюсти маламута.

Когда, покончив с делом, он надел рукавицы и собрался было уйти, разговор случайно коснулся Флосси и, само собой разумеется, «этой скверной женщины». Тут же Ситка Чарли заметил, что «она» собирается сегодня ночью бежать вместе с Флойдом Вандерлипом, и нерешительно добавил, что в это время года всего больше бывает несчастий в дороге.

Вот почему миссис Эпингуэлл рассердилась на Фреду больше, чем когда бы то ни было. Она написала краткую записку, адресовала ее человеку, который был во всем виноват, и передала ее посланцу, с наказом ждать Флойда Вандерлипа

на том же стратегическом пункте. Вот как случилось, что собственник богатейших участков на Бонанце, весело к заходу солнца возвращаясь на своих санях домой, получил эти два письма одновременно. Письмо Фреды он тотчас же разорвал на куски. Нет, он ни за что не желает видеть ее! Ему этой ночью предстоят более важные дела! Кроме того, при создавшемся положении вещей она вышла из круга. Но миссис Эпингуэлл! Он постарается исполнить ее желание, или нет, не так! Все то, на что только он будет способен, он постарается сделать для нее и таким образом пойти навстречу ее желаниям. Он отправится на губернаторский бал и там внимательно выслушает все то, что она имеет сказать ему. Судя по тону записки, можно было думать, что речь пойдет о довольно важных вещах. Очень может быть… Тут он усмехнулся.

Черт побери! Но какой он счастливчик! Ему адски везет на женщин. Разорвав письмо на мелкие части и пустив их по морозному ветру, он стегнул собак и направился к своей хижине. Сегодня вечером устраивался маскарад, и ему предстояло еще найти костюм, который после бала в Оперном доме, несколько месяцев назад, он швырнул бог знает куда. Кроме того, ему надо

было побриться и пообедать. Таким образом, поневоле создавалось впечатление, что из всех заинтересованных лиц он единственный не знал о том, что Флосси находится так близко.

— Пригони собак ровно в полночь к проруби у больницы! Но смотри — не подведи меня! — сказал он Ситке Чарли, который счел своевременным уведомить его, что все собаки уже собраны, за исключением одной, которая к условленному времени тоже будет на месте. — Вот мой мешок! Вот весы! Отвесь песку, сколько тебе нужно, и не приставай ко мне больше с этими пустяками. Мне некогда: я тороплюсь на бал.

Ситка Чарли отвесил столько золотого песку, сколько ему причиталось, и после того отнес Лорен Лизней письмо, в котором — по его мнению — имелись точные указания относительно встречи у больничной проруби ровно в полночь.

IV

Дважды Фреда посылала специальных послов в Бараки, где бал был уже в полном разгаре, но оба посла вернулись к ней без ответа. Тогда она сделала то, на что была способна только Фреда, а именно она надела меха, маску и лично отправилась на губернаторский бал.

Но в городе установился обычай — не совсем оригинальный, по мнению многих, — к которому, однако, местная «официальная свора» издавна привыкла. По-своему это был очень мудрый принцип, так как он способствовал «естественному подбору» обычных посетителей подобных балов и защищал жен официальных лиц от всевозможных неприятных эксцессов. Для каждого бала избирался особый комитет, единственная обязанность которого заключалась в том, что члены его должны были стоять у дверей и предлагать всем входящим приподнимать маску. Большинство мужчин всячески отбояривалось от подобной чести, но почти всегда случалось так, что в комитет входили именно те лица, которым эта почетная роль всего меньше улыбалась.

Даже местный капеллан был слишком мало знаком с лицами городских жителей для того, чтобы указать, кого можно допустить в высокое собрание, а кого надо выставить за дверь, но в еще более тяжелом положении оказывались другие достойные граждане, на которых выпадала роль привратников и которые довольно охотно эту роль принимали. Что касается миссис Мак-Фи, то за эту честь она готова была пожертвовать всеми своими шансами на будущее спасение. Однажды

она была избрана, но пропустила ужасное трио, которое достаточно наскандалило до тех пор, пока удалось установить личности безобразников. С тех пор на должность привратников избирались лица, на которых можно было вполне положиться, но которые всегда с большой неохотой принимали предложение.

В эту ночь у дверей стоял Принс. На него было произведено известное давление, и вышло так, что он не успел опомниться, как был определен на «должность», которая угрожала ему тем, что он в кратчайший срок растеряет половину своих закадычных друзей — и только для того, чтобы вторая половина могла позабавиться и повеселиться в полное свое удовольствие. Трое или четверо, которым он уже отказал в пропуске, были те самые люди, которых он давно и прекрасно знал по дороге и работе, — настоящие и верные товарищи, но совершенно неподходящие для такого избранного общества! Он уже подумывал о том, как бы отказаться от этой отвратительной обязанности и сдать свой пост, как вдруг перед ним, в круге света, отбрасываемого лампой, остановилась женщина.

Фреда! Он мог бы поклясться, что это была именно она, хотя бы уже по одним мехам, не гово-

ря уже о ее своеобразной манере держать голову. Вот кого он всего менее ожидал видеть на этом вечере! Он был о ней гораздо лучшего мнения и никак не мог допустить, что она отважится на позор отказа или — если пройдет — на презрение женщин.

Он отрицательно повел головой, даже не вглядевшись в нее. Он слишком хорошо знал Фреду, чтобы ошибиться. Но она подошла ближе к нему, еще ближе… Она приподняла черную шелковую маску и мгновенно опустила ее. В продолжение одного молниеносного, но вечного мгновения он глядел на это лицо, но ведь не без основания все говорили в городе, что Фреда играет мужчинами, как ребенок мыльными пузырями. Ни единого слова не было произнесено ни им, ни ею, но Принс отступил назад — и через две минуты был позорно смещен с поста, на котором не мог удержаться с должным достоинством.

Гибкая, стройная женщина, каждое движение которой было исполнено чувства изумительного ритма и силы, стала прокладывать себе путь среди многочисленных гостей, то останавливаясь около одной группы, то искусно огибая и разглядывая другую. Мужчины тотчас же признали ее меха и удивлялись: это были те самые мужчины,

которым в скором времени предстояло дежурить у входных дверей. Они удивлялись, но никто из них не выразил желания что-нибудь сказать по поводу ее столь неожиданного появления.

Иначе обстояло дело с дамами. У них был более наметанный глаз, который сразу различал эти прекрасные линии тела и чудесное умение носить платье и держать себя. И тут же они решили, что новая гостья не принадлежит к их кругу. Между прочим, наибольшее внимание привлекли меха Фреды.

Миссис Мак-Фи, появившись из верхней комнаты, где уже все было приготовлено для пира, уловила взгляд ослепительных вопрошающих глаз из-за прорезей в шелковой полумаске и вздрогнула. Она старалась вспомнить, где и когда она видела эти глаза, и тотчас же перед ее взором встал гордый и непокорный образ женщины, которую она однажды бесплодно пыталась направить по стезе добродетели.

Вот почему эта добрая женщина сама ступила на стезю сильного и праведного гнева и пошла по пути, который вскоре привел ее в общество миссис Эпингуэлл и Флойда Вандерлипа.

Миссис Эпингуэлл как раз только что нашла случай и предлог, чтобы поговорить с Вандер-

липом. Ввиду того что Флосси находилась уже совсем близко, жена полицейского начальника решила пойти прямо к своей цели, и едкая, небольшая, вразумительная речь так и готова была сорваться с ее уст, как вдруг дуэт превратился в трио. Она обратила — и не без удовольствия — внимание на слабый иностранный акцент, с каким были произнесены слова: «Прошу прощения, сэр!» — с этими словами женщина в мехах остановила Флойда. Миссис Эпингуэлл вежливо кивнула головой в знак того, что она временно отпускает своего кавалера.

Но в этот миг в воздухе высоко поднялась праведная длань миссис Мак-Фи, в результате чего шелковая черная маска была сорвана с лица ошеломленной женщины. Очаровательнейшее лицо и пара блестящих глаз были выставлены напоказ тем, кому угодно было смотреть, а угодно это было всем присутствующим. Флойд Вандерлип был страшно сконфужен. Положение требовало решительных действий со стороны человека, который не теряется ни при каких обстоятельствах, но Флойд едва ли точно сознавал, что, собственно говоря, случилось. Он с самым беспомощным видом стал озираться вокруг.

Не менее его была смущена и миссис Эпингуэлл.

Она ничего не понимала. Настолько требовалось какое-нибудь разъяснение, которое, казалось, висело уже в воздухе, и его, наконец, сделала сама миссис Мак-Фи.

— Миссис Эпингуэлл, — начала она резким фальцетом, — мне доставляет огромное удовольствие познакомить вас с Фредой Молуф — *с мисс Фредой Молуф, если только я не ошибаюсь!*

Фреда невольно повернулась. С открытым лицом она чувствовала себя словно во сне, словно голой посреди этих замаскированных людей, которые тесным кругом обступили ее. Ей казалось еще, что она попала в голодную волчью стаю, которая вот-вот разорвет ее на части. Очень может быть, что некоторые из них чувствовали к ней определенную жалость, но мысль об этом еще более ожесточила ее. О, в таком случае она предпочитает их презрение! Она была очень упорна, эта женщина! И раз ей уже удалось загнать добычу в самую середину стаи, то все равно, здесь ли миссис Эпингуэлл, нет ли ее, она уже не отступит и не выпустит добычи из рук.

Но тут миссис Эпингуэлл сделала нечто весьма странное. Вот наконец эта Фреда, подумала она, вот эта танцовщица и губительница мужчин! И эта женщина не допустила ее в свой дом!

Она мгновенно почувствовала отвратительное состояние этой женщины с открытым лицом, почувствовала так остро, точно все это произошло с ней лично. Очень может быть, что эти чувства были вызваны чисто саксонской ненавистью к борьбе с безоружным врагом. Может быть также, что бой при равных условиях сулил ей больше радости при победе. Вероятнее всего, что в данном случае оба импульса оказали свое влияние; но, так или иначе, она сделала очень странную вещь.

Как только послышался тоненький, дрожащий от ненасытной злобы голосок миссис Мак-Фи и Фреда невольно повернулась, миссис Эпингуэлл, в свою очередь, повернулась, сняла маску с лица и поклонилась гречанке, словно знакомой. И тут наступил второй молниеносный и вместе с тем бесконечный момент, когда обе женщины пристально смотрели друг на друга. У одной глаза сверкали с чисто метеорическим блеском. Она горела желанием ринуться в бой и в то же время заранее страдала и заранее бранила себя за то оскорбительное, тяжелое и невыносимо смешное положение, в которое она сама себя поставила. Вся она была похожа на бурно пылающий, прекрасный и готовый каждое мгновение

извергнуться вулкан.

А другая женщина стояла совершенно спокойно, с холодными глазами и невозмутимо ясным выражением лица. Сильная сознанием собственного достоинства, полная уверенности в себе, бесстрастная, непоколебимая, она в эту минуту была похожа на статую, высеченную из холодного, сурового мрамора. Какая бы пучина сейчас ни разверзлась перед ней, она все равно переступила бы через нее. Она не думала ни о каких мостах, не считала, что она снисходит до кого-то или до чего-то. Нет, весь вид ее говорил о том, что она стоит пред женщиной, совершенно равной ей во всех отношениях.

Обе они были женщины, и на платформе этой общности она сейчас твердо и уверенно стояла.

И именно это обстоятельство бесило Фреду. Ничего подобного она не переживала бы, будь она другой породы или происхождения; но в данном случае ее душа реагировала совершенно правильно, и Фреда могла постигнуть самые глубочайшие глубины психологии миссис Эпингуэлл и верно понять, что руководило ею.

«Почему вы не отдернете края платья вашего от меня? — готова была она закричать в эту первую ослепительную и одурманивающую минуту. —

Плюньте на меня, издевайтесь надо мною, и это будет большей милостью для меня, чем то, что вы сейчас делаете!»

Она задрожала. Ноздри ее расширились, но она тут же на месте овладела собой, вернула поклон и обратилась к Флойду Вандерлипу.

— Идемте со мной, Флойд, — очень просто сказала она. — Вы мне нужны!

— Что такое, что?.. — в запальчивости начал он и тотчас же замолчал, найдя в себе достаточно силы и такта, чтобы не продолжать в начатом духе. Но про себя он подумал: «Что за черт! Бывал ли какой-либо другой человек в таком дурацком положении, как я сейчас?»

Слова, которые он готов был произнести, остановились у него в горле, прилипли к небу. Он пожал своими могучими плечами и в нерешительности и вместе с тем умоляюще посмотрел на обеих женщин.

— Ради Бога, простите, но разрешите мне на одну минутку переговорить с мистером Вандерлипом! Мне нужно немедленно переговорить с ним.

Несмотря на то что миссис Эпингуэлл произнесла эти слова очень тихо и голосом, похожим на флейту, в каждом слоге чувствовалась большая и

подавляющая сила.

Мужчина взглянул на нее с большой признательностью. Конечно, он был сейчас всецело на ее стороне.

— Мне очень печально! — ответила Фреда. — Но я не могу никак сделать это. У меня просто времени не хватит. Мистер Вандерлип должен немедленно отправиться со мной.

Условные, общепринятые фразы с удивительной легкостью срывались с ее уст, но в душе она не могла не улыбнуться при мысли о том, до чего эти слова незначительны и слабы. Уж лучше было бы, если бы она кричала: тут это было бы более уместно.

— Но, мисс Молуф, разрешите узнать, кто вы такая, что разрешаете себе всецело овладеть мистером Флойдом Вандерлипом и командовать им?

При этих словах на лице Флойда отразилось большое облегчение, и в знак одобрения он кивнул головой. О, миссис Эпингуэлл вызволит его из этой неприятности!

Но Фреда тем временем приготовилась к ответу.

— Я... я... — начала она нерешительно, но женский мозг тотчас же пришел к ней на по-

мощь. — Но позвольте, разрешите узнать, кто вы такая, что задаете мне подобный вопрос?

— Я?! Я — миссис Эпингуэлл и…

— Ах, вот как! — резко воскликнула Фреда. — В таком случае вы — жена капитана, который, значит, приходится вам мужем! Я — только танцовщица, не больше, но все же позволю себе спросить вас: зачем вам понадобился этот человек?

— Ну, знаете, такое неслыханное поведение! — не выдержала миссис Мак-Фи, готовая броситься в атаку, но миссис Эпингуэлл, одним взглядом запечатав ее уста, подошла к делу с новой стороны.

— Ну, мистер Вандерлип, раз мисс Молуф сделала такую «заявку» на вас и так торопится, что не может уступить мне вас даже на две минуты, я вынуждена обратиться непосредственно к вам. Вы ничего не имеете против того, чтобы побеседовать со мною с глазу на глаз?

Челюсти миссис Мак-Фи сомкнулись с видом полнейшего удовлетворения. Дело принимало такой оборот, что можно было надеяться на полную ликвидацию инцидента.

— Ну… ну… конечно… Что значит… — пробормотал Вандерлип. — Я очень буду рад… — В надежде на скорое избавление он сделался гораздо

разговорчивее.

В конце концов все мужчины — не больше как стадные животные, прирученные и выученные. И тут надо указать на то, что в свое время гречанке пришлось иметь немало дела с дикими самцами человеческой породы. Услышав последние слова Флойда Вандерлипа, она повернулась в его сторону с таким дьявольским огнем в ярко блещущих глазах, какой бывает только у покрытой блестками укротительницы диких зверей, когда она взглянет на льва, который вдруг, что называется, ни с того и ни с сего начал развивать чрезвычайно вредную теорию о пользе независимости. Точно ударом бича, зверь во Флойде был немедленно укрощен.

— То есть… я хотел сказать… что несколько попозже я… весь в вашем распоряжении. Завтра, миссис Эпингуэлл, завтра…

Он старался облегчить свое состояние уверением, что если бы он остался дольше на балу, то навлек бы на себя еще большие неприятности. К тому же, сказал он себе, надо торопиться: приближается час встречи у госпитальной проруби. Господи Боже мой! А ведь он никогда до сих пор не относился с доверием к Фреде! Но в данную минуту она великолепна!

— Я очень благодарна вам, миссис Мак-Фи, за то, что вы помогли мне снять маску, — колко произнесла Фреда.

Миссис Мак-Фи, на время потеряв дар речи, совершенно молча вернула маску, сорванную с непрошеной гостьи.

— Спокойной ночи, мисс Молуф! — приветливо сказала миссис Эпингуэлл, которая держала себя с необыкновенным достоинством, даже сознавая свое поражение.

Фреда вежливо ответила миссис Эпингуэлл, хотя испытывала непреодолимое желание броситься к ее ногам и молить о прощении, нет, не о прощении, но о чем-то, чего она сама не могла выразить, но что было одним из страстнейших желаний за всю ее жизнь.

Флойд Вандерлип хотел подать ей руку, но она настигла свою жертву посреди стаи, и то чувство, которое некогда побуждало римских императоров вести побежденных врагов за своей победной колесницей, подсказало Фреде, что она должна пойти вперед. Флойд Вандерлип последовал за ней, стараясь хоть кое-как восстановить свое умственное равновесие.

V

На дворе стоял лютый мороз.

До дома танцовщицы им надо было пройти всего лишь четверть мили, но и за этот короткий промежуток времени замерзшее дыхание совершенно опушило лицо Фреды, а большие усы Вандерлипа так облипли льдом, что ему больно было раскрывать рот и говорить. При зеленоватом свете северного сияния можно было видеть, что ртуть в термометре, висевшем с наружной стороны дверей, замерзла. Тысячи собачьих голосов, слившись в непередаваемо жалобном хоре, изливали перед бесстрастными и равнодушными звездами свои вековечные жалобы и молили о милосердии.

Все в воздухе застыло и не шевелилось. Для собак не было ни палатки, где бы они могли укрыться от холода, ни малейшей лазейки, через которую они могли бы пробраться в теплый уголок. Кругом была стужа, немилосердная стужа, и они лежали на открытом воздухе, расправляя свои ноющие от тяжелой дороги мускулы, и волчьим воем выли в небо.

Первое время ни Фреда, ни Флойд не проронили ни слова. В тот момент, когда горничная помог-

ла своей госпоже снять меха, Флойд подбросил дров в печь. Затем девушка удалилась с вещами в другую комнату, а Флойд, склонившись над раскаленной печью, согревал верхнюю губу, которая все еще не повиновалась ему. Покончив с этим делом, он свернул папиросу и стал лениво следить за поднимающимися в воздух ароматными кольцами дыма.

Фреда бросила мимолетный взгляд на часы. До полуночи оставалось еще полчаса. Каким образом удержать его? Сердился ли он на нее за то, что она проделала? Какое настроение у него сейчас? Каким образом всего лучше подойти к нему?

Эти вопросы проносились в ее мозгу вовсе не потому, что она не была уверена в себе. Нет, нет, нисколько! Если понадобилось бы, то она удержала бы его под револьверным дулом до той самой минуты, когда Ситка Чарли выполнит ее поручение. И Деверо тоже.

В ее распоряжении было очень много способов, и сознание этого еще более разжигало ее презрение к мужчинам, в частности, к ее гостю. Когда она опустила голову на руку, перед ее мысленным взором мгновенно и ярко пронеслись картины ее собственного детства с его мрачным началом и трагическим концом, и на один момент ею овла-

дело большое желание преподать Вандерлипу урок. Господи! Да он был бы хуже и ниже всякого зверя, если бы на него не подействовал этот рассказ, да еще в ее изложении! Но… Он не стоит, не стоит того, чтоб она так волновалась из-за него…

Свеча стояла справа от нее, и в то время, как она думала об этих вещах, которые были столь же священны, как и постыдны для нее, Флойд Вандерлип любовался розовой прозрачностью ее уха. Она обратила на это внимание, настроилась соответствующим образом и повернула голову так, чтобы четко вырисовался ее профиль, который занимал не последнее место в сокровищнице ее прелестей. Она, конечно, не была виновна в том, что природа наделила ее такой красотой, но знала, что как женщина она стоит очень высоко. Она давно изучила все безупречные линии своего лица и, хотя нисколько не нуждалась в том, умела при желании выставить свою красоту в наиболее привлекательном свете и виде.

Свеча начала мигать. Уж по самой природе своей Фреда не могла сделать что-либо неграциозно, но, как бы против собственной воли, она еще более подчеркнула свою чарующую красоту, когда подалась вперед и поправила красный фитиль средь желтого пламени. Затем она снова

опустила голову на руку и начала сосредоточенно глядеть на Флойда; а нет такого мужчины на свете, который оставался бы равнодушным, когда на него пристально глядит красивая женщина.

Она не очень торопилась начать разговор. Если ему нравилось такое промедление, то ей оно нравилось еще больше. Он устроился очень удобно, услаждая свои легкие никотином, а глаза тем, что не отрывал их от прекрасной женщины. В комнате было тепло, уютно, в то время как у госпитальной проруби начиналась дорога, по которой предстояло пробираться в продолжение мучительно долгих и невыносимо студеных часов…

Он чувствовал, что должен сердиться и, во всяком случае, выразить недовольство по поводу той сцены, что Фреда устроила ему на балу, но, как ни странно было, он не испытывал в душе никакой досады. Собственно говоря, ровно ничего не случилось бы, если бы в дело не вмешалась эта уродливая и подлая баба Мак-Фи! Будь он губернатором, он облагал бы тяжелым налогом, в сто унций в три месяца, всех этих христианских акул и витающих в небесах коршунов.

Надо отдать справедливость Фреде: она вела себя как настоящая леди и с точки зрения при-

личия не уступала самой миссис Эпингуэлл! Вот чего он никогда не ожидал от этой танцовщицы! Он по-прежнему пристально вглядывался в Фреду, причем всего дольше останавливался на ее глазах, за глубоко серьезным выражением которых он не мог видеть таящуюся еще глубже насмешку.

Черт возьми, какая очаровательная женщина! Но почему она так пристально глядит на него? Уж не хочет ли она тоже выйти за него замуж? А почему бы и нет! Не она одна мечтает об этом! Что касается ее внешности, то она не оставляет желать ничего лучшего. Она прелестна! И молода! Гораздо моложе Лорен Лизней. Ей, должно быть, двадцать три, двадцать четыре года, максимум двадцать пять. К тому же ей не угрожает полнота: это сразу бросается в глаза. Этого нельзя сказать о Лорен! Не может быть сомнения в том, что с тех пор, как она перестала позировать, она сильно пополнела. Но ничего! Предстоящая дорога поубавит на ней жиру! Он заставит ее бегать на лыжах впереди собак. Это средство одинаково на всех действует и никогда не изменяет!

Но вдруг его мысль перенеслась к тому времени, когда они будут жить во дворце под ленивым небом Средиземного моря. Что тогда будет? Как

тогда будет выглядеть Лорен? Ведь там не будет ни дороги, ни мороза, ни голода, а жизнь потечет страшно однообразно и монотонно. Это не может не отразиться на ней; и она с каждым днем будет стареть и полнеть. В то время как Фреда…

Он бессознательно для самого себя вздохнул и горько пожалел о том, что не родился в Турции, и… и вернулся на Аляску.

— Ну?

Обе стрелки часов, находясь в вертикальном положении, указывали ровно полночь. Было время отправляться на условленное место у госпитальной проруби.

— О!

Фреда вздрогнула и сделала это так же очаровательно, как это делают все женщины, желающие соблазнить мужчину. Когда мужчина убежден в том, что женщина, заглядевшись на него, совершенно забыла обо всем окружающем, он должен быть на редкость хладнокровным и стойким, чтобы найти в себе достаточно силы подняться с места, попрощаться и пойти по своим делам.

— Я как раз хотел спросить вас, по какому делу вы желали видеть меня! — сказал Вандерлип, подвигая свое кресло поближе.

— Флойд! — произнесла она, глядя ему по-

прежнему в глаза. — Флойд, я страшно устала от подобной жизни. Я хочу уехать отсюда. Я не могу оставаться здесь до тех пор, пока вскроется река. Я умру, если останусь здесь так долго. Я нисколько не сомневаюсь, что будет именно так, как я говорю вам: я умру, я не в состоянии выдержать. Я хочу бросить все это и уехать — как можно скорее.

Она с немым призывом положила свою руку на его руку, которая повернулась и сделалась западней, цепко держащей свою добычу.

«Вот еще одна женщина, которая сама бросается ко мне на шею!» — подумал он и сказал себе, что ничего особо не приключится с Лорен, если ей придется немного подождать у проруби.

— Ну?

Теперь этот вопрос мягко и с тоской задала Фреда.

— Но я не знаю, что мне ответить вам! — поспешил он сказать, удивляясь тому, что дело подвигается вперед гораздо скорее, чем он думал. — Я лично ничего лучшего и не желал бы. Ведь вы, Фреда, сами прекрасно понимаете и знаете это!

Она кивнула головой. Стоит ли удивляться тому презрению, которое она питала ко всему

мужскому роду!

— Но, видите ли… Я помолвлен… Вы, конечно, и об этом знаете. Сюда приезжает девушка, на которой я должен жениться. Собственно говоря, я сам не знаю, что случилось со мной, когда я сделал ей предложение, но все дело в том, что я был тогда так непростительно молод, так глупо горяч…

— Да, я знаю это, но все же говорю вам, что я должна как можно скорее уехать отсюда! — продолжала она, как бы не обращая никакого внимания на то препятствие, которое он выдвинул в виде извинения. — Я мысленно перебрала всех местных мужчин и пришла к твердому убеждению, что…

— Что для этого дела я — наиболее подходящий?

Она благодарно улыбнулась ему за то, что он избавил ее от необходимости сделать такое мучительное признание. Он привлек ее головку к своему плечу, и аромат ее волос сильно ударил ему в голову — так сильно, что он вдруг почувствовал, как один пульс, общий пульс бьется, бьется там, где соприкасаются их ладони. С точки зрения чисто физиологической это явление вполне понятно и легко может быть объяснено, но для человека, обнаружившего его впервые,

оно представляется чрезвычайно странной и чудесной вещью. Дело в том, что до сих пор Флойду Вандерлипу пришлось больше касаться ручек лопат, чем женских ручек, и это ощущение было полно для него новизны и неведомой прелести.

Фреда покорно опустила голову на его плечо, ее волосы так забавно щекотали его щеку, ее глаза встретились с его глазами, и они были так мягки, они светились такой нежностью, что ничего удивительного не было в том, что на время он совершенно потерял голову. Если он немного изменил Флосси, то почему бы ему не изменить и Лорен? Не виноват же он в том, что все женщины пристают к нему и не дают возможности быть таким аккуратным, каким он сам хотел бы быть. Ну вот теперь он просто не в состоянии торопиться!

Денег у него несметное количество, и если правильно разобраться, то Фреда — единственная женщина, которая могла бы извлечь из его богатства настоящую ценность и пользу. Если бы он женился на ней, то, несомненно, все мужчины завидовали бы ему! Но не надо торопиться. Нужно быть как можно осторожнее.

— Приходилось ли вам мечтать о дворцах? — спросил он.

Она отрицательно повела головой.

— Ну а я, признаться, подумывал об этом, и подумывал совсем недавно, но вот теперь я пришел к убеждению, что от жизни во дворцах становишься страшно ленивым и рыхлым.

— Совершенно верно! — поспешила она успокоить его. — Такая жизнь хороша на время. Сам по себе мир создан великолепно, но прежде всего и больше всего мы нуждаемся в разнообразии. Часть времени мы должны работать напряженно, не покладая рук, а другая часть должна пройти в абсолютном отдыхе. Хорошо сделать увеселительную прогулку по Южным морям, а затем на миг завернуть в Париж. Зиму провести в Южной Америке, а лето — в Норвегии. Несколько месяцев приятно пожить в Англии.

— В хорошем обществе?

— Ну само собой разумеется. В лучшем обществе! А после всего этого опять закатиться на Гудзонов залив и покататься на собаках. Ведь вы сами понимаете, что главная прелесть для всех нас заключается в перемене обстановки. Такой сильный человек, как вы, полный энергии, не может, конечно, выдержать долгую жизнь во дворцах. На год вас там не хватит! Это хорошо для изнеженного, женственного мужчины, но не для вас — никоим образом! Ведь вы мужчина, самый

настоящий мужчина!

— Вы так думаете?

— Да не думаю, а знаю! Это так ясно! Обратили ли вы когда-нибудь внимание на то, как сильно влечет к вам женщин?

Его наивное сомнение было очаровательно.

— Нет, к вам страшно влечет! И почему? Да очень просто: только потому, что вы настоящий тип мужчины! В вас есть все то, что нужно: сила, мускулы, смелость. Короче говоря, вы — мужчина!

С этими словами она снова бросила мгновенный взгляд на часы. Они показывали половину первого ночи. Она дала Ситке Чарли льготных тридцать минут, и теперь ей было совершенно неважно, когда приедет Деверо. Ее дело было сделано.

Вот почему она легко подняла голову, естественно рассмеялась, высвободила свою руку, поднялась с места и позвала девушку:

— Алиса, подайте, пожалуйста, мистеру Вандерлипу его парку. Его перчатки лежат на полке, возле печки.

Флойд Вандерлип ровно ничего не понимал.

— Разрешите мне, Флойд, поблагодарить вас за любезность, которую вы оказали бедной жен-

щине. Ваше время было бесценно для меня, и теперь я могу сказать, что вы сделали доброе дело. Вот что, милый мой. Если по выходе из моей хижины вы повернете влево, то таким образом всего скорее доберетесь до госпитальной проруби. Спокойной ночи! Я иду спать.

Флойду Вандерлипу пришлось прибегнуть к довольно резким выражениям для того, чтобы дать выход своему разочарованию и смущению. Алиса не любила присутствовать при том, как мужчины ругаются, и она уронила парку Вандерлипа на пол, а поверх нее бросила его рукавицы. После того она двинулась в сторону своей госпожи, но испортила ей уход тем, что Фреда споткнулась о лежавшую на полу парку. Флойд Вандерлип бросился к ней и, сильно сжав ее кисть, заставил подняться на ноги. Но она только рассмеялась в ответ. Она нисколько не боялась мужчин. Разве ей не приходилось выносить от них самое ужасное — и выжить?

— Только не будьте грубы! — наконец произнесла она. — А затем я скажу вам следующее: я передумала! — И она взглянула на свою плененную кисть. — Я решила не идти еще спать и посидеть с вами. Сядьте и вы, и чем быть смешным, будьте лучше умником и устраивайтесь

поудобнее. Вы имеете предложить мне какие-нибудь вопросы?

— Да-с, дорогая леди, имею! И вам придется на них ответить! — Он все еще не выпускал своей добычи. — Что вам известно относительно проруби? Что это значит? Впрочем, мы успеем поговорить.

— О господи, да ничего особого тут не случилось. Просто-напросто у Ситки Чарли назначено было свидание с одной дамой, которую вы, быть может, случайно знаете. Ввиду того что должного опыта у Чарли нет, и так как он не хотел, чтобы там присутствовал человек, очарование которого известно каждому и всякому, он попросил меня как-нибудь помочь ему. Вот и все! Теперь они уехали и уже с полчаса, пожалуй, несутся по снежному пути.

— Что такое? Уехали — и без меня?! Но ведь он — индеец!

— Ну видите ли, о вкусах не спорят! В особенности о женских!

— Но подумайте: в каком положении я-то очутился! Я потерял четыре тысячи долларов на собаках, лишился прехорошенькой женщины — и ровно ничего взамен не получил. За исключением вас, конечно! — прибавил он после

мгновенного раздумья. — И, строго говоря, за вас — это не такая уж высокая цена!

Фреда пожала плечами.

— Я предлагаю вам приготовиться как можно скорее. Я займу у знакомых пару запряжек, и через несколько часов мы уедем.

— Нет, знаете, я уж лучше пойду спать!

— А я вам советую уложиться, и, по-моему, это будет гораздо лучше для вас. Пойдете ли вы спать или не пойдете, но клянусь всеми чертями, что когда сюда подадут собак, я увезу вас! Очень может быть, что вы дурачили меня, но я-то принял ваши дурачества всерьез и соответственно с этим и поступлю. Вы слышите?

Он снова до мучительной боли сжал ее кисть, но улыбка на ее губах расцвела еще ярче прежнего, и казалось, что она напряженно прислушивается к чему-то снаружи. Вдруг послышался звон колокольчиков, затем — мужской голос, визг полозьев по снегу, и чьи-то сани, показавшись из-за угла, остановились у самой хижины Фреды.

— Ну а теперь-то вы отпустите меня и дадите мне спать?

И сказав это, Фреда широко распахнула двери. В теплую комнату клубами ворвался мороз, и тотчас же на пороге, на фоне пламенеющего

северного сияния, в волнах пара, показалась женщина в потертых от дороги мехах, которые доходили ей до колен. Женщина нерешительно оглянулась, сняла повязку с носа, и глаза ее зажмурились от яркого пламени свечи. Вандерлип остолбенел.

— Флойд! — закричала девушка с радостным вздохом облегчения и бросилась к нему.

Что оставалось ему делать, как не расцеловать эту охапку мехов! Впрочем, это была прехорошенькая охапочка, которая с очень усталым, но счастливым видом прижалась к любимому.

— Ах, Флойд, как это хорошо было с вашей стороны, что вы прислали мне с Деверо свежую запряжку собак! — промолвила охапка. — В противном случае я никак не добралась бы сюда раньше завтрашнего дня!

Флойд Вандерлип ровно ничего не понимал, взглянул на Фреду, и вдруг в его глазах зажегся новый огонь: он сразу все понял.

— Ну да, я хорошо сделал, что послал Деверо? — спросил он.

— Но, дорогой мой, неужели же вы не могли еще немного подождать? — спросила в свою очередь Флосси.

— О, мне уже надоело ждать, и ждать, и

ждать! — решительно ответил он, подняв Флосси так, что ее ноги совершенно оторвались от пола, и вышел с ней на улицу.

В эту же ночь совершенно неожиданная вещь приключилась с его преподобием, миссионером Джемсом Брауном, который жил среди туземцев, на несколько миль ниже по Юкону, и который всю свою жизнь и все свои помыслы отдавал тому, чтобы индейцы шли по пути, ведущему непосредственно в рай, придуманный белым человеком. Он был разбужен каким-то неведомым ему индейцем, который отдал в его распоряжение не только душу, но и тело женщины, после чего немедленно удалился. Эта женщина была довольно полна, и красива, и сердита, и с уст ее несся безостановочный поток нехороших слов. Это страшно шокировало почтенного священника, который был еще сравнительно молод. С точки зрения простодушной паствы, присутствие в его хижине женщины могло быть истолковано очень невыгодно для него, но, к счастью, эта женщина оставила дом его на рассвете и пешком направилась в Даусон.

Прошло довольно продолжительное время, и Даусон был буквально потрясен. Лето уже почти миновало, и население праздновало прибытие

одной важной дамы из виндзорского королевского рода. В честь ее были устроены лодочные состязания, и чуть ли не весь Юкон высыпал на берег и следил за тем, как Ситка Чарли, привстав с сиденья и подняв в воздух блестевшее на солнце весло, подходил первым к старту. Во время гонок миссис Эпингуэлл, которая за это время многое узнала и еще больше усвоила себе, впервые со дня нашумевшего бала увидела Фреду.

Миссис Мак-Фи долго не могла успокоиться и рассказывала всем, что «публично, совершенно не считаясь с общественным мнением», миссис Эпингуэлл подошла к танцовщице и протянула ей руку. Как передавали и остальные свидетели этого инцидента, Фреда в первую минуту от неожиданности подалась назад, но затем обе женщины разговорились, и Фреда, гордая и важная Фреда, склонилась на плечо миссис Эпингуэлл. Никто в точности не знал, за что именно миссис Эпингуэлл должна была извинить и простить гречанку-танцовщицу, но Даусон был потрясен тем, что жена полицейского начальника сделала «это»: миссис Эпингуэлл поступила неприлично.

В заключение необходимо еще сказать два слова о миссис Мак-Фи. Она купила отдельную каюту на первом отъезжающем пароходе и увезла с со-

бой теорию, которую окончательно разработала в молчаливые ночные часы бесконечного переезда. Сущность этой теории сводилась к тому, что в смысле раскаяния Север безнадежен из-за царящего на нем холода. Ну кого можно испугать в холодильнике адовым огнем! Многие найдут этот взгляд слишком догматическим, но теория миссис Мак-Фи всецело основывается на нем.

Дети мороза

В дебрях севера

Утомительный путь по чахлой тундре, и за последними зарослями кустарника, в самом сердце Барренса путник найдет обширные леса и ласково смеющуюся природу. Но мир только теперь начинает знакомиться с Севером. Из отдельных смельчаков, время от времени забиравшихся в эти края, ни один не вернулся назад и не мог поведать миру обо всем, что он видел.

Что ж! Барренс — это Барренс[61], бесплодная арктическая пустыня, мрачная, холодная родина мускусного быка и тощего полярного волка. Итак, Эвери Ван-Брант увидел перед собой унылое безлесное пространство, едва одетое лишаями и мхом. Пробираясь к северу, он достиг областей, никем не обозначенных на карте, и очутился среди несказанно богатых хвойных лесов, населенных неведомыми племенами эскимосов. Ван-Брант намеревался проникнуть в эти неисследованные области — к этому его влекло честолюбие, — заполнить пустые места на карте условными обозначениями горных цепей, вод-

[61] Сноски: 61
Barren — бесплодный.

ных бассейнов и извилистыми линиями рек; он с восторгом представлял себе эти неведомые леса и селения туземцев.

Эвери Ван-Брант, или — определяя полностью его общественное положение — профессор Геологического института Э. Ван-Брант, был помощником начальника экспедиции и с группою участников этой экспедиции прошел миль пятьсот вверх по притоку Телона.

Теперь он вел свой отряд в одно из необследованных туземных поселений. За ним тащились восемь человек — двое из них были из Канады, французы по происхождению, а остальные — стройные крисы из Манитобы. Он один был чистокровным англосаксом, и его горячая кровь бурлила, призывая следовать традициям расы. Клайв и Гастингс, Дрэйк и Рэлэй, Генгест и Горса витали в его памяти, как бы сопровождая его, и он торжествовал при мысли, что первым из людей своей расы он входит в это далекое северное селение; спутники заметили, что усталость его прошла, и он бессознательно ускорил шаг.

Все население деревни высыпало ему навстречу; впереди шли мужчины, угрожающе сжимая в руках луки и копья; за ними робко жались женщины и дети. Ван-Брант поднял правую ру-

ку — понятный всем народам знак мира. Жители селения ответили ему тем же. Но вдруг, к его досаде, от толпы отделился одетый в звериные шкуры человек и, протянув ему руку, сказал: «Алло!» — Человек этот зарос бородой, щеки и лоб его были покрыты бронзовым загаром, но Ван-Брант сразу узнал в нем соплеменника.

— Кто вы? — спросил он, пожимая протянутую ему руку. — Андрэ?

— Кто это — Андрэ? — спросил в свою очередь незнакомец.

Ван-Брант пристально поглядел на него.

— Черт побери, вы, должно быть, давно здесь!

— Пять лет, — отвечал тот, и в глазах его блеснул гордый огонек. — Но что мы стоим, пойдемте потолкуем. Пусть идут за мной, — отвечал он на взгляд, брошенный Ван-Брантом на свой отряд. — Старик Тантлач позаботится о них. Идемте!

Он повернулся и зашагал. Ван-Брант следовал за ним.

Шли они по селению. Обтянутые оленьими шкурами жилища располагались в причудливом беспорядке, в зависимости от неровностей почвы. Ван-Брант оглядел опытным взглядом селение и сделал подсчет.

— Двести человек, не считая детей, — заметил

он.

— Около этого, — кивнул спутник. — А вот и мое жилище. Я поставил его в стороне — это гораздо удобнее. Садитесь! Когда ваши люди приготовят еду, я с вами поем. Я забыл вкус чая… Пять лет его не видел… А табак у вас есть?.. Благодарю! И трубка? Чудесно! Теперь еще спичку, и посмотрим — потеряло ли курение свою прелесть.

Он старательно зажег спичку и оберегал пламя, словно оно было единственным на свете, затем втянул в себя дым. Задержав его на несколько мгновений, он, наслаждаясь, медленно выпустил его. Затем откинулся назад. Лицо его смягчилось, и глаза слегка затуманились. Он глубоко вздохнул, ощущая безмерное блаженство, и быстро сказал:

— Замечательно! Прекрасная штука!

Ван-Брант сочувственно кивнул.

— Пять лет, вы говорите?

— Да, пять лет. — Он снова вздохнул. — Вам, полагаю, хотелось бы узнать, как это я попал сюда, что со мной было, и все такое. Мне почти нечего рассказывать. Я отправился из Эдмонтона за мускусными быками и, как Пайк с остальными ребятами, потерпел неудачу, потерял спутников и все припасы. Приходилось голодать, бывало

очень скверно — это уж как полагается, — я ведь один остался изо всей партии, пока я ползком не добрался сюда, к Тантлачу.

— Пять лет, — задумчиво бормотал Ван-Брант, словно стараясь что-то припомнить.

— В феврале было пять лет. Я перешел Грэт Слэв очень рано, в мае…

— Значит, вы… Фэрфакс? — прервал его Ван Брант.

Собеседник кивнул.

— Погодите… Джон — кажется, верно — Джон-Фэрфакс?

— Как это вы узнали? — лениво спросил Фэрфакс, пуская дым кольцами.

— Газеты были полны этим, когда Преванш…

— Преванш! — внезапно привскочил Фэрфакс. — Мы потеряли его в горах.

— Но он выбрался оттуда и спасся.

Фэрфакс снова откинулся и продолжал пускать кольца дыма.

— Рад слышать, — задумчиво сказал он. — Преванш был молодцом и никогда не думал об опасности. Вы говорите, он спасся? Что ж, я очень рад…

Пять лет… эта мысль сверлила мозг Ван-Бранта, и невольно перед ним возник образ Эмилии

Саутвейс. Пять лет… Стая каких-то диких птиц пролетела низко над землей, но, заметив человеческое жилье, повернула на север и исчезла в лучах тлеющего солнца. Ван-Брант хотел проследить их полет, но солнце слепило ему глаза. Он посмотрел на часы — было около часа ночи. Облака на севере пылали, и кроваво-красные лучи озаряли мрачные леса зловещим светом. Воздух был тих и неподвижен, и самые слабые звуки доносились с ясностью призывного сигнала. Крисы и путешественники-канадцы поддались чарам этой тишины и переговаривались между собой, понизив голос до шепота, а повар бессознательно старался не шуметь котелком и сковородкой. Где-то плакал ребенок, и из глубины леса, подобно серебряной нити, тянулось заунывное женское причитание:

— О-о-о-о-о-а-аа-а-а-аа-а-а-о-о-о-о-а-аа-а-аа-а…

Ван-Брант вздрогнул и зябко потер руки.

— И они считали меня погибшим? — медленно спросил его собеседник.

— Что ж… вы не возвращались, и ваши друзья…

— Скоро забыли!

Фэрфакс вызывающе рассмеялся.

— Почему вы не выбрались отсюда?

— Отчасти по нежеланию, отчасти по не зависящим от меня обстоятельствам. Видите ли, Тантлач, когда я с ним познакомился, лежал здесь со сломанной ногой — сложный перелом кости, — и я принялся за него и привел его в надлежащий вид. Я здорово ослабел и должен был хорошенько отдохнуть. Я был первым белым человеком в их краях. Понятно, что я показался им очень мудрым. Я научил их разнообразным вещам. Между прочим, обучил их и военной практике; они покорили четыре соседних селения и стали господами этой страны. Естественно, они дорожили мной настолько, что, когда я отдохнул и хотел двинуться в обратный путь, они и слышать не хотели о моем уходе. Они были очень гостеприимны и приставили ко мне стражу, следившую за мной днем и ночью. Затем Тантлач просил меня остаться, обещая щедрое вознаграждение, а так как мне, в сущности, безразлично было, где жить — я решил остаться у них.

— Я встречался с вашим братом в Фрейбурге. Мое имя — Ван-Брант.

Фэрфакс подался вперед и пожал ему руку.

— Вы были другом Билли, да? Бедняга Билли! Он часто говорил мне о вас. Странное место встречи, не правда ли? — прибавил он, оглядывая

окружающую обстановку и прислушиваясь к заунывному причитанию женщины. — Ее мужа загрыз медведь, и она теперь горюет.

— Животная жизнь! — поморщился с отвращением Ван-Брант. — После пяти лет такой жизни цивилизация покажется вам, верно, очень привлекательной. Что вы на это скажете, а?

На лице Фэрфакса выразилось полнейшее безразличие.

— Право, ничего не могу вам сказать. В сущности, они очень порядочные люди и живут по своему разумению. К тому же они поразительно искренни. Ничего сложного, простое чувство не дробится здесь на тысячу утонченных переживаний. Любовь, страх, ненависть, злоба и счастье — все здесь выражается просто и откровенно. Может быть, это животная жизнь, но живется здесь легко. Кокетства и ухаживания здесь не знают. Если вы понравились женщине, она вам это попросту скажет. Если она вас возненавидит — не постесняется об этом вам сообщить. Если вам хочется, вы можете ее побить, но все дело в том, что она ясно себе представляет, чего вы от нее хотите, а вы знаете, чего она хочет от вас. Ни ошибок, ни взаимных недоразумений. Это имеет свою прелесть после лихорадки циви-

лизации. Понимаете?

— Нет, жизнь здесь очень приятна, — прибавил он, помолчав. — Мне лучшей не надо, и я здесь останусь.

Ван-Брант задумчиво опустил голову, и по губам его пробежала едва заметная улыбка. Ни кокетства, ни ухаживаний, ни взаимных недоразумений! Видно, Фэрфакс нелегко переживал то, что Эмилия Саутвейс по недоразумению попала в лапы медведя. А надо признаться, что Карлтон Саутвейс был недурным медведем!

— Но вы все-таки уйдете со мною, — уверенно заявил Ван-Брант.

— Нет, не уйду.

— А я думаю, что уйдете.

— Жизнь здесь очень легка и приятна, — решительно повторил Фэрфакс. — Я понимаю всех, и все понимают меня. Лето сменяется зимой, времена года представляются пятнами света и тени — словно перед вами изгородь, через которую проникают солнечные лучи. Время идет, и жизнь проходит, а затем… поминки в лесу и полная тьма. Прислушайтесь!

Он поднял руку, серебряная нить женской печали прорезала мертвую тишину. Фэрфакс тихо начал подпевать:

— О-о-о-о-о-о-а-аа-а-аа-а-аа-а-о-о-о-о-о-о-а-аа-а-аа-а…

— Вы слышите? Представляете себе, а? Опечаленных женщин, погребальные причитания, меня с белыми волосами патриарха? Я завернут в звериные шкуры. Мое охотничье копье со мной… Кто скажет, что это не прекрасный конец?

Ван-Брант холодно поглядел на него.

— Фэрфакс, вы сошли с ума. За пять лет такой жизни всякий ошалеет, а вы сейчас находитесь в нездоровых, гибельных условиях. А кроме того — Карлтон Саутвейс умер.

Ван-Брант набил трубку и закурил ее, исподтишка наблюдая за собеседником. Глаза Фэрфакса сверкнули, кулаки сжались, и он привстал, но затем его мускулы ослабли, он сел и задумался. Майкель — повар Ван-Бранта — подал знак, что еда приготовлена, Ван-Брант движением руки отложил трапезу. Молчание тяжело нависло над ними, и он медленно вдыхал лесные ароматы — запах болот и увядших трав, смолистый аромат сосновых шишек и игл и дым очагов. Фэрфакс дважды безмолвно поглядел на него, но затем не выдержал.

— А… Эмилия?..

— Вдова, вот уже три года.

Снова наступило долгое молчание; наконец Фэрфакс с простодушной улыбкой нарушил его.

— Полагаю, что вы правы, Ван-Брант. Я уйду с вами.

— Я знал, что так будет. — Ван-Брант положил руку ему на плечо. — Конечно, знать ничего нельзя, но я думаю — в ее положении… ей делали предложения…

— Когда вы двинетесь в путь? — прервал его Фэрфакс.

— Когда мои люди отоспятся. Кстати, пойдем-те-ка поедим; Майкель, верно, сердится.

После ужина, когда крисы и канадцы, завернувшись в одеяла, сладко храпели, двое мужчин сидели у тлеющего костра. Им надо было о многом переговорить: политика, войны, научные экспедиции, подвиги и деяния людей, общие друзья, браки, смерти — словом, все события за пять лет, представляющие интерес для Фэрфакса.

— Итак, испанский флот был блокирован в Сантьяго, — говорил Ван-Брант, когда молодая женщина легко прошла перед ним и остановилась рядом с Фэрфаксом. Она быстро взглянула на Фэрфакса, затем перевела тревожный взгляд на Ван-Бранта.

— Дочь вождя Тантлача, принцесса в своем роде, — пояснил, покраснев, Фэрфакс. — Одна из причин, побудивших меня остаться. Тум, это Ван-Брант — мой друг.

Ван-Брант протянул ей руку, но женщина не шевельнулась, сохраняя суровую неподвижность статуи, соответствующую всему ее облику. Ее черты не смягчились, ни один мускул ее лица не дрогнул. Она смотрела ему прямо в глаза проницательным, испытующим взором.

— Она ничего не понимает, — рассмеялся Фэрфакс. — Ей в первый раз приходится знакомиться с моими друзьями… На чем вы остановились? Ах, да! Итак, испанский флот был блокирован в Сантьяго…

Тум села на землю рядом с Фэрфаксом и снова впала в неподвижность, словно бронзовая статуя, и лишь глаза ее перебегали с одного лица на другое, выпытывая правду. Под этим немым вопрошающим взглядом Эвери Ван-Брант стал нервничать. В середине оживленного рассказа о сражении он внезапно ощутил горящий взгляд черных глаз, запутался и с трудом поймал нить своего рассказа. Фэрфакс, обняв руками колени и отложив трубку, внимательно вслушивался в его слова, торопил, когда тот медлил или запинался,

и рисовал себе картину того мира, о котором старался забыть в течение пяти лет.

Прошел час, другой — и Фэрфакс нехотя поднялся.

— Итак, Кронье влопался, а? Ладно, подождите минутку, я сбегаю к Тантлачу. Он, верно, вас ждет, и я устрою вам встречу утром, после завтрака. Это вам удобно, не правда ли?

Он скрылся за соснами, и Ван-Брант невольно поглядел прямо в горящие глаза Тум. «Пять лет, — подумал он, — а теперь ей не больше двадцати. Поразительное существо!» Она была эскимоска, и можно было бы ожидать, что нос ее окажется совсем плоским; но он не был ни плоским, ни широким. «Смотри, Эвери Ван-Брант, перед тобой орлиный нос с тонкими ноздрями — нос, какой бывает у леди белой расы, — и уж несомненно есть капля индейской крови, — поверь, Эвери Ван-Брант. И не нервничай — она тебя не съест; она всего только женщина, и к тому же — красивая!»

Тип восточной женщины, а не эскимоски. Большие прекрасные глаза широко открыты и лишь слегка напоминают о монгольском происхождении. «Тум, ты редкое, выдающееся явление! Среди этих эскимосов ты чужая, хотя бы твой отец и

принадлежал к их племени. Откуда пришла твоя мать? Или твоя бабушка? Тум, дорогая, ты красавица, ледяная, застывшая красавица с лавой Аляски в крови, прошу тебя, не гляди на меня, не старайся выпытать мои мысли…»

Он рассмеялся и встал. Ее настойчивый взгляд смущал его. Какая-то собака бродила среди мешков с провизией. Он хотел убрать их в безопасное место до возвращения Фэрфакса. Но Тум, запрещая, протянула руку и, глядя на него в упор, встала.

— Ты? — сказала она на арктическом наречии, общепонятном от Гренландии до мыса Барроу. — Ты?

Выражение ее лица пояснило все, что заключалось в этом «ты». Это был вопрос о том, почему он сюда пришел, какое отношение имеет к ее мужу, и еще многое другое.

— Брат, — отвечал он на том же наречии, указывая жестом на юг. — Мы братья — твой муж и я.

Она покачала головой.

— Нехорошо, что ты сюда пришел.

— Я высплюсь и уйду.

— А мой муж? — стремительно спросила она.

Ван-Брант пожал плечами. В нем шевельнулось смутное чувство стыда — стыда за кого-то или за

что-то — и гнева против Фэрфакса. Румянец залил его щеки при взгляде на юную дикарку. Она была истинной женщиной. В этом заключалось все — женщина. Снова и снова та же проклятая история, древняя, как праматерь Ева, и юная, как первый луч любви, блеснувший в очах молодой девушки.

— Мой муж! Мой муж! Мой муж! — пылко повторяла она; лицо ее потемнело, и в ее глазах он увидел неистовую нежность Вечной Женщины, Женщины-Самки.

— Тум, — серьезно начал он по-английски. — Ты родилась в северных лесах и питалась мясом и рыбой, боролась с холодом и голодом и жила простой жизнью. А на свете существуют вещи очень сложные — ты их не знаешь и понять не можешь. Ты не знаешь воспоминаний об уюте далекой жизни и не поймешь тоски по лицу прекрасной женщины. А та женщина, Тум, прекрасна и благородна. Ты была женой этого человека, и ты ему отдалась вся, но твоя душа слишком проста для него. Слишком мал твой мир и прост, а ведь он пришел из другого мира. Ты его никогда не понимала и не можешь понять. Таков закон. Ты держала его в своих объятиях, но сердце этого человека, радовавшегося незаметной смене

времен года и мечтавшего о варварском конце, никогда не принадлежало тебе. Мечта, туманная греза — вот чем он был для тебя. Ты тянулась к манящему образу и ловила тень; ты отдала себя человеку и делила свое ложе с призраком. То же случалось в старину с дочерьми смертных, когда боги находили их прекрасными. Тум, Тум, я не хотел бы оказаться на месте Джона Фэрфакса, чтобы в бессонные ночи увидеть рядом с собой не золотую головку женщины, а темные космы самки, покинутой в лесах Севера.

Хотя она ничего не понимала, но так напряженно вслушивалась в его речь, словно от нее зависела ее жизнь. Имя мужа она разобрала и воскликнула на своем наречии:

— Да! Да! Фэрфакс! Мой муж!

— Бедная маленькая дурочка, как он мог быть твоим мужем?

Но она не понимала по-английски и думала, что он ее высмеивает. Ее лицо пылало немым, безрассудным гневом самки, и ему казалось, что она, как пантера, готова к прыжку.

Он выругался про себя и стал наблюдать, как гнев ее угасал, и на лице появилось выражение мольбы — мольбы женщины, забывшей о своей силе и мудро прибегающей к слабости и беспо-

мощности.

— Он мой муж, — кротко сказала она. — Я другого не знала. Я не могла знать другого. И не может быть, чтобы он от меня ушел.

— Кто говорит, что он от тебя уйдет? — резко спросил Ван-Брант, раздраженный и обессиленный.

— Скажи ему, чтобы он не уходил от меня, — мягко отвечала она, и в голосе ее послышалось рыдание.

Ван-Брант сердито толкнул ногой головешку костра и сел.

— Ты должен ему сказать. Он мой муж. Перед всеми женщинами — он мой муж. Ты велик и силен, ты видишь, как я слаба. Смотри, я у ног твоих. От тебя зависит моя жизнь. Помоги мне!

— Вставай! — Он грубо поставил ее на ноги и сам встал. — Ты женщина. Тебе нельзя валяться в грязи у ног мужчины.

— Он мой муж!

— Да простит Христос всем мужчинам, — пылко воскликнул Ван-Брант.

— Он мой муж! — повторяла она умоляюще.

— Он мой брат! — отвечал он.

— Вождь Тантлач — мой отец. Он правит пятью селениями. Я прикажу найти в пяти селениях

девушку по твоему вкусу, и ты будешь жить со своим братом в полном довольстве.

— Я отдохну и уйду.

— А мой муж?

— Вот идет твой муж. Слышишь?

Из темного леса доносилось веселое пение Фэрфакса.

Как клубы черных туч затеняют ясный день, песня Фэрфакса убила на ее лице жизнь и радость.

— Это язык его племени, — сказала она. — Это язык его племени.

Она повернулась легким, гибким движением молодого животного и скрылась в лесу.

— Все устроено! — воскликнул, появляясь, Фэрфакс. — Его высочество примет вас после завтрака.

— Вы ему все сказали? — спросил Ван-Брант.

— Нет. Я ему ничего не скажу, пока у нас все не будет готово.

Ван-Брант с тяжелым чувством поглядел на своих спящих спутников.

— Я буду рад, когда мы будем за сотни миль отсюда, — сказал он.

Тум подняла шкуру над входом в юрту отца. С ним сидели двое мужчин, и все трое с любо-

пытством посмотрели на нее. Но лицо ее было бесчувственно, и, войдя, она спокойно и безмолвно подсела к ним. Тантлач барабанил пальцами по рукоятке копья, лежащего на его коленях, и лениво следил за движениями солнечного луча, проникшего через отверстие в шкурах. Справа, у его плеча, прикорнул Чугэнгат — шаман. Оба они были стариками, и усталость долгих лет жизни и борьбы виднелась в их глазах. Но против них сидел молодой Кин, любимец всего племени. Его движения были быстры и легки, и его черные глаза испытующе перебегали с одного старика на другого. И в глазах этих был вызов.

Все молчали. Время от времени проникали звуки извне, и издали слабо доносились — словно тени голосов — крики играющих детей. Собака просунула голову над порогом, хищно прищурилась; с ее белых клыков стекала пена. Постояв немного, она заворчала, как бы приглашая обратить на нее внимание, но, испуганная неподвижностью человеческих фигур, опустила голову и уползла. Тантлач равнодушно поглядел на свою дочь.

— А что у тебя с твоим мужем?

— Он поет чужие песни, — отвечала Тум, — и лицо его стало другим.

— Да? Он говорил с тобой?

— Нет, но лицо у него другое, и в глазах новый огонек, и он сидит с Пришельцем у костра, и они все говорят, говорят без конца.

Чугэнгат прошептал что-то на ухо своему господину, и Кин, подавшись вперед, ловил слетавшие с его губ слова.

— Его зовет что-то в далекие края, — продолжала она, — и он сидит и прислушивается и отвечает песней на языке своего племени.

Снова Чугэнгат зашептал, снова Кин подался вперед, и Тум замолчала, пока ее отец кивком головы не разрешил ей продолжать.

— Ты знаешь, о Тантлач, что дикие гуси, лебеди и маленькие утки рождаются здесь, на Севере. Но мы знаем, что они улетают в неведомые края перед лицом мороза. И знаем мы хорошо, что они всегда возвращаются, когда показывается солнце и освобождаются реки. Они всегда возвращаются туда, где родились. Родная земля зовет их, и они летят на ее зов. А теперь иная земля зовет, и зовет к себе моего мужа; это его родная земля, и он хочет отозваться на ее зов. Но он мой муж. Перед всеми женщинами — он мой муж.

— Хорошо ли это, Тантлач? Хорошо ли? — спросил Чугэнгат, и в голосе его зазвучали угрожаю-

щие ноты.

— Да, это хорошо! — смело воскликнул Кин. — Земля зовет своих детей, и все земли зовут своих детей домой. Дикие гуси, лебеди и маленькие утки слышат призыв, услышал его и Чужестранец, который слишком долго задержался у нас. Ему пора вернуться к себе. Он также услышал голос своего племени. Гуси спариваются с гусями, и лебедь никогда не спаривается с маленькой уткой. Нехорошо, если бы лебедь стал спариваться с маленькой уткой. И нехорошо, когда чужестранцы получают в жены наших женщин. Поэтому пусть этот человек обратно уйдет в свою страну, к своему племени.

— Он мой муж, — отвечала Тум. — И он великий человек.

— Да, он великий человек. — Чугэнгат поднял голову с быстротой, напоминавшей о былой юношеской силе. — Он великий человек, он дал тебе силу, о Тантлач, и дал тебе могущество, и теперь тебя боятся по всей стране, боятся и трепещут. Он очень мудр, и его мудрость нужна нам. Он научил нас вести войну, защищать свое селение и нападать в лесу. Он ввел порядок в нашем совете и показал, как обсуждать дела и как обходить врагов обещаниями. Он научил нас ловить хит-

рыми ловушками дичь, собирать запасы пищи и хранить ее долгое время. Он лечил болезни и раны, полученные на охоте или на войне. Ты был бы хромым стариком, Тантлач, если бы к нам не попал этот Чужестранец и не вылечил твоей ноги. Когда мы не знали, как поступить, мы шли к нему, и его мудрость всегда нам помогала. У нас могут появиться новые затруднения, и нам будет нужна его мудрость. Мы не можем отпустить его. Плохо будет, если мы позволим ему уйти.

Тантлач продолжал барабанить пальцами по древку копья, не подавая виду, что все это слышит. Тум тщетно всматривалась в его лицо, а Чугэнгат весь съежился и поник, словно прожитые годы снова придавили его своей тяжестью.

— Лучше меня нет охотника! — Кин сильно ударил себя в грудь. — Я сам убиваю для себя дичь. Я радуюсь жизни, когда выхожу на охоту. Я радуюсь, когда ползу по снегу за крупным оленем. И когда я изо всей силы натягиваю лук и пускаю быструю, смертоносную стрелу в сердце оленя — я радуюсь. Добыча других охотников никогда не бывает так вкусна, как моя. Я радуюсь жизни, радуюсь своей ловкости и силе. Я радуюсь, ибо сам добиваюсь всего, что мне нужно для жизни. Какая иная цель может быть в жизни?

Зачем жить, если я недоволен собою и тем, что я делаю? И потому, что я доволен и радуюсь, я иду охотиться и ловить рыбу. А становлюсь сильнее потому, что охочусь и ловлю рыбу. Мужчина, что сидит в своем жилище, греясь у костра, не будет сильным и смелым. Он не радуется, поедая мою добычу, и не наслаждается жизнью. Он не живет! Итак, я думаю, что будет лучше, если Чужестранец уйдет. Его мудрость не делает нас мудрыми. Когда он ловок и искусен, какая нам нужда быть ловкими и искусными? Ведь если нужда приходит — мы идем к нему за советом. Мы едим мясо его добычи, но оно невкусно. Его мудрость дает нам успех, но этот успех не дает радости. Мы не живем, когда он заботится о нас. Мы жиреем и становимся подобными женщинам. Мы боимся работы и забываем, как доставлять себе все, что нужно для жизни. Пусть этот человек уйдет, о Тантлач, и мы снова станем мужчинами! Я — Кин, мужчина, и я сам хожу на добычу!

Тантлач бросил на него пустой, ничего не выражающий взгляд. Кин ждал решения вождя; но губы старика не дрогнули, и он повернулся к своей дочери.

— То, что дано, нельзя отнять, — заговорила она. — Я была девочкой, когда явился среди нас

Чужестранец — мой супруг. Я не знала мужчин и не знала обычаев мужчин, мое сердце знало лишь детские игры, когда ты, Тантлач, ты призвал меня к себе и отдал Чужестранцу. Ты, Тантлач! И ты отдал меня этому человеку и дал этого человека мне. Он мой муж. Он спал у меня на груди, и его нельзя от меня оторвать.

— Хорошо, если бы ты помнил, о Тантлач, — вмешался Кин, бросая многозначительный взгляд на Тум, — хорошо, если бы ты помнил: то, что дано, — не может быть взято обратно.

Чугэнгат выпрямился.

— Устами твоими, Кин, говорит неразумная юность. Что касается нас с тобой, о Тантлач, мы — старики, и мы все понимаем. Мы тоже, бывало, глядели в глаза женщинам, и наша кровь пылала странными желаниями. Но годы охладили наш пыл, мы оценили хладнокровие; мы знаем, что молодое сердце легко разгорается и склонно к безрассудным поступкам. Мы знаем, что Кин был угоден твоим очам. Мы знаем, что ты обещал ему Тум, когда она была еще ребенком. Но потом настали новые дни, к нам пришел Чужестранец, и мы мудро рассудили — ради общего блага нарушить обещание и отнять Тум у Кина.

Старый шаман замолчал и посмотрел на Кина.

— И да будет известно, что я — Чугэнгат — посоветовал нарушить обещание.

— Я не принял на свое ложе никакой другой женщины, — сказал Кин. — Я сложил себе очаг, готовил пищу и скрежетал зубами в одиночестве.

Чугэнгат движением руки дал понять, что его речь еще не кончена.

— Я старик, и слова мои мудры. Хорошо быть сильным и держать в руках власть. Еще лучше отказаться от власти, если так нужно для общего благополучия. В прежние годы я сидел с тобою рядом, Тантлач, и мой голос был первым в совете, и моего мнения спрашивали во всех делах. И я был силен и могуч. Я был величайшим человеком после Тантлача. Затем явился Чужестранец, и я увидел, что он искусен, мудр и велик. Он был мудрее и искуснее меня, и я понял, что он принесет больше пользы, чем приношу я. И ты склонил ко мне свой слух, Тантлач, и слушал мои слова и дал Чужестранцу власть, место рядом с собой и дочь свою. И наше племя благоденствовало при новых порядках, и пусть оно и дальше благоденствует, и пусть Чужестранец остается среди нас. Мы с тобой старики, о Тантлач, — ты и я, и это дело следует решать головой, а не сердцем. Слушай

мои слова, Тантлач! Слушай мои слова! Пусть Чужестранец останется!

Наступило долгое молчание. Старый вождь размышлял, сохраняя неподвижность идола, а Чугэнгат, казалось, весь ушел в далекое прошлое. Кин с вожделением глядел на женщину, а она, не замечая его, не сводила глаз с лица своего отца. Собака снова показалась на пороге; спокойствие людей придало ей смелости, и она подползла к ним. Обнюхав опущенную руку Тум, она вызывающе насторожила уши, пробираясь мимо Чугэнгата, и прикорнула около Тантлача. Копье с шумом упало наземь, и собака с испуганным воем отскочила в сторону, зарычала и одним прыжком выскочила из юрты.

Тантлач переводил свой взор с одного лица на другое, долго и внимательно взвешивая все обстоятельства. Затем он с суровой властностью поднял голову и холодным, ровным голосом произнес свое решение:

— Чужестранец остается. Созови всех охотников. Пошли гонца в соседнее селение, пусть приведет сюда бойцов. Я не приму Пришельца. Ты, Чугэнгат, будешь говорить с ним. Передай ему, что он может идти с миром, если уйдет немедленно. Если придется биться — убивайте,

убивайте, убивайте всех до последнего, но передай всем мое слово — Чужестранцу вреда не причинять: он муж моей дочери. Да будет так, как я сказал!

Чугэнгат встал и заковылял к выходу; Тум последовала за ним; но когда Кин подошел к выходу, голос вождя заставил его остановиться.

— Кин, прислушайся к моему слову. Чужестранец остается. Чужестранцу вреда не причинять.

...Благодаря полученным от Фэрфакса сведениям по военному искусству эскимосы не набросились на маленький отряд с дикими криками. Наоборот — они проявили большую сдержанность и самообладание и продвигались в молчании, переползая от прикрытия к прикрытию. Крисы и путешественники-канадцы шли вдоль берега речки. Видеть они ничего не могли и едва улавливали звуки, но инстинктом чувствовали жизнь в лесу и продвижение врага.

— Будь они прокляты, — пробормотал Фэрфакс. — Они не знали пороха, а я показал им, что это за штука.

Эвери Ван-Брант рассмеялся, выколотил пепел из трубки, старательно запрятал ее вместе с кисетом в карман и проверил, легко ли вынимается охотничий нож из висящих на боку ножен. Затем

сказал:

— Погодите! Мы отразим их атаку и уничтожим их всех до единого.

— Они рассыплются цепью, если не забыли моих уроков.

— Ну и пусть! У нас винтовки. Мы все… прекрасно! Первый выстрел! Получишь добавочную порцию табаку, Лун!

Лун из племени крисов заметил высунувшееся из-за дерева плечо и меткой пулей сообщил его владельцу о своем открытии.

— Если бы их вызвать на открытое нападение, — бормотал Фэрфакс. — Если бы их вызвать на открытое нападение…

Вдалеке показалась из-за дерева голова, и одним выстрелом Ван-Брант уложил эскимоса. Майкель попал в третьего. Фэрфакс и остальные тоже стали стрелять, целясь в эскимосов и в шевелящиеся группы кустарников. При переходе через незащищенную ложбину пять эскимосов были убиты, а с левой стороны, где кустарник был редкий, с дюжину их было ранено. Но они относились к потерям с мрачным спокойствием, продвигаясь вперед осторожно, обдуманно, не торопясь и не мешкая.

Десять минут спустя, когда они подошли почти

вплотную к отряду, наступление было приостановлено, и в лесу воцарилась зловещая тишина. Видна была лишь золотистая зелень ветвей и трав, колыхаемых слабым дуновением предрассветного ветра. Бледное утреннее солнце бросало на землю длинные полосы тени и света. Один из раненых эскимосов поднял голову и старался уползти подальше от ложбинки, а Майкель следил за ним, но не стрелял. По невидимому фронту пробежал слева направо свист, и туча стрел прорезала воздух.

— Готовься, — приказал Ван-Брант, и в голосе его послышались металлические нотки. — Есть!

Эскимосы сразу перешли в открытое наступление. Лес ожил. Раздался дикий вой, и винтовки ответили на него лаем выстрелов. Пули поражали эскимосов, но на смену убитым поднималась новая рокочущая волна. Впереди наступающих неслась с распущенными волосами Тум; размахивая руками, она скрывалась за деревьями и перепрыгивала через лежащие на земле стволы. Фэрфакс прицелился и, сначала не узнав ее, чуть не нажал спуск.

— Не стреляйте! Это женщина! — крикнул он. — Глядите, она безоружна!

Крисы не слыхали его, не услышали и Майкель

с братом-канадцем и Ван-Брант, непрерывно стрелявший. Но Тум невредимо продвигалась по пятам одетого в шкуры охотника. Фэрфакс уложил эскимосов, бежавших справа и слева от нее, и приготовился выстрелить в охотника. Тот, видимо, узнал его и неожиданно свернул в сторону, всадив копье в тело Майкеля. В тот же миг Тум обвила одной рукой шею своего мужа и, полуобернувшись, голосом и жестом разделила нападавших. С воем пронеслись мимо них эскимосы, и потрясенный Фэрфакс, глядя на нее, на ее смуглую красоту, на мгновение остолбенел. Странные видения — чарующие, бессмертные видения встали перед ним. Обрывки старых философских теорий и новых понятий промелькнули в его мозгу, сменяясь поразительно явственными и туманно несообразными сценами — эпизоды охоты, темные лесные пространства, молчаливые снежные пустыни, скользящий свет бальных зал, музеи и библиотеки, блеск химических колб и реторт, длинные ряды книжных полок, стук машин и уличный шум, строфа забытой песни, лица дорогих сердцу женщин и старых товарищей, уединенная речка в горах, разбитый челн на каменистом берегу, озаренные луной поля, плодородные долины, запах свежего сена…

Пораженный в голову пулей, охотник рухнул на землю. Фэрфакс пришел в себя. Оставшиеся в живых товарищи были отброшены далеко назад. Он слышал свирепые крики охотников: «Хья! Хья!», — когда им удавалось поразить врага своим костяным оружием. Крики преследуемых поразили его, подобно удару. Он понял, что битва кончена и проиграна, но традиция расы и верность товарищам призывали его бороться до конца.

— Муж мой! Муж мой! — восклицала Тум. — Ты спасен!

Он попытался вырваться из ее рук, но она, повиснув на нем, мешала ему двинуться.

— Не надо! Они мертвы, а жить хорошо!

Она крепко обхватила его шею и обвилась вокруг него всем телом, пока он не оступился и не пошатнулся; стремительно отступив, чтобы удержаться на ногах, он снова споткнулся и упал на спину. Ударившись головой о корень, он почти потерял сознание и мог только слабо сопротивляться. Падая, Тум услышала свист пронесшейся мимо стрелы и, словно щитом, покрыла его своим телом, крепко обняв руками и прижимаясь лицом и губами к его шее.

Тогда из густого кустарника, шагах в двадцати

от них, показался Кин. Он осторожно посмотрел по сторонам. Крики замирали вдали. Никто не мог их увидеть. Он приладил стрелу к тетиве и взглянул на лежавших перед ним мужчину и женщину. Между ее грудью и рукой белело тело Чужестранца. Кин натянул лук и оттянул стрелу к себе. Он проделал это дважды для верности прицела, а затем спокойно послал украшенную стрелу прямо в тело Чужестранца — такое белое в объятиях смуглой Тум.

Закон жизни

Старый Коскуш жадно прислушивался. Хотя его зрение давно померкло, но слух сохранил былую остроту, и малейшие звуки проникали в сознание, дремлющее за иссохшим лбом. Да! Это Сит-Кум-То-Ха пронзительным голосом проклинает собак и бьет их, стараясь запрячь в сани. Сит-Кум-То-Ха — дочь его дочери, но она слишком занята, чтобы подумать о больном деде, сидевшем одиноко на снегу, забытом и беспомощном. Лагерю пора сниматься. Впереди предстоял долгий путь, а короткий день быстро клонился к закату. Жизнь звала ее, и был ее долг — идти к живым, а не к мертвым. А он стоял уже на пороге смерти.

Эта мысль испугала на мгновение старика, и он протянул дрожащую онемевшую руку и пошарил в лежащей рядом с ним маленькой кучке сухого дерева. Убедившись, что сухие дрова здесь, около него, он спрятал руку под облезшую меховую одежду и снова прислушался. По беспокойному хрусту полузамерзших шкур он понял, что разбирают палатку вождя. Затем шкуры связали, чтобы удобнее было везти. Вождь был

его сыном, храбрым и сильным предводителем племени и могучим охотником. Когда женщины укладывали вещи к отъезду, послышался его голос, бранивший их за медлительность. Старый Коскуш напряг слух. Он в последний раз слышал этот голос. Затем сложили палатку Гихау. Потом палатку Тускены. Семь, восемь, девять — осталась лишь палатка шамана. Так! Теперь они принялись и за нее. Он слышал ворчание шамана, когда его палатку укладывали на сани. Захныкал ребенок, и мать убаюкала его нежной, тихой песенкой. Малютка Кути, подумал старик, беспокойное, слабое дитя! Вероятно, скоро умрет, и родители выжгут яму в замерзшей тундре и наложат сверху кучу камней, чтобы защитить тело от росомах. Но не все ли равно? В лучшем случае — дитя проживет еще несколько лет голодной жизни. А в конце этой жизни всех ждет вечно голодная и вечно ненасытная смерть.

Что это такое? Люди связывали сани, туго затягивая веревки. Он прислушивался — скоро он уже ничего не услышит. Раздался свист хлыста и звуки ударов. Прислушался, как завыли собаки! Как они ненавидят работу и дорогу! Тронулись! Сани медленно ускользали в молчании. Кончено! Они ушли из его жизни, и он остался

наедине со своим последним часом. Но нет! Снег захрустел под мокасинами; кто-то остановился рядом с ним: на голову мягко опустилась рука. Его сын был добр и пришел с ним проститься. Старик вспомнил других стариков — их сыновья не отставали от племени. Но его сын отстал. Он погрузился в далекое прошлое; голос сына вернул его к действительности.

— Тебе хорошо? — спросил сын.

И старик отвечал:

— Да, хорошо.

— Возле тебя дрова, — продолжал молодой человек. — И огонь ярко пылает. Утро пасмурно, и мороз уменьшается. Скоро пойдет снег. Снег уже идет.

— Да, снег уже идет.

— Наши спешат. Вещи тяжелы, а животы впали от недостатка пищи. Путь предстоит далекий, и они едут быстро. Я ухожу. Хорошо?

— Иди. Я как последний осенний лист, который едва держится на стебле. При первом дыхании ветра я упаду. Мой голос похож на голос старой женщины. Мои глаза не указывают больше пути моим ногам, ноги мои тяжелы, и я устал. Иди!

Он опустил голову и прислушивался, пока хруст снега не замер вдали; тогда он понял, что

сын его больше не услышит. Торопливо протянул он руку к дровам. Они одни отделяли его от разверзающейся над ним вечности. Теперь мерой его жизни стала вязанка дров. Одно полено за другим должно было уходить на поддержание огня, и с каждым исчезнувшим поленом все ближе смерть. Когда последний кусок дерева отдаст ему свое тепло, мороз начнет крепчать. Сначала закоченеют ноги, затем руки; онемение медленно захватит конечности и распространится по телу. Голова склонится на колени, и он умрет. Это легкая смерть. Все люди должны умереть.

Он не жаловался. Таков путь жизни, и путь этот правилен. Он родился на земле, прожил жизнь, и закон не был для него новым. Это был закон для всего живого. Природа жестока ко всем живущим. Она не считается с отдельной особью. Она заботится лишь о роде. Это были самые глубокие отвлеченные понятия, на какие способен был первобытный ум Коскуша, но зато он их твердо усвоил. Всюду находил он им подтверждение. Весною дерево наполняется соком, распускаются зеленые почки, а осенью опадают пожелтевшие листья — этим все сказано. Природа возложила на каждую особь обязанность. Если обязанность не выполнена — особь умирает. Но выполнив

ее — она все равно умирает. Природа равнодушна. Много есть людей, покорных закону, но живет и не умирает только покорность. Племя Коскуша было очень древним. Мальчиком Коскуш знавал древних стариков, и они вспоминали своих дедов и прадедов. Значит, правда, что племя живет, покоряясь закону всех своих членов, живших в отдаленном прошлом и покоящихся в неведомых могилах. Отдельные люди — не в счет; они приходят и уходят, как облака на летнем небе. Он тоже — лишь облако на небе, и ему пора исчезнуть. Природе до него нет дела. Живые должны были выполнить свой долг и подчиниться закону. Долг этот был — продолжение рода, а законом была смерть. На здоровую, сильную девушку приятно смотреть; шаги ее легки, и глаза блестят. Но ей предстоит выполнить долг. Глаза ее горят, шаги быстры, она то заигрывает с юношами, то робеет, и ее беспокойство передается им. Она становится все красивее и красивее, пока какой-нибудь охотник не теряет сдержанности и не берет девушку в свою палатку, чтобы она варила ему пищу, работала на него и рождала ему детей. С появлением детей красота покидает ее. Ноги волочатся по земле, глаза тускнеют, и одни лишь маленькие дети охотно ласкают морщинистые

щеки сидящей у огня старой скваy. Ее долг выполнен. А затем, как только наступает голод, либо пускаясь в далекий путь, ее оставляют, как оставили его, в снегу, с небольшой вязанкой дров. Таков закон!

Он осторожно подложил в костер полено и продолжал размышлять. То же происходит везде, со всеми живыми существами. Москиты исчезают с первым морозом. Белка, чувствуя приближение смерти, уползает подальше. Когда кролик стареет, движения его замедляются, он тяжелеет, у него нет больше сил спасаться от врагов. Даже крупный медведь слепнет, становится неуклюжим и раздражительным, и в конце концов шайке тявкающих собачонок ничего не стоит справиться с ним. Старик вспомнил, как сам покинул своего отца на верхнем течении Клондайка, за год до появления миссионера с книжками и ящиком лекарств. Коскуш раньше облизывался при воспоминании об этом ящике, но теперь его губы оставались сухими. Особенно одно лекарство — «убийца боли» — было приятно на вкус. Но миссионер был дармоедом: он не приносил мяса, а сам ел вволю, и охотники роптали. На перевале через Майо он простудил легкие, а затем собаки разрыли его могилу и пе-

регрызлись из-за его костей.

Коскуш подложил еще одно полено и погрузился в далекое прошлое. Это было во времена Великого Голода, когда старики с пустыми желудками подползали к огню и рассказывали старинные предания о тех годах, когда Юкон не замерзал три зимы подряд и покрывался льдом летом. В тот голодный год он потерял свою мать. Лососи не появлялись тем летом, и племя с нетерпением ожидало зимы и появления карибу[62]. Зима пришла, но карибу не было. Такого года не бывало никогда, говорили старики. Олени исчезли, кролики не размножались, и от собак осталась лишь кожа да кости. В долгой зимней тьме плакали и умирали дети, женщины и старики; из десяти не осталось в живых и одного, чтобы встретить солнышко, когда оно вернулось весной. Да, страшный был тогда голод!

Но он видел и другие времена, когда всего было вдосталь, когда мясо портилось, а собаки жирели и становились непригодными к работе; времена, когда охотники упускали добычу, женщины много рожали, и палатки кишели детьми — будущими мужчинами и женщинами.

---

[62] Сноски: 62
Карибу — канадский северный олень.

Тогда мужчины становились заносчивыми и вспоминали старые распри; они переходили через горы к югу, чтобы убивать врагов из племени Пелли, и пробирались к западу, чтобы усесться у погасших очагов Тананов. Вспомнил он, как мальчиком, в сытые годы, видел растерзанного волками оленя. Зинг-Ха вместе с ним лежал на снегу и наблюдал, — Зинг-Ха, который стал потом искуснейшим охотником и в конце концов провалился в трещину на Юконе. Месяц спустя они нашли его: он наполовину выкарабкался и крепко примерз ко льду.

А теперь об олене. Зинг-Ха и он пошли в тот день, подражая взрослым, поиграть в охоту. На берегу ручья они наткнулись на свежий след оленя, а рядом шли следы волков. «Олень старый, — сказал Зинг-Ха, лучше разбиравшийся в следах. — Олень старый и отстал от стада. Волки отрезали его от братьев, и теперь они его не упустят». Так оно и было. Таков был обычай волков. Днем и ночью, никогда не отдыхая, преследовали они добычу, рыча и подпрыгивая к самому носу жертвы, пока она не выбивалась из сил. Как заиграла кровь в жилах мальчиков! Конец оленя — какое прекрасное зрелище!

Мальчики, будто на крыльях, пустились по

следу, и даже он — Коскуш, неопытный следопыт — мог бы найти этот след с закрытыми глазами, так отчетливы были отпечатки на снегу. Они шли по горячему следу, читая на каждом шагу знаки мрачной трагедии. Вот они подошли к месту, где олень остановился. Вокруг снег был примят и разбросан. Посередине виднелись глубокие выемки от копыт оленя, а кругом — повсюду легкие отпечатки ног волков. Пока одни волки мучили жертву, другие валялись в снегу и отдыхали. Отпечатки их вытянувшихся тел были настолько отчетливы, словно волки только что убежали отсюда. Защищаясь, обезумевшая жертва ударила одного из волков, и он был затоптан насмерть. Несколько начисто обглоданных косточек служили свидетельством.

Дальше они снова наткнулись на место, где олень остановился. Здесь происходила отчаянная борьба. Волкам дважды удалось повалить оленя, как показывали следы на снегу, и дважды олень сбрасывал с себя врагов. Он давно выполнил свой жизненный долг, но тем не менее жизнь была ему дорога. Зинг-Ха говорил, что очень редко оленю удается подняться, если он упал, но этому оленю удалось. Шаман, верно, увидит в этом чудесное предзнаменование, когда они ему все расскажут.

И опять они подошли к месту, где олень пытался оставить берег и броситься в лес. Но волки настигли его, он стал на дыбы и свалился на них, придавив двух. Очевидно, жертва выбивалась из сил, ибо убитые волки лежали нетронутые. Мальчики торопливо миновали еще две остановки: эти остановки отстояли друг от друга недалеко и, судя по следам, были очень непродолжительны. След окрасился кровью, а шаги оленя стали короткими и неровными. Затем до них донеслись первые звуки борьбы — вой преследователей сменился коротким отрывистым лаем, говорившим о том, что победа близка. Зинг-Ха, против ветра, полз по снегу, а за ним пополз и Коскуш, которому предстояло через несколько лет стать вождем племени. Оба они раздвинули нижние ветви молодой ели и просунули головы. Увидели они уже смерть оленя.

Эта картина, как и все воспоминания юности, ярко запечатлелась в его памяти, и перед потухшим взором вся сцена разыгралась так же живо, как в те давно прошедшие времена. Коскуш удивился, ибо в последующие годы, когда он был вождем племени и старшим в совете, — он совершал великие деяния, и его имя было проклято племенем Пелли, не говоря уже о белолицем чу-

жестранце, которого он убил в рукопашном бою.

Долго размышлял он о днях своей юности, пока огонь не уменьшился и не усилился мороз. Он подложил в костер два полена сразу и ощупью пересчитал, сколько остается полен. Если бы Сит-Кум-То-Ха подумала о своем деде и собрала бы больше дров — его часы были бы продлены. Сделать это ей было нетрудно. Но она всегда была беспечной и перестала почитать предков с тех пор, как Бобр, сын сына Зинг-Ха, остановил на ней свой взор. А впрочем, не все ли равно? Разве он поступал иначе в дни своей юности? Он прислушался к тишине. Быть может, сердце его сына смягчилось, и он возвращается со своими собаками, чтобы захватить старого отца в те места, где можно убить много жирных, вкусных оленей.

Он насторожился и перестал напряженно думать. Тихо, ни звука. Он один жил среди великого молчания. Ему стало тоскливее. Но чу! Что это? По его телу пробежала дрожь. Знакомый протяжный вой нарушил тишину и раздался почти рядом с ним. Перед его померкшими очами встало видение оленя, старого матерого оленя: его окровавленные бока, спутанная грива, большие развесистые рога — олень, бьющийся до конца. Он увидел серых волков, горящие глаза,

высунутые языки и покрытые пеной клыки. Он видел, как суживается роковой круг, и стая волков сбивается в небольшую кучу на полянке, где утоптан снег.

Холодная морда ткнулась в его щеку, и ее прикосновение вернуло его к действительности. Он сунул руку в огонь и вытащил горящее полено. Обуянный инстинктивным страхом перед человеком, зверь отступил, призывая протяжным воем собратьев; раздался ответный вой, и вскоре старик был окружен кольцом подкрадывающихся волков. Он прислушался, угадывая смыкание неумолимого круга, и дико взмахнул головней. Фырканье зверей перешло в рычание; но хищники не разбежались. Вот один из них ползет вперед, вот другой, теперь третий; ни один из них не отступил. Зачем цепляться за жизнь? — подумал старик и бросил горящее полено в снег. Оно зашипело и погасло. Волки беспокойно рычали, смыкая круг. А перед ним снова мелькнула последняя остановка старого, матерого оленя, и Коскуш устало уронил голову на колени. В конце концов не все ли равно? Разве не таков закон жизни?

Нам-Бок – Лжец

— Байдарка, не правда ли? Глядите, байдарка, а в ней человек неуклюже гребет веслом!

Старая Баск-Ва-Ван стала на колени и, дрожа от старости и нетерпения, глядела на море.

— Нам-Бок всегда плохо справлялся с веслом, — бормотала она, вспоминая прошлое, и, заслонив глаза от солнца, вглядывалась в серебряную поверхность моря. — Нам-Бок всегда был неуклюжим. Я помню…

Но женщины и дети громко смеялись, и в их смехе звучала легкая насмешка; ее голос умолк, и только губы продолжали беззвучно шептать.

Куга поднял седеющую голову от работы — он резал по кости — и проследил глазами ее взгляд. Рассекая волны, чья-то байдарка направлялась к берегу. Сидевший в байдарке греб изо всех сил, но он был очень неловок, и байдарка приближалась зигзагообразно. Куга снова опустил голову над работой и на зажатом между коленями моржовом клыке вырезал спинной плавник неведомой рыбы — такую нельзя было найти ни в одном из морей.

— Это, конечно, человек из соседнего селе-

ния, — заявил он наконец. — И он едет ко мне посоветоваться, как резать узоры на кости. Но этот человек очень неловок. Он никогда не сумеет резать на кости.

— Это Нам-Бок, — повторяла старая Баск-Ва-Ван. — Неужто я не знаю своего сына! — резким голосом произнесла она. — Снова говорю вам, что это Нам-Бок.

— Ты говорила это каждое лето, — мягко укорила ее одна из женщин. — Как только море освобождалось ото льда, ты садилась на берегу и целыми днями ждала; а при виде любого челнока говорила: «Это Нам-Бок». Нам-Бок умер, о Баск-Ва-Ван, а мертвые не возвращаются. Не бывало еще, чтобы мертвый вернулся.

— Нам-Бок! — закричала старуха так громко и резко, что все переполошились и стали на нее смотреть.

Она с трудом стала на ноги, заковыляла по песку и наткнулась на лежавшего на солнышке ребенка, и его мать бросилась унимать его слезы, посылая проклятия вдогонку старухе. Она ни на что не обращала внимания. Ребятишки бежали к берегу, обгоняя ее, и когда гребец подплыл ближе, чуть не перевернув байдарку неловким взмахом весла, женщины последовали за ней.

Куга оставил свой моржовый клык и пошел навстречу, тяжело опираясь на посох, а за ним, по двое и по трое, двинулись и мужчины.

Байдарка повернулась боком к берегу, и прибой затопил бы ее, если бы один из голых мальчуганов не вбежал в воду и не вытащил ее на берег. Гребец встал и внимательно оглядел встречавших его людей. Разноцветная фуфайка, изношенная и грязная, висела свободно на его широких плечах, а вокруг шеи был повязан красный бумажный платок, как у матросов. На коротко остриженной голове была надета рыбачья шляпа, а грубые штаны и башмаки дополняли его наряд.

Но он все же показался удивительным явлением этим простодушным рыбакам с великой дельты Юкона. Они всю жизнь глядели на Берингово море и за все время видели всего двух белых людей — статистика и заблудившегося иезуита. Туземцы были бедны, у них не было ни золота, ни ценных мехов, и поэтому белые люди к ним не заглядывали. Тысячелетиями Юкон приносил с собой частицы смытой почвы Аляски, и море настолько обмелело, что крупные суда держались подальше от этих берегов. Поэтому-то этот край с его необозримыми равнинами и болотистыми островками никогда не посещался кораблями

белых людей.

Куга, резчик по кости, внезапно отступил, споткнулся о свой посох и упал на землю.

— Нам-Бок, — закричал он, барахтаясь и пытаясь подняться. — Нам-Бок, поглощенный морем, вернулся!

Мужчины и женщины отпрянули назад, и дети бросились к ним, ища защиты. Один Опи-Кван держался спокойно, как приличествовало старшине селения. Он шагнул вперед и долго и внимательно разглядывал пришельца.

— Да, это Нам-Бок, — сказал он наконец. Услышав это, женщины с испуга расплакались и отошли еще дальше.

Губы пришельца нерешительно зашевелились, и видно было, что невысказанные слова душат его.

— Да, да, это Нам-Бок, — хрипло заговорила Баск-Ва-Ван, вглядываясь в его лицо. — Я всегда говорила, что Нам-Бок вернется.

— Да, Нам-Бок вернулся. — На этот раз эти слова были сказаны самим Нам-Боком. Он переступил через борт байдарки и остался стоять одной ногой в байдарке, а другой — на песке. Снова он хотел заговорить, с трудом вспоминая забытые слова. Когда он, наконец, заговорил, гортанные звуки

с каким-то прищелкиванием слетали с его губ.

— Привет, о братья! — сказал он. — Братья прежних дней, когда ветер не унес меня от вас в море.

Он ступил двумя ногами на берег, и Опи-Кван махнул рукой, как бы приказывая ему вернуться в байдарку.

— Ты ведь умер, Нам-Бок, — сказал он.

— Погляди, как я толст, — рассмеялся Нам-Бок.

— Мертвые не бывают толсты, — согласился Опи-Кван. — У тебя прекрасный вид, но это очень странно. Ни один человек не уходил с береговым ветром, чтобы вернуться через много лет.

— Я вернулся, — просто сказал Нам-Бок.

— Может, ты тень, бродячая тень Нам-Бока. Тени возвращаются.

— Я голоден. Тени не едят.

Но Опи-Кван колебался и в смущении потирал лоб. Нам-Бок тоже был смущен, и, глядя на стоявших вокруг людей, ни в чьих глазах не встретил привета. Мужчины и женщины тихо перешептывались между собою. Дети робко жались за спиною старших, а собаки подозрительно его обнюхивали.

— Я родила тебя, Нам-Бок, и давала тебе грудь, когда ты был маленьким, — хныкала Баск-Ва-Ван,

подходя ближе, — и тень ты или не тень, я тебе дам поесть.

Нам-Бок двинулся к ней, но возгласы страха и угрозы остановили его. Он произнес на чужом языке что-то, звучавшее как английское «проклятье!», и прибавил:

— Я не тень, я живой человек.

— Кто может проникнуть в мир таинственного? — спросил Опи-Кван, обращаясь отчасти к себе, а отчасти к своим соплеменникам. — Мы существуем — и через мгновение нас нет. Если человек может стать тенью, почему тени не обратиться в человека? Нам-Бок был, но его нет. Это мы знаем, но мы не знаем — Нам-Бок ли это или тень Нам-Бока.

— В прежние годы, — ответил Нам-Бок, прочистив глотку, — отец твоего отца, Опи-Кван, ушел и вернулся через много лет. Ему не отказали в месте у очага. Говорят... — Он многозначительно помолчал, и все нетерпеливо ожидали продолжения его речи. — Говорят, — повторил он, обдуманно направляя удар в цель, — что Сипсип, его жена, родила двух сыновей после его возвращения.

— Но он уходил не с береговым ветром, — возразил Опи-Кван. — Он ушел в глубь страны, а это

уже так положено, чтобы человек мог сколько ему угодно ходить ко суше.

— А также и по морю. Но это неважно… Говорят… отец твоего отца рассказывал удивительные вещи обо всем, что он видел.

— Верно, он рассказывал удивительные вещи.

— Я тоже могу рассказать удивительные вещи, — коварно сказал Нам-Бок. А когда он заметил их колебание, добавил: — Я привез с собой и подарки.

Он взял из байдарки шаль невиданной ткани и окраски и набросил ее на плечи матери. Женщины вскрикнули от восхищения, а старая Баск-Ва-Ван разглаживала нарядную ткань, радуясь подарку как ребенок.

— Он привез нам интересные рассказы, — бормотал Куга.

— И подарки, — добавила одна из женщин. Опи-Кван понимал, что все хотят услышать рассказы Нам-Бока, и ему самому до смерти захотелось узнать, что делается на свете. Рыбная ловля была удачна, — рассудил он, — и у нас жира вдоволь…

— Идем, Нам-Бок, мы будем праздновать твое возвращение.

Двое мужчин подняли байдарку и на плечах перенесли ее к огню. Нам-Бок шел рядом со стар-

шиной, и все селение следовало за ними. Отстали лишь женщины — они хотели еще полюбоваться шалью и пощупать ее.

За едой говорили мало, и только кое-кто смотрел с любопытством на сына Баск-Ва-Ван. Эти взгляды смущали его — не потому, чтобы он отличался скромностью, нет — но вонь тюленьего жира лишала его аппетита, и ему во что бы то ни стало хотелось скрыть это обстоятельство.

— Ешь, ты ведь голоден, — сказал Опи-Кван, и Нам-Бок, зажмурив глаза, сунул руку в котел с тухлой рыбой.

— Не стесняйся! В этом году было много тюленей, а крупные, сильные мужчины всегда голодны. — И Баск-Ва-Ван обмакнула в жир особенно противный кусок рыбы и любовно протянула сыну.

Нам-Бок почувствовал, что его желудок не так силен, как в прежние дни, и в отчаянии набил трубку и закурил ее. Остальные продолжали шумно есть и глядели на него. Не многие из них могли похвастаться коротким знакомством с драгоценным куревом, хотя время от времени при меновых сделках с эскимосами им перепадали небольшие количества отвратительного табаку. Сосед его, Куга, дал ему понять, что он не

прочь сделать одну затяжку, и, продолжая жевать, приложился измазанными жиром губами к янтарному мундштуку. Увидев это, Нам-Бок схватился дрожащей рукой за живот и отказался принять трубку обратно. Пусть Куга оставит трубку себе, — сказал он, — он с самого начала собирался преподнести ее Куге. Окружающие облизывали пальцы и хвалили его щедрость.

Опи-Кван встал.

— А теперь, Нам-Бок, мы поели и хотим послушать рассказ об удивительных вещах, что ты видел.

Рыбаки захлопали в ладоши и, запасшись работой, приготовились слушать. Мужчины отделывали копья или вырезали узоры на кости, а женщины счищали жир с кож волосатых тюленей, разминали их или шили верхнюю одежду нитками из сухожилий. Нам-Бок оглядывался кругом, но не находил той прелести, что рисовалась ему в мечтах о доме. В годы странствований он часто представлял себе эту сцену, а теперь, когда вернулся, — почувствовал себя разочарованным. Жизнь эта жалкая и нищенская, подумал он, и ее нельзя даже сравнивать с той жизнью, к какой он привык. Ему все же хотелось открыть им неведомый для них мир, и при этой мысли его

глаза засверкали.

— Братья, — начал он со снисходительной вежливостью человека, собирающегося рассказать о своих великих деяниях, — ушел я от вас много лет назад поздним летом, и погода была такая же, как теперь. Вы все помните тот день, когда чайки летали низко, а ветер сильно дул с суши, и я не смог вести байдарку против ветра. Я крепко привязал покрышку к байдарке, чтобы вода не могла залить ее, и всю ночь напролет боролся с бурей. А наутро не видно было нигде земли — только вода, — и ветер с суши крепко держал меня и уносил все дальше от вас. Три ночи сменились зарей, а земли все не было видно, и ветер не хотел отпустить меня на свободу.

Нам-Бок сделал паузу, и все молча ждали продолжения.

— Когда наступил рассвет четвертого дня, я был как безумный. От голода я не мог двинуть веслом, а голова моя кружилась от жажды. Но море успокоилось; дул мягкий южный ветер, и когда я оглянулся вокруг, то увидел такое зрелище, что подумал, будто я и вправду рехнулся.

Нам-Бок остановился, чтобы вытащить застрявший в зубах кусочек лососины, а все мужчины и женщины, оставив работу, напряженно ждали

его слов.

— Это была лодка, большая лодка. Если бы из всех каноэ, что я до тех пор видел, составить одну, то и тогда бы не получилось такой большой лодки.

Раздались возгласы сомнения, и обремененный годами Куга покачал головой.

— Если бы каждая байдарка равнялась песчинке, — вызывающе продолжал Нам-Бок, — и если взять столько байдарок, сколько песчинок на берегу вашей бухты, все же не получишь такой большой лодки, как та, что я видел на рассвете четвертого дня. Лодка эта была очень велика и называлась шхуной. Я увидел, как это чудо, эта большая шхуна направлялась ко мне, и на борту я увидел людей.

— Погоди, о Нам-Бок! — прервал его Опи-Кван. — Какие это были люди? Огромного роста?

— Нет, люди были такие же, как ты и я.

— А большая лодка шла быстро?

— Да.

— Борта высокие, люди маленькие, — установил Опи-Кван первую посылку силлогизма. — А люди эти гребли длинными веслами?

Нам-Бок ухмыльнулся.

— Весел у них не было, — сказал он.

Все рты раскрылись, и наступило долгое молчание. Опи-Кван взял трубку у Куга и задумчиво затянулся. Одна из молодых женщин нервно хихикнула, и взоры всех обратились на нее с неудовольствием.

— Итак, весел не было? — мягко спросил Опи-Кван, возвращая трубку.

— Дул южный ветер, — пояснил Нам-Бок.

— Но ведь ветер очень тихо гонит перед собой лодку.

— У шхуны были крылья — вот так! — Он нарисовал на песке схему мачты и парусов, и мужчины столпились вокруг него, разглядывая рисунок. Дул резкий ветер, и он для большей ясности схватил шаль матери за углы и вытянул ее, пока она не надулась, как парус. Баск-Ва-Ван бранилась и отбивалась от него, но ветер отбросил ее шагов на двадцать, и она, запыхавшись, растянулась на куче щепок. Мужчины невнятными звуками показали, что поняли объяснение, но Куга внезапно откинул назад седую голову.

— Хо! Хо! — расхохотался он. — И дурацкая же штука эта большая лодка! Самая дурацкая на свете. Игрушка ветра! Куда дует ветер, туда плывет и лодка. Ни один человек в лодке не может знать, где он пристанет к берегу, потому что он плывет

по воле ветра, а ветер дует, как ему хочется, но никто не может знать его воли.

— Да, это так, — серьезно подтвердил Опи-Кван. — По ветру плыть легко, но против ветра человеку приходится сильно напрягаться; а так как у людей в большой лодке не было весел, они не могли бороться с ветром.

— Им незачем бороться! — сердито воскликнул Нам-Бок. — Шхуна отлично идет против ветра.

— А что же заставляет ш… ш… хуну идти? — спросил Куга запинаясь, ибо слово это было для него непривычным.

— Ветер, — был нетерпеливый ответ.

— Итак, ветер заставляет ш… ш… хуну идти против ветра? — Старый Куга подмигнул Опи-Квану и при общем смехе продолжал: — Ветер дует с юга и гонит шхуну к югу. Ветер гонит против ветра. Ветер гонит в одну сторону и гонит в другую в одно и то же время. Это очень просто. Мы поняли, Нам-Бок. Мы все поняли.

— Ты глупец.

— Правда слетает с твоих уст, — покорно сказал Куга. — Я слишком долго соображал, а штука была совсем проста.

Но лицо Нам-Бока потемнело, и он быстро произнес какие-то ими никогда не слышанные слова.

Мужчины снова принялись за резьбу, а женщины за очистку тюленьих кож.

Нам-Бок крепко сжал губы и не хотел продолжать, ибо никто не верил.

— Эта ш… ш… шхуна, — невозмутимо продолжал свои расспросы Куга, — была сделана из большого дерева?

— Она была сделана из многих деревьев, — коротко отрезал Нам-Бок. — Она была очень велика.

Он снова погрузился в угрюмое молчание, и Опи-Кван подтолкнул локтем Куга; тот удивленно покачал головой и произнес:

— Все это очень странно.

Нам-Бок попался на эту удочку.

— Это еще ничего, — сказал он, — вот вы бы на *пароход* посмотрели. Насколько байдарка больше песчинки, насколько шхуна больше байдарки, — настолько пароход больше шхуны. А кроме того, пароход сделан из железа. Он весь железный.

— Нет, нет, Нам-Бок! — воскликнул старшина. — Это не может быть. Железо всегда идет ко дну. Вот я получил в обмен железный нож от старшины соседнего селения, а вчера этот нож выскользнул у меня из рук и упал в море. Над всеми вещами есть закон. Ничто не может идти

против закона. Это нам известно. И, кроме того, нам известно, что над одинаковыми вещами есть один закон. Над железом есть только один закон. И потому откажись от своих слов, Нам-Бок, чтобы мы не потеряли уважения к тебе.

— Но это так, — настаивал Нам-Бок. — Пароход весь железный — и все же он не тонет.

— Нет, не может быть!

— Я видел своими глазами.

— Это противоречит тому, что положено.

— Но скажи мне, Нам-Бок, — вмешался Куга, боясь, что спор помешает рассказу. — Каким образом эти люди находят свой путь по морям, если нет там берега, которого можно держаться?

— Солнце указывает путь.

— Как?

— В полдень главный начальник шхуны берет одну вещь и глядит через нее на солнце, а затем он заставляет солнце спуститься с неба на край земли.

— Но ведь это волшебство! — воскликнул Опи-Кван, пораженный таким святотатством. Мужчины в ужасе всплеснули руками, а женщины застонали. — Это волшебство. Нехорошо отклонять от своего пути великое солнце, прогоняющее ночь и дающее нам тюленей, лососей

и тепло.

— Что из того, что это волшебство? — свирепо спросил Нам-Бок. — Я тоже смотрел в эту вещь и заставлял солнце спускаться с неба.

Сидевшие ближе к нему отпрянули от него, а одна из женщин накрыла лицо лежавшего у ее груди ребенка, чтобы взгляд Нам-Бока не мог его коснуться.

— Но наутро четвертого дня, о Нам-Бок, — подсказал Куга, — наутро четвертого дня, когда ш… ш… шхуна приблизилась к тебе?..

— У меня оставалось мало сил, и я не мог двигаться. Они взяли меня на борт, напоили водой и дали мне поесть. Вы, братья, два раза видели белых людей. Люди на шхуне были белолицы, и их было столько, сколько у меня на руках и на ногах пальцев. Когда я увидел, что они ко мне добры, я осмелел и решил унести с собой воспоминание обо всем, что я видел. Они научили меня своей работе, давали хорошую пищу и отвели мне место для сна. День за днем плавали мы по морю, и каждый день начальник заставлял солнце спускаться с неба и указывать нам, где мы находимся. Когда погода благоприятствовала, мы ловили тюленей, и я очень удивлялся, глядя, как они выбрасывают за борт мясо и жир, оставляя

себе только шкуру.

Рот Опи-Квана перекосился, и он готов был обрушиться на такую расточительность, но Куга толчком заставил его замолчать.

— После долгих, тяжелых трудов, когда солнце скрылось и воздух стал холодным, начальник направил шхуну к югу. Мы держали путь к югу и к западу и плыли день за днем, не видя земли. Проходя мимо селения…

— Откуда вы знали, что оно близко? — спросил Опи-Кван, не будучи в состоянии дольше сдерживаться. — Земли же не было видно.

Нам-Бок злобно посмотрел на него.

— Разве я не говорил, что начальник заставил солнце спуститься с неба?

Куга примирил их, и Нам-Бок продолжал:

— Как я уже говорил, когда мы проходили вблизи селения, подул сильный ветер, и мы в полной темноте были беспомощны и не знали, где находимся…

— Ты только что сказал, что начальник знал…

— Помолчи, Опи-Кван! Ты глупец и этого понять не можешь. Итак, мы были беспомощны в темноте, и вдруг я за ревом бури услыхал шум прибоя о берег. В следующий миг мы налетели на скалы, и я очутился в воде и поплыл. Скали-

стый берег тянулся на много миль, но мне было суждено погрузить свои руки в песок и выбраться невредимым из воды. Остальные, очевидно, разбились о скалы, потому что ни один из них не был выброшен на берег, кроме начальника, — его можно было узнать только по кольцу на пальце.

Нам-Бок остановился, но все молчали.

— Когда наступил день, от шхуны ничего не осталось, и я повернулся спиной к морю и пошел в глубь страны, чтобы достать пищи и поглядеть на лица людей. Я добрался до жилья, и меня пригласили войти и накормили, потому что я научился их языку, и белые люди всегда приветливы. А жилище их было больше, чем все дома, что строили мы, и строили до нас наши отцы.

— Это был громадный дом, — заметил Куга, маскируя свое недоверие удивлением.

— И немало деревьев пошло на постройку такого дома, — прибавил Опи-Кван, поняв намек.

— Это еще пустяки, — пренебрежительно пожал плечами Нам-Бок. — Наши дома так же малы по сравнению с этим домом, как он мал по сравнению с теми домами, что мне пришлось увидеть впоследствии.

— А люди были тоже велики ростом?

— Нет, люди были, как ты и я, — отвечал Нам-

Бок. — Я срезал себе по пути палку, чтобы легче было идти, и, помня, что я должен буду рассказать вам, братья, все, что я видел, я делал на палке по зарубке на каждого человека, живущего в том доме. Я прожил там много дней и работал, а они за работу давали мне *деньги* — вы еще не знаете, что это такое, но это хорошая, очень хорошая вещь.

Затем я в один прекрасный день ушел оттуда и пошел дальше в глубь страны. По дороге я встречал множество людей и стал делать зарубки меньшего размера, чтобы хватило места на всех. Вдруг я натолкнулся на странную вещь. На земле передо мною лежала железная полоса, шириною в мою руку, а на расстоянии большого шага лежала другая полоса…

— Значит, ты стал богатым человеком, — заметил Опи-Кван. — Ведь железо самая дорогая ведь на свете. Из этих полос можно было сделать много ножей.

— Нет, это железо было не мое.

— Ты нашел его, а находка, по закону, принадлежит нашедшему.

— Нет, это не так; белые люди положили железные полосы. А кроме того, эти полосы были так длинны, что никто не мог унести их, — так длинны, что я им и конца не видел.

— Это слишком много железа, Нам-Бок, — предостерег его Опи-Кван.

— Да, я с трудом верил своим глазам; но глаза меня не обманывали. Пока я разглядывал железо, я услыхал... — Он повернулся к старшине. — Опи-Кван, ты слышал, как ревет разгневанный морской лев. Представь себе рев стольких морских львов, сколько волн в море, и представь себе, что все львы превратились в одно чудовище, — так вот рев этого чудовища походил бы на рев, что я услышал.

Рыбаки громко закричали от удивления, а Опи-Кван так с разинутым ртом и остался.

— На некотором расстоянии я увидел чудовище, размером в тысячу китов. У него был всего один глаз, оно извергало дым и невероятно рычало. Я испугался и, спотыкаясь, бросился бежать по тропинке между полосами. Но чудовище мчалось со скоростью ветра, и я прыгнул в сторону через железную полосу, почувствовав на своем лице его горячее дыхание.

Опи-Кван овладел собою и закрыл рот.

— А потом что было, о Нам-Бок?

— Потом оно промчалось мимо меня по железным полосам, не причинив мне никакого вреда; когда я опомнился, оно уже исчезло из виду. Но

это очень обыкновенная вещь в той стране. Даже женщины и дети ее не боятся. Белые люди заставляют этих чудовищ работать на них.

— Как мы заставляем работать наших собак? — спросил Куга с недоверчивым огоньком в глазах.

— Да, как мы заставляем работать наших собак.

— А как они разводят этих… чудовищ? — спокойно спросил Опи-Кван.

— Они их не разводят. Они искусно строят их из железа, кормят их камнями и поят водой. Камень превращается в огонь, а вода превращается в пар; пар от воды — дыхание этих чудовищ, а…

— Довольно, довольно, о Нам-Бок, — прервал его Опи-Кван. — Расскажи нам о других чудесах. Нас утомляют эти чудеса, мы их не понимаем.

— Не понимаете? — безнадежно спросил Нам-Бок.

— Нет, не понимаем, — жалобно заныли все мужчины и женщины. — Мы не можем понять.

Нам-Бок подумал о сложных земледельческих машинах, об аппаратах, дающих изображения живых людей, о других аппаратах, передающих голоса людей, и понял, что его народ ничего не поймет в его рассказах.

— Вы мне поверите, если я скажу, что я ездил

на этом чудовище? — с горечью спросил он.

Опи-Кван поднял кверху руки, ладонями вперед, открыто выказывая свое недоверие.

— Продолжай, говори, что хочешь. Мы тебя слушаем.

— Итак, я ездил на железном чудовище, заплатив за проезд деньги…

— Ты же говорил, что его кормили камнями.

— О, глупец, я говорил еще, что деньги — это такая вещь, о которой вы ничего не знаете. И вот, как я сказал, я проехал на этом чудовище мимо многих селений, пока не доехал до большого селения, стоявшего на морском заливе. Крыши домов достигали звезд, облака отдыхали на этих крышах, и все кругом было затянуто дымом. Шум этого селения был подобен шуму бури на море, а народу было столько, что я бросил прочь палку и перестал думать о сделанных зарубках.

— Если бы ты делал маленькие зарубки, — упрекнул его Куга, — ты мог бы дать нам точный отчет.

— Если бы я делал маленькие зарубки! — Нам-Бок в бешенстве повернулся к нему. — Послушай, Куга, — ты, умеющий только царапать по кости! Если бы я стал делать маленькие зарубки, все равно не хватило бы ни моей палки, ни двадцати

палок, ни всех принесенных морем палок на берегу между нашим селением и соседним. И если бы всех вас, с женщинами и детьми, было в двадцать раз больше, и у каждого из вас было по двадцати рук, и каждая рука держала бы нож и палку — и тогда бы вам не удалось сделать столько зарубок, сколько людей я видел в городе — так много их там, и так быстро они приходят и уходят.

— Во всем мире не может быть столько людей, — возразил Опи-Кван; он был ошарашен и бессилен представить такое огромное количество.

— Что можешь ты знать о мире и о его размерах? — спросил Нам-Бок.

— Но в одном месте не может находиться столько людей.

— Кто ты такой, чтобы говорить о том, что может быть, и чего не может?

— Это само собой понятно, что в одном месте не может находиться столько людей. Их каноэ сплошь покрывали бы море, и никто бы не мог управлять каноэ за недостатком места. Они каждый день вылавливали бы из моря всю рыбу, и на всех не хватило бы и пищи.

— Казалось бы, что так, — закончил Нам-Бок, — но все же это правда. Я видел собственными

глазами и бросил прочь свою палку. — Он протяжно зевнул и встал. — Я плыл издалека. День был долог, и я устал. Теперь я пойду спать, а завтра мы поговорим еще о диковинках, что я видел.

Баск-Ва-Ван заковыляла впереди, гордая и в то же время напуганная своим удивительным сыном. Она привела его в свою *иглоо* и уложила спать на грязных, вонючих шкурах. Но мужчины остались сидеть у костра и держали совет, тихо перешептываясь и обсуждая что-то вполголоса.

Прошел час и другой; Нам-Бок спал, а беседа все продолжалась. Вечернее солнце склонялось к северо-западу и к одиннадцати часам было на севере. Тогда старшина и резчик по кости отделились от остальных и пошли будить Нам-Бока. Он прищурил на них глаза и повернулся на другой бок, чтобы уснуть. Опи-Кван схватил его за руку и добродушно, но решительно тряс его, пока не привел в чувство.

— Пора, Нам-Бок, вставай! — приказал он. — Время пришло.

— Снова еда? — воскликнул Нам-Бок. — Нет, я не голоден! Ешьте без меня и дайте мне выспаться.

— Время уходить! — загремел Куга.

Но Опи-Кван заговорил более мягко:

— Ты был другом моего детства. Мы вместе охотились на тюленей и ловили лососей. И ты спас мне жизнь, Нам-Бок, когда море сомкнуло надо мной свои воды и потянуло вниз к черным скалам. Мы вместе голодали и мерзли, и укрывались одной шкурой, плотно прижимаясь друг у другу. Все это и моя любовь к тебе заставляют меня страдать, что ты вернулся к нам таким удивительным лжецом. Мы ничего не можем понять, и у нас идет кругом голова от всего, что ты рассказал нам. Это нехорошо, и мы долго обсуждали это в совете. Поэтому мы отсылаем тебя обратно — нам надо сохранить разум ясным и сильным и не смущать его несказанными чудесами.

— Ты нам рассказывал о тенях, — подхватил Куга. — Ты принес свои рассказы из мира теней и должен вернуть их в мир теней. Байдарка готова, и все племя ждет. Они не пойдут спать, пока ты не уйдешь.

Нам-Бок был поражен и вслушивался в голос старшины.

— Если ты — Нам-Бок, — говорил Опи-Кван, — то ты бесстыдный и удивительный лжец; если ты — тень Нам-Бока, значит, ты говорил нам о тенях, а нехорошо, чтобы живые проникали в мир теней. Мы думаем, что большое селение,

о котором ты говорил, населено тенями. Там живут души мертвых, ибо мертвых много, а живых мало. Мертвые не возвращаются, мертвые никогда еще не возвращались — вернулся один ты с твоими удивительными рассказами. Мертвым не следует возвращаться, и если мы это допустим, нам придется вынести много горя.

Нам-Бок хорошо знал свой народ и понимал, что решение совета — окончательное. Итак, он, не сопротивляясь, спустился с ними к берегу, где его посадили в байдарку и дали в руку весло. Одинокая морская птица летела к морю, и прилив слабо и глухо катил на берег свои волны. Густые сумерки окутали землю и небо, а на севере солнце едва вырисовывалось, затемненное грядою кроваво-красных облаков. Чайки летали низко над землею. С суши дул резкий, холодный ветер, и черные массы облаков предвещали непогоду.

— Из моря ты пришел к нам, — нараспев протянул Опи-Кван, — и обратно в море ты уйдешь. Так будет выполнен закон.

Баск-Ва-Ван проковыляла до пенистой границы воды и закричала:

— Благословляю тебя, Нам-Бок, за то, что ты помнил обо мне.

Но Куга, отталкивая байдарку от берега, сорвал

с ее плеч шаль и кинул ее в байдарку.

— Холодно в долгие ночи, — заплакала она, — холод больно щиплет старые кости.

— Это лишь тень, — отвечал резчик по кости. — Тени не греют.

Нам-Бок встал, чтобы быть услышанным, и воскликнул:

— О Баск-Ва-Ван, что родила меня! Услышь слова твоего сына, Нам-Бока. В байдарке хватит места на двоих, и он хочет взять тебя с собою. Он едет в места, где рыбы и жира вволю. Мороза там нет, жизнь легка, и железные вещи выполняют работы человека. Хочешь, Баск-Ва-Ван?

Она колебалась, а когда челнок начал быстро удаляться, пронзительно закричала старческим дрожащим голосом:

— Я стара, Нам-Бок, и скоро перейду в царство теней. Но я не хочу идти туда до положенного мне срока. Я стара, Нам-Бок, и я боюсь.

Луч света прорезал тьму и залил лодку и человека золотом и пурпуром. Рыбаки замолкли, и слышался только стон ветра, да кричали чайки, летавшие низко над морем.

Заклинатель духов

Селение было взволновано. Женщины, собравшись группами, перешептывались. Мужчины были угрюмы и задумчивы, и даже собаки, обеспокоенные волнением людей, уныло бродили вокруг, готовясь бежать в лес при первых враждебных действиях. Воздух был насыщен подозрением. Никто не был уверен в своем соседе, и каждый думал, что сосед подозревает его. Даже дети были подавлены и притихли, а причина всего переполоха, маленький Ди-Иа, которого здорово отколотила его мать Гуниа, а затем и отец Боун, хныкал и уныло глядел на мир из-под опрокинутого на берегу каноэ.

К несчастью, Сканду, шаман, был в немилости, и нельзя было прибегнуть к его познаниям, чтобы найти злодея. Дело в том, что месяц назад Сканду предвещал благоприятный южный ветер на тот день, когда все племя собиралось ехать в Тонкий на потлач[63], — чтобы устроить потлач, Таку-Джим затратил все свои сбережения за двадцать лет; когда же назначенный день настал, дул сви-

[63] Сноски: 63
Потлач — пиршество.

репый северный ветер, и из первых трех каноэ, рискнувших отправиться в путь, одно опрокинулось, а два были разбиты вдребезги о скалы, причем утонул один ребенок. Сканду объяснил это ошибкой — он взял шнур для гаданья не из той сумки. Но никто его не хотел слушать; к его двери больше не приносили ни мяса, ни рыбы, ни мехов; и он угрюмо сидел взаперти, так думали односельчане, горько раскаиваясь и постясь; на самом же деле он прекрасно питался, поедая припрятанные запасы, и размышлял о непостоянстве толпы.

Пропали одеяла Гуниа. Это были прекрасные одеяла, толстые и теплые. Гуниа чрезвычайно гордилась ими, тем более что они очень дешево ей достались. Один лишь Ти-Кван, из соседнего селения, был настолько глуп, чтобы так легко расстаться с ними. Правда, она не знала, что это были одеяла убитого англичанина и что после этого убийства американский катер долгое время шнырял вдоль берега и шлюпки обыскивали все укромные бухточки и заливы. Она не знала, что Ти-Кван во что бы то ни стало хотел избавиться от них, чтобы не навлечь на свое селение гнева американского правительства, и спокойно продолжала гордиться своим приобретением.

Зависть остальных женщин только подливала масла в огонь, и ее тщеславие, все увеличиваясь, наполнило собой селение и разлилось по всему побережью Аляски от Голландской гавани до гавани Сент-Мэри. Все прославляли ее тотэм; ее имя было на устах мужчин за рыбной ловлей и за трапезой; повсюду только и было разговора, что об ее одеялах, — о том, какие они толстые и плотные. Их исчезновение было весьма таинственным и странным происшествием.

— Я только разложила их на солнышке у стены хижины, — повествовала в тысячный раз Гуниа своим товаркам. — Я только разложила их и вернулась в дом, потому что Ди-Иа, пожиратель сырой муки и теста, сунул голову в большой железный котел, опрокинул его и остался стоять вниз головой, а ноги его качались с воздухе, как ветви деревьев на ветру. Я только вытащила его и два раза ударила головой о дверь, чтобы отучить красть тесто, — и глянь! — одеял уже не было!

— Одеял уже не было! — повторили женщины испуганным шепотом.

— Это большая потеря, — добавила одна из них.

— Никогда здесь не видели таких одеял, — сказала другая.

— Мы очень опечалены твоей потерей, Гуниа, — заговорила третья.

В глубине души каждая из них радовалась, что ненавистные одеяла — предмет зависти и раздора — исчезли.

— Я только разостлала их на солнышке, — начала Гуниа в тысяча первый раз свое повествование.

— Да, да, — заговорил Боун, которому эти разговоры успели надоесть. — К нам никто не приходил из других селений. Очевидно, что один из наших односельчан наложил на них свою руку.

— Как же это могло случиться, о Боун? — хором негодовали женщины. — Кто мог это сделать?

— А может быть, здесь замешаны таинственные силы, — продолжал Боун, искоса поглядывая, какое впечатление произвели его слова.

Таинственные силы! При этом страшном слове женщины замолкли и боязливо поглядывали друг на друга.

— Да, это так, — подтвердила Гуниа, и скрытая злобность ее характера нашла себе выход в торжествующем злорадстве. — Клок-Но-Тону послано уже сообщение и крепкие весла. Он, верно, будет здесь с вечерним приливом.

Все разошлись по домам, и над селением навис страх. Из всех несчастий вмешательство таинственных сил было самым ужасным. С неосязаемыми и невидимыми силами мог бороться только шаман, и ни мужчина, ни женщина, ни дитя до момента испытания не могли знать, владеют ли дьяволы их душой или нет. И из всех шаманов Клок-Но-Тон из соседнего селения был самым страшным. Никто не находил столько злых духов, как он, и никто не подвергал жертв таким жестоким пыткам. Однажды он даже обнаружил злого духа, вселившегося в тело трехмесячного младенца, — духа столь упорного, что изгнать его удалось лишь после того, как младенец неделю пролежал на шипах терновника. После этого его тело было брошено в море, но волны постоянно приносили его обратно на берег, словно угрожая проклятием селению, пока двое сильных мужчин не утащили его во время отлива подальше и не утопили.

И за этим Клок-Но-Тоном послала Гунна! Было бы гораздо лучше, если бы их собственный шаман Сканду не находился в немилости. Он не был так жесток, и было известно, что он изгнал двух злых духов из человека, ставшего впоследствии отцом семи здоровых детей. Но Клок-Но-Тон! При

одной мысли о нем они содрогались от ужасных предчувствий, и каждый из них чувствовал устремленные на себя обличительные взоры сотоварищей и глядел на них тем же обличительным взором, — каждый, за исключением Сима. А Сим был известный насмешник, и его успехи в жизни не могли поколебать твердой уверенности односельчан в том, что он плохо кончит.

— Хо! Хо! — смеялся он. — Дьяволы и Клок-Но-Тон! Да большего дьявола вы по всей стране не сыщете!

— Ты глупец! Теперь он приближается к нам с заклинаниями; попридержи язык, не то тебя постигнет несчастие, и сократятся твои дни на земле!

Так говорил Ла-Ла, по прозванию Мошенник, и Сим презрительно расхохотался.

— Я — Сим, я не привык бояться и не пугаюсь тьмы. Я — сильный человек, и мой отец, до меня, был сильным человеком, и голова моя ясна. Ни вы, ни я не видали своими глазами невидимых злых сил…

— Мо Сканду видел, — возразил Ла-Ла. — И Клок-Но-Тон видел. Это всем известно.

— Как же ты узнал об этом, сын глупца? — загремел Сим, и бычья шея его потемнела от гнева.

— Они сами говорили это.

Сим фыркнул.

— Шаман — человек, и только! Разве его слова не могут быть *лживы*, как твои или мои? Тьфу! Тьфу! И еще раз — тьфу! А вот твоему шаману и всем его дьяволам! И вот это! И это!

И, подсмеиваясь, Сим крупными шагами прошел через толпу зрителей, почтительно и испуганно расступившихся перед ним.

— Хороший рыбак, сильный охотник, но дурной человек, — сказал один.

— Однако ему хорошо живется, — заметил другой.

— Ну, так и ты будь дурным и процветай, — через плечо возразил Сим. — А если бы все были дурными, тогда и шаманов бы не потребовалось. Полно! Стыдитесь — дети, боящиеся темноты!

Когда с вечерним приливом прибыл Клок-Но-Тон, Сим все так же вызывающе смеялся. Он не удержался и от насмешек над шаманом, когда тот упал на песок при высадке. Клок-Но-Тон сердито поглядел на него и, не здороваясь, прошел через встречавшую его толпу прямо к жилищу Сканду.

О встрече шаманов никто ничего узнать не мог, потому что все толпились на почтительном расстоянии от жилища Сканду и переговаривались

шепотом, пока заклинатели духов беседовали.

— Привет тебе, о Сканду! — проворчал Клок-Но-Тон, видимо, колеблясь и не зная, какой его ждет прием.

Он был громадного роста и горой возвышался над маленьким Сканду, голос которого долетал до его ушей, как слабое, отдаленное трещание сверчка.

— Привет, о Клок-Но-Тон! — отвечал тот. — Твой приход — радость моего дня.

— Мне казалось… — начал нерешительно Клок-Но-Тон.

— Да, да… — нетерпеливо перебил его маленький шаман. — Для меня настали тяжелые дни, иначе мне не пришлось бы благодарить тебя за то, что ты выполняешь мою работу.

— Мне очень неприятно, друг Сканду…

— Нет, я очень счастлив, Клок-Но-Тон.

— Я дам тебе половину того, что будет мне заплачено.

— Нет, не надо, друг Клок-Но-Тон, — прошептал Сканду, сопровождая свои слова умоляющим жестом. — Я твой раб, и дни мои полны желанием услужить тебе.

— Как и я…

— Ну да — тем, что сейчас помогаешь мне.

— Итак, это очень скверная история, с этими одеялами Гуниа?

Большой шаман намеренно протянул свой вопрос, и Сканду усмехнулся бледной, едва заметной усмешкой, ибо умел читать в сердцах людей, и все люди поэтому казались ему маленькими и жалкими.

— Искусство твое велико, Клок-Но-Тон, — сказал он. — Несомненно, ты сразу откроешь, кто совершил преступление.

— Да, я найду его, как только увижу. — Клок-Но-Тон снова заколебался. — Приходил сюда кто-нибудь из других селений? — спросил он.

Сканду покачал головой.

— Посмотри, разве это не прекрасный муклук?

Он поднял покрывало из тюленьей и моржовой кожи, и посетитель с тайным интересом принялся его разглядывать.

— Я недавно получил его.

Клок-Но-Тон внимательно кивнул головой.

— Я получил его от Ла-Ла. Он замечательный человек, и я часто подумывал…

— Да? — нетерпеливо заметил Клок-Но-Тон.

— Я часто подумывал… — заключил Сканду; голос его упал, и он замолчал. — Сегодня счастливый день, и искусство твое велико, Клок-Но-Тон.

Лицо Клок-Но-Тона прояснилось.

— Ты великий человек, Сканду, ты шаман из шаманов. Я иду. Я всегда буду помнить о тебе. А Ла-Ла, по твоим словам, замечательный человек.

Улыбка Сканду стала как бы призрачной, и он закрыл дверь за посетителем и задвинул все засовы.

Сим занимался починкою своего челнока, когда Клок-Но-Тон спустился на берег, и оторвался от работы лишь для того, чтобы хвастливо зарядить винтовку и положить ее рядом с собой.

Шаман заметил его движение и воскликнул:

— Пусть все соберутся сюда! Таков приказ Клок-Но-Тона, заклинателя злых духов!

Он собирался созвать их у дома Гуниа, ему необходимо было присутствие всех: сомневаясь в послушании Сима, он хотел избежать столкновений. Сима было выгоднее не трогать, рассудил он, так как Сим всякому шаману мог причинить много хлопот.

— Пусть приведут сюда женщину Гуниа, — приказал Клок-Но-Тон, свирепо оглядывая собравшихся вокруг него людей и заставляя содрогаться тех, на ком останавливался его взор.

Приковыляла Гуниа, опустив голову и глядя

в сторону.

— Где находились твои одеяла?

— Я только разостлала их на солнышке — и глянь! — их уже не было! — захныкала она.

— Да?

— Все случилось из-за Ди-Иа.

— Да?

— Я его поколотила и буду еще бить за то, что он доставил столько горя нам, беднякам.

— Одеяла! — хрипло заревел Клок-Но-Тон, предвидя ее желание понизить вознаграждение. — Одеяла, женщина! Твое богатство известно всем.

— Я только разостлала их на солнышке, — засопела она, — а мы бедные люди, совсем бедные…

Он вдруг замер, лицо его исказила ужасная судорога, и Гуниа отпрянула от него. Но он так быстро прыгнул вперед со скошенными внутрь глазами и разинутым ртом, что она споткнулась, упала и стала ползать у его ног. Он размахивал руками, дико рассекая воздух, и все тело его извивалось и корчилось, словно от боли. Казалось, что у него эпилептический припадок. На губах показалась пена, и тело содрогалось в конвульсиях.

Женщины жалобно причитали, раскачиваясь взад и вперед, да и мужчины один за другим

поддались общему возбуждению — оставался спокойным один Сим. Сидя на своем каноэ, он насмешливо глядел на все происходящее. Предки, чья кровь была его кровью, заговорили в нем, и он поклялся страшнейшей клятвой не терять присутствия духа. На Клок-Но-Тон страшно было смотреть. Он отбросил свой плащ и сорвал с себя одежду и остался совершенно нагим, лишь на бедрах болталась повязка из орлиных когтей. Дико завывая и крича, с развевающимися длинными черными волосами, он, как одержимый, метался по кругу. В его безумии чувствовался дикий, захватывающий ритм, и когда все поддались его влиянию, раскачиваясь одновременно с ним и вскрикивая в унисон, он внезапно уселся на землю, вытянув вперед руку и длинный, похожий на птичий коготь, палец. Тихий стон, словно плач по мертвецу, встретил этот жест, и все, дрожа, съеживались, когда ужасный палец медленно скользил мимо напряженных лиц. Этот палец нес смерть, и тот, мимо кого он прошел, знал, что ему суждено остаться в живых, и не отрываясь следил за движением рокового пальца.

В конце концов шаман с диким воплем остановил палец на Ла-Ла. Тот задрожал, как осиновый лист, увидя себя мертвым, имущество разде-

ленным и вдову вышедшей замуж за брата. Он пытался заговорить, отрицать это обвинение, но язык его словно прилип к гортани, а в глотке пересохло. Теперь, когда дело было сделано, Клок-Но-Тон, казалось, наполовину лишился сознания. Но, закрыв глаза, он прислушивался, ожидая, когда, наконец, раздастся дикий, кровожадный вой, знакомый по тысяче прежних волхвований, вой людей, бросающихся, подобно волкам, на дрожащую жертву. Но кругом было тихо, затем — неизвестно, с какой стороны — раздался подавленный смешок и, распространяясь все дальше и дальше, перешел в громкий хохот.

— Отчего вы хохочете? — воскликнул он.

— Ха! Ха! — смеялись кругом. — Твое искусство никуда не годится, Клок-Но-Тон.

— Все знают, — запинаясь, бормотал Ла-Ла, — что я восемь месяцев провел в трудах, далеко отсюда, охотясь на тюленей с сивашскими охотниками, и вернулся только сегодня, а одеяла Гуниа пропали до моего прихода.

— Это правда! — единодушно воскликнули все. — Одеяла Гуниа пропали до его прихода.

— И ты ничего не получишь за твое искусство — оно ничего не стоит, — заявила Гуниа, вставая на ноги. Она, видимо, страдала от смеш-

ного положения, в какое ей пришлось попасть.

Но Клок-Но-Тон видел перед собой только лицо Сканду, его безжизненную улыбку и слышал отдаленное, еле слышное трещание сверчка. «Я получил ее от Ла-Ла и частенько подумывал…», а затем: «Сегодня счастливый день, и искусство твое велико».

Он промчался мимо Гуниа, и все инстинктивно расступились, чтобы дать ему дорогу. Сим, сидя в своей лодке, посылал ему вдогонку насмешки, женщины смеялись ему в лицо, вслед неслись нелестные замечания и крики, но он, не обращая ни на что внимания, несся к жилищу Сканду. Добежав до него, он стал колотить в дверь кулаками, осыпая Сканду дикими проклятиями. Но из хижины никто не отзывался, и когда Клок-Но-Тон затихал, доносился голос Сканду, произносивший какие-то дикие заклинания. Клок-Но-Тон бесновался, как сумасшедший, но когда он попытался взломать дверь с помощью большого камня, послышался ропот всех жителей. И тогда Клок-Но-Тон понял, что он лишился власти и почета в этом чужом селении. Он увидел, как один из рыбаков нагнулся за камнем, а за ним и другой, и его обуял смертельный страх.

— Не трогай Сканду, он великий шаман! —

крикнула одна из женщин.

— Возвращайся-ка лучше в свое селение! — посоветовал угрожающим тоном один из мужчин.

Клок-Но-Тон повернулся и мимо них спустился к берегу с яростью в сердце и с сознанием, что с тылу он совершенно беззащитен. Но ни один камень не был брошен. Ребятишки с насмешками вертелись вокруг него, а в воздухе звучал хохот и издевательства, этим все и ограничилось. И только тогда, когда каноэ далеко отплыло от берега, он вздохнул свободно, встал и послал проклятие селению и его обитателям, не забыв при этом особо упомянуть Сканду, сделавшего из него всеобщее посмешище.

На берегу все громко призывали Сканду, и все жители селения столпились у его двери, умоляли на все голоса о прощении. Тогда он вышел из хижины и поднял руку.

— Вы мои дети, и я вас прощаю, — сказал он. — Но пусть это больше не повторится. В следующий раз ваша глупость получит заслуженное наказание. Я знаю, в чем заключается ваша просьба, и я ее исполню. Ночью, когда луна уйдет, чтобы повидать великих мертвецов, все должны собраться у хижины Гуниа. Тогда откроется, кто совершил это преступление, и злодей понесет заслуженную

кару. Я все сказал.

— Наказанием будет смерть! — завопил Боун. — Он причинил нам много горя и покрыл нас стыдом!

— Да будет так, — ответил Сканду и скрылся в хижине.

— Теперь все станет ясным, и мы снова заживем спокойно, — возвестил Ла-Ла.

— Благодаря маленькому человечку — Сканду, — издевался Сим.

— Благодаря искусству маленького человечка Сканду, — поправил его Ла-Ла.

— Глупцы вы, дети племени Тлинкет! — Сим звучно шлепнул себя по бедру. — Не пойму, как взрослые женщины и сильные мужчины могут пресмыкаться в грязи, восхищаясь сказками!

— Я много странствовал по свету, — отвечал Ла-Ла. — Я ездил по далеким морям и видел чудеса — и знаю, что существуют таинственные силы. Я — Ла-Ла…

— Мошенник…

— Да, так меня прозвали, а следовало бы называть Путешественником.

— Я не странствовал по свету так много, как… — начал Сим.

— Тогда попридержи язык, — прервал его Бо-

ун, и они расстались, очень недовольные друг другом.

Когда последний отблеск лунного сияния исчез, в толпе, окружавшей хижину Гуниа, появился Сканду. Он шел быстрым, бодрым шагом, и при свете огня Гуниа видно было, что он пришел с пустыми руками, без трещоток, масок и прочих принадлежностей шамана. Только под мышкой он нес большого заспанного ворона.

— Собраны ли дрова для костра, чтобы все могли увидеть ответ духов? — спросил он.

— Да, — отвечал Боун. — Дров много.

— Теперь слушайте все, ибо слов будет немного. Я принес с собою Джелкса-Ворона, вещуна и отгадчика тайн. Черного ворона помещу я под большим черным котлом Гуниа, в самом темном углу ее хижины. Огонь будет погашен, и вокруг наступит тьма. Один за другим вы будете входить в хижину, класть руки на котел, на время глубокого вздоха, и затем выходить обратно. Джелкс, несомненно, закричит, почуяв руки злодея. Кто знает, — может, он и другим путем обнаружит свою мудрость. Вы готовы?

— Мы готовы, — раздался многоголосый ответ.

— Тогда я начинаю выкликать по очереди имена, пока не вызову всех.

Первым был вызван Ла-Ла, и он без колебания вошел в хижину. Все напрягли слух, и в мертвой тишине был слышен скрип шагов по расшатанному полу. Но это было все. Джелкс не крикнул и не подал никакого знака. Затем была очередь Боуна, ибо не исключена же возможность, что человек украл собственные одеяла, чтобы навлечь стыд на голову своих соседей! За ним последовала Гуниа, другие женщины и дети, но Джелкс не подавал знака.

— Сим! — выкликнул Сканду.

— Сим, — повторил он.

Но Сим не трогался с места.

— Не боишься ли ты темноты? — свирепо спросил Ла-Ла, довольный доказательством своей честности.

Сим усмехнулся.

— Я смеюсь надо всем, потому что это вздор. Но я войду туда не потому, что верю в чудеса, а чтобы показать, что я не боюсь.

И он смело вошел в хижину и, все еще насмехаясь, вышел из нее.

— Ты когда-нибудь внезапно умрешь, — прошептал в справедливом негодовании Ла-Ла.

— Ничуть в этом не сомневаюсь, — легкомысленно возразил насмешник. — Немногие из нас

умирают на своем ложе, благодаря шаманам и глубокому морю.

Когда половина жителей благополучно прошла через испытание, общее возбуждение стало мучительно напряженным. А когда испытанию подверглись две трети селения, молодая женщина, ожидавшая в скором времени ребенка, не выдержала и забилась в истерическом припадке.

Наконец пришла очередь последнего, а знака все еще не было. Последним был Ди-Иа. Очевидно, украл одеяла он. Гуниа обратилась с жалобным воплем к звездам, а остальные отшатнулись от несчастного ребенка. Он был еле жив от ужаса, ноги его подгибались, и он споткнулся на пороге и чуть не упал. Сканду толкнул его в хижину и закрыл за ним дверь.

Прошло долгое время, и из хижины доносились лишь рыдания мальчугана. Затем послышался скрип шагов — мальчик медленно приближался к дальнему углу, затем наступила тишина — и снова скрип шагов. Дверь открылась, и он вышел из хижины. Ничего не произошло, а он был последним.

— Разведите огонь, — приказал Сканду.

Яркое пламя взвилось кверху, и при его свете

было видно, что страх жителей исчез, но лица их омрачены сомнением.

— Видно, гадание не удалось, — хрипло прошептала Гуниа.

— Да, — согласился Боун. — Сканду старится, и нам надо позаботиться о новом шамане.

— Где же ясновидение Джелкса? — проговорил, смеясь, Сим на ухо Ла-Ла.

Ла-ла растерянно провел рукой по лбу и ничего не сказал.

Сим вызывающе выпятил грудь и хвастливо заявил маленькому шаману:

— Хо! Хо! Я говорил, что ничего не выйдет!

— Посмотрим, посмотрим, — кротко возразил шаман. — Это кажется невероятным всем, не посвященным в тайные знания.

— Как, например, тебе? — дерзко спросил Сим.

— Может быть, и мне. — Сканду говорил тихо, и его веки опускались и опускались все ниже и ниже, пока глаза не закрылись. — Я решил дать вам другое испытание. Пусть все — мужчины и женщины и дети — сразу поднимут руки высоко над головой!

Приказ был так неожидан и прозвучал настолько повелительно, что все, не рассуждая, повиновались.

Все руки были подняты.

— Пусть каждый посмотрит на руки остальных — глядите все! — приказывал Сканду, — чтобы…

Но громкий хохот, в котором звучала ярость, заглушил его голос. Взоры всех остановились на Симе. Все руки были черны от сажи, лишь его руки не прикасались к закопченному котлу Гуниа.

Камень пролетел в воздухе и попал ему в щеку.

— Это ложь! — завопил он. — Это ложь! Я ничего не знаю об одеялах Гуниа!

Второй камень попал ему в лоб, третий просвистел мимо, раздался дикий, кровожадный вой, и всюду виднелись нагнувшиеся за камнями фигуры людей. Он пошатнулся и медленно опустился на землю.

— Это была шутка! Только шутка! — закричал он. — Я взял их в шутку!

— Куда ты их спрятал? — пронзительный голос Сканду ножом прорезал общий шум.

— В большом тюке со шкурами.

Сканду кивнул головой, и камни полетели со всех сторон. Жена Сима беззвучно рыдала, спрятав голову в коленях, но его маленький сын с криками и смехом бросал камни вместе

с остальными.

Приковыляла Гуниа с драгоценными своими одеялами. Сканду остановил ее.

— Мы люди бедные, и у нас ничего нет, — захныкала она. — Не будь к нам жесток, о Сканду!

Рыбаки перестали кидать камни — их нагромоздилась куча — и прислушались.

— Нет, это не в моих привычках, добрая женщина, — отвечал Сканду, протягивая руку за одеялами. — В знак того, что я не жесток, я возьму себе только одеяла. Мудро ли я рассудил, дети мои? — спросил он.

— Ты мудрец, о Сканду! — воскликнули все в один голос. И он скрылся в темноте, накинув на себя одеяла и унося под мышкой сонно качавшего головой Джелкса.

Жители солнечной страны

Мэндел — это заброшенное селение на берегу Полярного моря. Оно невелико, и жители его миролюбивы, — еще более миролюбивы, чем все соседние племена. В Мэнделе мало мужчин и много женщин; поэтому там в обычае благодетельная полигамия; женщины усердно рожают, и рождение мальчика встречается радостными криками. Там вы встретите Ааб-Ваака, чья голова постоянно свисает на плечо, словно шея его устала и раз навсегда отказалась выполнять свой долг.

Причина всего — и миролюбия, и полигамии, и свисающей головы Ааб-Ваака — отходит в те отдаленные времена, когда шхуна «Искатель» бросила якорь в бухте Мэндел и когда Тайи, старшина селения, задался целью быстро обогатиться. Племя Мэндел — родственное по крови живущему на западе Голодному племени — по сей день помнит об этом. Понизив голос, жители рассказывают о минувших событиях. Когда заходит о них речь, дети подсаживаются ближе и удивляются безумию людей, которые, не вступи они в борьбу с жителями Солнечной Страны,

могли бы иметь потомство и не окончили бы так печально своей жизни.

Все началось с того, что шесть человек с «Искателя» сошли на берег. Они имели при себе множество вещей, — словно намеревались оставаться в Мэнделе, — и устроились в хижине Нига. Они щедро расплачивались за помещение мукой и сахаром, но Нига был огорчен тем, что его дочь Месахчи решилась вверить свою судьбу и делить стол и ложе с Пришельцем-Биллом, начальником отряда белых людей.

— Она стоит большого выкупа, — жаловался Нига собравшемуся у костра совету, когда белые пришельцы спали. — Она стоит большого выкупа, потому что у нас больше мужчин, чем женщин, и мужчины дают высокую цену за жен. Охотник Ауненк предлагал мне только что сделанный каяк и ружье, что он выменял у Голодного племени. Вот что мне было предложено, а теперь она ушла, и я ничего не получу.

— Я тоже предлагал выкуп за Месахчи, — проворчал чей-то голос — нельзя сказать, чтобы он звучал печально, — и у костра показалось широкое, жизнерадостное лицо Пило.

— Да, ты тоже, — подтвердил Нига. — Были еще и другие. Отчего так беспокойны жители Солнеч-

ной Страны? — сердито спросил он. — Отчего они не остаются у себя на родине? Жители Страны Мороза не пробираются в Солнечную Страну.

— Спроси лучше, зачем они приезжают к нам, — крикнул голос из темноты, и к костру пробился Ааб-Ваак.

— Верно! Зачем они приезжают! — воскликнуло множество голосов, и Ааб-Ваак подал рукою знак молчания.

— Люди не станут рыть землю без всякой цели, — начал он. — Я вспоминаю китоловов — они тоже родом из Солнечной Страны, — их корабль погиб во льдах. Вы все помните, как они явились к нам в разбитых лодках и на запряженных собаками санях уехали на юг, когда настали морозы и земля покрылась снегом. Вы помните, как, ожидая наступления морозов, один из них начал копать землю, за ним еще двое, затем трое, пока не стали копать все. Вы помните, как они при этом спорили и ссорились. Мы не знаем, что они нашли в земле, потому что они не позволяли нам следить за собой, и мы ничего не могли увидеть. После, когда они уехали, мы искали и ничего не нашли. Но у нас земли много, и всей они не перерыли.

— Ты прав, Ааб-Ваак, ты прав! — кричали все.

— И вот я думаю, — заключил он свою речь, — что один житель Солнечной Страны рассказал другому, и эти люди, узнав, приехали к нам рыть землю.

— Но как могло случиться, что Пришелец-Билл говорит на нашем языке, — спросил маленький, иссохший старичок-охотник. — Пришелец-Билл, которого наши глаза никогда до сих пор не видали?

— Пришелец-Билл бывал прежде в Стране Мороза, — отвечал Ааб-Ваак. — Иначе он бы не знал языка племени Медведя, а их речь очень похожа на речь Голодного племени, а Голодное племя говорит на том же языке, что мэнделийцы. У племени Медведя побывало много жителей Солнечной Страны, у Голодного племени их было мало, а в Мэнделе не было никого, кроме китобоев и тех белых, что спят сейчас в жилище Нига.

— Их сахар очень хорош, — добавил Нига. — И мука тоже очень хороша.

— У них много богатств, — заметил Аунек. — Вчера я был на их судне и видел много замечательных железных вещей, ножи, оружие, а также муку, сахар и много-много других удивительных вещей.

— Это правда, братья! — Тайи встал, внутренне

торжествуя от сознания, что его племя уважает и слушается его. — Они очень богаты, эти пришельцы из Солнечной Страны. При этом они очень глупы. Судите сами! Они смело и слепо являются к нам, не задумываясь о своем огромном богатстве. Они спокойно спят, а нас много, и мы не знаем страха.

— Может быть, и они храбрые бойцы и не знают страха? — возразил маленький старичок-охотник.

Тайи мрачно посмотрел на него.

— Нет, непохоже на то. Они живут на юге, в Солнечной Стране и изнежены, как их собаки. Вы помните собаку китобоев? Наши псы сожрали ее на следующий же день, потому что она была изнежена и не могла сопротивляться. Солнце греет, и жизнь в той стране легка, мужчины похожи на женщин, а женщины на детей.

Слушатели одобрительно закивали, а женщины вытянули шеи, чтобы послушать.

— Говорят, что они хорошо обращаются со своими женщинами, и их женщины не работают, — хихикая, сказала Ликита, здоровая, крепкая девушка, дочь самого Тайи.

— Не хочешь ли ты пойти по следам Месахчи? — сердито крикнул он. Затем он быстро повернулся

к односельчанам. — Вот видите, братья, каков обычай жителей Солнечной Страны! Им нравятся наши женщины, и они отнимают их у нас одну за другой. Месахчи ушла, лишив Нига выкупа; теперь хочет уйти Ликита, и захотят уйти все, а мы будем обездолены. Я говорил с одним охотником из племени Медведя, и я знаю, что это так. Среди нас находятся мужчины из Голодного племени; пусть они скажут — правдивы ли мои слова.

Шестеро охотников из Голодного племени подтвердили правильность его слов и наперебой начали рассказывать о жителях Солнечной Страны и их обычаях. Молодые люди, искавшие себе жен, роптали; роптали и старики, желавшие получить выкуп за дочерей, и глухой ропот ярости становился все громче и явственнее.

— Они очень богаты, и у них много удивительных железных вещей, много ножей и оружия, — подливал масла в огонь Тайи, и мечта о быстром обогащении начинала казаться близкой к осуществлению.

— Ружье Пришельца-Билла я возьму себе, — заявил неожиданно Ааб-Ваак.

— Нет, его возьму я! — заорал Нига. — Пусть оно послужит выкупом за Месахчи.

— Тише! О братья! — Тайи жестом руки успо-

коил собравшихся. — Пусть женщины и дети удалятся в свои хижины. Это беседа мужей; пусть ее слышат только уши мужчин.

— Ружей хватит на всех, — сказал он, когда женщины нехотя удалились. — Я не сомневаюсь, что каждый получит по два ружья, не говоря уже о муке, сахаре и других вещах. Это очень нетрудно. Шестеро жителей Солнечной Страны будут убиты сегодня в хижине Нига во время сна. Завтра мы мирно поедем на шхуну выменивать товары и, улучив время, перебьем их братьев. А вечером устроим пиршество и будем веселиться и делить богатства. Самый бедный будет иметь больше, чем имел когда-либо богатый. Слова мои мудры, не правда ли, братья?

Ответом было глухое одобрительное ворчание, и начались приготовления к нападению. Шесть охотников из Голодного племени, как полагается жителям более богатого селения, были вооружены винтовками и в изобилии снабжены боевыми припасами. Но у жителей Мэндела ружей было мало, да и те в большинстве случаев никуда не годились, а пороха и пуль почти совсем не было. Этот недостаток восполнялся несметным количеством стрел с костяными наконечниками, копий и стальных ножей русской и американ-

ской работы.

— Действуйте в полной тишине, — наставлял Тайи, — окружите хижину плотным кольцом, чтобы жители Солнечной Страны не могли через него прорваться. Затем ты, Нига, и шестеро молодых людей вползут тихонько в то помещение, где они спят. Ружей брать с собой не надо — они всегда могут неожиданно выстрелить, но вложите всю силу рук в ножи.

— И пусть ничто дурное не коснется Месахчи — она стоит большого выкупа, — хрипло прошептал Нига.

Отряд ползком приблизился к хижине Нига, а за ними, предвкушая грядущие богатства, пробирались женщины и дети — им хотелось посмотреть на избиение. Короткая августовская ночь сменялась рассветом, и в полумраке едва виднелись подползавшие к хижине шестеро юношей и Нига. Безостановочно передвигаясь на руках и коленях, они вползли в сени. Тайи поднялся и начал потирать руки. Все шло хорошо. Окружавшие хижину один за другим вставали и прислушивались. Каждый по-своему рисовал себе сцену, происходившую внутри: спящие пришельцы, удары ножей и мгновенная смерть во мраке.

Громкий призыв одного из жителей Солнечной Страны разорвал нависшую тишину, и раздался выстрел. Затем в хижине поднялся дикий шум. Не размышляя, ожидавшие бросились вперед, в сени. Сидевшие внутри открыли стрельбу из шести винтовок, и стиснутые в узком пространстве сеней мэнделийцы были совершенно беспомощны. Бывшие впереди рвались обратно, стараясь отступить от направленных на них смертоносных дул, а находившиеся сзади бешено напирали, чтобы схватиться врукопашную. Крупнокалиберные пули выводили из строя по шести человек сразу, и сени, битком набитые взбудораженными, беспомощными людьми, напоминали мясной ряд на рынке. Винтовки стреляли прямо в толпу, разрежая ее. Против смертоносного потока не мог устоять ни один.

— Никогда такого не бывало! — задыхаясь говорил один охотник из Голодного племени. — Я только заглянул туда — мертвые лежали кучами, словно тюлени на льду после охоты.

— Не говорил ли я вам, что они могут оказаться хорошими бойцами? — пробормотал старик-охотник.

— Этого следовало ожидать, — отвечал Ааб-Ваак. — Мы сражались в западне, которую сами и

устроили.

— Вы глупцы! — бранился Тайи. — Сыны глупцов вы! Вы сами полезли туда, никого не спрашивая. Лишь Нига и шести юношам нужно было войти внутрь хижины. Я искуснее в войне, чем жители Солнечной Страны, но вы нарушаете мои приказания, и моя мудрость теряет силу и остроту.

Никто не ответил, и все глаза были устремлены на хижину, казавшуюся таинственной и громадной на фоне рассветного неба. Через отверстие в крыше поднимался медленно дым от выстрелов, растворяясь в неподвижном воздухе, и время от времени проползал со стонами раненый.

— Пусть каждый спрашивает ближайшего о Нига и шести юношах, — приказал Тайи.

Через некоторое время пришел ответ:

— Нига и шести юношей больше нет.

— И многих других нет! — плакала сзади одна из женщин.

— Больше богатств достанется тем, что остались, — мрачно утешал Тайи и, повернувшись к Ааб-Вааку, прибавил: — Ступай собери побольше тюленьих кож, наполненных жиром. Пусть охотники выльют жир у стены хижины и сеней. И скажи им, чтобы они поторопились разжечь

пламя, пока жители Солнечной Страны не проделали в стенах хижин отверстий для ружей.

Не успел он договорить, как в грязи, скрепляющей бревна, появилось отверстие, в него высунулось дуло винтовки, и один из воинов Голодного племени схватился рукой за бок и высоко подпрыгнул на месте. Второй выстрел пробил ему легкие, и он опустился на землю. Тайи и остальные рассыпались во все стороны, спасаясь от винтовки, а Ааб-Ваак торопил людей, несших кожи с жиром. Избегая бойниц, проделанных во всех стенах хижины, они вылили жир на сухие бревна, принесенные рекою Мэндел из лесных областей, лежащих к югу. Ауненк подбежал с горящей головней, и пламя взвилось вверх.

Прошло некоторое время, осажденные не подавали никаких признаков жизни, и нападающие держали наготове оружие, следя за работой огня.

Тайи радостно потирал руки, когда огонь перекинулся на постройку и сухое дерево затрещало.

— Теперь мы их поймали, братья! Они в ловушке.

— Никто не посмеет отказать мне в ружье Пришельца-Билла, — объявил Ааб-Ваак.

— Никто, кроме Пришельца-Билла, — визгливо заметил старый охотник. — Гляди, вот он!

Защищенный опаленным, почерневшим одеялом, выскочил из пылающего входа человек громадного роста, а за ним по пятам следовали покрытые одеялами Месахчи и пятеро жителей Солнечной Страны. Воины Голодного племени неудачно пытались остановить их, и мэнделийцы пустили им вслед тучу стрел и копий. Но пришельцы сбросили с себя на бегу горящие одеяла, и преследователи увидели, что каждый из них нес на плече небольшой тюк с боевыми припасами. Из всего имущества было решено спасти только это. Они быстро побежали, по заранее выработанному плану, прорвались через кольцо врагов и направились прямо к высокой скале, черневшей в полумиле от селения.

Но Тайи встал на одно колено и прицелился в бежавшего позади жителя Солнечной Страны.

Он спустил курок, раздался выстрел, и тот упал лицом вперед, попытался подняться и снова упал. Не обращая внимания на дождь стрел, один из его товарищей побежал обратно, нагнулся над ним и поднял его к себе на плечи. Но мэнделийские копьеносцы были уже близко, и метко брошенное копье пронзило раненого. Он вскрикнул и, когда товарищ опустил его на землю, зашатался и упал. Тем временем Пришелец-Билл и трое других оста-

новились и осыпали свинцом приближающихся копьеносцев. Пятый нагнулся над сраженным товарищем, пощупал его сердце, а затем хладнокровно обрезал ремни сумки и встал, держа в руках боевые припасы и винтовку.

— И глупец же он! — воскликнул Тайи, высоко подпрыгнув, и бросился вырывать трепещущее тело из рук воина Голодного племени.

Его винтовка была засорена, и воспользоваться ею было невозможно; поэтому он кричал, чтобы кто-нибудь бросил копье в убегающего под прикрытие выстрелов жителя Солнечной Страны.

Маленький старый охотник прицелился, откинул назад руку и бросил копье.

— Клянусь Волком, это прекрасный удар! — похвалил его Тайи, когда бегущий свалился замертво, а торчавшее меж лопаток копье медленно раскачивалось.

Маленький иссохший старичок закашлялся и сел. Красная струйка показалась на его губах и полилась густой струей изо рта. Он снова кашлянул, и его дыхание сопровождалось странным свистом.

— Они неустрашимы, и они хорошие бойцы, — прохрипел он, беспомощно поводя руками. — Глядите! Вот идет Пришелец-Билл!

Тайи поднял глаза. Четверо мэнделийцев и один из воинов Голодного племени бросились к упавшему и копьями старались добить пытавшегося подняться на колени пришельца из Солнечной Страны. Тайи видел, как в одно мгновение четверо из них были сражены пулями жителей Солнечной Страны. Пятый, остававшийся до той поры невредимым, схватил обе винтовки, но, поднявшись, завертелся на месте от раны в руку; вторая пуля пригвоздила его к месту, а третья сразила насмерть. Секундой позже Пришелец-Билл стоял над товарищем и, срезав сумку с боевыми припасами, подобрал обе винтовки.

Тайи видел это и видел гибель односельчан; им овладело некоторое сомнение, и он решил лежать тихо и наблюдать. По каким-то непонятным причинам, Месахчи побежала назад к Пришельцу-Биллу; Тайи увидел, что, прежде чем ей удалось до него добежать, выскочил вперед Пило и обхватил ее руками. Он пытался поднять ее на плечи, но она вцепилась в него, колотя и царапая ему лицо. Затем она подставила ему ногу, и оба тяжело упали на землю. Когда они поднялись, Пило схватил ее одной рукой за горло и стал душить. Спрятав лицо у нее на груди, он подстав-

лял под ее удары густую массу волос и медленно увлекал ее прочь с поля сражения. Тогда-то подоспел к ним Пришелец-Билл, возвращавшийся с оружием павших товарищей. Месахчи увидела его и напрягла все силы, чтобы удержать врага на месте. Пришелец-Билл размахнулся винтовкой и на бегу ударил ею Пило. Тайи видел, как Пило рухнул на землю, словно пораженный падающей звездой, а пришелец из Солнечной Страны и дочь Нига бросились бежать к своему отряду.

Небольшая кучка мэнделийцев, под предводительством одного из воинов Голодного племени, бросилась на отступающих, но сразу растаяла под огнем противника.

Тайи подавил вздох и шепнул:

— Как иней на утреннем солнышке!

— Я говорил, что они великие бойцы, — слабо прошептал истекавший кровью старик-охотник. — Я знаю. Слышал о них. Они морские пираты и охотники за тюленями; они стреляют быстро и хорошо попадают в цель — таков их обычай и ремесло.

— Как иней на утреннем солнышке! — повторял Тайи, прячась за умирающим стариком и выглядывая время от времени из-за него.

Сражение прекратилось — ни один из мэнде-

лийцев не осмеливался наступать, а положение было таково, что и отступать было поздно — слишком близко подошли они к противнику. Трое попытались спастись бегством, но один из них упал с перебитой ногой; второй был простре-лен навылет, а третий, корчась и извиваясь, упал на окраине селения. Итак, мэнделийцы прята-лись по ямкам и углублениям почвы, а жители Солнечной Страны обстреливали долину.

— Не двигайся, — просил Тайи, когда Ааб-Ваак ползком подобрался к нему. — Не двигайся, друг Ааб-Ваак, иначе ты навлечешь на нас смерть.

— Смерть ко многим уже пришла, — рассмеял-ся Ааб-Ваак, — ну, значит, каждому достанется больше богатства — ты сам это говорил. Мой отец коротко и часто дышит вот за тем камнем, а за ним скрюченный, словно связанный узлом, лежит мой брат. Но их доля будет моей долей, и это очень хорошо.

— Ты говоришь это, мой Ааб-Ваак. То же самое и я говорил прежде; но перед тем, как делить, мы должны получить богатства для дележа, а жите-ли Солнечной Страны еще живы.

Пуля ударилась о скалу и с резким свистом пролетела низко над их головой. Тайи, дрожа, прилег, а Ааб-Ваак усмехнулся и тщетно пытался

проследить глазами ее полет.

— Они так быстро летят, что их не видишь, — заметил он.

— Многие из наших погибли, — продолжал Тайи.

— А многие остались, — прозвучал ответ. — Они припали плотно к земле, ибо на опыте узнали, как нужно вести борьбу. Кроме того, они очень возбуждены против пришельцев. Когда мы убьем на корабле всех пришельцев из Солнечной Страны, здесь, на суше, останутся только четверо. Может быть, пройдет много времени, пока мы их убьем, но в конце концов это совершится.

— Как мы отправимся на корабль, если мы не можем тронуться с места? — спросил Тайи.

— Пришелец-Билл и его братья заняли очень неудобное место, — пояснил Ааб-Ваак. — Мы можем обойти их с обеих сторон, но это не годится. Они стараются отступить под прикрытием скалы и выждать, пока их братья с корабля не придут им на помощь.

— Никогда их братья не сойдут с корабля на сушу! Я сказал.

Тайи приободрился, и когда пришельцы из Солнечной Страны поступили так, как он предполагал, — отступили к скале, — он был снова

весел, как всегда.

— Нас осталось всего три человека! — жаловался один из воинов Голодного племени, когда все собрались для совета.

— Поэтому каждый из вас вместо двух получит три винтовки, — гласил ответ Тайи.

— Мы хорошо дрались.

— Да, и если случится, что останутся в живых только двое, то каждый получит по шести винтовок. Поэтому — деритесь хорошо.

— А если ни один из них не останется в живых? — коварно прошептал Ааб-Ваак.

— Тогда получим винтовки *мы* — ты и я, — шепнул в ответ Тайи.

Чтобы задобрить воинов Голодного племени, Тайи назначил одного из них начальником отряда, в который вошли две трети взрослых мужчин племени; нагруженные шкурами и другими предметами меновой торговли, они направились к морскому берегу, отстоящему на двенадцать миль от селения. Оставшиеся разместились широким полукругом, невдалеке от воздвигаемых Биллом и жителями Солнечной Страны укреплений. Тайи скоро учел положение и сразу послал своих людей рыть узкие траншеи.

— Они не скоро разберутся в случившемся, —

объяснял он Ааб-Вааку, — мысли их заняты другим, и они не станут задумываться над смертью близких или бояться за себя. А в темноте ночи они подползут ближе, и наутро жители Солнечной Страны, выглянув из-за укреплений, увидят нас совсем близко.

В полдень люди сделали перерыв в работе и подкрепились принесенной женщинами сухой рыбой и тюленьим жиром. Некоторые требовали пищи пришельцев из Солнечной Страны, оставленной теми в иглоо Нига, но Тайи отказался делить ее до возвращения отряда, посланного к кораблю. Все строили догадки насчет исхода экспедиции, но во время обсуждения с моря донесся глухой звук выстрела. Дальнозоркие разглядели на горизонте быстро рассеявшееся густое облако дыма, появившееся, по их уверениям, прямо над местом стоянки корабля жителей Солнечной Страны. Тайи был того мнения, что это был выстрел из пушки. Ааб-Ваак ничего не утверждал, но думал, что это какой-то сигнал. Но, как бы там ни было, по его мнению, что-то случилось.

Спустя пять или шесть часов на широкой, спускавшейся к морю равнине показался человек, и все женщины и дети бросились ему навстречу.

Это был Ауненк, обнаженный, задыхающийся и израненный. Кровь струилась из раны на лбу. Изуродованная рука беспомощно болталась. Но самым страшным казался дикий блеск его глаз, что-то предвещавший, но что — женщины не знали.

— Где Пишек? — резко спросила одна старая скваy.

— А Олитли? А Полак? А Ма-Кук? — раздались крики.

Но он не отвечал, прокладывая себе дорогу среди кричащей толпы, и, шатаясь на ходу, направился прямо к Тайи.

Старуха громко завопила, и женщины одна за другой подхватили ее причитания. Мужчины выползли из траншей и окружили Тайи — даже жители Солнечной Страны взобрались на баррикаду поглядеть, что случилось.

Ауненк остановился, вытер кровь, заливавшую ему глаза, и осмотрелся вокруг. Он пытался заговорить, но его сухие губы слиплись. Ликита подала ему воды, он пробормотал что-то и принялся пить.

— Сражение было? — спросил наконец Тайи. — Хорошее сражение?

— Хо! Хо! Хо! — Ауненк так неожиданно и дико

расхохотался, что все замолкли. — Никогда еще не бывало такого сражения! Так говорю я, Ауненк, извечный победитель диких зверей и воинов. Но я хочу сказать вам мудрые слова, пока я не забыл. Сражаясь хорошо, жители Солнечной Страны научают сражаться нас. Если нам придется долго с ними биться, мы станем великими бойцами — такими же, как они, — иначе мы погибли. Хо! Хо! Хо! Вот была битва!

— Где твои братья? — Тайи тряс его, пока Ауненк не вскрикнул от боли, — тут только он пришел в себя.

— Мои братья? Их нет.

— А Пом-Ли? — воскликнул один из воинов Голодного племени. — Сын моей матери, Пом-Ли?

— Пом-Ли нет, — монотонно отвечал Ауненк.

— А пришельцы из Солнечной Страны? — послышался голос Ааб-Ваака.

— Пришельцев из Солнечной Страны нет.

— А корабль пришельцев из Солнечной Страны, богатства и оружие? — спрашивал Тайи.

— Нет ни корабля, ни богатств, ни оружия, ни вещей, — был неизменный ответ. — Нет никого. Нет ничего. Остался один я.

— Ты сошел с ума!

— Возможно, — невозмутимо отвечал Ау-

ненк. — То, что я видел, могло лишить меня рассудка.

Тайи придержал язык, и все ждали, когда Ауненк приступит к рассказу о случившемся.

— Мы не брали с собой винтовок, о Тайи, — начал он наконец. — Никаких ружей, братья, — только ножи, охотничьи луки и копья. На каяках, по двое и по трое, мы перебрались на корабль. Пришельцы из Солнечной Страны были нам рады. Мы разложили наши шкуры, а они вынесли товары для обмена, и все шло хорошо. А Пом-Ли ждал — ждал, пока солнце не стало высоко над головой и они не сели за еду. Тогда он испустил воинственный клич, и мы напали на них. Никогда еще не бывало такой битвы и таких бойцов. Половину их мы убили, пока они не успели еще прийти в себя от неожиданности, а остальные обратились в дьяволов. Каждый из них бился за десятерых, и все они бились как дьяволы. Трое из них стали спиною к мачте, и пока нам не удалось их убить — они окружили себя кольцом из наших мертвецов. У некоторых были ружья, и они, широко раскрыв глаза, быстро убивали наших братьев. А один стрелял из большого ружья, из которого сразу вылетало множество маленьких пуль. Вот, глядите!

Ауненк указал на свое простреленное ухо.

— Но я, Ауненк, сзади всадил копье в его спину. И мы перебили их всех — всех, кроме начальника. Мы окружили его, он остался один, но он громко закричал и прорвался через круг; пять или шесть воинов схватили его, он их отбросил и побежал вниз, внутрь корабля. Затем, когда все богатства принадлежали нам и оставался лишь начальник внизу — его мы собирались убить, — тогда раздался такой грохот, словно все ружья на свете выстрелили сразу. Я, как птица, взлетел на воздух, и все оставшиеся в живых воины-мэнделийцы, все мертвые пришельцы Солнечной Страны, маленькие каяки, большой корабль, ружья и богатство — все взлетело на воздух. Это я, Ауненк, рассказал вам — и только я остался в живых!

Глубокая тишина воцарилась среди собравшихся. Тайи испуганными глазами смотрел на Ааб-Ваака, но ничего не сказал. Даже женщины были слишком потрясены, чтобы оплакивать погибших.

Ауненк горделиво оглянулся вокруг.

— Я один остался, — повторил он.

Но в этот миг с баррикады раздался выстрел, и пуля попала прямо в грудь Ауненку. Он качнулся

назад, затем вперед, и на лице его отразилось изумление. Он задыхался, и губы его исказились мучительной усмешкой. Плечи опустились, колени подгибались. Он встряхнулся, словно просыпаясь, и выпрямился. Но плечи его все опускались, колени подгибались, и он медленно, очень медленно опустился на землю.

От укрепления пришельцев из Солнечной Страны была добрая миля[64], и вот смерть легко прошла это расстояние. Раздался дикий крик — крик кровавой мести и необузданной ярости дикарей. Тайи и Ааб-Ваак старались удержать мэнделийцев, но были отброшены и могли только оставаться на месте и следить за бешеным натиском. Но со стороны укрепления не раздалось ни одного выстрела, и, едва пройдя половину расстояния, многие, напуганные таинственным молчанием Брагов, остановились и стали ждать. Более смелые продолжали свой путь и, пройдя еще половину оставшегося расстояния, тщетно ожидали признаков жизни. Не доходя двухсот шагов, они замедлили бег и пошли сплошной массой, а пройдя с сотню шагов — остановились и, заподозрив недоброе, стали совещаться.

---

[64] Сноски: 64
Английская миля — около 1,6 километра.

Вдруг над баррикадой поднялись клубы дыма, и, словно брошенная горсть камешков, мэнделийцы рассыпались во все стороны. Четверо упали, затем еще четверо, и они быстро продолжали падать то по одному, то по двое, пока не остался один, да и тот мчался назад, подгоняемый страхом смерти. Это был Нок, молодой охотник, длинноногий и высокий юноша; бежал он — как никогда еще ему не приходилось бегать. Как птица, скользил он по открытой равнине, прыгая, ныряя и извиваясь. Ружья за баррикадой палили беспрерывно, а Нок продолжал прыгать и нырять и оставался невредим. Наконец пальба замерла, и Нок мало-помалу перестал беречься и кружить и, в конце концов, побежал по прямой линии. Тогда-то с баррикады прозвучал одинокий выстрел. Нок подпрыгнул, упал, подскочил, как мяч, и свалился замертво.

— Что на свете быстрее окрыленного свинца? — размышлял Ааб-Ваак.

Тайи проворчал что-то и отвернулся. Сражение окончилось, и необходимо было заняться более важными делами.

В живых оставались сорок воинов своих и один воин из Голодного племени. Некоторые из них были ранены. А биться приходилось с четырьмя

пришельцами из Солнечной Страны.

— Мы не выпустим их из дыры у скалы, — сказал он, — а когда их проймет хорошенько голод, мы перебьем их, как детей.

— Но за что нам биться? — спрашивал один из младших воинов, Олуф. — Богатство жителей Солнечной Страны исчезло, остается лишь то, что было в иглоо Нига, а этого очень мало.

Он сразу примолк, услышав резкий свист пули, пролетевшей мимо его уха.

Тайи презрительно рассмеялся.

— Пусть это будет ответом. Что же нам делать с этими сумасшедшими, которые не желают умирать?

— Что за безумие! — протестовал Олуф, прислушиваясь к свисту пуль. — Это нехорошо, что они так сражаются, эти пришельцы из Солнечной Страны. Отчего они не желают умирать? Они безумцы, они не хотят понять, что для них все кончено и только нам они причиняют множество хлопот.

— Прежде мы сражались за богатство; теперь мы сражаемся за жизнь, — кратко обрисовал положение Ааб-Ваак.

Ночью в траншеях была перестрелка, а наутро увидели, что из иглоо Нига исчезли все вещи жи-

телей Солнечной Страны. За ночь пришельцы их унесли — при дневном свете следы были явственно видны. Олуф взобрался на вершину скалы, чтобы сбросить на головы врагов большие камни, но скала выдавалась над рвом, и он вместо камней осыпал их ругательствами и оскорблениями, угрожая страшными пытками и мучительной гибелью. Пришелец-Билл отвечал ему на языке племени Медведя, а Тайи, поднявший из окопа голову, чтобы насладиться зрелищем перебранки, получил пулю в плечо.

В последовавшие за этим страшные дни и ночи мэнделийцы, подкапываясь все ближе и ближе к скале, постоянно спорили, не лучше ли было бы дать жителям Солнечной Страны спокойно убраться восвояси. Но они боялись пришельцев, а женщины поднимали плач при мысли об освобождении врагов. Довольно для них жителей Солнечной Страны; больше они их видеть не желают. Свист пуль раздавался непрестанно, и непрестанно возрастал список погибших. Утром, на заре, раздавался слабый далекий треск выстрела, и на отдаленном конце деревни женщина, взмахнув руками, падала мертвая на землю; в жаркий полдень воины в окопе прислушивались к свисту пуль, ожидая смерти; а в серых

вечерних сумерках пули, попадая в землю, вздымали песок и комья глины. По ночам далеко разносились жалобные причитания женщины: «Уаа-оо-аа-уаа-оо-аа!»

Предсказание Тайи исполнилось, и среди пришельцев из Солнечной Страны начался голод. Однажды ночью разыгралась ранняя осенняя буря, и один из пришельцев прокрался мимо окопов и украл много сушеной рыбы. Но вернуться он не успел, и когда солнце взошло, он спрятался где-то в селении. Итак, ему пришлось сражаться одному; окруженный плотным кольцом мэнделийцев, он четверых убил и, прежде чем они успели схватить его, застрелился сам, чтобы не подвергнуться пыткам.

Это событие опечалило всех. Олуф открыто заявил:

— Если один заставил нас так дорого заплатить за смерть свою, сколько же придется заплатить за смерть остающихся?

Тогда-то на баррикаде показалась Месахчи и подозвала трех собак, близко подошедших к баррикаде, — это была еда, жизнь и отсрочка расплаты. Отчаяние охватило племя мэнделийцев, и на голову Месахчи посыпались проклятия.

Дни текли. Солнце уходило к югу, ночи стано-

вились все длиннее, и в воздухе чувствовалось приближение морозов. А жители Солнечной Страны все еще держались за своим прикрытием. Воины теряли мужество от постоянного напряжения, и Тайи часто погружался в глубокие, мрачные размышления. Он приказал собрать все шкуры и кожи, имеющиеся в селении, велел связать их в высокие цилиндрические тюки и за каждым тюком поместил по воину.

Приказ был дан, когда короткий осенний день клонился к вечеру. Воины с трудом перекатывали большие тюки. Пули врагов ударялись о тюки, но не могли пробить их, и воины завывали от радости. Но наступил вечер, и Тайи, заботясь о том, чтобы план увенчался успехом, отозвал их обратно в траншеи.

Утром — пришельцы за прикрытием были безмолвны — мэнделийцы повели настоящее наступление. Большие промежутки между тюками медленно сокращались, по мере того как круг смыкался. За сто шагов от прикрытия тюки были совсем близко друг от друга, и воины могли шепотом передавать приказ Тайи об остановке. Враги не подавали никаких признаков жизни. Мэнделийцы долго и пристально всматривались в прикрытие, но ничто не шевелилось. Наступле-

ние продолжалось, и на расстоянии пяти ярдов маневр был повторен. Ни признака жизни, ни звука. Тайи покачал головой, и даже Ааб-Ваак заколебался. Но снова дан был приказ продолжать наступление, и они пошли вперед, пока сплошной вал из шкур не окружил со всех сторон прикрытие врагов.

Тайи оглянулся назад и увидел, что женщины и дети угрюмо толпились в оставленных воинами траншеях. Он поглядел вперед — на безмолвное прикрытие врага. Воины нетерпеливо переступали с ноги на ногу, и Тайи приказал каждому второму выступить вперед. Двойная линия тюков подвигалась вперед, пока тюки снова не соприкоснулись друг с другом. Тогда Ааб-Ваак, по собственному почину, стал продвигать свой тюк вперед. Дойдя вплотную до прикрытия, он остановился и стал ждать. Затем он столкнул в ров противника несколько больших камней и, наконец, с великими предосторожностями вышел из-за тюка и заглянул внутрь. Он увидел усеянный пустыми патронами ров, несколько обглоданных собачьих костей и лужу в том месте, где из расщелины капала вода. Это было все. Жители Солнечной Страны ушли.

Раздались робкие голоса, обвинявшие таин-

ственные силы, послышались жалобы, и мрачные взгляды воинов казались Тайи предвестием грядущих ужасных событий. Он вздохнул свободнее, когда Ааб-Ваак пошел вдоль утеса.

— Пещера! — воскликнул Тайи. — Они предвидели мою хитрость с тюками и удрали в пещеру!

Скала, как улей, была вся прорезана подземными ходами, которые оканчивались общим выходом между рвом и местом, где траншеи подходили к скале. Туда-то мэнделийцы с громкими криками последовали за Ааб-Вааком и, добравшись до выхода, ясно увидели, где именно жители Солнечной Страны взобрались на двадцать футов вверх, чтобы исчезнуть в глубине скалы.

— Теперь дело сделано, — потирая руки, сказал Тайи. — Передайте, чтобы все радовались, потому что теперь они в ловушке, — жители Солнечной Страны в ловушке. Молодые воины взберутся наверх и заложат отверстие камнями, — тогда Пришелец-Билл, его братья и Месахчи обратятся от голода в тени и умрут в темноте с проклятиями на устах.

Его слова были встречены криками восторга и облегчения, и Хауга, последний из воинов Голодного племени, пополз вверх по крутому склону и, согнувшись, склонился над отверстием в скале.

Но в этот миг раздался заглушённый звук выстрела, а когда он в отчаянии ухватился за скользкий край, раздался второй. Его руки разжались, и он свалился вниз, к ногам Тайи, и, содрогнувшись несколько раз, подобно вытащенному на берег морскому чудовищу, затих.

— Мог ли я знать, что они великие и неустрашимые бойцы? — спросил Тайи — воспоминание о мрачных взглядах и жалобах побуждало его оправдаться перед воинами.

— Нас было много, и мы были счастливы, — смело заявил один из воинов. Другой нетерпеливей рукой ощупывал копье.

Но Олуф прикрикнул на них и заставил умолкнуть.

— Слушайте меня! Есть другой путь. Еще мальчиком я нашел его, играя на скале. Он скрыт в камнях, им никогда не пользовались, и никто о нем, кроме меня, не знает. Ход этот очень узок, и приходится долго ползти на животе, пока доберешься до пещеры. Ночью мы тихонько, без шума, поползем по этому ходу и нападем на пришельцев из Солнечной Страны с тыла. Завтра же у нас будет мир, и мы в грядущие годы никогда больше не станем ссориться с жителями Солнечной Страны.

— Никогда больше! — хором воскликнули измученные воины. — Никогда больше! — И Тайи присоединился к общему хору.

Ночью, помня о своих погибших близких и вооружившись камнями, копьями и ножами, толпа женщин и детей собралась у выхода из пещеры. Ни один пришелец из Солнечной Страны не мог надеяться спуститься невредимым на землю с высоты двадцати с лишним футов. В селении оставались одни только раненые воины, а все боеспособные мужчины — их было тридцать человек — шли за Олуфом к потайному ходу в пещеру. Ход находился на высоте ста футов над землей, и пробираться приходилось с выступа на выступ и по кучам камней, вот-вот готовым развалиться. Опасаясь, чтобы камни от неосторожного прикосновения не посыпались, воины взбирались вверх по одному. Олуф был первым и, взобравшись наверх, тихо позвал следующего и исчез в проходе. Воин последовал за ним, затем второй, третий и так далее, пока не остался один Тайи. Он услышал зов последнего воина, но им внезапно овладело сомнение, и он остановился, чтобы подумать. Спустя полчаса он поднялся на скалу и заглянул в проход. Он почувствовал, как узок проход и какой непроглядный в нем мрак.

Страх перед поднимавшимися с двух сторон стенами заставил его содрогнуться, и он не мог решиться пойти дальше. Все погибшие, начиная от Нига-мэнделийца, до Хауга, последнего воина Голодного племени, обступили его, но он предпочел остаться с ними, чем спуститься в непроглядную тьму прохода. Он долго просидел неподвижно и вдруг почувствовал на щеке прикосновение чего-то мягкого и холодного — то падал первый снег. Наступил туманный рассвет, затем настал яркий день, и он услыхал доносившееся из прохода тихое рыдание, которое становилось все явственнее. Он соскользнул с края, опустил ноги на первый выступ и ждал.

Рыдавшее существо медленно подвигалось, после многих остановок добралось до Тайи, и последний понял, что это не был житель Солнечной Страны. Он протянул руку в проход и там, где полагается быть голове, нащупал плечи ползущего на локтях человека. Голову он нашел потом: она свисала, и темя лежало на земле.

— Это ты, Тайи? — сказала голова. — Это я, Ааб-Ваак, я беспомощен и искалечен, как плохо пущенное копье. Моя голова волочится в пыли, и мне без твоей помощи не выбраться отсюда.

Тайи вполз в проход и, прислонившись спиною

к стене, вытащил Ааб-Ваака, но голова его все свисала, и он рыдал и жаловался.

— Ай-ооо, ай-ооо! — плакал он. — Олуф забыл, что Месахчи тоже знала этот ход, и она показала его жителям Солнечной Страны, иначе бы они не стали поджидать нас в конце узкого прохода. Поэтому я погибший человек и совсем беспомощен… Ай-ооо, ай-ооо!

— А проклятые пришельцы из Солнечной Страны погибли у узкого входа в пещеру? — спросил Тайи.

— Как я мог знать, что они поджидают нас? — стонал Ааб-Ваак. — Мои братья шли впереди, и из пещеры не доносилось никаких звуков борьбы. Как я мог знать, отчего нет звуков борьбы? И прежде чем я это узнал, две руки охватили мою шею так, что я не мог крикнуть и предупредить моих братьев об опасности. Затем еще две руки схватили мою голову, а еще две — схватили за ноги. Так-то меня поймали трое пришельцев из Солнечной Страны. Пока моя голова была зажата, руки, схватившие меня за ноги, быстро повернули мое тело — так, как мы свертываем головы уткам на болоте, была свернута и моя голова…

— Но мне не суждено было погибнуть, — продолжал он, и в голосе его послышался горделивый

оттенок. — Я один остался. Олуф и все остальные лежат на спине во рву, а головы их повернуты, и лица у многих находятся там, где должны бы находиться затылки. На них нехорошо смотреть; когда жизнь вернулась ко мне, я увидел их всех при свете факела, оставленного пришельцами из Солнечной Страны, — я лежал во рву вместе со всеми.

— Да, вот как? — повторял Тайи, слишком потрясенный, чтобы говорить.

Он внезапно вздрогнул, услышав донесшийся к нему из прохода голос Пришельца-Билла.

— Это хорошо, — говорил он. — Я искал человека, ползущего со сломанной шеей, и вот чудо! Встречаю Тайи. Брось вниз ружье, Тайи, чтобы я слышал его стук по камням.

Тайи покорно повиновался, и Пришелец-Билл выполз из скалы на свет. Тайи с любопытством поглядел на него. Он очень похудел, был измучен и грязен, но глубоко запавшие глаза горели.

— Я голоден, Тайи, — сказал он. — Очень голоден.

— Я — пыль у твоих ног, — отвечал Тайи. — Твое слово для меня закон. Я приказывал народу не сопротивляться тебе. Я советовал…

Но Пришелец-Билл повернулся и крикнул сво-

им товарищам:

— Эй! Чарли! Джим! Берите с собой женщину и выходите!

— Мы идем есть, — сказал он, когда его товарищи и Месахчи присоединились к нему.

Тайи заискивающе потер свои руки.

— Наша пища скудна, но все, что мы имеем — твое.

— Затем мы по снегу отправимся на юг, — продолжал Пришелец-Билл.

— Пусть ничто дурное не коснется вас и путь покажется вам легким.

— Путь долог. Нам понадобятся собаки и много пищи.

— Лучшие наши собаки — твои, а также и вся пища, что они могут везти.

Пришелец-Билл выскользнул из прохода и приготовился к спуску.

— Но мы вернемся, Тайи. Мы вернемся и проведем много дней в твоей стране.

Итак, они отправились на юг — Пришелец-Билл, его братья и Месахчи. А на следующий год в бухте Мэндел бросил якорь «Искатель Номер Два». Немногие мэнделийцы, оставшиеся в живых благодаря ранам, не позволившим им ползти в пещеру, повинуясь жителям Солнечной Стра-

ны, стали на работу и принялись копать землю. Они перестали охотиться и ловить рыбу; они получают ежедневно плату за работу и покупают муку, сахар, миткаль и другие вещи, которые им ежегодно привозит из Солнечной Страны «Искатель Номер Два».

Этот прииск разрабатывается тайно, как и многие другие прииски Северной Страны; ни один белый человек, кроме компании, состоящей из Пришельца-Билла, Джима и Чарли, не знает местонахождения селения Мэндел на краю Полярного моря. Ааб-Ваак, со свисающей на плечо головой, стал оракулом и проповедует младшему поколению смирение, за что и получает пенсию от компании. Тайи назначен надсмотрщиком работ. Теперь он разработал новую теорию насчет жителей Солнечной Страны.

— Живущие на пути солнца не становятся изнеженными, — говорит он, покуривая трубку и наблюдая, как день медленно переходит в ночь. — Солнце вливается в их кровь и палит их жарким огнем, пока они не начнут пылать вожделениями и страстями. Они всегда горят и не чувствуют поэтому поражений. Они не знают покоя, в них сидит дьявол, и они разбросаны по всей земле и осуждены вечно трудиться, страдать

и бороться. Я знаю. Я — Тайи.

Болезнь покинутого вождя

Эту повесть мне рассказали два старика. Была прохладная часть дня, то есть середина белой ночи, и мы сидели в дыму костра, защищавшего нас от москитов. Все время, пока длился рассказ, мы ловили и уничтожали маленьких злодеев, впивавшихся в нас, несмотря на окружавшие клубы дыма. Справа от нас спускался крутой берег, и внизу лениво журчали воды Юкона. Слева, над розовым краем низких гор, курилось сонное солнце — ему не пришлось спать в эту ночь и предстояло бодрствовать еще много ночей.

Старики, сидевшие со мной и доблестно сражавшиеся с москитами, были Покинутый Вождь и Мутсак, некогда товарищи по оружию, а теперь хилые хранители былых традиций и сказаний о прошлом. Они были последними представителями своего поколения и не пользовались почетом у молодежи, выросшей на дальней окраине приисковой цивилизации. Кто считался с традициями в эти дни, когда бодрость духа можно было почерпнуть из бутылки, а бутылку — добыть от снисходительных белых людей за несколько часов тяжелой работы или за какую-нибудь пога-

ную шкуру! Какую власть могли иметь страшные обряды и тайны шаманства, когда воплощенное чудо — пароход ежедневно поднимался и спускался по Юкону, кашляя и изрыгая огонь и дым, наперекор всем законам природы? Какую цену мог иметь родовой почет, когда наибольшим уважением товарищей пользовался парень, что мог больше всех нарубить дров или лучше других управлялся с рулевым колесом, проводя пароход среди лабиринта островов?

И вправду, прожив слишком долго, они дожили до скверных времен — эти два старика — Покинутый Вождь и Мутсак, и при новом порядке не было им ни места, ни почета. Они мрачно ждали смерти, а пока что привязались к странному белому пришельцу, что делил с ними пытку сидения в дыму костра и охотно слушал их рассказы о прежних временах, когда еще не было пароходов.

— Итак, мне выбрали девушку, — говорил Покинутый Вождь. Голос его, пронзительный и пискливый, вдруг падал до хриплого баса и, едва вы начинали привыкать к нему, снова повышался до писка — попеременно слышалось стрекотание сверчка и кваканье лягушки.

— Итак, мне выбрали девушку, — говорил

он. — Мой отец Каск-Та-Ка, по прозванию Выдра, сердился, что я не смотрел с вожделением на женщин. Он был стар и был вождем племени. А я был последним из его сыновей, оставшимся в живых, и некому, кроме меня, было передать его кровь дальше — тем, кто еще не родился. Но знай, о белый человек, что я был очень болен; ни охота, ни рыбная ловля не радовали меня, и мясо не согревало моего желудка, как мог я глядеть с вожделением на женщин? Как мог я готовиться к брачному пиру или с радостью ожидать лепета и возни детей?

— Да, — перебил его Мутсак. — Разве Покинутый Вождь не боролся, охваченный лапами громадного медведя, пока его голова не треснула и кровь не потекла из ушей?

Покинутый Вождь оживленно мотнул головой.

— Мутсак говорит правду. После борьбы голова моя поправлялась, но не поправилась. Рана зажила, и снаружи ничего не было заметно, но я был совсем болен. Когда я ходил, ноги мои подгибались; если я глядел на свет, глаза мои наполнялись слезами. А когда я открывал глаза, весь мир кружился вокруг меня, и все, что я раньше видел, кружилось у меня в голове. И над глазами лоб так болел, словно на нем лежала тя-

жесть или его стянули тугой повязкой. Речь моя текла медленно, и я долго ждал, пока находил нужное слово. А когда я не выжидал, всевозможные слова приходили мне на ум, и язык мой молол вздор. Я был очень болен, и когда отец мой, Выдра, привел мне девушку Кэсан…

— Кэсан была молодая и сильная, она была дочерью моей сестры, — вмешался Мутсак. — У нее были широкие бедра, как полагается будущей матери, сильные ноги и быстрый шаг. Она мастерила мокасины лучше всех молодых девушек, и веревки, что она плела, были самыми крепкими. Ее глаза улыбались, а уста смеялись; она не была строптивой по нраву и понимала, что закон дается мужчинами и что женщины обязаны повиноваться.

— Я уже говорил, что был очень болен, — продолжал Покинутый Вождь. — И когда отец мой, Выдра, привел мне девушку Кэсан, я сказал, что пусть они лучше готовятся к моему погребению, чем к свадьбе. Лицо моего отца потемнело от гнева, и он сказал, что я получу все, согласно моему желанию, и хотя живу еще на земле, но для меня сделают все нужные приготовления так, как будто я умер.

— Это не в обычаях нашего племени, о белый

человек, — заговорил Мутсак. — Знай, что все приготовления, сделанные для Покинутого Вождя, по обычаю делаются лишь для умерших. Но Выдра был очень разгневан.

— Да, — сказал Покинутый Вождь. — Мой отец, Выдра, говорил мало, но делал скоро. Он приказал народу собраться перед жилищем, где я лежал. Когда они собрались, он приказал им оплакивать его умершего сына…

— И они пели перед жилищем песню смерти. О-о-о-о-о-о-а-ааа-аа-ии-клу-кук-ич-клу-кук, — жалобно затянул Мутсак, так превосходно передавая мотив, что у меня по спине забегали мурашки.

— А внутри жилища, — продолжал Покинутый Вождь, — моя мать измазала себе лицо сажей и посыпала голову пеплом и оплакивала меня, словно я был умершим, — так приказал мой отец. Поэтому моя мать, Окиакута, с великим шумом оплакивала меня, била себя в грудь и рвала на себе волосы; то же делали Гуниак, моя сестра, и Саната, сестра моей матери; их громкие голоса причиняли мне великую боль, и я чувствовал, что теперь уже смерть близка и неминуема.

А старшие в племени собрались вокруг моего ложа и обсуждали путь, предстоящий моей душе. Один говорил о глухих бесконечных лесах,

где души с плачем странствуют и где мне тоже придется блуждать, не видя конца моим страданиям. Другой говорил о великих реках, где текут дурные воды и злые духи кричат и высовывают бесформенные руки, стараясь утащить жертву за волосы на дно. Для переправы через эти реки, говорили они, следует дать мне с собою каноэ. Еще один старик говорил о бурях, каких не видел ни один живущий на земле, — о бурях, когда звезды дождем сыплются с неба, а земля разверзается и покрывается трещинами, и находящиеся в недрах земли реки извергаются на поверхность и снова исчезают. Поэтому те, что сидели вокруг меня, вздымали кверху руки и громко стонали, а те, что стояли снаружи, слышали их стоны и громко причитали. Для них я был уже мертв, и для себя самого я тоже был мертв. Когда и как я умер — я не знал, но понял, казалось мне, что я мертв!

Моя мать, Окиакута, положила возле меня мою парку из беличьих шкурок. Затем она положила парку из шкур оленя и дождевой плащ из тюленьих кишок и муклук, чтобы душе моей было тепло и чтобы она не страдала от сырости в далеком пути. Потом старики упомянули о крутой горе, поросшей колючками, и мать принесла

толстые мокасины, чтобы облегчить моим ногам трудный подъем.

Когда старики заговорили о крупных зверях, что мне придется убивать, юноши положили возле моего ложа мой охотничий лук и острые стрелы, копье и нож. А когда старики повели речь о вечной тьме и молчании обширных пространств, которые моя душа должна пройти, моя мать зарыдала еще громче и еще гуще осыпала свою голову пеплом.

И девушка Кэсан скромно и спокойно вошла в жилище и положила на приготовленные для путешествия вещи маленький мешочек. Я знал, что в маленьком мешочке находились кремень, огниво и хорошо высушенный трут, чтобы моя душа могла разводить костер. Были отобраны одеяла, в которые меня должны были завернуть. Были выбраны рабы, которых следовало убить, чтобы душа моя имела спутников. Рабов было семеро, ибо мой отец был богат и могуществен, и мне, его сыну, полагалось устроить подобающие похороны. Этих рабов мы взяли в плен в войне с мукумуками, жившими ниже по Юкону. Поутру Сколка, шаман, убьет их одного за другим, и тогда их души вместе с моей душой будут странствовать в Неведомом. Они понесут мое каноэ, пока

мы не дойдем до Великой реки, быстро катящей свои дурные воды. В каноэ им места не будет, и их работа окончена, — дальше им сопровождать меня незачем, и они могут остаться и вечно выть во тьме бесконечных лесов.

Я глядел на прекрасные теплые одежды, на одеяла и оружие, и при мысли, что семеро рабов будут убиты, я возгордился своим погребением и подумал, что многие мне завидуют; и все время отец мой, Выдра, сидел молча и угрюмо. А народ весь день и ночь пел песню смерти и бил в барабан, пока все не уверились, что я уже тысячу раз умер.

Но наутро мой отец встал и заговорил. «Всему народу известно, — сказал он, — что всю жизнь он был храбрым воином. Но народу известно, что почетнее умереть в сражении, чем лежа на мягких шкурах у очага». И раз мне предстояло умереть, то лучше уж выступить против мукумуков и быть убитым. Так я завоюю себе почет и место вождя в жилище мертвых, а это возвеличит отца моего, Выдру. И он приказал, чтобы вооруженный отряд был готов спуститься по реке. Когда мы достигнем селения мукумуков, я один должен выступить против них и быть убитым.

— Слушай, о белый человек! — воскликнул, не

будучи в силах дольше сдерживаться, Мутсак. — Шаман Сколка этой ночью долго нашептывал что-то Выдре, и эта затея — отослать Покинутого Вождя на гибель к мукумукам — была делом его рук. Выдра был уже стар, а Покинутый Вождь был последним из его сыновей, и Сколка мечтал стать вождем. Когда народ день и ночь шумел, а Покинутый Вождь все еще был жив, Сколка боялся, что он не умрет. Итак, устами Выдры говорил Сколка, приправивший свою мысль красивыми словами о почестях и доблестных деяниях.

— Да, — подтвердил Покинутый Вождь. — Я хорошо знал, что это дело рук Сколки, но мне было все равно — так сильно я был болен. У меня не было охоты сердиться и не было сил для гневных слов — не все ли равно, как умереть, лишь бы скорее покончить с жизнью. Итак, о белый человек, отряд был готов. Опытных бойцов в нем не было, не было и взрослых мужчин, сильных и мудрых, — отряд состоял из сотни неопытных в военном деле юношей. Все селение собралось на берегу — поглядеть на наш отъезд. Мы тронулись в путь среди всеобщего ликования и хвалебного гимна; это чествовали меня. И ты, о белый человек, радовался бы, глядя на юношу, отправляющегося в битву, хотя бы он и был обре-

чен на смерть.

Итак, мы поехали вниз по течению — сотня юношей и Мутсак, ибо он тоже был молод и неопытен. По приказу отца моего, Выдры, мое каноэ было привязано с одной стороны к каноэ Мутсака, а с другой — к каноэ Каннакута. Чтобы не устать, я не должен был грести. Несмотря на болезнь, я мог сохранить силы, чтобы достойно погибнуть. Таким-то образом мы спускались вниз по течению реки.

Я не хочу утомлять тебя рассказом о нашей поездке, она была весьма непродолжительна. Недалеко от селения мукумуков мы настигли двух воинов, сидевших в каноэ. Увидев нас, они обратились в бегство. Тогда-то, следуя приказу моего отца, мое каноэ было отвязано от каноэ моих спутников, и я был предоставлен своим силам. Следуя тому же приказу, юноши должны были убедиться в моей гибели, чтобы, вернувшись в наше селение, рассказать о том, как я умер. На этом настаивали и отец мой, Выдра, и шаман Сколка, грозя страшными наказаниями в случае неповиновения.

Я погрузил в воду весло и крикнул слова презрения вслед убегавшим воинам. Моя презрительная брань заставила их повернуть в гневе головы, и

они заметили, что юноши отстали, и что я один против двоих. Отъехав поэтому на безопасное расстояние, воины поставили свои каноэ так, что я должен был проехать между ними. Каноэ поравнялись, и я, как они и рассчитывали, попал между ними, с копьем в руке, распевая воинственную песнь своего племени. Каждый из них бросил копье, но я нагнулся, копья просвистели надо мною, и я остался невредим. Затем челноки сблизились, и я бросил копье в воина справа; копье попало ему в горло, и он навзничь упал в воду.

Велико было мое изумление, неужели я убил человека? Я повернулся к другому воину и сильно заработал веслом, чтобы встретить смерть лицом к лицу; но второе копье его, бывшее к тому же последним, только задело мне плечо. Тогда я бросился на него, не кидая копья, но нажимая острием на грудь и обеими руками стараясь пронзить его насквозь. Пока я налегал из всех сил на копье, он ударил меня по голове — раз и другой — широкою частью весла.

И даже когда копье, пройдя насквозь, вышло из его спины, он еще раз ударил меня по голове. Что-то вспыхнуло перед глазами, словно яркий свет, и я почувствовал, как в голове у меня что-то захлопнулось, словно щелкнула крышка. Тяжесть,

что давила на лоб, свалилась, и повязка, туго стягивавшая мне голову, упала. Мною овладела великая радость, и сердце мое возликовало.

«Это смерть», — подумал я; и еще подумал я, что умереть очень приятно. Затем я увидел каноэ и понял, что я не умер, а выздоровел. Удары воина по голове вернули мне здоровье. Я понял, что убил человека, и вид пролитой крови возбудил меня; я погрузил весло в грудь Юкона и направил челнок к селению мукумуков. Юноши, следовавшие за мною, издали громкий клич. Я оглянулся через плечо и увидел, как вода пенилась под их веслами.

— Да, вода пенилась под нашими веслами, — сказал Мутсак. — Мы помнили приказ Выдры и Сколки и должны были собственными глазами увидеть, как погибнет Покинутый Вождь. Юноша из племени мукумуков, по дороге к рыболовным сетям, заметил приближение Покинутого Вождя и воинов, следовавших за ним. Он поспешил в своем каноэ к селению, чтобы поднять тревогу и приготовиться к защите. Но Покинутый Вождь погнался за ним, а мы погнались за Покинутым Вождем, чтобы видеть его гибель. Только в виду селения, когда юноша выпрыгнул на берег, Покинутый Вождь встал во весь рост в каноэ и

мощной рукой бросил ему вслед копье. И копье пронзило тело юноши как раз над бедрами, и он упал прямо перед собой на землю.

Тогда Покинутый Вождь выскочил на берег с боевой дубинкой в руке и боевым кличем на устах и ринулся в селение. Первым он встретил Итвили, вождя мукумуков. Покинутый Вождь ударил его дубинкой по голове, и тот мертвым свалился на землю. Из опасения, что нам не удастся увидеть его гибель, мы — сотня юношей — тоже выпрыгнули на берег и поспешили за Покинутым Вождем в селение. Мукумуки не знали наших намерений и считали, что мы пришли воевать; поэтому они натянули тетивы своих луков и осыпали нас дождем стрел. Тогда мы позабыли данное нам поручение и напали на них с копьями и дубинками в руках; они были не подготовлены к нападению, и была великая бойня.

— Я собственными руками убил их шамана, — объявил Покинутый Вождь, и его морщинистое лицо оживилось воспоминанием о давно прошедших днях. — Я собственными руками убил его, а он был более могучим шаманом, чем шаман нашего селения, Сколка. Каждый раз, когда я встречался лицом к лицу с врагом, я думал: «Это

смерть!» — и каждый раз я убивал врага, а смерть все не приходила. Казалось, что дыхание жизни сильно во мне, и я не могу умереть.

— И мы следовали за Покинутым Вождем до конца селения и обратно, — продолжал Мутсак. — Мы следовали за ним, как стая волков, во все концы селения, пока не осталось ни одного врага. Тогда мы согнали сотню мужчин-рабов и вдвое больше женщин и бесчисленное количество детей, подожгли селение и уехали. Таков был конец мукумуков.

— Таков был конец мукумуков, — повторил, торжествуя, Покинутый Вождь. — А когда мы подъехали к нашему селению, народ был поражен нашими богатствами и рабами и еще более поразился, увидя меня живым. И отец мой, Выдра, дрожал от радости, узнав о моих подвигах. Он ведь был стариком, а я — последним из его сыновей. К нам явились все испытанные воины, сильные и мудрые, и вскоре вокруг нас собралось все селение. И тогда я встал и голосом, подобным грому, повелел шаману Сколке выступить вперед.

— Воистину, о белый человек! — воскликнул Мутсак. — Голосом, подобным грому, который заставил народ содрогнуться и исполниться

страха.

— А когда Сколка выступил вперед, — продолжал Покинутый Вождь, — я сказал, что не намереваюсь умирать. Я сказал еще, что нехорошо разочаровывать злых духов, которые ждут в загробном мире. Поэтому я считаю правильным, чтобы душа Сколки отправилась в Неведомое, где она, несомненно, будет вечно выть в темном бесконечном лесу. И я убил его на месте, перед лицом всего народа. Я, Покинутый Вождь, собственными руками убил шамана Сколку перед лицом всего народа. Когда же послышался ропот, я крикнул…

— Голосом, подобным грому, — вставил Мутсак.

— Да, я крикнул голосом, подобным грому: «Слушай, о народ! Я, Покинутый Вождь — убийца Сколки, вероломного шамана. Единственный из людей я прошел через ворота смерти и вернулся к жизни. Мои очи видели невиданные вещи. Мои уши слыхали неслыханные слова. Я могущественнее шамана Сколки. Я могущественнее всех шаманов. И я более могучий вождь, чем мой отец, Выдра. Он всю жизнь воевал с мукумуками, а я уничтожил их в один день. Я уничтожил их — грудь не успела вздохнуть. И так как мой отец,

Выдра, состарился, а шаман Сколка убит, я буду в одно время и вождем и шаманом. Отныне я буду вождем и шаманом для тебя, о мой народ! Если кто-нибудь хочет возразить, пусть выступит вперед!»

Я ждал, но никто не выступил. Тогда я воскликнул: «Хо! Я вкусил крови! Принесите же мяса, ибо я голоден. Откройте все хранилища, принесите запасы рыбы и устройте великое пиршество. Веселитесь и пойте песни, только не погребальные, а свадебные. Затем приведите сюда девушку Кэсан. Девушку Кэсан, что будет матерью детей Покинутого Вождя».

От моих слов, а также от старости отец мой, Выдра, расплакался, как женщина, и обвил руками мои колени. И с этого дня я стал вождем и шаманом. Я пользовался великим почетом, и люди беспрекословно повиновались мне…

— Пока не появился пароход, — заметил Мутсак.

— Да, — сказал Покинутый Вождь. — Пока не появился пароход.

Киш, сын киша

— Итак, я дам шесть одеял, двойных и теплых; шесть пил, широких и прочных; шесть ножей с Гудзонова залива, острых и длинных; два каноэ, работы Могума, великого мастера; десять собак, неутомимых в запряжке, и три ружья — курок одного из них сломан, но ружье хорошее, и курок может быть починен.

Киш замолчал и обвел глазами напряженные лица. Это было время великой рыбной ловли, и он просил у Ноба его дочь Су-Су. Происходило все это в миссии Св. Георгия, на берегу Юкона, куда собрались разные племена с севера, юга, востока и запада, на много сотен миль в окружности, даже с Тозикаката и дальнего Тана-Нау.

— Кроме того, о Ноб, ты ведь вождь всех Тана-Нау; а я, Киш, сын Киша — вождь Тлунгетов. Поэтому, когда мое потомство возрастет из недр дочери твоей, между нашими племенами возникнет великая дружба, и Тана-Нау и Тлунгеты станут братьями по крови на все грядущие дни. Что я сказал — то и сделаю. А что думаешь ты, о Ноб, об этом деле?

Ноб степенно кивнул головой, и его шишкова-

тое, морщинистое лицо ничем не выдало того, что таилось у него в душе. Его глаза загорелись, как угольки, в узких щелках опущенных век, и он высоким, надтреснутым голосом пропищал:

— Но этого недостаточно.

— Что еще тебе нужно? — спросил Киш. — Разве я предложил тебе не полную цену? Разве за какую-либо девушку из племени Тана-Нау давали больше? Назови мне ее!

По кругу пробежал смех, и Киш понял, что он осрамил себя перед этими людьми.

— Нет, нет, друг Киш, ты не понял, — сказал Ноб, сопровождая эти слова мягким и ласковым жестом. — Цена прекрасная. Цена очень хорошая. Я не буду даже говорить о сломанном курке. Но этого недостаточно. Как вот насчет мужа?

— Да, как насчет мужа? — загудели все вокруг.

— Говорят, — резкий голос Ноба перешел в писк. — Говорят, что Киш не идет по стопам своих отцов. Говорят, что он уклонился с пути во тьму, поклоняется чужим богам и стал трусом.

Лицо Киша потемнело.

— Это ложь, — прогремел он. — Киш никого не боится!

— Говорят, — продолжал тем же тоном Ноб, — что он прислушивался к речам белого человека

из Большого Дома и склонил голову перед Богом белого человека, и более того — говорят, что кровь ненавистна Богу белого человека.

Киш опустил глаза, и рука его судорожно сжалась. Кругом презрительно смеялись, а Мадуан, шаман, первосвященник и лекарь племени Тана-Нау, шептал что-то на ухо Нобу.

Затем, среди едва освещенных светом костра теней, шаман разыскал и разбудил какого-то худенького мальчика и подвел его к Кишу; в руку Киша он сунул нож.

Ноб нагнулся вперед.

— Киш! О Киш! Посмеешь ли ты убить человека? Слушай же! Это Киц-Ну — раб. Ударь его. О Киш, ударь его всей силой руки!

Мальчик дрожал и ждал удара. Киш посмотрел на него, и мысль о более высоком нравственном идеале мистера Брауна мелькнула в его мозгу, и он представил себе пламя преисподней. Нож выпал из руки, и мальчик с облегчением вздохнул и дрожащими шагами вышел из круга, очерченного огнем костра. У ног Ноба лежала собака-волкодав: она оскалила зубы и приготовилась прыгнуть вслед мальчику. Но шаман пнул ее ногой, и это действие подало Нобу новую мысль.

— А что бы ты, о Киш, сделал, если бы с тобой

поступили вот так? — с этими словами Ноб протянул кусок лососины Белому Клыку, а когда собака приготовилась схватить его, сильно ударил ее палкой по носу. — А после этого, о Киш, ты поступал бы так? — Белый Клык, пресмыкаясь, раболепно лизал руку Ноба.

— Слушай же! — воскликнул Ноб, опираясь на руку Мадуана. — Я очень стар и, потому что я стар, я тебе скажу. Твой отец Киш был могучий человек. Он любил песню летящей стрелы в сражении, и мои глаза видели, как брошенное им копье пронзало человека насквозь. Но ты не таков. С тех пор как ты покинул Ворона и поклоняешься Волку, ты стал бояться крови и хочешь заставить и свой народ бояться ее. Это нехорошо! Знай, что когда я был мальчиком, не старше Киц-Ну, во всей нашей стране не было ни одного белого человека. Но они пришли один за другим, и теперь их много у нас. Это беспокойное племя — им мало отдыха у очага с набитым желудком, и они не хотят ждать, чтобы завтрашний день доставил им пищу на завтра. По-видимому, на них тяготеет проклятие, и они могут снять его только работой и лишениями.

Киш был поражен. Он вспомнил туманную историю, рассказанную ему мистером Брауном

о некоем Адаме, жившем в давние времена. Очевидно, мистер Браун говорил правду.

— Поэтому они накладывают руки на все, что увидят; они рыскают повсюду и все видят. А за ними приходят другие, и если им никто не помешает, они заберут себе всю нашу страну, и в ней не останется больше места для племен Ворона. И потому нам следует с ними биться, пока мы их не перебьем. Тогда мы снова овладеем страной, и, может быть, наши дети или дети наших детей будут процветать и благоденствовать. Предстоит великая борьба, и Ворон сцепится с Волком; но Киш не примет участия в этой борьбе и не допустит до борьбы свой народ. Поэтому нехорошо, чтобы он взял к себе мою дочь. Вот слово Ноба, вождя племени Тана-Нау.

— Но ведь белые люди добры и великодушны, — отвечал Нобу Киш. — Они научили нас множеству вещей. Белые люди привезли нам одеяла, ножи и ружья — мы никогда таких не делали и не умели делать. Я помню, как мы жили до их прихода. От моего отца я слышал рассказы о том времени, когда я еще не был рожден. На охоте нам приходилось подползать так близко к оленю, чтобы можно было поразить его копьем. А теперь мы убиваем оленей из ружей белых лю-

дей с такого расстояния, что нельзя расслышать плач ребенка. Мы ели рыбу, мясо и ягоды — другого ничего у нас не было, — и ели все без соли. Сколько найдется среди вас желающих вернуться к рыбе и мясу без соли?

Его слова достигли бы цели, если бы Мадуан вовремя не вскочил на ноги и не заговорил:

— Сначала я задам вопрос тебе, Киш. Белый человек из Большого Дома говорит, что нехорошо убивать. Разве мы не знаем, что белые люди убивают? Неужели мы забыли великую битву на Койокуке? Или великую битву у Нуклукието, где трое белых людей убили двадцать человек из племени Тозикаката? Или ты думаешь, что мы не помним трех братьев из племени Тана-Нау, которых убил белый человек Макльроз? Скажи мне, о Киш, отчего шаман Браун учит тебя, что нехорошо убивать, когда его братья убивают?

— Нет! Нет! Ответа не надо, — пронзительно закричал Ноб, между тем как Киш тщетно старался разобраться в этом противоречии. — Это очень просто. Добрый человек Браун будет крепко держать Ворона, пока его братья выщиплют ему перья. — Он повысил голос. — Но пока жив хоть один мужчина из племени Тана-Нау, чтобы нанести удар, или женщина, способная дать жизнь

мужчине, до тех пор Ворона не ощиплют. — Ноб повернулся к грубому парню, сидевшему по другую сторону огня. — А что скажешь ты, Макумук, брат Су-Су?

Макумук встал. Длинный рубец проходил по его верхней губе, и благодаря этому шраму на губах застыла вечная усмешка, противоречащая свирепому его взгляду.

— Сегодня, — начал он, казалось бы, без всякой связи с предыдущим, — я проходил мимо хижины торговца Макльроза. В дверях грелся на солнышке смеющийся ребенок. Дитя поглядело на меня глазами торговца Макльроза и испугалось. Тогда прибежала мать и успокоила его. Мать была Зиска, женщина из племени Тлунгетов.

Яростные возгласы заглушили его голос, но он заставил всех замолчать, повернувшись драматически к Кишу. Он вытянул руку и грозно указывал на него пальцем.

— Так-то? Вы отдаете на сторону ваших женщин, Тлунгеты, а затем приходите за женщинами к Тана-Нау? Но нам самим нужны наши женщины, Киш; нам нужно народить мужчин, много мужчин к тому дню, когда Ворон сцепится с Волком.

Среди грома одобрений раздался пронзитель-

ный голос Ноба:

— А ты, Носсабок, ее любимый брат?

Юноша был строен и гибок, с орлиным носом и красивыми бровями; веко его нервно подергивалось — он словно подмигивал окружающим. И едва он встал, веко дрогнуло, но теперь это не вызвало обычного смеха. Все лица были серьезны.

— Я тоже проходил мимо хижины торговца Макльроза, — заговорил он мягким, почти детским голосом, напоминавшим голос сестры. — И я видел индейцев, со лба их катился градом пот, и ноги подгибались от усталости — говорю вам, я видел индейцев, стонавших под тяжестью бревен, что они носили для постройки лавки торговца Макльроза. И своими глазами я видел, как они рубили дрова, чтобы отопить Большой Дом шамана Брауна в течение долгих зимних ночей. Это работа женщин. Никогда мужчины племени Тана-Нау не согласятся ее делать. Мы можем быть братьями по крови только мужчинам, но не женщинам, а Тлунгеты — женщины.

Наступила полная тишина, и все взоры обратились на Киша. Он медленно оглянулся, внимательно всматриваясь в лицо каждого.

— Так, — заметил он бесстрастно. И повто-

рил: — Так.

Затем повернулся и молча исчез в темноте.

Пробираясь среди барахтающихся на земле ребятишек и ощетинившихся собак, он пересек весь лагерь и на краю его набрел на работавшую при свете костра женщину. Из длинных полос коры, срезанных с корней вьющейся лозы, она плела веревки для рыболовных сетей. Некоторое время он молча следил за движениями ловких рук, приводящих в порядок спутанную массу свивающихся волокон. Было приятно глядеть, как ловко справлялась с работой эта сильная девушка с широкой грудью и бедрами, созданными для материнства. Бронзовое лицо ее казалось золотым в отсветах пламени, волосы были черные с синим отливом, глаза сверкали, как черный янтарь.

— О Су-Су, — заговорил он наконец. — Ты ласково глядела на меня в прошедшие дни и помнишь, еще недавно…

— Я глядела на тебя ласково, потому что ты был вождем Тлунгетов, — быстро сказала она. — И потому, что ты был большим и сильным.

— Но…

— Но это было в прежние дни, — торопливо прибавила она, — до того, как явился шаман

Браун и научил тебя дурным вещам и повел твои стопы по чужим путям.

— Но я хотел бы рассказать тебе…

Она подняла руку, и этот жест напомнил ему ее отца.

— Не надо, я знаю, что скажут твои уста, о Киш, и я отвечу на них сейчас. Так уже повелось, чтобы рыба в воде и звери в лесу рождали себе подобных. И это хорошо. То же и с женщинами. Им полагается производить себе подобных, и девушка — именно потому, что она еще девушка — предчувствует муки родов, боль в груди и маленькие ручки, обвивающие ее шею. Когда это чувство усиливается, тогда каждая девушка отыскивает себе тайно от всех мужчину — мужчину, что может стать отцом ее детей. Так было и со мной. Вот что я чувствовала, когда поглядела на тебя и увидела, что ты здоров и силен, что ты охотник и победитель зверей и людей и что ты способен добыть мяса, когда мне придется есть за двоих, и охранить меня от всяких бед, когда я буду беспомощна. Но это было до того дня, как шаман Браун появился в нашей стране и научил тебя…

— Но это нехорошо, Су-Су… Мне говорили мудрые люди, что…

— Нехорошо убивать. Я знаю, что ты хочешь

сказать. Тогда производи подобных себе, производи людей, что не хотят убивать; но не приходи искать мать для твоих детей у племени Тана-Нау. Говорят, что в грядущие дни Ворон сцепится с Волком. Это дело мужчин, и я больше ничего не знаю; но я знаю, что мне следует народить к тому времени мужчин.

— Су-Су, — прервал ее Киш. — Выслушай меня…

– *Мужчина* ударил бы меня палкой и заставил бы меня выслушать его, — издевалась она. — А ты… на тебе! — Она сунула ему в руку связку коры. — Себя я не могу тебе дать, а это — возьми! Тебе это очень подходит. Это работа женщины, а потому — плети дальше!

Он отшвырнул кору, и кровь пробилась через загар его щек.

— Слушай дальше, — продолжала она. — Существует старинный обычай, ему подчинялись и твой отец и мой. Когда воин погибал в сражении, его противник снимал скальп в знак победы. Но ты, отрекшийся от Ворона, ты должен сделать больше. Ты должен принести мне не скальпы, нет, — но головы, две головы, и тогда я протяну тебе не кору, а расшитый бисером пояс, ножны и длинный русский нож. Тогда я снова ласково

погляжу на тебя, и все будет хорошо.

— Так, — задумчиво сказал он. Затем повернулся и вышел из очерченного костром светлого круга.

— Нет, о Киш! — крикнула она вслед. — Не две головы, а три!

Но Киш оставался верным новой религии, жил праведно и заставлял свое племя слушаться Евангелия, проповедуемого его преподобием Джэксоном Брауном. Весь рыболовный сезон он не обращал внимания на людей из племени Тана-Нау и не слушал насмешек и смеха женщин из других племен. По окончании рыбной ловли Ноб и его племя, с большими запасами высушенной на солнце и копченой в дыму лососины, поехали охотиться к верховьям реки Тана-Нау. Киш следил за их отъездом, но не пропускал ни одной службы в миссии, молился и своим глубоким басом запевал в хоре.

Его преподобие Джэксон Браун восхищался голосом Киша, безупречной красоты, он убеждал его в искренности вновь обращенного. Макльроз оспаривал это убеждение. Он не верил в обращение язычников и не скрывал своего недоверия. Но мистер Браун был человеком широкого кругозора и однажды целую ночь убеждал Макльроза

в своей правоте с таким жаром и последовательностью, что разбил одно за другим все его возражения. Наконец Макльроз в отчаянии объявил:

— Вышибите мне яблоком мозги, или я сам уверую, если Киш продержится еще два года!

Мистер Браун никогда не упускал благоприятного случая и сейчас же подкрепил сделку мужественным рукопожатием. Отныне от поведения Киша зависела судьба души Макльроза.

Но однажды, когда установился зимний путь, пришли новости. В миссию Св. Георгия явился за боевыми припасами человек из племени Тана-Нау. Он рассказал, что Су-Су остановила благосклонный взор на сильном, молодом охотнике Ни-Ку, предложившем за нее хорошую цену старому Нобу. В этот же день его преподобие Джэксон Браун набрел на Киша на лесной тропинке, ведущей вниз к реке.

В сани Киша были впряжены его лучшие собаки, а под веревками просунуты большие, самые лучшие его лыжи.

— Куда идешь ты, о Киш? Охотиться? — спросил мистер Браун, подражая манере индейцев.

Киш пристально посмотрел ему в глаза и тронул собак. Затем снова повернул свой при-

стальный взор на миссионера и ответил:

— Нет, я иду в ад.

На маленькой прогалине, стараясь зарыться в снег, словно укрываясь от пугающей пустыни, скучились три унылых жилища. Прогалина была окружена густым, темным бором. Над головой не было видно синего неба — лишь таинственная, туманная завеса, готовая засыпать снегом всю землю. Здесь не было ни ветра, ни звуков — только снег и тишина. Вокруг стоянки не чувствовалось даже обычного движения жизни; партия охотников напала на стадо оленей, и добыча была богатая. Поэтому после некоторого поста настало время пиршества, и теперь они, несмотря на то что был день, крепко спали под покровом из оленьих шкур.

У огня, перед одним из строений, стояло пять пар лыж и сидела Су-Су. Капюшон беличьей парки покрывал ее голову и был плотно завязан у шеи; но руки ее были открыты и проворно управлялись с иглой и ниткой из сухожилий, заканчивая фантастический кожаный пояс, отделанный красной материей. Где-то позади залаяла собака, но лай прекратился столь же внезапно, как и начался.

Один раз ее отец, спавший в жилище за ее

спиной, застонал во сне. «Он видит дурные сны, — улыбнулась она про себя. — Он становится стар, и ему такие пиршества не под силу».

Она пришила последнюю бусинку, закрепила нитку и подложила дров в огонь. Она долго глядела в пламя костра и наконец подняла голову, услышав хруст снега под чьими-то мокасинами. Рядом с ней стоял Киш, слегка сгибаясь под тяжестью ноши, что нес на спине. Ноша была завернута в мягко выдубленную оленью шкуру. Он небрежно сбросил ее в снег и сел. Долго и безмолвно они глядели друг на друга.

— Это большой конец, Киш, — сказала она наконец, — большой конец от миссии Св. Георгия по Юкону.

— Да, — отвечал он, не переставая о чем-то думать и устремив глаза на пояс и мысленно примеряя его. — А где же нож? — спросил он.

— Вот он. — Она вынула его из складок своей парки, и лезвие засверкало в отсветах огня. — Это очень хороший нож.

— Дай мне его! — сказал он властно.

— Нет, о Киш, — засмеялась она. — Я думаю, что ты не родился для того, чтобы его носить.

— Дай мне его! — повторил он, не меняя тона. — Я родился для этого.

Но ее глаза, заигрывая, скользнули мимо него к оленьей шкуре, и она увидела, что снег вокруг нее покраснел.

— Это кровь, Киш? — спросила она.

— Да, это кровь. Но дай мне пояс и длинный русский нож.

Она испугалась и вся содрогнулась, когда он грубо вырвал у нее из рук пояс, содрогнулась от его грубости. Она ласково поглядела на него и почувствовала боль в груди и маленькие ручки, цеплявшиеся за ее шею.

— Он был сделан для человека поменьше, — угрюмо заметил он, втягивая живот и с трудом застегивая пряжку пояса.

Су-Су улыбнулась, и ее глаза поглядели на него еще нежнее. На него приятно было смотреть, и пояс действительно был ему узок; ведь пояс был сделан для другого, не столь крупного человека; но не все ли равно? Она может сшить и другой пояс.

— Но что это за кровь? — спросила она, побуждаемая все растущей надеждой. — Что за кровь, Киш? Или… может быть… это головы?

— Да.

— Они, верно, только что отрезаны, иначе кровь бы замерзла.

— Да, теперь не холодно, и головы совсем свежие, только что отрезанные.

— О Киш! — Глаза ее горели, и лицо сияло. — Это для меня?

— Да, для тебя.

Он захватил уголок шкуры, поднял его, и головы покатились на снег.

— Три, — прошептала она, — нет, по крайней мере четыре.

Она сидела потрясенная. Вот они лежали — нежное лицо Ни-Ку; морщинистое, старое лицо Ноба; Макумук усмехался ей своей приподнятой верхней губой; Носсабок, по старой привычке, опустил ресницы над девичьей щекой, словно подмигивая ей. Вот они лежали, освещенные играющим пламенем костра, и снег вокруг каждой из них окрашивался пурпуром.

Жар костра растопил белую корку снега под головой Ноба, и она, словно живая, покатилась, повернулась и остановилась у ног Су-Су. Но та не двинулась. Киш тоже сидел неподвижно и, не мигая, не сводил с нее пристального взора.

Отягощенная снегом сосна стряхнула с себя груз, и эхо глухо повторило звук по ущелью; но ни один из них не шелохнулся. Короткий день быстро убывал, и темнота начала спускаться над

стоянкой, когда Белый Клык направился к огню. Он остановился при виде незнакомца, его никто не отгонял, и он подошел ближе. Но обоняние быстро отвлекло его внимание от огня, ноздри его зашевелились, и шерсть стала дыбом; не обманывающий инстинкт привел его прямо к голове хозяина. Сначала он ее осторожно обнюхал и лизнул лоб красным языком. Затем сел, поднял нос кверху, к первой, едва блеснувшей звезде, и завыл протяжным волчьим воем.

Этот вой привел Су-Су в себя. Она поглядела на Киша, вынувшего из ножен русский нож и напряженно следившего за всеми ее движениями. Его лицо было решительно и твердо, и она прочла на нем закон. Откинув назад капюшон парки, она обнажила шею и встала. Окинула долгим взглядом темный лес, окружавший прогалину, далекие звезды на небе, стоянку, лыжи в снегу — последний, прощальный взгляд на жизнь. Легкий ветерок налетел сбоку и приподнял прядь волос. Глубоко вздохнув, она повернула голову, и ветер подул ей прямо в лицо.

Потом она подумала о своих детях, которым не суждено родиться, подошла к Кишу и сказала:

— Я готова.

Смерть лигуна

Кровь за кровь, род за род.

Закон племени Тлинкет

— Слушай теперь о смерти Лигуна…

Рассказчик остановился, или, вернее, сделал передышку, и многозначительно посмотрел на меня. Я поднял перед ним, сидящим у костра, бутылку, отметил пальцем размеры глотка и передал ему; недаром ведь Палитлума прозвали Пьяницей. Много историй рассказал он мне, и я давно уже ждал, чтобы этот хранитель неписаного предания заговорил о временах Лигуна; из всех людей на свете он один хорошо знал те времена.

Он откинул назад голову и забормотал, довольный; скоро послышалось бульканье, и на неровной поверхности находившегося позади утеса заплясала чудовищная тень человеческого туловища под громадной опрокинутой бутылкой. Палитлум оторвался от бутылки, ласково причмокнул и грустно поглядел вверх, на северное сияние, игравшее на бледной синеве летнего неба.

— Удивительный напиток, — сказал он. — Хо-

лодный, как вода, и горячий, как огонь. Пьющему он придает силу и у пьющего отнимает силу. Стариков он превращает в юношей, а юношей в стариков. Усталого он заставляет встать и идти вперед, а бодрого погружает в сон. Мой брат, обладавший сердцем кролика, выпил его и убил четырех врагов. Мой отец был подобен матерому волку, скалящему зубы на всех людей; но когда он напился, то побежал от врага и был убит выстрелом в спину. Очень удивительный напиток.

— Это «Три звездочки», — да и качеством это лучше, чем та бурда, которой они отравляют свои желудки там, внизу, — отвечал я, протягивая руку над зияющей черной бездной и указывая вниз, где далеко на берегу виднелись огни костров — крохотные огоньки, дающие ощущение реальности окружающего мира.

Палитлум вздохнул и покачал головой.

— Поэтому-то я и нахожусь здесь с тобою.

Тут он обласкал бутылку и меня взглядом, красноречивее всяких слов говорившим о его бесстыдной любви к выпивке.

— Нет, — сказал я, пряча бутылку. — Расскажи о Лигуне. О «Трех звездочках» мы поговорим после.

— Бутылка полна, а я ничуть не устал, — нагло

клянчил он. — Дай, я приложу ее к губам и расскажу тебе о великих подвигах Лигуна и его конце.

— У пьющего он отнимает силу, — передразнил я его, — и бодрого погружает в сон.

— Ты мудр, — отвечал он без гнева и обиды. — Ты мудр, как и все твои братья. «Три звездочки» всегда при тебе, когда ты бодрствуешь и когда ты спишь, но я никогда не видел, чтобы ты напился пьян. Вы забираете себе золото, скрытое в наших горах, и рыбу, что плавает в наших морях, а Палитлум и братья Палитлума роют для тебя золото и ловят рыбу, и рады, когда ты с высоты своей мудрости соизволяешь им приложиться губами к «Трем звездочкам».

— Я собрался послушать о Лигуне, — нетерпеливо сказал я. — Ночь коротка, а нам завтра предстоит трудный путь. — Затем я зевнул и сделал вид, будто хочу встать, но Палитлум встревожился и приступил к рассказу.

— В годы старости Лигун хотел, чтобы между племенами царствовал мир. Юношей он был первым среди воинов и вождем над всеми вождями островов и проливов. Все дни его были заполнены войной. Ни у кого на свете не было на теле столько ран, сколько у него; эти раны нанесены были и костяным оружием, и свинцовыми

пулями, и железными ножами. Он имел трех жен и от каждой жены по два сына; но сыновья его, начиная от рожденного первым и кончая родившимся последним, погибли, сражаясь рядом с ним. Беспокойный, как медведь-плешак, он рыскал далеко по всей стране, до Аляски и Мелководья на севере, забирался к югу до «Королевы Шарлотты» и, говорят, прошел с Кэйксами до дальнего Пюджет Саунд[65], где убивал твоих братьев в их защищенных домах.

Но, как я уже говорил, в годы старости он хотел установить мир между племенами. Не потому, что он стал трусом или слишком дорожил спокойным местечком у очага и полным котелком пищи. Он убивал людей с кровожадностью и злобой, стягивал живот в голодные дни и вместе с храбрейшими юношами пускался в путь по бурным морям и опасным дорогам. Но, в наказание за деяния, его увезли на военном судне в твою страну, о Волосатое Лицо и Человек из Бостона, и прошло много лет, пока он вернулся, и я уже был тогда не мальчик, но еще не стал мужчиной. И Лигун, оставшийся бездетным на старости лет, привязался ко мне и приобщал меня к своей

[65] Сноски: 65

Пюджет Саунд (Пёджет) — большой залив Тихого океана в северо-западной части штата Вашингтон.

мудрости.

«Сражаться хорошо, о Палитлум», — говаривал он…

— Нет, о Волосатое Лицо, в те дни меня не звали Палитлумом, а называли Оло, Вечноголодным. Пьяницей я стал после.

«Сражаться хорошо, — говорил Лигун, — но это глупо. Я своими глазами видел, что в стране людей из Бостона жители не сражаются друг с другом, и все же они очень сильны. Благодаря своей силе они выступают против нас на островах и проливах, и мы рассеиваемся перед их взорами, как дым костра или морской туман. Поэтому я говорю тебе, что сражаться очень хорошо и приятно, но глупо».

Поэтому-то Лигун, бывший прежде среди воинов первым, теперь громче всех заговорил о мире. Он был величайшим из вождей и самым богатым из всех, и, достигнув глубокой старости, он задал *потлач.* Никогда еще на свете не бывало такого пира. У берега выстроилось пятьсот каноэ, а в каждом прибыло не менее десяти мужчин и женщин. На пир явилось восемь племен; приехали все, начиная от дряхлых стариков до новорожденных младенцев. Прослышав о пире Лигуна, прибыли, не побоявшись долгого пути, и

мужчины из отдаленных племен. И в течение семи дней все они наполняли себе желудок яствами и напитками. Он роздал им восемь тысяч одеял. Я хорошо знаю это, ибо кто, как не я, вел счет и распределял их соответственно роду и заслугам каждого. К концу пира Лигун стал бедняком; но его имя было у всех на устах, и другие вожди скрежетали зубами, завидуя его величию и славе.

Слово его было законом, и, пользуясь этим, он проповедовал мир; он ездил на все пиры, празднества и собрания, чтобы говорить о мире. Случилось так, что мы поехали вместе — Лигун и я — на большой пир Ниблака, вождя над речным племенем Скутов, жившим недалеко от племени Стикинов. Жизнь Лигуна подходила к концу, он был уже очень стар и близок к смерти. Он кашлял от холода и от дыма костра, и нередко изо рта у него шла кровь — мы думали, что вот-вот он умрет.

«Нет, — сказал он однажды, когда изо рта показалась кровь, — куда лучше умереть, когда кровь льется из-под ножа и слышится звон стали и запах пороха, а люди громко вскрикивают, пораженные холодной сталью или быстрым свинцом».

— Итак, ты видишь, о Волосатое Лицо, что серд-

це его еще жаждало сражений.

Из Чилкута до Скутов путь не близкий, и мы много дней провели в каноэ. Пока люди склонялись над веслами, я сидел у ног Лигуна и слушал его поучения. Мне незачем говорить тебе о законе, Волосатое Лицо, я знаю, что ты в законе очень сведущ. Я только скажу тебе о Законе — кровь за кровь и род за род. Лигун подробно разъяснил мне его. Вот его слова:

«Знай, о Оло, что невелика честь убить человека, низшего по происхождению. Убивай всегда людей, стоящих выше тебя, и ты заслужишь почет, соответствующий их положению. Если из двух противников ты убьешь менее знатного — то уделом твоим будет позор, и даже женщины будут смеяться при встречах с тобою. Я говорил уже, что хорошо жить в мире; но помни, о Оло, если тебе придется убивать — убивай, сообразуясь с законом».

— Таков обычай племени Тлинкет, — в виде оправдания заметил Палитлум, а я подумал о разбойниках и убийцах западных стран и ничуть не удивился обычаю племени Тлинкет.

— Мы вовремя попали на пир к вождю Скутов — Ниблаку, — продолжал Палитлум. — Празднество было почти столь же большое, как потлач Лигу-

на. Были на нем и наши из Чилкута, и индейцы из племени Ситка, и Стикины, соседи Скутов, и Гунаа. Были Сэндоуны и Тихиосы из порта Юзгока, их соседи Оки из Пролива Дугласа, речное племя Наассов и Тонгасы с севера Диксона и, наконец, Кэйксы с острова Купреянова. Затем были Сиваши из Ванкувера, Касскары с Золотых Гор, Теслины и даже Стиксы из далекой Страны Юкона.

Это было замечательное празднество. Но первым делом должна была состояться встреча вождей с Ниблаком, и предполагалось утопить все прежние распри в квасе. Мы научились приготовлению кваса у русских — так сказал мне отец, а ему говорил это его отец. Но в этот квас Ниблак много чего прибавил — сахару, муки, сушеных яблок и хмеля, и получился хороший и крепкий напиток для мужчин. Не такой хороший, как «Три звездочки», о Волосатое Лицо, но все же очень хороший.

Квас был только для вождей, а вождей собралось человек двадцать. Так как Лигун был очень стар и пользовался большим почетом, мне разрешено было войти вместе с ним, чтобы он мог опираться на мое плечо, а я бы ему помогал опускаться на место и вставать. У двери в дом

Ниблака — а дом его был сложен из бревен очень больших размеров — каждый вождь, по обычаю, оставлял свое копье, ружье или нож. Ведь ты знаешь, о Волосатое Лицо, что напитки горячат кровь, старые распри вспыхивают вновь, и голова и рука начинают действовать быстро. Но я заметил, что Лигун взял с собой два ножа, и один оставил за дверью, а второй спрятал под одеялом, так что можно было сразу схватиться за рукоятку. Другие вожди поступили так же, и я испугался того, что должно произойти.

Вожди чинно расселись большим кругом. Я стоял рядом с Лигуном. В середине помещался бочонок с квасом, и у бочонка стоял раб, подававший напиток. Сначала Ниблак произнес дружелюбную речь; в ней было много красивых слов. Затем он подал знак, и раб погрузил тыкву в бочонок и подал ее, как это полагалось, Лигуну, ибо он был знатнейшим из собравшихся. Лигун выпил все до последней капли, и я помог ему встать, чтобы и он мог произнести речь.

Он нашел ласковые слова для всех вождей, отметил щедрость Ниблака, устроившего такое пышное торжество, посоветовал, по своему обыкновению, всем жить в мире и в конце сказал, что квас очень хорош.

После него выпил Ниблак, ибо он по старшинству следовал за Лигуном, а за ним, по старшинству и знатности, выпили и остальные вожди. Каждый из них говорил дружелюбные слова и хвалил квас, пока тыква не обошла всего круга и все вожди не выпили.

Все ли я сказал? Нет, не все, о Волосатое Лицо! Последний из них, худощавый, похожий на кошку юнец с быстрыми, дерзкими глазами, мрачно выпил свою долю, затем плюнул на землю и не сказал ни слова.

Не сказать, что квас хорош, — оскорбление; плюнуть на землю — тяжкое оскорбление. И такое-то оскорбление он решился нанести вождям. Было известно, что он — вождь Стиксов с Юкона, но больше о нем ничего не знали.

Я уже говорил, что это страшное оскорбление. Но заметь, о Волосатое Лицо, что оскорбление было нанесено не Ниблаку, хозяину пира, но самому знатному из вождей, сидевших в кругу. А самым знатным был Лигун. Никто не шелохнулся. Все глаза были устремлены на него. Он не двинулся. Его высохшие уста не дрогнули, ноздри не раздулись, и веки не опустились. Я видел, что он слаб и печален, как старики в тягостные утра голодных зим, когда женщины плачут, дети хны-

чут, нет мяса, и нет надежды его получить. И тем же взглядом, каким смотрят на мир эти старики, смотрел сейчас и Лигун.

Настала мертвая тишина. Можно было подумать, что кругом сидят мертвецы, если бы каждый из вождей не ощупывал, для верности, ножа, спрятанного в складках одеяла, и если бы каждый из них не оглядывал испытующим взглядом своих соседей справа и слева. Я был юношей в то время; но я понял, что такие события случаются лишь раз за всю жизнь.

Вождь Стиксов встал — все, не отрываясь, за ним следили, — подошел к Лигуну и остановился перед ним.

— Я — Опитса-Нож, — сказал он.

Но Лигун ничего не отвечал и, не глядя на него, не мигая смотрел в землю.

— Ты — Лигун, — сказал Опитса. — Ты убил многих воинов. А я еще жив.

Лигун все еще ничего не говорил, он только подал мне знак и с моей помощью поднялся и выпрямился. Он напоминал старую сосну, обнаженную и седую, но все еще способную противостоять бурям и морозам. Глаза его не мигали, и он, казалось, не слыхал слов Опитса и не видел его лица.

Опитса с ума сходил от ярости и приплясывал на прямых ногах перед Лигуном в знак своего презрения. Затем он запел песню о своем величии и о величии своего племени, и песня его была полна нападок на племя Чилкутов и на Лигуна. Громко распевая и приплясывая на прямых ногах, он отбросил от себя свое одеяло и, вынув нож, стал описывать круги перед лицом Лигуна. И песня, что он пел, была песнью Ножа.

Раздавалось только пение Опитса; вожди сидели в кругу, как мертвецы, и только сверкание ножа как будто вызывало ответные искры в их глазах. И Лигун тоже не произносил ни слова. Он знал, что его смерть близка, и не боялся ее. А нож, описывая круги, все приближался и приближался к лицу Лигуна, но он смотрел перед собой немигающими глазами и не отклонялся ни вправо, ни влево, ни назад.

И Опитса два раза ударил его ножом по лбу, и кровь брызнула из раны. Тогда-то Лигун подал мне знак поддержать его моей юностью и помочь ему пройти. И он презрительно рассмеялся прямо в лицо Опитса-Ножу. И отбросил его в сторону, как отбрасывают ветку, слишком низко нависшую над дорогой, и прошел мимо.

И я понял, что для Лигуна было бы позором

убить Опитса перед лицом более знатных вождей. Я вспомнил закон и понял, что Лигун собирается убивать по закону. Но кто же был здесь самым знатным после Лигуна, если не Ниблак? И к Ниблаку он и направился, опираясь о мое плечо. А с другой стороны за него уцепился Опитса, слишком незначительный, чтобы осквернить своей кровью руки столь великого вождя. И хотя нож Опитса снова и снова вонзался в тело Лигуна, тот на удары и оскорбления не дрогнул бровью. Таким-то образом мы трое прошли через комнату и подошли к завернувшемуся в одеяло испуганному Ниблаку.

Но тут вспыхнула старая вражда, и вспомнились забытые раздоры. Брат Ламука, вождя Кэйксов, был утоплен в дурных водах Стикина, и племя Стикинов не уплатило одеялами за дурные воды, как полагалось по обычаю. Поэтому Ламук вонзил свой длинный нож прямо в сердце Клок-Куца, вождя Стикинов. И Катчахук вспомнил ссору своего племени, живущего по реке Наасс, с Тонгасами, живущими на севере Диксона, и убил вождя Тонгасов выстрелом из пистолета, стрелявшего с большим шумом. Жажда крови охватила всех сидящих в кругу, и вождь убивал вождя. И все они старались ранить ножом или

выстрелом Лигуна, ибо тот, кому суждено его убить, заслужит большой почет и покроет себя неувядаемой славой. Они напали на него, как волки на оленя, но их было так много, что они мешали друг другу и не могли его убить. Каждому приходилось убивать, чтобы пробить себе дорогу к Лигуну, и вокруг была страшная свалка.

А Лигун подвигался медленно, не спеша, словно впереди у него еще много лет. Казалось, он уверен, что ему удастся убить, прежде чем сам погибнет. И, как я уже сказал, он подвигался медленно, и ножи вонзались в него, и он был залит кровью. Хотя никто не собирался меня трогать, ибо я был лишь юношей, но ножи все же попадали в меня, и горячие пули обжигали. А Лигун все еще опирался на мою молодость, и Опитса вертелся вокруг него, и мы трое подвигались вперед. Когда мы остановились перед Ниблаком, Ниблак испугался и накрыл голову одеялом. Племя Скутов всегда отличалось трусостью.

Гулзуг и Кадишан, пожиратель рыбы и охотник, сцепились за честь своих племен. Они яростно боролись и в дикой схватке сбили Опитса, стали топтать его ногами. Брошенный кем-то нож попал прямо в горло Скульпина, вождя племени Ситка; он взмахнул руками, пошатнулся и, падая,

увлек меня за собой.

Лежа на земле, я видел, как Лигун склонился над Ниблаком, сорвал с его головы одеяло и повернул его лицо к свету, И Лигун нисколько не торопился. Ослепленный собственной кровью, он протер себе глаза. Убедившись, что повернутое к свету лицо — лицо Ниблака, он провел ножом по его горлу, как охотник проводит ножом по горлу трепещущей косули. Затем он выпрямился и, слегка раскачиваясь, запел песню Смерти. Тогда Скульпин, лежа на земле, выстрелил в него из пистолета. Лигун пошатнулся и упал, как шатается и падает сосна в объятиях ветра…

Палитлум замолчал. Его блестевшие глаза были устремлены в огонь, и щеки пылали.

— А ты, Палитлум? — спросил я. — А ты?

— Я? Я помнил закон и убил Опитса-Ножа, и это было очень хорошо. И я вытащил нож Лигуна из горла Ниблака и убил Скульпина, опрокинувшего меня на землю. Я был еще юношей, и каждый убитый вождь возвеличивал меня. Затем, раз Лигун был мертв, моя молодость никому не была нужна, и я действовал ножом, выбирая самых знатных из оставшихся в живых вождей.

Палитлум порылся в складках своей одежды, достал обшитые бисером ножны и вытащил

из них нож. Нож был самодельный, грубо вырезанный из пилы; такие ножи можно найти у стариков в сотне селений на Аляске.

— Нож Лигуна? — спросил я.

Палитлум кивнул головой.

— За нож Лигуна я тебе дам десять бутылок с «Тремя звездочками», — сказал я.

Палитлум медленно перевел на меня свой взгляд.

— Я слаб, как вода, и податлив, как женщина. Я осквернил свой желудок квасом, водкой и «Тремя звездочками». Мое зрение ослабело, и слух потерял остроту, а сила обратилась в жир. Никто меня не уважает, и зовут меня Палитлум-Пьяница. Но на потлаче у Ниблака, вождя Скутов, меня уважали, и память об этом пире и память о Лигуне мне дорога. И если бы ты все море превратил в «Три звездочки» и дал бы его мне за нож — я бы ножа не отдал. Я — Палитлум-Пьяница, но я был Оло-Вечноголодным, поддерживавшим своею молодостью Лигуна.

— Ты великий человек, Палитлум, — сказал я, — и я уважаю тебя.

Палитлум протянул руку.

— Отдай мне «Три звездочки», которые ты сжимаешь между коленями, за мой рассказ, —

сказал он.

И когда я повернулся — на неровной поверхности скалы я увидел чудовищную тень человека под громадной опрокинутой бутылкой.

Красавица Ли-Ван

— Каним, солнце заходит, и дневной жар спал!

Этими словами будила Ли-Ван спящего, чья голова была закрыта одеждой из беличьих шкурок. Голос ее звучал тихо, словно она колебалась между необходимостью разбудить его и страхом перед его пробуждением. Она боялась своего великана-супруга, столь непохожего на всех других мужчин, которых она когда-либо видела.

Оленье мясо жарилось и шипело, и она сдвинула сковороду на край красных головешек. Затем она осторожно оглянулась на двух псов с Гудзонова залива, жадно следивших за каждым ее движением. Эти громадные лохматые чудовища, высунув длинные красные языки, прикорнули с подветренной стороны костра — здесь дым защищал их от тучи москитов. Когда Ли-Ван поглядела вниз, где Клондайк катил среди гор свои мощные воды, — одна из собак подползла на животе к костру и ловким, кошачьим движением лапы сбросила кусок горячего мяса со сковороды на землю. Но Ли-Ван краешком глаза следила за ней, и собака с рычанием отпрянула назад, получив удар по носу.

— Не удалось, Оло! — рассмеялась она, завладевая мясом и не спуская глаз с собак. — Ты вечно голоден, и твой нюх постоянно доводит тебя до беды.

Но вторая собака присоединилась к Оло, и обе они вызывающе стали перед женщиной. Шерсть на их спинах вздыбилась, тонкие губы собрались в безобразные морщины, обнажая угрожающие, свирепые клыки. Ноздри их сморщились и дрожали, они рычали по-волчьи и готовились к яростному волчьему прыжку.

— И ты тоже, Бэш, свиреп, как твой хозяин, и не хочешь жить в мире с тем, кто дает тебе пищу! С тобою ведь не ссорились! Так получай же!

С этим криком она бросила в них поленом, но они увернулись и не отступали. Разделившись, они с двух сторон приближались к ней, низко припадая к земле и рыча. Ли-Ван боролась за господство над волкодавами с тех пор, как маленьким ребенком ползала среди тюков со шкурами на полу своей хижины, и поняла, что наступает решительный момент. Бэш остановился, и мускулы его напряглись для прыжка; Оло еще подползал на достаточное для прыжка расстояние.

Схватив за обугленные концы две горящих го-

ловни, она приготовилась встретить нападение. Оло остановился, но Бэш прыгнул, и она бросила в него пылающее полено. Раздался резкий, болезненный вой, и в воздухе запахло паленой шерстью и мясом. Когда пес покатился в пыли, женщина поднесла к его пасти горящую головню. С диким рычанием он увернулся от следующих ударов и в безумном страхе пустился наутек. Оло, со своей стороны, также начал отступление, когда Ли-Ван напомнила о своем превосходстве, метнув ему в бок тяжелое полено. После этого оба пса отступили под дождем сыпавшихся на них поленьев к самому краю стоянки, рыча и завывая, зализывали раны.

Ли-Ван сдунула золу с упавшего куска мяса и снова села. Ее сердце билось спокойно, и борьба с собаками отошла в прошлое — такие происшествия были в ее жизни обычными.

Несмотря на шум, Каним не шелохнулся — наоборот, захрапел сильнее.

— Вставай, Каним! — будила его она. — Дневной жар спал, и нам пора двинуться в путь.

Одежда из беличьих шкур зашевелилась и наконец была отброшена бронзовой рукой. Глаза человека приоткрылись, но затем снова сомкнулись.

«Его ноша тяжела, — подумала она, — и он устал после утреннего пути».

Москит ужалил его в шею, и она замазала непокрытое место глиной: она взяла кусок от кома, находящегося всегда под рукой. Все утро, в тучах москитов поднимаясь на перевал, мужчина и женщина непрерывно мазали лицо липкой грязью, которая, высыхая на солнце, покрыла их лица глиняными масками. Эти маски, давшие кое-где трещины вследствие движения лицевых мускулов, должны были постоянно подновляться. Слой глины получился весьма неравномерный по толщине и странный по форме.

Ли-Ван мягко, но настойчиво будила Канима, пока он не проснулся и не сел. Первым делом он посмотрел на солнце и, справившись о времени по небесному хронометру, перебрался к костру и жадно набросился на мясо. Он был крупным индейцем, шести футов ростом, с широкой грудью и прекрасными мускулами. Взгляд его, более проницательный, чем обычно у его соплеменников, свидетельствовал о больших умственных способностях. На его лице читалась огромная сила воли, а сила воли в сочетании с непреклонностью и первобытностью говорила о врожденной неукротимости человека, идущего прямо к це-

ли и способного, в случае противодействия, на страшную жестокость.

— Завтра, Ли-Ван, у нас будет праздник. — Он высосал дочиста мозговую кость и бросил ее собакам. — Мы будем есть оладьи, жаренные на свином сале, и сахар — это очень приятно на вкус.

– *Оладьи?* — переспросила она, с любопытством произнося незнакомое слово.

— Да, — с чувством превосходства отвечал Каним, — и я научу тебя новым способам стряпни. Ты ничего не знаешь об этих вещах, да и о многих других тоже. Ты провела свою жизнь в глуши и ничего другого не видела. А я, — он выпрямился и горделиво поглядел на нее, — я — великий путешественник и был повсюду, даже в местах, населенных белыми людьми, и я знаю их обычаи и обычаи многих народов. Я — не дерево, рожденное, чтобы всегда стоять на одном месте и не знать о том, что находится за ближайшей горой; я — Каним Каноэ, созданный, чтобы странствовать и изучать мир вдоль и поперек.

— Это правда. — Она смиренно наклонила голову. — Я все дни своей жизни ела рыбу, мясо и ягоды и жила в глуши. Я не знала, что мир так велик, пока ты не похитил меня у моего народа

и я не начала готовить тебе пищу и заботиться о тебе во время бесконечного пути. — Она внезапно поглядела на него. — Скажи, Каним, этот путь когда-нибудь кончится?

— Нет, — отвечал он. — Мой путь подобен миру, он никогда не кончится. Мой путь — это мир, и я странствую по миру с тех пор, как научился держаться на ногах, и буду странствовать до дня своей смерти. Возможно, что мой отец и мать умерли, я давно их не видел, и мне это безразлично. Мое племя подобно твоему племени. Оно живет далеко отсюда — но мне нет дела до моего племени, ибо я — Каним Каноэ.

— Должна ли я, Ли-Ван, устав от пути, странствовать с тобой до дня своей смерти?

— Ты, Ли-Ван, — моя жена, а жена странствует по путям своего мужа, куда бы они ни вели его. Таков закон. А если бы это и не было законом, то стало бы законом Канима, который дает закон себе и своим близким.

Она снова наклонила голову, ибо знала, что, по закону, мужчина — господин.

— Не спеши, — удержал ее Каним, когда она принялась собирать в мешок скудные пожитки. — Солнце сильно греет, дорога ведет вниз, и путь не утомителен.

Она покорно оставила работу и снова уселась на землю.

Каним оглядел ее внимательным взглядом.

— Ты не сидишь на корточках, как другие женщины, — заметил он.

— Да, — отвечала она. — Мне трудно сидеть на корточках. Это меня утомляет, и я не могу отдохнуть.

— А отчего ты при ходьбе ставишь носки врозь, а не прямо?

— Не знаю, но мои ноги не такие, как ноги других женщин.

В его глазах блеснуло удовлетворение, но он его не выразил.

— Твои волосы черны, как волосы других женщин; но замечала ли ты, что они мягки и тонки, гораздо мягче и тоньше, чем их волосы?

— Замечала, — коротко ответила она, недовольная столь хладнокровным анализом ее женских несовершенств.

— Прошел уже год, как я взял тебя у твоего племени, — продолжал он, — а ты все так же робка и так же чуждаешься меня, как в тот день, когда я тебя впервые увидел. Отчего это?

Ли-Ван покачала головой.

— Я боюсь тебя, Каним, ты такой большой и

непонятный. А кроме того, еще прежде, чем ты на меня посмотрел, я боялась всех юношей. Я не знаю… не умею сказать… мне только казалось, словно они мне не подходят, словно…

— Ну! — ободрил он ее; ее заминки выводили его из терпения.

— Словно они люди другой, не моей породы.

— Не твоей породы? — медленно переспросил он. — Какая же твоя порода?

— Я не знаю, я… — Она растерянно покачала головой. — Я не умею выразить словами, что я чувствовала. Я была какая-то странная. Я была не похожа на других девушек, которые тайно искали встреч с юношами. Я не могла вести себя так с ними. Мне бы это казалось очень нехорошим поступком.

— Какое первое воспоминание твоего детства? — резко и без всякой связи с предыдущим спросил Каним.

— Поу-Ва-Каан, моя мать.

— А до Поу-Ва-Каан ты ничего не помнишь?

— Ничего.

Но Каним, глядя ей прямо в глаза, старался проникнуть ей в душу и заметил ее колебание.

— Подумай, подумай хорошенько, Ли-Ван, — грозно сказал он.

В глазах ее отразились страдание и мольба; она забормотала что-то, но его воля покорила ее и вырвала из ее уст признание.

— Это были лишь сны, Каним, дурные сны детства, как бывают видения у собак, спящих на солнышке и воющих во сне.

— Расскажи мне, — приказал он, — о том, что ты помнишь до Поу-Ва-Каан, твоей матери.

— Это забытое воспоминание, — возражала она. — Ребенком я видела сны наяву, и когда я рассказывала о виденных мною удивительных вещах — меня высмеивали, а другие дети пугались и убегали от меня. А когда я говорила об этих вещах Поу-Ва-Каан, она бранила меня и объясняла, что это дурные вещи, она даже била меня. Я думаю, что это была болезнь, вроде падучей, что бывает у стариков; а с летами я стала здоровее и больше таких снов не видела. А теперь… я не могу вспомнить, — она смущенно поднесла руку ко лбу, — они где-то здесь, но я не могу найти их, только…

— Только, — повторил, помогая ей, Каним.

— Только одно осталось у меня в памяти. Но ты будешь смеяться, так это невероятно.

— Нет, Ли-Ван. Сны — это сны. Они могут быть воспоминаниями о прежних прожитых нами

жизнях. Я был раньше оленем. Я твердо убежден в том, что был оленем, судя по тем вещам, какие я видел во сне.

Он тщетно пытался скрыть нараставшее волнение, но Ли-Ван, стараясь найти подходящие слова для передачи своих мечтаний и снов, не замечала его состояния.

— Я вижу утоптанную площадку на снегу, среди деревьев, — начала она, — а на снегу следы мужчины, с трудом пробиравшегося на четвереньках. И я вижу мужчину в снегу, и мне кажется, что я совсем близко от него. Он не похож на настоящих мужчин, у него на лице волосы, много волос, и все волосы, покрывающие его лицо и голову, желты, как летний мех ласки. Его глаза закрыты, но затем открываются и что-то ищут. Они сини, как небо, и, повстречавшись с моими, больше ничего не ищут. Его рука двигается медленно, словно от слабости, и я чувствую…

— Да, — хрипло прошептал Каним, — ты чувствуешь?

— Нет! Нет! — торопливо вскричала она. — Я ничего не чувствую. Разве я сказала «чувствую»? Я не хотела это сказать. Невозможно, чтобы я хотела это сказать. Я гляжу, я только гляжу, и это все, что я вижу, — мужчина на снегу, с глазами,

как небо, и волосами, как летний мех ласки[66]. Я много раз видела этот сон, и всегда он был одинаков — мужчина на снегу…

— А себя ты видишь? — спросил он, подавшись вперед и напряженно вглядываясь в нее. — Ты когда-либо видела себя и мужчину на снегу?

— Как могла я видеть себя? Разве я не живу?

Напряжение его мускулов спало, он откинулся назад и отвел в сторону глаза, чтобы она не увидала в них выражения торжества и удовлетворения.

— Я объясню тебе все, Ли-Ван! — решительно заговорил он. — Ты в прежней жизни была маленькой птичкой; ты видела человека на снегу и теперь, в этой жизни, вспоминаешь. В этом нет ничего удивительного. Я был прежде оленем, а отец моего отца после смерти стал медведем, — так сказал шаман, а шаман не может лгать. Так мы переходим от жизни к жизни, и одни только боги знают, что будет с нами дальше. Сны и тени снов — лишь воспоминания, больше ничего, и собака, повизгивая во сне, лежа на солнышке,

[66] Сноски: 66

Ласка — хищное млекопитающее из семейства куниц. В северных странах ласка, подобно горностаю, приобретает зимнее одеяние, состоящее из беловато-бурых пятен. Летом же ее мех имеет красивый красновато-бурый цвет.

несомненно, видит и вспоминает события из прежней жизни. Например, Бэш был когда-то воином. Я твердо уверен в том, что он был воином. — Каним бросил собаке кость и встал. — Ну, двинемся в путь. Солнце сильно греет, холоднее уже не будет.

— А эти белые люди, какие они по виду? — осмелилась спросить Ли-Ван.

— Такие же, как ты и я, — отвечал он. — У них только кожа не такая темная. Ты увидишь их еще до захода солнца.

Каним привязал свой спальный мешок к тюку весом в сто пятьдесят фунтов, обмазал лицо сырой глиной и сел отдохнуть, пока Ли-Ван нагружала собак. Оло смирился при виде дубинки в ее руке и без сопротивления дал нагрузить себя тюком в сорок с лишним фунтов. Но Бэш был взбешен и не мог удержаться от визга и рычания, пока она привязывала тюк ему на спину. Шерсть его стала дыбом, и клыки обнажились, когда она затянула потуже ремни, и все коварство пса выражалось во взглядах, какие он на нее бросал. Каним засмеялся и сказал:

— Разве я не говорил тебе, что он был когда-то великим воином?

— Эти меха принесут хорошую прибыль, — за-

метил он, прилаживая ремень и поднимая тюк с земли. — Хорошую прибыль. Белые люди хорошо платят за такое добро, потому что им некогда охотиться и они плохо переносят холод. Мы скоро будем так пировать, Ли-Ван, как тебе не приходилось пировать во всех прожитых тобой жизнях.

Она невнятно поблагодарила своего господина и наклонилась над тюком, закрепляя на себе ремни.

— В следующем рождении я буду белым человеком, — прибавил он и двинулся вниз по спускающейся в ущелье тропинке.

Собаки пошли следом за ним, а Ли-Ван замыкала шествие. Но мысли ее были далеко на востоке, за ледяными горами, в маленьком уголке земли, где были прожиты ее детские годы. Она вспомнила, что еще в детстве на нее смотрели как на странного ребенка, словно пораженного каким-то недугом. Она видела сны наяву, и ее бранили и били за ее удивительные видения, пока она со временем их не забыла. Но не до конца. С тех пор как она стала взрослой женщиной, они больше не смущали ее наяву и являлись ей только во сне, в ночных кошмарах, полных неясных и непонятных, но волнующих призраков. Беседа с Канимом взволновала ее, и, спускаясь по крутому склону

ущелья, она вспоминала дразнящие тени своих снов.

— Давай отдохнем, — сказал Каним, когда они прошли полпути над рекой.

Он опустил свой тюк на выступ скалы, снял с плеч ремень и сел. Ли-Ван присоединилась к нему, и собаки, тяжело дыша, растянулись на земле рядом с ними. У их ног бурлил ледяной горный поток, но вода была мутная, загрязненная землей.

— Отчего это? — спросила Ли-Ван.

— Это из-за белых людей, которые работают в земле. Послушай! — Он поднял руку, и они услыхали звон кирок и заступов и шум человеческих голосов. — Они сходят с ума при виде *золота* и работают безостановочно, чтобы его найти. *Золото?* Оно желтое, и его находят в земле. Оно очень высоко ценится и является мерой оплаты.

Но блуждающий взгляд Ли-Ван наткнулся на нечто, отвлекшее ее внимание от мужа. Несколькими ярдами ниже, полускрытая зарослями молодого можжевельника, стояла бревенчатая хижина с нависшей глинобитной крышей. Дрожь пробежала по телу Ли-Ван, и все призраки ее сновидений ожили и окружили ее.

— Каним, — прошептала она, замирая от стра-

ха. — Каним, что это такое?

— Жилище белого человека, в котором он ест и спит.

Она внимательно оглядела хижину, сразу оценила ее достоинства и снова содрогнулась от странных ощущений.

— Там, должно быть, в мороз очень тепло, — громко сказала она, чувствуя, что ее губы произнесли какие-то необычные слова.

Что-то заставляло ее громко повторить их, но она удержалась, и в следующий миг Каним сказал:

— Это называется *хижина.*

Ее сердце забилось. Эти звуки! То же слово! Она с ужасом оглянулась вокруг. Как могла она знать это странное слово до того, как она его услыхала? Как это объяснить? И затем ее внезапно озарило сознание, что ее сны оказались разумными и правдивыми. Эта мысль явилась ей впервые, и она — наполовину с ужасом, наполовину с восторгом — старалась осознать ее.

– *Хижина,* — повторила она про себя. — *Хижина, хижина!..* — Несвязный поток грез нахлынул на нее, голова ее закружилась, и сердце стало сильно биться. Призраки, неясные очертания видений и несообразные сопоставления носи-

лись в ее памяти, и сознание ее тщетно пыталось остановить их и удержать. Она чувствовала, что в этом вихре воспоминаний лежит ключ к открытию тайны: лишь бы ей удалось схватить его, и все сразу станет ясным и простым.

— О Каним! О Поу-Ва-Каан! О тени и призраки, что это такое?

Она повернулась к Каниму, безмолвная и трепещущая, обуреваемая безумным потоком нахлынувших грез. Ей стало дурно — она начала терять сознание и могла лишь прислушиваться к восхитительным звукам, доносившимся из хижины.

— Гм, *скрипка,* — снизошел до объяснения Каним.

Но она не слыхала его слов, и в экстазе ей казалось, что теперь все станет ясным. «Сейчас! Сейчас!» — думала она. Слезы полились из глаз. Тайна раскрывалась, но она лишалась сознания. Если бы ей только продержаться еще немного! Если бы… Но вокруг нее все завертелось, горы заплясали на фоне неба, и она вскочила на ноги с криком: *«Отец! Отец!»* Затем солнце померкло, тьма охватила ее, и она ничком повалилась на скалы.

Каним поглядел, не свернуло ли ей шеи тяже-

лым тюком, удовлетворенно проворчал что-то и плеснул на нее водой из ручья. Она медленно приходила в себя, рыдания душили ее.

— Нехорошо, когда солнце печет голову, — заметил он.

И она ответила:

— Да, нехорошо. И тюк очень тяжел.

— Мы рано устроимся на ночлег, ты сможешь хорошенько выспаться и набраться сил, — мягко сказал он. — И чем скорее двинемся мы в путь, тем раньше мы ляжем спать.

Ли-Ван ничего не ответила, но покорно встала и, шатаясь, подняла собак. Она механически пошла в ногу с Канимом и, едва решаясь дышать, прошла мимо хижины. В хижине было тихо, хотя дверь была открыта, и дым вился над дымовой трубой, свернутой из листового железа.

За поворотом ручья они наткнулись на человека с белой кожей и голубыми глазами, и перед Ли-Ван на мгновение возник образ того человека на снегу. Но этот образ был словно в тумане, потому что она была очень слаба и утомлена всем пережитым. Но все же она с любопытством поглядела на золотоискателя и вместе с Канимом остановилась, чтобы посмотреть, как он работает. Он промывал песок в большом тазу, наклоняя

таз и быстро его вращая. При одном из поворотов его руки они увидели, как золото блеснуло в широкой полосе песка на дне таза.

— Здорово богата эта речка, — обратился к ней Каним, когда они пошли дальше. — Когда-нибудь и я найду такой ручей и тогда стану важным человеком.

Хижины и люди попадались все чаще, и наконец они подошли к месту, где речка широко разлилась по ущелью. Их глазам представилась жуткая картина разрушения. Земля повсюду была разрыта, словно после битвы титанов. Там, где не были нагромождены кучи песка, зияли глубокие ямы и рвы. Бездны разверзались там, где толстый слой земли был снят, обнажая поверхность скалы. Речке некуда было течь; плотина, преграждавшая ей путь, заставляла свернуть в сторону, и она, вздымая головокружительный фонтан водяных брызг и пены, стекала в искусственные желоба и углубления почвы, где громадные гидравлические колеса снова подымали воду, давая людям возможность ее использовать. Деревья со склонов гор были срублены, и на обнаженных участках виднелись следы спуска строевого материала и ямы на местах будущих скважин.

Повсюду, словно чудовищная порода огромных

муравьев, расползлась армия людей — запыленных, грязных и растрепанных. Они вползали в вырытые ими норы и выползали, пробираясь, как гигантские клопы, вдоль желобов, работали у нагроможденных ими куч песка, непрерывно просеивая его и перемывая. Люди были повсюду, насколько хватало глаз — вплоть до вершин окружающих гор, и всюду они рыли, копали и исследовали поверхность земли.

Ли-Ван была потрясена ужасной сутолокой.

— Действительно, эти люди безумны, — сказала она Каниму.

— Неудивительно. Золото, что они здесь находят, — великая вещь, — отвечал он. — Самая великая вещь на свете.

Часами они шли вдоль этого хаоса, созданного человеческой алчностью. Каним внимательно всматривался во все, а Ли-Ван ослабела и ни на что больше не обращала внимания. Она знала, что была на пороге к раскрытию тайны, и знала, что и сейчас тайна может в любой момент открыться, но пережитое нервное напряжение утомило ее, и она пассивно ожидала надвигающихся неведомых событий. Все новые и новые впечатления вбирала она в себя, и каждое из них давало новый толчок ее измученному вообра-

жению. Где-то внутри ее звучали отклики на все впечатления извне, вспоминалось давно забытое; она сознавала, что в ее жизни наступил перелом, душа ее была в смятении, но примитивный ум не в силах был справиться с потоком нахлынувших впечатлений и чувств, разобраться в них и понять. Поэтому она устало и молча плелась за своим господином, терпеливо ожидая, что где-то и как-то случится то, что случиться должно.

Подчиняясь человеку, речка наконец вернулась в свое первоначальное русло, загрязненная от той работы, какую проделали ее воды. Теперь она лениво извивалась среди обширных лугов и лесов расширявшейся долины. Здесь добыча прекращалась, и люди не задерживались — главная приманка этих мест оставалась позади. Здесь-то Ли-Ван, остановившись, чтобы хорошенько проучить палкой Оло, услыхала серебристый смех женщины.

Перед хижиной сидела женщина с очаровательной, розовой, как у ребенка, кожей. Она весело смеялась, слушая другую женщину, стоявшую в дверях, и по временам встряхивала тяжелыми кудрями мокрых черных волос, просушивая их в теплых, ласковых лучах солнца.

На мгновение Ли-Ван остолбенела. Затем ее

сознание озарилось ослепительным светом. Женщина, сидящая перед хижиной, исчезла, исчезли и хижина, и высокий ельник, и зубчатая линия горизонта, и Ли-Ван увидела другую женщину, озаренную лучами другого солнца. Та женщина тоже расчесывала тяжелые черные кудри и пела при этом песню. И Ли-Ван услыхала слова той песни, поняла их и снова стала ребенком. На нее нахлынуло видение, воплотившее все беспокойные грезы ее детства, и все стало ясным, простым и реальным. Картины прошлого мелькнули перед ней — странные события, деревья, цветы и люди; она ясно видела их и узнала.

— Когда ты была маленькой птичкой… — сказал Каним, впиваясь в нее глазами.

— Когда я была маленькой птичкой, — прошептала она так слабо и тихо, что он едва расслышал. Она знала, что солгала, и, склонив голову к ремню, двинулась дальше.

Странно было то, что случилось; все окружающее стало нереальным. Последний переход и приготовления к ночлегу на берегу реки казались ей эпизодом ночного кошмара. Она, как во сне, сварила мясо, накормила собак и развязала тюки, и лишь когда Каним принялся расписывать свое следующее путешествие, пришла в себя.

— Клондайк впадает в Юкон, — говорил он. — Это большая река, больше, чем Маккензи — ты видала Маккензи. Вот так мы и дойдем — ты и я — до форта Юкон. В зимнее время на собаках это займет двадцать дней. Затем мы спустимся по Юкону на запад — сто дней или двести — не знаю. Это очень далеко. И там мы выйдем к морю. Ты ничего не знаешь о море, так вот послушай меня. Что остров по отношению к озеру — то земля по отношению к морю. Все реки впадают в него, и оно не имеет границ. Я видел его в Гудзоновом заливе: теперь мне хочется увидать его на Аляске. А там мы поедем в большой лодке по морю или пойдем на юг вдоль берега — много-много дней. А после я не знаю, куда мы пойдем, знаю лишь, что я — Каним Каноэ и что мне суждено странствовать и путешествовать по лицу земли!

Она сидела, прислушиваясь к его словам, и страх овладел ее сердцем, когда она задумалась над грядущими странствованиями по безграничным пустыням мира.

— Это трудный путь, — вот и все, что она сказала, покорно опустив голову на колени.

Затем ее осенила блестящая мысль, и ее бросило в жар от восторга. Она спустилась к реке и смыла с лица засохшую глину. Когда рябь на воде

улеглась, она долго вглядывалась в свое отражение: солнце и непогода сделали свое дело, и ее загорелая, огрубевшая кожа не была так нежна, как кожа ребенка. Но та же великолепная мысль не покидала ее, и румянец все так же пылал на ее щеках, когда она забралась в спальный мешок и улеглась рядом с мужем. Она лежала с открытыми глазами, глядя в бездонную синеву неба и ожидая, чтобы Каним уснул первым, крепким сном. Когда это наконец случилось, она медленно и осторожно выбралась из мешка, подоткнула под Канима шкуру и встала. Не успела она сделать и шага, как Бэш свирепо зарычал. Она шепотом успокоила его и поглядела на Канима. Тот спокойно храпел. Тогда она повернулась и быстрыми шагами пошла обратно по пройденному пути.

Миссис Эвелина Ван-Уик готовилась лечь в постель. Светские обязанности надоели ей, и, пользуясь богатством и свободой вдовьего положения, она поехала на Север и поселилась в уютной хижине на краю приисков. Здесь, с помощью своей приятельницы и компаньонки Миртль Гиддингс, она играла в жизнь, близкую к земле, и с эстетическим увлечением разыгрывала первобытную женщину.

Она пыталась отбросить полученную ею по наследству культуру и светскость и найти утерянную ее предками близость к земле. Она старалась восстановить образ мышления, казавшийся ей похожим на образ мышления человека каменного века, и как раз в этот момент, расчесывая на ночь волосы, мысленно переживала сцены ухаживания в палеолитический период. Обстановкой являлись: пещеры, раздробленные кости, свирепые хищники, мамонты — и битвы, в которых пускали в ход грубые ножи из кремня; эти мечтания доставляли ей большое наслаждение. И когда Эвелина Ван-Уик (в мечтах) бежала через глухие лесные чащи, спасаясь от пылкости своего низколобого обожателя, одетого в звериные шкуры, дверь в хижину открылась без предварительного учтивого стука, и в комнату вошла дикая, одетая в звериные шкуры женщина.

— Господи!

Одним прыжком, который мог сделать честь любой пещерной женщине, мисс Гиддингс очутилась в безопасности, позади стола. Но миссис Ван-Уик осталась на том же месте. Она заметила, что незваная посетительница сама находится в состоянии сильнейшего возбуждения, и бросила быстрый взгляд, чтобы убедиться, что путь к

кровати свободен — там, под подушкой лежал «кольт» крупного калибра.

— Привет, о женщина с прекрасными волосами! — сказала Ли-Ван.

Но она сказала это на своем родном языке — на языке, понятном лишь в далекой глуши, — и женщины ее не поняли.

— Идти за помощью? — дрожащим голосом спросила мисс Гиддингс.

— Я думаю, что это жалкое создание совершенно безобидно, — отвечала миссис Ван-Уик. — Поглядите лучше на ее одежду, изодранную и изношенную. Это редкостный экземпляр. Я куплю ее для моей коллекции. Достань мою сумочку, Миртль, и приготовь весы.

Ли-Ван следила за движением ее губ, но слов она разобрать не могла и подумала, что им не суждено понять друг друга.

В отчаянии от своей немоты она широко развела руками и воскликнула:

— О женщина, ты — моя сестра!

Слезы струились по ее щекам, все ее сердце рвалось к ним, и дрожание голоса выдавало скорбь — ту скорбь, какую она не могла выразить словами. Несмотря на это, мисс Гиддингс трепетала от страха, и даже миссис Ван-Уик стало не

по себе.

— Я буду жить, как вы живете. Твой обычай будет моим обычаем, и у нас будет один обычай. Мой супруг — Каним Каноэ. Он большой и странный, и я боюсь его. Его путь идет по всему миру и не имеет конца, а я устала. Моя мать была подобна вам, и ее волосы были подобны твоим, и глаза также. И жизнь была ко мне ласкова, и солнце меня грело.

Она смиренно преклонила колени и склонила голову у ног миссис Ван-Уик. Но миссис Ван-Уик отпрянула, напуганная ее страстностью.

Ли-Ван встала, задыхаясь от желания сказать им все. Ее немые уста не могли передать овладевшую ею мысль об общности рода.

— Торговля? Ты торгуешь? — спросила миссис Ван-Уик, переходя, как все цивилизованные народы, к ломаному языку.

Она дотронулась до изорванной одежды Ли-Ван, указывая на выбранный ею предмет, и насыпала золотой песок на чашечку весов. Соблазняя Ли-Ван блеском золота, она играла им и перебирала пальцами блестящий песок. Но Ли-Ван глядела лишь на ее белые, красивые руки и тонкие, суживающиеся к кончикам пальцы с розовыми, похожими на драгоценные камни,

ногтями. Она положила рядом свою мозолистую руку, грубую от работы, и заплакала.

Миссис Ван-Уик ничего не поняла.

— Золото, — поощряла она ее. — Хорошее золото! Торгуешь? Менять, хочешь менять? — И она снова положила руку на одежду Ли-Ван. — Сколько? Продаешь? Сколько? — настаивала она, проводя рукой против шерсти, чтобы убедиться в том, что швы прошиты сухожилиями.

Но Ли-Ван была глуха к словам этой женщины. Неудача ее предприятия повергла ее в отчаяние. Как ей доказать этим женщинам свое родство с ними? Она знала, что они принадлежат к одному племени, что они сестры по крови перед лицом всех мужчин и женщин, принадлежащих мужчинам. Ее глаза дико блуждали по комнате, останавливаясь на мягких складках драпировки, женских платьях, овальном зеркале и красивых туалетных принадлежностях под ним. Все эти вещи преследовали ее, потому что она видела подобные им вещи раньше; когда она глядела на них, ее губы невольно складывались для звуков, какие ее язык не решался произнести. В ее мозгу мелькнула новая мысль, и она овладела собой. Ей необходимо оставаться спокойной. Ей следует держать себя в руках, теперь уже не должно

быть никаких недоразумений, иначе… и она затряслась от потока подавленных слез и вновь овладела собой.

Она положила руку на стол.

– *Стол,* — объявила она ясно и раздельно. И повторила: — *Стол.*

Она поглядела на миссис Ван-Уик; та утвердительно кивнула. Ли-Ван торжествовала, но всей силою воли сдержала свои чувства.

– *Печь,* — продолжала она. — *Лечь.*

При каждом кивке миссис Ван-Уик возбуждение Ли-Ван росло. То запинаясь и останавливаясь, то с лихорадочной поспешностью, смотря по тому — медленно или быстро приходили ей на память забытые слова, она обходила комнату, называя предмет за предметом. Остановившись, наконец, она выпрямилась и, закинув голову, торжествовала, выжидая.

— Ко-о-шка! — рассмеялась миссис Ван-Уик, растягивая слова на манер руководительницы детского сада. — Я… вижу… ко… шка… поймала… мышь.

Ли-Ван серьезно кивнула. Наконец-то женщины начинали ее понимать!

При этой мысли кровь бросилась ей в лицо, яркий румянец пробивался под темным зага-

ром ее щек, она улыбнулась и еще решительнее кивнула.

Миссис Ван-Уик повернулась к своей компаньонке.

— Я думаю, что она обучалась слегка в какой-нибудь миссии и пришла к нам похвастать своими знаниями.

— Да, конечно, — посмеивалась мисс Гиддингс. — Вот дурочка! Из-за ее тщеславия мы не можем лечь спать.

— Это неважно, я хочу получить ее куртку. Если она старинная — работа очень хороша, это прекрасный образец. — Она повернулась к посетительнице. — Менять хочешь, менять? Ты! Хочешь менять? Сколько, а? Эй, говори, сколько?

— Может быть, она предпочла бы платье или что-нибудь из одежды? — подала ей новую мысль мисс Гиддингс.

Миссис Ван-Уик подошла к Ли-Ван и знаками показала, что хочет обменять свой капот на ее куртку. И чтобы ускорить дело, она взяла и положила руку Ли-Ван среди кружев и лент, покрывавших пышную грудь, и провела пальцами Ли-Ван по ткани. Драгоценная бабочка, служившая застежкой, отстегнулась, и капот слегка распахнулся, обнажая упругую, белую грудь, не

знавшую прикосновения детских губок.

Миссис Ван-Уик спокойно привела все в порядок; но Ли-Ван громко вскрикнула и начала срывать с себя кожаную куртку, пока не обнажилась ее грудь, такая же упругая и белая, как грудь Эвелины Ван-Уик. Бормоча какие-то невнятные слова и дико жестикулируя, она пыталась установить свое родство с ними.

— Полукровка, — заметила миссис Ван-Уик. — Я так и думала, судя по ее волосам.

Мисс Гиддингс брезгливо махнула рукой.

— Гордится белой кожей своего отца. Какая гадость! Дай ей что-нибудь, Эвелина, и выпроводи ее.

Но другая женщина вздохнула.

— Несчастное создание! Я бы хотела ей чем-нибудь помочь.

Под чьими-то тяжелыми шагами захрустел снаружи песок. Затем дверь широко распахнулась, и в хижину вошел Каним. Мисс Гиддингс вскрикнула, словно застигнутая смертельной опасностью, но миссис Ван-Уик встретила его появление спокойно.

— Что вам нужно? — спросила она.

— Здравствуйте, — вежливо и спокойно отвечал Каним, указывая в то же время на Ли-Ван. —

Она — моя жена!

Он направился к ней, но она махнула ему рукой.

— Говори, Каним! Скажи им, что я…

— Дочь Поу-Ва-Каан? Какое им до этого дело? Я лучше скажу им, что ты плохая жена, способная покинуть ложе своего мужа, когда сон тяжело покоится на его веках.

Он снова направился к ней, но она отпрянула от него и бросилась со страстной мольбой к ногам миссис Ван-Уик, стараясь обвить руками ее колени. Но леди отступила и глазами разрешила Каниму взять его жену. Он схватил ее, приподнял с пола и поставил на ноги. Она боролась с ним в безумстве отчаяния, пока он, задыхаясь, не протащил ее до половины комнаты.

— Отпусти меня, Каним, — рыдала она.

Но он сжимал ее руку, пока она не перестала оказывать сопротивление.

— Воспоминания маленькой птички слишком сильны и доставляют много хлопот…

— Я знаю! Я знаю! — прервала она. — Я вижу человека на снегу так ясно, как никогда, и я вижу, как он ползет на руках и коленях. А я — совсем еще маленький ребенок, и сижу на его спине. И это было до Поу-Ва-Каан и до того, как я стала

жить в далекой глуши.

— Да, ты знаешь, — отвечал он, толкая ее к двери. — Но ты спустишься со мною вдоль Юкона и позабудешь все.

— Никогда я не забуду! Я буду помнить, пока у меня будет белая кожа! — Она изо всех сил уцепилась за дверной косяк и кинула последний умоляющий взгляд на миссис Эвелину Ван-Уик.

— Тогда я заставлю тебя забыть, — я, Каним Каноэ!

С этими словами он оторвал ее пальцы от косяка и вышел вместе с ней на тропинку.

Лига стариков

В Бараках разбиралось дело, которое должно было преступнику стоить жизни. Преступником был старик-туземец с берегов реки Белая Рыба, впадающей в Юкон ниже озера Ле-Бардж. Дело это взволновало не только весь Даусон, но и всех живущих по течению Юкона — на добрую тысячу миль вверх и вниз по реке. Разбойники и пираты — англосаксы — давали побежденным народам свой закон, и часто закон этот был суров. Но в деле Имбера всякий закон казался слишком мягким и слабым. Считаясь с принципом наказания, соответствующего совершенному преступлению, нельзя было подобрать ничего равносильного преступлениям этого человека. Наказание было предопределено заранее, в этом не было ни малейшего сомнения; но хотя по закону ему полагалась смертная казнь — жизнь у него была одна, а лишил он жизни многих.

И в самом деле, руки его были обагрены кровью стольких жертв, что не было возможности сосчитать их. Сидя у дороги, покуривая трубку или отдыхая у печки, люди занимались приблизительным подсчетом жертв. Все эти несчастные

были белыми людьми и перебиты были поодиночке, по двое или небольшими группами. Эти убийства были так бесцельны и бессмысленны, что долгое время оставались загадкой для конной полиции и во времена капитанов, и позже, когда речки стали приносить золото, и прибывший губернатор заставил страну платить за ее процветание.

Но еще более загадочно появление Имбера в Даусоне, его желание отдаться в руки властей. Поздней весной, когда Юкон рычал и рвался из-под ледяной коры, старый индеец с трудом взобрался на берег с дороги, проходившей по льду, и остановился в замешательстве на главной улице. Люди, заметившие его появление, утверждали, что он был очень слаб и нетвердо держался на ногах. Он доковылял до кучи бревен, сел и просидел весь день, глядя прямо перед собой на неиссякаемый поток проходящих мимо него белых людей. Немало голов повернулось, чтобы встретиться с его взглядом, и немало замечаний было пущено по адресу старого сиваша, казавшегося таким странным. Множество людей вспоминали потом, что их поразила необыкновенная фигура индейца, и гордились всю жизнь своим чутьем в распознавании необычайного.

Все же героем происшествия был Дикенсен — маленький Дикенсен. Он приехал в эти края с великими мечтами и полным карманом денег; но с исчезновением денег исчезли и мечты, и, чтобы заработать на обратный проезд в Соединенные Штаты, он поступил клерком в маклерскую контору «Холбрук и Мэзон». Куча бревен, на которой сидел Имбер, находилась против окон конторы «Холбрук и Мэзон».

Дикенсен поглядел на индейца из окна перед тем, как пошел завтракать; вернувшись после завтрака, он снова посмотрел в окно, а старый сиваш все еще сидел на бревнах.

Дикенсен продолжал выглядывать в окошко — и, как все другие, всю жизнь потом гордился своей проницательностью. Он был романтик, и ему представилось, что неподвижный старый язычник является олицетворением расы сивашей, спокойно взирающим на вторжение саксонцев. Часы шли, но Имбер не переменил позы и не шевельнул ни одним мускулом; и Дикенсен вспомнил человека, сидевшего однажды в санях на кишевшей народом главной улице. Все думали, что человек этот отдыхает, но позже, когда до него дотронулись, оказалось, что он закоченел и застыл — замерз насмерть в деловой

сутолоке города. Чтобы разогнуть его и положить в гроб, пришлось труп оттаивать на огне. Дикенсен содрогнулся при этом воспоминании.

Позже Дикенсен вышел на тротуар выкурить сигару и освежиться, а скоро показалась и Эмилия Трэвис. Эмилия Трэвис была очень красива и изнеженна. И в Лондоне и в Клондайке она одевалась, как полагается быть одетой дочери горного инженера-миллионера.

Маленький Дикенсен положил сигару на подоконник и приподнял шляпу.

Они болтали минут десять о разных пустяках, как вдруг Эмилия Трэвис, взглянув поверх плеча Дикенсена, удивленно вскрикнула. Дикенсен повернулся, чтобы посмотреть, что ее напугало, и сам тоже испугался. Имбер перешел через улицу и стоял за ним — изможденный, голодный призрак, — не спуская глаз с молодой девушки.

— Что вам надо? — хмуро спросил дрожащим голосом маленький Дикенсен.

Имбер что-то пробормотал и направился к Эмилии Трэвис. Он внимательно оглядел ее с головы до ног. Особенно интересовали его ее шелковистые русые волосы и румянец, мягко разливавшийся по щекам, покрытым нежным пушком, точно крылья бабочки. Он обошел во-

круг нее, рассматривая ее так, словно перед ним была лошадь либо лодка.

Когда он осматривал ее со всех сторон, случилось, что ее розовое ушко очутилось между его взглядом и заходящим солнцем, и он остановился, созерцая его прозрачность. Затем он снова обратился к ее лицу и долго и напряженно всматривался в ее голубые глаза. Он проворочал что-то и положил свою руку между ее плечом и локтем. Другой рукой он поднял ее предплечье и согнул руку. На его лице отразилось презрение и удивление, и он отбросил ее руку с пренебрежительным ворчанием. Затем он пробормотал несколько гортанных слов, повернулся к ней спиной и обратился к Дикенсену.

Дикенсен не понимал его, и Эмилия Трэвис рассмеялась. Имбер, нахмурившись, обращался то к одному, то к другому, но оба они качали головою. Он был готов отойти от них, когда она воскликнула:

— О Джимми! Идите сюда!

Джимми шел по другой стороне улицы. Это был крупный, неуклюжий индеец, одетый, как одеваются белые, и в мягкой широкополой шляпе. Он медленно, запинаясь, начал беседовать с Имбером. Джимми был из племени Ситка и очень

поверхностно знал наречия других племен.

— Она человек из племени Белый Рыба, — сказал он Эмилии Трэвис. — Я понимала его язык нехорошо. Она хочет смотреть начальника белый человека.

— Губернатора, — подсказал Дикенсен.

Джимми поговорил еще со старым индейцем, и на лице его отразилось недоумение.

— Я думала, она хочет начальник Александер, — пояснил он. — Она говорит, она убила белый мужчин, белый женщин, белый мальчик, убил много белый человека. Она хочет умереть.

— Помешанный, по всей вероятности, — сказал Дикенсен.

— Что вы говорите? — спросил Джимми.

Дикенсен показал пальцем на голову и затем повертел им в воздухе.

— Может, и так, может, и так, — сказал Джимми, поворачиваясь к Имберу, продолжавшему допытываться, где начальник белых людей.

Конный полисмен (в Клондайке он служил в пешей полиции) подошел к говорившим и услыхал желание Имбера. Это был сильный юноша с широкими плечами, мощной грудью, стройными, крепкими ногами, и как высок Имбер ни был — полисмен на полголовы был выше. Его

спокойные серые глаза холодно взирали на мир, и он держал себя со спокойной уверенностью в своей силе, которая передается по наследству и вырабатывается веками. Его великолепная мужественность подчеркивалась ребячливостью — он был еще подростком, — и его нежные щеки вспыхивали румянцем так же легко, как щеки молодой девушки.

Имбера сразу потянуло к нему. Его глаза засверкали при виде рубца от сабельного удара на щеке юноши. Высохшей рукой он провел по его бедру, ласково касаясь вздувшихся мышц, затем ударил по мощной груди, нажимал и надавливал на тугие мускулы, покрывавшие его плечи подобно кирасе. К маленькой группе подошли любопытные прохожие: грубые шахтеры, горцы и пограничники — сыны длинноногой и широкоплечей расы. Имбер переводил взгляды с одного на другого, затем громко сказал что-то на языке племени Белая Рыба.

— Что он сказал? — спросил Дикенсен у Джимми.

— Она сказала: «Все они как одна, — как эта полисмен».

Маленький Дикенсен был мал ростом, и ему стало неприятно, что он задал этот вопрос в при-

сутствии мисс Трэвис.

Полисмен пожалел его и вмешался в разговор.

— Кажется, он может сообщить что-то стоящее. Я сведу его к капитану для допроса. Скажите ему, Джимми, чтобы он шел со мной.

Джимми разразился потоком гортанных восклицаний. Имбер пробормотал что-то и, казалось, был вполне удовлетворен.

— Спросите его, Джимми, что он бормотал и что он подумал, когда поднимал мою руку?

Так сказала Эмилия Трэвис, и Джимми перевел вопрос и получил ответ.

— Она говорит, вы не испугался, — сказал Джимми.

Эмилия Трэвис была довольна.

— Она говорит, вы не сильный, вы мягкий, как маленький дитя. Она сломает вас, две рука, в маленький кусочки. Она думает, очень смешно, очень удивительно, как вы может быть мать большой, сильный мужчина, как эта полисмен.

Эмилия Трэвис не опустила глаз и не смутилась, но щеки ее зарделись. Маленький Дикенсен покраснел и был очень смущен. Лицо полисмена пылало.

— Ступай со мной, эй ты, — сказал он, пробираясь через толпу.

Таким образом Имбер нашел дорогу в Бараки, где он принес полную добровольную исповедь, и откуда он уже больше не вышел.

Имбер казался очень утомленным. На его лице отражалась усталость безнадежности и прожитых лет. Его плечи поникли, и в глазах не было блеска. Его волосы могли бы быть снежно-белыми, но солнце и непогода выжгли их, и они висели безжизненными, бесцветными прядями. Окружающее нисколько его не интересовало. Комната, где происходил суд, была битком набита золотоискателями и охотниками, и в их глухих пониженных голосах слышалась зловещая нота, звучавшая, как рокот моря.

Он сидел у окна и время от времени безучастно смотрел на унылую улицу. Небо было затянуто облаками; моросил мелкий дождь. Это было время весеннего разлива. Лед сошел; Юкон выступил из берегов и залил город. По главной улице безостановочно двигались в лодках и каноэ люди, не знавшие никогда покоя. Он часто видел, что лодки сворачивали с улицы на залитую водой площадь перед Бараками.

Иногда лодки пропадали из виду как раз под его окном, и он слышал, как они ударялись о бревенчатые стены здания, и пассажиры влезали в дом

через окно. После этого слышался плеск воды, когда люди пробирались по комнатам нижнего этажа и поднимались по лестнице в верхний. Затем они появлялись в дверях, с непокрытой головой и в мокрых морских сапогах, и присоединялись к ожидавшей толпе.

Они разглядывали его, и в их глазах читалось мрачное удовлетворение: казнь будет назначена. А Имбер глядел на них и размышлял об их обычаях и вечно бодрствующем законе. Закон был непреложен и в дурные и в хорошие времена, и в голод и в наводнение; и несмотря на печали, горести и смерть, должен был, так ему казалось, неусыпно карать до конца мира.

Сидевший у стола человек резко постучал, и все разговоры затихли. Имбер поглядел на него. Казалось, он был здесь главным лицом, но Имбер догадался, что человек с высоким лбом, сидящий за столом позади того, является самым старшим из всех здесь присутствующих и начальником человека, подавшего знак к молчанию. Другой человек, сидевший за тем же столом, встал и начал громко читать какие-то бумаги. Приступая к новому листку, он прочищал горло, а подходя к концу листка, увлажнял кончики пальцев. Имбер не понимал его слов, но другие понимали,

и он видел, что они очень сердились. Иногда они приходили в ярость, и один из них осыпал его резкой односложной бранью, пока человек у стола не призвал того стуком к порядку.

Человек читал бесконечно долго. Его однообразный, певучий говор убаюкал Имбера, и когда чтение кончилось, Имбер дремал. Кто-то заговорил с ним на его родном наречии, и он проснулся и, не удивляясь, посмотрел в лицо молодого парня, своего племянника, который много лет назад ушел, чтобы жить среди белых людей.

— Ты меня не помнишь, — сказал тот в виде приветствия.

— Нет, помню, — отвечал Имбер. — Ты — Хаукэн, что ушел от нас. Твоя мать умерла.

— Она была старой женщиной, — сказал Хаукэн.

Но Имбер не слыхал его слов, и Хаукэн, положив ему руку на плечо, снова разбудил его.

— Я скажу тебе, о чем говорил тот человек, — это рассказ обо всех преступлениях, что ты совершил. Ты, о глупец, рассказал о них капитану Александеру. Слушай хорошенько и скажи, правильно ли все записано или неправильно. Таков приказ.

Хаукэн попал в руки миссионеров, и они вы-

учили его читать и писать. Он держал в руках те листки, которые только что были вслух прочитаны. Они заполнены были клерком, когда Имбер, при посредничестве Джимми, в первый раз сознался капитану Александеру. Хаукэн начал читать. Имбер слушал его некоторое время, но скоро на лице его отразилось изумление, и он резко прервал его:

— Это мои слова, Хаукэн. Теперь они исходят из твоих уст, а твои уши не слыхали их.

Хаукэн расплылся от самодовольства. Он пригладил свои волосы, разделенные посредине пробором.

— Нет, эти твои слова — только слова на бумаге, о Имбер! Мои уши никогда не слыхали их. Глаза мои видят их на бумаге и передают их голове, а голова посылает их устам, и они доходят до тебя. Вот как это делается!

— Это так делается? Мои слова на бумаге? — Голос Имбера понизился до шепота, и он со страхом потрогал двумя пальцами бумагу, глядя на покрывавшие ее каракули. — Это великое искусство, Хаукэн, и ты великий волшебник.

— Это пустяки, это пустяки, — небрежно и горделиво отвечал молодой человек и прочел взятое наудачу место из документа:

«В этом году, до вскрытия реки, пришел старик с хромым мальчиком. Я убил и их, причем старик долго боролся и сильно кричал».

— Это правда, — прервал, задыхаясь, Имбер. — Он очень кричал и долго не хотел умирать. Но как ты об этом узнал, Хаукэн? Может быть, тебе об этом сказал начальник белых людей? Никого не было при этом, и я рассказывал все ему одному.

Хаукэн нетерпеливо покачал головой.

— Разве я не говорил тебе, что твои слова здесь, на бумаге!

Имбер уставился на покрытую каракулями поверхность.

— Как охотник глядит на следы и говорит: «Здесь вчера пробежал заяц, а здесь, у молодого ивняка, он остановился, прислушался, услышал и испугался; вот он вернулся обратно по собственному следу; а вот он бежал во всю прыть, делая большие скачки; а вот еще скорее и еще бóльшими скачками пустилась за ним вдогонку рысь; здесь, где ее когти глубоко врезались в снег, рысь сделала громадный прыжок; а вот она схватила зайца и покатилась с ним в снег; а дальше виднеются следы одной рыси, а следов зайца нет…» Так вот, как охотник глядит на следы на снегу и говорит, как шла охота, так и ты, глядя на

бумагу, говоришь — как, когда и где происходили убийства, совершенные старым Имбером.

— Да, это так, — согласился Хаукэн. — А теперь слушай и держи свой бабий язык за зубами, пока тебя не спросят.

Затем Хаукэн довольно долго читал ему исповедь, а Имбер молчаливо раздумывал. Когда Хаукэн кончил, он сказал:

— Это мои слова, это все правда, но я состарился, Хаукэн, и забыл многое, что пришло мне на память позже; начальнику следует об этом знать. Сперва пришел к нам человек из-за Ледяных Гор. Он принес с собою искусные железные западни для ловли наших бобров. Я убил его. А затем — очень давно — явились три человека искать в нашей реке золото. Их я тоже убил, а трупы отдал на съедение росомахам. А у Пяти Пальцев я убил человека, у которого был плот и много мяса.

Когда Имбер умолкал, чтобы припомнить, Хаукэн переводил, а клерк записывал его слова. Присутствовавшие тупо вслушивались в эти неприкрашенные трагедии, пока Имбер не рассказал о рыжеволосом человеке с косыми глазами, которого он застрелил с очень далекого расстояния.

— Черт побери! — воскликнул один из сидящих в первом ряду зрителей. Восклицание его звучало гневом и болью. Волосы у него были рыжие. — Черт побери, — повторил он. — Это был мой брат Билл.

И в течение всего дня в зале время от времени слышалось его печальное «черт побери!». Товарищи не останавливали его, и человек за столом не призывал его к порядку.

Голова Имбера снова опустилась, и глаза потускнели, словно затянулись пеленой, скрывшей их от всего мира. Он глубоко задумался, как задумывается только старость над тщетой юношеских стремлений.

Позже Хаукэн заставил его очнуться.

— Вставай, о Имбер! Тебе приказано рассказать, почему ты совершил все эти преступления и убил этих людей, а в конце концов прибыл сюда в поисках правосудия.

Имбер с трудом поднялся на ноги и зашатался. Он заговорил тихим, рокочущим голосом, но Хаукэн перебил его.

— Этот человек — сумасшедший, — обратился он по-английски к человеку с высоким лбом. — Он болтает чепуху, его речь подобна лепету младенца.

— Мы хотим услышать его речь, подобную лепету младенца, — сказал человек с высоким лбом. — И мы хотим ее услышать слово за словом, как она выходит из его уст. Поняли?

Хаукэн понял, и глаза Имбера сверкнули при виде пререканий между сыном его сестры и важным должностным лицом. А затем началась исповедь — эпическая поэма темнокожего патриота, в честь которого следовало бы отлить памятник из бронзы в назидание грядущим поколениям. Толпа затихла, а судья склонил голову на руку, размышляя о себе и о своей расе. Слышался лишь глубокий голос Имбера, сменяющийся резкими звуками голоса переводчика, и время от времени, подобно колоколу, раздавалось недоуменное и задумчивое «черт побери!» рыжего человека.

— Я — Имбер из племени Белая Рыба… — начал переводить Хаукэн. Наука миссионеров и наносная цивилизация исчезли, и врожденная его племени дикость заговорила в нем, когда он приступил к передаче вольного ритма повести старого Имбера. — Моим отцом был Оутсбаок, сильный воин. Страна была озарена солнцем и довольством в годы моего детства. Народ не страдал от отсутствия странных, чуждых вещей,

не прислушивался к новым голосам; обычаи его отцов были его обычаями. Очи юношей с вожделением взирали на женщин. Младенцы лежали у груди молодых женщин, женщины рождали детей, и племя увеличивалось. Мужчины были мужчинами в те дни. В мире и довольстве, в войне и голоде — они были мужчинами.

В те времена в реках водилось больше рыбы и в лесах больше дичи, чем теперь. Наши собаки были подобны волкам, покрытым теплым мехом, и мы не боялись ни бури, ни мороза. А когда в нашу страну приходили индейцы из племени Пелли, мы убивали их и умирали, сражаясь с ними. Ибо мы были мужчинами, и отцы наши и отцы отцов боролись с племенем Пелли и установили границы страны.

Я сказал, наши собаки были сильны и выносливы, и мы были сильны и выносливы, как они. И вот однажды к нам впервые пришел белый человек. Он с трудом, на четвереньках, тащился по снегу. Кожа его была туго натянута, и кости торчали. Никогда не бывало такого человека, подумали мы и размышляли, к какому он принадлежит племени, и из какой он страны. Он был слаб, как малое дитя, мы дали ему место у очага и теплые меха для постели и кормили его, как

кормят малых детей.

И с ним была собака, раза в три больше наших собак, она тоже очень ослабла. Шерсть на ней была короткая и нетеплая, а хвост замерз, и кончик хвоста отвалился. И эту странную собаку мы накормили и дали место у очага и отбили ее от наших собак — иначе бы ее разорвали. И мясо оленя, и высушенная на солнце лососина пошли на пользу человеку и собаке: они оправились, потолстели и никого не боялись. Человек стал непочтителен и смеялся над стариками и юношами и дерзко смотрел на девушек. А собака дралась с нашими собаками и, несмотря на свою короткую шерсть и изнеженность, загрызла трех из них в один день.

Когда мы спросили человека о его племени, он сказал: «У меня много братьев» — и рассмеялся нехорошим смехом. А когда он вполне оправился, то ушел, и с ним ушла дочь вождя — Нода. Вскоре после этого одна из наших сук ощенилась. У нас никогда не бывало такой породы собак — большеголовые, большеротые, короткошерстые и беспомощные. Я хорошо помню отца моего, Оутсбаока, сильного воина. Его лицо почернело от гнева при виде такой беспомощности, и он взял камень — вот так и так, — и беспомощности

не стало. А два лета спустя явилась к нам Нода с маленьким мальчиком под мышкой.

Это было началом. Пришел второй белый человек с короткошерстыми собаками, которых он, уходя, оставил нам. А с собой он взял шесть наших лучших собак; в обмен за них он дал брату моей матери, Коо-Со-Ти, удивительный пистолет, стрелявший шесть раз подряд. И Коо-Со-Ти очень гордился пистолетом и смеялся над нашим луком и стрелами. «Бабьи игрушки» — называл он их и пошел с пистолетом на медведя. Теперь мы знаем, что нельзя ходить на медведя с пистолетом, но кто мог об этом думать? И как мог об этом знать Коо-Со-Ти? Итак, он смело пошел на медведя и выстрелил шесть раз подряд; медведь только зарычал и вскочил ему на грудь и переломал ему кости, словно яичную скорлупу, и мозги Коо-Со-Ти вытекли на землю, как мед из улья. Он был хорошим охотником, а теперь некому было доставлять мясо его жене и детям. И нам было очень больно, и мы сказали: «То, что хорошо для белых людей, для нас нехорошо». И это так. Белых людей много, и они толсты, но их обычай заставляет нас вымирать и худеть.

Появился третий белый человек, с большим запасом всевозможной пищи и удивительных

вещей. И на них он выменял двадцать лучших наших собак. А подарками и обещаниями он увлек с собой десять молодых охотников в далекий путь, в неведомые места. Говорят, что они погибли в снегах Ледяных Гор, где никогда не ступала человеческая нога, или в Горах Молчания, находящихся на краю земли. И племя Белая Рыба никогда больше не видело ни тех собак, ни тех молодых охотников.

С годами приходило много белых людей; подарками они увлекали молодых мужчин следовать за собою. Иногда те возвращались и приносили с собой удивительные рассказы об опасностях и работе в тех землях, что были за землей племени Пелли, а иногда не возвращались совсем. И мы сказали: «Если они ничего не боятся, эти белые люди — значит, у них много людей; но нас, индейцев племени Белая Рыба, мало, и наши юноши не должны больше уходить». Но юноши все же уходили, и девушки тоже; и мы очень разгневались.

Правда, мы питались мукой, свининой и пили чай, что доставляло нам большое удовольствие; но когда мы не могли достать чаю, нам было очень плохо, и мы становились скупыми на слова и быстро приходили в ярость. Так мы научились

стремиться к вещам, что белые люди привозили нам для обмена. Обмен! Обмен! Все время обмен!! Одну зиму мы отдали наше мясо за часы, что не хотели показывать время, пилы, которые быстро иступились, и ничего не стоящие пистолеты без патронов. А затем наступил голод, у нас не было мяса, и сорок человек умерли от голода до наступления весны.

«Мы теперь ослабели, — говорили мы, — и племя Пилли может напасть на нас и нарушить границы».

Но то, что случилось с нами, случилось и с пеллийцами, и они были слишком слабы, чтобы выступить против нас.

Мой отец, Оутсбаок, сильный воин, был уже стар и очень мудр, и он заговорил с вождем и сказал ему: «Посмотри, наши собаки ни на что не годны. Их шерсть их не греет, они потеряли силу, не выдерживают мороза и околевают в упряжке. Пойдем и убьем их, оставим только собак волчьей породы; ночью мы их отвяжем, чтобы они могли убежать в лес и случиться с дикими волками. Тогда у нас снова будут сильные собаки с теплой шкурой».

И слово его было услышано, и мы, племя Белая Рыба, прославились нашими собаками, лучши-

ми во всей стране. Но мы прославились силою собак, а не силою наших воинов. Лучшие из юношей и девушек уходили с белыми людьми и пускались странствовать по тропам и рекам в далекие места. И молодые девушки возвращались постаревшими и сломленными, как Нода, или совсем не возвращались. А юноши возвращались к нашим очагам на время. Они стали дерзкими и говорили дурные слова, пили дурные напитки и играли дни и ночи в карты; сердца их были неспокойны, и когда раздавался призыв белых людей, они снова уходили в неведомые страны. Они не знали почтительности и уважения, издевались над старинными обычаями и смеялись в лицо вождю и шаманам.

Я сказал, наше племя ослабело. Мы продавали наши теплые шкуры и меха за табак и виски и тонкие бумажные ткани, в которых мы мерзли в зимнее время. На нас напал кашель, и мужчины и женщины кашляли и обливались по ночам потом, а охотники, выходя на охоту, выплевывали кровь в снег. И то у одного, то у другого шла горлом кровь, и он умирал. И женщины рожали мало детей, а те дети, что рождались, были очень слабы и болезненны.

Но мы получили от белых людей и другие бо-

лезни, — мы таких болезней прежде и не знали и не могли понять их. Оспа, корь — так, я слышал, назывались эти болезни, и мы умирали от них, как умирают в тихих затонах лососи после метания икры, когда их жизнь больше не нужна следующим поколениям.

И вот в этом-то и заключалось самое удивительное — белые люди приходили к нам подобно дыханию смерти; все их пути вели к смерти, дыхание их ноздрей было для нас смертельно, а сами они не умирали.

Они принесли виски, табак и привели собак с короткой шерстью; они принесли болезни, оспу, кашель и кровохаркание; у них белая кожа, и они не переносят бурь и морозов; у них имеются ни к чему не пригодные пистолеты, стреляющие шесть раз подряд. И все же, несмотря на все болезни, они толстеют, преуспевают и накладывают тяжелую лапу на весь мир и подчиняют себе все народы. Их женщины — матери мужчин — нежны, как маленькие дети, хрупки, и все же ничто не может их сломить. И вот изнеженность, болезненность и слабость порождают силу, власть и почет. Они либо дьяволы, либо боги — не знаю. Что я знаю — я, старый Имбер из племени Белая Рыба? Я знаю только то, что не могу понять

этих белых людей, бойцов и странников по лицу земли.

Я сказал, дичи в лесу становилось все меньше и меньше. Это верно, что ружье белого человека превосходно стреляет и убивает на большом расстоянии; но какую пользу может принести ружье, когда нечего убивать? Когда я был мальчиком, в стране Белая Рыба все горы кишели лосями, а зимой прибегали бесчисленные стада северных оленей. А теперь охотник может бродить в течение десяти дней, и ни один лось не порадует его очей, а северный олень совсем не появляется в наших краях. Немногого стоит ружье, стреляющее на большое расстояние, говорю я, когда нет никакой дичи.

И я, Имбер, размышлял об этом, наблюдая, как племя Белая Рыба, племя Пелли и все другие племена вымирают, как вымирает дичь в лесу.

Я долго размышлял об этом. Я толковал с шаманами и мудрыми старыми людьми. Я ушел из селения, чтобы голоса людей не отвлекали меня, и не ел мяса, чтобы мой желудок не мешал мне и не лишил остроты мое зрение и слух. Я долго просидел в лесу без сна, широко раскрыв глаза в ожидании знака и напряженно прислушиваясь, не услышу ли нужного слова. И я пробирался

в ночной тьме один на берег реки, где завывал ветер и рыдала вода и где я надеялся получить откровение от призраков умерших шаманов, живущих в ветвях деревьев.

И наконец, как в видении, явился ко мне призрак ненавистной короткошерстой собаки, и все сразу стало ясным. Благодаря мудрости Оутсбаока, моего отца и сильного воина, кровь наших собак осталась чистой, и поэтому их шерсть была тепла, и они были сильны и выносливы. Итак, я вернулся в селение и обратился с речью к мужчинам. «Эти белые люди принадлежат к большому племени, — сказал я. — В их стране, несомненно, больше нет мяса, и они приходят к нам, чтобы забрать нашу страну себе. Они делают нас слабыми, и мы вымираем. Они — ненасытный народ. Они съели почти всю нашу дичь, и если мы хотим жить, нам необходимо поступить с ними так, как мы поступали с их собаками…»

Я говорил еще долго, советуя бороться с пришельцами. И мужчины племени Белая Рыба слушали мои слова, и некоторые из них говорили одно, а другие другое, а третьи заговаривали о ненужных, бесполезных вещах, но ни один не повел смелой речи о борьбе и войне. Юноши были испуганы и слабы, как вода, но я заметил,

что старики сидели молча, и что в их глазах появлялись и исчезали огоньки. И позже, когда все селение спало, и никто не видал нас, я увел стариков в лес и говорил с ними. Теперь мы сговорились и вспомнили славные дни нашей юности, свободную страну, довольство, счастье и солнечный свет; и мы назвали друг друга братьями и клялись сохранить все в тайне, и затем произнесли страшную клятву очистить страну от дурного племени, нагрянувшего на нее. Я понимаю, что мы были глупцами, но откуда было знать нам — старикам из племени Белая Рыба?

Чтобы поощрить других, я совершил первое убийство. Я сторожил на берегу Юкона, пока не показалось первое каноэ. В нем сидели двое белых мужчин, и когда я встал и поднял руку, они переменили направление и стали грести к берегу. А когда сидевший на носу поднял голову, чтобы спросить, что мне от них нужно, моя стрела, прорезав воздух, попала ему прямо в горло, и он это узнал. Второй человек, сидевший на руле, не успел приложить к плечу винтовку, как брошенное мною копье убило его наповал.

— Это первые, — сказал я, когда старики подошли ко мне. — Позже мы объединим юношей — из тех, что не потеряли еще мужества и силы, и

работа пойдет быстрее.

А затем тела убитых белых людей были брошены в реку. А каноэ — оно было очень хорошим — мы сожгли, и сожгли также вещи, что нашли в нем. Но сначала мы рассмотрели их — это были большие кожаные мешки, и мы разрезали их нашими ножами. А внутри мешков было много бумаги, подобной той, что ты читал мне, о Хаукэн, на бумаге были знаки, и мы удивлялись им и не могли их понять. Теперь я стал мудрым, и я знаю, что, по твоим словам, в этих знаках кроется речь людей.

В комнате послышался шепот и сдержанное движение, когда Хаукэн кончил переводить эпизод с каноэ. Чей-то голос сказал:

— Это была потерянная почта № 91. Ее везли Питер Джемс и Деланей. В последний раз их видел Мэтью на озере Ле-Бардж.

Клерк усердно записывал, и к истории Севера прибавилась новая глава.

— Мне немного осталось рассказывать, — медленно продолжал Имбер. — Записано на бумаге то, что мы сделали. Мы были старыми людьми, и мы не понимали, что делаем. Даже я, Имбер, до сих пор этого не понимаю. Мы убивали тайно и продолжали убивать, ибо мы были очень сильны

для своих лет и знали, что всего скорее идет дело тогда, когда совершается без спешки. Когда белые люди пришли к нам с мрачными взглядами и грубыми словами и увели с собою шесть юношей, заковав их в кандалы, мы узнали, что нам следует убивать и за пределами нашей страны. И один за другим мы, старики, поднимались вверх по реке и уходили в неведомые страны. Это нелегкая вещь. Мы были стары и бесстрашны, но боязнь новых далеких стран тяжело нависает над старыми людьми.

Итак, мы убивали смело и не спеша. Мы убивали в стране Чилкут и на Дельте, в проливах и на море — всюду, где мы находили стоянки белых людей или где они сбивались с пути. Правда, они умирали, но это нам не помогало. Из-за гор приходили все новые и новые, их было все больше и больше, а мы старились, и ряды наши быстро редели. Я помню, у Оленьего Брода была стоянка белого человека. Он был очень мал ростом, и во время сна на него напали трое стариков. А на следующий день я наткнулся на них на всех. Только белый еще дышал, и у него хватило силы хорошенько проклясть меня перед смертью.

Так-то оно было, и то один, то другой старик уходил от нас. Иногда мы узнавали об их смерти

долгое время спустя, а иногда и вовсе не узнавали. А старики из других племен были слишком стары, боялись и не хотели присоединиться к нам. И вот, я уже говорил, один за другим они уходили, и я остался один. Я, Имбер из племени Белая Рыба. Мой отец был Оутсбаок, сильный воин. Племени Белая Рыба больше нет. Я — последний из стариков. Юноши и девушки ушли; некоторые из них ушли к племени Пелли, другие — к племени Лосося, а большинство ушли к белым людям. Я очень стар и очень устал; я вижу, что борьба с законом — напрасная борьба, и, как ты сказал, Хаукэн, я пришел, чтобы встретить закон.

— О Имбер, ты на самом деле глупец, — сказал Хаукэн.

Но Имбер глубоко задумался. Судья с высоким лбом тоже задумался, и перед ним величественным видением прошла история его расы — выкованной из стали, покрытой броней, предписывающей законы и управляющей судьбами других народов. Он увидел, как зарождается заря ее истории среди темных лесов и мрачных морей. Он видел пылающее пурпуровое зарево торжественных полуденных лучей и видел, как по затененным склонам кроваво-красные пески медленно погружались в ночь. А надо всем

возвышался закон, безжалостный и мощный, неуклонный и повелительный, более сильный, чем людские толпы, покорные ему или им раздавленные, и более сильный, чем судья, чье сердце просило о снисхождении.

Вера в человека

Осколок третичной эпохи

Я с самого начала умываю руки. Не я, а он все это сочинил, и я не собираюсь отвечать за его рассказ. Заметьте, я делаю эти предварительные оговорки, чтобы никто не усомнился в моей честности. Я женат, достиг кое-какого положения, и, чтобы не опорочить доброе имя людей, чье уважение я имел честь заслужить, и не повредить нашим детям, я не вправе рисковать, как когда-то, с юношеским легкомыслием и беспечностью утверждая то, в чем не уверен. Итак, повторяю, я умываю руки, снимаю с себя всякую ответственность за этого Нимрода, могучего охотника, этого нескладного, веснушчатого, голубоглазого Томаса Стивенса.

Теперь, когда я все выложил и чист перед самим собою и перед всеми нашими потомками, сколько бы мне их жена ни подарила, я могу себе позволить быть великодушным. Не скажу дурного слова о том, что рассказал мне Томас Стивенс, более того, я вообще оставлю свое мнение при себе. Если меня спросят почему, я могу лишь ответить, что у меня нет на этот счет никакого мнения. Я много раз думал, взвешивал, оцени-

вал, но, право слово, так ни к чему и не пришел, а все потому, что далеко мне до Томаса Стивенса. Если он говорил правду — хорошо, если неправду — тоже хорошо. Ибо кто может подтвердить его слова? Или опровергнуть? Я выхожу из игры, ну, а маловеры могут поступить, как поступил в свое время я: разыщите упомянутого Томаса Стивенса и потолкуйте с ним обо всем, что я надеюсь вам рассказать. Вы спросите, где его найти? Пожалуйста, где-нибудь между пятьдесят третьим градусом северной широты и полюсом и между восточными берегами Сибири и западной оконечностью Лабрадора — в любом месте, где водится дичь. Он, без сомнения, где-то там, место вполне определенное, даю вам честное, благородное слово человека, который заботится о своем будущем, а потому не лукавит и держится подальше от греха.

Может, Томас Стивенс и великий выдумщик, но не могу не сказать, что он забрел в мой лагерь в тот самый час, когда я сидел один и думал, что от тех мест, где можно встретить цивилизованного человека, меня отделяет тысяча миль. При виде человека, первого за долгие, томительные месяцы, я едва не вскочил и не обнял его (а я вовсе не склонен к бурным проявлениям чувств),

для него же в этом посещении не было, кажется, ничего удивительного. Он просто забрел на огонек, поздоровался по обычаю охотников и бродяг и, отодвинув в одну сторону мои лыжи, в другую — собак, расчистил себе место у очага. «Заглянул одолжить щепотку соды, — сказал он, — а заодно поинтересоваться, нет ли у вас хоть немного доброго табаку». Он вынул старую трубку, тщательно набил ее и, глазом не моргнув, отсыпал половину золотистых сухих завитков из моего кисета в свой. Да, табачок был хорош! Не испытывая ни малейших угрызений совести, он блаженно затянулся, а я глядел на него, и мое сердце курильщика радовалось.

Охотник? Зверолов? Старатель? Он пожал плечами. Нет, просто бродит здесь вокруг. Недавно побывал у Большого Невольничьего, подумывает прогуляться на Юкон. В Кошимской фактории говорили о россыпях на Клондайке, и он решил поглядеть, чем дело пахнет.

Я заметил, что он называет Клондайк по старинке, на местный лад Рекой Северного оленя — привычка гордых старожилов, не желающих, чтоб их смешивали с чечако и прочими неженками. Но у него это получилось так непосредственно и просто, что не уязвляло, и я простил его. Он ска-

зал, что, пока не перевалил кряж и не спустился к Юкону, ему, пожалуй, не худо бы еще заглянуть в форт Доброй Надежды.

Надо сказать, что форт Доброй Надежды далеко на севере, за Полярным кругом, куда редко ступает нога человека, и когда среди ночи к вам невесть откуда является этакий бродяга, подсаживается к огню и сыплет такими словечками, как «прогуляться» на Юкон и «заглянуть» в форт Доброй Надежды, самое время встать и протереть глаза. И я огляделся: брезент, защищающий от ветра, под ним — сосновые сучья, на которых я на ночь расстилал меховые одеяла, увидел мешки с провизией, фотографическую камеру, пар от дыхания псов, что улеглись вокруг костра, а в вышине — гигантское полотнище северного сияния, раскинувшееся в небе с юго-востока на северо-запад. Я вздрогнул. Есть в ночах Севера какое-то колдовство, которое пробирает до костей, словно лихорадка на болотах. Не успеешь оглянуться, как ты уже в его власти и повержен наземь. Потом я взглянул на свои лыжи, они лежали плашмя, крест-накрест там, где он их бросил. Увидел я и кисет. По крайней мере половины моего солидного запаса курева как не бывало. Все сомнения рассеялись. Стало быть,

мне не померещилось.

Верно, нечеловеческие лишения свели его с ума, подумал я, в упор глядя на гостя, как видно, это одна из жертв золотой лихорадки — из тех, что давно забыли родной дом и бродят, как неприкаянные, по бескрайним и бесплодным просторам. Ну что ж, пусть его болтает, пока, быть может, его омраченное сознание не прояснится. Как знать, вдруг при звуке человеческой речи он придет в себя.

И вот я старался втянуть его в разговор, и вскоре он, к моему изумлению, со знанием дела заговорил о дичи, о зверье и их повадках. Оказывается, он подстрелил однажды сибирского волка на крайнем западе Аляски и серну в самом сердце Скалистых гор. Он знает местечки, где по сей день бродит последний бизон, он преследовал по пятам стотысячное стадо чем-то испуганных карибу и спал на зимней тропе мускусного быка на Бесплодных землях.

И, слушая эти рассказы, я переменил мнение о нем (в первый раз, но отнюдь не в последний) и решил, что передо мной сама правдивость. Не знаю почему, но мне вздумалось рассказать ему историю, услышанную от человека, прожившего в этих краях так долго, что он уже не мог не при-

вирать. Он уверял, что на крутых откосах горы Св. Илии водится огромный медведь, который никогда не спускается ниже, на более отлогие склоны. И вот бог так создал, приспособил этого зверя, что обе его правые лапы — передняя и задняя — на фут короче левых. И вы, конечно, согласитесь, что это очень удобно.

От первого лица, в настоящем времени я пустился рассказывать, как самолично охотился на этого редкого зверя, для пущего правдоподобия сдобрил местным колоритом, приукрасил все, как полагается, и поглядывал на своего слушателя в надежде, что мой рассказ ошеломит его.

Ничуть не бывало. Усомнись он, я бы его простил. Заспорь он, скажи, что такая охота не опасна — ведь зверь не может повернуться и побежать в другую сторону, — возрази он хоть слово, и я крепко пожал бы его руку, руку честного человека. Но ничуть не бывало. Он фыркнул, поглядел на меня и снова фыркнул; потом воздал должное моему табаку, положил ногу мне на колени и предложил пощупать мокасины. То были муклуки, какие носят аляскинские эскимосы, — сшитые сухожилиями, не украшенные ни бисером, ни какой-либо другой отделкой. Но шкура, из которой они были сшиты, — вот что

меня поразило. Толщиной добрых полдюйма, она напоминала моржовую, но на этом сходство кончалось, ибо ни один морж не может похвастать такой удивительной шерстью. Сбоку, на лодыжках, она почти вся вытерлась оттого, что он изо дня в день продирался сквозь снег и кустарник, но сзади и сверху, в местах, более защищенных, была черная, без блеска и необыкновенно густая. Я с трудом разобрал мех, чтобы поглядеть на великолепный подшерсток, которым отличаются звери Севера, но его не оказалось. Зато шерсть была необычайной длины. В самом деле, на уцелевших, не вытершихся островках она достигала добрых семи, а то и восьми дюймов.

Я поглядел на своего гостя, и он убрал ногу и спросил:

— Ну как, у вашего медведя тоже такая шкура?

Я покачал головой.

— Не видал такой ни у одного зверя ни на море, ни на суше, — чистосердечно признался я.

Толщина шкуры и длина шерсти озадачили меня.

— Это шкура мамонта, — сказал он самым будничным голосом.

— Чепуха! — воскликнул я, не в силах сдержать свое неверие. — Дорогой мой, мамонт давным-

давно исчез с лица земли. По окаменелым остаткам, обнаруженным в земле, и по замерзшему скелету, который сибирское солнце сочло нужным вытопить из самой толщи ледника, мы знаем, что некогда это животное существовало, но мы знаем также, что до наших дней оно не дожило. Наши исследователи…

— Ваши исследователи? — нетерпеливо прервал он. — Тьфу! Хилое племя. И слышать о них не хочу. Но скажи мне, человече, что знаешь ты о мамонте и его повадках?

Тут явно что-то кроется, и я закинул удочку — порывшись в памяти, стал выкладывать все, что знал о мамонтах. Прежде всего я подчеркнул, что это животное доисторическое, и выставил в поддержку все имеющиеся в моем распоряжении факты. Я сослался на песчаные отмели сибирских рек, где в изобилии находят остатки скелетов мамонта, упомянул огромные количества мамонтовой кости, закупленной у эскимосов Торговой компанией Аляски, поведал, что мне и самому довелось выкопать два бивня — один шести футов, другой — восьми в золотоносном песке на притоках Клондайка.

— И все эти ископаемые остатки, — заключил я, — мы находим в наносных породах, отлагав-

шихся в давние времена.

— Помню, еще парнишкой я видел окаменелый арбуз. — Тут Томас Стивенс фыркнул (ужасно противно он фыркал). — Значит, хоть некоторые фантазеры и воображают, будто они выращивают и едят арбузы, а на самом деле никаких арбузов давным-давно не существует.

— А чем бы они питались? — продолжал я, не обращая внимания на этот ребяческий довод, не имеющий отношения к делу. — Чтобы прокормить таких исполинов, земля должна родить щедро и безотказно. Нигде на Севере не найдешь такого изобилия. Следовательно, мамонт не может существовать в наши дни.

— Я прощаю вам полную неосведомленность о полярных землях, вы ведь еще молоды и мало путешествовали, но в одном я готов с вами согласиться. Мамонтов больше нет. Откуда я знаю? Вот этой рукой я убил последнего мамонта.

Так вещал Нимрод, могучий охотник. Я швырнул в собак головешкой, приказал им прекратить адский вой и ждал. Уж конечно, этот редкостный враль не утерпит и отплатит мне за медведя с горы св. Илии.

— Дело было так, — начал он наконец, выдержав подобающую случаю паузу, — однажды

разбил я лагерь…

— Где именно? — прервал я.

Он махнул рукой куда-то на северо-восток, где простирались неведомые безбрежные просторы, — мало кто отваживался вступать на ту землю и почти никто не вернулся оттуда.

— Разбил я лагерь, и Клуч вертелась тут же. Красивая была собака, лучше и не найти в наших краях. Отец ее был чистокровный мейлмют из Пастилика на Беринговом море, а мать я ей тоже выбрал с толком — лучшую суку из тех, что разводят у Гудзонова залива. Отличная была помесь, можете мне поверить. Так вот, в тот самый день, помню, Клуч принесла мне щенят от дикого волка; из них выросли бы отличные псы — серые, длинноногие, широкогрудые и на редкость выносливые. Слыхали вы что-нибудь подобное? Я вывел новую породу и каких только не строил планов!

Стало быть, она благополучно разрешилась, все честь по чести. Я сидел на корточках и разглядывал щенят — семь крепких слепых зверенышей, как вдруг позади раздался рев, точно в медные трубы затрубили. Что-то налетело, будто шквал, и не успел я подняться, как меня сбило с ног и я уткнулся в землю носом. И тут я услыхал, как

охнула Клуч — прямо как человек, когда его стукнешь кулаком в живот. Можете биться об заклад, что я лежал тихо, только чуть повернул голову и увидел, что надо мной нависла какая-то огромная туша. Потом мне снова открылось голубое небо, и я поднялся на ноги. И успел увидеть, как волосатая живая гора скрылась в зарослях на краю прогалины. Мелькнул толстый, толщиной с меня, торчащий хвост. Через мгновение у меня перед глазами был только широченный пролом в чаще, но еще слышен был гул, будто удалялся ураган: трещали вырываемые с корнем кусты, с грохотом ломались и падали деревья.

Я кинулся за ружьем. Оно было положено на землю, под дулом был чурбан — чтоб не загрязнилось. Теперь от ложа остались одни щепки, ствол был искривлен, затвор сплющен. Потом я поискал глазами Клуч и… и что, по-вашему, увидел?

Я покачал головой.

— Гореть мне у сатаны на сковородке, если от нее хоть что-нибудь осталось! И Клуч и семь крепких слепых зверенышей исчезли все до единого. На том месте в мягком грунте оказалась скользкая кровавая вмятина — добрый ярд в поперечнике, а по краям жалкие клочки шерсти.

Я отмерил на снегу три фута, описал круг и

поглядел на Нимрода.

— Чудище было длиной в тридцать футов, а ростом в двадцать, — пояснил он, — а в каждом бивне шесть раз по три фута. Я и сам глазам своим не поверил. Может, мне все почудилось, но как же сломанное ружье и пролом в чаще? А Клуч со щенками, куда они девались? Господи, да меня и сейчас в жар бросает, как вспомню Клуч! Ведь это была новая Ева! Прародительница нового племени. И вот дикий, взбесившийся мамонт, точно второй потоп, снес их с лица земли! Право слово, земля, пропитанная кровью, взывала к небесам. Понятно, я схватил топор и кинулся в погоню.

— Топор? — в полнейшем восторге воскликнул я, представив себе эту картину. — С топором на огромного мамонта тридцати футов в длину и двадцати…

Нимрод тоже развеселился и даже прыснул от удовольствия.

— Помереть можно со смеху, а? — воскликнул он. — Хороша история? Я сам потом сколько раз смеялся, но тогда мне было не до смеху. Я совсем рассвирепел из-за ружья и из-за Клуч. Нет, вы только подумайте! Сгинула новенькая с иголочки порода, ее еще и в списки не занесли и патента мне не дали. Не успели щенята прозреть, не успе-

ли на них выправить бумаги, как их уничтожили! Что ж, ладно. Жизнь полна разочарований, и это правильно. Мясо вкусней, когда проголодаешься, а постель мягче после тяжелой дороги.

Так вот, схватил я топор, и припустился за зверем, и гнался за ним по пятам. Но когда он повернул назад и помчался вверх по долине, я остановился, чтобы перевести дух. И насчет еды я вам заодно кое-что объясню. Там, в горах, причудливо все устроено. Счету нет маленьким тесным ущельям, и все одинаковые, как близнецы, а стены крутые, отвесные. В устье долины всегда узкий проход, пробитый ледниками или талыми водами. Только через него и можно проникнуть в долину, но эти проходы все узкие, один уже другого. Так вот о еде — вы ведь путешественник и, наверное, тонули в грязи под проливными дождями на островах у берегов Аляски, туда, поближе к Ситхе. И знаете, какие там леса и травы, густые, сочные — джунгли, да и только. Ну, и в этих долинах то же самое. Земля жирная, плодородная, папоротник и всякие там травы кое-где выше головы. Летом три дня из четырех льет дождь, и жратвы хватит на тысячу мамонтов, а уж о мелкой дичи для человека и говорить нечего.

Да, так ближе к делу. У выхода из долины я совсем задохнулся и бросил погоню. И стал я раскидывать умом, и едва я перевел дух, гнев мой разгорелся вовсю, и я уже знал, что не успокоюсь, пока не отведаю жареной ноги мамонта. И еще знал, что теперь не миновать Skookum mamook puka puk — прошу прощения, что говорю по-чинукски, я хотел сказать: не миновать большой драки. Так вот, устье моей долины было очень узкое, а стены совсем крутые, и с одной стороны нависла огромная глыба весом в сотни две тонн, и не просто нависла, а качалась — такие еще называют маятниками. Как раз то, что нужно. Я сбегал в лагерь, все время оглядываясь, не вылез ли мамонт из долины, и прихватил патроны. Но что в них толку, ружье-то разбито. Так что я открыл гильзы, высыпал порох под этот самый камень и подложил бикфордов шнур. Заряд был невелик, но валун лениво качнулся и ухнул вниз, загородив проход, только и осталась щель, чтобы течь ручью. Теперь зверь был мой.

— Как это ваш? — засомневался я. — Где это видано, чтобы человек убил мамонта топором? Да и вообще чем бы то ни было?

— Разве я не сказал вам, что прямо взбесился от злости? — ответил задетый за живое Нимрод. —

Да, я был зол из-за Клуч и ружья. И разве я не охотник? И разве мне не интересно поохотиться на такую невиданную дичь? А вы говорите, топор! Тьфу! Да он мне вовсе и не понадобился. Это была такая охота, какая случалась, наверное, только когда мир был молод и пещерный человек охотился с каменным топором. Ну, и от моего топора было не больше толку, чем от каменного. Но разве не правда, что человек способен пройти больше собаки и лошади, верно? Что он выносливей, потому что куда умней?

Я кивнул.

— И что же?

Но я, кажется, уже понял и ждал продолжения.

— Если обойти всю мою долину кругом, получалось миль пять. Устье завалено. Выбраться ему некуда. Этот мамонт оказался зверем не из храбрых и теперь был в моей власти. Я снова припустился за ним в погоню, вопил, как дьявол, забрасывал его камнями, трижды заставил обежать долину, а потом отправился ужинать. Понимаете, в чем штука? Гонки! Человек и мамонт! Ипподром, а вместо судей солнце, луна и звезды.

Я убил на это два месяца, но своего добился. И это вам уже не анекдот. Я гнал его круг за

кругом, сам бежал по внутренней дорожке, наспех закусывал вяленым мясом и икрой лосося, а между забегами ухитрялся вздремнуть минутку-другую. Бывало, конечно, что он с отчаяния нет-нет, да и взбунтуется и повернет на меня. Тогда я мчался к ручью, где земля была мягкая, и клял на чем свет стоит окаянного зверя и всех его предков, и подзадоривал подойти поближе. Но он был слишком умен, знал, что может завязнуть в грязи. Однажды он загнал меня к отвесной скале, и я заполз в глубокую расщелину и затаился. Всякий раз, как он тянулся ко мне хоботом, я колотил его топором, пока он от ярости не поднимал такой рев, что у меня прямо лопались барабанные перепонки. Он знал, что я попался, а достать меня не мог, это его и бесило. Но он был не дурак. Понимал, что, пока я в щели, ему ничто не грозит, и решил не выпускать меня оттуда. И он был совершенно прав, только вот о припасах не подумал. Поблизости не оказалось ни пищи, ни воды, ясное дело, он не мог долго держать осаду. Часами сторожил он у расщелины и хлопал огромными, как одеяло, ушами, отгоняя москитов. Потом его одолевала жажда, и он начинал трубить так, что земля дрожала, и поносил меня, как только мог. Это он хотел нагнать на ме-

ня страху, решив, что я достаточно напугался, он тихонько пятился и пытался улизнуть к ручью. Иногда я давал ему отойти почти к самой воде — она была всего в сотне-другой ярдов — и тогда выскакивал, и он тотчас с грохотом мчался назад, обвал да и только. Но скоро он разгадал мою хитрость и переменил тактику. Понял роль времени, так сказать. Ни словечком не предупредив, он, как сумасшедший, мчался к ручью, рассчитывая обернуться прежде, чем я сумею удрать. В конце концов он страшно изругал меня, снял осаду и неторопливо зашагал к воде.

Это был единственный раз, когда он взял надо мной верх, но после этих трех дней гонка не прекращалась ни на час. Шесть дней кряду шли эти гонки без всяких правил — делай все, что тебе по вкусу, — но ему-то все это было совсем не по вкусу. Одежда моя разорвалась в клочки, чинить ее было некогда, так что под конец я бегал нагишом, как дитя природы, с топором в одной руке и с булыжником в другой. Я не останавливался ни ночью, ни днем, лишь изредка на минутку вздремнешь в какой-нибудь расщелине. Что до мамонта, он худел прямо на глазах — потерял самое малое несколько тонн — и стал нервный, как засидевшаяся в девках учительница. Стоило мне

подойти к нему и крикнуть или кинуть в него издали камнем, и он сразу подскочит и весь задрожит, точно пугливый жеребенок. А потом опять как припустится, хвост и хобот выставит, косится на меня через плечо, глаза так и горят, а уж ругает меня, уж клянет — на все корки. Бесстыжий был зверь, разбойная душа и богохульник.

Но под конец он угомонился и только все хныкал и скулил, как дитя малое. Он совсем пал духом и стал жалкий, несчастный. Этакая гора, а трясется, как студень. Начались у него сердцебиения, его качало, как пьяного, и он валился наземь, сбив ноги в кровь. А то, бывало, бежит и плачет. Боги, и те смилостивились бы над ним, вы бы тоже не удержались от слез, никто не удержался бы. На него было жалко смотреть — такой огромный и такой несчастный, но я только больше ожесточился в сердце своем и прибавил шагу. Наконец я совсем загонял его, и он свалился — в отчаянии, задыхаясь, мучимый голодом и жаждой. Видя, что он не в силах пошевельнуться, я перерезал ему сухожилия и потом чуть не весь день врубался в него топором, а он сопел и всхлипывал, пока я не врубился так глубоко, что он затих. Да, он был тридцати футов в длину, двадцати ростом, а между бивнями можно было гамак подвесить

и спать в свое удовольствие. Правда, я выжал из него все соки, а все же он был недурен на вкус, и одних ног, зажаренных целиком, хватило бы на год. Я провел там всю зиму.

— А где эта долина? — поинтересовался я.

Он махнул рукой куда-то на северо-восток и сказал:

— Хорош у вас табачок. Добрую долю его я унесу в кисете, а воспоминание о нем сохраню до самой смерти. В знак того, как высоко я ценю вашу любезность, разрешите взамен ваших мокасин поднести вам эти муклуки. Это память о Клуч и семи слепых щенятах. А кроме того, они напоминают о событии, какого не знала история: об уничтожении последнего представителя самого древнего и самого раннего на земле звериного племени. А муклукам сносу не будет.

Вручив мне муклуки, он выбил трубку, пожал мне на прощание руку и исчез в снежной пустыне. Вы, конечно, не забыли, что я с самого начала снял с себя всякую ответственность за эту историю, а всем маловерам я советую посетить Смитсоновский институт. Если они представят соответствующие рекомендации и приедут в урочное время, их, без сомнения, примет профессор Долвидсон. Муклуки теперь хранятся

у него, и он подтвердит если не то, каким образом они были добыты, то, уж во всяком случае, какой на них пошел материал. Он авторитетно утверждает, что они сшиты из шкуры мамонта, и с ним соглашается весь ученый мир. Чего же вам еще надо?

Гиперборейский напиток[67]

Рассказ о похождениях делового белого человека среди некоего народца, жившего на берегу Северного Ледовитого океана

Правдивость Томаса Стивенса была неопределенной математической величиной *x*, а его воображение равнялось воображению среднего человека, возведенному в энную степень; но, во всяком случае, совершенно несомненно одно: никогда не сказал он ничего, что можно было бы назвать явной ложью. Он, быть может, играл с понятием вероятности или же доходил в своих рассказах до крайнего предела возможностей, но никогда в его повествованиях не бывало случая, чтобы все затейливое здание рассказа вдруг треснуло и провалилось. Ни одна душа не станет отрицать, что он знал Север как свои пять пальцев. Многие свидетели могут подтвердить, что он был действительно выдающимся путешественником и собственными ногами прошел неиссле-

[67] Сноски: 67

Гиперборейцы — сказочный народ северных стран, не знавший ни болезней, ни ссор и отличавшийся долголетием (жили до 10 000 лет).

дованные пустыни. Что касается моих личных сведений о нем, то я могу сказать, что знаком с людьми, которые видели его везде, а главным образом около самых крайних пределов той страны, которая носит название «Неведомого». Например, Джонсон, бывший курьер Компании Гудзонова залива, однажды дал ему приют у себя в одной из факторий Лабрадора, пока не отдохнули собаки и Стивенс не уехал дальше. Затем Мак-Мэхон, агент Аляскинской Коммерческой компании, встретился с ним как-то в Порт-Голланде и позднее — на самых дальних островах Алеутского архипелага. Было неоспоримо, что он участвовал в одной из самых ранних геодезических экспедиций правительства Соединенных Штатов, и история определенно указывает на то, что он работал и для Восточного Союза, когда этот последний пытался провести свою телеграфную линию в Европу через Аляску и Сибирь. Наконец, среди свидетелей его путешествий был еще и некий Джо Ламсон, капитан китобойного судна, которое, будучи затерто льдами у устья реки Маккензи, вдруг неожиданно приняло к себе на борт Стивенса, пришедшего к капитану за табаком.

Вот эта последняя черточка и доказывает неопровержимо, что приходил действительно

Томас Стивенс, а не кто-либо иной. Его потребность в табаке никогда не прекращалась и не ослабевала. Еще до нашего близкого знакомства с ним я научился приветствовать его одной рукой, а другой протягивать ему кисет с табаком. Но в ту ночь, когда я встретился с ним в кабачке Джона О'Брайена в Доусоне, он уже так накурился пятидесятицентовых сигар, что вместо кисета попросил у меня кошелек с золотым песком. В это время мы с ним стояли у игорного стола, и он тотчас же поставил самую большую ставку.

— Пятьдесят, — сказал он.

Банкомет в знак согласия кивнул. Карта выиграла, он передал мне мой же собственный кошелек, потребовал расчета и потянул меня к кассе, где кассир небрежно отсыпал ему пятьдесят долларов золотым песком.

— А теперь выпьем, — сказал он.

И потом у стойки, поставив стакан, продолжал:

— Этот напиток мне почему-то напомнил сейчас одну хмельную штуку, которую я когда-то пил в Таттарате. Нет, нет, вы этого места не знаете! Его нет даже на картах. Но оно все-таки существует у Ледовитого океана. Там живет около пятисот забытых богом душ, которые женятся,

выходят замуж и время от времени умирают. Все исследователи как-то проглядели их, и на карте 1890 года вы не найдете даже следов этого местечка. Однажды там затерло во льдах китобойное судно, и его команда, выбравшись на берег по льду, двинулась дальше в южном направлении и исчезла бесследно, никто никогда о ней не слыхал больше… А хороший тогда у нас с Мусу был напиток, — прибавил он немного спустя, слегка вздохнув.

Я сразу же понял, что за этим вздохом таились великие дела и смелые приключения. Поэтому я увлек его в уголок между рулеткой и игорным столом и стал ожидать, когда оттает у него язык.

— У меня было только одно возражение против Мусу, — начал он, задумчиво покачав головой, — одно-единственное. Мусу — это индеец, живший где-то далеко на Чиппеване. Но вся беда в том, что он любил болтать насчет Священного Писания. Одну зиму он жил с бродягой, канадским французом, который в свое время готовился в священники, и потому голова Мусу была забита разными чудесами, диспутами, разрешениями грехов и еще всякой всячиной, которой он и сам не понимал. Если бы не это, он был бы отличным парнем, весьма полезным и в пути, и у костра.

Тяжеленько нам пришлось тогда, и измучились мы порядком, когда натолкнулись на этот самый Таттарат! Во время густого тумана, при переправе через трещину, образовавшуюся во льду, мы потеряли всю нашу упряжь и всех собак и явились с подтянутыми животами. Одежда на нас превратилась в клочья. В таком виде мы доползли кое-как до становища. Особенно нам там не удивились, потому что у всех еще были на памяти китобои, и нам предоставили для жилья самую гнусную юрту во всем становище, а для того чтобы мы не умерли с голоду, дали гниющие отбросы. Но что меня больше всего поразило, так это то, что жители совершенно не общались с нами. Но Мусу объяснил мне, в чем дело.

— Их шаман — *сик-туммтум*, — сказал он. Это значит, что шаман у них то же, что знахарь-колдун. Он из зависти приказал своему народцу не иметь с нами никаких сношений. Из того немногого, чему он был свидетелем у проходивших мимо китобоев, он понял, что наша раса и умнее, и сильнее его народа. Ну, он и стал действовать так, как подобало шаману.

И еще раньше, чем я доскажу вам всю эту историю, вы убедитесь, что мой индеец был прав.

— У этого народца есть закон, — сказал Му-

су, — который гласит: «Кто ест мясо, тот должен охотиться». О, хозяин! Попались мы с тобою в ловушку к этому племени! Эти люди хотят, чтобы мы так же, как и они, умели натягивать лук и бросать копье, а мы этого не умеем. Поэтому шаман и вождь их племени Туммазук положили в сердце своем и решили в умах своих, что мы должны работать на них вместе с бабами, таскать на своих плечах убитых зверей и прислуживать их охотникам.

— И это очень несправедливо, — ответил я, — мы с тобой лучшие люди, чем эти, блуждающие в темноте. К тому же мы должны еще отдохнуть и хорошенько подкрепиться: путь наш на юг долог, а слабые идти не могут.

— Но у нас нет ничего, — возразил он, оглядываясь на прогнившие стропила нашей юрты и с отвращением нюхая воздух, отравленный тухлым тюленьим мясом. — На такой еде далеко не уедешь. У нас ничего нет, кроме этой бутылки «напитка, убивающего горести». Поневоле придется покориться и превратиться в дровосеков и водоносов. Но и в таком грязном месте, как это, все-таки могут найтись хорошие вещи. Только они не для нас. О, хозяин, никогда еще мой нос не обманывал меня; он и на этот раз привел меня

к запасам, спрятанным в их юртах в меховых мешках. Это запасы несчастных китобоев, и они достались немногим! Так, у женщины Инсукук, которая живет в конце становища, рядом с хижиной вождя, много сахара и муки и даже патоки, как мне сказали мои глаза: лицо женщины было измазано патокой. А в юрте у вождя Туммазука я видел чай. Я собственными глазами видел, как этот старый боров, причмокивая, пил его. А у шамана целый ящик кое-чего с этикеткой «звездочка» и два ящика превосходного табаку. А у нас что? Ничего! Ровно ничего!

Я был подавлен сообщением о табаке шамана и ничего не ответил.

Тогда Мусу, видимо, одушевленный каким-то желанием, нарушил молчание:

— И еще есть там Тукеликета, дочь храброго охотника и богатого человека. Подходящая девушка. Да, действительно очень хорошая девушка!

В ту же ночь, пока Мусу храпел, я усиленно обдумывал положение, для меня была невыносима мысль о том, что вблизи есть табак и я не могу его выкурить. Мусу сказал правду: у нас действительно ничего не было. Но наутро я принял решение и сказал Мусу:

— Выйди за становище и достань мне какую-нибудь кость, пустую внутри и искривленную наподобие гусиной шеи. Иди с самым беззаботным видом, но зорко смотри во все горшки, кастрюли и прочие кухонные принадлежности, которые подвернутся тебе по пути. Помни одно, что я обладаю великой мудростью белого человека, и делай то, что я сказал тебе, быстро и уверенно.

Пока он ходил, я поставил на середину юрты лампу, которая служила нам для приготовления пищи и которую мы наливали китовым жиром. Потом я отшвырнул в сторону истертые меха, служившие нам постелью. Я разобрал ружье Мусу, отложил в сторону ствол, но так, чтобы он был у меня под рукой, и стал вить из дикой конопли, которую женщины собирают в летнюю пору, длинный фитиль. Скоро вернулся Мусу с такой костью, как я ему приказал, и с известием, что в юрте у Туммазука имеется полупудовый бидон из-под керосина и большой медный чайник. Я его похвалил за это и сказал, что теперь еще не время. Когда же приблизилась ночь, я обратился к нему:

— У этого вождя Туммазука имеются медный чайник и керосиновый бидон.

Тут я вложил ему в руку гладко отшлифованный морским прибоем булыжник.

— Становище притихло, — продолжал я, — и звезды мерцают. Пойди тихонько влезь в юрту к вождю и изо всех сил ударь его этим камнем по животу. И пусть мясо и добрая еда грядущих дней вложат силы в твою десницу! Поднимутся рев и крики, и сбежится все становище. Но ты не бойся. Спрячься в темном углу юрты. А когда приблизится к тебе женщина по имени Инсукук, та, что обмазала себе лицо патокой, то ударь также и ее. Не забудь ударить и всех тех, у кого есть мука и кто подвернется тебе под руку. А потом закричи во весь голос, точно от боли, и скажи, что и тебя кто-то ударил камнем по животу. Таким образом мы достигнем славы и великих богатств и получим ящик с этикеткой «звездочка» и табак первого сорта и твою Тукеликету, которая действительно самая подходящая для тебя девица.

Он отправился выполнять это поручение, а я терпеливо ожидал его возвращения в своем хлеву, и табак стал представляться мне близким и доступным. Среди ночи вдруг раздался крик, перешедший затем в бешеный рев, от которого, казалось, могли бы прийти в содрогание небеса. Я схватил бутылку с «напитком, убивающим

горести» и выбежал из юрты. Слышался невероятный шум, женщины стонали и вопили, Туммазук и женщина Инсукук катались по земле от боли, и с ними были еще и некоторые другие, в том числе и Мусу. Я отшвырнул в сторону тех, кто валялся у меня под ногами, и приставил горлышко бутылки к губам Мусу. Он тотчас же почувствовал облегчение и перестал кричать от боли. После этого и все остальные, получившие удар камнем по животу, с громкими воплями обратились ко мне с мольбами о бутылке. Но я произнес им речь и, прежде чем они попробовали виски, уже успел отнять у Туммазука его медный чайник и керосиновый бидон, у женщины Инсукук — ее сахар и патоку, а у остальных страдальцев — достаточное количество муки.

Шаман злобно посматривал на людей, ползавших от виски у моих ног, хотя и плохо скрывал охватившее его самого изумление. Но я высоко держал свою голову, а Мусу кряхтел под тяжестью добычи, следуя за мною по направлению к нашей юрте.

Тут я принялся за работу. Я размешал три кружки муки и пять кружек патоки в медном чайнике Туммазука и прибавил к этой смеси двадцать кружек воды. Затем я поместил этот чайник у лампы,

чтобы смесь могла закиснуть и чтобы там началось брожение от тепла. Мусу понял, в чем дело, и заявил, что моя мудрость превосходит человеческое понимание и является даже большей, чем мудрость Соломона, о котором он слышал как о самом умном человеке в древности. Я поставил керосиновый бидон над лампой и к его горлышку приделал трубку, а в трубку вставил кость, похожую на гусиную шею. Я послал Мусу на двор наколоть льду, а сам соединил ствол от ружья с гусиной шеей, а затем обложил льдом, который принес Мусу, середину ствола. У конца ствола, там, где кончалось ледяное кольцо, я поместил небольшой горшок. Когда смесь перебродила, на что понадобилось два дня, я перелил ее в бидон из-под керосина и зажег под ним те фитили из конопли, которые предварительно приготовил.

Когда все было готово, я позвал Мусу.

— Пойди, — сказал я, — к старейшинам этого становища, передай им привет и проси их пожаловать к нам в юрту, чтобы вместе со мной попировать и забыть в эту ночь обо всем на свете.

Мой напиток весело шипел, когда приглашенные, откидывая край юрты, стали вползать в мое жилище. Я сидел у аппарата и терпеливо

обкладывал льдом ствол от ружья. И вот из казенной части ствола стал вдруг капать в железный горшок напиток — кап-кап-кап… ну, словом, получился напиток хуч. Но они никогда раньше не видали, как он делается, и только хихикали, а я в это время расхваливал им достоинства этого напитка. Пока я говорил, в глазах у шамана вдруг засветилась зависть, а когда я кончил, то усадил его рядом с Туммазуком и женщиной Инсукук. Им первым я дал выпить моего напитка: глаза их замаслились, а желудок почувствовал теплоту; от недоверия они быстро перешли к восторгу и стали упрашивать меня налить им еще и еще. Когда первая партия основательно выпила, я принялся за вторую. Туммазук стал рассказывать, как он убил белого медведя, и так замахнулся кулаком, что чуть не положил на месте сидевшего рядом с ним брата своей матери. Но никто не обратил на это внимания. Женщина Инсукук стала громко рыдать о своем давным-давно погибшем во льдах сыне, а шаман изрекал магические заклинания и пророчества. Так шло и дальше, и к утру все они валялись на земле, объятые глубоким, крепким сном, и, видимо, находились в общении со своими божествами.

А дальше все понятно само собой, не так ли?

Слух о моем волшебном напитке широко распространился с необычайной быстротой. Он показался всем поистине чудесным. Не хватало слов, чтобы описать все чудеса, которые он производил. Он утолял боль, утишал горе, оживлял воспоминания о минувшем, тусклые лица делал живыми и забытые сны превращал в действительность. Это был огонь, горевший в крови, огонь, не опалявший тела. Он расширял сердца, выпрямлял спины и делал людей богатыми. Он раскрывал тайны грядущего, посылал видения и заставлял изрекать пророчества. От него люди преисполнялись мудрости, и нераскрытые тайны становились ясными — словом, не было конца чудесам, которые совершал мой напиток, и со всех сторон слышались мольбы дать испробовать его. Мне приносили в дар лучшие меха, самую редкую дичь, самых сильных собак, но я скупо расходовал на этих людей свой хуч, и осчастливленными бывали только те, кто приносил мне патоку, сахар и муку. И около меня стали скапливаться такие запасы, что я приказал моему Мусу устроить нечто вроде погреба и складывать их туда, так как в юрте у нас не было места. Не прошло и трех дней, как Туммазук оказался банкротом. Шаман, который после первой ночи напивался

только наполовину, все время следил за каждым моим движением и продержался больше недели на ногах. Что же касается женщины Инсукук, то не прошло и десяти дней, как она разорилась совсем, истощила на нас все свои запасы и еле доплелась к себе домой.

Но скоро Мусу стал жаловаться.

— О, хозяин, — сказал он, — у нас теперь большие богатства, состоящие из сахара и муки, но стены нашей юрты пропускают холод, наша одежда ветха, а меха, на которых мы спим, облезли. Желудок мой хочет такого мяса, запах которого не оскорблял бы звезд, и чаю, которым упивается Туммазук; велика потребность также и в табаке, которым завладел шаман Нивак, желающий стереть нас с лица земли. У меня много муки, сахар меня уже не радует, сердце мое болит, и ложе мое пусто.

— Уймись, Мусу, — отвечал я, — ты глуп и несообразителен. Будь осторожен и жди: мы все получим от них. Только не старайся хватать все сразу: захватишь много, и в конце концов у тебя не останется ничего. В сравнении с мудрым белолицым ты еще дитя. Молчи и наблюдай, и я покажу тебе, как поступают мои братья по ту сторону моря: они успели сосредоточить в своих

руках все земные богатства, называя это «обделывать дела». А что ты смыслишь в делах?

Однако на следующий день он прибежал ко мне, едва переводя дыхание.

— О, хозяин, — воскликнул он, — странная вещь происходит сейчас в юрте у шамана Нивака! Мы погибли. Так нам и не удалось одеться в теплые меха и покурить вкусного табаку, и все это из-за твоей жадности к патоке и муке. Пойди к шаману и убедись лично, а я останусь здесь и послежу за напитком.

Я отправился в юрту Нивака, и что я увидел там! Оказалось, что он устроил свой собственный аппарат по точному образцу моего. При виде меня он с трудом мог скрыть свое торжество. Он был хитрый человек, сон его в моей юрте был не особенно глубок.

Но меня это нисколько не смутило, потому что я кое-что знал и, вернувшись к себе в юрту, стал успокаивать Мусу и сказал ему:

— К счастью, у этих людей существует право собственности. Пользуясь их уважением к собственности, давай-ка пока что отдыхать; а потом мы введем у них новые законы, которых другие народы добились только путем тяжких трудов и страданий.

Но Мусу плохо понимал меня, пока шаман не явился к нам и не потребовал с горящими глазами и с угрозой в голосе, чтобы я продал ему часть своих запасов.

— Смотри, — кричал он, — во всем становище не осталось больше ни муки, ни патоки! Ты хитрым способом выманил их у моего народа, который, правда, узнал напиток и спал на лоне богов, но зато теперь ничего не имеет, кроме распухших лиц и трясущихся колен, да еще жажды, которую никак не может утолить. Это плохо с твоей стороны, а так как мой голос имеет власть среди них, то не мешало бы тебе с нами сделать обмен, чтобы наши патока и мука возвратились от тебя к нам.

И я ответил:

— Добрую речь сказал ты, и мудрость обитает у тебя на устах. Будем меняться. За столько-то вот муки и столько-то патоки ты дашь мне ящик с этикеткой «звездочка» и два ящика табаку.

Мусу застонал, а когда сделка была заключена, он стал меня упрекать.

— Теперь из-за твоего безумства, — сказал он, — мы пропали. Нивак сам сделает хуч, и когда настанет время, он прикажет своему народу употреблять хуч только его приготовления, а не

наш. Таким образом мы будем побеждены, наши товары останутся у нас, наша юрта будет пуста, и ложе Мусу — холодно и одиноко!

А я ответил:

— Говорю тебе и клянусь телом Волка, что дурак и ты, и твой отец, и дураками будут твои дети до самого отдаленного потомства. Мудрость твоя хуже, чем отсутствие всякого ума, и глаза твои слепы; ты не можешь видеть то «дело», о котором я говорил, но о котором ты ничего не ведаешь. Иди, сын тысячи дураков, и пей тот хуч, который Нивак варит в своей юрте, и благодари своих богов, что около тебя есть мудрость белого человека, старающегося умягчить то ложе, на котором ты будешь лежать. Иди! И когда ты упьешься, то вернись ко мне, чтобы по запаху твоих губ я мог судить о крепости того напитка, который ты пил.

Через два дня Нивак прислал привет и приглашение прийти к нему в его юрту. Мусу пошел, а я остался дома. И песенка моего аппарата все еще звучала у меня в юрте, а воздух был густ от табачного дыма, потому что я курил табак, полученный от шамана. В этот вечер у меня не было никакой торговли, и никто не приходил ко мне, за исключением Ангейта, молодого охотника,

который еще доверял мне. Затем вернулся Мусу. От хохота он не мог произнести ни слова, и глаза его блестели.

— Ты великий человек! — воскликнул он. — Ты великий человек, о, хозяин, и из-за величия своего ты не осудишь Мусу, твоего слугу, часто сомневающегося и не могущего тебя понять!

— Ну, как там теперь? Удалось ли тебе выпить как следует? И крепко ли сейчас спят в юрте у шамана Нивака?

— Нет, — ответил он, — все они сердиты и еще твердо стоят на ногах, и вождь их Туммазук вцепился своими большими пальцами Нивaку в горло и поклялся костями своих предков, что никогда больше не посмотрит на его лицо. Слушай! Когда я пришел к Ниваку в юрту, то жидкость кипела и пенилась, и пар, как и у тебя, превращался в жидкость от соприкосновения со льдом и стекал капля за каплей сквозь дуло ружья в горшок. Нивак дал нам пить, но напиток оказался совсем не таким, как у тебя: он не жег языка и не разъедал глаз; это была простая вода. Мы стали пить и пили, насколько хватало у нас сил, — и все-таки оставались с холодными сердцами и с хмурыми лицами. Нивак смутился и нахмурился. Он посадил отдельно от всех других

Туммазука и Инсукук и предложил им пить, пить и пить. И они пили, пили и пили — и оставались серьезными и холодными, пока, наконец, разгневанный Туммазук не встал и не потребовал от Нивака обратно меха и чай, которые он уплатил ему за напиток. И Инсукук тоже стала кричать тонким и злым голосом. И все собравшиеся потребовали обратно все, что они дали за напиток, и начались крики и ссора.

— Этот собачий сын думает, что я кит! — воскликнул Туммазук, приподняв кожаную завесу и пролезая ко мне в юрту. Лицо его потемнело от гнева, и брови нахмурились. — Он наполнил меня водой, как рыбий пузырь, так что я чуть не лопаюсь и из-за той тяжести, что сейчас болтается во мне, едва могу ходить. Знаю я его! Я выпил сколько мог. Никогда раньше не пил я столько, и все же глаза мои не в тумане, колени держат меня, и голова вполне ясна!

— Шаман не сумел отправить нас на лоно богов! — жаловался народ, вваливаясь в юрту. — И только в твоем обиталище мы можем испытать это блаженство.

Я, смеясь в душе, предложил всем им хуч, и гости тотчас же развеселились. Все дело было в том, что в ту муку, которую я продал Ниваку,

я подмешал большое количество соды, которую выманил у женщины Инсукук. Как же могла забродить у него мука, когда сода не давала тесту закиснуть? Или как мог его хуч быть настоящим хучем, если в нем не было хмеля?

С этого вечера богатства потекли к нам рекой! У нас были и меха, и женские рукоделия, и чай от вождя, и громадное количество мяса. Однажды Мусу весьма спутанно рассказал мне историю Иосифа в Египте, и благодаря этому рассказу у меня зародилась идея. Я использовал ее, и скоро половина всего племени работала на меня, устраивая погреба для хранения мяса. Из всей добычи, которую удавалось племени приносить с охоты, львиная доля поступала в мое распоряжение, и я складывал ее про запас в погреба. Мусу тоже не зевал. Он сделал из березовой коры колоду игральных карт и научил Нивака играть в «железную дорогу». Отец Тукеликеты был также вовлечен им в эту игру, и в один прекрасный день Мусу выиграл у него дочь, а затем на следующий же день переехал в юрту шамана, которая была самой лучшей во всем становище. Падение шамана было окончательно, так как он проиграл решительно все, что у него было, даже барабаны из моржовой кожи, инструменты для

магических заклинаний — словом, все: и чужое и свое. В конце концов он превратился в простого дровосека и водоноса, и Мусу помыкал им. А Мусу сам стал теперь выдавать себя за шамана или за какого-то первосвященника и благодаря своему превратному толкованию Священного Писания создал новых богов и стал производить заклинания перед какими-то странными алтарями.

Я был этим весьма доволен, так как находил, что хорошо, когда церковь и государство идут рука об руку; впрочем, что касается государства, то у меня были некоторые свои планы. События складывались именно так, как я ожидал. Хорошее расположение духа и улыбающиеся лица совершенно исчезли из нашего становища. Все были мрачны и раздражительны. И днем и ночью происходили драки, ссоры, крики и брань. Карты Мусу вышли вторым изданием, и жители становища с азартом играли друг с другом. Туммазук ужаснейшим образом избил жену, за нее заступился брат его матери и исколотил Туммазука моржовым клыком. Это произошло ночью. На крики вождя сбежалось все становище, и Туммазук был опозорен окончательно в глазах своего народа. Среди такого рода развлечений совсем позабыли об охоте, и в поселке начался

голод. Ночи были длинны и темны, а без дичи нельзя было купить у нас хуча, и против вождя начался ропот. Это как раз и было мне нужно. Когда все основательно наголодались, я собрал все становище, произнес большую речь, сыграл роль патриарха и накормил голодных. Мусу точно так же произнес речь. Благодаря ей и главным образом тому, что я накормил их, меня провозгласили вождем. Мусу, с которым говорили боги и передавали через него людям свои веления, помазал меня китовым жиром на царство и, не вникнув в сущность церемонии, слишком густо меня измазал. После этого мы оба объяснили собравшимся новую для них теорию божественного происхождения царской власти.

Затем была роздана усиленная порция хуча и мяса, и народ охотно подчинился новому режиму.

Таким образом, я воссел на трон, облачился в пурпур и управлял народом. Я мог бы и посейчас быть королем, если бы у меня не вышел весь запас табаку и если бы Мусу не оказался большим жуликом. Он стал заглядываться на Эзанетук, старшую дочь Туммазука, но я строго запретил ему смотреть на нее.

— О, брат! — говорил мне Мусу. — Ты счел нуж-

ным даровать новые учреждения этому народу, и я слушал тебя и удивлялся твоей мудрости. Ты управляешь народом по богом данному тебе праву, а я, со своей стороны, по данному богом праву женюсь.

Я заметил, что он стал называть меня «братом», рассердился и топнул на него ногой, но он убежал и три дня занимался заклинаниями, в которых принял участие весь народ без исключения; а потом, якобы по божественному повелению, провозгласил у нас многоженство. Однако он установил число жен в соответствии с имущественным цензом. Благодаря своему достатку он извлек из этого постановления наибольшие выгоды. Я не мог не восхищаться им, хотя для меня и было ясно, что жажда власти стала кружить ему голову и что он теперь не успокоится до тех пор, пока вся власть и все богатства не перейдут в его руки. Он раздулся от гордости, забыл, что я возвысил его, и решил погубить меня.

Но мне было интересно наблюдать все это. Этот прощелыга по-своему понимал эволюцию первобытного общества. Я получал от монополии на хуч определенные доходы, которыми теперь перестал делиться с Мусу. Он подумал немного и выработал систему обложения в пользу

служителя бога: он учредил «десятину», произносил проповеди насчет упитанных тельцов и усиленно коверкал всякие тексты из Священного Писания для подкрепления своих доводов. Я смотрел сквозь пальцы и на это, но когда он ввел нечто вроде подоходно-поимущественного налога, я потерял терпение и возмутился. К сожалению, я сделал то, что ему было нужно и к чему он и вел все. Он обратился к народу, а народ, завидовавший моему богатству и к тому же и сам основательно обложенный разными поборами, поддержал его.

— Почему все мы должны платить, — спросили они у меня, — а ты один нет? Разве не голос бога говорит устами нашего шамана Мусу?

Конечно, мне пришлось покориться, но я поднял цену на хуч. Мусу, со своей стороны, ни на шаг не отстал от меня и повысил налоги.

Между нами началась открытая война. Я попытался привлечь на свою сторону Нивака и Туммазука, но Мусу был хитрый; он создал духовные чины и возвел Нивака и Туммазука в высокий сан. Перед ним встала проблема власти, и он стал разрешать ее так, как она часто разрешалась и до него. В этом был виноват я. Я сделал ошибку. Мне самому нужно было бы сделаться шаманом,

а его сделать вождем; но я слишком поздно увидел ошибку, и теперь борьба между духовной и светской властью, несомненно, должна была кончиться моим поражением. Борьба между мной и Мусу продолжалась, но очень скоро перевес перешел на одну сторону. Народ помнил, что Мусу помазал меня на царство, и для него было ясно, что источник моей власти лежал не во мне, а в Мусу. Лишь немногие верные, из которых главным был Ангейт, держались еще моей стороны. Мусу возглавлял господствующую партию и распространял слухи, что будто бы я намерен свергнуть его и заставить всех поклоняться моим богам, богам ложным. И в этом умный негодяй предвосхитил мою мысль: я как раз намеревался отречься от своей королевской власти и начать борьбу с духовной властью духовным же мечом. Мусу запугал народ неправедностью моих богов, особенно одного из них, которого он назвал Коммер-ция, и сорвал весь мой план.

А тут как раз случилось, что мне понравилась Клукту, младшая дочь Туммазука, и я ей тоже понравился. Я обратился к ее отцу с предложением, но бывший вождь наотрез отказал мне — хотя и взял с меня выкуп за невесту — и сказал, что эта девушка оставлена им для Мусу. Это переходи-

ло всякие границы. Взбешенный, я шел к юрте, чтобы задушить Мусу собственными руками, но вдруг вспомнил, что у меня вышел весь табак, засмеялся и повернул к себе домой.

На следующий день Мусу занялся заклинаниями и стал так ревностно рассказывать всем о чуде с пятью хлебами и рыбами, что оно скоро приобрело характер пророчества. Я же понял, что Мусу украдкою кивал на мои скрытые мясные запасы. Народ тоже понял эту притчу превратно, и так как Мусу не настаивал на том, чтобы все отправились на обычную охоту, то большинство осталось дома, и в этот вечер охотники принесли только двух-трех оленей.

Увидев, что у меня иссякли не только табак, но и мука и сахар, я стал, в свою очередь, измышлять новые планы. Кроме того, я считал себя обязанным показать, что такое мудрость белого человека, и навлечь какое-нибудь бедствие на голову Мусу, разжиревшего от той власти, которую я же доставил ему. Я пробрался ночью к своим складам и так основательно поработал над ними, что все собаки в становище на следующий день едва двигались от лени. Никто не заметил моей проделки, и я таким образом поступал каждую ночь. Собаки становились все

толще и толще, а люди все худели и худели. Все начинали ворчать и требовали от Мусу исполнения пророчества, но он все еще сдерживал их, ожидая, чтобы голод возрос до крайних пределов. До самой последней минуты ему даже и в голову не приходило, какую штуку я сыграл с моими складами для мяса.

Когда все было готово, я послал Ангейма и других своих немногих приверженцев, которых тайно хорошо кормил, оповестить все становище о предстоящем народном собрании. Все племя собралось на утоптанную площадку перед моей юртой. Всех манили к себе мои мясные склады. Пришел и Мусу и стал против меня, в самом центре образовавшегося круга. Он, видимо, подозревал, что я что-то замыслил против него, и был готов при первой же опасности броситься на меня и убить. Но я встал и при всем народе приветствовал его.

— О, благословенный богами Мусу, — начал я. — Ты, вероятно, дивишься тому, что я собрал этот народ, и, без сомнения, готов на быстрые слова и быстрые поступки вследствие тех многих глупостей, которые я совершил. Но теперь я прозрел. Говорят, что кого боги захотят погубить, у того отнимают разум. И я действительно был

безумцем. Я противился твоей воле, смеялся над твоей властью и совершил много злых и безрассудных дел. Но вчера мне явилось видение, и я понял всю греховность своих путей. Ты стоял передо мною, как путеводная звезда, с открытым челом, и я сердцем своим понял твое величие. Я уверился, что тебя слушают боги. Я вспомнил, что все добрые дела, какие я когда-либо совершил, были сделаны мною только по милости Мусу и по изволению богов…

— Да, дети мои, — воскликнул я, обратившись к народу, — все, что я совершил праведного, и все, что сотворил доброго, — все это произошло по советам Мусу. Когда я слушал его, все шло хорошо, а когда закрывал свои уши и глаза и действовал сообразно своему безумию, получалось одно безумие. По совету Мусу я сделал запасы мяса и в дни скудости кормил им голодных. Только по его милости вы меня сделали вождем. А что я совершил своего за все это время? Позвольте мне покаяться: я ничего не сделал. Голова моя кружилась от власти, и я вообразил, что я больше, чем Мусу. И смотрите, до чего я дошел! Все правление мое было неправедным, и боги стали гневаться на меня. Какое горе! Вы исхудали от голода, груди у матерей высохли и лишились молока, и дети

теперь кричат по ночам. Мое сердце окаменело от вражды к Мусу, и я не знаю уже, что надлежит теперь предпринимать и каким образом можно помочь вам.

При этих словах многие из слушателей закивали и засмеялись, наклоняясь друг к другу. Я понял, что они перешептываются между собою о пяти хлебах и о рыбе, и поспешил продолжать свою речь.

— Итак, — крикнул я, — видение убедило меня в безумии моих поступков и в мудрости Мусу, в моей негодности ни к чему и в талантах Мусу. А поэтому, отказавшись от всяких безумств, я хочу просить у вас прощения и исправить все содеянное мною зло. Я бросил свои неправедные взгляды на Клукту; она, увы, оказалась предназначенной для Мусу. Хотя я и уплатил за нее Туммазуку выкуп, но я недостоин ее, и она из юрты отца своего перейдет в юрту к Мусу. Может ли луна светить, когда на небе солнце? Пусть же Туммазук удержит у себя уплаченный мною выкуп, и пусть эта девушка достанется в подарок Мусу, которого боги благословили на то, чтобы быть ее законным господином!..

— А так как я приобрел свои богатства неправедно и пользовался неразумно своим положением,

чтобы угнетать вас, дети мои, я дарю Мусу свой керосиновый бидон и гусиную шейку, а также и ружейный ствол и вот этот медный чайник в придачу. Как видите, я после этого не смогу больше приобретать для себя богатства, и когда вы вновь почувствуете желание пить хуч, то Мусу утолит вашу жажду и не будет брать с вас за это никакой платы. Ибо он великий человек, и боги говорят его устами!..

— Умягчилось сердце мое, и я раскаялся в безумии моем. Я глуп и происхожу от глупых людей; я раб злого бога по имени Ком-мер-ция; я видел ваши пустые животы и не знал, чем их наполнить, — неужели же я могу быть вождем и восседать превыше тебя, Мусу, и править народом на его погибель? Мусу давно уже состоит вашим шаманом, он мудрее всех людей, и только он один сумеет управлять вами мягкой рукой и справедливо. А посему я отрекаюсь от власти и передаю мое право вождя Мусу — он один только знает, как напитать вас теперь, когда нигде нет ни кусочка мяса.

Когда я сказал все это, то началось хлопанье в ладоши, и народ закричал: «Клошé! Клошé!» — что значит «хорошо». Я заметил по глазам Мусу, что он был изумлен и озабочен, не понимая,

в чем дело, он снова трепетал перед мудростью белого человека.

Таким образом я исполнил все желания Мусу и даже предупредил некоторые из них, и он хорошо понимал, что теперь неподходящее время для того, чтобы возбуждать против меня народ.

Я объявил во всеуслышание, что хотя аппарат и переходит в собственность Мусу, но все наличное количество хуча должно быть немедленно же предоставлено народу. Мусу попытался было протестовать против этого, так как до сих пор мы никому не давали больше одной чарки, но народ закричал: «Клошé, клошé!», — и устроил празднество у самой моей юрты. Пока они бесчинствовали снаружи от ударившего им в голову спирта, я внутри юрты держал с Ангейтом и с остальными верными мне людьми совет. Я объяснил им, каждому в отдельности, то, что они должны были выполнить, и научил их тем словам, которые они должны были говорить. После этого я незаметно выскользнул из юрты и отправился к тому месту в лесу, где у меня были припрятаны двое доверху нагруженных саней, в которые были впряжены лучшие собаки. Весна была близка, и снег покрылся настом, так что время для пути на юг было самое подходящее.

Кроме того, у меня вышел весь табак. Здесь я стал поджидать, так как бояться мне было нечего. Если бы они даже и бросились за мной, то не смогли бы догнать, так как их собаки были слишком неповоротливы и толсты, а сами они от голода слишком слабы и худы. Кроме того, я полагал, что их возбуждение будет такого порядка, что против него нетрудно будет заранее принять соответствующие меры.

Сначала прибежал ко мне один мой приверженец, затем другой.

— О, хозяин, — воскликнул первый из них, едва переводя дух от волнения. — В становище великое смятение, и никто не может ничего понять. Все перепились, и один стал стрелять из лука, а другие передрались между собой. Никогда еще не бывало у нас такой беды!

А второй сказал:

— Я поступил так, как ты велел мне. Я шептал хитрые слова в уши и возбуждал воспоминания о прошлом. Женщина Инсукук уже сокрушается о своей бедности, вспоминая о том богатстве, которое ей некогда принадлежало. А Туммазук считает себя снова вождем, а народ по-прежнему голоден и бестолково мечется взад и вперед.

Третий же сказал:

— Нивак уже ниспроверг алтари, воздвигнутые Мусу, и начал творить заклинания перед богами своих отцов. Все люди вспоминают о богатстве, которое раньше текло к ним в рот и которого теперь уже нет у них. Эзанетук, которую обуяла ревность, подралась с Клукту, и по этому поводу было много шума; затем, так как они дети одной и той же матери, обе они сцепились с Тукеликетой. Наконец, все трое бросились на Мусу, пока он в ужасе не выбежал из юрты. И люди стали глумиться над ним, потому что мужчина, который не может справиться с женщинами, — дурак.

После них стал говорить Ангейт:

— О, хозяин, великая напасть обрушилась на Мусу. Я успешно нашептывал им в уши то, что ты приказал мне, и весь народ стал подступать к Мусу, говоря, что все они голодны, и требуя исполнения пророчества. И начался громкий крик: «Ильтвилли! Ильтвилли!» («Мяса!») Мусу закричал на своих женщин, которые все еще неистовствовали под влиянием вина и гнева, чтобы они замолчали, и повел все племя к твоим складам, приказал открыть их, брать мясо и есть. А склады оказались пустыми. Никакого мяса в них не было. Народ стоял в безмолвии, испуганный, и тогда я возвысил свой голос. «О,

Мусу, — воскликнул я, — где же обещанное тобою мясо? Что оно здесь было, этому мы свидетели. Или мы не охотились? Или не таскали его сюда на своих плечах? И неужели один человек мог все это съесть? А мы не видим здесь ни шкур, ни перьев, ни шерсти. Где же все мясо, о, Мусу? Ты слушаешь богов, ответь же нам: где это мясо?» И народ стал кричать: «Где мясо? Где же мясо?» И все стали шептаться, склоняя головы один к другому. Я ходил между ними и говорил им страшные слова о неведомых вещах, о покойниках, которые встают из гробов, ходят, как тени, и, натворив разных бед, уходят обратно в могилы. Наконец весь народ заорал от страха. Все столпились в кучу, как малые дети, боящиеся темноты. Тогда Нивак обратился к ним с увещаниями, обвиняя во всем Мусу. Когда он кончил, разъяренная толпа схватила копья и моржовые клыки, камни с берега и дубины. Но Мусу убежал домой, и так как он не пил хуча, они не смогли его поймать: они падали один на другого и с трудом поднимались на ноги. И теперь еще они воют перед юртой Мусу, а его женщины воют внутри юрты, и что говорит Мусу — в этом адском шуме нельзя разобрать.

— О, Ангейт, — одобрил я его, — ты хорошо по-

ступил! Возьми же теперь пустые сани и тощих собак и поезжай как можно скорее к юрте Мусу, и прежде чем все эти пьяные люди поймут, в чем дело, брось его в сани и привези ко мне.

Я ждал и давал добрые советы моим верным слугам, пока наконец не вернулся Ангейт. Мусу оказался в санях, и по царапинам на его лице я увидел, что его женщины хорошо расправились с ним. Он тотчас же скатился с саней и повалился передо мною прямо в снег.

— О, господин, — воскликнул он, — ты, наверное, простишь своего верного слугу Мусу за все то зло, которое он сделал! Ты — великий человек! Я знаю, ты меня простишь!

— Ну-ка, Мусу, назови меня братом! — засмеялся я, поднимая его на ноги ударом сапога в бок. — А теперь говори: обещаешь ли ты повиноваться мне всегда?

— Да, хозяин! — захныкал он в ответ. — Всегда!

— Тогда ложись поперек этих саней, вот так. — Я взял в руки длинную плеть. — Теперь направь лицо твое вниз, к земле. И поскорее, так как сейчас мы двинемся на юг.

И когда Мусу лег так, как я ему сказал, я стал мерно опускать плеть, напоминая ему при каждом ударе о зле, которое он причинил.

— Это тебе за непослушание вообще! Раз! А это за каждое твое непослушание в частности! Два! Это за Эзанетук! А это для блага твоей души! Это за твое прекрасное управление! А это за Клукту! Это за богом данные тебе права! А это за твой подоходный налог и за твои хлебы и рыб! Это за все твое непослушание! А это, наконец, чтобы ты впредь был осторожен и разумен! А теперь прекрати свое хныканье и вставай! Живо напяливай лыжи, иди вперед и протаптывай снег для собак. Жарь! Быстро!

Томас Стивенс тихонько улыбнулся себе в ус, закурил пятую сигару и пустил кудрявые колечки дыма к потолку.

— Ну, а как же с этим народом в Таттарате? — спросил я. — Жестоко было бросить всех голодными!

Он засмеялся, пустил два колечка дыма к потолку и ответил:

— А разве я им не оставил откормленных собак?

Мужская верность

— Знаешь что, — разыграем в кости.

— Идет, — ответил другой и повернулся к индейцу, чинившему лыжи в углу хижины. — Эй, Билбидем, сбегай-ка к Олсону и скажи, что мы просим одолжить нам игральные кости.

Разговор шел о жалованье рабочим, о топливе, о провизии, и эта неожиданная просьба удивила Билбидема. Кроме того, час был еще ранний, а ему не приходилось видеть, чтобы белые — во всяком случае такие, как Пентфилд и Хатчинсон, — садились за кости или карты, не покончив с делами. Однако, как настоящий индеец с Юкона, он ничем не выдал своего удивления и, натянув рукавицы, вышел из хижины.

Хотя шел уже девятый час, было еще темно, и хижина освещалась сальной свечой, стоявшей на сосновом столе среди хаоса немытых оловянных тарелок. Свеча была воткнута в бутылку из-под виски, на длинном горлышке которой миниатюрным ледником застыло сало бесчисленных свечей. В комнатушке, составлявшей всю внутренность хижины, царил такой же беспорядок, как и на столе. У задней стены виднелись нары

с двумя неубранными постелями.

Лоренс Пентфилд и Корри Хатчинсон были миллионерами, хотя никто не догадался бы об этом по их внешнему виду. В них не было ничего необычного — они легко сошли бы за своих в любом лагере мичиганских лесорубов. Но снаружи во мраке, на дне зияющих ям, десятки людей, получавших по пятнадцати долларов в день, дробили каменные пласты, а другие люди крутили вороты, поднимая из шурфов породу, песок и золото. Каждый день золота добывалось на тысячи долларов, и все оно принадлежало Пентфилду и Хатчинсону, которые числились среди богатейших королей Бонанзы.

Тишину, наступившую после ухода Билбидема, нарушил Пентфилд. Он сдвинул в кучу грязные тарелки и на освободившемся месте стал выбивать дробь костяшками пальцев. Хатчинсон снял нагар с коптившей свечи и задумчиво растер между большим и указательным пальцем.

— Черт побери, если бы мы могли уехать оба! — воскликнул он неожиданно. — И спорить было бы не о чем.

Пентфилд хмуро посмотрел на него.

— Если бы не твое проклятое упрямство, спорить и не пришлось бы. Тебе надо только сложить

вещи и уехать. Я присмотрю за делом, а поеду в будущем году.

— Почему мне? Меня никто не ждет…

— А родные? — жестко прервал его Пентфилд.

— А тебя ждут, — продолжал Хатчинсон. — Ты знаешь, о ком я говорю.

Пентфилд угрюмо пожал плечами.

— Она подождет.

— Но она уже два года ждет.

— Ничего, еще год ее не состарит.

— Ведь это будет три года! Только подумай, старина: три года здесь, на краю света, в этой проклятой дыре. — И Хатчинсон с отчаянием махнул рукой.

Он был на несколько лет младше своего компаньона — ему было не больше двадцати шести. На его лице было выражение тоски, тоски человека, тщетно жаждущего того, чего он давно лишен. И та же тоска, то же отчаяние было на лице Пентфилда, в его сгорбленных плечах.

— Мне вчера снилось, что я у Зинкенда, — сказал он. — Музыка, звон стаканов, гул голосов, женский смех, а я заказываю яйца — да, сэр, яйца во всех видах: и крутые, и всмятку, и яичницу, и омлет, — и уплетаю так, что подавать не успевают.

— А я бы заказал салат, — жадно перебил Хатчинсон, — и большой бифштекс с зеленью, с молодым луком и редиской, чтобы на зубах хрустело.

— Я бы это все заказал после яиц, если бы не проснулся, — вздохнул Пентфилд.

Он поднял с пола видавшее виды банджо и рассеянно потрогал струны. Хатчинсон вздрогнул и тяжело задышал.

— Брось! — закричал он с неожиданной яростью, когда Пентфилд начал веселый мотив. — С ума можно сойти. Невыносимо.

Пентфилд бросил банджо на нары и продекламировал:

Выдав тайную тоску, пою я так:
Память, пытка – я, я – город на заре,
Я – все то, о чем напомнить может фрак.

Его товарищ тяжело уронил голову на руки. Пентфилд снова монотонно забарабанил по столу. Затем его внимание привлек громкий треск двери. На ней белой пеленой оседал иней. Пентфилд тихо запел:

Стада в хлевах, и в море вновь

Из рек ушел лосось;
Когда б с тобой, моя любовь,
Побыть мне довелось.

Потом снова наступило молчание, нарушенное только приходом Билбидема, который бросил на стол игральные кости.

— Большой холод, — сказал он. — Олсон говорил мне, вчера Юкон замерзал.

— Слышишь, старик! — вскричал Пентфилд, хлопая Хатчинсона по плечу. — Кто выиграет, тот завтра в это время будет уже на пути в благословенный Богом край!

Он весело встряхнул стаканчик с костями.

— Как играем?

— Простой покер, — ответил Хатчинсон. — Бросай.

Пентфилд с грохотом столкнул со стола тарелки и бросил кости. Оба поспешно наклонились. Не было ни одной пары, а самым крупным очком была пятерка.

— Пустышка! — ахнул Пентфилд.

После долгих размышлений он собрал в стаканчик все пять костей.

— На твоем месте я бы оставил пятерку, — заметил Хатчинсон.

— Ну, нет. Вот посмотришь, что сейчас будет, — сказал Пентфилд и выбросил кости.

Снова ни одной пары. На этот раз счет шел от двойки до шестерки.

— Опять пустышка! — простонал Пентфилд. — И не бросай, Корри. Ты уже выиграл.

Его товарищ молча собрал кости, погремел ими, широким движением выбросил на стол и увидел, что у него тоже легла пустышка с шестеркой.

— Во всяком случае, ничья, но мне нужно что-нибудь получше, — сказал он и, собрав четыре кости, оставил шестерку. — Вот и конец тебе.

Но на столе лежали двойка, тройка, четверка и пятерка — снова пустышка, такая же, как у Пентфилда. Хатчинсон вздохнул.

— Такое бывает раз в сто лет, — сказал он.

— Раз в миллион лет, — отозвался Пентфилд, быстро подобрал кости и бросил их. Выпали три пятерки, и после долгих колебаний он был вознагражден еще одной при повторном броске. Хатчинсон, казалось, потерял всякую надежду.

Но у него сразу же выпали три шестерки. В глазах его партнера появилась неуверенность, а в его взгляде вновь вспыхнула надежда. Еще одна шестерка — и он отправится по льду к Соленой Воде, в Штаты. Он встряхнул стаканчик, хотел выбро-

сить, заколебался и продолжал встряхивать.

— Давай! Давай! Не тяни! — резко крикнул Пентфилд. Стараясь сохранить хладнокровие, он так крепко вцепился в край стола, что у него согнулись ногти.

Кости покатились. Перед ними лежала шестерка. Они не шевелясь смотрели на нее. Наступило долгое молчание. Хатчинсон украдкой посмотрел на своего партнера, который так же украдкой перехватил его взгляд и криво улыбнулся, пытаясь казаться равнодушным.

Хатчинсон вскочил на ноги и рассмеялся. Смех был нервный и смущенный. В этой игре выиграть было тяжелее, чем проиграть. Хатчинсон подошел к своему другу, но тот яростно на него набросился:

— Заткнись, Корри! Я знаю все, что ты скажешь, что предпочтешь остаться, чтоб ехал я, и все такое. Так что помолчи. Тебя ждут родные в Детройте, и этого довольно. И потом, ты можешь сделать для меня то, ради чего, собственно, я хотел ехать.

— То есть?..

Пентфилд прочел вопрос в его глазах и ответил:

— Да, вот именно. Ты можешь привезти ее сюда

ко мне. Свадьба будет в Доусоне, а не в Сан-Франциско, вот и вся разница.

— Ты с ума сошел! — запротестовал Корри Хатчинсон. — Как это я ее повезу? Она мне не сестра, не родственница, я с ней даже незнаком. Сам понимаешь, что нам ехать вместе не совсем удобно. Мы-то с тобой знаем, что все было бы в порядке, но подумай, как это будет выглядеть для других!

Пентфилд глухо выругался, послав «других» в область менее морозную, чем Аляска.

— Вот если бы ты слушал, а не лез бы сразу со своим благородством, — продолжал его компаньон, — ты бы понял, что самое правильное при данных обстоятельствах — это мне отпустить тебя в этом году. До следующего года остается всего год, а тогда я смогу отвести душу.

Пентфилд покачал головой, хотя было видно, что он с трудом противится соблазну.

— Ничего не выйдет, Корри, старина. Я ценю твою доброту, но ничего не выйдет. Я бы не мог там сидеть спокойно, зная, что ты тут надрываешься за меня!

Вдруг его осенила какая-то мысль. Он кинулся к нарам, переворошил в спешке всю постель, извлек наконец блокнот и карандаш, уселся за стол и начал быстро и уверенно писать.

— Ну вот, — сказал он, сунув записку в руку своего компаньона. — Доставь только по адресу, и все устроится.

Хатчинсон пробежал записку глазами и положил ее.

— Откуда ты знаешь, что этот братец согласится поехать в нашу дыру? — усомнился он.

— Он согласится ради меня и ради сестры, — настаивал Пентфилд. — Видишь ли, он неженка, и я не хотел бы, чтобы она ехала с ним одним. А если рядом будешь ты, ехать будет легко и безопасно. Как только выберешься, поезжай во Фриско и объясни ей все. Оттуда отправляйся на Восток к своим. А весной заедешь за ними. Она тебе сразу понравится, я знаю. Вот погляди, чтобы узнать ее при встрече.

С этими словами он открыл крышку часов и показал фотографию, приклеенную внутри. Корри Хатчинсон смотрел, и в его глазах росло восхищение.

— Ее зовут Мэйбл, — продолжал Пентфилд. — Я уж заодно объясню тебе, как найти их дом. Как доберешься до Фриско, возьми кеб и скажи: «К дому Холмса, Мирдон-авеню». Можно, впрочем, обойтись и без Мирдон-авеню. Всякий кебмен знает, где живет судья Холмс.

— И знаешь что, — вновь начал Пентфилд после паузы, — неплохо было бы, если бы ты мне кое-что купил, ну… ну…

— То, что нужно семейному человеку, — докончил Хатчинсон с улыбкой.

Пентфилд смущенно улыбнулся в ответ.

— Вот-вот. Салфетки и скатерти, простыни и наволочки и прочее. Сервиз получше. Ведь ей нелегко будет освоиться тут. Можешь отправить все пароходом через Берингово море. И еще, пожалуй… Что ты скажешь насчет рояля?

Хатчинсон горячо одобрил эту мысль. Он уже забыл о своих возражениях, и возложенная на него миссия все больше и больше захватывала его.

— Ей-богу, Лоренс, — заявил он, когда разговор закончился и оба встали, — доставлю с шиком! Возьму на себя и стряпню и собак, а братцу останется только заботиться о ее удобствах и делать для нее то, что я забуду, хоть я, черт побери, забывать ничего не собираюсь.

На следующий день Лоренс Пентфилд в последний раз пожал руку своему другу и долго смотрел, как он и его упряжка спешили по замерзшему Юкону вверх, к Соленой Воде, в широкий мир. Пентфилд вернулся на прииск в Бонанзе, где

стало во много раз тоскливее, и мужественно встретил долгую зиму. Надо было работать — следить за рабочими, руководить разведкой капризной золотоносной жилы, — но эта работа не увлекала его. И никакая работа не увлекала его, пока на холме за разработкой не начала расти новая бревенчатая хижина. Это была замечательная хижина, добротно построенная, разделенная на три удобные комнаты. Каждое бревно было тщательно обтесано — дорогая прихоть, если плотникам приходится платить по пятнадцати долларов в день. Но Пентфилда не пугали никакие расходы, когда дело касалось дома, предназначенного для Мэйбл Холмс. Он занимался постройкой хижины и пел:

Когда б с тобой, моя любовь,
Побыть мне довелось.

Кроме того, он повесил над столом календарь и каждое утро начинал с того, что вычеркивал день и пересчитывал, сколько еще дней остается до весны, когда его компаньон примчится по льду Юкона.

Пентфилд никому не позволял ночевать в новой хижине — это тоже была прихоть: до приезда Мэйбл хижина должна была оставаться такой

же новой, как свежеобтесанные балки. И когда постройка была закончена, Пентфилд повесил на дверях замок. Никто, кроме самого Пентфилда, не входил туда, а он оставался там часами, и, когда выходил, на лице его была странная нежность, а глаза светились тепло и радостно.

В декабре пришло письмо от Корри Хатчинсона. Он только что познакомился с Мэйбл Холмс. Она оказалась именно такой, какой должна была быть жена Лоренса Пентфилда, писал Корри. Он был полон восхищения, и письмо заставило быстрее забиться сердце Пентфилда. Теперь письма приходили одно за другим, а порою, если почта задерживалась, даже по два или три зараз. И все они были об одном и том же: Корри только что вернулся от Холмсов, или Корри собирается к Холмсам, или Корри сейчас у Холмсов. Он, казалось, не торопился покинуть Сан-Франциско и даже не упоминал о поездке в Детройт.

Лоренсу Пентфилду начинало казаться, что его компаньон слишком уж долго задерживается в обществе Мэйбл Холмс, забывая о своих родных. Временами Пентфилд ловил себя на том, что это его тревожит. Но он слишком хорошо знал Мэйбл и Корри, чтобы тревожиться всерьез.

Письма Мэйбл, в свою очередь, были полны

Корри. С другой стороны, когда речь заходила о ее приезде и о свадьбе в Доусоне, в них сквозили робость и нерешительность. Пентфилд отвечал весело, подшучивая над ее опасениями, которые, как ему казалось, были порождены скорее страхом перед лишениями и опасностями, чем девичьей застенчивостью.

Но томительное ожидание и третья бесконечная зима начинали сказываться на нем. Руководство работами и разведка жилы не могли скрасить монотонность его существования, и в конце января Пентфилд зачастил в Доусон, где можно было на время забыться за игорным столом. Он выигрывал, так как мог позволить себе роскошь проигрыша, и выражение «везет, как Пентфилду» вошло в обиход у игроков в фараон.

Удача не покидала его до середины февраля. Трудно сказать, когда она изменила бы ему, — потому что после одной крупной игры он больше не брал карт в руки.

На этот раз игра шла в «Опере», и в течение часа каждая карта Пентфилда выигрывала. В перерыве, пока банкомет тасовал колоду, владелец стола Ник Инвуд вдруг заговорил:

— Между прочим, Пентфилд, кажется, ваш компаньон пустился во все тяжкие?

— Да, Корри умеет развлекаться, — ответил Пентфилд, — особенно когда он это заслужил.

— Дела вкуса, конечно, — рассмеялся Ник Инвуд, — но, по-моему, развлекаться и жениться — не совсем одно и то же.

— Корри женился? — недоверчиво воскликнул потрясенный Пентфилд.

— Именно, — ответил Инвуд. — Это напечатано в газете из Фриско, которая пришла с утренней почтой.

— Ну а кто же она? — поинтересовался Пентфилд с терпеливой стойкостью человека, знающего, что его разыгрывают и что в любую минуту может раздаться взрыв смеха.

Ник Инвуд вытащил газету из кармана и стал просматривать ее, заметив:

— У меня на имена память плохая, но как будто Мэйбл… Мэйбл… ага, вот: Мэйбл Холмс, дочь какого-то судьи Холмса.

Лоренс Пентфилд и бровью не повел, хотя его удивило, что кому-то на Севере известно ее имя. Он спокойно обвел взглядом слушателей, ожидая, что кто-нибудь выдаст себя, но их лица выражали только обыкновенное любопытство. Тогда он повернулся к Инвуду и сказал спокойным, ровным тоном:

— Ник, вот эти пятьсот долларов утверждают, что в газете ничего подобного нет.

Тот посмотрел на него с удивленной улыбкой:

— Нет, голубчик, мне ваши деньги не нужны.

— Я так и думал! — насмешливо бросил Пентфилд и, повернувшись к столу, поставил на две карты.

Ник Инвуд покраснел и, как будто не доверяя себе, внимательно перечел коротенькую заметку, затем резко повернулся к Лоренсу Пентфилду.

— Послушайте, Пентфилд, — взволнованно и торопливо заговорил он. — Я этого так не могу оставить.

— Чего — этого? — грубо переспросил Пентфилд.

— По-вашему, я лгу?

— Ничего подобного. По-моему, вы просто глупо шутили.

— Вы ставите, джентльмены? — вмешался банкомет.

— Но я же вам говорю, что это правда! — настаивал Инвуд.

— А я уже вам говорил, что у меня есть пятьсот долларов, которые утверждают, что в газете этого нет.

И Пентфилд бросил на стол тяжелый мешок

с золотым песком.

— Не нужны мне ваши деньги, но раз вы настаиваете… — С этими словами Инвуд сунул газету Пентфилду.

Пентфилд увидел — и не смог заставить себя поверить. Он скользнул взглядом по заголовку «С Севера мчался младой Лохинвар» и пробежал заметку; перед его глазами мелькнули рядом имена Мэйбл Холмс и Корри Хатчинсона. Тогда он открыл первую страницу — газета была из Сан-Франциско.

— Деньги ваши, Инвуд, — сказал он с коротким смешком. — Если уж мой компаньон начнет, одному Богу известно, где он остановится.

Затем Пентфилд вернулся к заметке и медленно прочел ее, слово за словом. Сомнения больше не могло быть. Корри Хатчинсон действительно женился на Мэйбл Холмс. «Один из королей Бонанзы, — гласила заметка, — компаньон Лоренса Пентфилда (еще не забытого обществом Сан-Франциско), владеющий вместе с ним многими богатствами Клондайка». А дальше, в конце, он прочел: «Говорят, что мистер и миссис Хатчинсон на некоторое время уедут на Восток, в Детройт, но свой настоящий медовый месяц они проведут в путешествии по сказочному Клондайку».

— Я вернусь. Сохраните мне место, — сказал Пентфилд, поднимаясь и забирая мешок, который тем временем успел побывать на весах и вернулся, облегченный на пятьсот долларов.

Пентфилд вышел на улицу и купил газету из Сиэтла. В ней были те же факты, только более кратко изложенные. Несомненно, Корри и Мэйбл поженились. Он вернулся в «Оперу» и, заняв свое место, предложил играть без ограничения ставки.

— Я вижу, вам нужен размах, — засмеялся Ник Инвуд, кивая банкомету. — Я было собирался сходить на склады Компании, но, пожалуй, останусь. Покажите-ка, на что вы способны.

И Лоренс Пентфилд показал: после двухчасовой отчаянной игры банкомет откусил кончик свежей сигары, чиркнул спичкой и объявил, что банк сорван. Пентфилд выиграл сорок тысяч. Он пожал руку Нику Инвуду и заявил, что эта игра — его последняя.

Никто не знал, никто не догадывался, что ему был нанесен удар — и тяжелый удар. Внешне в нем ничто не изменилось. Всю неделю он занимался делами, как обычно, но в субботу ему на глаза попалась портлендская газета с описанием свадьбы. Тогда он оставил прииск на попечение

одного из друзей и отправился на собаках вверх по Юкону. Он двигался по дороге к Соленой Воде, а потом свернул на Белую реку. Через пять дней он наткнулся на лагерь местных индейцев. Вечером был устроен пир, и Пентфилд сидел на почетном месте, рядом с вождем. На следующее утро он погнал собак назад к Юкону, но теперь он был не один. Молодая скво кормила в этот вечер его собак и помогала ему приготовить ночлег. В детстве ее помял медведь, и она прихрамывала. Звали ее Лашка. Сперва она боялась чужого белого, который явился из Неведомого и взял ее в жены, не сказав ей ни слова, не взглянув на нее, а теперь увозил в Неведомое.

Но Лашке посчастливилось больше, чем большинству индейских девушек, которых выбирают себе в подруги белые Севера: в Доусоне языческий брак, связавший их, был подтвержден священником по обрядам белых. Из Доусона, где все казалось Лашке чудесным сном, Пентфилд отвез ее на прииск в Бонанзу и водворил в новой хижине на холме.

Настоящую сенсацию произвело не то, что Лоренс Пентфилд разделил ложе и кров с индианкой, а то, что он узаконил это сожительство брачной церемонией. Церковный брак? Этого

никто не мог понять. Но Пентфилда оставили в покое — это общество было терпимо ко всяким причудам, если только они не шли ему во вред. Пентфилд даже не потерял доступа в дома, где были белые хозяйки. Свадебная церемония не позволяла относиться к нему просто как к белому, сожительствующему с индианкой; его нельзя было упрекнуть в безнравственности, хотя многие мужчины не одобряли его выбор.

Писем больше не было. Шестеро нарт с почтой погибло у Большого Лосося. Кроме того, Пентфилд знал, что новобрачные должны уже быть в Клондайке и что их свадебное путешествие близится к концу, — то путешествие, о котором он мечтал в течение двух томительных лет. От этой мысли у него горько кривились губы, но он скрывал свои чувства и только становился добрее к Лашке.

Прошел март, и уже близился конец апреля, когда однажды утром Лашка попросила разрешения съездить к сивашу Питу, хижина которого была в нескольких милях ниже по речке. Жена Пита, индианка с реки Стюарт, прислала сказать, что у нее заболел ребенок, а Лашка, поистине созданная для материнства, глубоко верила в свои познания по части детских болезней и была всегда готова нянчить чужих детей, пока судьба не

послала ей своего.

Пентфилд запряг собак и, усадив Лашку на нарты, отправился вниз по руслу Бонанзы. В воздухе пахло весной. Мороз уже не обжигал, как прежде, и хотя земля еще была покрыта снегом, шорохи и журчанье воды говорили о том, что железная хватка зимы слабеет. Местами тропа уходила под лед, и приходилось объезжать полыньи. Как раз у такого места, где не могли разъехаться двое нарт, Пентфилд услышал звон приближающихся колокольчиков и остановил собак.

Из-за изгиба реки появилась упряжка усталых собак, тянувших тяжело нагруженные нарты. Что-то в фигуре мужчины, погонявшего собак, показалось Пентфилду знакомым. За нартами шли две женщины. Пентфилд снова перевел взгляд на погонщика — это был Корри. Пентфилд стоял и ждал. Он был рад, что Лашка с ним. Более удачную встречу было бы трудно устроить и нарочно, подумал он. Ожидая, он старался представить, что они скажут, — что они могут сказать. Ему говорить было незачем: объяснять должны были они, и он был готов выслушать их объяснения.

Когда упряжки поравнялись, Корри узнал его и остановил собак.

— Здорово, старина! — воскликнул он и про-

тянул руку.

Пентфилд пожал ее — холодно и молча. Тем временем подошли женщины, и во второй он узнал Дору Холмс. Он пожал ей руку, сняв меховую шапку, и повернулся к Мэйбл. Она сделала движение навстречу, красивая и сияющая, но как будто растерялась при виде его протянутой руки. Он собирался сказать: «Здравствуйте, миссис Хатчинсон», но слова «миссис Хатчинсон» почему-то застряли у него в горле, и он только пробормотал:

— Здравствуйте.

Положение было настолько неприятным и неловким, что он мог быть доволен. Мэйбл была смущена и взволнована. Дора, которую, видимо, захватили в качестве посредницы, заговорила:

— Послушайте, Лоренс, что случилось?

Не дав ему ответить, Корри потянул его за рукав и отвел в сторону.

— Слушай, старик, что это? — спросил он шепотом, указывая глазами на Лашку.

— А собственно говоря, Корри, какое тебе дело? — насмешливо ответил Пентфилд.

Но Корри продолжал настаивать:

— Что эта скво делает на твоих нартах? Хорошую задачу ты мне задал — объяснить это.

Надеюсь, однако, что какое-то объяснение есть? Кто она? Чья это скво?

И вот тут Лоренс Пентфилд нанес свой удар. Нанося его, он почувствовал прилив спокойного удовлетворения, которое, казалось, до некоторой степени возмещало причиненное ему зло.

— Это моя скво, — сказал он. — Миссис Пентфилд, с вашего разрешения.

У Корри Хатчинсона перехватило дыхание. Пентфилд отвернулся от него и подошел к женщинам. На лице Мэйбл была тревога, и она, казалось, не была склонна разговаривать. Он как ни в чем не бывало обратился к Доре:

— Как прошло путешествие? Очень мерзли на стоянках?

— А как себя чувствует миссис Хатчинсон? — спросил он затем, бросив взгляд на Мэйбл.

— Глупыш вы милый! — воскликнула Дора, обнимая и тормоша его. — Значит, вы тоже прочли? Так вот почему вы себя так странно держали!

— Я… я не понимаю… — пробормотал он.

— В следующем номере дали поправку, — болтала Дора. — Нам и в голову не приходило, что этот выпуск попадется вам на глаза. В других газетах все было правильно, но, конечно, именно этот злосчастный листок попал вам в руки.

— Постойте, о чем вы говорите? — перебил Пентфилд. Его сердце сжалось от неожиданного страха. Он почувствовал себя на краю пропасти. А Дора все не умолкала:

— Знаете, когда стало известно, что Мэйбл и я уезжаем в Клондайк, в «Еженедельнике» напечатали, что с нашим отъездом на Мирдон-авеню станет густо, — что, конечно, означало «пусто».

— Так, значит…

— Я — миссис Хатчинсон, — ответила Дора. — А вы-то думали, что это Мэйбл?

— Именно так, — медленно проговорил Пентфилд. — Теперь я понял. Репортер перепутал имена, а газеты в Сиэтле и Портленде перепечатали, как было.

Он замолчал. Мэйбл снова повернулась к нему, и он увидел, что она ждет. Корри с большим интересом рассматривал рваный носок своего мокасина, а Дора искоса поглядывала на Лашку, с невозмутимым лицом сидевшую на нартах. Лоренс Пентфилд смотрел прямо в безнадежное будущее, где он видел только упряжку собак, себя и рядом — хромую Лашку.

Затем он заговорил, очень просто, глядя в глаза Мэйбл:

— Простите. Мне и в голову не приходила такая

ошибка. Я думал, что вы вышли за Корри. Там, на нартах, миссис Пентфилд…

Мэйбл Холмс бессильно повернулась к сестре, — казалось, на нее внезапно обрушилось все утомление тяжелого пути. Дора подхватила ее. Корри Хатчинсон все еще не мог оторваться от своих мокасин.

Пентфилд посмотрел на него, на обеих женщин и пошел к нартам.

— Надо ехать, ребенок Пита не может ждать нас весь день, — сказал он Лашке.

Длинный бич свистнул, собаки натянули постромки, нарты дернулись и помчались вперед.

— Слушай, Корри! — крикнул Пентфилд, обернувшись. — Ты можешь занять старую хижину. Она теперь пустует. Я построил новую на холме.

Золотое дно

Так как это рассказ — и притом более правдивый, чем это может показаться, — о стране золотых приисков, то заранее будут ожидать, что речь пойдет о какой-нибудь неудаче. Но это зависит, конечно, от точки зрения. Поскольку дело касается Кинка Митчелла и Хэтчину Билла, то слово «неудача», пожалуй, будет слишком мягким выражением; а что у них самих на этот счет составилось определенное мнение — это всем известно на Юконе.

Эти два компаньона в конце 1896 года спустились к восточному берегу Юкона и там вытащили из прикрытого мхом тайника небольшую лодку того типа, какие обыкновенно делаются в Питерборо. Вид их не представлял ничего привлекательного. Лето, проведенное в поисках золота, полное всевозможных лишений, превратило их одежду в лохмотья, а их самих в живые трупы. Над их головами жужжали тучи комаров. Их лица были покрыты голубой глиной. Каждый нес с собою по куску такой глины, и как только засыхал и спадал с лица верхний слой ее, они немедленно накладывали новый. Голоса двух

путешественников звучали жалобно и раздраженно, а их движения были вялы, медленны и говорили о бессонных ночах и беспрерывной борьбе с маленькими крылатыми злодеями.

— Эти комары уложат меня в гроб, — проговорил Кинк Митчелл, когда лодка соскользнула с берега в воду.

— Бодрей, бодрей! Теперь уже близко! — ответил Хэтчину Билл, пытаясь изобразить веселость на своей хмурой физиономии, которая от этого казалась еще более мрачной и похоронной. — Через сорок минут мы будем на Сороковой Миле, и тогда… ах, будь ты проклят, чертенок!

Он бросил весло и звонко шлепнул себя ладонью по затылку. На укушенное место он положил слой глины, не переставая громко ругаться. Кинку Митчеллу это не казалось забавным. Он воспользовался случаем, чтобы и на свою шею наложить слой глины потолще.

Они переправились через реку к западному берегу Юкона и, быстро взмахивая веслами, понеслись вниз по течению. Не прошло и сорока минут, как они обогнули выдающийся мыс речного острова и круто свернули налево. Перед ними внезапно раскинулся поселок Сороковая Миля. Оба выпрямились и стали внимательно

смотреть на открывшуюся перед ними картину. Их уносило течением, а они все еще долго и пристально смотрели на селение с выражением удивления и все увеличивавшегося огорчения. Ни из одной деревянной хижины — а их было около сотни — не поднимался к небу тонкой струйкой дым. Не звучал топор, не слышно было ни пилы, ни молотка. Перед главным складом не было видно ни собак, ни людей. У берега не стояло ни одного парохода, ни одной лодки, ни челноков, ни плотов. Река была так же пустынна, как и городок.

— Похоже, что архангел Гавриил уже протрубил в свою трубу, — заметил Хэтчину Билл, — а мы с тобой проморгали и опоздали!

Он сказал это так просто, точно ничего необычайного не случилось. Ответ Кинка Митчелла тоже прозвучал спокойно и просто.

— Все они баптисты, — сказал он, — а потому, должно быть, забрали лодки и отправились по воде в царствие божие.

— Мой отец тоже был баптистом, — пробормотал Хэтчину Билл. — Старик всегда утверждал, что водным путем к спасению ближе чуть не на сорок тысяч миль.

На этом их разговор и кончился. Лодка вреза-

лась в берег, они вышли из нее и стали взбираться наверх по высокому рыхлому обрыву. Чувство какого-то страха стало закрадываться в их души, когда они зашагали по безлюдным улицам городка. Весь он был залит ярким солнечным светом. Легкий ветерок похлопывал веревкой о флагшток перед запертыми дверями кафе «Каледония». Жужжали комары, распевали снегири и какие-то маленькие тундровые птички, перелетавшие с крыши на крышу. Но не было ни малейших признаков человеческой жизни.

— До смерти хочется выпить, — сказал Хэтчину Билл, против воли понизив голос так, что его едва можно было расслышать.

Кинк Митчелл кивнул. Ему тоже не хотелось, чтобы его голос нарушил гробовую тишину. В жутком молчании они побрели дальше, пока не натолкнулись вдруг на отворенную дверь. Над нею, во всю длину здания, висела грубо намалеванная вывеска: «Монте-Карло». Около двери, надвинув на глаза шляпу, сидел на придвинутом к стене стуле человек и грелся на солнышке. Это был старик. Седые длинные волосы его и белая борода придавали ему вид патриарха.

— Чтоб мне провалиться сквозь землю, если это не старый Джим Куммингс! — воскликнул Кинк

Митчелл. — Он так же, как и мы, опоздал явиться на Страшный Суд!

— Вернее, он не слышал трубы архангела, — продолжал Хэтчину Билл.

— Эй! Джим, проснись! — закричал он.

Старик беспомощно задвигал ногами, заморгал глазами и машинально спросил:

— Чего прикажете, джентльмены? Чем могу вам служить?

Они последовали за ним в дом и остановились у длинного прилавка, около которого в обычное время едва успевали управляться полдюжины служителей. Большая зала, всегда переполненная народом, теперь была пуста и мрачна, как могила. Не слышно было ни громыхания посуды, ни щелкания бильярдных шаров. Рулетка и столы для карточной игры походили под своими полотняными чехлами на могильные памятники. Из соседней танцевальной залы не доносилось веселых женских голосов.

Дрожащими руками старый Джим Куммингс стал вытирать стаканы, а тем временем Кинк Митчелл выводил пальцем вензеля на покрытом пылью прилавке.

— А где девицы? — с притворной веселостью воскликнул Хэтчину Билл.

— Ушли… — ответил старый буфетчик. Голос его звучал слабо и казался таким же древним, как он сам, и таким же неуверенным, как его дрожащие руки.

— Где Бидуэлл и Бэрлоу?

— Уехали.

— А Суитуотер Чарли?

— Уехал.

— А его сестра?

— Тоже уехала.

— Ну, а ваша дочь Салли со своим мальчонкой?

— Уехали, все уехали…

Старик грустно покачал головой и стал рыться среди пыльных бутылок.

— Что за чертовщина!.. Куда же они все уехали? — вдруг взорвало Кинка Митчелла, потерявшего терпение. — Не чума же их всех отсюда разогнала?

Старик тихонько усмехнулся.

— А разве вы не слыхали? — спросил он. — Все они перебрались в Доусон.

— Это еще что за место? — воскликнул Билл. — Река, кабак какой или деревня?

— Как? Вы ничего не слыхали о Доусоне?

Старик захихикал.

— Да ведь это целый город, — сказал он, — и не город, а городище! Гораздо больше, чем наша Сороковая Миля. Да, гораздо больше!

— Я семь лет в этой стране, — выразительно заметил Билл, — и определенно заявляю, что за все это время ни от кого ни единого раза не слыхал об этом городе. Подождите! Дайте нам еще виски! Ваши сведения меня просто ошеломили. В каких краях находится этот Доусон?

— На берегу, у самого устья реки Клондайк, — ответил старый Джим. — А вы-то сами где все лето проболтались?

— Это вас не касается, — уклончиво сказал Кинк Митчелл. — Мы, батенька, побывали в краях, где комары летают огромными тучами, и чтобы посмотреть на солнце и узнать, который час, нужно предварительно помахать палкой в воздухе. Правда, Билл?

— Совершенно верно, — ответил Билл. — Ну, продолжайте о Доусоне, Джим… Как это все случилось?

— Да вот нашли там золотой песок; в каждой пробе — чуть не унция золота, а до самой-то настоящей жилы еще и не докопались. Это на отмели у реки Бонанца.

— Кто нашел первый?

— Кармак.

При имени счастливца, открывшего золото, оба приятеля переглянулись с чувством нескрываемой досады и подмигнули друг другу.

— Сиваш Джордж! — ухмыльнулся Хэтчину Билл.

— Женатый на индианке! — презрительно хихикнул Кинк Митчелл.

— Ну, не стал бы я трепать мокасин, чтобы посмотреть, что он там открыл!

— Я тоже… Лентяй и ни к чему не способный человек. Оттого-то он и снюхался с индейцами. А этот его черномазый шурин — как его, Скукум, должно быть, — тоже там?

Старый буфетчик утвердительно кивнул.

— Да, — ответил он. — Ушли все, весь городок, за исключением меня да кое-каких калек…

— И пьяниц, — добавил Кинк Митчелл.

— Ну нет, сэр! — с одушевлением возразил старик.

— Держу пари, что пьяница Хонкинс туда не полез! — с уверенностью воскликнул Хэтчину Билл.

Лицо старого Джима просияло.

— Я принимаю ваше пари, Билл, — сказал он, — вы проиграете.

— Однако как же этот старый хрен мог сдвинуться с места? — спросил Митчелл.

— Взяли его, голубчика, — объяснил Джим, — связали и бросили на дно лодки. Пришли за ним прямо сюда, стащили вот с этого самого стула, да еще трех других таких же горьких пьяниц, валявшихся около пианино. Все потянулись по Юкону, направляясь к Даусону, словно их обуяло сумасшествие. Все отправились — и женщины, и дети, и грудные младенцы, — одним словом, все! Бидуэлл подошел ко мне тогда и сказал: «Джим, ты уж за меня поработай здесь, в «Монте-Карло», — я тоже отправлюсь!» А я и спрашиваю его: «А где же Бэрлоу?» — «Тоже, — говорит, — ушел». Повернулся этак и, не дождавшись моего ответа, вдруг марш в лодку, да и поплыл, как оглашенный. Вот я тут и сижу теперь один. За три дня только вам и подаю в первый раз.

Приятели переглянулись.

— Черт побери!.. — проворчал Хэтчину Билл. — Похоже на то, что мы с тобой, Кинк, всегда опаздываем. И когда подают суп, вместо ложек мы приносим вилки…

— А что, у тебя кошки заскребли на сердце? — сказал Кинк Митчелл. — Хороши золотоискатели! Все меднолобые, пьяницы да бездельники!

— Да еще унизившиеся до брака с индианками! — добавил Билл. — Ни одного порядочного золотоискателя во всей банде!.. Настоящие золотоискатели вроде нас с тобой, Кинк, — продолжал он авторитетно, — сейчас все в поте лица трудятся на Березовой балке. Из всей этой даусонской публики не найдется ни одного мало-мальски приличного шахтера, и я тебе серьезно говорю, что и шагу не сделаю для какой-то там Кармакской заимки. Сначала дай мне посмотреть, какого цвета найденный песок, а потом уж…

— Правильно!.. — согласился Митчелл. — Давай еще выпьем!

Выпив еще, они вытащили свою лодку на берег, перетащили весь багаж в свою хижину и стали готовить обед. Но, по мере того как проходили часы, они все более и более волновались. Они привыкли к молчанию великой пустыни, но могильная тишина города наводила на них уныние. Не раз ловили они себя на том, что прислушиваются, стараясь уловить какой-нибудь звук, или, как выразился Билл, «ожидая, что вот-вот подаст голос то, что и подать-то его не может». По пустынным улицам они опять прошли до «Монте-Карло», чтобы выпить, потом бродили по берегу реки у пароходных пристаней, но там

только бурлила вода да время от времени показывались на мгновение лососи, блестя на солнце чешуей.

Они присели в тени пакгауза и разговорились с чахоточным смотрителем, который не ушел со всеми только потому, что у него было кровохарканье. Билл и Кинк рассказали ему, как они решили забраться наконец в свою хижину и после тяжкой летней работы основательно отдохнуть. С некоторой настойчивостью, в которой, с одной стороны, слышалось желание, чтобы он им поверил, а с другой — ожидание от него по этому поводу возражений, они стали мечтать, как теперь будут наслаждаться своей праздностью. Но смотрителя это нисколько не интересовало. Он перевел разговор на золотые россыпи в Клондайке, и им никак не удавалось сбить его с этой темы. По-видимому, ни о чем другом он не был теперь способен ни думать, ни говорить, пока, наконец, Хэтчину Биллу это не надоело и он со злобой и негодованием не вскочил со своего места.

— Ну его к дьяволу, этот ваш Доусон! — воскликнул он. — Дался он вам!

— Правильно!.. — подтвердил Кинк Митчелл, просияв. — Ничего путного не сделают все эти

желторотые золотоискатели.

Снизу показалась лодка. Она была длинна и узка и пробиралась у самого берега. Ее толкали длинными шестами против течения несколько человек, стоявших в лодке.

— Это партия из Серкл-Сити, — указал на них смотритель пакгауза. — Я жду их с утра. Обитатели Сороковой Мили опередили их на сто семьдесят миль. Они тоже не дураки. Даром времени не теряют!

— Мы пока здесь посидим, — вкрадчиво сказал Хэтчину Билл, — и посмотрим, как они будут проходить.

В это время показалась другая лодка, вслед за которой, после небольшого промежутка, появились еще две. Между тем первая лодка уже поравнялась с сидевшими на берегу. Пока обменивались приветствиями, люди на лодке не переставали работать шестами, и хотя лодка двигалась против течения не очень скоро, все-таки через полчаса она скрылась из виду.

А снизу лодки все шли и шли бесконечной вереницей. Беспокойство Билла и Кинка возрастало. Они поглядывали друг на друга с недоумением, и когда глаза их встречались, они смущенно отворачивались. Но под конец не выдержали

и вызывающе посмотрели друг на друга прямо в глаза.

Кинк уже открыл рот, собираясь что-то сказать, но никак не мог найти подходящих слов и сидел с открытым ртом, уставившись на своего компаньона.

— Вот именно это самое я и думал, Кинк, — сказал ему Билл.

Они глупо ухмыльнулись и молча, точно сговорившись, сразу поднялись с места и отправились домой. Чем ближе подходили они к своей хижине, тем быстрее шли, и наконец бросились бежать со всех ног.

— Разве можно терять время, когда проходит мимо такое множество людей? — бормотал Кинк, засовывая жестянку с дрожжами в горшок из-под бобов и схватывая сковородку и кофейник.

— Ну, конечно, нельзя! — соглашался Билл, роясь в дорожном мешке, в котором находились его вещи, зимние носки и белье. — Да не забудь, Кинк, захватить поташ; он лежит там, на полке за печкой.

Не прошло и получаса, как они спустили лодку на воду и нагрузили ее. Глядя на них, смотритель пакгауза отпускал на их счет шуточки, называя их бедняжками, не устоявшими перед золотым

соблазном. Но, увидев, что Кинк и Билл, вооружившись длинными шестами, на самом деле направили лодку против течения и отправились в путь, он закричал им вслед:

— Счастливого пути! Желаю вам удачи! Не забудьте застолбить парочку участков и на мою долю!

Они весело закивали ему, и им было жаль этого больного беднягу, который волей-неволей должен был оставаться в пустом городе.

Кинк и Билл спешили изо всех сил. Согласно неписаным законам Северной страны, желающему сделать заявку нельзя терять время, а вбивающему столб с надписью о заявке нужно быть сильным. Казна уж сама, в силу своего привилегированного положения, позаботится о своих выгодах. Кинк и Билл оба отличались и ловкостью и силой. Широкими шагами, вразвалку они шли по болотистому пути и тем надрывали душу двум слабым спутникам, которые тщетно старались поспеть за ними. Позади, вытянувшись в нитку между ними и Доусоном (где остались их лодки и откуда начиналась пешеходная дорога), тянулся авангард партии из Серкл-Сити. В бешеной торопливости оба наши приятеля обогнали по пути все лодки. На берег Кинк и Билл высади-

лись первыми.

— Ну, задали мы им перцу! — засмеялся Хэтчину Билл, стирая со лба липкий пот и бросая быстрый взгляд на пройденный путь.

Три человека показались на том месте, где дорога скрывалась за деревьями. Двое других следовали за ними по пятам, а затем мужчина и женщина появились неожиданно, точно из-под земли.

— Ну-ка, поддай пару, Кинк! Давай обгоним этих! Не давай им ходу!

Билл ускорил шаги. Митчелл спокойно оглянулся.

— Вот увидишь, как все они начнут сейчас прыгать за нами!

— А вот один уже и допрыгался! — ответил Митчелл, указав на край дороги.

Какой-то человек лежал на спине, тяжело дыша, в полнейшем изнеможении. Лицо его было мертвенно-бледно, глаза налиты кровью и без всякого выражения, точно у умирающего.

– *Чечако!..* — проворчал Кинк Митчелл тоном бывалого человека старой закваски.

Компаньоны, верные обычаю местных старожилов, собирались поставить свой столб где-нибудь ниже начавшейся уже разработки,

но когда они увидели прибитую на дереве вывеску «81 *внизу*», что означало право на восемь миль вниз от пункта, где сделана первая заявка, переменили свое намерение. Они прошли эти восемь миль в каких-нибудь два часа. Это было убийственное путешествие по непостижимо отвратительной дороге, и когда они шли по ней, то все время встречали толпы изнуренных людей, которые падали от истощения тут же у дороги.

На месте первой заявки никто ничего не знал о верховьях реки. Шурин Кармака, индеец Скукум Джим, имел самые туманные представления о том, были ли на речке столбы выше тридцатой заявки или нет; но когда Кинк и Билл миновали семьдесят девятую *наверху*, они сбросили с плеч дорожные мешки, опустились на землю и стали курить. Все их усилия пропали даром. Вся река Бонанца оказалась уже уставленной столбами от самого устья и «пока видел глаз», — как жаловался Билл, когда они вечером сидели у Кармака, жарили ветчину и варили кофе.

— Попытайтесь-ка поискать вон там! — указал им на следующее утро Кармак.

«Вон там» оказалось широким высохшим руслом реки, которая впадала в Бонанцу у *седьмого наверху*. Приятели выслушали его совет с вели-

чественным высокомерием и, вместо того чтобы послушаться его, целый день проболтались на Адамовом ручье, притоке Бонанцы. Старая, но вечно новая история — вехи и там были уже поставлены по всему ручью.

Три дня Кармак настаивал на своем совете, и три дня они высокомерно его отвергали. Но на четвертый, так как идти было некуда, они все-таки снизошли к его указанию и отправились посмотреть на это «вон там». Они знали, что там еще не было сделано никаких заявок, да и сами не имели ровно никакого намерения ставить там свой столб. Путешествие было предпринято ими просто с целью дать исход плохому настроению. За последнее время они стали циниками и скептиками. Они смеялись надо всем и издевались над каждым чечако, попадавшимся им навстречу.

На № 23 вехи прекратились. Все остальное пространство оставалось незанятым.

— Лосиное пастбище! — засмеялся Кинк Митчелл.

Но Билл с самым серьезным видом отмерил пятьсот шагов вверх по пересохшему руслу речки и вколотил угловой столб. Где-то еще раньше он подобрал доску от ящика из-под свечей и на ее

чистой стороне сделал следующую надпись:

«Это лосиное пастбище предоставлено шведам и чечако.

Билл Рэйдер».

Кинк прочел эту надпись, одобрил ее и сказал:

— Так как это соответствует и моим чувствам, то и я могу под этим подписаться.

Таким образом на этой вывеске прибавилось еще и имя Чарльза Митчелла, и лица многих золотоискателей старой закваски прояснились в тот день от удовольствия при чтении этого изделия родственных им по духу людей.

— Ну, как «вон там»? — спросил их Кармак, когда они вернулись.

— К черту это ваше «вон там»! — ответил ему Хэтчину Билл. — Вот мы с Кинком отдохнем немного, а потом отправимся на поиски. Поищем Золотое Дно.

Золотое Дно было той легендарной речкой, о которой мечтали все люди «старой закваски». Говорили, что там золото покрывает дно, как гравий. Однако отдых в течение нескольких дней, предшествовавший этой экспедиции на речку Золотое Дно, повлек за собою в их планах некоторую перемену, особенно когда на сцену вдруг выступил некто Анс Гендерсон, родом швед.

Анс Гендерсон все лето проработал по найму около Миллерова ручья на Шестидесятой Миле, а по окончании лета стал бродить по Бонанце, подобно многим другим бездомным людям, попавшим в золотой вихрь, носившийся взад и вперед по стране. Это был высокий худощавый мужчина, с длинными, как у первобытного человека, руками и с ладонями, походившими на большие тарелки. Говорил он и двигался очень медленно, у него были светлые волосы и мечтательные бледно-голубые глаза, но о чем он мечтал, не знал никто, да и он сам, пожалуй. Быть может, эта мечтательность была признаком его ограниченности. Во всяком случае, именно такую оценку давали ему люди обычного порядка, и точно так же отнеслись к нему Хэтчину Билл и Кинк Митчелл.

Компаньоны весь день ходили по гостям и болтали, а вечером сошлись во временном помещении кафе «Монте-Карло» — большой палатке, где охотники за золотом давали отдых своему измученному телу и где плохое виски продавалось по доллару за стакан. Но так как единственной денежной единицей, имевшейся в обращении, был золотой песок и так как уплата производилась с помощью весов, то часто за стакан брали

дороже доллара — весы не всегда были точны. Билл и Кинк не пили главным образом потому, что их мошна достаточно уже оскудела и не могла выдержать ряда экскурсий к весам и обратно.

— Знаешь, Билл, — радостно объявил Митчелл, — у меня на примете есть один чечако, которого можно подковать на мешок муки!

Билл очень заинтересовался этим сообщением. Продовольствие у них приходило к концу, им нужно было запастись кое-чем, прежде чем отправиться на поиски реки, носившей название Золотое Дно.

— Мука стоит по одному доллару за фунт, — ответил он. — На какие деньги ты рассчитываешь купить ее?

— Я продам ему половину нашей заявки, — сказал Кинк.

— Какой заявки? — удивился Билл. А потом, вспомнив о том участке земли, который он объявил занятым для шведов и чечако, он протянул: — А-а! Но я бы не скупился и предложил бы всю заявку, раз уж дело пошло на то.

Билл покачал головой.

— Если бы я так поступил, — сказал он, — ему пришли бы в голову сомнения и он отказался бы. Я теперь играю на том, что наш участок пред-

ставляет громадную ценность и мы спускаем половину его только потому, что нам нечего есть. А когда сделка состоится, мы сможем отдать ему и всю нашу заявку.

— Да, в том только случае, если кто-нибудь уже не обратил внимания на нашу надпись, — возразил Билл, хотя ему очень понравилась перспектива обмена заявки на мешок муки.

— Она еще в наших руках, — продолжал убеждать его Кинк. — Она имеет двадцать четвертый номер, и дощечка еще на месте. Новые пришельцы приняли дело всерьез и стали расставлять вехи дальше нашего участка. Вся местность покрылась столбами до самого водораздела. Я как раз толковал с одним парнем, который только сейчас пришел оттуда и еле стоит на ногах.

Тут-то они в первый раз и услыхали медленный и спотыкающийся на каждом слове говор Анса Гендерсона.

— Мне здесь нравится… — говорил он буфетчику. — Пожалуй, и я поищу здесь для себя заявку.

Компаньоны перемигнулись, и не прошло и нескольких минут, как удивленный и в то же время полный благодарности швед пил виски с этими двумя суровыми незнакомцами. Но их усилия подпоить его не привели ни к чему: голо-

ва у него оказалась крепкой. Мешочек с золотым песком то и дело путешествовал от их столика к весам, причем Митчелл всякий раз с ужасом смотрел на то, как уменьшалось его содержимое, а Анс Гендерсон все еще сидел трезвый и не сдавался. В его бледно-голубых глазах, как в озаренном летним солнцем море, плавали и сияли неумиравшие мечты, но все эти переливы объяснялись только тем, что он с упоением слушал рассказы о золоте и удивительных удачах, а вовсе не тем, что глотал виски, которое необыкновенно легко проскальзывало сквозь его горло.

Компаньоны были в отчаянии, хотя и старались показать, будто они очень веселы и довольны.

— Вы со мной, дружище, не считайтесь, — вдохновенно обратился Хэтчину Билл к Ансу Гендерсону, кладя руку ему на плечо. — Пейте еще! Мы сейчас здесь справляем день рождения Кинка. Это… мой компаньон Кинк, Кинк Митчелл. А как ваше имя?

Узнав имя, он громко шлепнул Кинка ладонью по спине, а Кинк неловко притворился, что он-то именно и составляет сегодня гвоздь этого торжества. Анс Гендерсон был польщен, что его пригласили на праздник, и со своей стороны предложил им угощение. Он угощал первый и

последний раз в жизни и разошелся до неслыханной щедрости. За выпивку он заплатил из довольно увесистого мешка.

«А в этом мешке, пожалуй, будут и все восемьсот долларов», — подумал Кинк, зорко поглядев на мешок.

Приняв это во внимание, он воспользовался первым же представившимся случаем, чтобы поговорить конфиденциально с содержателем буфета и продавцом плохого виски Бидуэллом.

— Вот что, Бидуэлл, — обратился он к нему тем фамильярным тоном, каким обыкновенно разговаривают между собою бывалые люди. — Отвесь в мой мешок на денек-другой долларов пятьдесят! Мы с Биллом тебе за это спасибо скажем.

Вслед за этим прогулки мешка от столика к весам участились, и празднование дня рождения Кинка приняло еще более оживленный характер. Кинк даже затянул классическую песню стародавних времен «Сон запрещенного плода», но сорвался и поспешил замять свое смущение новой порцией виски. Даже Бидуэлл поздравил его одним-другим даровым стаканчиком, и к тому времени, как веки у Анса Гендерсона стали опускаться и готов был развязаться язык, Кинк и Билл были совершенно пьяны.

Билл размяк и почувствовал желание высказаться. Он стал рассказывать буфетчику и всему миру вообще, а Ансу Гендерсону в частности, как ему не везет и как его всегда преследует судьба. Особенных артистических способностей ему не требовалось, так как за него работало плохое виски. Слушая его, можно было почувствовать глубокую жалость и к нему самому, и к Кинку, и когда он стал рассказывать о том, как они оба обнищали и как из-за недостатка продовольствия должны теперь продать половину такой изумительной заявки, то и сам он не заметил, как искренно и непритворно заплакал. Даже Кинк, слушая его, поверил всему. А у Гендерсона заблестели глаза, и он спросил:

— А сколько вы хотите взять?

Билл и Кинк не слышали его, и он должен был повторить свой вопрос. Но они и на этот раз, видимо, не услышали. Тогда он заинтересовался еще больше. Он стал прислушиваться, пока компаньоны совещались между собой и притворно спорили, нужно или не нужно продавать участок, и если продавать, то какую назначить за него цену.

— Двести… ик!.. пятьдесят, — решительно заявил Билл. — Но мы все-таки… ик!.. полагаем, что

совсем не будем продавать участка.

— И хорошо сделаете! — высказал свое мнение Бидуэлл.

— Вот именно, — добавил Кинк. — Мы ведь тоже не филантропы, чтобы награждать каких-то там шведов.

— А я полагаю, что нужно еще выпить, — быстро сообразил Анс Гендерсон, стараясь переменить тему и отложить разговор, пока не наступит подходящий момент.

И вслед за этим, чтобы ускорить наступление подходящего момента, он пустил в ход свой мешок, который стал путешествовать из его большого бокового кармана к весам и обратно. Билл и Кинк сперва церемонились, но потом не устояли и сдались на его уговоры. А потом и он сам почему-то вдруг сконфузился. Отведя Бидуэлла в сторону и теряя равновесие, он ухватился за него, ища точку опоры.

— Как вы думаете? — спросил он. — Они не жулики?

— Нет, — искренне ответил Бидуэлл, — я их знаю уже много лет. Это люди старой закваски. Уж раз они продают свою заявку, значит, действительно прижаты к стене. Не такие люди, чтобы воздухом торговать!

— В таком случае, я думаю, что куплю, — заявил Анс Гендерсон и нетвердой походкой возвратился к компаньонам.

Но теперь на него самого нашло вдохновение, и он заявил, что купит или все, или ничего. Это причинило Хэтчину Биллу серьезное огорчение. Он произнес потрясающую речь, направленную против шведов и чечако, хотя в промежутках и клевал носом, причем речь его превращалась в невнятное бормотанье, и голова беспомощно падала на грудь. Каждый раз, как Кинк и Бидуэлл его осторожно толкали под столом, он встряхивался и разражался потоками ругательств и оскорблений.

Но Анс Гендерсон продолжал оставаться спокойным. Каждое оскорбление только увеличивало в его глазах ценность заявки. Ему казалось, что такой яркий протест против продажи должен был только доказывать одно — необходимость купить заявку, и Гендерсон почувствовал большое облегчение, когда Хэтчину Билл наконец захрапел и можно было без помехи разговаривать с его более сговорчивым компаньоном.

Кинка Митчелла можно было убедить, хотя он был несколько туповат при подсчетах. Он горько плакал, но соглашался продать или ползаявки

за двести пятьдесят долларов или же всю — за семьсот пятьдесят. Анс Гендерсон и Бидуэлл напрасно старались доказать ему, что его расчеты неправильны, что целое состоит из двух равных половин, но он горько жаловался и, поливая слезами стол и плечи своих собеседников, настаивал на своем, что если одна половина заявки стоит двести пятьдесят долларов, то за обе вместе необходимо взять ровно в три раза дороже.

Бидуэлл сохранил смутное воспоминание о том, как кончилась эта ночь, но в конце концов купчая была подписана, и, согласно ей, Билл Рэйдер и Чарльз Митчелл, носившие прозвища: первый — Хэтчину Билл, а второй — Кинк, уступали все свои права на заявку, известную как «Эльдорадо № 24», шведскому гражданину Ансу Гендерсону.

Когда Кинк подписал эту бумагу, потребовались соединенные усилия всех троих, чтобы как-нибудь поставить на ноги Билла. Держа перо в руке, он долго раскачивался взад и вперед над документом, и при каждом его нерешительном движении в глазах у Анса Гендерсона то вспыхивали, то тускнели мечты о золоте. Когда же наконец была получена и вторая драгоценная подпись и был произведен расчет золотым песком, то Гендерсон,

издав вздох облегчения, повалился тут же под стол и в сладких грезах о золоте проспал до утра.

Забрезжило утро, хмурое и холодное. Гендерсону было не по себе. Первым бессознательным и чисто автоматическим движением было поскорее нащупать на себе мешок. Его поразило, каким тощим он стал. Затем медленно в его сознание стали просачиваться воспоминания об истекшей ночи. Он хотел было опять заснуть, но чьи-то грубые голоса ему помешали. Тогда он открыл глаза и выглянул из-под стола. Двое людей, которые так рано поднялись, а может быть, и вовсе не ложились, проведя всю ночь в пути, громко утверждали у прилавка, что, по их мнению, «Эльдорадо № 24» не стоит ни гроша.

Гендерсон встревожился, стал шарить у себя по карманам и нашел купчую на это самое «Эльдорадо».

Через десять минут Хэтчину Билл и Кинк Митчелл уже были разбужены и подняты со своих постелей: швед Гендерсон старался втиснуть им в руки скомканный полулист бумаги.

— Я думаю, что возьму от вас обратно деньги, — бормотал он, — я думаю, что вы возвратите мне их!

У него сжималось горло, и глаза были полны

слез. А когда он стал перед ними на колени и стал умолять их, то слезы потекли у него по щекам. Но Биллу и Кинку было не до смеха. Для этого у них не хватило бы жестокости.

— Первый раз в жизни вижу, — сказал Билл, — что человек плачет из-за такой ерунды, как сделка на заявку. Позвольте вам заметить, что это меня крайне удивляет!

— Совершенно верно! — подтвердил и Кинк Митчелл. — Разве вы не знали, что покупали? Где же были у вас глаза?

Их удивление было совершенно искренне. Они ни за что на свете не смогли бы представить себя ползающими на коленях и плачущими по поводу какой-то сделки, а потому не могли понять этого и во всяком другом.

— Бедный, наивный чечако!.. — покачал головою Хэтчину Билл, глядя вслед удрученному горем шведу, когда тот вышел из кафе и медленно шел по дороге.

— А ведь здесь все-таки не Золотое Дно! — весело воскликнул Кинк Митчелл.

И еще день не успел склониться к вечеру, как они, накупив по высоким ценам на полученные от Анса Гендерсона деньги муки и сала, уже пересекали водораздел, направляясь к ручьям между

Клондайком и Индейской рекой.

Через три месяца, среди ужасной снежной вьюги, они по тому же водоразделу возвратились и стали спускаться по дороге к «Эльдорадо № 24». Они попали сюда совершенно случайно, не думая разыскивать свою бывшую заявку. Да ее и не было видно сквозь крутившиеся снежные вихри, пока наконец они не вступили в ее пределы. А потом, когда метель немного поутихла, они увидели кучу гравия, над которой возвышался ворот. Его вертел какой-то человек. Они увидели, как он вытянул при них из ямы ведро песку и опрокинул его у края кучи. Они также заметили и другого человека, страшно знакомого, который наполнял таз песком, только что выкопанным. У человека этого были громадные руки и волосы светло-желтого цвета. Но не успели они подойти к нему, как он повернулся к ним спиною и быстро вошел в хижину. Он был без шапки, и его поспешность они объяснили тем, что снег падал ему прямо на голову и за воротник. Билл и Кинк побежали за ним и столкнулись с ним уже в хижине, где он стоял на коленях около печки и, наклонившись над бочкой, промывал в тазу песок.

Он был слишком погружен в свое занятие, чтобы заметить, что кто-то вошел в хижину. Они

остановились позади него и стали заглядывать через плечо. Он ловко придал воде в тазу вращательное движение, раз или два остановившись при этом для того, чтобы пальцами выбрать из таза самые большие частицы песку. Вода была мутная, и разобрать в ней что-нибудь было трудно. Но вдруг он поднял таз и с размаху выплеснул из него воду. На дне осталась желтая масса, похожая на коровье масло.

Хэтчину Билл от волнения проглотил слюну. Ему никогда и не снилось такое богатство, какое было на дне таза.

— Вот так остаток! — прохрипел он. — А как вы думаете, дружище, на какую сумму здесь будет золота?

Гендерсон даже не посмотрел на него и ответил:

— Я думаю, что здесь будет унций пятьдесят…

— Значит, вы теперь безумно богатый человек?

Анс Гендерсон все еще не поднимал головы, погруженный в прополаскивание последних частиц песку, и небрежно ответил:

— Да, я думаю, что добыл уже золота тысяч на пятьсот долларов.

— Да, Билл, вот тебе и не может быть… — по-

вторил Кинк Митчелл.

Оба тихонько вышли из хижины и затворили за собой дверь.

Тысяча дюжин

Дэвид Расмунсен отличался настойчивостью и, подобно многим великим людям, был человеком одной идеи. Поэтому когда по всему свету раззвонили о находке золота на Севере, он решил заработать там кое-что на продаже яиц и всю свою энергию употребил на выполнение этого предприятия. Он все высчитал до последней мелочи, и предприятие сулило ему большие доходы. В Доусоне яйца продавались по пяти долларов за дюжину, и это было достаточной предпосылкой для того, чтобы начать дело. Отсюда неопровержимо вытекало, что только за одну тысячу дюжин яиц в этом царстве золота можно было получить пять тысяч долларов.

С другой стороны, надо было принять в расчет и издержки, и он добросовестно вычислил их, так как был человеком осторожным, практически-прозорливым, со здравым умом и трезвым духом, никогда не согревавшимся фантазией. Считая по пятнадцати центов за дюжину на месте, сумма на покупку всех яиц будет составлять сто пятьдесят долларов — просто пустяк в сравнении с тем колоссальным барышом, который можно

получить при продаже. И если предположить даже с самым невероятным преувеличением, что перевозка этих яиц и самого себя потребует восьмисот пятидесяти долларов, то все-таки останется чистого дохода четыре тысячи. Когда будет продано последнее яйцо, мешок Дэвида Расмунсена наполнится золотым песком.

— Вот видишь, Альма, — высчитывал он перед своей женой, а в это время вся столовая была завалена чуть не до потолка картами, официальными путеводителями и спутниками по Аляске, — видишь, настоящие расходы начнутся только с Дайэ. В первом классе проезд туда стоит пятьдесят долларов. Теперь: от Дайэ до озера Линдерман носильщики-индейцы возьмут за кладь по двенадцати центов за фунт, это составит двенадцать долларов за сотню или сто двадцать за тысячу. Предположим, я повезу полторы тысячи фунтов; за них возьмут с меня сто восемьдесят долларов — ну, пусть будет двести! Я уже говорил с одним приезжим из Клондайка, и он сообщил мне, что там можно купить лодку для перевозки яиц за триста долларов. Он же говорил мне, что я смогу захватить двух пассажиров и взять с каждого за переезд по полутораста долларов, что вполне окупит расход на покупку лодки.

К тому же эти пассажиры помогут мне в пути править лодкой. Затем… впрочем, все. Выгружать на берег буду в Доусоне. А ну-ка, сколько теперь всего вышло?

— Пятьдесят долларов от Сан-Франциско до Дайэ, двести от Дайэ до озера Линдерман, пассажиры оплатят лодку, итого двести пятьдесят долларов, — ответила жена.

— Добавь сюда еще сотню на костюм и дорожные расходы, — весело продолжал он. — Остается пятьсот на непредвиденные расходы. А какие же могут быть непредвиденные расходы?

Альма пожала плечами и подняла брови. Если эта громадная Северная страна способна поглотить ее мужа с тысячью дюжин яиц, то, конечно, соответственно должны быть и непредвиденные расходы. Она подумала об этом, но не сказала ничего. Она слишком хорошо знала Дэвида Расмунсена, чтобы осмелиться возражать.

— Принимая в соображение всякие задержки в пути, удвоим время! Итого, значит, понадобится два месяца. Ты только подумай об этом, Альма! Четыре тысячи в два месяца! А тут работаешь, не разгибая спины, за какие-нибудь сто долларов в месяц! Да-с, тогда мы развернемся, в каждой комнате у нас будет гореть газ, мы оденемся,

доходы с нашего дома будут окупать все налоги, страховку и воду, кое-что останется еще и на удовольствия. И кто знает, быть может, это для меня случай выдвинуться и стать миллионером! Ну, скажи, Альма, тебе не кажется, что я человек все-таки очень умеренный в своих желаниях?

И Альма не смела думать иначе. Ведь ее родственник, хотя, правда, отдаленный, которого все считали легкомысленным и ни к чему не способным и держали в черном теле, вдруг возвратился из этой волшебной Северной страны, привезя с собой золотого песка на сто тысяч долларов, не говоря уже о том, что оказался собственником половины тех приисков, на которых этот песок был добыт.

Поставщик Дэвида Расмунсена был немало удивлен, когда застал его у себя в лавке взвешивавшим яйца на весах, стоявших на прилавке, да и сам Расмунсен удивился не менее его, когда узнал, что дюжина яиц весит полтора фунта, — следовательно, во всей тысяче дюжин яиц будет тринадцать центнеров весу! Ого-го! Куда же теперь девать одежду, постельные принадлежности, посуду, не говоря уже о съестных припасах, которыми, весьма возможно, придется запасаться по пути? Все его расчеты, таким образом, оказы-

вались неверными, и он собрался было приняться за новые вычисления, как вдруг его осенила блестящая идея: взвесить яйца помельче.

«Будут они велики или малы, — подумал он, — от этого дюжина яиц не станет полдюжиной.

И вот оказалось, что в дюжине маленьких яиц было весу фунт с четвертью. После этого по всему Сан-Франциско забегали надоедливые комиссионеры, и все торговые фирмы и кооперативы были поставлены в тупик от такого внезапного спроса на яйца, и притом на такие, дюжина которых весила бы не более одного фунта с четвертью.

Расмунсен заложил свой дом за тысячу долларов, отправил супругу к ее родственникам, бросил службу и поехал на Север. Чтобы не выйти из своего бюджета, он пошел на компромисс и взял билет второго класса, ехать в котором, вследствие наплыва пассажиров, было хуже, чем в третьем. К концу лета, бледный и разбитый, он выгрузился вместе со своими яйцами на берегу моря в Дайэ. Но ему не удалось отдохнуть здесь, чтобы восстановить свои силы. Первое же свидание с Чилкутской конторой по перевозке грузов ужаснуло его, и холодок пробежал у него по спине. С него потребовали по сорока центов за каждые двадцать восемь миль, и пока он

торговался и не соглашался, цена поднялась до сорока трех. Пятнадцать худощавых индейцев принялись было грузить его ящики на подводы, но опять сбросили их на землю ввиду того, что какой-то богач из Скагуэя, в грязной рубашке и рваных штанах, потерявший лошадей на Белом перевале и теперь делавший последние отчаянные попытки попасть к себе через Чилкут, предложил им по сорока семи.

Расмунсен был тверд, как кремень, и нашел носильщиков по пятидесяти центов, которые через два дня доставили в целости его яйца к озеру Линдерман. Но ведь пятьдесят центов за фунт — это составляет уже по тысяче долларов за тонну, и таким образом его полторы тысячи долларов, предназначенные на расходы, пришли уже к концу, и он бродил по берегу, испытывая муки Тантала при виде того, как ежедневно снаряженные лодки отправлялись одна за другой в Доусон. А затем беспокойство вдруг овладело всем тем местом, где строились лодки. Люди неистово заработали с раннего утра и до позднего вечера, напрягая все свои силы, и с безумной поспешностью стали конопатить, вколачивать гвозди и просмаливать лодки. Объяснение этому нетрудно было найти. С каждым днем снеговая

линия все ниже и ниже спускалась с голых, безжизненных склонов горных масс, заморозки следовали за заморозками, неся с собой снег и крупу, а в заводях и тихих местах уже стал появляться ледок, который с каждым часом становился все крепче. Каждое утро изможденные трудом люди обращали свои бледные лица в сторону озера, чтобы посмотреть, не идет ли лед, потому что появление льда предвещало гибель их надеждам — надеждам на то, что они успеют проскользнуть по быстрой реке, соединяющей озера, раньше, чем начнется ледостав.

Разочаровало Расмунсена также и то, что он наткнулся на трех конкурентов в яичном деле. Правда, один из них, маленький немец, уже разорился и с потерянным видом вез обратно свой непроданный товар. У двух же других лодки были почти готовы, и они ежедневно взывали к богу торговцев и купцов, чтобы он удержал еще хоть на один денек железную длань погоды. Но железная длань опускалась ниже и ниже. Люди стали замерзать в снежных буранах, уже разражавшихся над Чилкутом, и Расмунсен не замедлил отморозить себе пальцы на ногах. Ему, впрочем, посчастливилось получить место для себя и для своего груза в только что спущенной

на воду лодке, но с него потребовали за это двести долларов, а у него этих денег не было.

— Я думаю, что вам лучше было бы подождать, — сказал швед-судостроитель, который давно уже освоился с клондайкскими порядками и мог считаться здесь человеком вполне осведомленным. — Подождите немного, и я построю для вас великолепный бот.

С таким ничем не гарантированным обещанием Расмунсен вернулся пешком к озеру Кратер и там случайно наткнулся на двух газетных корреспондентов, которые ехали из Стон-Хауза и уже умудрились растерять весь свой несложный багаж.

— Да-с, — заговорил он с ними не без важности. — Я привез на Линдерман тысячу дюжин яиц. Мой бот скоро будет готов. Вы только подумайте, как мне повезло! А ведь лодки сейчас нарасхват! Теперь за них потребуют уйму денег…

Услышав эти слова, корреспонденты ухватились за него, замахали перед его глазами бумажными долларами, зазвенели золотом, прося его захватить их с собою. Но он и слышать об этом не хотел. Они стали его умолять, и, наконец, он всемилостивейше согласился взять их с собой за плату по триста долларов с каждого. Тогда они

вручили ему вперед задаток. И пока они писали в свои почтенные органы корреспонденции о добром самаритянине с его грузом в двенадцать тысяч яиц, этот добрый самаритянин уже спешил обратно к шведу на озеро Линдерман.

— Эй, вы! — крикнул он ему, побрякивая золотом, полученным от корреспондентов, и жадными глазами поглядывая на уже готовую лодку. — Я беру ее!

Швед только тупо посмотрел на него и отрицательно покачал головой.

— Сколько вам предложил мой предшественник? Триста! Хорошо, вот вам четыреста.

Он стал совать шведу в руки деньги, но тот повернулся к нему спиною.

— Это не пройдет… — ответил он. — Я уже сговорился… Вы должны подождать.

— Хотите шестьсот? Это мое последнее слово. Хотите — берите, хотите — нет. Скажите ему, что передумали.

Швед погрузился в размышления.

— Ладно… — сказал он наконец.

И когда Расмунсен уходил от него, то слышал, как швед старался с помощью немногих известных ему английских слов объяснить присутствовавшим, почему он передумал.

Где-то на трудном переходе около Глубокого озера немец поскользнулся и сломал себе ногу; распродав свои яйца по доллару за дюжину, он нанял на вырученные деньги носильщиков-индейцев, и они понесли его на руках в Дайэ. Но зато на следующее утро, когда Расмунсен вместе со своими корреспондентами отправился наконец в далекий путь, два других его конкурента следовали за ним по пятам.

— Сколько везете? — крикнул один из них, маленький худощавый уроженец Новой Англии, со своей лодки.

— Тысячу дюжин! — горделиво ответил ему Расмунсен.

— Ого! Но держу пари, что я гораздо больше выручу за свои восемьсот, чем вы за всю вашу тысячу!

Корреспонденты предложили Расмунсену для пари деньги, но он отказался. Тогда уроженец Новой Англии предложил пари другому конкуренту, загорелому сыну морей, бывшему раньше матросом, который обещал им всем показать, как надо править лодкой в опасных случаях. А этот опасный случай он сам же навлек на свою голову, поставив большой брезентовый четырехугольный парус, благодаря которому

при каждом прыжке по волнам нос у его лодки глубоко зарывался в воду. Он вышел из озера Линдерман первым, но сразу же напоролся перегруженной лодкой на камни, торчавшие из белой пены у начала пролива, соединяющего оба озера. Расмунсен и уроженец Новой Англии, у которого также были на борту два пассажира, предпочли выгрузить свой багаж на берег, перенести кладь на своих плечах по суше, а пустые лодки перетянуть через быстрину прямо в озеро Беннет.

Это было узкое и глубокое озеро, в двадцать пять миль длиной, представлявшее узкое ущелье между горами, сквозь которое, не переставая ни на минуту, дули жесточайшие ветры. Расмунсен расположился привалом на песчаном берегу у самого входа в озеро, где было уже много людей и лодок, отправлявшихся на Север, прямо в самые зубы полярной зимы. Когда он проснулся рано утром, с юга дул резкий ледяной ветер, который становился еще резче от соприкосновения с покрытыми снегом горами и ледниками, и этот южный ветер был холоднее всякого северного. Но день был ясный, и Расмунсен увидел, что уроженец Новой Англии уже отчалил, подняв свой парус, и огибал ближайший мыс. Вслед за ним лодка за лодкой стали отправляться в путь,

и корреспонденты были вне себя от радости.

— Мы догоним его еще до Оленьего перевала, — убеждали они Расмунсена и кончили тем, что сами побежали ставить парус.

Таким образом, и «Альма» впервые на своем веку забороздила своим носом начавшую уже застывать поверхность озера.

Расмунсен всю свою жизнь боялся воды, но теперь налег на руль, сморщив при этом лицо и стиснув крепко зубы. Его тысяча дюжин яиц была в лодке, перед его глазами, заботливо укрытая багажом корреспондентов, и тем не менее у него вставали неотвязные опасения за его уютный домик и за проклятую закладную в тысячу долларов.

Было адски холодно. То и дело ему приходилось вытаскивать из воды руль и заменять его запасным, а его пассажиры сбивали с руля лед. Куда бы ни залетали брызги, они тотчас же превращались в лед, и погружавшийся в воду бушприт покрылся ледяными сосульками. «Альма» с трудом пробиралась по волнам, пока наконец на дне ее не стали расходиться швы, и корреспондентам пришлось теперь, забыв о всяких пари, скалывать лед на дне лодки и выбрасывать его за борт. Но медлить нельзя было. Началась безумная

игра вперегонки с надвигавшейся зимой. Лодки неслись с отчаянной быстротой.

— Т-т-т-тепперь уж нам не остановиться! — пробормотал один из корреспондентов, дрожа от холода больше, чем от страха. — Даже если бы пришлось погибнуть…

— Верно, — отвечал другой и, чтобы подбодрить Расмунсена, скомандовал ему: — Держите на середину, старина!

Расмунсен ответил гримасой, казавшейся идиотской на обмерзшем лице. Берега, закованные в ледяную броню, были покрыты белой пеной; нужно было для безопасности держаться середины озера, избегая по возможности крупных волн. Спустить парус значило дать волнам опрокинуть лодку, а самим утонуть в ледяной воде. Они проходили мимо лодок, прибитых к скалам, а один раз увидели, как небольшое суденышко, шедшее позади них с двумя пассажирами, потерпело аварию в бурунах: его завертело и перевернуло вверх дном.

— Г-глядите в оба, старина! — крикнул, стуча зубами, корреспондент.

Расмунсен осклабился обмерзшими губами и застывшей рукой приналег на руль. Набегавшие волны били в широкую корму «Альмы» с такой

силой, что проталкивали ее далеко вперед, причем парус выпячивался в обратную сторону, освободившись от ветра, и хлопал в воздухе. Расмунсену приходилось напрягать все свои силы, чтобы осадить лодку. Улыбка застыла у него на лице, и корреспондентам жутко было на него смотреть. Они с шумом пронеслись мимо огромного камня, торчавшего из воды ярдах в ста от берега. С его омываемой волнами вершины им дико кричал какой-то человек, стараясь перекричать рев непогоды. Но «Альма» скользнула мимо, и вскоре скала эта стала казаться маленьким пятнышком среди бушевавших вокруг нее волн.

— А ведь это янки из Новой Англии! — вдруг воскликнул один из корреспондентов. — А где же матрос?

Расмунсен поглядел через плечо на видневшийся вдалеке четырехугольный парус. Он заметил, как парус подпрыгивал на серой поверхности озера, и чуть не целый час затем наблюдал, как он все вырастал и вырастал. Значит, матрос спасся и теперь старается наверстать потерянное время.

Оба корреспондента перестали скалывать лед и стали следить за матросом. Двадцать миль по озеру Беннет уже остались позади, — достаточное пространство для того, чтобы волны могли

разгуляться на просторе и подскакивать чуть не до самых небес! Точно морской бог, погружаясь в воду и взлетая, мимо них промчался матрос. Громадный парус, казалось, поднимал его лодку на гребни волн и затем бросал со всего размаха в разверзшуюся пучину.

— И волны его не берут!

— П-п-подождите, он еще нырнет!

И почти в этот момент черный брезентовый парус вдруг исчез из глаз за громадной волной. Затем прокатилась новая волна и еще волна, но лодка больше не показывалась. «Альма» промчалась мимо. На поверхности были видны плававшие в беспорядке весла и ящики. Высунулась из воды чья-то рука, затем показалась лохматая голова.

Некоторое время все молчали. Когда же близко вырисовался противоположный берег озера, то волны стали хлестать через борт с такой настойчивостью, что корреспонденты перестали скалывать лед и начали вычерпывать воду ведрами. Не помогло и это, и потому после долгих и громких препирательств с Расмунсеном они самовольно принялись выбрасывать багаж за борт. Мука, ветчина, консервы, фасоль, одеяла, печка, канаты, всякие мелочи — одним словом, все, что

только подвернулось под руку — полетело в воду. Лодка тотчас же почувствовала облегчение, стала меньше зачерпывать воду и получила некоторую устойчивость.

— Не троньте! — строго крикнул Расмунсен, когда они взялись за верхний ящик с яйцами.

— Подите к черту! — последовал ответ диким, дрожащим голосом.

За исключением своих заметок, негативов и фотографических аппаратов, корреспонденты пожертвовали уже всем своим достоянием. Поэтому один из них наклонился, вцепился в ящик с яйцами и стал развязывать веревку.

— Бросьте! Говорят вам, не троньте!

Расмунсен вытащил револьвер и, налегая локтем на руль, прицелился. Корреспондент в это время стоял на поперечной банке[68], покачиваясь вперед и назад, лицо его было искажено безмолвным гневом.

— Боже мой!.. — вдруг воскликнул другой корреспондент, покатившись на дно лодки.

Пока корреспондент спорил с Расмунсеном, «Альма» была подхвачена огромной волной и закружилась. Парус захлопал, рея сорвалась,

---

[68] Сноски: 68
Банка — сиденье для гребцов на шлюпке.

ударила спорившего корреспондента по спине и сбросила его в воду. Мачта тоже рухнула за борт, увлекая за собой парус. Лодка сбилась с курса, ее стали заливать волны, и Расмунсен, схватив ведро, бросился вычерпывать воду.

В следующие за тем полчаса несколько других небольших лодок, таких же размеров, как у Расмунсена, тоже попали в бурун, охваченные паникой. А затем вдруг откуда-то появилась десятитонная баржа, и лодкам грозила опасность столкнуться с ней.

— Дай дорогу! — завопил Расмунсен. — Дай дорогу!

Но низкий борт лодки уже коснулся тяжелой баржи, и оставшийся в живых корреспондент улучил момент и вскарабкался на нее. Расмунсен, как кошка, переполз по ящикам с яйцами к носу «Альмы» и закоченевшими от холода пальцами стал связывать обрывки веревок.

— Проходи живей! — заорал ему рыжебородый человек с баржи.

— У меня здесь тысяча дюжин яиц! — закричал ему в ответ Расмунсен. — Возьмите меня на буксир. Я заплачу вам!

— Проходи живей! — проревели хором с баржи.

Громадный пенистый гребень налетел сзади, перекатился через баржу и чуть не потопил «Альму». Люди на барже заволновались и бросились к парусам, осыпая проклятиями лодчонку. Расмунсен, отвечая ругательствами, принялся вычерпывать воду. Упавшие мачта и парус, точно морской якорь, кое-как удерживали его лодку и давали ему возможность бороться с волнами.

Три часа спустя, озябший, обессиленный, но все еще продолжая вычерпывать воду, он добрался, наконец, до обледеневшего берега близ Оленьего перевала. Два человека — правительственный курьер и какой-то метис-коммерсант — выволокли его на песок, спасли его груз и помогли ему вытащить «Альму» на берег. Они прибыли сюда из Питерборо и дали ему на ночь убежище в своей палатке, вокруг которой завывал ветер. На следующее утро они отправились далее, а он предпочел остаться около своих яиц и не поехал с ними. После этого слава о нем как об обладателе тысячи дюжин яиц стала распространяться по всему краю. Золотоискатели, которым удалось проехать далее еще до полного ледостава, сообщили о его предстоящем прибытии. Седовласые старожилы Сороковой Мили и Серкл-Сити, хилые люди с испорченными зубами и расстроенными

желудками, при одном его имени невольно вспоминали те далекие дни, когда они ели цыплят и зелень. Дайэ и Скагуэя заинтересовались его существованием и от всякого вновь прибывшего требовали сведений, где именно он находится, а Доусон — этот золотой Доусон, давно уже забывший вкус омлета, — волновался и беспокоился и требовал от каждого, даже случайно прибывшего посетителя хоть одного словечка о человеке, везущем яйца.

Расмунсен об этом ничего не знал. На следующий после аварии день он кое-как починил «Альму» и отправился далее. С озера Тагиш ему навстречу задул жестокий восточный ветер, но он достал весла и мужественно приналег на них, хотя его постоянно относило течением назад и ему приходилось непрерывно скалывать с бортов лодки лед. Как это и полагается в той стране, в Уинди Арм он был выброшен на берег; на озере Тагиш его три раза заливало водою и прибивало к берегу, а на озере Марш затерло льдами. «Альма» окончательно потерпела крушение среди льдин, но яйца все-таки остались невредимыми. Расмунсен все их перетащил по льду, один, за две мили от берега и там закопал в укромном местечке, на которое потом, много лет спустя,

указывали знавшие об этом люди.

Теперь между ним и целью его путешествия — Доусоном — оставалось еще пятьсот миль, а водный путь был уже скован льдом. Но с выражением особой решимости на лице Расмунсен бросил все и отправился назад по озерам пешком. Что он перенес на этом длинном переходе, не имея при себе ничего, кроме легкого одеяла, топора и горсти бобов, обыкновенному смертному понять не дано. Только тот, кто хоть раз был захвачен метелью на Чилкуте, или искатель приключений, затерявшийся за Полярным кругом, могли бы это понять. По пути врач отнял ему два отмороженных пальца на ноге, и все-таки он не падал духом, и мы видим его сначала в качестве судомойки на пароходе «Павона» по пути к Пюджет-Саунд, а затем в качестве кочегара на почтовом пакетботе по пути в Сан-Франциско.

Теперь это был уже угрюмый, нечесаный человек, когда его снова увидели ковылявшим по натертому полу Народного банка, куда он явился, чтобы совершить вторую закладную на свой несчастный дом. Его впалые щеки просвечивали сквозь давно небритую бороду, и глубоко провалившиеся глаза светились холодным блеском. Его руки, огрубевшие от непривычной работы

и от влияния непогоды, были черными от грязи и угольной пыли. Все время он говорил только о яйцах, льдинах, ветре и волнах; но когда ему отказались выдать под дом более одной тысячи, то он стал лепетать какие-то бессвязные слова, главным образом о цене на собак, о стоимости корма для них и о таких вещах, как лыжи, полярная обувь и сани. Ему прибавили пятьсот долларов сверх второй тысячи, чего, в сущности, не стоил его дом, и вздохнули с облегчением, когда, наконец, он подписал закладную и вышел из банка.

Две недели спустя он опять перебирался через Чилкут, но на этот раз уже на трех санях, по пяти собак в упряжке. Передними санями он правил сам, а на остальных сидели два индейца. На озере Марш они откопали из-под снега яйца и погрузили их на подводы. Но далее не было санного пути. Расмунсен оказался первым, двинувшимся в этом году к Северу на санях; на его долю выпало проложить по снегу первый след и устранить с пути навороченные во время ледостава глыбы. Он часто замечал позади себя дымки чьих-то лагерей, тонкими струйками поднимавшиеся кверху в неподвижном воздухе, и удивлялся, почему другие путники не присоединяются к нему, чтобы ехать вместе. Но он был здесь чужим и

ничего не понимал. Не понимал он и сопровождавших его индейцев, когда они старались ему что-то объяснить. Они считали путь очень утомительным, но когда пробовали возражать хозяину и отказывались утром сниматься с лагеря, то он принуждал их к этому, угрожая револьвером.

Когда он провалился сквозь лед близ Белого Коня и вновь отморозил себе ногу, еще не совсем зажившую от прежнего обморожения, то индейцы стали питать надежду, что на этот раз он сляжет. Но он пожертвовал своим одеялом и, обмотав им ногу так плотно и толсто, что она стала походить на ведро, все-таки продолжал свой путь на передних санях. Это было тяжелое мученичество, и индейцы прониклись к нему уважением, хотя тайком от него постукивали себя пальцами по лбу и многозначительно покачивали головой. Один раз ночью они попытались бежать от него, но посланные им вдогонку пули заставили индейцев вернуться. После этого чилкутские дикари сговорились убить его; но он спал всегда чутко, как заяц, одним глазом. Поэтому, спал ли он или бодрствовал, им одинаково не представлялось случая исполнить свое намерение. Часто они старались втолковать ему, что означали дымки, поднимавшиеся в тылу, но он не понимал

их и стал относиться к ним еще подозрительнее, чем раньше. И когда они сердились и начинали выказывать неповиновение, то всякий раз он охлаждал их горячие головы тем, что выхватывал револьвер и направлял на них дуло.

Так пробирался он вперед — с индейцами, замышлявшими заговор, с одичавшими собаками, среди трудностей пути, надрывавших сердце. Он вел постоянную борьбу с индейцами, чтобы удержать их при себе; сражался с собаками, чтобы отогнать их от яиц; вел борьбу со льдинами, холодами и с болью в ноге, которая мешала ему двигаться. Едва успевала зарубцеваться его рана, как мороз вновь растравлял и разъедал ее, воспаление увеличивалось, и опухоль стала, наконец, величиной с кулак… По утрам, когда он ступал на ногу, голова у него кружилась от боли, и он едва не падал в обморок; но позднее, среди дня, боль утихала, чтобы возобновиться, когда останавливались на ночлег и он пытался заснуть. И все-таки он, бывший до тех пор простым счетоводом и всю свою жизнь просидевший за конторкой, находил в себе мужество выдерживать все это до тех пор, пока совсем не загнал своих индейцев и не замучил окончательно собак. Ему и в голову не приходило, как много он работал и сколько ему

приходилось страдать. Он был человеком идеи, и раз он уверовал в нее, то всецело отдался в ее власть. Его сознание было приковано к Доусону и к тысяче дюжин яиц, и эти два представления его «я» соединяло в одну золотую точку: пять тысяч долларов. Только об этом и мог думать. Во всем остальном он действовал как автомат. Он был ко всему безучастен. Все, что он делал, исполнялось им с точностью заведенной машины; так же работала и его голова. Поэтому выражение его лица окаменело, и индейцы стали побаиваться его, этого странного бледнолицего человека, который сумел превратить их в рабов и заставил быть соучастниками его безумных поступков.

На озере Ле-Бардж погода резко переменилась. Холод дошел до высшего предела на нашей планете; термометр показывал шестьдесят с лишним градусов ниже нуля. Работая все время с открытым ртом, чтобы легче было дышать, Расмунсен простудил свои легкие, и весь остаток пути его мучил сухой, лающий кашель, который был для него особенно невыносим, когда на стоянках приходилось дышать дымом костра или когда нужно было сверх меры напрягаться. На реке Тридцатой Мили он наткнулся вдруг на полынью, на которой только кое-где виднелись ненадежные

ледяные переходы, да у самых берегов держался еще узенький ледок, обманчивый и коварный. Рассчитывать на эти узкие полосы льда было нельзя, но он не желал ни с чем считаться, все еще пуская в ход револьвер, когда индейцы отказывались ему повиноваться. По ледяным переходам, присыпанным снегом, еще можно было кое-как перебираться, если принять меры предосторожности, и вот стали переправляться по ним на лыжах, держа в руках длинные палки, чтобы в случае провала удержаться на них и не утонуть. Перейдя сами, манили к себе собак. И при одном из таких переходов, когда вместо льда оказалась замаскированная выпавшим снегом полынья, один из индейцев погиб в ней. Он быстро пошел ко дну, и стремительным потоком его унесло под лед.

В эту же ночь, воспользовавшись тем, что светила луна, сбежал от Расмунсена и другой его индеец. Напрасно Расмунсен нарушал молчание ночи выстрелами из револьвера: это выходило у него быстро, но не очень метко. Тридцать шесть часов спустя индеец прибежал к полицейскому посту у реки Большого Лосося. А затем переводчик так докладывал своему удивленному начальству:

— Там… там… там какой-то странный человек… как это по-вашему?.. Ну, человек, лишившийся головы! Как? Да, да! Сумасшедший, сумасшедший! Вот именно! Все, понимаете ли, говорит про яйца, яйца, яйца… Он скоро придет сюда.

И действительно, через несколько дней явился туда и сам Расмунсен. Трое саней у него были привязаны друг к другу гуськом, и все собаки впряжены в одну общую упряжь. Так ехать было неудобно, и в тех местах, где дорога была плоха, ему приходилось каждые сани в отдельности выволакивать собственными силами, для чего требовалось очень много времени, не говоря уже о геркулесовых усилиях. Казалось, что он не слушал, когда полицейское начальство сообщало ему, что его индеец уже ушел по направлению к Доусону и, вероятно, находится теперь на перевале, на полпути между Селкерком и Стюартом. Не заинтересовался он и тем, что сама полиция расчистила перед ним путь вплоть до самого Пелли, потому что уже привык относиться ко всем превратностям судьбы, благоприятным и дурным, с фаталистической покорностью. Но когда ему сообщили, что в Доусоне голод усилился до невероятных размеров, он вдруг широко улыбнулся, тотчас же запряг собак и двинулся

в дальнейший путь.

Но только на этой последней стоянке и объяснилась для него тайна появлявшихся позади него на горизонте дымков. Когда было объявлено у Большого Лосося, что дорога уже накатана полицией до самого Пелли, то дымки позади сейчас же исчезли. Этого известия только и ожидали. Согнувшись около своего одинокого костра, Расмунсен с грустью увидел, как мимо него стали пролетать одни сани за другими. Первыми промчались курьер и метис, которые помогли ему выбраться на берег озера Беннет; затем на двух санях почта, направлявшаяся в Серкл-Сити; а потом потянулись всякого рода люди, ехавшие в Клондайк. Все эти люди и собаки были сыты и здоровы, тогда как у Расмунсена собаки были истощены до такой степени, что походили на скелеты, обтянутые кожей. Люди, от костров которых шел в свое время дымок, продвигались вперед не спеша, только через два дня на третий, и берегли свои силы для того, чтобы сразу же ринуться в путь, как только полиция наладит дорогу; он же, не зная этого, каждый день то проваливался, то карабкался наверх, с трудом продвигаясь вперед, и понапрасну терзал и обессиливал своих собак.

Сам он по-прежнему оставался неукротимым. Все эти сытые, свежие люди любезно благодарили его за то, что он для общей пользы потратил столько усилий, прокладывая путь, — благодарили его горячо, но все же не скрывали от него своих улыбок во все лицо и не скупились на насмешки; и теперь, когда он понял, в чем дело, ему оставалось только молчать. Он даже не испытывал горечи. Да и стоило ли? Ведь факт остается фактом, а идея — идеей. Ведь и сам он, и его тысяча дюжин яиц были все-таки здесь; а там, вдалеке, ждал Доусон.

Да, задача его нисколько не изменилась.

У Малого Лосося вышла вся провизия для собак; они забрались в его личные запасы и съели их целиком; начиная с Селкерка, ему пришлось поддерживать свои силы одними бобами, грубыми и тяжелыми для желудка, и у него каждые два часа так схватывало живот, что он корчился от боли. Хотя правительственный агент в Селкерке и прибил на дверях почты объявление, гласившее о том, что в течение двух лет ни одному пароходу не удалось из-за льда подняться вверх по Юкону, и потому цена на съестные припасы поднялась выше всякой меры, тем не менее он предложил Расмунсену произвести с ним обмен: за каждое

яйцо он предлагал ему по чашке муки. Расмунсен ответил отказом и отправился далее. Где-то на задворках ему удалось купить замороженную лошадиную шкуру для своих собак. Лошади были ободраны еще чилкутскими погонщиками, а остатки от туш и отбросы были употреблены в пищу индейцами. Он и сам попробовал было пожевать эту кожу, но шерсть от нее стала застревать у него в ранках, которыми был усеян весь его рот от бобов, и он принужден был отказаться от этой пищи.

Здесь, в Селкерке, ему пришлось столкнуться с первыми беглецами из Доусона, напуганными голодом, а затем они стали попадаться ему на пути уже целыми толпами; у всех был жалкий, изможденный вид.

— Нечего есть! — говорили все они в один голос. — Нечего есть, и достать негде! Каждый бережет последнюю крошку для себя самого. Мука — по два доллара за фунт, и негде ее купить.

— А яйца?

Кто-то ответил:

— По доллару за штуку, да где их взять-то?

Расмунсен произвел быстрые вычисления.

— Двенадцать тысяч долларов! — сказал он вслух.

— Вы о чем? — переспросил его собеседник.

— Так, ничего… — ответил он и погнал собак вперед.

Когда он прибыл к реке Стюарт, в восьмидесяти милях от Доусона, у него пало сразу пять собак, а остальные еле передвигали ноги. Он и сам едва тащился, напрягая последние свои силы. И все-таки он делал по десяти миль в день. Его лицо и нос, много раз отмороженные, стали темно-кровавого цвета. На него было жутко смотреть. Большой палец, отделенный в рукавице от прочих пальцев, был тоже отморожен и причинял ему сильнейшую боль. На ноге оставалась по-прежнему повязка, и странная боль появилась в голени.

На Шестидесятой Миле кончилась последняя порция бобов, которые он давно уже ел по счету, и все-таки он упорно отказывался от яиц. Ему совершенно не приходило в голову, что он мог их есть, и он шел, спотыкаясь и падая, все вперед и вперед. У Индейской реки какой-то добродетельный старожил подкрепил наконец и его самого, и его собак свежей олениной, а в местечке Энсли он почувствовал полную уверенность в том, что с лихвою вознаградит себя за все свои испытания, так как, находясь в пяти часах пути

от Доусона, он узнал, что сможет получить по доллару с четвертью за каждое привезенное им с таким трудом яйцо.

С сильно бьющимся сердцем и дрожащими коленями он стал подниматься на крутой берег, на котором были расположены бараки Доусона. Но собаки так устали, что он принужден был дать им немного передохнуть, а сам в изнеможении оперся на палку. Какой-то статный мужчина вразвалку проходил мимо него в громадной медвежьей шубе. Он с любопытством поглядел на него, затем остановился и изучающим взглядом окинул собак и трое привязанных друг к другу саней.

— Что вы везете? — спросил он.

— Яйца, — хрипло ответил Расмунсен голосом, немногим отличавшимся от шепота.

— Яйца? Да что вы говорите? Неужели?

От радости он даже запрыгал на месте, как сумасшедший, а затем пустился в какой-то воинственный пляс.

— И все это одни только яйца? — переспросил он.

— Одни яйца.

— Значит, вы и есть тот самый человек, везущий яйца, о котором здесь так много говорили?

Он ходил вокруг Расмунсена и оглядывал его со всех сторон.

— Нет, вправду, — допытывался он, — вы действительно тот самый человек?

Расмунсен не знал точно, о ком его спрашивали, но, предполагая, что речь шла именно о нем, подтвердил это. Человек немного успокоился.

— А почем вы рассчитываете их здесь продавать? — спросил он с осторожностью.

Расмунсен сразу приосанился.

— По полтора доллара, — ответил он.

— Идет, — тотчас согласился человек. — Отсчитывайте дюжину!

— Я… я ведь это полтора доллара за штуку, — смутился Расмунсен.

— Ну, разумеется! Я не глухой, слышал. Давайте две дюжины. Вот вам в уплату золотой песок!

Человек вытащил здоровенный мешок с золотом, величиною с добрую колбасу, и небрежно постучал им о палку. Расмунсен вдруг почувствовал странную дрожь в желудке, щекотанье в ноздрях и едва мог преодолеть в себе желание сесть и заплакать. Но вокруг стала собираться любопытная толпа, и со всех сторон посыпались требования на яйца. У него не было весов, но человек в медвежьей шубе добыл их откуда-то и

любезно стал развешивать золото, в то время как Расмунсен отпускал товар. Началась толкотня, поднялся крик. Каждый желал купить поскорее. И когда возбуждение достигло высшей точки, Расмунсен положил ему конец. Так дальше, по его мнению, продолжаться не могло. В том, что все они так охотно разбирали у него яйца, непременно должно было скрываться нечто, чего он еще не знал. Поэтому, думал он, будет гораздо умнее, если он сперва немного отдохнет, а потом справится с базарными ценами. Быть может, яйца здесь продаются и по два доллара за штуку. Во всяком случае, теперь он уже знал, что дешевле полутора долларов за штуку продавать яйца не следует.

— Стой! — воскликнул он, когда сотни две было распродано. — Больше продажи не будет! Я очень утомился. Мне надо найти себе комнату, и тогда — милости просим, пожалуйте!

Ропот пронесся по толпе, но человек в медвежьей шубе поддержал Расмунсена. Двадцать четыре замороженных яйца уже болтались в его просторных карманах, и его не интересовало, будут ли сыты остальные жители города или нет. Кроме того, он видел, что Расмунсен действительно еле держался на ногах.

— Комната сдается вон там, направо, за вторым углом от Монте-Карло, — указал он ему, — с окошком из бутылочных донышек. Она не моя, но я могу распоряжаться ею. Цена — десять долларов в сутки, дешевле дешевого. Въезжайте прямо в нее, а я вас потом навещу. Так не забудьте же — с окном из бутылочного стекла! Тру-ля-ля! — послышался затем его голос. — Пойду полакомиться яичками и помечтать о родине!

По пути к указанной комнате Расмунсен вспомнил, что ему очень хочется есть, и закупил для себя немного провизии в лавочке Северо-Американского торгово-промышленного кооператива, купил говядины у мясника и запасся сушеной лососиной для собак. Комнату он разыскал без затруднения, оставил собак в упряжи, а сам поскорее развел огонь и стал варить кофе.

— Полтора доллара за штуку... — рассуждал он вслух, не бросая своего дела, и все повторял и повторял свои вычисления. — А всего тысяча дюжин — это составит восемнадцать тысяч долларов!

Не успел он кинуть на раскаленную сковородку свой бифштекс, как дверь отворилась. Он обернулся. Это был человек в медвежьей шубе. Он вошел с решительным видом, как бы для того,

чтобы выполнить определенное дело, но, как только взглянул на Расмунсена, тотчас же выражение неловкости появилось у него на лице.

— Видите ли… — начал он — Видите ли…

И не договорил. Расмунсен подумал, что он пришел требовать с него квартирную плату!

— Видите ли… Э, да черт вас побери совсем, — ваши яйца протухли!

Эти слова ошеломили Расмунсена. Ему почудилось, будто кто-то нанес оглушительный удар в переносицу. Стены завертелись и запрыгали у него перед глазами. Он протянул руку, чтобы за что-нибудь ухватиться, и опустил ее прямо на плиту. Острая боль и запах горелого мяса привели его в себя.

— Я вижу, что вы хотите получить обратно деньги… — сказал он медленно, шаря в кармане, чтобы достать оттуда кошелек.

— Мне не нужны ваши деньги, — ответил человек, — но не найдется ли у вас других яиц, посвежее?

Расмунсен покачал головою.

— Нет, уж лучше возьмите обратно ваши деньги, — предложил он.

Но человек отказался и направился к выходу.

— Я еще приду к вам, — сказал он, — а вы тем

временем разберите ваш товар, — может быть, там что-нибудь и найдется!

Расмунсен вкатил в комнату чурбан и стал вынимать яйца. Это он делал вполне спокойно. Затем он взял топор и каждое яйцо стал разрубать на две части. Все половинки он внимательно осматривал, а затем бросал на пол. Сначала он брал яйца для пробы из каждого ящика отдельно, а затем стал опоражнивать ящики подряд. Куча на полу все росла и росла. Кофе давно уже перекипел, и дым от сгоревшего бифштекса наполнил комнату. Расмунсен разрубал каждое яйцо без исключения, делал это монотонно и неутомимо, пока, наконец, последний ящик не оказался пустым.

Кто-то постучался к нему в дверь раз и другой и вошел.

— Ну, и картина!.. — воскликнул гость и огляделся вокруг себя.

Разрубленные яйца стали уже оттаивать, и от них пошел отвратительный смрад, который становился все гуще и сильнее.

— Должно быть, это с ними случилось на пароходе, — сделал предположение вошедший.

Расмунсен посмотрел на него долгим, пристальным взглядом.

— Я Муррей, Джим Муррей, — отрекомендовался вошедший. — Меня здесь знают все. Я только что услышал, что ваши яйца протухли, и вот хочу предложить вам двести долларов за все. Они не так питательны для собак, как лососина, но все же пригодятся.

Казалось, Расмунсен окаменел. Он не двинулся с места.

— Идите к черту! — выговорил он наконец в тяжелом горе.

— Да вы рассудите! Ведь никто, кроме меня, не предложит вам такой цены за эту гадость, и лучше вам взять хоть что-нибудь, чем ничего. Двести долларов. Ну, сколько же вы хотите?

— Идите к черту!.. — тихо повторил Расмунсен. — Оставьте меня одного.

Муррей, не спуская с него глаз, осторожно попятился.

Расмунсен вышел вслед за ним и выпряг из саней собак. Он бросил им лососину, которую только что для них купил, и стал кольцами навертывать себе на руку ремень от упряжи. Затем он возвратился в комнату и запер за собою дверь на щеколду. Дым от сгоревшего мяса ел ему глаза. Он встал на скамейку, перекинул ремень через балку и измерил длину ремня глазами. Ему по-

казалось, что ремень короток, и он поставил на скамейку стул и влез на него. Он сделал на конце ремня петлю и просунул в нее голову. Другой конец он привязал покрепче. Затем оттолкнул стул ногой.

Замужество Лит-Лит

Когда Джон Фокс явился в страну, где виски так замерзает, что большую часть года этот напиток можно употреблять в качестве пресс-папье, то у него не было никаких идеалов и иллюзий, которые обычно мешают успеху искателей приключений. Родившись и получив воспитание в пограничной с Соединенными Штатами местности, он явился в Канаду с примитивным складом ума и с элементарно простыми взглядами на вещи, что сулило ему немедленный успех в его новой карьере. Из простого служащего, перевозившего в лодке путешественников и перетаскивавшего на своей спине их багаж через перешейки, он быстро поднялся в Компании Гудзонова залива до заведующего факторией и стал во главе торговой организации в форте Ангела.

Здесь, опять-таки благодаря своей первобытной простоте, он женился на туземке и, чтобы не нарушать своего супружеского счастья, держался как можно дальше от беспокойных и тщетных мечтаний, которые портят жизнь более разборчивым людям, мешают им заниматься делом и в конце концов подчиняют их себе. Он жил до-

вольный собой, весь отдавшись порученному ему делу, и наконец заслужил самый лестный отзыв за свою работу в Компании. Как раз в это время умерла его жена, ее родственники потребовали от него ее тело и повесили его в жестяном сундуке на вершине дерева, по обычаю их племени.

Покойная жена оставила ему двух сыновей, и когда Компания повысила его по службе, ему пришлось отправиться с ними еще дальше к северу, в глухие трущобы Северо-Восточной территории, в те места, которые носят название Син Рок, где ему надлежало стать во главе новой, еще более значительной организации по добыванию мехов. Здесь он провел в полном одиночестве и тоске несколько месяцев. Ему очень не нравилась внешность местных индейских девушек, но он сокрушался о своих подраставших сыновьях, которым не хватало заботливого ухода матери. Тогда его взгляд остановился на Лит-Лит.

— Лит-Лит… ну… она — Лит-Лит! — так в отчаянии описывал он ее своему главному клерку Александру Мак-Лину.

Мак-Лин еще хранил в свежести свое шотландское воспитание («оно не высохло еще за его барабанной перепонкой», как выражался по-своему Джон Фокс), и ему не могли казаться

привлекательными свадебные обычаи той страны. Однако он ровно ничего не имел против того, чтобы его начальник загубил свою бессмертную душу, собственно потому, что, в свою очередь, почувствовав зловещее влечение к той же Лит-Лит, он втайне был доволен, что загубит свою душу не он сам, а его начальник.

Не было ничего удивительного в том, что строгая шотландская душа Мак-Лина находилась в опасности растаять от солнечного блеска глаз Лит-Лит. Она была красива, стройна, как тростник, без тяжеловесности и неуклюжести, свойственных большинству индейских женщин. Свое имя «Лит-Лит» она получила в детстве, так как всегда порхала, как бабочка, переносясь с места на место, отличалась веселым характером и была так же смешлива, как и подвижна.

Лит-Лит была дочерью Снитшейна, видного вождя племени, и метиски-матери. К этому вождю и пришел Джон Фокс в один летний день, чтобы начать переговоры о Лит-Лит. Фокс сидел с вождем перед его юртой, в облаке жужжавших комаров; они беседовали обо всем, что находилось под солнцем, или по крайней мере обо всем, что было под солнцем в Северной стране, — за исключением одного: сватовства. А Джон Фокс

специально пришел к нему именно затем, чтобы сделать предложение. Снитшейн знал это, и Джон Фокс знал, что тот знает, но оба тщательно избегали об этом говорить. Это считалось утонченной индейской хитростью. На самом же деле говорило лишь о первобытной простоте.

Часы шли за часами, а Фокс и Снитшейн покуривали свои нескончаемые трубки, поглядывая друг на друга с великолепным артистическим простодушием. В полдень мимо них с невинным равнодушием прошли к реке Мак-Лин и его собрат по службе Мак-Тэвиш. А когда они через час шли обратно, то Фокс и Снитшейн все еще церемонно разговаривали, на этот раз уже о свойствах и качествах пороха и свиной грудинки, которые были только что получены Компанией для продажи. Между тем Лит-Лит, догадавшись о намерениях Фокса, подползла к стенке юрты изнутри и, приподняв ее нижний край, украдкой поглядывала на двух мастеров слова, вокруг которых облаками носились комары. Она покраснела, и глаза ее радостно заблестели от гордости, что ее руки добивается такой знатный человек, как сам начальник фактории (который в представлении индейцев был первым после господа бога); она сгорала от женского любопытства как можно

скорее и ближе узнать, что он за человек. Яркий солнечный свет, отраженный снегом, дым лагерей и северные вьюги сделали его лицо смуглым, как красная медь; ее отец был такого же цвета, а она — светлее. Она была чуточку довольна этим, а еще более радовалась тому, что начальник фактории был высок ростом и крепок, хотя и боялась немного его большой черной бороды, которая казалась ей такой странной.

Она была очень юна и не знала мужчин. Семнадцать раз она видела, как солнце появлялось на юге и затем пропадало за линией неба, и семнадцать раз была свидетельницей того, как оно снова появлялось и плыло по небу, а ночь становилась все короче, пока не наступал сплошной день. И все эти годы ее ревниво охранял Снитшейн, который всегда стоял между нею и всеми женихами, с неудовольствием выслушивал молодых охотников, когда они домогались ее руки, и отказывал одному за другим, точно Лит-Лит была бесценна. Снитшейн был корыстолюбив. Он как бы вложил в Лит-Лит свой главный капитал. Она представляла такую ценность, что он надеялся получить не обычные, а неисчислимые проценты.

Получив своего рода монастырское воспита-

ние, согласно обычаям племени, она с девичьим беспокойством глядела теперь из своей засады на человека, который, без сомнения, явился сюда за ней, — на своего будущего мужа, который будет учить ее всему, чему еще не могла научить ее сама жизнь, на своего владыку, каждое слово которого сделается для нее законом и который будет теперь руководить ее действиями и поступками до последних дней ее жизни.

Но, поглядывая из-за приподнятого края юрты, краснея и дрожа перед странной судьбой, которая ее ожидала, она была очень разочарована тем, что день уже кончался, а начальник фактории и ее отец все еще говорили возвышенные слова, касавшиеся совсем других вопросов и не имевшие ровно никакого отношения к сватовству. А когда солнце стало спускаться все ниже и ниже к северу и наступила полночь, Фокс стал проявлять определенное намерение уйти домой. Как только он собрался уходить, сердце Лит-Лит упало; оно сейчас же забилось вновь, когда он вдруг задержался и сделал полуоборот на каблуках.

— Кстати, Снитшейн, — сказал он, — я хотел бы обзавестись женщиной, которая стирала бы мне белье и обшивала меня.

Снитшейн откашлялся и указал ему на старую,

беззубую Ванидани.

— Нет, нет, — возразил Фокс. — Я хочу найти жену. Я уже давно подумываю об этом, и меня сейчас осенила мысль, что именно ты должен мне в этом помочь.

Снитшейн, казалось, заинтересовался, и начальник фактории счел нужным вернуться, точно это случилось само собой и невзначай, чтобы поговорить на новую, неожиданно пришедшую ему в голову тему.

— Катту? — предложил Снитшейн.

— Нет, она одноглазая, — возразил Фокс.

— Ляска?

— У нее расходятся коленки, когда она выпрямляется. Между ее коленями может проскочить Кипе — самая большая твоя собака.

— Сенати? — невозмутимо продолжал индеец.

Но Джон Фокс вспыхнул.

— Что ты меня дурачишь? — воскликнул он с притворным гневом. — Что я, старик, что ли? Зачем ты мне навязываешь старух? Или я беззубый? Хромой? Слепой? Или, по-твоему, я такой бедняк, что ни одна красивая девушка не пожелает меня полюбить? Смотри! Я стою во главе здешней фактории, богат и знатен, в моих руках власть в этой местности. Мои слова заставляют

всех вас трепетать и повиноваться!

Снитшейну эти слова очень понравились, хотя на его лице сфинкса ничего не отразилось. Он провел фактора за нос и заставил его первым начать разговор. Будучи существом, мыслящим примитивно, Снитшейн мог вместить в своей голове только одну мысль, зато обладал способностью разработать ее гораздо полнее, чем, например, Джон Фокс. Хотя Джон Фокс и недалеко ушел от него в своей первобытности, но был все-таки гораздо сложнее его, и потому мог охватывать иногда несколько идей сразу. Однако он скоро утомлялся и от одной из них, тогда как вождь индейцев проводил свою линию до конца.

Снитшейн спокойно продолжал перечислять перед Джоном Фоксом предлагаемых им девушек, но все они одна за другой, как только он произносил их имена, отвергались фактором в специальных для каждой из них выражениях. Затем фактор снова поднялся и собрался уходить домой. Снитшейн следил за тем, как он уходит, без малейшей попытки задержать его, и в конце концов увидел, что тот остановился.

— Нет, подумай только! — крикнул ему Джон Фокс. — Ведь мы оба забыли твою Лит-Лит! Не подошла ли бы она мне?

Снитшейн встретил это предложение с совершенно равнодушным видом, но в душе задрожал от радости. Это была победа. Сделай фактор, уходя, еще хоть один шаг вперед, и Снитшейн сам предложил бы ему свою Лит-Лит, но… фактор шага не сделал и проиграл.

Подойдет ли Лит-Лит Фоксу или нет — Снитшейн не дал определенного ответа и тем заставил белого человека ускорить переговоры.

— Ладно! — стал вслух обдумывать положение Фокс. — Хочешь добиться — пробуй.

И громко крикнул издали:

— Хочешь за Лит-Лит десять одеял и три фунта табаку первого сорта?

Снитшейн ответил таким жестом, по которому можно было судить, что все одеяла в мире и весь табак вселенной не смогли бы вознаградить его за потерю Лит-Лит и за все ее неисчислимые добродетели. А когда фактор стал настаивать, чтобы он сказал свою цену, он холодно потребовал за дочь пятьсот одеял, десять ружей, пятьдесят фунтов табаку, двадцать кусков красной материи, десять бутылок рома, музыкальный ящик, покровительство со стороны фактора и место у его семейного очага.

Джона Фокса едва не хватил удар от такой цены,

и следствием этого было снижение количества одеял до двухсот и полное устранение из реестра права на пребывание у семейного очага — совершенно неслыханная вещь при браках белых людей с дочерьми индейцев. В конце концов, после трех часов торговли, они ударили по рукам. Снитшейн получал за Лит-Лит сотню одеял, пять фунтов табаку, три ружья и бутылку рома, включая и доброе покровительство фактора.

Джон Фокс все же, по его собственному мнению, передал за девушку десять одеял и одно ружье. И когда он возвращался домой — солнце уже три часа ярко блистало на северо-востоке — ему было обидно и досадно, что Снитшейн обошел его.

Усталый, с видом победителя, Снитшейн отправился спать и застал Лит-Лит на месте преступления: она не успела выскочить из юрты.

Он многозначительно кашлянул.

— Ты видела, — сказал он. — Ты слышала все. Теперь тебе ясно, что твой отец — великий мудрец. Я устроил для тебя счастливое замужество. Запомни же мои слова и старайся следовать им. Иди, когда я прикажу тебе идти; приходи, когда я прикажу приходить, и мы разжиреем от богатства этого большого белого человека, который глуп в своих делах.

На следующий день на складах не производилось никакой торговли. К великому удовольствию Мак-Лина и Мак-Тэвиша, Фокс откупорил перед завтраком бутылку виски, приказал дать собакам двойную порцию еды и надел свои лучшие мокасины. Шли приготовления к *потлачу*. Так называется у индейцев пиршество, и Джон Фокс решил ознаменовать свой брак с Лит-Лит таким потлачем, который вполне соответствовал бы ее красоте. В полдень все племя собралось на попойку. Мужчины, женщины, дети и даже собаки ели до отвала, и не было ни одного человека, даже среди случайных посетителей и проходивших мимо охотников из других, соседних племен, который не получил бы вещественного доказательства, что жених действительно очень богат.

Вся в слезах и дрожа, как лист, Лит-Лит была одета своим бородатым женихом в новое ситцевое платье, в мокасины, шитые бисером; он же набросил ей на черные как смоль волосы шелковый платок, повязал ей шею красным шарфом, вдел в уши медные серьги, дал несколько колец и повесил на нее множество различных дешевых украшений, в том числе часы. Снитшейн едва мог владеть собой при виде всех этих подарков, но все же улучил момент и отвел дочь в сторону

от гостей.

— Не в эту ночь и не в следующую, — начал он многозначительно, — но придет ночь, когда я буду кричать на берегу как ворон. Тогда ты встань, брось своего большого мужа, который глуп, и беги ко мне.

И, заметив по ее лицу, как она огорчилась, что ей придется расстаться с выпавшей на ее долю такой удивительно счастливой новой жизнью, он торопливо продолжал:

— Ничего, ничего. Твой бывший муж, который попросту дурак, придет поплакать у моей юрты. Тогда и ты тоже должна будешь поплакать; ты скажешь, что тебе живется у него плохо, что тебе многое у него не нравится и что тебя продешевили и ты больше не желаешь быть его женой до тех пор, пока он не даст еще табаку, еще одеял и еще много кой-чего другого для твоего бедного старика отца Снитшейна. Запомни хорошенько — когда я ночью позову тебя с берега реки криком ворона, ты сейчас же должна прибежать ко мне.

Лит-Лит склонила голову, ибо ослушаться отца было для нее опасно. Она это хорошо знала. К тому же он просил ее о таком пустяке, как эта коротенькая разлука с фактором, для которого

ее возвращение составит большую радость. Она вернулась к гостям, а когда полночь стала близка, фактор разыскал ее и увел к себе среди шуток и прибауток, которые отпускали по их адресу старые индианки.

Лит-Лит скоро пришла к убеждению, что ее замужняя жизнь с главой торгового предприятия была даже лучше, чем она представляла себе. Теперь ей не нужно было таскать воду и дрова и прислуживать привередливым мужчинам своего племени. В первый раз в жизни она могла валяться в постели до самого завтрака. А какая постель! Чистая, мягкая и удобная, какой у нее никогда не было. А пища! Белая мука и испеченные из нее сухарики, горячие пироги и хлеб, да притом еще по три раза в день, — одним словом, все, что только ни захотела бы она. Такая расточительность казалась ей прямо невероятной.

Вдобавок ко всему этому фактор оказался добрым и предупредительным. Он уже схоронил одну жену и знал, когда нужно ехать с опущенными поводьями, а когда следует натянуть их.

— Лит-Лит здесь хозяйка, — многозначительно объявил он за столом на следующее после свадьбы утро. — Как она скажет, так и будет. Понимаете?

И Мак-Лин и Мак-Тэвиш сразу это поняли. Они по опыту знали, что у их начальника рука была тяжелая.

Но Лит-Лит не злоупотребляла своим положением. До мелочей подражая во всем своему мужу, она немедленно принялась ухаживать за его подраставшими сыновьями, предоставляя им всевозможные удобства и свободу в той же мере, в какой он предоставлял свободу ей. Дети хвалили за это свою новую мать во всеуслышание; Мак-Лин и Мак-Тэвиш тоже подавали за нее свои голоса; и фактор задрал нос кверху от радости своей брачной жизни, пока наконец молва о ее добродетелях и о том, как доволен ею муж, не сделалась достоянием всех жителей в районе Син Рока.

Тем временем Снитшейн, которому не давали спать мечты о неисчислимых доходах, пришел наконец к решению, что пора действовать.

Вечером на десятый день после свадьбы Лит-Лит была разбужена карканьем ворона и поняла, что это Снитшейн поджидал ее на берегу реки. Переживая счастье, она позабыла о своем обещании, и теперь ее охватил детский страх перед отцом. Некоторое время она пролежала в постели, дрожа от страха, не желая идти и в то же

время боясь оставаться. Под конец фактор одержал молчаливую победу: его доброта, крепкие мускулы и квадратная челюсть успокоили ее, и она решила пренебречь зовом Снитшейна.

Но наутро она встала напуганная и, принявшись за свои дела, каждую минуту боялась, что вот-вот за ней придет ее отец. День тянулся долго, и она успокоилась. Побранив вслух Мак-Лина и Мак-Тэвиша за какие-то мелкие упущения по службе, Джон Фокс помог ей набраться храбрости. Она решила ни на минуту не выпускать его из виду, и, когда последовала за ним в амбар и увидела там, как он переворачивал и перебрасывал с места на место громадные тюки товаров, точно пуховые подушки, она вдруг почувствовала себя в безопасности и решила не слушаться отца. Она была в амбаре первый раз — а Син Рок был главным распределительным пунктом для целой сети отделений Компании, — и ее поразило громадное количество товаров, которые она увидела на складе. Вид всего этого и представление о той нищете, которую она пережила в юрте у Снитшейна, отбросили в сторону все ее сомнения. Разговор с пасынком еще больше укрепил ее в принятом решении.

— Белый отец хорош? — спросила она его, и

мальчик тотчас же ответил, что лучше его отца нет никого на свете.

В эту ночь ворон закаркал снова. В следующую ночь его карканье стало еще настойчивее. Оно разбудило фактора, который прислушался, а затем громко крикнул:

— Ну его к черту!

И Лит-Лит спокойно засмеялась у себя под одеялом.

Ранним ясным утром Снитшейн явился со зловещим видом, и его усадили завтракать в кухне вместе со старухой Ванидани. Он отказался есть с женщиной и несколько позже нашел своего зятя в магазине в самый разгар торговли. Он сказал, что, узнав, каким сокровищем оказалась его дочь, пришел дополучить с фактора еще несколько одеял, табаку и ружей, в особенности ружей. Он полагал, что его обсчитали, и пришел требовать справедливости. Но у фактора не оказалось ни лишних одеял, ни лишней справедливости. К тому же до него дошли слухи о том, что Снитшейн уже побывал у миссионера в Три Форксе, который убедил его, что такие браки неугодны небу и что долг отца — потребовать свою дочь обратно.

— Теперь я добрый христианин, — сказал в заключение Снитшейн, — и хочу, чтобы моя дочь

была в раю.

Ответ фактора был короток и ясен. Он схватил своего тестя за шиворот и вышвырнул его без всяких разговоров за дверь.

Но Снитшейн, как змея, проскользнул через кухню в большую жилую комнату к Лит-Лит.

— Может быть, ты крепко спала последнюю ночь, когда я вызывал тебя к реке? — спросил он ее с мрачным видом.

— Нет, я просыпалась и слышала, — ответила она. Сердце у нее колотилось и готово было разорваться на части, но она овладела собой и продолжала: — И в другую ночь я слышала, и еще в первую…

А затем, полная своим великим счастьем и боясь, как бы у нее не отняли его, она вдруг с жаром и вдохновеньем заговорила о правах и положении женщины — первая лекция о новой женщине, прочитанная за 53-м градусом северной широты.

Но она даром метала свой бисер. Снитшейн пребывал еще в темноте веков. Когда она остановилась, чтобы передохнуть, он сказал с угрозой:

— Сегодня ночью я опять закаркаю, как ворон.

В эту минуту в комнату вошел фактор и во второй раз помог Снитшейну отыскать дорогу

домой в юрту.

Ночью ворон каркал более настойчиво, чем обыкновенно. Всегда спавшая очень чутко, Лит-Лит слышала его и улыбалась. Джон Фокс беспокойно ворочался во сне. Затем он проснулся и еще беспокойнее заерзал на постели. Он заворчал, зафыркал, стал ругаться и кончил тем, что вскочил с кровати, вышел в соседнюю комнату, снял со стены охотничье ружье, которое оставалось заряженным дробью с тех пор, как его брал беззаботный Мак-Тэвиш.

Фактор тихонько вышел из форта и направился к реке. Карканье прекратилось. Он лег в высокую траву и стал выжидать. Прохладный воздух был пропитан окружающей его красотой, фактор положил под голову руку и задремал. А затем и заснул.

Шагах в пятидесяти от него и спиной к нему, опустив голову на колени, точно так же спал Снитшейн, ласково убаюканный тишиной и спокойствием ночи. Прошел час, а затем он проснулся и, подняв голову, стал потрясать ночной воздух горловыми криками, подражая карканью ворона.

Фактор встрепенулся, но не внезапно, как пробуждается обыкновенно дикарь, а как циви-

лизованный человек, с постепенным переходом от сна к бодрствованию. В сумеречной мгле он увидел в траве какой-то темный предмет и прицелился в него. Карканье раздалось во второй раз, и тогда он спустил курок. Кузнечики прекратили свое стрекотанье, птицы перестали перекликаться, и карканье ворона прервалось и замерло в наступившей тишине.

Тогда Джон Фокс побежал посмотреть, во что он стрелял. Его пальцы нащупали копну жестких волос, и он круто повернул лицо Снитшейна кверху и посмотрел на него при свете звезд. Он знал, что дробь рассыпается веером при выстреле из охотничьего ружья с расстояния в пятьдесят шагов, и потому не сомневался, что только задел Снитшейну плечи и ту часть тела, которая находится ниже спины. И Снитшейн знал, что фактор знает это, но не подал виду.

— Что ты тут делаешь? — крикнул ему фактор. — Почему твои старые кости не в постели?

Снитшейн гордо выпрямился перед ним, невзирая на боль от дроби, засевшей у него под кожей.

— Старые кости не могут больше спать, — торжественно ответил он. — Я оплакиваю свою дочь, потому что моя дочь Лит-Лит хотя еще и жива, но душой уже умерла и, без сомнения, отправится

в ад белого человека.

— Так ты лучше поплачь вон там, подальше от берега, чтобы тебя не было слышно в форте, — проворчал Джон Фокс, поворачиваясь к нему спиной, — а то ты так громко ревешь, что никому не даешь спать по ночам.

— Сердце мое болит, — продолжал Снитшейн, — дни и ночи мои черны от печали.

— Черны, как ворон? — сказал Джон Фокс.

— Черны, как ворон, — ответил Снитшейн.

И с тех пор больше не повторялось карканье ворона на берегу. Лит-Лит с каждым днем полнеет и очень счастлива. У сыновей Джона Фокса от первой жены, прах которой мирно покоится на вершине дерева, появились сестры. Старый Снитшейн никогда не заходит в форт и по целым часам тонким старческим голосом жалуется на неблагодарность всех детей вообще и своей дочери Лит-Лит в частности. Он исполнен горечи от сознания, что его так нагло провели и что даже сам Джон Фокс отказывается от своего прежнего заявления, будто бы он переплатил за Лит-Лит десять одеял и одно ружье.

Батар

Бата́р был настоящим чертом. Это было признано всеми на Севере. Многие называли его дьявольским отродьем, но его хозяин, француз Блэк Леклер, предпочел дать ему позорную кличку Батар (ублюдок). Надо сказать, что и сам Блэк Леклер был тоже сущим чертом, так что парочка получилась подходящая. Есть пословица, что если сойдутся два черта, то ад готов. Этого в особенности можно было ожидать от Батара и Блэка Леклера. Когда они встретились в первый раз, Батар был худым голодным щенком со злыми глазами, и эти глаза тотчас же увидели перед собою жесткий взгляд и оскаленные зубы, потому что и у Леклера губа поднималась совершенно так же, как у волка, и обнажала ряд белых острых зубов. И когда он нагнулся над Батаром и вытащил его из корзинки, в которой визжали щенята, то губа у щенка приподнялась и глаза злобно засверкали. Несомненно, щенок и человек угадали друг друга, потому что Батар в ту же секунду впился в руку Леклера своими маленькими, еще молочными, клыками, а Леклер с помощью большого и указательного пальцев стал хладнокровно выжимать

из него молодую жизнь.

— Чтоб тебя черт побрал!.. — тихо проговорил француз, высасывая кровь из ранки на руке и глядя, как маленький щенок кашлял и задыхался на снегу.

Леклер повернулся к Джону Хемлину, заведовавшему складами на Шестидесятой Миле.

— Вот этим-то он мне и понравился, — сказал он. — Эй вы, мсье, сколько вам дать за него? Сколько стоит? Я беру его. Покупаю немедленно.

Леклер возненавидел этого щенка с первой же минуты и потому купил его и дал ему позорную кличку Батар. Так эта пара и пропутешествовала потом вместе по всему Северу — от Сент-Майкеля и дельты Юкона до истоков Пелли и даже до Тихой реки в Атабаске и Большой Невольничьей реки. Оба они получили своеобразную репутацию необыкновенно жестоких существ; такой жестокости никто даже и не подозревал в отношениях между человеком и собакой. Батар — значит ублюдок, существо, не знавшее отца, но Джону Хемлину было отлично известно, что отцом этой собаки был большой серый волк. А мать Батара, как он ее смутно припоминал, была вечно рычавшая, бесстыжая, с жесткой шерстью, широколобая и широкогрудая собака с хитрыми

глазами, с кошачьей живучестью и с большими способностями на всякого рода подлости и плутни. На нее ни в чем нельзя было положиться и ни в чем нельзя было ей доверять. Можно было верить только в ее постоянное вероломство да в ее похождения в глухих лесах. В родителях Батара было много злобы и много силы, и — плоть от их плоти и кость от их кости — он унаследовал от них все эти качества. А тут еще появился Блэк Леклер, чтобы наложить свою тяжелую руку на этого маленького, едва прозревшего щенка и чтобы всю жизнь давить его и держать в ежовых рукавицах, пока, наконец, из него не вырос большой, щетинистый, коварный и хитрый пес, полный мрачной ненависти и адской злобы. При другом, более хорошем, хозяине из Батара могла бы выработаться обычная, довольно работоспособная упряжная собака. Но такого случая ему не представилось, и Леклер развил в нем до последней степени его врожденные наклонности.

Повесть о Батаре и Леклере — это повесть о беспрерывной войне, жестокой и неумолимой, продолжавшейся пять долгих лет; первая встреча была только соответствующей прелюдией к этой войне. Вина лежала, разумеется, на Леклере, который ненавидел с полным сознанием, тогда как

длинноногий и неуклюжий щенок ненавидел слепо и инстинктивно. В первое время утонченной жестокости еще не было (она должна была появиться позже), а было просто грубое битье и дикое зверство. В один из таких моментов Леклер повредил Батару ухо. С той поры Батар лишился навсегда способности двигать разодранным ухом и так на всю жизнь и остался вислоухим, с этим постоянным напоминанием о своем мучителе.

И он действительно о нем не забывал.

В дни своего детства Батар лишь неразумно сопротивлялся. Ему от этого приходилось еще хуже. Но он все-таки отвечал на удары, потому что таково уж было свойство его натуры. Он никогда не сдавался. Остро визжа от боли после удара кнутом или дубиной, он тем не менее всегда, со своей стороны, посылал Леклеру вызов — рычание, мстительную угрозу, исходившую из глубины его души. На это Леклер не обращал внимания, и удары сыпались за ударами. Цепкость за жизнь у Батара была чисто материнская. Ничто не могло сломить его. От невзгод он процветал, от голодовок толстел и в страшной борьбе за жизнь выработал в себе необыкновенную сметку. От матери он унаследовал воровские ухватки и хитрость северной собаки, а со стороны волка-от-

ца — храбрость и свирепость.

Может быть, оттого, что в нем текла волчья кровь, он никогда и не скулил. Щенячий визг его прекратился, как только он прочно стал на ноги, и он сделался после этого сразу же мрачным и угрюмым и при каждом удобном и неудобном случае стал быстро нападать, никогда об этом не предупреждая. На ругань он отвечал рычанием, на удары — зубами, которые оскаливал, чтобы выразить всю свою непримиримую ненависть к человеку. Но Леклеру никогда не удавалось вызвать в Батаре даже самой мучительной болью страха или визга от страдания. Эта несокрушимость еще больше подливала масла в огонь, и Леклер выходил из себя, проявляя все большее неистовство.

Стоило Леклеру дать Батару полрыбы, а его товарищам по целой, как Батар бежал к собакам и отнимал у них их порции. Он обворовывал также и тайники в снегу, куда складывались съестные припасы, и сделался, наконец, страшным пугалом и для собак, и для хозяев. Когда однажды Леклер побил Батара, а затем приласкал Бабетту, ту самую Бабетту, которая и наполовину не работала так, как Батар, он тотчас же набросился на нее, повалил в снег и своими крепкими челюстями

раздробил ей заднюю ногу, так что Леклеру пришлось пристрелить Бабетту. В кровавых схватках со своими товарищами Батар неизменно побеждал их всех, диктовал им свои законы, как ходить в упряжи и как получать пищу, и они покорно подчинялись его авторитету.

За все пять лет он услышал одно ласковое слово, и один только раз его погладили по спине — он даже не понял, за что на него свалилась такая милость. Он вскочил, как настоящий дикий зверь, и его челюсти мгновенно сомкнулись. Его погладил и сказал ему ласковое слово миссионер из Санрайза, недавно приехавший на Север. А вслед за тем миссионер полгода был лишен возможности писать письма на родину в Штаты, и хирург из Мак-Квестшена нарочно проехал двести миль по льду, чтобы спасти его руку от заражения крови.

И люди и собаки держались настороже, как только Батар попадал в лагеря и посты. Люди встречали его угрожающе поднятыми для пинков ногами, а собаки ощетинивались и скалили клыки. Случилось, что какой-то человек нечаянно задел Батара. С чисто волчьей хваткой Батар сомкнул свои челюсти, точно западню, и въелся в икру этого человека до самой кости. Пострадавший тут же решил прикончить Батара, но

между ним и Батаром вдруг неожиданно встал Блэк Леклер и со зловещим огоньком в глазах обнажил свой нож. Зарезать Батара — ах, черт возьми, да разве это не составляло заветной мечты самого Леклера, но выполнение ее он приберегал для самого себя! Ведь все равно это когда-нибудь должно случиться, а тут вдруг собирался прикончить Батара кто-то другой. Нет, ни за что на свете! Батара убьет только сам Леклер. Этот вопрос решен.

Они сделались необходимыми друг для друга. Ненависть их связала так, как не могла бы связать любовь. Леклер решил добиться, чтобы Батар смирился перед ним, стал раболепствовать и скулить у его ног. А Батар… Леклеру известны были все мысли Батара, и он неоднократно читал их в его глазах. Он читал их настолько ясно, что в тех случаях, когда Батар находился за его спиной, Леклер непрерывно оглядывался через плечо.

Все удивлялись, когда Леклер отказывался продать Батара даже за большие деньги.

— Ведь вы рано или поздно убьете эту собаку, — сказал ему однажды Джон Хемлин, увидев, как Батар получил такой удар от своего хозяина, что почти без чувств повалился на землю. — Тогда уж ничего не получите.

— Это уж мое дело, мсье, — сухо ответил Леклер.

И никто не знал, целы ли остались ребра у собаки, так как страшно было к ней подойти.

Удивлялись также и тому, почему до сих пор Батар не сбежал от своего хозяина. Никто не мог этого понять. Но сам Леклер понимал. Он долго прожил на лоне природы, в глуши, где по месяцам не слышно было человеческого голоса, и научился понимать завывание ветра и бури, ночные шорохи, трепетный шепот утра и разбираться в разноголосице шумного дня. Хотя и смутно, но он слышал, как растут растения, как течет по стволам древесный сок, как лопаются молодые почки, и понимал голоса зверей и птиц: голос кролика, попавшего в западню, сердитого ворона, разрезающего воздух острыми крыльями, голос ночной птицы, купающейся в лунном свете, и голос волка, крадущегося, подобно серой тени, в темноте ночи. И ему было понятно, что творилось в Батаре. Леклер отлично знал, почему Батар не убегал от него, и потому-то оглядывался через плечо, когда Батар был за его спиной.

Страшен был Батар в разозленном состоянии — часто он бросался на Леклера, чтобы схватить его за горло, но тут же летел в снег, получив

жестокий удар рукояткой бича, и долго лежал в судорогах, почти без чувств. Такие случаи приучили его к терпеливому ожиданию. Когда он достиг полного расцвета своих физических сил, то решил было, что пришло его время. Он стал широкогрудым, с могучими мускулами, ростом выше самой высокой собаки. Вся его шея от головы до плеч была покрыта грубой щетиной, как у настоящего волка. Леклер спал, закутавшись в свои меха, когда Батар решил, что время действовать настало. Крадучись с низко опущенной к земле головой, с прижатым к голове ухом, чисто кошачьей неслышной поступью, он подполз к своему хозяину, едва дыша, и поднял голову только тогда, когда был совсем близко от Леклера. Он приостановился на мгновение и взглянул на загорелую, толстую и жилистую, как у быка, шею, в которой бился пульс. Созерцая ее, он обнажил клыки и втянул в пасть язык; он вспомнил и разорванное ухо, и неисчислимые побои, и все те ужасные обиды, которые были ему нанесены. И не издав ни малейшего звука, он бросился на спавшего.

Леклер проснулся от невыносимой боли — клыки Батара вонзились ему в горло; сам недалеко уйдя от животного, он проснулся с совершенно

ясной головой и в полном сознании. Обеими руками он сдавил горло Батару и выскочил из-под мехов, чтобы навалиться на него всею тяжестью своего тела. Но ведь тысячи предков Батара недаром впивались зубами в глотки бесчисленных оленей и лосей и сваливали их с ног: ловкость предков перешла и к нему. Когда Леклер навалился на него, Батар вытянул задние ноги вверх и заработал ими вдоль груди и живота Леклера, разрывая на них кожу и мускулы. Когда же Батар почувствовал, что тело человека стало над ним корчиться, он стал рвать человека и за горло. Их с рычаньем окружили другие упряжные собаки, и Батар, чувствуя, что у него скоро прервется дыхание и он лишится чувств, все-таки сознавал, что собаки только и ждут, как бы наброситься и растерзать его. Но не это смущало его, все дело было в этом человеке — в человеке, который находился сейчас над ним, и он рвал, грыз, тряс и тянул его изо всех своих сил. Но Леклер продолжал душить его обеими руками, пока Батар не стал судорожно хватать воздух, глаза его покрылись мутной пленкой и наконец закатились. Тогда его челюсти медленно разжались, и высунулся черный распухший язык.

— Что, дьявол, хорошо? — пробормотал Леклер,

выплевывая затопившую его горло и рот кровь и оттолкнув от себя полуживого пса.

А затем он криками отогнал остальных собак, напавших было на Батара. Собаки расступились, выжидательно уселись на задние лапы и, ощетинив шерсть, стали облизываться.

Батар быстро пришел в себя и, услышав окрик Леклера, поднялся на лапы и слабо потянулся.

— А-а-а!.. Проклятый черт! — забормотал Леклер. — Я тебе покажу. Я тебя доконаю! Ты у меня берегись!

Воздух наполнил измученные легкие Батара и опьянил его, как вино. Он бросился опять к лицу Леклера, но промахнулся, и его челюсти захлопнулись, звонко щелкнув одна о другую. Оба снова сцепились и раз и другой перевернулись на снегу. Леклер поспешно работал кулаками; потом они расцепились и, все время смотря друг другу в глаза, стали кружиться. Конечно, Леклер мог бы легко использовать свой нож. К тому же около него всегда лежала наготове и винтовка. Но в нем самом теперь проснулся и заговорил дикий зверь. Он решил справиться с Батаром одними руками и зубами. Батар подскочил, но Леклер ударом кулака сбил его с ног, навалился на него всем телом и вонзил свои зубы собаке в плечо до

самой кости.

Это была борьба, напоминавшая далекое прошлое, времена дикой юности земли. Площадка в темном лесу, кольцо скулящих волкодавов, в центре кольца два сражающихся зверя, вонзающие друг в друга зубы, рычащие, беснующиеся, задыхающиеся, одичавшие от страсти и жаждущие убийства, терзающие друг друга в своей изначальной, первобытной жестокости.

Леклеру удалось наконец ударить Батара кулаком по затылку, свалить его на землю и на некоторое время оглушить. Тогда он вскочил на собаку ногами и стал подскакивать на ней, точно желая вдавить ее тело в землю. И когда обе задние ноги у Батара были переломлены, Леклер остановился и перевел дыхание.

— А-а-а! — закричал он, не в силах больше говорить и потрясая кулаками.

Батар был неукротим. Он беспомощно валялся на земле, но все еще силился оскалить зубы и зарычать, хотя был уже настолько слаб, что не мог этого сделать. Леклер пнул его ногою, и обессилевшие челюсти собаки схватили его за пятку, но не могли укусить.

Тогда Леклер взял бич и стал полосовать Батара, точно хотел рассечь его на куски, и при каждом

ударе повторял:

— Уж на этот раз я сломлю тебя! Что? Не веришь? Нет, уж на этот раз я сломлю тебя!

В конце концов, истощенный до крайности, ослабев от потери крови, Леклер оказался не в силах владеть собой и упал на свою жертву; а когда похожие на волков собаки, жаждавшие мести, сомкнули свой круг, то он, прежде чем потерять сознание, успел навалиться на Батара всем телом, чтобы укрыть его собою от их обнажившихся клыков.

Это произошло недалеко от Санрайза, и миссионер, который через несколько часов после этого открыл дверь Леклеру, был немало удивлен тем, что в запряжке его саней не увидал Батара. Его удивление увеличилось еще более, когда Леклер сам откинул полость с саней, взял из саней Батара на руки и, пошатываясь, внес его в хижину. Случилось так, что и хирург из Мак-Квестшена как раз приехал в гости к миссионеру. Увидав рану на шее Леклера, он хотел осмотреть ее.

— Mersi[69], не нужно... — сказал Леклер. — Вы сначала займитесь собакой. Вы говорите, она издохнет? Нет, это не годится! Я еще должен сло-

---

[69] Сноски: 69
Mersi — по-французски — благодарю.

мить ее. Вот почему ей нельзя еще умирать.

То, что Леклер поправился, по мнению хирурга, было необычайно, а миссионер назвал это чудом. Но Леклер зато так ослабел, что весной не устоял против лихорадки и свалился. Что же касается Батара, то его положение было еще хуже; но его живучесть превозмогла все: кости у него на ногах срослись, внутренние органы зажили, и, пролежав связанным несколько недель на полу, он наконец поправился. Тем временем выздоровел от лихорадки и Леклер и уже грелся на солнышке, сидя у порога своей хижины. Батар успел восстановить свое верховенство над всеми собаками и привел в повиновение не только ту запряжку, в которой ходил, но и собак миссионера.

Он не повел ни единым мускулом и не пошевелил ни одним волоском, когда поддерживаемый миссионером Леклер впервые вышел из хижины и медленно, с крайней осторожностью, опустился на трехногую табуретку.

— Bon[70], — сказал Леклер. — Хорошо! Славное солнце!

И он вытянул вперед свои исхудавшие руки и стал растирать их на солнечном тепле. Потом

---

[70] Сноски: 70
Bon — по-французски — хорошо.

его взгляд упал на Батара, и в глазах у него вдруг зажегся прежний огонек. Он слегка коснулся руки миссионера.

— Mon père[71], — сказал он, — этот Батар — страшный дьявол. Принесите мне револьвер, иначе мне не придется посидеть на солнце спокойно!

И много дней просидел он на солнце, у порога своей хижины. Он никогда не позволял себе задремать, и револьвер все время лежал у него на коленях наготове. Батар же, со своей стороны, усвоил привычку каждое утро смотреть, лежит ли оружие на привычном месте. Увидев его, он чуть-чуть приподнимал верхнюю губу — в знак того, что понимал, а Леклер, в свою очередь, тоже поднимал губу, чтобы ответить ему улыбкой. Миссионер заметил это.

— Боже мой! — воскликнул он. — Я начинаю думать, что животное понимает!

Леклер слабо усмехнулся.

— Вот посмотрите, mon père, — сказал он, — как он сейчас прислушивается к каждому моему слову!

И, как бы в подтверждение этих слов, Батар ед-

---

[71] Сноски: 71
Mon père — по-французски — отец мой, батюшка.

ва заметно пошевелил своим неизуродованным ухом и насторожил его, чтобы лучше слышать.

— Я говорю: убью!

Батар глухо зарычал и ощетинился. Каждый его мускул напрягся в ожидании.

— А теперь я поднимаю револьвер, — продолжал Леклер, — вот так! — И в подтверждение своих слов он медленно прицелился в Батара.

Одним прыжком Батар отскочил к хижине, быстро обогнул ее и скрылся из виду.

— Изумительно! — повторил миссионер.

Леклер гордо улыбнулся.

— Но почему он не убежит от вас?

Плечи Леклера приподнялись — излюбленный жест французов, который означает все что угодно — в пределах от полнейшего недоумения и вплоть до полного понимания.

— Так почему же вы тогда его не убьете?

Леклер снова приподнял плечи.

— Mon père, — ответил он не сразу. — Не пришло еще время. Он настоящий черт. Когда-нибудь я переломаю его вот так, на маленькие кусочки. Что? Да, когда-нибудь! Bon!

Настал наконец день, когда Леклер собрал всех своих собак, погрузил их на судно и спустился вместе с ними до Сороковой Мили и далее до

Паркюпайны, где получил поручение от Тихоокеанской Коммерческой Компании, и на значительную часть года отправился в путь. После этого он поднялся по Койокуку вплоть до покинутого Полярного городка, а затем вернулся по течению Юкона, переезжая от стоянки к стоянке. И в течение всех этих долгих месяцев Батар получил основательную выучку. Он переносил всевозможнейшие мучения, испытывал голод и жажду, страдал от жары, но больше всего томился от музыки.

Как большинство представителей его породы, он не любил, когда играли на музыкальных инструментах. Музыка доставляла ему какое-то утонченно-мучительное беспокойство, вытягивала из него один нерв за другим и раздирала на части все его существо. Она заставляла его долго по-волчьи выть, точь-в-точь как волки воют в морозные звездные ночи. В борьбе с Леклером это было его единственным уязвимым местом, тут он позорно сдавался. Леклер же страстно любил музыку — так же страстно, как любил выпивку. Когда настроение его искало себе выхода, ему нужно было или то или другое, но чаще всего и то и другое вместе. Когда же он напивался и, пьяный, вдруг вспоминал, что еще не услаждал

себя музыкой, бес пробуждался в его душе, и он изощрялся в том, как бы изысканнее помучить Батара.

— Теперь мы немного займемся музыкой, — обычно говорил он. — А? Что ты на это скажешь, Батар?

У него была старая гармоника, которую он берег как зеницу ока. Хоть и старая, она все же была первосортная, и из-под ее клапанов он извлекал такие чарующие, томящие звуки, каких не слышал еще ни один человек. Когда он начинал на ней играть, у Батара судорожно сжималось горло, и, стиснув зубы, он шаг за шагом пятился в дальний угол хижины. А Леклер все играл и играл, держа под мышкой наготове дубину, и следовал за животным шаг за шагом до тех пор, пока ему некуда было деваться.

Сперва Батар старался съежиться в комок и занять как можно меньше места на полу, но когда музыка приближалась к нему вплотную, он против воли поднимался на задние лапы, прижимался спиной к бревенчатой стене и начинал махать в воздухе передними лапами, точно для того, чтобы отогнать от себя доносившиеся до него звуковые волны. Он крепко стискивал зубы, и все тело его подергивалось от жестоких

мускульных сокращений, пока, наконец, он, дрожа как лист, не замирал в тупом, молчаливом страдании. По мере того как он терял самообладание, его челюсти раздвигались, и он издавал глубокие гортанные звуки, слишком низкие для того, чтобы их могло воспринять человеческое ухо. А затем, расширив ноздри, широко открыв глаза и ощетинившись от бессильной злобы, он начинал протяжно выть по-волчьи. Вой разрастался до самой высокой душераздирающей ноты, а затем превращался в скорбные рыдания; снова наступал подъем, все выше и выше, и опять надрывали душу рыдания, выражая безысходную тоску.

Это был настоящий ад. С дьявольской проницательностью Леклер, казалось, угадывал каждый отдельный нерв собаки; протяжными стонами, дрожащими переливами, которые он извлекал из своей гармоники, он старался довести собаку до последнего отчаяния. Для Батара это было ужасной пыткой, и в течение суток после таких концертов он оставался в таком нервном напряжении, что вскакивал при самых обычных звуках и пугался своей собственной тени — и все-таки, несмотря ни на что, по-прежнему оставался злым и непримиримым по отношению к своим това-

рищам по запряжке. Он и не думал признавать себя побежденным. Пожалуй, он становился от этого все более мрачным и угрюмым, поджидая чего-то с упорным терпением, которое начинало озадачивать и приводить в смущение и самого Леклера. Целыми часами собака лежала у огня без малейшего движения, уставившись на Леклера полными ненависти, скорбными глазами.

Порой человеку казалось, что он посягнул на самую сущность жизни, которая заставляла ястреба, подобно пернатой молнии, падать вдруг на землю, серых гусей совершать свои перелеты через океан, мчала лосося на расстояние двух тысяч миль по кипящим водам Юкона.

В такие минуты Леклер остро чувствовал, что и сам должен проявить свою непобедимую сущность; и с помощью виски, своей необычайной музыки и при участии Батара он предавался диким оргиям, во время которых противопоставлял свою слабую силу всему и бросал вызов тому, что было, есть и будет.

— Что-то такое там таится! — утверждал он, стараясь проникнуть в сокровенные тайны бытия Батара и заставляя его жалобно выть. — И я вытяну из него это *что-то* обеими моими руками, вот так и вот так! Ха-ха! Это будет забавно! Это будет

очень забавно! Попы поют, бабы молятся, люди ругаются, птички распевают. Батар воет — все это одно и то же! Ха-ха!

Отец Готье, очень достойный священник, однажды стал укорять Леклера за такие слова и пригрозил ему вечными муками. Но больше он никогда не отваживался на такие разговоры.

— Быть может, оно и так, mon père, — возразил Леклер, — а мне кажется, что я пройду сквозь вашу преисподнюю, как саламандра через огонь, да еще буду огрызаться. А, mon père?

Но все, и доброе и злое, имеет свой конец; так случилось и с Блэком Леклером. Летом, во время половодья, он отправился на плоскодонке из Мак-Дугалла в Санрайз. Покинул он Мак-Дугалла вместе с Тимоти Брауном, прибыл в Санрайз один. Далее выяснилось, что накануне отъезда они поссорились. Маленький десятитонный колесный пароходик «Лиззи», вышедший на сутки позже их, обогнал Леклера в пути и прибыл на три дня раньше его. Когда же наконец в Санрайз прибыл и Леклер, то у него на плече оказалась огнестрельная рана и был заранее готов рассказ о какой-то засаде и о нападении туземцев.

В Санрайзе в то время как раз были открыты золотые россыпи, и обстоятельства значительно

переменились. С появлением нескольких сотен золотоискателей, большого количества спиртных напитков и шести-семи притонов миссионер увидел, что все его многолетние труды по просвещению индейцев свелись на нет. Когда же индейские женщины завели столовые и стали поддерживать огонь для холостяков, а индейцы обменивать свои лучшие меха на бутылки виски и сломанные часы, то он прошел к себе в спаленку, прочел несколько раз «Помилуй мя, Боже!» — и уехал в челноке, чтобы сдать свои дела. С его отъездом содержатели притонов переехали со всеми своими рулетками и игорными столами в помещение миссии, и стук бильярдных шаров и звон стаканов стали оглашать дом миссии с утра до вечера и с вечера до утра.

Нужно сказать, что Тимоти Браун пользовался большой популярностью среди авантюристов Севера. Правда, у него были кое-какие недостатки, а именно: он был вспыльчив и тяжел на руку, но по сравнению с его всегдашней добротой и незлобивостью это считалось пустяками. Но не было ничего, что могло бы послужить в пользу Блэка Леклера. Все считали его злодеем, и ни один из его неблаговидных поступков не был забыт. Его все ненавидели, Брауна все любили. Поэтому,

едва только Леклер появился в Санрайзе, ему наложили на плечо антисептическую повязку и потащили на суд Линча.

Дело казалось очень несложным. Он поссорился с Тимоти Брауном в Мак-Дугалле. Отплыл он из Мак-Дугалла вместе с Тимоти Брауном, прибыл же в Санрайз без Тимоти Брауна. Принимая во внимание его порочность, все единогласно решили, что именно он убил Тимоти Брауна. Со своей стороны, Леклер возражал против такого решения и, не отрицая приведенных фактов, предлагал собственные объяснения. Они вместе с Тимоти Брауном плыли вдоль скалистого берега, и когда были уже в двадцати милях от Санрайза, с берега раздались два выстрела. Тимоти Браун вывалился из лодки, пуская красные пузырьки. Это и было концом Тимоти Брауна. Он же, Леклер, свалился на дно лодки с сильной болью в плече. Он притаился на дне ее и тихонько стал наблюдать. Тогда двое индейцев высунули головы из-за кустов, а потом вышли на берег, неся с собою лодчонку из березовой коры. Пока они спускали лодку на воду, Леклер начал стрелять в них; он подстрелил одного, который, на манер Тимоти Брауна, перевалился через борт в воду. Другой свалился на дно лодчонки, а потом обе

лодки поплыли по течению. Лодки наткнулись на остров; одна лодка обогнула остров с одной стороны, а другая с другой. Больше он индейской лодки не видал и так доплыл до Санрайза. Кстати: судя по тому, как подпрыгнул после выстрела Леклера индеец в своей лодке, можно предположить, что он окончил свои дни. Вот и все.

Объяснение не было признано удовлетворительным, тем не менее казнь отсрочили на десять часов, пока «Лиззи» не вернется с расследования. Через десять часов пароходик действительно с пыхтеньем вернулся в Санрайз. Нечего было и исследовать. Не было абсолютно никаких данных, которые могли бы подтвердить показания Леклера. Ему предложили написать духовное завещание на участок в Санрайзе, на который он сделал заявку и который оценивался в пятьдесят тысяч долларов. Таким образом, преступника не лишали прав состояния.

Леклер пожал плечами.

— Только об одном прошу я вас, — сказал он, — только об одной милости, как вы это называете. Пятьдесят тысяч долларов я отказываю на церковь. А свою упряжную собаку Батара я завещаю дьяволу. Я немного прошу у вас: сначала вы повесьте Батара, а затем меня. Хорошо? А?

Они согласились. Ладно! Пусть это чертовское отродье раньше пробьет дорогу в ад своему хозяину, согласно его последней воле! И заседание суда было перенесено на берег реки, где одиноко росла большая старая сосна. Слекуотер Чарли сделал мертвую петлю на конце веревки, накинул ее через голову Леклеру, туго затянув вокруг шеи. Руки у Леклера были связаны за спиной, и ему помогли влезть на ящик из-под галет. Другой конец веревки был привязан к суку сосны, и веревка была туго натянута. Стоило только теперь выбить у Леклера из-под ног ящик, и все было бы кончено.

— Теперь насчет собаки, — сказал Уэбстер Шоу, бывший когда-то горным инженером. — Тебе придется связать ее, Слекуотер.

Леклер усмехнулся. Слекуотер сунул себе в рот жевательного табаку, пропустил через зубы слюну и начал наматывать на руку веревку. Он несколько раз останавливался, чтобы согнать с лица особенно назойливых комаров. Впрочем, все кругом отгоняли комаров, кроме Леклера, вокруг головы которого вилась их целая туча. Даже вытянувшийся на земле во всю свою длину Батар передними лапами отгонял насекомых от глаз и рта.

Но пока Слекуотер ожидал, когда Батар соблаговолит поднять свою голову для петли, в спокойном воздухе вдруг раздался пронзительный крик, и какой-то человек, размахивая изо всех сил руками, бежал во всю прыть от Санрайза по направлению к месту казни. То был заведующий местным складом.

— Стойте! — кричал он, тяжело дыша и врезаясь в толпу. — Обождите! Только сию минуту вернулись маленький Сэнди и Бернадот, — спешил он объяснить, когда получил наконец возможность дышать. — Они высадились там, внизу, и прибежали ко мне прямым путем, наперерез. С ними и Бобр. Они его поймали на его лодчонке, в боковой заводи; он ранен двумя пулями. Другим индейцем, оказывается, был Кло-Куту, тот самый, который в прошлом году заколотил до смерти свою жену и удрал!

— А? Разве я вам этого не говорил? — с торжеством воскликнул из своей петли Леклер. — Как раз тот самый и есть! Я ведь знаю, я вам правду говорил!

— Проучить бы этих проклятых сивашей!.. — проговорил Уэбстер Шоу. — Разжирели, черти, и зазнались. Следовало бы их также пригвоздить. Созовите всех здешних индейцев и вздерните

в назидание всем этого Бобра! Пусть это будет следующим номером программы! А теперь пойдемте и выслушаем, что он скажет нам в свое оправдание?

— Эй, мсье, — закричал Леклер сверху, когда толпа двинулась к Санрайзу, утопая в дымке начинавшихся сумерек. — Мне тоже хотелось бы посмотреть там на представление!

— Мы вас освободим, когда вернемся! — прокричал ему в ответ Уэбстер Шоу через плечо. — А пока что подумайте-ка о своих грехах и о неисповедимых путях провидения. Вам это будет полезно. После благодарить будете!

Как это бывает с людьми, привыкшими ко всяким приключениям и обладающими крепкими нервами, Леклер приготовился к долгому ожиданию и примирился с ним. Но его тело не могло примириться: туго натянутая веревка принуждала Леклера стоять все время навытяжку. Как только начинали подгибаться колени, петля постепенно суживалась вокруг шеи, вытянутое же положение причиняло ему сильную боль в плече. Он выпятил вперед нижнюю губу и старался дыханием хоть сколько-нибудь отогнать комаров от глаз. Но и в таком положении он находил для себя своеобразное утешение. Быть

выхваченным из когтей смерти все-таки стоило того, чтобы немножко помучиться. Жаль только, что ему не удастся посмотреть, как будут вешать этого самого Бобра. В таком направлении шли его размышления, пока наконец его взор не упал случайно на Батара, который в это время, вытянувшись во всю длину и положив голову между лап, спал около него на земле. Он стал внимательно наблюдать за животным — не притворство ли этот сон? Бока Батара равномерно поднимались, но Леклер не мог не заметить, что собака дышала несколько чаще обычного, и в теле ее была напряженность и настороженность. Он отдал бы даром всю свою заявку в Санрайзе, чтобы узнать, спит собака или притворяется. У Леклера громко хрустнул сустав, и он тотчас же быстро посмотрел на Батара, не разбудило ли это его. Батар не шелохнулся. Но через несколько минут он поднялся, медленно и лениво потянулся и внимательно посмотрел кругом.

— Ах, черт его побери! — проговорил Леклер, затаив дыхание.

Убедившись, что его теперь никто не услышит и не увидит, Батар сел, искривил свою нижнюю губу так, точно хотел улыбнуться, посмотрел вверх на Леклера и облизнулся.

— Значит, теперь мне конец! — проговорил Леклер и громко засмеялся.

Батар приблизился к нему, причем его разодранное ухо трепалось, как тряпка, а здоровое насторожилось, и вся морда выражала дьявольскую злость. Он склонил голову набок и стал кружить вокруг ящика. Затем потерся о него спиной и толкнул его раз-другой. Стараясь удержать равновесие, Леклер стал переступать на ящике ногами.

— Батар, — спокойно сказал он. — Смотри, как бы я не убил тебя!

В ответ на эти слова Батар зарычал и толкнул ящик сильнее. Затем он встал на задние лапы, а передние поставил на край ящика. Леклер брыкнул было его ногой, но веревка от этого движения впилась ему в шею, и он чуть не потерял равновесия.

— Пошел прочь! — закричал он. — Вон! Убирайся отсюда!

Батар отошел от ящика шагов на двадцать с таким дьявольски хитрым видом, что Леклер не мог обмануться в его намерении. Он вспомнил, как Батар ломал крепкий лед, отступая на несколько шагов и затем бросаясь и наваливаясь на него всем телом. И, вспомнив об этом, он понял, о чем

думал Батар. Батар же остановился, обернулся и, точно усмехнувшись, показал белые зубы.

Леклер ответил ему такой же усмешкой.

А затем Батар вихрем бросился к ящику и изо всех сил толкнул его.

Через четверть часа вернулись Слекуотер Чарли и Уэбстер Шоу. Они увидели, как в сумерках, точно ужасный маятник, качался взад и вперед человек. Подойдя ближе, они разглядели уже окоченевшее тело и что-то живое, что впилось в тело зубами, трясло его, терзало и заставляло качаться из стороны в сторону.

— Прочь! Пошел вон! — завопил Уэбстер Шоу. — Дьявольское отродье!

Но Батар только посмотрел и угрожающе зарычал.

Слекуотер Чарли достал револьвер, но его рука дрожала как в лихорадке, и он колебался.

— Возьми ты, — сказал Чарли, передавая оружие товарищу.

Уэбстер Шоу коротко засмеялся, нацелился собаке в лоб, между сверкавших глаз, и нажал курок. Тело Батара дрогнуло, на мгновение забилось в судорогах и вытянулось. Но зубы его все еще оставались в теле Леклера, и челюсти были крепко сжаты.

История Джис-Ук

Бывают самоотречения и самоотречения. Но в сущности своей они построены одинаково. Вся суть заключается лишь в том, что и мужчины и женщины жертвуют самым дорогим для них всегда в пользу чего-нибудь еще более дорогого. Иначе не бывает. Так было, когда Авель приносил в жертву лучшее от плодов и стад своих. Эти плоды и эти животные были для него дороже всего на свете, но он жертвовал ими только потому, что ждал от бога еще большего. Так было и с Авраамом, когда он собирался принести в жертву своего сына Исаака. Исаак был для него очень дорог, но бог, в неисповедимых путях своих, казался для него еще дороже. Возможно, что Авраам сделал это и из страха, но так это или не так, а биллионы людей решили, что он любил бога, потому и хотел ему услужить.

А с тех пор как решили, что любовь — страдание и что отрекаться от себя — значит страдать, необходимо признать, что Джис-Ук, эта простая смуглая метиска, умела любить по-настоящему. Она не знала священной истории и не умела читать, она никогда не слыхала об Авеле или

Аврааме и, не получив воспитания в Институте Св. Креста, не имела понятия о моавитянке Руфи, которая из любви к чужестранке-свекрови отреклась даже от своего бога. Джис-Ук знала только одну причину самоотречения — это удар судьбы, подобно тому, как голодная собака отказывается от украденной ею кости под ударом палки. И все-таки, когда пришло для нее время, она показала себя способной подняться на такую высоту, какая не снилась представителям господствующих рас, и отреклась с истинным величием.

Так вот позвольте рассказать историю Джис-Ук, представляющую также историю некоего Нейла Боннера, его жены Китти и двух его детей. Правда, Джис-Ук была темнокожей метиской, но она не была индианкой и не была также и эскимоской. Судя по переходившим из уст в уста преданиям, жил когда-то на Юконе некий индеец из племени тойятов по имени Сколкз, который всю свою молодость провел в скитаниях по Великой Дельте, где обитают индейцы-иннуиты и где он сошелся с женщиной по имени Оляйли. Эта Оляйли происходила от отца иннуита и матери эскимоски. А от Сколкза и Оляйли произошла Хэли, в которой таким образом была половина крови тойятской, четверть иннуитской и четверть эскимосской.

Эта Хэли была бабушкой Джис-Ук.

Затем Хэли, в которой текла кровь трех племен и которая ничего не имела против дальнейших примесей, сошлась с русским звероловом-меховщиком по имени Шпак, известным русским только за неимением другого, более точного определения, ибо отец Шпака был уроженец южнославянских провинций и был сослан в каторжные работы в Сибирь. Там он работал в ртутных рудниках и сбежал на Дальний Север, где сошелся с Зимбой из остяцкого племени; она-то и стала матерью Шпака — будущего дедушки Джис-Ук.

Не попадись этот Шпак еще в юности в плен к поморам Северного Ледовитого океана, которые влачили тогда жалкое существование, он не сделался бы впоследствии дедушкой Джис-Ук, и нам не пришлось бы рассказывать эту историю. Но его действительно взяли в плен эти самые поморы, а от них ему удалось потом сбежать на Камчатку и на норвежском китобое перебраться в Балтийское море. Вскоре за тем он появился в Петербурге, и не прошло и нескольких лет, как он отправился на Дальний Восток тем же самым скорбным путем, каким полвека назад с кровью и потом шествовал его отец. Но Шпак был сво-

бодным человеком и состоял теперь на службе в Великой Российской меховой компании. По делам своей новой службы он забирался все далее и далее на восток, пока, наконец, не пересек Берингова моря и не попал в Русскую Америку; здесь, в Пастилике, в области Великой Дельты Юкон, он и сошелся с Хэли, которая, как было сказано выше, стала впоследствии бабушкой Джис-Ук. От этой связи произошла девочка Тукесан.

По распоряжению Компании Шпак совершил большое путешествие в несколько сот миль на простой лодке по Юкону, до самого поста Нулато. Хэли и маленькую Тукесан он захватил с собой. Это было в 1850 году, и в том же году прибрежные индейцы напали на пост Нулато и стерли его с лица земли. Здесь нашли свой конец Шпак и Хэли. В эту ужасную ночь Тукесан исчезла без вести. До нынешнего дня индейцы-тойяты уверяют, будто это не они произвели погром, но как бы то ни было, а факт остается фактом: девочка Тукесан выросла в их среде.

Тукесан была замужем два раза, за двумя родными братьями-тойятами, от которых у нее не было детей. Это приводило в смущение всех остальных женщин племени, и они покачивали головами, и никто потом не захотел жениться

на ней, боясь, что от нее не будет потомства. Но в это самое время, за несколько сот миль оттуда, в Форте Юкон появился некий человек, по имени Спайк О'Брайен. Форт Юкон принадлежал Компании Гудзонова залива, а Спайк О'Брайен был одним из ее служащих. Он был там на хорошем счету, но держался того мнения, что служба была не в его характере, и скоро осуществил свое намерение расстаться с ней, своевольно бросив место. Понадобился бы целый год, чтобы через длинную цепь постов возвратиться в Йоркскую факторию на Гудзоновом заливе. Но так как все эти посты принадлежали той же Компании, он пришел к заключению, что все равно ее лап ему не миновать. Таким образом, ему оставалось только одно — бежать вниз по Юкону. Правда, ни одному белому человеку не удавалось спуститься по Юкону до его устья, и ни одному белому человеку не было достоверно известно, куда впадает эта река: в Берингово море или же в Ледовитый океан; но Спайк О'Брайен был кельтом, и желание испытать новые опасности побуждало его идти все дальше и дальше вперед.

Через несколько недель, разбитый, голодный, полумертвый от речной лихорадки, он, наконец, уткнулся носом своей лодки в оттаявший

берег у становища тойятов и тотчас же лишился чувств. Он прожил среди тойятов несколько недель, набираясь сил, и увидел Тукесан, которую нашел довольно привлекательной. Как отец Шпака, который прожил многие годы среди сибирских инородцев, Спайк О'Брайен мог бы надолго застрять здесь и, может быть, даже сложить свои кости среди тойятов, но жажда приключений, все еще не оставлявшая его, не дала ему успокоиться здесь навсегда. Как он пробрался когда-то из Йоркской фактории до Форта Юкон, так, первый из людей, он мог бы дойти и от Форта Юкон до самого моря и этим стяжал бы себе честь открытия нового северо-восточного пути по суше. Поэтому он стал спускаться вниз по реке и действительно открыл этот путь, но никто об этом никогда не узнал, и никто не воспел этого открытия. В следующие за тем годы он содержал в Сан-Франциско номера для приезжающих матросов, и, несмотря на то что он рассказывал о своих похождениях только правду, все принимали его за отъявленного лгуна. Но у Тукесан, которая считалась бесплодной, родился от него ребенок. Это и была Джис-Ук. Я нарочно привел такую длинную родословную этой девочки, чтобы показать, что она не была ни индианкой, ни

эскимоской, ни иннуиткой, а также для того, чтобы показать, как трудно иногда найти те корни, откуда происходит тот или иной человек.

Может быть, из-за этой смешанной крови, из-за этой наследственности от многих рас Джис-Ук выросла удивительной красавицей. В ней были смягчены черты всех рас, и она могла бы ввести в заблуждение любого этнолога. Необыкновенная грация была ее отличительной чертой. Ее кельтское происхождение проявлялось больше в ее характере, в склонности к фантазии, но не во внешности. Разве только кровь у нее благодаря этому происхождению была несколько горячее, а лицо менее смугло, и тело более нежно; но это могло быть ею унаследовано и от Шпака, по кличке Толстяк, который, в свою очередь, унаследовал цвет своей кожи от южнославянских прародителей. Как бы то ни было, она была красавица; у нее были большие блестящие черные глаза — глаза метисок, выразительные и нежные, и тонкая гибкая фигурка. Джис-Ук знала, что в ее жилах течет кровь белой расы, и это заставляло ее гордиться. Во всем же прочем — и по своему воспитанию и по взглядам на жизнь — она была вполне тойяткой-индианкой.

Однажды зимой, когда Джис-Ук была молодой

девушкой, в ее жизнь вторгся некто Нейл Боннер. Но это произошло против его воли. И то, что он появился здесь, в этих краях, было тоже против его желания. Он не поладил со своим отцом, который занимался только тем, что стриг купоны да выращивал розы, и с матерью, которая слишком любила светскую жизнь. Он не был порочен, но человек с сытым желудком и без всяких определенных занятий всегда будет нуждаться в том, чтобы куда-нибудь расходовать свою энергию. И таким-то человеком и был Нейл Боннер. Он использовал свою энергию в таких размерах, что, когда это перешло, наконец, всякие границы, его отец, Нейл Боннер-старший, спохватился, в ужасе вылез из-под розовых кустов и посмотрел на сына более внимательно. Отец написал другу детства, с которым обыкновенно совещался относительно купонов и роз, и оба они решили сообща участь Нейла Боннера-младшего. В виде пробы Нейл Боннер-младший должен был уехать куда-нибудь подальше от искушений, отвыкнуть от своих безобидных безумств и научиться жить так, как жили его почтенные родители и их почтенный друг.

Когда они порешили на этом, молодому Нейлу пришлось со стыдом покаяться во многом, по-

сле чего судьбу его устроили уже без него. Оба друга детства были крупными акционерами Канадской Пароходной Компании. Эта Компания располагала целым флотом речных и океанских пароходов и, кроме того, владела почти всеми морями и землями, которые на географических картах остаются обыкновенно неокрашенными. Эта Канадская Пароходная Компания отправила молодого Нейла Боннера на Север, именно в эти незакрашенные места, чтобы он там посодействовал развитию дел Компании и научился походить на своего отца.

— Пять лет простой жизни, ближе к земле и подальше от искушений, сделают из него человека, — сказал Нейл Боннер-старший и затем снова скрылся в кустах роз.

Нейл-младший стиснул зубы, взял себя в руки и принялся за дело. Как подчиненный, он добросовестно исполнял все возлагавшиеся на него поручения и скоро заслужил одобрение начальства. Работа не нравилась ему, но все-таки помогала ему не сойти с ума.

В первый год он желал смерти. Во второй стал роптать на бога; третий год он и роптал на бога, и молил о смерти, и наконец, заболев нервным расстройством, поссорился со своим начальником.

Он был признан в этой ссоре правым, но виноватый начальник все-таки доконал его, отправив в ссылку в такие отдаленные места, в сравнении с которыми его прежнее местожительство могло считаться раем. Но он отправился туда, не сказав ни слова, потому что Север уже успел сделать из него человека.

На незакрашенных местах географической карты иногда встречаются маленькие кружочки, похожие на букву «о», и около этих кружочков, с той или другой стороны их, напечатаны названия — Форт Гамильтон, становище Янана, Двадцатая Миля, — заставляющие думать, что эти белые места сплошь покрыты городами и селениями. Но на самом деле это не так. Двадцатая Миля, очень похожая на все остальные пункты, представляет простой деревянный дом, сколоченный из бревен, с комнатами для приезжающих во втором этаже. Длинный сарай из бревен построен на заднем дворе, как и несколько служб. Задний двор не огорожен ничем и простирается до самого горизонта и даже несколько далее — до бесконечности. Никаких других домов там нет, хотя иногда за милю или две вниз по Юкону на зимние стоянки приходят индейцы-тойяты. Такова Двадцатая Миля, одно из щупалец этого

многоногого спрута — Канадской Пароходной Компании. Здесь ее агент со своим помощником ведут меновую торговлю, выменивая иногда золотой песок у случайных золотоискателей. Здесь тот же агент со своим помощником горько тоскуют всю зиму по весне, а когда приходит весна, они с проклятиями переселяются на крышу, потому что, вскрываясь, Юкон заливает дом. Вот сюда-то на четвертом году своей службы на Севере и был сослан Нейл Боннер.

Он вступил на свободное место после предыдущего агента, который предусмотрительно оставил свой пост, покончив с собой — «ввиду тяжелых местных условий», как донес об этом его оставшийся помощник, хотя тойяты, бывшие там на становище, и придерживались другого мнения. Помощник, оставшийся здесь, был узкоплечим, слабогрудым человеком, с лицом как у трупа и с провалившимися щеками, которых не смогла закрыть его редкая черная борода. Он сильно кашлял — вероятно, от легочной чахотки, и в глазах у него светился дикий горячечный бред, свойственный больным в последней стадии туберкулеза. Звали его Эмос Пентли. Он не понравился Боннеру с первого же взгляда, хотя и возбуждал в нем чувство жалости своим без-

надежным положением. Они как-то не сошлись, эти двое, оба осужденные оставаться вдвоем, лицом к лицу с холодом, молчанием и темнотой длинной арктической зимы.

Боннер пришел к заключению, что Эмос немного «не в себе», и оставил его в покое, делая все домашние работы и за себя и за него, за исключением варки пищи. Но Эмос не переставал бросать на него злобные взгляды, полные необъяснимой ненависти. Это было большим горем для Боннера, потому что улыбка такого же существа, как он сам, ласковое слово или сочувствие товарища по несчастью значили бы для него очень много. И едва наступила зима, он стал понимать, что с таким сожителем, как его помощник, предшественник его имел полное основание наложить на себя руки. Было очень тоскливо на Двадцатой Миле. Мрачная пустыня простиралась до самого горизонта. Снег покрывал все кругом белой пеленой, как саван. Дни стояли ясные и морозные, термометр упорно показывал от сорока до пятидесяти градусов ниже нуля по Цельсию. Затем, обычно через несколько недель, погода сменялась. Мельчайшие частицы влаги, заключавшиеся в атмосфере, образовывали плотные серые бесформенные облака; становилось теп-

лее, термометр поднимался к двадцати градусам ниже нуля. Влага превращалась в крупу, которая, падая на землю, походила на мелкий сахар или на сыпучий песок, скрипевший под ногами. После этого опять становилось ясно и холодно, пока вновь не собиралось в воздухе достаточного количества влаги, чтобы снова покрыть землю белым одеялом. Вот и все перемены. Больше не случалось ничего. Ни бурь, ни ливней — ничего, кроме механически осаждавшейся влаги. Самыми крупными событиями в тоскливые зимние недели были неожиданные скачки температуры, повышавшейся иногда до пятнадцати градусов ниже нуля. Но в отместку за это следовавший потом мороз так сковывал землю, что ртуть замерзала в градуснике, а спиртовой термометр две недели показывал ниже семидесяти и затем лопался. И тогда нельзя было даже сказать, сколько градусов мороза. Следующим событием, монотонным в своей постепенности, было удлинение ночей, пока день не сокращался до того, что становился узенькой полоской света между двумя темными пространствами на горизонте.

Нейл Боннер был общественным человеком. Самые глупости его, за которые он теперь так дорого расплачивался, были результатом его

слишком большой общительности. А здесь на четвертом году своей ссылки он увидел себя наедине с угрюмым, бессловесным существом, в мрачном взгляде которого светилась ненависть, настолько же горькая, насколько и необоснованная. И Боннер, для которого беседа и дружба были необходимы как воздух, бродил тенью, испытывая танталовы муки при воспоминании о прежней жизни. Днем он ходил с плотно сжатыми губами и с мрачным выражением лица, ночью ломал себе руки, ворочался на постели и громко рыдал, как дитя. Он вспоминал своего начальника и целые часы проклинал его. Проклинал он и бога. Но бог понимает все. Он не смог бы найти в своем сердце упреков для тех слабых смертных, которые богохульствуют на Аляске.

Сюда-то, на торговый пункт на Двадцатой Миле, и пришла Джис-Ук, чтобы купить муки, ветчины, бус и ярко-красной материи для своих рукоделий. Приходила она на этот пункт много раз и, сама того не зная, всякий раз оставляла одинокого человека еще более одиноким, заставляя его обнимать пустоту во сне. Когда она впервые пришла в магазин, он долго смотрел на нее, как жаждущий смотрит в колодец, полный воды. И она сама, получившая в наследство кровь от

Спайка О'Брайена, улыбнулась ему — не как подчиненное племя улыбается господствующей расе, а как женщина улыбается мужчине. Произошло неизбежное, только он не хотел этого замечать и всеми силами сопротивлялся неудержимому влечению. А она? Она была только Джис-Ук, дикарка, простая женщина из племени тойятов.

Она часто приходила в магазин за покупками, усаживалась там у громадной печи и болтала на ломаном английском языке с Нейлом Боннером. И он стал поджидать ее прихода. Когда она не приходила, он беспокоился и тосковал. Иногда он заставлял себя не думать о ней и встречал ее холодно, с решимостью, которая смущала и задевала ее, хотя она и догадывалась, что эта строгость была напускной. Но в большинстве случаев он встречал ее радостно, и тогда все шло хорошо, среди улыбок и смеха. А Эмос Пентли, задыхаясь, как рыба, выброшенная на песок, глухо кашлял, посматривал на них и злобно ухмылялся. Он любил жизнь, а был осужден на скорую смерть, и душа его содрогалась, когда он видел других людей, способных жить. Поэтому он возненавидел Боннера, для которого вся жизнь была впереди и глаза которого загорались радостью всякий раз, как он встречался с Джис-Ук. А сам Эмос? Да одна

мысль об этой девушке могла превратить его кровохарканье в кровоизлияние.

Джис-Ук, обладавшая простым умом и не умевшая судить о сложностях жизни, читала, однако, мысли Эмоса Пентли, как открытую книгу. Не стесняясь, она предостерегала Боннера; но соображения более высшего порядка заслоняли от Боннера опасность, и он смеялся над тревогой Джис-Ук. Для него Эмос был несчастный, жалкий человек, с каждым днем все ближе подходивший к могиле. Много выстрадав сам, Боннер легко находил оправдание и для других.

Однажды утром, когда холод был невыносим, Боннер позавтракал и отправился на склад. Джис-Ук была уже там, розовая от мороза. Она покупала мешок муки. Несколько минут спустя Боннер вышел вместе с ней, чтобы помочь ей привязать мешок к саням. Наклонившись, он вдруг почувствовал в затылке странную боль и во всем теле такое ощущение, как будто он лишается чувств. И когда он в последний раз перекинул через мешок веревку и попытался затянуть ее потуже, сердце в нем сжалось, и он повалился на землю. Дрожа всем телом, запрокинув голову назад, напрягая все члены, изгибаясь в дугу, с перекошенным ртом — он был похож на человека,

у которого в пытке отрывали член за членом. Не издавая ни малейшего звука, Джис-Ук стояла возле него. Он судорожно схватил ее за обе руки, и все время, пока продолжались конвульсии, она не была в состоянии помочь ему. Спустя некоторое время схватки утихли, и он лежал слабый, в полуобморочном состоянии, с холодным потом, выступившим у него на лбу, и с пеной у рта.

— Скорее! — бормотал он странным, придушенным голосом. — Скорее! Домой.

Он попытался ползти к двери на четвереньках, но Джис-Ук подняла его, и с ее помощью он кое-как двинулся вперед. Как только он вошел в магазин, припадок повторился, он выскользнул из рук девушки и стал кататься в судорогах по полу. Вошел Эмос и с любопытством посмотрел на него.

— О, Эмос! — воскликнула она в ужасе. — Ведь он умрет, да?

Но Эмос только пожал плечами и продолжал смотреть на Боннера.

Тело Боннера стало вялым, напряженные мускулы ослабели, и на лице появилось успокоение.

— Скорее! — проговорил он сквозь все еще сжатые зубы; рот его уже искривился от нового

приступа судорог и от усилия подавить их. — Скорее, Джис-Ук! Давай сюда лекарства! Не бойся! Тащи меня!

Она знала, где находится ящик с лекарствами, и туда, в дальний угол комнаты, за печку, потащила за ноги корчившегося больного. Как только судороги прекратились, он слабыми руками стал рыться в ящике. Он видел, как издыхали собаки с такими же симптомами, какие были теперь у него, и знал, что ему нужно было делать. Он достал пузырек с хлоралгидратом, но пальцы были слишком слабы и слишком дрожали, чтобы он мог его откупорить. Пока Джис-Ук помогала Боннеру, с ним случился новый припадок. Когда он прекратился, флакон был уже открыт. Боннер заглянул девушке в ее большие черные глаза и прочел в них то, что обыкновенно мужчина читает в глазах любящей женщины. Приняв высшую дозу лекарства, он лег на спину и ждал, пока не кончился следующий припадок, а затем приподнялся и в бессилии оперся на локоть.

— Слушай, Джис-Ук! — сказал он очень медленно, точно сознавая, что нужно торопиться, и в то же время не решаясь спешить. — Делай, что я тебе скажу. Оставайся около меня и не трогай меня. Теперь я должен лежать спокойно, но ты

не отходи от меня.

Челюсти его стали сжиматься, лицо искривилось и стало подергиваться от боли. Он употреблял все усилия, чтобы преодолеть конвульсии.

— Не уходи, — продолжал он. — Не позволяй и Эмосу уходить. Слышишь? Эмос тоже должен оставаться здесь!

Она кивнула ему. У него опять начались конвульсии, которые постепенно становились слабее и слабее, реже и реже. Джис-Ук стояла, склонившись над ним, помня его приказания и не смея к нему прикоснуться. Один раз Эмос поднялся в беспокойстве с места и хотел уйти в кухню, но она остановила его быстрым, пламенным взглядом, и после этого, несмотря на одолевавшую его одышку и удушающий кашель, он уже не решался трогаться с места.

Боннер заснул. Полоска света на небе, обозначавшая день, погасла. Эмос, с которого Джис-Ук ни на минуту не спускала глаз, зажег керосиновую лампу. Наступил вечер. Сквозь окно, выходившее на север, видно было, как небеса осветились северным сиянием, которое то вспыхивало, меняя цвета, то погасало, и снова наступала темнота. Нейл Боннер проснулся. Прежде всего он посмотрел, здесь ли Эмос, а затем улыбнулся Джис-Ук и

попытался подняться. Все тело у него одеревенело и болело, и он жалко улыбался, ощупывая себя и надавливая пальцами на мускулы, точно для того, чтобы убедиться, насколько все было еще в исправности. Затем его лицо приняло важное и деловое выражение.

— Джис-Ук, — сказал он, — возьми свечку. Сходи в кухню. Там еще осталась пища на столе — сухарики, горошек с ветчиной и кофе в кастрюле на плите. Принеси все это сюда. Принеси также стакан воды и виски. Бутылка там, на полочке в шкафу. Не забудь же о виски!

Он выпил рюмку виски и затем стал тщательно разбирать в ящике медикаменты, отыскивая необходимые склянки и баночки. Затем он принялся за исследование пищи, стараясь произвести хотя бы самый грубый анализ. Когда-то в высшей школе он изучал химию и потому сумел кое-как провести свое исследование при помощи имевшихся под рукой материалов. Он добился своего. К кофе не было подмешано ничего; к горошку тоже. Ему оставалось подвергнуть тщательному исследованию сухарики. Совершенно ничего не понимавший в химии Эмос наблюдал за его работой с упрямым любопытством. Но Джис-Ук, которая питала к мудрости

белого человека безграничное доверие и которая не только не понимала, но и сознавала в себе это свое непонимание, старалась больше смотреть на его лицо, чем на руки.

Боннер все еще не хотел допустить возможности отравления, пока не дошел до конечного результата. Для своих исследований он употреблял вместо пробирки простой аптекарский пузырек, смотрел его на свет и наблюдал за изменениями, которые медленно, но верно должна была произвести брошенная им в раствор соль. Он не говорил ничего, но добился наконец того, чего ожидал. Все время не спускавшая с него глаз Джис-Ук тоже заметила нечто, что заставило ее тигрицей броситься на Эмоса и с удивительной ловкостью и силой опрокинуть его к своим ногам. Она вытащила из ножен свой нож, замахнулась, и он сверкнул при свете лампы. Эмос застонал. Но Боннер вмешался, и нож опустился.

— Ты хорошая девушка, Джис-Ук, — крикнул он ей. — Но не надо этого! Брось его!

Она послушалась, отпустила Эмоса, хотя и не без безмолвного протеста во взгляде. Он повалился на пол. Боннер толкнул его ногой, с которой все еще не мог стащить сапога.

— Вставайте, Эмос! — скомандовал он. — Укла-

дывайте свои вещи и сегодня же вечером — марш отсюда!

— Что вы хотите сказать? — запротестовал Эмос.

— Я хочу сказать, что вы покушались отравить меня, — сказал Нейл Боннер все так же холодно, не изменяя тона. — Я хочу сказать, что вы отравили и Бердсола, хотя Компании и донесли, что он сам покончил с собой. Вы накормили меня стрихнином. Чем вы погубили его — я не знаю. Но я не желаю, чтобы вас судили. Вы и так дышите на ладан. Но мы не можем оставаться здесь вдвоем, и вы должны отсюда немедленно уехать. До ближайшего поста, до Святого Креста, всего двести миль. Если вы будете осторожны и не будете слишком торопиться, то легко их проедете. Я снабжу вас пищей, дам вам сани и трех собак. Все равно вы будете и там как в тюрьме, потому что выбраться из этих мест вам невозможно. Со своей стороны я могу пообещать вам только одно. Вы — почти покойник. Тем лучше. До весны я буду молчать и ни о чем не сообщу Компании, а вы тем временем постарайтесь поскорее умереть. А теперь — живее вон отсюда!

— Тебе бы лечь в постель! — настаивала Джис-Ук, когда Эмос уже утонул во мраке ночи. — Ты

совсем больной, Нейл.

— А ты хорошая девушка, — ответил он. — Вот тебе моя рука! Но и тебе пора домой.

— Я не нравлюсь тебе, — сказала она просто.

Он улыбнулся, помог ей одеться и вывел ее за дверь.

— Слишком нравишься, Джис-Ук, — ответил он нежно. — Слишком!

После этого полярная темная ночь показалась ему еще темнее. Ему стало чудиться, что он недооценил присутствия в своем доме даже этого мрачного, умиравшего Эмоса, хотя Эмос и оказался убийцей. И на всей Двадцатой Миле так безнадежно одиноко! Он сел за стол и написал агенту Форта Гамильтон, жившему за триста миль вверх по реке, письмо следующего содержания:

«Умоляю вас, Прентис, пришлите ко мне хоть одну живую душу человеческую».

Шесть недель спустя индеец привез ему ответ. Этот ответ был довольно характерен:

«Не жизнь, а черт знает что. Отморозил себе обе ноги. Сам жажду души человеческой. *Прентис*».

К довершению беды, почти все тойяты снялись со своего становища и уехали на охоту за лосями. Джис-Ук тоже отправилась с ними. Находясь от

Нейла Боннера на далеком расстоянии, она, казалось, стала для него еще ближе, так как в своем воображении он до мельчайших подробностей представлял себе, как она едет на собаках и что делает на остановках. Нехорошо быть одиноким. Часто Боннер с непокрытой головой выскакивал на двор и в полном отчаянии начинал грозить кулаком в сторону узкой полоски света, которая показывалась на южном горизонте. И в тиши холодных ночей он вставал с постели, выходил на мороз и с громкими криками набрасывался на тишину, как будто она была чем-нибудь осязаемым или могла чувствовать, как он страдал; или же он будил спавших собак и заставлял их выть и лаять без конца. Он даже попробовал сдружиться с собакой и ввел в комнату лохматого пса, стараясь убедить себя в том, что это не собака, а тот новый человек, которого должен был командировать к нему Прентис. Он сделал для него на ночь постель, заставлял своего гостя садиться за стол и есть, как человек, но животное, мало отличавшееся от волка, сопротивлялось, забилось в темный угол, укусило его за ногу и в конце концов было избито им и изгнано.

Затем его охватило стремление все олицетворять. Все предметы, которые до сих пор окружали

его, получили в его воображении человеческие свойства. Он стал называть их по именам, воображать их живыми. Он создал для себя первобытный Пантеон, воздвиг жертвенник солнцу и сжигал на нем свиное сало и ветчину; на неогороженном дворе, около длинного сарая, он сделал из снега черта, над которым издевался и которому строил рожи, когда ртуть в термометре опускалась ниже обычного уровня. Все это была игра, конечно. Он и сам старался убедить себя в том, что это игра, и повторял ее, чтобы получить в этом еще большую уверенность, не зная того, что сумасшествие обычно проявляется в игре воображения.

Однажды в зимний полдень неожиданно приехал миссионер-иезуит, отец Шампро. Боннер бросился к нему навстречу и затащил его к себе, повис у него на шее и долго плакал, пока, наконец, и сам священник не прослезился из сострадания к одиночеству Боннера. После этого Боннер впал в безумное веселье, устроил изобильное пиршество и клялся всем святым, что ни под каким видом не отпустит своего дорогого гостя. Но отец Шампро спешил по какому-то неотложному делу на Соленое Озеро и на следующее же утро уехал, увозя с собой угрозы Боннера, что если он,

Боннер, покончит с собой, то его кровь падет на голову иезуита.

Угроза эта была близка к осуществлению, как вдруг вернулись с охоты тойяты. Они привезли с собой много мехов, и на Двадцатой Миле начался торг, поднялась суматоха. Пришла опять Джис-Ук за бусами, красным ситцем и за другими вещами, и Боннер ожил. Неделю он сторонился ее, а под конец, как-то вечером, когда она собралась уходить от него, он не устоял. Но она обиделась на его холодность, и то самолюбие, которое побудило когда-то ее отца Спайка О'Брайена отправиться на открытие северо-восточного прохода по суше, сказалось и в ней.

— Я ухожу, — сказала она. — Прощай, Нейл.

Но он загородил ей дорогу.

— Нет, ты не уйдешь! — возразил он.

И когда она повернула к нему лицо, на котором вдруг вспыхнула радость, он не спеша и вполне серьезно склонился к ней, как если бы она была его святыней, и поцеловал ее в губы. Тойяты не знали, что такое поцелуй в губы, но она поняла и обрадовалась.

С приходом Джис-Ук все как-то сразу повеселело. Она была великолепна в своем счастье, сделавшись источником бесконечных радостей.

Элементарная работа ее ума и наивные вопросы и поступки доставляли постоянное развлечение сверхцивилизованному человеку. Не только она сама служила утешением в его одиночестве, но и ее первобытность обновляла в нем его уже начавшую утомляться душу. Было так, как если бы он, после долгих блужданий, наконец успокоился и обрел себе отдых на груди матери-земли. Короче, он нашел в Джис-Ук юность мира — юность, силу и радость.

И чтобы дополнить все то, в чем он нуждался, и чтобы они с Джис-Ук не слишком заглядывались друг на друга, вдруг неожиданно приехал некий Сэнди Макферсон, развеселый человек, вечно посвистывавший во время пути и распевавший песни на стоянках. Иезуит Шампро нарочно заехал к нему в его стоянку, милях в двухстах вверх по Юкону, в самый подходящий момент, чтобы предать земле тело внезапно скончавшегося его сотрудника. Отправляясь далее, патер сказал Макферсону:

— Сын мой, теперь вы обречены на одиночество. — Сэнди печально поник головой. — На Двадцатой Миле, — продолжал патер, — живет тоже одинокий человек. Вы необходимы друг другу.

Таким образом Сэнди сделался третьим желанным членом семьи на Двадцатой Миле, братом женщины и мужчины, которые жили здесь. Он водил с собою Боннера на лосей и на волков, а Боннер, в свою очередь, доставал с полки истрепанный и затасканный том Шекспира и знакомил его с произведениями великого поэта, пока, наконец, Сэнди не стал разговаривать со своими собаками, когда они отказывались слушаться его, в ямбических пентаметрах[72]. В долгие вечера они играли в карты, разговаривали и вели споры обо всем на свете, в то время как Джис-Ук важно восседала в кресле, штопая их носки и починяя платье.

Настала весна. Солнце возвратилось с юга. Земля переменила свое скучное одеяние на веселый, улыбающийся наряд. Повсюду засмеялся солнечный свет, и жизнь стала манить к себе. Потянулись длинные благоуханные дни, а ночи исчезали. Река напрягла свою грудь, и рев пароходов огласил пустыню. Появились новые лица, новые вести. На Двадцатую Милю приехал новый помощник, а Сэнди Макферсон отправился с экс-

---

[72] Сноски: 72

Ямб — двусложная стопа с ударением на втором слоге. Пентаметр — пятистопный размер стиха, особенно часто встречающийся в греческой латинской поэзии.

педицией на исследование Койокука. Пришли письма, журналы и газеты. Получил их и Нейл Боннер, и Джис-Ук забеспокоилась: она поняла, что его родственники заговорили с ним по воздуху через весь мир.

Без особого потрясения он принял весть, что умер отец. Это было последнее письмо, продиктованное отцом в последнюю минуту перед смертью, в котором он в ласковых выражениях прощался с сыном навсегда. Пришли и официальные письма от Компании, в одном из которых ему любезно предлагали сдать должность своему помощнику и разрешали на продолжительное время отпуск на родину. Длиннейшая казенная бумага из окружного суда сообщала ему бесконечный список процентных бумаг и разных закладных, движимого и недвижимого имущества, рент, которые перешли по завещанию от его отца к нему. И еще маленькое, изящное письмо с сургучной печатью и с монограммой, полученное им от разбитой горем и горячо любимой матери, умоляло его поскорее вернуться домой.

Нейл Боннер не долго раздумывал, и как только пароход «Юконский Колокол» с пыхтеньем причалил к берегу на обратном пути к Беринговому морю, он сел на него и отправился в путь со

старой, но вечно новой ложью о том, что скоро вернется.

— Я вернусь, Джис-Ук, — уверял он, целуя ее на сходнях парохода, — вернусь раньше, чем выпадет первый снег.

Он не только обещал, но — как и большинство людей при таких обстоятельствах — сам верил в свои обещания. Своему новому заместителю, Джону Томпсону, он отдал приказ оказывать безграничный кредит его жене Джис-Ук. Кроме того, бросив последний взгляд с палубы «Юконского Колокола» на берег, он увидел несколько человек, таскавших бревна; он сам выбрал эти бревна и приказал выстроить самый уютный дом, какой только когда-либо существовал здесь на целую тысячу миль вокруг. Этот дом предназначался для Джис-Ук и для него самого… когда он возвратится, прежде чем выпадет первый снег, ибо он глубоко верил в то, что он действительно возвратится. Джис-Ук была дорога ему, не говоря уже о том, что Север ожидало золотое будущее. С доставшимися ему от отца деньгами он именно здесь рассчитывал упрочить свою судьбу. Его манили честолюбивые мечты. Со своим четырехлетним стажем и с помощью дружественного содействия Компании он рассчитывал завоевать

всю Аляску. Он вернется, как только устроит дела своего отца, которого никогда не знал, и утешит мать, которую забыл.

Возвращение Нейла Боннера с Дальнего Севера произвело большое впечатление. Для него, как для блудного сына, зажглись все костры и были зарезаны все ягнята, и он принял это как должное. Он не только загорел и возмужал, но стал совершенно новым человеком. Он знал теперь жизнь, умел быть серьезным и давал себе отчет во всем. Его прежние собутыльники очень удивились, когда он отказался продолжать прежние похождения, а старый друг его отца радостно потирал руки и скоро сделался авторитетом в делах обращения нагрешившей молодежи на истинный путь.

Четыре года ум Нейла Боннера бездействовал. То новое, что он приобрел за это время, было незначительно, но зато он научился искусству отбора. Он, так сказать, очистился от всего пошлого и излишнего. В городе, в светской обстановке, годы проходили для него совершенно незаметно, а там, в дикой пустыне, у него оставалось достаточно времени, чтобы привести в порядок пережитое. Он отказался навсегда от поверхностных суждений, и вместо них появи-

лась склонность к глубоким обобщениям. Что касается цивилизации, то он уехал с одним пониманием ее, а вернулся с другим.

Ощутив по-настоящему запах земли и повидав ее собственными глазами, он понял истинное значение цивилизации со всею ее бесполезностью. Он усвоил себе простую философию. Нравственная жизнь — вот религия. Исполнение долга — вот культ. Каждый должен жить нравственно и уметь исполнять свой долг, чтобы получить возможность работать. Спасение в труде. Работать же не покладая рук, чтобы делать жизнь все более изобильной, — значит находиться в равновесии с порядком вещей и с мировой волей. Он раньше знал только город. Но его прикосновение к земле сообщило ему более тонкое ощущение цивилизации, и теперь цивилизация стала для него еще дороже. День за днем жители города становились для него ближе и ближе, и светская жизнь засасывала его больше и больше. Аляска стала отходить на задний план и скоро потускнела в памяти. Затем он встретился с Китти Шэйрон — девушкой его круга и одинакового воспитания, с нею рука об руку пошел по жизненному пути и в конце концов забыл тот день, когда первый снег выпадает на Юконе.

Джис-Ук переехала в свой новый большой деревянный дом и промечтала в нем три золотых летних месяца. Затем настала осень, очень короткая в тех местах. Воздух стал прозрачным и острым, дни ясными и короткими. Река потекла ленивее, и тоненький ледок стал появляться у берегов. Все перелетные существа отправились на юг, и в стране снова воцарилось молчание. Залетали в воздухе первые снежинки, и последний возвращавшийся домой пароход зашлепал колесами по воде, пробиваясь сквозь сало, поползшее по реке. Затем появились льдины, пока наконец Юкон весь не покрылся льдом. А когда река стала, коротенькие дни окончательно исчезли в надвинувшейся темноте.

Новый агент, Джон Томпсон, стал подсмеиваться над Джис-Ук, но она верила в то, что случилось что-нибудь на море или на реке. Нейл Боннер мог где-нибудь задержаться между Чилкутским перевалом и Сент-Майкель, потому что люди, путешествующие в это время года, всегда застревают во льдах, когда оставляют судно и пересаживаются на сани, чтобы в продолжение долгих часов ехать на собаках.

Но ни с той, ни с другой стороны на Двадцатой Миле не появлялось саней. И с плохо скрываемой

радостью Джон Томпсон сообщил Джис-Ук, что Боннер не вернется никогда, и грубо предложил ей вместо него себя. Джис-Ук засмеялась ему в лицо и ушла в свой просторный дом. С наступлением глубокой зимы, когда умирает надежда и жизнь начинает терять ценность, Джис-Ук вдруг узнала, что кредит ее в магазине исчерпан. Это были штуки Томпсона, и он потирал себе руки, расхаживая взад и вперед от двери к прилавку и посматривая с вожделением на дом Джис-Ук. Ждать он умел. Но она продала своих собак вместе с упряжью проходившим мимо золотоискателям и стала забирать товар за наличные деньги. А когда Томпсон перестал отпускать ей покупки даже и за наличные, то индейцы-тойяты стали покупать для нее все необходимое и приносить ей покупки на дом по ночам.

В феврале пришла первая почта по льду, и Томпсон вслух прочитал в газете, вышедшей в свет еще пять месяцев назад, в отделе сообщений о браках, что Нейл Боннер женился на Китти Шэйрон. Джис-Ук стояла у отворенной двери, когда он посреди двора читал это известие; она горделиво засмеялась и не поверила. В марте она произвела на свет мальчика, маленький кусочек новой жизни, и не могла на него нарадоваться.

В этот же час годом позже Нейл Боннер сидел у другой постели, радуясь другой новой жизни, которая появилась от него на свет.

Снег сошел с земли, и лед тронулся на Юконе. Солнце поднималось все выше. Деньги, вырученные за собак, были израсходованы, и Джис-Ук ушла обратно к своему племени. Оче Иш, искусный охотник, предложил снабжать ее и ее ребенка дичью и ловить для нее лососей, если она выйдет за него замуж. И Аймего, и Хех Ио, и Уай Нуч — все молодые охотники-индейцы делали ей такие же предложения. Но она предпочла оставаться в одиночестве и добывать себе пропитание сама. Она занялась шитьем мокасин, курток и рукавиц — необходимых на Севере вещей, которые украшала красивыми вышивками из блесток и конских волос. Она продавала их золотоискателям, наплыв которых в эту страну с каждым годом увеличивался. И ей не только удавалось зарабатывать себе на пропитание, которое всегда было у нее в изобилии и хорошего качества, но она еще откладывала кое-что на черный день и в одно прекрасное утро на том же пароходе «Юконский Колокол» укатила неизвестно куда.

На Сент-Майкель она поступила в кухарки.

Служащие Компании заглядывались на красивую женщину и на ее удивительного ребенка, не задавая ей вопросов, и она ничего не рассказывала. Но перед самым прекращением навигации по Берингову морю она оплатила свой проезд на простой шхуне, возвращавшейся с промыслов на юг. В эту зиму ее видели в услужении у капитана Маркхэйма в Уналаске, а весной она снова отправилась на юг до Ситки на шлюпке, перевозившей спирт. Позже ее видели в Метлакатле, близ Форта Св. Марии, наконец, в Пенхендле, где она работала на консервной фабрике во время сезонного хода лосося. С наступлением осени, когда сивашские рыбаки стали собираться домой в Пюджет-Саунд, она уехала вместе с ними и еще какими-то двумя семействами на большом баркасе. Вместе с ними же она подвергла себя всем случайностям опасного перехода вдоль Аляски и канадских берегов, пока не добралась, наконец, до пролива Хуан-де-Фука и не высадилась вместе с мальчиком на молу в Сиэтле.

Здесь, под сильным ветром на перекрестке, она встретила Сэнди Макферсона, который ей страшно удивился и, когда она рассказала ему все, пришел в большое негодование, не такое, впрочем, большое, какое бы его охватило, если бы

он узнал о Китти Шэйрон. Но Джис-Ук ему о ней не заикнулась, так как все еще не верила в женитьбу Нейла. Видя в поступке Боннера низкую измену, Сэнди старался отговорить Джис-Ук от поездки в Сан-Франциско, так как был уверен, что Боннер проживал именно там. Однако, потерпев в этом неудачу, он помог ей, купил ей железнодорожный билет и проводил ее, все время улыбаясь и бормоча себе в бороду:

— Черт знает что такое!

С шумом и громом, сквозь дневной свет и темноту, прыгая по рельсам от зари до зари, попадая в зимние снега и спускаясь из них в летние долины, проносясь по краям бездн, взбираясь на крутизну, пронизывая горы, Джис-Ук и ее мальчуган мчались на юг. Джис-Ук не боялась ехать на железном коне, не поразила ее и величественная цивилизация народа Нейла Боннера. Наоборот, казалось, что она иного и не ожидала от той богоподобной расы, представитель которой держал ее в своих объятиях. Шумный вихрь жизни в Сан-Франциско, с его бесчисленными судами, изрыгающими дым фабриками, с громом и лязгом набережных, не смутил ее. Она сразу постигла, как жалка и убога была жизнь на ее родине и как ничтожно было ее тойятское

становище, состоявшее из кожаных юрт. Она посмотрела на своего мальчика, который цеплялся за ее руку, и изумилась тому, что родила его от такого человека.

Она уплатила извозчику пять монеток и взошла на ступени парадного крыльца дома Нейла Боннера. Косоглазая японка несколько минут тщетно расспрашивала ее, а затем ввела в дом и исчезла. Джис-Ук осталась в передней, которая ее простому воображению показалась гостиной — местом, куда тщеславные хозяева снесли все свои фамильные драгоценности, с наивной целью щегольнуть ими и привести в удивление посетителей. Стены и потолок были облицованы красным деревом. Пол был так гладко натерт, что походил на лед, и она нарочно стала на разостланную шкуру, чтобы иметь более прочную точку опоры. Громадный камин, показавшийся ей чем-то необыкновенным, зиял в стене. Поток света, смягченного цветными стеклами, прорезал воздух и озарял белую мраморную фигуру.

Она рассмотрела все это и увидела новые чудеса, когда косоглазая девушка провела ее через другую комнату, которую ей удалось только окинуть взглядом, в третью. Обе эти комнаты по своему убранству далеко оставляли за собою

роскошную переднюю. Джис-Ук стало казаться, что в этом доме бесконечное количество таких комнат. Они были просторны, высоки, в них было много воздуха. В первый раз с тех пор, как она попала в цивилизованный мир белого человека, ею стало овладевать чувство некоторого страха. Нейл, ее Нейл жил в этом доме, дышал этим воздухом и спал здесь по ночам! Все то, что было теперь перед ее глазами, нравилось ей; но за всей этой красотой она чувствовала мудрость и искусство.

Это было конкретное выражение силы в образах красоты, той силы, которую она безошибочно угадывала.

Затем вошла дама величественного вида, с короной роскошных волос, которые светились, точно золотое солнце. Когда она приближалась, Джис-Ук казалось, что звуки музыки проносятся над тихой поверхностью воды. Ее шуршавшее платье звучало, как песнь, ее тело под ним гармонически отвечало этому шуршанью. Джис-Ук сама была неотразима для мужчин. И Оче Иш, и Аймего, и Хех Ио, и Уай Нуч, не говоря уже о Нейле Боннере, о Джоне Томпсоне и о многих-многих других бледнолицых, заглядывались на нее и чувствовали на себе ее силу. Но она смотрела на

большие голубые глаза и светло-розовую кожу этой женщины, которая вышла теперь к ней навстречу, и оценивала ее взглядом женщины, ставя себя на место мужчин. И, вообразив себя мужчиной, которому предоставлялся бы выбор между ней и этой дамой, она сразу почувствовала себя ничтожной в сравнении с этим блестящим, изысканным созданием природы.

— Вы хотите видеть моего мужа? — спросила ее дама.

Джис-Ук обомлела, услышав ее плавный мелодичный голос, который никогда не надрывался резким криком на полудиких собак, не портил себя горловым индейским наречием, не делался хриплым от ветров, морозов и едкого дыма костров.

— Нет, — ответила Джис-Ук, не сразу подыскивая слова по-английски. — Я хочу видеть Нейла Боннера.

— Он мой муж, — засмеялась дама.

Значит, это была правда! Джон Томпсон не лгал ей в тот хмурый февральский день, когда она гордо засмеялась и захлопнула дверь перед его носом. И как когда-то она пригнула Эмоса Пентли к своему колену и замахнулась на него ножом, так и теперь она вдруг почувствовала, как что-то

властное вдруг толкнуло ее броситься на эту женщину и вырвать из ее нежного тела жизнь. Но Джис-Ук тотчас же одумалась, ничем не выдала себя, и Китти Боннер так и не догадалась, что в эту секунду она была на волосок от смерти.

Джис-Ук кивнула в знак того, что поняла, и Китти Боннер объяснила ей, что Нейла ждут с минуты на минуту. Затем обе они сели на смешные удобные кресла, и Китти старалась занять разговором странную посетительницу, а Джис-Ук силилась поддерживать беседу.

— Вы знали моего мужа на Севере? — спросила Китти.

— Да, — ответила Джис-Ук. — Я стирала на него белье.

И ее английский язык сразу стал ужасным.

— А это ваш мальчик? У меня тоже есть дочурка.

Китти приказала привести свою дочь, и пока дети знакомились, их матери заговорили о материнстве вообще и пили чай из таких маленьких хрупких чашечек, что Джис-Ук казалось, что вот-вот чашечка разломится в ее пальцах на куски. Никогда она не видала таких тоненьких и красивых чашек. В уме она сравнивала их с женщиной, разливавшей чай, и, в противоположность им,

перед ней вырастали выдолбленные тыквы и деревянная посуда ее тойятской деревни и неуклюжие кружки на Двадцатой Миле; с этими кружками она сравнивала себя. И вся загадка разъяснялась перед нею просто, именно этою самой обстановкой и этими самыми преимуществами. Она потерпела поражение. Нашлась женщина, которая будет лучше, чем она, рожать и выращивать детей Нейла Боннера. Как народ этой женщины своими качествами превосходил ее племя, так и Китти превосходила Джис-Ук. Обе они стремились к завоеванию мужчины, как мужчины стремятся к завоеванию всего мира. Она созерцала светло-розовую нежную кожу Китти Боннер, и ей приходил на ум медно-красный цвет ее собственного лица. Она переводила взгляд со своей загорелой руки на ее белую: одна была покрыта мозолями от бича и от весла, а другая была изящна и мягка, как у новорожденного младенца. И, заглянув Китти Боннер в глаза, Джис-Ук, невзирая на эту очевидную мягкость и бившую в глаза слабость, увидела в них ту же самую властность, какая светилась в глазах у всех представителей расы Нейла.

— Да ведь это Джис-Ук! — вдруг раздался голос Нейла Боннера, входившего в комнату.

Он сказал это спокойно, даже с некоторым оттенком радости в голосе, подошел к ней, взял ее за обе руки и пожал их. Но в глазах у него светилась тревога, и Джис-Ук поняла ее.

— Здравствуй, Нейл! — воскликнула она. — Да ты здесь очень поправился!

— Очень, очень приятно, Джис-Ук! — ласково ответил он, все еще тайком поглядывая на Китти и стараясь по какому-нибудь ничтожному признаку догадаться, что произошло между этими двумя женщинами без него. Но он отлично знал свою супругу и был уверен, что если бы и произошло между ними что-либо нехорошее, то она не подала бы виду.

— Не нахожу слов, чтобы выразить, как я рад тебя видеть, — продолжал он. — Но что случилось? Вероятно, удалось открыть месторождение золота? Ты когда сюда приехала?

— О, я приехала только сегодня, — заговорила она на ломаном английском языке с горловым акцентом. — Я ничего не открыла, Нейл. Ты знаешь капитана Маркхэйма в Уналаске? Я долго служила у него в кухарках. Нужны были деньги. Много денег. Очень захотелось приехать сюда, повидать, как живет белый человек. Очень хорошо живет белый человек, очень хорошо!

Ее английский язык приводил его в смущение, так как Сэнди и он приложили в свое время много усилий, чтобы научить ее говорить правильнее, и она казалась им тогда способной ученицей. А теперь она опять, видимо, поддалась влиянию своего племени. На лице у нее было ее всегдашнее бесхитростное выражение. Очевидно, у Джис-Ук не было никакого намерения уколоть его или упрекнуть. Китти смотрела на мужа по-прежнему без всякого смущения — и это стало сбивать его с толку. Что же наконец между ними произошло? Было ли что-нибудь сказано лишнее? Не догадалась ли его жена?

Пока он ломал себе голову над этими вопросами и пока Джис-Ук, в свою очередь, решала свалившуюся на ее голову задачу — никогда еще он не казался ей таким красивым и величественным, — наступило продолжительное молчание.

— Только подумать, что вы знали моего мужа на Аляске! — ласково сказала Китти.

Знала!.. Джис-Ук с гордостью бросила взгляд на своего мальчика, которого она родила ему, и его глаза непроизвольно последовали за ее взглядом к окну, где играли дети. Ему показалось, что железный круг вдруг сковал ему голову. Колени у него задрожали, и сердце запрыгало в груди. Его

мальчик! А он ни разу даже о нем и не подумал!

Маленькая Китти Боннер, похожая на крошечную фею, порхавшую на воздушном лугу, с розовыми щечками и голубыми веселыми глазками, протягивала ручки и выпячивала губки, чтобы поцеловать мальчугана. А мальчик, худенький, ловкий, загорелый и черноволосый, одетый в звериную шкуру, холодно отвергал ее любезности, выпрямившись и застыв в неподвижной позе, с той особенной красотой, которою отличаются дети диких народов. Чужой в непонятной для него стране, он, не испугавшись и не растерявшись, походил на неприрученного зверька, молчаливого и державшегося настороже, его черные глазки перебегали от лица к лицу, спокойные, пока все было спокойно, но если бы представилась хоть малейшая опасность, он тотчас же бросился бы в бой и стал бы царапаться и кусаться.

Контраст между мальчиком и девочкой был поразительный, но не вызывал сожаления. В мальчике так и била наружу физическая сила, доказывавшая его происхождение от Шпака, Спайка О'Брайена и Боннера. В чертах мальчика, тонких, как на камее, и почти классических по своей строгости, проглядывала властность его от-

ца и деда и того неизвестного человека, который под кличкою Толстяка был взят в плен поморами и сбежал от них на Камчатку.

Нейл Боннер все еще никак не мог овладеть своим волнением, заглушить его и не дать ему вырваться наружу, хотя лицо его радостно и благодушно улыбалось, как это бывает при встрече с друзьями.

— Это твой мальчик, Джис-Ук? — спросил он. И, повернувшись к Китти, продолжал: — Прелестный мальчуган! С такими руками, как у него, он нигде не пропадет!

Китти утвердительно кивнула ему.

— Как твое имя? — спросила она у мальчугана.

Маленький дикарь сверкнул на нее глазами и долго смотрел ей в лицо, как бы стараясь догадаться, зачем она его спрашивала об этом.

— Нейл, — ответил он свободно, убедившись, что ему нечего опасаться.

— Это он по-индейски, — тотчас же вмешалась его мать, стараясь поскорее выдумать что-нибудь, чтобы загладить неловкость. — По-индейски «Нейл» — значит «пистон». Когда он был совсем маленьким, то очень любил, как они стреляют. И все просил пистонов. Он все кричал: «Нейл, Нейл!» Так я и прозвала его Нейлом. Вот и зову

его так до сих пор.

Никогда еще Нейл Боннер не слышал таких приятных для него слов, как эта ложь, срывавшаяся с уст Джис-Ук. Она была для него ключом ко всему, и он знал теперь, что Китти Боннер ничего не было известно.

— А кто его отец? — продолжала расспрашивать Китти. — Должно быть, очень красивый человек.

— О да! — последовал ответ. — Его отец замечательный человек. Еще бы!

— Ты знавал его, Нейл? — поинтересовалась Китти.

— Что? Ах да, да!.. И даже очень близко!.. — ответил Нейл и тотчас же мысленно перенесся на Двадцатую Милю, представив себя в полном одиночестве, в глубоком молчании, одного со своими мыслями.

Здесь могла бы и закончиться история Джис-Ук, но необходимо вознаградить Джис-Ук за самоотречение. Когда она вернулась на Север и поселилась опять в своем доме, то Джон Томпсон узнал вскоре, что Канадская Компания нашла способ отделаться от его услуг и дала ему отставку. А затем новый агент и все сменявшие его впоследствии получили распоряжение, что

женщина по имени Джис-Ук должна снабжаться беспрепятственно необходимыми для нее предметами, в чем бы и в каких бы количествах она их ни потребовала, и что все это она должна получать совершенно бесплатно, без всякого проведения по книгам. Далее, Компания должна была выплачивать женщине по имени Джис-Ук ежегодную пенсию в пять тысяч долларов.

Когда мальчик подрос, отец Шампро взял его на воспитание, и не прошло нескольких месяцев, как Джис-Ук стала регулярно получать письма из иезуитской коллегии в Мериленде. Затем эти письма стали приходить из Италии, а еще позже из Франции. В конце концов на Аляску вернулся некий отец Нейл, который много совершил добра для своей страны, любил свою мать и так далеко пошел, что занял высокое положение в своем ордене.

Джис-Ук была еще совсем молодой женщиной, когда вернулась к себе на Север, и мужчины по-прежнему заглядывались на нее и искали ее руки. Но она жила строго, и никто никогда не говорил о ней ничего, кроме хорошего. Некоторое время она провела у сестер Св. Креста, которые научили ее читать и писать и сообщили ей кое-что из медицины. После этого она опять вернулась в свой

дом, собрала вокруг себя девочек и молодых девушек из тойятской деревни и стала их учить, как нужно жить на свете. И в этом ее доме, построенном для нее ее мужем, Нейлом Боннером, не было ни протестантизма, ни католичества, но миссионеры всех исповеданий относились к нему с одинаковым уважением. Двери этого дома были всегда открыты для всех, и усталые золотоискатели и утомившиеся от длинного пути на собаках проезжие нарочно сворачивали в сторону от реки или от тракта, чтобы хоть немного отдохнуть и обогреться у очага Джис-Ук.

А там, на юге, в Соединенных Штатах, Китти Боннер до сих пор удивляется, почему ее муж так интересуется просвещением Аляски и жертвует на это дело крупные суммы. И хотя она часто подсмеивается над ним и даже иногда порицает его, но втайне, в глубине души, еще больше гордится им.

Любовь к жизни

Любовь к жизни

Потоком времени не все поглощено.
Жизнь прожита, но облик ее вечен.
Пусть золото игры в волнах погребено –
Азарт игры как выигрыш отмечен.

Два путника шли, тяжело хромая, по склону холма. Один из них, шедший впереди, споткнулся о камни и чуть не упал. Двигались они медленно, усталые и слабые, и напряженные их лица были покрыты той покорностью, какая является результатом долгих страданий и перенесенных лишений. К плечам их были привязаны тяжелые мешки. Головные ремни, проходящие по лбу, придерживали ношу на шее. Каждый путник нес в руках ружье.

Они шли согнувшись, выдвинув вперед плечи, с глазами, уставленными в землю.

— Если бы только были у нас два патрона из тех, какие мы спрятали в нашей яме, — сказал

второй человек.

Его голос звучал тускло. Он говорил без всякого чувства. Первый человек, прихрамывая, переходил пенящийся между скал ручей — вода его была мутная, молочно-известкового цвета — и ничего ему не ответил.

Второй путник вошел в воду вслед за первым. Они не сняли обуви, хотя вода была ледяная — такая холодная, что их ноги болезненно немели.

В некоторых местах вода доходила до колен, и оба они шатались и теряли равновесие.

Путник, идущий сзади, поскользнулся о камень. Он чуть было не упал, но с большим усилием выпрямился, издав острый крик боли. Его голова кружилась, и он выставил правую руку, как бы ища опоры в воздухе.

Найдя равновесие, он двинулся вперед, но зашатался и снова чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего товарища, который даже не повернул головы.

Он стоял неподвижно в течение минуты, как бы что-то обдумывая. Затем крикнул:

— Послушай, Билл, я вывихнул себе ногу!

Билл шел, шатаясь, по известковой воде. Он не обернулся. Человек, стоявший в ручье, посмотрел вслед уходящему. Его губы немного дрожали, и

видно было, как двигались темно-рыжие усы, их покрывавшие. Он пытался смочить губы языком.

— Билл! — крикнул он снова.

Это была мольба сильного человека, очутившегося в беде. Но Билл не повернул головы. Человек смотрел, как спутник его уходит шатающейся походкой, нелепо прихрамывая и качаясь взад и вперед. Билл поднимался по отлогому склону низкого холма и подходил к мягкой линии окаймляющего его неба. Говоривший смотрел на уходящего товарища, пока тот не перевалил через вершину и не исчез за холмом. Тогда он перевел взгляд на окружающий ландшафт и медленно охватил взором мир. Только он — этот мир — остался ему теперь после ухода Билла.

Солнце неясно обозначалось вблизи горизонта, почти скрытое за туманом и паром, поднимающимися из долины. Эти туманные облака казались густыми и плотными, но были бесформенны и не имели очертаний.

Путник, опираясь на одну ногу, вынул часы.

Было четыре часа, и так как стоял конец июля или начало августа — точно он не знал числа, — солнце должно было находиться на северо-западе. Он посмотрел на запад: где-то там, за пустынными холмами, лежало Великое Медвежье озеро.

Он знал также, что в этом направлении Полярный круг проходит через проклятую область бесплодных равнин Канады. Ручей, в котором он стоял, был притоком Медной речки, которая течет к северу и вливается в заливе Коронации в Северный Ледовитый океан. Он никогда не бывал там, но видел эти места на карте Компании Гудзонова залива.

Снова взор его охватил окружающий пейзаж. То было невеселое зрелище. Всюду кругом обрисовывалась мягкая линия неба. Всюду поднимались невысокие холмы. Не было ни деревьев, ни кустов, ни травы — ничего, кроме бесконечной и страшной пустыни, вид которой внезапно заставил его содрогнуться.

— Билл, — прошептал он несколько раз. — Билл!

Он опустился посреди молочной воды, как будто окружающая ширь теснила его неодолимой и суровой своей властью и сокрушала ужасом своей обыденности. Он стал дрожать, словно в сильной лихорадке, пока ружье не выпало из его рук и с плеском не ударилось о воду. Это как будто пробудило его. Подавляя свой страх, он стал шарить в воде, пытаясь найти ружье. Он придвинул ношу к левому плечу, чтобы облег-

чить тяжесть для поврежденной ноги. Затем он начал осторожно и медленно, корчась от боли, продвигаться к берегу.

Он не остановился. С отчаянием, граничившим с безрассудством, не обращая внимания на боль, он спешил по направлению к холму, за которым исчез его товарищ. Его фигура выглядела еще более нелепой и странной, чем облик ушедшего путника. Снова в нем поднималась волна страха, и преодоление его стоило ему величайших усилий. Но он справился с собой и снова, отодвинув мешок еще дальше к левому плечу, продолжал путь по склону холма.

Дно долины было болотисто. Толстый слой мха, подобно губке, впитывал в себя воду и удерживал ее близко к поверхности. Вода эта проступала из-под ног путника на каждом шагу. Ноги его тонули в мокром мху, и он с большим усилием освобождал их из топи. Он выбирал себе дорогу от одного открытого места к другому, стараясь идти по следу того, кто прошел тут раньше. След этот вел через скалистые площадки, подобные островам в этом мшистом море.

Хотя он был один, но не терял дороги. Он знал, что придет к месту, где сухой карликовый ельник окаймляет берег маленького озера, называвше-

гося на языке страны «Тичиничили», или Страна Низких Стволов. В это озеро втекал небольшой ручей, вода которого не была молочной, подобно воде других ручьев этой местности. Он помнил хорошо, что вдоль этого ручья рос тростник. Он решил следовать по его течению до того места, где течение раздваивается. Там он перейдет ручей и найдет другой ручей, текущий к западу. Он пойдет вдоль него, пока не дойдет до реки Дизы, куда впадает этот ручей. Здесь он найдет яму для провизии — в потайном месте, под опрокинутой лодкой, с наваленной на нее грудой камней. В этой яме лежат заряды для его пустого ружья, рыболовные принадлежности, маленькая сетка для лова — одним словом, все приспособления для охоты и ловли пищи. Он найдет там также немного муки, кусок свиного сала и бобы.

Там Билл будет ожидать его, и они вместе отправятся на лодке вниз по Дизе к Великому Медвежьему озеру. Они будут плыть по озеру по направлению к югу, все южнее и южнее, пока не достигнут реки Маккензи. Оттуда они снова двинутся к югу. Таким образом они уйдут от наступающей зимы, от ее льдов и холода. Они дойдут, наконец, до Поста Компании Гудзонова залива, где растут высокие и густые леса и где

пищи сколько угодно.

Вот о чем думал путник, продолжая продвигаться. Напряжению его тела соответствовало такое же усилие его мысли, пытающейся убедиться в том, что Билл его не оставил, что он, наверно, будет ждать его у ямы. Этой мыслью он должен был себя успокаивать. Иначе идти было бесцельно и надо было ложиться на землю и умирать. Мысль его усиленно работала. Наблюдая, как неясный шар солнца медленно опускался к северо-западу, он все снова и снова вспоминал малейшие подробности начала его бегства к югу, вместе с Биллом, от настигавшей их зимы. Снова и снова он мысленно перебирал запасы провизии, спрятанной в яме. Вспоминал он все время и запасы Поста Компании Гудзонова залива. Он не ел два дня, а перед этим долго, очень долго недоедал. Часто он наклонялся, срывал бледные ягоды кустарника, клал их в рот, жевал и глотал. Эти ягоды — семя, заключенное в капсюле с безвкусной жидкостью. На вкус это семя очень горько. Человек знал, что ягоды совершенно непитательны, но терпеливо продолжал жевать.

В девять часов он ушиб большой палец ноги о каменную глыбу, пошатнулся и свалился на землю от усталости и слабости. Он лежал некоторое

время без движения, на боку. Затем высвободился из ремней своего дорожного мешка и с трудом принял сидячее положение. Было еще не совсем темно. В свете длящихся сумерек он ощупью старался отыскать между скалами обрывки сухого мха. Собрав кучу, он зажег огонь — теплящийся, дымный огонь — и поставил на него кипятить свой котелок.

Он развернул свою поклажу и стал считать свои спички.

Их было шестьдесят семь. Для верности он три раза пересчитал их. Он разделил их на небольшие пакеты, которые завернул в непромокаемую вощеную бумагу, и положил одну пачку в пустой кисет для табака, другую — за подкладку измятой шляпы, третью — под рубашку у тела. Сделав это, он вдруг поддался паническому страху, снова развернул их и пересчитал. И снова он насчитал шестьдесят семь.

Он высушил обувь у огня. Его мокасины разлезались на мокрые лоскуты. Шерстяные носки были сплошь в дырках, а ноги — изранены и окровавлены. Лодыжка горела от вывиха. Он посмотрел ее и нашел, что она распухла и стала величиной с колено. Он оторвал длинную полосу от одного из своих двух одеял и туго завязал ногу.

Другими полосками он обернул ноги, пытаясь заменить этим мокасины и носки. Затем выпил кипящую воду из котелка, завел часы и полез под верхнее одеяло. Он спал мертвым сном. Но недолго было темно. Солнце встало на северо-востоке. Вернее, заря забрезжила в этом месте, ибо солнце осталось скрытым за серыми облаками.

В шесть часов он проснулся, лежа на спине. Он глядел прямо вверх в серое небо и чувствовал, что голоден. Повернувшись на локте, он внезапно вздрогнул от раздавшегося вблизи громкого фырканья и увидел карибу, рассматривающего его с живым любопытством. Животное находилось на расстоянии не более пятидесяти футов от него. Мгновенно и мучительно остро он ощутил вкус оленьего филе и увидел его шипящим над огнем. Машинально взял незаряженное ружье, взвел курок и нажал на спуск. Олень фыркнул и отскочил. Его копыта гремели, когда он бежал по скалам.

Путник выругался и отбросил ружье. Он громко застонал, пытаясь встать на ноги. Это была тяжелая и медленная работа. Его суставы напоминали ржавые шарниры. Они двигались с трудом, задерживаемые трением связок. Чтобы согнуть какой-нибудь член, требовалось огромное усилие

воли. А после того как он встал окончательно на ноги, целая минута пошла на то, чтобы выпрямиться.

Он вполз на небольшое возвышение и обозрел местность. Не было ни деревьев, ни кустов — ничего, кроме серого моря мхов, где изредка выделялись такие же серые скалы, серые озерки и серые ручьи. Не было даже намека на солнце. Он не имел понятия о том, где находится север, и забыл дорогу, по которой накануне вечером пришел в это место. Но он знал, что не потерял пути. Скоро он придет в Страну Низких Стволов. Он чувствовал, что она лежит где-то налево, недалеко — быть может, сейчас же за соседним низким холмом.

Он вернулся, чтобы уложить свою поклажу для путешествия. Затем удостоверился в существовании трех отдельных пачек спичек, хотя не пересчитывал их. Но он колебался, раздумывая, при виде плоского мешка из лосиной кожи. Его размеры были невелики, и он мог покрыть его обеими руками. Но он знал, что мешок весит пятнадцать фунтов — столько же, сколько вся остальная поклажа. Это беспокоило его. Он отложил мешок и стал свертывать поклажу. Но скоро взор его снова вернулся к кожаному мешку,

и он снова за него схватился, бросив вызывающий взгляд на окружающую местность, словно упрекая пустыню в желании украсть его добро. Когда же он встал на ноги, с тем чтобы двинуться дальше, и пошел вперед, тяжело ступая, — мешок был включен в ношу на его спине.

Он двигался влево, останавливаясь изредка, чтобы собирать ягоды с кустов. Его нога окоченела, и прихрамывание стало более заметным. Но боль эта была незначительна в сравнении с болью в животе. Голод мучил его с такой остротой, что он не мог удерживать в мысли направление, ведущее в Страну Низких Стволов. Ягоды не утишали этих мук и в то же время своей едкостью болезненно раздражали полость рта.

Он вышел в долину и вспугнул там несколько птармиганов[73], сидевших на скалах и на кустах. Они поднялись, хлопая крыльями, издавая звуки «кер-кер-кер». Он бросал в них камни, но попасть не мог. Тогда он положил свою поклажу на землю и начал к ним подкрадываться, подобно тому, как кошка подкрадывается к воробью. Острые скалы ранили ноги, и колени его оставляли за собой на земле кровавый след. Но боль эта была несравни-

[73] Сноски: 73

Птицы из породы тетеревов, зимой меняющие свою черную или коричневую окраску на белую.

ма с мучениями голода. Он полз по мокрому мху, и одежда его пропитывалась водой, леденившей его члены. Его голод был так мучителен, что он ничего этого не замечал. Но птармиганы удалялись все дальше и дальше, и наконец их крик стал для него словно насмешкой. Он проклинал их и кричал, подражая их «кер-кер-кер».

Наконец он дополз до одной птицы, которая, вероятно, спала. Он не видал ее, пока она не вылетела из своего убежища в скалах и не порхнула мимо его лица. Он пытался схватить ее, и в руке остались три пера из ее хвоста. Глядя вслед улетающей птице, он остро и мучительно ее ненавидел. Затем вернулся к прежнему месту и навьючил на себя мешок.

В течение дня он вышел в долину, где дичи было еще больше. Стадо северных оленей — их было больше двадцати — прошло мимо, дразня его своей близостью. Он ощущал сумасшедшее желание бежать за ними и был почти уверен, что сможет их настигнуть. Черно-бурая лисица бежала ему навстречу, неся в зубах птармигана. Путник закричал. Это был страшный крик, и лисица испуганно метнулась в сторону, но птармигана не бросила.

Поздно, после полудня, он шел вдоль ручья,

молочного от извести, пробегающего между редкими зарослями тростника. Крепко ухватившись за тростник у самого его корня, он вытащил нечто вроде молодой луковицы, размером не больше кровельного гвоздя. Она была нежна, и зубы с наслаждением в нее вонзились. Но волокна корня были крепки и пропитаны водой. Как и ягоды, тростник был непитателен. Путник отбросил свою поклажу и на четвереньках вполз в заросли, вырывая луковицы и перетирая их зубами, подобно травоядному животному.

Он очень устал и часто ощущал желание лечь и заснуть. Но его подгонял голод — гораздо острее, чем желание достичь Страны Низких Стволов. Он искал лягушек в лужах и рыл ногтями землю, отыскивая червей, хотя знал, что так далеко на севере не существует ни лягушек, ни червей.

Он тщетно искал в каждой луже. Наконец, уже в сумерках, он нашел в одной из луж одинокую рыбу — небольшого пискаря[74]. Он погрузил в воду свою руку до плеча, но рыба увильнула. Тогда он опустил обе руки и поднял со дна мо-

[74] Сноски: 74

Пискарь (пискун, вьюн) — род рыбы из подсемейства вьюновых. Живет в озерах и реках с илистым дном; при высыхании воды зарывается в ил и может долго просуществовать вне воды. Не следует смешивать пискаря с пескарем, обитателем чистых проточных вод, рыбой из семейства карповых.

лочно-известковый ил. В своем возбуждении он упал в лужу и вымочился до пояса. Но вода стала слишком мутной, чтобы в ней можно было разглядеть рыбу, и он должен был ждать, пока ил уляжется.

Преследование продолжалось, пока вода не стала снова мутной. Но он не мог ждать. Он отстегнул от своего мешка ведро и стал вычерпывать воду из лужи. Сперва он вычерпывал, яростно плеща на себя водой и выливая ее на такое небольшое расстояние, что она текла обратно в лужу. Тогда он стал работать более внимательно, пытаясь оставаться хладнокровным, хотя сердце его билось в груди и руки дрожали. Через полчаса в луже воды не осталось. Но рыбы не было. Он нашел скрытую щель между камнями, через которую она ушла в соседнюю большую лужу… И из этой лужи нельзя было бы вычерпать воду в течение суток. Знай он только об этой щели, он мог бы закрыть ее камнем в самом начале — и поймал бы рыбу.

Так думал он и опустился, съежившись, на мокрую землю. Сперва он плакал вполголоса, а затем громко, словно обращаясь с жалобой к беспощадной пустыне. И долго еще потом он всхлипывал без слез.

Он зажег костер и согрелся тем, что пил горячую воду. Затем, как и накануне, устроил себе ночлег на сухой каменной площадке; осмотрел — сухи ли спички, и завел часы. Одеяла были мокры и липки. Его нога болезненно ныла. Но он сознавал только, что голоден. Он спал тревожно и видел во сне нескончаемые пиры и празднества, видел тонкие яства.

Проснулся он простуженным и больным. Солнца не было. Серая земля и серое небо еще больше потемнели. Дул сырой ветер, и первые снежинки покрывали белеющим покровом вершины холмов.

Воздух вокруг него сгущался и белел в то время, как он раскладывал костер и кипятил воду. Это был не то снег, не то дождь: хлопья были большие и мокрые. Сперва они таяли, как только прикасались к почве; но их падало все больше и больше, и белый покров постепенно расстилался кругом. Снег тушил огонь и портил собранный путником запас сухого мха.

Это послужило сигналом для отправки в путь. Он двинулся с поклажей на спине. Он не знал, куда идет. Его больше не заботила мысль о Стране Низких Стволов, и он перестал думать о Билле и о яме под перевернутой лодкой около реки

Дизы. Он помнил только одно, и это был глагол «есть». Он сходил с ума от голода. Он не обращал внимания на направление своего пути, стараясь только держаться вдоль дна долины. Он прокладывал себе путь через мокрый снег к ягодам на кустах и шел, ощупывая тростники и вырывая их корни. Но последние были совсем безвкусны. Он нашел какую-то кислую траву и съел все ее побеги. Но ее видно было очень мало, так как это была ползучая поросль, исчезающая под тонким покровом снега.

В этот вечер он не разводил огня и не имел горячей воды. Он лег спать под одеяло и спал беспокойным голодным сном. Снег превратился в холодный дождь. Он несколько раз просыпался и ощущал его капли на своем лице.

Проглянул день — серый день без солнца. Дождь перестал. Острота голода исчезла. Чувствительность, поскольку она вызывала стремление насытиться, была истощена. Осталась тупая, тяжелая боль в желудке, но это не особенно ему мешало. Он стал рассудительней и был снова озабочен мыслью о Стране Низких Стволов и складе у реки Дизы.

Он разорвал остатки одного из своих одеял и обмотал ими свои израненные ноги. Затем

снова перевязал больную ногу и приготовился продолжать путешествие. Осматривая поклажу, он долго раздумывал над плоским мешком из лосиной кожи, но в конце концов захватил его с собой.

Под действием дождя снег растаял, и только вершины холмов продолжали белеть. Солнце показалось. Ему удалось определить по компасу направление, и он знал теперь, что потерял дорогу. Быть может, в блужданиях последних дней он подался слишком далеко влево. Поэтому он ударился вправо, с тем чтобы уравновесить возможное отклонение от правильного пути.

Хотя мучения голода были уже не столь остры, но он был очень слаб и сознавал это. Он должен был часто останавливаться для отдыха и в это время жевал ягоды и корни тростника. Язык его был сух и распух; казалось, он покрылся тонким пухом. Во рту было горько. Сердце также причиняло ему много хлопот. Когда он ступал несколько шагов — оно начинало сильно биться, а затем словно прыгало вверх и вниз в мучительных перебоях, от которых ему трудно дышалось и голова его кружилась.

В середине дня он нашел двух пискарей в большой луже. Было невозможно вычерпать воду, но

теперь он был хладнокровнее, и ему удалось поймать их в жестяное ведро. Они были не длиннее мизинца, но он не ощущал особенного голода. Тупая боль в животе постепенно стала исчезать. Казалось, что желудок его дремлет. Он съел рыб сырыми, заботливо разжевывая их, ибо еда теперь была делом простого благоразумия. Есть он не хотел, но знал, что должен есть, чтобы жить.

Вечером он поймал еще трех пискарей. Он съел двух и оставил третьего про запас для завтрака. Солнце высушило клочки мха, и он мог согреться горячей водой. В этот день он сделал не больше десяти миль. В следующий день, двигаясь только тогда, когда сердце ему позволяло, он сделал не более пяти миль. Но желудок не причинял ему ни малейшего беспокойства. Он собрался спать. Страна была неведомая.

Все чаще встречались карибу, попадались и волки. Нередко их вой проносился по пустыне, и раз он увидел впереди трех крадущихся волков.

Еще одна ночь прошла. Утром, будучи более рассудительным, он развязал ремень, связывавший плоский мешок из лосиной кожи. Из последнего высыпался золотой песок и выпали слитки. Он разделил золото на две половины и спрятал одну часть на выступе скалы, завернув слитки в кусок

одеяла. Другая часть была положена обратно в мешок. Оторвав полосы единственного оставшегося одеяла, он обернул ими свои ноги. Он все еще цеплялся за ружье, так как в яме у реки Дизы находились заряды.

День был туманный. В этот день голод в нем снова проснулся. Он был очень слаб, а голова кружилась так сильно, что временами он переставал видеть. Теперь он часто спотыкался и падал. Раз, споткнувшись, он свалился как раз над гнездом птармигана. В гнезде было четыре птенчика, накануне вылупившихся из яйца, — маленькие комочки трепещущей жизни, достаточные только для одного глотка. Он жадно съел их, запихивая живыми в рот и раздавливая зубами, как яичную скорлупу. А мать с криком летала вокруг него. Он пытался сшибить ее ружьем, но тщетно. Он стал бросать в нее камнями и случайным ударом перебил крыло. То перепархивая, то волоча разбитое крыло, она пыталась спастись.

Цыплята только обострили его аппетит. Он неловко подпрыгивал на своей больной ноге, бросая в нее камни и дико крича; затем замолкал, продолжая за ней гнаться, падая и терпеливо поднимаясь или протирая глаза руками, когда голова его слишком кружилась. Охота увлекла

его на болотистое место на дне долины, где он увидел на мокром мху следы человека. Это не были его следы — он хорошо это видел. Должно быть, здесь проходил Билл. Но остановиться он не мог, так как птармиган убегал все дальше. Он сперва его поймает, а затем расследует это дело.

Птицу он загнал. Но и его силы иссякли. Судорожно двигаясь, она лежала на боку. И он также лежал на боку, шагах в десяти от нее, задыхаясь и не имея сил, чтобы подползти к ней. Когда же он оправился, она тоже собралась с силами и упорхнула в то время, когда его жадная рука уже готовилась ее схватить. Долго продолжалось преследование. Но ночь наступила, и птица спаслась. Он споткнулся от слабости и упал лицом вниз, с мешком на спине. Падая, он разрезал себе щеку. Долгое время он не двигался. Затем перевернулся на спину, завел часы и лежал там до утра.

Еще один туманный день. Половина одеяла ушла на обмотки для ног. Он не нашел следов Билла. Впрочем, это было безразлично. Голод гнал его слишком властно. Он спрашивал себя только — не потерялся ли также и Билл в этой пустыне. К полудню ему невмоготу стало тащить свою ношу. Снова он разделил золото, высыпав на этот раз половину прямо на землю. Днем он

выбросил остальную часть и оставил только половину одеяла, жестяной котелок и ружье.

Он стал галлюцинировать. Ему казалось, что у него остается один нетронутый заряд: лежит, случайно незамеченный, в затворе ружья. А вместе с этим он знал, что затвор пуст. Но галлюцинация ежеминутно возобновлялась. Устав бороться с нею, он открыл затвор — и нашел его пустым. Разочарование его было так же велико, как если бы он в самом деле твердо надеялся найти патрон.

Это повторялось много раз, и он то и дело открывал затвор, чтобы убедиться, что в нем нет заряда. Временами его мысль блуждала в еще более фантастических грезах. Он шел точно автомат, а в это время странные идеи и представления копошились, словно черви, в его мозгу. Впрочем, эти уходы в область нереального длились недолго: снова и снова муки голода возвращали его к действительности. Раз он внезапно пробудился от такого сна наяву и увидел зрелище, которое чуть-чуть не заставило его упасть в обморок. Перед ним стояла лошадь! Он не верил своим глазам и усиленно стал протирать их, чтобы отогнать густой туман, окутавший его зрение. Постепенно он разобрал, что это не лошадь, а большой бурый

медведь. Зверь глядел на него с воинственным любопытством.

Человек инстинктивно поднял ружье на половину расстояния до плеча, и только несколько секунд спустя к нему вернулась способность соображения. Он опустил ружье и вынул из ножен у бедра охотничий нож, попробовал пальцем его лезвие и убедился, что оно отточено. Он бросится на медведя и убьет его! Но сердце его начало отбивать угрожающее: тук-тук-тук. Затем — ряд перебоев, и он почувствовал, что словно железный обруч сжимает его лоб и туман овладевает его мозгом.

Его смелость стала исчезать, сменяясь волной великого испуга. А что, если зверь нападет на него — такого слабого, почти беззащитного?

Он выпрямился и принял возможно более внушительную позу, держа нож и глядя прямо в глаза медведю. Медведь неловко подвинулся на несколько шагов, встал на задние лапы и зарычал. Если бы человек побежал, он бросился бы за ним. Но человек не бежал: его обуяло мужество страха. Он тоже издал яростный крик, и в голове его билась неизбывная любовь к жизни и звучал непреоборимый страх, столь неразрывно связанный с этой любовью.

Медведь слегка отступил, рыча, но явно боясь этого таинственного существа, стоящего перед ним твердо и бесстрашно. Человек не двигался; он застыл как изваяние, и только когда медведь скрылся и опасность миновала, им овладел припадок нервной дрожи, и он свалился в изнеможении на мокрый мох.

Но вскоре, собравшись с силами, он двинулся дальше, охваченный новым страхом. Теперь он боялся уже не смерти от недостатка пищи, но был одержим ужасной мыслью, что звери разорвут его раньше, чем голод истощит последнюю частицу его жизненной силы. Вокруг бродили волки. Их вой слышался отовсюду, наполняя воздух угрозой; от этой угрозы, в своём начинающемся безумии, он слабо отмахивался руками — словно отталкивал от себя колеблемый ветром тент палатки.

Волки то и дело приближались по двое и по трое, пересекая путь, каким он шел. Но они все же держались от него на достаточном расстоянии — видимо, их было немного. Они привыкли охотиться за карибу, который оказывает мало сопротивления, и с опаской относились к человеку — странному животному, ступающему на задних ногах и способному, быть может, защи-

щаться когтями и зубами.

К вечеру он дошел до места, где лежали кости, недавно оставленные волками. Их добычей был молодой карибу — час назад он был еще жив. Путник осмотрел кости, начисто обглоданные и вылизанные, розоватые — клеточная ткань, видимо, еще не отмерла. Неужели и он превратится в эту груду костей до конца дня? Так вот что такое жизнь?! Умереть — разве это не значит уснуть? В смерти — великое успокоение и мир. Так почему же он не хочет умереть?

Но он не долго философствовал. Он присел на мху, высасывая из костей соки, еще сохранившиеся в клетках. Сладкий вкус мяса, тонкий и неуловимый, как воспоминание, выводил его из себя. Ломая зубы, он принялся разгрызать кости, затем стал разбивать кости камнем и истолок их в порошок, который проглотил. Второпях он ударил себя по пальцам и порою недоумевал, почему не чувствует боли.

А затем наступили ужасные дни со снегом и дождем. Он не знал уж, когда устраивает стоянку и когда снимается с лагеря. Шел он и по ночам и днем, отдыхал везде, где ему случалось падать; и когда жизнь вновь вспыхивала, полз дальше. Сознательно он уже не боролся. Жизнь — сама

жизнь, не желавшая умирать, — гнала его вперед. Он уже больше не страдал. Его нервы притупились, онемели, а в сознании проплывали жуткие видения и сладостные сны.

На ходу он сосал и жевал истолченные кости карибу, которые собрал и унес с собою. Он не переходил больше через холмы и ущелья, но машинально шел вдоль большого потока, протекавшего по дну широкой и неглубокой долины. Но он не видел ни воды, ни долины. Он ничего не воспринимал, кроме своих видений. Душа и тело его как будто шли, вернее, ползли рядом, оставаясь разъединенными и связанными одною тонкою нитью.

Он проснулся в полном сознании, лежа на спине на выступе скалы. Солнце ярко сияло. Неподалеку слышалась поступь карибу. В уме его проносились смутные воспоминания о дожде, ветре и снеге, но он не знал — боролся ли с бурей два дня либо две недели.

Он лежал некоторое время без движения, отогревая на солнце свое изможденное тело. Хороший день, думал он. Может быть, ему удастся определить свое местонахождение? Под ним, внизу, текла широкая и спокойная река. Он не знал ее и был удивлен. Медленно проследил он

взглядом ее течение, вьющееся изгибами между пустынными, голыми холмами; холмы эти выглядели более оголенными и низкими, чем виденные им ранее. Медленно и внимательно, без возбуждения и даже без обычного интереса он следил за течением этой незнакомой реки и увидал, что оно вливается в яркое и блестящее море. Это не произвело на него особенного впечатления. Галлюцинация или мираж, подумал он, — вероятнее всего, галлюцинация — следствие его расстроенного душевного состояния! И, словно в подтверждение, он увидел корабль, стоявший на якоре в открытом море. На мгновение он закрыл глаза и затем снова раскрыл. Странно — видение не исчезало! Но как перед тем он знал, что не могло быть зарядов в пустом затворе ружья, так и теперь был уверен в призрачности моря: кораблей в сердце пустыни быть не могло. И вдруг он услыхал за собою странное сопение и как бы задыхающийся кашель. Медленно, очень медленно, едва двигаясь от слабости и окоченения, он перевернулся на другую сторону. Вблизи ничего не было видно, но он терпеливо ждал. Снова раздались сопение и кашель, и в нескольких десятках шагов он увидел между двумя скалами серую голову волка. Острые уши

его, однако, не стояли приподнятыми вверх, как обычно у волков, глаза выглядели мутными и налились кровью, а голова уныло и безнадежно была опущена. Животное все время мигало на солнечном свете и казалось больным. В то время как он на него смотрел, оно снова засопело и закашляло.

«Это, по крайней мере, — действительность», — подумал он и повернулся в другую сторону, чтобы убедиться, что галлюцинации уже нет. Но море все еще блестело вдали, и корабль был ясно виден. «Неужели это в самом деле действительность?» Он закрыл глаза и некоторое время размышлял. И вдруг понял. Он шел не на север, а на восток, уходя от реки Дизы, двигаясь в направлении Долины Медных Рудников. Этот широкий и медленный поток — Медная река. Мерцающее море — Ледовитый океан. Корабль — китоловное судно, зашедшее далеко на восток из устья реки Маккензи. Оно стояло на якоре в заливе Коронации.

Он вспомнил карту, виденную им когда-то в конторе Компании Гудзонова залива, и все стало для него ясным и понятным.

Он обратился к делам, не терпящим отлагательств. Обмотки оказались сношенными, и ноги

его превратились в бесформенные куски мяса. Одеяло он уже потерял; ружья и ножа тоже не было. Он потерял где-то шапку с пачкой спичек в подкладке. Но спички на его груди сохранились сухими в табачном кисете и в пакете из вощеной бумаги. Он посмотрел на часы. Они показывали четыре часа и все еще шли. Очевидно, он их машинально заводил.

Спокойствие и хладнокровие не покидали его. Несмотря на чрезвычайную слабость, боли он не ощущал. И голоден он не был. Мысль о еде не особенно его тревожила, и сознания он не терял. Оторвав материю брюк снизу до колен, он обмотал ее вокруг ног. Каким-то образом ему удалось сохранить жестяной котелок. Он сознавал, что ему предстоит тяжелый путь к кораблю, и решил сперва напиться горячей воды.

Его движения были медленны, и он дрожал, как в лихорадке. Решившись встать, чтобы идти собирать сухой мох, он обнаружил, что не может подняться. Он повторил попытку — так же безуспешно — и затем удовольствовался тем, что пополз на руках и ногах. Пришлось проползти мимо больного волка. Животное неохотно отодвинулось, облизывая губы ослабевшим языком. Он заметил, что язык этот был не красный, как

обычно, а желто-бурый и покрыт каким-то сухим налетом.

Выпив котелок горячей воды, путник нашел, что может не только стоять, но даже двигаться — так, впрочем, как мог бы передвигаться и умирающий. Уже ежеминутно он был вынужден отдыхать. Его поступь была слабой и неверной, и его движения похожи на движения больного волка. Шел он медленно, и когда темнота скрыла мерцающее море, оказалось, что за весь день он прошел только четыре мили.

Ночью он не раз слышал кашель больного волка и мычание оленей.

Он знал, что больной волк тащится по его следу, надеясь, что человек умрет первым. Утром он увидел зверя, наблюдавшего за ним жадным и голодным взглядом. Зверь полулежал-полустоял, с хвостом между ногами — как несчастная, брошенная собака, — и дрожал от холода, безжизненно скаля зубы, когда человек обратился к нему хриплым шепотом.

Взошло яркое солнце, и путник, шатаясь и падая, шел все утро к кораблю. Погода была исключительная. То было короткое индейское лето Дальнего Севера. Оно могло длиться неделю и в любой день исчезнуть.

После полудня путник напал на след. Это был след человека, который уже не мог идти, а тащился на четвереньках. Путник сообразил, что это мог быть Билл, но думал об этом без особенного интереса. Он не испытывал любопытства, ибо давно уже потерял способность ощущать и чувствовать по-настоящему. Он стал нечувствителен к боли. Желудок и нервы его заснули. Но трепетавшая в нем жизнь неустанно гнала его вперед. Он чувствовал себя совершенно изможденным, а жизнь не сдавалась. Подстегиваемый ею, он продолжал есть ягоды, ловить пискарей и пить горячую воду и с опаской следил за идущим по пятам волком. Скоро след тащившегося впереди человека пресекся, и он наткнулся на несколько свежеобглоданных человеческих костей. Вокруг них сырой мох сохранил следы волчьей стаи, а на мху лежал плоский мешок из лосиной кожи — точь-в-точь такой же, как и его. Мешок был разорван острыми зубами. Он поднял его, хотя мешок был слишком тяжел. Билл нес его до конца! Ха-ха! Вот когда можно было посмеяться! Он — оставленный позади — выживает и понесет мешок к мерцающему морю! Его смех звучал хрипло и жутко — подобно карканью ворона. Больной волк присоединился к нему унылым воем. Но

человек вдруг замолк. Как может он смеяться над Биллом, когда это, лежащее здесь — Билл? Эти кости, розово-белые и чистые, — Билл!..

Он отвернулся. Да, конечно, Билл его бросил. Но все же он не возьмет золота и не будет сосать его костей. Впрочем, подумал он, Билл это сделал бы — случись только все наоборот.

Он подошел к луже воды, наклонился над ней, ища пискарей, и вдруг отдернул голову, как будто его ужалили. В воде он увидел свое собственное отражение — такое страшное, что он был потрясен. В луже плескались три пискаря, но она была слишком велика, чтобы можно было вычерпать из нее воду. После нескольких неудачных попыток поймать их котелком он оставил это намерение. Был он так слаб, что боялся упасть в воду и утонуть. Поэтому он и не решался довериться реке и продолжать путешествие на каком-нибудь странствующем бревне, выброшенном на песчаный берег.

За этот день расстояние между ним и кораблем уменьшилось приблизительно на три мили. В следующий день — на две, ибо он уже мог только ползти, подобно тому, как полз Билл. В конце пятого дня корабль находился еще в семи милях от него, а он не в силах был делать больше одной

мили в день. Но индейское лето все еще держалось, и он продолжал ползти, временами падая от слабости, перекатываясь с бока на бок. Все время за собой он слышал кашель и сопение больного волка. Колени человека превратились — так же, как и его ноги, — в сырое мясо, и хотя он завертывал их в куски рубашки, оторванные от ее спины, они оставляли за собой на мху и на камнях красный след. Раз, обернувшись, он увидел, что волк жадно лижет этот кровяной след, и он вдруг понял, что ждет его, если… если он не поймает этого зверя! И тогда разыгралась одна из самых страшных трагедий: больной ползущий человек, больной прихрамывающий волк — два живых существа — тащились, умирающие, через пустыню, охотясь друг на друга.

Если бы волк был здоров — пожалуй, было бы легче. Но мысль о том, что он послужит пищей для этого отвратительного полумертвого существа, была ему противна. Он стал разборчив. Он снова начал галлюцинировать, и проблески сознания становились все реже и короче.

Раз он проснулся от сопения у самого его уха. Волк неловко отпрыгнул, теряя устойчивость и падая от слабости. Это было нелепо, почти смешно, но отнюдь его не забавляло. Впрочем, он не

боялся. Ему было уже не до этого. Но мысль его оставалась ясной, и, лежа, он обдумывал положение. Корабль был не более как в четырех милях от него. Он видел его явственно, протерев глаза для того, чтобы смахнуть расстилавшийся туман. Он видел также парус небольшой лодки, прорезывавшей воду блестящего моря. Но ему уже не проползти этих четырех миль! Сознание это давало ему своего рода спокойствие. Он знал, что не может проползти даже и одной мили. И все же он страстно хотел жить. Было бы бессмысленно умереть после всего того, через что он прошел! Он не мог примириться с такой судьбой. Умирая, он отказывался умереть. То было явное безумие: находясь в самых когтях смерти, он бросал ей вызов и вступал с нею в решительную схватку!

Он закрыл глаза и стал тщательно собираться с силами, пытаясь не отдаваться смертельной слабости, постепенно охватывавшей — подобно нарастающему приливу — все его существо. Эта смертельная усталость была в самом деле похожа на морской прилив. Она двигалась, приближалась и постепенно затопляла сознание. Иногда он чувствовал себя почти затопленным ею, и ему удавалось осиливать беспамятство только моментами. В результате какого-то странного

душевного процесса воля его напрягалась и он мог сопротивляться настигающему его забытью.

Терпение волка поражало. Но не менее поразительно было терпение человека. В течение половины дня он лежал без движения, борясь с забытьём. По временам томление нарастало в нем, и он снова начинал галлюцинировать. Но все время — и бодрствуя, и в полузабытьи — он прислушивался к хриплому дыханию вблизи себя.

Вдруг он перестал его слышать. Он медленно очнулся от сна и почувствовал, что чей-то язык лижет его руку. Он ждал. Зубы, схватившие его тело, медленно сжимались; давление их постепенно увеличивалось. Волк напрягал последние силы, чтобы вонзить зубы в добычу, которую он так давно поджидал. Но человек тоже долго ждал, и укушенная рука схватила волка за челюсть. Медленно — волк едва-едва боролся, а рука слабо его держала — другая рука тоже потянулась, чтобы схватить зверя. Через несколько минут человек всем своим весом опрокинулся на зверя. Руки были слишком слабы, чтобы задушить волка, но он прижался лицом к пушистому горлу, и рот его был полон шерсти. Через полчаса человек почувствовал в своем горле какую-то теплую

струю. Это не было приятно… Словно растопленный свинец вливался ему в желудок. Он глотал, напрягая всю свою волю. Затем он перевернулся на спину и заснул.

На борту китобойного судна «Бедфорд» находилась научная экспедиция. С палубы кто-то заметил на берегу странное существо. Оно двигалось по песку к воде. Определить, что это за существо, члены экспедиции не могли и, будучи любознательными, сели в лодку и отправились к берегу. Там они увидели некое существо — правда, еще живое, но которое едва можно было назвать человеком. Слепое и без сознания, оно извивалось по земле, точно громадный червяк. Большинство его движений было безрезультатно, но оно все же проявляло большое упорство. Извиваясь и перекатываясь, оно подвигалось вперед со скоростью приблизительно нескольких десятков футов в час.

Три недели спустя человек лежал на постели китобойного судна «Бедфорд» и со слезами, струящимися по исхудалому лицу, рассказывал, кто он и что пережил. Он говорил несвязно о своей матери, о солнечной местности в Южной Калифорнии, о доме среди апельсинных рощ и цветов.

Через несколько дней он сидел за столом с учеными и офицерами корабля. Он наслаждался видом большого количества поданных блюд, ревниво следя за тем, как исчезала пища. Каждый съедаемый кусок он провожал взглядом, полным глубокого сожаления. Его преследовал страх, что запасы провизии иссякнут. Он был в здравом уме, но за едой ненавидел этих людей и постоянно расспрашивал повара, юнгу, капитана про запасы провизии. Они его успокаивали бесчисленное число раз. Но он не верил и подглядывал в кладовую, чтобы удостовериться собственными глазами.

Заметили, что человек этот полнеет. Он становился толще с каждым днем. Ученые качали головами и строили теории. Они ограничили его порции за столом, но, несмотря на это, он все полнел — словно распухал под своей одеждой.

Матросы смеялись. Они знали, в чем тут дело. И когда ученые стали за ним следить, они тоже узнали. Они увидели, как он крадется после завтрака и, подобно нищему, с протянутой рукой, упрашивает матроса. Матрос смеется и дает ему кусок морского сухаря. Тот жадно его схватывает, любуется им, как скупец золотом, и прячет за пазуху. То же он проделывал и с подачками других

матросов.

Ученые не показали виду. Они оставили его в покое, но незаметно осмотрели его постель. Она была обложена кругом сухарями, и в матрасе оказались сухари, каждый уголок и щель были забиты крошками. И, однако, он был в здравом уме. Он только принимал меры против возможного голодания. Он должен выздороветь от этой навязчивой идеи, говорили ученые. И в самом деле, он выздоровел раньше даже, чем якорь «Бедфорда» загремел в бухте Сан-Франциско.

Бурый волк

Трава была еще покрыта росою, и она задержалась несколько, чтобы надеть калоши. Выйдя из дому, она нашла мужа, погруженного в созерцание распускающегося миндального бутона. Она окинула ищущим взором высокую траву и местность вокруг фруктовых деревьев.

— Где же Волк?

— Он только что был здесь. — Уолт Ирвин мигом оторвался от поэтических и метафизических раздумий, вызванных чудом органического развития цветка, и посмотрел вдаль. — Я видел, как он гнался за кроликом.

— Волк! Волк! Сюда! Волк!.. — закричала Мэдж. Они миновали расчищенную полянку и пошли по лесной тропинке, украшенной восковыми колокольчиками манзаниты.

Ирвин всунул в рот мизинцы обеих рук и помог ей резким свистом.

Закрыв уши ладонями, она сделала гримасу.

— Однако для поэта, нежно настроенного, ты умеешь издавать довольно-таки некрасивые звуки. Мои барабанные перепонки… знаешь, они полопались. Ты свистишь громче, чем…

— Орфей?

— Нет, я хотела сказать — чем уличный бродяга, — заключила она строго.

— Поэзия не мешает быть практичным. Мне, по крайней мере, она не мешает. Я не обладаю ведь тем легкомысленным гением, который неспособен продавать свои перлы журналам.

Он принял шутливо-напыщенный вид и продолжал:

— Я не певец чердаков, но я и не салонный соловей. Почему? Да потому что я практичен. Песнями я богат; а их я могу превращать — конечно, обменивая — в домик, увитый цветами, в прекрасный горный луг, в рощицу… Наконец, во фруктовый сад из тридцати семи деревьев, в длинную грядку ежевики да в две короткие грядки земляники, не говоря уже о четверти мили журчащего ручья. Я — торгаш красоты, продавец песен, и о пользе я не забываю. Нет, моя дорогая Мэдж, я не забываю. Я пою песни и, благодаря издателям журналов, превращаю их в дыхание западного ветра, шепчущего в наших рощах, и в журчание струй и ручейков между мшистых камней. И от журчащих струй и дыханий ветерка зарождается песнь: то снова моя песнь возвращается ко мне: она не та, какую я пел, она другая, но вместе с тем она та

же самая, но только чудесно преображенная…

— О, если бы все твои превращения были так удачны! — засмеялась она.

— Назови хоть одно неудачное.

— Эти два великолепных сонета, которые ты превратил в корову, оказавшуюся потом по дойности худшей в округе.

— Она была прекрасна… — начал он.

— Но она не давала молока, — прервала его Мэдж.

— Но она была красива, не правда ли? — настаивал он.

— Вот тут-то и видно, что не всегда красота приносит пользу. А вот и Волк.

В чаще, покрывающей склон холма, раздался треск сухостоя, и вслед за этим в сорока футах над ними, на краю скалистой стены, показалась волчья голова. Его передние лапы сдвинули камешек, и с настороженными ушами и неподвижными глазами он наблюдал падение камня, пока тот не ударился о землю у их ног. Тогда Волк перевел на них взгляд, оскалил зубы и словно ухмыльнулся.

— Волк! Волк, хороший Волк! — звали его мужчина и женщина.

При звуке их голосов собака прижала уши, и

голова ее как будто ластилась под лаской невидимой руки.

Они смотрели, как она лезла обратно в чащу, и продолжали идти. Несколько минут спустя на повороте дороги, где спуск был не так крут, Волк присоединился к ним. Он сдержанно проявлял свои чувства. После того как мужчина потрепал его около ушей, а женщина приласкала, он вырвался и помчался вперед по тропинке; скоро он был уже далеко. Он бежал, без усилий — совсем по-волчьи — скользя по земле.

Сложением и тяжестью он походил на крупного волка. Но окраска говорила за то, что волком он не был. Эта окраска выдавала в нем собаку — бурая, темно-коричневая, с красноватым оттенком. Спина и плечи были темно-бурой окраски, которая светлела на боках, а на животе становилась темно-желтой. Белые пятна на горле, на лапах и над глазами казались грязноватыми, ибо в них также проглядывал бурый оттенок. Глаза его напоминали топазы.

И женщина, и мужчина одинаково любили эту собаку. Быть может, отчасти это было связано с теми усилиями, каких стоило им завоевать ее расположение. Когда собака впервые странным образом попала в их горный домик, приручение

ее оказалось далеко не легким делом. Голодная, с израненными ногами, она прибежала неизвестно откуда и тотчас же изловила кролика под самыми их окнами. Затем она потащилась вниз и заснула у ручья, около кустиков ежевики. Когда Ирвин подошел, чтобы осмотреть гостя, тот и на него злобно зарычал; такая же встреча ждала Мэдж, когда она спустилась, чтобы предложить ему, в знак мира, большую тарелку моченного в молоке хлеба.

Гость этот оказался очень необщительной собакой и отвергал все их попытки сближения, не позволяя себя тронуть, всякий раз угрожающе скаля зубы и ощетинивая шерсть. И все же собака осталась. Она ночевала у ручья и съедала пищу, которую они ей приносили, предварительно удостоверившись, что они отошли на достаточное расстояние. Очевидно, она оставалась у них только потому, что находилась в необычайно жалком физическом состоянии. Когда же она немного поправилась, то сразу исчезла.

Тем бы все и кончилось, если бы Ирвин вскоре не поехал по делам в северную часть штата. Проезжая в поезде на границе между Калифорнией и Орегоном, он посмотрел случайно в окно и вдруг увидел своего необщительного гостя, бегущего

вдоль дороги, подобно бурому волку. Собака бежала, усталая, но неутомимая, покрытая пылью и грязью от двухсотмильного пробега.

Ирвин был очень импульсивен — как настоящий поэт. Он слез с поезда на следующей станции, купил у мясника мяса и поймал бродягу в окрестностях города. Обратный путь был совершен в багажном вагоне, и таким-то образом Волк вторично вернулся в горный коттедж. Здесь он был привязан в течение недели и обласкан обоими супругами. Но ласка их оставалась вынужденно осторожной. Далекий и чуждый, как пришелец с другой планеты, Волк отвечал рычанием на их нежные слова. Он никогда не лаял. За все время его пребывания у них они никогда не слышали его лая.

Приручить его было нелегко. Но Ирвин любил такого рода задачи. Он заказал металлическую пластинку с надписью: «Возвратите Уолту Ирвину. Глен Эллен, Округ Сонома, Калифорния». Эта пластинка была привинчена к ошейнику, надетому на шею собаки. Затем ее отпустили, после чего она немедленно исчезла. День спустя была получена телеграмма из Мендосинского округа. В двадцать часов собака пробежала сто миль к северу и все еще бежала, когда ее поймали.

Она вернулась со скорым поездом из Уэльс-Фарго, была привязана в течение трех дней; на четвертый ее освободили, и она снова убежала. На этот раз она достигла Южного Орегона раньше, чем ее поймали и вернули. Всегда, как только ей давали свободу, собака убегала, и всегда — в северном направлении. Как будто какая-то навязчивая идея гнала ее к северу. Ирвин назвал это «инстинктом дома», истратив гонорар за целый сонет на уплату за возвращение собаки из Северного Орегона.

В другой раз бурому страннику удалось пробежать всю Калифорнию, Орегон и большую часть Вашингтона раньше, чем его вернули. Путешествовал он с замечательной скоростью. Поев и отдохнув, собака, как только ее освобождали, пускалась изо всех сил бежать через обширные пространства. В первый день она могла пробежать полтораста миль. Затем двигалась с ежедневной скоростью приблизительно в сто миль — и так вплоть до поимки. Она всегда возвращалась и всегда уходила свежей и сильной, пробиваясь на север, гонимая каким-то непонятным влечением.

Но наконец, после года тщетных попыток к бегству, она примирилась с неизбежностью и стала

жить в коттедже, где в первый день задушила кролика и заснула у ручья. Но даже после этого долгое время прошло, пока она позволила новым своим хозяевам себя погладить. Это было великой победой, ибо они одни могли ее трогать. Ни один из гостей в коттедже подойти к ней не мог. Глухое ворчание раздавалось при приближении каждого незнакомца. Если бы кто-нибудь имел смелость подойти ближе, обнажались зубы, а ворчание превращалось в столь свирепое и злобное рычание, что даже испытанные храбрецы поспешно отступали.

Собаки фермеров боялись ее, ибо знали рычание собак, но никогда еще не слышали рычания волка.

Ничего не известно было хозяевам коттеджа о прошлом этой собаки. Они знали только, что к ним она пришла с юга, но ровно ничего не знали о ее прежнем владельце, от которого она, по-видимому, убежала. Миссис Джонсон — их ближайшая соседка и поставщица молока — уверяла, что это собака из Клондайка. Ее брат искал золото в этой ледяной стране, и она считала себя авторитетом во всем, что касалось этого вопроса.

Они не спорили с ней. Концы ушей Волка, видимо, были когда-то отморожены, и так сильно,

что вылечить их было уже нельзя. Вместе с тем он походил на снимки собак с Аляски, помещаемые в журналах и газетах. Уолт и Мэдж часто обсуждали его прошлое и старались угадать, руководствуясь тем, что они слышали и читали, какова была его жизнь на Севере. Они знали, что Север все еще его привлекает. Ночью они слышали по временам, как он тихо скулит. Когда же дул северный ветер и ударял легкий морозец, им овладевало сильнейшее беспокойство, и он поднимал жалобный вой, похожий на волчий. Но он никогда не лаял. И никакими способами нельзя было заставить его залаять.

Они долго спорили о том, кому из них принадлежит собака. Каждый предъявлял на нее права, указывая на признаки ее преданности к нему. Но мужчина, по-видимому, имел преимущество. Главным образом потому, что он был мужчиной. Было ясно, что Волк не имел никакого опыта в обращении с женщинами. Он их не понимал и никогда не мог примириться с юбками Мэдж. Их шелест всегда внушал ему беспокойство, а в ветреный день она не могла даже подойти к нему.

Но, с другой стороны, именно Мэдж его кормила. В ее распоряжении была кухня, и только по ее милости Волку разрешалось переступить свя-

щенные пределы. Это позволило ей заслужить его расположение, несмотря на препятствие, заключавшееся в ее одежде. Но тогда Уолт постарался приучить Волка лежать у его ног, пока он писал; он потратил на ласки и уговоры немало времени, но в конце концов все-таки игру выиграл. Его победа объяснилась главным образом тем, что он был мужчиной; Мэдж, однако, уверяла, что если бы Уолт по-настоящему занимался превращением песен, вместо того чтобы приручать Волка, они смогли бы приобрести за это время еще четверть мили журчащего ручья.

— Пора бы мне получить известие об этих триолетах, — сказал Уолт после пятиминутного молчания, продолжая идти по тропе. — В почтовом отделении, наверное, будет чек, и мы превратим его в великолепную гречневую муку, в кленовый сироп и в новую пару галош для тебя.

— И в великолепное молоко великолепной коровы миссис Джонсон, — добавила Мэдж. — Ведь завтра первое число.

Уолт слегка нахмурился, но затем его лицо повеселело, и он ударил рукой по боковому карману.

— Ничего, у меня здесь в кармане чудесная новая корова — первая дойная корова Калифорнии.

— Когда ты написал это? — живо спросила она. Но тут же добавила с укором: — И ты мне даже не показал!

— Я оставил это стихотворение с тем, чтобы прочесть его тебе на пути в почтовое отделение, как раз вот в таком местечке, — отвечал он, указывая на сухое бревно, где можно было усесться.

Небольшой ручеек вытекал из густых папоротниковых зарослей, скользил по мшистому камню и перебегал дорогу у их ног. Из долины поднималась звонкая песня жаворонка. Вокруг путников, порхая из солнечных просторов в тенистые места, мелькали большие желтые бабочки.

Во время чтения рукописи на дороге под ними послышались тяжелые шаги. Уолт только что окончил чтение стихов и обратился за одобрением к жене, когда незнакомец показался на повороте тропинки. Он был без шапки и сильно вспотел. Одной рукой он вытирал себе лицо платком, в другой — держал новую шляпу и крахмальный воротничок, снятый с шеи. Был он крепкого сложения, и казалось, что от его мускулов вот-вот треснет его костюм, купленный, видимо, готовым.

— С жарким днем! — приветствовал его Уолт. Он пользовался каждым случаем, чтобы установить

хорошие отношения с сельскими жителями.

Человек остановился и кивнул.

— Я не особенно привык к жаре, — отвечал он, как бы извиняясь. — Скорее больше привык к температуре на нуле.

— Ее вы не найдете в западной стране, — засмеялся Уолт.

— Да, но я ведь не для этого пришел. Я стараюсь найти свою сестру. Быть может, вы знаете, где она живет? Ее имя Джонсон — миссис Вильямс Джонсон.

— Вы ее брат из Клондайка? — живо воскликнула Мэдж. — Мы о нем так много говорили!

— Да, это я, — ответил он сдержанно. — Мое имя Миллер — Скифф Миллер. Я бы хотел сделать ей сюрприз.

— Вы идете правильно, только свернули на тропинку. — Мэдж встала, чтобы показать ему дорогу, идущую около четверти мили вдоль ущелья. — Вы видите этот хвойный лес? Идите по тропинке — она несколько сворачивает направо. Это приведет вас вскоре прямо к ее дому.

— Благодарю вас, — сказал он. Он хотел тронуться, но, казалось, прирос к земле. Он глядел на Мэдж с восхищением, которое не пытался даже скрыть. Вместе с тем видно было, что это

приводит его в смущение.

— Мы хотели бы, чтобы вы нам рассказали про Клондайк, — сказала Мэдж. — Нельзя ли нам прийти как-нибудь, когда вы будете у вашей сестры? А еще лучше — не придете ли вы с нею к нам пообедать?

— Благодарю вас, — проговорил он как бы машинально. Затем, овладев собою, прибавил: — Я не могу долго оставаться. Я должен снова ехать на Север. Видите ли, я заключил контракт с правительством для поставки почты.

Мэдж выразила сожаление. Он сделал новую тщетную попытку уйти, но не мог оторвать своих глаз от ее лица. В своем восхищении он даже пересилил смущение, и теперь, в свою очередь, Мэдж вспыхнула и почувствовала себя неловко.

И как раз в тот момент, когда Уолт готовился что-нибудь сказать, чтобы помочь выйти из затруднительного положения, Волк вышел из кустов и предстал перед ними.

Рассеянность Скиффа Миллера сразу пропала. Красивая женщина мгновенно исчезла из поля его зрения. Он смотрел только на собаку, и изумление было написано на его лице.

— Черт возьми! — произнес он медленно и значительно.

Он уселся на бревно, предоставляя Мэдж стоять рядом. При звуке его голоса уши Волка отогнулись, и он радостно оскалил зубы. Затем медленно подбежал к незнакомцу, понюхал его руки и стал лизать их.

Скифф Миллер погладил голову собаки и медленно и значительно повторил:

— Черт меня возьми!.. Извините, — тотчас же поправился он, обращаясь к Мэдж. — Я несколько удивлен, вот и все.

— Мы тоже удивлены, — ответила она. — Мы никогда не видели раньше, чтобы Волк подошел к незнакомцу.

— Вы его называете Волком? — спросил тот.

Мэдж утвердительно кивнула.

— Я не понимаю, однако, его дружбы к вам. Может быть, это потому, что вы из Клондайка. Он ведь клондайкская собака.

— Да, — сказал Миллер рассеянно. Он взял Волка за переднюю лапу, поднял ее и осмотрел пальцы. — Что-то мягкие, — заметил он. — Он давно не возил.

— Послушайте, — не удержался Уолт, — замечательно, как он позволяет вам с собой обращаться!

Скифф Миллер поднялся, позабыв свое недав-

нее смущение при виде Мэдж, и спросил резким деловым тоном:

— Давно она у вас?

Но как раз в этот момент собака, ластившаяся к Миллеру, залаяла. Это был взрыв лая — короткий и радостный, — но несомненно лай.

— Это ново для меня, — заметил Скифф Миллер.

Уолт и Мэдж с удивлением глядели друг на друга. Чудо совершилось — Волк залаял.

— Смотрите, он лает, но это в первый раз, — сказала Мэдж.

— Да, я тоже впервые слышу его лай, — подтвердил Миллер.

Мэдж улыбнулась. Человек этот, очевидно, был шутник.

— Конечно, — сказала она, — ведь вы его видите всего пять минут.

Скифф Миллер быстро на нее взглянул, как бы стараясь угадать, что она хотела этим сказать.

— Я думал, что вы поняли, — сказал он медленно. — Я думал, вы поняли при виде того, как она со мной обходится. Это — моя собака. Ее зовут не Волком, а Бурым.

Уолт сразу занял оборонительную позицию.

— Откуда вы знаете, что это ваша собака? —

спросил он.

— Потому что она моя, — был ответ.

— Это голословно, — сказал Уолт резко.

Скифф Миллер со своей обычной медлительностью посмотрел на него и затем, показывая кивком на Мэдж, спросил:

— Откуда знаете вы, что она ваша жена? Вы можете ответить: «Потому что она моя». И я ведь могу тоже сказать, что это голословно. Собака — моя. Я вырастил и воспитал ее, и потому думаю, что могу знать. Я вам это докажу.

Скифф Миллер обратился к собаке:

— Бурый!.. — Его голос прозвучал громко и повелительно, и при этом окрике уши собаки отогнулись, словно от ласки. — Ги! — Собака плавно повернула направо. — Ну, теперь вперед! — И собака сразу приостановила свое круговое движение и пошла прямо, послушно останавливаясь, когда он приказывал.

— Я могу сделать это также и свистом, — сказал Скифф Миллер с гордостью. — Она была у меня вожаком.

— Но вы не возьмете ее с собой? — спросила Мэдж с дрожью в голосе.

Человек утвердительно кивнул.

— Назад, в этот ужасный Клондайк, в этот мир

страданий?

Он кивнул и прибавил:

— О, там вовсе не так уж плохо. Посмотрите на меня. Мне кажется, я достаточно здоров.

— Но для собак! — продолжала Мэдж. — Лишения, тяжелый труд, голод, мороз… О, я читала об этом и знаю!

— Я чуть его раз не съел, — мрачно заметил Миллер, — если бы я не убил в тот день лося, был бы ему капут.

— Я умерла бы скорее! — воскликнула Мэдж.

— Ну здесь-то все обстоит иначе, — объяснил Миллер. — Вы не должны здесь есть собак. Но когда вы попадаете туда, вы начинаете рассуждать иначе. Ведь вы никогда там не были и потому ничего в этом не понимаете.

— Ну, вот именно, в этом-то и дело, — доказывала она, — в Калифорнии не едят собак. Почему бы вам его не оставить здесь? Он счастлив. Он никогда не будет нуждаться в пище — вы это видите. Он никогда не будет страдать от холода и лишений. Здесь его ласкают. Нет дикости ни в людях, ни в природе. Больше он никогда не узнает бича. Что же касается погоды, здесь никогда не бывает снега.

— А зато нестерпимая жара летом, — засмеялся

Скифф Миллер.

— Но вы не отвечаете, — продолжала возбужденно Мэдж. — Что можете вы ему предложить в вашей жизни на Севере?

— Пищу, когда она у меня есть.

— А когда нет?

— Когда нет — не едят.

— А работа?

— Работы всегда много! — крикнул Миллер нетерпеливо. — Работа без конца, и голод, и мороз… вот что Бурый получит, когда пойдет со мной. Но он это любит. Он привык к этому. Он знает эту жизнь, родился там и вырос; а вы ничего в этом не понимаете. Вы не знаете, о чем говорите. Собака — из того края, и там только будет счастлива.

— Собаку не отдадим, — сказал Уолт решительно. — А потому — что толку в дальнейшем споре…

— Что такое? — спросил Скифф Миллер, нахмурившись и покраснев.

— Я сказал, что не отдам собаки, — и дело с концом… Не верю я, что она ваша. Вы, быть может, когда-нибудь и видели Волка, да, пожалуй, ездили на нем вместе с его владельцем. А то, что он подчиняется обычным приказаниям аляс-

кинской возки, вовсе еще не доказывает, что он ваш. Любая собака с Аляски вас бы слушалась. Но с аляскинской точки зрения — Волк, по-видимому, собака очень ценная, и потому-то вы и хотите заполучить ее в собственность. Во всяком случае, вам еще придется доказать, что эта собака ваша.

Скифф Миллер спокойно и хладнокровно оглядел поэта с ног до головы, как бы оценивая его сложение. Только румянец на его лбу еще более обозначился и громадные мускулы, казалось, напряглись, выпирая из-под черного сукна его платья. Затем лицо клондайкского обитателя приняло презрительное выражение, и он сказал внушительно:

— Я не вижу ничего, что могло бы мне помешать сейчас же взять собаку.

Уолт покраснел, и мускулы его рук также напряглись. Но его жена опасливо вмешалась.

— Быть может, мистер Миллер прав, — сказала она. — Я боюсь, что он прав. Волк как будто в самом деле его знает и, во всяком случае, отвечает на кличку Бурый. Он сразу с ним подружился, и ты знаешь, что он никогда раньше ни с кем так не обходился. Затем вспомни, как он лаял. Он прямо ликовал от радости. Отчего? Несомненно, оттого, что нашел мистера Миллера.

По виду Уолта заметно было, что он также потерял надежду.

— Пожалуй, ты права, Мэдж, — сказал он. — По-видимому, Волк — не Волк, а Бурый, и должен принадлежать мистеру Миллеру.

— Может быть, мистер Миллер продаст его? — предложила она. — И мы сможем его купить.

Скифф Миллер покачал головой. Он отбросил свою воинственность и, казалось, готов был в свою очередь проявить великодушие.

— У меня пять собак, — объяснил он, выискивая самый лучший довод, чтобы смягчить свой отказ. — Бурый был их вожаком. Они были лучшей сворой по всей Аляске. Ничто их не брало. В девяносто восьмом году я отказался продать их за пять тысяч долларов. Тогда собаки высоко ценились. Но не это было причиной такой высокой оценки. Уж очень хороша была свора. И Бурый был лучше всех. В ту зиму я отказался взять за него тысячу двести. Я не продал его тогда и не продам сейчас. Кроме того, я очень его люблю. Три года я его искал. Я почти заболел от огорчения, когда узнал, что Бурого украли, — дело не в потере денег, а в том, что дьявольски я к нему привязан, извините за выражение. Я не мог поверить своим глазам, когда увидел его у вас. Думал,

что мне снится. Видите ли, я его выкормил. Каждую ночь я укладывал его спать. Мать-то у него околела, и я поил его сгущенным молоком по два доллара за жестянку, в то время как сам пил кофе без молока. Он никогда не знал другой матери, кроме меня. Он постоянно сосал мой палец; сосал, как маленький дьявол. Вот этот самый палец.

Скифф Миллер был слишком взволнован, чтобы продолжать свою речь. И он выставлял палец, приговаривая: «Вот этот самый палец». Казалось, это должно было окончательно доказать его право собственности на собаку и его чувство привязанности к ней.

Он все еще глядел на свой вытянутый палец, когда Мэдж заговорила:

— Но собака… Вы не подумали о собаке!

Скифф Миллер смотрел на нее в недоумении.

— Подумали ли вы о ней? — повторила она.

— Я не понимаю, о чем вы говорите?

— Может быть, и собака имеет право на выбор, — продолжала Мэдж. — Быть может, и у нее есть свои вкусы и желания. Вы не считаетесь с ней. Вы не даете ей выбора. Вы не подумали, что она может предпочесть Калифорнию Аляске. Вы считаетесь только с собственным желанием, а с нею поступаете, как с мешком картофеля или

охапкой сена.

Такая постановка вопроса была несколько неожиданной, и она, по-видимому, произвела впечатление на Миллера. Он задумался, и Мэдж воспользовалась его нерешительностью.

— Если вы в самом деле любите ее — вы должны быть счастливы тем, что дает счастье ей.

Скифф Миллер продолжал размышлять про себя, и Мэдж бросила радостный взгляд на мужа. На лице его она прочла горячее одобрение.

— Как же вы думаете? — внезапно спросил житель Клондайка.

Она в свою очередь не поняла.

— Что вы хотите сказать? — спросила она.

— Думаете ли вы, что Бурый захочет остаться в Калифорнии?

Она утвердительно кивнула головой.

— Я в этом уверена.

Скифф Миллер снова принялся размышлять, но на этот раз вслух, внимательно осматривая при этом живой предмет спора.

— Бурый был хорошим работником. Он много для меня поработал. Он никогда не ленился и великолепно обучал свежие своры. У него голова на плечах. Он все может сделать — только говорить не может. Он понимает то, что вы ему

говорите. Посмотрите на него сейчас. Он знает, что мы говорим о нем.

Собака лежала у ног Скиффа Миллера, положив голову на лапы. Глаза ее, казалось, следили за собеседниками, по мере того как они поочередно говорили.

— Он еще много может поработать. Он будет годен еще много лет. И я поистине привязан к нему. Я люблю его, дьявольски люблю!

Несколько раз вслед за этим Скифф Миллер открывал рот и закрывал, но ничего не говорил. Наконец он сказал:

— Вот что я сделаю. Ваши замечания, — обратился он к Мэдж, — в самом деле имеют вес. Собака хорошо работала и, пожалуй, заработала себе отдых и имеет право выбирать. Во всяком случае, дадим ей решать. Что бы она ни решила — пусть так и будет. Вы оба оставайтесь сидеть здесь. Я прощусь с вами и пойду. Если она хочет со мной идти — пусть идет. Я не позову ее, и вы не зовите. — Он внезапно посмотрел с подозрением на Мэдж: — Только должна быть честная игра. Без уговоров, когда я поверну спину.

— Мы будем честны… — начала Мэдж.

— Я знаю манеры женщин, — прервал ее Скифф Миллер. — Их сердца мягки. Когда женщина

растрогана — она способна подтасовать карты, подсматривать и лгать как черт, извините за выражение. Я говорю о женщинах вообще.

— Я не знаю, как благодарить вас, — сказала Мэдж с дрожью в голосе.

— Я не вижу пока оснований для вашей благодарности, — ответил он. — Бурый еще не решил. Вам все равно, если я уйду медленно? Это только справедливо, так как уже за сто ярдов меня не будет видно…

Мэдж согласилась и прибавила:

— Я вам даю обещание, что мы ничего не сделаем, чтобы повлиять на него.

— Ну в таком случае я могу двинуться, — сказал Скифф Миллер тоном уходящего собеседника.

Уловив изменение его голоса, Волк быстро поднял голову и еще быстрее вскочил. И в то время, как мужчина и женщина обменивались рукопожатием, он поднялся на задние лапы, поставив передние ей на бедро. В то же время он лизал руки Скиффа Миллера. Когда последний подал руку Уолту, Волк повторил то же самое. Он опирался всем телом на Уолта и лизал руки обоих мужчин.

— Это не праздник. Во всяком случае, это не праздник, — были последние слова жителя Клон-

дайка. Он повернулся и медленно пошел вверх по тропинке.

Волк наблюдал за ним на расстоянии двадцати футов, как будто ожидая, что тот повернет обратно. Затем, с глухим воем, Волк бросился за ним, нагнал его, поймал его руку зубами и мягко пытался его остановить.

Ничего не добившись, Волк прибежал обратно к месту, где сидел Уолт Ирвин, поймал зубами его рукав и пытался потащить его за уходящим человеком.

Недоумение Волка быстро возрастало. Он хотел быть в двух местах одновременно — со старым и новым хозяином, — в то время как расстояние между ними росло. Он бросался возбужденно из стороны в сторону; неровно прыгал, подбегая то к одному, то к другому, в мучительной нерешительности — не зная, чего хочет, желая сохранить обоих и не будучи в состоянии выбрать. Он резко повизгивал и тяжело дышал.

Внезапно он сел на задние лапы и поднял нос кверху, открывая рот все шире и шире. Вслед за этим из горла его вылетел низкий звук, еле уловимый для человеческого уха. Все это была прелюдия к вою.

Но как раз когда вой должен был раздаться,

рот собаки закрылся, и она снова посмотрела внимательно на уходящего человека. Затем Волк повернул голову и так же внимательно посмотрел на Уолта. Вопрошающий взгляд его остался без ответа. Собака не встретила ни одного знака внимания, не услышала ни одного слова, которое могло бы разрешить ее сомнение.

Вид старого хозяина, приближавшегося к повороту, казалось, окончательно смутил Волка. Он вскочил на ноги и завизжал. Затем, как бы пораженный новой мыслью, он обратил свое внимание на Мэдж. До этой минуты она для него как бы не существовала. Но теперь, когда он, видимо, потерял обоих хозяев-мужчин, она одна как будто для него оставалась. Он подошел к ней и положил голову ей на колени, уткнувшись носом в ее руку, — любимый его способ добиться ее расположения. Затем он отбежал от нее и стал игриво вертеться, то поднимаясь на задние лапы, то опуская передние на землю. Весь он был в движении — от умоляющих глаз и прижатых ушей до виляющего хвоста, и этим он как будто хотел выразить мысль, которую не мог иначе высказать.

Но и это пришлось оставить. Он был удручен холодностью этих людей, которые никогда рань-

ше не были так невнимательны к нему. Он не получал от них ни тени ответа, ни помощи. Они не обращали на него внимания. Они как будто умерли. Волк повернулся и снова молча посмотрел на старого хозяина, уже поворачивающего за угол. Через мгновение он должен был вовсе скрыться из виду. Но Скифф Миллер ни разу не обернулся. Он шел вперед медленно и твердо, как будто совершено не заинтересованный в том, что происходило за его спиной.

Так он дошел до поворота — и исчез из виду. Волк ждал, чтобы он снова появился. Он ждал долгое время, молча, неподвижно, как бы обратившись в камень — но камень, словно одухотворенный волей. Он издал короткий лай и затем ждал. Потом он повернулся и побежал к Уолту Ирвину. Он понюхал его руку и затем тяжело опустился к его ногам, наблюдая пустую тропинку, там, где она вела к повороту.

Маленький ручей, падающий с мшистого камня, как будто громче журчал. Не было других звуков, кроме пения жаворонков в лугах. Большие желтые бабочки медленно пролетали сквозь полосы солнечного света и терялись в тени. Мэдж взглянула на мужа с торжеством.

Но через несколько мгновений Волк поднялся

на ноги. Решимость и сознание обозначились в каждом его движении. Он не посмотрел ни на мужчину, ни на женщину. Его глаза были прикованы к тропинке. Он решился, и они это знали. И они знали, что для них испытание только началось.

Он побежал рысью, и Мэдж невольно сжала губы, готовясь его позвать, но она не позвала. Она посмотрела на своего мужа и встретила его строгий взгляд. Затем она разжала губы и громко вздохнула.

Мелкая рысь Волка перешла в быстрый бег. Он бежал все быстрей и быстрей и ни разу не обернулся. Его волчий хвост был выпрямлен. Он круто повернул за угол тропинки — и исчез.

Встреча в хижине

Наплыв людей был невероятный – никогда я такого не видел. Тысяча собачьих упряжек неслась по льду. Их не видно было за дымом. Двое белых и один швед замерзли в ту ночь, и человек двенадцать застудили легкие. Но разве не видел я собственными глазами дна ямы? Оно было желто от золота, словно покрыто горчичным пластырем. Вот почему я сделал заявку на Юконе, и вот чем вызван был такой наплыв. А потом ничего из этого не вышло. Говорю вам – ничего. И я все еще не могу найти разгадку.

Рассказ Шорти

Ухватившись одной рукой за шест, управляющий движением собак, Джон Месснер удерживал сани на тропе. Другой рукой он тер себе щеки и нос; временами, когда их онемение чувствовалось сильнее, он тер еще чаще и крепче. На лоб его был надвинут козырек меховой шапки со спущенными наушниками. Остальная часть его лица была защищена густой бородой, по природе

своей темно-рыжей с золотыми отливами, а в настоящее время — белой от инея.

Перед ним плелась свора из пяти собак, впряженная в тяжело нагруженные юконские сани. Постромки саней то и дело терлись о ноги Месснера, и на поворотах он вынужден был через них переступать. Делал он это с большой неловкостью — он очень устал; то и дело он задевал за веревки и спотыкался, а сани наезжали на него сзади.

Когда они наконец добрались до места, где тропа шла без изгибов и сани могли двигаться некоторое время без его помощи, он оставил шест висеть на привязи и онемевшей правой рукой стал усиленно о него колотить.

Надо было поддерживать кровообращение в этой руке, но вместе с тем и не забывать носа и щек.

— Пожалуй, для езды слишком холодно… — сказал он. Говорил он громко — как люди, привыкшие к одиночеству. — Только безумец может ездить при такой температуре. Если сейчас не восемьдесят градусов ниже нуля, то уж наверное семьдесят девять.

Он вынул часы и затем с трудом положил их обратно в карман толстой шерстяной куртки.

Потом взглянул на небо и окинул взглядом белую полосу горизонта к югу.

— Двенадцать часов, — пробормотал он. — Чистое небо, и нет солнца.

Он шел молча около десяти минут, после чего прибавил, словно продолжая:

— Я проехал очень мало. И вообще слишком холодно, чтобы ездить.

Внезапно он заревел на собак: «Уоа!» — и остановился. Его охватил панический страх за правую руку, и он начал снова усиленно колотить ею по шесту.

— Бедные вы черти, — обратился он к собакам, которые грустно легли на лед, чтобы отдохнуть. Он говорил нескладно и прерывисто, продолжая бить по шесту онемевшей рукой. — Чем это вы провинились, что другое животное завладело вами, впрягло в упряжь, сломило ваши естественные наклонности и превратило во вьючных животных?

Он тер нос уже не задумчиво, а неистово, чтобы усилить кровообращение; затем снова погнал собак. Сани ехали по замерзшей поверхности большой реки. Она тянулась за ними широкой лентой, расстилавшейся на много миль и уходящей вдаль — в фантастическое нагромождение

молчаливых снежных гор. Впереди река разделялась на множество рукавов, которые окаймляли острова, вырастающие в ее русле. Острова были белы и молчаливы. Ни одно животное или насекомое не нарушало молчания. Ни одна птица не пролетала в замерзшем воздухе. Не слышно было никаких звуков, и не видно признаков жилья.

Мир спал, и казалось, что это — сон смерти.

Мало-помалу Джон Месснер как будто сам начал приобщаться к равнодушию всего, что его окружало. Мороз все больше и больше подавлял его. Он шел с опущенной головой, апатичный, машинально потирая нос и щеки и изредка, когда можно было оставить сани без управления, ударяя рукой по шесту.

Но чуткость собак не дремала. Внезапно они остановились, обернувшись, и с серьезным вопрошающим видом уставились на хозяина. Их ресницы и морды были покрыты инеем, и сами они выглядели дряхлыми от усталости и холода.

Человек хотел было снова понудить их двинуться, но сперва остановился и, сделав усилие, посмотрел вокруг. Собаки остановились у проруби. Это была не естественная трещина во льду, а отверстие, старательно прорубленное сквозь три с половиной фута льда топором человека.

Толстый ледяной слой показывал, что прорубью уже долгое время никто не пользовался. Месснер продолжал оглядываться. Собаки показывали дорогу, повернувшись своим заиндевелым телом в сторону неясной тропинки в снегу, идущей от главного речного тракта к одному из островов.

— Хорошо, я знаю, что ноги у вас болят, — сказал он. — Я разузнаю. Не меньше вашего я хочу отдохнуть.

Он влез на берег и исчез. Собаки не ложились; держась на ногах, они напряженно ждали его возвращения. Он вернулся и впрягся в сани посредством особой веревки с ремнем, который перекинул себе через плечи. Он двинул собак направо и погнал их бегом вверх на берег. Тянуть было очень тяжело, но усталость как будто исчезла.

В своем усердии вынести сани они напрягали последние силы, пригибаясь к земле и издавая радостный визг. Когда какая-нибудь собака скользила или останавливалась, идущая за нею кусала ей зад. Человек же поощрял их и грозил и также напрягал силы, чтобы вывезти тяжелую ношу.

Они стремительно поднялись на берег, повернули направо и подъехали к маленькой бревенчатой хижине. Это был домик в одну ком-

нату, размером в восемь футов на десять. Он, по-видимому, был покинут обитателями. Месснер выпряг собак, разгрузил сани и вступил во владение хижиной. Последний случайный ее житель оставил запас дров. Месснер поставил свою небольшую железную печь и зажег огонь. Он положил пять кусков сушеной семги для собак в печь, для того чтобы рыба оттаяла, а затем наполнил кофейник и котелок водой из проруби.

Выжидая, когда закипит вода, он наклонился над печью. Влага от его дыхания замерзла в его бороде сплошным куском льда, который начал таять. Капли стекали на печь, шипели и превращались в пар. Он очищал бороду руками, извлекая мелкие куски льда и бросая их на пол, и был погружен в это занятие, когда на улице раздался громкий лай его собак, сопровождаемый рычанием и лаем чужой своры и звуком голосов. Вскоре в дверь постучали.

— Войдите, — глухо пробормотал Месснер, обсасывая лед со своих усов.

Дверь отворилась, и он увидел за облаками пара мужчину и женщину, остановившихся на пороге.

— Войдите, — повторил он кратко, — и закройте дверь.

Завеса из пара мешала ему разглядеть вошедших. Покрывала, окутывавшие нос, щеки и голову женщины, позволяли видеть только ее два черных глаза. Мужчина был гладко выбрит, за исключением усов, покрытых инеем до такой степени, что его рот не был виден.

— Мы хотели бы знать, нет ли здесь другой хижины, — сказал он, оглядывая голую комнату. — Мы думали, что эта хижина пустая.

— Хижина это не моя, — ответил Месснер, — я набрел на нее только несколько минут назад. Входите, устраивайте ваш ночлег. Места хватит, и вам не нужно будет ставить вашу печь.

При звуке его голоса женщина быстро на него посмотрела.

— Снимай шубу, — обратился к ней спутник. — Я разгружу сани и принесу воды, чтобы приготовить еду.

Месснер вынес оттаявшую семгу и покормил собак. Он должен был отделить их от своры чужих собак. Возвратившись в хижину, он увидел, что незнакомец уже разгрузил свои сани и принес воду. Котелок кипел. Он насыпал в него кофе, разбавил чашкой холодной воды и снял с печи. Затем положил оттаивать в печь несколько бисквитов из кислого теста и согрел горшок

с бобами, который сварил накануне и вез целое утро в мерзлом виде.

Сняв свою посуду с печи, чтобы пришельцы могли приступить к варке пищи, он, усевшись на своем постельном свертке, принялся за обед, разложенный на ящике с провизией. Между глотками он вел разговор о езде и собаках с незнакомцем, который наклонил голову над печкой и освобождал свои усы от засевшего в них льда. В хижине были две лежанки. Окончив прочищать свои усы, незнакомец бросил на одну из них свои постельные принадлежности.

— Мы будем спать здесь, — сказал он. — Если только вы не хотите занять эту лежанку. Вы пришли первый, значит, вам и выбирать.

— Занимайте какую хотите, — ответил Месснер. — Обе лежанки одинаковы.

Он разложил свои постельные вещи на другой лежанке и сел на нее с краю. Незнакомец сунул маленький складной ящик с медицинскими принадлежностями под одеяло так, чтобы тот мог служить подушкой.

— Вы врач? — спросил Месснер.

— Да, — был ответ. — Только могу вас уверить, что приехал я в Клондайк не для практики.

Женщина занялась варкой обеда, в то время

как мужчина резал сало и подкладывал дрова в печку. Внутренность хижины была слабо освещена, ибо свет проглядывал через небольшое окно, сделанное из просаленной бумаги, и Джон Месснер не мог разглядеть женщину.

Впрочем, Месснер и не особенно старался это сделать. Казалось, он не интересуется ею. Но она изредка глядела с любопытством в темный угол, где он сидел.

— О, это замечательная жизнь, — с восторгом сказал доктор, останавливаясь, чтобы поточить нож о печную трубу. — Больше всего мне нравится в ней эта борьба, этот физический труд. Все это так первобытно и так реально.

— Температура достаточно реальна, — засмеялся Месснер.

— Знаете ли вы точно, сколько сейчас градусов? — спросил доктор.

Тот покачал головой.

— Я скажу вам. Спиртовой термометр на санях показывает семьдесят четыре ниже нуля.

— Слишком холодно для езды, не правда ли?

— Это подлинное самоубийство, — вынес приговор врач. — Вы напрягаетесь, вы тяжело дышите, вбирая в легкие ледяной воздух. Легкие охлаждаются, и верхушки их замерзают. Ткани отмирают,

и вы начинаете кашлять сухим кашлем. В следующее лето вы умираете от воспаления легких, удивляясь, откуда оно могло взяться. Я останусь в этой хижине неделю, если только температура не поднимется по крайней мере до пятидесяти ниже нуля.

— Скажи-ка, Тесс, — заговорил он минуту спустя, — не думаешь ты, что кофе достаточно уже прокипел?

При звуке женского имени Джон Месснер внезапно насторожился. Он быстро на нее взглянул, и по лицу его мелькнула тень, как бы воскресший призрак давно забытой печали. Но тотчас же усилием воли он отогнал призрак. Его лицо было так же спокойно, как и раньше, хотя он оставался настороже и внутренне досадовал на слабое освещение, не позволявшее разглядеть лица женщины.

Она машинально отставила кофейник; затем взглянула на Месснера. Но он уже овладел собою. Она увидела только человека, сидящего на краю лежанки и изучающего без особенного внимания носки своей обуви. Но в тот момент, когда она снова повернулась, чтобы заняться приготовлением пищи, он бросил на нее другой быстрый взгляд.

Глаза их на мгновение встретились, но он перевел взор на доктора, разглядывая его с еле заметной усмешкой.

Она вынула свечу из ящика с провизией и зажгла. Для Месснера было достаточно одного взгляда на ее освещенное лицо. Хижина была мала, и в следующее мгновение она была рядом с ним. Она медленно подняла свечку к его лицу и пристально на него посмотрела, как будто боялась и вместе с тем хотела его узнать. Он спокойно улыбался.

— Что ты ищешь, Тесс? — крикнул доктор.

— Шпильки, — ответила она, проходя мимо Месснера и делая вид, что отыскивает что-то в платяном мешке.

Они разложили обед на своем ящике и уселись на ящик Месснера — прямо против него. А Месснер растянулся на своей лежанке, подперев голову рукою. Было так тесно, что казалось, будто все трое сидят вместе за столом.

— Откуда вы едете? — спросил Месснер.

— Из Сан-Франциско, — ответил доктор. — Но я здесь уже два года.

— Я сам из Калифорнии, — сказал Месснер.

Женщина посмотрела на него умоляюще, но он улыбнулся и продолжал:

— Из Берклевского университета, знаете?

— Да, вы похожи на ученого, — сказал доктор.

— Жалею об этом, — засмеялся Месснер в ответ, — я предпочел бы, чтобы меня приняли, например, за золотоискателя или погонщика собак.

— Он не более похож на профессора, чем ты на доктора, — заметила женщина.

— Благодарю вас, — сказал Месснер. Затем, обратившись к ее спутнику, он спросил: — Между прочим, могу ли я узнать ваше имя?

— Хейторн, если вы мне поверите на слово. Я оставил визитные карточки вместе с цивилизацией.

— А это миссис Хейторн? — улыбнулся Месснер, слегка кланяясь ей.

Хейторн хотел спросить имя собеседника. Он уже раскрыл рот для вопроса, но Месснер продолжал:

— Кстати, доктор, быть может, вы сумеете удовлетворить мое любопытство. В академических кругах, года два-три назад, произошел скандал. Жена одного из профессоров английского языка, — простите мне этот легкомысленный рассказ, миссис Хейторн, — исчезла с каким-то доктором из Сан-Франциско, хотя я не помню его

имени. Вспоминаете вы этот инцидент?

Хейторн кивнул головой:

— Да, в свое время это произвело большой шум. Его имя было Уомбл — Грехэм Уомбл. У него была громадная практика. Я несколько был с ним знаком.

— Очень хотел бы знать, что́ с ними сталось. Быть может, вы что-нибудь слышали? Они не оставили никаких следов.

— Они очень ловко скрыли все следы. — Хейторн откашлялся. — Был слух, что они отправились в южные моря и там погибли на торговом судне во время тайфуна.

— В первый раз об этом слышу, — сказал Месснер. — Вы помните этот случай, миссис Хейторн?

— Отлично, — отвечала она, и спокойный ее тон совершенно не вязался с лицом, искаженным гневом. Она отвернулась, чтобы Хейторн не заметил.

Тот снова хотел было спросить имя Месснера, но последний продолжал:

— Я слышал, что этот доктор Уомбл был очень красив и имел большой успех у женщин.

— Ну, во всяком случае, эта история прикончила его, — проворчал Хейторн.

— А женщина была, кажется, очень сварлива. Я слышал в Беркли, что жизнь ее мужа была не из приятных.

— Я ничего об этом не слышал, — возразил Хейторн. — В Сан-Франциско говорили совершенно другое.

— Женщина-мученица? Распятая на кресте замужества?..

Доктор утвердительно кивнул. Серые глаза Месснера казались сдержанно любопытными. Он продолжал:

— Как и следовало ожидать, были две точки зрения. Живя в Беркли, я знал только одну сторону дела…

— Пожалуйста, еще кофе, — сказал Хейторн своей спутнице.

Женщина наполнила его чашку и рассмеялась легким смехом.

— Вы сплетничаете, как две старые дамы.

— Это очень интересно, — улыбнулся ей Месснер и продолжал разговор с доктором: — Муж, по-видимому, имел неважную репутацию в Сан-Франциско.

— Наоборот — он был педантичен, — выпалил Хейторн с несколько излишней горячностью, — маленький ученый сухарь, без единой капли

красной крови в теле.

— Знали вы его?

— Нет, я никогда его не видал. Я никогда не вращался в университетских кругах.

— И опять одностороннее мнение, — заметил Месснер. — Хотя он и не представлял собой ничего особенного в физическом отношении, все-таки едва ли был так уж плох. Он принимал деятельное участие в студенческом спорте. И не лишен был некоторого таланта. Он написал однажды пьесу, имевшую крупный местный успех. А потом я слышал, что его должны были назначить заведующим секцией английского языка. Но произошел этот казус[75], и он вынужден был уехать. Это разбило его карьеру — так, по крайней мере, казалось. Во всяком случае, мы считали, что он окончательно выбит из строя. Думали также, что он очень любит свою жену.

Хейторн кончил свою чашку и, зажигая трубку, неясно пробормотал, что все это его мало интересует.

— Хорошо, что у них не было детей, — продолжал Месснер.

Но Хейторн взглянул на печь и сказал, надевая

---

[75] Сноски: 75
Казус — случай.

шапку и перчатки:

— Я пойду за дровами. Тогда можно будет снять обувь и расположиться поудобнее.

Дверь с шумом за ним затворилась. Целую минуту длилось молчание. Мужчина продолжал сидеть в том же положении на кровати. Женщина сидела на ящике, лицом к нему.

— Что вы собираетесь делать? — резко спросила она.

Месснер посмотрел на нее как будто с ленивой нерешительностью.

— Как вы думаете, что должен я сделать? Ничего театрального, надеюсь? Видите ли, я устал и окоченел от дороги, а эта лежанка очень удобна для отдыха.

Она кусала свою нижнюю губу, и видно было, что ей стоит большого труда сдержаться.

— Но… — начала она возбужденно, затем сжала кулаки и остановилась.

— Я надеюсь, вы не хотите, чтобы я убил мистера Хейторна? — сказал он мягко, почти умоляюще. — Это было бы очень грустно и, уверяю вас, совершенно не нужно.

— Но вы должны что-нибудь сделать! — воскликнула она.

— Наоборот, можно себе представить, что я

ничего не должен сделать.

— Вы останетесь здесь?

Он кивнул.

Она взглянула с отчаянием вокруг и остановила взор на неразвернутом постельном свертке.

— Ночь приближается. Вы не можете здесь остаться. Вы не можете! Я говорю вам: вы не можете!..

— Конечно, могу. Я мог бы вам напомнить, что я первый нашел эту хижину и вы — мои гости.

Снова ее глаза оглядели комнату и остановились на второй кровати.

— Тогда мы должны уйти, — заявила она решительно.

— Это невозможно. У вас сухой, прерывистый кашель, — мистер Хейторн так умело его описал. Вы уже отчасти простудили себе легкие. Он — доктор и никогда не допустит этого.

— Тогда что же вы намереваетесь сделать? — тихо спросила она. В ее тоне была такая напряженность, что казалось — скоро должен был последовать взрыв.

Месснер смотрел на нее почти по-отечески: так много было в его взгляде сострадания.

— Дорогая Тереза, я уже сказал вам, что не знаю. Я еще об этом не думал.

— О! Вы сводите меня с ума! — Она вскочила на ноги в бессильном гневе. — Вы никогда не были таким!..

— Я весь был мягкость и нежность, — согласился он. — Не поэтому ли вы меня оставили?

— Вы так изменились, вы так ужасно спокойны. Вы пугаете меня. Я чувствую, что вы задумали что-то ужасное. Но что бы вы ни сделали, не делайте ничего безрассудного. Не выходите из себя.

— Я никогда больше не волнуюсь, — прервал он ее. — С тех пор, как вы ушли.

— Вы стали гораздо лучше, — ответила она.

Он усмехнулся.

— Пока я обдумываю, что должен сделать я, слушайте, что должны сделать вы. Вы должны сказать мистеру… Хейторну, кто я. От этого наше пребывание в хижине может стать более… приятным, я бы сказал.

— Зачем вы последовали за мной в эту ужасную страну? — спросила она неожиданно.

— Не думайте, Тереза, что я приехал сюда искать вас. Подобными предположениями ваше самолюбие не должно обольщаться. Наша встреча — чистая случайность. Я бросил академическую жизнь и должен был куда-нибудь

поехать. Откровенно говоря, я очутился в Клондайке, так как меньше всего рассчитывал здесь вас встретить.

В дверях раздался шум у замка, затем дверь открылась, и Хейторн вошел, неся охапку дров. При первом же звуке за дверью Тереза принялась убирать посуду. Хейторн снова вышел, чтобы принести еще дров.

— Почему вы нас не представили друг другу? — спросил Месснер.

— Я скажу ему. — Она гордо откинула голову. — Не думайте, что я боюсь.

— Я не помню случая, чтобы вы чего-нибудь боялись.

— И я не боюсь признаться в своей вине, — добавила она. И голос, и лицо ее стали мягче.

— Боюсь только, что исповедь ваша едва ли не будет преследовать корыстные цели.

— Я не хочу спорить, — сказала она с недовольным видом, но почти нежно. — Я скажу только, что не боюсь просить у вас прощения.

— Нечего прощать, Тереза. Я должен был бы вас благодарить. Правда, вначале я страдал. А затем вдруг понял, что счастлив, очень счастлив. Это было изумительнейшее открытие.

— Но что, если я вернусь к вам? — спросила

она.

— Я был бы, — он посмотрел на нее с легкой усмешкой, — очень этим озадачен.

— Я — ваша жена. Вы не позаботились о разводе.

— Да, — сказал он задумчиво. — Я упустил это из виду. Это одна из первых вещей, какие я должен сделать.

Она подошла к нему и положила руку ему на плечо.

— Ты не хочешь меня, Джон? — Ее голос был мягок и ласков, и прикосновение ее руки обожгло его. — Если бы я сказала тебе, что сделала ошибку? Если бы я сказала, что очень несчастна? Да, я несчастна; я сделала ошибку.

Понемногу Месснером стал овладевать страх. Он чувствовал, что колеблется под этой легкой рукой, лежащей на его плече. Казалось, он терял почву, и все его прекрасное спокойствие исчезло. Она глядела на него влажными глазами, а он, казалось, тоже как будто таял. Он почувствовал, что стоит на краю пропасти и не может противиться силе, влекущей его в бездну.

— Я возвращаюсь к тебе, Джон. Я возвращаюсь сегодня… сейчас.

Как в кошмаре, он метался под ее рукой. Она

говорила, и ему казалось, что он слышит нежные переливы песни Лорелей[76]. Словно где-то заиграло фортепиано…

Она пыталась обнять его; но вдруг он вскочил, оттолкнул ее и отступил к двери. Он весь дрожал.

— Я не ручаюсь за себя! — крикнул он.

— Я говорила вам — не выходите из себя! — Она рассмеялась и приступила со спокойным видом к мытью посуды. — Успокойтесь. Вы мне не нужны. Я только играла вами. Я гораздо счастливее там, где сейчас нахожусь.

Но Месснер не поверил. Он вспомнил, с какою легкостью она меняет свое настроение. Он хорошо знает, что на самом деле она несчастна с тем другим. И она признает свою ошибку! Эта мысль доставила ему удовлетворение. И вместе с тем он не хотел возвращения жены. Его рука опустилась на дверную ручку.

— Не убегайте, — смеялась она. — Я вас не укушу!

— Я не убегаю, — отвечал он с некоторым вызовом. Он натянул свои перчатки. — И только иду за водой.

---

[76] Сноски: 76

Лорелей — по немецкой легенде — волшебница, жившая на скале у Рейна и завлекавшая путников чарами песен.

Он собрал пустые ведра и посуду и, открыв дверь, обернулся:

— Не забудьте, что вы должны сказать мистеру… Хейторну, кто я.

Месснер пробил лед, образовавшийся на проруби, и наполнил ведра. Но он медлил возвращаться в хижину. Оставив ведра на тропе, он начал шагать по ней. Шел быстро, чтобы не замерзнуть.

Мороз щипал и жег, словно огнем. Борода Месснера была уже белой от инея, когда наконец нахмуренные его брови расправились и выражение решимости появилось у него на лице. Он обдумал свой план действий и не мог удержаться от улыбки при мысли об этом плане.

Ведра были уже подернуты легким слоем льда, когда он поднял их и пошел по направлению к хижине. Войдя, он увидел, что спутник Терезы ждет его, стоя у печи. Во всем его облике была какая-то нерешительность и неловкость. Месснер поставил на пол ведра с водою.

— Очень рад встретиться с вами, Грехэм Уомбл, — сказал он вежливо, как бы отвечая на представление.

Месснер не подал руки. Уомблу было очень не по себе. Он ощущал неловкость создавшегося положения и чувствовал вместе с тем к собеседнику

ту ненависть, которую обычно обидчик питает к своей жертве.

— Так это вы — тот самый человек, — сказал Месснер вежливо-удивленным тоном. — Ну хорошо. Видите ли, я действительно рад вас встретить. Мне было несколько любопытно знать, что Тереза в вас нашла — чем, так сказать, вы были привлекательны. Ну-ну!..

И он обмерил своего соперника с ног до головы, как осматривают при покупке лошадь.

— Я представляю себе, что вы должны ко мне питать… — начал Уомбл.

— Не стоит упоминать об этом, — прервал его Месснер с преувеличенной любезностью. — Мне хочется знать, как вы нашли ее? Оказалась ли она такой, какой вы ее ожидали встретить? Была ли ваша жизнь с тех пор счастливым сном?

— Нельзя ли без глупостей? — вмешалась Тереза.

— Я не могу не быть естественным.

— Но вы все-таки можете не тянуть, — резко сказал Уомбл. — Мы хотим знать, что́ вы хотите делать.

Месснер притворился беспомощным.

— Я положительно не знаю. Это одно из тех невозможных положений, из которых нет вы-

хода.

— Мы трое не можем остаться на ночь в этой хижине.

Месснер кивнул утвердительно.

— Тогда кто-нибудь должен уйти, — продолжал Уомбл.

— Это тоже неопровержимо, — согласился Месснер. — Так как три тела не могут одновременно занимать одно и то же пространство — кто-то должен уйти.

— И это будете вы, — угрожающе заявил Уомбл. — До ближайшего лагеря десять миль, но вы можете их сделать.

— Вот тут-то вы, пожалуй, и ошибаетесь, — возразил Месснер. — Почему же непременно я должен уйти? Ведь я первый нашел эту хижину.

— Но Тесс не может выйти, — объяснил Уомбл. — Ее легкие простужены.

— Я согласен с вами. Она не может пройти десять миль по морозу. Она, во всяком случае, должна остаться.

— Тогда дело обстоит именно так, как я сказал, — заявил Уомбл.

Месснер кашлянул.

— Ваши легкие здоровы? Не правда ли? — спросил он.

— Да, но что же из этого?

Снова Месснер откашлялся и сказал, выговаривая слова с особой надуманной медлительностью:

— А из этого только то, что, как вы сами изволили рассуждать, нет никаких препятствий для вашего ухода и прогулки в десять миль по морозу.

Уомбл взглянул на Терезу и уловил в ее глазах что-то вроде удовольствия.

— Ну? — спросил он ее.

Она колебалась, и он весь покраснел от ярости. Затем обратился к Месснеру.

— Довольно! Вы не можете здесь остаться!

— Нет, могу и останусь!

— Я не позволю вам. — Уомбл выпрямился.

— Все-таки я останусь.

— Я вас выброшу!

— Я вернусь!

Уомбл остановился на минуту.

— Имейте в виду, Месснер, если вы не уйдете, я вас побью. Здесь не Калифорния. Я вас изобью.

Месснер пожал плечами.

— Если вы это сделаете, я созову золотоискателей, и вас повесят на первом дереве. Вы сказали правильно, что здесь не Калифорния. Они про-

стые люди — эти золотоискатели, и мне довольно будет показать им следы ваших ударов и заявить притязание на свою жену.

Женщина пыталась что-то сказать, но Уомбл в бешенстве повернулся к ней:

— Ты держись в стороне.

Месснер, наоборот, обратился к ней с изысканной вежливостью:

— Пожалуйста, Тереза, не вмешивайтесь.

Но гнев и необходимость сдерживаться оказали свое действие. Она начала кашлять сухим, прерывистым кашлем; с налитым кровью лицом и рукой, прижатой к груди, она ждала, чтобы припадок прошел.

Уомбл мрачно посмотрел на нее, как бы измеряя степень ее болезни.

— Что-нибудь надо сделать, — сказал он. — Ее легкие не выдержат путешествия. Она не может двинуться, пока температура не поднимется. Но я ее не уступлю.

Месснер снова кашлянул, невнятно что-то пробурчал и затем сказал, как бы наполовину извиняясь:

— Я нуждаюсь в деньгах.

Лицо Уомбла тотчас же выразило презрение. Наконец-то его противник оказался подлее его!

— У вас полный мешок золотого песку, — продолжал Месснер. — Я видел, как вы снимали его с саней.

— Сколько вам надо? — спросил Уомбл презрительно.

— Я оценил бы ваш мешок в двадцать фунтов. Что вы сказали бы о четырех тысячах?

— Но это все, что у меня есть! — вырвалось у Уомбла.

— Вы имеете ее, — ответил Месснер, как бы утешая его. — Она должна этого стоить. Подумайте, что я отдаю. Это разумная цена.

— Хорошо! — Уомбл бросился через комнату за мешком. — Хоть бы поскорее с вами развязаться, подлый змееныш!

— Ну в этом вы ошибаетесь, — ответил Месснер с улыбкой. — С точки зрения этики человек, который дает взятку, так же виновен, как тот, кто ее получает. Укрыватель так же дурен, как вор. Поэтому вам не следует в этом маленьком деле воображать, что вы имеете какое-то моральное преимущество.

— К черту вашу этику! — крикнул Уомбл. — Идите сюда и проверьте вес золота. Я могу вас надуть.

И женщина, в бессильной ярости опираясь

о лежанку, вынуждена была присутствовать при том, как ее самое — в желтых слитках и песке — взвешивали на весах. Последние были небольшого размера, и поэтому потребовалось несколько операций. Месснер с особой тщательностью проверял каждую кладку.

— В нем слишком много серебра, — заметил он, завязывая мешок с золотом. — Думаю, дадут не больше шестнадцати за унцию. Для вас сделка очень выгодна, Уомбл!

Он любовно ощупал мешок и, как бы проявляя особое внимание к его ценности, отнес его в свои сани. Вернувшись, он собрал свою посуду и завернул постель. Когда сани были нагружены и визжащие собаки впряжены, он вернулся в хижину за перчатками.

— Прощайте, Тесс, — сказал он, стоя в открытой двери.

Она повернулась к нему, пылая гневом, пытаясь что-то сказать, но не способная говорить от душившей ее злобы.

— Прощайте, Тесс, — нежно повторил он.

— Негодяй! — удалось ей выговорить. Она отвернулась и бросилась на постель лицом вниз, рыдая и повторяя: — Негодяй! Негодяй!..

Джон Месснер тихо закрыл за собой дверь

и, понукая собак, облегченно бросил последний взгляд на хижину. Он остановил сани у берега, около проруби. Там он вынул мешок с золотом и понес его к проруби. Он разбил лед кулаком и, развязав ремни зубами, высыпал содержимое мешка в воду. Река была неглубока в этом месте, и в свете сумерек он мог видеть желтое дно на глубине двух футов от поверхности. Сделав свое дело, он плюнул в воду.

Он направил собак по Юконской тропе. Визжа и пыхтя, они шли неохотно. Месснер шел за ними, держась за шест правой рукой и потирая левой щеки и нос. Изредка, на поворотах, он задевал о постромки и переступал веревку.

— Вперед, мои бедные, усталые звери! — кричал он. — Вперед!

Путь белого человека

Войдя в хижину старого Эббитса, я обратился к нему с обычным заявлением:

— Я пришел варить у твоего огня и спать эту ночь под твоей крышей.

Эббитс посмотрел на меня мутными и пустыми глазами; Зилла же встретила меня довольно кисло и презрительно ворча. Зилла была его женой и считалась самой злой и ядовитой старухой на всем Юконе.

Я бы ни за что у них не остановился, если бы мои собаки не так устали и будь только остальная часть деревни заселена. Но обитателей я нашел только в этой хижине, и потому был вынужден именно в ней искать убежища.

Старый Эббитс то и дело словно пробуждался от своей умственной спячки. Тогда в его глазах зажигались проблески понимания. Несколько раз даже, во время приготовления моего ужина, он пытался гостеприимно узнать о моем здоровье, о числе и состоянии моих собак и о расстоянии, пройденном мною в этот день. Зилла же все более и более хмурилась и еще презрительней ворчала.

Нужно признаться, что у них не могло быть особенных оснований для веселья. Они лежали, скорчившись, у огня и в этом положении, по-видимому, должны были оставаться до конца своей жизни. Они были дряхлы и беспомощны, страдали от ревматизма и голода. С завистью вдыхали они аромат жарящегося мяса. Они качались вперед и назад медленно и безнадежно, и через каждые пять минут Эббитс испускал тихий стон. Это был не столько стон страдания, сколько усталости от страдания. Он был подавлен бременем и мучительностью того, что называется жизнью, а еще больше подавлял его страх смерти. Он переживал вечную трагедию старости, потерявшей радость жизни и не приобретшей еще успокоения смерти.

Когда мое жаркое из лося зашипело на сковороде, я заметил, что ноздри старого Эббитса стали дрожать и раздуваться, по мере того как он ловил запах еды. Он перестал раскачиваться и стонать, и лицо его сделалось осмысленнее.

Зилла, наоборот, качалась все быстрее, и страдание ее прорвалось в ряде коротких, резких возгласов. Мне пришло на мысль, что их образ действия напоминает поведение голодных собак, и я не удивился бы, если бы у Зиллы вдруг

появился хвост и она стала бы им бить по полу — по-собачьи. Изредка Эббитс переставал раскачиваться, для того чтобы нагнуться вперед и приблизить свой трепещущий нос к источнику вкусового возбуждения.

Когда же я подал каждому из них тарелку жареного мяса, они стали жадно есть его, производя ртом громкие звуки; они чавкали изношенными зубами, не переставая бормотать. После этого я дал им по чашке горячего чая, и чавканье прекратилось. Стянутый рот Зиллы расправился, и она удовлетворенно вздохнула. Больше они уже не раскачивались и как будто впали в состояние тихой задумчивости. Глаза Эббитса увлажнились: знак сострадания к самому себе.

Они долго искали свои трубки, и это служило доказательством того, что уже давно не имели табаку. Старик так сильно хотел курить, что впал в состояние беспомощности, и я должен был зажечь его трубку.

— Почему вы одни в деревне? — спросил я. — Поумирали все другие, что ли? Или у вас была повальная болезнь и вы одни остались в живых?

Старый Эббитс покачал головой:

— Нет, болезни не было. Деревня ушла на охоту. А мы слишком стары, наши ноги недостаточно

сильны, и мы не можем носить на спине поклажу. Вот мы и остаемся здесь и ждем, чтобы те, кто помоложе, вернулись с мясом.

— Что ж из того, если они вернутся с мясом? — резко спросила Зилла.

— Они могут принести много мяса, — проговорил он с надеждой.

— Хорошо, пусть будет много мяса, — продолжала она еще более резко. — Но разве это для нас? Нам, беззубым от старости, дадут грызть несколько костей. А жир, почки, языки — все это попадет в другие рты.

Эббитс опустил свою голову и тихо всхлипнул.

— Нет никого, кто охотился бы для нас, — крикнула она с ожесточением, обращаясь ко мне.

В ее словах как будто было обвинение, и я пожал плечами в знак того, что не виновен в этом неведомом, приписываемом мне преступлении.

— Знай же, белый человек, что это из-за твоего рода, из-за всех белых людей мой муж и я не имеем в старости мяса и сидим без табаку и в холоде!

— Нет, — возразил Эббитс серьезно, как бы желая восстановить справедливость. — Верно, что нас обидели; но белый человек не хотел нам зла.

— Где Моклан? — спросила она. — Где твой

сильный сын Моклан и рыба, которую он постоянно тебе приносил?

Старик покачал головой.

— И где Бидаршик, твой крепкий сын? Он был всегда могучим охотником и всегда приносил тебе добрый спинной жир и сладкие сушеные языки лося и карибу. Я не вижу теперь жира и сладких сушеных языков. Твой желудок целыми днями пуст, и тебя накормил человек дурного и лживого племени.

— Нет, — вмешался Эббитс, желая быть мне приятным. — Племя белого человека не лживое. Белый человек говорит правду. Белый человек всегда говорит правду. — Он остановился, подбирая слова, чтобы облечь свое мнение в более мягкую форму. — Но белый человек говорит правду по-разному. Сегодня — одну правду; завтра — говорит другую... Потому и нельзя понять его.

— Сегодня говорить одну правду, а завтра другую, — это значит лгать, — таков был приговор Зиллы.

— Никак нельзя понять белого человека, — настаивал Эббитс.

Еда, чай и табак как будто вернули его к жизни, и он крепко цеплялся за мысли, проносящиеся

в его мозгу, за ширмой мутных от старости глаз. Он как-то даже выпрямился, перестал всхлипывать, и голос его окреп.

Он обратился ко мне уже с достоинством и говорил, как равный с равным.

— Глаза белого человека открыты, — начал он, — белый человек все видит и много думает, и поэтому он очень умен. Но белый человек сегодня непохож на белого человека завтра, и потому никак нельзя его понять. И он поступает всегда по-разному. Индеец всегда поступает одинаково. Когда наступает зима, лось всегда спускается с высоких гор. Лосось появляется весною, когда лед уходит с реки. Всегда все совершается одинаково, и потому индеец знает и понимает. Но белый человек поступает по-разному, и индеец не знает и не понимает.

— Табак — очень хорошая вещь. Это то же, что пища для голодного. Сильного он делает сильней и того, кто рассердился, заставляет забыть свой гнев. И потому табак имеет цену. Цена его очень большая. Индеец дает большого лосося за лист табаку и жует табак долгое время. Вкусен сок табака. Когда он течет в глотку человеку — хорошо. Что же делает белый человек? Что делает он, когда рот его полон табачного сока? Он выпле-

вывает его на снег, и этот сок пропадает! Любит ли белый человек табак? Я не знаю. Но если он любит табак, почему он выплевывает его в снег? Это очень неразумно.

Он замолк, потянул трубку и, увидя, что она тухнет, передал Зилле. Ее губы, застывшие в насмешливой улыбке по адресу белого человека, плотно зажали трубку.

Не окончив рассказа, Эббитс, казалось, снова одряхлел. Я спросил:

— Что же твои сыновья Моклан и Бидаршик? Почему ты и твоя старуха остаетесь в старости без мяса?

Он очнулся как бы от сна и с усилием выпрямился.

— Нехорошо красть, — сказал он. — Когда собака крадет твое мясо, ты бьешь ее палкой. Таков закон. Человек установил его для собаки, и собака должна так жить; иначе палка причиняет боль. Когда человек берет твое мясо, или твою лодку, или твою жену — ты убиваешь того человека. Это закон, хороший закон. Нехорошо красть, и потому, по закону, укравший должен умереть. Всякий, кто нарушает закон, должен нести кару. Величайшая же кара — смерть.

— Но если ты убиваешь человека, то почему не

убить собаку? — спросил я.

Старый Эббитс посмотрел на меня с ребяческим удивлением, а Зилла, словно отвечая на мой глупый вопрос, усмехнулась.

— Вот взгляд белого человека, — пробормотал Эббитс, как бы примиряясь с моим неразумением.

— Это безрассудство белого человека, — огрызнулась Зилла.

— Пусть в таком случае старый Эббитс научит белого человека разуму, — сказал я кротко.

— Собаку не убивают, потому что она должна тащить сани человека. Ни один человек не везет саней другого. Поэтому человека убивают.

— А! — заметил я.

— Это — закон, — продолжал старый Эббитс. — Теперь слушай, белый человек, я тебе расскажу про большую глупость. Есть один индеец, по имени Мобитс. Он украл у белого человека два фунта муки. Что же делает белый человек? Бьет ли он Мобитса? Нет. Убивает ли он его? Нет. Что же делает он с Мобитсом? Я скажу тебе, белый человек. У него есть дом. Он сажает туда Мобитса. Крыша дома хорошая. Стены толстые. Он зажигает огонь, чтобы Мобитсу было тепло. Он дает Мобитсу много пищи. И пища хорошая. Никогда за всю свою

жизнь Мобитс не ел такой пищи. Дают свиное сало, хлеб и бобы. И Мобитсу очень хорошо.

— На двери большой замок, чтобы Мобитс не убежал. Это тоже глупость. Мобитс не убежит. Здесь отличная пища, теплые одеяла, жаркий огонь. Очень глупо бежать. Мобитс не глуп. Он остается в этом месте три месяца. Он украл два фунта муки. За это белый человек хорошо о нем позаботился. Мобитс съел много фунтов муки, много фунтов сахара, свиного сала, бобов. Мобитс пил много чаю. Через три месяца белый человек открывает дверь и говорит Мобитсу, что он должен уйти. Мобитс не хочет уходить. Он как собака, которую долго кормили в одном месте. Он хочет там остаться, и белый человек должен его прогнать. После этого Мобитс вернулся в деревню и с тех пор очень растолстел. Вот что делает белый человек, и нельзя его понять. Это глупость, большая глупость.

— Но твои сыновья? — настаивал я. — Они сильные, а ты стар и голодаешь.

— Был Моклан, — начал Эббитс.

— Он был сильный человек, — прервала мать. — Он мог грести целый день и потом всю ночь без отдыха и пищи. Он знал все о ловле лососей.

— Был Моклан, — повторил Эббитс, не обращая внимания на ее слова. — Весной он спустился с юношами по Юкону, чтобы торговать в форте Кэмбел. Там есть пост, где много товаров белых людей, и там есть торговец, по имени Джонс. Там же есть белый знахарь — тот, кого вы называете миссионером. Но около форта Кэмбел — опасная вода в том месте, где Юкон суживается, и вода течет быстро, и течение разделяется и снова соединяется. Там есть водоворот, и все время течение меняется. Моклан — мой сын, и потому он храбрый человек.

— Разве мой отец не был храбрым? — спросила Зилла.

— Твой отец был храбрым, — согласился Эббитс с таким видом, словно во что бы то ни стало хотел сохранить семейный мир. — Моклан — мой сын и твой сын, и потому он храбрый. Может, из-за храбрости твоего отца Моклан был слишком смел. Когда много воды налито в котел, она переливается через край. И в Моклане слишком много было смелости, и она переливалась через край.

— Юноши боятся опасного места у форта Кэмбел. Но Моклан не боится. Он громко смеется и пускается в самые опасные места. Но там, где сталкиваются встречные течения, лодка опро-

кидывается. Водоворот затягивает Моклана, крутит его, тянет вниз, еще вниз — и больше его не видно.

— Ай-ай!.. — заплакала Зилла. — Он был ловок и умен, мой первенец.

— Я — отец Моклана, — сказал Эббитс, терпеливо выждав, пока женщина успокоится. — Я сажусь в лодку и еду в форт Кэмбел, чтобы получить долг.

— Долг? — прервал я. — Какой долг?

— У Джонса, главного торговца, — был ответ. — Таков закон, когда попадаешь в чужую страну.

Я покачал головой в знак непонимания, и Эббитс посмотрел на меня с сожалением. Зилла же, как всегда, презрительно фыркнула.

— Слушай, белый человек. В твоем лагере собака, которая кусается. Когда собака кусает человека, ты даешь этому человеку подарок, потому что ты сожалеешь и потому что это твоя собака. Так же, если в твоей стране опасная охота или опасная вода. Ты должен платить. Это справедливо. Это закон. Брат моего отца отправился в страну Тананау и был там убит медведем. И разве племя Тананау не заплатило моему отцу, не подарило ему много одеял и дорогих мехов? Это было справедливо. Это была дурная охота, и люди

племени Тананау заплатили.

— Вот я, Эббитс, отправился к форту Кэмбел, чтобы получить долг. Джонс, главный торговец, посмотрел на меня и засмеялся. Он много смеялся и не хотел платить. Тогда я пошел к тому, которого вы называете миссионером, и рассказал ему про дурную воду и про долг. Но миссионер говорил о другом. Он говорил о том, куда ушел Моклан после своей смерти. Там большие костры, и если миссионер говорил правду, Моклану никогда больше не будет холодно. А потом миссионер говорил о том, куда я отправлюсь после смерти. И он говорил неправильные вещи. Он сказал, что я слеп. Это — ложь. Он сказал также, что я в великой темноте. Это — ложь. И я ответил: день и ночь проходят одинаково для всех, и в моей деревне не больше темноты, чем в форте Кэмбел. Также я сказал, что темнота, свет и место, куда мы отправимся после смерти, — это одно; а уплатить за дурную воду — совсем другое. Тогда миссионер сильно рассердился и назвал меня нехорошими, темными именами и велел мне уйти. И я вернулся из форта Кзмбел, не получив платы. Моклан же умер, и в старости я остался без рыбы и мяса.

— Из-за белого человека, — сказала Зилла.

— Из-за белого человека, — согласился Эб-

битс. — Из-за белого человека вот что еще случилось. У меня был сын Бидаршик. Белый человек с ним поступил совсем не так, как с Ямиканом. И прежде всего должен я тебе рассказать про Ямикана. Это был юноша нашей деревни, и ему случилось убить белого человека. Нехорошее дело — убить человека другого племени. Тогда всегда бывает беда. Но Ямикан убил белого человека не по своей вине. Ямикан всегда говорил мягкие слова и убегал от ссоры, как собака от палки. Но этот белый человек выпил много виски и ночью пришел в дом Ямикана и дрался с ним. Ямикан не мог убежать, и белый человек хотел его убить. Ямикан не хотел умереть и сам убил белого человека.

— Тогда деревня наша очутилась в большой беде. Мы очень боялись, что придется много платить племени белого человека, и спрятали одеяла, и меха, и все наше имущество, как будто мы бедные люди и не можем много платить. Прошло много времени, и пришли белые люди. Это были солдаты, они взяли Ямикана с собою. Его мать громко кричала и сыпала себе пепел на голову. Она знала, что Ямикан умер, и вся деревня это знала и радовалась, что не нужно платить.

— Это было весной, когда лед сошел с реки.

Один год проходит, два года проходят. Снова вернулась весна, и снова лед сошел с реки. И тогда Ямикан, который умер, вернулся к нам. Он был жив и очень растолстел, и мы узнаем, что он спал словно белый человек. Он стал мудрым и скоро сделался первым человеком деревни.

— И он рассказал странные вещи про белых людей, о том, как он долго был с ними и совершил большое путешествие в их страну. Сперва белые солдаты везли его долгое время вниз по реке. Всю дорогу, до конца реки, везли они его, до того, где река впадает в большое озеро, — больше, чем земля, и широкое, как небо. Я не знал, что Юкон такая большая река, но Ямикан видел своими глазами. Я не думаю, что есть озеро больше, чем земля, и широкое, как небо; но Ямикан его видел. Он говорил также, что вода в озере соленая. Это удивительно и непонятно.

— Но белый человек, наверное, сам знает про все эти чудеса, и я не буду утомлять его рассказом о них. Я только расскажу ему то, что случилось с Ямиканом. Белые люди очень хорошо кормили Ямикана. Ямикан все время ест, и все время дают ему пищу. Белый человек живет в стране под солнцем, рассказывает Ямикан, где много тепла и на зверях только волосы, а не мех. И растут

большие зеленые растения, и становятся они мукой, бобами и картофелем. И там, под солнцем, никогда не бывает голода. Там всегда много пищи. Я про это не знаю. Так говорил Ямикан.

— И странно то, что случилось с Ямиканом. Ни один белый человек не сделал ему зла. Они дали ему теплую постель на ночь и много хорошей пищи. Они повезли его через Соленое озеро, величиной с небо. Он ехал на огненной лодке белых, которую вы называете пароходом. Только лодка эта в двадцать раз больше, чем пароход на Юконе. Лодка эта сделана из железа — и все-таки не тонет. Я этого не понимаю, но Ямикан сказал: «Я ехал на железной лодке, и смотри — я все еще жив». Это была военная лодка белых людей, и на ней было много белых солдат.

— Долго они плыли, и наконец Ямикан приехал в страну, где нет снега. Я не могу поверить этому. Не может же быть, чтобы зимою не было снега. Но Ямикан видел. Я расспрашивал и белых людей, и они сказали: «Да, в этой стране нет снега!» Но я не могу поверить и спрашиваю тебя — бывает ли когда-нибудь снег в этой стране? И я хотел бы узнать, как зовут эту страну. Я уже слышал ее имя, но хотел бы снова его услышать. Так я узнаю, правда то была или ложь.

Старый Эббитс посмотрел на меня вопросительно. Он хотел знать правду во что бы то ни стало. Он добивался правды, хотя ему и хотелось сохранить веру в чудо.

— Да, — ответил я. — Ты слышал истину. В этой стране нет снега, и она называется Калифорния.

— Ка-ли-фор-ни-я-я, — пробормотал он два или три раза, внимательно прислушиваясь к каждому слогу. Он кивнул головой в знак подтверждения. — Да, это та самая страна, о которой говорил Ямикан.

Я догадался, что случай с Ямиканом мог легко произойти в те дни, когда Аляска только-только перешла к Соединенным Штатам. За такое убийство в те времена, когда не было еще территориального закона и должностных лиц, могли судить в Соединенных Штатах — в Федеральном суде.

— Когда Ямикан прибыл в эту страну, где нет снега, — продолжал старый Эббитс, — его повели в большой дом. Там было много людей. Они долго разговаривали и ставили много вопросов Ямикану. Затем они заявили Ямикану, что ему не будут больше делать плохого. Ямикан не понимал, так как ему вообще не делали плохого. Они все время давали ему теплую постель и много еды.

— Но после этого они дали ему еще лучшую пищу, дали ему денег и повели его в разные места в стране белых людей. Там он видел много чудес, которых не понять Эббитсу, — ведь он старик и никогда далеко не ездил. Через два года Ямикан вернулся в эту деревню и был в ней первым человеком и был мудрым, пока не умер.

— Но прежде чем он умер, он часто сидел у моего костра и рассказывал про странные вещи, какие он видел, и мой сын Бидаршик сидел также у огня и слушал.

— Раз ночью, после ухода Ямикана, Бидаршик встает во весь рост и, ударив себя в грудь кулаком, говорит: «Когда я буду мужчиной, я поеду в далекие места, в эту землю, где нет снега, и увижу все это собственными глазами».

— Бидаршик всегда путешествовал по далеким местам, — прервала его Зилла с гордостью.

— Это правда, — с серьезным видом согласился Эббитс. — И он всегда возвращался, чтобы сидеть у костра и мечтать о других, еще более неизвестных, далеких местах.

— Он всегда помнил Соленое озеро величиной с небо и страну под солнцем, где нет снега, — вставила Зилла.

— И он всегда говорил: «Когда у меня будет

сила взрослого мужчины, я пойду сам, чтобы убедиться в правде рассказов Ямикана», — сказал Эббитс.

— Но не было способа дойти до земли белых людей, — сказала Зилла.

— А разве не дошел он до Соленого озера величиной с небо? — спросил Эббитс.

— Но не было способа перейти через Соленое озеро, — ответила Зилла.

— Кроме как на железном пароходе белых людей, большем, чем двадцать пароходов на Юконе, — продолжал Эббитс и, нахмурившись, посмотрел на Зиллу, пытавшуюся снова что-то сказать, и заставил ее замолкнуть. — Но белые люди не позволили ему переехать Соленое озеро на пароходе, и он вернулся домой и продолжал сидеть у костра и по-прежнему томился тоской по стране под солнцем, где совсем нет снега.

— Но все же на Соленом озере он видел железный пароход, который не тонет, — не удержалась Зилла.

— Да, — сказал Эббитс. — И он увидел, что Ямикан рассказал правду. Не мог никак Бидаршик поехать в страну белых людей под солнцем, и он заболел и сделался дряхлым, как старик, и не уходил от костра.

— И он не касался больше мяса, поставленного перед ним, — заметила Зилла, — он качал головой и говорил: «Я хочу есть только пищу белых людей и растолстеть, как Ямикан».

— Да, он не ел мяса, — продолжал Эббитс. — И болезнь его становилась все сильнее и сильнее, и я боялся, чтобы он не умер. Это не тело его болело, а голова. Я, Эббитс, его отец, стал раздумывать. У меня нет больше сыновей, и я не хочу, чтобы Бидаршик умер. Это болит у него голова, и есть одно только средство вылечить ее. Бидаршик должен поехать через озеро величиной с небо в ту землю, где нет снега. Иначе он умрет. Я очень много думал и наконец придумал, как Бидаршику туда отправиться.

— И вот однажды вечером, когда он сидел у костра в унынии, с опущенной головой, я сказал: «Мой сын, я уже знаю, как тебе можно отправиться в землю белых людей!» Он посмотрел на меня с радостным лицом. «Поезжай, — сказал я, — так же, как поехал Ямикан!» Но Бидаршик не понимает и снова уныл. «Пойди, — говорю я ему, — найди белого человека и так же, как Ямикан, убей его! Тогда придут белые солдаты и возьмут тебя, как они взяли Ямикана, и повезут тебя через Соленое озеро на землю белых людей. И так же, как

Ямикан, ты вернешься очень толстый, мудрый и с глазами, полными удивительных вещей, какие ты там увидел».

И Бидаршик быстро поднялся и протянул руку за ружьем. «Куда идешь?» — спросил я. «Я иду убить белого человека», — сказал он. И я увидел, что слова мои достигли ушей Бидаршика и что он наконец выздоровеет. Также знал я, что слова мои были хороши и разумны.

В это время в деревне находился белый человек. Он не искал золота в земле или мехов в лесу. Он все время искал букашек и мух. Почему он искал букашек и мух, раз он их не ел? Я не знаю. Я знаю только, что это был забавный белый человек. И он искал также птичьи яйца, но не ел этих яиц. Он вынимал все, что было внутри, и сохранял только одну скорлупу. Но скорлупу нельзя есть. И он не ел скорлупы, но клал ее в мягкие коробки, чтобы она не разбилась. Он ловил много маленьких птиц. Но он не ел и птиц. Он брал их кожу и клал в коробки. Любил он также и кости. Костей не едят. Этот странный человек больше всего любил очень старые кости, которые он выкапывал из земли.

— Но он был не свирепый белый человек, и я знал, что он умрет очень спокойно. Поэтому я

сказал Бидаршику: «Мой сын, вот белый человек, которого ты можешь убить!» Бидаршик же ответил, что мои слова мудры. Он пошел к месту, где были кости в земле. Он вырыл много таких костей и принес их в палатку странного белого человека. Белый человек был очень рад. Его лицо сияло, как солнце, и он улыбался, радостно глядя на кости. Она наклонился, чтобы хорошо их осмотреть, и в это время Бидаршик сильно ударил его топором по голове — р-раз! — и странный человек задергал ногами и умер. «Теперь, — сказал я Бидаршику, — придут белые солдаты и увезут тебя на землю под солнцем, где не бывает снега. Там ты будешь много есть и растолстеешь». И Бидаршик был счастлив. Его болезнь уже оставила его, и он сидел у костра и ждал прихода белых солдат.

— Как мог я знать, что белые люди поступят по-разному? — спросил старик, с яростью поворачиваясь ко мне. — Как мог я знать о том, что белый человек сегодня поступает не так, как вчера, а завтра не так, как сегодня? — Эббитс грустно наклонил голову. — Невозможно понять белого человека. Вчера он увез Ямикана в страну под солнцем и кормил его до отвала хорошей пищей. Сегодня он берет Бидаршика; и что же он

с ним делает? Позволь мне рассказать тебе, что он делает с Бидаршиком. Я, отец его, Эббитс, расскажу тебе. Он берет Бидаршика в форт Кэмбел и обвязывает веревку вокруг его шеи. И когда ноги его уже не касаются земли — Бидаршик умирает!

— А-а-а, — плакала Зилла. — И никогда не перешел он озера величиной с небо и не увидел земли под солнцем, где не бывает снега.

— И потому, — продолжал Эббитс с достоинством, — нет никого, кто бы охотился за мясом для меня, когда я стал стар. И я сижу голодный у моего костра и рассказываю это все белому человеку, который дал мне еду, и крепкий чай, и табак для моей трубки.

— Это все из-за лживого и дурного белого племени, — объявила Зилла.

— Нет, — ответил старик тихо, но твердо. — Это все из-за того, что белый человек поступает всегда по-разному и понять его нельзя.

История киша

Давно-давно, в незапамятное время жил некто Киш у берегов Полярного моря. Был он первым человеком в своей деревне и умер, всеми оплакиваемый. Он жил так давно, что только старики помнят его имя и историю его жизни — историю, какую они слышали от отцов и дедов. Они расскажут ее своим детям, а потом она перейдет к детям их детей, и так из века в век. А слушать эту повесть о Кише — о том, как он поднялся к власти и почему из самой бедной хижины в деревне, — лучше всего тогда, когда проносятся над ледяными полями северные метели, когда в воздухе кружатся снежные вихри и ни один человек не смеет высунуться из дома.

Живым мальчиком был Киш, так начинается повесть, — здоровым и сильным. Он видел тринадцать солнц — так считали в деревне. Ибо каждую зиму солнце оставляет землю в темноте, а на будущий год новое солнце возвращается, чтобы снова давать тепло и освещать лица людей. Отец Киша был смелым охотником. Пытаясь в голодное время спасти жизнь своих одноплеменников, он погиб, охотясь на полярного

медведя. Он вступил с медведем в рукопашную, и тот смял его под себя. Зверь был очень жирный, и народ был спасен.

Киш — он был единственным сыном этого охотника — остался один со своей матерью; но люди забывчивы, и скоро из памяти их изгладился подвиг его отца. А затем забыли и Киша с матерью, и они вынуждены были жить нищенски и в жалкой хижине.

Но вот однажды вечером, на Совете в большой хижине Клош-Квана, главы племени, Киш показал, какая кровь течет в его жилах. Он показал себя мужчиной. С достоинством взрослого человека он поднялся и ждал, когда прекратится шум.

— Это верно, что нам выдается наша доля мяса, — сказал он. — Но мясо это старое и жесткое, и в нем много костей.

Охотники — и седовласые, и молодые — были изумлены. Ничего подобного раньше не случалось. Ребенок выступал как взрослый человек и говорил им прямо в лицо такие вещи!

Но Киш продолжал говорить твердо и серьезно:

— Я говорю это, потому что знаю, что мой отец, Бок, был великим охотником. Говорят, что Бок

приносил домой больше мяса, чем любой из охотников, и собственными руками распределял его и смотрел, чтобы последний старик и старуха получили справедливую долю.

Охотники кричали:

— Прогоните ребенка! Пошлите его спать. Не смеет он так разговаривать с мужчинами и стариками!..

Он спокойно ждал, пока волнение улеглось.

— У тебя жена, Уг-Глук, — сказал он, — и ты за нее говоришь. А ты, Массук, имеешь также мать — и выступаешь за обоих. Моя же мать никого не имеет, кроме меня. Вот почему я за нее и вступаюсь. Я повторяю: Бок умер, так как был слишком храбр. И потому справедливо, чтобы я, его сын, и Айкига, моя мать и его жена, не терпели нужды в мясе, пока оно имеется у племени. Я, Киш, сын Бока, сказал.

Он сел, внимательно прислушиваясь к возмущенным возгласам, вызванным его словами.

— Мальчишка смеет так говорить на Совете! — шамкал старый Уг-Глук.

— Могут ли сосунцы нас учить? — спросил громко Массук. — Я — мужчина, и могу ли я быть посмешищем для каждого мальчишки, который просит мяса?

Гнев их дошел до белого каления. Они приказали ему идти спать; пригрозили, что он вовсе будет лишен мяса, и обещали крепко высечь за дерзость. Глаза Киша засверкали, и темный румянец залил его щеки. Он вскочил на ноги.

— Слушайте меня! — крикнул он. — Никогда больше не буду я выступать на Совете, никогда, пока вы сами не придете ко мне и не будете упрашивать: «Киш, говори! Мы хотим этого!» Так вот вам мое последнее слово. Бок, мой отец, был великим охотником. Я — его сын — пойду и стану также охотиться, чтобы добыть себе мяса. И пусть знают все: раздел того, что я убью, будет справедлив. И ни вдова, ни слабый старик не будут плакать ночью от голода, в то время как сильные мужчины стонут в великих муках обжорства. И в будущем да будет стыдно сильным мужчинам, которые объедаются! Так сказал я, Киш.

Насмешки и бранные возгласы проводили его до порога хижины. Но на его лице была написана решительность, и он шел вперед, не глядя по сторонам.

На следующий день он пошел вдоль берега. Заметили, что он несет лук и большой запас стрел с костяными наконечниками. Через плечо было перекинуто отцовское охотничье копье. Много

смеялись и говорили по этому поводу. Случай был из ряда вон выходящий. Мальчики в этом возрасте никогда не отправлялись охотиться, в особенности одни. Многие поэтому качали головами и делали зловещие предсказания, а женщины с сожалением глядели на Айкигу, лицо которой стало грустным и серьезным.

— Он скоро вернется, — утешали они ее.

— Пусть идет, — говорили охотники. — Это будет для него хорошим уроком. Он скоро вернется, и тогда речь его будет другой — робкой и вежливой.

Но прошел день, а за ним другой. На третий разразилась сильная буря, а Киш все не появлялся. Айкига рвала на себе волосы и покрыла лицо сажей в знак горя и скорби. Женщины осыпали мужчин упреками за то, что они своим дурным обращением послали мальчика на смерть. Мужчины ничего не отвечали, готовясь, когда буря утихнет, идти в поиски за телом.

Но на следующий день, ранним утром, Киш вернулся в деревню. И шел он, далеко не смущенный. Он нес на плечах свежее мясо убитого зверя, и поступь его была торжественна, а слова звучали гордо.

— Вы, мужчины, идите с собаками и санями по

моему следу, — сказал он. — Там, через день пути, вы найдете на льду много мяса — медведицу и двух полугодовалых медвежат.

Айкига была несказанно обрадована, но он встретил ее радость по-мужски.

— Идем, Айкига, дай мне есть. И потом я лягу спать. Я очень устал.

Он прошел в хижину и, поев, заснул. Спал он двадцать часов подряд.

Сперва в деревне было много сомнений и споров. Опасно убить медведя, но трижды — нет, в три раза трижды — опасней убить медведицу с медвежатами. Мужчины поверить не могли, что мальчик Киш, один, совершил такой подвиг. Но женщины рассказывали про свежее мясо, которое он принес на спине, и это должно было убедить сомневающихся. Наконец они пустились в путь. «Даже если он действительно убил этих зверей, — ворчали они, — то уж во всяком случае не позаботился разрезать туши». А на Севере его необходимо сделать немедленно; в противном случае мясо замерзнет так, что его не берет самый острый нож. Положить же на сани трехсотфунтового медведя в замерзшем состоянии и везти его по неровному льду — не легкое дело. Но, придя на место, они, вопреки своим сомнениям, нашли

добычу и увидели также, что Киш вынул внутренности и растерзал туши на четыре части, как образцовый охотник.

С той поры Киш повел себя загадочно, и загадочность эта день ото дня становилась все таинственней. Во вторую свою охоту он убил молодого медведя — почти взрослого; а в следующий раз — громадного самца и медведицу. Он обычно уходил на три или четыре дня, но иногда оставался на льду целую неделю. Он всегда отказывался от спутников, и все не переставали изумляться.

— Как он это делает? — спрашивали они друг друга. — Он никогда не берет с собой собак, а собака на охоте очень нужна…

— Почему ты охотишься только на медведя? — однажды решился спросить его Клош-Кван. Но Киш дал ему надлежащий ответ:

— Всем известно, что на медведе больше мяса.

В деревне поговаривали о волшебстве.

— Он охотится вместе со злыми духами, поэтому-то охота всегда удачна.

— Может быть, это не злые, а добрые духи? — говорили другие. — Отец его был великим охотником. Может быть, с ним охотится отец и обучает его пониманию, терпению и другим

качествам охотника. Кто знает?

Так или иначе, но его успехи продолжались, и менее удачливые охотники были постоянно заняты доставкой его добычи. Что же касается раздела добычи — в этом он всегда был справедлив. Подобно отцу своему, он следил за тем, чтобы последний старик и старуха получили равную со всеми долю. Себе же он оставлял ровно столько, чтобы удовлетворить свои потребности. Вот поэтому, а также и потому, что он был охотником смелым и сильным, Киш стал пользоваться почетом и даже внушать своим соплеменникам страх. Шли разговоры о назначении его главой племени после Клош-Квана. Ввиду же совершенных им подвигов современники хотели видеть его снова на заседаниях Совета; но он там не появлялся, а им совестно было просить.

— Я хочу построить себе новую хижину, — сказал однажды Киш Клош-Квану и кое-кому из охотников. — Мне нужна большая иглоо[77], где Айкига и я смогли бы удобно расположиться.

— Хорошо, — кивали они головой в знак одобрения.

— Но у меня нет свободного времени. Мое за-

---

[77] Сноски: 77
Индейская хижина.

нятие — охота, и оно отнимает все мое время. Будет справедливо, если мужчины и женщины, которых я кормлю, построят мне иглоо.

И хижина была выстроена, а размерами она превосходила даже иглоо Клош-Квана. Киш и его мать переехали в нее, и Айкига, впервые после смерти Бока, зажила в довольстве. Она не только была материально обеспечена, но, из-за внимания к ее удивительному сыну и положению, какое он ей создал, на нее все стали смотреть как на первую женщину в деревне. Женщины посещали ее, спрашивали ее советов и приводили ее изречения в спорах между собой и со своими мужьями.

Но загадочность чудесной охоты Киша не переставала всех занимать. А раз Уг-Глук даже бросил ему в лицо обвинение в волшебстве.

— Мы думаем, — сказал Уг-Глук многозначительно, — что ты имеешь дело со злыми духами и потому твоя охота удачна.

— Разве мясо нехорошее? — был ответ Киша. — Или кто-нибудь в деревне заболел, поевши его? Знаешь ли ты что-нибудь о моем волшебстве или же просто гадаешь из-за снедающей тебя зависти?

И Уг-Глук отошел посрамленный, а женщины

смеялись ему вслед.

Но однажды вечером на Совете, после долгого обсуждения, решили проследить Киша, когда он отправится на охоту, чтобы научиться его способам охоты. Поэтому в следующую его экспедицию двое юношей, одни из лучших охотников, по имени Бим и Баун последовали за ним, стараясь идти так, чтобы он их не заметил. Через пять дней они вернулись с расширенными зрачками и языками, дрожащими от нетерпения рассказать то, что увидели. Наскоро был собран Совет в иглоо Клош-Квана, и Бим приступил к своему рассказу.

— Братья, — начал он, — как было нам приказано, мы шли по следу Киша, шли со всею осторожностью, так что он об этом не знал. В середине первого дня он встретил большого медведя-самца. Это был очень большой медведь.

— Больше не бывает, — поддержал Баун и продолжал рассказ: — Но медведь не хотел драться и, повернувшись, стал уходить по льду. Мы видели это, спрятавшись за скалы на берегу. Медведь шел по направлению к нам, и за ним шел Киш, без всякого страха. Он кричал на медведя, ругал его крепкими словами и махал руками и производил большой шум. Тогда медведь рассердился, встал на дыбы и зарычал. Но Киш пошел прямо

к медведю.

— Да, — продолжал Бим. — Киш прямо шел на медведя. Медведь бросился на него, и Киш побежал. Но, убегая, он уронил на лед маленький шарик. Медведь остановился, понюхал и затем проглотил шарик. Киш же продолжал бежать и ронять маленькие круглые шарики, и медведь продолжал их глотать.

Послышались недоверчивые возгласы, а Уг-Глук открыто заявил, что не верит.

— Мы это видели собственными глазами, — утверждал Бим.

— Да, собственными глазами, — продолжал Баун. — И это длилось, пока медведь вдруг не выпрямился и не стал громко реветь от боли и бешено колотить лапами. Киш же продолжал бежать от него, оставаясь все время на достаточном расстоянии. Но медведь его не замечал, так как сильно страдал от той боли, какую причинили его внутренностям маленькие шарики.

— Да, в его внутренностях была нестерпимая боль, — прервал Бим. — Он царапал себя и прыгал по льду, как игривый щенок; по тому, как он рычал и метался, было ясно, что это не игра. Никогда не видел я такого зрелища.

— Никогда не было такого зрелища, — повторял

Баун, — и к тому же это был огромный медведь.

— Волшебство, — сказал Уг-Глук.

— Не знаю, — отвечал Баун. — Я рассказываю только то, что видели мои глаза. Спустя немного медведь ослабел и утомился, так как был очень тяжел и сильно скакал. Он пошел по береговому льду, качаясь из стороны в сторону, и временами садился и выл. А Киш шел за медведем, а мы за Кишем; и так в течение всего дня и трех других дней. Медведь ослабел и не переставал реветь от боли.

— Это волшебство, — вскричал Уг-Глук. — Несомненно, это волшебство.

— Может быть.

Бим сменил Бауна:

— Медведь блуждал, двигаясь то сюда, то туда, возвращаясь вперед и назад и кружась по своему следу, и в конце концов вернулся к тому месту, где Киш впервые его встретил. Теперь он был так слаб, что едва полз. Тогда Киш подошел к нему и копьем добил его до смерти.

— И тогда? — спросил Клош-Кван.

— Мы оставили Киша в то время, как он снимал с медведя шкуру, и прибежали, чтобы сообщить об этой охоте.

После полудня женщины притащили тушу

медведя, а мужчины продолжали заседать в Совете. Когда Киш пришел, ему послали сказать, чтобы он явился в Совет. Но он ответил, что устал и голоден, а хижина его достаточно велика, и в ней может поместиться много народу.

Любопытство было так сильно, что весь Совет, с Клош-Кваном во главе, отправился в иглоо Киша. Он ел, но встретил их с почетом и усадил их соответственно положению каждого. Айкига была горда и вместе с тем смущена, но Киш держался совершенно спокойно.

Клош-Кван рассказал про то, что сообщили Бим и Баун, и строго закончил:

— Киш, ты должен объяснить, как ты охотишься. Это волшебство?

Киш посмотрел на них и улыбнулся.

— Нет, Клош-Кван, — сказал он, — не мальчику заниматься чародейством. Я ничего не знаю о колдовстве. Я только придумал средство убивать медведя без труда, вот и все. Это ум, а не волшебство.

— И каждый может сделать то же самое?

— Да, каждый.

Молчали долго. Мужчины глядели друг на друга, а Киш продолжал есть.

— И… и… ты нам расскажешь, Киш? — спросил

Клош-Кван дрожащим голосом.

— Да, я вам расскажу. — Киш кончил высасывать мозг из кости и встал на ноги. — Дело совсем простое. Смотри!

Он достал тонкий кусок китового уса и показал его. Концы были остры как иглы. Он свернул ус так, что тот исчез в его руке. Затем разжал ее, и ус с силой выпрямился. Потом он поднял кусок тюленьего жира.

— Вот так, — сказал он. — Ты берешь маленький кусок тюленьего жира и делаешь в нем отверстие. Туда всовываешь китовый ус, туго свернутый, и покрываешь другим куском жира. Затем ты выносишь его на воздух, где он замерзает и превращается в круглый шарик. Медведь проглатывает шарик; жир тает; китовый ус выпрямляется; медведь чувствует боль и начинает метаться взад и вперед. Когда ему делается очень плохо, ты убиваешь его копьем. Это совсем просто.

Уг-Глук сказал: «О!», а Клош-Кван протянул: «А!» — каждый сказал по-своему, и все поняли.

Такова история Киша, жившего давно у края Полярного моря. Не колдовство, а ум помог ему оставить самую жалкую хижину и стать первым человеком в своей деревне.

Рассказывают, что, пока он жил, племя его благоденствовало; и ни одна вдова, ни одно слабое существо не плакали ночью от голода.

Неожиданное

Замечать то, что очевидно, и не совершать неожиданных поступков — дело простое. Жизнь каждого отдельного человека — понятие скорее статическое, чем динамическое[78], и такая тенденция жизни индивида укрепляется и развивается цивилизацией. В последней преобладает обыденное, а необычайное случается редко. Когда же происходит неожиданное — а особенно если оно значительно, — существа неприспособленные погибают. Они не видят того, что не является обычным; поступать непривычным образом они не способны и не могут приладить свою жизнь к другим, новым условиям. Жизнь таких людей течет как бы по определенному руслу, и, достигнув его предела, они погибают.

И, наоборот, есть люди, способные выжить во всех условиях. Это те, кто умеет приспособляться, уйти из-под власти обыденщины и приноровить свою жизнь к любым необычным условиям, в каких, случайно или по принуждению, они могут

[78] Сноски: 78

Статический — устойчивый, неподвижный. Динамический — подвижный, находящийся в движении.

очутиться. Такой была Эдит Уитлси. Она родилась в сельской местности в Англии, где жизнь подчиняется заранее установленным правилам и все необычайное настолько неожиданно, что представляется безнравственным. Она рано начала работать по найму и еще молодой женщиной поступила на должность горничной.

Цивилизация механизирует и всю окружающую жизнь. То, что нежелательно, устраняется, а неизбежное всегда бывает заранее известно. Можно защитить себя и от дождя, и от мороза. Смерть же, вместо того чтобы быть явлением страшным и случайным, принимает характер заранее установленной церемонии, продвигая свои жертвы, словно по хорошо убитой колее, к семейному склепу. Металлические части последнего тщательно очищаются от ржавчины, и пыль вокруг заботливо сметается.

Такова была обстановка, окружавшая Эдит Уитлси. Событий не было. Едва ли можно было счесть событием ее поездку. Ей было тогда двадцать пять лет, и ехала она, сопровождая свою хозяйку, в Соединенные Штаты. Но это было просто изменением направления колеи — не больше, а колея все же оставалась и была по-прежнему хорошо укатана. Атлантический

океан не имел возможности проявить себя каким-нибудь неожиданным образом, и пароход, на котором совершалось путешествие, был не судном, брошенным в морские просторы, а громадным удобным отелем. Благодаря огромным размерам парохода ехали быстро и спокойно — океан словно превратился в тихий пруд. А там, при выходе на берег, опять ждала их хорошо укатанная колея, приводящая в пути к отелям на колесах, а на остановках — к комфортабельным гостиницам.

По приезде в Чикаго, в то время как ее хозяйке раскрывалась одна сторона жизни, Эдит Уитлси узнавала другие ее стороны. И когда, наконец, она покинула свою службу и превратилась в Эдит Нелсон, она стала обнаруживать — правда, в слабой еще степени — свою способность бороться с необычайными явлениями жизни и выходить из борьбы победительницей. Ганс Нелсон, ее муж, швед по происхождению, был эмигрантом. По профессии он был столяр. Он проявлял то беспокойство тевтонской расы, которое гонит ее на запад в поисках приключений. Это был крепкий мужчина с сильно развитыми мускулами; воображение у него было небольшое, но зато он обладал громадной инициативой. Был он честен

и верен, и эти два качества были столь же ярко выражены, сколь и его огромная физическая сила.

— Когда я хорошенько поработаю и сделаю кой-какие сбережения, я поеду в Колорадо, — сказал он Эдит на следующий день после свадьбы.

Год спустя они очутились в Колорадо, где Ганс Нелсон впервые познакомился с работой на приисках и заболел горячкой золотоискателей. В погоне за золотом он проехал страну Дакотов, Айдахо и Восточный Орегон. Оттуда он пошел в горы Британской Колумбии. Эдит Нелсон все время была с ним — и в пути, и на стоянках, разделяя его удачу, его труды и лишения. Свои мелкие шажки женщины, воспитанной в городе, она променяла на уверенную походку горной жительницы. Она научилась смотреть в лицо опасности ясными глазами и с полным хладнокровием. Она перестала ощущать паническую боязнь, воспитанную незнанием и овладевающую в известные минуты городскими жителями. Боязнь эта делает людей столь же неразумными, как неразумны животные, которые, оцепенев от ужаса, ждут удара судьбы, вместо того чтобы бороться, либо спасаются бегством в слепом страхе.

Эдит Нелсон сталкивалась с неожиданностями

на каждом шагу трудного пути золотоискателя. Она воспитала свое зрение так, чтобы видеть в окружающем не только то, что представляется, но также и то, что скрыто от поверхностного взгляда. Раньше она не имела понятия об искусстве приготовлять пищу и, несмотря на это, научилась делать хлеб без дрожжей и хмеля и умела печь его на сковороде над костром. Когда же исчезала последняя горсть муки и последний ломтик свиного сала, она оставалась на высоте положения и умела из мягких кусков кожи мокасинов или дорожного мешка приготовить какое-то подобие пищи, годной, пожалуй, для того, чтобы обмануть желудок голодающего путника и поддержать его неровные шаги. Она научилась самому трудному искусству, недоступному для городского жителя, — искусству навьючивать лошадь, и справлялась с любой поклажей. В проливной дождь она могла разжечь огонь из сырых поленьев и сохранить хорошее расположение духа. Короче, она с честью выходила из всех неожиданных положений. Но подлинное неожиданное было для нее еще впереди — ей предстояло еще большое и решительное испытание.

Поток золотоискателей двигался в северном

направлении. Ганс Нелсон и его жена были захвачены этим течением и увлечены в Клондайк. Конец 1897 года застал их в Дайе, но они не имели еще достаточно средств, чтобы приобрести нужное снаряжение и провезти его через Чилкутский проход, а затем водою в Доусон. Поэтому Ганс Нелсон целую зиму работал плотником по сооружению городка золотоискателей в Скагуэйе. Все это время в его душе звучал волнующий призыв Аляски. Больше всего привлекал его Латуйский залив. Наконец летом 1898 года он очутился вместе с женою в пути вдоль изломанной береговой линии. Они плыли в больших сивашских челнах. С ними было трое индейцев и трое других золотоискателей. Индейцы высадили их, вместе со снаряжением и запасами, в пустынной местности, приблизительно в ста милях за Латуйским заливом, и вернулись в Скагуэйе; трое золотоискателей остались, ибо все вместе они составляли организованную партию. Каждый из них вложил долю в покупку снаряжения, и добычу предполагалось разделить поровну. А так как Эдит Нелсон приняла на себя приготовление пищи для всей партии, то ей также полагалась мужская доля добычи.

Прежде всего были срублены ели, и из них

построили хижину в три комнаты. На Эдит было возложено ведение хозяйства. Искать золото — такова была задача мужчин. Правда, крупной добычи здесь не было. Долгие часы упорной работы давали каждому из участников в среднем от пятнадцати до двадцати долларов в день. Короткое аляскинское лето длилось в этом году дольше, чем обычно, и они пользовались этим, откладывая свое возвращение в Скагуэй до последней минуты. И в конце концов они опоздали. Предполагалось отправиться вместе с местными индейцами во время их — последней в этом году — торговой поездки на лодках к берегу моря. Индейцы-сиваши ждали белых людей до последней возможности и затем отправились одни.

Теперь для партии золотоискателей оставалось ждать какой-нибудь оказии. Они занялись поэтому очисткой своего участка и заготовкой дров для предстоящих холодов.

Все еще не кончалось индейское лето, а затем внезапно, как бы по трубному сигналу, наступила зима. Она пришла сразу — в одну ночь, и золотоискатели, проснувшись утром, увидели снежную, ревущую метель. Неистовый ветер дул порывами, и изредка наступала тишина, нарушаемая только плеском волн на пустынном

берегу, где соленые брызги ложились на песке точно зимний снег.

В хижине все было благополучно. Золота добыли приблизительно на восемь тысяч долларов, и это не могло не давать им удовлетворения. Мужчины соорудили себе лыжи, ходили на охоту и добывали свежее мясо для стола. А долгие вечера они проводили за бесконечной игрой в вист и в педро. И так как работа по добыванию золота кончилась, то Эдит Нелсон передала мужчинам заботу о топке печей и мытье посуды и занялась штопаньем их носков и починкой платья.

Не было ни недовольства, ни ссор в маленькой хижине, и обитатели ее часто выражали свою радость по поводу счастливой совместной жизни. Ганс Нелсон отличался добродушием. Он безгранично восхищался способностью Эдит ладить с людьми. Харки, длинный и худой американец из Техаса, был очень миролюбив, несмотря на свою природную угрюмость. Он был прекрасным товарищем, если только не возражали против его любимой теории, что золото обладает способностью расти. Четвертый член компании, Майкл Деннин, оживлял общество своим ирландским остроумием. Это был большой человек могучего сложения, вспыльчивый из-за пустяков, но

способный переносить большие невзгоды с неизменно веселым расположением духа. Пятый и последний участник, Дэтчи, веселил всю компанию. Для поддержания общего веселья он даже не прочь был самого себя выставить в смешном виде. Казалось, что он поставил целью своей жизни вызывать смех. Итак, ни одна серьезная ссора не омрачала спокойствия обитателей хижины; теперь, когда каждый из участников заработал в течение короткой летней работы тысячу шестьсот долларов, казалось, все они должны были быть довольны и миролюбиво настроены.

И вот тогда-то и случилось неожиданное. Они только что уселись за стол для утреннего завтрака. И хотя было уже восемь часов — завтракали утром поздно, так как работа прекратилась, — свеча, воткнутая в бутылку, еще освещала стол. Эдит и Ганс сидели на двух концах стола. С одной стороны, спиной к двери, помещались Харки и Дэтчи. Место с другой стороны оставалось незанятым. Деннина не было.

Ганс Нелсон посмотрел на пустое место, медленно покачал головой и произнес с потугами на остроумие:

— Он всегда первый за столом. Это странно. Может быть, он болен?

— Где Майкл? — спросила Эдит.

— Он встал немного раньше нас и вышел, — ответил Харки.

Лицо Дэтчи сияло лукавой улыбкой. Он сделал вид, что знает причину отсутствия Деннина, и принял таинственный вид, в то время как его товарищи продолжали удивляться. Ганс посмотрел на Эдит, и она покачала головой.

— Он никогда раньше не опаздывал к столу, — заметила она.

— Ничего не понимаю, — сказал Ганс. — У него всегда был лошадиный аппетит.

— Очень жалко, — сказал Дэтчи, грустно кивнув.

Они стали шутить по поводу отсутствия товарища.

— Почему жалко? — спросили они хором.

— Бедный Майкл, — был печальный ответ.

— Разве что-нибудь случилось? — спросил Харки.

— Он уже не голоден, — простонал Дэтчи. — Он потерял аппетит. Эта еда ему больше не нравится.

— Что-то незаметно, когда он с головой уходит в тарелку, — заметил Харки.

— Он это делает исключительно из вежливости

по отношению к миссис Нелсон, — живо возразил Дэтчи, — я знаю, я знаю, и мне его очень жалко. Почему его здесь нет? Потому что он вышел. Почему он вышел? Для того, чтобы нагулять себе аппетит. Чем он нагуливает себе аппетит? Тем, что ходит босиком по снегу. Разве я не знаю? Богатые люди всегда таким образом гонятся за своим аппетитом, в то время как он от них убегает. У Майкла тысяча шестьсот долларов. Он богатый человек. Он потерял аппетит. Поэтому он за ним гонится. Откройте дверь, и вы увидите его, идущего босиком по снегу. В этом вся его беда. Но когда он увидит свой аппетит — он его поймает и придет завтракать.

Всеобщий громкий смех встретил болтовню Дэтчи. Звуки его еще не замерли, когда вошел Деннин. Все обернулись, чтобы посмотреть на него. В руках у него было охотничье ружье. Внезапно он прицелился и выстрелил два раза. После первого выстрела Дэтчи тяжело опустился на стол, опрокидывая чашку с кофе. Головой он попал в тарелку и поднял ее почти под прямым углом. Харки вскочил на ноги при звуке второго выстрела и упал лицом на пол, с криком: «Боже!», замирающим в его хрипящем горле.

Так разразилось неожиданное. Ганс и Эдит

остолбенели. Они сидели за столом, напряженные, с глазами, пригвожденными к убийце. Смутно видели они его сквозь пороховой дым, и в тишине ничего не было слышно, кроме капанья пролитого на пол кофе Дэтчи. Деннин открыл затвор ружья, выбрасывая пустые патроны. Держа ружье одной рукой, он сунул другую в карман, чтобы достать свежие заряды.

Он всовывал патроны в ружье, когда Эдит поняла, что надо действовать.

Было очевидно, что теперь он намерен убить Ганса и ее. Три секунды она была совершенно парализована, ошеломленная непредвиденной формой, в которой ворвалось к ним Неожиданное. Затем она пришла в себя и начала бороться за жизнь Ганса и свою. Это действительно была борьба, ибо она прыгнула, подобно кошке, на убийцу и вцепилась в его воротник обеими руками. Он пошатнулся и пытался отбросить ее и удержать в руках ружье. Но это было трудно, так как ее крепкое тело приобрело кошачью силу и ловкость. Она всем корпусом откинулась назад и, цепляясь за его горло, чуть не повалила его на пол. Он выпрямился и быстро повернулся, увлекая ее за собой; ноги ее отделились от пола, но она не разжала рук, вцепившихся в воротник.

Не рассчитав движения, он наткнулся на стул и грохнулся вместе с женщиной на пол.

Ганс Нелсон реагировал на полсекунды позже жены. Его нервные и умственные процессы протекали несколько медленнее, чем ее. Его организм был грубее, и понадобилось на полсекунды больше для того, чтобы он понял, решил и приступил к действию. Она уже налетела на Деннина и схватила его за горло, когда Ганс вскочил на ноги. Но он не обладал ее хладнокровием и не владел собой от бешенства. Вскочив со стула, он издал какой-то странный звук — не то заревел, не то зарычал. И затем бросился к Эдит и Деннину. Он настиг их, когда они упали на пол, обрушил свои кулаки на распростертого человека. Удары были жестокие — словно удары молотом, и скоро Эдит почувствовала, что тело Деннина слабеет и перестает двигаться. Тогда она отпустила его воротник и слегка отодвинулась. Она лежала на полу, тяжело дыша и широко раскрыв глаза. Страшные удары все еще сыпались на лежащего убийцу. Деннин как будто их не замечал. Он не двигался. Тогда она сообразила, что он потерял сознание. Она крикнула Гансу, чтобы тот остановился, — раз и второй. Но он ее не слышал. Тогда она схватила его за руку, но это только замедлило

его удары, которые все еще продолжали сыпаться на Деннина.

Эдит пыталась удержать мужа отнюдь не сознательно. Говорило в ней не чувство жалости и не воспоминание религиозного запрета, гласящего: «Ты не должен». Скорей всего — смутное чувство законности, этическое наследие ее расы и окружающей среды заставили ее встать между мужем и беспомощным убийцей. И только тогда, когда Ганс понял, что бьет свою жену, он перестал сыпать удары. Он позволил ей оттащить себя, приблизительно так, как рассерженная, но послушная собака позволяет своему хозяину себя отвести. Но ярость его еще не утихла и выражалась в каких-то нечленораздельных звуках, вырывающихся из его горла.

Все дальше и дальше отталкивала Эдит своего мужа. Она никогда еще не видала его в таком состоянии и теперь боялась его почти больше, чем Деннина в разгар их схватки. Она не могла поверить, что этот бешеный зверь — ее Ганс. Ей казалось, что он может вцепиться в ее руку зубами, подобно дикому зверю. В течение нескольких секунд, не желая делать ей больно, но упорно пытаясь продолжать избиение, Ганс тянулся к лежащему человеку. Но она реши-

тельно становилась между ними, пока к нему не вернулся первый проблеск рассудка и он не пришел в себя.

Оба стояли у тела Деннина. Ганс, пошатываясь, с судорожно искривленным лицом прислонился к стене. Наступила реакция. Ломая руки, Эдит стояла посреди хижины. Она тяжело дышала и тряслась всем телом.

Ганс уставился в одну точку, но глаза Эдит дико блуждали, изучая подробности того, что случилось.

Деннин лежал без движения. Опрокинутый стул, брошенный на пол во время отчаянной борьбы, лежал рядом с ним. Из-под тела убийцы виднелось ружье с приоткрытым замком. Из его правой руки выпали два патрона, которые он не успел вложить в затвор.

Харки лежал на полу, лицом вниз — там, где свалился. Дэтчи по-прежнему наклонялся над столом, а его желтые волосы были прикрыты наполовину тарелкой, все еще приподнятой под углом в девяносто градусов. Эдит не могла оторвать глаз от этой тарелки. Почему она не падала? Это было нелепо. Разве нормально, чтобы тарелка стояла на столе вертикально, даже если при этом произошло убийство?

Она взглянула снова на Деннина, но ее глаза вернулись к приподнятой тарелке. Это было в самом деле нелепо. Ей хотелось истерически хохотать. Затем она ощутила жуть мертвой тишины, и ей остро захотелось, чтобы что-нибудь случилось. Однообразное капанье кофе на пол только подчеркивало тишину. Почему Ганс ничего не делал? Почему он ничего не говорил? Она смотрела на него и пыталась что-то сказать, но язык отказывался повиноваться. У нее как-то особенно болело горло и во рту было сухо и терпко. Она могла только смотреть на Ганса, который, в свою очередь, смотрел на нее.

Вдруг острый металлический звон нарушил тишину. Она вскрикнула и бросила взгляд на стол. Тарелка упала. Ганс вздохнул, как будто просыпаясь после сна. Звон тарелки пробудил их к жизни в новом мире. Вся хижина очутилась в этом новом мире — отныне единственном для них существующем. Старая хижина исчезла навсегда. Жизнь стала новой и неведомой. Неожиданно окутало волшебной дымкой все, меняя перспективу, спутывая ценности, переплетая реальное с нереальным.

— Боже мой! Ганс! — были первые слова Эдит.

Он не ответил, но в ужасе глядел на нее. Его

глаза медленно ощупали комнату, впервые схватывая все детали случившегося. Он надел шапку и направился к двери.

— Куда ты идешь? — спросила Эдит, охваченная страхом.

Его рука была на дверной ручке. Он повернулся вполоборота.

— Рыть могилы.

— Не оставляй меня, Ганс…

— Все равно придется рыть могилы, — сказал он.

— Но ты не знаешь, сколько нужно могил, — возразила она в отчаянии. Она заметила его колебание и прибавила: — Я пойду с тобой и помогу.

Ганс вернулся к столу и машинально оправил свечу. Затем приступили к осмотру. Харки и Дэтчи — оба были мертвы, и благодаря тому, что стреляли с близкого расстояния, вид их был ужасен.

Ганс отказался подойти к Деннину, и Эдит должна была одна осмотреть его.

— Он не умер! — крикнула она Гансу. Тот подошел и взглянул на убийцу. — Что ты сказал? — спросила Эдит, услышав нечленораздельные звуки.

— Я говорю: дьявольски жалко, что он не умер, — ответил он.

Эдит наклонилась над телом.

— Оставь его, — приказал Ганс резко: голос его звучал странно.

Она взглянула на него во внезапном страхе. Он поднял ружье, брошенное Деннином, и вкладывал в него патроны.

— Что ты хочешь сделать? — крикнула она, быстро приподнимаясь.

Ганс не ответил, но она увидела, что он прикладывает ружье к плечу. Она схватила дуло и отвела его.

— Оставь меня в покое! — крикнул он глухо.

Он пытался вырвать у нее ружье, но она подошла к мужу и обхватила его руками.

— Ганс, Ганс! Очнись! — кричала она. — Не будь сумасшедшим.

— Он убил Дэтчи и Харки! И я убью его!

— Но так нельзя. Есть закон.

Он выразил сомнение в реальной силе закона здесь, в этой глуши, и продолжал твердить бесстрастно и упорно:

— Он убил Дэтчи и Харки.

Она долго убеждала, но он только повторял: «Он убил Дэтчи и Харки». В ней сказались ее

воспитание и кровь. Она унаследовала сознание законности. Ей казалось невозможным оправдать новое убийство, как и преступление Деннина. Два нарушения закона не создадут права. Существует только один способ наказать Деннина: посредством легальных мер, установленных обществом. Наконец Ганс сдался.

— Хорошо, — сказал он. — Пусть будет по-твоему. Но завтра или послезавтра он убьет нас.

Она покачала головой и протянула руку, чтобы взять ружье. Он было хотел отдать его, но снова заколебался.

— Лучше позволь мне застрелить его, — молил он.

Опять она покачала головой, и опять он сделал движение, чтобы передать ей ружье. В это время дверь отворилась, и вошел индеец — без стука. Порыв ветра и снежный вихрь ворвались за ним в хижину… Они обернулись к нему лицом. Ганс все еще держал в руке ружье. Посетитель сразу, не вздрогнув, охватил всю сцену. И сразу увидел убитых и раненого. Он не выказал ни изумления, ни даже любопытства. Харки лежал у его ног. Но он не обратил на него ни малейшего внимания.

— Очень ветрено, — заметил индеец в виде приветствия. — Все хорошо. Очень хорошо.

Ганс, все еще держа в руках ружье, был уверен, что индеец считает его убийцей. Он посмотрел с немой мольбой на жену.

— Доброе утро, Негук, — сказала она, делая над собой страшное усилие. — Нет, не очень хорошо. Большая беда.

— До свидания, я теперь ухожу. Нужно спешить, — сказал индеец. Не торопясь, хладнокровно обойдя красную лужу на полу, он открыл дверь и вышел.

Мужчина и женщина посмотрели друг на друга.

— Он думает, что это сделали мы, — воскликнул Ганс, — что это сделал я!

Эдит молчала несколько секунд. Затем сказала кратко, деловым тоном:

— Безразлично, что он думает. Об этом после. Теперь мы должны копать могилы. Но прежде всего мы должны привязать Деннина так, чтобы он не убежал.

Ганс отказался дотронуться до Деннина, и Эдит связала крепко его руки и ноги. После этого они вышли. Почва замерзла и не поддавалась ударам лома. Они собрали дров, соскребли снег с поверхности земли и на мерзлом грунте зажгли костер. Целый час пылал он, прежде чем оттаяло

небольшое пространство. Они вырыли яму и затем рядом разложили новый костер. Таким образом, яма увеличивалась медленно — на два-три дюйма в час.

Работа была тяжелая и невеселая. Снег мешал костру разгореться. Холодный ветер пронизывал их. Подавленные ужасом совершившейся трагедии, они почти не разговаривали — мешал ветер, — обмениваясь лишь возгласами удивления по поводу того, что могло привести Деннина к убийству. В час Ганс заявил, что он голоден.

— Нет, только не сейчас, Ганс. Я не могу вернуться в хижину — такую, какой она осталась, и готовить там обед.

В два часа Ганс предложил пойти вместе с ней. Но она побуждала его продолжать работу, и в четыре часа могилы были готовы.

Они были неглубоки — не больше двух футов глубиной, но этого было достаточно. Наступила ночь. Ганс достал санки, и трупы были доставлены к их морозным могилам. Похоронное шествие не имело парадного вида. Полозья глубоко врезывались в сугробы, и санки тащили с трудом. Оба — мужчина и женщина — ничего не ели со вчерашнего дня и ослабели от голода и усталости. Они не имели сил противостоять ветру, и его

порывы чуть не валили их с ног. Несколько раз санки перевертывались, и они снова нагружали на них печальную поклажу. Последние сто футов до могил вели вверх по крутому склону, и здесь они двигались на четвереньках, подобно собакам, впряженным в сани. Хотя они и цеплялись руками за снег, но сани своей тяжестью дважды увлекали их назад; и дважды они скатились с горы все вместе — живые и мертвые.

— Завтра я поставлю столбы с их именами, — сказал Ганс, когда могилы были зарыты.

Эдит плакала навзрыд. Она произнесла несколько несвязных фраз — это заменяло надгробную службу, — и теперь муж должен был почти отнести ее обратно в хижину.

Деннин пришел в сознание и катался по полу, в тщетных попытках освободиться. Он смотрел на Ганса и Эдит блестящими глазами, но не пробовал заговорить. Ганс все еще отказывался дотронуться до убийцы и тупо глядел на Эдит, в то время как она тащила Деннина по полу в мужскую спальню. Но, несмотря на все ее усилия, она не могла поднять его с пола на лежанку.

— Позволь мне его застрелить, у нас не будет больше возни с ним, — наконец проговорил Ганс.

Эдит снова отрицательно покачала головой и продолжала свою работу. Вскоре Ганс одумался и помог ей. Затем они приступили к чистке кухни. Но с пола не исчезали следы трагедии, пока Ганс не состругал поверхности досок. Стружки он сжег в печке.

Дни проходили и уходили. Вокруг обитателей хижины царила тьма и тишина, нарушаемая только метелями и шумом моря, разбивающегося о ледяной берег. Ганс послушно исполнял малейшие приказания Эдит. Вся его необыкновенная способность к инициативе вдруг исчезла. Она настояла на своем способе обращения с Денником, и потому он предоставлял ведение дела всецело ей.

Убийца оставался для них постоянной угрозой. Во всякое время можно было ожидать, что он освободится от связывающих его веревок. Ввиду этого мужчина и женщина были вынуждены сторожить его днем и ночью. Один из них всегда сидел с ним рядом, держа в руках заряженное ружье. Сперва они испробовали восьмичасовые дежурства, но напряжение было слишком велико, и впоследствии Эдит и Ганс сменяли друг друга каждые четыре часа. Но так как спать было надо, а дежурства продолжались и ночью — все

время они тратили на то, чтобы сторожить Деннина, — они едва успевали готовить пищу и добывать дрова.

После несвоевременного посещения Негука индейцы избегали хижину. Эдит послала Ганса в их деревню просить увезти Деннина в лодке до ближайшего поселка или торговой станции белых людей, но просьба эта встретила отказ. Эдит сама пошла, чтобы просить Негука. Он — старшина маленькой деревушки — был полон сознанием своей ответственности и в нескольких словах объяснил свою точку зрения.

— Это — беда белых людей, — сказал он, — не беда сивашей. Мы поможем, и тогда это станет бедой сивашей. Когда соединятся беда белого человека и беда сивашей, будет большая беда. Мои люди ничего не сделали плохого. Почему же им помогать и попасть в беду?

Итак, Эдит вернулась в страшную хижину с ее бесконечными перемежающимися четырехчасовыми сменами. Иногда, когда наступала ее очередь и она сидела рядом с Деннином с заряженным ружьем на коленях, ее глаза слипались, и она начинала дремать. Затем внезапно пробуждалась, хваталась за ружье и быстро оглядывала пленника. То были периодические нервные по-

трясения, и ничего хорошего они ей не сулили. Она так боялась этого человека, что даже в состоянии полного бодрствования — если только он двигался под одеялом — не могла удержаться от дрожи и быстро схватывала ружье.

Ей грозило нервное переутомление, и она это знала. Сперва она ощущала дрожь в глазах, заставлявшую ее закрывать веки, затем не могла уже справиться с нервным миганием век. Вдобавок она никак не могла забыть происшедшую трагедию. Она ощущала весь ужас трагедии почти так же остро, как в то утро, когда Неожиданное ворвалось в их хижину.

Ганс был тоже подавлен, но по-иному. У него была навязчивая идея, что его долг — убить Деннина; и всегда, когда он что-нибудь делал для связанного человека или наблюдал за ним, Эдит боялась, что кровавый список жертв пополнится еще одним именем. Он постоянно яростно проклинал Деннина и обращался с ним очень резко. Ганс пытался скрыть свою жажду убить и иногда говорил жене: «Когда-нибудь ты захочешь, чтобы я его убил, а тогда я не смогу». Но не раз, входя украдкой в комнату в свободное от дежурства время, она находила обоих мужчин, обменивающихся свирепыми взглядами — подобно двум

диким зверям. На лице Ганса было написано желание убить, на лице Деннина — ярость пойманной крысы. «Ганс! — кричала она в таких случаях. — Очнись!» — и он смущенно приходил в себя; однако лицо его совсем не выражало раскаяния.

Таким образом, Эдит, призванная разрешить проблему Неожиданного, должна была учитывать и состояние Ганса. Вначале эта задача сводилась к правильному поведению по отношению к Деннину; нужно было задержать его до передачи властям. Но теперь возникал вопрос о Гансе, и она видела, что умственное равновесие и спасение также были поставлены на карту. И вместе с тем она скоро обнаружила, что ее собственная сила сопротивления имеет пределы. Ее левая рука нервно подергивалась. Она расплескивала ложку с супом и не могла уже вполне рассчитывать на больную руку. Вероятно, думала она, это нечто вроде пляски святого Витта[79]; и боялась развития этой болезни. Что будет, если она не выдержит? И картина будущего — хижина

[79] Сноски: 79

Пляска святого Витта — нервная болезнь, выражающаяся в судорожных движениях головы, рук и ног при полном сознании. Названа по имени святого, к которому в старину суеверные люди обращались на Западе с молитвой об исцелении этой болезни.

с Деннином и Гансом и без нее — наполняла ее ужасом.

На четвертый день Деннин заговорил. Его первый вопрос был: «Что вы со мной сделаете?» И он повторял этот вопрос много раз в течение дня, и всегда Эдит отвечала, что с ним будет поступлено по закону. В свою очередь она ежедневно его допрашивала: «Почему вы это сделали?» На это он не давал ответа, а вопрос этот вызывал в нем припадок ярости. Он метался, пытаясь разорвать связывавшие его кожаные ремни, и угрожал ей расправой, — вот только он освободится, а ведь это — рано или поздно — должно случиться. В такие минуты она взводила оба курка и готовилась встретить его свинцом, если ему удастся вырваться. При этом она все время была охвачена дрожью, и у нее кружилась голова от напряженности нервного возбуждения.

Но понемногу Деннин сделался более сговорчивым. Она увидела, что вечное пребывание в лежачем положении его сильно утомляет. Он стал умолять, чтобы его освободили. Он давал сумасшедшие обещания. Он не причинит им вреда. Он сам спустится по берегу и передаст себя властям. Свою часть золота он им отдаст и уйдет в дикую глушь, и никогда больше не по-

явится перед лицом цивилизации. Он покончит самоубийством — только бы она его освободила. Его мольбы всегда кончались почти бессознательным бредом — казалось, что с ним делается припадок. В ответ она все же всегда качала головой и отказывала ему в свободе, которой он добивался с такой страстью.

Но недели шли, и он становился все более и более сговорчивым. И вместе с тем усталость его все больше и больше сказывалась. «Я так устал, я так устал», — шептал он, вертясь на лежанке, как капризный ребенок. Немного позже он стал выражать желание умереть, умоляя убить его, освободить от мучений, чтобы он мог наконец отдохнуть.

Положение становилось невозможным. Нервность Эдит возросла, и она знала, что катастрофа с ней может наступить в любой момент. Она не могла даже выспаться по-настоящему, так как ее преследовал страх, что Ганс поддастся своей мании и убьет Деннина во время ее сна. Хотя был уже январь, много месяцев должно было пройти раньше, чем какое-нибудь коммерческое судно могло заглянуть в бухту. А ко всему тому они стали ощущать недостаток пищи, так как не рассчитывали провести всю зиму в хижине. При

этом Ганс не мог поддерживать запасы охотой. Они были прикреплены к хижине необходимостью сторожить пленника.

Надо было на что-нибудь решиться. Она это сознавала. Она заставила себя вновь продумать весь вопрос. Она не могла заглушить чувство законности, свойственное ей по крови и воспитанию. Она знала, что все, что она сделает, должно соответствовать этому инстинкту права. В долгие часы бдения, с ружьем на коленях, — рядом метался убийца, а за окном ревела буря, — она проделала самостоятельное социологическое исследование и выработала свою точку зрения на зарождение и эволюцию права. Ей пришло на ум, что право есть не что иное, как воля группы людей. Размеры группы не имеют значения. Есть маленькие группы, рассуждала она, как, например, Швейцария, и большие, как Соединенные Штаты. И совсем неважно, если группа очень мала. В стране могло быть всего десять тысяч человек, и тем не менее их коллективная воля будет правом этой страны. Но тогда почему тысяча человек не может составить группу? А если так, то почему не сто? Почему не пятьдесят? Почему не двое?..

Она испугалась собственного вывода и пере-

говорила об этом с Гансом. Сперва он не понял. Когда же понял, то добавил еще кое-какие соображения, которые как будто разрешали вопрос. Он говорил о собраниях золотоискателей; на этих собраниях все обитатели той или иной местности соединялись, обсуждая законы, и приводили их в исполнение. Могло быть всего десять или пятнадцать человек, и тем не менее воля большинства становилась законом для всех десяти или пятнадцати человек, и всякий, кто нарушал эту волю, нес соответствующую кару.

Наконец Эдит все стало ясно. Деннин должен быть повешен. Ганс согласился с нею. Они составляли вдвоем большинство данной социальной группы. Воля этой группы была направлена к тому, чтобы Деннина повесили. Проявляя эту волю, Эдит усиленно старалась соблюдать установленные формы. Но группа была так мала, что Ганс и она одновременно должны были являться свидетелями, присяжными, судьями и исполнителями приговора. Она предъявила Деннину формальное обвинение в убийстве Дэтчи и Харки. Пленник лежал на своей лежанке и слушал показания свидетелей — сперва Ганса, потом Эдит. Он отказался отвечать на вопрос о своей виновности или невиновности и молчал, когда она спросила его, имеет

ли он что сказать в свое оправдание. Она и Ганс, не вставая с места, вынесли вердикт присяжных: да, виновен. Затем, уже как судья, она определила меру наказания. Ее голос дрожал, ее веки нервно мигали, ее левая рука судорожно дергалась, но она выполнила то, что было необходимо.

— Майкл Деннин, через три дня вы будете повешены.

Таков был приговор. У него вырвался как бы невольный вздох облегчения. Затем он засмеялся и сказал:

— Тогда, по крайней мере, эта проклятая лежанка не будет больше давить мне спину. Это все-таки утешение.

После произнесения приговора они все как будто почувствовали облегчение. Это в особенности было заметно в настроении Деннина. Вся его суровость и вызывающий тон исчезли. Он говорил вполне приветливо со своими тюремщиками и даже проявлял порывами старое свое остроумие. Он выражал большое удовлетворение, когда Эдит читала ему вслух Библию. Она читала выдержки из Нового Завета, и он особенно интересовался рассказами о блудном сыне и о разбойнике на кресте.

Накануне дня казни, когда Эдит поставила ему

обычный вопрос: «Почему вы это сделали?» — Деннин ответил: «Очень просто. Я думал…»

Но Эдит прервала его, просила его подождать и поспешила к лежанке Ганса.

Это было время его отдыха после дежурства, и он проснулся, протирая глаза и ворча.

— Иди, — сказала она ему, — и приведи Негука и еще одного индейца. Майкл признается во всем. Заставь их прийти. Возьми ружье и, если нужно, приведи их силой.

Полчаса спустя Негук и его дядя Хэдикван вошли в комнату приговоренного. Они шли неохотно, понукаемые вооруженным Гансом.

— Негук, — сказала Эдит, — не будет никакой беды для тебя и твоего народа. Вы должны сесть и ничего не делать, только слушать и понимать.

Тогда Майкл Деннин, приговоренный к смерти, исповедался в своем преступлении. Пока он говорил, Эдит записывала его рассказ, в то время как индейцы слушали, а Ганс сторожил у двери, из боязни, что свидетели убегут.

Деннин объяснил, что он не был на родине в течение пятнадцати лет. В его намерение всегда входило вернуться с большой суммой денег домой и обеспечить свою старую мать в последние годы ее жизни.

— Как же мог я это сделать с тысячью шестьюстами долларов? — спросил он. — Мне нужно было все золото, все восемь тысяч. Тогда я мог вернуться в настоящем виде. Я подумал, что ничего не будет легче, как убить вас всех, донести в Скагуэй, что это сделали индейцы, и отправиться в Ирландию. Я и попробовал вас всех убить, но, согласно поговорке, я отрезал слишком большой кусок и не мог его проглотить. Вот мое признание. Я исполнил свой долг перед дьяволом, и теперь, если позволит Господь, я исполню свой долг перед Богом.

— Негук и Хэдикван, — обратилась Эдит к индейцам. — Вы слышали слова белого человека. Его слова здесь на бумаге, и вы должны на этой же бумаге поставить знаки, чтобы белые люди, которые потом придут, знали, что вы это слышали.

Индейцы поставили кресты против своих подписей и получили приглашение явиться на следующий день со всем своим племенем для засвидетельствования того, что должно произойти. После этого им позволили уйти. Ремни на руках Деннина были ослаблены, и он подписал документ. После этого в комнате наступило молчание. Гансу было не по себе, и Эдит тоже нервничала. Деннин лежал на спине и глядел вверх, на крышу

с щелями, забитыми мхом.

— А теперь я исполню свой долг перед Богом, — шептал он. Он повернул голову по направлению к Эдит. — Прочтите мне, — продолжал он, — из книги. Может быть, — прибавил он полушутливо, — это поможет мне забыть про лежанку.

День казни выдался ясным и холодным. Термометр показывал 25 градусов ниже нуля. Холодный ветер пронизывал до костей. Впервые после многих недель Деннин стоял на ногах. Его мускулы так долго не работали, а он так давно не принимал стоячего положения, что едва мог стоять. Он качнулся вперед и назад, пошатнулся и схватил Эдит связанными руками, чтобы не упасть.

— У меня как будто кружится голова, — засмеялся он слабо.

Минуту спустя он сказал:

— И рад же я, что все это кончено. Эта проклятая лежанка меня все равно бы уморила.

Когда же Эдит надела ему на голову меховую шапку и начала натягивать на уши наушники, он засмеялся и сказал:

— Для чего вы это делаете?

— На улице мороз, — ответила она.

— Да, но через десять минут не безразлично ли будет бедному Майклу Деннину отморозить

ухо? — спросил он.

Она напрягла все свои слабые силы для последнего испытания. Но его замечание нарушило ее самообладание. До сих пор все казалось призрачным — как бы сном, — а суровая правда его слов внезапно и мучительно открыла ей глаза на реальность того, что происходило.

Ирландец заметил ее отчаяние.

— Я жалею, что расстроил вас своим глупым разговором, — сказал он с сожалением. — Я не хотел ничего этим сказать. Это великий день для Майкла Деннина, и он весел, как жаворонок.

Он весело засвистел, но свист его скоро стал унылым и замер.

— Хотелось, чтобы был священник, — сказал он с грустью, а затем быстро добавил: — Но Майкл Деннин слишком привык к походу, чтобы нуждаться в роскоши, отправляясь в путь.

Он был так слаб, что, выйдя, чуть не упал от порыва ветра. Эдит и Ганс шли рядом с ним и поддерживали его с двух сторон. Все время он шутил и старался их приободрить. Свою долю золота он просил послать его матери в Ирландию.

Они взобрались на высокий холм, вышли на открытую поляну, окруженную деревьями. Здесь, у бочки на снегу, торжественно стояли Негук и

Хэдикван во главе сивашей. Они привели всю деревню — вплоть до грудных младенцев и собак, чтобы увидеть исполнение закона белых людей. Вблизи была открытая могила, которую Ганс, предварительно оттаяв почву, вырыл в мерзлой земле.

Деннин деловито осмотрел приготовления, оглядел могилу, бочку, веревку и сук, через который она была перекинута.

— Я бы сам не мог лучше сделать, Ганс, если бы это было для тебя.

Он громко рассмеялся собственной остроте, но лицо Ганса замерло в угрюмом оцепенении, которое ничто, казалось, не могло нарушить — разве только трубный глас последнего суда. Ганс чувствовал себя больным. Он совсем себе не уяснил трудности задачи отправить на тот свет другого человека. Зато Эдит действовала в полном сознании. Но это задачи ей не облегчало. Она сомневалась, удастся ли ей держать себя в руках, чтобы довести дело до конца. Она чувствовала нарастающую потребность кричать, упасть в снег, закрыть руками глаза или убежать в лес, куда-нибудь, только вон отсюда. С величайшим напряжением удавалось ей держаться прямо и делать то, что она должна была сделать. И во

всем этом она была признательна Деннину за его помощь.

— Дай мне руку, — сказал он Гансу, влезая с его помощью на бочку.

Он нагнулся так, что Эдит могла накинуть веревку ему на шею. Затем выпрямился, в то время как Ганс подтянул веревку через сук над его головой.

— Майкл Деннин, имеете ли вы что сказать? — спросила Эдит. Голос ее, несмотря на всю ее волю, дрожал.

Деннин глядел с бочки вниз, застенчиво, как человек, который произносит свою первую речь. Он откашлялся.

— Я рад, что это кончено, — сказал он, — вы обращались со мной как с христианином, и я сердечно благодарю вас за всю вашу доброту.

— Да примет тебя, кающегося грешника, Господь, — сказала она.

— Да, — прозвучал в ответ его низкий бас. — Да примет меня Господь, кающегося грешника.

— Прощай, Майкл! — крикнула она, и в голосе ее прозвучало отчаяние.

Она навалилась всей тяжестью на бочку, но не могла ее сдвинуть.

— Ганс! Скорее! Помоги мне! — слабо крикнула

она.

Она чувствовала, что последние силы оставляют ее, а бочка не двигалась.

Ганс поспешил к ней, и бочка вылетела из-под ног Майкла Деннина.

Она повернулась к нему спиной, затыкая уши пальцами. Затем начала смеяться резким, металлическим смехом. И Ганс был этим потрясен больше, чем всей трагедией.

Кризис наступил. Даже в своем истерическом состоянии она это понимала и была рада, что сумела выдержать до того момента, когда все было кончено. Внезапно она покачнулась…

— Отведи меня в хижину, Ганс, — с трудом выговорила Эдит. — И дай мне отдохнуть… отдохнуть…

Ганс повел ее — совсем беспомощную — по снегу, поддерживая за талию.

Но индейцы оставались, чинно наблюдая за тем, как действует закон белых людей, заставляющий человека плясать в воздухе.

Путь ложных солнц

Ситка Чарли курил и глядел задумчиво на иллюстрацию, вырезанную из «Полицейской газеты» и прикрепленную к стене. В течение получаса разглядывал он картину, и в течение всего этого получаса я незаметно за ним наблюдал. Что-то происходило в его уме, и я знал, что во всяком случае его мысли заслуживают интереса. Он жил деятельной жизнью и видел многое на своем веку. Он совершил самое большое чудо — отказался от собственного народа и, насколько это вообще возможно для индейца, обратился, по всему своему складу, в белого человека. Сам он, повествуя об этой перемене, говорил, что сел у наших огней и сделался одним из наших. Он никогда не учился читать и писать, но обладал обильным запасом слов. Еще более замечательной была точность, с какой он воспринял взгляды белых людей и отношение их ко всем вещам.

Мы напали на эту покинутую хижину после дня тяжелого пути. Собаки были накормлены; обеденная посуда вымыта; постели приготовлены. Мы наслаждались тем приятным часом, который наступает на аляскинском пути ежедневно, но

лишь раз в течение дня. Это час, когда усталый путник, перед тем как улечься, выкуривает свою вечернюю трубку.

Кто-то из прежних обитателей хижины украсил ее стены иллюстрациями, вырезанными из журналов и газет. Эти-то картины и привлекли внимание Ситки Чарли с момента нашего прихода, два часа назад.

Он напряженно изучал их, переходя от одной к другой и снова возвращаясь к прежним. Лицо его было озадачено.

— Ну? — прервал я наконец молчание.

Он вынул трубку изо рта и сказал просто:

— Я не понимаю.

Затем снова закурил и снова вынул трубку, чтобы указать ею на картину из «Полицейской газеты».

— Это картина… что она значит? Я не понимаю.

Я посмотрел на рисунок. Человек с преувеличенно злым лицом падал навзничь на пол, прижимая руку театральным жестом к сердцу. Над ним, с лицом не то падшего ангела, не то Адониса[80], стоял другой человек с дымящимся

[80] Сноски: 80

Адонис — один из любимцев Венеры, страстный охотник. В переносном смысле — красавец.

после выстрела револьвером в руке.

— Один человек убивает другого, — ответил я, чувствуя, что и я разделяю его недоумение и нуждаюсь в объяснении.

— Почему? — спросил Ситка Чарли.

— Я не знаю, — признался я.

— В этой картине только конец, — сказал он. — Она не имеет начала.

— Это — жизнь, — сказал я.

— Жизнь имеет начало, — возразил он.

Я не знал, что сказать. В это время его глаза остановились на соседней иллюстрации. Это была репродукция чьей-то картины «Леда и Лебедь»[81].

— Эта картина, — сказал он, — не имеет ни начала, ни конца. Я не понимаю картины.

— Посмотри на ту картину, — сказал я, показывая на третий рисунок. — Она имеет смысл. Скажи же мне, что она означает.

Он несколько минут изучал рисунок.

— Маленькая девочка больна, — сказал он наконец. — На нее смотрит доктор. Они всю ночь не ложились, смотри, в лампе нет масла, первые лучи утреннего света входят в окно. Это очень

---

[81] Сноски: 81

Леда — по греческой мифологии — жена спартанского царя, соблазненная Зевсом под видом лебедя.

опасная болезнь; может быть, она умрет. Поэтому доктор смотрит так сурово. Это ее мать. Это очень опасная болезнь, потому что голова матери лежит на столе и она плачет.

— Как ты знаешь, что она плачет? — прервал я его. — Ты не видишь ее лица. Может быть, она спит.

Ситка взглянул на меня, словно внезапно удивившись, а затем внимательно посмотрел на картину.

Очевидно было, что он не обдумал своего впечатления.

— Может быть, она спит, — повторил он. Он внимательно изучал изображение. — Нет, она не спит. Плечи показывают, что она не спит. Я видел плечи плачущей женщины. Мать плачет. Это очень опасная болезнь.

— И ты понимаешь картину? — воскликнул я.

Он покачал головой и спросил:

— Маленькая девочка — она умрет?

В свою очередь я молчал.

— Умрет она? — повторил он. — Ты — художник. Может быть, знаешь.

— Нет, я не знаю, — признался я.

— Это не жизнь, — категорически заявил он. — В жизни девочка умрет или выздоровеет.

В жизни что-нибудь случится. На картине ничего не случится. Нет, я не понимаю картины.

Он был явно разочарован. Он хотел понять все, что понимают белые люди, и здесь — в этом вопросе — это ему не удавалось. Я чувствовал вместе с тем, что в его вопросах был вызов. Он хотел во что бы то ни стало заставить меня разъяснить ему мудрость картины.

Нужно сказать, что у него были поразительные способности мыслить образами. Он видел жизнь в образах, чувствовал ее в образах, обобщал посредством образов. Но он не понимал образов, выраженных при помощи красок и линий другими людьми.

— Картина — кусок жизни, — сказал я. — Мы рисуем жизнь так, как ее видим. Представь себе, Чарли, что ты идешь по тропе. Ночь. Ты видишь хижину. Окно освещено. Ты смотришь в окно в течение одной или нескольких секунд, ты видишь что-то и затем продолжаешь путь. Быть может, ты увидел человека, который писал письмо. Ты видел что-то, не имевшее ни начала, ни конца. Ничего не случилось. И все же ты видел кусок жизни. Ты запомнил его. Этот кусок жизни — словно картина в твоей памяти. Окно — рамка картины.

Он, видимо, заинтересовался, и я знал, что в то время, как я говорил, он представил себе окно и, заглянув, видел человека, пишущего письмо.

— Есть одна картина, которую ты нарисовал. Я ее понимаю, — сказал он. — Это правдивая картина. В ней много смысла. Она в твоем домике в Доусоне. Это стол игры в «фараон». За столом люди играют. Игра идет большая. Играют без ограничения ставки.

— Почему ты знаешь, что играют без ограничения? — спросил я с интересом. Я был рад услышать беспристрастное суждение о моей работе такого человека, который знал только жизнь, а не искусство и был исключительно художником действительности. К тому же я очень гордился этой картиной. Я назвал ее «Последняя ставка» и считал, что это одно из лучших моих произведений.

— На столе нет золота, — пояснил Ситка Чарли. — Люди играют на марки. Это значит, что нет ограничений. Один человек играет желтыми марками. Может быть, одна желтая фишка стоит тысячу долларов, а может быть, и две. Другой играет красными. Может быть, каждая из этих — пять тысяч долларов, а может быть — тысяча. Это очень большая игра. Все ставят очень высоко.

Почему я это знаю? Ты нарисовал банкомета с румянцем на лице (я был в восторге). Ты нарисовал понтера[82] наклоненным к столу. Почему он наклонился вперед? Почему его лицо так напряженно? Почему его глаза так блестят? Почему банкомету жарко — у него на лице румянец? Почему все так молчаливы — и человек с желтыми марками, и человек с белыми марками, и человек с красными? Почему никто не разговаривает? Потому что игра на большие деньги. Потому что это — последняя ставка.

— Но почему ты думаешь, что это последняя ставка? — спросил я.

— Король вышел, семерка открыта, — отвечал он. — Никто не ставит на другие карты. Все другие карты ушли. Все думают об одном. Все теряют с королем, выигрывают с семеркой. Может быть, банк потеряет двадцать тысяч; может быть, выиграет. Да, я понимаю эту картину.

— И, однако, ты не знаешь окончания! — воскликнул я, торжествуя. — Это последняя ставка, но не все карты открыты. И на картине они никогда не будут открыты. Никто не узнает никогда, кто выиграет и кто проиграет.

---

[82] Сноски: 82

Понтер — в азартной игре — ставящий на карту известную сумму против банкомета.

— И люди будут сидеть там и молчать, — сказал он с каким-то страхом. — И понтер будет наклоняться вперед, и румянец будет на лице у банкомета. Это странная вещь! Всегда будут они там сидеть, всегда! И карты никогда не будут открыты.

— Это картина, — сказал я. — Это жизнь. Ты сам видел нечто подобное.

Он посмотрел на меня в раздумье и затем очень медленно протянул:

— Да, ты говоришь — здесь нет конца. Никто никогда не узнает конца. И, однако, это правда. Я видел это. Это жизнь.

Долгое время он молча курил, обдумывал смысл и значение картин у белых людей, и, проверяя их на жизненных фактах, он несколько раз кивал головой и несколько раз кряхтел. Затем высыпал пепел из трубки, заботливо наполнил ее и после некоторого раздумья снова зажег.

— Я тоже видел в жизни много картин, — начал он, — не нарисованные картины, а виденные глазами. Я смотрел на них так же, как через окно на человека, пишущего письмо. Я видел много обрывков жизни, и все эти обрывки были без начала, без конца, без смысла.

Внезапно изменив свое положение, он уста-

вился прямо на меня и стал внимательно разглядывать.

— Скажи, — сказал он, — ты художник. Как нарисовал бы ты то, что я видел, картину без начала и с непонятным для меня концом? Северное сияние служило ей свечой и Аляска — рамкой.

— Это большое полотно, — заметил я.

Но он не обратил на меня внимания. Картина, казалось, была у него перед глазами.

— Много можно дать названий этой картине, — сказал он. — Но я назову ее «Путь Ложных Солнц», так как в ней на небе рядом с настоящим было два ложных солнца. Это было давно, лет семь назад, в конце 1897 года. Тогда я в первый раз увидел эту женщину. У меня была на озере Линдерман очень хорошая лодка из Петерборо. Я приехал с Чилкутского прохода с двумя тысячами писем для Доусона. Тогда я перевозил почту. В это время все устремлялись в Клондайк. Много людей путешествовало на собаках. Многие рубили деревья и строили лодки. Скоро река должна была замерзнуть. Было много снега в воздухе, много снега на земле; на озере был лед, на реке — там, где водовороты, — тоже лед. С каждым днем было все больше и больше снега, больше льда. Через день, или через три дня, или через шесть дней

можно было ожидать, что река станет. Тогда всем придется передвигаться пешком. А Доусон находился в ста милях; прогулка, значит, была большая. Лодка же плывет очень быстро. Поэтому все хотели ехать на лодке. Каждый обращался ко мне, говоря: «Чарли, за двести долларов возьми меня в свою лодку», «Чарли, я дам четыреста долларов». Я же говорил: «Нет!» — все время говорил: «Нет! Я перевожу почту».

Утром достиг озера Линдерман. Я шел всю ночь и очень устал. Я сварил завтрак, поел и затем спал три часа на берегу. Когда я проснулся, было десять часов. Снег падал. Дул ветер, очень сильный ветер. Рядом со мной, на снегу, сидит женщина. Она была белая женщина, молодая, очень красивая — может быть, двадцати лет, может быть, двадцати пяти. Она смотрит на меня. Я смотрю на нее. Она, вероятно, очень устала. Она не танцовщица. Я это хорошо вижу.

Она порядочная женщина и очень устала.

«Вы — Ситка Чарли», — говорит она. Я встаю и свертываю одеяла, чтобы снег в них не попал. «Я еду в Доусон, — говорит она. — Я еду в вашей лодке. Сколько?»

Я не хочу никого брать в свою лодку. Но мне не хочется сказать — нет. Поэтому я говорю:

«Тысяча долларов!» Я говорю это в шутку, чтобы женщина не могла со мной поехать. Это лучше, чем сказать — нет. Она смотрит на меня пристально. Затем спрашивает: «Когда вы едете?» Я говорю ей. Тогда она заявляет, что даст мне тысячу долларов.

Что я могу сказать? Я не хочу брать эту женщину, но я ведь сказал, что она может ехать за тысячу долларов. Я удивлен. Может быть, она тоже шутит? Поэтому я говорю: «Покажите мне тысячу долларов». И тогда эта женщина — эта молодая женщина, совсем одинокая на тропе золотоискателей — вынимает тысячу долларов в зеленых бумажках. Я смотрю на деньги, смотрю на нее. Я говорю: «Нет, моя лодка очень маленькая. В ней нет места для багажа». Она смеется. Она говорит: «Я опытная путешественница. Вот мой багаж!» Она толкает ногой в снег маленький узел. В нем две шубы, зашитые в парусину, и внутри несколько платьев. Я поднимаю поклажу. Она весит, может быть, тридцать пять фунтов. Я очень удивлен. Она берет ее из моих рук и говорит: «Давайте отправляться!» Она несет узел в лодку. Что я могу сказать? Я кладу одеяла в лодку. Мы отправляемся.

Вот так-то я впервые увидел эту женщину. Ве-

тер был попутный. Я поднял маленький парус. Лодка шла очень быстро, летела как птица по большим волнам. Женщина очень боялась. «Для чего вы приехали в Клондайк, если боитесь?» — спрашиваю я. Она смеется резким смехом. Она все еще боится и к тому же очень устала. Я провожу лодку между порогами озера Беннет. Вода очень опасная, и женщина кричит от страха. Мы спускаемся по озеру Беннет. Ветер сильный — совсем буря. Много снега и льда. Но женщина очень устала, она засыпает.

В эту ночь мы разбиваем стоянку у Мыса Ветров. Женщина сидит у огня и ужинает. Я смотрю на нее. Она красива. Она причесывается. У нее много волос коричневого цвета; иногда они делаются золотыми, как огонь костра. Когда она поворачивает голову, они вспыхивают, как пламя. Глаза ее большие и карие; иногда темные, как свеча за занавеской; иногда твердые и блестящие, как расколотый лед, освещаемый солнцем. Когда она смеется, — как бы мне это сказать, — я знаю, что в это время белому человеку, наверное, хочется ее поцеловать. Она никогда не делает черной работы. Ее руки мягки, как руки ребенка. Она вся мягкая, как маленький ребенок. Она не худая — она круглая, как ребенок; ее руки, ноги,

мускулы круглы и мягки, как у ребенка. Ее талия тонкая, и когда она стоит, когда она ходит, — я не знаю, как это выразить, — но на нее приятно смотреть. Я сказал бы, что она построена правильно, как хорошая лодка. Именно так. Когда она двигается — как будто хорошая лодка скользит по спокойной воде или прыгает по сердитым волнам с белыми хлопьями. Приятно на нее смотреть.

Почему она одна в Клондайке — одна, с такими большими деньгами? Я не знаю. На следующий день я спрашиваю ее. Она смеется и говорит: «Ситка Чарли, это не твое дело. Я даю тебе тысячу долларов, чтобы привезти меня в Доусон. Это все, что тебя касается». День спустя я спрашиваю, как ее зовут. Она смеется и говорит: «Мое имя — Мэри Джонс». Я не знаю ее имени, но я знаю хорошо, что ее имя не Мэри Джонс.

Очень холодно в лодке, и она плохо себя чувствует из-за холода. Иногда ей хорошо, и она поет. Ее голос — как серебряный колокольчик, и я чувствую себя добрым, совсем таким, как тогда, когда иду в церковь в Миссии Святого Креста. Когда она поет, я чувствую себя сильным и гребу как дьявол. Затем она смеется и спрашивает: «Чарли, думаешь ли ты, что мы доедем до Доусо-

на раньше, чем вода станет?» Иногда она сидит в лодке и думает о чем-то далеком, и ее глаза становятся пустыми. Она не видит ни Ситки Чарли, ни льда, ни снега. Она — далеко. Она очень часто так задумывается. Иногда, когда она так думает, ее лицо делается нехорошим. Оно похоже на сердитое лицо, на лицо человека, когда он хочет убить другого.

Последний день до Доусона был очень труден. Уже появился лед с берега на реке. Я не мог грести. Лодка примерзла ко льду. Нельзя было выйти на берег. Было очень опасно. Мы все время шли вниз по Юкону среди льдов. Ночью был большой шум ото льда. Затем лед остановился, лодка остановилась, все остановилось. «Сойдем на берег», — говорит женщина. Но я говорю: «Лучше подождать». Скоро все опять понеслось вниз по течению. Много снега. Я не вижу. В одиннадцать часов ночи опять все стало. В час ночи снова все понеслось. В три часа снова все стало. Лодку выбрасывает, словно скорлупу; но под ней лед, и она не тонет. Я слышу вой собак. Мы ждем. Мы спим. Мало-помалу наступает утро. Нет больше снега. Все стало; но мы в Доусоне. Лодка остановилась как раз в Доусоне. Ситка Чарли приехал с двумя тысячами писем; больше никто приехать не мог.

Река стала.

Женщина наняла хижину на горе, и целую неделю я ее не видал. Затем однажды она приходит ко мне. «Чарли, — говорит она, — хочешь для меня поработать? Ты будешь вести собак, устраивать стоянки, ездить со мной». Я отвечаю, что зарабатываю довольно, перевозя письма. Она говорит: «Чарли, я дам тебе больше денег». Я объясняю ей, что на приисках чернорабочий получает пятнадцать долларов в день. Она говорит: «Это четыреста пятьдесят в месяц». А я говорю: «Ситка Чарли — не чернорабочий». Тогда она говорит: «Я понимаю, Чарли. Я дам тебе семьсот пятьдесят долларов в месяц». Это хорошая цена, и я соглашаюсь для нее работать. Я покупаю для нее собак и сани. Мы едем вверх по Клондайку, по Бонанзе и Эльдорадо; переходим к Индейской реке, к Серной Бухте, к Доминиону; возвращаемся к Золотому Дну и к Золотому Изобилию и затем назад, в Доусон. Все время она что-то ищет; а я не знаю что. «Что вы ищете? — спрашиваю я. Она смеется. — Вы ищете золото?» — спрашиваю я. Она смеется и говорит: «Это не твое дело, Чарли!» После этого я никогда больше не спрашиваю.

Она носит у пояса маленький револьвер. Иногда в пути она учится стрелять. Я смеюсь.

«Почему вы смеетесь, Чарли?» — спрашивает она. «Для чего вы играете с этим, — говорю я, — ведь это детская игрушка?» Когда мы возвращаемся в Доусон, она просит меня купить ей хороший револьвер. Я покупаю «кольт-44». Он очень тяжелый, но она все время носит его у пояса.

В Доусоне появляется мужчина. Откуда он пришел, я не знаю. Только я знаю, что он — чеча-квас, то, что мы называем «неженка». Его руки мягки так же, как ее. Он никогда не выполняет тяжелой работы. Он весь мягкий. Сперва думаю — это ее муж. Но он слишком молод. И на ночь они ставят две кровати. Ему, быть может, двадцать лет. У него глаза голубые, светлые волосы и маленькие белокурые усы. Его зовут Джон Джонс. Может быть, он ее брат. Я не знаю. Я больше не спрашиваю, только мне кажется, что его имя не Джон Джонс. Некоторые люди называют его мистер Джирвэн. Я не думаю, чтобы это было его имя. Я не думаю, что ее имя мисс Джирвэн, как называют ее некоторые. Я думаю — никто не знает их имен.

Раз, ночью, я сплю в Доусоне. Он будит меня. Он говорит: «Приготовьте собак. Мы отправляемся». Я не спрашиваю ни о чем, впрягаю собак, и мы едем. Мы едем вниз по Юкону. Ноябрьская ночь.

Очень холодно — шестьдесят пять градусов ниже нуля. Они — неженки. Мороз кусает. Они устают. Они тихо плачут.

Я предлагаю остановиться и устроить ночлег. Но они говорят, что поедут дальше. И после этого я три раза советую разбить лагерь и отдохнуть, но они каждый раз отвечают, что едут дальше. Тогда я молчу.

И вот изо дня в день повторяется то же самое. Они оба — неженки. Они коченеют, и им делается больно. Они не понимают, как надо носить мокасины, и ноги их очень болят. Они хромают. Они шатаются, как пьяные. Они тихо плачут. И все время они говорят: «Вперед, вперед! Едем дальше!»

Они как будто сошли с ума. Они все время едут дальше и дальше. Почему? Я не знаю. Только они все едут дальше. Что они ищут? Я не знаю. Они здесь не за золотом. Они не больны золотой горячкой. Кроме того, они тратят очень много денег. Но я больше не спрашиваю. Я тоже еду вперед, потому что я силен и привычен к дороге и мне хорошо платят.

Мы доезжаем до Сёркл. Там нет того, что они ищут. Я думаю, теперь, может быть, мы отдохнем и дадим передохнуть собакам. Но мы не оста-

навливаемся ни на один день. «Едем, — говорит женщина мужчине, — едем дальше». И мы едем дальше. Мы оставляем Юкон. Мы переезжаем водораздел налево и поворачиваем в страну Тананау. Там новые прииски. Но того, что мы ищем, там нет, и мы возвращаемся в Сёркл.

Путь очень трудный. Декабрь уже кончается, и дни коротки. Холодно, очень холодно. Раз утром термометр показывает семьдесят ниже нуля. «Лучше сегодня не ехать, — говорю я. — Мороз прихватит края наших легких. Мы будем сильно кашлять и будущей весной можем заболеть воспалением легких». Но они — че-ча-квас'ы. Они не понимают трудностей пути. Они словно мертвые от усталости, но говорят: «Едем дальше». Мы едем дальше. Мороз кусает их легкие, и они начинают сухо кашлять. Они плачут, и слезы сбегают по их щекам. Когда жарится сало, они должны убегать от огня и полчаса кашлять. Они отмораживают себе слегка щеки, кожа их становится черной и очень болезненной. Мужчина отмораживает себе большой палец так, что кончик едва не отваливается; он должен надеть толстые варежки, чтобы отогреть руку. Когда мороз сильно щиплет и пальцу очень холодно, он снимает варежку и кладет руку между ногами, вплотную к телу,

чтобы согреть палец.

Мы насилу добираемся до Сёркл, и даже я, Ситка Чарли, утомлен. Это канун Рождества. Я танцую, пью, веселюсь. Завтра — Рождество, и мы отдохнем. Но не тут-то было. Пять часов утра в день Рождества. Я спал два часа. Мужчина стоит у моей постели. «Едем, Чарли, — говорит он, — запрягай собак. Мы едем!»

Кажется, я говорил, что уже перестал задавать вопросы. Они платят мне семьсот пятьдесят долларов в месяц. Они — мои хозяева. Если они скажут мне: «Идем, Чарли, поедем в ад», я запрягу собак, щелкну бичом и поеду в ад. Итак, я запрягаю собак, и мы отправляемся вниз по Юкону. Куда мы едем? Они не говорят. Они только говорят: «Дальше! Дальше!..»

Они очень устали. Они проехали сотни миль и совершенно не понимают, как на Севере ездят. К тому же их кашель очень усилился. Этот сухой кашель заставляет сильных мужчин ругаться, а слабых — плакать. Но они едут дальше. Они никогда не дают собакам отдохнуть. Всюду они покупают новых собак. В каждом лагере, на каждой почтовой станции, в каждой индейской деревне они отпускают усталых собак и впрягают свежих. У них много денег, и они тратят их без

конца. Они сумасшедшие? Иногда я так думаю, ибо в них сидит дьявол, который гонит их вперед. Что они стараются найти? Это не золото. Они никогда не копаются в земле. Я долго думаю. И наконец я прихожу к убеждению, что они ищут человека. Но какого человека? Мы его не видим. Они вроде волков, идущих по следу, чтобы убить. Но они странные волки — слабые волки, волчата, не понимающие, как надо идти по следу. Ночью, во сне, они громко плачут, стонут и жалуются на боль и усталость. А днем они, шатаясь, идут по тропе и тихо плачут. Они странные волки.

Мы проезжаем форт Юкон. Мы переезжаем форт Гамильтон. Мы проезжаем Минук. Январь на исходе. Дни очень коротки. В девять часов светает. В три часа темнеет. Очень холодно. И даже я, Ситка Чарли, утомлен. Неужели они будут так ездить без конца? Я не знаю. И всегда я ищу на тропе то, что они стараются найти. Мало людей на тропе. Иногда мы едем целых сто миль и не встречаем следа жилья. Тишина. Ни одного звука. Иногда идет снег, и мы подобны блуждающим призракам. А иногда ясно, и в полдень солнце на мгновение выглядывает из-за южных холмов. Северное сияние вспыхивает на небе. Солнце, окруженное ложными солнцами. Воздух полон

морозной пыли.

Я, Ситка Чарли, — сильный человек. Я вырос на тропе и провел на ней всю мою жизнь. И все же эти волчата меня утомили. Я худ, как голодная кошка. С радостью ложусь я в постель, а утром встаю усталый. И все-таки мы всегда выступаем еще задолго до рассвета, и сумерки застают нас всегда в пути.

Что за волчата! Если я худ, как голодная кошка, то они худы, как кошки, которые никогда не ели и уже подохли. Их глаза глубоко ушли в глазные впадины. Они блестят иногда лихорадочным огнем; а иногда они мутны и туманны, как глаза мертвеца. Их щеки провалились, словно пещеры в скалах. И кожа на щеках почернела и отморожена. Иногда женщина по утрам шепчет: «Я не могу встать; я не могу двинуться. Дай мне умереть!» Мужчина же стоит рядом с ней и говорит: «Едем дальше!» И они едут дальше. А иногда мужчина не может встать, и женщина говорит: «Едем дальше!» И всегда они отправляются дальше. Вперед и вперед.

На некоторых торговых станциях мужчина и женщина получали письма. Я не знаю, что было в этих письмах. Но это был след, по которому они шли, — эти письма. Раз индеец дал им письмо.

Я поговорил с ним незаметно. Он рассказал мне, что получил письмо от человека с одним глазом, который быстро едет вниз по Юкону. Вот и все. Но я узнал, что волчата идут за одноглазым человеком.

Наступил февраль. Мы прошли тысячу миль и приближаемся к Берингову морю. Метель. Путь очень труден. Мы прибываем в Анвиг. Я не видел, но убежден, что они получили письмо в Анвиге, потому что очень возбуждены. Они говорят: «Скорей, скорей… едем дальше!» Я отвечаю, что надо купить провизию. Но они хотят ехать быстро и налегке. Они говорят, что мы найдем провиант в хижине Чарли Мак-Киона. Из этого я узнаю, что они хотят идти широкой боковой тропой, потому что Чарли Мак-Кион живет у Черной Скалы на этой тропе.

Раньше чем отправиться, я говорю две минуты с анвигским священником. Да, мимо проехал человек с одним глазом, и двигается он очень быстро. И я знаю, что они ищут одноглазого человека. Мы выезжаем из Анвига с маленьким запасом провианта, едем быстро и налегке. Мужчина и женщина словно сошли с ума. По утрам мы выступаем еще раньше, а вечером едем еще дольше. Я иногда ожидаю, что эти два волчонка

умрут, но они не умирают. Они едут все дальше и дальше. Когда сухой кашель начинает их душить, они прижимают руки к животу и, сидя в снегу, кашляют, кашляют, кашляют. Они не могут ходить, не могут говорить. Десять минут, а не то так и целых полчаса, они кашляют, затем выпрямляются, с замерзшими от кашля слезами на лицах, и говорят все те же слова: «Едем дальше!»

Даже я, Ситка Чарли, сильно устал и думаю, что семьсот пятьдесят долларов — очень дешевая плата за такую работу. Мы сворачиваем на боковую тропу; эта тропа не убита. Волчата держат нос по следу и говорят: «Спешим! — все время они говорят: — Спешим! Скорее, скорее!» Собакам тяжело. У нас мало еды; мы не можем их хорошо кормить, и они слабеют. Несмотря на это, они должны везти без передышки. Женщина их жалеет, и часто из-за них слезы навертываются у нее на глазах. Но дьявол сидит в ней и не позволяет ей остановиться и дать отдохнуть собакам.

Скоро мы настигаем человека с одним глазом. Он лежит со сломанной ногой на снегу около тропы. Из-за ноги он не мог разбить настоящей стоянки и три дня лежал на снегу, поддерживая огонь. Когда мы находим его, он ругается. Ругается как черт. Никогда не слышал я такой ругани.

Я рад. Теперь, думаю я, они нашли то, что искали, и мы отдохнем. Но женщина опять говорит: «Едем! Скорее!»

Я удивлен. Но одноглазый человек говорит: «Не обращайте на меня внимания. Дайте мне вашу провизию. Вы найдете завтра провизию в хижине Мак-Киона. Пошлите Мак-Киона за мной. Но поезжайте дальше». Вот еще один волк — старый волк, — и он тоже думает только об одном — ехать дальше, все дальше. И мы даем ему нашу провизию, которой остается у нас немного, рубим дрова для костра, берем самых сильных собак и едем. Мы оставляем одноглазого человека лежать, и он умер там на снегу, так как Мак-Кион за ним не пришел. Я не знаю, кто был этот человек и почему он там очутился. Но я думаю, что мужчина и женщина ему, как и мне, хорошо заплатили, чтобы он для них работал.

В этот день и ночь у нас не было никакой пищи. Весь следующий день мы ехали очень быстро и ослабели от голода. Скоро мы подошли к Черной Скале, которая возвышается на пятьсот футов над тропой. День кончался. Уже сгущалась темнота, и мы не могли найти хижину Мак-Киона. Мы спали голодные и утром приступили к поискам хижины. Ее там не было, и это было очень

странно, так как все знали, что Мак-Кион живет в хижине у Черной Скалы. Мы были недалеко от морского берега, где ветер дует очень сильно и падает много снега. Всюду были снежные холмы — снег был нанесен ветром. У меня возникла одна мысль, и я стал разрывать эти холмы. Скоро я нашел стены хижины и открыл дверь. Я вошел и увидел, что Мак-Кион мертв. Быть может, он умер две или три недели тому назад. Он заболел и не мог оставить хижину. Ветер завалил ее снегом. Чарли съел весь свой провиант и умер. Я искал в его кладовой и еды не нашел.

«Едем дальше!» — воскликнула женщина. Глаза у нее были голодные, и рукой она держалась за сердце, как будто внутри у нее что-то болело. Стоя там, она качалась взад и вперед, как дерево на ветру. «Да, едем дальше», — сказал мужчина. Его голос звучал глухо, как карканье старого ворона, и он, казалось, сошел с ума от голода. Его глаза были как огненные угли, и тело его раскачивалось из стороны в сторону. Казалось, что и душа его тоже мечется. Я тоже сказал: «Едем дальше». Ибо эти слова, которые хлестали меня тысячу миль, въелись наконец мне в душу. И я думаю, что я также сошел с ума. К тому же нам оставалось только продвигаться дальше, так как у нас не

было пищи. И мы отправились, не задумываясь о судьбе человека с одним глазом.

По этой боковой тропе мало ездят. Иногда в течение двух или трех месяцев никто не пройдет по ней. Вся тропа была завалена снегом, и казалось, что этой дорогой никогда не шли. Целый день ветер дул и снег падал, и целый день мы ехали, пока наши желудки не стали ныть от голода и мы совсем не ослабели. Наконец женщина начала спотыкаться и падать. Затем и мужчина. Я не падал, но мои ноги отяжелели, и я много раз спотыкался.

Это была последняя ночь февраля. Я убил трех белых птармиганов из револьвера женщины, и мы снова несколько окрепли. Но собаки не были накормлены. Они пытались съесть свою упряжь из оленьей и моржовой кожи, и я должен был отогнать их палкой и повесить упряжь на дерево. Всю ночь они выли и дрались вокруг дерева. Но мы не обращали на это внимания. Мы спали как убитые, а утром встали — как мертвые встают из могилы — и пошли по тропе.

В это первое мартовское утро я увидел наконец признаки того, за чем охотились волчата. Была ясная и холодная погода. Солнце дольше оставалось на небе; а ложные солнца сияли по обеим

его сторонам. Воздух блестел морозной пылью. Снег перестал падать на тропу, и я увидел свежие следы собак и саней. В санях едет, по-видимому, один человек, и видно, что он слаб. Он тоже не имел достаточно пищи. И волчата замечают свежий след. Они очень возбуждены. «Спешим! — говорят они и все повторяют: — Спешим! Скорее! Чарли, скорее!»

Но спешить мы не можем. Мужчина и женщина все время спотыкаются и падают. Когда они пытаются ехать на санях, собаки тоже падают — они слишком слабы. К тому же так холодно, что если волчата сядут на сани, то непременно замерзнут. Очень легко замерзнуть голодному человеку. Когда женщина падает, мужчина помогает ей встать. А иногда женщина подымает мужчину. Но скоро, падая, они оба не могут встать, и я должен помогать им. Иначе они не встанут и умрут на снегу. Это трудная работа, и я очень устаю. Они совсем выбились из сил и очень тяжелы. К тому же я должен управлять собаками. Наконец я тоже валюсь в снег, и некому помочь мне встать. Но я встаю сам, помогаю им и понукаю собак двинуться вперед.

В эту ночь я застрелил только одного птармигана, и мы очень голодны. И в эту же ночь

мужчина говорит мне: «В котором часу мы завтра отправляемся, Чарли?» Его голос звучит как голос привидения. Я отвечаю: «Мы все равно отправляемся в пять часов. — Смеюсь и говорю с горечью: — Ведь вы — уже мертвый человек». Но он шепчет: «Завтра мы отправляемся в три часа».

И мы в самом деле пускаемся в путь в три часа, так как я их слуга и исполняю их приказания. Ясно и холодно, нет ветра. Когда светает, мы видим далеко вперед. Очень тихо. Мы ничего не слышим, кроме биения наших сердец. В этой тишине их хорошо слышно. Мы словно лунатики, бродящие во сне. Мы блуждаем во сне, пока не падаем. Тогда мы знаем, что должны встать, и снова видим тропу и слышим стук своего сердца. Иногда, идя вот так, я вижу странные сны, мне приходят на ум странные мысли. Зачем живет Ситка Чарли, спрашиваю я себя. Зачем Ситка Чарли так работает, голодает, мучится? Потому что получает семьсот пятьдесят долларов в месяц — ведь это глупый ответ. И однако — это ответ. Потом я никогда в своей жизни не обращал внимания на деньги. Потому что с этого дня в меня вошла большая мудрость. Словно яркий свет осенил меня, и я ясно увидел, что человек

живет не ради денег, но ради счастья, которое не может быть ни подарено, ни куплено, ни продано и стоит дороже золота всего мира.

Утром мы приходим к месту ночной стоянки человека, который едет впереди нас. Вид брошенной стоянки говорит о том, что человек страдает от голода и слабости. На снегу разбросаны куски одеял и парусины, и я понимаю, что произошло. Его собаки съели свою упряжь, и он сделал новую упряжь из своих одеял. Мужчина и женщина смотрят пристально на эти следы, и я чувствую, глядя на них, что мороз пробирает меня по коже. Их глаза горят нездоровым блеском от утомления и голода. Их лица похожи на лица людей, умерших от голода, а их отмороженные щеки чернеют. «Идем вперед», — говорит мужчина. Но женщина кашляет и падает на снег. Это сухой кашель от мороза, захватившего легкие. Она кашляет долго. Затем, словно выползая из могилы, она с трудом встает на ноги. Слезы замерзли на ее щеках, и она дышит тяжело, со свистом, но говорит: «Идем вперед!»

Мы отправляемся дальше. Мы идем как во сне, в этой тишине, и не испытываем страданий. Падая, мы как будто пробуждаемся и видим снег, и горы, и свежий след человека, едущего впе-

реди. И тогда мы снова начинаем страдать. Мы приходим к месту, где перед нами расстилается широкое открытое пространство, и на снегу, впереди, мы видим того, кого ищем. На расстоянии мили от нас по снегу двигаются черные точки. Мои глаза мутны, и я собираюсь с силами, чтобы рассмотреть. Я вижу одного человека с собаками и санями. Волчата также видят. Они уже не могут говорить и только шепчут: «Вперед, вперед, скорее!»

Они падают, но встают и идут дальше. У человека, едущего впереди, часто рвется упряжь из одеял, и он вынужден останавливаться и чинить ее. Наша упряжь в порядке, так как я вешал ее на деревья каждую ночь. В одиннадцать часов человек находится за четверть мили от нас. Он очень слаб. Мы видим, что он часто падает в снег. Одна из его собак не может идти дальше. Он перерезает упряжь, чтобы освободить ее. Но он не убивает собаки. Когда мы проходим мимо лежащей собаки, я убиваю ее топором; убиваю я также и одну из своих собак, упавшую и не могущую дальше идти.

Теперь нас разделяют триста ярдов. Мы двигаемся очень медленно. Может быть, со скоростью одной мили в два или три часа. Мы не идем. Мы

все время валимся с ног. Мы встаем и делаем, шатаясь, два или три шага и затем снова падаем. Все время я должен помогать мужчине и женщине. Иногда они поднимаются на колени и падают лицом вниз, несколько раз, раньше чем могут встать на ноги, сделать еще несколько шагов и снова упасть. Но, стоя на ногах или на коленях, они всегда валятся вперед и таким образом продвигаются по следу дальше на длину их собственного тела.

Иногда они ползут на руках и ногах, как звери. Мы подвигаемся со скоростью улиток, со скоростью умирающих улиток. И все же мы идем быстрее, чем человек, который впереди нас. Он тоже все время падает, и у него нет Ситки Чарли, чтобы помочь ему встать. Теперь он всего в двухстах ярдах от нас. Наконец между нами только сто ярдов.

Это забавное зрелище. Мне хочется громко смеяться, так это забавно. Это — шествие смерти. Гонки мертвых людей и мертвых собак. Это похоже на ночной кошмар, когда стараешься бежать изо всех сил, спасая жизнь, а передвигаешься очень медленно. Мой спутник сошел с ума. Моя спутница сошла с ума. Я сошел с ума. Весь мир сошел с ума, и мне хочется смеяться, так это

забавно.

Незнакомец оставляет своих собак и идет один по снегу. Спустя немного мы подходим к его собакам. Они впряжены в сани и в упряжи из одеял лежат, бессильные, на снегу. Когда мы проходим мимо, они скулят, как голодные дети.

Тогда мы тоже оставляем собак и идем одни по снегу. Мужчина и женщина почти мертвы. Они стонут и плачут, но идут вперед. Я тоже иду вперед. У меня только одна мысль — настигнуть незнакомца. Тогда — и только тогда — я смогу отдохнуть, и мне кажется, что я лягу и засну и буду спать тысячу лет — так я устал.

Незнакомец в пятидесяти ярдах — один на белом снегу. Он падает и ползет, встает, шатается и снова падает и ползет. Он похож на тяжело раненного зверя, пытающегося убежать от охотника. Теперь он ползет на руках и на коленях. Он больше не встает. Но мужчина и женщина также уже не могут встать. Они тоже ползут за ним на руках и коленях. Но я встаю. Иногда я падаю, но всегда снова поднимаюсь на ноги.

Это странная картина. Тишина и снег, и по снегу ползут мужчина и женщина, а впереди незнакомец. Около солнца, по одному с каждой стороны, — ложные солнца. На небе, таким об-

разом, три солнца. Морозная пыль похожа на алмазную, и воздух наполнен ею. Женщина кашляет и лежит на снегу, пока припадок проходит. Мужчина смотрит прямо перед собой и должен тереть свои помутневшие глаза, чтобы увидеть незнакомца. Незнакомец смотрит назад через плечо. А Ситка Чарли то стоит на ногах, то падает и снова встает.

Но вот через большой промежуток времени видно, что незнакомец перестал ползти. Он медленно становится на ноги, качаясь взад и вперед. Он снимает одну перчатку и ждет с револьвером в руке, сильно раскачиваясь. Лицо его — только кожа и кости и почернело от мороза. Это лицо голодающего. Глаза глубоко впали, а губы приоткрылись — он что-то злобно рычит. Мужчина и женщина также встают на ноги и медленно подвигаются к нему. Вокруг снег и тишина. На небе три солнца, и морозный воздух сверкает алмазной пылью.

Тут увидел я, как волчата настигли свою добычу.

Никто не говорит ни слова. Только незнакомец издает злобное рычание. Он качается взад и вперед, со сгорбленными плечами и согнутыми коленями, широко расставив ноги, чтобы не

упасть. Мужчина и женщина останавливаются в пятидесяти шагах от него. Они тоже качаются, и ноги их широко расставлены, чтобы не упасть. Незнакомец очень слаб. Его рука трясется в то время, как он стреляет в мужчину. Пуля попадает в снег. Мужчина не может снять варежку. Незнакомец снова в него стреляет. Мимо. Тогда мужчина зубами стаскивает варежку. Но его рука замерзла, и он не может держать револьвер, который падает в снег. Я смотрю на женщину. Она сняла варежку. В ее руке большой «кольт». Она стреляет три раза — раз за разом. Незнакомец все еще издает какие-то звуки, падая лицом вниз — в снег.

Они не смотрят на убитого. «Идем дальше», — говорят они. И мы идем вперед. Но теперь, когда они нашли то, что искали, они — как мертвые. Последние силы их оставили. Они больше не могут стоять на ногах. Они не хотят и ползти, они хотят спать. Вблизи я вижу место, пригодное для стоянки. Я ударяю их ногою. Я беру собачий бич и бью их. Они громко кричат, но вынуждены ползти. Так доползают они до лагерного места. Я развожу костер, чтобы они не замерзли. Затем возвращаюсь к саням. Я убиваю собак незнакомца, чтобы было что есть. Я заворачиваю мужчину

и женщину в одеяла, и они спят. Иногда я бужу их и даю им немного поесть. Они дремлют, но принимают пищу. Женщина спит тридцать шесть часов. Затем просыпается и снова засыпает. Мужчина спит два дня, просыпается и снова засыпает. Потом мы спускаемся вместе к побережью. И когда лед уходит из Берингова моря, мужчина и женщина уезжают на пароходе. Но сперва они платят мне семьсот пятьдесят долларов в месяц. И дают мне еще подарок — тысячу долларов. Это было в том самом году, когда Ситка Чарли дал много денег в Миссию Святого Креста.

— Но почему они убили этого человека? — спросил я.

Ситка Чарли медлил с ответом, пока не зажег своей трубки. Он взглянул на иллюстрацию «Полицейской газеты» и кивком головы указал на нее. Затем сказал медленно и вразумительно:

— Я много об этом думал. Я не знаю. Я знаю только, что это случилось. Я помню эту картину. Как будто мы смотрим в окно и видим человека, пишущего письмо. Они вошли в мою жизнь и ушли из моей жизни. Картина эта, как я сказал, не имеет начала. А конец непонятен.

— Ты нарисовал в этом рассказе много картин, — сказал я.

— Да, — кивнул он головой, — но они были без начала и без конца.

— Последняя картина имела конец.

— Да, — ответил он, — но какой конец?

— Это был кусок жизни.

— Да, — согласился он, — это был кусок жизни.

Трус Негор

Одиннадцать дней он шел по следу своего племени. Все племя — мужчины, женщины и дети — убегало от преследования. Спасался бегством и он сам. Он знал, что за ним идут эти ужасные русские. Через болота и крутые овраги двигались они вперед, и целью их было полное уничтожение всего его народа. Он шел налегке. Вся его поклажа состояла из заячьей шубы, ружья центрального боя и нескольких фунтов сушеного лосося. Несмотря на это, он с трудом нагонял свое племя. И это не удивляло его, так как он знал, что страх, внушаемый русскими, способен гнать вперед с неимоверной быстротой целый народ.

Было это в прежние времена, в половине XIX века, когда русские владели Аляской. Наконец летней ночью Негор настиг беглецов у истока Пилата. В полночь было светло, как днем, он проходил через усталый лагерь. Многие видели его, все знали, но почти никто его не приветствовал.

— Трус Негор, — услышал он слова Иллихи, молодой женщины. Она засмеялась, и вместе с нею смеялась Сон-ни, дочь его сестры.

Прилив гнева охватил его. Но он не подал виду.

Он пробирался между лагерными кострами, пока не дошел до огня, возле которого сидел старик. Молодая женщина умело массировала утомленные мускулы его ног.

Старик поднял свое слепое лицо и внимательно прислушался к шагам Негора, ступающего по сухим веткам.

— Кто идет? — заскрипел его старческий голос.

— Негор, — ответила молодая женщина, не отрываясь от работы.

Лицо Негора было бесстрастно. В течение нескольких минут он стоял и ждал. Старик склонил голову на грудь. Молодая женщина, стоя на коленях, с головой, спрятанной в облаке густых черных волос, продолжала массировать его усталые мускулы. Негор смотрел на ее стройное тело, сгибающееся у талии подобно телу рыси. Она была похожа на тонкий ствол березы, но вместе с тем в ней чувствовалась вся сила молодости. Он смотрел и весь был охвачен глубокой тоской по ней, почти подобной физическому голоду. Наконец он спросил:

— Разве нет приветливого слова для Негора, который так долго отсутствовал и теперь только вернулся?

Она посмотрела на него холодно. Старик на-

смешливо засмеялся.

— Ты моя жена, Уна, — сказал Негор твердо и с тенью угрозы.

Она встала внезапно и мягко, по-кошачьи, выпрямилась. Ее глаза сверкали, ее ноздри трепетали, как у оленя.

— Я должна была быть твоей женой, Негор. Но ты — трус. Дочь Старого Кинуза не может быть женой труса.

Он пытался говорить, но она заставила его замолчать властным жестом.

— Старый Кинуз и я пришли к вам из далекой страны. Ваше племя приняло нас к своим кострам и согрело, не спрашивая, откуда мы и почему странствуем. Они думали, что Старый Кинуз потерял зрение от старости. И ни Старый Кинуз, ни я этого не опровергали. Старый Кинуз был храбрый человек, но он не хвастун. Теперь, когда ты узнаешь, как он ослеп, ты поймешь, что дочь Кинуза не может быть матерью детей такого труса, как ты, Негор.

Она снова не дала ему заговорить.

— Знай, Негор, если сложить все твои переходы в здешней стране, и то ты не дошел бы до Ситки на Великом Соленом озере. Там много русских людей, и закон их суров. Из этой Ситки бежал

Старый Кинуз, который в те дни был молодым Кинузом. Он бежал со мной — маленьким ребенком на руках, вдоль островов, находящихся посреди моря. Моя убитая мать могла бы рассказать о его обиде. Убитый русский, с копьем, пронзившим ему грудь и спину, мог бы рассказать об исполненной мести Кинуза.

— Но всюду, куда мы бежали и как бы далеко мы ни уходили, везде мы находили ненавистных русских. Кинуз не боялся их, но видеть их не мог. Поэтому мы бежали все дальше и дальше, через озера и реки, пока не пришли к Великому Туманному морю, о котором ты слышал, но которого ты никогда не видел. Мы жили среди разных племен, и я выросла и стала женщиной. Но Кинуз, сделавшись стар, не взял себе другой женщины, и я не взяла себе мужа. Наконец мы пришли в Пэстилик, туда, где Юкон вливается в Великое Туманное море. Здесь мы долго жили на краю моря среди народа, ненавидевшего русских. Но иногда они приходили, эти русские, на больших кораблях и заставляли жителей Пэстилика показывать им дорогу между бесчисленными островами у устья Юкона. И иногда люди, которых они брали с собою, чтобы показать им дорогу, не возвращались. Наконец, народ этот не мог выносить дольше и

задумал великое дело.

— И когда пришел корабль, Старый Кинуз выступил и сказал, что покажет русским путь. Он был тогда уже стариком, и волосы его были седы. Но он был бесстрашен. И он был хитер, ибо повел корабль туда, где море стремится к берегу и где волны бьют белой пеной о гору, называемую Романовой. Море унесло корабль туда, где волны бьют о берег; он был выброшен на берег и разбился о скалы. Тогда пришли люди из Пэстилика (ибо в этом заключался их замысел) с копьями, стрелами и немногими ружьями. Но перед этим русские выкололи глаза Старому Кинузу, чтобы он никогда больше не мог указывать дорогу. И затем началось сражение там, где волны бьют о берег, с людьми из Пэстилика.

— Во главе этих русских был Иван. Он сам, своими двумя большими пальцами, выдавил глаза Старого Кинуза. Затем с двумя людьми, оставшимися из всего его отряда, Старый Кинуз пробился сквозь ряды противника, прошел через бурные воды и ушел вдоль берега Великого Туманного моря к северу. Он бежал от моря вверх по великому неведомому Юкону до Нулато. И я бежала с ним. Так поступил старик, мой отец. Но что сделал юноша Негор?

Снова она жестом заставила его молчать.

— Моими собственными глазами я видела в Нулато, перед воротами большой крепости, всего несколько дней назад, я видела, как тот самый русский Иван, который ослепил моего отца, ударил тебя собачьим кнутом и избил, как собаку. Я видела это и узнала, что ты трус. Но я тебя не видела в ту ночь, когда все твое племя — да, даже мальчики, не способные к охоте, — напало на русских и всех их перебило.

— Только не Ивана, — сказал спокойно Негор. — И сейчас он гонится за нами, и с ним много русских из-за моря.

Уна не пыталась скрыть своего удивления и сожаления, что Иван не убит. Но она продолжала:

— Днем я увидела, что ты трус; ночью, когда все мужчины и даже мальчики сражались, я тебя не видела и вторично убедилась в том, что ты трус.

— Ты кончила? Все сказала? — спросил Негор.

Она кивнула головой и посмотрела на него — как это он может что-нибудь вообще сказать.

— Знай же, что Негор — не трус, — так начал он спокойно и небрежно. — Знай, что когда я был еще мальчиком, я ходил один к месту, где Юкон вливается в Великое Туманное море. Я доходил до Пэстилика и даже дальше, вдоль края

моря. Я сделал это, когда я был мальчиком, и это показывает, что я не был трусом. И я не был также трусом, когда ходил молодым, совсем один, вдоль Юкона, дальше, чем кто-либо когда-нибудь заходил, — так далеко, что я пришел к другому народу, с белыми лицами, но говорящему на другом, чем русские, языке. Я убил также большого, очень большого медведя в стране Тананау, куда не заходил никто из моего народа. И я сражался с нуклукиетами, и калтагами, и с таксами в далеких местностях, — и все один. Об этих делах, о которых ни один человек не знает, я сам рассказываю. Пусть мои соплеменники расскажут о том, что я сделал и что им известно. Они не скажут, что Негор — трус.

Он с гордостью кончил и ждал ответа.

— Это случилось до моего прихода в эту страну, — сказала она, — и я ничего об этих делах не знаю. Я знаю только то, что видела, а я видела, как тебя избивали. Ночью же, когда великая крепость горела и люди убивали и сами умирали, я тебя не видела среди них. И люди твои теперь называют тебя — Негор-трус. Это теперь твое имя — Негор-трус.

— Это нехорошее имя, — проскрипел старик.

— Ты не понимаешь, Кинуз, — Негор говорил

незлобиво, — но я объясню тебе. Знай же, что я был на охоте за медведем с Камо-Та, сыном моей матери. И Камо-Та боролся с большим медведем. Мы не имели мяса в течение трех дней, и Камо-Та был недостаточно силен и ловок. Большой медведь сдавил его так, что кости его хрустели, как сухие палки. Я нашел его, больного и стонущего, на земле. И не было мяса, и я не мог ничего убить, что он мог бы есть.

Тогда я сказал: «Я пойду в Нулато и принесу тебе пищу, а также приведу сильных людей, чтобы отнести тебя в стоянку». Но Камо-Та сказал: «Иди в Нулато и принеси пищу, но не говори ни слова о том, что со мной случилось. Тогда я вернусь с честью в Нулато, и никто не будет смеяться и не скажет, что Камо-Та был побежден медведем». Я послушался моего брата, и, когда вернулся и русский, по имени Иван, ударил меня кнутом, я знал, что не могу сопротивляться. Ибо никто не знал про Камо-Та, больного, стонущего и голодного. Если бы я дрался с Иваном и умер бы, мой брат также бы умер. Поэтому-то, Ина, ты и видела, что меня били, как собаку. В это время я слышал разговор шаманов и вождей о том, что русские разнесли среди наших людей неведомую болезнь, что они убили многих из нас и похитили на-

ших женщин. Говорили, что земля должна быть очищена от этих пришельцев. Я слышал этот разговор и знал, что это добрые речи и что в эту ночь русские должны быть убиты. Но мой брат Камо-Та был болен и не имел пищи. И поэтому я не мог остаться и сражаться вместе с мужчинами и мальчиками, не способными еще к охоте.

Я унес с собой мясо и рыбу и следы от ударов Ивана. Но я нашел, что Камо-Та уже не стонет — он умер. Тогда я вернулся в Нулато, но не было уже Нулато — только пепел чернел и валялись трупы многих людей в том месте, где стояла великая крепость. И я видел, как русские поднимались вверх по Юкону в лодках. Было много русских, пришедших с моря. И я видел, как Иван выполз из того места, где прятался, и вел с ними разговор. И на следующий день я видел, что Иван ведет их по следу нашего племени. И сейчас они идут по этому следу. Я же здесь, я, Негор. И я — не трус.

— Я слышу этот рассказ, — сказала Уна, и голос ее звучал мягче, чем прежде. — Но Камо-Та умер и не может сказать за тебя слова. И я знаю только то, что я видела. Я должна собственными глазами увидеть, что ты не трус.

Негор сделал нетерпеливое движение.

— По-разному можно это сделать, — продол-

жала она. — Хочешь сделать не менее того, что сделал Старый Кинуз?

Он кивнул головой и ждал.

— Ты сказал, что эти русские и сейчас нас ищут. Негор, покажи им путь так же, как когда-то Старый Кинуз. Пусть придут они, ничего не подозревая, к тому же месту, где мы их будем ждать, — к проходу между скалами. Ты знаешь место, где скалистая стена высока и изломана. Там мы их уничтожим, во главе с Иваном. Когда они будут, подобно мухам, цепляться за скалы, наши люди нападут на них с обеих сторон с копьями, стрелами и ружьями. Сверху женщины и дети будут скатывать на них обломки скал. Это будет великий день. Русские погибнут, и страна наша будет очищена. Иван же, тот самый Иван, который ослепил моего отца и избил тебя плетью для собак, будет также убит. Он умрет, как бешеная собака, раздавленный скалами. А когда начнется сражение, ты, Негор, должен тайком уползти, так, чтобы тебя не убили.

— Хорошо, — ответил он. — Негор покажет им дорогу. А потом?

— Тогда я буду твоей женой, Негор, — женой храброго человека. Ты будешь охотиться для меня и Старого Кинуза, и я буду готовить тебе

пищу и шить тебе теплое, крепкое платье и сделаю тебе обувь по образцу моего народа — она будет лучше, чем та, которую у вас носят. И я буду с этого дня всегда твоей женой. Я сделаю твою жизнь радостной, так что все твои дни будут полны песнями и смехом, и ты узнаешь, что Уна не похожа на других женщин. Она путешествовала в далеких странах и видела неведомые места, и она стала мудрой — мудрой, как мужчина, такой мудрой, что умеет доставлять им радость. И в старости твоей она будет давать тебе радость. И твои воспоминания о ней, о том, какой была она в дни твоей молодости, будут сладки. Ибо ты будешь знать всегда, что она была для тебя облегчением, миром, отдыхом и была лучшей для тебя женой, чем другие женщины для других мужчин.

— Пусть будет так, — сказал Негор, и страсть по ней съедала его сердце, и объятия его раскрывались для нее — как руки голодного человека тянутся за пищей.

— Только тогда, когда покажешь им дорогу, Негор… — остановила она его. Но глаза ее были нежны и влажны, и он знал, что она смотрит на него так, как никогда еще женщина на него не смотрела.

— Хорошо, — сказал он и повернулся решитель-

но. — Я пойду сейчас переговорить с вождями. Пусть они знают, что я иду показать дорогу русским.

— О, Негор, мой муж! Мой муж! — прошептала она вполголоса, глядя ему вслед. Но она сказала это тихо — даже Старый Кинуз не услышал, несмотря на то, что слух его со времени ослепления стал очень чуток.

Через три дня русские вытащили Негора, как крысу, из ущелья, куда он спрятался. Его привели к Ивану, «Ивану Грозному», как звали его те, кто за ним следовал. Негор был вооружен плохим копьем с костяным наконечником. Он кутался в свой заячий тулуп и дрожал как в лихорадке, несмотря на то, что день был жаркий. Он качал головой, показывая, что не понимает слов Ивана, и делал вид, что очень устал и болен и хочет только отдохнуть. Он указывал на свой желудок, объясняя, где у него болит, и продолжал сильно дрожать. Но с Иваном был человек из Пэстилика, говоривший на языке Негора. Они долго тщетно расспрашивали Негора про его племя, пока, наконец, человек из Пэстилика, по имени Кардук, не сказал:

— Иван приказал, чтобы тебя засекли до смерти, если ты не будешь говорить. И знай, мой

незнакомый брат, что слово Ивана — закон. Я — твой друг, а Иван — враг. Ибо я не добровольно покинул свою страну у моря. Но я хочу жить и поэтому подчиняюсь воле моего повелителя. И ты будешь исполнять его приказания, если ты разумен и хочешь жить.

— Незнакомый брат мой, — ответил Негор, — я в самом деле не знаю, куда ушел мой народ, ибо я был болен, и мои ноги изменили мне, и я отстал от них.

Негор ждал, пока Кардук говорил с Иваном. Затем он увидел, что лицо русского потемнело, и по знаку его двое людей подошли к Негору с двух сторон, щелкая в воздухе тяжелыми плетьми. Тогда он представился сильно испуганным и громко кричал, что он больной человек и ничего не знает, но он скажет то, что знает. И так хорошо он им рассказал, что Иван приказал своим людям двинуться вперед. Рядом же с Негором шли люди с плетьми, чтобы он не мог убежать. И когда он говорил, что ослабел от болезни, и отставал от них, они его секли до тех пор, пока он не кричал от боли и не находил сил идти дальше. Когда же Кардук сказал ему, что все для него изменится к лучшему, как только они догонят его племя, он спросил: «И тогда я смогу отдохнуть и не дви-

гаться?»

Он постоянно повторял этот вопрос: «И тогда мне можно будет отдохнуть и не двигаться?»

В то же время, прикидываясь очень больным и осматриваясь мутными глазами по сторонам, он подсчитывал людей, входивших в отряд. Вместе с тем он убедился, что Иван не узнал в нем человека, которого бил перед воротами крепости. Странное сборище представилось его глазам. Здесь были охотники славянского происхождения с белой кожей и могучими мускулами; короткие, коренастые финны со сплющенными носами и круглыми лицами; уроженцы Сибири, чьи носы были похожи на орлиные клювы; были и худые люди с раскосыми глазами, в жилах которых монгольская и татарская кровь смешивалась со славянской. Это все были полудикие искатели приключений из далеких стран за Беринговым морем. Огнем и мечом они завоевывали новые земли и жадно захватывали их богатства — пушнину и кожу. Негор глядел на них с удовлетворением, мысленно представляя себе, как они лежат раздавленные и безжизненные в скалистом проходе. И всегда рядом с этим он видел лицо и облик Уны, ожидающей его наверху в скалах, и постоянно голос ее звучал в его

ушах, и он чувствовал на себе теплый и нежный блеск ее глаз. Но вместе с тем он не забывал прикидываться больным и спотыкался там, где путь был труден. И по-прежнему кричал под ударами плети. При этом он все время опасался Кардука, так как знал, что ему доверяться нельзя. У него был фальшивый взгляд и слишком болтливый язык, слишком болтливый и гладкий, думал Негор, не похожий на простую, честную речь.

Весь день они шли. На следующий день, когда Кардук, по приказу Ивана, задал вопрос Негору, последний ответил, что вряд ли они встретят племя раньше завтрашнего дня. Но Иван, с тех пор как он доверился указаниям Старого Кинуза и жестоко за это поплатился, ни во что больше не верил. Поэтому, когда они пришли к проходу среди скал, он остановил свои сорок человек и спросил через Кардука: «Свободна ли дорога?» Негор осмотрел ее покорным взглядом. Это был широкий спуск, ведущий вдоль скалы, и весь он был покрыт кустарником и ползучими растениями, где могли хорошо спрятаться десятки племен.

Он покачал головой.

— Там ничего нет, — сказал он, — дорога свободна.

Снова Иван переговорил с Кардуком, и последний сказал:

— Знай, незнакомый брат, что если твои указания неправильны, если твой народ загородит путь или нападет на отряд Ивана, ты тотчас же умрешь.

— Я указываю правильно, — сказал Негор, — дорога свободна.

Но Иван не доверял и приказал двум из своих охотников подняться на вершину скалы. Двое других стали, по его приказу, по обе стороны Негора. Они приставили свои ружья к его груди и остановились, выжидая. Весь отряд ждал. И Негор знал, что если вылетит хоть одна стрела или копье, — он умрет. Два охотника лезли все выше и выше. И когда они дошли до вершины и махнули шапками в знак того, что все в порядке, они казались маленькими черными точками на фоне светлого неба.

Ружья были отведены от груди Негора, и Иван приказал двинуться вперед. Иван молчал, задумавшись. Около часа он шел, как бы что-то обдумывая, и тогда, через Кардука, спросил Негора:

— Как ты знал, что дорога свободна, не осмотрев ее?

Негор подумал о птицах, которых он видел сидящими на скалах и в кустах, и улыбнулся: это было так просто. Но он пожал плечами и ничего не ответил. Он думал о другом проходе в скалах, куда они направились и где птиц уже не будет. И он был рад, что Кардук — уроженец берегов Великого Туманного моря, где нет деревьев и кустарников и где люди обучаются морскому искусству, а не искусству равнин и леса.

Три часа спустя, когда солнце было высоко на небе, они пришли ко второму проходу в скалах, и Кардук сказал:

— Смотри во все глаза, незнакомый брат, ибо Иван на этот раз не намерен ждать, пока люди пройдут вперед осмотреть дорогу.

Негор посмотрел, а рядом с ним стояло двое людей с ружьями, приставленными к его груди. Он увидел, что все птицы улетели, и в одном месте он заметил блеск ружейного дула на солнце. И он подумал об Уне и вспомнил ее слова: «Когда сражение начнется, ты должен тайком скрыться, чтобы не быть убитым».

Два дула упирались в его грудь. Это было не совсем то, на что она рассчитывала. Очевидно, нельзя будет никуда уйти. Он умрет первым, когда начнется сражение. И он сказал твердым го-

лосом, но как бы от болезни продолжая дрожать:

— Дорога свободна.

Иван двинулся вперед со своими сорока людьми из далеких стран за Беринговым морем. За ним шел человек из Пэстилика, Кардук, и Негор, к груди которого приставлены были ружья. Подъем был долгий, и они не могли двигаться быстро. Но Негору казалось, что они очень быстро приближаются к середине прохода, где была засада.

В скалах направо раздался выстрел. Негор услышал боевой клич своего племени и в течение секунды успел увидеть, что скалы и кусты как бы ощетинились выступившими из-за них толпами его одноплеменников.

Затем он почувствовал, что внезапно огненный взрыв словно разрывает его пополам. Он упал, ощущая острую боль: в его изнемогающем теле жизнь боролась со смертью.

Он держался за свою жизнь с жадностью скупого, цепляющегося за свои сокровища. Он все еще дышал, и воздух наполнял его легкие мучительной сладостью. Смутно до его сознания доходили проблески света и волны звуков. И смутно он видел, как падают, умирая, охотники Ивана, и как со всех сторон стекаются к месту избиения его братья, наполняя воздух криками и шумом

оружия. А сверху женщины и дети сбрасывают громадные глыбы, которые прыгают, как живые существа, и с грохотом падают вниз.

Солнце плясало над ним в небе; огромные скалы колебались и качались, а он все еще смутно слышал и видел. Когда же грозный Иван упал у его ног, безжизненный, раздавленный упавшей глыбой, он вспомнил слепые глаза Старого Кинуза — и радовался.

Затем звуки замерли, глыбы больше не скатывались мимо него, и он видел, как люди его племени подходят все ближе и добивают раненых копьями. Он смутно различал, как рядом с ним могучий русский охотник поднимается в последней схватке за свою жизнь и падает, пронзенный десятками копий.

Затем он увидел над собою лицо Уны и ощутил ее объятья. И на мгновение солнце остановилось и громадные колеблющиеся стены скал застыли.

— Ты храбрый человек, Негор, — услышал он ее голос. — Ты мой муж, Негор.

И в это мгновение он пережил всю ту жизнь радости, какую она ему сулила, и обещанные ею смех и песни. И в то время как в небе медленно исчезало для него солнце и жизнь его постепенно отливала, он был объят сладостным воспоми-

нанием об Уне. И по мере того как память его тускнела и бледнела и проблески ее сменялись нарастающей темнотой, он узнавал в объятьях любимой действительность предвещанного ему отдыха, исполнение предсказанного ему покоя. Когда же черная ночь охватила его, лежащего на ее груди, он ощутил великий мир, проникающий вселенную, он познал в замирании уходящих сумерек таинственное наступление Тишины.

Потерянный лик

Потерянный лик

Конец был близко. Субьенков прошел длинный путь страдания и ужаса, как перелетный голубь, пробираясь домой к европейским столицам. И вот здесь — дальше от цели, чем когда бы то ни было, в русской Америке, тропа оборвалась. Он сидел на снегу, со скрученными за спиной руками, в ожидании пытки, и с любопытством смотрел на огромного казака, ничком лежавшего перед ним на снегу и стонавшего от боли. Мужчины вдоволь натешились над великаном и передали его женщинам. Крики жертвы свидетельствовали о том, что они превзошли мужчин в дьявольской злобе.

Субьенков глядел и содрогался. Он не боялся умереть. Он слишком часто рисковал своей жизнью, идя нескончаемой тропой от Варшавы до Нулато, чтобы дрожать перед простой смертью. Но не думать о пытке он не мог — это было свыше его сил. В пытке было что-то оскорбительное. И эта обида вызывалась отнюдь не предвидением тех страданий, какие ему предстояло перенести: нет, он представлял себе свой жалкий вид. Он знал, что будет просить, умолять и клянчить —

совсем как Большой Иван и как все прочие. Пройти через все смело, с улыбкой и шуткой — вот это было бы здорово. Но потерять власть над собой, так что душа закорчится в мучениях плоти, визжать и извиваться, как обезьяна, стать ниже животного, — нет, это было ужасно!

Ни разу не представлялось ему случая ускользнуть. С самого начала, когда еще ему снился пламенный сон польской независимости, он сделался игрушкой в руках судьбы. С самого начала в Варшаве, Петербурге, в сибирских рудниках, на Камчатке, на утлых суденышках браконьеров за пушниной судьба гнала его к этому концу. И несомненно, в Книге Бытия была начертана эта судьба для него — для него, такого тонкого и чувствительного, с нервами, еле прикрытыми кожей, — для него, мечтателя, поэта, художника. Прежде чем возникло сознание, уже было предопределено, что трепетный комок нервов, из которых он состоял, будет осужден жить среди грубых, рычащих дикарей и умереть в далеком царстве ночи, в мрачной стране за рубежами света.

Он вздохнул. Итак, этот лежавший перед ним предмет — это Большой Иван, — Большой Иван, великан, железный человек без нервов, казак,

ставший браконьером, флегматичный, как бык. То, что было больно для другого, ему казалось щекоткой — так низко развита была его нервная система. И что же! Эти нулатские индейцы отыскали у Ивана нервы и проследили их до самых корней, до живой души. Им это удалось. Было просто непостижимо, чтобы человек мог столько вытерпеть и все еще оставаться в живых. Большой Иван платился теперь за низкий уровень своей нервной системы. И в самом деле, он продержался вдвое дольше остальных.

Субьенков почувствовал, что он больше не в силах выносить мучений казака. Почему Иван не умирает? Он сойдет с ума, если этот визг не прекратится. Но когда визг прекратится, наступит его очередь. Вот уже ждет его Якага, осклабившись от предвкушаемого удовольствия, Якага, которого он еще только на прошлой неделе вышвырнул вон из форта: на лице того еще виднелся след плетки. Якага о нем позаботится. Несомненно, он припас для него еще более утонченные пытки, еще более изысканное выматывание нервов. А! Вот это, должно быть, что-нибудь особенно удачное, если судить по крикам Ивана. Женщины, окружавшие его, отступили на шаг, смеясь и хлопая в ладоши. Субьенков увидел чудовищное

дело их рук и залился истерическим смехом. Индейцы удивленно на него поглядели; но Субьенков не мог остановиться.

Нет, так нельзя. Он взял себя в руки; спазматические судороги постепенно прекратились. Он заставил себя думать о другом и начал перелистывать страницы своей жизни. Он вспомнил мать и отца, и маленького пони, и француза-гувернера, который учил его танцевать и украдкой подсунул ему старый истрепанный том Вольтера. Вновь увидел он перед собой Париж, и сумрачный Лондон, и веселую Вену, и Рим. И еще раз увидел буйную группу юношей, как и он мечтавших о независимой Польше. Да, тут-то и началась длинная тропа. И долго же она тянулась!.. Многих и многих смелых духом он пересчитывал — одного за другим, начиная с двух казненных в Петербурге. Один был до смерти забит тюремщиком, а другой свалился на дороге, по которой долгие, нескончаемые месяцы шли они, ссыльные, избиваемые казаками-конвоирами. Везде было зверство — грубое, страшное зверство. Они умирали — от лихорадки, на рудниках, под кнутом. Последние двое бежали и погибли в стычке с казаками, а он один добрался до Камчатки с бумагами и деньгами, похищенными у одного

путешественника, которого он оставил лежать на снегу.

Да, это было варварство — одно только варварство! Все эти годы, продолжая жить в прошлом — мастерскими художников, театрами, светской жизнью, — он был обведен стеной варварства. Свою жизнь он купил ценой крови. Убивали все. И он убил — того путешественника, чтобы завладеть его бумагами. Он доказал, что был на все способен, в один и тот же день дравшись на дуэли с двумя русскими офицерами. Он должен был себя показать, чтобы завоевать положение среди этих браконьеров — охотников за мехами. Да, это положение он должен был завоевать. За ним лежал долгий, тысячелетний путь через Сибирь и Россию. Спастись этим путем ему бы не удалось. Единственный путь — вперед, через темное ледяное море от Беринга на Аляску. Путь этот вел от варварства к еще более страшному варварству. На кораблях браконьеров, без воды и без пищи, швыряемые во все стороны нескончаемыми штормами, люди, больные цингой, превращались в животных. Трижды пускался он в плавание на восток от Камчатки. И трижды, после всевозможных тягот и мучений, оставшиеся в живых возвращались на Камчатку. Не было

ни одной лазейки, чтобы ускользнуть, а вернуться по пройденному пути он не мог: там ждали его рудники и плети. Снова, в четвертый и последний раз, отплыл он на восток. Он был среди тех, что впервые открыли сказочные Тюленьи острова. Но он не вернулся, чтобы участвовать в дележе пушнины и в безумных оргиях на Камчатке. Он поклялся никогда не возвращаться назад. Он знал, что для достижения европейских столиц — дорогих его сердцу — он должен был идти вперед, только вперед. Он переходил с корабля на корабль и оставался в мрачной новой земле. Его спутники были славонские охотники и русские искатели приключений, монголы, и татары, и сибирские туземцы. И сквозь дикие племена Нового Света они проложили кровавую тропу. Они вырезали целые деревни, отказывающиеся платить меховую дань. А их, в свою очередь, убивали другие морские дружины охотников за пушниной. Он и один финляндец были единственными оставшимися в живых из одной такой дружины. Они провели одну зиму в голоде и одиночестве на пустынном Алеутском острове, и совершенно случайно весной их спасло какое-то браконьерское судно.

Переходя с корабля на корабль, отказываясь

возвращаться назад, он попал на судно, производившее разведки в направлении к югу. По всему побережью Аляски они не встречали никого, кроме вооруженных дикарей. Каждая высадка у хмурых островов или у нависших скал материка сопровождалась штормом или сражением. Либо выла буря, угрожая гибелью, либо подплывали боевые челны, нагруженные ревущими туземцами с боевой раскраской лиц, туземцами, пожелавшими изведать пиратского пороха. Плывя все к югу и к югу, они причалили в мифической стране Калифорнии. Здесь, говорили ему, можно было встретить испанских авантюристов, проложивших себе дорогу из Мексики. Он возлагал надежды на этих испанских авантюристов. Убежать к ним, и тогда уже будет легко! Еще год или два — это уже не важно, — и он доберется до Мексики. А там — корабль, и скоро — Европа. Но они не повстречали испанцев. Они наталкивались только все на ту же непробойную стену дикарей. Туземцы этих земель — на краю света — отгоняли их от берега. Наконец, когда одна шлюпка оказалась отрезанной и все люди в ней перебитыми, командир отказался от своего намерения и повернул обратно на север.

Годы проходили. Он служил под командой

Тебенкова, когда строился Михайловский редут. Два года пробыл он на Земле Кускоквима.

Два раза ему удалось провести июнь месяц при входе в залив Коцебу. Там в это время собирались племена для меновой торговли; там можно было найти пестрые оленьи шкуры из Сибири, слоновую кость с Диомидовых островов, китовые шкуры с побережья Ледовитого океана, удивительные каменные светильни, продававшиеся от племени к племени и шедшие неизвестно откуда; однажды ему попался даже охотничий нож английской работы. Там — Субьенков знал это — была школа, где можно было поучиться географии; там он встречал эскимосов из залива Нортон, с Королевских островов и с островов Св. Лаврентия, с мыса Принца Уэльского и Барроу. Все эти места носили другие имена, и расстояние до них измерялось днями.

Эти торгующие дикари проходили огромные пространства; а еще дальше были те области, из которых, через вторые руки, достались им каменные светильни и английский нож. Субьенков ругался, подлизывался, подкупал. Каждого прибывшего издали, каждого иноплеменника приводили к нему. Говорилось о несчетных и невообразимых опасностях, о диких зверях,

враждебных племенах, непроходимых чащах и могучих горных хребтах. Но все время с той стороны пролива доходили слухи и рассказы о белокожих людях с голубыми глазами и русыми волосами; люди эти сражались как черти, все время рыскали за мехами. Они находились на востоке, далеко-далеко на востоке. Никто не видал их. Таковы были слова, переходившие из уст в уста.

Это была тяжелая школа. Едва ли можно хорошо изучить географию при посредстве чуждых диалектов и темных мозгов, которые мешали сказки с былью и измеряли расстояния «ночевками», причем число этих ночевок варьировалось в зависимости от трудности переходов. Но под конец пронесся слух, придавший Субьенкову бодрости. На востоке протекала река, у которой находились голубоглазые люди. Река называлась Юконом. К югу от Михайловского редута было устье большой реки, которую русские звали под именем Куикпака. Шел слух, что это одна и та же река.

Субьенков вернулся в Михайловский. Целый год он подготовлял экспедицию вверх по Куикпаку. Тогда появился русский метис Малахов и повел за собой самых разноплеменных, самых

страшных авантюристов, которые когда-либо переезжали с Камчатки. Субьенков был его есаулом. Они протиснулись через лабиринт обширной дельты Квикнака, проехали мимо первых невысоких холмов на северном берегу в кожаных каноэ, до бортов нагруженных меновыми товарами и амуницией. Целые пятьсот миль они боролись против извилистого течения реки шириной от двух до десяти миль и глубиной в несколько саженей. Малахов решил построить форт в Нулато. Субьенков настаивал на продолжении пути. Но скоро и он примирился с Нулато. Приближалась долгая зима. Лучше было переждать. Ранним летом, когда пройдет лед, он собирался исчезнуть и проложить себе путь к постам Компании Гудзонова залива. Малахов никогда не слыхал о том, что Куикпак — это Юкон, и Субьенков не сообщал ему об этом.

Началась постройка форта. Работа велась усиленным темпом. Бревенчатые стены росли под вздохи и ворчание индейцев Нулато. Плеть ложилась на их спины, а водила этой плетью железная рука морских браконьеров. Иногда индейцы убегали, и когда их ловили, то приводили обратно и растягивали перед фортом, где они и все их племя познакомились с работой кнута. Двое умерли

под ударами, другие были искалечены на всю жизнь; а остальные приняли к сердцу урок и уже больше не убегали. Снег выпал раньше, чем форт был окончен, и тогда наступило время мехового промысла. На племя была наложена суровая дань. Побои и плети не прекращались, а для того, чтобы дань уплачивалась, брали в заложники жен и детей и обращались с ними с жестокостью, известной только морским охотникам за пушниной.

Словом, это был кровавый посев; но наступило и время жатвы. Форт погиб. При свете его пожарища половина браконьеров была перебита. Другая половина умерла под пытками. Оставался только Субьенков — вернее, Субьенков и Большой Иван, если только можно было еще назвать Иваном это стонущее существо, валявшееся в снегу.

Субьенков поймал на себе улыбающийся оскал Якаги. Это был, несомненно, Якага: след от хлыста еще виднелся на его лице. В конце концов, Субьенков не порицал Якагу; но ему противно было думать о том, что Якага с ним сделает. Он подумал было, не воззвать ли к милосердию верховного вождя Макамука; но рассудок подсказал ему, что такое обращение будет бесполезным. Затем ему пришло в голову разорвать свои путы и умереть

сражаясь. Тогда конец наступил бы скоро. Но он был не в силах разорвать путы. Оленьи жилы были сильнее него. Однако он все время размышлял, и ему пришла другая мысль. Он знаками объяснил, чтобы к нему подозвали Макамука и толмача, знавшего приморское наречие.

— О Макамук, — сказал он, — я не собираюсь умирать. Я — великий человек, и умереть было бы безумием с моей стороны. Поистине, я не умру. Я не похож на всю эту падаль.

Он поглядел на стонущее существо, некогда называвшееся Большим Иваном, и презрительно толкнул его ногой.

— Я слишком мудр, чтобы умереть. У меня, понимаешь ли, есть великое зелье. И так как я не собираюсь умирать, то хочу продать это зелье.

— Какое зелье? — спросил Макамук.

— Это особенное зелье.

Субьенков поколебался одно мгновение, как будто ему было жаль расстаться со своей тайной.

— Я скажу тебе. Если натереть кожу этим зельем — немного, совсем немного, — то кожа станет тверда как камень, тверда как железо, так что никакое лезвие ее не разрежет. Самый сильный удар ножом нипочем этой коже. Костяной нож для нее — все равно что кусок грязи. Она

может согнуть концы железных ножей, которые мы вам привезли. Что же ты дашь мне за секрет этого зелья?

— Я дам тебе твою жизнь, — ответил Макамук через переводчика.

Субьенков презрительно засмеялся.

— И ты будешь рабом в моем доме до самой смерти.

Поляк засмеялся еще презрительнее.

— Развяжи мне ноги и руки, давай поговорим, — сказал он.

Вождь подал знак, и освобожденный Субьенков свернул себе папиросу и зажег ее.

— Это пустые речи, — сказал Макамук. — Такого зелья не существует. Его не может быть. Острое лезвие сильнее всякого зелья.

Вождь не верил, но все же колебался. Он видел у браконьеров много бесовских штук и потому не мог не колебаться.

— Я подарю тебе жизнь, и ты не будешь рабом, — объяснил он.

— Давай больше.

Субьенков играл свою роль так хладнокровно, словно он торговался из-за лисьей шкуры.

— Это очень крепкое зелье. Оно много раз спасало мне жизнь. Я хочу за него сани и собак, и

хочу, чтобы шестеро твоих людей провожали меня в них по реке и охраняли меня до последней ночевки перед Михайловским редутом.

— Ты должен жить здесь и научить нас всем своим бесовским хитростям, — был ответ.

Субьенков пожал плечами и хранил молчание. Он пускал табачный дым в морозный воздух и с любопытством глядел на то, что оставалось от большого казака.

— А этот рубец? — неожиданно сказал Макамук, указывая на шею поляка, на которой остался синеватый след ножевой раны, полученной во время ссоры на Камчатке. — Зелье не действует. Лезвие было сильнее зелья.

— Эту рану нанес сильный человек. — Субьенков взглянул на него. — Сильнее тебя, сильнее самого сильного из твоих охотников, сильнее его…

И концом мокасина он толкнул казака. Ужасное зрелище! Тот уже потерял сознание, но измученная душа еще цеплялась за растерзанное тело и не хотела его покинуть.

— Кроме того, и зелье было слабее. Ибо в той земле не было тех ягод, какие я вижу в ваших местах. Здешнее зелье будет очень крепкое.

— Я позволю тебе уйти вниз по реке и дам тебе

сани, собак и шесть охотников для охраны.

— Ты опоздал, — холодно прозвучал ответ. — Ты оскорбил мое зелье тем, что не сразу согласился на мои условия. Слушай же, теперь я требую больше. Я требую сотню бобровых шкурок. — Макамук кивнул головой. — Я требую сто фунтов сушеной рыбы. — Макамук снова кивнул, ибо рыбы было вдоволь и она была дешева. — Я хочу получить пару саней: одни для меня и одни для мехов и рыбы. И мое ружье должно быть мне возвращено. Если тебе не нравится цена, то — смотри — через некоторое время она еще возрастет.

Якага что-то шепнул вождю.

— Но как я узнаю, что твое зелье — настоящее зелье? — спросил Макамук.

— Это очень легко. Сперва я пойду в лес…

Снова Якага пошептался с Макамуком, который подозрительно покачал головой.

— Ты можешь послать со мной двадцать охотников, — продолжал Субьенков. — Видишь ли, я должен набрать корней и ягод, чтобы сварить из них зелье. Затем, когда ты доставишь сюда сани и погрузишь на них рыбу и бобровые шкурки и ружье и когда ты отберешь шестерых охотников, которые пойдут со мною, — словом, когда все будет готово, — тогда я натру свою шею

зельем, вот так, и положу ее сюда, на это бревно. Тогда пусть самый сильный из твоих охотников возьмет топор и трижды ударит меня по шее. Ты сам, если хочешь, можешь ударить трижды.

Макамук стоял разинув рот и упиваясь этим последним и самым удивительным чародейством браконьеров.

— Но после каждого удара, — поспешно добавил поляк, — я должен снова натираться зельем. Топор тяжел и остер, и я не хотел бы, чтобы произошла какая-нибудь ошибка.

— Все, что просишь, будет твоим! — крикнул Макамук, быстро соглашаясь. — Принимайся за свое варево.

Субьенков подавил в себе восторг. Он вел отчаянную игру, и промахов не должно было быть. Он дерзко заговорил:

— Ты опоздал. Мое зелье снова оскорблено. Чтобы смыть обиду, ты должен дать мне свою дочь.

Он указал на девушку — больное существо с бельмом на глазу и выдававшимися клыками.

Макамук разозлился, но поляк оставался непоколебимым. Он свернул и зажег еще одну папиросу.

— Поторопись, — пригрозил он. — А не то я запрошу еще больше.

Наступило молчание, и печальная декорация Севера исчезала из его глаз: он еще раз увидел свою родину, увидел Францию; а когда взглянул на девушку с бельмом, вспомнил о другой девушке — певице и танцовщице, с которой познакомился, когда впервые, юношей, приехал в Париж.

— Зачем тебе девушка? — спросил Макамук.

— Чтобы она пошла со мною вниз по реке. — Субьенков окинул ее критическим взглядом. — Из нее выйдет хорошая жена. Породниться с вашей кровью — это честь, стоящая моего зелья.

Снова вспомнил он о певице и танцовщице и стал вслух мурлыкать песенку, которой она его научила. Он вновь жил прежней жизнью, но как-то бесстрастно следил за образами, возникающими в памяти, словно созерцал картины чужой жизни. Голос вождя, резко нарушивший тишину, заставил его очнуться.

— Да будет так, — сказал Макамук. — Девушка пойдет с тобою вниз по реке. Но уговор такой, что я сам три раза ударю тебя топором по шее.

— Но перед каждым ударом я буду натираться зельем, — отвечал Субьенков, представляясь, будто он плохо скрывает беспокойство.

— Ты будешь натираться перед каждым уда-

ром. Вот охотники, которые должны следить за тем, чтобы ты не удрал. Иди в лес и собирай свои травы.

Макамук поверил в действительность снадобья, когда увидал алчность поляка. Конечно, только сильнейшее зелье могло побудить человека перед лицом смерти настаивать на своем и торговаться, как старуха.

— А кроме того, — шепнул Якага, когда поляк со своей стражей скрылся между стволами сосен, — когда ты будешь знать снадобье, ты легко можешь убить его.

— Но как могу я убить его? — возразил Макамук. — Зелье не позволит этого сделать.

— Наверное, останется какая-нибудь часть, которую он не натрет, — отвечал Якага. — Может быть, это будут уши… Хорошо, тогда мы воткнем ему копье из одного уха в другое. Может быть, глаза… Наверное, зелье слишком крепко, чтобы натирать им глаза.

Вождь кивнул головой.

— Ты мудр, Якага. Если у него не найдется еще какой-нибудь чертовщины, то мы умертвим его.

Субьенков не терял времени на собирание ин-

гредиентов[83] своего лекарства. Он брал все, что попадалось под руку: хвойные иглы, ивовую и березовую кору и бруснику; он заставил индейцев выкапывать для него бруснику из-под снега. Несколько мерзлых корешков дополнили его запас, и он повернул обратно к лагерю. Макамук и Якага сидели согнувшись подле него, запоминая дозы и виды составных частей, которые он бросал в котел с кипящей водой.

— Вы должны помнить, что бруснику нужно бросать прежде всего, — объяснил он. — Ах да! Вот еще что! Человеческий палец. Ну, Якага, дай мне отрубить тебе палец.

Но Якага спрятал руки за спину и нахмурился.

— Один только мизинец, — просил Субьенков.

— Якага, дай ему свой палец, — приказал Макамук.

— Здесь кругом валяется довольно пальцев, — пробурчал Якага, указывая на лежавшие в снегу останки двух десятков людей, замученных насмерть.

— Тут нужен палец живого человека, — возразил поляк.

— Ладно, ты получишь палец живого чело-

---

[83] Сноски: 83

Ингредиент — составная часть какой-либо смеси.

века.

Якага подбежал к казаку и отрезал ему один палец.

— Он еще не умер, — заявил он, бросая кровавый трофей в снег к ногам Субьенкова. — К тому же это хороший палец, так как он очень велик.

Субьенков бросил его в костер под котлом и запел. Это была французская любовная песенка. Он пропел ее над варевом с большой торжественностью.

— Без этих слов, которые я произношу над ним, зелье ничего не стоит, — объяснил он. — В словах заключена главная сила. Смотрите: вот оно готово!

— Повтори слова медленно, чтобы я запомнил их, — приказал Макамук.

— Только после испытания. Когда топор трижды отскочит от моей шеи, тогда я открою тебе тайну слов.

— Но если зелье не подействует? — с опаской спросил Макамук.

Субьенков сердито набросился на него:

— Мое зелье всегда действует. Если нет, то можешь поступить со мной так же, как вы поступили с остальными. Разрежьте меня на куски, как вы разрезали его. — Он указал на казака. —

Теперь снадобье остыло. Вот я мажу им шею, произнося еще один заговор.

С большой торжественностью он медленно затянул куплет из «Марсельезы», одновременно крепко натирая шею отвратительным варевом.

Его лицедейство было нарушено возгласом толпы. Исполин-казак, в последнем приступе своей невероятной живучести, поднялся на колени. Смех и крик удивления поднялись среди Нулато, когда Большой Иван заметался в конвульсиях по снегу.

Субьенкову стало дурно от этого зрелища, но он преодолел тошноту и притворился рассерженным.

— Это никуда не годится, — сказал он. — Прикончите его, и приступим к испытанию. Эй ты, Якага, позаботься, чтобы он не кричал.

Пока это приводилось в исполнение, Субьенков обратился к Макамуку:

— И помни, что должен бить изо всей силы. Это не ребячья забава. Вот, возьми топор и хвати им по бревну, чтобы я мог видеть, рубишь ли ты как мужчина.

Макамук послушался, ударил дважды, точно и сильно, так что вырубил большой клин.

— Все в порядке.

Субьенков окинул взором сомкнувшееся вокруг него кольцо диких лиц, которое как бы символизировало то зверство, какое окружало его всюду с того момента, как царская полиция арестовала его в Варшаве.

— Возьми свой топор, Макамук, и стой вот так. Я лягу. Когда я подниму руку, руби, руби изо всей силы. И смотри, чтобы за твоей спиной не стоял никто. Зелье сварено крепко, и топор может отпрянуть от моей шеи и выскочить у тебя из рук.

Он взглянул на пару саней с собачьей упряжкой, нагруженных мехами и рыбой. Его ружье лежало поверх бобровых шкур. Шесть охотников, которые должны были его конвоировать, стояли подле саней.

— Где девушка? — спросил поляк. — Подведите ее к саням, прежде чем начнется испытание.

Когда это было исполнено, Субьенков лег на снег, положив голову на бревно, как усталый ребенок, собирающийся уснуть. Он пережил столько печальных дней, что и в самом деле устал.

— Я смеюсь над тобой и твоей силой, Макамук, — сказал он. — Руби, руби сильнее!

Он поднял руку. Макамук схватил топор — секиру для рубки бревен. Блестящая сталь мелькнула

в морозном воздухе, остановилась на неуловимый миг над головой Макамука… и упала на обнаженную шею Субьенкова. Она рассекла мясо и кости и глубоко врезалась в подложенное бревно. Изумленные дикари увидели, как голова отскочила на ярд от брызжущего кровью туловища.

Наступило великое замешательство и молчание, пока в их мозгу не стала медленно созревать мысль, что никакого снадобья не было. Браконьер перехитрил их. Один из всех пленников он избежал пыток. Это и была ставка, ради которой он играл. Раздался бурный взрыв хохота. Макамук склонил голову от стыда. Браконьер провел его. Он «потерял лик» перед всем своим народом. Они не переставали преследовать его своим смехом. Он понял, что отныне уже не будет называться Макамуком. Имя его будет — Потерянный Лик. Память о позоре останется на нем до самой смерти. И когда племена станут собираться весной на ловлю лососей, или летом — для торговли, то от костра к костру будет переходить повесть о том, как браконьер умер спокойно от одного удара под рукою Потерянного Лика.

Он уже заранее слышал вопрос какого-нибудь нахального молокососа:

— Кто такой Потерянный Лик?

И ответ:

— О! Потерянный Лик! Это тот, который был Макамуком, прежде чем отрубил голову охотнику за мехами.

Поручение

Причалы были отданы, и «Сиэтл-4» медленно отходил от берега. Палуба его была завалена высокими кипами товара и багажа и запружена разношерстной массой индейцев, собак, погонщиков, искателей приключений, торговцев и спешивших домой золотоискателей.

Добрая половина населения Доусона выстроилась на берегу, чтобы проститься с отъезжающими. Когда трап был поднят и пароход отчалил, прощальные крики стали прямо-таки оглушительны. Как раз в этот последний момент каждый вспоминал какое-нибудь последнее поручение, и крики перелетали взад и вперед через расширявшееся водное пространство.

Луи Бонделл, одной рукой покручивавший свой желтый ус, а другой — лениво махавший своим друзьям на берегу, неожиданно о чем-то вспомнил и бросился к перилам.

— Эй, Фред! — заорал он. — Эй, Фред!

Фред протиснул свои дюжие плечи сквозь переднюю линию стоявшей на берегу толпы и пытался разобрать поручения Луи Бонделла. Лицо этого последнего побагровело от безнадежного

крика. А водное пространство между пароходом и берегом все ширилось.

— Эй вы, капитан Скотт! — крикнул он по направлению к капитанскому мостику. — Остановите пароход!

Зазвучал гонг, и большое винтовое колесо отдало назад, затем остановилось.

Все люди на борту парохода и на берегу сразу же воспользовались этой отсрочкой, чтобы обменяться окончательными и громогласными прощальными приветствиями. Попытки Луи Бонделла быть услышанным оказались еще безуспешнее. «Сиэтл-4» стало относить вниз по течению, и капитан Скотт должен был вмешаться и снова дать задний ход. Его голова исчезла в рулевой рубке и мгновение спустя появилась опять с огромным мегафоном[84] у рта.

Капитан Скотт обладал замечательным голосом, и приказание «заткнуться», брошенное им пароходной и береговой толпе, вероятно, было слышно на верхушке Оленьей горы, а может быть, и в Клондайке. Приказание из рулевой рубки набросило вуаль молчания на общий шум.

— Ну вот, что вы хотели сказать? — спросил

---

[84] Сноски: 84
Мегафон — труба, усиливающая звуки голоса.

капитан Скотт.

— Скажите Фреду Черчиллю — вон он там, на берегу, — скажите ему, чтобы пошел к Мак-Дональду. У того на хранении небольшой чемоданчик. Скажите ему, чтобы он взял его и привез с собой, когда приедет.

Среди общего безмолвия капитан Скотт заревел в мегафон, обращаясь к берегу:

— Вы, Фред Черчилль! Пойдите к Мак-Дональду… у него на хранении… маленький чемоданчик… принадлежит Луи Бонделлу… очень важно!.. Привезите с собой… когда приедете!.. Слышали?..

Черчилль помахал рукой в знак того, что слышал. Поистине, если бы Мак-Дональд, живший за полмили, открыл окно — он бы тоже услыхал. Шум прощаний возобновился, зазвонили гонги, и «Сиэтл-4» пустился в путь. Выйдя на середину течения, он поплыл вниз по Юкону. Бонделл и Черчилль до последней возможности махали друг другу руками в знак взаимного расположения.

Это было в середине лета. А под конец навигации «У. Х. Уиллис» отплыл вверх по Юкону, везя две сотни путников, возвращавшихся домой. Между ними был и Черчилль. В его каюте, внутри

сундука с платьем, помещался чемоданчик Луи Бонделла. Это был маленький пузатый кожаный предмет весом в сорок фунтов, что заставляло Черчилля волноваться всякий раз, когда он отходил слишком далеко.

Человек в соседней каюте тоже обладал золотым сокровищем, запрятанным в платяной сундук, и в конце концов оба они порешили стоять на страже попеременно. Пока один спускался вниз, чтобы поесть, другой не сводил глаз с дверей обеих кают. Если Черчиллю хотелось перекинуться в вист, другой пассажир нес сторожевую службу; а когда тот хотел отвести душу, Черчилль читал газеты четырехмесячной давности, сидя на складном стуле между обеими дверями.

Признаки раннего наступления зимы были налицо, и с утра до вечера, даже до глубокой ночи обсуждался вопрос, прорвутся ли они до заморозков или им придется покинуть пароход и пробираться пешком по льду. Случались и досадные задержки. Дважды машины ломались, и нужно было их чинить, и каждый раз снежные бури предупреждали их о близости зимы. Девять раз пытался «У. Х. Уиллис» осилить своими попорченными машинами пороги Пяти Пальцев,

а когда ему удалось, оказалось, что он опаздывает на четыре дня против своего и без того неточного расписания. Вопрос был в том, будет ли пароход «Флора» ждать их выше Бокс-Кэнона. Водное пространство между входом в Бокс-Кэнон и низовьями порогов Белого Коня было несудоходно, и пассажиров пересаживали с парохода на пароход; пороги они должны были обойти пешком. В той местности не было ни телефонов, ни других способов предупредить ожидавшую «Флору» о том, что «У. Х. Уиллис» хотя и опаздывает, но все же идет.

Когда «У. Х. Уиллис» уперся в пороги Белого Коня, пришла весть, что «Флора» прождала три дня сверх срока и отбыла всего несколько часов перед тем. Кроме того, стало известно, что она простоит у поста Тагиш до девяти часов утра в воскресенье.

Это было в субботу, в четыре часа дня. Пассажиры собирались на совет.

На пароходе имелось большое каноэ из Петерборо, предназначавшееся для полицейского поста у входа в озеро Беннет. Пассажиры взяли на себя ответственность за каноэ и обязались доставить его по назначению. Затем стали вызывать охотников. Требовалось два человека, чтобы доплыть

на лодке до «Флоры». Немедленно вызвались два десятка людей. Среди них находился и Черчилль; таков уж был у него характер, что он вызвался раньше, чем подумал о чемоданчике Бонделла. Когда это пришло ему на ум, он стал надеяться, что его не выберут. Но человек, составивший себе имя на Юконе в качестве капитана футбольной команды, председателя атлетического клуба, искусного погонщика собак и скорохода, человек, сверх того, обладавший такими плечами, — не мог уклониться от почетного поручения. Оно было возложено на него и на гиганта-немца Ника Антонсена.

Пока группа пассажиров, неся на плечах каноэ, пустилась в обход по волоку[85], Черчилль побежал в свою каюту. Он выбросил содержимое сундука на пол и схватил чемоданчик, намереваясь поручить его соседу по каюте. Но затем его остановила мысль, что чемоданчик принадлежит не ему и что он не имеет права выпускать его из-под своего надзора.

Поэтому он бросился с ним на берег и побежал вверх по волоку, часто перехватывая его из одной руки в другую и думая, что он, пожалуй, весит

---

[85] Сноски: 85

Волок — сухопутное пространство, отделяющее истоки или течения двух рек.

более сорока фунтов.

Было половина пятого, когда оба посланца двинулись в путь. Течение реки Тридцатой Мили было так сильно, что им нечасто удавалось пользоваться веслами. Приходилось идти по берегу, с бечевой через плечо, спотыкаясь о камни, пролагая себе дорогу сквозь кустарник, порою скользя и падая в реку и продолжая идти по колено или по пояс в воде. Когда же встречалось непреодолимое препятствие, надо было снова садиться на весла и нестись наперерез потоку к другому берегу; приходилось напрягать все свои силы и все же терять много времени; а затем втягивать весла, выскакивать на берег и опять тянуть бечеву. Это была утомительная работа. Антонсен трудился — как и подобало такому великану — упорно, без жалоб, и благодаря своему могучему сложению и неукротимому уму Черчилля, казалось, доходил до крайних пределов человеческих возможностей. Они не давали себе ни минуты отдыха. Нужно было двигаться вперед, непременно вперед. Резкий ветер дул с верховьев, замораживая им руки и заставляя их по временам хлопать в ладоши, чтобы восстановить кровообращение в окоченелых пальцах.

Когда настала ночь, им пришлось идти на-

удачу. Они то и дело падали на неутоптанном берегу, в клочья разрывая одежду о невидимые кустарники. Оба были исцарапаны до крови. Раз двенадцать, во время быстрых переправ с берега на берег, они натыкались на затонувшие деревья и опрокидывались. В первый раз Черчилль нырнул и шарил за чемоданом на глубине трех футов. Он потерял добрых полчаса на поиски, а затем они повезли чемодан дальше, прочно привязав его к лодке. Пока лодка шла на поверхности, он был в безопасности. Антонсен смеялся над чемоданчиком, а к утру стал проклинать его. Но Черчилль не удостоил его никакими объяснениями.

Задержкам и неудачам не было конца. На одной крутой извилине они потеряли два часа, сделав двадцать безуспешных попыток и дважды опрокинувшись. В этом месте у обоих берегов возвышались крутые утесы; мимо них нельзя было ни протащить, ни протолкнуть лодку, а на веслах они не могли справиться с течением. Вновь и вновь они напрягали последние силы, и каждый раз течение отбрасывало каноэ, а сердца их готовы были разорваться от усилий. Наконец они добились успеха благодаря счастливому случаю. В самой середине потока лодку вырвало

из-под власти Черчилля и отбросило к утесу. Черчилль вслепую прыгнул на утес и попал на расщелину. Цепляясь за камень одной рукой, другой он держал опрокинутую лодку, пока Антонсен не выбрался из воды. Тогда они вытащили каноэ и отдохнули. После этого момента наивысшего напряжения сил начался второй перегон. Они пристали к другому берегу, немедленно выскочили на сушу и пошли сквозь кустарник, таща бечеву.

Заря застала их немного ниже поста Тагиш. В девять часов утра они услыхали свисток отдохнувшей «Флоры». А когда в десять дотащились до поста, они только-только успели увидеть далеко к югу дымок парохода.

Капитан конной полиции Джонс принял и накормил двух изможденных оборванцев; он уверял впоследствии, что они обладали самым невероятным аппетитом, какой ему приходилось когда-либо наблюдать.

Они легли у печи и заснули в своих мокрых лохмотьях. Через два часа Черчилль встал, понес чемоданчик Бонделла, которым он пользовался как подушкой, вниз к лодке, растолкал Антонсена и пустился вдогонку за «Флорой».

— Мало ли что может случиться: сломается

машина или что-нибудь в этом роде, — отвечал он на уговоры капитана Джонса. — Я поймаю этот пароход и пошлю его назад за ребятами.

Озеро Тагиш было совсем белым от снежной вьюги, слепившей им глаза. Большие вздымающиеся волны заливали лодку, так что один все время должен был вычерпывать воду, пока другой греб. Они поплыли вдоль пустынного берега и порой выходили на сушу, причем один тянул бечеву, а другой направлял лодку. Они боролись с бурей по пояс, а то и по горло в ледяной воде, а зачастую и под водой; их захлестывали большие пенистые волны. Отдыха не было; ни минуты передышки в безрадостной непосильной борьбе.

В тот же вечер у выхода из озера Тагиш, посреди неугомонного снежного шквала, они нагнали «Флору». Антонсен упал на палубу и захрапел там, где свалился. Черчилль походил на дикаря. Одежда еле держалась на теле. Его лицо заледенело и опухло от непрерывных усилий в течение суток, а руки распухли до такой степени, что он не мог согнуть пальцев. Что же касается его ног — стоять на них было пыткой.

Капитану «Флоры» не хотелось возвращаться к Белому Коню. Черчилль был настойчив и говорил повелительно. Капитан упрямился.

В конце концов капитан указал на то, что возвращение ни к чему не приведет: последний океанский пароход «Афинянин» должен отойти из Дайе в четверг утром, и все равно «Флора» не успеет совершить обратный рейс до Белого Коня и привезти высадившихся пассажиров вовремя на пароход.

— Когда отплывает «Афинянин»? — спросил Черчилль.

— Во вторник, в семь часов утра.

— Превосходно, — сказал Черчилль, в то же время толкая под ребра храпевшего Антонсена. — Вы возвращаетесь к Белому Коню. А мы поедем вперед и задержим «Афинянина».

Антонсен, осовевший от сна и ни за что не хотевший очнуться, был спущен в лодку, как кладь, и не сообразил ничего, пока его не промочило ледяными брызгами огромной волны и он не услышал голоса Черчилля, оравшего на него в темноте:

— Не можешь грести, что ли? Хочешь, чтобы нас опрокинуло?

Заря застала их в Карибу-Кроссинге. Ветер ослаб; но Антонсен уже был не в состоянии пошевелить веслом. Черчилль ввел лодку в спокойный залив; там они легли спать. Черчилль из

предосторожности клал руку под голову. Через промежутки в несколько минут боль от задержанного кровообращения будила его, после чего он смотрел на часы и менял руку. Озеро Беннет, длиной в тридцать миль, было спокойно, как мельничная запруда. Но на полпути налетевшая с юга буря подхватила их и окрасила воду в белый цвет. Час за часом боролись они, так же как и на Тагише, выходя на берег, таща и толкая лодку, по пояс, по горло или с головой погружаясь в ледяную воду. Под конец добродушный великан совсем вышел из строя. Черчилль безжалостно подгонял его. Но когда он упал ничком и чуть не утонул на глубине в три фута, товарищ втащил его в лодку. После этого Черчилль продолжал борьбу один и прибыл к полицейскому посту при выходе из озера Беннет вскоре после полудня. Он пытался помочь Антонсену выйти из лодки, но это ему не удалось. Он прислушался к тяжелому дыханию изможденного человека, и при мысли о том, что его предстояло ему самому вытерпеть, позавидовал Антонсену. Швед может лежать здесь и спать. Он же, не теряя времени, должен идти вперед через мощный Чилкут и спуститься к морю. Настоящая борьба еще предстояла, и он почти жалел, что силы в его теле еще не

сломлены: слишком уж велики были страдания, ожидавшие его впереди.

Черчилль втащил лодку в бухту, схватил чемоданчик Бонделла и, волоча ноги, как прихрамывающая собака, направился к полицейскому посту.

— Там, внизу, есть лодка, отправленная вам из Доусона! — крикнул он начальнику поста, откликнувшемуся на его стук. — А в ней человек. Он очень плох. Но ничего серьезного — переутомление. Позаботьтесь о нем. Я должен спешить. До свидания. Хочу поймать «Афинянина».

Волок, длиной с милю, соединял озеро Беннет с озером Линдерман. Последние слова Черчилль бросил уже через плечо — так быстро он пустился в дальнейший путь. Это был весьма мучительный путь, но он сжал зубы и не сдавался, временами забывая о страданиях из-за горячей ненависти, с которой он смотрел на чемоданчик. Это был очень трудный путь. Он перекладывал чемоданчик из одной руки в другую. Иногда он брал его под мышку. Он закидывал его через плечо, и чемодан на бегу подпрыгивал и бил его по спине. Он едва мог держать его в своих разбитых и распухших руках и много раз ронял. Однажды, перекидывая его в другую руку, он

выпустил ношу, и чемодан упал к его ногам. Черчилль споткнулся о него и тяжело грохнулся оземь. На том конце волока он купил за доллар старые дорожные ремни и укрепил чемодан на спине. Затем он нанял баркас, чтобы проехать шесть миль до верхнего конца озера Линдерман, куда он прибыл в четыре часа пополудни. «Афинянин» отправлялся из Дайи на следующее утро, в семь часов. До Дайи было двадцать восемь миль, а между Черчиллем и Дайе возвышался Чилкут. Он присел, чтобы укрепить обувь для продолжительного подъема… и проснулся. Он задремал, как только сел, но не проспал и тридцати секунд. Он испугался: дремота могла продлиться дольше; стоя, он закончил укрепление обуви. Но даже и теперь он почувствовал, что теряет сознание. Сообразив это во время самого падения, когда его ослабевшее тело стало опускаться на землю, он собрался с силами, напряг мускулы судорожным усилием и удержался на ногах. Неожиданное возвращение к сознанию вызвало слабость и дрожь. Он стал колотить ладонью по голове, пытаясь вбить сознание в оцепеневший мозг.

Караван Джека Бэрнса возвращался порожняком к озеру Кратер, и Черчиллю предложили мула. Бэрнс хотел переложить чемоданчик на

другого мула, но Черчилль не выпускал его из рук и вез с собой на луке седла. Он ехал как бы в полусне; чемодан все время соскальзывал то в ту, то в другую сторону; и каждый раз Черчилль пробуждался от сотрясения. Перед вечером, проезжая мимо деревьев, он веткой раскроил себе щеку. В довершение всего мул сбился с тропы, упал и сбросил всадника и чемодан на скалы. После этого Черчилль шел пешком, или, вернее, тащился по какой-то тропинке, ведя мула на поводу. Тяжелый невыносимый запах, доносившийся с обеих сторон дороги, повествовал о лошадях, павших в скачке за золотом. Но он не обращал на это внимания; ему слишком хотелось спать.

Тем временем они дошли до Долгого озера, и он кое-как сбросил с себя сонливость; а у Глубокого озера передал чемоданчик Бэрнсу. Но все время, при свете бледных звезд, он не спускал с него глаз: не дай бог, если что-нибудь случится с чемоданом.

У озера Кратер караван остановился на ночлег, а Черчилль, привязав чемодан на спину, начал восхождение на вершину по крутому подъему. На этой отвесной стене он впервые почувствовал, до чего он был утомлен. Он полз и тащился, как краб, изнемогая от тяжести собственных чле-

нов. Чтобы поднять ногу, требовалось каждый раз мучительное напряжение воли. Ему порой чудилось, что он обут в свинцовые сапоги, как океанский водолаз, и он с трудом противился желанию опустить руку и нащупать свинец. Что же касается чемодана Бонделла, то было просто непостижимо, чтобы сорок фунтов могли весить так много. Чемодан давил его к земле, и он с недоверием вспоминал, как год назад взбирался по этой самой тропинке, неся на спине полтораста фунтов. Если тот груз весил полтораста фунтов, то в чемоданчике Бонделла было, наверное, пятьсот.

Первый подъем от озера Кратер вел через маленький глетчер. Здесь была проложена тропа. Но выше ледника, находящегося, впрочем, над полосой лесов, не было ничего, кроме хаоса голых скал и огромных валунов. В темноте никак нельзя было различить дорогу, и он блуждал, тратя больше усилий, чем за весь проделанный им путь. Он добрался до вершины под вой ветра и снежной вьюги; тут он, по счастью, наткнулся на маленький покинутый шалаш и заполз в него. Там он нашел и съел несколько старых жареных картошек и с полдюжины сырых яиц.

Когда снег перестал падать и ветер слегка

утих, он начал свой почти невыполнимый спуск. Тропинки не было. Он спотыкался и сбивался с пути, зачастую в самую последнюю минуту удерживаясь на краю скалистых пропастей и почти отвесных скатов, о глубине которых он не мог даже судить. Половина почти уже была им пройдена, когда набежавшие тучи снова скрыли сияющие звезды, и в наступившей темноте он упал и покатился, съехав на добрую сотню футов, и наконец упал, разбитый и окровавленный, на дно большой пустой котловины. Отовсюду вокруг него поднималось зловоние лошадиной падали. Яма находилась близко от дороги, и погонщики привыкли сталкивать туда искалеченных или павших лошадей. Зловоние ошеломило его, и он испытывал смертельную тошноту. Он пополз из ямы, находясь во власти кошмара. На полпути до края он вспомнил о чемоданчике Бонделла. Чемодан упал в яму вместе с ним. Ремни, очевидно, разорвались, и он позабыл о нем. Черчилль полез обратно в отравленную падалью пропасть; там он ползал на четвереньках и шарил в течение получаса. Он натыкался на лошадей и, пока нашел чемодан, насчитал семнадцать дохлых и одну еще живую, которую пристрелил из револьвера. Впоследствии, оглядываясь на жизнь, проведен-

ную не без доблести и подвигов, он, нисколько не колеблясь, признавался себе, что возвращение за чемоданом было самым героическим из всех поступков, какие он когда-либо совершал. Да, в этом был несомненный героизм. Дважды он был на краю обморока, пока находился там, в яме.

Между тем он добрался до ступеней. Крутая вершина Чилкута была позади, и дорога стала удобнее. Не то чтобы она была удобной — даже в самых лучших своих частях, — но все же это была вполне доступная тропа, по которой он мог бы идти легко, не будь так измучен, а также если бы у него был фонарь и не было бы чемоданчика. Он так обессилел, что чемодан оказался каплей, переполнившей чашу. У него едва хватало силы передвигаться самому, и этой добавочной тяжести было достаточно, чтобы сбивать его с ног, всякий раз как он оступался или спотыкался. А когда он не оступался, из темноты протягивались ветви, цепляясь за чемоданчик, висевший у него за плечами, и тянули его назад.

Он твердо решил, что если не захватит «Афинянина», то только по вине чемодана. В его сознании фактически жили только две вещи: чемоданчик Бонделла и пароход. Он знал только эти две вещи, и они загадочно отождествлялись

в мозгу с выполнением какой-то неотложной миссии, ради которой он странствовал и трудился в течение целых веков. Он брел точно во сне. И как во сне он добрался до Шип-Кэмпа, ввалился в бар, выпростал плечи из ремней и хотел положить чемоданчик к своим ногам. Но тот выскользнул из его пальцев и упал на пол с тяжелым стуком, который не прошел незаметно для двух людей, как раз выходивших из бара. Черчилль выпил стакан виски, велел окликнуть его через десять минут и сидел, положив ноги на чемоданчик, а голову — на колени.

Его переутомленные члены настолько одеревенели, что потребовалось еще десять минут и еще стакан виски, чтобы помочь ему расправить суставы и размять мускулы.

— Эй, не туда! — крикнул ему хозяин бара; затем он нагнал его и в темноте подтолкнул по направлению к Каньон-Сити. Какой-то внутренний голос подсказал Черчиллю, что это было верное направление, и все еще как во сне он пошел по этой тропе. Он не знал, что предупредило его об опасности. И, несмотря на пройденный путь, — ему казалось, что прошли целые века, — он почувствовал какую-то опасность и выхватил револьвер. И снова как во сне увидал

он двух людей, вышедших из темноты, услыхал, что они велели ему остановиться. Его револьвер выстрелил четыре раза; он увидел огонь, услыхал выстрелы из револьверов и почувствовал, что ранен в бедро. Он увидел, как один из людей свалился, и, когда другой бросился к тому на помощь, он нанес ему удар тяжелым револьвером прямо в лицо. Потом он пустился бежать. Вскоре он очнулся от сна и почувствовал, что бежит вниз по дороге, сильно прихрамывая, и сразу же вспомнил о чемоданчике: тот все еще болтался у него за спиной. Черчилль был почти убежден, что все случившееся — сон, пока не ощупал револьвер и не убедился, что он разряжен. Вслед за тем он ощутил острую режущую боль в бедре и, прощупав его, почувствовал на руке теплую кровь. Рана была, по-видимому, не глубокая, но тем не менее несомненная. Он окончательно очнулся и тяжело тащился по направлению к Каньон-Сити.

Там он нашел обладателя нескольких лошадей и телеги, который за двадцать долларов согласился встать с постели и запрячь коней. Черчилль взобрался на телегу и заснул, не спуская чемодана со спины. Это была беспокойная скачка по размытым водою камням до долины Дайе. Но он

просыпался, только когда телега подскакивала особенно сильно. Всякий бросок, поднимавший его тело меньше чем на фут над уровнем повозки, был ему безразличен. Последняя миля пролегала по ровной местности, и он спал крепко.

Они приехали на ранней заре. Извозчик немилосердно тряс его и ревел ему в ухо, что «Афинянин» ушел. Черчилль смущенно поглядел на пустую пристань.

— Виден дымок вон там, у Скагуэя, — сказал возчик.

Глаза Черчилля слишком распухли, чтобы видеть на таком расстоянии, но он все-таки сказал:

— Это он. Достаньте мне лодку.

Возчик был человек услужливый и нашел ялик и гребца за десять долларов; деньги нужно было платить вперед. Черчилль заплатил, и ему помогли влезть в ялик. Сам он уже не мог этого сделать. До Скагуэя было шесть миль, и он сладостно мечтал, что проспит все это время. Но лодочник не умел грести, и Черчилль сел на весла и проработал еще несколько столетий. Он никогда не видел таких длинных и мучительных шести миль. Легкий, но капризный ветер дул в проливе и задерживал его. Он чувствовал слабость в верхней части желудка, страдал от истощения и одереве-

нения членов. По его требованию лодочник взял черпак и плеснул ему в лицо соленой водой.

Якорь «Афинянина» как раз поднимался, когда они подъехали к борту парохода. У Черчилля уже не было сил.

— Остановите пароход! Остановите! — кричал он хрипло. — Важное известие! Остановите пароход!

Затем он склонил подбородок на грудь и заснул. Когда полдюжины людей принялись тащить его вверх по трапу, он проснулся, схватился за перила и держался, как утопающий.

На палубе все уставились на него с ужасом. Платье, в котором он покинул пороги Белого Коня, превратилось в какие-то обрывки тряпок; а сам он был так же изодран, как его одежда. Он провел в пути пятьдесят пять часов, дойдя до предела выносливости. Он спал за это время всего шесть часов и весил на двенадцать фунтов меньше, чем при отъезде.

Лицо, руки и тело были разбиты и исцарапаны; он едва видел. Он попробовал встать, но это ему не удалось; он растянулся на палубе, не выпуская из рук чемоданчика, и изложил свое поручение.

— Теперь уложите меня в постель, — закончил он. — Я поем, когда просплюсь.

Они оказали ему честь и отнесли его вниз в его грязных лохмотьях. Его и чемодан Бонделла поместили в отделении для новобрачных — самой роскошной каюте на всем пароходе. Он проспал две склянки, затем принял ванну, побрился, поел и, облокотившись на перила, курил сигару, когда двести путников с Белого Коня подъехали к пароходу.

К тому времени, когда «Афинянин» прибыл в Сиэтл, Черчилль вполне оправился и сошел на берег с чемоданчиком Бонделла в руках. Он гордился этим чемоданом. Он являлся для него символом героизма, честности и верности. «Я сдал товар полностью» — так в разговоре с самим собой выражал он все эти возвышенные понятия.

Было еще не поздно, и он немедленно направился к дому Бонделла. Луи Бонделл был рад его видеть, протянул ему обе руки и потащил его в дом.

— Спасибо тебе, старина! Как хорошо с твоей стороны, что ты привез его, — говорил Бонделл, принимая чемоданчик.

Он небрежно бросил его на диван, и Черчилль одобрительным взором отметил действие его тяжести на пружины. Бонделл засыпал его во-

просами:

— Как ты доехал? Как поживаются ребята? Что с Биллом Смитерсом? А Дел Бишоп все еще в компании с Пьерсом? Продал ли он моих собак? Каков оказался Сэлфер-Ботом? Ты хорошо выглядишь. На каком пароходе ты выехал?

На все это Черчилль отвечал, пока не прошли первые полчаса, и в разговоре не наступила пауза.

— Не хочешь ли ты взглянуть на него? — предложил Черчилль, кивая головой в сторону чемоданчика.

— О, это не важно, — отвечал Бонделл. — Оправдала ли заявка Митчелла его ожидания?

— Думаю, тебе было бы лучше взглянуть ка чемодан, — настаивал Черчилль. — Сдавая вещь, я хочу быть уверен, что сдал в целости. Всегда возможно, что кто-нибудь залез в него, пока я спал, или что-нибудь в этом роде.

— В нем нет ничего важного, старина, — отвечал Бонделл со смехом.

— Ничего важного? — повторил Черчилль слабым, упавшим голосом.

Затем он решительно заговорил:

— Луи, что там такое, в этом чемодане? Я хочу знать!

Луи поглядел на него с удивлением, затем вышел из комнаты и вернулся со связкой ключей. Он погрузил руку в чемодан и вытащил тяжелый револьвер «кольт-44»; затем появились несколько коробочек с патронами к нему и несколько ящичков с патронами для винчестера.

Черчилль взял чемоданчик и заглянул в него. Затем он перевернул его вверх дном и осторожно вытряхнул.

— Револьвер весь заржавел, — сказал Бонделл. — Он, вероятно, был под дождем.

— Да, — отвечал Черчилль. — Жаль, что он намок. Мне кажется, я был немного неосторожен.

Он встал и вышел на улицу. Десять минут спустя Луи Бонделл тоже вышел и застал его сидящим на ступенях: упершись локтями в колени, он подпер подбородок руками и пристально уставился в темноту.

Развести костер

Настал день серый и мрачный — необычайно серый и мрачный, когда путник свернул с главной тропы вдоль Юкона и стал взбираться по высокому земляному откосу, с которого еле заметная, слабо утоптанная тропинка вела на восток по пышному краснолесью. Береговой откос был крут, и путник остановился наверху, чтобы отдышаться, оправдывая перед самим собой этот поступок тем, что он хотел взглянуть на часы. Было девять часов. Солнце не показывалось, хотя на небе не виднелось ни единого облачка. Был ясный день, и все же — из-за отсутствия солнца — казалось, что все предметы задернуты неощутимой пеленой — тонкой дымкой, делавшей день серым. Человека это не беспокоило. Он привык к отсутствию солнца. Много дней прошло с тех пор, как он видел солнце, и он знал, что еще несколько дней пройдет, пока веселящий душу шар там, на юге, выглянет над горизонтом и немедленно исчезнет из виду.

Путник бросил взгляд назад, на дорогу, по которой пришел. Юкон, шириной в одну милю, лежал под трехфутовым пластом льда. Поверх

этого льда покоилось столько же футов снега. Все было безукоризненно бело, с мягкими волнообразными возвышениями в тех местах, где заморозки образовали ледяные глыбы. К северу и к югу, насколько мог видеть глаз, все было бело, за исключением тонкой, как волос, темной черты, которая вилась и загибалась к югу от острова, поросшего хвоей, а затем шла к северу, где и терялась из виду позади другого такого же островка.

Эта тонкая, как волос, линия была тропой, главной тропой, которая вела к югу на пятьсот миль через Чилкутский перевал к Дайе и к морю, а к северу эта тропа вела на тысячу миль в Нулато, до Св. Михаила на Беринговом море; всего было тысяча пятьсот миль.

Но таинственная, далекая, тонкая, как волос, тропа, отсутствие солнца на небе, ужасающая скука, странное очарование местности — все это не производило никакого впечатления на путника. И не потому, чтобы он давно привык к этому: он был новичком в этой земле — че-чаквас'ом, как их называют, — и проводил здесь первую зиму. Беда его была в том, что он не обладал воображением. Он был подвижен и проворен в житейских делах — человек дела, но не мысли. Пятьдесят градусов ниже нуля означало

восемь-десять с небольшим градусов мороза. Этот факт воспринимался им как холод и неприятность — вот и все. Он не наводил его ни на мысль о собственной бренности — бренности существа, подверженного действию температуры, ни о бренности человека вообще, способного существовать только в известных тесно очерченных границах тепла и холода; а затем он не переходил к умозрительным вопросам о бессмертии души и месте человека во вселенной. Пятьдесят градусов ниже нуля означали только зубастый мороз, который причинил боль и от которого нужно было защитить себя при помощи варежек, наушников, теплых мокасинов и толстых носков. Пятьдесят градусов ниже нуля было только пятьдесят градусов ниже нуля — не больше и не меньше. И никогда не приходила ему в голову мысль, что в них может заключаться еще какой-нибудь добавочный смысл.

Повернувшись, чтобы идти, он в раздумье сплюнул. Резкий треск поразил его. Он снова сплюнул. И снова, раньше чем упасть на снег — еще в воздухе, — плевок хрустнул. Он знал, что при пятидесяти ниже нуля плевок, коснувшись снега, вызывает треск, но тут он хрустел в воздухе. Несомненно, мороз был сильнее, чем в пятьде-

сят градусов; насколько сильнее — этого он не знал. Но не в холоде было дело. Он направлялся к старой заявке у левого рукава Гендерсоновой речки. Ребята уже были там. Они пришли через перевал с заявок у Индейской речки, в то время как он направился кружным путем, чтобы посмотреть, можно ли будет весной добыть бревен на островах Юкона. Он рассчитывал дойти до стоянки в шестом часу. Правда, это будет уже после наступления темноты; но парни будут тут, костер будет зажжен, а горячий ужин готов. Что касается завтрака, то он придерживал рукой сверток, выпиравший из-под куртки. Сверток, завернутый в носовой платок, был засунут даже под рубашку и покоился прямо на голом теле. Это был единственный способ предохранить сухари от замерзания. Он приятно улыбнулся самому себе при мысли об этих сухарях: все они были разрезаны на ломти, пропитаны салом, и между ними находилась поджаренная солонина.

Он нырнул в чащу больших хвойных деревьев. Тропа была еле заметна. Снег в фут глубиной выпал с тех пор, как проехали последние сани, и он радовался тому, что путешествовал налегке, без саней. Действительно, он не нес с собой ничего, кроме завтрака, завернутого в носовой платок.

Холод, однако, изумлял его. «В самом деле холодно», — решил он, потерев рукой в варежке окоченевший нос и скулы. Он носил густые бакенбарды, но волосы на лице не могли защитить выдающиеся скулы и непокорный нос, который совался на мороз.

По пятам за человеком трусила большая собака местной породы — настоящий волкодав, серой шерстью и характером почти не отличавшийся от своего брата — дикого волка. Животное было подавлено ужасающей стужей. Оно знало, что теперь не время путешествовать. Инстинкт давал псу более верные сведения, чем рассудок — человеку. На деле было не только ниже пятидесяти градусов, было ниже, чем шестьдесят, даже ниже семидесяти. Было семьдесят пять градусов ниже нуля. Если принять во внимание, что точка замерзания[86] находится на тридцать два градуса выше нуля, то мороз доходил до ста семи градусов. Пес ничего не смыслил в термометрах. Быть может, в его мыслях не было такого ясного сознания сильного холода, как в мозгу человека; но у животного имелся свой инстинкт. Оно испытывало смутное опасение, заставлявшее его

[86] Сноски: 86
По Фаренгейту.

ползти у самых ног человека и спрашивать себя при каждом его невольном движении, не собирается ли тот расположиться на отдых и развести костер. Пес знал, что такое огонь, и хотел огня, а не то он предпочел бы зарыться в снег и тем сберечь свою теплоту.

Мерзлая влага его дыхания осела на шерсти в виде мелкой ледяной пыльцы; в особенности побелели морда и веки. Рыжая борода и усы человека тоже замерзли, но гораздо больше: тут пар принял форму сплошной ледяной массы, утолщавшейся при каждом теплом, влажном выдыхании. При этом человек жевал табак, и ледяной намордник так плотно сжимал его губы, что он едва был в состоянии опустить подбородок, чтобы выплюнуть жвачку. В результате вдоль подбородка у него выросла борода, по цвету и прочности напоминавшая янтарь. Если бы он упал, она разбилась бы вдребезги, как стекло. Но он не обращал внимания на такое украшение. Это была дань, которую в той стране платили все любители пожевать табак, а он уже проделал два больших перехода по морозу. Правда, тогда было не так холодно, как теперь, но он знал, что спиртовой термометр форта на Шестидесятой Миле показывал пятьдесят и пятьдесят пять

ниже нуля.

Он храбро прошел несколько миль сквозь лес, пересек широкую равнину и спустился по отлогому откосу к замерзшему руслу небольшой речки. Это был Гендерсон-Крик, и он знал, что находится в десяти милях от приисков. Он взглянул на часы. Было десять часов. Он делал четыре мили в час и высчитал, что дойдет до разветвления в половине первого. Он решил съесть там свой завтрак и этим отпраздновать событие.

Когда человек снова пошел вдоль речки, пес опять побежал за ним по пятам, уныло опустив хвост. Борозда старого санного пути была ясно видна, но слой снега, дюймов в двенадцать, покрыл следы последних собак. В течение месяца никто не поднимался и не опускался по этой молчаливой речке. А человек шел неуклонно. Он был не особенно расположен к мыслительной деятельности, и как раз в это время ему не нужно было думать о чем-нибудь определенном, кроме того, что он позавтракает у приисков и в шесть часов придет к ребятам на стоянку. Разговаривать было не с кем; а если бы даже и был кто-нибудь, то разговор был бы невозможен из-за ледяного намордника на рту. Поэтому он продолжал монотонно жевать табак и удлинять

свою янтарную бороду.

По временам у него вновь появлялась мысль о том, что стужа ужасающая — пожалуй, он такой и не знал. Идя вперед, он тер варежкой скулы и нос. Он проделывал это автоматически — то одной рукой, то другой. Но, как он ни тер, скулы коченели, едва он переставал тереть, а в следующий момент коченел и кончик носа. Он был уверен, что отморозит щеки, и испытывал муки раскаяния оттого, что не завел себе наносника вроде того, какой носил Бэд при зимних переходах. Такой наносник защищал и щеки. Но, в конце концов, это было уже не так важно. Что такое отмороженные щеки? Немного больно — вот и все. Ничего серьезного.

Не думая ни о чем, путник имел возможность быть очень наблюдательным. Он замечал все изменения русла, изгибы и повороты, группы деревьев и всегда точно следил за тем, куда ставил ногу. Однажды, завернув за угол, он быстро отпрыгнул в сторону, как испуганный конь, обогнул то место, по которому шел, и отступил на несколько шагов назад по тропе. Он знал, что река замерзла до самого дна — ни в одной речке не могло быть воды в арктическую зиму, но он знал также, что имелись ключи, бившие с нагорного

берега и бежавшие под снегом по льду реки. Он знал, что самый свирепый холод не мог заморозить эти источники, и знал также, насколько они опасны. Это были ловушки: ямы глубиной от трех дюймов до трех футов — ямы, наполненные водой. Иногда они бывали покрыты ледяным пластом в полдюйма толщиной, в свою очередь спрятавшимся под снегом. Порою попадались перемежающиеся пространства воды и ледяной коры, так что если кто-нибудь проваливался, то иногда погружался до пояса.

Вот почему он отскочил в таком паническом страхе. Под ногами у него затрещала покрытая снегом ледяная кора. Замочить ноги при такой температуре было и неприятно, и опасно. В лучшем случае это было сопряжено с задержкой, так как ему пришлось бы остановиться и развести огонь и под его защитой обнажить ноги, пока просохнут носки и мокасины. Он остановился, рассматривая русло и берега речки, и решил, что ручей течет справа. Он подумал некоторое время, растирая нос и щеки, затем свернул налево, шагая осторожно и пробуя грунт при каждом шаге. Выйдя из опасной полосы, он положил в рот свежую табачную жвачку и пошел вперед прежним ходом — четыре мили в час.

В течение следующих двух часов натыкался на несколько таких же ловушек. Обычно снег поверх скрытых ям выглядел как бы подтаявшим — это предупреждало об опасности. Один раз, однако, он чуть-чуть не попался. В другой раз, подозревая об опасности, он заставил собаку пройти первой. Собака не хотела идти. Она хоронилась за человека, пока тот не толкнул ее вперед. Затем она быстро побежала по гладкой белой поверхности. Вдруг она провалилась, рванулась в сторону и выбралась на твердый грунт. Она замочила передние лапы, и вода, приставшая к ним, почти немедленно обратилась в лед. Она сразу принялась слизывать лед с лап, а затем повалилась в снег и стала выкусывать куски льда, образовавшегося между пальцами. Это был инстинкт. Если оставить лед промеж пальцев, то заболят лапы. Она не знала этого, повинуясь лишь таинственному побуждению, исходившему из глубочайших тайников ее существа. Но человек это знал; поэтому он снял варежку с правой руки и помог ей вытаскивать кусочки льда. Он обнажил пальцы не более чем на минуту и удивился тому, как быстро они оцепенели. Да, действительно, было зверски холодно. Он быстро натянул варежку и стал свирепо колотить руку о грудь.

Полдень — самое светлое время дня. Солнце, однако, находилось слишком далеко к югу, чтобы подняться над горизонтом. Выпуклость земли протиснулась между ним и Гендерсон-Криком, вдоль которого человек шел под ясным небом, не отбрасывая тени. В половине первого, минута в минуту, он дошел до разветвления реки. Он был доволен быстротой хода. Если он будет продолжать в том же духе, то, несомненно, в шесть часов присоединится к товарищам. Он расстегнул куртку и рубашку и вытащил завтрак. Все это заняло не более четверти минуты, но и в этот краткий миг пальцы успели окоченеть. Он не надел варежек; вместо этого раз двенадцать сильно хлопнул себя рукой по ноге. Затем он присел на покрытое снегом бревно, чтобы поесть. Чувствительность, вызванная ударом по ноге, прекратилась так быстро, что он даже удивился. Ему не удалось откусить ни одного куска сухаря. Он еще несколько раз ударил себя рукой, снова всунул ее в варежку и обнажил другую для еды. Он попытался отгрызть кусочек, но помешал ледяной намордник. Он посмеялся своей глупости и, смеясь, почувствовал, как оцепенение пробирается по пальцам. Он заметил также, что уколы, которые он ощутил в пальцах ног, как

только присел, теперь прекратились. Неужели пальцы отморожены? Он подвигал ими внутри мокасинов и решил, что они окоченели. Затем он поспешно надел варежку и встал. Он слегка испугался и стал топтаться на месте, пока кровообращение в ногах не восстановилось. «В самом деле холодно», — подумал он. Парень с Серной речки говорил правду, когда рассказывал о том, какие холода иногда бывают в этой стране. А он-то еще посмеялся тогда над этим парнем! Это показывало, что человек никогда не должен быть слишком уверен в том, что знает. Было явно холодно — тут не могло быть никакой ошибки. Он ходил взад и вперед, топая ногами и хлопая в ладоши, пока вернувшееся ощущение тепла не ободрило его. Тогда он вытащил спички и принялся разводить костер. Топливо он добыл из кустарника, в который прошлогодний разлив нанес большой запас сухого хвороста. Работая бережно, он скоро развел огонь, над которым растопил лед, облепивший лицо. Под защитой костра он съел свои сухари. На время он перехитрил стужу. Собака наслаждалась огнем, растянувшись достаточно близко от костра, чтобы согреться, и достаточно далеко, чтобы не обжигаться.

Покончив с едой, он набил трубку и некоторое

время прохлаждался, покуривая. Затем натянул варежки, крепко притянул наушники к ушам и пошел по реке вдоль левого рукава. Собака была разочарована и тосковала по огню. Этот человек не знал, что такое мороз. Возможно, что ни один из его предков не имел представления о морозе — настоящем морозе в сто семь градусов ниже точки замерзания. Но собака знала: все ее предки знали, и она унаследовала это знание. И она знала, что нехорошо путешествовать в такую страшную стужу. В такое время надо было лежать, свернувшись, в снеговой берлоге и ждать, покуда облачная завеса не закроет того пространства, из которого исходил этот холод. С другой стороны, между человеком и псом не было интимной близости. Один был вьючным рабом другого, и единственные ласки, которые он получал, были ласки плетки и грубые угрожающие гортанные звуки, говорившие о той же плетке. Поэтому собака не делала никаких попыток сообщить человеку свои опасения. Она не была заинтересована в благополучии этого человека. К огню она стремилась ради себя самой. Но человек свистнул и заговорил с ней звуками, напоминавшими удары плетки, и она снова пошла по пятам человека. Он же сунул в рот табачную

жвачку и начал отращивать себе новую янтарную бороду. Дыхание его быстро покрыло белой пудрой усы, брови и ресницы.

Казалось, что на левом рукаве Гендерсон-Крика не было такого множества ручьев, и в течение получаса человек не встретил никаких признаков ловушки.

Но тут-то произошла катастрофа. На месте, где мягкий нетронутый снег, казалось, ручался за твердость грунта, — на таком месте… человек провалился. Было неглубоко: он намок только до половины голени, пока выскочил на твердую поверхность.

Он разозлился и громко проклял свою неудачу. Он надеялся соединиться с товарищами в шесть часов, а это задержит его на час, ибо придется развести костер и просушить обувь. Это было неизбежно при такой низкой температуре. Настолько-то уж он был сведущ. И он свернул в сторону и взобрался на берег. Наверху имелся нанесенный разливом и застрявший в кустарнике, между стволами мелких сосен, склад топлива — преимущественно палки и хворост, а также несколько больших сухих ветвей и засохшая прошлогодняя трава. Он бросил на снег большие ветки. Они должны были служить

фундаментом, чтобы пламя не погасло в растопленном им же снегу. Огонь он раздобыл, запалив при помощи спички кусок березовой коры, который вынул из кармана. Она воспламенилась скорее, чем бумага. Положив ее на фундамент, он питал молодое пламя пучками сухой травы и самым мелким хворостом.

Он работал медленно и бережно, остро чувствуя опасность. Постепенно, по мере того как огонь вырастал, он увеличивал размеры сухих веток, которыми кормил его. Сидя на корточках в снегу, он вытаскивал хворост, запутавшийся в кустарнике, и немилосердно скармливал его огню. Он знал, что тут не должно быть ошибок: при семидесяти пяти градусах ниже нуля человек не должен ошибаться при первой попытке развести огонь, в особенности когда он промочил ноги. Если он потерпел неудачу при сухих ногах, он может пробежать полмили и восстановить кровообращение. Но при мокрых и замерзающих ногах — в такой мороз — кровообращение таким путем не восстановить. Как бы скоро он ни бежал, ноги будут все больше коченеть.

Все это человек знал. Старожил на Серной реке говорил ему это прошлой зимой, и он воспользовался его советом. Уже теперь ноги потеряли

чувствительность. Чтобы развести огонь, он принужден был снять варежки, и пальцы быстро закоченели. Его быстрый ход (по четыре мили в час) помогал сердцу гнать кровь на периферию тела и во все конечности. Но как только он остановился, действие насоса ослабело. Холод ударил по незащищенной части нашей планеты, и человек, находившийся на этой незащищенной части, испытал на себе всю силу удара. Кровь его отступила под этим натиском. Кровь была жива, как собака, и подобно собаке она хотела укрыться от ужасной стужи. Пока он проходил четыре мили в час, кровь, volens-nolens[87], выкачивалась на периферию. Но теперь она отливала и укрывалась в тайниках тела. Конечности… Вот кто сразу почувствовал ее отсутствие. Ноги его замерзали, а обнаженные пальцы быстро коченели, хотя еще и не начали замерзать. Нос и щеки уже были отморожены, а по коже тела пробегал озноб, по мере отлива крови.

Но он был в безопасности. Пальцы ног, нос и щеки будут только слегка тронуты морозом, ибо огонь начинал сильно гореть. Он кормил его ветками в два пальца толщиной. Еще через

---

[87] Сноски: 87
Volens-nolens *(лат.)* — волей-неволей.

минуту он начнет питать его сучьями толщиной в руку, и тогда он сможет снять мокрую обувь, а пока она будет сохнуть, он согреет у огня голые ступни, сперва, разумеется, натерев их снегом. Костер удался на славу. Человек был в безопасности. Он вспомнил совет старожила с Серной речки и улыбнулся. Старожил совершенно серьезно провозгласил закон, что никто не должен путешествовать один по Клондайку при температуре ниже пятидесяти градусов. И вот он это сделал: с ним случилось несчастье; он был один; и он спасся. «Эти старожилы, — подумал он, — иногда настоящие бабы». Все, что человек должен делать, — это не терять головы, и все будет в порядке. Всякий мужчина — настоящий мужчина — может путешествовать один. Но быстрота, с которой замерзали его щеки и нос, была просто поразительна. Он не думал также, что его пальцы могут стать безжизненными в такой короткий срок. А они были безжизненны, ибо он едва мог сложить их, чтобы захватить кусочек хвороста; и казалось, точно они отделились от него и от его тела.

Когда он брал ветку, ему приходилось смотреть на руку, чтобы узнать, держит он ветку или нет. Провода между ним и кончиками его пальцев

были сорваны начисто.

Но это все было неважно. Огонь был тут — манящий, хрустящий, обещающий жизнь каждым из своих пляшущих языков. Он начал развязывать мокасины. Они были залеплены льдом, толстые немецкие носки до половины напоминали железные ножны, а шнурки от мокасинов уподобились стальным прутьям, сплавившимся и сплетенным под действием сильного огня. Одно время он работал над ними своими окоченевшими пальцами; затем, поняв всю нецелесообразность этого, вынул свой охотничий нож.

Но это произошло раньше, чем он успел разрезать шнурки. Это случилось по его собственной вине, или, вернее, ошибке. Ему не следовало раскладывать костер под сосной. Он должен был развести его под открытым небом. Но было легче вытаскивать веточки из кустарника и прямо бросать в огонь. Дерево же, под которым он расположился, носило на ветвях тяжелый груз снега. Ветер не дул по неделям, и каждая ветка была нагружена до предела. Всякий раз, как он вытаскивал сухую ветку, он чуть-чуть раскачивал дерево; движение было еле заметное, но достаточное, чтобы произвести катастрофу. Высоко у верхушки один сук сбросил свою снежную но-

шу. Она упала на нижние сучья и разгрузила их. Этот процесс продолжался, ширился и охватил все дерево целиком. Он разрастался, как лавина, без предупреждения обрушился на костер… и погасил огонь! Там, где он горел, теперь лежал покров свежего, беспорядочно накиданного снега.

Человек был потрясен, точно услыхал над собой смертный приговор. Одно мгновение он сидел и глядел на место, где прежде был огонь. Затем он сразу успокоился. Может быть, старожил с Серной реки был прав. Если бы у него был попутчик, он бы теперь был вне опасности. Попутчик мог бы развести костер. Ну а теперь ему самому приходилось разжигать костер снова, и теперь уже не должно было быть неудачи. Даже если ему удастся это сделать, он потеряет один или два пальца. Уже и сейчас его ступни, вероятно, здорово отморожены, а ведь должно еще пройти известное время, пока костер будет готов.

Таковы были его мысли, но он не продумывал их сидя. Он работал все время. Пока они мелькали в его мозгу, он работал, работал неустанно. Он сложил новый фундамент для костра, на сей раз на открытом месте, где ни одно предательское дерево не могло погасить его. Затем он набрал сухих трав и мелкого хвороста из весеннего наноса:

он не был в состоянии сложить пальцы, чтобы вытаскивать их, но мог брать пригоршнями. При таком способе действия он хватал много неудобных веток и нежелательных кусков зеленого мха; но это было все, что он мог сделать. Он работал методически и набрал даже охапку больших сучьев, чтобы пустить их в ход после, когда огонь разгорится. Все это время собака сидела и наблюдала за ним с какой-то тоскливой жадностью в глазах, ибо она видела того, кто добывает огонь, а огонь рождался очень медленно.

Когда все было готово, человек полез в карман за новым куском березовой коры. Он знал, что кора находится там. Он не мог нащупать ее пальцами, но слышал хруст, когда шарил в кармане. Как он ни старался, ему не удавалось ее схватить. А в мозгу все время оставалось сознание, что ступни замерзают. Эта мысль едва не привела его в панический ужас. Но он боролся с нею и сохранял спокойствие. Он зубами натянул варежки, двигал руками взад и вперед и со всей силы бил себя ладонями по бокам. Сначала он проделывал это сидя, затем встал. А все это время собака сидела на снегу, тепло обернув передние лапы щеткой своего волчьего хвоста, внимательно насторожив свои острые волчьи уши, и следила

за человеком. А человек, махавший и ударявший руками, ощутил сильный прилив зависти при виде этого существа, находившегося в тепле и безопасности под природным прикрытием.

Через некоторое время он ощутил первые отдаленные признаки чувствительности в своих размятых пальцах. Легкий зуд все усиливался, пока не перешел в мучительную колющую боль, которой человек, однако, обрадовался. Он стянул с правой руки варежку и вытащил березовую кору. Обнаженные пальцы снова начали быстро коченеть. Затем он извлек пачку серных спичек. Но ужасающий мороз уже опять выгнал жизнь из его пальцев. При его попытке отделить одну спичку от других вся пачка упала в снег. Он пытался вытащить ее оттуда, но это ему не удалось. Мертвые пальцы не могли ни нащупать, ни ухватить. Он действовал весьма планомерно. Он удалил из своего сознания мысль об отмерзавших ступнях, щеках и носе, отдавая всю душу спичкам. Он наблюдал (пользуясь зрением вместо осязания), пока его пальцы не расположатся по обе стороны пачки, и затем сжимал их — вернее, хотел сжать, так как провода были порваны и пальцы не слушались. Он натянул варежку на правую руку и стал свирепо бить ее о колено. Затем обеими ру-

ками в варежках он бросил пачку спичек к себе на колени вместе с большим количеством снега. Но от этого ему не стало лучше.

При помощи некоторых манипуляций он ухитрился зажать связку между ладонями, не обнажая рук. Этим путем он поднес ее ко рту. Лед трескался и хрустел, когда он со страшным усилием раскрыл рот. Он втянул нижнюю челюсть, поджал верхнюю губу, схватил пачку зубами, чтобы вынуть одну спичку. Ему удалось захватить одну и уронить ее себе на колени. Но и от этого дело не подвинулось: он не мог поднять ее.

Тогда он придумал другой способ. Он зажал ее зубами и чиркал ею о ногу. Он проделал это двенадцать раз, пока ему удалось ее зажечь. Когда она загорелась, он зубами поднес ее к березовой коре. Но горящая сера ударила ему в ноздри, прошла в легкие и вызвала судорожный кашель. Спичка упала в снег и погасла.

«Старожил с Серной речки был прав, — подумал он, когда на один момент его захлестнуло отчаяние. — При температуре ниже пятидесяти человек не должен путешествовать без спутника». Он кусал свои руки, но не мог возбудить чувствительность. Вдруг он обнажил обе руки, стянув варежки зубами. Он зажал всю пачку меж-

ду ладонями, незамерзшие мускулы рук давали ему возможность крепко сжать спички. Затем он потер всю пачку о ногу. Семьдесят спичек сразу вспыхнули ярким пламенем! Ветра не было, так что погаснуть они не могли. Он отвернул лицо, чтобы избежать удушливого дыма, и поднес пылающую пачку к березовой коре. Держа ее таким образом, он испытывал какое-то ощущение в руке: его мясо горело. Он чуял запах и что-то ощутил, словно легкую боль. Ощущение это разрасталось в острую боль. Но он переносил ее, неуклюже поднося пламя к коре, которая не хотела зажигаться, ибо мешали его собственные руки, привлекавшие к себе большую часть пламени.

Наконец, не в силах больше терпеть, он отдернул руку. Горящие спички с шипением упали в снег, но кора воспламенилась. Он начал класть на огонь сухие травы и мельчайшие кусочки хвороста. Он не мог выбирать, так как ему приходилось поднимать свое топливо, зажимая его между ладонями. Кусочки гнилого дерева и зеленого мха приставали к хворосту, и он выкусывал их зубами, как мог. Он пестовал пламя тщательно, но неловко. В пламени заключалась жизнь, и оно не должно было погибнуть. Теперь отлив крови от периферии тела вызвал дрожь,

и он стал более неуклюжим. Большой кусок зеленого мха упал прямо на костер. Он попытался его вытолкнуть, но дрожащее тело заставило его дать слишком сильный толчок, и он развалил гнездо маленького костра, так что горящие травы и веточки рассыпались в разные стороны. Он старался сдвинуть их снова, но, несмотря на все напряжение его, дрожь продолжалась, и ветки бесполезно рассыпались. Каждая ветка в отдельности гасла, выбрасывая клуб дыма. Добыватель огня потерпел неудачу.

Он апатично посмотрел вокруг себя. Взгляд его случайно упал на собаку, сидевшую на снегу по ту сторону развалившегося костра. Собака беспокойно переминалась с ноги на ногу и с какой-то тоской раскачивалась взад и вперед.

Вид собаки внушил ему дикую мысль. Он вспомнил рассказ про человека, который, будучи занесен вьюгой, убил вола, влез в его тушу и таким образом спасся. Он убьет собаку и засунет руки в теплое тело, пока оцепенение не покинет их. Тогда он сумеет развести новый костер. Он заговорил с собакой, подзывая ее к себе. Но в его голосе прозвучала странная боязливая нотка, которая испугала животное, никогда прежде не слышавшее, чтобы человек говорил таким то-

ном. За этим что-то скрывалось, и собака почуяла опасность. Какую? Этого она не знала; но как-то где-то в ее мозгу выросло недоверие к человеку. Она опустила уши при звуке его голоса и стала казаться еще беспокойнее. Но подойти к человеку она не хотела. Он стал на четвереньки и пополз к собаке. Эта необычная поза опять-таки возбуждала подозрение, и собака слегка отодвинулась в сторону.

Человек на минуту присел на снег и попытался вернуть себе спокойствие. Затем зубами он натянул варежки и встал на ноги. Сперва он поглядел вниз, чтобы убедиться, что он действительно стоит на ногах: отсутствие чувствительности в ступнях разрывало связь между ним и землей. Уже самое его стоячее положение было способно сдернуть с собачьей души покров подозрений. А когда он заговорил повелительно — звуки напоминали удары хлыста, — собака оказала обычное повиновение и подошла к нему. Когда она приблизилась настолько, что ее можно было схватить, человек потерял самообладание. Он протянул руку к собаке и удивился, когда обнаружил, что руки его не могут схватить: пальцы не могли ни осязать, ни сгибаться. На мгновение он забыл, что они отморожены и замерзали все

больше и больше. Все это произошло чрезвычайно быстро, и прежде чем животное успело ускользнуть, он обвил его тело руками. Затем он присел на снег, держа рычащую и отбивающуюся собаку.

Но этим и ограничивалось все, что он мог сделать: сидеть и держать ее тело в своих объятиях. Он понял, что собаку убить не может. Своими беспомощными руками он не мог ни держать нож, ни вытащить его из ножен, ни задушить животное. Он понял это, и собака отбежала далеко, все еще рыча и поджимая хвост. Она остановилась в сорока шагах и с любопытством наблюдала за ним, чутко насторожив уши. Человек поглядел на свои пальцы, затем стал хлопать руками по бедрам. Он проделывал это в течение пяти минут, и за это время сердце его накачало достаточно крови на периферию тела, чтобы прекратить дрожь. Но в кистях рук не появилось никакой чувствительности. У него было ощущение, словно они свисают, как гири.

Страх смерти, тупой и гнетущий, охватил его. Страх быстро обострился, когда он понял, что дело шло не только об отмороженных пальцах или о потере рук и ног. Вопрос шел *о жизни и смерти,* причем все шансы были против него. Это поверг-

ло его в панику. Он повернулся и побежал вверх по руслу реки, по старой, чуть заметной тропе. Собака присоединилась к нему и трусила следом за ним. Он бежал слепо, бесцельно, в таком страхе, какого не испытывал никогда в жизни.

Медленно пробираясь и спотыкаясь в снегу, он снова стал различать предметы: берега речки, голые осины и небо. Бег ободрил его. Он перестал дрожать. Быть может, если он будет бежать и дальше, ноги его оттают. Во всяком случае, если он отбежит достаточно далеко, он доберется до лагеря и до ребят. Несомненно, он лишится нескольких пальцев на руках и ногах, пострадает и лицо; но ребята позаботятся о нем и спасут, если он только добежит туда.

И другая мысль шевелилась в его мозгу: никогда ему не добраться до лагеря и до товарищей, слишком много миль до них, слишком уж он замерз и скоро совсем окоченеет. Он гнал эту мысль. Но она все настойчивей его преследовала, и он гнал ее снова, пытаясь думать о другом.

Он немало удивился возможности бежать на ногах, отмороженных до такой степени, что не чувствовал, как они прикасались к земле и несли тяжесть его тела. Ему казалось, точно он порхает над поверхностью, не касаясь земли. Однажды

он где-то видел крылатого Меркурия и теперь подумал: не так ли чувствовал себя Меркурий, витая по воздуху.

Его план достижения лагеря имел один изъян: человеку не хватало выносливости. Несколько раз он оступался и, наконец, зашатался, наклонился и упал. Он попытался встать — и не смог. Он решил, что должен сесть и отдохнуть. Затем спокойно пойдет вперед. Посидев и отдышавшись, он заметил, что ему стало тепло и уютно. Он не дрожал, и даже казалось, что какой-то жар разлился по груди и всему туловищу. Однако, прикасаясь к носу или щекам, он ничего не чувствовал. Бег не дал им возможности оттаять; руки и ноги тоже не оттаяли. Затем ему пришло в голову, что замерзание должно распространиться на другие части тела. Он пытался подавить эту мысль, забыть о ней, думать о чем-нибудь другом. Он сознавал производимое ею паническое чувство, и оно его пугало. Но мысль все укреплялась и не исчезала, пока не вызвала в нем представления об окончательно замороженном теле. Этого он не выдержал и опять бегом понесся вдоль тропы. Затем умерил бег и зашагал, но скоро мысль о возрастающем замерзании заставила его снова побежать.

А собака все время бежала за ним по пятам. Когда он вторично упал, она обернула хвостом передние лапы и уселась прямо против него, глядя на него пристально и внимательно. Теплота и безопасность животного раздражали человека, и он проклинал до тех пор, пока она примирительно не опустила уши. На этот раз озноб овладел человеком скорее, чем прежде. Близок был конец его схватки с морозом; человек проигрывал. Холод заползал в его тело. Мысль об этом подстегнула его; но он пробежал не более ста шагов, споткнулся и растянулся во весь рост. Когда он отдышался и вернул себе самообладание, он присел и стал обдумывать, как встретить смерть с достоинством. Конечно, эта идея предстала ему в несколько иной форме. Его мысль сводилась к тому, что он до сих пор валял дурака, бегая, как цыпленок с отрезанной головой (таково было сравнение, пришедшее ему в голову). Итак, ему все равно предстояло замерзнуть — лучше, если он примет это пристойно. С этим новообретенным спокойствием пришли и первые признаки сонливости. «Это хорошая мысль, — подумал он, — проспать до смерти». Это походило на анестезию. Замерзнуть совсем не так плохо, как иные думают. Есть множество более страшных

видов смерти.

Он представил себе, как ребята завтра найдут его тело. Неожиданно он увидел, что идет вместе с ними и отыскивает самого себя. Вместе с ними он обогнул поворот тропы и нашел самого себя лежащим в снегу. Он уже не принадлежал себе, ибо даже тогда он был вне своего тела и стоял вместе с товарищами, разглядывая самого себя. «В самом деле холодно», — думал он. Когда он вернется в Штаты, он сумеет рассказать людям, что такое мороз. Затем мысль его метнулась к старожилу с Серной речки. Он видел его совершенно отчетливо сидящим в тепле и уюте и курящим трубку.

— Твоя правда, старина. Твоя правда, — пробормотал человек, обращаясь к старожилу с Серной речки.

Затем он погрузился в какое-то спокойствие — оно казалось ему самым сладким сном во всей его жизни. Собака сидела, глядя на него и выжидая. Короткий день заканчивался долгими, медлительными сумерками. Костра не было, и никто его не разводил. Собака никогда в жизни не видела, чтобы человек сидел вот так на снегу и не разводил костра. По мере того как день угасал, жадная тоска по огню захватила ее и пересилила все чувства. Эта тоска заставила ее тихо заску-

лить и опустить уши в ожидании, что человек на нее накричит.

Но человек молчал. Немного погодя собака проскулила громче. А спустя еще некоторое время она подползла к человеку, почуяла запах мертвечины. Она ощетинилась и попятилась назад. Некоторое время она выла под звездами, весело плясавшими по холодному небу. Затем повернулась и побежала вверх по тропе — к стоянке, где, как она знала, были другие люди — те, что добывают огонь и пищу.

Пятно

Я теперь мало думаю о Стивене Маккэе, хотя прежде клялся его именем. Я уверен, что в те дни любил его больше родного брата. Но если еще когда-нибудь мне придется встретиться со Стивеном Маккэем — я не отвечаю за себя. Я не могу примириться с тем, что человек, с которым я делил пищу и одеяло и который вместе со мной перемахнул через Чилкутский перевал, повел себя так, как он. Я всегда считал Стива открытой душой, добрым товарищем, не знающим, что такое мстительность и злоба. Не буду больше никогда доверять своему суждению о людях. Еще бы! Я выходил этого человека, когда он лежал в тифу, мы вместе умирали с голоду у водоемов Стюарта; и он спас мне жизнь на Малом Лососе. И вот теперь, после стольких лет, проведенных вместе, я могу только сказать, что Стивен Маккэй — самый подлый человек, какого я когда-либо знал.

Мы пустились в путь на Клондайк в начале зимы 1897 года, слишком поздно, чтобы успеть перевалить через Чилкут до заморозков. Некоторое время мы протащили свой запас провианта

на спинах, как вдруг пошел снег, и нам пришлось купить собак, чтобы совершить остальной путь на санях. Тогда-то мы и приобрели Пятно. Собаки были в цене, и мы заплатили за него сто десять долларов. На вид он этого стоил. Я говорю «на вид», ибо это была одна из самых красивых собак, каких я когда-либо видел. Он весил шестьдесят фунтов и казался отменной собакой для упряжки. Породы его мы так и не сумели определить. Он не был ни волкодавом, ни маламутской, ни гудзонской породы, хотя в нем было что-то от этих собак. И сверх того он походил на собак белых людей, ибо на одном боку, в самой середине желто-бурой спины — а эта окраска была основной, — у него имелось черное как уголь пятно величиной с донышко ведра. Вот почему мы назвали его Пятном.

Да, выглядел он хорошо. Когда он бывал «в форме», мускулы его выпирали. На вид он был самым сильным, самым понятливым животным, какое я когда-либо видел на Аляске. При взгляде на него думалось, что он способен перевозить больше груза, чем три собаки его веса. Быть может, это и так, хотя я никогда не видел, чтобы он это делал. Его ум был направлен не в ту сторону. Воровал и жульничал он в совершенстве. Он обладал про-

сто поразительным инстинктом — угадать, что предстоит работа, и умело от нее увильнуть. Он был почти гениален в том, чтобы как раз в нужную минуту потеряться и потом опять найтись. Но когда доходило до дела, всякая понятливость покидала его, и он превращался в какую-то массу такого глупого трясущегося мяса, что при взгляде на него сердце обливалось кровью.

Иногда мне казалось — это была не глупость; подобно некоторым известным мне людям, он был слишком умен, чтобы работать. Я не удивляюсь, что при помощи этой своей сметки он все время брал верх над нами. Может быть, он все точно рассчитал и решил, что время от времени трепка без работы лучше, чем постоянная работа без трепки. Он был достаточно умен для такого расчета. Говорю вам, я сидел и глядел этой собаке в глаза, пока мурашки не забегали у меня по спине и спинной мозг не стал бродить как дрожжи, — такой ум светился в этих глазах. Я не могу подобрать для него подходящее выражение. Это не поддается описанию обычными словами. Я видел — и этого довольно. Порой при этом казалось, точно заглядываешь в человеческую душу; а то, что я там увидел, испугало меня и пробудило во мне различные мысли… о перевоплощении и

т. п. Уверяю вас, я почувствовал что-то большое в глазах этой собаки. В них светилась какая-то весть, но я сам был недостаточно велик, чтобы уловить ее. Что бы там ни было (я знаю, меня сочтут сумасшедшим) — что бы там ни было, но оно сбивало меня с толку. Я не могу дать ни малейшего понятия о том, что я увидал в глазах этого животного: дело было не в блеске и не в окраске; там было что-то мерцающее, движущееся, уходящее вглубь, в то время как самые глаза не двигались. Мне кажется, что я никогда не видел, как оно двигалось, я только чувствовал, что оно движется. Это было выражение. Вот что это было! И на меня оно производило впечатление движения. Нет! Это не походило на простое выражение; тут было нечто большее. Я не знаю, что это было. Но все равно оно возбуждало во мне чувство какого-то родства, или, точнее, родства равного с равным. Эти глаза никогда не умоляли, как глаза оленя: они вызывали на поединок. Нет, это был и не вызов, а спокойное утверждение равенства. И я не думаю, что это было преднамеренно. Я полагаю, с его стороны это было бессознательно. Оно было там, потому что было, и невольно просвечивало. Нет, я не хочу сказать «просвечивало». Оно не светилось,

оно *двигалось.* Я знаю, что говорю бестолково, но если бы вы заглянули в глаза этого животного так же, как я, то вы бы поняли. Стив испытывал то же чувство, что и я.

Между прочим, однажды я хотел убить Пятно: этот пес ни на что не годился. Но мне это не удалось. Я повел его в кусты, и он шел за мной медленно и неохотно. Он знал, что его ждет. Я остановился на удобном месте, наступил ногой на веревку и выхватил свой большой «кольт». А собака сидела и глядела на меня. Уверяю вас, она не молила о пощаде. Она только глядела. И я увидел целую массу непонятных вещей, которые двигались — да, *двигались* в этих глазах. Фактически я не видел, как они двигались; я думал, что вижу, ибо, как сказано, я, вероятно, только чувствовал их. И я хочу сказать вам напрямик, что это было выше моих сил. Это напоминало убийство человека — сознательного, храброго человека, который прямо глядел в ваше дуло, как бы говоря: «Кто из нас боится?» Тогда весть казалась такой близкой, что я, вместо того чтобы быстро спустить курок, остановился и смотрел, не сумею ли я эту весть уловить. Вот она, была тут, прямо передо мною, мелькала то тут, то там в этих глазах. И тут уже было слишком поздно.

Я был испуган. Я дрожал всем телом и в желудке ощущал странное содрогание, доводившее меня до морской болезни. Я все сидел и глядел на этого пса, а он — на меня, пока мне не стало казаться, что я схожу с ума. Хотите знать, что я сделал? Я бросил оружие на землю и побежал обратно к стоянке. Стив поднял меня на смех. Но я обращаю ваше внимание: через недельку Стив повел Пятно в лес с той же самой целью и вернулся один, а немного погодя притащился и Пятно.

Как бы то ни было, Пятно не хотел работать. Мы заплатили за него сто долларов из последних денег; а он не хотел работать. Он даже не хотел натягивать постромки. Стив поговорил с ним по душам в первый же раз, когда мы запрягли его, а он вроде как бы содрогался — и только. Ни вот настолько он не налег на постромки. Стоял неподвижно и дрожал, как желе. Стив хлестнул его плеткой. Он взвизгнул, но не тронулся с места. Стив хлестнул его снова, немного сильнее, и он завыл правильным протяжным волчьим воем. Тогда Стив взбесился и всыпал ему хорошенько. Я прибежал бегом из палатки.

Я заметил Стиву, что он жестоко обращается с собакой, и у нас произошла размолвка — первая в жизни. Он бросил плетку на снег и ушел в бе-

шенстве. Я поднял ее и приступил к делу. Пятно дрожал, извивался и припал к земле, раньше чем я успел взмахнуть плеткой, а после первого удара он завыл, как осужденная душа. Затем он лег в снег. Я погнал остальных собак, и они потащили его вперед, в то время как я лупил его плетью. Он повернулся на спину и потащился таким образом, перебирая всеми четырьмя лапами и воя так, точно его пропускали через мясорубку. Стив вернулся и высмеял меня, а я попросил у него извинения за свои слова.

Не было способа извлечь какую-нибудь работу из этого Пятна: при этом он был самым свински прожорливым псом, какого я когда-либо видел. А сверх того это был искуснейший вор. Обмануть его было невозможно. Не раз мы за завтраком оставались без солонины, ибо Пятно успевал нас предупредить. И именно из-за него мы едва не умерли с голоду у верховьев Стюарта. Он изобрел способ пробраться в нашу яму с провизией. Чего он не мог сожрать, то доедала остальная свора. Но он был беспристрастен: он крал у всякого. Это был беспокойный пес, постоянно рыскавший повсюду. На пять миль в окружности не было стоянки, на которую бы он не совершил набега. Хуже всего было то, что люди всегда приходили к нам

за оплатой его счетов. Это было справедливо (ибо таков был закон той страны), но очень тяжело для нас — особенно зимой на Чилкуте, когда нам приходилось разоряться — платя за целые окорока и грудинки, которых мы никогда не ели. Он умел также сражаться, он умел делать все, кроме работы. Он никогда не провез ни одного фунта, а вместе с тем был главарем всей своры. Он как бы воспитывал остальных собак, тренируя их так, что всегда то та, то другая носила свежие следы его зубов. Но он был не только забиякой. Он не боялся ни одного четвероногого существа: я видел, как он один входил в середину чужой своры и, никого не задирая, накладывал лапу на всю пищу. Сказал ли я вам, какой это был едок? Однажды я поймал его на том, как он пожирал плетку. Истинная правда! Он начал с ремня, а когда застал его, он уже дошел до рукоятки и продолжал есть.

Но выглядел он великолепно. Под конец первой недели мы продали его полиции за семьдесят пять долларов. У них имелись опытные погонщики собак, и мы знали, что, когда он пробежит шестьсот миль до Доусона, он станет хорошей упряжной собакой. Я говорю, *мы знали*, ибо лишь недавно познакомились с Пятном. Немного по-

годя мы уже не были настолько самонадеянны, чтобы *знать* что-либо, к чему он имел касательство. Через неделю, поутру, мы были разбужены свирепой собачьей дракой. Это вернулся Пятно и разносил в клочья всю свору. Могу вас уверить, что в то утро мы позавтракали в довольно-таки подавленном состоянии духа. Но через два часа мы несколько ободрились, когда продали его казенному курьеру, отправлявшемуся в Доусон с правительственными депешами. Пятно пробыл в отсутствии всего три дня — и, по обыкновению, отпраздновал свое возвращение дракой.

После того как наш провиант был перевезен через перевал, мы зиму и весну занимались перевозкой чужих припасов. Мы зарабатывали жирный куш. Кроме того, мы наживали деньги на Пятне. Мы продавали его раз двадцать. Он всякий раз возвращался, и никто не требовал денег обратно. Нам тоже не надо было денег. Мы хорошо заплатили бы всякому, кто бы навсегда избавил нас от него. Мы должны были от него отделаться; но подарить его мы не могли, ибо это вызвало бы подозрения. Но он выглядел великолепно, и нам всегда легко было его продать.

— Не обломался еще, — говорили мы, и они платили нам любую цену.

Мы продавали его даже за такую низкую цену, как двадцать пять долларов. Зато однажды мы получили за него сто пятьдесят. Этот чудак-покупатель лично вернул нам его, отказался получить деньги обратно, и страшно было слушать, как он нас поносил. Он сказал, что дал бы еще дороже, если бы можно было сказать все, что он о нас думает. А мы чувствовали его правоту и ничего не возражали. Но до сего дня я не вернул себе того самоуважения, которым обладал до разговора с этим человеком. Когда лед сошел с реки и с озер, мы погрузили провиант в лодку на озере Беннет и поплыли в Доусон.

У нас была прекрасная свора, и мы, разумеется, погрузили ее вместе с провиантом. Пятно был тут же: избавиться от него было невозможно. В первый же день он раз двенадцать сбрасывал за борт собак, с которыми затевал драку. Квартирка была небольшая, а он не любил тесноты.

— Эта собака нуждается в просторе, — сказал Стив на второй день. — Давай высадим ее.

Мы причалили к Карибу-Кроссингу, и он выскочил на берег. Два других хороших пса последовали за ним; и мы потеряли два дня на поиски. Тех двух мы с той поры никогда не видали; и все же почувствовали большое облегчение,

решив — как тот, который потерял сто пятьдесят долларов, — что еще дешево отделались. Впервые за много месяцев мы со Стивом смеялись, насвистывали и пели. Мы были счастливы, как ракушки. Черные дни миновали. Кошмар кончился. Пятно исчез.

Однажды утром, через три недели, Стив и я стояли на берегу реки в Доусоне. Как раз подъезжала маленькая лодка с озера Беннет. Я увидел, как Стива передернуло, и он произнес что-то очень нелюбезное, и притом довольно громко. Тогда и я поглядел в ту сторону. И вот, на носу лодки, с настороженными ушами сидел Пятно. Мы со Стивом немедленно улизнули, как побитые дворняжки, как трусы, как воры, скрывающиеся от правосудия. За этих последних и принял нас полицейский лейтенант, видевший, как мы улепетывали. Он предположил, что в лодке сидели чины стражи, гнавшиеся за нами. Он не дождался, пока дело разъяснится, но выследил нас и в кабачке «М и М» отвел нас в уголок. Мы провели порядочно времени в объяснениях; но ни за что не хотели вернуться к лодке и встретиться с Пятном. Наконец он приставил к нам другого полицейского, а сам пошел к лодке. Отделавшись от него, мы направились к своему бараку; но ко-

гда мы подошли к нему, Пятно сидел на крыльце и дожидался нас. Каким образом узнал он, что мы там живем? В это лето в Доусоне было сорок тысяч народу. Как же он разыскал наш барак среди всех остальных бараков? Как он вообще узнал, что мы находимся в Доусоне? Я предоставляю вам решать эти вопросы. Не забывайте того, что я говорил о его уме и о чем-то бессмертном, таившемся в его глазах.

Теперь уже от него невозможно было избавиться. В Доусоне было слишком много людей, покупавших его в Чилькуте, и история эта стала известной. Раз шесть мы погружали его на пароходы, шедшие вниз по Юкону; но он сходил на берег на ближайшей остановке и бежал назад вверх по реке. Мы не могли продать его; мы не могли убить его (и Стив и я пытались это сделать), и никто другой тоже не в состоянии был убить его. Жизнь его была заколдована. Я видел, как он во время драки нырнул в свору, и пятьдесят собак набросились на него; а когда они разбежались, он появился вновь невредимым, стоя на всех четырех лапах, в то время как две из набросившихся на него собак валялись мертвыми.

Я видел однажды, как он украл из ямы для провианта у майора Динвидди такой тяжелый

кусок оленины, что мог бежать не более чем на один прыжок впереди краснокожей женщины — кухарки миссис Динвидди, преследовавшей его с топором в руке. Когда он бежал вверх по холму и индианка от него отступилась, вышел сам майор Динвидди и стал стрелять из винчестера. Он разрядил две обоймы, но ни разу не попал в Пятно. Затем явился полисмен и арестовал его за стрельбу в черте города. Майор Динвидди заплатил штраф, а мы со Стивом уплатили ему за оленину из расчета по одному доллару за фунт вместе с костями. Это была цена, по которой он купил ее. Мясо в тот год было дорого.

Я рассказываю только то, что видел своими глазами. И я хочу рассказать вам еще кое-что. Я видел, как Пятно проваливался в прорубь. Лед был толщиной в три с половиной фута, и течение подтянуло его под лед, как соломинку. На триста ярдов ниже по течению находилась большая прорубь, которой пользовалась больница. Пятно вылез из больничной проруби, слизнул воду, выкусил лед, образовавшийся между пальцами, и оттрепал большого ньюфаундленда, принадлежавшего приисковому комиссару.

Осенью 1898 года Стив и я перед самым концом навигации поплыли на баграх вверх по Юкону,

направляясь к Стюарт. Мы взяли с собой всех собак, кроме Пятна. Мы считали, что уже достаточно долго кормили его. Он стоил нам больше неприятностей, денег и провизии, чем мы заработали, продавая его на Чилкуте. В особенности это касается провизии. Поэтому мы со Стивом привязали его внутри барака и погрузили поклажу. Мы остановились на ночлег у устья Индейской реки и много шутили над тем, как отшили его. Стив был большой остряк, и я сидел, завернувшись в одеяло, и хохотал… как вдруг на стоянку налетел шквал. Волосы встали дыбом при виде того, как Пятно ворвался в стаю псов и отделывал их. Как он освободился? Решайте сами. У меня по этому поводу нет никакого мнения. Как перебрался он через Клондайк? Это тоже поразительно. И главное, как он узнал, что мы поплыли вверх по Юкону? Ведь мы ехали по воде, и он не мог идти по нашим следам. Стив и я стали суеверными из-за этого пса. Кроме того, он действовал нам на нервы. И, между нами говоря, мы чуточку его побаивались. Заморозки начались, когда мы были у устья Гендерсон-Крика, и мы продали его за два мешка муки одной экспедиции, которая направлялась к Уайт-Ривер за медью.

И вот эта экспедиция погибла. Не было найдено

ни следа, ни собак, ни саней — ничего. Они начисто исчезли. Это было одним из таинственнейших происшествий в стране. Мы со Стивом поплелись вверх по Стюарту, а через шесть недель Пятно приполз в лагерь. Он был ходячим скелетом и едва тащился — и все-таки он добрался до нас. Но кто сказал ему, что мы пошли вверх по Стюарту? Вот что я хотел бы знать! Мы могли направиться в тысячу других мест. Как он узнал? Объясните мне это!

Потерять его было невозможно. Около Мэйо он вступил в драку с индейской собакой. Парень, которому она принадлежала, ударил Пятно топором, но промахнулся и убил собственного пса. Говорите после этого о магии и о пуле, которая может быть отклонена в сторону. Я, со своей стороны, считаю, что гораздо труднее отклонить в сторону лезвие топора, когда крупный мужчина держит топор за рукоятку. А я своими глазами видел, как Пятно это сделал. Тот человек не хотел убивать свою собаку. Объясните же мне, как это вышло!..

Я уже рассказывал вам о том, как Пятно пробрался в нашу яму с мясом. Мы от этого едва не погибли. Настрелять мяса уже было нельзя. А мясо являлось нашей единственной пищей.

Олени ушли на несколько сот миль, и индейцы двинулись за ними. Вот в каком положении мы находились. Приближалась весна, и мы должны были ждать, пока вскроется река. Мы здорово отощали, пока решились съесть собак, и в первую очередь — Пятно. Знаете ли, что сделал этот пес? Он улизнул. Ну как он узнал, что мы порешили его съесть? Целыми ночами мы лежали, подкарауливая его; но он не вернулся, и мы ели остальных собак. Мы съели всю свору.

А теперь дальше. Вы знаете, какое это зрелище, когда вскрывается большая река и несколько миллиардов тонн льда вырываются на свободу, теснятся и перемалываются? Когда Стюарт тронулся с шумом и ревом, мы увидели Пятно прямо посреди ледохода. Его, очевидно, подхватило, когда он пытался перейти где-нибудь выше по течению. Мы со Стивом кричали, улюлюкали и бегали взад и вперед по берегу, бросая шапки в воздух. Иногда мы останавливались и обнимались: так бурно выражали мы свою радость, ибо видели конец Пятна. У него не было ни одного шанса спастись.

После ледохода мы сели в лодку и спустились к Юкону и далее по Юкону до Доусона, остановившись на неделю в бараках у устья

Гендерсон-Крика, чтобы подкормиться. А когда мы причалили к доусонской пристани… там сидел Пятно, ожидая нас, насторожив уши, виляя хвостом, улыбаясь и сердечно нас приветствуя. Каким же образом он спасся? Откуда он знал, когда мы приедем в Доусон, с такой точностью, что встретил нас в тот самый день и час?

Клондайк — хорошая страна. Я был бы и теперь там и сделался бы миллионером, если бы не было этого Пятна. Он действовал мне на нервы. Все же я выносил его в течение двух лет, а затем, по-видимому, у меня не хватило выдержки. Летом 1899 года я убрался оттуда. Я ничего не сказал Стиву. Я улепетнул. Но я все уладил как следует. Я написал Стиву записку и приложил к ней пачку крысиного яда с объяснением, как его употреблять. Я был вконец измучен этим Пятном и стал таким нервным, что вскакивал и оглядывался, когда поблизости никого не было. Но было просто удивительно, как быстро я поправился, отделавшись от него. Я прибавил двадцать фунтов в весе, прежде чем доехал до Сан-Франциско. И когда переправился в Окленд, я был снова самим собой, так что даже моя жена тщетно искала во мне какой-нибудь перемены.

Стив написал мне один раз, и письмо его было

составлено в раздраженном тоне. Он считал, что было возмутительно с моей стороны оставить его с Пятном. Он писал также, что использовал крысиный яд по моим указаниям, но что ничего нельзя было поделать.

Прошел год. Я снова служил в конторе и процветал во всех отношениях; начал даже слегка жиреть. И тогда приехал Стив. Он не пришел повидаться со мной. Я прочел его имя в списках пароходных пассажиров и удивился, почему он не идет. Но я удивлялся недолго. Однажды утром я проснулся и нашел Пятно привязанным на цепь к столбу у ворот. Он загораживал дорогу молочнику. В то утро я узнал, что Стив отбыл на Север в Сиэтл. С тех пор я уже не прибавлял в весе. Жена заставила меня купить ему ошейник с ярлычком; а он через час выразил свою благодарность тем, что убил ее любимую персидскую кошечку. Избавиться от этого Пятна невозможно. Он останется со мной, пока я не умру, потому что сам-то он никогда не сдохнет. Мой аппетит испортился с момента прибытия пса, и жена говорит, что я осунулся.

Прошлой ночью Пятно пробрался в курятник мистера Харвея (Харвей — мой ближайший сосед) и убил девятнадцать из его тщательно выведен-

ных цыплят. Мне придется заплатить за них. Мои другие соседи поссорились с моей женой и выехали. Причиной ссоры был Пятно.

Так вот почему я разочаровался в Стивене Маккэе. Я не думал, что он окажется таким негодяем.

Золотой луч

Лон Мак-Фейн был в слегка ворчливом настроении из-за потери своего кисета; иначе он рассказал бы мне кое-что относительно барака у озера Неожиданностей, прежде чем мы добрались до него. Целый день мы сменялись и поочередно шли впереди саней, протаптывая след для собак. Это была тяжелая лыжная работа, не располагающая человека к многословию; и все же в полдень, когда мы остановились для варки кофе, Лон Мак-Фейн мог бы улучить минуту и рассказать мне о бараке. Но он не сделал этого. Озеро Неожиданностей!.. Для меня это был «барак Неожиданностей»! Я никогда прежде о нем не слыхал. Признаюсь, я был несколько утомлен и в течение часа все посматривал на Лона, не предложит ли он расположиться на отдых. Но я был слишком горд, чтобы предложить ему это сделать или хотя бы спросить о его намерениях. А между тем он служил у меня — я его нанял за хорошую плату, чтобы погонять моих собак и слушаться моих приказаний. Должно быть, я и сам был в несколько ворчливом настроении. Он не говорил ничего; а я решил ни о чем не спрашивать,

даже если нам придется прошагать всю ночь.

К бараку мы подошли внезапно. В течение целой недели пути мы не видали ни одного барака, и, по моему мнению, было мало шансов дойти до какого-нибудь жилья в течение еще одной недели. И вот он стоял тут, прямо перед моими глазами, — настоящий барак с тусклым светом в окне и с дымом, поднимавшимся завитками над трубой.

— Почему вы не сказали мне, — начал я, но был прерван Лоном, который пробормотал:

— Озеро Неожиданностей… лежит за одну милю отсюда… по маленькой тропинке. Это, собственно говоря, пруд.

— Да, но барак? Кто в нем живет?

— Женщина, — был ответ.

В следующую минуту Лон уже стучался в дверь, и женский голос пригласил его войти.

— Вы недавно видели Дэйва? — спросила она.

— Нет, — небрежно отвечал Лон. — Я пошел в другом направлении, вниз к Серкл-Сити. Дэйв ведь пошел вверх по дороге в Доусон, не правда ли?

Женщина кивнула головой, а Лон принялся выпрягать собак, пока я разгружал сани и втаскивал провизию в барак. Это было большое помещение

в одну комнату, и женщина, очевидно, жила в нем одна. Она указала на печку, на которой уже кипела вода, и Лон взялся за приготовление ужина, а я открыл ящик с рыбой и кормил собак. Я ждал, что Лон нас познакомит, и был озадачен, ибо он этого не делал, хотя они, по-видимому, были старые приятели.

— Вы — Лон Мак-Фейн, не так ли? — услыхал я вопрос. — Да, теперь я вас вспомнила. В последний раз я видела вас на пароходе? Правда? Я помню, что…

Ее слова вдруг как будто замерли на устах от ужаса, который, как мне показалось, засветился в ее глазах от какого-то внутреннего видения. К моему удивлению, и Лон был взволнован ее словами и манерой. Лицо его выразило отчаяние, а голос прозвучал тепло и сердечно, когда он проговорил:

— В последний раз мы встретились в Доусоне. Был юбилей королевы, или рождение, или что-то в этом роде, — помните? Были гонки в каноэ вниз по реке и скачки с препятствиями по главной улице.

Ужас исчез из ее глаз, и все ее тело словно опустилось.

— О да, я помню, — сказала она. — Вы победили

в одной из лодочных гонок.

— Как удалось Дэйву в последний раз? Вероятно, он нащупал жилу так же блестяще, как и всегда? — спросил Лон, без видимого отношения к предыдущему разговору.

Она улыбнулась и кивнула головой, а затем, заметив, что я разворачиваю постель, она указала на ту часть барака, где я мог расстелить. Ее койка, как я заметил, помещалась в противоположной стороне.

— Когда я услыхала ваших собак, мне показалось, что едет Дэйв, — сказала она.

После этого она уже ничего не говорила, довольствуясь тем, что следила за поварскими операциями Лона, и порою прислушивалась, не раздастся ли на дороге собачий лай. Я развалился на постели, курил и наблюдал. Здесь была какая-то тайна. Это было для меня ясно; но больше я ничего не сумел установить. Почему, черт возьми, Лон даже не намекнул мне ни о чем до самого нашего приезда? Незаметно для нее я рассматривал ее лицо, и чем дольше смотрел, тем труднее становилось отвести глаза. Это было дивно прекрасное лицо — неземное, сказал бы я, с каким-то внутренним сиянием или с выражением чего-то, «чего не было ни на земле, ни на воде». Страх и

ужас совершенно исчезли, и лицо было спокойно-прекрасно… если словом «спокойно» можно выразить то неосязаемое скрытое нечто, которое я так же мало мог бы назвать «светом» и «сиянием», как и «выражением».

Внезапно, как бы впервые взглянув на меня, она заметила мое присутствие.

— Вы недавно видели Дэйва? — спросила она.

С моего языка чуть не сорвалось: «Какого Дэйва?», когда Лон кашлянул сквозь пар, поднимавшийся над шипящим салом. Этот кашель мог происходить и от пара, но я понял его как знак и не задал своего вопроса.

— Нет, не видал, — отвечал я. — Я новичок в этой части страны…

— Но вы не хотите сказать, — прервала она, — что никогда не слыхали про Дэйва, про Большого Дэйва Уолша?

— Видите ли, — извинился я. — Я новичок в этой стране. Я жил на низовьях, по дороге в Ном.

— Расскажите ему про Дэйва, — сказала она Лону.

Лон казался смущенным, но начал рассказывать тем задушевным, сердечным тоном, какой я знал у него и прежде. Тон казался мне, пожалуй,

слишком задушевным и сердечным, и это меня раздражало.

— О, Дэйв — это замечательный человек, — сказал он. — В каждом дюйме чувствуется настоящий мужчина. В нем шесть футов и четыре дюйма — без башмаков. Слово его — свято, как договор. Врет тот, кто говорит, что Дэйв когда-нибудь солгал. Такой человек будет иметь дело со мной… если только от него что-нибудь останется после того, как Дэйв разделается с ним. Потому что Дэйв — боец. Да, он старый вояка. Он ходил на медведя с игрушечным ружьем — калибр .38. Он получил несколько царапин, но знал, что делает. Он спустился в нору, чтобы убить этого мишку. Он ничего не боится. Сорит деньгами; а когда денег нет, готов отдать последнюю рубашку. Да, он в три недели высушил вот это озеро Неожиданностей и добыл из него девяносто тысяч. Не так ли?

Она зарделась и с гордостью кивнула головой. С живейшим интересом она следила за каждым словом его рассказа.

— И я должен сказать, — продолжал Лон, — что страшно разочарован оттого, что сегодня не застал здесь Дэйва.

Лон поставил ужин на необтесанный сосновый стол, и мы набросились на еду.

Собачий вой заставил женщину подойти к дверям. Она приоткрыла их на дюйм и прислушалась.

— Где Дэйв Уолш? — спросил я вполголоса.

— Умер, — отвечал Лон. — Быть может, в аду. Почем я знаю! Помалкивайте!

— Но вы только что сказали, что надеялись застать его здесь, — подзадоривал я.

— О, заткнитесь же, Бога ради, — отвечал Лон так же тихо.

Женщина затворила дверь и вернулась на свое место; а я сидел и размышлял над тем, что человек, велевший мне «заткнуться», получает от меня в месяц двести пятьдесят долларов жалованья и полное содержание.

Лон мыл тарелки, а я курил и наблюдал за женщиной. Она казалась еще красивее; красота ее, правда, была несколько странной. Поглядев на нее пристально в течение пяти минут, я принужден был вернуться в реальный мир и бросить взгляд на Лона Мак-Фейна. Этот взгляд убедил меня, что, вне всякого сомнения, женщина тоже была реальной. С самого начала я принял ее за жену Дэйва Уолша; но раз Дэйв Уолш умер, она могла быть только его вдовой.

Мы рано улеглись, ибо назавтра нам предстоял

долгий путь; а когда Лон забрался под одеяло подле меня, я решился задать ему вопрос:

— Эта женщина сумасшедшая?

— Вконец рехнулась, — отвечал он.

И прежде чем я мог формулировать следующий вопрос, Лон Мак-Фейн заснул. Я мог бы поклясться в том. Он всегда засыпал таким образом: заползет под одеяло, закроет глаза — и улетит в царство сна, оставляя за собой только спокойное, ровное дыхание. Лон никогда не храпел.

Наутро надо было быстро позавтракать, накормить собак, нагрузить сани и пуститься в путь по снежной тропе. Мы простились, когда сани двинулись, а женщина стояла на пороге и провожала нас. Я унес с собой образ неземной красоты прямо под веками: мне стоило только смежить их, чтобы в любой момент увидеть ее снова. Тропа была непротоптана, так как озеро Неожиданностей лежало далеко от проезжих путей, и мы с Лоном сменялись, утаптывая дорогу своими большими подбитыми лыжами, чтобы собаки могли подвигаться вперед.

«Но вы сказали, что надеялись встретиться с Дэйвом Уолшем в бараке?» Этот вопрос не раз вертелся у меня на языке. Но я его не задал. Я мог подождать до полудня, когда мы расположимся

на отдых. Но когда полдень наступил, мы все еще шли прямо вперед, так как Лон объяснил мне, что у разветвления Тили находится стоянка охотников за оленями и мы можем добраться туда до наступления темноты. Но мы не добрались туда к этому времени, потому что Брайт — вожак своры — сломал себе лопатку и мы провозились с ним час, прежде чем решились застрелить. Затем, при переходе через кучу деревьев на замерзшем русле Тили, сани потерпели аварию, и мы принуждены были остановиться и починить полозья. Я варил ужин и кормил собак, пока Лон производил починку; а затем мы вместе пошли, чтобы набрать льда и топлива на ночь. После этого мы уселись на свои одеяла, в то время как наши мокасины, насаженные на шесты, дымились у костра. Мы курили вечернюю трубку.

— Вы не знали ее? — неожиданно спросил Лон.

Я покачал головой.

— Заметили ли вы окраску ее волос и глаза и цвет лица? Ну так от этого она и получила свое прозвище… Она была словно первый теплый луч золотой зари. Оттого ее и прозвали Золотой Луч. Слышали вы когда-нибудь о ней?

У меня осталось неясное воспоминание о том, что я где-то слышал это имя, но оно ничего мне

не говорило.

— Золотой Луч, — повторил я. — Это звучит как прозвище кафешантанной певички.

Лон покачал головой.

— Нет, она была порядочной женщиной — по крайней мере, в этом смысле; и все же она совершила тяжелый грех.

— Но почему вы все время говорите о ней в прошедшем времени, как будто она умерла?

— Из-за мрака, покрывшего ее душу, — мрака, подобного мраку смерти. Золотой Луч, который знал и я, знали и в Доусоне и на Сороковой Миле, — угас. Безумное существо, которое мы видели прошлой ночью, — это не Золотой Луч.

— А Дэйв? — спросил я.

— Он построил этот барак, — ответил Лон. — Он построил его для нее… и для себя. Он мертв. Она ждет его там. Она наполовину верит, что он не умер. Но кто может знать причуды свихнувшегося мозга? Может быть, она и совсем верит в то, что он не умер. Как бы то ни было, она поджидает его там, в бараке, который он построил. Кто воскресит мертвых? И кто воскресит умерших заживо? Во всяком случае, не я. Вот потому-то я и сказал давеча, будто надеялся застать там Дэйва Уолша. Ручаюсь чем угодно, что я был бы

более удивлен, чем она, если бы встретил его там прошлой ночью.

— Я не понимаю, — сказал я. — Начните сначала, как подобает белому человеку, и расскажите мне всю историю.

И Лон начал рассказывать:

— Виктор Шове был старый француз, родом из Южной Франции. Он прибыл в Калифорнию во время золотой горячки. Был он пионером. Золота он не нашел; но вместо того сделался продавцом солнечного света в бутылках, — короче сказать, виноградарем и виноделом. Это-то и привело его в Аляску в первые дни. Он перевалил через Чилкут и пошел вниз по Юкону еще до открытия Кармака. Старое городище на Десятой Миле было заложено Шове. Он отвез первую почту в Арктик-Сити. Он сделал заявку на каменноугольные копи на Поркьюпайне лет двенадцать тому назад. Он участвовал продовольственным паем в прииске Лофтус в округе Ниппеннук. Виктор Шове был добрым католиком, любившим две вещи на свете: вино и женщин. Вино он любил всех сортов, а женщину только одну, и эта женщина стала матерью Мари Шове.

Здесь я громко застонал, так как против воли подумал о том, что платил этому человеку двести

пятьдесят долларов в месяц.

— Что еще случилось? — спросил он.

— Случилось? — жаловался я. — Я думал, что вы рассказываете историю Золотого Луча. Мне не нужно биографии вашего пьяницы-француза.

Лон спокойно запалил трубку, сделал длинную затяжку, затем отложил трубку в сторону.

— Вы же велели мне рассказывать сначала, — сказал он.

— Да, — отвечал я, — сначала.

— А началом истории Золотого Луча был старый пьяница-француз, ибо он был отцом Мари Шове, а Мари Шове и есть Золотой Луч. Чего вам еще надо? Виктор Шове никогда не мог похвастаться особенной удачей. Он ухитрялся жить, сводить концы с концами и хорошо заботился о Мари, так как она походила на женщину, которую он любил. Он очень хорошо заботился о ней. Речка Золотого Луча названа так в ее честь. Город Золотого Луча — тоже. Старик был мастер закладывать города; только он никогда не доводил их до конца…

— Скажите по чести, — сказал Лон с одним из свойственных ему молниеносных изменений в тоне. — Вы видели ее. Что вы думаете о ней?.. о ее внешности? Как действует она на ваше чув-

ство прекрасного?

— Она замечательно красива, — сказал я. — Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Несмотря на то что я догадался о ее сумасшествии, я не мог отвести тогда от нее глаз. Это было не любопытство. Это было изумление — настоящее изумление. У нее такая странная красота.

— Она была еще более красива, прежде чем тьма спустилась на нее, — мягко сказал Лон. — Она была истинным Золотым Лучом. Она переворачивала сердца всех мужчин… и головы тоже. Она с трудом вспоминает, что я когда-то победил на гонках в Доусоне, — я, который любил ее и слышал от нее, что она меня любит. Красота ее заставляла всех мужчин в нее влюбляться. Она бы, наверное, получила от Париса яблоко, и никакой бы Троянской войны не заварилось[88]; да вдобавок она еще вскружила бы голову и самому Парису. А теперь она живет во мраке. Золотой Луч, которая всегда была непостоянной, теперь в первый раз стала верной — верной призраку,

[88] Сноски: 88

Парис — легендарный сын троянского царя Приама. Три богини: Гера, Афина и Афродита предложили Парису решить спор, кто из них красивейшая, и дать той яблоко. Гера обещала в награду, если выбор падет на нее, господство над Азией, Афина — победу и славу, а Афродита — обладание прекраснейшей женщиной. Парис выбрал Афродиту и впоследствии с ее помощью пленил прекрасную Елену, супругу царя Менелая, и похитил ее. Из-за этого разгорелась Троянская война.

мертвецу, смерти которого она не сознает.

Вот как это случилось. Вы помните, что я говорил вчера ночью о Дэйве Уолше, о Большом Дэйве Уолше? В нем было все, о чем я говорил, и еще больше, много больше. Он явился в эту страну в конце восьмидесятых годов. По сравнению с вами это пионер. Ему было тогда двадцать лет. Он был молодым бычком. Когда ему стало двадцать пять, он мог поднять с земли тринадцать пятидесятифунтовых мешков муки. Сначала каждую осень выгоняла его вон голодовка. В то время это была пустынная страна. Ни речных пароходов, ни пищи — ничего, кроме туш лосей и следов кролика. Но после того как голод выгонял его три года подряд, он сказал, что ему это надоело; и в следующем году он остался на месте. Он жил на одном мясе, когда ему удавалось добыть его. В ту зиму он съел одиннадцать собак; но все-таки остался. Он остался еще на одну зиму, и еще на одну… Он больше никогда не покидал этой страны. Он был быком — большим быком. На тяжелой работе он мог перещеголять самого сильного человека в стране. Он мог пронести больше груза, чем чилкутский индеец, и грести дольше туземца до Стика. Он мог путешествовать пешком с мокрыми ногами, когда термометр по-

казывал пятьдесят ниже нуля; а это, скажу я вам, хорошее мерило живучести. Вы бы отморозили ноги при двадцати пяти, если бы замочили их и пытались продолжать путь. Дэйв был быком, что касается силы. А между тем он был мягок и обладал покладистым нравом. Всякий мог его уговорить; худший негодяй в лагере мог обманом выманить у него последний доллар.

«Это меня не смущает, — смеялся он сам над своей податливостью. — Я не провожу из-за этого бессонных ночей». Но не воображайте, что он был мягкотелым. Вы помните рассказ о медведе, за которым он погнался с маленьким ружьишком? Когда дело доходило до боя, Дэйв был страшнее всех. Он был покладист и добр со слабыми, но сильные должны были уступать дорогу, когда он проходил. Он был мужчиной, которого любили мужчины, — а это наивысшая похвала, мужчиной для мужчин.

Дэйв не принимал участия в большом состязании на быстроту заявки в Доусоне, когда Кармак открыл прииск в Бонанзе. Дэйв, видите ли, был как раз тогда на Маммоновой речке и сам исследовал ее. Он открыл Маммонову речку, — сделал на ней заявку, добыл из нее восемьдесят четыре тысячи и расширил прииск настолько, что он

обещал на будущий год дать пару сотен тысяч. Когда наступило лето и почва стала топкой, он отправился вверх по Юкону в Доусон, чтобы поглядеть, как выглядит прииск Кармака. И там он увидел Золотой Луч.

Я помню тот вечер. Я всегда буду его помнить. Это произошло мгновенно, и невольно содрогаешься при мысли о том, как сильный мужчина в полноте своей мощи был сражен одним взглядом нежных глаз такого слабого белокурого женского существа, как Золотой Луч. Это произошло в бараке ее отца, старого Виктора Шове. Кто-то из друзей привел туда Дэйва, чтобы поговорить о закладке города на Маммоновой речке. Но он мало говорил; а то, что он говорил, походило на тарабарщину. Я говорю вам: один вид Золотого Луча совсем одурманил Дэйва. Старый Виктор Шове уверял после его ухода, что Дэйв был пьян. Так оно и было. Он был пьян, но Золотой Луч — вот тот крепкий напиток, который мгновенно опьянил его.

Этот первый брошенный на нее взгляд решил все дело. Он не пошел вниз по Юкону через неделю, как предполагал прежде. Он проваландался в Доусоне месяц, два месяца, все лето. А мы, которые тоже страдали, понимали его и следили за

тем, чем это кончится. Нам казалось несомненным, что Золотой Луч нашла своего господина. А почему бы и нет? Дэйв Уолш был весь залит романтическим светом. Он был королем Маммоны; он открыл Маммонову реку. Он был старым волком, одним из старейших пионеров в стране. Люди оборачивались, когда он проходил, и говорили друг другу благоговейным шепотом: «Вот идет Дэйв Уолш». А почему бы и нет? В нем было шесть футов и четыре дюйма. У него тоже были белокурые волосы, кудрями спадавшие на шею. И он был быком — быком с желтой гривой; ему пошел тогда тридцать первый год.

И Золотой Луч полюбила его. После целого лета танцев и ухаживания они были объявлены женихом и невестой. Осень была у дверей; Дэйв должен был вернуться на Маммонову речку для зимних работ, а Золотой Луч отказалась сразу выходить замуж. Дэйв поручил Даски Бэрнсу управление прииском, а сам околачивался в Доусоне. Это ни к чему не привело. Она хотела еще на некоторое время сохранить свою свободу. Она настаивала на этом и не хотела выходить замуж раньше будущего года. Итак, по первопутку Дэйв Уолш пошел один вниз по Юкону позади своих собак, с уговором, что венчание состоится, когда он

вернется на будущий год с первым пароходом.

Дэйв был постоянен, как Полярная звезда, а она — изменчива, как компасная стрелка на корабле, везущем магнит. Дэйв был так же стоек и надежен, как она — ветрена и непостоянна; и Дэйв, который никогда ни в ком не сомневался, до некоторой степени сомневался в ней.

Это была ревность влюбленного; а может быть, это была весть, переданная его душе ее душой; как бы то ни было, Дэйв терзался боязнью измены. Он боялся верить ей до будущего лета, но все же вынужден был ей верить и поэтому чувствовал себя не в своей тарелке. Кое-что я узнал впоследствии от Виктора Шове, и из всего, что мне удалось собрать, я заключаю, что между ними произошло что-то вроде семейной сцены, перед тем как Дэйв отправился на север с собаками. Он стал перед стариком-французом, рядом с Золотым Лучом, и объявил, что они принадлежат друг другу. Вид он имел очень драматический: глаза его горели, как передавал старый Виктор. Он говорил что-то о том, что «только смерть нас разлучит».

Между прочим, старый Виктор помнил, что Дэйв Уолш взял ее за плечо своей огромной лапой и потряс, говоря: «Даже после смерти ты будешь моей, и я встану из гроба, чтобы потребовать

тебя».

Старый Виктор отчетливо помнил эти слова: «Даже после смерти ты будешь моей, и я встану из гроба, чтобы потребовать тебя». Он говорил мне впоследствии, что Золотой Луч порядком-таки испугалась и что он, Виктор, отвел затем Дэйва в сторону и объяснил ему, что это плохой способ удержать Золотой Луч: чтобы сохранить ее для себя, он должен забавлять ее и баловать.

У меня нет ни малейшего сомнения в том, что Золотой Луч была испугана. Сама она была жестока в обращении с мужчинами, тогда как мужчины всегда обращались с ней как с чем-то хрупким, нежным и сверхделикатным, чтобы, не дай Бог, не задеть ее. Она не знала, что такое грубость… прежде чем Дэйв Уолш, огромный бык в шесть футов четыре дюйма ростом, не схватил ее своей лапой и не заявил, что она принадлежит ему до самой смерти и после нее.

А между тем в Доусоне в ту зиму находился музыкант — этакий макаронник, масляный тенор, итальяшка-даго — и Золотой Луч отдала ему свое сердце. Может быть, это было только ослепление. Не знаю. Иногда мне кажется, что она в самом деле любила Дэйва Уолша. А может быть, она в конце концов склонилась к даго-музыканту,

так как Дэйв напугал ее своими «до смерти» и «встану из гроба».

Но все это только догадки. Достаточно одних фактов. Он вовсе не был даго; он был русским графом — это абсолютно достоверно. И он не был ни профессиональным пианистом, ни чем-нибудь в этом роде. Он играл на скрипке и на рояле и пел, хорошо пел, — но только для своего удовольствия и для удовольствия тех, перед кем он пел. У него к тому же были и деньги… но позвольте мне тут же сказать, что Золотой Луч деньги ставила ни во что. Она была легкомысленна, но грязи в ней не было.

Но пойдем дальше… Она была обручена с Дэйвом, и Дэйв должен был приехать с первым пароходом, чтобы взять ее с собой. Это было летом 1898 года, и первый пароход ожидался в середине июня. И Золотой Луч боялась бросить Дэйва, а потом встретиться с ним. Весь план возник мгновенно. Русский музыкант-граф был ее покорным рабом. Я знаю, что план составила она. Я это узнал впоследствии от старого Виктора. Граф исполнил ее приказание и сел на первый пароход к низовьям. Это была «Золотая ракета». На тот же пароход села и Золотой Луч. На него же сел и я. Я ехал в Серкл-Сити и был ошеломлен,

когда увидел Золотой Луч на палубе. Я не видел ее имени в списке пассажиров. Она была все время с графчиком, счастливая и улыбающаяся; и я заметил, что в списке графчик значился с супругой. Так и стояло: «с супругой», номер каюты и все прочее. Я впервые узнал, что он женат; только никаких следов жены не было… если только Золотой Луч не сходила за жену. Я не думал, чтобы они поженились на берегу перед отъездом. Об этом, видите ли, говорили бы в Доусоне и держали бы пари относительно того, что графчик отшил Дэйва.

Я поговорил с баталером. Он знал не больше меня. Он даже не знал Золотого Луча, да к тому же был занят по горло. Вы знаете, что такое юконский пароход; но вы не можете себе вообразить, что представляла собой «Золотая ракета», когда она вышла из Доусона в июне 1898 года. Так как пароход этот отплывал первым, то вез всех больных из госпиталя — всех цинготных больных. Кроме того, он, верно, вез не на один миллион клондайкского песка и самородков, не говоря уже о пассажирах, набитых как сельди в бочке, — палубных пассажирах, индейцах, индеанках и бесчисленных собаках. Кроме того, он был битком набит товаром и багажом. На передней

нижней палубе возвышалась целая гора багажа, выраставшая на каждой маленькой остановке.

Я видел, как ящик погрузили в Тили-портэдже, и понял, что это такое, хотя и не догадывался о таившемся внутри его сюрпризе. Его водрузили поверх других вещей, но плохо укрепили. Помощник намеревался вернуться к нему снова, а затем позабыл об этом. Я в то время подумал, что мне почему-то знакома большая овчарка, которая взобралась на багаж и легла рядом с ящиком. Затем мы повстречались с «Глендейлем», плывшим в Доусон. Когда он салютовал нам, я подумал о том, что на нем находится Дэйв, спешащий в Доусон к Золотому Лучу. Я обернулся и поглядел на нее. Она стояла у перил. Глаза ее сияли, но она выглядела немного испуганной при виде того парохода и крепко прижалась к графу, как бы ища защиты. Ей незачем было опираться на него с такой уверенностью, а мне незачем было с такой уверенностью воображать себе разочарование Дэйва по прибытии в Доусон. Ибо Дэйва Уолша на «Глендейле» не было. Тут была целая масса обстоятельств, которых я не знал, но вскоре узнал, — например, то, что эта пара не была повенчана. Через полчаса начались приготовления к венчанию.

Из-за больных в кают-компании и давки на верхней палубе «Золотой ракеты» наиболее подходящим местом на судне для совершения обряда сочли нижнюю палубу на носу: там между перилами и трапом, около кучи багажа с большим ящиком на верхушке и со спящей рядом с сундуком собакой было свободное местечко. На пароходе находился миссионер, намеревавшийся сойти на ближайшей остановке в Игл-Сити, и потому они должны были не откладывать и воспользоваться его присутствием. Вот это-то они и собирались сделать, то есть обвенчаться на пароходе.

Но я опережаю события. Причина, почему Дэйз Уолш не был на «Глендейле», заключалась в том, что он находился на «Золотой ракете».

Вот как все случилось. Проваландавшись в Доусоне ради Золотого Луча, он спустился по льду до Маммоновой речки. Там он нашел Даски Бэрнса, так хорошо распоряжавшегося на прииске, что присутствие Дэйва вовсе не требовалось. Поэтому он погрузил в сани немного провианта, запряг собак, взял с собой одного индейца и направился к озеру Неожиданностей. Он всегда имел пристрастие к этой местности. Может быть, вы знаете, что потом с прииском ничего не вы-

шло, но в то время перспективы были хорошие, и Дэйв начал строить барак для себя и для нее. Это и есть тот барак, в котором мы ночевали. Когда он покончил с этим, он отправился на охоту за оленями к разветвлению Тили, взяв с собой того же индейца.

И это случилось таким образом. Налетел внезапно мороз. Ртуть упала до сорока, пятидесяти, шестидесяти градусов ниже нуля. Я помню этот мороз. Я тогда был на Сороковой Миле. Я даже точно помню день. В одиннадцать часов утра спиртовой термометр на складе Компании Н. А. Т. и Т. спустился до семидесяти пяти градусов ниже нуля. В то утро около дельты Тили Дэйв охотился на оленей с этим своим проклятым индейцем. Я все впоследствии узнал от самого этого индейца (мы потом вместе совершили переход по льду до Дайи). В то утро господин индеец провалился сквозь лед и намок до пояса. Разумеется, он тут же стал замерзать. Правильнее всего было бы разложить костер. Но Дэйв Уолш был буйволом. Было всего полмили до лагеря, где костер уже горел. К чему разводить другой? Он взвалил господина индейца на плечи и пробежал с ним полмили. А термометр показывал минус семьдесят пять. Вы знаете, что это значит? Самоубийство!.. Дру-

гого названия для этого не подыщешь. Ведь этот индейский козел весил двести фунтов; а Дэйв пробежал с ним полмили. Разумеется, он отморозил себе легкие. Они, вероятно, замерзли окончательно. Это было безумием, кто бы это ни сделал.

И вот, пролежав несколько недель в ужасных мучениях, Дэйв Уолш скончался.

Индеец не знал, что ему делать с трупом. При обыкновенных условиях он зарыл бы его — и дело с концом. Но он знал, что Дэйв Уолш — большой человек, стоящий много денег, важный белый человек. Он также видел, как тела важных белых возили в повозке по всей стране, точно они представляли собой какую-нибудь ценность. Поэтому он решил отвезти тело Дэйва на Сороковую Милю, где у Дэйва была штаб-квартира. Вы знаете, как в той стране образуется лед под корнями травы. Так вот, индеец зарыл Дэйва под пластом земли в фут толщиною — короче говоря, положил его в лед. Дэйв мог пролежать там тысячу лет — и все же остаться прежним Дэйвом. Это все равно что холодильник, понимаете. Затем индеец приносит из барака на озеро Неожиданностей большую пилу и мастерит доски для ящика. Потом в ожидании оттепели он идет

на охоту и добывает около десяти тысяч фунтов оленины. Мясо он тоже кладет в лед. Настала оттепель. Тили вскрывается.

Тогда индеец строит плот, грузит на него мясо, большой ящик с Дэйвом и свору собак и все это везет вниз по Тили.

Плот застрял в древесном заторе и простоял два дня. Была палящая жара, и господин индеец едва не лишился своей оленины. Поэтому, прибыв в Тили-портэдж, он рассчитал, что пароход пойдет быстрее, чем его плот. Он перенес свой груз… и вот мы с вами на нижней палубе «Золотой ракеты»: Золотой Луч собирается венчаться, а Дэйв Уолш в своем большом ящике заслоняет ее от солнца. Да! Тут было еще нечто, о чем я совсем позабыл. Неудивительно, что мне показалась знакомой собака, севшая на пароход в Тили-портэдже. Это был Пилат, вожак Дэйва Уолша, его любимец, тоже свирепый боец. Он лежал около ящика.

Золотой Луч заметила меня, подозвала к себе и познакомила меня с графом. Она была прекрасна. Я был так же безумно влюблен в нее, как и прежде. Она улыбнулась мне в глаза и сказала, что я должен расписаться в качестве одного из свидетелей. Отказать ей не было возможности.

Она была ребенком — жестоким, как бывают жестоки только дети. Кроме того, она сообщила мне, что у нее имеются единственные в Доусоне две бутылки шампанского, вернее, бывшие вчера в Доусоне. И раньше, чем я мог что-либо сообразить, я был принужден выпить за здоровье ее и графа. Все столпились вокруг. Капитан парохода очень набивался в нашу компанию: я полагаю, он хотел добраться до вина. Это была веселая свадьба. На верхней палубе собрались госпитальные больные — все одной ногой в гробу — и смотрели. Индейцы тоже влезли в круг, рослые молодцы со своими ребятишками и «скваю»; не говоря уже о двадцати пяти ворчащих волкодавах. Миссионер поставил перед собой брачную пару и приступил к обряду. В этот момент на самой вершине груза началась собачья ссора — между Пилатом, лежавшим подле большого ящика, и белошерстным чудовищем, принадлежавшим одному из индейцев. Ссора вовсе не была шумной. Псы только ворчали друг на друга издали, тявкая один на другого через большие промежутки; знаете, как будто переругиваясь: «Не посмеешь!» — «Нет посмею!» Шум был несносен, но все же можно было слышать голос миссионера.

Было нелегко добраться до обеих собак, разве

только с другой стороны кучи. Но на той стороне, видите ли, никого не было, так как все следили за церемонией. Даже и тогда все сошло бы благополучно, если бы капитан не запустил в собак дубиной. Это-то и испортило все дело. Заметьте — если бы капитан не бросил этой дубины, ничего бы не произошло.

Миссионер как раз дошел до того места, где говорится: «В болезни и здравии» и «до тех пор, пока смерть нас не разлучит». И как раз в этот момент капитан бросил палку. Она попала в Пилата, и в этот самый момент белая скотина бросилась на него. Причиной была палка. Тела собак ударились о ящик, и он начал медленно скользить вниз с кучи багажа. Нижним концом вперед. Это был большой продолговатый ящик, и он скользил медленно, пока не стал вертикально, и тогда стремительно понесся вниз. Зрители с этой стороны круга едва-едва успели отскочить. Золотой Луч и граф, на той стороне круга, стояли лицом прямо к ящику; я и миссионер — спиной. Ящик упал, по-видимому, с высоты десяти футов и ударился о палубу узким концом.

Теперь вспомните, что никто из нас не знал о смерти Дэйва Уолша. Мы думали, что он едет на «Глендейле» по направлению к Доусону.

Миссионер отскочил в сторону, так что Золотой Луч оказалась прямо против ящика, когда тот грохнулся. Все произошло как на сцене. И нарочно нельзя было лучше выдумать. Он ударился концом, нижним концом, и вся крышка ящика отлетела. И из него выпал Дэйв Уолш, наполовину завернутый в одеяло, а его желтые кудри развевались и ярко сверкали на солнце. Стоя на ногах, он кинулся прямо к Золотому Лучу. Она не знала, что он умер, но ошибиться было невозможно — ведь он два дня простоял на древесном заторе; ясно было, что он встал прямо из гроба, чтобы потребовать ее себе. Возможно, что она так и подумала. Как бы то ни было — она застыла, словно оцепенела, и не могла пошевелиться. Она как будто увяла и глядела на Дэйва Уолша, пришедшего за ней. И он взял ее. Казалось, точно он простер к ней руки; но, так или иначе, они вместе упали на палубу. Мы должны были оттащить труп Дэйва Уолша, чтобы добраться до нее. Она упала в обморок, но было бы лучше, если бы она никогда от этого обморока не очнулась. Ибо, придя в себя, она начала кричать, как кричат сумасшедшие. Она кричала часами, пока не выбивалась из сил.

О да, она выздоровела. Вы видели ее вчера и

знаете, насколько она выздоровела. Она, правда, не буйная, но живет во мраке. Она думает, что поджидает Дэйва Уолша, и действительно ждет его в бараке, который он для нее выстроил. Теперь она уже не изменяет ему. Вот уже девять лет, как она хранит верность Дэйву Уолшу, и, по-видимому, будет верна ему до гроба…

Лон Мак-Фейн отвернул край одеяла и приготовился залезть под него.

— Мы каждый год доставляем ей провиант и вообще не выпускаем ее из виду, — прибавил он. — Однако вчера ночью она впервые меня узнала.

— Кто это «мы»? — спросил я.

— О, — был ответ, — граф, старый Виктор Шове и я. Знаете, мне кажется, что граф единственный, кто действительно огорчен этим. Дэйв Уолш никогда не знал, что она ему изменила. А она не страдает. Ее безумие милостиво к ней.

Я молча пролежал минуту под одеялом.

— А граф все еще здесь, в стране? — спросил я. Ответа не было. Я услышал мерное дыхание и понял, что Мак-Фейн уснул.

Исчезновение Маркуса О’Брайена

— Суд постановил, чтобы вы очистили лагерь… обычным способом, сэр, обычным способом…

Судья Маркус О’Брайен был рассеян, и Муклук Чарли толкнул его под ребра.

Маркус О’Брайен прочистил горло и продолжал:

— Принимая во внимание тяжесть преступления, сэр, а также смягчающие обстоятельства, суд постановил выдать вам продовольствия на три дня. Этого, полагаю, будет довольно.

Джек из Аризоны бросил мрачный взгляд на Юкон. Это был набухший поток шоколадного цвета, в милю шириной и Бог знает какой глубины. Берег, на котором он стоял, обычно возвышался футов на двенадцать над уровнем воды; но теперь река бурлила у самого края, каждое мгновение отхватывая по кусочку береговой полосы. Эти кусочки попадали в разверстые пасти целой армии коричневых бурлящих волн и исчезали в них. Еще несколько дюймов, и Ред Кау будет затоплен.

— Этого мало, — сказал Джек из Аризоны с горечью. — На три дня — этого слишком мало.

— Такой же случай был с Манчестером, — с важностью возразил Маркус О'Брайен. — Он не получил никакого провианта.

— И его останки были найдены, наполовину обглоданные собаками, — был ответ Джека из Аризоны. — К тому же он ничем не был вызван на убийство. Джо Диве ничего не сделал, даже не пикнул. Только потому, что желудок у Манчестера был не в порядке, он набросился на того и укокошил. Вы поступаете со мной не по чести, О'Брайен. Я говорю вам это напрямик. Дайте мне провианта на неделю, и я берусь выиграть игру. С трехдневным пайком я погибну.

— А зачем вам было убивать Фергюсона? — спросил О'Брайен. — Я не могу больше терпеть эти ничем не вызванные убийства, и они должны прекратиться. Ред Кау не настолько изобилует населением. Это хороший лагерь, и здесь прежде никогда не было убийств. Теперь они стали эпидемическими. Мне жаль вас, Джек, но следует показать пример другим. Фергюсон не провоцировал вас настолько, чтобы быть убитым.

— Провоцировал! — фыркнул Джек из Аризоны. — Я говорю вам, О'Брайен, вы этого не понимаете. В вас нет ни на грош артистического чутья. За что я убил Фергюсона? А зачем Фергюсон

пел: «Я хотел бы птичкой, птичкой быть»? Вот что я желал бы знать! Ответьте мне на это. Зачем он пел: «птичкой, птичкой»? Одной «птички» было бы совершенно достаточно. Одну птичку я бы мог вынести. Но нет! Ему непременно нужно было спеть о двух птичках. Я дал ему шанс на спасение. Я подошел к нему самым наивежливейшим образом и учтиво попросил его упразднить одну птичку. Я просил его. Есть свидетели, которые подтверждают это.

— А у Фергюсона голосок был не соловьиный, — сказал кто-то из толпы.

О'Брайен обнаружил нерешительность.

— Разве человек не может иметь артистическое чутье? — вопрошал Джек из Аризоны. — Я предупреждал Фергюсона. Я насиловал свою природу, продолжая слушать его «птичек». Еще бы! Есть такие тонкие и чуткие любители музыки, которые и не по такому еще поводу укокошат. Я готов заплатить за свою артистическую чувствительность. Я могу выпить лекарство и облизать ложку; но провиант на три дня — это уж через край. Вот и все. Прошу зарегистрировать мою кончину. Приступайте к погребению.

О'Брайен все еще колебался и вопросительно поглядел на Муклук Чарли.

— Я сказал бы, судья, что провиант на три дня — это малость строговато, — заметил тот. — Но вы заведуете представлением. Когда мы избрали вас судьею в этом суде, мы согласились подчиняться вашим решениям, и мы, видит Бог, делали так и продолжаем так делать.

— Может быть, я был немного крут, Джек, — сказал О'Брайен, как бы извиняясь. — Я так раздражен всеми этими убийствами. Я согласен дать вам недельный провиант.

Он откашлялся с важностью настоящего магистрата и быстро оглядел окружающих.

— А теперь нам лучше всего пойти и закончить дело. Лодка готова. Вы, Леклер, пойдите и возьмите провиант. Остальное мы установим после.

Джек из Аризоны поглядел на него с благодарностью и, пробормотав что-то насчет «проклятых птичек», сел в лодку, которая неугомонно терлась о берег. Это был большой ялик из грубых сосновых досок, сделанных вручную из распиленных деревьев с берегов озера Линдерман, на несколько сотен миль выше, у подножия Чилкута. В лодке лежала пара весел и постель Джека. Леклер принес провиант, увязанный в мучной мешок, и бросил его в лодку. При этом он прошептал:

— Я отмерил тебе по чести, Джек. Он сам тебя вызвал на это.

— Отчаливай! — крикнул Джек из Аризоны.

Кто-то отвязал причал и швырнул его в лодку. Поток подхватил лодку и, кружа, умчал ее. Убийца не возился с веслами, довольствуясь тем, что сидел на кормовой скамейке и скручивал папиросу. Кончив, он чиркнул спичкой и зажег папиросу. Наблюдавшие с берега могли видеть тонкие клубы дыма. Они оставались на берегу, пока лодка не скрылась за поворотом на полмили ниже. Правосудие совершилось.

Граждане лагеря Ред Кау издавали законы и приводили в исполнение приговоры без проволочек, являющихся признаком мягкотелой цивилизации. На Юконе не было другого закона, кроме того, который они сами для себя издавали. Они были принуждены издать его для себя. То были ранние дни, когда процветал Ред Кау, — 1887 год, когда Клондайк с его гонками людских толп за заявками был весь в будущем. Люди из Ред Кау даже не знали, расположен ли их лагерь в штате Аляска или на Северо-Западной территории; дышали ли они под сенью «звезд и полос» или британского флага. Ни один исследователь никогда не забредал туда, чтобы указать им

долготу и широту, под которыми они находились. И поскольку речь шла о государственной власти — они не знали, кому принадлежала эта власть. Что же касается закона — то это была совершенно девственная страна.

Они создали свои собственные законы; законы эти были очень просты. Юкон выполнял их декреты. На две с лишним тысячи миль ниже Ред Кау Юкон впадал в Берингово море в виде дельты шириною в сотню миль. Каждая из этих двух тысяч миль лежала в абсолютно дикой стране.

Правда, там, где Поркьюпайн впадает в Юкон, по ту сторону Полярного круга, имелся торговый пункт Компании Гудзонова залива. Но до него было много сотен миль. Ходили также слухи, что еще на много сотен миль дальше находились миссии. Однако это были только слухи. Люди из Ред Кау никогда там не бывали. Они вступали в пустынную страну через Чилкут и верховья Юкон.

Люди из Ред Кау игнорировали все мелкие проступки. Быть пьяным, распущенным, невоздержанным на язык считалось естественным и неотъемлемым правом каждого. Люди из Ред Кау были индивидуалистами и священными считали только две вещи: собственность и жизнь.

Женщин не было, и некому было усложнить их простую мораль. В Ред Кау было всего три бревенчатых барака, и большинство населения обитало в палатках или в шалашах из прутьев. Здесь не было тюрьмы, куда можно было бы заключить злодея; а жители были слишком заняты золотом — поисками его и промывкой, — чтобы пожертвовать хотя бы одним днем на постройку тюрьмы. Кроме того, весьма важный вопрос о пропитании делал невозможной подобную процедуру.

Поэтому, если человек покушался на жизнь или на имущество, его бросали в лодку и сплавляли вниз по Юкону. Количество выдаваемого ему продовольствия соразмерялось с важностью преступления. Так, простой вор мог получить пищи недели на две; необычный вор мог получить только половину этого количества. Злодейское убийство влекло за собой полное лишение провианта. Человек, осужденный за убийство со смягчающими вину обстоятельствами, снабжался провизией на срок от трех дней до недели. Маркус О'Брайен был избран судьей, и он определял количество продовольствия. Человеку, нарушившему закон, давался известный шанс на спасение. Юкон уносил его, и он либо доплывал,

либо не доплывал до Берингова моря.

Отсутствие провианта практически означало высшую меру наказания, хотя и тут был некоторый ничтожный шанс: все зависело от времени года.

Расправившись с Джеком из Аризоны и последив за ним до его исчезновения, жители покинули берег и пошли работать на своих приисках — все, кроме Курчавого Джима, владевшего единственной на всем Севере колодой для игры в «фараон» и, кроме того, спекулировавшего на участках.

Два многозначительных события произошли в тот день. К концу утра Маркус О'Брайен наткнулся на золото. Он намыл доллар, полтора доллара, два доллара с трех сковородок подряд. Он нащупал жилу. Курчавый Джим заглянул в скважину, промыл сам несколько сковородок и предложил О'Брайену десять тысяч за уступку всех прав: пять тысяч золотым песком, а вместо остальных пяти тысяч — половинную долю в его игре в «фараон». О'Брайен отклонил предложение. Он с горячностью заявил, что находится здесь, чтобы добывать деньги из земли, а не из своих ближних. А кроме того, он не любит «фараон». И, наконец, он ценит свою находку много

дороже, чем десять тысяч.

Второе замечательное событие произошло после полудня, когда Сискью Перли врезался со своей лодкой в берег и привязал ее. Он прибыл прямо из внешнего мира и был обладателем газеты, вышедшей четыре месяца тому назад. Мало того, он еще вез полдюжины бочонков виски, которые были отправлены на имя Курчавого Джима.

Люди из Ред Кау бросили работу. Они пробовали виски по доллару за рюмку, отвешивали плату на весах Джима и обсуждали новости.

Все было бы хорошо, если бы Курчавый Джим не измыслил опасного плана, а именно — напоить Маркуса О'Брайена допьяна, а потом откупить у него прииск.

Первая часть плана удалась восхитительно. Это началось ранним вечером, а к девяти часам О'Брайен уже стал распевать. Одной рукой он обнял шею Курчавого Джима и даже пробовал воспроизвести песню недавно оплаканного Фергюсона о маленьких птичках. Он считал себя в полной безопасности, принимая во внимание, что единственный человек в лагере, обладавший артистическим чутьем, несся в этот момент вниз по Юкону, на хребте потока, с быстротой пяти

миль в час.

Но вторая половина плана выполнена не была. Сколько виски ни вливали в глотку О'Брайена, никак нельзя было заставить его понять, что продажа прииска непременная и дружеская его обязанность. Правда, он колебался и порой балансировал на самой границе согласия. Но в глубине своей затуманенной головы он подсмеивался. Он понимал игру Курчавого Джима и был доволен своими картами в этой игре. Виски было хорошее. Оно наливалось из специального бочонка и было раз в десять лучше, чем виски из других бочонков.

Сискью Перли наливал рюмочки остальному населению Ред Кау, пока О'Брайен и Курчавый предавались своей деловой оргии на кухне. Но О'Брайен не уступил ни пяди. Он пошел в помещение бара и возвратился с Муклук Чарли и Перси Леклером.

— Компаньоны моего предприятия, компаньоны, — объявил он, подмигивая им и простодушно осклабившись в сторону Курчавого. — Всегда доверяюсь их суждению, всегда доверяюсь. Они — дельные парни. Дай им немного огненной воды, Курчавый, и давай поговорим о деле.

Это называлось напрашиваться на угощение;

но Курчавый Джим, вспомнив, как с последней сковороды намылось до семи долларов, решил, что дело стоит добавочной порции виски, хотя его и можно было продавать в соседней комнате по доллару за рюмку.

— Я не в силах сообразить… — при этом О'Брайен икал в сторону своих двух друзей, объясняя им вопрос с самого начала. — Кто? Я? Продать за десять тысяч долларов? Ну нет! Я буду добывать золото сам, а затем отправлюсь на юг, в благословенную Богом страну, в Южную Калифорнию… Вот место, где я могу завершить свои угасающие дни… а там, я заведу… как сказано, заведу… что, бишь, я говорил, что заведу?..

— Страусовый завод, — наудачу предложил Муклук Чарли.

— Вот именно, это самое я и собирался завести… — О'Брайен сразу оборвал речь и со страхом взглянул на Муклук Чарли. — Как ты узнал? Я никогда этого не говорил. Я только думал, что говорил. Ты угадываешь мысли… Чарли. Ну-ка, пропустим еще по единой.

Курчавый Джим имел удовольствие убедиться, как исчезло виски на четыре доллара, причем на четвертый доллар он наказал себя сам: О'Брайен настаивал на том, чтобы он пил вровень со сво-

ими гостями.

— Лучше бери деньги сейчас, — доказывал Леклер. — Потребуется два года, чтобы выкопать их из земли. А за это время ты уже сумеешь вывести крохотных страусят и выщипывать перья из взрослых страусов.

О'Брайен обдумал предложение и одобрительно кивнул головой. Курчавый Джим с благодарностью взглянул на Леклера и снова наполнил рюмки.

— Постой! — загремел Муклук Чарли, язык которого начал болтаться без привязи и спотыкаться. — В качестве твоего духовного отца... я собираюсь... в качестве, понятно, твоего брата... О дьявол! — Он остановился и собрался с мыслями для другого вступления. — В качестве твоего друга, делового друга, хотел я сказать, я собираюсь предложить... вернее... я беру на себя смелость, как сказано, упомянуть... я хочу сказать... предложить... чтобы было больше страусов... О дьявол! — Он опрокинул еще стаканчик и продолжал более связно: — Я это говорю к тому, чтобы... да к чему я это говорю? — Он раз шесть крепко хлопнул себя по виску ладонью, чтобы взбодрить свои мысли. — Вот оно! — закричал он с восторгом. — А вдруг в скважине гораздо

больше золота, чем на десять тысяч!

О'Брайен, который, по-видимому, был совершенно готов завершить сделку, сразу повернул стрелку в другую сторону.

— О Господи! — крикнул он. — Блестящая мысль. Никогда бы я сам до этого не додумался. — Он горячо пожал руку Муклук Чарли. — Добрый друг! Добрый компаньон! — Он повернулся к Курчавому Джиму с воинственным видом. — Может быть, в этой скважине больше ста тысяч долларов. Ведь ты не захочешь обмануть своего старого друга, Курчавый?.. Ну разумеется, не захочешь… Я знаю тебя лучше, чем ты сам… Лучше, чем ты сам… Пропустим еще по одной, ладно?.. Мы все тут добрые друзья, говорю я… все… все…

И так тянулось дело, так утекало виски, так колебались надежды Курчавого Джима — то вверх, то вниз. Порой Леклер аргументировал в пользу немедленной продажи и почти склонял на свою сторону сопротивлявшегося О'Брайена, но тут же упускал его из рук благодаря блестящей контраргументации[89] Муклук Чарли. Затем Муклук Чарли предоставлял убедительные резоны для продажи, а Перси Леклер упрямо противил-

---

[89] Сноски: 89

Контраргументация — противоположный довод.

ся. Немного спустя сам О'Брайен настаивал на заключении сделки, а оба друга со слезами и ругательствами пытались его отговорить. Чем больше виски они поглощали, тем щедрее на выдумку становились. Вместо одного трезвого pro и contra[90] они находили десятки пьяных и так убедительно уговаривали друг друга, что непрестанно менялись местами в споре.

Наступил момент, когда оба — и Муклук Чарли, и Леклер — крепко стояли за продажу и весело уничтожали все возражения О'Брайена, как только он их высказывал. О'Брайен впал в отчаяние. Он исчерпал свои аргументы и сидел в молчании. Он умоляюще взглянул на изменивших ему друзей. Он толкнул под столом ногу Муклука Чарли, но этот безжалостный герой немедленно развернул новый и особенно логический резон в пользу продажи. Курчавый Джим добыл перо, чернила и бумагу и написал текст запродажной. О'Брайен сидел, держа перо в руке.

— Хлебнем еще по одной, — взмолился он. — Еще по одной, прежде чем я своей подписью… подписью выброшу за окно сто тысяч долларов.

Курчавый Джим с торжеством наполнил рюм-

---

[90] Сноски: 90
Pro и contra *(лат.)* — за и против.

ки. О'Брайен проглотил свою и наклонился, чтобы дрожащим пером поставить свою подпись. Он не успел начертить первый штрих, как вдруг выпрямился, внезапно охваченный идеей, боровшейся с его сознанием. Он встал на ноги и раскачивался взад и вперед перед остальными, а глаза его отражали упорный мыслительный процесс. Благожелательное сияние залило его лицо. Он обратился к картежному дельцу, взял его за руку и проговорил торжественно:

— Курчавый, ты мне друг. Вот моя рука. Пожми ее. Старый дружище, я этого не сделаю. Я не продам. Я не ограблю друга. Ни один сукин сын не сумеет сказать, что Маркус О'Брайен ограбил друга, потому что друг был пьян. Ты пьян, Курчавый. Я не хочу тебя грабить. Это только теперь пришло мне в голову. Я раньше об этом не подумал. Не знаю, как это со мной случилось, но я раньше не подумал об этом. А вдруг, Курчавый, старый друг мой, — а вдруг из всей распроклятой заявки не выжмешь десяти тысяч. Тогда я бы ограбил тебя. Нет, сэр. Я этого не сделаю. Маркус О'Брайен добывает деньги из земли, а не из своих друзей.

Чувства О'Брайена были столь возвышенны, что Перси Леклер и Муклук Чарли утопили возражения картежника в рукопожатиях. Они

припали к О'Брайену, любовно обняв его шею руками, извергая столько слов, что не могли расслышать доводов Курчавого, предлагавшего ввести в договор пункт, по коему ему должна быть возвращена разница, если прииск даст меньше десяти тысяч. Чем дольше они говорили, тем слезливее и благороднее становился их разговор. Все низменные мотивы были устранены. Они составляли трио филантропов, задавшихся целью спасти Курчавого Джима от него самого и от его собственной филантропии. Ни на минуту они не соглашались признать, что в мире существует хотя бы один неблагородный помысел. Они ползали, лазали и карабкались по высоким этическим плоскогориям и кряжам или тонули в метафизических морях сентиментальности.

Курчавый Джим вспотел, упарился и все разливал виски. Взамен он получил только несколько десятков рассуждений, из коих ни одно не относилось хоть сколько-нибудь к золотому прииску, на который он целился. Чем дольше они говорили, тем дальше отходили от этого прииска, и в два часа ночи Курчавый Джим признал себя побежденным. Одного за другим вывел он своих беспомощных гостей через кухню на улицу. Последним вышел О'Брайен, и все трое, взявшись за

руки в целях взаимопомощи, тяжело топтались на крыльце.

— Хороший ты делец, Курчавый! — говорил О'Брайен. — Должен сказать, люблю твое обхождение: благороден и щедр, нелицемерно гостеприимен… госте… приимен… гостеприимство. Верный человек. Ничего низкого и жадного в твоих поступках. Как сказано…

Но тут игрок в «фараон» захлопнул дверь. Все трое блаженно засмеялись, стоя на крыльце. Они смеялись долго. Наконец Муклук Чарли попробовал заговорить.

— Весело… здорово посмеялись… Я не то хотел сказать. Я думаю, что… да, что я думаю? Да! Вот что! Удивительно, как мысли ускользают. Охота за ускользающими идеями, за ускользающими идеями — замечательный спорт. Охотился ты когда-нибудь за кроликами, Перси, друг мой? У меня была собака, большая собака на кроликов. Как ее звали? Не знаю имени… никогда не было имени… ускользающее имя… охота на ускользающее имя… нет, на идею… идея ускользает, но я ее поймал… Я хотел сказать, что… О дьявол!

После этого на долгое время воцарилось молчание. О'Брайен выскользнул из их объятий и принял полусидячее положение, в котором и

заснул легким сном. Муклук Чарли гонялся за ускользающей идеей по всем щелям и уголкам угасавшего сознания. Леклер, зачарованный, ждал, пока он выскажется. Вдруг рука приятеля хватила его по спине.

— Поймал! — заорал Муклук Чарли громовым голосом.

Сотрясение от удара прервало течение мыслительного процесса в голове Леклера.

— Сколько на сковородку? — спросил он.

— Ничего на сковородку! — рассердился Муклук Чарли. — Идея… поймал… ухватил… загнал…

Лицо Леклера приняло вдохновенное, восторженное выражение, и он уже не отрывался от губ друга.

— О дьявол! — сказал Муклук Чарли.

В этот момент кухонная дверь отворилась на мгновение, и Курчавый Джим заорал:

— Ступай домой!

— Забавно, — сказал Муклук Чарли. — Та же идея… та же, что у меня… Идем домой!

Они подобрали О'Брайена, подхватили его с двух сторон и пошли. Муклук Чарли вслух стал преследовать другую идею. Леклер с энтузиазмом следил за погоней. Но О'Брайен не следил. Он не слыхал, не видал и не понимал ничего. Он

был только качающимся автоматом, поддерживаемым любовно, но непрочно своими двумя компаньонами.

Они выбрали нижнюю дорогу по берегу Юкона. Дом находился вовсе не там, но ведь там была ускользающая идея. Муклук Чарли смеялся над идеей, которую он не мог поймать в поучение Леклеру. Они дошли до того места, где была привязана к берегу лодка Сискью Перли. Веревка, за которую она была привязана, тянулась поперек тропинки до соснового пня. Они споткнулись о нее и упали; О'Брайен оказался внизу. Слабый проблеск сознания вспыхнул в его мозгу. Он почувствовал на себе тяжесть тел и в течение минуты бешено отбивался кулаками.

Затем снова заснул. Легкий храп огласил воздух, и Муклук Чарли захихикал.

— Новая идея, — заявил он, — новая, с иголочки. Только что поймал… никаких затруднений. Вышла прямо на меня, и я угодил ей в голову. Теперь она моя. О'Брайен пьян — скотски пьян! Стыд… страшный стыд… надо его проучить. Вот лодка Перли… Бросить О'Брайена в лодку Перли. Спустить вниз по Юкону… О'Брайен утром проснется. Не может грести против течения… Должен идти домой пешком… Придет домой

черт чертом. Дадим ему урок, все равно дадим ему урок.

Лодка Сискью Перли была пуста, если не считать пары весел. Она терлась бортом о берег рядом с О'Брайеном. Компаньоны скатили его туда. Муклук Чарли отвязал причал, а Леклер пустил лодку по течению. Затем, уставши от трудов, они растянулись на берегу и заснули.

На следующее утро весь Ред Кау знал о шутке, сыгранной над Маркусом О'Брайеном. Было заключено несколько крупных пари относительно того, что будет с шутниками, когда жертва вернется домой. После полудня выставили дозорных, чтобы известить о его появлении. Все хотели видеть, как он войдет в поселок. Но он не приходил, хотя они и просидели до полуночи. Он не пришел ни на другой день, ни на третий. Ред Кау никогда больше не увидел Маркуса О'Брайена; и хотя строил много предположений, так и не удалось никогда найти достоверной разгадки его таинственного исчезновения.

Знал только сам Маркус О'Брайен; а он не вернулся, чтобы рассказать об этом. На следующее утро он проснулся в муках. Желудок его был обожжен невероятным количеством виски, выпитым им накануне, и превратился в сухой и

раскаленный котел. Голова его болела, болела всюду — и изнутри и снаружи. Но хуже всего была боль в лице: в течение шести часов бесчисленные тысячи москитов питались им, и от их яда его лицо неимоверно распухло. Только путем сильного напряжения воли он мог раскрыть на своем лице узенькие щелки, через которые можно было глядеть.

Он попытался двинуть руками; но они болели. Он покосился на них, но не узнал: так они распухли от яда москитов. Он потерялся, или, вернее, он потерял свою личность. На нем не было ничего знакомого, что бы, в силу ассоциации представлений, вернуло бы его к сознанию единства своей личности. Он окончательно расстался со своим прошлым, ибо ничто вокруг не могло возродить в нем воспоминания о прошлом. Кроме того, он чувствовал себя таким больным и несчастным, что у него не хватало энергии доискиваться, кто он такой и что собой представляет.

И только обнаружив изгиб на мизинце, происшедший много лет тому назад от невправленного вывиха, он узнал в себе Маркуса О'Брайена. В то же мгновение прошлое завладело его сознанием. А когда он заметил под ногтем большого пальца кровоподтек, полученный им на прошлой неделе,

его самосознание упрочилось вдвое, и он понял, что эти незнакомые руки принадлежат Маркусу О'Брайену, — вернее, что Маркус О'Брайен имеет отношение к этим рукам. Первою его мыслью было то, что он болен, — не лихорадка ли это? Ему так больно было раскрыть глаза, что он держал их закрытыми. Небольшой плывущий сук сильно толкнул лодку. Он подумал, что кто-то стучится в дверь барака, и сказал:

— Войдите. — Затем подождал немного и проговорил ворчливо: — Ну так стойте снаружи, черт вас дери…

Все же он хотел, чтоб вошли и рассказали ему о его болезни. Но, пока он так лежал, прошлая ночь стала выплывать в его сознании. Он подумал, что вовсе не был болен; он только напился, и теперь ему пора встать и идти на работу. Работа навела его на мысль о прииске, и он вспомнил, что вчера отказался взять за него десять тысяч долларов. Он быстро принял сидячее положение и приоткрыл глаза. Он увидел себя в лодке, несущейся по набухшим бурным волнам Юкон. Покрытые хвоей берега и острова были незнакомы. На мгновение он был ошарашен. Осмыслить этого он не мог. Вспомнить давешнюю попойку он мог. Но не было никакой связи между нею и

теперешним его положением.

Он открыл глаза и схватился руками за свою больную голову. Что случилось? Медленно зарождалась в его мозгу ужасная мысль. Он боролся с нею, но она не отставала: он убил кого-нибудь. Этим и только этим могло объясняться то, что он плыл в открытой лодке вниз по Юкону. Закон Ред Кау, который он так долго применял, теперь был применен к нему. Он убил кого-нибудь, и его спустили по течению. Но кого? Он напрягал свой больной мозг для ответа, но в его смутных воспоминаниях не вставало ничего, кроме того, что на него упали тела, а он отбивался от них кулаками. Что это были за люди? Может быть, он убил не одного? Он схватился за пояс. Ножа в ножнах не было. Он, несомненно, сделал это ножом. Но должна же быть какая-нибудь причина для убийства. Он открыл глаза и, охваченный страхом, начал рыскать в лодке. Провизии не было — ни одной унции провизии. Он присел и застонал. Да, он убил, не будучи вызван на это. На него обрушился самый суровый закон.

В течение получаса он оставался неподвижным, держась за больную голову и пытаясь мыслить. Затем он прохладил желудок глотком воды, зачерпнутой за бортом, и почувствовал се-

бя лучше. Он встал и среди широко разлившегося Юкон проклял крепкие напитки — проклятия эти услышала только первобытная пустыня. После этого он привязал лодку к большому плавучему бревну, которое сидело в воде глубже, чем лодка, и потому плыло быстрее. Он вымыл лицо и руки, сел на кормовую скамью и подумал еще немного. Был конец июня. До Берингова моря было две тысячи миль. Лодка делала в среднем пять миль в час. В этих широтах в такое время года темноты не бывает, и он мог плыть в течение всех двадцати четырех часов. Это составит сто двадцать миль. Вычеркнуть двадцать на непредвиденные обстоятельства: останется сто миль в день. В двадцать дней он достигнет Берингова моря. Для этого не потребуется никакой затраты энергии: река будет нести всю работу. Он может лежать на дне лодки и беречь свои силы.

В течение двух дней он не ел ничего. Затем, доплыв до отмели Юкон, он сошел на берег, на низко лежавшие острова, и набрал яиц диких гусей и уток. У него не было спичек, и он ел яйца сырыми. Они были питательны и поддерживали его. Пересекши Полярный круг, он наткнулся на пост Компании Гудзонова залива. Бригада еще не приехала с озера Маккензи, и пост был

абсолютно лишен провизии. Ему предложили яйца диких уток; но он сообщил им, что у него в лодке имеется целый бушель этого товара. Ему предложили также рюмочку виски, от которой он отказался с выражением бурного отвращения. Он получил спички и после этого мог варить свои яйца. Ближе к устью реки противный ветер задержал его, и он прожил двадцать четыре дня на яичной диете, К несчастью, он во время сна миновал обе миссии — Св. Павла и Честного Креста — и мог чистосердечно утверждать — как он впоследствии и делал, — что все разговоры о миссиях на Юконе — чистейшая чепуха. Не было никаких миссий; кому это знать, как не ему!

Доплыв до Берингова моря, он заменил яичную диету тюленьей диетой и потом никак не мог решить, что более противно. Осенью его подобрал катер, возвращавшийся в Соединенные Штаты, а в ту же зиму он произвел в Сан-Франциско фурор в качестве проповедника трезвости. На этом деле он обрел свое призвание. «Избегай бутылки!» — вот его девиз и боевой клич. Едва-едва он давал понять, что в его собственной жизни произошло великое бедствие по вине бутылки.

Он даже упоминает о потере состояния, причиненной ему этой адской приманкой дьявола; но

за этим происшествием слушатели угадывают абрис[91] какого-то грозного и неразгаданного несчастия, ответственность за которое несет бутылка.

Он добился успеха на своем поприще; он поседел в этом крестовом походе против крепких напитков и добился всеобщего уважения. Но на Юконе пропажа Маркуса О'Брайена стала преданием. Это тайна, которая стоит наравне с исчезновением сэра Джона Франклина[92].

[91] Сноски: 91

Абрис — контур, общее очертание.

[92] Сноски: 92

Джон Франклин (1786–1848) — знаменитый английский мореплаватель, безвестно погибший во время экспедиции к Северному полюсу.

Остроумие Порпортука

Эл-Су воспитывалась в миссии. Мать ее умерла, когда она была еще совсем маленькой, и сестра Альберта в один из летних дней подобрала Эл-Су, как головню с пожарища, отвезла в миссию Св. Креста и посвятила ее Богу.

Эл-Су была чистокровной индианкой и все же превосходила по способностям всех полукровок и квартеронок[93]. Добрые сестры никогда еще не имели дела с такой работящей и понятливой девушкой, как она.

Эл-Су оказалась проворной, расторопной и сообразительной. Но, помимо того, она была настоящий огонь, живое пламя, кипучая натура, сотканная вся из воли, нежности и дерзания. Отец ее был вождем, и кровь его текла в ее жилах. Повиновение со стороны Эл-Су было делом добровольного соглашения. Она обладала страстным чувством справедливости и, быть может,

---

[93] Сноски: 93

Квартероны — дети белых и мулатов или метисов (по-латыни — квартариус, — от квартус — четверть меры. Полукровки-метисы в браках с белыми имеют потомство, в жилах которого остается только четверть крови цветной расы). Квартероны имеют белую, нежную кожу, и только у корней ногтей остаются неуничтожимые темные оттенки.

поэтому преуспевала в математике.

Но она преуспевала и в других отношениях. Она выучилась читать и писать по-английски так свободно, как ни одна девушка в миссии. Она была запевалой в девичьем хоре. Натура у нее была артистическая, и вся она тянулась к творчеству. Попади она с детства в более благоприятную обстановку — она занялась бы литературой и музыкой.

А вместо этого она — Эл-Су, дочь вождя Клаки-На — жила в миссии Св. Креста, где не было художников, а были только чистые духом сестры, заботившиеся о чистоте и нравственности и блаженстве душ в стране бессмертия, обретающейся на небесах.

Проходили годы. Ей было всего восемь лет, когда она попала в миссию.

Ей минуло шестнадцать, и сестры вступили в переписку с орденским[94] начальством относительно отправления ее в Соединенные Штаты для пополнения образования, когда к миссии Св. Креста прибыл человек из ее племени и вступил с нею в разговор. Эл-Су была несколько испугана его видом. Он был грязен. Это было существо,

---

[94] Сноски: 94

Орден — братство, сообщество монашеское, духовное или рыцарское.

напоминавшее Калибана, примитивно безобразное, нечесаное, с копной волос на голове. Он посмотрел на нее неодобрительно и отказался присесть.

— Твой брат умер, — сказал он кратко.

Эл-Су была не слишком потрясена. Она почти не помнила брата.

— Отец стар и одинок, — продолжал вестник. — Дом его велик и пуст. Он хочет слышать твой голос и смотреть на тебя.

Его она помнила. Это был Клаки-На — вождь поселка, друг миссионеров и торговцев, человек гигантского сложения, с добрыми глазами и повелительными манерами, выступавший с сознанием величия среди своей свиты.

— Скажи ему, что я приду, — был ответ Эл-Су.

К великому отчаянию сестер, головня, подобранная на пожарище, вернулась к пожарищу. Всякие уговоры оказались тщетными. Убеждали, требовали и плакали. Сестра Альберта даже открыла ей проект отправления ее в Соединенные Штаты. Эл-Су с широко раскрытыми глазами поглядела на открывшееся ей золотое видение и покачала головой. В ее глазах неотступно стояло другое видение. То был мощный изгиб Юкона у станции Танана, с миссией Св. Георгия на одной

стороне и торговым постом — на другой, а на полпути между ними — индейская деревня и некий большой бревенчатый дом, в котором жил старик, обслуживаемый рабами.

Все жители побережья Юкона, на две тысячи миль в округе, знали этот дом, этого старого человека и прислуживающих ему рабов. И сестры тоже хорошо знали этот дом с его нескончаемым разгулом, пирами и весельем. Поэтому, когда Эл-Су уехала, в миссии Св. Креста немало поплакали.

В большом доме приступили к великой чистке, когда прибыла Эл-Су.

Клаки-На был самодур и сначала протестовал против барских замашек своей дочери; но в конце концов, по-варварски мечтая о пышности, пошел и занял тысячу долларов у старого Порпортука, богаче которого не было индейца по всему течению Юкона. Кроме того, Клаки-На оплатил крупный счет на торговом пункте. Эл-Су преобразила большой дом. Она придала ему новый блеск, в то время как Клаки-На по-прежнему хранил традицию гостеприимства и кутежей.

Все это было необычайно для индейца с Юкона, но Клаки-На был необычайный индеец. Он не только любил оказывать широкое гостепри-

имство, но, располагая как вождь большими деньгами, мог себе это позволить. В дни первых торговцев он был силой среди своего племени и делал хорошие дела с торговыми товариществами белолицых. Позже вместе с Порпортуком он открыл золотую россыпь на реке Коюткуке. Клаки-На и по природе, и по воспитанию был аристократом. Порпортук же был буржуа, и потому Порпортук откупил у него его долю в прииске. Порпортук довольствовался кропотливым накоплением. Клаки-На вернулся в свой большой дом — и начал тратить. Порпортук прославился как самый богатый индеец на Аляске и не брезгал ростовщичеством. Клаки-На весь был анахронизм, пережиток средних веков, боец и бражник, наслаждавшийся вином и песнями.

Эл-Су приспособилась к большому дому и его нравам так же легко, как прежде приспособлялась к миссии Св. Креста и тамошним порядкам.

Она не старалась наставить своего отца на путь истинный и направить стопы его к Богу. Правда, она укоряла его, когда он пил слишком много и напивался; но вмешивалась она только ради его здоровья.

Веревочный запор большого дома всегда был спущен. Без конца то приезжали, то уезжали.

Стропила большой палаты дрожали от смеха и песен. За столом сидели люди со всего света и вожди дальних племен — англичане и жители колоний, сухощавые янки и жирные служащие крупных компаний, ковбои из западных штатов, моряки, охотники и погонщики собак, принадлежавшие к двадцати разным национальностям.

Эл-Су вдыхала космополитическую атмосферу. Она говорила по-английски так же хорошо, как и на родном наречии, и пела английские песни. Она знала отживающий индейский церемониал и умирающие традиции. И при случае умела носить одежду дочери вождя своего племени. Но большею частью она одевалась, как одеваются белые женщины. Она недаром занималась в миссии рукоделием и была прирожденной художницей. Мастерила она платья белых женщин сама — и умела их носить.

В своем роде она была так же своеобразна, как и отец; и положение, которое она заняла, было столь же необычным, как и его. Она была единственной индеанкой, равной по социальному положению всем белым женщинам, жившим на станции Танана. Она была единственной индеанкой, которой белые мужчины делали почтительные предложения руки и сердца. И она

была единственной индеанкой, которую не оскорблял ни один белый.

Ибо Эл-Су была красавицей. Красота ее была красотой индеанки: сила и очарование внутреннего огня, независимо даже от черт лица. Поскольку речь идет об одних чертах лица и линиях тела, она представляла классический индейский тип. У нее были и черные волосы, и нежно-бронзовый цвет кожи, и черные глаза, блестящие и смелые, сверкающие, как клинок, и гордые; у нее был изящный орлиный нос с тонкими дрожащими ноздрями, выдающиеся скулы, не слишком широкие, и тонкие губы, не слишком сжатые.

Но поверх сего и сквозь все пробивалось ее пламя — непреодолимое нечто, что было ее душой, что мягко и тепло горело в ее глазах, заливало ее щеки, раздувало ноздри, двигало ее губами; а когда губы были в покое, оно все же лежало на них, и губы, казалось, дрожали от его присутствия.

К тому же Эл-Су обладала остроумием, редко задевавшим кого-нибудь серьезно, но умевшим ловко отыскивать простительные слабости. Ее насмешливый ум играл, как мерцающее пламя, и во всех окружающих пробуждался ответный смех. И вместе с тем она никогда не была в цен-

тре. Этого она не допускала. Большой дом и все, чем он был замечателен, принадлежало ее отцу. И до самого конца по дому двигалась героическая фигура его хозяина, коновода всех кутежей, законодателя племени.

Правда, когда силы стали покидать его, она взяла из его рук часть ответственных обязанностей. Но, по-видимости, он все еще правил, часто засыпая за столом, — развалина, и все же как будто руководитель пиршества.

По дому двигалась также фигура Порпортука; он зловеще покачивал головой, неодобрительно оглядывался вокруг и платил за все. Не то чтобы он действительно платил. На самом деле он соблюдал свой интерес таинственными путями и из года в год поглощал все имущество Клаки-На. Порпортук однажды взял на себя смелость пожурить Эл-Су за расточительный образ жизни в большом доме — это было тогда, когда он почти поглотил последние остатки богатства Клаки-На, — но ему никогда не пришлось повторить свой выговор. Эл-Су, как и ее отец, была аристократкой; как он, презирала деньги и, как он, обладала сильным чувством чести.

Порпортук нехотя продолжал одалживать деньги, и всегда они рассеивались золотой дымкой.

Эл-Су твердо решила: отец ее должен умереть, как жил. Он не должен познать горечь падения: так же широко должны раскрываться двери для гостеприимства, а пиры не прекращаться. Когда наступил традиционный голод, индейцы с воем приходили к большому дому и уходили довольные. Когда денег не было, занимали у Порпортука, и индейцы все же уходили довольные. Эл-Су с успехом могла бы повторить вслед за аристократками другой страны и иной эпохи, что после нее — хоть потоп[95]. В данном случае потоп олицетворялся Порпортуком. При каждой новой ссуде он все более откровенно глядел на нее как собственник и чувствовал, как в нем закипает давнишний огонь.

Но Эл-Су не обращала на него внимания. Не смотрела она и на белых людей, которые хотели обвенчаться с нею в миссии по всем правилам — с обручальным кольцом, священником и Библией. Ибо на станции Танана жил юноша Акун, человек ее крови, ее племени, ее деревни. Он был силен и красив — так ей казалось, — славный охотник, побывавший в далеких странах,

[95] Сноски: 95

«После нас хоть потоп!» — любимая фраза французского дворянства, спешившего насладиться жизнью перед надвигающейся Великой французской революцией.

и очень бедный. Он повидал много неведомых мест: ходил и в Ситку, и в Соединенные Штаты, пересек континент до Гудзонова залива и обратно и на тюленебойном корабле плавал в Японию и в Сибирь.

Вернувшись с поисков золота в Клондайке, он пришел, как обычно, в большой дом, чтобы дать отчет старому Клаки-На о том мире, который он видел. И тут он впервые увидел Эл-Су, через три года после ее возвращения из миссии. С тех пор Акун перестал странствовать. Он отказался от двадцати долларов в день: их он раньше зарабатывал как лоцман на больших пароходах. Он немного охотился и ловил рыбу, но никогда не отходил далеко от Тананы и бывал в большом доме часто и подолгу. И Эл-Су сравнила его со многими людьми и нашла, что он хорош. Он пел ей песни, горел и пылал, пока вся станция Танана не узнала, что он ее любит. А Порпортук только осклабился и ссужал все больше денег на содержание большого дома.

И настал предсмертный пир Клаки-На. Он сидел за столом, в горле его была смерть, и он не мог утопить ее в вине. Смех и шутки ходили вокруг стола, и Акун рассказал историю, после которой смех отразился в стропилах громким эхом. За

столом не было ни слез, ни вздохов. Клаки-На должен был умереть, как жил, и никто не знал этого лучше, чем Эл-Су, с ее аристократическим чутьем. Вся хвастливая ватага была налицо, и, как в былые дни, здесь находились три обветренных моряка, только что совершивших длинный рейс по Ледовитому океану, — единственные оставшиеся в живых из экипажа в двадцать семь человек. За спиной Клаки-На стояли пятеро стариков — все, что осталось у него из рабов его молодости. Со слезящимися глазами следили они за его желаниями, наполняя его стакан онемелыми руками или хлопая его по спине между лопаток, когда смерть ерзала у него в горле и он начинал кашлять и задыхаться.

Это была бурная ночь, и по мере того как часы уходили, а вокруг стола становилось веселее и шумнее, смерть все сильнее начинала ерзать в горле Клаки-На. Тогда он послал за Порпортуком. И Порпортук пришел с мороза, чтобы взглянуть неодобрительным взором на стол с яствами и винами, за которые он заплатил. Но когда его взгляд скользнул по ряду зардевшихся лиц до дальнего конца стола и Порпортук увидел лицо Эл-Су, огонь вспыхнул в его глазах, и на мгновение неодобрение исчезло.

Для него очистили место рядом с Клаки-На и поставили перед ним стакан. Клаки-На своими руками наполнил стакан жгучим напитком.

— Пей! — крикнул он. — Разве это не приятно?

И глаза Порпортука стали маслеными, когда он кивнул головой и причмокнул губами.

— Когда пил ты такое вино в своем доме? — спросил Клаки-На.

— Я не отрицаю, что это питье приятно моему старому горлу, — отвечал Порпортук и запнулся, не окончив фразы.

— Но оно стоит слишком дорого, — загремел Клаки-На, оканчивая фразу за него.

Порпортук поморщился, ибо смех прокатился по всему столу.

Его глаза засверкали злобным огнем.

— Мы вместе были мальчишками, однолетками, — сказал он. — В твоем горле смерть. А я все еще жив и здоров.

Зловещий ропот поднялся среди гостей. Клаки-На закашлялся и стал задыхаться, а старые слуги хлопали его по спине между лопаток. Он приподнялся, ловя воздух, и махнул рукой, чтобы прекратить шум.

— Ты жалел огня в своем доме, потому что дрова стоили дорого! — крикнул он. — Ты жалел

жизни. Жизнь стоит слишком дорого, и ты не захотел заплатить настоящую цену. Твоя жизнь была словно хижина, в которой погас огонь и на полу нет постели. — Он дал рабу знак наполнить стакан и поднял его. — А я жил. И мне было так тепло в жизни, как тебе никогда не бывало. Правда, ты проживешь долго. Но самые долгие ночи — это те, когда холодно, когда человек не спит и дрожит. Мои ночи были коротки, но я спал в тепле.

Он осушил свой стакан. Дрожащая рука раба не успела подхватить стакан, и он упал на пол. Клаки-На откинулся назад, тяжело дыша и следя за тем, как опрокидывались стаканы у губ гостей, а его собственные губы слегка улыбались в ответ на их рукоплескания. По его знаку двое рабов попытались поддержать его, чтобы он снова мог сидеть прямо. Но они были слабы, а его тело было могучего сложения, и четверо стариков спотыкались и шатались, помогая ему подняться.

— Но жить надо не так, как мы с тобой, — продолжал он. — У нас есть сегодня другое дело, Порпортук. Долги — это беда, и мне не посчастливилось с тобой. Что с моим долгом и как он велик?

Порпортук порылся в своем кошельке и вынул

запись. Он пригубил стакан и начал:

— Вот счет от августа 1889 года на триста долларов. Проценты не были уплачены. Вот счет от следующего года на пятьсот долларов; этот счет был включен в другой, написанный два месяца спустя, на тысячу долларов. Затем идет счет…

— Брось все эти счета! — нетерпеливо крикнул Клаки-На. — От них у меня кружится голова и все, что в ней находится. Говори всю сумму! Сколько там всего?

Порпортук справился в своих записях.

— Пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь долларов и семьдесят пять центов, — прочитал он с точностью.

— Пусть будет шестнадцать тысяч, пусть будет шестнадцать, — сказал Клаки-На великодушно. — Неровные числа всегда меня путают. А теперь, — для того-то я и послал за тобой, — напиши мне новый счет на шестнадцать тысяч, который я сейчас и подпишу. Я ничего не понимаю в процентах. Ставь сколько хочешь и считай за мной уплату на том свете, когда мы встретимся у костра Великого Отца всех индейцев. Тогда будет уплачено по твоему счету. Это я тебе обещаю. Даю тебе слово Клаки-На.

Порпортук выглядел ошарашенным, а раздав-

шийся хохот потряс стены.

Клаки-На поднял руки.

— Нет, — крикнул он. — Это не шутка. Я говорю совершенно серьезно. Потому-то я и послал за тобой, Порпортук. Пиши счет.

— Я не веду дел с загробным миром, — медленно ответил Порпортук.

— Разве ты не надеешься встретиться со мною перед лицом Великого Отца? — спросил Клаки-На. Затем он прибавил: — Я там буду наверное.

— Я не веду дел с загробным миром, — кисло повторил Порпортук.

Умирающий поглядел на него с чистосердечным удивлением.

— Я ничего не знаю о том свете, — объяснил Порпортук. — Я делаю дела в этом мире.

Лицо Клаки-На прояснилось.

— Это происходит от холодных ночей, — засмеялся он. Он подумал некоторое время и затем произнес: — Ты должен получить свою плату в этом мире. У меня остался этот дом. Возьми его и сожги счет вот на этой свечке.

— Это старый дом, который не стоит таких денег, — отвечал Порпортук.

— У меня есть еще прииск на Твистэд Сэгмоне.

— Он никогда не стоил того, чтобы его разраба-

тывать, — был ответ.

— А моя часть в пароходе «Коюкук». Я — в половинной доле.

— Он лежит на дне Юкона.

Клаки-На изумился.

— Верно. Я и забыл. Это случилось прошлой весной во время ледохода.

Он углубился в размышления, и в это время никто не прикасался к стаканам: все ждали, что он скажет.

— В таком случае выходит так, что я должен тебе сумму, которую не могу уплатить… на этом свете.

Порпортук кивнул головой и поглядел на конец стола.

— В таком случае выходит так, что ты слабый делец, Порпортук, — лукаво сказал Клаки-На.

Но Порпортук дерзко ответил:

— Нет, здесь есть еще нетронутое обеспечение.

— Как? — воскликнул Клаки-На. — У меня есть еще имущество? Назови его, и оно твое, а мы квиты.

— Вот оно! — Порпортук указал на Эл-Су.

Клаки-На не понял. Он посмотрел на тот конец стола, протер глаза и посмотрел снова.

— Твоя дочь, Эл-Су. Ее я возьму — и квиты. Я со-

жгу все эти записи вот на этой свечке.

Широкая грудь Клаки-На заходила вверх и вниз.

— Ха-ха! Вот так штука, хо-хо-хо! — гомерически захохотал он. — Это ты-то, с твоей холодной постелью и дочерьми, которые годятся в матери Эл-Су! Ха-ха-ха!

Он стал кашлять и задыхаться, и рабы хлопали его по спине.

— Ха-ха-ха! — начал он снова и захлебнулся в новом пароксизме смеха.

Порпортук терпеливо подождал, прихлебывая из своего стакана и изучая двойной ряд лиц за столом.

— Это не шутка, — сказал он наконец. — Я говорил серьезно.

Клаки-На протрезвился и поглядел на него, затем потянулся за стаканом, но не смог его взять. Раб подал ему стакан, и он швырнул его вместе с содержимым в лицо Порпортука.

— Вышвырните его вон! — загремел Клаки-На, обращаясь к сотрапезникам, напряженно выжидавшим, как стая собак на своре. — И выкатайте его в снегу!

Когда обезумевшая ватага пронеслась мимо него на улицу, он подал знак рабам, и четверо

трясущихся стариков подняли его на ноги навстречу возвращавшимся кутилам. Он стоял во весь рост и предложил им тост за короткую ночь, в которую тепло спится.

Не потребовалось много времени, чтобы определить имущественное положение Клаки-На. Эл-Су пригласила на помощь Томми, маленького англичанина, чиновника торгового пункта. Не было ничего, кроме долгов, неоплаченных счетов, заложенного имущества и имущества не заложенного, но ничего не стоящего. Держателем заемных писем и залогов являлся Порпортук. Томми неоднократно называл его разбойником, когда проверял процентные начисления.

— Разве это не долг, Томми? — спросила Эл-Су.

— Это грабеж! — отвечал Томми.

— Все равно это долг, — настаивала она.

Прошли зима и ранняя весна, а претензии Порпортука все еще оставались неоплаченными. Он часто виделся с Эл-Су и напоследок указал ей, как уже указывал ее отцу, тот способ, каким долг может быть погашен. К тому же он приводил с собой старых шаманов, которые расписывали ей вечные муки, угрожавшие ее отцу, если долг не будет заплачен. Однажды, после одного из таких убеждений, Эл-Су сделала Порпортуку

окончательное заявление.

— Я скажу тебе две вещи, — проговорила она. — Во-первых, я не буду твоей женой. Запомни это. А во-вторых, тебе будут уплачены до последнего цента все шестнадцать тысяч.

— Пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят семь долларов семьдесят пять центов, — поправил Порпортук.

— Мой отец сказал — шестнадцать тысяч, — был ответ. — Тебе будет заплачено.

— Каким образом?

— Я еще не знаю, но я найду способ. Теперь иди и не надоедай мне больше. Иначе… — она запнулась, — иначе я велю снова вывалять тебя в снегу, как только выпадет первый снег.

Это было еще ранней весной, а немного погодя Эл-Су изумила всю округу. Пронесся слух вверх и вниз по Юкону, от Чилкута до дельты, от стоянки к стоянке, до самых дальних бивуаков, что в июне, когда пойдет лосось, Эл-Су, дочь Клаки-На, будет продавать себя с публичного аукциона, чтобы уплатить долг Порпортуку. Тщетны были все усилия разубедить ее. Миссионер от Св. Георгия спорил с нею, но она возразила:

— Только долги по отношению к Богу уплачиваются на том свете. Долги человеческие

принадлежат этому миру, и в этом мире их надо платить.

Акун спорил с нею; но она возразила:

— Я люблю тебя, Акун; но честь выше, чем любовь; а кто я, чтобы позорить своего отца?

Сестра Альберта приехала от Св. Креста на первом же пароходе, но ничего не добилась.

— Мой отец бродит по пустому и нескончаемому лесу, — говорила Эл-Су, — и не перестанет бродить, рыдая вместе с осужденными душами, пока долг не будет заплачен. Только и только тогда сумеет он войти в дом Великого Отца.

— И ты веришь в это? — спросила сестра Альберта.

— Не знаю, — отвечала Эл-Су. — Но такова была вера моего отца.

Сестра Альберта недоверчиво пожала плечами.

— Кто знает? Может быть, все то, во что мы верим, существует на деле, — продолжала Эл-Су. — Почему бы и нет? Тот свет для вас будет с небом и с арфами… потому что вы верили в небо и арфы; для моего отца тот свет будет большим домом, где он всегда будет сидеть за столом и пировать вместе с Богом.

— А ты? — спросила сестра Альберта. — Каков

твой загробный мир?

Эл-Су запнулась только на мгновение.

— Я хотела бы понемногу и того и другого, — сказала она. — Мне приятно было бы видеть и ваше лицо, и лицо моего отца.

Время аукциона наступало. Станция Танана в это время была густо населена. Племена, по обычаю, собирались там, чтобы ожидать, когда лосось двинется, и проводили время в пляске, играх, торговле и сплетнях. Кроме того, тут, как всегда, было немало белых авантюристов, торговцев, золотоискателей и вдобавок большое количество белых, приехавших из любопытства поглазеть на необычное зрелище.

Весна запоздала, и лососи не шли. Эта отсрочка только разожгла интерес. Затем, в самый день аукциона, положение стало напряженным из-за Акуна. Он встал и сделал публичное и торжественное заявление, что всякий, кто купит Эл-Су, немедленно погибнет. Он потряс своим винчестером, чтобы показать, какой смертью этот смельчак погибнет. Эл-Су очень рассердилась на это; но он не захотел с ней разговаривать и отправился на пункт, чтобы запастись свежими боевыми припасами.

Первый лосось был пойман в десять часов вече-

ра, и в полночь аукцион начался. Он происходил на нагорном берегу Юкон. Солнце находилось, как полагалось, на севере — как раз под горизонтом, и небо было зловеще красного цвета. Большая толпа собралась вокруг стола и двух стульев, стоявших на краю откоса. В передних рядах стояло большое количество белых и несколько вождей. Особенно обращал на себя внимание Акун с ружьем в руке. Томми, по просьбе Эл-Су, изображал оценщика, но она сама сказала вступительную речь и описала продающийся товар. Она была в туземном, по-варварски роскошном наряде дочери вождя и стояла на стуле, чтобы удобнее было ее разглядывать.

— Кто желает купить жену? — спросила она. — Поглядите на меня. Мне двадцать лет; я — девушка. Буду хорошей женой тому, кто меня купит. Если это будет белый, я начну одеваться по моде белых женщин; если индеец, то я оденусь, как… — она минуту поколебалась, — как туземка. Я умею сама кроить свои платья, шить, стирать, штопать. Меня восемь лет учили этому в миссии Св. Креста. Я умею читать и писать по-английски и играть на органе. Кроме того, я знаю арифметику и… немножко алгебру. Достанусь я тому, кто даст больше, и выдам ему купчую на себя. Я за-

была сказать, что хорошо пою и никогда в жизни не болела. Вешу я сто тридцать два фунта. Отец мой умер, и у меня нет родных. Кто хочет меня купить?

Она оглядела толпу с какой-то пламенной дерзостью и сошла на землю.

Затем, по предложению Томми, она снова встала на стул, а сам он взобрался на другой и открыл аукцион.

Вокруг Эл-Су стали четверо рабов ее отца. Они скрючились от старости и паралича — представители старого поколения, бесстрастно следящие за безумством молодой жизни. Спереди толпы было несколько королей из Эльдорадо и бонанцы с Верхнего Юкона, а рядом с ними, на костылях, распухшие от цинги, стояли два убогих золотоискателя. Из середины толпы, высунувшись благодаря избытку живости, выглядывало дикими глазами лицо индеанки из далеких верховий Тананы; случайно забредший с побережья индеец из племени ситка стоял бок о бок со стиксом с озера Ле-Барж, а дальше было полдюжины сбившихся в кучу вояжеров из Французской Канады. Издали доносился слабый писк лесных птиц, вивших гнезда. Ласточки кружились над головами, поднимались с мирной поверхности

Юкона, и пел реполов. Изогнутые лучи спрятавшегося солнца сияли сквозь высоко поднявшийся дым от лесов, горевших за тысячу миль, и окрашивали небо в мрачный красный цвет, так что земля казалась красной от отраженного света. Это красное сияние озаряло все лица и делало все нереальным.

Предложения сначала шли туго. Индеец из племени ситка, который был нездешним и прибыл только за полчаса, тихим голосом, как бы по секрету, предложил сто долларов и был очень удивлен, когда Акун с ружьем в руке угрожающе повернулся к нему. Аукцион шел медленно. Индеец-рулевой из Тоцикакаты предложил сто пятьдесят, и несколько времени спустя игрок, выселенный с верховьев, поднял цену до двухсот. Эл-Су была раздосадована; ее гордость — задета; но единственным результатом было то, что глаза ее еще более дерзко впились в топу.

Среди зрителей произошло смятение, когда Порпортук протиснулся вперед.

— Пятьсот! — предложил он громким голосом; затем с гордостью огляделся, чтобы убедиться в произведенном эффекте.

Он намеревался пустить в ход свое огромное богатство, как дубину, которая оглушила бы вся-

кую конкуренцию. Но один из вояжеров, глядя на Эл-Су сверкающим взором, повысил цену на одну сотню.

— Семьсот! — быстро отпарировал Порпортук.

И с такой же быстротой раздалось «Восемьсот!» из уст вояжера.

Тогда Порпортук снова взмахнул своей дубиной.

— Тысяча двести! — гаркнул он.

С разочарованным видом вояжер сдался. Никаких предложений не было. Томми старался вовсю, но не мог выжать ни одного предложения.

Эл-Су заговорила с Порпортуком:

— Хорошо было бы, Порпортук, если бы ты взвесил свое предложение. Разве ты забыл, что я сказала тебе? Я никогда не буду твоей женой.

— Это публичный аукцион, — возразил он. — Я куплю тебя по всем правилам. Я предложил тысячу двести долларов. Ты пошла дешево.

— Чертовски дешево! — закричал Томми. — Что из того, что я аукционер? Это не мешает мне торговаться. Я даю тысячу триста!

— Тысяча четыреста! — сказал Порпортук.

— Я куплю вас, чтобы вы были моей… моей сестрой, — шепнул Томми Эл-Су. Затем он громко крикнул: — Тысяча пятьсот!

На двух тысячах вмешался один из эльдорадских королей, и Томми вышел из строя.

В третий раз Порпортук взмахнул дубиной своего богатства, сразу повысив сумму на пятьсот долларов. Но гордость эльдорадского короля была задета. Не было человека, который мог оглушить его. И он в ответ поднял цену еще на пятьсот.

Эл-Су дошла до трех тысяч. Порпортук повысил на пятьсот и разинул рот, когда эльдорадский король повысил еще на тысячу. Порпортук снова накинул пятьсот и снова разинул рот, когда король прибавил еще тысячу.

Порпортук начал сердиться. Его самолюбие было задето; его силе был брошен вызов. Сила же представлялась ему в форме богатства. Он не захотел быть опозоренным перед всем светом. Эл-Су отошла на задний план. Он был готов протранжирить все, что скопил, корчиться от стужи хотя бы всю жизнь в холодные ночи. Цена поднялась уже до шести тысяч. Он накинул еще тысячу. А затем надбавками по тысяче долларов цена ее стала расти с той быстротой, с какой можно было надбавки произносить. На четырнадцати тысячах оба остановились, чтобы перевести дух. Тогда случилось нечто неожиданное. Взвилась более тяжелая дубина. Во время наступившей

паузы игрок, почуявший в воздухе спекуляцию, с несколькими из своих товарищей организовал синдикат и предложил шестнадцать тысяч.

— Семнадцать, — слабо сказал Порпортук.

— Восемнадцать, — бросил король.

Порпортук напряг все силы.

— Двадцать!

Синдикат вышел из строя. Эльдорадский король набавил тысячу; набавил и Порпортук. И по мере того как они набавляли, Акун поворачивался от одного к другому, наполовину с угрозой, наполовину с любопытством, как будто хотел видеть, кого из них ему придется убить. Когда король приготовлялся сделать следующее предложение, а Акун придвинулся ближе, король сначала высвободил из кобуры висевший на бедре револьвер, а затем произнес:

— Двадцать три.

— Двадцать четыре, — сказал Порпортук.

Он злобно осклабился, так как уверенность его надбавок наконец пошатнула короля. Этот последний придвинулся ближе к Эл-Су. Он тщательно осматривал ее долгое время.

— И пятьсот, — сказал он наконец.

— Двадцать пять тысяч, — раздалось предложение Порпортука.

Король долго разглядывал и покачал головой. Он поглядел снова и сказал с усилием:

— И пятьсот.

— Двадцать шесть тысяч, — пролаял Порпортук.

Король покачал головой и не захотел встретиться глазами с умоляющим взглядом Томми. Между тем Акун подвинулся совсем близко к Порпортуку. Зоркий взгляд Эл-Су подметил это, и пока Томми вымогал у эльдорадского короля еще одну надбавку, она наклонилась и что-то шепнула на ухо одному из рабов. И пока крик Томми: «Продается… продается… продается…» — оглашал воздух, раб подошел к Акуну и что-то шепнул ему на ухо. Акун не подал никакого знака, что слышал, хотя Эл-Су следила за ним с беспокойством.

— Продана! — выкрикнул голос Томми. — Порпортуку за двадцать шесть тысяч долларов.

Порпортук опасливо покосился на Акуна. Все взоры устремились на Акуна, но он ничего не сделал.

— Пусть принесут весы! — сказала Эл-Су.

— Я заплачу у себя в доме, — заявил Порпортук.

— Пусть принесут весы, — повторила Эл-Су. — Уплата должна быть произведена здесь, чтобы

все могли видеть.

Итак, принесли с торгового пункта весы для золота, а Порпортук удалился и вернулся в сопровождении человека, следовавшего за ним по пятам с оленьими мешками на плечах: в мешках был золотой песок. Кроме того, за Порпортуком шел еще один слуга с ружьем, который не спускал глаз с Акуна.

— Вот заемные письма и закладные по пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят долларов и семьдесят пять центов.

Эл-Су взяла их в руки и сказала Томми:

— Считайте их за шестнадцать тысяч.

— Остается уплатить десять тысяч золотом, — сказал Томми.

Порпортук кивнул головой и развязал пасти своих мешков. Эл-Су, стоя на краю берега, разорвала бумажки в клочья и высыпала их на поверхность Юкон. Отвешивание началось, но произошла заминка.

— По семнадцати долларов, конечно, — сказал Порпортук, обращаясь к Томми, пока тот выравнивал весы.

— По шестнадцати долларов, — резко сказала Эл-Су.

— Во всей стране действует обычай, что зо-

лото считается по семнадцати долларов за унцию, — отвечал Порпортук, — а это коммерческая сделка.

Эл-Су засмеялась.

— Это новый обычай, — сказала она. — Он повелся с этой весны. В прошлом году и во все прошлые годы считалось по шестнадцати долларов за унцию. Когда отец мой брал взаймы, то считали по шестнадцати. Когда же он расходовал в лавке полученные от тебя деньги, ему за унцию давали муки на шестнадцать долларов, а не на семнадцать. Поэтому ты за меня должен платить по шестнадцати, а не по семнадцати.

Порпортук заворчал, но позволил продолжать отвешивание.

— Развесьте на три кучи, Томми, — сказала она. — Тысячу долларов сюда, три тысячи вот сюда, а шесть тысяч туда.

Это была длительная работа, и пока развешивание продолжалось, все зорко следили за Акуном.

— Он ждет только, пока деньги будут выплачены, — сказал один; эти слова облетели круг, им поверили: все ждали, что сделает Акун, когда деньги будут выплачены. И слуга Порпортука с ружьем тоже ждал и следил за Акуном.

Развеска кончилась, и золотой песок лежал на

столе в трех темно-желтых кучках.

— Вот долг моего отца Компании на сумму в три тысячи долларов, — сказала Эл-Су. — Возьмите его, Томми, для Компании. А вот четыре старика, Томми. Вы знаете их. Здесь тысяча долларов. Возьмите их и следите, чтобы старики никогда не были голодны и всегда имели табак.

Томми сгреб золото совком в два отдельных мешка. Шесть тысяч долларов оставалось на столе. Эл-Су сунула совок в кучу и неожиданно смахнула содержимое совка в Юкон; песок рассыпался, словно золотой дождь. Порпортук схватил ее за кисть руки, когда она вторично запускала совок в золото.

— Оно мое, — спокойно сказала она.

Порпортук выпустил ее руку, но заскрипел зубами и мрачно нахмурился, когда она продолжала бросать золото в реку, пока не осталось ни крупинки.

Толпа глядела только на Акуна, а слуга Порпортука стоял против Акуна с ружьем наперевес и большим пальцем нажимал на собачку. Но Акун ничего не сделал.

— Пишите купчую, — сердито сказал Порпортук.

И Томми написал купчую, в которой все права

на женщину Эл-Су передавались мужчине Порпортуку. Эл-Су подписала документ. Порпортук сложил его и сунул в кошель. Вдруг его глаза засверкали, и он обратился к Эл-Су с неожиданной речью:

— Это не долг твоего отца, — сказал он. — То, что я заплатил, — это цена за тебя. Эта продажа есть дело сегодняшнего дня, а не прошлого года и предыдущих лет. На каждую унцию, которую я тебе заплатил, можно теперь купить муки на семнадцать долларов, а не на шестнадцать. Я потерял по доллару на каждую унцию. Я потерял шестьсот двадцать пять долларов.

Эл-Су подумала одно мгновение и убедилась в своей ошибке. Она улыбнулась, а затем рассмеялась.

— Ты прав, — смеялась она. — Я ошиблась. Но теперь уже поздно. Ты заплатил, и золота уже нет. Ты недостаточно быстро думал. Твой ум стал медлителен, Порпортук. Ты стареешь.

Он не ответил. С неудовольствием он покосился на Акуна и приободрился. Его губы сжались, и на лице появилась жестокая складка.

— Идем, — сказал он. — Идем в мое жилище.

— Помнишь ли ты те две вещи, которые я сказала тебе весной? — спросила Эл-Су, не делая ни

одного движения, чтобы последовать за ним.

— Моя голова была бы полна женскими словами, если бы я запоминал их, — отвечал он.

— Я сказала тебе, что тебе будет заплачено, — отчеканивая слова, продолжала Эл-Су. — И я сказала тебе, что никогда не буду твоей женой.

— Но это было до купчей. — Порпортук похрустел бумажкой в кошеле. — Я купил тебя перед всем светом. Ты принадлежишь мне. Ты не будешь отрицать, что принадлежишь мне.

— Я принадлежу тебе, — твердо сказала Эл-Су.

— Я владею тобой.

— Ты владеешь мной.

Голос Порпортука медленно и торжествующе повышался.

— Как собакой, владею тобой.

— Как собакой, ты владеешь мной, — спокойно повторила Эл-Су. — Но ты забыл, Порпортук, что я тебе сказала. Если бы меня купил другой человек, я бы была женой того человека. Я была бы хорошей ему женой. Такова была моя воля. Но по отношению к тебе моя воля была такова, что я никогда не буду твоей женой. Поэтому — я твоя собака.

Порпортук знал, что играет с огнем, и решил играть твердой рукой.

— В таком случае, я говорю с тобой не как с Эл-Су, а как с собакой, — сказал он, — и приказываю тебе идти за мной.

Он протянул было руку, чтобы схватить ее, но она жестом удержала его.

— Не торопись, Порпортук. Ты купил собаку. Собака убегает. Ты потерял деньги. Что, если я убегу?

— Как владелец собаки, я побью тебя…

— Если поймаешь?

— Если поймаю.

— В таком случае — лови!

Он быстро потянулся за ней. Она засмеялась, кружась вокруг стола.

— Поймай ее! — приказал Порпортук индейцу с ружьем.

Но когда индеец протянул к ней руку, эльдорадский король сшиб его ударом кулака по уху. Ружье со стуком упало на землю. Акуну представился случай. Глаза его засверкали, но он ничего не сделал.

Порпортук был стариком, но холодные ночи сохранили в нем активность. Он не обогнул стола: он неожиданно перескочил через него. Эл-Су была застигнута врасплох; она отскочила с громким испуганным криком, и Порпортук поймал

бы ее, если бы не Томми. Нога Томми вытянулась, Порпортук споткнулся об нее и ничком растянулся на земле.

— Так лови же меня, — смеялась она через плечо, убегая от него.

Она бежала легко и свободно, но Порпортук бежал быстро и свирепо. Он нагонял ее. Когда-то он был самым быстроногим из юношей. Но Эл-Су избегала его увертливыми и скользящими движениями. Она была в туземном платье; ноги не были стянуты юбками, и ее гибкое тело извивалось так, что цепкие пальцы Порпортука не могли его ухватить.

Со смехом и шумом рассыпалась огромная толпа, чтобы следить за охотой. Они бежали по индейскому становищу, и Эл-Су с Порпортуком то показывались, то исчезали между палатками. Эл-Су, балансируя руками, казалось, неслась по воздуху, показываясь то с той, то с другой стороны, а порой, на самых крутых поворотах, ее тело наклонялось, словно повисая в воздухе. А Порпортук был всегда на один прыжок позади или сбоку, как тощая собака, пущенная по ее следу.

Они пересекли свободное пространство позади становища и исчезли в лесу. Вся станция Танана ждала их возвращения, но ждала долго

и напрасно.

Между тем Акун ел, спал и бродил по пароходной пристани, не замечая возмущения жителей Тананы, поднимавшегося против него за то, что он ничего не сделал. Через двадцать четыре часа Порпортук вернулся. Он устал, был зол и не заговорил ни с кем, кроме Акуна, а с этим последним пытался затеять ссору. Но Акун пожал плечами и удалился. Порпортук не терял времени. Он снарядил полдюжины юношей, лучших следопытов и ходоков, и во главе их углубился в лес.

На следующий день пароход «Сиэтл», плывший вверх по реке, подошел к берегу и запасся дровами. Когда причал был отдан и судно отошло от берега, Акун оказался в рубке рулевого. Несколько часов спустя, когда настало его время стать у руля, он увидел маленькое каноэ из березовой коры, отчалившее от берега. В нем была только одна человеческая фигура. Он тщательно вгляделся в нее и медленно повернул штурвал.

Капитан вошел в рубку.

— Что случилось? — спросил он.

Акун что-то проворчал. Он увидел, что от берега отошло каноэ побольше, в нем сидело несколько человек. Когда «Сиэтл» пошел ребром, он еще раз повернул штурвал.

Капитан кипел негодованием.

— Это только туземная баба, — запротестовал он.

Акун не ворчал больше. Он глядел во все глаза на туземку и на преследовавшее ее каноэ. У этого последнего сверкало шесть весел, в то время как женщина гребла медленно.

— Вы сядете на мель, — протестовал капитан, хватаясь за штурвал.

Но Акун напряг всю свою силу и поглядел ему в глаза. Капитан медленно отпустил штурвал.

«Чудак-человек», — проворчал он про себя.

Акун задержал «Сиэтл» около самой мели, пока не увидел, что пальцы индеанки ухватились за передние перила. Тогда он подал сигнал: «Полным ходом вперед» — и повернул штурвал в другую сторону. Большое каноэ было очень близко; но расстояние между ним и пароходом все увеличивалось. Индианка смеялась и перегнулась через перила.

— Так лови же меня, Порпортук! — крикнула она.

Акун сошел с парохода у форта Юкон. Он снарядил небольшую лодку и с багром поплыл вверх по Поркьюпайне. И с ним поплыла Эл-Су. Это было тяжелое странствование. Путь лежал через

позвоночник мира. Но Акун уже раньше странствовал по этому пути. Когда они добрались до верховьев Поркьюпайны, они бросили лодку и пешком перешли через Скалистые горы.

Акуну очень нравилось идти позади Эл-Су и любоваться ее движениями: в них была музыка, которую он любил. И в особенности он любил красиво округленные икры в футляре из мягко выдубленной кожи, узкие лодыжки и маленькие ножки в мокасинах, не устававшие даже после самых трудных переходов.

— Ты легка, как воздух, — говорил он, глядя на нее снизу вверх. — Ходьба для тебя не составляет труда. Ты как будто плывешь — так легко поднимаются и опускаются твои ноги. Ты подобна лани, Эл-Су; ты подобна лани, и глаза твои — как глаза лани, когда ты порой взглянешь на меня или когда ты слышишь неожиданный звук и думаешь, не грозит ли опасность. И теперь, когда ты смотришь на меня, глаза твои как глаза лани.

Эл-Су, сияющая и тронутая, наклонилась и поцеловала Акуна.

— Когда мы дойдем до озера Маккензи, мы не будем терять времени, — сказал Акун через некоторое время. — Мы пойдем на юг, раньше чем зима нас застигнет. Мы пойдем в солнечные

страны, где нет снега. Но мы вернемся. Я видел много стран, но нет такой земли, как Аляска; нет такого солнца, как наше солнце, и снег тоже хорош после долгого лета.

— Ты научишься читать, — сказала Эл-Су.

И Акун сказал:

— Конечно, я научусь читать.

Но когда они дошли до озера Маккензи, произошла задержка. Они наткнулись на племя местных индейцев, и на охоте Акун был случайно ранен. Ранившее его ружье было в руках юнца. Пуля раздробила Акуну правую руку и, пройдя навылет, сломала два ребра. Акун знал только примитивный способ костоправов, в то время как Эл-Су научилась в миссии Св. Креста несколько более утонченным приемам. В конце концов кости были вправлены, Акун лежал у костра и ждал, пока они срастутся. Он лежал там и для того, чтобы дым отгонял москитов.

Тогда-то и прибыл Порпортук со своими шестью юношами. Акун стонал в своем беспомощном состоянии и взывал к индейцам маккензи. Но Порпортук заявил о своих правах, и маккензи были поражены. Порпортук готов был захватить Эл-Су, но этого они не хотели допустить. Решить должен был суд, и раз это было дело меж-

ду мужчиной и женщиной — следовало созвать стариков. Это делалось во избежание того, чтобы молодые люди, у которых горячие сердца, не вынесли бы горячего решения.

Старики уселись вокруг костра, разведенного для защиты от москитов. Лица их были худы и морщинисты, они задыхались и с трудом ловили воздух. Дым был им мучителен. По временам они дряхлыми руками отбивались от москитов, не боявшихся дыма. После такого напряжения они мучительно и глухо кашляли. Некоторые из них харкали кровью, а один сидел поодаль, с головой, наклоненной вперед, и ртом у него шла кровь; он был в последнем градусе чахотки. И все они были словно мертвецы; дни их, казалось, сочтены. Это был суд мертвецов.

— …И я заплатил за нее большую цену, — закончил Порпортук свою жалобу. — Такой цены вы никогда не видали. Продайте все, что у вас есть, — продайте ваши копья и луки и ружья, продайте меха и кожи, продайте шатры и лодки и собак, продайте все-все — и вы навряд ли получите тысячу долларов. Так вот я заплатил за женщину Эл-Су в двадцать шесть раз больше цены всех ваших шатров, и лодок, и собак. Это была высокая цена.

Старики серьезно кивнули головами, хотя узкие скважины их глаз расширились от удивления: неужели какая-то женщина может стоить так дорого? Тот, у кого шла кровь изо рта, обтер свои губы.

— Это правдивая речь? — спросил он у каждого из юношей Порпортука.

И каждый ответил утвердительно.

— Это правдивая речь? — спросил он у Эл-Су, и она отвечала:

— Это правда.

— Но Порпортук не сказал, что он старый человек, — проговорил Акун, — и что у него есть дочери старше, чем Эл-Су.

— Это верно: Порпортук — старый человек, — сказала Эл-Су.

— Порпортук сам должен измерить силу своих лет, — сказал кровоточивый. — Мы все стареем. Но знай: старость никогда так не стара, как думает юность.

И старики в кругу пошамкали деснами, одобрительно покачали головами и закашлялись.

— Я сказала ему, что никогда не буду его женой, — сказала Эл-Су.

— И все же ты получила от него в двадцать шесть раз больше того, что стоит все наше иму-

щество? — спросил один одноглазый.

Эл-Су молчала.

— Правда ли это? — И его единственный глаз вонзился в нее, как бурав.

— Это правда, — сказала она. — Но я убегу снова! — страстно воскликнула она через мгновение. — Я всегда буду убегать.

— Это дело Порпортука, — сказал другой старик. — Наше дело — вынести решение.

— Какую цену заплатил ты за нее? — спросили Акуна.

— Я ничего за нее не платил, — отвечал тот. — Она была выше всякой цены. Я не мерил ее на золотой песок, ни на собак, ни на шатры, ни на кожи.

Старики долго спорили между собой и тихо бормотали.

— Эти старики — как лед, — сказал Акун по-английски. — Я не послушаюсь их приговора, Порпортук. Если ты возьмешь Эл-Су, я убью тебя.

Старики замолчали и подозрительно взглянули на него.

— Мы не понимаем слов, которые ты говоришь, — сказал один.

— Он говорит только, что убьет меня, — заявил Порпортук. — Поэтому было бы хорошо отнять

у него ружье и посадить рядом с ним несколько юношей, чтобы он не причинил мне зла. Он молодой человек; а что для юности переломанная кость?

У беззащитного Акуна отняли ружье и нож, и по обе стороны от него сели юноши из племени маккензи. Одноглазый старик встал и вытянулся во весь рост.

— Мы удивляемся, что такая цена была заплачена за одну женщину, — начал он, — но это нас не касается. Мы собрались сюда, чтобы вынести решение, и решение мы выносим. У нас нет сомнений. Всем известно, что Порпортук заплатил высокую цену за эту женщину, Эл-Су, в силу чего женщина Эл-Су принадлежит Порпортуку и никому другому.

Он тяжело уселся и закашлялся. Старики кивнули головами и тоже закашлялись.

— Я убью тебя! — крикнул Акун по-английски.

Порпортук улыбнулся и встал.

— Вы вынесли справедливое решение, — сказал он, обращаясь к совету. — И мои юноши дадут вам много табака. Теперь прикажите подвести ко мне женщину.

Акун заскрежетал зубами. Юноши взяли Эл-Су за руки. Она не сопротивлялась, и ее подвели

к Порпортуку. Лицо ее было как зловещее пламя.

— Сядь тут, у моих ног, пока я не кончу своей речи, — приказал он. Затем он на мгновение остановился.

— Это верно, — сказал он, — что я старик. И все же я могу понимать повадки молодости. Не весь еще огонь у меня вышел. Однако я уже не молод и не хочу пробегать все оставшиеся мне годы на этих старых ногах. Эл-Су умеет бегать хорошо и быстро. Она — лань. Я знаю это, потому что сам видел и бежал за нею. Нехорошо, когда жена так быстро бегает. Я заплатил за нее высокую цену, а все-таки она бежит от меня. Акун ничего не заплатил; а все-таки она бежит к нему. Когда я прибыл к вашему народу, на Маккензи, у меня была только одна мысль. Когда я слушал совещание и вспомнил о быстрых ногах Эл-Су, я думал о многом. Теперь я снова думаю об одном, но эта мысль не та, которую я принес с собой на совет. Позвольте сказать вам мою мысль. Если собака раз убежала от хозяина, она убежит снова. Сколько раз ни приводи ее обратно, она все равно убежит. Эл-Су подобна убежавшей собаке. Я хочу продать ее. Есть ли человек в этом совете, который хотел бы купить ее?

Старики кашляли и молчали.

— Акун купил бы, но у него нет денег. Поэтому я отдам ему Эл-Су, как он сказал, без выкупа. Даже теперь я отдам ее ему.

Наклонившись, он взял Эл-Су за руку и подвел ее туда, где Акун лежал на спине.

— У нее скверная привычка, Акун, — сказал он, сажая Эл-Су к ногам Акуна. — Как она прежде убежала от меня, так в будущем могла бы убежать от тебя. Но нечего бояться, что она когда-либо убежит, Акун. Я позабочусь об этом. Никогда она не убежит от тебя — это слово Порпортука. У нее очень острый ум, и я это знаю, потому что он часто кусал меня. Теперь я хочу воспользоваться своим остроумием. И при помощи этого моего остроумия я сохраню ее для тебя, Акун.

Наклонившись, Порпортук скрестил ноги Эл-Су, так что одна голень лежала на другой; и тогда, раньше чем его намерение могло быть угадано, он разрядил ружье сквозь обе лодыжки. Когда удерживаемый сторожившими его индейцами Акун попытался подняться, послышался хруст вновь переломившихся костей.

— Это справедливо, — сказали друг другу старики.

Эл-Су не издала ни звука. Она сидела и смотрела на свои раздробленные ноги, на которых ей

больше никогда не придется ходить.

— Мои ноги сильны, Эл-Су, — сказал Акун. — Но никогда они не уведут меня от тебя.

Эл-Су взглянула на него, и в первый раз за все время, что он знал ее, Акун увидел слезы на ее глазах.

— Твои глаза — как глаза лани, Эл-Су, — сказал он.

— Справедливо ли? — спросил Порпортук и осклабился сквозь дым, собираясь в обратный путь.

— Справедливо, — ответили старики. И в молчании застыли.

Смок Беллью

Вкус мяса

I

Сначала он был Кристофер Беллью. В колледже он превратился в Криса Беллью. Позже, в кругах сан-францисской богемы, его прозвали Кит Беллью. А в конце концов он стал Смок Беллью, и иначе его уже не называли. История превращений его имени была историей его собственных превращений. Не будь у него любящей матери и железного дяди и не получи он письма от Джиллета Беллами — ничего бы не случилось.

«Я только что просмотрел номер «Волны», — писал Джиллет из Парижа. — Не сомневаюсь, что дело у О'Хара пойдет. Однако он еще не знает всех тонкостей ремесла. (Следовали советы, как улучшить молодой великосветский еженедельник.) Сходи в редакцию и поговори с О'Хара. Пусть он думает, что это твои собственные соображения, не поминай меня. А то он сделает меня своим парижским корреспондентом; мне же это очень невыгодно, потому что я сотрудничаю в больших журналах, где по крайней мере деньги платят. Прежде всего внуши ему, чтобы он выгнал бол-

вана, который дает ему критические заметки о живописи и о музыке. Кроме того, в Сан-Франциско всегда была своя литература, а теперь нет никакой. Скажи О'Хара, пусть постарается найти осла, который согласится регулярно поставлять для «Волны» серию рассказов — романтических, ярких, полных настоящего сан-францисского колорита».

Кит Беллью отправился в редакцию «Волны», чтобы честно выполнить все советы Джиллета. О'Хара выслушал. О'Хара стал спорить. О'Хара согласился. О'Хара выгнал болвана-критика. А затем О'Хара проявил свой характер, тот самый, которого так боялся Джиллет, сидя в далеком Париже. Когда О'Хара чего-нибудь хотел, ни один приятель не мог ему отказать. Он был ласково и неотразимо настойчив. Кит Беллью, прежде чем успел вырваться из редакции, стал помощником редактора, дал согласие поставлять несколько столбцов рецензий, пока не найдется кто-нибудь взамен, связал себя обещанием давать в каждый номер рассказы по десять тысяч слов из жизни Сан-Франциско — и все это совершенно бесплатно. «Волна» еще не имеет возможности платить, объяснил О'Хара и с неменьшей настойчивостью заявил, что во всем Сан-Франциско есть только

один человек, который способен написать такую серию рассказов, и этот единственный человек — Кит Беллью.

— А ведь ослом-то оказался я! — стонал Кит, спускаясь по узкой лестнице.

Так начал он работать на О'Хара и на ненасытные столбцы «Волны». Неделю за неделей просиживал он в редакционном кресле, выпроваживал кредиторов, ссорился с наборщиками и при всем том умудрялся выжимать из себя для каждого номера по двадцать тысяч слов. Облегчения не предвиделось. «Волна» была честолюбива. Честолюбие заставляло ее выходить с иллюстрациями. Иллюстрации стоили дорого. Денег не хватало ни на уплату Киту Беллью, ни на привлечение новых сотрудников.

— Вот что значит быть добрым малым, — проворчал однажды Кит.

— Побольше бы таких! — со слезами на глазах воскликнул О'Хара, пылко пожимая руку Кита. — Ты мой спаситель, Кит. Только благодаря тебе я не прогорел. Еще немного, милый друг, и все наладится!

— Не верю, — уныло проговорил Кит. — Мне ясна моя судьба. Я обречен торчать здесь вечно.

Через несколько времени Кит придумал вы-

ход. Выбрав удобный момент, он в присутствии О'Хара потерял сознание и повалился в первое попавшееся кресло. Немного погодя он тяжко рухнул всем телом на письменный стол и судорожным движением рук опрокинул горшочек с клейстером.

— Поздно лег вчера? — осведомился О'Хара.

Кит старательно протер глаза и, прежде чем ответить, долго с недоумением оглядывался по сторонам.

— О нет, не в том дело. Глаза! Они словно выскакивают из головы.

С тех пор Кит каждый день натыкался на стены и опрокидывал редакционную мебель. Но сердце О'Хара не смягчилось.

— Вот что, Кит, — сказал он однажды. — Тебе необходимо показаться глазному врачу. Пойди к Хасдэплу. Шикарный доктор. Платить тебе не придется: мы напечатаем его объявление. Я с ним сам поговорю.

О'Хара сдержал слово, и Киту волей-неволей пришлось отправиться к врачу.

После длительного осмотра врач вынес такой приговор:

— Совершенно здоровые глаза! Исключительное зрение, замечательное. Таких глаз одна пара

на миллион людей.

— Не говорите этого О'Хара! — взмолился Кит. — И пропишите мне, пожалуйста, темные очки.

Единственным результатом этой проделки было то, что О'Хара все время выражал Киту свое сочувствие и тотчас же восторженно заговаривал о прекрасном будущем, которое ждет их, когда «Волна» прочно станет на ноги.

К счастью, у Кита были средства. Сравнительно скромные, они все-таки давали ему возможность состоять членом нескольких клубов и снимать мастерскую в Латинском квартале. С тех пор как он сделался помощником редактора «Волны», его личные расходы значительно сократились. У него не было времени тратить деньги. Мастерскую он забросил и больше не угощал местную богему своими знаменитыми ужинами, состряпанными на жаровне. И все-таки у него вечно не было наличных денег. Незадачливая «Волна» дочиста опустошала не только его мозг, но и карманы. Иллюстраторы время от времени отказывались иллюстрировать, наборщики время от времени отказывались набирать, мальчишка-рассыльный время от времени требовал расчет. Взглянет в такую минуту О'Хара на Кита — и Кит

заплатит все.

Когда пароход «Эксцельсиор», прибывший из Аляски, всполошил всю страну известием о клондайкской золотой лихорадке, Кит осмелился сделать О'Хара следующее легкомысленное предложение.

— Послушай, О'Хара, — сказал он. — Золотая лихорадка будет расти. Повторятся дни сорок девятого года. Отпусти меня в Клондайк — корреспондентом от «Волны»! Я поеду на свой счет.

О'Хара покачал головой:

— Мне без тебя не обойтись в редакции, Кит. Серия рассказов еще не закончена. Да, кроме того, я только что беседовал с Джексоном. Завтра он уезжает в Клондайк и согласился еженедельно присылать нам письма и снимки. Без этого я не отпустил бы его. И как удачно, что мы все получим совершенно бесплатно.

Вечером Киту удалось вырваться в клуб. Встретив в клубной читальне своего дядю, он снова услыхал о Клондайке.

— Здравствуй, дядя! — воскликнул Кит, погружаясь в кожаное кресло и вытягивая ноги. — Присаживайся!

Кит заказал коктейль, а дядюшка удовлетворился местным водянистым красным вином,

которое было его излюбленным напитком. Он неодобрительно глянул на бокал с коктейлем, потом перевел взгляд на лицо племянника. Кит почувствовал, что ему не миновать нахлобучки.

— Я тороплюсь, — поспешил он объяснить. — Мне надо еще успеть в галерею Эллери, на выставку Кейта, и накатать о ней по крайней мере полстолбца.

— Что с тобой? — спросил дядя. — Ты бледен. На тебе лица нет.

Кит вздохнул.

— Кажется, скоро я буду иметь удовольствие похоронить тебя, — продолжал дядя.

Кит уныло покачал головой:

— Не хочу беспокоить червей! Предпочитаю крематорий.

Джон Беллью принадлежал к тому старому, закаленному племени, которое в пятидесятых годах переправилось через прерию в повозках, запряженных волами. К суровому закалу, унаследованному им от предков, прибавился закал трудного, тревожного детства, прошедшего в пору освоения новой земли.

— Ты живешь не так, как надо, Кристофер. Мне стыдно за тебя.

— Мот и кутила, не так ли? — рассмеялся Кит.

Дядя пожал плечами.

— Не гляди на меня так уничтожающе, дядюшка, — сказал Кит. — Кутежи — вещь неплохая, но, к сожалению, ты ошибаешься. Я давно перестал кутить: у меня нет времени.

— В чем же дело?

— Работа замучила.

Джон Беллью расхохотался.

— Право?

Он опять рассмеялся.

— Человек — порождение окружающей среды, — изрек Кит, указывая на дядюшкин стакан. — Смех твой горек и жидок, как вино в твоем стакане.

— Работа замучила! — язвительно повторил дядюшка. — Да ты не заработал ни одного цента за всю свою жизнь.

— Нет, заработал, но не получил. Я зарабатываю пятьсот долларов в неделю и работаю за четверых.

— Картины, которых никто никогда не купит? Модные пустячки, безделушки... Плавать умеешь?

— Когда-то умел.

— А ездить верхом?

— Пробовал и это.

Джон Беллью негодующе фыркнул.

— Я счастлив, что твой отец в могиле и не видит тебя во всем твоем бесстыдстве. Твой отец был с ног до головы мужчина, понимаешь? Настоящий мужчина! Он выбил бы из тебя всю твою музыкальную и рисовальную дурь!

— Что делать! Таков наш упадочный век! — вздохнул Кит.

— Если б был какой-нибудь толк ото всех твоих искусств, — сердито продолжал дядя, — ну, это я еще понимаю, это я еще мог бы стерпеть. Но ты за всю свою жизнь не заработал ни цента и не знаешь настоящего труда мужчины!

— Гравюры, картины, веера... — перечислил Кит.

— Ты пачкун и неудачник. Какие ты картины написал? Несколько мутных акварелей и кошмарных плакатов. И ни разу ничего не выставил, даже здесь, в Сан-Франциско.

— Одна моя картина висит в зале этого клуба.

— Мазня! А музыка? Твоя милая, но бестолковая мама тратила сотни на то, чтобы обучить тебя музыке. Но ты и тут осрамился. Ты даже пяти долларов не заработал, ну, хотя бы аккомпанируя кому-нибудь на концерте. Песенки твои? Дребедень, которую никто не печатает и никто не

поет, кроме бездельников, прикидывающихся богемой.

— Я выпустил книжку. Помнишь, томик сонетов? — робко возразил Кит.

— Во сколько он тебе обошелся?

— Сотни в две долларов, не больше.

— А еще у тебя какие заслуги?

— Одна моя пьеска ставилась как-то на открытой эстраде.

— И что ты получил за нее?

— Славу.

— А ведь ты когда-то умел плавать и пытался ездить верхом! — гневно воскликнул Джон Беллью, опуская бокал на стол с совершенно излишней стремительностью. — Скажи, ну куда ты годишься? Денег на твое воспитание не жалели, но даже в университете ты не играл в футбол. Ты не умеешь грести. Ты не умеешь…

— Я занимался фехтованием и боксом. Немного.

— Когда ты тренировался в последний раз?

— Да после университета забросил; считалось, что я прекрасно рассчитываю расстояние и время, но только…

— Продолжай.

— Меня называли свободным художником.

— Скажи прямо: лентяем.

— Да, это примерно то же самое — в деликатной форме.

— Мой отец, сэр, а ваш дед, старый Исаак Беллью, одним ударом кулака убил человека, когда ему было шестьдесят девять лет.

— Кому было шестьдесят девять лет? Убитому?

— Нет, деду твоему, никчемный ты бездельник! Ты в шестьдесят девять лет не сможешь убить и комара.

— Времена переменились, дядюшка. В наше время за убийство сажают в тюрьму.

— Твой отец проскакал однажды сто восемьдесят пять миль без отдыха и насмерть загнал трех лошадей.

— Живи он в наши дни, он благополучно храпел бы всю дорогу в купе спального вагона.

Дядя чуть было не вышел из себя, но сдержал гнев и спокойно спросил:

— Сколько тебе лет?

— Да как будто бы мне…

— Знаю, двадцать семь. Двадцати двух лет ты окончил колледж. Мазал, бренчал, строчил и болтался без дела пять лет. Так скажи мне, ради Бога, куда ты годишься? В твои годы у меня была одна-единственная смена белья. Я пас стада

в Колузе. Я был крепок как камень и мог спать на голом камне. Я питался вяленой говядиной и медвежьим мясом. Зато я гораздо крепче тебя. Ты весишь около ста шестидесяти пяти фунтов, а я хоть сейчас могу положить тебя на обе лопатки и намять тебе бока.

— Для того чтобы опорожнить стакан коктейля или жидкого чая, не нужно быть силачом, — примирительно пробормотал Кит. — Неужели ты не понимаешь, дядюшка, что времена переменились? И кроме того, меня неправильно воспитывали. Моя милая бестолковая мама…

Дядю передернуло.

— …судя по твоим рассказам, слишком меня баловала: держала в вате и так далее. А если бы я мальчишкой принимал участие в тех достойных мужчины забавах, за которые ты так ратуешь, я был бы теперь другим человеком. Скажи, почему ты никогда не брал меня с собой? Холл и Робби ездили с тобой и на Сьерры и в Мексику…

— Я считал тебя недотрогой и неженкой.

— Сам виноват, дядюшка, — ты и моя милая — гм — мама. Как я мог закалиться? Ведь меня считали недотрогой и неженкой. Что же мне оставалось, кроме гравюр, картинок да вееров? Моя ли вина, что мне никогда не приходилось

добывать себе хлеб в поте лица своего?

Старик с нескрываемым негодованием смотрел на племянника. Это легкомыслие и дряблость выводили его из себя.

— Я снова собираюсь отправиться в путешествие, достойное мужчины, как ты выразился. Приглашаю тебя.

— Запоздалое приглашение… Куда?

— Холл и Роберт отправляются в Клондайк. Я провожу их через перевал и спущусь с ними к озерам. Потом обратно.

Кит не дал ему договорить. Он вскочил со стула и схватил дядю за руку.

— Спаситель мой! — воскликнул он.

Джон Беллью недоверчиво насторожился. Он не ожидал, что его приглашение будет принято.

— А ты не шутишь? — спросил он.

— Когда мы отправляемся?

— Это очень трудное путешествие. Ты будешь нам обузой.

— Нет! Я буду все делать! «Волна» научила меня работать…

— Каждый должен взять с собой запасов на целый год. Народу будет такое множество, что индейцев-носильщиков не хватит на всех. Холлу и Роберту придется самим тащить свои припасы.

Я затем и отправляюсь с ними, чтобы помочь им. Тебе придется тащить на спине столько же, сколько им.

— Испытай меня.

— Ты не умеешь носить тяжести.

— Когда мы отправляемся?

— Завтра.

— Пожалуйста, не воображай, дядюшка, что меня наставила на путь истинный твоя проповедь о пользе закалки, — сказал Кит, прощаясь. — Мне необходимо уехать из этого города, от О'Хара — куда угодно, лишь бы подальше.

— Кто такой этот О'Хара? Японец?

— Нет, он ирландец, рабовладелец и мой лучший друг. Он редактор и издатель и вообще главная шишка в «Волне». Он делает там все, что захочет.

Вечером Кит Беллью настрочил О'Хара записку.

«Уезжаю всего лишь на несколько недель, — писал он. — Найми какого-нибудь чудака, пусть докончит за меня последний рассказ. Прошу прощения, милый друг, но этого требует мое здоровье. Вернусь и налягу на работу с двойным усердием».

II

Через несколько дней Кит Беллью высадился на обезумевший берег Дайи, заваленный тысячепудовым багажом многих тысяч людей. Груды снаряжения и продовольствия выбрасывались на берег с пароходов и медленно просачивались с берега в Дайскую долину и через Чилкут. Путешественникам предстояло двадцать восемь миль тащить свои пожитки на себе. Индейцы-носильщики, взвинтившие цены за переноску багажа с восьми центов за фунт до сорока, не справлялись с работой. Их не хватало, и всем было ясно, что большинство путешественников не успеет перебраться через перевал до наступления зимы.

Самым неприспособленным из новичков был Кит. У него, как и у многих, на поясе висел патронташ и болтался большой револьвер. Этот револьвер навязал ему, между прочим, дядюшка, помнивший былые беззаконные годы. Но Кит романтически воспринимал окружающее. Его пленяла пестрота людского потока, устремившегося за золотом, и он смотрел на все глазами художника. Он ничего не принимал всерьез. Еще на пароходе он заявил, что не собирается

относиться к путешествию как к собственным похоронам. Ведь это просто каникулы. Заглянуть за перевал, поглазеть по сторонам — и домой!

Кит оставил своих спутников дожидаться на песчаном берегу выгрузки багажа, а сам пошел слоняться вдоль реки и набрел на старую факторию. Он не щеголял своим револьвером, хотя заметил, что очень многие, имеющие револьвер, чрезвычайно задирали нос. Дюжий рослый индеец прошел мимо Кита, согнувшись под неимоверно тяжелым тюком. Кит последовал за индейцем, восхищенный его прекрасными икрами и той грациозной легкостью, с которой он двигался, несмотря на тяжелую ношу. Индеец сбросил кладь на весы у дверей фактории, и Кит присоединился к толпе золотоискателей, одобрительно глазевших на силача; оказалось, что кладь весила сто двадцать фунтов; эта цифра благоговейно передавалась из уст в уста.

«Мне не поднять этакую тяжесть, а уж не снести и подавно», — подумал Кит.

— Несешь на озеро Линдерман, дружище? — спросил он.

Индеец гордо кивнул головой.

— И сколько взял за переноску?

— Пятьдесят долларов.

Разговор оборвался. Внимание Кита привлекла девушка, стоявшая на пороге. Она была одета не так, как большинство женщин, прибывших на пароходе, — ни короткой юбки, ни спортивных брюк. Она была одета так, как обычно одеваются женщины в дороге. Кита поразила полная уместность ее среди всего окружающего, — она, казалось, была здесь необходима. Молодая, красивая. Яркое очарование ее румяного лица привлекало его, и он так пристально смотрел на нее, что она это почувствовала; темные, с длинными ресницами глаза встретились с его глазами. С его лица она перевела насмешливый взгляд на его громадный револьвер. Потом их глаза снова встретились, и Кит прочел в них презрение и насмешку. Он вздрогнул, как от удара. Девушка повернулась к мужчине, стоявшему рядом с ней, и глазами указала на Кита. Мужчина оглядел его с тем же веселым презрением.

— Чечако, — произнесла девушка.

Мужчина, одетый, как бродяга, в дешевые брюки и рваную шерстяную фуфайку, сухо усмехнулся, и Кит почувствовал себя оплеванным, хотя и не мог бы сказать почему. И все же она на редкость красива, решил Кит, глядя вслед уходящим мужчине и девушке. Какая грациозная у нее по-

ходка. Он узнает эту походку и через тысячу лет.

— Заметили этого человека с девушкой? — взволнованно спросил Кита сосед. — Знаете, кто он?

Кит покачал головой.

— Чарли Олень. Мне только что показали его. Ему здорово повезло на Клондайке. Старожил. И на Юконе пробыл лет двенадцать. Только что вернулся оттуда.

— Что значит чечако? — спросил Кит.

— Вы, например, чечако, я — чечако, — был ответ.

— Быть может, это и так, но все же мне не ясно. Что значит слово «чечако»?

— Новичок.

Кит возвращался по берегу к своим и все время повторял про себя это обидное слово. Было досадно услышать «новичок» от слабой девушки.

Пробираясь между горами тюков и вспоминая индейца с громадным грузом на спине, Кит решил испытать свою силу. Для испытания он выбрал мешок муки весом в сто фунтов. Расставив ноги, он стал над мешком, ухватил его и попытался взвалить на плечо. В первое мгновение он решил, что сто фунтов — это очень большая тяжесть; во второе — пришел к заключению, что

у него слабая спина; в третье — крепко выругался. Это произошло после пяти минут бесплодных усилий, когда он оказался распростертым в изнеможении на той самой ноше, которую хотел одолеть.

Он отер пот со лба и вдруг заметил Джона Беллью, насмешливо глядевшего на него поверх груды мешков.

— Боже! — воскликнул этот апостол суровой закалки. — Наш могучий род дал слабосильных потомков. Когда мне было шестнадцать лет, такой тюк казался мне игрушкой.

— Ты забываешь, дядюшка, — огрызнулся Кит, — что я не был вскормлен медвежатиной.

— И когда мне стукнет шестьдесят, такой тюк по-прежнему останется для меня игрушкой.

— А ну-ка, покажи!

Джон Беллью показал. Ему было сорок восемь, но он нагнулся, примерился к мешку, быстрым движением взвалил его на плечи, перевернул и выпрямился.

— Сноровка, милый мальчик, сноровка и… крепкая спина.

Кит почтительно приподнял шляпу.

— Ты чудо, дядюшка, чудо из чудес. Как ты думаешь, приобрету я когда-нибудь такую сноровку?

Джон Беллью пожал плечами.

— Ты запросишься домой, чуть мы тронемся в путь.

— Ну нет, — ответил Кит. — Дома меня ждет О'Хара, словно разъяренный лев. Я постараюсь вернуться к нему как можно позже.

III

Первый переход Кита с поклажей прошел удачно. До Финниганского брода их багаж, весивший две тысячи пятьсот фунтов, несли индейцы, которых удалось нанять. После брода им пришлось нести самим. Они рассчитали, что могут делать по миле в день. Это казалось очень легким, но только на словах. Так как Джон Беллью должен был оставаться в лагере, чтобы готовить пищу, он мог делать не более одного-двух переходов с поклажей. Таким образом, на долю каждого из троих молодых людей выпал тяжкий жребий ежедневно перетаскивать на милю вперед по восемьсот фунтов; считая, что каждый вьюк весит пятьдесят фунтов, им пришлось бы ежедневно шестнадцать раз проходить милю с грузом за плечами и пятнадцать обратно порожняком.

— Пятнадцать потому, что последний раз нам не придется возвращаться за поклажей, — объяс-

нил Кит свое приятное открытие.

При восьмидесятифунтовых тюках им предстояло бы делать девятнадцать миль ежедневно — туда и назад, а при стофунтовых только пятнадцать.

— Я не люблю ходить пешком, — заявил Кит, — и чем бегать туда и назад девятнадцать раз, предпочитаю носить по сто фунтов сразу.

Заметив недоверчивую улыбку на лице у дяди, он поспешно добавил:

— Конечно, не сразу; я буду приучаться постепенно. Для того чтобы приобрести сноровку, нужно время. Начну с пятидесяти фунтов.

Кит взял пятьдесят фунтов и всю дорогу шел весело и быстро, даже вприпрыжку. У места, назначенного для следующей стоянки, Кит сбросил тюк и налегке отправился обратно, за новой поклажей. Это вовсе не так трудно, думал он. Но две мили сбили с него самоуверенность. Следующая кладь весила шестьдесят пять фунтов. Нести оказалось уже значительно труднее, и Кит больше не подпрыгивал. По примеру всех носильщиков он часто опускался на землю и отдыхал, прислонив поклажу, висевшую на спине, к камню или пню. К третьему разу он так расхрабрился, что принял в ремни девяностофунтовый мешок с бобами и

взвалил его себе на плечи. Но прошел сто шагов и почувствовал, что вот-вот свалится. Кит сел на землю и вытер лицо.

— Короткие переходы и короткие привалы, — бормотал он. — Вот в чем штука.

Порой он садился отдыхать, не сделав и сотни шагов, а груз после каждого отдыха становился заметно тяжелее. Он трудно дышал, и пот лил с него ручьями. Не пройдя и четверти мили, он сорвал с себя шерстяную фуфайку и повесил ее на дерево. Через несколько минут он далеко забросил шляпу. Пройдя полмили, Кит решил, что ему конец. Никогда в жизни он не чувствовал себя так плохо. Обессиленный, он сидел на земле, и вдруг взгляд его упал на револьвер и тяжелый патронташ, болтавшийся у пояса…

— Хлам — лишние десять фунтов, — пробурчал он злобно и отстегнул револьвер и патронташ.

Он даже не дал себе труда повесить револьвер на дерево, а просто швырнул его в кусты. Молчаливые, тяжело нагруженные путники угрюмо двигались по дороге, и Кит заметил, что другие новички тоже бросают свое оружие.

Кит стал присаживаться все чаще и чаще. Протащится кое-как сто футов, а там кровь бешено забьется в ушах, затрясутся колени — и

он принужден опуститься на землю. Остановки делались все продолжительнее. А воображение лихорадочно работало. Впереди двадцать восемь миль пути, двадцать восемь томительных дней, а этот первый день, судя по всему, самая легкая часть путешествия…

— То ли еще будет, когда дойдем до Чилкута, — говорили ему его спутники во время стоянок. — Там придется карабкаться на четвереньках.

— Мне до Чилкута не дойти, — отвечал Кит. — Это не для меня. Задолго до Чилкута я упокоюсь в уютной яме, под покровом мха.

Он поскользнулся, и, чтобы удержаться на ногах, ему пришлось сделать огромное усилие. Все перевернулось у него внутри.

— Если я упаду под этой тяжестью, я уже больше не встану, — сказал Кит случайному спутнику.

— Это еще ничего, — отозвался тот. — Вот погодите, доберемся до ущелья. Нам предстоит переправиться через бурный поток по сосновому бревну длиной в шестьдесят футов. Веревок, чтобы держаться, — никаких, а волны перехлестывают через бревно и плещут по коленям. Если свалишься в воду с кладью на спине, сразу пойдешь ко дну, потому что из ремней не выпутаться.

— Ничего не имею против, — сказал Кит и в глубине души чувствовал, что говорит почти правду.

— Там гибнет по три, по четыре человека в день, — добавил рассказчик. — Как-то я помог выудить из воды одного немца. На нем нашли четыре тысячи долларов.

— Отрадно слышать, — проговорил Кит, тяжело поднимаясь на ноги и снова пускаясь в путь.

Мешок с бобами и Кит превратились в ходячую трагедию. Кит сравнивал свое положение с положением Синдбада-морехода, у которого на шее сидел старик. И это называлось «прогулкой, достойной мужчины»! Сравнительно с таким путешествием служба у О'Хара была блаженством. Снова и снова приходила ему на ум заманчивая идея: кинуть мешок с бобами в кусты, потихоньку улизнуть обратно на берег, сесть на пароход и вернуться в цивилизованный мир.

Но Кит не бросил мешка и не убежал. Где-то в глубине его души жила непоколебимая твердость. Он упрямо повторял самому себе, что все доступное другим мужчинам должно стать доступным и ему. Эта мысль преследовала его, как бред, и он часто заговаривал об этом со своими спутниками. Отдыхая, он с завистью смотрел на

индейцев с крепкими, как у мулов, ногами, тащивших ноши вдвое тяжелее. Без отдыха шли и шли они вперед, и Кит удивлялся их уверенности и спокойствию.

Кит сидел на земле, громко ругался — ругаться во время ходьбы у него не было сил — и боролся с соблазном удрать в Сан-Франциско. Миля, которую нужно было пройти с грузом, не была еще пройдена, а уж его злость сменилась слезами. Это были слезы бессилия и отвращения к самому себе. Никогда еще ни один человек не чувствовал себя до такой степени побежденным. Когда последняя миля была уже на исходе, он, собрав остаток сил, кое-как дотащился до места стоянки и упал ничком с поклажей на спине. Это не убило его, но, прежде чем встать, он пятнадцать минут пролежал неподвижно, не в силах пошевелиться, не в силах расстегнуть ремни и снять с себя тяжелый мешок. У него началась рвота. В таком положении нашел его Робби, которого тоже мучила тошнота. Сознание, что Робби испытывает те же муки, что и он, придало Киту силы.

— Другие могут, — значит, можем и мы, — сказал ему Кит, хотя в глубине души его терзало сомнение, не бахвальство ли это.

IV

— Мне двадцать семь лет, и я мужчина, — много раз повторял себе Кит в течение следующих дней. Он нуждался в этом напоминании. К концу недели он научился ежедневно перетаскивать восемьсот фунтов на милю вперед, но зато потерял пятнадцать фунтов собственного веса. Щеки у него ввалились, тело и ум утратили гибкость. Он больше не шел, а тащился. Даже возвращаясь за поклажей, налегке, он еле волочил ноги.

Кит превратился во вьючное животное. Он нередко засыпал во время еды, и сон у него был крепок, как у животного; иногда, впрочем, он просыпался с криком от судороги, сводившей ему ноги. Все тело болело и ныло. Ступни были покрыты пузырями, а когда путникам пришлось сделать две мили по острым камням Дайской долины, ноги Кита покрылись сплошными ранами. Эти две мили должны были стать тридцатью восемью милями. Кит умывался не чаще одного раза в день. Ногтей он не чистил: они потрескались, обросли заусенцами и были постоянно грязны. Ссадины на плечах и на груди, натертые ремнями, впервые заставили его серьезно задуматься над страданиями ломовых лошадей.

Но больше всего в первое время его мучила грубая пища. Усиленная работа требовала усиленного питания, и желудок Кита, не привыкший к огромным порциям бекона и неудобоваримых черных бобов, взбунтовался. Для Кита начались ужасные дни голодовки и болезни. Он еле держался на ногах. Наконец настала радостная пора, когда к нему вернулась способность есть; он обжирался, как дикий зверь, и не мог равнодушно смотреть на съестное.

Когда путешественники перетащили багаж через ущелье, планы их изменились. Пронесся слух, что в районе озера Линдерман вырублены последние деревья, годные на постройку лодок. Холл и Роберт, с инструментами, пилой, одеялами и необходимой провизией, отправились на поиски леса, поручив Киту и дяде перетаскать остальной багаж. Кит и Джон Беллью вместе стряпали и вместе, плечом к плечу, шагали, нагруженные кладью. Время шло, и вершины покрывались снегом. Быть застигнутыми зимой на этой стороне перевала — значило потерять целый год. Дядюшка нагрузил свою железную спину целой сотней фунтов. Кит пришел в уныние, но стиснул зубы и тоже взвалил себе на плечи сотню фунтов. Сначала ему было трудно и больно, но он

уже приобрел сноровку, и его тело, утратившее вместе с жиром и дряблость, стало упругим и мускулистым. К тому же он наблюдал и изобретал. Он подметил, что индейцы пользуются головными ремнями, и приспособил их в помощь своим наплечным ремням. Это значительно уменьшало тяжесть и давало ему возможность пристраивать к тюку еще какой-нибудь громоздкий, но не тяжелый предмет. Таким образом, он научился нести сто фунтов на ремнях за плечами, пятнадцать или двадцать фунтов поверх основной поклажи, топор или пару весел в одной руке и несколько вложенных друг в друга кастрюль — в другой.

Но трудности все росли. Чем дальше, тем хуже становилась дорога; с каждым днем поклажа казалась тяжелее, с каждым днем снеговая линия в горах опускалась все ниже и ниже. Цены на переноску груза поднялись до шестидесяти центов за фунт. О Холле и Роберте, которые ушли вперед, чтобы свалить несколько деревьев, распилить их на доски и построить челнок, не было ни слуху ни духу. Джон Беллью стал беспокоиться.

Встретив кучку индейцев, возвращавшихся налегке с Линдермана, он подрядил их, по тридцати центов за фунт, отнести часть багажа на вершину Чилкута. Такой расход почти истощил кошелек

Джона Беллью. Оставшиеся четыреста фунтов одежды и лагерных принадлежностей он решил перенести сам, а Кита отправил вперед вместе с индейцами. Было условлено, что на вершине Чилкута Кит задержится и будет понемножку перетаскивать багаж, пока его не нагонит дядюшка с поклажей в четыреста фунтов.

V

Кит вместе с индейцами медленно тащился по дороге. Так как путь предстоял длинный и трудный, Кит взвалил на себя всего восемьдесят фунтов. Индейцы едва плелись с тяжелым грузом, но все-таки они шли быстрее, чем привык ходить Кит. Но Кит не протестовал. Он теперь считал себя не менее выносливым, чем индейцы.

Пройдя четверть мили, он захотел отдохнуть, но индейцы не остановились, и Кит пошел вместе с ними. Пройдя еще четверть мили, он почувствовал, что не в состоянии сделать ни шагу более, однако он стиснул зубы и зашагал, не отставая от носильщиков. Без передышки была пройдена миля, и Кит с удивлением должен был признать, что он жив, не умер. А потом, как это ни странно, он «втянулся», и вторая миля далась ему, пожалуй, легче, чем первая. Третья миля чуть не убила

Кита, но, изнемогая от усталости и боли, он не стал хныкать, а продолжал идти. И как раз в то мгновение, когда он почувствовал, что сейчас потеряет сознание, индейцы сделали привал. Вместо того чтобы отдыхать, не снимая груза, как поступали обычно белые путешественники, индейцы освободились от головных и наплечных ремней, свободно разлеглись, закурили и пустились в разговоры. Отдыхали они целых полчаса. После получасового отдыха Кит с удивлением почувствовал себя совершенно свежим, и отныне его девизом стало: «Долгие переходы и долгие остановки».

Склон Чилкута оказался именно таким, каким представлял его себе Кит по рассказам. Не раз приходилось ему карабкаться вверх на четвереньках. Но когда он в снежную вьюгу добрался до вершины перевала, тайная гордость наполнила его душу; он сделал трудный переход наравне с индейцами, не отставая от них и не жалуясь. Сравняться с индейцами стало его новой мечтой.

Расплатившись с ними и отпустив их, он остался совершенно один на горном хребте, среди непроницаемой мглы, на тысячу футов выше лесной полосы. Голодный, усталый, промокший до пояса, он готов был в эту минуту отдать весь свой

годовой доход за костер и чашку кофе. Однако ему пришлось удовлетвориться несколькими холодными оладьями и закутаться в брезент палатки. Он быстро уснул, но, засыпая, успел злорадно подумать, что Джон Беллью сейчас взбирается на Чилкут, таща на себе четыреста фунтов багажа. У самого Кита на попечении находилось не четыреста, а две тысячи фунтов багажа, но ему предстояло спускаться с горы, а не подниматься в гору.

Утром, измученный и замерзший, Кит вылез из-под брезента, съел фунта два сырого бекона, взвалил на плечи сто фунтов багажа и отправился вниз по тропе между скал. Тропа вела через узкий ледник к озеру Кратер. Какие-то люди шли с грузом через ледник. Целый день Кит перетаскивал свой багаж к верхнему краю ледника, и, так как расстояние было невелико, он навьючивал на себя каждый раз по полтораста фунтов. Такая неожиданная выносливость радостно поразила его. У встречного индейца он приобрел за два доллара три морских сухаря. Этими сухарями и сырым беконом он закусывал несколько раз в день. Грязный, продрогший, в мокрой от пота одежде, он и следующую ночь провел под холстиной палатки.

Рано утром он разостлал брезент на льду, свалил на него три четверти тонны багажа и поволок за собой. Там, где ледниковая тропа круто спускалась под уклон, самодельные сани ускорили бег. Брезент с поклажей наскочил на Кита, ударил его сзади по ногам, и Кит очутился верхом на своей поклаже. Брезент помчался вниз вместе с Китом.

Сотни тяжело нагруженных носильщиков, шагавших по льду, останавливались и провожали Кита удивленными взглядами. Кит неистово орал: «Берегись!» — и все поспешно отскакивали в сторону. Внизу, у самого края ледника, прилепилась ко льду маленькая палатка; она так быстро вырастала на его глазах, что Киту казалось, будто она бежит ему навстречу. Брезент съехал с дороги, которая круто сворачивала влево, и помчался по свежему снегу, окутанный облаком морозной пыли. Мягкий снег затормозил бешеную скорость брезента. Кит снова увидел палатку в ту самую секунду, когда изо всей силы налетел на нее. Его корабль вывернул из земли деревянные колья палатки, распахнул лицевые полотнища и ворвался внутрь. Кит барахтался на брезенте среди развороченных ящиков и мешков. Палатка качалась, как пьяная, и в морозном тумане Кит оказался лицом к лицу с испуганной девушкой,

кутавшейся в одеяла, — с той самой девушкой, которая назвала его в Дайе чечако.

— Хорош смок[96], а? — весело крикнул Кит.

Девушка неодобрительно смотрела на него.

— Вот вам и ковер-самолет! — продолжал Кит.

— Уберете вы когда-нибудь у меня с ног этот ваш мешок? — сердито спросила девушка.

Кит привстал.

— Это не мешок, а мой локоть. Простите.

Ничуть не смущенная такой поправкой, она была по-прежнему вызывающе холодна.

— Еще спасибо, что вы не опрокинули печку, — проговорила она.

Кит посмотрел туда, куда глядела девушка, и увидел печку из листового железа и кофейник на ней. За кофейником присматривала молодая индианка. Кит понюхал воздух и снова взглянул на девушку.

— Я чечако, — сказал он.

По выражению скуки на ее лице он понял, что она сама это знает. Но Кит не смутился.

— Свое огнестрельное оружие я бросил по дороге, — сказал он.

---

[96] Сноски: 96

Смок — английский спортивный термин, соответствующий русскому выражению «резаный мяч». В некоторых случаях Лондон обыгрывает также основное значение слова smoke — «курить».

Тогда она узнала его, и глаза ее блеснули.

— Не думала я, что вы доберетесь так далеко, — сообщила она ему.

Кит снова жадно потянул в себя воздух.

— Я слышу запах кофе! — Он решил идти напролом. — Вот вам мой мизинец, отрежьте его; я на все готов; я буду вашим рабом целый год и один день или сколько угодно лет и дней, только налейте мне чашечку из вашего кофейника.

За чашкой кофе он назвал себя, и она сказала ему свое имя — Джой Гастелл. Кроме того, Кит узнал, что она здешняя старожилка. Она родилась в фактории на Большом Невольничьем озере: ребенком она с отцом перешла Скалистые горы и спустилась к Юкону. Теперь она снова путешествует вместе с отцом, но его неожиданно задержали в Сиэтле дела. Он оказался в числе пассажиров злосчастного «Певца», потерпевшего крушение, и сейчас находится в заливе Пьюджет, куда его доставил подобравший пассажиров пароход.

Так как девушка не вылезала из-под одеял, Кит не стал затягивать разговора и, героически отказавшись от второй чашки кофе, освободил палатку от себя и своего багажа. Он уносил с собой много разнообразных впечатлений: у нее

очаровательные глаза и очаровательное имя; ей не больше двадцати — двадцати двух лет; отец ее, вероятно, француз; у нее твердая воля и пылкий характер, и воспитание она получила где угодно, но только не в здешних местах.

VI

По обледенелым скалам, высоко над полосой леса, шла тропа, огибая озеро Кратер, и выводила к скалистому ущелью, откуда открывался прямой путь к Счастливому Лагерю и первым кривым карликовым елям. Тащить на себе груз по этой круговой дороге — значило потерять много времени и окончательно выбиться из сил. На озере стояла парусная лодка, перевозившая грузы. В каких-нибудь два часа лодка могла бы доставить Кита и его поклажу на другой берег.

Но Кит уже истратил все деньги, а перевозчик запросил по четыреста долларов за тонну.

— Твоя лодчонка, друг мой, — сказал Кит перевозчику, — золотое дно. Но я могу показать тебе и другое золотое дно.

— Покажи! — был ответ.

— Покажу, если ты перевезешь мой багаж на другой берег. Прекрасная идея, еще не запатентованная, и ты сможешь открыть предприятие

сразу, чуть я объясню тебе, в чем дело. Согласен?

Перевозчик объявил, что согласен, и Кит решил, что можно довериться его обещанию.

— Отлично. Видишь ты тот ледник? Возьми кирку и за день пробей в нем желоб сверху донизу. Понял? Получится «Чилкут — Озеро Кратер. Акционерная компания перевозок кувырком». Ты можешь спускать ежедневно не меньше ста тонн, и работы никакой — знай клади деньги в карман. По пятидесяти центов с тонны каждый заплатит!

Через два часа Кит находился уже на другом берегу озера, выиграв целых три дня. Когда Джон Беллью нагнал его, он был уже очень недалеко от Глубокого озера — другой вулканической впадины, наполненной ледниковой водой.

VII

Последний переход, от Долгого озера до Линдермана, считается три мили; здесь тропа — если только это можно назвать тропой — взбирается на вершину тысячефутового хребта, сползает, извиваясь, вниз по скользким скалам и пересекает широкое болото. Джон Беллью остолбенел от удивления, увидев, как Кит взвалил себе на спину сотню фунтов, а сверху на эту сотню положил

пятидесятифунтовый мешок муки.

— Ну-ка, закаленный человек! — воскликнул Кит. — Покажи, чему тебя научило медвежье мясо и одна-единственная смена белья!

Джон Беллью покачал головой:

— Я уже стар, Кристофер.

— Тебе всего только сорок восемь. Мой дед, а ваш отец, сэр, старый Исаак Беллью, одним ударом кулака убил человека, когда ему было шестьдесят девять лет.

Джон Беллью, улыбаясь, проглотил пилюлю.

— Дядюшка, мне хочется сообщить тебе важную новость. Меня воспитывали недотрогой и неженкой, но сейчас я таскаю тяжести лучше тебя, хожу лучше тебя и с легкостью уложу тебя на обе лопатки и намну бока.

Джон Беллью поднял руку и торжественно произнес:

— Кристофер, мой мальчик, я верю, что ты можешь уложить меня на обе лопатки и намять мне бока. Больше того: я уверен, что ты можешь совершить этот подвиг, даже имея сто фунтов на плечах. Ты хорошо поработал, мальчик, и добился почти невероятных успехов.

Во время последнего перехода Кит за один день проделал четыре конца взад и вперед. Иными сло-

вами, он покрыл за день двадцать четыре мили, карабкаясь по горам, причем двенадцать миль из этих двадцати четырех — со ста пятьюдесятью фунтами за спиной. Это сильно утомило его, но он гордился собой и чувствовал себя прекрасно. Он ел и спал так, как раньше никогда еще не ел и не спал; и когда оказалось, что скоро конец тяжелому пути, он даже немного огорчился.

Беспокоило Кита только одно: он знал, что если споткнется и упадет с сотней фунтов за плечами, он останется в живых и поднимется на ноги; но он был уверен, что если ему случится упасть с пятидесятифунтовой прибавкой, то эта прибавка непременно свернет ему шею.

Тысячами ног все тропы через болота очень быстро затаптывались, превращаясь в бездонную топь, и приходилось все время прокладывать новые. Однажды, прокладывая такую новую тропу, Кит на практике разрешил вопрос о пятидесятифунтовой надбавке.

Зыбкая, топкая поверхность колыхалась под ним; он оступился и шлепнулся в воду ничком. Пятьдесят фунтов придавили его, не сломав ему шеи. С оставшейся сотней за плечами Киту удалось подняться на четвереньки. Но встать он не мог. Левую руку снова втянуло вглубь, и щека

легла в грязь, как на подушку. Кит вытянул левую руку — правая ушла по плечо. Выпутаться из ремней было невозможно, а стофунтовая тяжесть мешала подняться. На четвереньках, с трудом вытаскивая из грязи то одну, то другую руку, он сделал попытку добраться до того места, куда упал его мешок с мукой. Но все усилия были напрасны: они только утомляли его, а тонкий слой травы, покрывавший трясину, прорвался под его тяжестью, и струйка взбаламученной воды стала просачиваться наружу, заливая ему нос и рот.

Тогда он попробовал перевернуться на спину, чтобы поклажа служила ему опорой, но это привело лишь к тому, что обе руки его погрузились в воду по плечи, и Кит почувствовал, что тонет. С завидным терпением он медленно вытащил обе руки из грязи, положил их плашмя на воду, чтобы опереться на них подбородком, и громко позвал на помощь. Через несколько минут раздалось хлюпанье по грязи приближавшихся сзади шагов.

— Помоги, приятель! — крикнул Кит. — Брось мне веревку.

Киту ответил женский голос, и Кит узнал этот голос.

— Если вы расстегнете мне ремни, я встану.

Сто фунтов звонко шлепнулись в грязь, и Кит медленно поднялся на ноги.

— Ну и положение! — смеялась мисс Гастелл, увидев облепленное грязью лицо Кита.

— Пустяки! — весело воскликнул Кит. — Это просто одно из моих любимых гимнастических упражнений. Советую и вам попробовать: замечательно развивает грудную клетку и позвоночник.

Он вытер лицо рукой и стряхнул с руки ком грязи.

— О, да это мистер, мистер… Смок Беллью! — воскликнула девушка, узнав Кита.

— Благодарю вас за своевременную помощь и за новое имя, — проговорил Кит. — Совершилось мое второе крещение. С этой минуты все должны называть меня Смоком Беллью. Смок — сильное и выразительное имя.

Он замолчал, а потом неожиданно скорчил злое лицо.

— Знаете, что я решил предпринять? — произнес он свирепым голосом. — Я возвращусь обратно в Штаты. Я женюсь. У меня будет большая семья, много-много детей. Как-нибудь вечером я соберу детей и расскажу им, какие страдания перенес их отец на Чилкутской дороге. И если они

не зарыдают, — повторяю, если они не зарыдают, я возьму палку и вышибу из них дух!

VIII

Надвигалась полярная зима. Землю покрыл шестидюймовый слой снега, и, несмотря на жестокие ветры, маленькие озера затянулись льдом. В один из вечеров, когда буря несколько утихла, Кит вместе с дядей помог двоюродным братьям нагрузить лодку и постоял на берегу, пока лодка не исчезла в метели.

— Надо выспаться и утром пораньше в путь, — сказал Джон Беллью. — Если нас не задержит буран на перевале, завтра вечером мы будем в Дайе. А если нам посчастливится сразу попасть на пароход, еще неделя — и мы опять в Сан-Франциско.

— Ты доволен прогулкой? — рассеянно спросил Кит.

Их последний привал на озере Линдерман был печален и неуютен. Робби и Холл забрали с собой все самые необходимые вещи, включая и палатку. Потертый брезент кое-как прикрывал их от вьюги. Ужин они варили на костре, в негодных, помятых кастрюлях. Им оставили только одеяла да пищу на несколько дней.

С той минуты, как лодка отошла от берега, Кит стал рассеянным и беспокойным. Джон Беллью заметил состояние племянника, но приписал это сильному переутомлению после трудного похода. За ужином Кит только раз нарушил молчание.

— Дядюшка, — сказал он ни с того ни с сего, — пожалуйста, отныне называй меня Смок. Ведь я здорово прокоптился за дорогу.

После ужина Кит отправился в лагерь золотоискателей, занятых постройкой и снаряжением челноков. Когда через несколько часов он вернулся и залез под одеяло, Джон Беллью уже спал.

Ветреным мглистым утром Кит вылез из-под одеяла, не обуваясь, развел огонь, согрел на огне свои промерзшие сапоги, сварил кофе и поджарил бекон. Дядюшка и племянник невкусно позавтракали на холодном ветру. Позавтракав, они сложили одеяла. Джон Беллью зашагал в сторону Чилкутской дороги, но Кит вдруг остановил его и протянул ему руку.

— До свидания, дядя, — сказал он.

Джон Беллью удивленно взглянул на племянника и выругался от удивления.

— Не забывай, дядюшка, что теперь я Смок, — внушительно проговорил Кит.

— Но что ты задумал?

Кит махнул рукой на север, в сторону бурного озера.

— Не имеет смысла возвращаться, когда зашел так далеко, — сказал Кит. — Я почуял запах мяса, и оно мне по вкусу. Я иду дальше.

— У тебя нет денег! — возразил Джон Беллью. — И никакого снаряжения.

— Я нашел работу. Кристофер Смок Беллью покажет себя. Он нашел работу. Он теперь слуга джентльмена. Сто пятьдесят долларов в месяц на всем готовом. Он отправляется в Доусон в обществе двух джентльменов и еще одного слуги — отправляется в качестве повара, лодочника и чего угодно. А О'Хара со своей «Волной» может убираться к дьяволу! До свидания!

Пораженный Джон Беллью слабо пробормотал:

— Ничего не понимаю!

— Говорят, в бассейне Юкона немало медведей! — объяснил Кит. — У меня всего только одна смена белья, и мне хочется отведать медвежатины. Прощайте!

Мясо

I

Дул сильный порывистый ветер, когда Смок Беллью, с трудом преодолевая его, вышел на берег. В предрассветных сумерках дюжину лодок нагружали драгоценным багажом, который удалось перенести через Чилкут. Это были неуклюжие самодельные челноки, неумело сколоченные из только что срубленного сырого дерева. Одна лодка, уже нагруженная, отходила от берега, и Кит остановился поглядеть.

Ветер, попутный в открытом озере, здесь дул прямо в берег, подымая волны на мелководье. Отъезжающие хлюпали по воде высокими непромокаемыми сапогами, изо всех сил стараясь вытолкнуть свою лодку на глубокое место. Два раза это не удавалось. Дважды они влезали в лодку и пытались грести, но оба раза их снова относило к берегу и сажало на мель. Кит заметил, что брызги на бортах лодки быстро превращаются в лед. Третья попытка была более удачна. Лодку вытащили на такую глубину, что людям пришлось идти по пояс в воде. С трудом поднимая тяжелые

весла, гребцы начали медленно удаляться от берега. Затем они поставили парус из одеял, но ветер сорвал его, и лодку в третий раз вынесло на замерзающий берег.

Кит усмехнулся и пошел дальше. Ему тоже предстояло сразиться с ветром и с бурей. В своей новой роли слуги он должен был через несколько часов отчалить в лодке от этого самого места.

Все работали, работали изо всех сил, потому что быстро наступала зима и нужно было перебраться через цепь озер, прежде чем они покроются льдом. Однако, войдя в палатку мистеров Спрага и Стайна, Кит не обнаружил никаких приготовлений к отплытию.

У огня, под защитой брезента, покуривая самокрутку из оберточной бумаги, сидел, подобрав под себя ноги, маленький толстенький человечек.

— Добрый день! — сказал он. — Вы новый слуга мистера Спрага?

Кит заметил, что толстяк слегка подмигнул ему и слова «мистер» и «слуга» произнес многозначительно. Кит кивнул головой.

— А я слуга доктора Стайна, — объявил коротенький человечек. — Во мне пять футов два дюйма росту, и зовут меня Малыш. Джек Малыш. А иногда меня называют Джонни-на-все-руки.

Кит поздоровался с ним.

— Вскормлены медвежьим мясом? — осведомился Кит.

— Конечно, — ответил Джек, — но первой моей пищей было молоко буйволиц, насколько я помню. Присаживайтесь и закусите. Хозяева еще дрыхнут.

Несмотря на то что Кит уже позавтракал, он с большим удовольствием позавтракал вторично. Изнуренный многонедельным трудом, Кит приобрел желудок и аппетит волка. Он мог есть что угодно, сколько угодно и знать не знал, что такое несварение желудка. Малыш оказался говорливым пессимистом. Он дал хозяевам очень нелестную характеристику и сделал несколько мрачных предсказаний насчет экспедиции. Томас Стэнли Спраг был молодой горный инженер и сын миллионера. Доктор Адольф Стайн тоже сын богача. Благодаря своим отцам они получили от одного синдиката субсидию для изыскательских работ на Клондайке.

— Оба они набиты деньгами, — говорил Малыш. — Когда они прибыли в Дайю, цена за переноску багажа поднялась до семидесяти центов, но не было ни одного индейца. В это время на берегу находились приезжие из Восточного Орегона,

настоящие рудокопы, и им удалось подрядить несколько индейцев по семьдесят центов за фунт. Индейцы уже нагрузились поклажей — три тысячи фунтов, — когда прибыли Спраг и Стайн. Они предложили индейцам восемьдесят центов, потом девяносто, а когда дошло до доллара за фунт, индейцы отказали рудокопам и нанялись к Спрагу и Стайну. И вот Спраг и Стайн уже на озерах, хотя это и обошлось им в три тысячи долларов, а орегонские рудокопы все еще сидят на берегу. И просидят до будущего года! Да, наши хозяева — мастера сорить деньгами, а на других людей им наплевать. Знаешь, что они выкинули здесь, на Линдермане? Плотники как раз кончали лодку для приезжих из Сан-Франциско — за шестьсот долларов. Спраг и Стайн отвалили плотникам тысячу, и те, недолго думая, расторгли сделку. Лодка отличная, но каково этим молодцам из Сан-Франциско? Остались со своим багажом, и ни с места. Застряли до будущего года. Выпей еще чашечку кофе и поверь мне на слово, что я ни за что не связался бы с этими кровопийцами, если бы меня не тянуло в Клондайк! Скверные люди. Ради своих делишек они готовы мертвого ограбить. А ты подписал контракт?

Кит покачал головой.

— Ну, тогда мне тебя жаль, дружище. В этих краях голод, и они бросят тебя на произвол судьбы, как только мы доберемся до Доусона. Зимой здесь много людей погибнет от голода…

— Но мы сговорились… — начал Кит.

— На словах! — оборвал Малыш. — А слова для них ничего не стоят: ты им одно, а они тебе другое. Ну да ладно! Как тебя зовут, друг?

— Зови меня Смок, — сказал Кит.

— Закабалят они тебя с твоим словесным контрактом, друг Смок. Деньгами сорить они умеют, но работать не любят, все утро валяются в постелях. Давно уже пора отправляться в дорогу, а они все еще дрыхнут. Отдуваться придется нам с тобой. Вот сейчас они проснутся и сразу подадут голос — потребуют кофе в постель. Слыханное ли дело, чтобы взрослым мужчинам подавали кофе в постель? Ты умеешь грести или править? На суше я ковбой и золотоискатель, а вот на воде — ничего не умею. Хозяева тоже не смыслят в лодках. А ты?

— Где там, — сказал Кит. Новый порыв ветра осыпал его хлопьями снега, и он плотно прижался к брезенту. — Катался на лодке, когда был мальчишкой. Но мы научимся.

Ветер приподнял край брезента, и Малышу за

шиворот насыпалась целая горсть снегу.

— Мы-то научимся, — сердито проворчал Малыш. — Конечно, научимся. Тут и ребенок научится. Но держу пари, что сегодня мы не тронемся в путь.

В восемь часов из палатки потребовали кофе, а в девять хозяева встали.

— Эге! — сказал Спраг, краснощекий, откормленный малый лет двадцати пяти. — Пора собираться, Малыш. Вы и… — Он бросил вопросительный взгляд на Кита. — Простите, я вчера не совсем разобрал ваше имя.

— Смок.

— Так вот, Малыш, и вы, мистер Смок, я рекомендую вам заняться погрузкой.

— Просто Смок, без мистера! — сказал Кит.

Спраг кивнул головой, и они вместе с доктором Стайном, худощавым молодым человеком, куда-то зашагали и вскоре затерялись между палаток.

Малыш многозначительно подмигнул Киту.

— Больше полутора тонн багажа, а сами они палец о палец не ударят! Вот увидишь!

— Они платят нам, чтобы мы за них работали, — весело отозвался Кит, — и, я думаю, нам придется с этим примириться.

Перетащить на спине три тысячи фунтов груза

на сотню шагов вообще нелегкое дело, а перенести их в шторм и метель, когда тяжелые резиновые сапоги увязают в снежных сугробах, — и того труднее. Слуги сложили палатку и упаковали кухонные принадлежности. Затем принялись грузить лодку. По мере погрузки лодку нужно было отпихивать все дальше и дальше от берега, на более глубокое место, и, таким образом, расстояние, которое грузчикам приходилось переходить вброд, все увеличивалось. К двум часам дня работа была окончена, и Кит, несмотря на то что сегодня дважды позавтракал, ослаб от голода. У него дрожали колени. Малыш чувствовал себя не лучше. Он произвел осмотр горшков и кастрюль и в одной из кастрюль обнаружил холодные бобы, перемешанные с большими кусками свинины. Ложка была с длиннейшей ручкой, одна на двоих, и едоки поочередно запускали ее в кастрюлю. Кит был совершенно убежден, что никогда в жизни не пробовал более вкусного кушанья.

— Честью клянусь, — с полным ртом пробормотал Кит, — только в этом путешествии узнал я, что такое настоящий аппетит.

Спраг и Стайн явились в самый разгар этого приятного занятия.

— Что нас задерживает? — спросил Спраг недовольным голосом. — Тронемся мы когда-нибудь или нет?

Вместо ответа Малыш зачерпнул ложкой бобы, облизал ее и передал Киту. Едоки не промолвили ни единого слова, пока кастрюля не была вылизана дочиста.

— Ну, ясно, мы тут бездельничали, — сказал Малыш, утирая ладонью рот. — Ничего не делали. И конечно, вы ничего не ели. И все это по моей вине.

— Мы позавтракали в одной палатке у друзей, — поспешно проговорил Стайн.

— Так я и знал! — буркнул Малыш.

— Вы уже наелись наконец, и можно отправляться! — торопил Спраг.

— Лодка спущена на воду, — ответил Малыш. — Лодка нагружена. Что же еще, по-вашему, нужно сделать, чтобы отправиться в путь?

— Сесть в лодку и оттолкнуться. Идем.

Хозяева уселись, а Кит и Малыш принялись толкать лодку перед собой. Когда вода стала заливать за отвороты высоких сапог, они вскочили в лодку. Хозяева и не дотронулись до весел, а потому лодку сразу же прибило обратно к берегу. Раз десять повторялось одно и то же. Кит и Ма-

лыш выбились из сил.

Малыш, проклиная весь мир, уселся на корме и сунул за щеку кусок жевательного табаку. Кит вычерпывал воду из лодки, а хозяева раздраженно переругивались.

— Если вы будете меня слушаться, я попробую отчалить, — сказал Спраг.

Но намерению его не суждено было исполниться. Не успел Спраг перекинуть ногу за борт лодки, как его окатила волна, и он вымок до пояса.

— Придется поставить палатку и разложить костер! — воскликнул мокрый Спраг, когда лодку снова выбросило на берег. — Я замерз.

— Чуть промок и уже испугался, — насмешливо сказал Стайн. — Сколько людей отъехало сегодня с этого самого места, хотя они промокли больше, чем вы. Теперь я поведу лодку.

На этот раз вымок он и, стуча зубами, потребовал, чтобы немедленно был разведен костер.

— Стоит ли обращать внимание на легкий душ? — издевался Спраг. — Едем!

— Малыш, выньте из лодки мой чемодан с бельем и разведите костер! — приказал Стайн.

— Малыш, не смейте разгружать лодку! — воскликнул Спраг.

Малыш взглянул поочередно на обоих господ,

сплюнул, но не двинулся с места.

— Он служит у меня и обязан повиноваться моим приказаниям, а не вашим! — крикнул Стайн. — Малыш, вынесите на берег мой чемодан!

Малыш исполнил приказание, а Спраг остался сидеть в лодке, хотя его трясло от холода. Не получая никаких распоряжений, Кит с удовольствием отдыхал.

— Когда капитаны ссорятся — пароход стоит, — проговорил он как будто про себя.

— Что вы сказали? — спросил Спраг.

— Я говорю сам с собой, такая у меня привычка, — отвечал Кит.

Хозяин наградил его суровым взглядом и, надувшись, просидел в лодке еще несколько минут. Потом сдался.

— Выньте из лодки мой чемодан, — распорядился он, — и займитесь, пожалуйста, костром: мы остаемся до утра.

II

Настало утро, а ветер не утих. Озеро Линдерман представляло собой узкое горное ущелье, наполненное водой. Ветер, срываясь с гор, дул здесь неравномерно, порывами, то с силой урагана, то

как еле заметный бриз.

— Если вы хорошенько подтолкнете, я, пожалуй, выведу лодку, — сказал Кит, когда все было готово к отплытию.

— Что вы в этом смыслите? — накинулся на него Стайн.

— Там видно будет! — ответил Кит и замолчал.

Впервые в жизни Кит нанялся в услужение, но он быстро усвоил правила дисциплины. Покорно и весело принимал он участие в общих попытках сдвинуться с места.

— Что вы собираетесь делать? — чуть не плача, спросил Стайн.

— Давайте сядем и хорошенько отдохнем, а когда настанет затишье, наляжем и двинем ее как следует.

В этой идее не было ничего мудреного, но все же Кит первый набрел на нее. План удался сразу. Поставили парус из одеял, и лодка двинулась. Стайн и Спраг мигом повеселели. Малыш, несмотря на неистощимый пессимизм, оказался человеком веселым, а Кит был слишком захвачен всем происходящим, чтобы скучать. Четверть часа Спраг боролся с рулем, потом умоляюще взглянул на Кита, и Кит сменил его.

— Я чуть руки себе не обломал, — извиняю-

щимся голосом пробормотал Спраг.

— Вы, наверное, никогда не пробовали медвежатины? — сочувственно осведомился Кит.

— Что вы хотите этим сказать, черт побери?

— О, ровно ничего, я просто полюбопытствовал.

Но за спиной хозяина Кит встретил одобрительный взгляд Малыша, который понял и оценил шутку товарища.

Кит обнаружил такие блестящие способности к управлению лодкой, что денежные тузы, не склонные к труду, произвели его в рулевые. Малыш с удовольствием взвалил все корабельное дело на плечи товарища, а сам занялся стряпней.

Между озерами Линдерман и Беннет было несколько миль сухого пути, и предстояло тащить багаж на плечах. Оставив в лодке только самый легкий груз, Кит и Малыш перегнали ее на озеро Беннет по узкому, но быстрому протоку, соединяющему оба озера, и тут Кит приобрел много познаний в судоходном деле. Багаж пришлось тащить на себе Киту и Малышу. Спраг и Стайн исчезли, и Кит с Малышом, надрываясь, в два дня перенесли его от озера к озеру. Так было и дальше, — Кит и Малыш изнемогали под тяжестью клади, а хозяева шли налегке и вдобавок

требовали, чтобы им угождали.

Полярная зима приближалась и сковывала все, как железом, а путники продвигались вперед медленно, тратя много дней по-пустому. В Уинди-Арм Стайн самовластно отставил Кита от руля и взялся управлять лодкой сам; в результате не прошло и часа, как лодку отнесло на подветренный берег, где яростно бушевали волны. Два дня были потеряны на починку лодки, а когда на третий день утром хозяева и работники вышли на берег, на корме и на носу красовались огромные буквы сделанной углем надписи: «Чечако».

Кит улыбнулся, оценив меткость прозвища.

— Я, конечно, умею читать и писать, и я знаю, что чечако значит новичок, но я не настолько образован, чтобы написать такое трудное слово, — заявил Малыш в ответ на обвинение Стайна.

Оба хозяина злобно посмотрели на Кита. Кит промолчал о том, что накануне вечером Малыш попросил его показать, как пишется это слово.

— Их это задело не меньше медвежатины! — радовался Малыш.

Кит усмехнулся. С каждым днем убеждаясь в своих силах, в своей возрастающей ловкости, он все глубже проникался презрением к хозяевам.

Они не только раздражали и возмущали его, но и внушали ему омерзение. Сам он отведал медвежьего мяса, и оно пришлось ему по вкусу; они же отбивали у него всякую охоту к этой еде. Он благодарил Бога, что Бог создал его не похожим на них. Его неприязнь к ним порой доходила до ненависти. Хозяева раздражали Кита не столько своими вечными придирками, сколько своей беспомощностью. Все-таки он принадлежал к закаленному роду старого Исаака Беллью.

— Малыш! — сказал он как-то во время одной из обычных досадных задержек. — Стукнуть бы их веслом по башке и выкинуть за борт.

— Правильно! — согласился Малыш. — Где уж им есть медвежатину! Рыбу им жевать, а не мясо, вонючкам этаким!

III

Первые пороги находились в Ящичном ущелье, следующие — Белая Лошадь — на несколько миль ниже. Ящичное ущелье недаром было так прозвано. Это был захлопнутый ящик, западня. По сторонам его поднимались отвесными стенами скалы, и выйти из него можно было только через пороги. Русло реки сужалось здесь, и вода, как бешеная, с неистовым ревом мчалась через

узкий проход, вздуваясь посередине футов на восемь выше, чем у скалистых берегов. Волны мчащейся реки сталкивались с огромными бурунами, которые клокотали на порогах, не двигаясь с места. Ящичное ущелье пользовалось дурной славой: здесь смерть собирала богатую дань с проезжающих золотоискателей.

Высадившись на крутом берегу, где уже находилось штук двадцать нерешительно выжидающих лодок, Кит и его спутники отправились посмотреть на пороги. Они подползли к карнизу и глянули вниз на кипящий водоворот. Спраг отшатнулся.

— Боже мой! — закричал он. — Да тут не выплывешь!

Малыш многозначительно толкнул Кита локтем и прошептал:

— Трусы несчастные! Бьюсь об заклад, они сдрейфят!

Кит не слушал его. Во время путешествия на лодке он познал упрямство и безжалостность стихии. Ему захотелось помериться с ней силами.

— Нам нужно будет держаться гребня на середине реки, — сказал он. — Если мы отклонимся от него, лодка налетит на скалы…

— И мы даже не узнаем, обо что расшиблись, —

докончил Малыш. — Умеешь плавать, Смок?

— Если случится беда, я предпочел бы не уметь плавать: один конец!

— Я тоже так думаю, — мрачно проговорил незнакомец, стоявший рядом с Китом на скале. — Хорошо бы, если бы все это было уже позади!

— А я и за деньги не пропустил бы такого случая! — сказал Кит.

Он говорил вполне искренне, но в то же время ему хотелось подбодрить незнакомца. Постояв немного, Кит направился к лодке.

— Так вы решились? — спросил незнакомец.

Кит кивнул головой.

— А у меня не хватает духу. Я тут торчу уже много часов. Чем дольше я смотрю на реку, тем больше страху нагоняет она на меня. Гребец я плохой, а со мной жена и маленький племянник. Если вам самим удастся благополучно переправиться, не поможете ли вы мне?

Кит вопросительно взглянул на Малыша. Тот молчал.

— С ним жена! — сказал Кит, и ему не пришлось разочароваться в товарище.

— Ладно! — согласился Малыш. — Я и сам думал, что нужно помочь человеку.

Малыш и Кит заторопились, но Стайн и Спраг

не двинулись с места.

— Желаю удачи, Смок! — крикнул Спраг. — Я… — он замялся, — я… останусь здесь… посмотрю, как вы справитесь.

— Нам нужно троих в лодке: двоих на веслах и одного на руле! — твердо сказал Кит.

Спраг и Стайн переглянулись.

— Никуда я не поеду, — сказал Стайн. — Если ты не боишься стоять здесь и смотреть, так и я не боюсь.

— А кто боится? — запальчиво спросил Спраг.

Стайн ответил ему с жаром, и пошла перебранка. Кит и Малыш ушли одни.

— Обойдемся и без них! — сказал Кит. — Ты будешь грести, а я сяду на руль. Греби напрямик, и больше никаких! Там будет такой шум, что ты меня не услышишь, а потому помни: грести без передышки и держать прямо!

Они отчалили и вышли на середину реки; течение становилось все более быстрым. Из ущелья доносился грохот. Река спокойно вливалась в ущелье, гладкая, как расплавленное стекло. Когда лодка очутилась между черными скалами, Малыш набил себе рот жевательным табаком и налег на весла. Лодка подскочила на первых порогах, и гребцы были оглушены ревом кло-

кочущих вод, который удваивало эхо ущелья. Путников окатило холодными брызгами. Порой Кит едва различал Малыша, сидевшего на носу. За две минуты лодка прошла три четверти мили и благополучно примчала их к низкому песчаному берегу.

Малыш выплюнул жвачку — во время опасности он забывал отплевываться — и восторженно крикнул:

— Вот оно, медвежье мясо! Самое настоящее! Признаться, Смок, садясь в лодку, я трусил, как черт. А теперь я за медвежатину! Идем переправим другую лодку!

Возвращаясь по берегу к лодкам, они издали увидели хозяев, которые сверху рассматривали пороги.

— Вот они, рыбоеды, — сказал Малыш. — Сразу завоняло.

IV

Переправив через пороги лодку Брэка — так звали их нового знакомого, — Кит и Малыш познакомились с его женой, худенькой женщиной, похожей на девочку. В ее синих глазах блестели слезы благодарности. Брэк сделал попытку вручить Киту пятьдесят долларов и, потерпев

неудачу, предложил деньги Малышу.

— Чудак человек! — ответил Малыш. — Я приехал в эти места, чтобы выколачивать деньгу из земли, а не из своих же товарищей.

Брэк порылся на дне челнока и вытащил большую, оплетенную соломой бутыль виски. Малыш потянулся было к бутылке, но вдруг резко отдернул руку и покачал головой.

— Нет. Впереди еще проклятая Белая Лошадь, — сказал он, — и говорят, она похуже Ящика. Сейчас не время пить!

Проплыв по тихой реке еще несколько миль, все четверо сошли на берег, чтобы посмотреть на новые пороги. Каменная гряда отклоняла здесь стрежень порожистой реки к правому берегу. Мощная масса воды устремлялась в узкий проход между грядой и берегом, неистово вздымая огромные пенистые волны. Смертоносная грива Белой Лошади собирала с проезжающих еще более богатую дань мертвецами. Перед Гривой бушевал бурун, позади Гривы крутился водоворот. Обойти Гриву стороной было невозможно.

— Это почище Ящика, — сказал Малыш.

Чья-то лодка приближалась к порогам. Лодка была большая, футов тридцать в длину, и тяжело нагруженная. В лодке сидели шестеро. Еще не

достигнув Гривы, она уже металась и прыгала, пена и брызги то и дело скрывали ее из виду.

Малыш исподлобья глянул на Кита.

— Ей уже здорово достается, хотя все худшее еще впереди. Гребцы сложили весла! Началось. Боже! Пошла ко дну! Нет, вынырнула!

Пенистые валы погребли под собой огромную лодку. Через мгновение она вынырнула и взлетела на волну прямо посреди Гривы. К великому удивлению Кита, над водой показалось даже днище лодки. Мгновение она словно висела в воздухе. Пятеро гребцов в бездействии сидели на скамьях, а шестой во весь рост стоял на корме у руля. Затем лодка снова нырнула и исчезла из глаз. Трижды она ныряла и трижды вновь восставала из пучины. Она благополучно миновала страшную Гриву, и вдруг наблюдавшие с берега увидели, что нос ее попал в водоворот. Рулевой всей тяжестью налег на руль, пытаясь повернуть его. Напрасная попытка! Лодка закружилась в водовороте.

Трижды пронеслась она по кругу, каждый раз так близко от скал, на которых стояли Кит и Малыш, что они могли бы прыгнуть в нее. Рулевой, человек с недавно отпущенной рыжей бородкой, махнул им рукой. Единственный путь

из водоворота лежал через Гриву. Вероятно, у рулевого закружилась голова, и потому, когда лодку внезапно снова бросило в быстрое течение Гривы, он не успел выпрямить руль. То ныряя, то подскакивая, лодка помчалась вперед, уносимая бешеным течением Гривы. Гигантская водяная воронка втянула ее вглубь. Затем на поверхность всплыли ящики и мешки. Вынырнуло днище перевернутой лодки, и замелькали в воде головы гребцов. Двоим удалось выбраться на берег, а четверых засосала воронка. Доски, тюки, ящики скрылись за поворотом реки. Долго молчали. Первым заговорил Малыш.

— Идем, — сказал он. — Нужно и нам попытать счастья. Если мы еще будем здесь стоять, я просто струшу и сбегу.

— Пора и нам обкуриться! — усмехнулся Кит.

— Хочешь оправдать свое прозвище? — сказал Малыш. — Идете? — спросил он, обращаясь к хозяевам.

Вероятно, рев воды помешал им расслышать его приглашение.

Малыш и Кит, по колено в снегу, вернулись к началу порогов и отвязали лодку. Кита пришпоривала решимость товарища, а также память о том, что старый Исаак Беллью и все другие Бел-

лью не раз совершали подобные подвиги в своем победоносном шествии на Запад. Что сделали они, то может сделать и он! Перед ним было мясо, настоящее сырое мясо, и он радостно думал, что такое мясо по зубам лишь сильным людям.

— Держи прямо на бурун! — крикнул ему Малыш и бросил в рот кусок прессованного табаку, а лодка между тем летела все быстрей, увлекаемая течением к порогам.

Кит кивнул Малышу и изо всех сил налег на руль.

Через несколько минут мокрый до нитки Малыш, причалив к берегу ниже Белой Лошади и выплевывая жвачку, пожимал своему товарищу руку.

— Мясо! Мясо! — ликуя, восклицал Малыш. — Мы едим его сырым! Мы живьем пожираем его.

На берегу они встретили Брэка. Его жена стояла поодаль. Кит обменялся с Брэком крепким рукопожатием.

— Боюсь, ваша лодка здесь не пройдет, — сказал Кит. — Она мала, меньше нашей, и, кажется, очень валкая.

Брэк извлек из кармана пачку кредиток.

— Каждому из вас дам по сотне, если вы переправите лодку.

Кит еще раз взглянул на пенистую гриву Белой Лошади. Мороз крепчал, в рано спустившихся долгих сумерках все вокруг казалось сумрачнее и опасней.

— Не в этом дело! — сказал Малыш. — Нам не нужны ваши деньги. Но мой товарищ собаку съел в гребле, и если он говорит, что ваша лодка не пройдет, значит, так оно и есть.

Кит в подтверждение этих слов кивнул головой, но взгляд его случайно упал на миссис Брэк. Она в упор смотрела на него, и Кит прочел в ее глазах мольбу. Малыш тоже заметил умоляющий взгляд миссис Брэк. Товарищи смущенно переглянулись и промолчали. Повинуясь общему чувству, они кивнули друг другу и зашагали к порогам. Но не успели они пройти и сотни ярдов, как навстречу им попались Стайн и Спраг.

— Куда вы? — спросил Спраг.

— Переправить еще одну лодку, — ответил Малыш.

— Оставьте! Уже темнеет. Вы оба сейчас же пойдете готовить нам ужин.

Возмущение Кита было так велико, что он не сказал ни слова.

— С ним жена! — сказал Малыш.

— Это его дело, — ответил Стайн.

— И мое и Смока! — сказал Малыш.

— А я вам запрещаю! — грубо крикнул Спраг. — Смок, еще один шаг — и вы уволены.

— Ни с места, Малыш! — прибавил Стайн.

— Вы без нас пропадете, — ответил Малыш. — Как вы доставите вашу несчастную лодку в Доусон? Кто будет подавать вам кофе в постель и подстригать вам ногти? Идем, Смок. Они не посмеют рассчитать нас. Кроме того, у нас уговор. Если они нас рассчитают, им придется даром кормить нас целую зиму.

Едва они спустили лодку Брэка на воду и отъехали от берега, как волны стали плескать через борт. Впрочем, это было еще только предвестие того, что ждало их впереди. Малыш, набив рот неизменной жвачкой, весело глянул на Кита, и Кит почувствовал неожиданный прилив нежности к этому человеку, который совершенно не умел плавать и все-таки решился на такое опасное дело.

Пороги клокотали все сильнее, и тучи брызг окружили лодку. В надвигающихся сумерках перед Китом мелькнула Грива, весь извилистый путь бегущего через нее течения. Кит почувствовал огромную радость, когда ему удалось ввести лодку в бурлящую Гриву по самой ее середине.

В следующую минуту лодка запрыгала на волнах, то ныряя, то взлетая на гребни волн, и Кит изо всех сил налег на руль. Он уже ничего не мог разглядеть в облаке водяной пыли и желал только одного: чтобы дядя видел его в эту минуту. Мокрые насквозь, задыхаясь, они вынырнули ниже Гривы; лодка была полна воды, и легкий багаж плавал на поверхности. Малыш сделал несколько осторожных взмахов веслами — в водовороте лодку подхватило течением, и она мягко коснулась отмели. С высокого берега на них смотрела миссис Брэк. Мольба ее была услышана, и слезы струились из ее глаз.

— Вы обязаны принять деньги, обязаны! — воскликнул, идя навстречу им, Брэк.

Малыш вскочил, лодка накренилась под ним, и он шлепнулся в воду.

— К черту деньги! — сказал Малыш. — Давайте сюда виски! Все уже кончено, а я промочил ноги и боюсь простудиться.

V

На следующее утро лодка Спрага и Стайна отчалила, по обыкновению, одной из последних. Несмотря на то что Брэк был плохой моряк и что вся его команда состояла лишь из жены и племян-

ника, он давно нагрузил свою лодку и с рассветом пустился в путь. Но Стайн и Спраг не торопились, словно не понимали, что озеро может замерзнуть в любую минуту. Они отлынивали от дела и постоянными придирками мешали Малышу и Киту работать.

— Я теряю всякое уважение к Господу Богу! — богохульствовал Малыш. — Сотворил этакую мразь в человеческом образе.

— Зато с тобой он не промахнулся, — с усмешкой отвечал Кит. — Чем я больше гляжу на тебя, тем больше уважаю Создателя.

— Так, по-твоему, он смастерил меня на совесть? — спрашивал Малыш, смущенный комплиментом.

Их путь лежал через озеро Ле-Барж. В озере не было течения, и если не дул попутный ветер, сорок миль приходилось идти на веслах. Но пора попутных ветров миновала, с севера сорвался ледяной вихрь и дул прямо в лицо. Озеро вздулось, поднялись огромные волны, было почти невозможно грести. В довершение всех бед пошел снег; весла покрывались слоем льда, и одному из гребцов приходилось беспрестанно сбивать лед топором. Вынужденные приняться за весла, Спраг и Стайн только делали вид, что гребут.

Кит хорошо знал, что значит налегать на весла всей тяжестью своего тела, и отлично видел, что хозяева только обмакивают весла в воду.

По прошествии трех часов Спраг бросил весло на дно лодки и заявил, что они должны вернуться в устье реки на ночлег. Стайн поддержал его, и, таким образом, все труды пошли насмарку. На второй и третий день повторились те же бесплодные попытки. В устье реки образовалась целая флотилия, лодок в двести. Каждый день прибывало их сорок-пятьдесят, и только двум или трем удавалось добраться до северо-западного берега озера, не возвращаясь к устью. Озеро вдоль берега стало затягиваться льдом. Лед узкой кромкой охватывал отмели. Озеро должно было замерзнуть в самые ближайшие дни.

— Не будь они такие тряпки, мы перемахнули бы на тот берег, — сказал Кит Малышу на третий день вечером, когда они сушили у огня свои насквозь промокшие мокасины. — Сегодня уже были бы там, если бы они не заставили повернуть обратно. Стоило поработать еще какой-нибудь час, и нас вынесло бы на западный берег. Наши хозяева беспомощные младенцы.

— Правильно, — согласился Малыш. Он придвинул свои мокасины к огню и задумчиво

помолчал. — Послушай, Смок. До Доусона еще не одна сотня миль. Если мы не хотим мерзнуть здесь всю зиму, необходимо что-нибудь предпринять.

Кит взглянул на товарища и ничего не ответил.

— Связались мы с этими младенцами! — ворчал Малыш. — Командовать и швырять деньгами они умеют, а как дойдет до дела, так они и вправду младенцы. Если мы хотим в этом году попасть в Доусон, не надо их слушать.

Они переглянулись.

— Идет! — сказал Кит и подтвердил свое согласие пожатием руки.

Ранним утром, еще задолго до рассвета, Малыш поднял громкий крик.

— Вставайте! — орал он. — Пошевеливайтесь, эй вы там, сони! Получайте свой кофе. Лакайте его поживее! Мы отправляемся в путь!

Ворча и хныча, Стайн и Спраг поднялись на два часа раньше, чем обычно. Ветер стал крепче, лица путников заиндевели, весла отяжелели от льда. Они боролись три, четыре часа — один на руле, один сбивал лед и двое на веслах. По очереди менялись местами. Северо-западный берег все приближался. Но ветер крепчал, и наконец

Спраг не выдержал — бросил весло и отказался грести. Малыш схватил весло, хотя его только что сменили.

— А вы сбивайте лед, — сказал он Спрагу, протягивая ему топор.

— Что толку? — захныкал Спраг. — Все равно не доехать. Ворочайте назад!

— Вперед! — закричал Малыш. — Лед обрубайте. А как отдохнете, смените меня на веслах.

Наконец после многочасовых усилий они достигли берега и увидели одни только скалы, о которые хлестал прибой: причалить было невозможно.

— Говорил я вам! — хныкал Спраг.

— Ничего путного вы не говорили! — ответил Малыш.

— Едем обратно!

Кит и Малыш промолчали. Кит повел лодку вдоль негостеприимного берега. Каждый удар весел подвигал лодку всего лишь на фут вперед, а бывало и так, что два-три удара только-только удерживали ее на месте. Кит старался утешить приунывших хозяев. Он говорил им, что лодки, которым удалось добраться до этого берега, не возвращались. Следовательно, они где-то нашли удобную пристань. Они гребли еще час, еще два.

— Если бы вы всю ту силу, которую нагуляли, попивая кофе в постели, вложили в греблю, мы были бы уже давно на берегу, — подбодрял своих хозяев Малыш. — А то вы только делаете вид, что гребете.

Через несколько минут Спраг бросил весло.

— Не могу больше! — со слезами в голосе сказал он.

— Мы тоже больше не можем! — крикнул Кит, чувствуя, что сейчас расплачется или совершит убийство. — Но мы все-таки идем вперед!

— Мы возвращаемся. Поверните руль.

— Малыш, если он не может грести, возьми у него весла и греби! — приказал Кит.

— Ладно, — отозвался Малыш. — А он пусть сбивает лед.

Но Спраг заявил, что не отдаст весел Малышу. Стайн тоже бросил грести, и лодку понесло назад.

— Поворачивайте, Смок! — скомандовал Спраг.

— Убирайтесь вы к черту! — крикнул Кит, сам себе удивляясь. Первый раз в жизни он обругал человека. — Берите весло и гребите!

Бывают минуты усталости, когда люди забывают обо всем, чему их научила цивилизация, и такая минута наступила. Каждый дошел до пре-

дела. Спраг снял перчатку, вытащил револьвер и направил его на рулевого. Это было для Кита еще не изведанным ощущением. Но оказалось, что это вовсе не страшно. Он чувствовал себя как ни в чем не бывало.

— Если вы сейчас же не уберете револьвер, — сказал Кит, — я отниму его у вас и переломаю вам ребра.

— Если вы сейчас же не повернете лодку обратно, — прогремел Спраг, — я пристрелю вас!

Тогда вмешался Малыш. Он бросил скалывать лед и, с топором в руке, встал за спиной Спрага.

— Стреляйте! — сказал Малыш, поднимая топор. — Наконец-то мне представится случай раскроить вам череп. Начинайте увеселение.

— Да это бунт! — вмешался Стайн. — Вы обязаны подчиняться! Вы нанялись!

Малыш повернулся к нему.

— И вы тоже получите по черепу, как только я расправлюсь с вашим товарищем, слюнтяй поросячий!

— Спраг, — сказал Кит, — опустите револьвер и принимайтесь за греблю. Даю вам тридцать секунд.

Спраг колебался с минуту, затем, истерически смеясь, спрятал револьвер и начал грести.

Еще два часа, дюйм за дюймом, продвигались они вдоль негостеприимных скал, и Кит уже опасался, что сделал большую ошибку, не повернув назад. Еще минута — и он повернул бы руль, но вдруг перед ним открылся узкий проход, шириной около двадцати футов, ведущий в спокойную бухточку, защищенную от ветра. Это была гавань, в которой нашли приют лодки, прибывшие раньше. Путники причалили к отлогому берегу, и, пока хозяева в изнеможении лежали в лодке, Кит и Малыш раскинули палатку, развели костер и принялись стряпать.

— Что значит поросячий слюнтяй, Малыш? — осведомился Кит.

— Черт его знает! Не знаю! — ответил Малыш. — Но так или иначе, это название отлично подходит к нему.

Вечером ветер пошел на убыль, стало ясно и холодно. Кофе, налитый в чашку, через минуту покрылся толстым слоем льда. В восемь часов, когда усталые хозяева, завернувшись в одеяла, уснули крепким сном, Кит пошел посмотреть, в порядке ли лодка.

— Озеро замерзает, — возвестил он. — Вся бухта уже покрыта корочкой льда.

— Что же нам делать?

— Выбора у нас нет. Озеро всегда замерзает первым. А река благодаря быстрому течению не замерзнет еще несколько дней. Если лодка останется хотя бы на один день на озере Ле-Барж, ей придется зимовать здесь.

— Значит, необходимо выехать сегодня? Сейчас же?

Кит утвердительно кивнул головой.

— Вставайте, эй вы, сони! — заорал Малыш и, не теряя времени, принялся убирать палатку.

Хозяева проснулись и громко застонали. Их одеревенелые мускулы ныли, расставаться со сном было для них мукой.

— Который час? — спросил Стайн.

— Половина девятого.

— Еще темно, — возразил Стайн.

Малыш выдернул несколько шестов, и палатка стала оседать.

— Сейчас не утро! — пояснил он. — Не утро, а вечер. Вставайте! Озеро покрывается льдом. Нужно сегодня же выбраться отсюда.

Стайн со злым лицом уселся на постели.

— Пусть его замерзает! Мы не тронемся сегодня.

— Ну и не трогайтесь, пожалуйста! А мы со Смоком берем лодку и едем.

— Но вы подрядились…

— Доставить вас в Доусон! — перебил Малыш. — Вот мы и тащим вас в Доусон, разве не так?

И он наглядно подтвердил свои слова, обрушив палатку на головы хозяев.

Ломая тонкий лед маленькой бухты, лодка вошла в озеро, где тяжелая, как стекло, вода оседала на веслах льдом. Вскоре озеро превратилось в густую кашу, в которую с трудом погружались весла. Капавшая с весел вода замерзала в воздухе. Поверхность озера затягивалась тонкой корочкой, и лодка двигалась вперед все медленнее и медленнее.

Впоследствии Кит нередко пытался восстановить в памяти события этой ночи, но это ему никогда не удавалось. «А что чувствовали несчастные Спраг и Стайн?» — думал Кит, вспоминая свои тогдашние муки. Пробиваясь сквозь замерзающую воду, он чувствовал себя так, как будто борется с лютым морозом и невыносимой усталостью по крайней мере уже тысячу лет.

Наутро лодка стала — и ни с места. Стайн отморозил себе пальцы, Спраг — нос, а у Кита мучительно ныли и щеки и нос, давая ему знать, что мороз не обошел и его. Когда немного рассве-

ло, они огляделись. Всюду, куда хватал взгляд, расстилалась ледяная равнина. Озеро замерзло. Вдали, в какой-нибудь сотне шагов от них, виднелся северный берег. Малыш уверял, что там — устье реки и что он видит воду. Работать были в состоянии только Кит и Малыш. Разбивая веслами лед, они повели лодку дальше. Когда последние силы уже покидали их, быстрое течение реки вдруг подхватило лодку и понесло. Оглянувшись, они увидели, что целая стая выехавших ночью лодок бесповоротно застыла в могучих тисках льда; а они обогнули отмель и направились вниз по течению со скоростью шести миль в час.

VI

День за днем плыли они вниз по быстрой реке, и с каждым днем береговой лед сковывал все большие и большие пространства воды, подбираясь к середине реки. Перед тем как лечь спать, они вырубали во льду желоб для лодки и переносили на берег все необходимое для привала. Утром они снова вырубали лодку из свежего льда и тащили ее к воде. Малыш установил в лодке железную печку, и Спраг и Стайн проводили у печки длинные, томительные часы. Они поко-

рились судьбе, не отдавали больше приказаний, и единственным их желанием было поскорее добраться до Доусона. Малыш, неутомимый веселый пессимист Малыш, не жалея сил, выкрикивал три строчки первого куплета песни, которую он позабыл:

Как аргонавты в старину,
Родной покинув дом,
Плывем, тум-тум, тум-тум, тум-тум,
За золотым руном.

Чем крепче становился мороз, тем чаще пел эту песню Малыш.

Хуталинква, Большой и Малый Лосось несли в Юкон ледяную кашу. Ледяная каша прилипала к бортам лодки, и на ночь, чтобы лодка не оказалась в ледяном кольце, им приходилось вытаскивать ее из воды и ставить на береговой лед. Утром они снова вырубали лодку из льда и переносили в открытую воду.

Последнюю ночь на берегу они провели между устьями рек Белой и Стюарт. Наутро перед ними открылся Юкон, покрытый снегом во всю свою полумильную ширину, от одного берегового припая до другого. Малыш проклял весь мир

не так беззаботно, как проклинал его обычно, и вопросительно глянул на Кита.

— Последняя лодка, которая достигнет Доусона в этом году, будет наша, — сказал Кит.

— В реке ни капли воды, Смок.

— Так двинемся по льду. Идем!

Спраг и Стайн, несмотря на свои протесты, были посажены в лодку. Не меньше получаса Кит и Малыш прорубали топорами путь через прибрежный лед к быстро несущейся, но уже замерзавшей воде. Когда им удалось пробиться, плавучий лед проволок лодку ярдов сто вдоль берегового припая, ободрав верхний край одного из бортов и чуть не потопив ее. Затем они попали в излучину течения, которое понесло их прочь от берега. Они старались выбраться на середину реки. Ледяная каша вокруг них затвердевала в крупные льдины.

Полыньи, где плавал мелкий лед, смерзались у них на глазах. Упираясь веслами в лед, порою выскакивая на плывущие льдины и руками протаскивая лодку вперед, они через час достигли середины реки. А через пять минут лодка остановилась, скованная ледяным кольцом. Река затвердевала на ходу. Глыба примерзала к глыбе, и лодка оказалась в центре огромной льдины

в семьдесят пять футов диаметром. Они двигались вперед то боком, то кормой, а вокруг вода поминутно разрывала свои оковы, чтобы сразу же попасть в другие, еще более прочные. Часы шли, Малыш топил печурку, стряпал и распевал свою боевую песню.

Наступила ночь, и после долгих бесплодных стараний подвести лодку к берегу они беспомощно понеслись вперед сквозь тьму.

— А что, если мы уже проскочили Доусон? — спросил Малыш.

— Придется возвращаться пешком, — ответил Кит, — если только нас не раздавят льды.

Небо было ясное, и в мерцающем свете холодных звезд они различали на берегу смутные очертания гор. В одиннадцать часов они услышали впереди глухой, раскатистый грохот. Льдины замедлили ход; глыбы наталкивались друг на дружку, трещали и разбивались. Огромная глыба, вздернутая на дыбы, наскочила на льдину, к которой была припаяна лодка, расколола лодку пополам и, скользнув, утащила одну половину с собой. Другая половина не потонула, она удержалась на старой льдине, но на мгновение они увидели рядом черную воду. Река остановилась. Через полчаса она собралась с силами и снова

двинулась. Движение продолжалось не больше часа, потом льды опять сомкнулись. Собравшись с силами, река еще раз сбросила оковы и вновь помчалась вперед. Они увидели огоньки на берегу: река стала окончательно — теперь уже на шесть месяцев.

На берегу в Доусоне собрались любопытные — поглазеть на ледостав, и из темноты к ним долетала боевая песня Малыша:

Как аргонавты в старину,

Родной покинув дом,

Плывем, тум-тум, тум-тум, тум-тум,

За золотым руном.

VII

Три дня работали Кит и Малыш, перетаскивая полторы тонны груза с середины реки в дом на высоком берегу Доусона, купленный Спрагом и Стайном. В сумерки, когда работа была окончена, Спраг пригласил Кита к себе в теплую комнату. Снаружи термометр показывал шестьдесят пять градусов ниже нуля.

— Месяц еще не кончился, Смок, — сказал Спраг. — Но вот вам ваши деньги сполна. Счаст-

ливого пути!

— А уговор? — воскликнул Кит. — Вам известно, что здесь голод. Даже на приисках нельзя найти работу, если нет своего продовольствия. Наш уговор…

— Не помню никакого уговора! — перебил Спраг. — Может быть, вы помните какой-нибудь уговор, Стайн? Мы наняли вас на месяц. Вот вам деньги. Распишитесь в получении.

У Кита потемнело в глазах. Он сжал кулаки. Спраг и Стайн шарахнулись от него. Но Кит ни разу в жизни никого не ударил, к тому же он чувствовал себя настолько сильнее Спрага, что постыдился его ударить.

Малыш заметил его колебания и вмешался.

— Послушай, Смок, — сказал он. — Я тоже ухожу от этих молодцов. Неохота мне оставаться у них. Будем держаться друг друга. Ладно? Бери одеяла и отправляйся в «Олений Рог». Жди меня там. Я соберу свои пожитки, получу с наших хозяев что следует, а потом они с меня получат что следует. Моряк я неважный, но теперь, когда мы на твердой земле, я от тебя не отстану.

Через полчаса Малыш появился в салуне «Олений Рог», где его ждал Кит. Руки его и одна щека были в крови, и Кит понял, что Спраг и Стайн

действительно получили что следует.

— Жаль, что ты не видал нашей схватки! — весело говорил Малыш. — Описать невозможно, что там творилось. Бьюсь об заклад, что ни один из них целую неделю носа на улицу не высунет. А теперь у нас с тобой выбора нет. Жратва стоит полтора доллара фунт. Работы без собственного продовольствия здесь не получить. За фунт лосиного мяса дают по два доллара, да и то не достать. Наших денег хватит на месяц — на харчи и на амуницию, а потом едем на Клондайк, подальше. Если по дороге нам не попадутся лоси, мы пристанем к индейцам. А если через шесть недель мы не набьем пяти тысяч фунтов лосины, я… я готов вернуться к нашим хозяевам и принести им мои извинения. Согласен?

Кит пожал Малышу руку.

— Ну какой я охотник, — сказал он смущенно.

Малыш поднял свой стакан.

— Ты из тех, кто питается мясом, и я научу тебя.

За золотом на ручей индианки

I

Два месяца спустя Смок Беллью и Малыш вернулись с охоты на лосей в Доусон и остановились в «Оленьем Роге». Охота была успешно закончена, мясо перевезено в город и продано по два с половиной доллара за фунт; таким образом, у них оказалось на руках три тысячи долларов золотым песком и хорошая упряжка собак. Им повезло. Несмотря на то что толпы золотоискателей загнали дичь за сто миль от Доусона, в горы, Киту и Малышу, не пройдя и пятидесяти миль, удалось в узком ущелье затравить четырех лосей.

Откуда взялись эти лоси — так и осталось загадкой, так как в тот же день, незадолго до встречи с лосями, четыре изголодавшихся индейских семейства жаловались охотникам, что они не встретили никакой дичи на протяжении трехдневного пути. Часть своей добычи охотники отдали в обмен на упряжку издыхающих с голоду собак; после недельной хорошей кормежки Смок и Малыш запрягли собак и перевезли мясо на изголодавшийся рынок Доусона.

Теперь перед охотниками стояла задача — превратить золотой песок в еду. Мука и бобы стоили полтора доллара фунт, но самое трудное было найти человека, готового продать их. Доусон задыхался в тисках голода. Сотни людей с полными карманами, но пустыми желудками принуждены были покинуть город. Многие уплыли вниз по реке еще до ледостава; другие, захватив последние свои запасы, отправились пешком по льду в Дайю — за шестьсот миль от Доусона.

Смок встретился с Малышом в жарко натопленном салуне. Малыш сиял.

— Жизнь никуда не годится без виски и сахара, — изрек Малыш вместо приветствия, срывая с заиндевелых усов кусочки льда и бросая их на пол. — Я только что раздобыл восемнадцать фунтов сахара. Чудак спросил всего только по три доллара за фунт. Ну а у тебя как дела?

— Я тоже не терял времени даром, — гордо ответил Смок. — Я закупил пятьдесят фунтов муки. И приезжий с Адамова ручья обещал мне доставить еще пятьдесят фунтов завтра.

— Отлично! Мы великолепно проживем до вскрытия реки. Послушай, Смок, какие у нас чудесные собаки! Скупщик предлагал мне по двести за морду, хотел купить пятерых. Но я ответил,

что он напрасно старается. Собачки у нас хоть куда! Мясо пошло им впрок, хотя не очень-то весело скармливать собакам провизию по два с половиной доллара фунт. Давай выпьем! Нужно спрыснуть мою добычу: восемнадцать фунтов сахара!

Через несколько минут, отвешивая золотой песок за выпитое виски, Малыш хлопнул себя по лбу.

— Совсем из головы вон! Ведь я сговорился встретиться в «Тиволи» с одним молодцом. Он продает порченую грудинку по полтора доллара за фунт. Я возьму несколько фунтов для наших собачек, и мы сэкономим на их харчах доллар в день. Прощай!

Только что ушел Малыш, как в двойных дверях появился закутанный в меха человек. Увидев Смока, он радостно заулыбался, и Смок узнал мистера Брэка — того самого, чью лодку он переправил через Ящичное ущелье и пороги Белой Лошади.

— Я узнал, что вы в городе, — торопливо заговорил Брэк, пожимая руку Смока, — и вот уже полчаса разыскиваю вас. Пойдемте отсюда, мне надо поговорить с вами наедине.

Смок бросил печальный взгляд на гудящую,

раскаленную докрасна печку.

— А здесь нельзя?

— Нет, дело важное. Идемте во двор.

Выходя из салуна, Смок снял рукавицу, чиркнул спичкой и осветил термометр, висевший снаружи у двери. Мороз обжег ему руку, и он поспешно натянул рукавицу. В небе дугой раскинулось северное сияние. Над Доусоном стоял заунывный вой многих тысяч псов.

— Сколько? — спросил Брэк.

— Шестьдесят ниже нуля. — Кит плюнул для пробы, и плевок замерз в воздухе, не долетев до земли. — Термометр трудится вовсю. Падает и падает. Час назад было всего пятьдесят два градуса. Я не хотел бы теперь очутиться в дороге!

— А я затем и пришел, чтобы позвать вас в дорогу! — прошептал Брэк, пугливо озираясь вокруг. — Вы знаете ручей Индианки? Он впадает в Юкон на том берегу, в тридцати милях отсюда.

— Там нет ничего! — возразил Смок. — Эту речушку исследовали уже много лет назад.

— Другие богатые реки тоже были исследованы, и однако… Слушайте! Это богатейшее место! И золото лежит неглубоко: от восьми до двадцати футов глубины — рыть недолго! Там не будет ни одного участка, который дал бы меньше по-

лумиллиона. Это величайшая тайна. Я узнал об этом от моих ближайших друзей и тогда же сказал жене, что перед уходом непременно разыщу вас. Прощайте. Инструменты мои зарыты в песке на берегу. Я обещал друзьям не выезжать, пока не уснет весь город. Сами знаете, что все пойдет к чертям, если хоть кто-нибудь выследит, куда мы едем. Берите своего товарища — и айда! Не забудьте: ручей Индианки. Третий после Шведского ручья!

II

Войдя в хижину на окраине Доусона, Смок услышал знакомый храп.

— Спать, спать, ложись спать! — пробурчал Малыш, когда Смок взял его за плечо. — Я не в ночной смене, — забормотал он, когда Смок стал настойчивее. — Расскажи о своих заботах буфетчику.

— Натягивай штаны! — сказал Смок. — Нам нужно сделать две заявки.

Малыш уселся на постели, собираясь разразиться проклятиями, но Смок закрыл ему рот рукой.

— Тсс, тише! — прошептал Смок. — Тут дело не маленькое. Не разбуди соседей. Весь город спит.

— Знаю я твои секреты! — сказал Малыш. — Ни-

кто никому ничего не рассказывает, а потом все встречаются на дороге. Где же твое сокровище?

— Ручей Индианки, — продолжал шептать Смок. — Дело верное. Эти сведения у меня от Брэка. Золото лежит неглубоко, чуть не под самым мхом. Вставай! Мы пойдем налегке.

Малыш закрыл глаза и снова погрузился в сон. Смок сдернул с него одеяла.

— Не хочешь — не надо. Я иду один, — сказал он.

Малыш начал одеваться.

— Собак возьмем с собой? — спросил он.

— Нет. Вряд ли там есть дорога, и мы скорее доберемся без собак.

— Тогда я задам им корму, чтобы они не подохли до нашего возвращения. Не забудь захватить березовой коры и свечу.

Малыш открыл дверь и, обожженный морозом, поспешил опустить наушники и надеть рукавицы.

Через пять минут он вернулся, потирая нос.

— Смок, право же, я против этого похода. Воздух холоднее, чем были крюки в аду за тысячу лет до того, как черти развели огонь. Кроме того, сегодня пятница и тринадцатое. Верно тебе говорю, не будет нам удачи.

Захватив небольшие походные сумки, они закрыли за собой дверь и стали спускаться с холма. Северное сияние погасло, и им пришлось идти в темноте, при неверном свете мигающих звезд. На повороте тропинки Малыш оступился, провалился по колено в сугроб и стал проклинать тот день, месяц и год, когда он родился на свет.

— Неужели ты не можешь помолчать? — сердитым шепотом проговорил Смок. — Оставь календарь в покое! Ты разбудишь весь город.

— Хо! Видишь свет в этом окне? И там, повыше! Слышишь, как хлопнула дверь? Разумеется, Доусон спит! Огни? Это безутешные родственники плачут над своими покойниками. Нет, нет, никто не собирается в поход.

Когда они сошли с горы и были уже почти в самом городе, огни мелькали во всех окнах, всюду хлопали двери и раздавался скрип многих мокасин по утоптанному снегу.

Малыш снова нарушил молчание:

— Черт возьми, сколько тут похорон разом!

На тропинке стоял человек и повторял громким встревоженным голосом:

— Ох, Чарли! Шевелись! Скорее!

— Заметил тюк у него за спиной? Наверное, кладбище не близко, если факельщикам прихо-

дится брать с собой одеяла.

Когда Смок и Малыш вышли на главную улицу города, за ними уже шли вереницей человек сто, и пока они при обманчивом свете звезд с трудом разыскивали узенькую тропинку, ведущую к реке, сзади собиралось все больше и больше народа. Малыш поскользнулся и с высоты тридцати футов скатился в мягкий снег. Смок покатился туда же и упал на Малыша, который барахтался в снегу, пытаясь встать на ноги.

— Я нашел первый! — пробурчал Малыш, снимая рукавицы и вытряхивая из них снег.

Через минуту им пришлось бежать от лавины тел, сыпавшихся на них сверху. Во время ледостава здесь образовался затор, и нагроможденные друг на дружку льдины были теперь коварно прикрыты снегом. Смок, уставший падать и ушибаться, вытащил свечу и зажег ее. Люди, шедшие сзади, приветствовали неожиданный свет шумными возгласами одобрения. В морозном безветренном воздухе свеча горела ярко, и Смок пошел быстрее.

— Все они спешат за золотом, — сказал Малыш. — Или, может, это просто лунатики?

— Во всяком случае, мы во главе процессии! — сказал Смок.

— Неизвестно! Видишь огни? Что же это, по-твоему, светлячки? Погляди. Уверяю тебя, вперед нас целая вереница таких процессий.

Весь путь по торосам до западного берега Юкона был усеян огоньками, а позади, на высоком берегу, с которого они только что спустились, огней было еще больше.

— Нет, Смок, это не поход за золотом, это исход евреев из Египта. Впереди, должно быть, не меньше тысячи человек и сзади не меньше десяти тысяч. Слушайся старших, Смок, я пропишу тебе правильное лекарство. Чует мое сердце — ничего хорошего из этого не выйдет. Идем домой и ляжем!

— Побереги легкие, если не хочешь отстать, — оборвал его Смок.

— Ноги у меня, правда, короткие, но они сгибаются сами собой, и потому мускулы мои не знают усталости. Бьюсь об заклад, что я перегоню любого из здешних скороходов…

Смок знал, что Малыш не хвастает. Он давно убедился в том, что его друг великолепный ходок.

— Я нарочно иду медленно, чтобы ты, бедненький, не отставал от меня, — поддразнивал Смок.

— Вот потому-то я и наступаю тебе на пятки.

Если не можешь идти быстрее — пусти меня вперед.

Смок пошел быстрее и скоро нагнал ближайшую кучку золотоискателей.

— Вперед, вперед, Смок! — торопил Малыш. — Обгони этих непогребенных покойников. Тут тебе не похороны. Живо! Чтобы в ушах свистело!

В этой группе Смок насчитал восьмерых мужчин и женщин. Вскоре здесь же, среди торосов, они обогнали и вторую группу — человек двадцать. В нескольких футах от западного берега тропа сворачивала к югу. Торосы сменились гладким льдом. Но этот лед был покрыт слоем снега в несколько футов толщины. Санная колея не шире двух футов узкой лентой извивалась впереди. Стоило шагнуть в сторону — и провалишься в глубокий снег. Золотоискатели, которых они обгоняли, неохотно пропускали их вперед, и Смоку с Малышом часто приходилось сворачивать в сугроб и вязнуть в глубоком снегу.

Малыш был угрюм и неукротимо зол. Когда люди, которых он толкал, ругали его, он не оставался у них в долгу.

— Куда ты так торопишься? — сердито спросил один.

— А ты куда? — ответил Малыш. — Вчера с Ин-

дейской реки двинулась куча народу. Все они доберутся до места раньше тебя, и тебе ничего не останется.

— Если так, тебе тем более незачем торопиться!

— Кому? Мне? Да ведь я не за золотом! Я чиновник. Иду по служебному делу. Бегу на ручей Индианки, чтобы произвести там перепись.

— Эй ты, малютка! Куда спешишь? — окликнул Малыша другой. — Неужели ты и вправду надеешься сделать заявку?

— Я? — ответил Малыш. — Да я тот самый и есть, который открыл золотую жилу на ручье Индианки. Теперь иду приглядеть, чтобы никто из проклятых чечако не отнял у меня моего участка.

В среднем золотоискатели по ровной дороге проходили три с половиной мили в час. Смок и Малыш — четыре с половиной. Иногда они делали короткие перебежки и тогда двигались еще быстрее.

— Я решил оставить тебя без ног, — сказал Смок.

— Ну, это ты врешь! — отозвался Малыш. — Я и без ног могу так зашагать, что у твоих мокасин через час отлетят подметки. Хотя куда нам торо-

питься, право, не знаю. Я вот иду и прикидываю в уме. Каждая заявка на ручье пятьсот футов. Допустим, что на каждую милю будет по десяти заявок. Впереди шагает не меньше тысячи человек, а весь ручей не длиннее ста миль. Вот и считай, сколько народа останется с носом. В том числе и мы с тобой.

Прежде чем ответить Малышу, Смок неожиданно пошел быстрее и сразу же опередил своего спутника шагов на десять.

— Если бы ты помалкивал да прибавил бы шагу, мы живо обогнали бы кое-кого из этой тысячи идущих впереди, — сказал Смок.

— Кто? Я? Пусти меня вперед, и я тебе покажу, что значит ходить по-настоящему.

Смок рассмеялся и снова перегнал Малыша. Теперь эта погоня за золотом представилась ему в новом свете. Ему припомнились известные слова одного безумного философа о переоценке ценностей. И в самом деле: в эту минуту ему гораздо важнее было перегнать Малыша, чем найти целое состояние. Он пришел к заключению, что в игре самое важное — игра, а не выигрыш. Все силы его души, его ума, его мускулов были направлены только на то, чтобы победить этого человека, который за всю свою жизнь не прочел

ни единой книги и не мог бы отличить визга шарманки от оперной арии.

— Погоди, Малыш, я тебя доконаю. С тех пор как я ступил на берег в Дайе, каждая клеточка моего тела переродилась. Мясо у меня жилистое, как клубок струн, и горькое, как яд гремучей змеи. Несколько месяцев назад я бы многое отдал, чтобы выдумать такую великолепную фразу, но не мог. А теперь она пришла сама собой, потому что я ее выстрадал. И когда я ее выстрадал, мне незачем стало ее писать. Я теперь настоящий мужчина и могу дать хорошую трепку всякому, кто заденет меня. Так и быть, пропускаю тебя вперед на полчаса. Сделай что можешь. А потом вперед пойду я и покажу тебе, как надо ходить.

— Ну, теперь держись, — добродушно посмеивался Малыш. — Прочь с дороги ты, молокосос, и поучись у старших.

Каждые полчаса они сменяли друг друга, устанавливая по очереди рекорд быстроты. Разговаривали они мало. Им было тепло, потому что они шли быстро, но дыхание застывало у них на губах. Они почти беспрерывно терли рукавицами нос и щеки. Достаточно было не растирать лицо одну минуту, как щеки и нос начинали неметь, и требовался новый энергичный массаж, чтобы

ощутить обжигающее покалывание вернувшегося кровообращения.

Часто им казалось, что они уже обогнали всех, но впереди неизменно обнаруживались путники, вышедшие из города раньше. Некоторые пытались не отставать от Смока и Малыша, но это никому не удавалось, и, пройдя милю или две, обескураженные соперники постепенно терялись во тьме позади.

— Мы всю зиму в дороге, — объяснял Малыш, — а они раскисли, сидя возле печки, и туда же — хотят состязаться с нами! Другое дело, если бы они были настоящие старатели. Настоящий старатель умеет ходить.

Смок зажег спичку и посмотрел на часы. Больше он не повторял этого: мороз с такой злостью накинулся на его пальцы, что прошло полчаса, прежде чем они согрелись.

— Четыре часа, — сказал он, надевая рукавицы. — Мы обогнали уже триста человек.

— Триста тридцать восемь, — поправил Малыш. — Я считал. Эй вы там, уступите дорогу! Дайте возможность идти тому, кто умеет ходить.

Это относилось к выбившемуся из сил человеку, который еле плелся впереди, загораживая дорогу. Этот да еще такой же были единствен-

ными неудачниками, которые попались им на пути, потому что Смок и Малыш двигались почти впереди всех. Об ужасах этой ночи они узнали только впоследствии. Обессиленные люди садились в снег, чтобы отдохнуть немного, и больше уже не вставали. Насмерть замерзли только семеро, но сколько ампутаций ног, рук, пальцев было произведено в доусонских больницах на следующий день! Ночь великого похода на ручей Индианки была самая холодная за всю эту зиму. На рассвете спиртовые термометры Доусона показывали семьдесят пять градусов ниже нуля. Участники того похода были большей частью новички и не имели представления о том, что такое мороз.

Через несколько шагов наши путники обогнали еще одного ходока, выбывшего из строя. Северное сияние, яркое, как прожектор, охватило полнеба, от горизонта до зенита. Он сидел у дороги на глыбе льда.

— Вперед, сестрица! — весело крикнул ему Малыш. — Шевелись, а не то замерзнешь.

Человек ничего не ответил. Путники остановились, чтобы выяснить, отчего он молчит.

— Твердый, как кочерга, — объявил Малыш. — Толкни его, и он переломится пополам.

— Дышит ли он? — Смок снял рукавицу и сквозь мех и фуфайку попытался нащупать сердце.

Малыш открыл одно ухо и приложил его к оледенелым губам человека.

— Не дышит, — сказал он.

— Сердце не бьется, — сказал Смок.

Смок натянул рукавицу и долго хлопал рука об руку, прежде чем решился снова снять рукавицу и зажечь спичку. На льдине сидел мертвый старик. При беглом свете спички они разглядели длинную седую бороду, превратившуюся в ледяную сосульку, щеки, побелевшие от холода, закрытые глаза, слипшиеся, опушенные снегом ресницы. Спичка догорела.

— Идем, — сказал Малыш, потирая ухо. — Покойнику ничем не поможешь. А я отморозил ухо. Теперь слезет кожа, и оно будет ныть целую неделю.

Несколько минут спустя, когда пылающая лента на горизонте неожиданно брызнувшим светом озарила все небо, они увидели на льду, далеко впереди, две быстро шагающие фигуры. Кроме них, кругом не было ни одной живой души.

— Те двое — впереди всех, — сказал Малыш, когда снова спустилась тьма. — Идем скорее, перегоним их.

Но прошло полчаса, а Смок и Малыш все еще не нагнали двоих впереди. Малыш уже не шел, а бежал.

— Догнать мы их догоним, но перегнать все равно не удастся! — задыхаясь, проговорил Малыш. — Ну и шагают! Это тебе не чечако! Готов поклясться, это здешние старожилы.

Они нагнали быстроногих ходоков, когда впереди был Смок. И Смок с удовольствием пристроился к ним сзади. У него вдруг явилась уверенность, что та из закутанных фигур, которая ближе к нему, женщина. Откуда взялась эта уверенность, он не знал. Женщина была вся закутана в меха, и все-таки что-то знакомое почудилось Смоку. Когда снова вспыхнуло северное сияние, Смок успел разглядеть маленькие ножки в мокасинах и узнал походку, которую, раз увидав, невозможно забыть.

— Здорово шагает, — хрипло произнес Малыш. — Пари держу, что она индианка.

— Здравствуйте, мисс Гастелл! — сказал Смок.

— Здравствуйте! — ответила она, повернув голову и бросив на него быстрый взгляд. — Темно. Я ничего не вижу. Кто вы?

— Смок.

В морозном воздухе раздался смех, и Смок

почувствовал, что ни разу в жизни не слышал такого очаровательного смеха.

— Ну как? Женились? Воспитываете детей, как тогда обещали? — И, прежде чем он успел ответить, она продолжала: — Много ли чечако плетутся за вами?

— Несколько тысяч. Мы перегнали больше трехсот. И они не теряют времени.

— Старая история! — горько вздохнула девушка. — Пришлые люди занимают самые богатые русла, а старожилы, которые так мужественно, с такими страданиями создали эту страну, остаются ни с чем. Ведь они нашли золото на Индианке и дали знать старожилам Морского Льва. Как об этом пронюхали все, неизвестно. Морской Лев на десять миль дальше Доусона, и когда старожилы придут на ручей Индианки, весь он будет занят доусонскими чечако. Это несправедливо, возмутительно.

— Да, это скверно, — согласился Смок. — Но, право же, с этим ничего не поделаешь. Кто первый пришел, тот и нашел.

— А все-таки я хотела бы что-нибудь предпринять! — с жаром воскликнула она. — Я буду рада, если все они замерзнут в дороге или что-нибудь ужасное случится с ними, только бы старожилы

Морского Льва пришли раньше!

— Однако вы не очень любите нас! — рассмеялся Смок.

— Ах нет, совсем не то! — торопливо сказала она. — Но я знаю всех в Морском Льве, каждого человека, и какие это люди! Сколько голодали они в этом краю и как геройски работали! Вместе с ними мне пришлось пережить тяжелые времена на Коюкуке, когда я была совсем маленькой девочкой. Мы вместе голодали на Березовом ручье и на Сороковой Миле. Это герои, которые заслужили награду. А тысячи желторотых новичков обгоняют их и оставляют ни с чем. Ну, я умолкаю и прошу вас не сердиться на меня. Нужно беречь дыхание, а то вы и ваши обгоните меня и отца.

В течение часа Джой и Смок не сказали друг другу ни слова, но он видел, что девушка изредка перешептывается с отцом.

— Я узнал его, — сказал Малыш Смоку. — Этот Льюис Гастелл из настоящих. А девушка — его дочь. Он пришел сюда в незапамятные времена и привез с собой девочку, грудного ребенка. Это он вместе с Битлсом пустил первый пароход по Коюкуку.

— Нам незачем обгонять их, — сказал Смок. —

Нас только четверо.

Малыш согласился с ним, и они еще час шагали в полном молчании. В семь часов утра, при последней вспышке северного сияния, они увидели широкий проход между гор.

— Ручей Индианки! — воскликнула Джой.

— Чудеса! — воскликнул Малыш. — А по моим расчетам выходило, что мы придем сюда только через полчаса. Ну и быстро же мы бежали.

Здесь дорога, ведущая по Юкону к Дайе, поворачивала в обход торосов к восточному берегу. Им пришлось сойти с хорошо накатанной дороги и шагать между льдин по едва заметной тропинке, бегущей вдоль западного берега.

Льюис Гастелл, шедший впереди, вдруг поскользнулся в темноте на неровном льду и сел, схватившись обеими руками за лодыжку. Он с трудом поднялся на ноги и, прихрамывая, медленно заковылял. Через несколько минут он остановился.

— Не могу идти дальше, — сказал он дочери. — Я растянул себе сухожилие. Иди одна и сделай заявку за нас обоих.

— Не можем ли мы вам помочь? — спросил Смок.

Льюис Гастелл покачал головой.

— Ей нетрудно застолбить два участка. А я поднимусь на берег, разведу костер и перевяжу себе ногу. Обо мне не беспокойтесь. Иди, Джой, застолби участок выше «Находки». Выше почва богаче.

— Возьмите хоть бересты, — сказал Смок, разделив свой запас на две равные части. — Мы позаботимся о вашей дочери.

Льюис Гастелл хрипло рассмеялся.

— Благодарю вас, — сказал он. — Она и сама о себе позаботится. Лучше вы идите за ней. Она вам покажет дорогу.

— Вы позволите мне идти впереди? — спросила она Смока. — Я знаю этот край лучше, чем вы.

— Ведите нас, — галантно ответил Смок. — Я с вами согласен: возмутительно, что мы, чечако, обгоняем жителей Морского Льва. А нет ли здесь какой-нибудь другой дороги, чтобы от них избавиться?

Она покачала головой.

— Если мы пойдем другой дорогой, они все равно, как стадо, побегут за нами.

Пройдя четверть мили, она вдруг круто повернула к западу, и Смок заметил, что они теперь идут по девственному снегу. Однако ни он, ни Малыш не обратили внимания на то, что едва заметная тропинка, по которой они шли, по-

прежнему ведет на юг. Если бы они видели, что сделал Льюис Гастелл, оставшись один, вся история Клондайка приняла бы, пожалуй, другой оборот. Старик, нисколько не хромая, побежал за ними, низко наклонив голову, как собака, бегущая по следу. Он старательно утоптал и расширил поворот в том месте, где они свернули на запад, а сам зашагал вперед по старой дороге, ведущей к югу.

Тропинка вела вверх по ручью, но она была так мало заметна, что несколько раз они сбивались с пути. Через четверть часа Джой почему-то выразила желание идти сзади и пропустила обоих мужчин вперед поочередно прокладывать путь по снегу. Они двигались теперь так медленно, что золотоискатели, шедшие по их следам, стали догонять их: к девяти часам, когда стало светать, за ними тянулся огромный хвост. Темные глаза Джой засверкали.

— Сколько времени мы идем по этому ручью? — спросила она.

— Два часа, — ответил Смок.

— Да два часа на обратную дорогу! Итого четыре, — сказала она и засмеялась. — Старожилы Морского Льва спасены!

Смутное подозрение пронеслось в голове Смо-

ка. Он остановился и посмотрел на девушку.

— Я не понимаю, — сказал он.

— Что ж, я вам объясню. Это Норвежский ручей. Ручей Индианки — следующий к югу.

Смок на мгновение онемел.

— И вы это сделали намеренно? — спросил Малыш.

— Да, намеренно, для того чтобы старожилы выиграли время.

Она засмеялась. Смок взглянул на Малыша, и они оба захохотали.

— Если бы женщины не были такой редкостью в этой стране, — сказал Малыш, — я перекинул бы вас через колено и высек.

— Значит, ваш отец не растянул себе жилу, а просто подождал, пока мы скроемся из виду, и пошел дальше? — спросил Смок.

Она кивнула.

— И вы заманили нас на ложный путь?

Она снова кивнула, и Смок весело захохотал. Это был смех человека, открыто признававшего себя побежденным.

— Почему вы на меня не сердитесь? — обиженно спросила она. — Или… не побьете меня?

— Надо возвращаться, — сказал Малыш. — У меня ноги мерзнут, когда мы стоим.

Смок покачал головой.

— Значит, мы даром потеряли четыре часа. Я предлагаю идти вперед. Мы прошли вверх по этому Норвежскому ручью миль восемь, и когда посмотришь назад, видно, что мы довольно круто повернули к югу. Если мы пойдем прямо и перемахнем через водораздел, мы выйдем на ручей Индианки где-нибудь повыше «Находки». — Он посмотрел на Джой. — Не пойдете ли и вы? Я обещал вашему отцу смотреть за вами.

— Я… — она колебалась, — я пойду с вами, если вы ничего не имеете против. — Она смотрела ему прямо в глаза и больше уже не смеялась. — Право, мистер Смок, вы заставили меня пожалеть о том, что я сделала. Но ведь должен же был кто-нибудь защитить интересы старожилов?

— Я понял, что поход за золотом — это, в сущности, спортивное состязание.

— А я поняла, что вы оба хорошие спортсмены, — сказала она со вздохом и прибавила: — Как жаль, что вы не старожилы!

В продолжение двух часов они шли по замерзшему руслу Норвежского ручья, а потом повернули к югу по узкому извилистому притоку. В полдень они стали взбираться на перевал. Позади тянулась длинная цепь золотоискателей,

шедших по их следам. Кое-где с привалов подымались уже тонкие струйки дыма.

Идти было трудно. Они брели по пояс в снегу и часто останавливались, чтобы перевести дух. Малыш первый взмолился об отдыхе.

— Мы уже целых двенадцать часов в пути, — сказал он. — Я устал. Вы тоже. Я чертовски голоден и готов, как индеец, закусить сырой медвежатиной. А эта бедная девушка свалится с ног, если не поест чего-нибудь. Надо разложить костер. Что скажете?

Они так быстро, ловко и так методически принялись устраивать временную стоянку, что Джой, недоверчиво следившая за ними, должна была признать, что и старожилы не справились бы лучше. Из еловых веток и одеял был сооружен шалаш. Путники не подошли к огню, пока не растерли докрасна своих щек и носов.

Смок плюнул в воздух. Через секунду раздался звон упавшей льдинки.

— Я сдаюсь, — сказал он. — Никогда еще я не видал такого мороза.

— Была одна зима на Коюкуке, когда мороз достиг восьмидесяти шести градусов, — заметила Джой. — Сейчас, должно быть, не меньше семидесяти или семидесяти пяти. Я чувствую, что

отморозила себе щеки. Они горят как в огне.

Здесь, на горном склоне, не было льда. Поэтому они положили в таз твердого, зернистого, как сахар, снегу и сварили кофе. Смок жарил свинину и подогревал сухари, чтобы они оттаяли. Малыш поддерживал огонь. Джой расставила две тарелки, две кружки, жестянку со смесью соли и перца и жестянку с сахаром. Она и Смок ели из одной тарелки и пили из одной кружки.

Было уже около двух часов, когда они стали спускаться и попали на какой-то приток ручья Индианки. Джой, которая теперь хотела, чтобы ее спутники сделали заявки, боялась, что из-за нее они идут медленно, и потребовала пропустить ее вперед. Она шла так быстро и ловко, что Малыш пришел в восторг.

— Посмотрите на нее! — воскликнул он. — Вот это женщина! Смотрите, как мелькают ее мокасины. У нее нет высоких каблуков! Она пользуется ногами, дарованными ей природой. Да, она годится в жены бравому охотнику на медведей.

Джой повернула голову и бросила благодарный взгляд, предназначавшийся отчасти и для Смока. И Смок уловил дружеское чувство в этой улыбке и в то же время отметил про себя, сколько женского заключено в этой дружелюбной улыбке.

Дойдя до ручья Индианки, они оглянулись и увидели длинную цепь золотоискателей, с большим трудом тащившихся вниз с перевала.

Они спустились с откоса в русло промерзшего до самого дна ручья; его берега, аллювиального происхождения, доходили до восьми футов в вышину. Лед был покрыт нетронутым снегом, и наши путники поняли, что они сошли в ручей выше «Находки» и выше последних заявок старожилов Морского Льва.

— Не попадите в родник! — крикнула Джой Смоку. — А то при семидесятиградусном морозе вы останетесь без ног.

Эти родники, обычные для Клондайка, не замерзают даже при самых страшных морозах. Они образуют лужи, замерзающие сверху и прикрытые снегом. Вот почему, ступая по сухому снегу, можно неожиданно провалиться в воду по колено. Если в течение пяти минут не переменить промокшую обувь, ноги придется отнимать.

Уже в три часа дня начались долгие серые северные сумерки. Наши спутники стали искать сухое дерево, которое должно было обозначать центральный столб последней заявки. Джой, увлекающаяся и живая, первая увидела его. Она побежала вперед и закричала:

— Здесь уже кто-то был! Посмотрите на снег! Вот зарубка на этой елке!

И вдруг по пояс провалилась в снег.

— Я попалась! — жалобно закричала она. — Не подходите ко мне. Я сама выберусь.

Шаг за шагом, проламывая тонкую корочку льда, прикрытую сухим снегом, она выбралась на более прочный лед. Смок, не теряя времени, побежал на берег в кусты, куда весенние ручьи нанесли много валежника. Этот валежник, казалось, только ждал спички, чтобы вспыхнуть. Когда Джой подошла к Смоку, костер уже разгорался.

— Сядьте! — скомандовал он.

Она послушно села в снег. Он сбросил мешок со спины и постлал ей под ноги одеяло.

Сверху донеслись голоса золотоискателей, следовавших за ними.

— Пусть Малыш пойдет вперед и поставит столбы, — посоветовала Джой.

— Иди, Малыш, — сказал Смок, снимая с нее заледеневшие мокасины. — Отшагай тысячу футов и поставь два столба. Угловые столбы поставим потом.

Смок перочинным ножом срезал завязки с мокасин Джой. Они так замерзли, что скрипели и

визжали под ножом. Сивашские чулки и тяжелые шерстяные носки обледенели. Казалось, будто вся нога вложена в железный футляр.

— Ну, как нога? — спросил он, продолжая работать.

— Я ее не чувствую. Не могу шевельнуть пальцами. Но все обойдется. Огонь чудесно горит. Сами не отморозьте себе рук. Должно быть, пальцы у вас уже онемели.

Он снял рукавицы и стал голыми руками хлопать себя по бедрам. Когда кровообращение в пальцах восстановилось, он снова принялся разувать девушку. Вот обнажилась белая кожа сначала одной, потом другой ноги, предоставленная укусам семидесятиградусного мороза.

Смок с яростью принялся растирать ее ноги снегом. Наконец Джой откинулась, зашевелила пальцами и радостно пожаловалась на боль.

Она подползла с его помощью к огню. Он усадил ее на одеяло — ногами к живительному пламени.

— Теперь сами займитесь своими ногами, — сказал он.

Она сняла рукавицы и стала растирать себе ноги, как бывалая путешественница, следя за тем, чтобы они согревались постепенно. А в это

время он согревал руки. Снег не таял и даже не становился влажным. Его легкие кристаллы были тверды, как песчинки. Укусы и уколы кровообращения медленно возвращались в замерзшие пальцы Смока. Он поправил костер, открыл котомку Джой и вынул оттуда запасную пару обуви.

Вернулся Малыш и вскарабкался к ним на берег.

— Я отмерил ровно тысячу футов, — заявил он. — Номера двадцать семь и двадцать восемь. Когда я ставил верхний столб на номере двадцать семь, первый из той кучки, что шла за нами следом, остановил меня и сказал, что я не имею права на двадцать восьмой номер. Но я ответил ему…

— Ну, — закричала Джой, — что вы ему ответили?

— Я ответил ему напрямик, что, если он сейчас же не уберется на пятьсот футов дальше, я превращу его обмороженный нос в сливочное мороженое и шоколадный пломбир. Он ушел, и я поставил два центральных столба для двух честнейшим образом отмеренных пятисотфутовых участков. Он поставил свой столб по соседству. Я думаю, сейчас ручей Индианки уже поделен

весь от истока до устья. Впрочем, наше дело в порядке. Сейчас уже темно и ничего не видно, но завтра можно будет поставить угловые столбы.

III

Наутро погода изменилась. Стало так тепло, что Смок и Малыш, не вылезая из-под одеял, определили температуру в двадцать градусов ниже нуля. Стужа кончилась. Одеяла были покрыты шестидюймовым слоем инея.

— Доброе утро! Как ваши ноги? — через потухший костер обратился Смок к Джой Гастелл, которая сидела в своем спальном мешке и стряхивала с себя снег.

Пока Смок готовил завтрак, Малыш развел костер и принес льду из речки. К концу завтрака совсем рассвело.

— Пойди и поставь угловые столбы, Смок, — сказал Малыш. — Там, где я рубил лед для кофе, я видел песок. Сейчас натоплю воды и промою лоток этого песку — на счастье.

Смок, взяв топор, пошел ставить столбы. Отойдя от нижнего центрального столба номер двадцать семь, он направился под прямым углом по узкой долинке до ее края. Он шагал машинально, так как ум его был занят воспоминаниями о том, что

случилось вчера. Ему казалось, что он каким-то образом приобрел власть не только над нежными очертаниями и крепкими мускулами тех ног, которые он так старательно растирал снегом, но и над всеми женщинами мира. Неясное, но сладостное чувство обладания наполняло его всего. Ему казалось, что он должен сейчас же подойти к Джой Гастелл, взять ее за руку и сказать: «Идем».

И вдруг он сделал открытие, которое заставило его позабыть о власти над белыми женскими ножками. Ему не пришлось поставить углового столба у края долины, ибо он вышел не на край долины, а на другой какой-то ручей. Он приметил высохшую иву и большую одинокую ель и затем вернулся к ручью, где стояли центральные заявочные столбы. Пройдя по руслу, имевшему форму подковы, он убедился, что оба ручья на самом деле один и тот же ручей. Потом он дважды прошел долину поперек — от нижнего столба номер двадцать семь к верхнему столбу номер двадцать восемь и обратно — и убедился, что *верхний столб последнего находится ниже нижнего столба первого.* Вчера в серых сумерках Малыш сделал две заявки на излучине, имевшей форму подковы!

Смок вернулся назад в лагерь. Малыш только что окончил промывать песок.

— Нам повезло! — закричал он, протягивая таз Смоку. — Смотри! Здесь уйма золота! Не меньше чем на двести долларов. Я еще не видал такого жирного улова.

Смок равнодушно посмотрел на золото, налил себе кружку кофе и сел. Джой почувствовала что-то недоброе и с беспокойством посмотрела на Смока. Малыш был обижен невниманием товарища.

— Почему ты не радуешься? — спросил он. — Ведь тут целое богатство, а ты и посмотреть на него не желаешь.

Прежде чем ответить, Смок отхлебнул глоток кофе.

— Малыш, знаешь ли ты, что наши заявки напоминают Панамский канал?

— Не понимаю.

— Восточный вход в Панамский канал находится западнее его западного входа.

— Не понимаю этой шутки. Продолжай.

— Короче говоря, Малыш, ты сделал обе наши заявки на большой подкове.

Малыш выронил из рук таз с золотом.

— Ну! — крикнул он.

— Верхний столб двадцать восьмого номера находится на десять футов ниже нижнего столба номер двадцать семь.

— Ты хочешь сказать, что мы ничего не получим?

— Даже на десять футов меньше, чем ничего.

Малыш спустился к реке. Через пять минут он вернулся. В ответ на вопросительный взгляд Джой он кивнул головой. Затем безмолвно подошел к поваленному дереву, сел на него и стал разглядывать снег перед своими мокасинами.

— Мы можем теперь вернуться в Доусон, — сказал Смок и принялся складывать одеяла.

— Как мне жаль, Смок, — сказала Джой. — Это я во всем виновата.

— Не беда! — ответил он.

— Я во всем виновата, — настаивала она. — Но папа сделал заявку для меня ниже «Находки». Я отдаю ее вам.

Он покачал головой.

— Малыш! — взмолилась она.

Малыш тоже покачал головой и вдруг захохотал. Он хохотал как сумасшедший.

— Это не истерика, — объяснил он. — Мне иногда бывает страшно весело.

Его взгляд случайно упал на таз с золотом. Он

ударил его ногой и рассыпал золото по снегу.

— Это не наше золото, — сказал он. — Оно принадлежит тому лоботрясу, которого я вчера прогнал. И, как оказывается, для его же пользы. Идем, Смок, вернемся в Доусон. Впрочем, если ты хочешь убить меня, я и пальцем не двину, чтобы помешать тебе.

Малыш видит сны

I

— Почему ты никогда не играешь? — спросил Малыш у Смока, когда они как-то раз сидели в «Оленьем Роге». — Неужели тебя не тянет к игорному столу?

— Тянет, — ответил Смок. — Но я знаю статистику проигрышей, а мне нужна верная прибыль.

Вокруг них в большом зале бара раздавалось жужжание дюжины игорных столов, за которыми люди в мехах и мокасинах испытывали свое счастье.

— Посмотри на них, — сказал Смок, охватив широким жестом весь зал. — Ведь самый простой математический расчет говорит, что все они, в общем, сегодня проиграют больше, чем выиграют. Многие из них уже сейчас проигрались.

— Ты хорошо знаешь арифметику, — почтительно пробормотал Малыш. — И в основном ты прав. Но с другой стороны, нельзя не считаться с фактами. Людям иногда везет. А бывает и так, что все игроки выигрывают. Я говорю это, потому что сам играл и видел, как срывают банк. Нужно

только выждать счастье, а там уж играть вовсю.

— Судя по твоим словам, это так просто, — сказал Смок, — что я не понимаю, почему люди проигрывают.

— К сожалению, — возразил Малыш, — большинство игроков не чувствует, когда им действительно везет. И со мной не раз так бывало. Каждый раз это надо проверить на опыте.

Смок покачал головой.

— Тут тоже статистика, Малыш. Большинство игроков ошибается в своих предположениях.

— Но неужели ты никогда не чувствовал, что стоит тебе поставить, и ты непременно выиграешь?

Смок рассмеялся.

— Слишком много шансов против меня. Но вот что, Малыш. Я сейчас поставлю на карту доллар. И посмотрим, принесет ли она нам что-нибудь на выпивку.

Смок направился к карточному столу, но Малыш схватил его за руку.

— Чует мое сердце, что мне сегодня повезет. Поставь лучше этот доллар на рулетку.

Они подошли к стоявшему возле буфета столу с рулеткой.

— Подожди, пока я не скажу, — посоветовал

Малыш.

— На какой номер? — спросил Смок.

— На какой хочешь. Но не ставь, пока я не скажу.

— Надеюсь, ты не станешь меня убеждать, что за этим столом у нас больше шансов, — сказал Смок.

— У нас столько же шансов, сколько у нашего соседа.

— Но меньше, чем у крупье.

— Подожди, — сказал Малыш. — Ну, ставь!

Крупье пустил шарик из слоновой кости по гладкому краю колеса над вращающимся диском с цифрами. Смок, сидевший много ниже, протянул руку над головой какого-то игрока и наугад бросил свой доллар. Монета скользнула по гладкому зеленому сукну и остановилась как раз против номера 34.

Шарик тоже остановился, и крупье закричал:

— Выиграл тридцать четвертый.

Он смел деньги со стола, и Смок забрал тридцать пять долларов. Малыш хлопнул его по плечу.

— Теперь ты видишь, что такое счастье, Смок. Чуяло мое сердце. Этого не расскажешь, но я знал, что ты выиграешь. Если бы твой доллар

упал на какой-нибудь другой номер, ты все равно выиграл бы. Главное, чтобы предчувствие было верное, а тогда уж нельзя не выиграть.

— А если бы вышел двойной ноль? — спросил Смок, направляясь с Малышом к буфету.

— Тогда бы и твой доллар упал на двойной ноль, — ответил Малыш. — Счастье есть счастье. А потому идем назад к игорному столу. Я сегодня в удаче: я дал выиграть тебе, а теперь сам хочу выиграть.

— У тебя есть какая-нибудь система? — спросил Смок минут через десять, когда его товарищ спустил сто долларов.

Малыш с негодованием помотал головой и поставил фишки на 3, 11 и 17. Кроме того, он бросил мелочь на «зеленое».

— К черту дураков, играющих по какой-то системе! — закричал он, в то время как крупье собрал со стола все его ставки.

Смок, сначала равнодушный к игре, вдруг заинтересовался ею и, сам не принимая в ней участия, стал внимательно следить за вращающимся колесом, за ставками и выигрышами. Он так погрузился в это занятие, что Малыш, который решил, что с него довольно, с трудом оттащил его от стола.

Крупье вернул Малышу мешок с золотым песком, данный в залог, и приложил к нему бумажку, на которой было написано: «Отсыпать 350 долларов».

Малыш отнес свой мешок и бумажку весовщику, сидевшему в противоположном углу зала, за большими весами. Тот отвесил триста пятьдесят долларов и всыпал их в хозяйский сундук.

— На этот раз твое счастье подтвердило правильность статистики, — сказал Смок.

— Согласись, что я не мог этого знать, не проверив на опыте, — возразил Малыш. — Я увлекся малость, потому что хотел показать тебе, что все-таки бывают минуты, когда начинает везти.

— Не горюй, Малыш, — рассмеялся Смок. — А вот я действительно набрел на счастье.

Глаза Малыша засверкали.

— Чего же ты медлишь! Ставь!

— У меня счастье особого рода. Скоро я выработаю систему, которая перевернет всю эту лавочку.

— Система! — буркнул Малыш, с искренней жалостью смотря на своего приятеля. — Смок, послушай друга и пошли все системы к черту. Кто играет по системе, тот всегда проигрывает. При системе счастья не бывает.

— Вот этим она мне и нравится, — заявил Смок. — Система — это статистика. Если система правильная, ни за что не проиграешь. А счастье всегда может обмануть.

— Я видел много неудачных систем, но не видал ни одной верной. — Малыш помолчал и вздохнул. — Послушай, Смок, если ты помешался на системе, лучше тебе сюда больше не показываться. Да и вообще, не пора ли нам в путь-дорогу?

II

Несколько недель оба друга спорили. Смок проводил время в наблюдениях за рулеткой в «Оленьем Роге», Малыш настаивал, что необходимо как можно скорее двинуться в путь. А когда стали говорить о походе за двести миль вниз по Юкону, Смок отказался наотрез.

— Послушай, Малыш, — сказал он. — Я не пойду. Такая прогулка отнимет целых десять дней, а за это время я надеюсь окончательно разработать мою систему. Она уже сейчас может дать мне верный выигрыш. Ну чего ради я потащусь в такую даль?

— Смок, я о тебе забочусь, — ответил Малыш. — Как бы ты не рехнулся. Я готов тащить тебя хоть на Северный полюс, хоть к черту на рога, только

бы оторвать от игорного стола.

— Не беспокойся, Малыш. Ты забываешь, что я совершеннолетний. Тебе еще придется тащить домой тот золотой песок, который я выиграю с помощью моей системы. И тогда ты не обойдешься без хорошей собачьей упряжки.

— Сам ты не пробуй играть, — продолжал Смок. — Все, что я выиграю, мы разделим пополам, но для начала мне необходимы все наши наличные деньги. Моя система еще не испытана, а потому возможно, что на первых порах я не раз промахнусь.

III

Наконец после многих часов и дней, проведенных в наблюдении за игорным столом, пришел вечер, когда Смок заявил, что он начинает сражение. Малыш, грустный и насупленный, словно плакальщик на похоронах, сопровождал друга в «Олений Рог». Смок накупил фишек и сел рядом с крупье. Много раз шарик обежал круг, прежде чем Смок решился поставить свою фишку. Малыш сгорал от нетерпения.

— Ставь же, ставь, — говорил он. — Кончай эти похороны. Чего ты ждешь? Испугался, что ли?

Смок качал головой и ждал. Было сыграно уже

десять партий, когда он наконец поставил десять однодолларовых фишек на номер 26. Номер выиграл, и Смоку было уплачено триста пятьдесят долларов.

Потом, пропустив еще десять, двадцать, тридцать игр, Смок снова поставил десять долларов на номер 32. Он снова выиграл триста пятьдесят долларов.

— Тебе везет! — свирепо прошептал Малыш Смоку. — Жарь дальше, не останавливайся!

Прошло полчаса, в течение которых Смок не принимал участия в игре, затем он поставил десять долларов на номер 34 и выиграл.

— Везет! — прошептал Малыш.

— Нисколько! — ответил Смок. — Это работает моя система. А ведь недурная система, не правда ли?

— Рассказывай! — не соглашался Малыш. — Счастье приходит самыми разными путями. Никакой системы тут нет. Тебе просто везет сегодня.

Теперь Смок стал играть иначе. Он ставил чаще, но по мелкой, разбрасывая фишки по разным номерам, и больше проигрывал, чем выигрывал.

— Брось игру, — советовал Малыш. — Забирай деньги и уходи. Ты выиграл около тысячи долла-

ров. Не искушай судьбу.

В эту минуту шарик снова забегал по кругу, и Смок поставил десять фишек на номер 26. Шарик остановился на 26, и крупье снова выплатил Смоку триста пятьдесят долларов.

— Если уж тебе так везет, — советовал Малыш, — так лови счастье за хвост и ставь сразу двадцать пять долларов.

Прошло около четверти часа, во время которых Смок выигрывал и проигрывал небольшие суммы. А затем он вдруг поставил двадцать пять долларов на ноль — и тотчас же крупье выплатил ему восемьсот семьдесят пять долларов.

— Разбуди меня, Смок, это сон, — взмолился Малыш.

Смок улыбнулся, достал записную книжку и занялся вычислениями. Эту книжку он неоднократно вынимал из кармана и надолго погружался в какие-то расчеты.

Вокруг стола собралась толпа. Многие игроки стали ставить на те же номера, что и Смок. Тут он снова изменил свой маневр. Десять раз подряд он ставил на 18 и проигрывал. Тут даже самые упрямые последователи покинули его. Тогда он поставил на другой номер и выиграл триста пятьдесят долларов. Игроки снова ринулись за

ним и снова покинули его после целого ряда проигрышей.

— Да брось же, Смок! — настаивал Малыш. — Всякому везению есть предел, и твое явно кончилось: таких кушей, как раньше, тебе уже не забрать.

— Еще один раз — и баста! — ответил Смок.

В продолжение нескольких минут он ставил с переменным счастьем мелкие фишки на разные номера, а затем бросил сразу двадцать пять долларов на двойной ноль.

— Давайте подсчитаем, — сказал он крупье, выиграв на этот раз.

— Можешь не показывать мне счет, — сказал Малыш Смоку, когда они направились к весам. — Ты выиграл около трех тысяч шестисот долларов. Верно?

— Ровно три тысячи шестьсот, — ответил Смок. — А теперь отвези песок домой. Ведь мы так условились.

IV

— Не шути со своим счастьем! — говорил на следующее утро Малыш, видя, что Смок снова собирается в «Олений Рог». — Тебе повезло, но уже больше везти не будет. Счастье изменит тебе.

— Не смей говорить о счастье! Тут не счастье, а статистика, система, научная формула. Проиграться я никак не могу.

— К черту систему! Никаких систем не существует. Я как-то выиграл семнадцать раз подряд, но тут система была ни при чем. Просто дурацкое счастье! Я испугался и прекратил игру. Если бы я играл дальше, я выиграл бы тридцать тысяч на свои два доллара.

— А я выигрываю, потому что у меня есть система.

— Ну как ты это докажешь?

— Я уже доказал тебе. Идем, докажу еще раз.

В «Оленьем Роге» все уставились на Смока. Игроки у стола очистили ему место, и он снова сел рядом с крупье. На этот раз он вел игру совсем иначе. За полтора часа он поставил только четыре раза. Но каждая ставка была по двадцать пять долларов, и всякий раз он выигрывал. Он получил три тысячи пятьсот долларов, и Малыш снова отнес домой золотой песок.

— А теперь пора кончать, — сказал Малыш, присев на край койки и снимая мокасины. — Ты выиграл семь тысяч. Только сумасшедший стал бы дразнить свое счастье.

— А по-моему, только сумасшедший мог бы бро-

сить игру, когда у него есть такая замечательная система, как у меня.

— Ты умный человек, Смок. Ты учился в колледже. Мне ввек того не узнать, что ты сообразишь в одну минуту. Но ты ошибаешься, считая свое случайное везение за систему. Я много на своем веку слышал о разных системах, но скажу тебе по совести, как другу, — все они ни черта не стоят. Нет такой системы, чтобы выигрывать в рулетку наверняка.

— Но ведь я тебе доказал! И не раз еще докажу, если хочешь.

— Нет, Смок. Все это просто сон. Вот сейчас я проснусь, разведу огонь и приготовлю завтрак.

— Так вот же, мой недоверчивый друг, золотой песок, который я выиграл! Попробуй подыми его.

Смок бросил на колени товарищу мешок с золотым песком. В мешке было тридцать пять фунтов весу, и Малыш почувствовал его тяжесть.

— Это явь, а не сон, — продолжал настаивать Смок.

— Уф! Много видел я разных снов на своем веку. Во сне, конечно, все возможно. Но наяву системы не помогают. Правда, я не учился в колледже, однако это не мешает мне с полным основанием

утверждать, что твое невероятное везение — только сон.

— Это «закон бережливости Гамильтона», — со смехом сказал Смок.

— Я никогда не слышал ни о каком Гамильтоне, но, по-видимому, он прав. Я сплю, Смок, а ты лезешь ко мне со своей системой. Если ты любишь меня, крикни: «Малыш! Проснись!» — и я проснусь и приготовлю завтрак.

V

На третий вечер крупье вернул Смоку его первую ставку — пятнадцать долларов.

— Больше десяти ставить нельзя, — сказал он. — Высшая ставка уменьшена.

— Испугался, — фыркнул Малыш.

— Кому не нравится, может не играть, — ответил крупье. — И, сказать откровенно, я предпочел бы, чтобы ваш товарищ не играл за моим столом.

— Не нравится его система, а? — издевался Малыш, в то время как Смок получал триста пятьдесят долларов.

— В систему я не верю. В рулетке никаких систем нет и быть не может. Но бывает так, что человеку начинает везти. Я должен принять все

меры, чтобы предохранить банк от краха.

— Струхнули!

— Да, рулетка — такое же деловое предприятие, как и всякое другое. Мы не филантропы.

Проходил вечер за вечером, а Смок продолжал выигрывать, все время меняя способы игры. Эксперты, столпившись вокруг стола, записывали его номера и ставки, тщетно стараясь разгадать его систему. Но ключа к ней они не могли найти. Все уверяли, что ему просто везет. Правда, так везет, как еще не везло никому на свете.

Всех смущало то, что Смок всякий раз играл по-иному. Порой он целый час не принимал участия в игре и сидел, уткнувшись в свою записную книжку, и что-то высчитывал. Но случалось и так, что он в продолжение пяти-десяти минут ставил три раза подряд высшую ставку и забирал больше тысячи долларов. Порой его тактика заключалась в том, что он с поразительной щедростью разбрасывал фишки, ставя на разные номера.

Так продолжалось от десяти до тридцати минут, и вдруг, когда шарик обегал уже последние круги, Смок ставил высшую ставку разом на ряд, на цвет, на номер и выигрывал по всем трем.

Однажды он, для того чтобы сбить с толку тех, кто хотел проникнуть в тайну его игры, проиграл

сорок десятидолларовых ставок. Но неизменно, из вечера в вечер, Малышу приходилось тащить домой золотого песку на три с половиной тысячи долларов.

— И все же никаких систем не бывает, — утверждал Малыш, ложась спать. — Я все время слежу за твоей игрой и не вижу в ней никакого порядка. Ты, когда пожелаешь, ставишь на выигрывающий номер, а когда пожелаешь — на проигрывающий.

— Ты, Малыш, и представить себе не можешь, как ты близок к истине. Я иногда сознательно ставлю на проигрыш. Но и это входит в мою систему.

— К черту систему! Я говорил со всеми игроками города, и все они утверждают, что не может быть никакой системы.

— Но ведь я каждый вечер доказываю им, что система есть.

— Послушай, Смок, — сказал Малыш, подходя к свече и собираясь задуть ее. — Я, видно, и впрямь не в себе. Ты, вероятно, думаешь, что это свечка. Это не свечка. И я — не я. Я сейчас где-нибудь в дороге, лежу в своем спальном мешке, на спине, открыв рот, и все это вижу во сне. И ты — не ты, и свечка — не свечка.

— Странно, Малыш, что мы с тобой видим одинаковые сны, — сказал Смок.

— Совсем нет. Я и тебя вижу во сне. Тебя нет, мне только снится, что ты со мной разговариваешь. Мне снится, что со мной многие разговаривают. Я, кажется, схожу с ума. А если этот сон продлится еще немного, я взбешусь, стану кусаться и выть.

VI

На шестую ночь игры предельная ставка в «Оленьем Роге» была понижена до пяти долларов.

— Не беда, — сказал Смок, обращаясь к крупье. — Я уйду отсюда не раньше, чем выиграю три тысячи пятьсот долларов. Вы только заставите меня играть дольше, чем вчера.

— Почему вы не играете за каким-нибудь другим столом? — злобно спросил крупье.

— Потому что мне нравится ваш стол! — И Смок посмотрел на гудевшую в нескольких шагах от него печку. — Здесь не дует, тепло и уютно.

Малыш чуть не помешался, неся домой девятый мешок с золотым песком, — добычу девятого вечера.

— Я совсем сбит с толку, Смок, — говорил он. — С меня хватит. Я вижу, что и вправду не сплю. Вообще систем не бывает, но у тебя есть система.

Нет никакого тройного правила. Календарь отменен. Мир перевернулся. Не осталось никаких законов природы. Таблица умножения пошла ко всем чертям. Два равно восьми. Девять — одиннадцати. А дважды два равно восьмистам сорока шести с… с… половиной. Дважды все — равно кольдкрему, сбитым сливкам и коленкоровым лошадям. Ты изобрел систему, и теперь существует то, чего никогда не было. Солнце встает на западе, луна превратилась в монету, звезды — это мясные консервы, цинга — благословение Божие, мертвые воскресают, скалы летают, вода — газ, я — не я, ты — не ты, а кто-то другой, и возможно, что мы с тобой — близнецы, если только мы — не поджаренная на медном купоросе картошка. Разбуди меня! О, кто бы ты ни был, разбуди меня!

VII

На следующее утро к ним пришел гость. Смок знал его. Это был Гарвей Моран, владелец всех игорных столов в «Тиволи». Он заговорил умоляюще и робко.

— Вы нас всех озадачили, Смок, — начал он. — Я пришел к вам по поручению девяти других владельцев игорных столов в трактирах города. Мы ничего не понимаем. Нам известно, что

в рулетке не может быть никаких систем. Это говорят все ученые-математики. Рулетка сама по себе система, и все другие системы против нее бессильны, в противном случае арифметика — чушь.

Малыш яростно закивал головой.

— Если система может победить систему, значит, никакой системы не существует, — продолжал владелец рулетки. — А тогда нам пришлось бы признать, что одна и та же вещь может находиться одновременно в двух разных местах или что две разные вещи могут одновременно находиться в одном месте, способном вместить только одну из них.

— Ведь вы следили за моей игрой? — спросил Смок. — Если системы нет, а мне просто везет, то вам нечего волноваться.

— В этом вся загвоздка. Мы не можем не волноваться. Вы, несомненно, играете по какой-то системе, а между тем никакой системы не может быть. Я слежу за вами пять вечеров подряд и мог заметить только, что у вас есть кое-какие излюбленные номера. Так вот, мы, владельцы девяти игорных столов, собрались и решили обратиться к вам с дружеским предложением. Мы поставим рулетку в задней комнате «Оленьего Рога», и там

обыгрывайте нас сколько угодно. Совершенно частным образом. Только вы, да Малыш, да мы. Что вы на это скажете?

— Мы это сделаем немного иначе, — ответил Смок. — Вы просто хотите следить за моей игрой. Сегодня вечером я буду играть в баре «Оленьего Рога». Там следите за моей системой, сколько вам будет угодно.

VIII

В этот вечер, когда Смок сел за игорный стол, крупье закрыл игру.

— Игра кончена, — сказал он. — Так велел хозяин.

Но собравшиеся владельцы игорных столов не хотели с этим примириться.

В несколько минут они собрали по тысяче долларов с человека и снова открыли игру.

— Обыграйте нас, — сказал Гарвей Моран Смоку, когда крупье первый раз пустил шарик по кругу.

— Согласны на то, чтобы предельная ставка была двадцать пять долларов?

— Согласны.

Смок сразу поставил двадцать пять фишек на ноль и выиграл. Моран вытер пот со лба.

— Продолжайте, — сказал он. — У нас в банке десять тысяч.

Через полтора часа все десять тысяч перешли к Смоку.

— Банк сорван, — сказал крупье.

— Ну что, хватит? — спросил Смок.

Владельцы игорных столов переглянулись. Эти разъевшиеся продавцы счастья, вершители его законов, были побиты. Перед ними стоял человек, который либо был ближе знаком с этими законами, либо создал иные законы, высшие.

— Больше мы не играем, — сказал Моран. — Ведь так, Бэрк!

Большой Бэрк, владелец игорных столов в двух трактирах, кивнул головой.

— Случилось невозможное, — сказал он. — У этого Смока есть система. Он разорит нас. Если мы хотим, чтобы наши столы работали по-прежнему, нам остается только сократить предельную ставку до доллара, до десяти центов, даже до цента. С такими ставками ему много не выиграть.

Все взглянули на Смока. Он пожал плечами.

— Тогда, джентльмены, я найду людей, которые по моим указаниям будут играть за всеми вашими столами. Я буду платить им по десяти долларов за четырехчасовую смену.

— Видно, нам придется закрыть лавочку, — ответил Большой Бэрк. — Если только, — он переглянулся с товарищами, — если только вы не пожелаете с нами серьезно поговорить. Сколько вы хотите за вашу систему?

— Тридцать тысяч долларов! — сказал Смок. — По три тысячи с каждого стола.

Они пошептались и согласились.

— И вы объясните нам вашу систему?

— Конечно.

— И обещаете никогда больше в Доусоне не играть в рулетку?

— Нет, сэр, — твердо сказал Смок, — я обещаю только никогда больше не пользоваться этой системой.

— Черт возьми! — воскликнул Моран. — Нет ли у вас еще и других систем?

— Подождите! — вмешался Малыш. — Мне надо поговорить с моим компаньоном. Иди сюда, Смок.

Смок пошел за Малышом в угол комнаты. Сотни любопытных глаз следили за ними.

— Послушай, Смок, — хрипло зашептал Малыш. — Может, это и не сон. А в таком случае ты продаешь свою систему страшно дешево. Ведь с ее помощью ты можешь весь мир ухватить

за штаны. Речь идет о миллионах! Сдери с них! Сдери с них как следует!

— А если это сон? — ласково спросил Смок.

— Тогда, во имя сна и всего святого, сдери с них как можно больше. Какой толк видеть сны, если мы даже во сне не можем сделать выгодного дельца?

— К счастью, это не сон, Малыш.

— В таком случае я никогда тебе не прощу, если ты продашь систему за тридцать тысяч.

— Ты бросишься мне на шею, когда я продам ее за тридцать тысяч. Это не сон, Малыш. Ровно через две минуты ты убедишься, что это был не сон. Я решил продать систему, потому что мне ничего другого не остается.

Смок заявил владельцам столов, что он не меняет своего решения. Те передали ему расписки, на три тысячи каждая.

— Потребуй, чтобы тебе заплатили наличными, — сказал Малыш.

— Да, я хочу получить золотым песком, — сказал Смок.

Владелец «Оленьего Рога» взял расписки, и Малыш получил золотой песок.

— Теперь у меня нет ни малейшего желания проснуться, — сказал он, поднимая тяжелые

мешки. — Этот сон стоит семьдесят тысяч. Нет, я не такой расточитель, чтобы раскрыть сейчас глаза, вылезти из-под одеяла и готовить завтрак.

— Ну, рассказывайте вашу систему, — сказал Бэрк. — Мы вам заплатили и ждем ваших объяснений.

Смок подошел к столу.

— Прошу внимания, джентльмены! У меня не совсем обыкновенная система. Вряд ли это даже можно назвать системой. Но у нее то преимущество, что она дает практические результаты. У меня, собственно, есть свои догадки, однако я не стану о них сейчас распространяться. Следите за мной. Крупье, приготовьте шарик. Я хочу выиграть на номер двадцать шесть. Допустим, что я ставлю на него. Пускайте шарик, крупье!

Шарик забегал по кругу.

— Заметьте, — сказал Смок, — что номер девять был как раз напротив!

Шарик остановился против двадцати шести. Большой Бэрк выругался. Все ждали.

— Для того чтобы выиграть на ноль, нужно, чтобы напротив стояло одиннадцать. Попробуйте сами, если не верите.

— Но где же система? — нетерпеливо спросил Моран. — Мы знаем, что вы умеете выбирать

выигрышные номера. Но как вы их узнали?

— Я внимательно следил за выигрышами. Случайно я дважды отметил, где остановился шарик, когда вначале против него был номер девять. Оба раза выиграл двадцать шестой. Тогда я стал изучать и другие случаи. Если напротив находится двойной ноль — выигрывает тридцать второй. А для того чтобы выиграть на двойной ноль, необходимо, чтобы напротив было одиннадцать. Это случается не всегда, но обычно. Как я уже сказал, у меня есть свои догадки, о которых я предпочитаю не распространяться.

Большой Бэрк, пораженный какой-то мыслью, внезапно вскочил, остановил рулетку и стал внимательно осматривать колесо. Все девять остальных владельцев рулеток тоже склонили головы над колесом. Затем Большой Бэрк выпрямился и посмотрел на печку.

— Черт возьми! — сказал он. — Никакой системы не было. Стол стоит слишком близко к огню, и проклятое колесо рассохлось, покоробилось. Мы остались в дураках. Неудивительно, что он играл только за этим столом. За другим столом он не выиграл бы и кислого яблока.

Гарвей Моран облегченно вздохнул.

— Не беда! — произнес он. — Мы не так уж

много заплатили, зато мы знаем наверняка, что никакой системы не существует.

Он захохотал и хлопнул Смока по плечу.

— Да, Смок, вы нас помучили изрядно. А мы еще радовались, что вы оставляете наши столы в покое. У меня в «Тиволи» есть славное вино. Идем со мной, и я его открою.

Вернувшись домой, Малыш стал молча перебирать мешки с золотым песком. Наконец он разложил их на столе, сел на край скамьи и стал снимать мокасины.

— Семьдесят тысяч! — говорил он. — Это весит триста пятьдесят фунтов. И все благодаря покривившемуся колесику и зоркому глазу. Смок, ты съел их сырыми, ты съел их живьем. И все же я знаю, что это сон! Только во сне случаются такие замечательные вещи. Но у меня нет ни малейшего желания проснуться. Я надеюсь, что никогда не проснусь.

— Успокойся! — отозвался Смок. — Тебе незачем просыпаться. Есть философы, которые утверждают, что все люди живут во сне. Ты попал в хорошую компанию.

Малыш встал, подошел к столу, взял самый большой мешок и стал укачивать его, как ребенка.

— Может быть, это и сон, — сказал он. — Но зато, как ты справедливо заметил, я попал в хорошую компанию.

Человек на другом берегу

I

Еще до того, как Смок Беллью в шутку основал поселок Тру-ля-ля, совершил вошедшую в историю спекуляцию с яйцами, которая чуть было не привела к банкротству Билла Свифтуотера, и взял приз в миллион долларов на состязании собачьих упряжек в беге по Юкону, ему пришлось разлучиться с Малышом в верховьях Клондайка. Малыш должен был спуститься вниз по Клондайку в Доусон, чтобы зарегистрировать несколько заявок.

Смок же повернул со своими собаками на юг. Он хотел добраться до Нежданного озера и до мифических Двух Срубов. Для этого он должен был пересечь верховья Индейской реки и неисследованные области, лежащие за горами, и спуститься к реке Стюарт. По слухам, именно где-то в этих краях лежало Нежданное озеро, окруженное зубчатыми горами и ледниками, а дно этого озера было усеяно золотыми самородками. Рассказывали, что когда-то старожилы, чьи имена теперь забылись, ныряли в ледяную воду озера и

выплывали на поверхность, держа по золотому самородку в каждой руке. Но вода была до того холодная, что одни из этих смельчаков умирали тут же от разрыва сердца, другие становились жертвой скоротечной чахотки, и никто из тех, кто отправлялся на это озеро, еще не вернулся. Всякий раз случалось какое-нибудь несчастье. Один провалился в полынью неподалеку от Сороковой Мили. Другой был разорван и съеден своими же собаками. Третьего раздавило свалившееся дерево. Нежданное озеро было заколдованным местом. Дорогу к нему давно забыли, и золотые самородки до сих пор устилали его дно.

О местонахождении Двух Срубов, столь же мифических, имелись более точные сведения. Они стояли на расстоянии «пяти ночевок» от реки Стюарт вверх по реке Мак-Квещен. Их поставил кто-то в те времена, когда в бассейне Юкона еще ни одного золотоискателя и в помине не было.

Бродячие охотники на лосей говорили Смоку, что их старикам как-то удалось добраться до этих лачуг, но никаких следов давнишних разработок там не оказалось.

— Лучше бы ты поехал со мной, — сказал Смоку на прощание Малыш. — Если тебе так уж не сидится, это еще не значит, что надо наживать себе

неприятности. Поезжай куда-нибудь, но зачем ехать в какое-то заколдованное место, где, как и тебе и мне хорошо известно, каждого подстерегает злой дух.

— Не беспокойся, Малыш. Через шесть недель я вернусь в Доусон. Дорога по Юкону накатана, да и первые сто миль по Стюарту тоже, должно быть, хорошо наезжены. Старожилы с Гендерсона говорили мне, что в те края после ледостава отправилось несколько золотоискателей. Идя по их следам, я могу делать по сорок, даже по пятьдесят миль в день. Мне бы только добраться туда, и через месяц я буду дома.

— Да, вот добраться туда. Это именно меня и беспокоит. Как ты туда доберешься? Ну что ж, прощай, Смок. Главное, смотри в оба, не попадись злому духу. И помни, что нечего стыдиться, если ты вернешься домой с пустыми руками.

II

Неделю спустя Смок уже карабкался по отрогам гор, окаймляющих южный берег Индейской реки. На водоразделе между Индейской рекой и Клондайком он бросил нарты и навьючил своих псов. Каждая из шести огромных собак тащила по пятидесяти фунтов. Такой же груз был и на

спине у Смока. Смок шел впереди, приминая своими лыжами мягкий снег, а за ним гуськом тащились собаки.

Он любил эту жизнь, эту суровую полярную зиму, дикое безмолвие, беспредельные снежные равнины, на которые никогда не ступала нога человека. Вокруг него вздымались обледенелые горные громады, еще безымянные, еще не нанесенные на карту. Глаз нигде не встречал одиноких дымков, поднимающихся над стоянками охотников. Он один двигался среди этих никому не ведомых пространств. Одиночество нисколько не тяготило его. Он любил дневной труд свой, перебранки собак, устройство привала в зимние сумерки, мерцание звезд и пламенеющую пышность северного сияния.

Но больше всего любил он свои ночные стоянки в этой снежной пустыне. Вовек не забудет он их. Ему грезилась картина, которую он когда-нибудь напишет. Утоптанный снег и горящий костер, постель из пары заячьих шуб, разостланных на свежесрубленных ветвях; заслон от ветра — кусок холста, задерживающий и отражающий жар костра, закоптелый кофейник, кастрюлька, мокасины, надетые на палки для просушки, лыжи, воткнутые в снег. А по ту сторону костра — соба-

ки, жмущиеся поближе к огню, умные и жадные, косматые и заиндевелые, с пушистыми хвостами, которыми они заботливо прикрывают себе ноги. И кругом сплошная стена непроницаемого мрака.

В такие минуты Сан-Франциско, «Волна» и О'Хара казались ему неясными, бесконечно далекими призраками, тенями из несбывшихся снов. Ему трудно было поверить, что он знал когда-то иную жизнь, что он когда-то плескался и барахтался в болоте городской богемы. В одиночестве, лишенный возможности перекинуться с кем-нибудь словом, он много думал, и мысли его были глубоки и просты. Он с ужасом думал о том, как попусту прошли для него годы его городской жизни, о бездарности всех школьных и книжных философий, об умничающем цинизме редакций и художественных мастерских, о ханжестве дельцов, отдыхающих в своих клубах. Они не знают, что такое волчий аппетит, крепчайший сон, железное здоровье; никогда они не испытывали настоящего голода, настоящей усталости, им незнакомо опьянение работой, от которой вся кровь в жилах бурлит, как вино.

Эта прекрасная, мудрая, суровая Северная Страна существовала всегда, а он ничего о ней не

знал. Его удивляло, как это он, созданный для такой жизни, мог не слышать тихого зова северной природы. Она звала его, а он не знал. Но и это пришло в свое время.

— Зато теперь, Желтомордый, я слышу ее ясно!

Пес, к которому были обращены эти слова, поднял сначала одну лапу, потом другую, потом опять уютно прикрыл их хвостом и засмеялся, глядя на своего хозяина через костер.

— Герберту Спенсеру было почти сорок лет, когда он начал понимать, в чем его призвание. Я нашел свое призвание гораздо раньше. Я не дождался и тридцати лет. Мое призвание — здесь. Знаешь, Желтомордый, я хотел бы родиться волчонком и всю жизнь быть твоим братом и братом всего твоего волчьего племени.

Много дней бродил он по хаосу ущелий и перевалов; они были расположены в таком беспорядке, что казалось, будто их разбросал здесь какой-то космический проказник. Тщетно искал он ручеек или речку, которые текли бы на юг — к Мак-Квещену и Стюарту. Подул ветер с гор и принес вьюгу. Находясь над линией лесов и не имея возможности поэтому развести огонь, он два дня бесплодно старался спуститься пониже. К концу второго дня он добрел до карниза какой-

то колоссальной отвесной скалы. Падал такой густой снег, что Смоку не удалось рассмотреть ее основания. Смок плотно закутался в оленью доху, окружил себя собаками, укрылся с ними в огромном сугробе и так провел всю ночь, стараясь не заснуть.

Утром, когда буря утихла, он пошел на разведку. В четверти мили под ним находилось замерзшее, занесенное снегом озеро. Над озером поднимались со всех сторон зубчатые вершины гор. Да, ему так и рассказывали. Он нечаянно набрел на Нежданное озеро.

— Подходящее название, — бормотал он час спустя, приближаясь к самому берегу.

Здесь росло несколько старых елей. Пробираясь к ним, Смок наткнулся на три могилы, почти доверху занесенные снегом: торчали только столбы, на которых были вырезаны совершенно неразборчивые надписи. За елями стояла маленькая ветхая хижина. Он толкнул дверь и вошел. В углу, на том, что когда-то было постелью из еловых веток, лежал скелет, завернутый в истлевшие меха.

«Последний посетитель Нежданного озера», — подумал Смок, поднимая с пола кусок золота величиной в два кулака. Рядом с этим самород-

ком стояла жестянка, полная шершавых золотых самородков величиной с орех.

Так как все, что рассказывали про Нежданное озеро, пока подтверждалось, Смок решил, что золото это добыто с его дна. Но сейчас озеро было покрыто толстым слоем льда и потому недосягаемо. И в полдень с крыльца хижины Смок бросил на него прощальный взгляд.

— Все в порядке, мистер Озеро, — сказал он. — Сторожи свои сокровища. Я еще вернусь сюда за ними, если только здешний злой дух мне не помешает. Я не совсем ясно представляю себе, как я сюда попал, но надеюсь узнать это, выбираясь отсюда.

III

Четыре дня спустя Смок развел костер в большой долине, на берегу замерзшего потока, под гостеприимными елями. Где-то там, в этом белом хаосе, позади находилось Нежданное озеро, но где именно — он уже не знал. Четверо суток блужданий в слепящей пурге сбили его с толку, и он уже не знал, где у него «впереди» и где «позади». Он словно вынырнул из какого-то кошмара. Он не мог бы даже сказать, сколько времени был в пути — четыре дня или целую неделю. Он спал

вместе с собаками, перебрался через десятки невысоких перевалов, следовал за извилинами сумасшедших ущелий, кончавшихся тупиками, и за все время ему только дважды удалось развести огонь и подогреть лосиное мясо. Теперь впервые он мог вдоволь поесть и поставить заслон. Снежная буря улеглась, снова стало ясно и холодно. Мир вокруг него принял свой обычный вид. Речка, на которой он очутился, казалась обыкновенной речкой и текла на юго-запад. Но Нежданное озеро он потерял так же, как потеряли его и все прежние Колумбы.

Полдня пути вниз вдоль небольшой речки привели его в долину другой, более широкой реки. Он догадался, что это и есть Мак-Квещен. Тут он убил лося, и теперь каждая его собака снова тащила по пятидесяти фунтов мяса. Идя вниз по Мак-Квещену, он набрел на санный след. Верхний слой снега был мягок, но под ним находилась утоптанная тропа. Он заключил, что на Мак-Квещене есть два лагеря и что этот путь ведет от одного к другому. Решив, что нижний лагерь — это Два Сруба и что там, вероятно, кто-то поселился, он двинулся вниз по реке.

Было сорок градусов мороза, когда он расположился на ночлег. Засыпая, он размышлял, кто бы

могли быть эти люди, открывшие таинственные Два Сруба, и доберется ли он до их стоянки на следующий день. Он тронулся в путь при первых проблесках рассвета и шел по запорошенной тропе, утаптывая ее своими плетеными лыжами, чтобы собаки не проваливались.

Неожиданное настигло его на излучине реки. Он услышал и почувствовал его одновременно. Справа щелкнул ружейный выстрел; пуля, пробив насквозь парку и фуфайку, ударила его в плечо и заставила повернуться вокруг своей оси. Он покачнулся на лыжах, желая сохранить равновесие, и услышал второй выстрел. На этот раз стрелявший промахнулся. Смок не стал дожидаться. Нырнув в снег, он пополз к берегу, чтобы спрятаться среди деревьев и кустов. Снова и снова трещали выстрелы, и он с отвращением почувствовал, что по его спине течет что-то теплое и липкое.

Ведя за собой собак, Смок вскарабкался на берег и спрятался в кустах. Там он снял лыжи, пробрался вперед и стал внимательно осматривать противоположный берег. Но никого не увидел. Стрелявший, должно быть, спокойно лежал за деревьями на противоположном берегу.

— Если сейчас ничего не случится, — про-

бормотал Смок спустя полчаса, — я вылезу и разведу костер. Иначе я отморожу себе ноги. Желтомордый, что бы ты стал делать, если бы тебе пришлось лежать на морозе, чувствуя, что кровь застывает в твоих жилах, и зная, что тебя собираются застрелить?

Он отполз на несколько шагов назад, утоптал снег и стал приплясывать на месте. Эта пляска нагнала ему кровь в ноги и позволила выдержать еще полчаса.

Вдруг он услышал звон бубенчиков. Он увидел нарты, показавшиеся из-за поворота реки. У передка, рядом с шестом, бежал одинокий человек, погонявший собак. Смок был потрясен, так как это был первый человек, которого он увидел после того, как три недели назад расстался с Малышом. Он сразу подумал о негодяе, притаившемся на том берегу.

Не вылезая из своей засады, Смок предостерегающе свистнул. Человек не расслышал и продолжал мчаться вперед. Смок свистнул громче. Человек остановил собак и увидел Смока как раз в тот момент, когда раздался выстрел. Тогда Смок поднял ружье и сам выстрелил в сторону деревьев, откуда донесся звук выстрела.

При первом выстреле человек у шеста покач-

нулся. Шатаясь, он подошел к нартам и, поднимая ружье к плечу, вдруг начал медленно опускаться и сел на нарты. Потом выстрелил не целясь и повалился навзничь — Смок мог видеть только его живот и ноги.

Снова снизу донесся звон бубенчиков. Упавший не шевельнулся. Из-за поворота выехало трое нарт, шесть человек сопровождало их. Смок крикнул, чтобы предупредить, но те уже сами видели, что произошло с первыми нартами, и торопились к пострадавшему. Выстрелы с того берега не повторялись, и Смок, позвав своих собак, вышел из-за прикрытия. Его встретили восклицаниями, двое из только что прискакавших сняли рукавицы, подняли ружья и взяли Смока на прицел.

— Подойди-ка сюда, подлый убийца, — скомандовал чернобородый мужчина. — Брось сейчас же свое ружье в снег.

Поколебавшись, Смок кинул ружье и подошел к ним.

— Обыщи его, Луи, и отними у него оружие, — приказал чернобородый.

Смок понял, что Луи — канадский француз, проводник, как и остальные. Он обыскал Смока и отобрал у него охотничий нож.

— Ну, что ты скажешь в свое оправдание, незна-

комец, прежде чем я тебя застрелю? — спросил чернобородый.

— Скажу, что вы ошибаетесь: не я убил этого человека, — сказал Смок.

Один из проводников закричал. Он прошел по следам Смока и добрался до кустов, за которыми тот прятался. Об этом своем открытии он немедленно сообщил остальным.

— За что ты убил Джо Кинэда? — спросил чернобородый.

— Я его не убивал… — начал Смок.

— Нечего разговаривать. Ты пойман на месте преступления. Вот следы твоих ног. Услышав, что подъезжает наш товарищ, ты отошел в сторону. Ты залег между деревьями и выстрелил в него. Пьер, подними его ружье.

— Дайте мне рассказать вам, — сказал Смок.

— Заткнись! — крикнул чернобородый. — Твое ружье само все расскажет.

Они осмотрели ружье Смока, сосчитали заряды, проверили дуло и магазины.

— Один выстрел! — сказал чернобородый.

Пьер, словно олень, широко раздувая ноздри, понюхал магазин.

— Выстрел был сделан совсем недавно, — сказал он.

— Пуля попала ему в спину, — сказал Смок. — А он ехал лицом ко мне. Ясно, что стреляли с того берега.

Чернобородый на минуту задумался. Затем он покачал головой:

— Нет, ты нас не обманешь. Он повернулся к тебе спиной, и тогда ты выстрелил. Пойдите, ребята, посмотрите, не ведут ли какие-нибудь следы к тому берегу.

Но ему ответили, что возле того берега лежит совершенно нетронутый снег. Чернобородый вынул из раны убитого свалявшийся меховой пыж. Разрезав его, он достал пулю. Кончик пули расплющился и сделался величиной в полудолларовую монету, но основание ее, одетое сталью, было цело. Он сравнил пулю с пулями Смока.

— Тут и слепой поймет, в чем дело, — сказал он. — Эта пуля с мягким носом и стальной рубашкой, и твоя с мягким носом и стальной рубашкой. Здесь тридцать — тридцать; и твоя тридцать — тридцать. Эта — завода Д. и Т., и твоя — завода Д. и Т. Пойдем на берег и посмотрим, как это ты все устроил.

— Я сам ранен, — сказал Смок, — у меня прострелена парка.

Пока чернобородый рассматривал пробитую

парку, один из его товарищей исследовал затвор ружья, принадлежавшего убитому. Ружье свидетельствовало, что из него был сделан один выстрел. Пустая гильза оставалась еще в камере.

— Жаль, что бедному Джо не удалось застрелить тебя, — огорченно сказал чернобородый. — Однако он не оплошал — с такой-то дырой в спине. Ну, ступай!

— Поищите сначала на том берегу, — настаивал Смок.

— Молчи и ступай за мной. Говорить за тебя будут факты.

Они сошли с тропы в том самом месте, где свернул Смок, поднялись по его следам на берег и осмотрели все пространство между деревьями.

— Здесь он плясал, чтобы согреть ноги, — сказал Луи. — Здесь он полз на животе. Здесь приподнялся на локте, чтобы выстрелить…

— А вот его пустой патрон! — сказал чернобородый. — Ребята, нам остается только одно…

— Раньше спросите меня, зачем я сделал этот выстрел, — перебил его Смок.

— Если не замолчишь, я заткну тебе глотку твоими собственными зубами. Ты еще успеешь поговорить. Мы люди приличные, уважающие закон, и мы поступим с тобой, как полагается.

Пьер, далеко мы от дома?

— Миль двадцать будет!

— Отлично. Заберем с собой бедного Джо с его поклажей и едем к Двум Срубам. Я полагаю, мы видели вполне достаточно для того, чтобы вздернуть этого молодца.

IV

Спустя три часа после наступления темноты убитый, Смок и его конвоиры прибыли к Двум Срубам.

При свете звезд Смок увидел на плоском берегу десяток недавно построенных домишек, окружавших старый, довольно большой дом того типа, который нередко встречается на крайнем Западе. Его ввели как раз в этот старый дом. Там он увидел молодого человека огромного роста, его жену и слепого старика. Женщина, которую муж назвал Люси, тоже была высокая и сильная. Старик, как Смок узнал впоследствии, был старый зверолов со Стюарта. Он ослеп прошлой зимой. Узнал Смок и о том, что лагерь Два Сруба был построен год назад. Сюда прибыла группа людей, нашла здесь слепого зверолова и поселилась рядом с ним. Более поздние пришельцы создали тут целый поселок. Охота была здесь хорошая,

попадалось и золото.

Через несколько минут в комнату набилось все население Двух Срубов. Смоку связали руки и ноги ремнями из оленьей кожи, и, всеми осмеянный, никем не замечаемый, он лежал в углу. Он насчитал тридцать восемь человек, народ все грубый и дикий, — выходцы из Штатов и французы — проводники из Северной Канады. Поймавшие Смока люди снова и снова повторяли рассказ о том, как все произошло, и вокруг каждого из них толпились разъяренные поселенцы.

— Линчуйте его сейчас же, чего ждать! — кричали в толпе.

Одного огромного ирландца пришлось удерживать силой. Он хотел броситься на беззащитного пленника и избить его.

Разглядывая присутствующих, Смок заметил знакомое лицо. Это был Брэк, лодку которого он однажды провел через пороги. К удивлению Смока, тот не подошел к нему и не заговорил с ним. Смок тоже сделал вид, будто не узнает его. И вдруг заметил, что Брэк, заслонив лицо рукой, мигает ему.

Чернобородый, которого звали Эли Гардинг, положил конец толкам о немедленном линчевании.

— Молчать! — заорал он. — Потерпите немного. Этот человек принадлежит мне. Я его поймал, и я привел его сюда. Неужели вы думаете, что я тащил его в такую даль для того, чтобы линчевать? Конечно, нет! Я это и сам мог сделать. Я привез его для справедливого и беспристрастного суда, и, клянусь Богом, мы будем его судить справедливо и беспристрастно. Он связан и не сбежит. Оставим его здесь до утра, а завтра суд.

V

Смок проснулся. Он лежал лицом к стене и вдруг почувствовал, что струя ледяного воздуха впилась ему в плечо, как игла. В помещении было жарко натоплено, и струйка морозного воздуха, проникшая снаружи, где было пятьдесят градусов ниже нуля, свидетельствовала о том, что кто-то за стеной выковырял мох из щели между бревнами. Смок был связан, но все же ему удалось изогнуться и дотронуться губами до щели.

— Кто там? — прошептал он.

— Брэк! — последовал ответ. — Не шумите. Я хочу передать вам нож.

— Не стоит, — сказал Смок. — Я не могу им воспользоваться. Руки у меня связаны за спиной и притянуты ремнем к койке. Да и нож вам в от-

верстие не просунуть. Но что-нибудь необходимо сделать. Эти молодцы самым серьезным образом хотят меня повесить, а вы, конечно, понимаете, что не я убил этого человека.

— Нечего об этом говорить, Смок. Если даже вы убили его, у вас на это, вероятно, были основания. Не в том дело. Я хочу спасти вас. Здесь отчаянный народ, вы сами их видели. Они оторваны от всего мира и судят по собственным законам на своих сборищах. Недавно они казнили двух воров, укравших продовольствие. Одного они прогнали из лагеря без провизии и спичек. Он прошел сорок миль, промучился два дня и в конце концов замерз. Другому — это было недели две спустя — они предложили на выбор: или уйти без продовольствия и огня, или получить по десяти ударов плетью за каждую дневную порцию. Он выдержал сорок ударов и испустил дух. Теперь они взялись за вас. Все до последнего человека уверены, что вы убили Джо Кинэда.

— Человек, убивший Кинэда, стрелял и в меня. Его пуля задела мне плечо. Добейтесь отсрочки суда и пошлите кого-нибудь обследовать тот берег.

— Ничего не выйдет. Все поверили Гардингу и пяти французам, бывшим с ним. Кроме того, им досадно, что они никого еще до сих пор не

повесили. Им живется скучновато. Никаких особенных богатств они пока не нашли, а искать Нежданное озеро им надоело. В начале зимы они ходили в походы, но сейчас и это оставлено. У них началась цинга, и они страшно озлоблены.

— И хотят выместить на мне все свои неудачи? — сказал Смок. — А вы, Брэк, как попали в это проклятое место?

— Я сделал несколько заявок на ручье Индианки, оставил там компаньонов, а сам пошел вверх по Стюарту, надеясь добраться до Двух Срубов. Здесь меня не приняли в компанию, и я начал разработку выше по Стюарту. У меня кончились запасы, и я только вчера вернулся сюда за продовольствием.

— Вам удалось что-нибудь найти?

— Мало! Но я изобрел одно гидравлическое сооружение, которое будет очень полезно, когда здесь начнется оживление. Особая драга для промывания золота.

— Подождите, Брэк, — сказал Смок, — дайте мне подумать.

В тишине, прислушиваясь к храпу спящих рядом людей, он обдумывал мелькнувшую у него мысль.

— Скажите, Брэк, распаковали они мешки

с провизией, которые были на моих собаках?

— Несколько мешков распаковали. Я видел. Они снесли их в хижину Гардинга.

— Нашли они там что-нибудь?

— Мясо!

— Отлично. Поищите темный полотняный мешок, завязанный ремнем из оленьей кожи. Вы найдете там несколько фунтов самородного золота. Никто никогда в этих местах такого золота не видывал. Слушайте, сделайте вот что…

Четверть часа спустя, получив подробные инструкции и обморозив себе пальцы, Брэк ушел. Смок тоже отморозил себе нос и щеку. Он целых полчаса терся лицом об одеяло, и только жар и покалывание прилившей к щекам крови уверили его, что опасности больше нет.

VI

— Мне все ясно. Не сомневаюсь, что это он убил Кинэда. Вчера вечером мы слышали все подробности. Зачем снова выслушивать то же самое? Я голосую: он виновен!

Так начался суд над Смоком. Оратор, здоровенный детина, выходец из Колорадо, был очень огорчен, когда Гардинг сказал в ответ, что Смока надо судить по всем правилам, и предложил

выбрать судьей и председателем собрания Шэнка Вильсона. Все население Двух Срубов вошло в состав присяжных и попутно, после некоторой дискуссии, лишило женщину, Люси, права голоса.

Смок, сидя на койке в углу комнаты, прислушивался к разговору между Брэком и одним из золотоискателей.

— Не продадите ли вы мне пятьдесят фунтов муки? — спрашивал Брэк.

— У вас не хватит песку, чтобы заплатить мне за нее.

— Я дам вам двести.

Тот покачал головой.

— Триста! Триста пятьдесят!

Когда дошло до четырехсот, человек согласился и сказал:

— Пойдемте ко мне в хижину. Там вы отвесите песок.

Они пробрались к двери и вышли. Через несколько минут вернулся один Брэк.

Гардинг давал свидетельские показания, когда Смок увидел, что дверь отворилась и в щели показалось лицо человека, продававшего муку. Он подмигивал и делал какие-то знаки одному из золотоискателей. Наконец тот встал и пошел

к двери.

— Куда ты, Сэм? — спросил Шэнк Вильсон.

— Я на минутку, — ответил Сэм. — У меня там дело.

Смоку разрешили задавать вопросы свидетелям. Начался перекрестный допрос. И вдруг все услышали визг собачьей упряжки и скрип полозьев по снегу. Кто-то из сидевших у двери выглянул наружу.

— Это Сэм и его компаньон, — сказал он. — Они помчались по направлению к Стюарту.

В течение полминуты никто не сказал ни слова. Все многозначительно переглядывались. Уголком глаза Смок видел, как Брэк, Люси и ее муж шептались между собой.

— Продолжай, — сказал Шэнк Вильсон Смоку. — Кончай поскорее допрос свидетелей. Ты хочешь доказать, что тот берег не был осмотрен. Свидетели этого не отрицают. Мы тоже. Но это и не понадобилось. Не было следов, которые вели бы к тому берегу.

— И все же на том берегу был человек! — настаивал Смок.

— Что ты нам очки втираешь. Нас не так много на Мак-Квещене, и мы всех знаем.

— Кто был тот человек, которого вы выгнали из

лагеря две недели назад?

— Алонсо Мирамар, мексиканец. Но при чем тут этот вор?

— Ни при чем, если не считать того, что вы о нем ничего не знаете, господин судья.

— Он пошел вниз по реке, а не вверх.

— Почему вы так в этом уверены?

— Я видел, как он выходил из лагеря.

— И это все, что вам известно о нем?

— Нет, не все, молодой человек. Я знаю, все мы знаем, что у него было продовольствие на четыре дня, но не было ружья. Если он не добрался до поселка на Юконе, он давно погиб.

— Вы, должно быть, знаете и все ружья здесь? — спросил Смок.

Шэнк Вильсон рассердился.

— Ты так меня допрашиваешь, будто я обвиняемый, а ты судья. Следующий свидетель! Где француз Луи?

Луи вышел вперед. В эту минуту Люси открыла дверь.

— Куда вы? — строго спросил судья.

— Я не обязана торчать здесь, — вызывающе ответила женщина. — Во-первых, вы меня лишили голоса, а во-вторых, тут слишком душно.

Через несколько минут вышел и ее муж. Судья

заметил это, только когда закрылась дверь.

— Кто это вышел? — перебил он Пьера.

— Билл Пибоди, — ответил кто-то. — Он сказал, что ему надо спросить о чем-то жену и что он сейчас вернется.

Вместо Билла вернулась Люси, сняла шубу и села возле печки.

— Я полагаю, что нам незачем допрашивать остальных, — сказал Вильсон, выслушав Пьера. — Все они говорят одно и то же. Соренсон, сходи приведи Билла Пибоди. Сейчас будем голосовать. А теперь, незнакомец, встань и попробуй оправдаться. А мы, чтобы не терять времени, пустим по рукам оба ружья, патроны и обе пули.

Смок объяснил, как он попал в этот край, но в том месте рассказа, когда он начал описывать, как в него выстрелили из засады и как он выбрался на берег, его перебил Шэнк Вильсон:

— Зачем все эти россказни? Ведь мы только время теряем. Ты лжешь, чтобы избавить свою шею от петли, и это, конечно, твое право, но мы не желаем слушать вздор. Ружье, патроны и пуля, убившая Джо Кинэда, свидетельствуют против тебя. Что там такое? Откройте дверь!

Мороз густым клубом пара ворвался в комнату. Сквозь открытую дверь донесся затихающий

вдали собачий лай.

— Это Соренсон и Пибоди, — сказал кто-то. — Они гонят собак вниз по реке.

— Какого черта… — начал было Шэнк Вильсон, но взглянул на Люси и застыл с открытым ртом. — Может, вы, миссис Пибоди, объясните нам, в чем тут дело?

Она покачала головой и сжала губы. Тогда неприязненный взгляд судьи остановился на Брэке.

— Может, вам будет угодно сделать какие-нибудь разъяснения? Я видел, как вы перешептывались с миссис Пибоди.

Все взгляды обратились в сторону Брэка. Тот смутился.

— Он шептался и с Сэмом, — сказал кто-то.

— Послушайте, мистер Брэк, — продолжал Шэнк Вильсон. — Вы прервали заседание и теперь должны объяснить нам, в чем дело. О чем вы там шушукались?

Брэк робко кашлянул и ответил:

— Я хотел купить немного продовольствия.

— На что?

— Как на что? На золотой песок, конечно.

— Где вы его достали?

Брэк промолчал.

— Он промышлял недалеко отсюда, в верховьях Стюарта, — сказал один из золотоискателей. — На прошлой неделе я охотился неподалеку от его стоянки. Он держался как-то странно.

— Этот песок я нашел не там, — сказал Брэк. — Там я разрабатывал проект одного гидравлического сооружения.

— Подайте сюда ваш мешок, — приказал Вильсон.

— Да я нашел этот песок не здесь.

— Все равно! Мы хотим посмотреть.

Брэк притворился, будто не хочет показывать золото. Но он всюду видел угрожающие взоры. Нехотя он сунул руку в карман куртки и вынул жестянку. При этом он брякнул ею обо что-то твердое.

— Вытаскивайте все! — заорал Вильсон.

И Брэк вытащил огромный самородок необычайной желтизны. Таких самородков никто из присутствующих и не видывал.

Шэнк Вильсон ахнул. Человек шесть кинулись к дверям. Они долго толкались и ругались, прежде чем им удалось выйти на улицу. Судья вытряхнул содержимое жестянки на стол, и, увидев самородки, еще человек шесть бросились к выходу.

— Куда вы? — спросил Эли Гардинг, видя, что Шэнк Вильсон тоже собирается уходить.

— За собаками, конечно.

— Да ведь вы хотели повесить его!

— Успеется! Он подождет, пока мы вернемся. Заседание откладывается. Нельзя терять времени.

Гардинг колебался. Он свирепо посмотрел на Смока, на Пьера, который с порога делал знаки Луи, потом на самородок, лежавший на столе, и тоже решил пойти с остальными.

— Не советую тебе удирать, — сказал он Смоку. — Впрочем, я думаю воспользоваться твоими собаками.

— Что это? Снова нелепая скачка за золотом? — ворчливо спросил слепой старик, когда раздался лай собак и скрип нарт.

— Я никогда в жизни не видела такого золота, — сказала Люси. — Потрогай его, старик.

Она протянула ему самородок. Но золото не интересовало его.

— У нас тут была чудная охота за пушным зверем, пока сюда не явились эти проклятые золотоискатели.

Открылась дверь, и вошел Брэк.

— Все обстоит прекрасно, — сказал он. — Кроме нас четверых, во всем лагере не осталось ни

одного человека. До моей стоянки на Стюарте — сорок миль. Они вернутся не раньше чем через пять-шесть дней. Но вам, Смок, надо поскорее улепетывать отсюда.

Брэк достал охотничий нож, перерезал веревки, связывающие его друга, и взглянул на женщину.

— Надеюсь, вы не протестуете? — сказал он с подчеркнутой вежливостью.

— Если вы собираетесь стрелять, — сказал слепой, — переведите меня раньше в другую хижину.

— Со мной вы можете не считаться, — сказала Люси. — Если я не гожусь на то, чтобы повесить человека, я не гожусь и на то, чтобы сторожить его.

Смок встал, потирая затекшие руки.

— Я уже все для вас приготовил, — сказал Брэк. — На десять дней продовольствия, одеяло, спички, табак, топор и ружье.

— Бегите, — сказала Люси. — Держитесь холмов, незнакомец. Постарайтесь с Божьей помощью перебраться через них как можно скорее.

— Прежде чем ехать, я хочу поесть, — сказал Смок, — и поеду я не вверх по Мак-Квещену, а вниз. Я хотел бы, чтобы вы поехали со мной, Брэк. Мы должны найти настоящего убийцу.

— Советую вам ехать вниз до Стюарта, а оттуда пробираться к Юкону, — возразил Брэк. — Когда эти головорезы вернутся, осмотрев мое гидравлическое сооружение, они будут злы, как волки.

Смок улыбнулся и покачал головой:

— Нет, Брэк, я не могу оставить эти места. Меня слишком многое здесь держит. Хотите верьте, хотите нет, но я должен вам сказать, что я нашел Нежданное озеро. Это золото я вывез оттуда. Кроме того, я хочу, чтобы мне вернули моих собак. Я знаю, что говорю: на той стороне реки прячется какой-то человек. Он выпустил в меня чуть ли не всю свою обойму.

Спустя полчаса Смок, евший жареную оленину и пивший кофе, вдруг поставил на стол свою чашку и прислушался. Он первый услышал какие-то подозрительные звуки. Люси открыла дверь.

— Здорово, Спайк. Здорово, Методи! — приветствовала она двух заиндевевших мужчин, склонившихся над чем-то лежащим на санях.

— Мы вернулись с верхней стоянки, — сказал один из них. Они осторожно внесли какой-то длинный предмет, завернутый в меха. — Вот что мы нашли по дороге. Он, верно, уж совсем замерз.

— Положите его на нары, — сказала Люси.

Она наклонилась и откинула мех, открыв темное, местами обмороженное лицо, на котором выделялись большие черные немигающие глаза. Кожа туго обтягивала его.

— Да ведь это Алонсо! — воскликнула она. — Несчастный, он умирает с голоду.

— Вот он, человек с того берега, — вполголоса сказал Смок Брэку.

— Когда мы нашли его, — говорил один из новоприбывших, — он ел сырую муку и мороженую свинину. Он набрел на тайник, который устроил, верно, Гардинг. Он бился и кричал в наших руках, как пойманный ястреб. Посмотрите на него. Он высох от голода и замерз. Того и гляди умрет.

Через полчаса, когда лицо умершего снова покрыли мехом, Смок повернулся к Люси.

— Если это вас не затруднит, миссис Пибоди, я бы попросил вас зажарить мне еще кусок оленины. Сделайте его потолще и не слишком прожаривайте.

Гонки

I

— Так, так! Наряжаешься.

Малыш с притворным неодобрением оглядывал товарища, а Смок сердился, тщетно стараясь расправить набегающие складки на только что надетых брюках.

— Для брюк, сшитых на другого, они сидят вполне прилично, — продолжал Малыш. — Сколько ты дал за них?

— Сто пятьдесят долларов за весь костюм, — сказал Смок. — Его бывший владелец был почти такого же роста, как я; мне казалось, что это замечательно дешево. Чего ты, собственно, пристал ко мне?

— Кто? Я? Пустяки! Костюм сидит на тебе превосходно. Для такого любителя медвежатины, который прибыл в Доусон верхом на льдине, не имея ни крошки продовольствия, с единственной сменой белья, в истертых мокасинах и штанах, явно побывавших в кораблекрушении, — это просто шикарный костюм. И до чего же он тебе к лицу! Скажи, пожалуйста…

— Что тебе еще нужно? — раздраженно спросил Смок.

— Как ее зовут?

— Никак ее не зовут. Просто я приглашен на обед к полковнику Бови. А тебе, должно быть, завидно, что в такое почтенное общество приглашен я, а не ты.

— А ты не опоздаешь? — забеспокоился Малыш.

— Куда?

— На обед. Пожалуй, как раз к ужину попадешь.

Смок хотел было пуститься в объяснения, но заметил искорку насмешки в глазах Малыша. Он продолжал одеваться, но его пальцы потеряли былую гибкость, — вот почему он так неудачно завязал галстук под воротником своей бумажной сорочки.

— Какая жалость, — издевался Малыш, — что все мои крахмальные сорочки в стирке. А то я мог бы одолжить тебе.

Смок уже возился с башмаками. Шерстяные чулки были слишком толсты для них. Он умоляюще посмотрел на Малыша, но тот покачал головой:

— Ничем не могу помочь. Даже если бы у меня

были тонкие носки, я бы тебе не дал. Надень мокасины. Ты останешься без пальцев, если пойдешь в этих башмаках.

— Я дал за них пятнадцать долларов, за подержанные, — простонал Смок.

— Ручаюсь, что там все будут в мокасинах.

— Малыш, ведь там дамы. Я буду сидеть за одним столом с настоящими живыми женщинами. С миссис Бови и многими другими.

— Что ж, твои мокасины не испортят им аппетита. Не понимаю только одного: зачем ты понадобился полковнику?

— Я и сам не знаю. Должно быть, он слышал, что я открыл Нежданное озеро. Чтобы осушить его, понадобится целое состояние, а Гуггенгеймы, видимо, ищут, куда бы вложить свои капиталы.

— В таком случае иди в мокасинах. Слушай, пиджак-то узковат, очень уж талию облегает. Смотри, если дамы начнут там ронять на пол носовые платки, не поднимай их. Пусть себе лежат на полу, не обращай внимания…

II

Полковник Бови, высокооплачиваемый специалист, представитель крупного торгового дома Гуггенгеймов, жил, как ему и подобало, в лучшем

здании Доусона. Это двухэтажное бревенчатое здание было так огромно, что в нем была отдельная, настоящая гостиная, служившая только для приема гостей и больше ни для чего.

Огромные медвежьи шкуры покрывали некрашеный дощатый пол этой гостиной, а стены были украшены рогами оленей и лосей. В камине и в большой, набитой дровами печке весело трещал огонь.

Здесь Смок увидел сливки доусонского общества — не скороспелых миллионеров, а подлинный цвет золотопромышленного городка, население которого рекрутировалось со всех концов света. Тут были такие люди, как Уорбэртон Джонс, исследователь Арктики и литератор, капитан Консадайн из канадской конной полиции, Хаскелл — местный комиссар по золоту, и барон фон Шредер, любимец кайзера, знаменитый международный дуэлянт.

Здесь же, в бальном платье, предстала перед ним Джой Гастелл, которую Смок до сих пор встречал только на тропе, в мехах и мокасинах. За обедом он сидел рядом с ней.

— Я чувствую себя как рыба, вытащенная из воды, — признался он. — У вас у всех такой важный вид. Я никогда не предполагал, что в Клондайке

существует восточная роскошь. Посмотрите хотя бы на фон Шредера! Ведь на нем настоящий смокинг! А Консадайн надел накрахмаленную рубашку. Правда, он все же в мокасинах. А как вы находите мою обмундировку?

Он повел плечами, будто приглашая ее полюбоваться собой.

— Вы как будто пополнели за последнее время! — со смехом сказала Джой.

— Ошибаетесь, подумайте еще.

— Это не ваш костюм.

— Совершенно верно. Я купил его за большие деньги у конторщика Аляскинской компании.

— Как жаль, что у конторщиков такие узкие плечи! — сказала девушка. — А как вам нравится моя обмундировка?

— Я потрясен! — воскликнул Смок. — У меня не хватает слов! Я слишком долго был в походе. Ваш наряд ошеломил меня. Я совершенно позабыл, что у женщин есть руки и плечи. Завтра утром я, подобно моему другу Малышу, проснусь, и окажется, что это был только сон. Последний раз, когда я видел вас на ручье Индианки…

— Там я сама была похожа на индианку, — вставила Джой.

— Я не то хотел сказать. На ручье я открыл, что

у вас есть ноги.

— Я никогда не забуду, что обязана вам своим спасением, — сказала она. — С тех пор я все время хотела повидаться с вами, чтобы поблагодарить вас. (Смок умоляюще повел плечами.) И вот почему сегодня вечером вы здесь.

— Это вы предложили полковнику пригласить меня?

— Нет, не полковнику, а полковнице. Я же попросила ее посадить нас за столом рядом. Кстати, все увлеклись разговором. Слушайте меня и не перебивайте. Вы знаете ручей Моно?

— Да.

— Как оказалось, это необычайно богатое место. Каждая заявка там стоит миллион долларов и выше. Разобрали эти заявки только на днях.

— Я помню нашествие на этот ручей.

— Словом, весь ручей и его притоки теперь покрыты заявочными столбами. Но вдруг выяснилось, что участок номер три, ниже «Находки», никем не занят. Ручей так далеко от Доусона, что комиссар предоставил шестидесятидневный срок для регистрации после фактической заявки, и все заявки, за исключением третьего номера, были в свое время зарегистрированы. Заявочные столбы на участке номер три поставил Сайрус

Джонсон. Но он исчез. Умер ли он, пошел ли вниз или вверх по реке — никто не знает. Через шесть дней истекает срок подачи заявления. Человек, который поставит там столбы и первый зарегистрируется в Доусоне, получит этот участок.

— Миллион долларов! — пробормотал Смок.

— Гилкрайст, которому принадлежит соседний участок, промыв один лоток, получил золота на шестьсот долларов. А участки рядом еще богаче.

— Но почему же никто об этом не знает? — скептически спросил Смок.

— Скоро узнают все. Это долго держали в тайне, но весть уже просочилась наружу. Хорошая собачья упряжка через двадцать четыре часа будет продаваться за сумасшедшие деньги. Как только кончится обед, вы отправитесь в дорогу. Сделайте это как можно тактичнее. Я все устроила. Придет индеец и принесет вам письмо. Вы прочтете письмо, притворитесь, что весьма озабочены, извинитесь и уйдете.

— Нет… Я не хочу расстаться с вами так скоро…

— Глупости! — шепотом воскликнула она. — Вы должны выехать сегодня же ночью. Надо достать собак. Я знаю две подходящие упряжки. Одна у Гансона — семь большущих собак с Гуд-

зонова залива. Он просит по четыреста долларов за каждую. Сегодня это дорого, но завтра будет дешевкой. Затем у Ситки Чарли есть восемь мейлемьтов, за которых он просит три тысячи пятьсот. Завтра он рассмеется, если ему предложат пять тысяч. У вас тоже есть собаки. Но не мешает скупить за ночь все лучшие упряжки. Вам предстоит путь в сто десять миль, и собак надо будет менять возможно чаще.

— Я вижу, вы хотите, чтобы я во что бы то ни стало принял участие в этой гонке.

— Если у вас нет денег на собак, то я…

Смок не дал ей договорить.

— Собак я могу купить сам. Но не думаете ли вы, что это азартная игра?

— После ваших подвигов на рулетке в «Оленьем Роге» я знаю, что она вас не испугает. Смотрите на это как на спорт. Гонка на приз в миллион долларов. Вам придется состязаться с лучшими здешними гонщиками. Они еще не вступили в игру, но через сутки вступят, и собаки невероятно подымутся в цене. Толстяк Олаф в городе. Он самый опасный ваш соперник. Аризона Билл тоже примет участие. Это профессиональный перевозчик грузов и почты. Все внимание будет сосредоточено на нем и на Толстяке Олафе.

— И вы хотите, чтобы я выступил в роли темной лошадки?

— Конечно. В этом и заключается ваше преимущество. С вами не будут серьезно считаться. Ведь вас до сих пор считают за чечако. Вы еще и года здесь не живете. Если вы не обгоните всех на обратном пути, никто вас и не заметит.

— Значит, темной лошадке придется показать свой класс на финише? — сказал Смок.

Она утвердительно кивнула головой.

— Если вы не выиграете заявки на Моно, я никогда не прощу себе того, что я сделала с вами там, на ручье Индианки. И помните, вы единственный человек, который может оспаривать эту победу у наших старожилов.

Самое главное заключалось в том, как она это сказала. Смоку стало жарко. Сердце его забилось. Он кинул на нее вопросительный взгляд, невольный и значительный, и в ее глазах, на мгновение встретившихся с его глазами, прочел нечто гораздо более важное, чем весть об участке, который Сайрус Джонсон не успел зарегистрировать.

— Я приму участие в этом состязании, — сказал он. — И добьюсь победы.

Счастливый свет в ее глазах, казалось, обещал ему большую награду, чем все золото участка

на ручье Моно. Он почувствовал, что ее рука, лежавшая у нее на коленях, ищет его руку. Под покровом скатерти он протянул свою навстречу и испытал крепкое пожатие девичьих пальцев. Ему снова стало жарко.

«Что скажет Малыш?» — неожиданно для себя подумал Смок, выпустив ее руку. Он уже почти ревниво смотрел на фон Шредера и Джонсона. Неужели они не замечают необыкновенной прелести этой девушки?

— Аризона Билл — белый индеец, — продолжала она. — А Толстяк Олаф — охотник на медведей, король снегов, могучий дикарь. Он выносливее любого индейца и никогда не знал другой жизни, кроме жизни в морозной пустыне.

— О ком вы говорите? — спросил через стол капитан Консадайн.

— О Толстяке Олафе, — ответила она. — Я рассказывала мистеру Беллью, какой он замечательный ездок.

— Вы правы, — ответил капитан. — Толстяк Олаф — лучший ездок на Юконе. В тысяча восемьсот девяносто пятом году он привез правительственные депеши после того, как два курьера замерзли на Чилкуте, а третий у Тридцатой Мили провалился в полынью.

III

Смок ехал к ручью Моно не торопясь. Он боялся утомить своих собак до главной гонки. Он изучал тропу и отмечал места, где ему придется менять собак. В этом состязании приняло участие столько людей, что все пространство в сто десять миль было похоже на один сплошной поселок. По всему пути были расставлены собачьи подставы для смены упряжек. Фон Шредер, принявший участие в состязании исключительно из спортивных видов, имел одиннадцать упряжек, то есть мог менять собак каждые десять миль. Аризона Билл удовлетворился восемью упряжками. У Толстяка Олафа было семь упряжек — столько же, сколько у Смока. Кроме них, в состязании принимало участие свыше сорока человек. Гонки с призом в миллион долларов даже на золотоносном Севере случаются не каждый день. Цены на собак удвоились и даже учетверились.

Участок номер три ниже «Находки» находился в десяти милях от устья Моно. Остальные сто миль надо было проехать по ледяной груди Юкона. На третьем номере было пятьдесят палаток и триста собак. Заявочные столбы, поставленные Сайрусом Джонсоном два месяца назад, все

еще стояли на своих местах, и каждый участник состязания десятки раз обходил участок номер три. Дело в том, что скачке на собаках предшествовала скачка с препятствиями — пешком. Ведь каждый должен был поставить сам свои заявочные столбы — два центральных и четыре боковых. Для этого надо было дважды пересечь речку и только тогда уже можно было гнать своих собак в Доусон.

Было постановлено, что участок откроется для новой заявки ровно в двенадцать часов ночи, в пятницу. До тех пор никто не имел права ставить столбы. Таково было распоряжение комиссара, и, чтобы оно выполнялось, капитан Консадайн отрядил сюда отряд конной полиции. Возникла дискуссия, правильны ли часы у полиции, и капитан Консадайн во избежание споров решил, что время должен установить по своим часам лейтенант Поллок.

Тропа вдоль Моно имела неполных два фута ширины и напоминала желоб, так как по обеим сторонам ее возвышались огромные сугробы. Всех озадачивал вопрос, как по такому узкому пути смогут проехать сорок нарт и триста собак.

— Ну и давка же будет, — говорил Малыш. — Тебе, Смок, придется пробиваться силой. Если

бы вся поверхность речки была как каток, и то на ней не разъехались бы и десять упряжек. Все смешается в одну непролазную кучу прежде, чем тронутся в путь. Если кто-нибудь загородит тебе дорогу, дай мне расправиться с ним.

Смок пожал плечами и уклончиво улыбнулся.

— Ты не должен заниматься такими пустяками! — встревоженно закричал Малыш. — Ведь нельзя же с больной рукой погонять собак сто миль, а ты непременно повредишь сустав, если вздумаешь разбить кому-нибудь морду.

Смок кивнул головой.

— Ты прав, Малыш, я не имею права рисковать.

— Первые десять миль собак буду гнать я, — продолжал Малыш. — А ты в это время постарайся сохранять полное спокойствие. Я довезу тебя до Юкона. А дальше собак будешь гнать ты сам. Знаешь, что придумал Шредер? Он поставил свою первую упряжку за четверть мили вниз по ручью и узнает ее по зеленому фонарю. Мы устроимся не хуже его. Но только во всех случаях я сторонник красного цвета.

IV

День был ясный и морозный, но к вечеру небо заволокли облака, и ночь пришла темная и теплая. Ждали близкого снегопада. Термометр показывал пятнадцать градусов ниже нуля, а для Клондайка зимой это очень тепло.

За несколько минут до полуночи Смок оставил Малыша с собаками в пятистах ярдах вниз по ручью и присоединился к золотоискателям, столпившимся на участке номер три. У старта собралось сорок пять человек, жаждущих получить миллион, который Сайрус Джонсон оставил в промерзшей земле. Каждый золотоискатель, одетый в просторную парку из грубого тика, тащил на себе шесть кольев и большой деревянный молоток.

Лейтенант Поллок, сидевший возле костра в широкой медвежьей дохе, смотрел на часы. До полуночи оставалась одна минута.

— Готовьтесь! — сказал он, поднимая в правой руке револьвер, а в левой часы.

Сорок пять капюшонов было откинуто назад, сорок пять пар рукавиц было снято, сорок пять пар ног, обутых в мокасины, уперлось в утоптанный снег. Сорок пять кольев опустилось в снег, и

сорок пять молотков взвилось в воздух.

Раздался выстрел, и молотки ударили. Сайрус Джонсон потерял свои права на миллион. Во избежание давки лейтенант Поллок распорядился, чтобы первым забивался нижний центральный столб, вторым — юго-восточный, затем остальные три угловые столба и, наконец, верхний центральный.

Смок вбил свой кол и в числе первого десятка двинулся дальше. По углам участка горели костры, возле костров стояли полисмены. У полисменов были списки участников состязания, и они вычеркивали имена тех, кто пробегал мимо. Каждый должен был назвать свою фамилию и показаться полисмену. Это было устроено для того, чтобы избежать подставных лиц, которые могли вбивать столбы, в то время как настоящий хозяин уже мчался вниз по реке на регистрацию.

В первом углу Смок и фон Шредер поставили свои столбы в одно время. Пока они стучали молотками, их окружила толпа переругивающихся людей. Пробившись сквозь толчею и назвав полисмену свое имя, Смок увидел, как барон столкнулся с кем-то и, сбитый с ног, полетел в сугроб. Но Смок не стал ждать. Впереди него были еще другие. При свете костра он увидел

перед собой широкую спину Толстяка Олафа. На юго-западном углу он и Толстяк Олаф вбили свои колья рядом.

Нелегка была эта предварительная гонка с препятствиями. Участок в милю длиной был усеян покрытыми снегом кочками. Все спотыкались и падали. Смок тоже несколько раз скатывался вниз на четвереньках. Толстяк Олаф растянулся прямо перед ним и сбил его с ног.

Верхний центральный столб нужно было поставить на откосе противоположного берега; люди спустились с откоса, перебежали через речку по льду и начали взбираться на противоположный откос. Смок взбирался на крутой берег, когда вдруг чья-то рука схватила его за ногу и потащила вниз. Смок не мог разобрать при мигающем свете отдаленного костра, кто сыграл над ним эту шутку. Но, к несчастью для себя, мошенник попробовал проделать то же самое с Аризоной Биллом. Аризона встал и изо всей силы ударил его кулаком по лицу. Смок попробовал подняться, но вдруг тоже получил удар по лицу и едва не лишился сознания. Ему все же удалось встать на ноги. Он уже приготовился было нанести ответный удар, но вспомнил советы Малыша и удержался. Тут чье-то тело, как

метательный снаряд, ударило его по ногам, и он снова покатился вниз.

Все это было словно прелюдией к тому, что потом творилось возле нарт. Люди скатывались с откоса и смешивались в кучу. Они старались вскарабкаться на противоположный откос, но нетерпеливые соперники стаскивали их вниз. Удары сыпались направо и налево, в воздухе стон стоял от ругани. Смок, вспоминая лицо Джой Гастелл, думал только о том, чтобы дерущиеся не вздумали пустить в ход деревянные молотки. Его несколько раз сбивали с ног, несколько раз он терял и снова находил свои колья. Наконец он выкарабкался из гущи человеческих тел и стал подниматься на берег подальше в сторонке. Многие конкуренты успели опередить его, и Смок поздравлял себя с тем, что в этой гонке на северо-западный угол участка он может укрыться за чьими-то спинами.

По дороге к четвертому углу он снова упал и потерял свой последний кол. Целых пять минут он искал его в темноте, и все время мимо него пробегали запыхавшиеся люди. От последнего угла он начал и сам перегонять людей, для которых такая гонка на расстоянии мили была не по силам.

У старта творилось нечто невообразимое. Нарты переворачивались, собаки бросались друг на дружку. Среди псов суетились люди и колотили сцепившихся животных дубинками. Увидев мельком это зрелище, Смок подумал, что даже на гравюрах Доре он не встречал ничего подобного.

Выбравшись на укатанную тропу ниже этой свалки, Смок пошел быстрее. Здесь на утоптанных стоянках по сторонам узкой тропы люди и нарты поджидали отставших гонщиков. Внезапно сзади донесся шум полозьев и визг собак, и Смок едва успел отскочить в глубокий снег. Нарты вихрем пронеслись мимо, и Смок увидел в них человека, стоявшего на коленях и дико кричавшего. Но уже через мгновение нарты эти остановились. Смок услышал шум битвы. На одной из стоянок разъяренные псы, почуяв пробегавших мимо собак, вырвались из рук погонщика и набросились на них.

Смок осторожно обошел сцепившихся псов. Он увидел зеленый фонарь фон Шредера и рядом красный огонек своей собственной упряжки. Двое погонщиков с короткими дубинками охраняли собак Шредера.

— Смок, сюда! — услышал он еще издали встревоженный голос Малыша.

— Иду! — закричал он.

При свете красного фонаря он увидел, что снег вокруг нарт смят и утоптан, а по тяжелому дыханию товарища понял, что здесь была драка. Он бросился к нартам и с разбега вскочил в них. Малыш поднял бич.

— Вперед, черти, вперед! — завыл он.

Собаки налегли на грудные ремни и вынесли нарты на дорогу. Это были крупные звери — Гансонова премированная упряжка гудзоновцев, — и Смок назначил их для первого перегона: десять миль от речки до Юкона, трудный пробег по голому льду возле устья и десять миль вниз по Юкону.

— Сколько человек впереди нас? — спросил Смок.

— Закрой рот и береги дыхание! — ответил Малыш. — Эй вы, зверюги! Вперед! Вперед!

Он бежал за нартами, держась за короткую веревку. Смок не мог видеть его, как не мог видеть и нарт, в которых лежал, вытянувшись во весь рост. Огни остались позади, и они мчались сквозь стену непроглядного мрака со всей скоростью, на какую собаки были способны. Этот мрак был какой-то обволакивающий; он казался плотным, почти осязаемым.

Смок почувствовал, как нарты, делая невидимый поворот, наехали на что-то и качнулись. Он услышал впереди ожесточенный лай и отчаянную брань. Впоследствии это называли «свалкой Барнса — Слокума». Упряжки Барнса и Слокума налетели одна на другую, и в эту кучу врезались сейчас семь огромных псов Смока. Возбуждение этой ночи на Моно довело этих полуприрученных волков до исступления. Клондайкских собак, которыми правят без вожжей, останавливают обычно только окриком, и сейчас не было никакой возможности прекратить побоище, завязавшееся на узкой дороге. А сзади налетали все новые нарты, увеличивая свалку. На людей, которым уже почти удалось распутать свои упряжки, катилась лавина новых собак, хорошо накормленных, отдохнувших и рвавшихся в бой.

— Мы должны во что бы то ни стало прорваться вперед! — заревел Малыш на ухо Смоку. — Береги руки и положись на меня.

Как они вырвались из этого водоворота, Смок почти не мог вспомнить. Чей-то кулак двинул его по челюсти, чья-то дубина стукнула по плечу. Собачий клык вонзился ему в ногу, и он почувствовал, как в мокасин стекает теплая кровь. Оба рукава его парки были изодраны в клочья. Нако-

нец шум свалки оказался позади. Словно во сне, Смок помогал Малышу перепрячь собак. Одна из собак издохла, они обрезали постромки и в темноте ощупью починили поврежденную упряжь.

— А теперь, Смок, ложись на нарты и отдышись, — сказал Малыш.

И собаки во всю прыть понеслись в темноту, вниз по Моно, пересекли широкую равнину и выбежали на Юкон. Здесь, при слиянии речонки с великой рекой, у поворота на широкий санный путь, кто-то разжег костер, и у этого костра Малыш расстался со Смоком. При свете костра, когда нарты понеслись, увлекаемые мчавшимися собаками, Смок запечатлел в своей памяти еще одну из незабываемых картин Севера. Это был Малыш, который шел, качаясь, проваливаясь в глубокий снег, и бодро давал свои последние наставления, хотя один глаз у него почернел и закрылся, пальцы были разбиты, а из руки, изодранной выше локтя собачьими клыками, лилась кровь.

V

— Сколько нарт впереди? — спросил Смок, сменяя на первой остановке своих утомленных гудзоновцев и вскакивая на поджидавшие его новые нарты.

— Одиннадцать! — крикнул ему вслед человек, сторживший собак.

Эта упряжка должна была сделать пятнадцать миль и довезти его до устья Белой реки. Это была самая слабая его упряжка, хотя в нее входило девять собак. Двадцать пять миль, загроможденных торосами, между Белой рекой и Шестидесятой Милей, он разбил на два перегона и поставил на них две свои лучшие упряжки.

Смок лежал на нартах ничком, вытянувшись во всю длину, и держался обеими руками. Едва собаки замедляли бег, он вскакивал на колени и, оглушительно крича, хлестал их бичом. Как ни слаба была эта упряжка, он все же обогнал на ней двух соперников. Вот наконец и Белая. Здесь во время ледостава торосы образовали барьер, отгородивший полынью длиной в целую милю; теперь полынья замерзла и была покрыта гладким льдом. Эта ровная поверхность давала возможность состязающимся менять собак на ходу, и здесь вдоль всего пути стояли наготове свежие собачьи подставы.

Миновав барьер и выскочив на гладкий лед, Смок полетел во весь опор и громко крикнул:

— Билли! Билли!

Билли услышал и отозвался, и при свете много-

численных костров на льду Смок увидел нарты, которые вынырнули откуда-то сбоку и понеслись за ним вдогонку. Собаки были свежие и догнали его. Когда нарты с ним поравнялись, Смок перепрыгнул в них, а Билли перепрыгнул в его нарты и отъехал прочь.

— Где Толстяк Олаф? — закричал Смок.

— Первым идет! — ответил Билли, и костры остались позади, а Смок снова мчался сквозь стену непроглядного мрака.

На этом трудном перегоне, среди хаоса торчащих кверху торосов, Смок, соскочив с нарт и тщательно управляя своим вожаком, обогнал еще троих соперников. Здесь, в темноте, среди льдин, то и дело происходили катастрофы, и Смок слышал, как обрезали постромки с погибших собак и чинили упряжь.

На следующем перегоне, коротком, но, пожалуй, самом трудном, ведущем к Шестидесятой Миле, он обогнал еще двоих. И словно для того, чтобы ему понятна стала их судьба, одна из его собак вывихнула себе плечо и запуталась в сбруе. Передовые собаки, озлобленные такой неудачей, бросились на пострадавшую товарку, и Смоку пришлось пустить в ход тяжелую рукоять своего бича.

В то время как Смок удалял из упряжки раненую собаку, он услышал за собой собачий лай и человеческий голос, который показался ему знакомым. Это был фон Шредер. Смок закричал, чтобы предотвратить столкновение. Барон, гикнув на своих собак и налегая на поворотный шест, объехал Смока на расстоянии каких-нибудь двенадцати футов. Было так темно, что Смок, слыша его окрик над самым ухом, ничего не мог разглядеть.

Близ фактории на Шестидесятой Миле, на ровном льду, Смок обогнал еще две упряжки. Здесь все только что переменили собак и поэтому ехали почти рядом, стоя в нартах на коленях, размахивая бичами и крича на обезумевших псов. Но Смок хорошо изучил этот участок пути и знал, что сейчас возле вон той сосны, озаренной кострами, дорога круто повернет и превратится в узкую тропу. Дальше нарты смогут ехать только гуськом.

Нагнувшись вперед, Смок ухватился за веревку и подтянул нарты к своему кореннику. Потом поймал его за задние лапы и опрокинул на спину. Собака, рыча от бешенства, пыталась вонзить в него клыки, но остальные собаки уволокли ее за собой. Ее тело сыграло роль тормоза, и две другие

упряжки, шедшие со Смоком наравне, обогнав его, ринулись в темноту узкого прохода.

Впереди раздался грохот. Это столкнулись две упряжки. Смок выпустил из рук лапы коренника, бросился к шесту, круто повернул и погнал собак прямо через непримятый снег. Это было убийственно трудно, псы увязали в снегу по уши, но зато ему удалось вырваться на укатанную дорогу, оставив позади две пары столкнувшихся нарт.

VI

Перегон после Шестидесятой Мили имел всего пятнадцать миль, и Смок оставил для него неважную упряжку. Лучших псов он приберег для двух последних перегонов. Они домчат его до конторы инспектора в Доусоне. Сам Ситка Чарли поджидал Смока со своими восемью мейлемьтами, которые должны были перебросить его на двадцать миль вперед. А для финиша — пробег в пятнадцать миль — он назначил свою собственную упряжку, ту самую, на которой он добрался до Нежданного озера.

На этом перегоне ему не удалось перегнать ни одной из трех упряжек, что шли впереди. Но и те гонщики, нарты которых сбились в кучу у Шестидесятой Мили, не догнали его. Собаки весело и

дружно бежали вперед, подчиняясь малейшему окрику, и управлять ими было легко. Смок лежал ничком, крепко держась за передок. То полный мрак окружал его, то вспыхивал свет костров, возле которых грелись собаки и закутанные в меха люди поджидали своих утомленных хозяев. Он покрывал милю за милей, не слыша ничего, кроме однообразного визга нарт. Нарты то кренились набок, то подскакивали в воздух, налетев на ледяной бугор, то раскатывались на поворотах, но Смока не так-то легко было вытряхнуть в снег. Привычка позволяла ему держаться в нартах без всякого усилия воли, почти машинально.

По временам он забывался, и три лица вставали тогда перед ним без всякой видимой связи: лицо Джой Гастелл, смеющееся и отважное, лицо Малыша, осунувшееся и постаревшее во время гонки по ручью Моно, и лицо Джона Беллью, суровое и непреклонное, как бы выкованное из стали.

Ему хотелось петь и кричать, когда он вспоминал редакцию «Волны», серию рассказов, которую ему так и не удалось окончить, и всю прочую канитель своей прежней бессмысленной жизни.

Уже забрезжил рассвет, когда он сменил утомленных собак на восьмерку свежих мейлемьтов.

Эти легконогие выносливые псы могли бежать быстрее тяжеловесных гудзоновцев и были неутомимы, как настоящие волки. Ситка Чарли назвал Смоку всех его конкурентов, шедших впереди. Первым несся Толстяк Олаф, вторым Аризона Билл и третьим фон Шредер. Это были три лучших гонщика страны. Еще до отъезда Смока весь Доусон держал на них пари, называя их именно в этом порядке. Они оспаривали друг у друга миллион, а поставленные на них суммы в целом достигали полумиллиона. Но ни один человек не поставил на Смока. Несмотря на свои всем известные подвиги, он все еще считался чечако, которому предстоит учиться и учиться. Когда совсем рассвело, Смок заметил перед собой нарты и через полчаса нагнал их. Ездок оглянулся, и Смок поздоровался с ним. Это был Аризона Билл. Очевидно, фон Шредер опередил его. Дорога была так узка, что целых полчаса Смок не мог обскакать его и мчался за ним следом. Но наконец, обогнув огромную ледяную глыбу, они выехали на широкую гладкую дорогу, где стояло много собачьих подстав и снег был хорошо утоптан. Смок вскочил на колени, взмахнул бичом, закричал на собак и полетел рядом с Аризоной Биллом. Тут только он заметил, что правая рука

соперника безжизненно повисла и тот вынужден править левой рукой. Это было страшно неудобно, — бедный Билл не мог держаться левой рукой, и все же ему приходилось бросать бич и хвататься за передок нарт, чтобы не вылететь из них. Смок вспомнил драку на участке номер три и все понял.

Прав был Малыш, советуя ему избегать потасовок.

— Что случилось? — спросил Смок, обгоняя Билла.

— Не знаю. Должно быть, мне вывихнули плечо в драке.

Он отставал медленно, но все же в конце концов отстал на целых полмили. Перед Смоком, почти рядом, шли Толстяк Олаф и фон Шредер. Снова Смок поднялся на колени и выжал из своих замученных собак такую скорость, какую способен выжать только человек, обладающий чутьем настоящего собачьего погонщика. Он подъехал вплотную к задку нарт фон Шредера, и в таком порядке три упряжки выехали на просторную гладь перед торосами, где их ждали люди и свежие собаки. До Доусона оставалось всего пятнадцать миль.

Фон Шредер, разбивший весь путь на десяти-

мильные перегоны, должен был сменить собак через пять миль. Он продолжал гнать своих псов полным ходом. Толстяк Олаф и Смок на лету сменили свои упряжки, и крепкие свежие псы живо догнали ушедшего было вперед барона. Впереди мчался Толстяк Олаф, за ним по узкому следу несся Смок.

— Хорошо, но бывает лучше, — перефразировал Смок выражение Спенсера.

Фон Шредера, теперь отставшего, он не боялся, но впереди шел лучший гонщик страны. Перегнать его казалось невозможным. Много раз Смок заставлял своего вожака сворачивать, чтобы объехать Олафа, но тот неизменно загораживал ему дорогу и уходил вперед. Впрочем, Смок не терял надежды. Никто не проиграл, пока никто не выиграл; впереди еще пятнадцать миль, и мало ли что может случиться.

И действительно, в трех милях от Доусона кое-что случилось. К удивлению Смока, Толстяк Олаф вдруг вскочил на ноги и, отчаянно ругаясь, принялся бешено стегать своих собак. К такому крайнему средству можно прибегать в ста ярдах от финиша, но не в трех милях.

Что за беспощадное избиение! Это значит губить собак, подумал Смок. Его собственная

упряжка полностью оправдала его надежды. На всем Юконе не было собак, которых заставляли бы больше работать, и тем не менее они находились в отличном состоянии. А все благодаря тому, что Смок был неразлучен со своими собаками, ел и спал с ними, знал характер каждого пса в отдельности, умел воздействовать на их разум и заставлял охотно служить себе.

Они проскочили через небольшой торос и снова понеслись по гладкой поверхности. Толстяк Олаф был всего в каких-нибудь пятидесяти футах впереди. Вдруг сбоку выскочили какие-то нарты. Смок все понял. Толстяк Олаф приготовил себе упряжку на смену перед самым Доусоном. Он гнал своих собак для того, чтобы не дать Смоку опередить себя во время смены упряжек. Эта свежая подстава перед самым домом была неожиданностью для всех, сюрпризом, который он тщательно подготовил и держал в строжайшей тайне. Даже большинство его помощников ничего не знало о ней.

Смок бешено погнал свою свору, и ему удалось покрыть те пятьдесят футов, которые отделяли его от соперника. Теперь его вожак поравнялся с коренником Олафа. По другую сторону неслись нарты, предназначенные для смены. При такой

сумасшедшей скорости Толстяк Олаф не решался перескочить на ходу. Если он промахнется и упадет, Смок выиграет состязание.

Толстяк Олаф все еще держался впереди, с необычайным искусством управляя собаками. Но головной пес Смока по-прежнему бежал рядом с его коренником.

Полмили все трое нарт мчались рядом. И только когда ровная дорога подходила к концу, Толстяк Олаф решился наконец на прыжок. Улучив минуту, когда несущиеся нарты почти сомкнулись, он прыгнул, мгновенно опустился на колени, взмахнул бичом, гикнул и погнал свою свежую упряжку. Дальше дорога была так узка, что Смок на время принужден был отказаться от попыток обогнать своего соперника. Но расстояние между ними было не больше одного ярда.

«Человек не побежден, пока его не победят», — говорил себе Смок. Как Толстяк Олаф ни гнал собак, он не мог оторваться от своего преследователя. Ни одна из тех упряжек, которые мчали Смока этой ночью, не могла бы выдержать такой убийственной гонки и соперничать со свежими собаками — ни одна, кроме его собственной. Но и эти выдерживали гонку с трудом, и, огибая утес возле Клондайк-сити, Смок чувствовал, что они

выбиваются из последних сил. Мало-помалу они стали отставать, и Толстяк Олаф фут за футом уходил вперед, пока не оторвался от Смока на целых двадцать ярдов.

Жители Клондайк-сити, вышедшие на лед, восторженно кричали. Здесь Клондайк впадал в Юкон, а в полумиле дальше, на северном берегу, стоял Доусон. Снова раздались бешеные крики, и вдруг Смок, скосив глаза, увидел подъезжающие к нему нарты. Он сразу узнал запряженных в них собак. Это были псы Джой Гастелл. И сама Джой Гастелл погоняла их. Капюшон ее беличьей парки был откинут, и овал ее лица выделялся, словно камея, на фоне темной массы волос. Она скинула рукавицы и в одной руке держала бич, а другой ухватилась за нарты.

— Прыгайте! — крикнула она Смоку, когда их нарты поравнялись.

Смок прыгнул и очутился позади нее. От тяжести его тела нарты накренились, но девушка удержалась на коленях.

— Гей, гей, поддай! Живо! — кричала она, и собаки завыли, изо всех сил стремясь перегнать Толстяка Олафа.

И когда ее вожак поравнялся с нартами Толстяка Олафа и ярд за ярдом стал выдвигаться вперед,

огромная толпа народа на доусонском берегу окончательно обезумела. Толпа и в самом деле была огромная, потому что все золотоискатели на своих речонках побросали кирки и явились сюда, чтобы посмотреть на исход состязания. Конец пробега в сто десять миль — достаточная причина для любых безумств.

— Как только вы его перегоните, я соскочу с нарт! — крикнула Джой через плечо.

Смок попытался протестовать, но безуспешно.

— Не забудьте, что на береговом откосе крутой поворот, — предупредила она.

Обе упряжки бежали рядом. В продолжение минуты Толстяку Олафу с помощью бича и криков удавалось удерживать равновесие. Но вот вожак Джой стал выбираться вперед.

— Возьмите бич, — крикнула девушка, — я сейчас спрыгну!

Он уже протянул руку, чтобы взять бич, как вдруг услышал предостерегающий окрик Толстяка Олафа. Но было уже поздно. Передовой пес Олафа, разъяренный тем, что его обгоняют, кинулся в атаку. Он вонзил клыки в бок вожака Джой. Все собаки обеих соперничающих свор вцепились в глотки друг дружке. Нарты наехали на дерущихся собак и опрокинулись. Смок

вскочил на ноги и стал поднимать Джой. Но она оттолкнула его, крикнув:

— Бегите!

Толстяк Олаф, не теряя надежды на победу, успел убежать футов на пятьдесят вперед. Смок догнал его уже на берегу Доусона. Но на подъеме Толстяк Олаф собрал все свои силы и опять ушел футов на двенадцать вперед.

До конторы инспектора оставалось пять кварталов.

Улица была полна зрителей. Все высыпали на улицу, как на парад. Смоку нелегко было догнать своего рослого соперника, но все же он в конце концов догнал его. Но перегнать не мог. Бок о бок бежали они по узкому проходу в толпе одетых в меха, кричащих людей. То Смок, то Олаф судорожным прыжком выдвигался вперед на какой-нибудь дюйм лишь для того, чтобы сейчас же потерять его.

Если раньше они загоняли до полусмерти своих собак, то теперь они загоняли самих себя. Но ведь их ждал миллион и величайшие почести, какие только возможны в стране Юкона. «Откуда на Клондайке столько народу?» — думал Смок. Это было единственное впечатление от внешнего мира, доходившее до его сознания. Он впервые

видел все население края сразу.

Смок снова начал отставать. Сердце его разрывалось, ног он не чувствовал и, казалось, продолжал бежать помимо своей воли. И помимо своей воли он ценой невероятного усилия опять оказался рядом со своим огромным соперником.

Вот уже и открытая дверь заявочной конторы. Оба сделали последнюю напрасную попытку опередить друг друга. Бок о бок они ввалились в дверь, столкнулись и рухнули на пол конторы.

Им помогли сесть, но встать они были не в силах. Толстяк Олаф задыхался, обливался потом, махал руками и тщетно пытался что-то сказать. Затем он протянул руку, Смок взял ее, и они обменялись крепким рукопожатием.

— Вот это гонка! — как сквозь сон, услышал Смок голос инспектора, показавшийся ему далеким и слабым. — Вы оба выиграли. Вам придется делить между собой заявку. Вы — компаньоны.

Их руки поднялись вверх, потом опустились — в знак того, что это решение утверждено. Толстяк Олаф качал головой, задыхаясь. Наконец ему удалось заговорить.

— Проклятый вы чечако! — выговорил он, но выговорил с восхищением в голосе. — Как это вам удалось — не знаю, но вам удалось!

Контора была переполнена, за дверьми на улице шумела толпа. Смок и Толстяк Олаф помогли друг другу подняться. Ноги едва держали Смока, он шатался как пьяный. Толстяк Олаф, спотыкаясь, шагнул к нему.

— Мне ужасно досадно, что мои собаки напали на ваших!

— Что с ними поделаешь! — ответил Смок. — Я слышал, как вы кричали на них.

— Скажите, — сверкая глазами, вдруг сказал Толстяк Олаф, — ведь эта девушка — дьявольски славная девушка, а?

— Да, дьявольски славная девушка, — согласился Смок.

Смок и малыш

Маленький Карсон

I

— Экий ты упрямец, — ворчал Малыш. — Боюсь я этого ледника. В одиночку его никто на свете не одолеет.

Смок весело засмеялся и смерил взглядом небольшой сверкающий ледник в дальнем конце долины.

— Сейчас уже август, — возразил он, — два месяца, как день пошел на убыль. Ты разбираешься в кварце, а я нет. Вот ты и поищи главную жилу, а я пошел добывать еду. Ну, до скорого. Вернусь завтра к вечеру.

И он зашагал прочь.

— Чует мое сердце, что это добром не кончится! — жалобно крикнул вслед Малыш.

Но Смок только расхохотался в ответ. Он шагал по узкой долине, изредка утирая пот со лба. Ноги его мяли спелую горную малину и хрупкие листья папоротника, что росли тут же, по соседству с островками льда, лежавшего всюду, куда не проникали солнечные лучи.

Ранней весной они с Малышом поднялись по

реке Стюарт и углубились в хаос гор и ущелий, среди которых затерялось Нежданное озеро. Всю весну и половину лета они проблуждали понапрасну и совсем было повернули обратно, как вдруг перед ними впервые блеснуло неуловимое озеро с золотым дном, то самое, что манило и дурачило целое поколение золотоискателей.

Они поселились в старой хижине, которую Смок нашел еще в прошлый свой приход сюда, и вскоре сделали три открытия: во-первых, дно озера сплошь устлано крупными самородками; во-вторых, есть тут места неглубокие, где за золотом можно бы просто нырять, если бы не убийственно холодная вода; и наконец, осушить озеро — задача огромная, не под силу двоим, да еще сейчас, когда уже прошла большая часть короткого полярного лета. Но они не пали духом; судя по неровной, шероховатой поверхности самородков, течение подхватило их где-то неподалеку, — и Смок с Малышом отправились на разведку. Они перебрались через большой ледник, нависший над южным берегом, и начали обследовать головоломный лабиринт небольших долин и ущелий, по дну которых сейчас или же когда-то в прошлом самыми прихотливыми путями сбегали в озеро горные речки, вместо того

чтобы брать в нем начало.

Долина, по которой шел Смок, как и полагается всякой долине, постепенно расширялась; но в дальнем конце ее сдавили две круто поднимающихся вверх каменных стены, а третья, глухая, встала наперерез. У основания этой поперечной стены беспорядочно громоздились обломки скал, и протекавший здесь ручей исчезал бесследно: должно быть, он проложил себе дорогу под землей. Смок взобрался на скалу, преградившую ему путь, и перед ним открылось озеро. В отличие от всех горных озер, какие он видел на своем веку, это озеро не было голубым. Оно было густо-зеленое, цвета павлиньего пера, а это означало, что вода здесь неглубокая и, значит, озеро вполне можно осушить. Со всех сторон вздымались горы, иссеченные льдами скалистые пики и утесы самых причудливых форм и очертаний, — дикий каменный хаос, земля, вставшая дыбом, точно на гравюрах Доре. Все это было так сказочно, так неправдоподобно, что Смоку представилось, будто перед ним не часть нашей разумной планеты, а какой-то космический гротеск. Тут и там в ущельях лежали ледники, почти все небольшие, полуистаявшие, и на глазах у Смока один из более крупных, на северном берегу озера,

пополз и с грохотом и плеском рухнул в воду. За озером, казалось, в какой-нибудь полумиле, — но Смок знал, что это добрых пять миль, — росли несколько елей и стояла хижина. Он присмотрелся внимательнее — нет, ему не померещилось, из трубы поднимался дымок. «Стало быть, еще какие-то люди, сами того не ожидая, набрели на Нежданное озеро», — подумал Смок и, повернув к югу, стал карабкаться по крутому склону.

Перевалив через скалу, он пошел небольшой долиной; под ногами у него расстилался цветочный ковер, в воздухе лениво жужжали пчелы, да и вообще эта долина вела себя вполне разумно: как и полагается, она выходила к озеру. Но через каких-нибудь сто ярдов она уперлась в отвесную стену в тысячу футов вышиной — со стены этой падал горный ручей, разлетаясь облаком мельчайшей водяной пыли.

Тут Смок увидал еще одну струйку дыма, лениво поднимавшуюся в солнечных лучах из-за выступа скалы. Огибая скалу, он услышал легкое постукивание по металлу и в такт стуку — веселое посвистывание. Еще несколько шагов — и он увидел человека, который, зажав между колен башмак подошвой кверху, вбивал в нее шипы.

— Здорово! — окликнул его незнакомец; он

с первого взгляда пришелся Смоку по душе. — Как раз вовремя! Сейчас закусим! В котелке кофе, а вот еще парочка холодных лепешек и немного вяленого мяса.

— Не откажусь! — сказал Смок, усаживаясь напротив. — Последние дни пришлось изрядно поголодать. Но там, подальше, в хижине найдется что поесть.

— Вон в той, за озером? Туда-то я и направляюсь.

— Похоже, что Нежданное озеро становится людным местом, — пожаловался Смок, допивая остатки кофе.

— Да вы шутите? — На лице его собеседника выразилось величайшее изумление.

Смок рассмеялся:

— Оно всех застает врасплох. Вон видите, на северо-западе высокая гряда? Оттуда я увидел его в первый раз. Без всякого предупреждения. Вдруг внизу появилось озеро — все как на ладони. А я уже и искать его перестал.

— Вот и я тоже. Я уже повернул обратно, думал вчера вечером выйти на реку Стюарт, вдруг гляжу — озеро. Если это оно самое и есть, где же тогда Стюарт? И где я плутал все время? А вы как сюда попали? Вас как зовут?

— Беллью. Кит Беллью.

— О, знаю. — Он весь просиял и крепко потряс руку Смока. — Я о вас столько слышал!

— Понимаю, вы следили по газетам за уголовной хроникой, — отшутился Смок.

— Ну нет, — собеседник, смеясь, покачал головой, — только за последними событиями на Клондайке. Вы давно не брились, а то бы я вас сразу узнал. Я ведь был в «Оленьем Роге», когда вы всех провели с рулеткой. Меня зовут Карсон, Энди Карсон. Даже сказать не могу, как я рад с вами познакомиться.

Карсон был худощавый, но жилистый, с живыми черными глазами. Сразу чувствовалось — славный малый и хороший товарищ.

— Стало быть, это и есть Нежданное озеро? — недоверчиво пробормотал он.

— Оно самое.

— И на дне — золото, как масло в горшке?

— Совершенно верно. Вот полюбуйтесь. — Смок вытащил из кармана штук шесть самородков. — Видите? Только нырните — и хоть с закрытыми глазами набирайте пригоршни. Но потом надо пробежать по крайней мере полмили, чтоб согреться.

— Да-а, черт меня побери со всеми потрохами,

обскакали вы меня, — беззлобно ругнулся Карсон, но ясно было, что он огорчен и разочарован. — А я-то думал все сам выскрести, все до донышка. Ну ничего, хоть побывал тут, поглядел — и то развлечение.

— Развлечение! — воскликнул Смок. — Да если мы доберемся до дна, рядом с нами Рокфеллер покажется нищим.

— Но это же все ваше, — возразил Карсон.

— Что вы, что вы! Поймите, сколько лет люди ищут золото, а такого места еще никогда не находили. Чтоб выбрать все, что лежит там, на дне, понадобятся и мои руки, и ваши, и моего компаньона, и всех наших друзей. Да здесь в пол-акре больше золота, чем в Бонанзе и Эльдорадо, вместе взятых. Все дело в том, что озеро необходимо осушить. А на это нужны миллионы. Я боюсь одного: тут столько золота, что, если прямо так, без ограничения, пустить его в ход, оно потеряет всякую цену.

— И вы меня примете… — Карсон был так удивлен, что даже не мог договорить.

— С радостью, — докончил Смок. — Чтобы осушить озеро, понадобится год, если не два, и прорва денег, все, что только удастся собрать. А осушить можно. Я уже тут осмотрелся. Но для

этого потребуются усилия всех и каждого, кто согласится работать по найму, потребуется целая армия рабочих, и прежде всего нужны надежные люди, чтоб было с кем начинать дело. Хотите с нами?

— Хочу ли? Еще бы! Я уже чувствую себя миллионером — даже через ледник перебираться страшно. Как-то, знаете, неохота сейчас сломать себе шею. Жаль, что у меня нет больше шипов. Последний вбил в подметку, как раз когда вы явились. А у вас? Покажите-ка.

Смок вытянул ногу.

— Совсем стерлись! Подошва гладкая, что твой каток! — воскликнул Карсон. — Вы, я вижу, немало отмахали. Погодите минутку, я вытащу часть своих и отдам вам.

Но Смок и слушать не стал.

— Незачем, — сказал он. — У меня припасена веревка, футов сорок, я ее оставил в том месте, где мы с товарищем перебирались в прошлый раз. А с веревкой дело верное.

II

Подъем был трудный и утомительный. Лед, сверкая на солнце, слепил глаза. Смок и Карсон обливались потом и еле переводили дух.

Кое-где лед был сплошь иссечен трещинами и расщелинами, пробираться в таких местах было тяжело и опасно, за час едва удавалось пройти какую-нибудь сотню ярдов. В два часа дня, поравнявшись с небольшим озерцом, образовавшимся на льдине, Смок предложил отдохнуть.

— Где там у вас мясо? — спросил он. — Давайте пожуем. Последнее время я недоедал, и у меня ноги подкашиваются. Ну ничего, самое плохое уже позади: еще триста ярдов, и мы выйдем на скалы. Теперь идти будет легче, остались только две-три скверные расселины и одна — перед крутым выступом — совсем дрянь. Там есть снеговая перемычка, довольно ненадежная, но мы с Малышом все-таки перебрались.

За едой они познакомились ближе, и Энди Карсон поведал Смоку свою историю.

— Я так и знал, что отыщу Нежданное озеро, — говорил он с набитым ртом. — Я должен был его найти. Я прозевал Французские Холмы, Большой Скукум, Монте-Кристо, только и оставалось Нежданное озеро, либо — прощай надежда! Ну, и вот добрался. Моя жена была уверена, что мне повезет. Я и сам не падал духом, но куда мне до нее. Другой такой женщины нет на свете — огонь, золотые руки, никогда не унывает, никого не

боится, прямо для меня создана, стойкая, как кремень, и все такое. Вот поглядите.

Он достал часы, щелкнул крышкой — внутри была вставлена маленькая фотография; Смок увидел женское лицо в ореоле светлых волос и по обе стороны — смеющиеся детские рожицы.

— Мальчики? — спросил он.

— Сын и дочка, — гордо ответил Карсон. — Он на полтора года старше. У нас уже могли бы быть дети побольше, — со вздохом прибавил он, — да пришлось ждать. Жена, понимаете, хворала. Легкие. Но она решила не сдаваться. А что мы знали о таких вещах? Когда мы поженились, я работал в Чикаго, служил на железной дороге. У жены вся родня чахоточная. Доктора в то время еще мало разбирались в туберкулезе. Считалось, что он передается по наследству. У жены в семье он всех перебрал. Заражались друг от друга и даже не подозревали этого. Думали, что так с чахоткой и родились, что такая уж у них судьба. Мы с ней первые два года жили у нее в доме. Я не боялся. В моей семье туберкулеза никогда не бывало. Как вдруг и я заболел. Тут пришлось мне задуматься. Стало быть, это заразительно. Я заразился, потому что дышал одним воздухом с ними.

Мы с женой все это обсудили. Я не пошел к вра-

чу, который всегда их всех лечил, а обратился к специалисту из самых новых. Он подтвердил то, до чего я уже и сам додумался, и посоветовал переехать в Аризону. Снялись мы с места и поехали — без вещей, без гроша. Я нашел работу — стал пасти овец, а жену оставил в городе. Но это город чахоточных, там их полным-полно.

Я-то, конечно, сразу пошел на поправку, потому что день и ночь был на свежем воздухе. Домой по нескольку месяцев не наведывался, но каждый раз замечал, что жене становится все хуже. Она никак не могла оправиться. Но потом мы стали умней. Забрал я ее из города, и она тоже начала со мной пасти овец. Четыре года так прошло — зима ли, лето, холод или жара, дождь, снег, мороз, что бы там ни было, ни разу мы не спали под крышей и все время кочевали с места на место. Видели бы вы, как мы изменились, — загорели дочерна, тощие стали, как индейцы, крепкие, как сыромятный ремень. Наконец мы решили, что уже совсем здоровы, и отправились в Сан-Франциско. И оказывается, рано обрадовались. На второй же месяц у обоих началось кровохарканье. Сбежали мы назад в Аризону, к овцам. Еще два года там прожили. Это нас спасло. Вылечились окончательно. А ее родные все перемерли. Не послушали нас.

Тогда мы поняли, что в городе нам не житье. Излазили все побережье Тихого океана, и больше всего нам полюбился Южный Орегон. Поселились мы там в долине реки Игруньи, развели яблоневый сад. Там на яблоках можно разбогатеть. Только это еще никому невдомек. Добыл я кусок земли — в аренду, конечно, — по сорок долларов за акр. Через десять лет эта земля будет стоить пятьсот долларов акр.

Ну и досталось же нам в ту пору! На такие дела нужны деньги, а у нас для начала не было ни цента. Надо ведь и дом построить и конюшню, надо купить лошадей, плуги и прочее такое. Жена два года проработала учительницей в школе. Потом родился сын. А все-таки мы добились своего. Видели бы вы, какие яблони мы насадили, сотню акров, теперь они уже совсем большие. Но денег это стоило прорву, и платежи по закладной мы просрочили. Потому я и забрался сюда. Жене пришлось остаться дома с детишками и с яблонями. Она хлопочет там, а я тут — будущий миллионер, черт меня дери.

Сияющими глазами он посмотрел на зеленые воды озера за искрящейся кромкой льда, потом еще раз взглянул на фотографию.

— Да, вот это женщина, — пробормотал он. —

Всегда своего добьется. Она просто-напросто не пожелала умереть, вот и пошла пасти овец. А от нее только и оставалось тогда, что кожа да кости да огонек внутри. Она и сейчас худенькая. Толстой она никогда не будет. Но хоть и худенькая, а все равно хороша, милее всех на свете. И когда я вернусь домой и наши яблони начнут приносить плоды, а детишки пойдут в школу, мы с ней поедем в Париж. Я-то не бог весть какого мнения об этом Париже, но ей до смерти хочется туда попасть.

— Что ж, тут хватит золота, чтобы и в Париж съездить, — заверил Смок. — Надо только прибрать его к рукам.

Карсон кивнул, глаза его блестели.

— Вот что я вам скажу. Лучше, чем наш, не найти фруктового сада на всем побережье Тихого океана. И климат прекрасный. Там нам нечего бояться чахотки. У кого было плохо с легкими, тому, знаете, надо быть поосторожнее. Так вот, если вам захочется пустить где-нибудь корни, вы первым делом загляните в нашу долину, непременно! А рыба там как ловится! Ого! Вам не случалось поймать лосося в тридцать пять фунтов весом на самую обыкновенную удочку? Это здорово, дружище, куда как здорово!

III

— Я легче вас на сорок фунтов, — сказал Карсон, — давайте я пойду первым.

Они стояли на краю расселины. Она была огромная, не меньше ста футов в поперечнике, и, видно, образовалась очень давно, — края у нее были не ровные и острые, как у свежей трещины, а обтаявшие, изъеденные временем. В том месте, где стояли Смок и Карсон, края этой ледяной пропасти соединял, точно мост, громадный пласт плотного, слежавшегося снега, наполовину тоже превратившегося в лед. Глаз не достигал нижнего края этой снежной массы, а уж дна расселины и вовсе нельзя было разглядеть. Мост этот подтаивал, обламывался и грозил каждую минуту обрушиться. Видно было, что совсем недавно от него отвалились большие куски, и пока Смок с Карсоном стояли и разглядывали его, снежная глыба весом в добрых полтонны оторвалась и рухнула вниз.

— Не нравится мне это, — сказал Карсон и мрачно покачал головой. — Совсем не нравится. Тем более я теперь миллионер.

— Все равно надо перебраться, — сказал Смок. — Мы почти у цели. Не возвращаться же назад.

И ночевать на льду нельзя. А другой дороги нет. Мы с Малышом все осмотрели на милю вокруг. Правда, когда мы тут проходили, это выглядело еще не так скверно.

— Надо поодиночке. Чур, я первый. — Карсон взялся за смотанную кольцами веревку, которую держал в руках Смок. — А потом уж вы. Я возьму веревку и кирку. Ну-ка, помогите мне спуститься.

Медленно, осторожно он соскользнул вниз, туда, где начиналась снеговая перемычка, и остановился, чтобы окончательно приготовиться к опасному переходу. За спиной у него висел дорожный мешок. На плечи он набросил свернутую широким кольцом веревку, один конец которой был накрепко обмотан у него вокруг пояса.

— Я бы с радостью отдал половину моих миллионов, лишь бы хорошая артель мигом выстроила тут мост, — сказал он, но его лукавая, веселая усмешка говорила, что это только шутка. И он прибавил: — Ничего, перелезу не хуже кошки.

Точно канатоходец, он взял наперевес кирку и длинный шест, который служил ему альпенштоком, осторожно вытянул ногу и сразу отдернул — видно было, что ему нелегко побороть страх.

— Уж лучше бы оставаться бедняком, — весело сказал он. — Если и на сей раз мои миллионы мне улыбнутся, не стану больше в это дело ввязываться. До чего это хлопотно — быть миллионером!

— Пустяки, — ободряюще сказал Смок. — Давайте я пойду первым, я ведь однажды это проделал.

— Но вы на сорок фунтов тяжелей меня, — возразил маленький, щуплый Карсон. — Погодите минутку, сейчас я соберусь с духом. Вот! — И он разом овладел собой. — Да здравствует Игрунья и наши яблони! — провозгласил он и осторожно, легко ступил одной ногой, потом другой. Медленно, рассчитывая каждое движение, он прошел две трети пути. Потом остановился и начал осматривать глубокую яму, через которую ему предстояло перебраться; на дне ее зияла свежая трещина. Смок увидел, как Карсон искоса поглядел вниз, в бездонную пропасть под снежным мостом, и зашатался.

— Выше голову! — повелительно крикнул Смок. — Вниз не смотреть! Так! Вперед!

Карсон повиновался и дошел до конца, ни разу больше не дрогнув. Противоположный край расселины, обтаявший на солнце, был скользкий, но не слишком крутой; Карсон добрался до узкого карниза, повернулся и сел.

— Теперь ваш черед! — крикнул он. — Только не останавливайтесь и не смотрите вниз. Вот что меня чуть не подвело. Шагайте без остановки, в этом вся суть. И пошевеливайтесь. Эта махина того и гляди развалится.

Балансируя своим шестом, Смок двинулся в путь. Ясно было, что мост еле дышит. Снежный пласт под ногами у Смока дрогнул, чуть заметно качнулся, задрожал сильнее. И вдруг раздался громкий треск. Несомненно, позади что-то случилось. Достаточно было посмотреть на потемневшее, напряженное лицо Карсона, чтобы это понять. Откуда-то снизу послышалось далекое слабое журчание и плеск воды, и Смок невольно глянул туда, в мерцающую ледяную бездну. Но тотчас вскинул глаза и уже не смотрел ни вправо, ни влево. Пройдя две трети пути, он оказался перед той же глубокой ямой с трещиной на дне. По острым краям, еще не обтаявшим на солнце, видно было, что трещина образовалась совсем недавно. Он уже готов был перешагнуть через нее, как вдруг края стали медленно расходиться с сухим непрерывным треском. Смок заторопился, широко шагнул, но башмак со стертыми шипами не удержался на противоположном краю ямы. Смок упал ничком и съехал

вниз к самой щели, ноги его уже повисли над пропастью; он совсем провалился бы в нее, если бы, падая, не успел перебросить поперек свой шест и не лег на него грудью. Сердце его бешено забилось, тошнота подступила к горлу. «Почему я больше не падаю?» — мелькнула мысль. Позади что-то трещало, сотрясалось, перемещалось, и шест, на котором повис Смок, дрожал, как натянутая струна. Снизу, из самых недр ледника, донесся глухой, далекий грохот — это обвалившиеся глыбы достигли дна пропасти. Дальний конец снегового моста лишился опоры, середина переломилась, и все же он еще держался, хотя та часть, которую Смок уже миновал, повисла под углом в двадцать градусов. Карсон, прочно усевшись на выступе скалы и изо всех сил упираясь ногами в подтаявший плотный снег, поспешно сматывал и перехватывал рукой обвивавшую его плечи веревку.

— Погодите! — крикнул он. — Не шевелитесь, а то все загремит к чертям.

Он прикинул на глаз расстояние, сорвал с шеи платок, привязал его к веревке, потом вытащил из кармана второй платок. Веревка из связанных намертво упряжных ремней и сплетенных полос сыромятной кожи была легкая и очень прочная.

Карсон ловко метнул ее, и Смок с первого же раза поймал конец. Он хотел тотчас выбраться из щели, но Карсон, который тем временем заново опоясался веревкой, остановил его.

— Обвяжитесь тоже, да покрепче, — скомандовал он.

— Если я упаду, я и вас потяну за собой, — возразил Смок.

В голосе маленького, щуплого Карсона зазвучали металлические нотки.

— Помолчите, — оборвал он Смока. — От вашего крика все это может рухнуть вниз.

— Но если я свалюсь…

— Молчите! Никуда вы не свалитесь. Делайте что вам говорят. Обвяжитесь под мышками, вот так. Покрепче. Так! Вылезайте! А теперь шагайте, но только полегче. Я буду выбирать веревку. Вы знай шагайте. Вот так. Легче! Легче!

Смоку оставалось пройти каких-нибудь десять шагов, и тут мосту пришел конец. Бесшумно, толчками, он заваливался, оседал все ниже.

— Скорей! — крикнул Карсон, торопливо перехватывая руками веревку.

Смок спешил, как только мог. И вот мост рухнул. Смок пальцами впился в край ледяной стены, а все тело его рванулось вниз за снеговой

громадой, ушедшей у него из-под ног. Карсон, сидя на выступе скалы, напрягся, уперся ногами и изо всей мочи потянул веревку к себе. Огромным усилием ему удалось подтащить Смока к верхнему краю стены, но тут он и сам не удержался. Он, как кошка, перевернулся в воздухе, отчаянно цепляясь за гладкий лед, и съехал вниз. Под ним, на другом конце сорокафутовой веревки, так же отчаянно цеплялся за что попало Смок; и прежде чем грохот, донесшийся из бездны, возвестил, что снежная громада достигла дна, оба задержались в своем падении. Карсон первым нашел точку опоры и, изо всех сил натянув веревку, удержал Смока.

Теперь каждый оказался в небольшой впадине; но та ямка, куда попал Смок, была так неглубока, что, как он ни цеплялся за откос, распластавшись на нем всем телом, он неминуемо упал бы, если бы не веревка, — она хоть немного поддерживала его. Он лежал на краю выступа и не мог видеть, что там, ниже. Прошло несколько минут, оба оценивали положение и с необычайной быстротой овладевали искусством прилипать к мокрому и скользкому ледяному склону. Карсон заговорил первым.

— Эй, — окликнул он и еще чуть погодя: — Ес-

ли вы продержитесь минуту сами, я повернусь. Попробуйте.

Смок попытался удержаться без помощи веревки.

— Могу, — сказал он. — Скажите, когда будете готовы. Только поскорее.

— Фута на три ниже есть место, где можно стать, — сказал Карсон. — Я в два счета. Готовы?

— Валяйте!

Это была нелегкая задача — сползти на ярд ниже по крутому скользкому склону, повернуться и сесть; но еще трудней пришлось Смоку: прильнув к ледяной стене, он удерживался на ней огромным напряжением всех мышц, которое с каждой секундой становилось все невыносимее. Он уже чувствовал, что начинает съезжать вниз, но тут веревка натянулась, и, подняв глаза, он увидел Карсона. Карсон был изжелта-бледен, вся кровь отхлынула от его загорелого лица, и Смок мельком подумал, что и сам он, наверно, выглядит не лучше. Тут он увидел, что Карсон нащупывает на поясе нож и руки его трясутся.

«Кончено! — решил Смок. — Малый ошалел от страха. Сейчас перережет веревку».

— Н-ничего, — стуча зубами, выговорил Карсон. — Я не боюсь. Это просто н-нервы, ч-черт их

дери. Сейчас все будет в порядке.

Смок, закинув голову, смотрел на него; весь скорчившись, дрожащий и неловкий, Карсон одной рукой натягивал веревку, на которой повис его спутник, а другой сжимал нож и понемногу выдалбливал во льду зарубки для ног.

— Карсон, — тихо сказал Смок, — вы молодчина. Вы просто молодчина!

Слабая, жалкая улыбка была ему ответом.

— Я всегда боялся высоты, — признался Карсон. — У меня от нее голова кружится. Я минутку передохну, ладно? А потом вырублю ямки поглубже, для упора, и вытащу вас.

У Смока потеплело на душе.

— Слушайте, Карсон, — сказал он. — Вы должны перерезать веревку. Все равно вам меня не вытащить, зачем же пропадать обоим. Нож у вас есть. Перережьте веревку.

— Молчите! — возмущенно оборвал его Карсон. — Вас никто не спрашивает.

Смок не мог не заметить, что гнев благотворно подействовал на нервы Карсона. Зато для его собственных нервов было жестоким испытанием лежать вот так и ждать, прижимаясь ко льду и напрягая все силы, чтобы не упасть.

Стон и окрик: «Держись!» — предупредили его

об опасности. Сделав нечеловеческое усилие, он вжался лицом и всем телом в лед, почувствовал, как ослабла веревка, и понял, что Карсон скользит вниз, к нему. Он не смел поднять глаза; потом веревка опять натянулась — Карсон снова нашел опору.

— Еще немного — и была бы крышка, — прерывающимся голосом сказал Карсон. — Съехал на целый ярд. Теперь погодите. Мне надо опять сделать зарубки. Проклятый лед уж очень слаб, а то мы давно бы вылезли.

Левой рукой он натянул веревку, помогая Смоку держаться, а правой долбил лед. Так прошло минут десять.

— Вот слушайте, что я сделал! — крикнул Карсон. — Я выдолбил вам зарубки для ног и для рук, чтобы мы могли стоять рядом. Я буду понемногу тянуть веревку, а вы лезьте сюда, только не торопитесь. И первым делом вот что: избавьтесь-ка от своего мешка, я вас пока удержу на веревке. Понятно?

Смок кивнул и медленно, осторожно отстегнул ремни. Потом повел плечами, высвобождаясь, и Карсон увидел, как мешок соскользнул вниз и исчез за ледяным выступом.

— Теперь я избавлюсь от своего! — крикнул он

Смоку. — Потерпите еще немного!

Через пять минут начался трудный, мучительный подъем. Смок насухо вытер ладони о подкладку рукавов и впился руками в лед; он полз, карабкался, цеплялся, распластывался на этой скользкой круче, поддерживаемый натянутой веревкой. Без помощи Карсона он не поднялся бы ни на дюйм. Хотя он был много сильнее, но зато и тяжелее на сорок фунтов, а потому не мог так цепко держаться на крутизне. Треть пути осталась позади; подъем стал еще круче, а ледяная поверхность, меньше тронутая солнцем, еще более скользкой, и тут Смок почувствовал, что веревка уже не тянет его вверх с прежней силой. Он полз все медленнее, медленнее. Остановиться и передохнуть было негде. Он выбивался из сил, но все же поневоле остановился — и тотчас снова заскользил вниз.

— Падаю! — крикнул он.

— Я тоже, — сквозь зубы отозвался сверху Карсон.

— Тогда бросьте веревку!

В ответ веревка натянулась было в тщетном усилии, потом Смок покатился вниз еще быстрей; он миновал яму, откуда недавно выбрался, и свалился за ледяной бугор. Падая, он в последний

раз мельком увидел Карсона: сбитый с ног, Карсон неистово цеплялся за что попало, пытаясь удержаться. Смок был уверен, что летит в пропасть, но, к его удивлению, этого не случилось. Веревка все еще поддерживала его, он скользил по крутизне, но очень скоро скат стал более отлогим, падение замедлилось, и наконец Смок очутился в новой впадине, задержанный новым бугром. Карсона он теперь не видел — Карсон оказался в той самой впадине, которую прежде занимал Смок.

— Ну-ну, — дрожащим голосом сказал Карсон. — Ну и ну!

Стало тихо. Потом веревка заколебалась.

— Что вы делаете? — окликнул Смок.

— Зарубки для рук и для ног, — нетвердо, запинаясь, отвечал Карсон. — Вот погодите. Я вас живо вытащу. Вы не смотрите, что я заикаюсь. Это просто от волнения. А вообще я ничего. Вот увидите.

— Вы все силы на меня тратите, — сказал Смок. — Лед тает, еще немного — и вы свалитесь вместе со мной. Вам надо это бросить. Слышите? Незачем нам обоим погибать. Понятно? Вы молодчина, каких нет на свете, прямо герой. Но вы бьетесь понапрасну. Бросьте меня.

— Молчите. На этот раз я сделаю зарубки поглубже, тут не то что человек — и лошадь станет. Целая упряжка.

— Довольно уж вы меня тянули, — настаивал Смок. — Бросьте!

— Сколько раз я вас вытягивал? — грозно спросил Карсон.

— Много раз, и совершенно зря. Вы из-за этого только сами съезжаете все ниже.

— Зато учусь действовать вернее. Я до тех пор буду вас тянуть, пока мы отсюда не выберемся. Поняли? Видно, Господь Бог знал, что делал, когда создал меня легковесом. Ну, теперь помолчите. Я занят.

Несколько минут прошло в молчании. Смок слышал, как стучит и звенит, ударяя по льду, лезвие ножа, ледяные осколки перелетали к нему за бугор. Смока мучила жажда; цепляясь руками и ногами за откос, он губами ловил эти мелкие льдинки, давал им растаять во рту и жадно глотал.

Он услышал, как охнул и потом в отчаянии простонал Карсон; веревка ослабла, и Смок изо всей силы вцепился в лед. Но тотчас веревка снова натянулась. Смок поднял глаза: из-за бугра показался нож и скользнул к нему по крутому

склону, острием вперед. Смок зажал его щекой, содрогнулся от пореза, но тут же зажал крепче, и нож остановился.

— Экий я ротозей! — огорченно вскрикнул Карсон.

— Ничего, я его поймал, — успокоил Смок.

— Да ну? Постойте-ка! У меня в кармане сколько угодно бечевки. Я вам ее спущу, и вы привяжете нож.

Смок не ответил, охваченный вихрем противоречивых мыслей.

— Эй, вы там! Вот вам бечевка. Скажите, когда поймаете.

Маленький перочинный ножик, привязанный к бечевке вместо груза, заскользил по льду. Смок поймал его, одной рукой и зубами торопливо открыл большое лезвие и попробовал — острое ли. Потом привязал к бечевке большой нож и крикнул Карсону:

— Тащите!

Нож ушел вверх. Смок не сводил с него глаз. Но он видел не только нож, перед глазами его стоял маленький, щуплый человечек, испуганный и все же непреклонный: он дрожит, стучит зубами, голова у него кружится, и однако он умеет побороть страх и отчаяние и ведет себя героем. С тех

пор как Смок повстречался с Малышом, ни один человек так сразу не пришелся ему по сердцу, как Карсон. Да, этот поистине вскормлен мясом, это настоящий друг — готов погибнуть за тебя, и твердость духа такая, что самый жестокий страх ее не поколеблет. И однако Смок трезво оценивал положение. Обоим им не спастись. Медленно, но верно они сползают в пропасть, — он, Смок, тяжелее, и он тащит за собой Карсона. Карсон — легкий и цепкий, как муха. Оставшись один, он спасется.

— Ай да мы! — донесся голос из-за бугра над головой Смока. — Теперь все в порядке, выберемся в два счета!

Он так старался, чтоб голос его звучал бодро и уверенно! И Смок принял решение.

— Слушайте, — заговорил он твердо; откуда-то выплыло лицо Джой Гастелл, но Смок силился прогнать это видение. — Я отправил вам наверх нож, с ним вы отсюда выберетесь. Понятно? А перочинным ножиком я перережу веревку. Лучше спастись одному, чем погибнуть обоим, понятно?

— Спастись обоим или никому. — В дрожащем голосе Карсона была непоколебимая решимость. — Только продержитесь еще минутку…

— Я и так держусь слишком долго. Я человек одинокий, никто меня не ждет — ни славная худенькая женушка, ни детишки, ни яблони. Понятно? Ну и шагайте подальше отсюда.

— Погодите! Бога ради, погодите! — закричал Карсон. — Не смейте! Дайте мне вас вытащить! Спокойнее, дружище. Мы с вами выкарабкаемся. Вот увидите. Я тут таких ям понарою, что в них влезет целый дом и конюшня в придачу.

Смок не ответил. Как завороженный следя глазами за ножом, он старательно, неторопливо стал перерезать веревку — и вот одна из трех узких полосок сыромятной кожи лопнула, и концы ее разошлись.

— Что вы делаете? — отчаянно закричал Карсон. — Если вы ее перережете, я вам никогда не прощу, никогда! Спасаться — так обоим или никому, слышите? Мы сейчас выберемся. Только подождите! Ради Бога!

И Смок, не сводивший глаз с перерезанного ремешка, ощутил безмерный, обессиливающий страх. Он не хотел умирать! Пропасть, зияющая внизу, приводила его в ужас, и с перепугу он ухватился за бессмысленную надежду: может быть, отсрочка окажется спасительной… Страх толкал его на уступку.

— Ладно, — откликнулся он. — Я подожду. Делайте что можно. Но так и знайте, Карсон, если мы опять поползем вниз, я перережу веревку.

— Тише вы! И не думайте про это. Уж если поползем, дружище, так только вверх. Я прилипаю, как пластырь. Я мог бы удержаться, будь тут хоть вдвое круче. Для одной ноги вам уже вырублена солидная ямина. Теперь помолчите, а я буду работать.

Потянулись долгие минуты. Стараясь ни о чем больше не думать, Смок прислушивался к ноющей боли в пальце, на котором задралась заусеница. Надо было еще утром ее срезать, она уже и тогда мешала; ничего, как только выберемся из этой щели, сейчас же срежу, — решил Смок. И вдруг он увидел этот палец и заусеницу другими глазами. Пройдет еще минута, в лучшем случае десять, двадцать минут, и заусеница, и этот крепкий, гибкий, подвижный палец, быть может, станут частью искалеченного трупа на дне пропасти. Смоку стало страшно, и он возненавидел себя за малодушие. Нет, храбрые люди, те, что едят медвежатину, сделаны из другого теста! От гнева, от презрения к себе он готов был взмахом ножа рассечь веревку. Но страх заставил его опустить нож, и, дрожа, обливаясь потом, он

опять прильнул к скользкому откосу.

Он старался уверить себя, будто весь дрожит от того, что промок насквозь, прижимаясь к тающему льду; но в глубине души он знал, что не в этом дело.

Он услышал вскрик, стон, и веревка вдруг ослабла. Смок начал сползать вниз. Он скользил медленно, очень медленно. Веревка опять натянулась. Но Смок все-таки скользил вниз. Верный Карсон не мог удержать его и сам скользил вместе с ним. Вытянутая нога Смока повисла в пустоте, и он почувствовал, что сейчас рухнет в бездну. Еще секунда — и он, падая, увлечет за собой Карсона.

В этот краткий миг он с пронзительной ясностью понял, что единственно правильно, — и, уже не думая, поборов страх смерти, страстную волю к жизни, наотмашь провел лезвием по веревке, увидел, как она порвалась, почувствовал, что скользит все быстрее… падает…

Что было дальше, он так и не понял. Сознание он не потерял, но все произошло слишком быстро и внезапно. Он должен был разбиться насмерть, но нет — почти тотчас под ногами плеснуло, он с размаху шлепнулся в воду, и холодные брызги обдали ему лицо. Сперва Смок вообразил, что расселина совсем не так глубока, как казалось, и

он благополучно достиг дна. Но сейчас же понял свою ошибку. Противоположная стена пропасти была в десяти или двенадцати футах от него. Он сидел в небольшом водоеме, образовавшемся на ледяном уступе от того, что выше, где лед торчал бугром, таяла, сочилась, капала вода и струйки ее, падая с высоты в десять футов, выдолбили здесь впадину. В том месте, куда свалился Смок, глубина была фута два, и вода доходила до краев. Смок заглянул за край: узкая расселина уходила вниз на многие сотни футов, и на дне ее пенился бурный поток.

— Ох, что вы сделали! — с ужасом крикнул Карсон.

— Послушайте, — отозвался Смок, — я цел и невредим, сижу по горло в воде. Наши мешки тоже тут. Сейчас я на них сяду. Тут хватит места еще человек на шесть. Если начнете скользить, держитесь поближе к стене — как раз сюда попадете. А лучше выбирайтесь отсюда. Идите в ту хижину. Там кто-то есть. Я видел дым. Достаньте веревку или что-нибудь, что может сойти за веревку, возвращайтесь и выудите меня отсюда.

— А вы правду говорите? — недоверчиво переспросил Карсон.

— Чтоб мне провалиться, если вру. Но только

поскорее, а то как бы мне не схватить насморк!

Стараясь согреться, Смок стал каблуком пробивать во льду спуск для воды. К тому времени, как вся вода вылилась, он услышал далекий голос Карсона, который сообщал, что он благополучно выбрался наверх.

Потом Смок стал сушить свою одежду. Под теплыми лучами послеполуденного солнца он все снял с себя, выжал и разостлал вокруг. Спички в непромокаемой коробке не пострадали от воды. Смок ухитрился просушить щепотку табаку, клочок рисовой бумаги и свернул самокрутку-другую.

Часа два он просидел нагишом на мешках, курил, и вдруг наверху послышался так хорошо знакомый ему голос:

— Смок! Смок!

— Мое почтение, Джой Гастелл! — отозвался он. — Откуда вы взялись?

— Вы сильно разбились?

— Ни царапины!

— Отец спускает вам веревку, вы видите ее?

— Да, я ее уже ухватил, — ответил Смок, — пожалуйста, подождите минуту.

— Что с вами? — тревожно спросила она немного погодя. — Вы, наверно, ранены?

— Вовсе нет. Я одеваюсь.

— Одеваетесь?

— Да. Я тут искупался. Ну вот. Готово? Тяните.

Сначала он отправил наверх мешки, за что Джой Гастелл сердито отчитала его, и лишь после этого дал вытащить себя.

Джой Гастелл смотрела на Смока сияющими глазами; ее отец и Карсон сматывали веревку.

— Как вы решились перерезать веревку? — воскликнула Джой. — Это великолепно, это… это настоящий подвиг!

Смок отмахнулся от похвал. Но Джой стояла на своем:

— Я знаю все. Карсон мне рассказал. Вы пожертвовали собой, чтобы спасти его.

— И не думал, — солгал Смок. — Я давно видел, что тут меня ждет отличный бассейн, и решил искупаться.

Как вешали Калтуса Джорджа

I

Их путь вел в гору по глубокому, рассыпчатому снегу, на котором не видно было ни единого следа нарт или мокасин. Смок шел впереди, приминая хрупкие снежные кристаллы широкими короткими лыжами. Это тяжкий труд, тут требуются здоровые легкие и крепкие мускулы, и Смок не щадил себя. Позади, по проложенному им следу, двигалась упряжка из шести собак; клубы пара поднимались от их дыхания, свидетельствуя о том, как нелегка их работа и как силен мороз. Между коренником и нартами бежал Малыш — он налегал на шест, управляя собаками, и помогал им тянуть нарты. Каждые полчаса он и Смок менялись местами, потому что прокладывать дорогу было еще трудней и утомительней, чем править.

И люди и собаки пустились в путь со свежими силами. Они умело справлялись со своей нелегкой задачей — среди зимы, по снежной целине, пробираться через перевал. В таких трудных условиях хорошо, если удается за день пройти

десять миль. Им это удавалось, но к вечеру, когда можно было наконец лечь и уснуть, завернувшись в мех, Смок и Малыш изрядно уставали. Шесть дней назад они покинули людный лагерь Муклук на Юконе. В первые два дня они с тяжело нагруженными нартами прошли пятьдесят миль вверх по Лосиному ручью накатанной дорогой. А потом началась борьба с целиной, где слоем в четыре фута лежал даже не снег, а тончайшая морозная пыль, — кристаллы ее не слипались друг с другом, и она, сухо шелестя, рассыпалась под ногами, точно сахарный песок. За три дня они одолели еще тридцать миль — поднялись по ручью Колюшки, миновали несколько неглубоких долин, по которым текли на юг ручьи, впадающие в реку Сиваш. Теперь они направлялись мимо Лысых Холмов к горной гряде, за которой по ручью Дикобраза можно было выйти к среднему течению реки Молочной. По слухам, в верховьях реки Молочной были залежи меди. Туда они и шли — к горе из чистой меди, а идти к ней надо мимо того места, где река Молочная вырывается из глубокого ущелья и исчезает в густом лесу, потом у первого же ручья свернуть вправо и подняться на полмили вверх по течению. Стоит только увидеть это место — и они его

сразу узнают. Одноглазый Маккарти описал его совершенно точно. Заблудиться невозможно — разве что Маккарти наврал.

Смок шел впереди; редкие хилые елки попадались все реже, становились все мельче, и вдруг он заметил на самой дороге давно высохшую, мертвую ель. Слова были излишни. Смок только взглянул на Малыша, и в ответ раздалось зычное: «Стой!» Собаки послушно остановились и стали как вкопанные; Малыш принялся распрягать, а Смок накинулся с топором на мертвое дерево; собаки тут же улеглись на снег и свернулись в клубок, плотно укрыв пушистым хвостом не защищенные шерстью лапы и заиндевевший нос.

Люди работали с быстротой, какую дает только долгий опыт. Скоро в лотке для промывки золота, в кофейнике и в кастрюле уже таял снег. Смок вытащил из нарт брусок вареных замороженных бобов с щедро нарезанными кубиками свинины и сала, — оставалось только разогреть их. Он расщепил брусок топором, точно полено, и бросил куски на сковороду, чтобы они оттаяли. Промерзшие насквозь сухари тоже пришлось отогревать. Через каких-нибудь двадцать минут уже можно было приниматься за еду.

— Градусов сорок, — сказал Малыш с полным

ртом. — Только бы не стало холоднее. Да и теплее тоже ни к чему. Самая подходящая погода, когда надо прокладывать тропу.

Смок не ответил, у него тоже был полон рот бобов; усердно жуя, он мельком взглянул на вожака упряжки, лежавшего поодаль. Серый с сединой пес смотрел на него пристально, задумчиво, с бесконечной тоской, которая так часто туманит глаза северных собак. Этот загадочный, гипнотизирующий взгляд был хорошо знаком Смоку и всегда волновал его. Словно стараясь стряхнуть оцепенение, Смок отставил свою тарелку и кружку кофе, подошел к нартам и стал развязывать мешок с вяленой рыбой.

— Эй, — окликнул Малыш, — ты что это делаешь?

— Нарушаю все законы, порядки, обычаи и правила пути, — ответил Смок. — Хочу один-единственный раз накормить собак среди дня. Они здорово поработали, и им еще предстоит тащить нарты в гору. А главное, Быстрый сейчас поговорил со мной, он глазами сказал мне такое, чего не рассказать словами.

Малыш недоверчиво засмеялся:

— Смотри, разбалуешь собак. Скоро ты им начнешь маникюрить лапы. Я еще присоветую

кольдкрем и электрический массаж — для ездовых собак это самое подходящее. И турецкая баня им тоже не повредит.

— Никогда я их днем не кормил, — защищался Смок. — И больше не буду. Только сегодня. Такая блажь на меня нашла.

— А, это у тебя сердце что-то чует, — сказал, мгновенно смягчаясь, Малыш. — Ну, тогда другое дело. Если человеку сердце подсказывает, это уж всегда надо исполнять.

— Это не предчувствие, Малыш. Просто Быстрый так подействовал на мое воображение. Он мне в одну минуту столько сказал глазами, что я не вычитал бы в книгах и за тысячу лет. В его взгляде скрыты все тайны бытия. Они там прямо кишат. Беда в том, что я уж было уловил их — и вдруг опять упустил. Я не стал умней, чем прежде, но я побывал у истоков мудрости. — Смок на минуту умолк. — Не могу тебе объяснить, — прибавил он, — но в глазах этого пса скрыто многое: они рассказывают, что такое жизнь и весь ее ход, и звездная пыль, и силы вселенной, и все прочее — понимаешь, все.

— Ну а попросту говоря, это у тебя сердце что-то чует, — упрямо повторил Малыш.

Смок бросил собакам по вяленому лососю; он

ничего не ответил, только головой покачал.

— Говорю тебе, Смок, — настаивал Малыш, — это не к добру. Что-то сегодня случится. Сам увидишь. И тогда будет видно, к чему она, эта рыба.

— Вот ты и объясни, к чему она.

— Не могу. Время покажет. И знаешь, что я тебе скажу? Твое сердце моему весть подает. Ставлю одиннадцать унций золота против трех зубочисток, что я прав. Уж когда у меня предчувствие, я не боюсь ему верить.

— Лучше ты спорь на зубочистки, а я на золото, — возразил Смок.

— Ну нет. Это уж будет чистый грабеж. Выиграю-то я. Я уж знаю, когда у меня предчувствие, я это всей кожей чую. Еще до вечера что-то случится, вот увидишь, и тогда эта самая рыба покажет, что она такое значит.

— Чертовщина какая-то, — презрительно фыркнул Смок, которому надоела эта болтовня.

— Да, уж это будет чертовщина, — не остался в долгу Малыш. — Спорю, будет самая что ни на есть чертовщина. Ставлю еще одиннадцать унций против трех зубочисток.

— Идет, — сказал Смок.

— И я выиграю! — победоносно сказал Ма-

лыш. — За тобой зубочистки из куриных перьев!

II

Через час они одолели перевал, спустились мимо Лысых Холмов в узкое изогнутое ущелье и вышли на крутой широкий откос, ведущий к ручью Дикобраза. Малыш, шедший впереди, вдруг замер на месте, и Смок криком остановил собак. По откосу медленно, еле волоча ноги, поднималось странное шествие, растянувшееся на добрую четверть мили.

— Плетутся, как на похоронах, — заметил Малыш.

— И ни одной собаки, — сказал Смок.

— Верно. Вон двое тащат нарты.

— А там один упал, видишь? Что-то неладно, Малыш. Смотри, тут не меньше двухсот человек.

— Шатаются все, как пьяные. Вон еще один свалился.

— Целое племя. И дети.

— Смок, а ведь я выиграл, — объявил Малыш. — Вот оно, предчувствие, тут и спорить нечего. Это оно самое и есть. Ты погляди: прямо толпа мертвецов!

Заметив двух путников, индейцы с диким воплем радости ускорили шаг.

— Что и говорить, они порядком выпили, — сказал Малыш. — Видишь, так и валятся с ног.

— Посмотри, какое лицо у этого, впереди, — возразил Смок. — Они голодные, вот что. Они съели своих собак.

— Как же быть? Удирать, пока целы?

— И бросить нарты и собак? — с упреком сказал Смок.

— Если мы не удерем, они нас слопают. Смотри, до чего они голодные… Эй, приятель! Что с вами стряслось? Не смотри так на собаку. Она не пойдет в котел, понятно?

Индейцы, шедшие впереди, окружили их, послышались стоны и жалобы на непонятном наречии. Ужасное, фантастическое зрелище, подумал Смок. Никаких сомнений, это голод. Лица у индейцев были страшно исхудалые, с глубоко ввалившимися щеками, — не лица, а обтянутые кожей черепа. Все новые и новые живые скелеты подходили, теснились к Смоку и Малышу, и наконец эта дикая орда окружила их сплошной стеной. Одежда из шкур, вся в лохмотьях, была изрезана ножом, и Смок быстро понял почему: он увидел, как тощий, высохший ребенок, привязанный к спине матери, сосет и мнет беззубыми деснами грязную полоску оленьей шкуры. Другой

мальчуган усердно жевал обрывок ремня.

— Назад! Не подходите! — завопил Малыш, вновь переходя на английский после безуспешных попыток объясниться при помощи немногих известных ему индейских слов.

Мужчины, женщины и дети, шатаясь и покачиваясь на нетвердых ногах, обступали их все теснее, отовсюду смотрели обезумевшие глаза, слезящиеся от слабости и горящие алчным огнем. Какая-то женщина со стоном шагнула мимо Малыша, повалилась на нарты и жадно вцепилась в них. За ней последовал старик — задыхаясь, ловя ртом воздух, он трясущимися руками пытался развязать ремни и добраться до тюка с провизией. Молодой индеец с обнаженным ножом в руке тоже кинулся было к нартам, но Смок отшвырнул его. Толпа все напирала, началась свалка.

Сперва Смок и Малыш просто отталкивали, отбрасывали обезумевших от голода индейцев. Потом пустили в ход рукоятку кнута и кулаки. А вокруг рыдали и всхлипывали женщины, дети. Ремни, привязывающие груз к нартам, были уже перерезаны в десятке мест. Под градом пинков и ударов индейцы подползали по снегу и пытались вытащить тюки с едой. Приходилось хватать их и отбрасывать прочь. Они были так слабы, что

поминутно падали от малейшего толчка. И при этом они даже не пробовали отбиваться от двух путников, которые не подпускали их к нартам.

Индейцы совсем обессилели от голода, только поэтому они и не опрокинули Смока и Малыша. В пять минут сплошная стена нападающих рассыпалась на кучки поверженных в схватке — они жалобно стонали, бормотали что-то, корчась на снегу, ныли и хныкали, а их расширенные, полные слез глаза прикованы были к мешкам с пищей, которая одна могла спасти им жизнь, и на губах выступала голодная слюна. В воздухе стоял стон, это плакали женщины и дети.

— Замолчите! Да молчите же! — вопил Малыш, затыкая уши и тяжело дыша от усталости. — Ах, ты! Вот ты как! — крикнул он вдруг и, кинувшись вперед, выбил нож из рук индейца, который подполз к нартам и хотел перерезать горло вожаку упряжки.

— Вот ужас… — пробормотал Смок.

— Уф, жарко! — отозвался Малыш. Выручив Быстрого, он снова подошел к товарищу. — Я прямо взмок весь. Что ж нам делать с этой инвалидной командой?

Смок покачал головой, а затем решение задачи пришло само. К ним подполз индеец; единствен-

ный глаз его был обращен не на нарты, а на Смока, и Смок увидел в этом взгляде усилие крепнущей мысли. Другой глаз заплыл, под ним вздулась шишка — Смок вспомнил, что это его рук дело. Индеец приподнялся на локте и заговорил:

— Я Карлук. Я хороший сиваш. Я видел много-много белые люди. Я много-много голодный. Все сиваши много-много голодный. Все сиваши не видал белые люди. Я видал. Я теперь сытый будет. Все сиваши сытый будет. Мы купить еду. У нас золото, много-много. Еды нет. Лето было — в реку Молочную лосось не пришел. Зима была — олень не пришел. Еды нет. Я говорил всем сивашам — много-много белые люди пришел на Юкон. У белые люди еда, много-много. Белые люди любят золото. Возьмем золото, пойдем на Юкон, белые люди дать еду. Много-много золота. Я видал, белые любят золото.

Он взялся за висевший у пояса мешок и костлявыми пальцами стал его развязывать.

— А, черт! — вне себя прервал индейца Малыш. — Вели всем скво, вели пискунам, пускай перестанут орать!

Карлук обернулся и крикнул что-то плачущим женщинам. Мужчины, услышав его окрик, в свою очередь, повелительно возвысили голос, и

понемногу женщины затихли и успокоили детей. Карлук оставил на время свой мешок, поднял в воздух руку и растопырил пальцы; он повторял этот жест снова и снова.

— Вот сколько людей умерло, — сказал он.

И Смок подсчитал, что семьдесят пять человек из племени унесла голодная смерть.

— Я куплю еду, — сказал Карлук. Он развязал наконец свою поклажу и вытащил большой кусок тяжелого металла. Другие последовали его примеру, со всех сторон протягивались руки с такими же кусками металла. Малыш смотрел во все глаза.

— Боже праведный! — воскликнул он. — Медь! Самая обыкновенная красная медь! А они думают, это золото!

— Золото, — убежденно повторил Карлук, уловив главное в возгласе Малыша.

— Бедняги, они верили, что в этом их спасение, — пробормотал Смок. — Посмотри, этот кусок весит фунтов сорок. У них тут сотни фунтов, и они тащили эту тяжесть, хотя сами еле бредут. Вот что, Малыш. Мы должны их накормить.

— Ха! Легко сказать. А ты считать не разучился? У нас еды только на месяц. Вот и прикинь: шесть порций помножить на тридцать — будет

сто восемьдесят. А тут двести индейцев, и у всех отличный аппетит. Как это, черт возьми, мы ухитримся накормить их хотя бы по одному разу?

— А собачий корм? — отозвался Смок. — Двести фунтов вяленой лососины очень выручат. Мы должны их накормить. Понимаешь, они верят, что белые им помогут.

— Ясно, мы не можем просто так их бросить, — согласился Малыш. — Да, неприятная работенка нам с тобой предстоит. Уж и не знаю, что хуже. Одному надо слетать в Муклук за подмогой. Другой останется командовать всем этим лазаретом, и его почти наверняка самого слопают. Не забывай, пожалуйста, мы шесть дней сюда добирались. Даже если гнать налегке и ничего в дороге не помешает, все равно быстрей чем за три дня не обернешься.

Минуту Смок соображал и прикидывал, каковы были эти пройденные ими мили и в какой срок он их одолеет, если напрячь все силы.

— Я буду там завтра к вечеру, — заявил он.

— Идет, — бодро согласился Малыш. — А я останусь тут, и они меня скушают.

— Но я возьму по рыбине для собак и на один раз еды для себя, — прибавил Смок.

— Ясно. Ведь в Муклуке ты будешь завтра к ве-

черу, не раньше.

Смок через Карлука изложил индейцам свой план.

— Разведите костры, длинные костры, много костров, — сказал он в заключение. — В Муклуке много белых людей. Белые люди — хорошие люди. У них много еды. Пройдет пять снов, и я вернусь, привезу много еды. Вот этот человек — мой очень хороший друг, его зовут Малыш. Он остается здесь. Он большой начальник, ясно?

Карлук кивнул и перевел слова Смока остальным.

— Вся еда остается здесь, — сказал Смок. — Малыш будет раздавать еду. Он начальник, ясно?

Карлук перевел, и индейцы кивками и гортанными возгласами выразили свое одобрение.

Смок не уезжал и распоряжался всем, пока дело не пошло на лад. Все, кто мог двигаться, шатаясь или хотя бы ползком, собирали хворост и сучья. Потом развели длинные костры, какие разжигают индейцы, чтобы можно было всем усесться у огня. Малыш с десятком помощников взялся за стряпню; наготове у него была короткая дубинка: голодные нетерпеливы, то одному, то другому приходилось давать по рукам. Женщины усердно растапливали снег в каждой посудине, какую

только удалось для этого приспособить. Первым делом все получили по крошечному ломтику сала, а затем — по ложке сахару, чтоб хоть немного притупить голод. Вскоре на кострах, кольцом окружавших Малыша, во множестве котелков варились бобы, а сам Малыш, строго следя, как бы кто не схватил лишней порции, наскоро пек и раздавал тончайшие оладьи.

— Я тут разведу знатную стряпню, — сказал он на прощание Смоку, — а ты знай гони. Туда рысью, а оттуда галопом. Сегодняшний день и завтрашний у тебя — чтобы добраться туда и еще три дня на обратную дорогу. Завтра они у меня доедят последнюю рыбу, а потом три дня у них не будет во рту ни крошки. Так что гони вовсю, Смок. Гони вовсю.

Но хотя Смок и отправился налегке, погрузив на нарты всего-навсего шесть вяленых лососей, два фунта замороженных бобов с беконом да меховое одеяло, а все-таки ехать ему пришлось не слишком быстро. Вместо того чтобы сидеть на нартах и погонять собак, он вынужден был все время работать шестом, направляя и выравнивая нарты. А ведь позади был длинный день. И Смок и собаки немало поработали и порядком измучились. Уже наступили долгие полярные

сумерки, когда он одолел перевал и оставил за собой Лысые Холмы.

Но вот путь пошел под гору, и собаки побежали веселее; время от времени Смок даже вскакивал на нарты и гнал во всю мочь, заставляя собак делать по шесть миль в час. Темнота подкралась незаметно, и он заплутался — поехал по широкой долине, где протекал какой-то неизвестный ему ручей; потом ручей пошел петлять по равнинам, и Смок для скорости решил не следовать его капризному течению, а срезать напрямик. И уже в полной тьме ему пришлось вернуться к руслу и заново нащупывать дорогу. Час прошел в бесплодных поисках. Убедившись, что дальше плутать безрассудно, Смок развел костер, бросил собакам по половинке лосося и свои бобы тоже разделил пополам. Потом лег и завернулся поплотнее в мех. Засыпая, Смок все же успел сообразить, где он. На последней широкой равнине ручей разделялся на два рукава. Срезая напрямик, Смок сбился с дороги. Сейчас он находился на главном русле, за милю от той тропы, по которой они с Малышом шли накануне. Эта тропа пересекала долину, узкий проток, выходила на другой берег и дальше вела к невысокому подъему.

Едва забрезжил рассвет, Смок, не проглотив ни

куска, отправился в путь: надо было протащиться милю вверх по течению, чтоб выйти на тропу. Человек и собаки, голодные, без передышки, восемь часов кряду пробирались напрямик, пересекая многочисленные мелкие ручьи и одолевая невысокие перевалы, потом спустились по ручью Колюшки. К четырем часам дня, когда уже стало быстро темнеть, Смок выбрался на Лосиный ручей, по которому бежала плотно укатанная дорога. Оставалось пройти пятьдесят миль. Смок остановил нарты, развел огонь, бросил собакам по оставшейся половине лосося, разогрел и съел свой фунт бобов. Потом прыгнул на нарты, заорал собакам: «Вперед!» — и они с силой налегли на лямки.

— Живо, звери! — кричал он. — Вперед! Живо, если хотите лопать! В Муклуке еды сколько угодно! Ходу, волки! Ходу!

III

Шел первый час ночи. В салуне «Прииск Энни» толпился народ; гудело пламя в печах, и в большой, жаркой, плохо проветриваемой комнате впору было задохнуться. Непрерывное щелканье фишек и стук костей на столах, где шла шумная игра, сливались в сплошной однотонный гул, и

так же однотонно гудели голоса мужчин, которые разговаривали — кто сидя, кто стоя, кучками, по двое, по трое. Весовщики хлопотали у весов, так как здесь за все платили золотым песком, и даже за порцию виски, выпитую у стойки, надо было отсыпать на доллар песку.

Стены были сложены из толстых бревен, не очищенных от коры, и проконопачены полярным мхом. Дверь в зал была отворена, там под рояль и скрипку задорно отплясывали веселую виргинскую. Только что была разыграна «китайская лотерея», и счастливчик, получивший у весов главный выигрыш, пропивал его с добрым десятком приятелей. Игравшие в фараон и рулетку держались деловито и спокойно. Тихо было и за столами, где резались в покер, хотя каждый стол окружало плотное кольцо зрителей. Рядом серьезно и сосредоточенно играли в Черного Джека. Шумно было только за столом, где шла игра в кости. В безуспешной погоне за обманчивым счастьем игрок с размаху выбрасывал кости на зеленое поле, громко приговаривая:

— Ну-ну, дружок! Где она, четверка? Давай, давай! Беги, дружок, принеси пирожок! Давай, давай!

Калтус Джордж, рослый жилистый индеец

из Сёркла, стоял поодаль, с мрачным видом прислонясь к бревенчатой стене. Это был цивилизованный индеец — если жить так, как живут белые, значит быть цивилизованным, — и он чувствовал себя жестоко оскорбленным, хотя пора бы уже ему свыкнуться со своей судьбой. Многие годы он исполнял работу белого человека бок о бок с белыми людьми, и нередко исполнял лучше, чем они. Он носил такие же штаны, шерстяные фуфайки и теплые рубашки. У него были часы не хуже, чем у белых, и свои короткие волосы он зачесывал на косой пробор. Питался он теми же бобами, беконом, так же пек себе лепешки. Но ему было отказано в самом главном развлечении и отраде белых — в виски. Калтус Джордж недурно зарабатывал. Прежде он делал заявки, покупал и перепродавал участки. Он работал в доле с золотоискателями и сам принимал других в долю. Сейчас у него были отличные собаки, и он по санной дороге перевозил грузы с Шестидесятой Мили в Муклук, получая двадцать восемь центов с фунта, а за бекон и все тридцать три цента, — такой уж был порядок. У него полон кошель золотого песка, хватило бы на множество выпивок. Но ни в одном кабаке ему не дадут выпить. Виски — веселящее и со-

гревающее душу, лучшее и неоспоримое благо цивилизации — не для него! Только тайком, из-под полы и втридорога мог он доставать спиртное. Это уязвляло его самолюбие, и долгие годы не притупили в нем чувства обиды. А в этот вечер и обида и жажда особенно мучили его, и белые, с которыми он так упорно соперничал, были ему сегодня ненавистны, как никогда. Белые любезно разрешали ему проигрывать золото за их игорными столами, но ни из дружеских чувств, ни за деньги не отпускали ему в своих кабаках и стаканчика спиртного. Вот почему он был безнадежно трезв, безнадежно последователен в своих рассуждениях и, следовательно, мрачен.

Плясовая в зале оборвалась бурным финалом, который, впрочем, не потревожил трех отъявленных пьяниц, храпевших под роялем. «Пара за парой — в буфет!» — провозгласил распорядитель танцев, едва музыка умолкла. И все парами двинулись по широкому коридору в главное помещение — мужчины в мехах и мокасинах, женщины в пышных платьях, в шелковых чулках и бальных туфельках, — как вдруг входная дверь распахнулась, и в салун, шатаясь от усталости, ввалился Смок Беллью.

Все глаза обратились к нему, шум постепенно

утих. Смок хотел заговорить, но ему пришлось сначала сбросить рукавицы, которые повисли, болтаясь на шнурках, и отодрать ледяную корку, наросшую вокруг рта от дыхания, пока он мчался пятьдесят миль по морозу. Помедлив минуту, он подошел к стойке и облокотился на нее.

Один лишь игрок за дальним столом даже не повернул головы и все бросал кости, приговаривая: «Ну-ну, дружок! Давай, давай!» Но пристальный взгляд банкомета, остановившийся на Смоке, привлек его внимание, и он тоже оглянулся. Рука, готовая бросить костяной кубик, застыла в воздухе.

— Что случилось, Смок? — спросил Мэтсон, хозяин салуна «Прииск Энни».

Смоку наконец удалось очистить лицо от льда.

— У меня там собаки… загнал их до полусмерти… — хрипло проговорил он. — Кто-нибудь позаботьтесь о них, а я сейчас расскажу, в чем дело.

Несколькими отрывочными фразами он обрисовал положение. Игрок в кости, чьи деньги все еще лежали на столе и чье капризное счастье по-прежнему не давалось ему в руки, подошел к Смоку и заговорил первым:

— Надо помочь. Дело ясное. А как? Ты, наверно,

уже что-нибудь придумал. Что предлагаешь? Выкладывай.

— Я вот как думаю, — сказал Смок. — Надо сейчас же снарядить несколько легких нарт. Скажем, по сто фунтов провизии на каждые. Снаряжение погонщика и корм для собак — это еще по пятьдесят фунтов. Такие упряжки мигом домчат. Отправим сейчас же хотя бы пять таких нарт — с самыми резвыми собаками, с лучшими погонщиками. По нетронутому снегу они будут вести по очереди. Пусть отправляются сейчас же. И то, даже при самой большой скорости, пока они доберутся до места, у индейцев три дня не будет во рту ни крошки. А как только эти уедут, снарядим еще несколько нарт побольше. Подсчитайте сами. Два фунта съестного в день на человека: меньше нельзя, а то им не дойти. Это значит четыреста фунтов в день, а там старики и дети. Выходит, раньше чем за пять дней им до Муклука не добраться. Вот теперь и скажите, что вы думаете делать.

— Сложимся и купим провизию, — сказал игрок в кости.

— Провизию я и сам куплю, — нетерпеливо сказал Смок.

— Нет уж, — прервал игрок в кости, — ты тут не

один. Мы все этим займемся. Дайте-ка кто-нибудь таз. Это минутное дело. Вот для почина.

Он вытащил из кармана тяжелый мешочек с золотом, развязал — и в таз полилась струя крупного золотого песка и самородков. Человек, стоявший рядом, выругался и, схватив игрока за руку, зажал край мешка, чтобы остановить эту струю. В тазу на глаз было уже шесть, а то и восемь унций золота.

— Осади назад! — крикнул сердитый человек. — Не у тебя одного есть золото!

— Ого! — усмехнулся игрок в кости. — Что это ты больно рвешься вперед, думаешь, тут расхватывают заявки?

Люди теснились и толкались, спеша внести свою долю, а когда все добились своего, Смок приподнял обеими руками тяжелый таз и широко улыбнулся.

— Тут хватит, чтоб прокормить все племя до конца зимы, — сказал он. — Так как же насчет собак? Нужны собаки побойчее, пять хороших, легких упряжек.

Тотчас был предложен десяток упряжек, и все обитатели Муклука, в полном составе вошедшие в комитет помощи голодающим, судили, принимали и отвергали одну упряжку за другой.

— Да разве тут годятся твои тяжеловозы? — сказал кто-то Длинному Биллу Хаскелу.

— Они отлично тянут, — возразил Хаскел, оскорбленный в своих лучших чувствах.

— Тянут-то отлично, — ответил тот, — да скорость у них не ахти какая. Ты погоди, для тяжелых нарт они подойдут в самый раз.

Как только отбирали подходящую упряжку, ее хозяин шел запрягать и готовиться к отъезду, и человек пять-шесть спешили ему помочь.

Одну упряжку отвергли потому, что она только сегодня вернулась из поездки и собаки устали. Владелец другой предложил своих собак, но с виноватым видом показал перевязанную лодыжку, которая мешала ему поехать самому. Эту упряжку взял Смок, хоть его и уговаривали хором, что он вымотался и вовсе ему незачем ехать.

Длинный Билл Хаскел заявил, что у Толстяка Олсена упряжка, правда, лихая, но сам Олсен — настоящий слон. Толстяк весил ровным счетом двести сорок фунтов, и все его могучее тело задрожало от негодования. Слезы ярости навернулись ему на глаза, и он до тех пор ругался по-норвежски, пока его не определили в отряд тяжелых упряжек; игрок в кости воспользовался случаем и перехватил легкую упряжку Олсена.

Пять упряжек были отобраны, нагружены и готовы к отправке, но комитет нашел пока только четверых подходящих погонщиков.

— А Калтуса Джорджа забыли! — крикнул кто-то. — Он отличный гонщик, и он сегодня отдыхал.

Все взгляды обратились на рослого, сильного индейца, но лицо его было неподвижно, и он ничего не ответил.

— Возьми упряжку, — сказал ему Смок.

Индеец опять не ответил. Казалось, электрический ток пронизал толпу, все насторожились, почуяв неладное. Люди все тесней обступали Смока и Калтуса Джорджа, стоявших теперь друг против друга. И Смок понял: с общего молчаливого согласия он сейчас выразитель воли своих товарищей в том, что происходит и что должно произойти. К тому же он был зол. В самом деле, как может кто-либо оставаться в стороне, когда все так и рвутся наперебой помочь голодным! В дальнейшем развитии событий Смок никак не мог проникнуть в ход мыслей Калтуса Джорджа, — он не представлял себе, что у этого индейца могут быть какие-то иные побуждения, кроме самых эгоистических и корыстных.

— Ты, конечно, возьмешь упряжку, — повторил

Смок.

— Сколько? — спросил Калтус Джордж.

Все разом глухо заворчали, все лица исказились презрительной гримасой. Сжав кулаки, готовые вцепиться в того, кто нанес им такое оскорбление, золотоискатели придвинулись вплотную.

— Погодите, ребята! — крикнул Смок. — Может быть, он просто не понял. Сейчас я ему растолкую. Послушай, Джордж. Разве ты не видишь, тут никто не требует платы. Каждый отдает все, что может, только бы те двести индейцев не умерли с голоду.

Он замолчал, выжидая, чтобы его слова дошли до сознания Калтуса Джорджа.

— Сколько? — повторил Калтус Джордж.

— Погодите, вы все! Слушай, Джордж. Мы хотим, чтобы ты все как следует понял. Эти голодные индейцы — твои сородичи. Другое племя, но тоже индейцы. И ты видишь: белые выкладывают свое золото, дают нарты и собак, каждый так и рвется в погонщики. Только самые лучшие достойны пойти с первыми упряжками. Вот Олсен чуть не в драку лез, когда его не брали. Ты должен гордиться, все считают тебя первоклассным гонщиком. Тут вопрос не в том, сколько тебе заплатят, а в том, скоро ли ты доедешь.

— Сколько? — повторил Калтус Джордж.

Толпа, минуту назад доброжелательная и отзывчивая, мгновенно рассвирепела.

— Убить его! — неслось со всех сторон. — Проломить ему башку! Дегтя и перьев сюда!

Калтус Джордж стоял невозмутимый среди этой бури негодования; Смок, отталкивая самых неистовых, заорал во все горло:

— Стойте! Кто тут распоряжается? — Кругом примолкли. — Давайте веревку, — прибавил он тише.

Калтус Джордж пожал плечами, лицо его искривила угрюмая, недоверчивая усмешка. Знает он их, этих белых. Сколько лет он работал вместе с ними, сколько миль отшагал, ел их лепешки, бекон и бобы, — он успел их изучить. Это племя держится своих законов — вот что отлично знал Калтус Джордж. Оно всегда наказывает того, кто нарушает их закон. Но он, Калтус Джордж, не нарушал никаких законов. Он знает законы белых. Он всегда их соблюдал. Он никого не убил, не обокрал, не обманул. Закон белых вовсе не запрещает запросить цену и торговаться. Белые сами запрашивают и торгуются. Вот и он так делает, они же его и научили. А кроме того, если он недостоин пить вместе с ними, значит, недостоин и

заниматься вместе с ними делами милосердия и вообще принимать участие в их нелепых затеях.

Ни Смок и никто другой из присутствующих не догадывались о том, что происходит в мозгу Калтуса Джорджа, чем вызвано его странное поведение и что за ним кроется. Сами того не подозревая, они были также сбиты с толку и не способны понять его, как он не мог понять их. В их глазах он был себялюбивая, грубая скотина; в его глазах себялюбивыми, грубыми скотами были они.

Принесли веревку. Длинный Билл Хаскел, Толстяк Олсен и игрок в кости, разъяренные, торопливо и неловко надели индейцу на шею петлю и перекинули веревку через балку потолка. За ее конец ухватились человек десять, готовые вздернуть Калтуса.

А Калтус Джордж не сопротивлялся. Он-то знал, что все это чистейший обман, блеф. Белые — мастера обманывать. Недаром покер — их любимая игра. И разве они не обманывают, когда покупают, продают, заключают сделки? Еще как! Он сам наблюдал, как один белый вел свои дела с таким видом, словно у него на руках большая карта, а была у него одна дрянь.

— Стойте! — скомандовал Смок. — Свяжите ему

руки, чтоб не барахтался.

«Опять пугают», — решил Калтус Джордж и покорно дал связать себе руки за спиной.

— В последний раз спрашиваю, Джордж, — сказал Смок, — поведешь ты упряжку?

— Сколько? — повторил Калтус Джордж.

Сам себе удивляясь, ибо он никогда не думал, что способен на такое, и в то же время взбешенный безграничным эгоизмом индейца, Смок подал знак. И Калтус Джордж удивился не меньше, когда петля вдруг затянулась и его рывком подняло в воздух. Невозмутимости индейца как не бывало. На лице его промелькнули, сменяя друг друга, изумление, ужас, боль.

Смок с тревогой наблюдал. Его самого никогда еще не вешали, и он чувствовал себя новичком в этом деле. Тело Калтуса судорожно забилось, связанные за спиной руки силились разорвать путы, из горла вырвался хрип. Неожиданно Смок поднял руку.

— Хватит! — распорядился он.

Ворча, недовольные, что наказание так быстро пришло к концу, люди, тянувшие веревку, опустили Калтуса Джорджа на пол. Глаза Калтуса выкатились, ноги не держали его, он шатался из стороны в сторону и все еще силился высво-

бодить руки. Смок догадался просунуть пальцы под веревку на шее индейца и быстрым движением ослабил петлю. Калтус Джордж наконец вздохнул.

— Пойдешь ты с этой упряжкой? — спросил Смок.

Калтус Джордж не ответил, он был слишком занят: он дышал.

— Ну да, мы, белые, свиньи, — заговорил Смок, злясь на себя за то, что ему пришлось играть такую роль. — Мы готовы душу продать за золото и все такое. Но бывают же случаи, когда мы обо всем забываем и действуем, не спрашивая себя, сколько на этом можно заработать. И уж тогда, Калтус Джордж, никто нам не становись поперек. А теперь мы хотим знать одно: пойдешь ты с этой упряжкой?

Калтус Джордж колебался. Он был не трус. Может, это все еще обман, нелепая забава белых, и, уступив, он останется в дураках. А пока он не знал, на что решиться, Смок в глубине души терзался тревогой: этот упрямый индеец, пожалуй, добьется того, что его и вправду повесят.

— Сколько? — спросил Калтус Джордж.

Смок поднял руку, давая сигнал.

— Я пойду, — поспешно сказал Калтус Джордж,

прежде чем веревка затянулась.

— …и когда спасательная экспедиция меня отыскала, — рассказывал потом Малыш в салуне «Прииск Энни», — этот самый Калтус Джордж примчался первым, обогнав Смока на три часа. А все-таки, не забудьте, Смок пришел вторым. И, скажу я вам, они приехали вовремя. Когда я услыхал, как Калтус Джордж орет на перевале на своих собак, эти чертовы сиваши уже слопали мои мокасины, и рукавицы, и все ремни, и футляр от моего ножа, а кое-кто уже стал и на меня посматривать этакими голодными глазищами… понимаете, я ведь потолще их.

А Смок? Он был еле жив. Он еще покрутился немного, помогал готовить еду для этих двухсот несчастных сивашей, да так, сидя на корточках, и заснул и во сне все еще видел, что подкладывает снег в ведро. Я ему приготовил свою постель и сам его уложил, вот чтоб мне провалиться! Он до того вымотался, что и укрыться не мог. А зубочистки я все-таки выиграл. Вот и выходит, что Смок недаром скормил собакам те шесть рыбин, верно?

Ошибка Господа Бога

I

— Стой! — закричал собакам Смок и всей тяжестью налег на шест, останавливая нарты.

— Что это на тебя напало? — недовольно спросил Малыш. — Тут воды уже нет, можно ехать спокойно.

— Да, — ответил Смок. — Но ты посмотри, вправо отходит тропа. А я думал, в этих местах никто не зимует.

Собаки тотчас улеглись на снег и стали выгрызать намерзшие между пальцами льдинки. Еще пять минут назад это был не лед, а вода. Собаки провалились сквозь присыпанную снегом ледяную корку, под ней скрывалась ключевая вода, которая просочилась с берега и образовала озерко поверх трехфутовой толщи льда, сковавшей реку Нордбеска.

— Первый раз слышу, чтобы на Нордбеске был народ, — сказал Малыш, разглядывая почти незаметную тропу: прикрытая двухфутовым слоем снега, она пересекала русло реки под прямым углом и исчезала в устье небольшого ручья, впа-

давшего в Нордбеску слева. — Может, они тут охотились и давным-давно укатили со всеми своими пожитками.

Не снимая рукавиц, Смок обеими руками сгреб с тропы верхний слой рыхлого снега, посмотрел, подумал, отбросил еще немного снега и снова подумал.

— Нет, — решил он наконец, — следы ведут в обоих направлениях, но в последний раз ехали туда, вверх по ручью. Не знаю, что это за люди, но сейчас они наверняка там. Больше тут никто не проезжал, пожалуй, с месяц. Почему они так застряли, хотел бы я знать?

— А я хотел бы знать, где мы сегодня остановимся на ночевку, — сказал Малыш, уныло глядя на юго-запад: небо там уже темнело, сгущались вечерние сумерки.

— Пойдем по этой тропе, по ручью, — предложил Смок. — Сухостоя и хвороста тут сколько угодно. Можно сделать привал в любую минуту.

— Привал-то, конечно, всегда можно сделать, но, если мы не хотим помереть с голоду, надо поторапливаться и никуда не сворачивать.

— Мы, наверно, что-нибудь найдем на этом ручье, — продолжал уговаривать Смок.

— Да ты только погляди, у нас еды совсем не

осталось! И собаки на что похожи! — воскликнул Малыш. — Погляди только… Ну да черт с ним, ладно! Все равно будет по-твоему.

— Да это нас и на один день не задержит, — уверял Смок. — Может, всего-то надо какую-нибудь лишнюю милю пройти.

— И из-за одной мили люди помирали, — возразил Малыш и с угрюмой покорностью покачал головой. — Что ж, пошли искать себе лиха. Подымайтесь, эй вы, хромоногие! Вставай! Эй, Быстрый! Вставай!

Вожак повиновался, и упряжка устало двинулась, увязая в рыхлом снегу.

— Стой! — заорал Малыш. — Придется прокладывать тропу.

Смок вытащил из нарт лыжи, прикрепил их к мокасинам и зашагал впереди, утаптывая и приминая снег.

Это была нелегкая работа. И собаки и люди уже много дней недоедали, и силы их были на исходе. Они шли по руслу ручья, круто сбегавшего к реке, и с трудом одолевали тяжелый, непрерывный подъем. Высокие отвесные скалы с обеих сторон сходились все тесней, и скоро путники уже двигались по дну узкого ущелья. Отсвет долгих северных сумерек не проникал за высокие камен-

ные стены, и в ущелье было почти совсем темно.

— Настоящая западня, — сказал Малыш. — Точно лезешь в преисподнюю. Тут так и жди беды.

Смок не ответил; полчаса они молча пробивались вперед, и молчание снова нарушил Малыш.

— У меня предчувствие, — проворчал он. — Да, да, у меня предчувствие. Сказал бы я тебе, да ты слушать не станешь…

— Ну, ну, валяй, — отозвался Смок.

— Так вот, чует мое сердце, что мы здесь надолго застрянем. Наживем себе лиха, проторчим тут целую вечность, да еще с хвостиком.

— А что твое сердце чует насчет еды? — довольно нелюбезно осведомился Смок. — У нас нет в запасе еды на целую вечность, да еще с хвостиком.

— Насчет еды ничего не чует. Наверно, уж как-нибудь извернемся. Но одно я тебе прямо скажу, Смок. Я готов съесть всех наших собак, но только не Быстрого. На Быстрого у меня рука не поднимется. Я этого пса слишком уважаю.

— Рано ты нос вешаешь! — насмешливо сказал Смок. — Мое сердце чует больше. Оно чует, что собак есть не придется. Уж не знаю, на лосином мясе, на оленине или на жареных рябчиках, а только мы тут даже раздобреем.

Малыш фыркнул, не находя слов, чтобы выразить свое негодование, и они снова на время умолкли.

— Вот оно начинается, твое лихо, — сказал Смок, останавливаясь и пристально глядя на что-то лежащее у тропы.

Малыш оставил шест, подошел к товарищу и тоже стал разглядывать лежавшее на снегу тело.

— Это не голодный, — сказал Смок.

— Погляди на его губы, — сказал Малыш.

— Совсем закоченел, — сказал Смок и потянул мертвеца за руку; рука не согнулась, но с ней приподнялось все тело.

— Если его бросить оземь, он расколется на куски, — заметил Малыш.

Человек лежал на боку, скованный морозом. Он не был засыпан снегом — значит, лежал здесь недолго.

— Только третьего дня снег сыпал вовсю, — сказал Малыш.

Смок кивнул, нагнулся над мертвым и повернул его лицом вверх. Висок был прострелен; Смок огляделся и кивком указал на валяющийся в снегу револьвер.

Через сотню ярдов им попался еще один труп — он лежал ничком на тропе.

— Две вещи совершенно очевидны, — сказал Смок. — Оба они толстые. Значит, не голодали. И они не нашли золота, иначе не покончили бы самоубийством.

— Да еще самоубийство ли это, — возразил Малыш.

— Несомненно. Тут только одни следы — их собственные, и у обоих виден ожог от пороха. — Смок оттащил второй труп в сторону и носком мокасина подкинул револьвер, вдавленный в снег тяжестью упавшего тела. — Вот и у этого револьвер под боком. Говорил я, что мы тут что-нибудь найдем.

— Видно, все находки еще впереди. С чего бы этим сытым парням пускать себе пулю в лоб?

— Когда уж мы это узнаем, так будем знать и все беды, какие ты чуял, — ответил Смок. — Пойдем дальше. Смеркается.

Было уже совсем темно, когда лыжа Смока вдруг зацепилась за неподвижное мертвое тело и он свалился поперек нарт, на которых лежал еще один покойник. А когда он отряхнулся от снега, насыпавшегося за шиворот, и чиркнул спичкой, они с Малышом увидели третьего покойника, завернутого в одеяла, — он лежал возле наполовину вырытой могилы. И прежде чем спичка погасла,

они заметили еще пять или шесть могил.

— Брр, — содрогнулся Малыш. — Лагерь самоубийц. А какие сытые. Наверно, там все перемерли.

— Нет… вот посмотри. — Смок показал на мерцающий в отдалении слабый огонек. — А вон еще огонь… и еще. Пошли. Прибавь-ка шагу.

Больше трупов им не попадалось, и через несколько минут плотно укатанная тропа привела их в лагерь.

— Да это прямо город, — прошептал Малыш. — Хижин двадцать, не меньше. И ни одной собаки. Вот занятно!

— Теперь я знаю! — взволнованно и тоже шепотом ответил Смок. — Это люди Лоры Сибли. Разве ты не помнишь? Они приплыли осенью по Юкону на «Порт-Таунсенде». Прошли мимо Доусона без остановки. Должно быть, высадились прямо у этого ручья.

— Ну да. Припоминаю. Они мормоны.

— Нет, вегетарианцы. — Смок усмехнулся в темноте. — Не едят мяса и не ездят на собаках.

— Мормоны, вегетарианцы — один черт. У всех у них мозги набекрень. И всегда их на золото тянет. Эта самая Лора Сибли обещала привести их на такое место, где они разом станут милли-

онерами.

— Правильно. Она у них пророчица — ее посещают видения и всякое такое. А я думал, они двинулись вверх по Норденсджолду.

— Тсс! Слушай!

В темноте Малыш предостерегающе дотронулся рукой до груди Смока, и оба прислушались: низкий протяжный стон донесся от одной из хижин. И, прежде чем он замер, его подхватили в другой хижине, в третьей… казалось, рвется наружу беспредельное человеческое горе. От этих стенаний мороз подирал по коже.

— Брр, — содрогнулся Малыш. — Прямо жуть берет. Пойдем поглядим, что с ними стряслось.

Смок подошел к освещенной хижине и постучал. «Войдите!» — со стоном отозвался голос за дверью, и они с Малышом вошли. Это был самый обыкновенный сруб, бревенчатые стены проконопачены мхом, земляной пол усыпан опилками и стружками. При свете керосиновой лампы можно было разглядеть четыре койки, на трех койках лежали люди, они перестали стонать и уставились на вошедших.

— Что у вас тут? — спросил Смок одного из лежащих; даже под одеялами видно было, какие широкие плечи и большое, сильное тело у этого

человека, но глаза у него страдальческие и щеки ввалились. — Оспа, что ли?

Вместо ответа человек показал на свой рот, с усилием растянул вспухшие, почернелые губы, и Смок невольно отшатнулся.

— Цинга, — негромко сказал он Малышу, и больной кивком подтвердил диагноз.

— Еды хватает? — спросил Малыш.

— Ага, — отозвался человек с другой койки. — Можете взять. Еды полно. В соседнем доме никого нет. Кладовая рядом. Идите и берите.

II

Во всех хижинах, которые они обошли в этот вечер, оказалось то же самое. Цингой был поражен весь лагерь. Среди его жителей было десять или двенадцать женщин, но Смок с Малышом увидели далеко не всех. Вначале тут было девяносто три человека. Но десять умерли, и еще двое недавно исчезли. Смок рассказал, как они с Малышом нашли двух самоубийц совсем неподалеку отсюда, и выразил удивление, что никто из лагеря не пошел на поиски. Больше всего его и Малыша поражала беспомощность этих людей. В хижинах была грязь, мусор, дощатые столы заставлены немытой посудой. Никто и не думал

помочь друг другу. В каждой хижине были свои несчастья, нимало не трогавшие соседей, и никто уже не давал себе труда хоронить умерших.

— Прямо понять не могу, — признался Малышу Смок. — Встречал я лодырей и бездельников, но не столько сразу! Слыхал, что они говорят? Никто и пальцем не шевельнул за все время. Пари держу, они тут и не умываются. Неудивительно, что у них цинга.

— Но откуда у вегетарианцев цинга? — возразил Малыш. — Всегда говорят, что цинга косит тех, кто питается мясом, солониной. А эти вообще мяса не едят — ни соленого, ни сырого, ни жареного, никакого.

Смок покачал головой.

— Знаю. Цингу и лечат овощами. Никакие лекарства не помогают. Овощи, особенно картошка, — вот единственное средство. Но не забывай, Малыш, тут перед нами не теория, а факты: эти травоядные все поголовно больны цингой.

— Значит, она заразная.

— Нет, это доктора точно знают. Цинга передается не бациллами. Заразиться ею нельзя. Она сама возникает в организме. От истощения, что ли, от плохого состава крови. Не в том дело, что они что-то подхватили, а в том, что им чего-то

не хватает. Цингой заболевают оттого, что недостает каких-то веществ в крови, и эти вещества находятся не в склянках и порошках, а в овощах и зелени.

— Но ведь эти, здешние, только зелень и едят, — возразил Малыш. — У них тут всякой травы сколько угодно. Нет, ты все путаешь, Смок. Это ты разводишь теорию, а факты ее разбивают вдребезги. Цинга — штука заразная, потому они все ее и подхватили и гниют заживо. И мы с тобой заразимся, если будем тут болтаться. Брр! Так вот и кажется, что эти самые букашки заползают в меня.

Смок только фыркнул и постучал в дверь следующей хижины.

— Наверно, и тут то же самое, — сказал он. — Входи. Надо разобраться как следует.

— Что вам нужно? — резко спросил женский голос.

— Видеть вас, — ответил Смок.

— Кто вы такие?

— Два доктора из Доусона! — выпалил Малыш и тут же за свое легкомыслие получил от Смока тумак под ребра.

— Никакие доктора нам не нужны, — наотрез заявила женщина, голос ее прервался от боли и

злости. — Уходите. До свидания. Мы в докторов не верим.

Смок отодвинул щеколду, толкнул дверь, вошел и вывернул фитиль в слабо горевшей керосиновой лампе. Четыре женщины, лежавшие на койках, перестали стонать и охать и уставились на непрошеных гостей. Две женщины были молодые, с исхудалыми лицами, третья — пожилая и очень полная, четвертая, которую Смок сразу признал по голосу, была до того худа, что он не поверил своим глазам — таких живых скелетов он еще не видывал. Он сразу понял, что это и есть Лора Сибли, известная пророчица и ясновидящая, затеявшая в Лос-Анджелесе экспедицию; она-то и привела их всех сюда, на Нордбеску, в этот лагерь смерти. Разговор получился весьма недружелюбный. Лора Сибли не признавала докторов. И в придачу ко всем своим испытаниям она почти утратила веру в самое себя.

— Почему вы не послали за помощью? — спросил Смок, когда она умолкла, утомленная, задохнувшись после первой же своей гневной тирады. — Есть большой лагерь на реке Стюарт, и до Доусона всего восемнадцать дней пути.

— А почему Эймос Уэнтворт не пошел? — крикнула она с истерической злостью.

— Я не знаком с этим джентльменом, — ответил Смок. — Чем он занимается?

— Ничем. Но он один из всех нас не заболел цингой. А почему не заболел? Я могу вам сказать. Нет, не скажу… — И она плотно сжала тонкие губы; она была худа до прозрачности. Смоку даже казалось, будто сквозь кожу видны ее зубы до самых корней. — Да если бы он и пошел, что толку? Я же знаю. Я не дура. Наши кладовые полны всяких фруктовых соков и консервированных овощей. Ни один лагерь во всей Аляске не вооружен так, как мы, для борьбы с цингой. У нас есть всякие овощи, фрукты, орехи, какие только изготовляются в сушеном виде и в консервах, и всего этого сколько угодно.

— Вот ты и попался, Смок! — с торжеством воскликнул Малыш. — Тут тоже факт, а не теория. Говоришь, лечение овощами? Вот они, овощи, а как же насчет лечения?

— Не понимаю, в чем дело, — признался Смок. — И ведь во всей Аляске другого такого лагеря не найти. Видал я цингу — попадались два-три случая то тут, то там, — но никогда не видел, чтобы целый лагерь был охвачен цингой, да еще такой свирепой. Ничего нельзя понять, Малыш. Мы должны для них сделать все, что можно, но

сперва надо позаботиться о ночлеге и о собаках. Мы навестим вас утром, э-э… миссис Сибли.

— Мисс Сибли, — оскорбленно поправила она. — И вот что, молодой человек: если вы сунетесь сюда с вашими дурацкими лекарствами, я всажу в вас хороший заряд дроби.

— Ну и ведьма же эта пророчица! — смеялся Смок, когда они ощупью пробирались в темноте к пустующей хижине рядом с той, откуда они начали свой обход.

Видно было, что здесь до недавнего времени жили два человека, и друзья невольно спрашивали себя, не те ли самоубийцы, которых они нашли на дороге. Они осмотрели кладовую и обнаружили великое множество всяческих припасов — в банках, в порошке, консервированных, сушеных, сгущенных.

— Как же, спрашивается, они ухитрились заполучить цингу? — воскликнул Малыш, широким жестом указывая на пакетики с яичным порошком и итальянскими грибами. — Ты погляди! Только погляди! — Он потрясал банками с томатом, с кукурузой и фаршированными маслинами. — И сама приводчица тоже подхватила цингу. Как это понимать?

— Пророчица, — поправил Смок.

— Приводчица, — упрямо повторил Малыш. — Кто их привел в эту дыру, не она, что ли?

III

На другое утро, когда было уже светло, Смок столкнулся на улице с человеком, тащившим тяжело груженные сучьями и хворостом сани. Низенький, опрятный и подвижный, этот человек шагал бодро, быстро, хотя сани были тяжелые. Смок тотчас проникся неприязнью к нему.

— Что с вами? — спросил он.

— Ничего, — ответил низенький.

— Знаю, — сказал Смок. — Потому и спрашиваю. Вы Эймос Уэнтворт. Любопытно, как это получилось, что вы один из всех не заболели цингой?

— Потому что я не лежал на боку, — быстро ответил тот. — Они бы тоже не заболели, если бы не сидели взаперти и хоть что-нибудь делали. А они чем занимались? Ворчали, и жаловались, и ругали холод, долгую ночь, тяжелую жизнь, работу, болезни и все на свете. Они валялись в постели, пока не распухли так, что уже не могут подняться, вот и все. Посмотрите на меня. Я работал. Войдите ко мне в хижину.

Смок последовал за ним.

— Поглядите вокруг. Дом как игрушечка, а? То-то! Чистота, порядок. Я бы и опилки со стружками вымел, да они нужны для тепла. Но они у меня чистые. А поглядели бы вы, что у других на полу делается. Прямо как в хлеву. Я еще ни разу не ел с немытой тарелки. Нет, сэр. А для этого надо работать, и я работал — и не заболел цингой. Намотайте себе это на ус.

— Вы попали в самую точку, — признался Смок. — Но тут у вас, я вижу, только одна койка. Почему это вы в грустном одиночестве?

— Потому что мне так больше нравится. Проще убирать за одним, чем за двумя, только и всего. Тут все лодыри и лежебоки. Неужели я стал бы терпеть такого в доме? Не диво, что у них началась цинга.

Все это звучало очень убедительно, но Смок не мог преодолеть неприязни к собеседнику.

— А почему Лора Сибли так на вас сердита? — спросил он вдруг.

Эймос Уэнтворт быстро взглянул на Смока.

— Лора Сибли чудачка, — ответил он. — Все мы чудаки, если хотите знать. Но избави меня Боже от чудака, который тарелки за собой не вымоет, а они все такие.

Несколько минут спустя Смок разговаривал

с Лорой Сибли. Опираясь на палки, она проковыляла мимо его хижины и остановилась передохнуть.

— Почему это вы так сердиты на Уэнтворта? — вдруг спросил он ни с того ни с сего.

Этот внезапный вопрос застал ее врасплох. Зеленые глаза ее вспыхнули, худое, изнуренное лицо исказилось от бешенства, распухшие, почерневшие губы кривились, готовые произнести самые резкие, необдуманные слова. Но только какие-то бессвязные, нечленораздельные звуки сорвались с этих губ, и тотчас страшным усилием воли Лора Сибли овладела собой.

— Потому что он здоров, — задыхаясь, выговорила она. — Потому что у него нет цинги. Потому что он думает только о себе. Он пальцем не шевельнет, чтоб кому-нибудь помочь. Бросил нас гнить заживо, и мы гнием заживо, а он хоть бы раз принес нам ведро воды, вязанку хвороста! Такой негодяй! Но он еще дождется! Да, да! Он еще дождется!

И с трудом переводя дух, она заковыляла дальше. Пять минут спустя Смок вышел кормить собак и увидел, как она вошла в хижину Эймоса Уэнтворта.

— Что-то тут неладно, Малыш, что-то нелад-

но, — сказал он, мрачно качая головой, когда его товарищ, перемыв посуду, вышел из дому выплеснуть помои.

— Ясное дело, — весело ответил Малыш. — И нам с тобой тоже ее не миновать. Вот увидишь.

— Я не про цингу.

— А, ты про приводчицу? Эта на все способна, она и мертвого ограбит. До чего же у нее вид голодный, я таких сроду не видал!

IV

— Мы с тобой здоровы, потому что все время работаем, Малыш. И Уэнтворт поэтому здоров. А остальные почти не двигались, и сам видишь, что из этого вышло. Теперь мы пропишем всей хворой команде физический труд. Твоя забота следить, чтоб каждый получил свою порцию. Я тебя назначаю старшей сиделкой.

— Что-о-о? — крикнул Малыш. — Меня? Нет уж, увольте!

— Не уволю. И сам буду твоим помощником, потому что это дело нешуточное. Надо их расшевелить. Прежде всего пускай похоронят мертвецов. Самых крепких определим в похоронную команду; других, кто все-таки еще держится, —

в команду сборщиков топлива, ведь они тут валялись под одеялами, чтобы экономить дрова; ну а тех, кто послабее, — на работу полегче. Да, и хвойный отвар. Не забыть бы. Аляскинские старожилы просто молятся на него. А эти про него и не слыхивали.

— Ну, нам несдобровать, — ухмыльнулся Малыш. — Первым делом в нас всадят хорошую порцию свинца.

— А вот с этого мы и начнем, — сказал Смок. — Пошли.

За час они обшарили все двадцать с лишним хижин и отобрали у их обитателей все патроны, все ружья, дробовики и револьверы до единого.

— Ну-ка, болящие, — приговаривал Малыш, — выкладывайте ваши пушки и пистолеты. Они нам пригодятся.

— А вы кто? — осведомились в первой же хижине.

— Доктора из Доусона, — ответил Малыш. — Как скажем, так и делайте. Ну-ну, давайте сюда. И патроны тоже.

— А зачем они вам?

— На нас идут войной мясные консервы. Они уже захватили пол-ущелья, будем отбивать атаку. И имейте в виду, скоро сюда вторгнется хвойный

отвар. Ну-ка, поживее.

И это было только начало. Все утро Смок и Малыш поднимали людей с постели — кого просьбами, уговорами, а кого и угрозами и просто силой заставляли встать и одеться. Тех, у кого цинга была в более легкой форме, Смок отобрал в похоронную команду. Других послал запасти дров, чтобы можно было отогреть кострами мерзлую глину и песок и выкопать могилы. Третьим было поручено нарубить и наколоть дров поровну для каждой хижины. Те, кто оказался не в силах выйти из дому, должны были чистить, мыть, прибирать у себя в хижине и стирать белье. Еще одна партия натащила еловых ветвей, и всюду на очагах стали кипятить хвойный отвар.

Но хоть Смок с Малышом и старались делать вид, будто все идет как надо, положение было очень тяжелое. У них мороз пошел по коже, когда они убедились, что по меньшей мере тридцать человек находятся в ужасном, безнадежном состоянии и их нельзя поднять с постели, а одна из женщин в хижине Лоры Сибли умерла. Однако надо было действовать решительно.

— Неохота мне колотить больного, — объяснял Малыш, угрожающе поднимая кулак, — но если это для его же пользы, я ему башку прошибу. А вас

всех очень даже полезно поколотить, лодыри вы несчастные. Ну, ну, давай! Подымайся-ка и надевай свои лохмотья, да поживей, а то я тебе сейчас расквашу физиономию!

За работой люди стонали, охали, всхлипывали, слезы струились по их щекам и замерзали, и ясно было, что муки их неподдельные. Положение было отчаянное, и предписанные Смоком меры — поистине героические.

Когда работники вернулись в полдень домой, их уже ждал вполне приличный обед, приготовленный более слабыми соседями по хижине под надзором и руководством Смока и Малыша.

— Пока хватит, — сказал Смок в три часа дня. — Кончайте работу. Ложитесь в постель. Сейчас вы устали, вам худо, зато завтра будет лучше. Конечно, выздороветь не так-то легко, но у меня вы все выздоровеете.

— Слишком поздно, — посмеиваясь над стараниями Смока, сказал Эймос Уэнтворт. — Им надо было взяться за ум еще осенью.

— Пойдемте-ка, — ответил Смок. — Захватите эти два ведра. Вы-то не больны.

И они пошли втроем из хижины в хижину, наделяя всех и каждого доброй пинтой хвойного отвара. Нелегко это было — заставить их выпить

лекарство.

— Запомните раз и навсегда, нам не до шуток, — объявил Смок первому же упрямцу, который лежал навзничь и стонал, стиснув зубы. — Малыш, помогай! — Смок ухватил пациента за нос и одновременно слегка стукнул в солнечное сплетение, тот задохнулся и открыл рот. — А ну, Малыш! Сейчас он проглотит!

И больной, давясь, отплевываясь, все же проглотил лекарство.

— Ничего, привыкнете, — заверил Смок свою жертву и потянулся к носу человека, лежавшего на соседней койке.

— Я бы уж предпочел касторку, — по секрету признался другу Малыш, готовясь принять свою порцию. — Клянусь Мафусаилом, — объявил он во всеуслышание, проглотив горькую настойку, — на грош глотнешь — ведро здоровья хлебнешь!

— Мы будем вас обходить с этим хвойным отваром четыре раза в день, и каждый раз нам придется напоить восемьдесят человек, — сказал Смок Лоре Сибли. — Мы не можем зря время терять. Выпьете так или зажать вам нос? — Его рука уже тянулась к ее лицу. — Это настойка растительная, так что совесть может вас не мучить.

— Ни совесть, ни тошнота! — фыркнул Малыш. — Еще бы! Такой дивный напиток!

Лора Сибли колебалась. Нелегко ей было себя пересилить.

— Ну? — повелительно сказал Смок.

— Я… я выпью, — ответила она дрожащим голосом. — Давайте скорей!

В тот вечер Смок и Малыш заползли под свои одеяла такие измотанные, как никогда еще не выматывал их целый день езды по самой тяжелой дороге.

— Тошно мне, — признался Смок. — Страшно смотреть, как они мучаются. Но, кроме работы, я никакого средства не вижу, надо его испробовать до конца. Вот если бы у нас был мешок сырого картофеля…

— Спаркинс не может мыть посуду, — сказал Малыш. — Его прямо корчит от боли. Пришлось его уложить в постель, он и лечь-то сам не мог.

— Вот был бы у нас сырой картофель, — повторил Смок. — В этих сушеных и сгущенных продуктах не хватает чего-то самого главного. Из них жизнь улетучилась.

— А знаешь, или я сильно ошибаюсь, или тот парнишка по фамилии Джонс, из хижины Браунлоу, не дотянет до утра.

— Не каркай, Бога ради, — с упреком сказал Смок.

— А кому придется его хоронить, не нам, что ли? — рассердился Малыш. — Что с этим парнем творится, я тебе скажу, просто ужас…

— Замолчи ты, — сказал Смок.

Малыш еще пофыркал сердито и скоро уснул. Смок услышал его тяжелое мерное дыхание.

V

К утру умер не только Джонс, — один из самых сильных мужчин, работавший накануне в числе дровосеков, повесился. И потянулись длинной чередой дни, похожие на страшный сон. Целую неделю, напрягая все силы, Смок заставлял своих пациентов работать и глотать хвойный отвар. И одного за другим, а то и по двое, по трое сразу, вынужден был освобождать от их работы. Он убедился, что физический труд — плохое лекарство для больных цингой. Похоронная команда таяла, а работы у нее не убавлялось, и пять или шесть могил, вырытые про запас в отогретой кострами земле, всегда были наготове и ждали.

— Вы не могли хуже выбрать место для лагеря, — сказал Смок Лоре Сибли. — Посмотрите, ведь он лежит на самом дне узкого ущелья, иду-

щего с востока на запад. Даже в полдень солнце сюда не заглядывает. Вы месяцами не видите солнечного света.

— Откуда мне было знать?

Смок пожал плечами.

— Надо было знать, раз вы повели сотню дураков за золотом.

Она со злобой посмотрела на него и проковыляла дальше. Смок проведал рабочую команду, которая со стонами собирала еловые ветки, а возвращаясь через несколько минут, увидел, что пророчица вошла в хижину Эймоса Уэнтворта, и последовал за ней. Из-за двери он услыхал, что она хнычет и просит о чем-то.

— Только для меня одной, — умоляла она в ту минуту, когда Смок появился на пороге. — Я никому не скажу…

Оба с виноватым видом оглянулись на нежданного посетителя. Смок понял, что тут что-то кроется, и мысленно выругал себя — зачем не подслушал!

— Выкладывайте! — резко приказал он. — Что у вас тут?

— А что вам нужно? — угрюмо переспросил Эймос Уэнтворт.

И Смок не мог объяснить, что ему нужно.

VI

Положение становилось все хуже, все безнадежнее. В этом мрачном ущелье, куда не заглядывало солнце, беспощадная смерть уносила все новые и новые жертвы. Каждый день Смок и Малыш со страхом заглядывали друг другу в рот — нет ли белых пятен на деснах и слизистой оболочке, первого несомненного признака цинги.

— Ну хватит, — заявил однажды вечером Малыш. — Я все сызнова обдумал — и хватит с меня. Может, из меня кое-как вышел бы погонщик рабов, но погонять калек — на это я не гожусь. Им день ото дня хуже становится. Я теперь и двадцати человек не могу выгнать на работу. Нынче я отправил Джексона в постель. Он уже готов был покончить с собой. У него это прямо на лице написано. Никакого толку от работы нет.

— И я тоже так решил, — сказал Смок. — Освободим их от работы, оставим только человек десять. Нам нужны помощники. Пускай чередуются, сменяют друг друга. Хвойный отвар надо продолжать.

— Никакого толку от него нет.

— Может быть, и нет, не знаю, но уж, во всяком случае, он им не вредит.

— Еще один покончил с собой, — сообщил Малыш на другое утро. — Филипс, вот кто. Я уже давно видел, что к этому идет.

— Ну что тут будешь делать! — простонал Смок. — Ты что предлагаешь?

— Кто, я? Ничего я не предлагаю. Пускай все идет своим чередом.

— Но тогда они все перемрут.

— Кроме Уэнтворта, — проворчал Малыш, который давно уже, как и Смок, не выносил этого субъекта.

Уэнтворт был неизменно здоров, словно заколдованный, и Смок только диву давался. Почему Уэнтворт — единственный в лагере — не заболел цингой? Почему Лора Сибли так ненавидит его и в то же время хнычет и скулит перед ним и что-то у него выпрашивает? Что это она у него выпрашивает, в чем он ей отказывает?

Несколько раз Смок нарочно заходил к Уэнтворту в час обеда. Только одно и показалось ему при этом подозрительным — та подозрительность, с какой встречал его Уэнтворт. Затем он попытался расспросить Лору Сибли.

— Сырой картофель вылечил бы вас всех, — сказал он пророчице. — Я знаю, я уже не раз видел, как он целительно действует.

Глаза ее вспыхнули — в них была и вера, и злоба, и ненависть, и Смок понял, что напал на след.

— Почему вы не привезли с собой на пароходе свежего картофеля? — спросил он.

— Мы везли. Но в Форте Юкон мы его очень выгодно продали. У нас сколько угодно сушеного картофеля, мы знали, что он лучше сохраняется. Он даже не мерзнет.

Смок охнул от досады.

— И вы весь свежий продали? — спросил он.

— Да. Откуда нам было знать?

— И совсем ничего не осталось? Может быть, мешок-другой случайно завалялся где-нибудь в сторонке?

Она замялась на мгновение, покачала головой, потом прибавила:

— Мы ничего не находили.

— А может быть, все же что-нибудь осталось? — настаивал он.

— Откуда я знаю? — скрипучим, злым голосом ответила Лора Сибли. — Я не ведала продовольствием.

— Им ведал Эймос Уэнтворт, — догадался Смок. — Прекрасно. А теперь скажите — это останется между нами, — как по-вашему, не припрятал ли где-нибудь Эймос Уэнтворт немного

сырого картофеля?

— Нет. Конечно, нет. Почему бы он стал прятать?

— А почему бы и нет?

Она пожала плечами.

И как ни бился Смок, ему не удалось заставить ее признать, что это могло случиться.

VII

— Уэнтворт — свинья, — таков был приговор Малыша, когда Смок сказал ему о своих подозрениях.

— И Лора Сибли тоже, — прибавил Смок. — Она уверена, что у него есть картофель, но молчит об этом и только добивается, чтобы он поделился с ней.

— А он не желает? — Малыш проклял грешный род человеческий в одной из самых блистательных своих бранных импровизаций и перевел дух. — Оба они настоящие свиньи. Пускай Господь Бог в наказание сгноит их в цинге — вот все, что я имею сказать по этому поводу. А сейчас я пойду и расшибу Уэнтворту башку.

Но Смок был сторонником дипломатических переговоров. В эту ночь, когда все в лагере спало и стонало во сне или, быть может, стонало, не

в силах уснуть, Смок постучал у дверей неосвещенной хижины Уэнтворта.

— Выслушайте меня, Уэнтворт, — сказал он. — Вот здесь, в мешке, у меня на тысячу долларов золотого песка. Я один из богатых людей в здешних краях, я могу себе это позволить. Боюсь, что у меня начинается цинга. Дайте мне одну сырую картофелину — и это золото ваше. Вот попробуйте на вес.

Смок вздрогнул от радости: Эймос Уэнтворт в темноте протянул руку и попробовал на вес мешок с золотом. Потом Смок услыхал, как Уэнтворт шарит под одеялом, и почувствовал, что в руку ему вложили уже не тяжелый мешочек, а картофелину; да, это, несомненно, была картофелина величиной с куриное яйцо и теплая оттого, что лежала у Уэнтворта под боком.

Смок не стал дожидаться утра. Они с Малышом боялись, что два самых тяжелых пациента могут умереть каждую минуту, и тотчас отправились в их хижину. В чашке они несли тысячедолларовую картофелину, истертую, размятую вместе с шелухой и приставшими к ней песчинками; и эту жидкую кашицу они по нескольку капель зараз вливали в страшные черные дыры, которые некогда были человеческими ртами. Всю

долгую ночь, снова и снова сменяя друг друга, Смок и Малыш давали больным картофельный сок, втирали его в распухшие десны, в которых шатались и постукивали зубы, и заставляли несчастных старательно глотать каждую каплю драгоценного эликсира.

Назавтра к вечеру в состоянии обоих пациентов произошла чудесная, прямо невероятная перемена. Они уже не были самыми тяжелыми больными в лагере. Через сорок восемь часов, когда была выпита последняя капля картофельного сока, оба они оказались вне опасности, хотя и далеки еще от полного выздоровления.

— Вот что, — сказал Смок Уэнтворту. — У меня есть в этих краях золотоносные участки, мой вексель вам оплатят где угодно. Даю вам до пятидесяти тысяч, по пятьсот долларов за каждую картофелину. Это будет сто штук.

— А золотого песку у вас больше нет? — осведомился Уэнтворт.

— Мы с Малышом наскребли все, что взяли с собой… Но, честное слово, мы с ним стоим несколько миллионов.

— Нет у меня никакого картофеля, — решительно заявил Уэнтворт. — Мне и самому он нужен. Только одна картофелина у меня и была, та, ко-

торую я вам отдал. Я берег ее всю зиму, боялся, что заболею. Нипочем бы ее не продал, да мне нужны деньги на дорогу. Когда река вскроется, я поеду домой.

Хоть картофельный сок и кончился, на третий день стало ясно, что те двое, которых им лечили, идут на поправку. Тем, кому сока не давали, становилось все хуже и хуже. На четвертое утро были похоронены еще три страшных тела, изуродованных болезнью. Пройдя через это испытание, Малыш сказал Смоку:

— Ты пробовал на свой лад. Теперь я попробую по-своему.

И он прямиком отправился к Уэнтворту. Что произошло в хижине Уэнтворта, он рассказывать не стал. Когда он вышел оттуда, суставы его пальцев были расшиблены и ободраны, а физиономия Уэнтворта оказалась вся в синяках, и он еще долгое время держал голову как-то боком на искривленной, негнущейся шее. Нетрудно было объяснить это странное явление: на шее Уэнтворта красовались иссиня-черные отпечатки пальцев — четыре пятна по одну сторону и одно — по другую.

Затем Смок с Малышом нагрянули к Уэнтворту, вышвырнули его за дверь прямо в снег и все

в хижине перевернули вверх дном. Приковыляла Лора Сибли и тоже стала лихорадочно искать.

— Ничего ты не получишь, старуха, хотя бы мы откопали целую тонну, — заверил ее Малыш.

Но их постигло не меньшее разочарование, чем Лору Сибли. Они даже пол весь изрыли — и все-таки ничего не нашли.

— Я бы стал его поджаривать на медленном огне, он бы у меня живо заговорил, — с полной серьезностью предложил Малыш.

Смок покачал головой.

— Да ведь это убийство, — стоял на своем Малыш. — Бедняги, он же их убивает. Уж прямо взял бы топор, да и рубил бы головы — и то лучше.

Прошел еще день. Смок и Малыш неотступно следили за каждым шагом Уэнтворта. Несколько раз, едва он с ведром в руках выходил к ручью за водой, они словно невзначай направлялись к его хижине, и он поскорей возвращался, так и не набрав воды.

— Картошка у него припрятана тут же, в хижине, — сказал Малыш. — Это ясно как день. Но в каком месте? Мы все перерыли. — Он поднялся и натянул рукавицы. — Я все-таки ее найду, хотя бы мне пришлось по бревнышку растащить эту паршивую лачугу.

Он посмотрел на Смока. Тот не слушал, лицо у него было напряженное, взгляд отсутствующий.

— Что с тобой? — в сердцах спросил Малыш. — Уж не собираешься ли ты подцепить цингу?

— Просто я стараюсь кое-что вспомнить.

— Что вспомнить?

— Сам не знаю. В том-то и беда. Но это очень важно, только бы мне вспомнить.

— Смотри, брат, как бы тебе не свихнуться, — сказал Малыш. — Подумай, что тогда со мной будет! Дай своим мозгам передышку. Поди помоги мне растащить ту хижину. Я бы ее поджег, да боюсь, картошка спечется.

— Нашел! — выкрикнул Смок и вскочил на ноги. — Вот это я и хотел вспомнить. Где у нас бидон с керосином? Живем, Малыш! Картофель наш!

— А в чем фокус?

— Вот увидишь, — загадочно сказал Смок. — Я всегда тебе говорил, Малыш, плохо, когда человек не знаком с художественной литературой, — она даже на Клондайке полезна. Вот сейчас мы проделаем одну штуку, о которой написано в книге. Я ее читал еще мальчишкой, и это нам очень пригодится. Идем.

Спустя несколько минут в мерцающем зелено-

ватом свете северного сияния они подкрались к хижине Эймоса Уэнтворта. Осторожно, бесшумно полили керосином бревенчатые стены и особенно тщательно — дверь и оконные рамы. Потом чиркнула спичка, и они смотрели, как вспыхнуло и разгорелось пламя, освещая все вокруг. Отойдя в тень, они ждали.

Из хижины выскочил Уэнтворт, дикими глазами поглядел на огонь и бросился назад. И минуты не прошло, как он снова появился на пороге; на этот раз он шел медленно, низко пригнувшись под тяжестью огромного мешка. Нетрудно было догадаться, что в этом мешке. Смок и Малыш кинулись на Уэнтворта, точно голодные волки. Они обрушились на него одновременно справа и слева. Он едва не упал, придавленный своим мешком, который Смок для верности наскоро ощупал. Уэнтворт обхватил руками колени Смока и запрокинул к нему мертвенно-бледное лицо.

— Берите все! Оставьте мне дюжину, только дюжину!.. Полдюжины!.. — пронзительно завопил Уэнтворт. Он оскалил зубы и в слепом бешенстве хотел было укусить Смока за ногу, но передумал и опять стал клянчить. — Только полдюжины! — выл он. — Только полдюжины! Я сам хотел вам завтра все отдать. Да, да, завтра. Я сам собирался.

Это жизнь! Это спасение! Только полдюжины!

— Где другой мешок? — оборвал его Смок Беллью.

— Я все съел, — ответил Уэнтворт, и ясно было, что это чистая правда. — Здесь в мешке все, что осталось. Берите все. Дайте мне только несколько штук.

— Все съел! — воскликнул Малыш. — Целый мешок! А эти бедняги мрут, потому что у них нет ни единой картофелины! Вот тебе! Вот! Вот! Вот тебе! Свинья! Скотина!

Он с маху пнул Уэнтворта ногой. Первый же пинок оторвал Уэнтворта от Смока, колени которого он обнимал. Второй опрокинул его в снег. Но Малыш бил еще и еще.

— Побереги пальцы, — только и сказал Смок.

— Ясно, — ответил Малыш. — Я его пяткой. Увидишь, я ему все ребра переломаю. Я ему челюсть сверну. На тебе! На! Эх, жалко, что на мне мокасины, а не сапоги. Ах ты, свинья!

VIII

В эту ночь в лагере никто не спал. Час за часом Смок и Малыш снова и снова обходили его обитателей, вливая животворный картофельный сок, по четверти ложки зараз, в страшные, все

в язвах рты. И на следующий день, пока один спал, другой продолжал свое дело.

Смертных случаев больше не было. Самые безнадежные больные начали поправляться с поразительной быстротой. На третий день люди, которые пролежали пластом долгие недели и даже месяцы, сползли со своих коек и начали двигаться, опираясь на палки. Уже два месяца, как северный короткий день стал прибывать, и вот солнце впервые поднялось над скалистой грядой и весело заглянуло в ущелье.

— Ни одной картофелины не получишь, — сказал Малыш Уэнтворту, который ныл и хныкал перед ним. — Тебя цинга и не трогала. Уплел целый мешок, теперь она тебе еще двадцать лет не страшна. Через тебя я стал лучше понимать Господа Бога. Я всегда удивлялся, как это он терпит сатану. А теперь понимаю. Он помиловал сатану, как я тебя помиловал. А все равно это стыд и срам, что я тебя не прикончил.

— Вот мой совет, — сказал Уэнтворту Смок. — Больные очень быстро поправляются; через неделю мы с Малышом уедем, и некому будет вас от них защитить. Вот дорога. До Доусона восемнадцать дней пути.

— Сматывайся отсюда, Эймос, — прибавил Ма-

лыш. — А то они скоро выздоровеют и так тебя отделают… Как я тебя отделал — это еще сущие пустяки.

— Джентльмены, умоляю, выслушайте меня, — ныл Уэнтворт, — я в этих краях чужой. Я не знаю здешних обычаев. Я не знаю дороги. Позвольте мне поехать с вами. Я дам вам тысячу долларов, только позвольте мне поехать с вами.

— Пожалуйста, — сказал Смок с коварной улыбкой. — Если Малыш согласен.

— Кто?! Я?! — Малыш с достоинством выпрямился. — Я ничтожество. Я смиреннее последней козявки. Я червяк, букашка, лягушкин брат и мухин сын. Я не боюсь гадов и насекомых и не гнушаюсь ими — ни ползучими, ни вонючими. Но чтоб я связался с ним! Да он же хуже гада, он просто ошибка Господа Бога! Убирайся вон, ты! Я человек не гордый, но на тебя мне и смотреть тошно.

И Эймос Уэнтворт убрался; он ушел один, волоча сани, нагруженные запасом провизии, которой должно было хватить до самого Доусона. Едва он прошел милю по тропе, как его нагнал Малыш.

— Поди сюда, — сказал Малыш. — Давай, давай. Выкладывай. Раскошеливайся.

— Я вас не понимаю, — дрожащим голосом

ответил Уэнтворт; он весь затрясся при воспоминании о том, как Малыш уже дважды его отделал — и кулаками и ногами.

— А тысяча долларов? Непонятно? Тысяча долларов, которую Смок уплатил тебе за ту паршивую картофелину? Пошевеливайся!

И Эймос Уэнтворт протянул ему мешочек с золотом.

— Чтоб тебя вонючка искусала, — напутствовал его Малыш. — Авось ты сбесишься и издохнешь.

Яичный переполох

I

Ясным морозным утром Люсиль Эрол, что-то выбиравшая у галантерейного прилавка в магазине Аляскинской торговой компании в Доусоне, подозвала к себе Смока Беллью. Приказчик вышел за чем-то на склад. Хотя огромные печи раскалились докрасна, Люсиль снова натянула рукавицы.

Смок бросился на ее зов. Во всем Доусоне не было человека, которому не польстило бы внимание Люсиль Эрол — эстрадной певицы, которая служила в небольшой труппе, ежедневно дававшей представления в доусонском театре.

— Вот скука смертная! — пожаловалась Люсиль с капризной гримаской, как только они обменялись рукопожатием. — Уже целую неделю в Доусоне не было приступов золотой лихорадки. Обещал Скиф Митчел устроить костюмированный бал, да отложил. Никто не кутит, и в театр никто не ходит. И почты из Штатов уже две недели нет. В общем, Доусон впал в спячку. Надо что-нибудь придумать. Этому городишке нужна

встряска — и мы с вами должны его встряхнуть. Кто же их всех расшевелит, если не мы? Знаете, моя помолвка с Бешеным расстроилась.

И тотчас перед мысленным взором Смока мелькнули два видения: лицо Джой Гастелл — и он сам, на примятом снегу, под холодной северной луной, убитый наповал меткой пулей вышеупомянутого Чарли Бешеного. Смок отнюдь не горел желанием вместе с Люсиль Эрол расшевелить Доусон, и она не могла этого не заметить.

— Вот мило! Благодарю покорно, вы меня совсем не так поняли, — засмеялась она и обиженно надула губы. — Право, вы не настолько внимательны ко мне, чтобы стоило бросаться вам на шею.

— От нечаянной радости можно получить разрыв сердца, — с огромным облегчением пробормотал Смок.

— Лгунишка, — кокетливо сказала Люсиль. — Просто вы до смерти испугались. Так вот имейте в виду, мистер Смок Беллью, я не собираюсь влюбиться в вас, а если вы попробуете влюбиться в меня, Бешеный быстро вас вылечит. Вы его знаете. И потом, я… я не совсем порвала с ним.

— Ладно, загадывайте загадки, — усмехнулся Смок. — Может, когда-нибудь я и догадаюсь, к че-

му вы клоните.

— Тут нечего гадать, я вам скажу прямо. Бешеный думает, что я порвала с ним, понимаете?

— А на самом деле нет?

— Конечно, нет! Но это я только вам, по секрету. А он думает, что все кончено. Я всем так говорю, и он это заслужил.

— А я вам зачем? Как ширма? Для отвода глаз?

— Ни в коем случае. Вы заработаете кучу денег, мы поднимем Бешеного на смех, развеселим Доусон, а самое главное, ради чего я все это затеяла, — Бешеный станет немного потише. Ему это полезно. Он… как бы это получше объяснить… уж очень разбушевался. Только потому, что он такой огромный детина, и рудникам своим счет потерял, и…

— И обручен с самой очаровательной женщиной во всей Аляске, — вставил Смок.

— Ну, и это — вы очень любезны… а все равно нечего ему буянить. Вчера вечером он опять разошелся. В салуне «М. и М.» засыпал весь пол золотым песком. На тысячу долларов, не меньше. Просто-напросто развязал кошель и пошел сыпать под ноги танцующим. Вы уже, конечно, слыхали?

— Еще утром. Жалко, что не я уборщик в этом

заведении. А все-таки я вас никак не пойму. Я-то тут при чем?

— Вот слушайте. Вчера это было уж слишком. Я поссорилась с ним, и теперь он делает вид, что сердце его разбито. Ну, вот мы и добрались до сути. Я обожаю яйца всмятку.

— Вот те на! — в отчаянии воскликнул Смок. — А это тут при чем?

— Не торопитесь.

— Но какая же связь между яйцами всмятку и вашей помолвкой?

— Самая прямая, только дослушайте меня.

— Я весь внимание! — заверил Смок.

— Так вот, слушайте, бога ради. Я люблю яйца всмятку. А в Доусоне яйца — редкость.

— Да, конечно. Я знаю. Почти все, что было, закупил ресторан Славовича. Ветчина с одним яйцом — три доллара. С двумя яйцами — пять долларов. Значит, розничная цена яйцу — два доллара. Только наши богачи да вот Люсиль Эрол или Чарли Бешеный могут позволить себе такую роскошь.

— Бешеный тоже любит яйца, — продолжала Люсиль. — Но не в том суть. Важно, что их люблю я. Каждое утро в одиннадцать часов я завтракаю у Славовича. И непременно съедаю два яйца

всмятку. — Она многозначительно помолчала. — Но представьте себе, что кто-то скупил все яйца.

Она ждала ответа, а он смотрел на нее с восхищением: что и говорить, Бешеный выбрал очень неплохо!

— Вы меня не слушаете, — сказала Люсиль.

— Продолжайте, — ответил Смок. — Я сдаюсь. Где же разгадка?

— Вот бестолковый! Вы же знаете Бешеного. Он увидит, как я горюю, что нет яиц всмятку (а я хорошо его изучила и умею разыграть безутешное горе), и как по-вашему, что он тогда сделает?

— Говорите. Я слушаю.

— Да он сразу кинется разыскивать того, кто скупил все яйца. Он перекупит их, сколько бы это ему ни стоило. Вообразите картину: в одиннадцать часов я вхожу к Славовичу. За соседним столиком — Бешеный. Можете не сомневаться, он там будет. «Два яйца всмятку», — говорю я официанту. «Виноват, мисс Эрол, — отвечает он, — яиц больше нет». И тут Бешеный говорит своим медвежьим басом: «Официант, омлет из шести яиц!» — «Слушаю, сэр», — говорит официант и подает омлет. Теперь вообразите картину: Бешеный косится в мою сторону, я делаю самое ледяное возмущенное лицо и подзываю офици-

анта. «Виноват, мисс Эрол, — говорит он, — но это собственность мистера Бешеного. Понимаете, мисс, он скупил все яйца». Вообразите картину: Бешеный торжествует и, старательно прикидываясь, что ничего не заметил, уплетает омлет из шести яиц.

А потом такая картина: Славович самолично приносит мне два яйца всмятку и говорит: «Мистер Бешеный просит оказать ему честь». Как тут быть? Мне только и останется улыбнуться Бешеному, и мы, конечно, помиримся, и он будет считать, что это ничуть не дорого, даже если яйца обойдутся ему по десять долларов штука.

— А дальше что? — спросил Смок. — На какой же станции я влезу в этот экспресс и у какой водокачки меня потом ссадят?

— Вот глупый! Никто вас не ссадит. Вы приведете свой яичный поезд прямиком к станции назначения. Вы-то и скупите все яйца. Принимайтесь за дело немедленно, сегодня же. Вы можете купить все яйца, сколько их есть в Доусоне, по три доллара за штуку, а с Бешеного возьмете, сколько вам вздумается. И потом мы всем расскажем, в чем суть. Бешеного поднимут на смех. Он немного утихомирится. Мы с вами выйдем победителями. Вы заработаете кучу денег. А До-

усон проснется от спячки и будет хохотать до упаду. Разумеется, если… если это, по-вашему, чересчур рискованная спекуляция, я дам вам золотого песку.

Это было уже слишком. Смок был обыкновенный смертный родом с Запада, с весьма своеобразными взглядами на женщин и на деньги. Разве мог он принять от нее золото?

II

— Эй, Малыш! — окликнул Смок своего компаньона; тот вразвалку шагал по другой стороне улицы, неся под мышкой бутыль, в которой замерзла какая-то жидкость. Смок перешел к нему через дорогу. — Где ты пропадал все утро? Я тебя всюду ищу.

— К доктору ходил, — ответил Малыш, показывая бутылку. — С нашей Салли что-то неладно. Вчера вечером, когда я их кормил, я увидал, у нее хвост и бока облезают. Доктор говорит…

— Это все ерунда, — нетерпеливо прервал Смок. — Я хочу…

— Что это с тобой? — возмутился Малыш. — А если у Салли вся шерсть вылезет в такой мороз? Говорят тебе, собака больна! Доктор сказал…

— Салли подождет. Послушай…

— Говорят тебе, она не может ждать. Нет, это уже пахнет истязанием животных. Ты, видно, заморозить ее хочешь. И какая муха тебя укусила? Может, на Монте-Кристо и впрямь нашли золото?

— Не знаю, Малыш. Но у меня к тебе просьба.

— Пожалуйста, — любезно согласился Малыш, сразу успокаиваясь. — Что там у тебя? Выкладывай. Я весь к твоим услугам.

— Купи для меня яиц…

— Может, еще пудры и духов? А бедная Салли пускай облезет начисто? Нет, знаешь, Смок, если ты хочешь вести роскошную жизнь, можешь сам покупать себе яйца, а с меня хватит и бобов с салом.

— Я и сам буду покупать, но ты мне поможешь. А теперь помолчи, Малыш. Говорить буду я. Сейчас ты пойдешь к Славовичу. Плати хоть по три доллара за яйцо, но купи все, что у него есть.

— По три доллара! — охнул Малыш. — А я только вчера слыхал, что у него в запасе целых семьсот яиц. Две тысячи сто долларов за курочкино яичко! Знаешь, что я тебе скажу? Беги покажись доктору. Он тобой займется. И возьмет с тебя не больше унции песку за совет. До скорого! Мне пора.

Он шагнул было прочь, но Смок взял его за плечо и с силой повернул к себе.

— Слушай, Смок, я все для тебя сделаю, — горячо сказал Малыш. — Если ты схватишь насморк и будешь лежать с переломанными руками, я день и ночь буду сидеть подле тебя и утирать тебе нос. Но будь я проклят вовеки, если ради тебя или ради кого другого выложу две тысячи сто полновесных долларов за какие-то там куриные яйца.

— Да ведь доллары не твои, а мои. Я затеял одно дело. Хочу скупить все яйца, сколько их есть в Доусоне, в Клондайке, по всему Юкону. Ты должен мне помочь. Мне некогда рассказывать, в чем тут суть. Потом объясню и, если захочешь, приму тебя в долю. Но прежде всего надо скупить яйца. А теперь беги к Славовичу и забирай все, что у него есть.

— Но что я ему скажу? Уж, конечно, он поймет, что я не собираюсь сам все уплести.

— Ничего ему не говори. Деньги скажут. Он берет за вареное яйцо два доллара. Предложи ему по три за сырое. Если он начнет приставать с расспросами, скажи, что хочешь разводить цыплят. Мне все равно, были бы яйца. И потом продолжай в том же духе, обшарь весь Доусон и скупи все яйца до единого. Понял? Покупай все

подряд! В ресторанчике напротив Славовича есть немного — купи их. Я пойду в Клондайк-сити. Там живет один разорившийся старик, хромоногий; у него есть шесть дюжин. Он продержал их всю зиму, надеялся продать подороже, чтоб хватило на дорогу до Сиэтла. Я ему оплачу дорогу и получу яйца. Ну, поторапливайся. И еще, говорят, у той женщины, что живет за лесопилкой и шьет мокасины, найдется дюжина-другая.

— Ладно, будь по-твоему. Но самая большая партия — у Славовича. Я с ним заключу такой контракт, что комар носу не подточит. А сейчас пойду соберу по мелочам, что у кого есть.

— Ладно. Только поскорей. Вечером я тебе расскажу, какой у меня план.

Но Малыш помахал бутылкой.

— Сперва я займусь лечением Салли. Уж столько-то времени яйца подождут. Если их до сих пор не съели, так не съедят, пока я позабочусь о несчастной собаке, — она столько раз спасала нам жизнь.

III

Еще никогда ни один товар не скупали так быстро. За три дня Смок с Малышом прибрали к рукам все яйца, сколько их было в Доусоне, кро-

ме нескольких дюжин. Смок не стоял за ценой. Он, не краснея, признавался, что купил у старика из Клондайка семьдесят два яйца по пять долларов штука. Но большую часть купил Малыш, и притом отчаянно торговался. Женщине, которая занималась шитьем мокасин, он заплатил всего по два доллара и очень гордился, что так удачно поладил со Славовичем — купил семьсот пятнадцать яиц по два с полтиной на круг. И как он ворчал, когда в ресторанчике напротив, где всего было каких-то сто тридцать четыре яйца, с него содрали по два семьдесят пять за штуку!

Но несколько дюжин еще оставалось у двух владельцев. Малыш вел переговоры с индианкой, которая жила в лачуге на холме, за больницей.

— Сегодня мы с ней покончим, — объявил назавтра Малыш. — Ты вымой посуду. Я мигом обернусь, если только удастся уйти от нее живым. Куда легче вести дела с мужчинами. С бабами прямо беда, они из покупателя всю душу вымотают. Еще продать им что-нибудь можно, а уж купить… Прямо как будто она не яйцами торгует, а золотыми слитками.

Когда под вечер Смок вернулся домой, Малыш сидел на корточках и с подозрительно бесстрастным видом натирал лекарством хвост Салли.

Несколько минут прошло в молчании.

— Что хорошего? — небрежно спросил наконец Малыш.

— Да ничего, — ответил Смок. — Сторговался ты со своей скво?

Малыш победоносно кивнул на стол, где стояло ведерко с яйцами, и продолжал молча втирать снадобье. Потом признался:

— Пришлось отдать по семь долларов за штуку.

— А я под конец предлагал по десять, — сказал Смок. — И вдруг этот тип заявил, что уже продал яйца. Плохо наше дело, Малыш. У нас появился конкурент. Эти двадцать восемь яиц доставят нам немало хлопот. Понимаешь, весь секрет в том, чтобы у нас оказались все яйца до единого, иначе…

Он не договорил и уставился на своего компаньона. Малыш внезапно изменился в лице — что-то взволновало его, но он всячески старался этого не показать. Он отставил лекарство, тщательно, не торопясь, вытер руки о шкуру Салли, поднялся, прошел в угол, посмотрел на термометр, потом повернул обратно. И наконец заговорил тихим, ровным голосом и притом чрезвычайно вежливо:

— Будь так добр, повтори, пожалуйста, сколько яиц ты торговал у этого типа?

— Двадцать восемь.

— Гм… — пробурчал Малыш и легким кивком поблагодарил Смока. Потом раздумчиво и недоброжелательно посмотрел на печь. — Надо поставить новую печку. А то у этой топка прогорела, получаются не лепешки, а уголь.

— При чем тут печка? — не выдержал Смок. — Скажи толком, в чем дело?

— В чем дело? Ты желаешь знать, в чем дело? Тогда будь так любезен, обрати свои прекрасные глаза на ведро, вон там, на столе. Видишь?

Смок кивнул.

— Так вот что я хочу тебе сказать. Здесь, в этом самом ведре, ровным счетом двадцать восемь яиц, и каждое из них, черт бы их побрал, стоит ровным счетом семь добрых, звонких, полновесных монет. Если ты очень жаждешь еще что-нибудь узнать, пожалуйста, я в твоем распоряжении.

— Ну-ну, дальше, — потребовал Смок.

— Скажи, ты у кого торговал яйца? У высокого старого индейца, верно?

Смок кивнул, и потом ему пришлось кивать на каждый следующий вопрос Малыша.

— Ему щеку ободрал медведь — верно? Он торгует собаками? Его зовут Джим Рваная Щека? Все сходится? Понимаешь, о ком я?

— Ты думаешь, мы с тобой перебивали…

— Друг у друга. Ясное дело. Эта скво — его жена, они живут на холме, за больницей. Я бы мог купить эти яйца по два доллара штука, если б ты не сунулся.

— То же самое и я, — засмеялся Смок, — если б ты не впутался, чтоб тебе пусто было! Но это не имеет значения. Зато мы скупили все без остатка. Это главное.

И потом целый час Малыш пыхтел, выводя огрызком карандаша какие-то закорючки на полях газеты трехлетней давности, и чем длинней и загадочней становились колонки цифр, тем веселее становился он сам.

— Вот оно! — сказал он наконец. — Здорово, а? Очень даже мило, по-моему. Смотри, я все подсчитал. В нашем распоряжении ровно девятьсот семьдесят три яйца. Они нам стоили ровно две тысячи семьсот шестьдесят долларов, считая песок по шестнадцать долларов унция и не принимая в расчет наше с тобой время. А теперь слушай. Если мы выжмем из Бешеного по десять долларов за штуку, мы получим ровным счетом

шесть тысяч девятьсот семьдесят долларов чистого барыша. Вот это куш, скажу я тебе! И половина моя! Так и запиши, Смок, — я тебе до того благодарен, прямо выразить не могу. Плевать я хотел на всяких букмекеров, я теперь всю жизнь буду ставить на кур, а не на лошадей.

IV

В тот вечер в одиннадцать часов, когда Смок уже спал крепким сном, его разбудил Малыш; от его меховой парки веяло стужей, и рука, которой он дотронулся до щеки Смока, была ледяная.

— Что там еще? — проворчал Смок. — У Салли последняя шерсть вылезла?

— Да нет. У меня хорошие новости. Я говорил со Славовичем. Вернее, Славович говорил со мной, это он начал первый. «Малыш, — сказал он, — я хочу поговорить с тобой насчет этих самых яиц. Я никому и словом не обмолвился. Никто не знает, что я продал их тебе. Но если хочешь сделать выгодное дельце, могу дать тебе хороший совет». И он мне посоветовал одну вещь — прямо находка! Угадай, что?

— Ну, ну, говори.

— Хочешь верь, хочешь не верь, но находка — Чарли Бешеный. Он хочет купить яйца. Он

заявился к Славовичу, предлагал сперва по пять долларов за штуку, а под конец — по восемь. А у Славовича ничего не осталось. Напоследок Бешеный сказал Славовичу, что разобьет ему башку, если узнает, что он где-нибудь припрятал яйца. И пришлось Славовичу сказать, что яйца он продал и обещал не называть покупателя. Славович просит, чтоб я разрешил ему сказать Бешеному, кто купил яйца. «Малыш, — говорит мне Славович, — Бешеный сейчас же к тебе прибежит. Ты можешь вытянуть из него по восемь долларов за штуку». А я говорю — черта с два по восемь, я из него и десять выжму. В общем, я сказал Славовичу, что подумаю и утром дам ему ответ. Пусть он скажет Бешеному, что это мы все скупили. Верно я говорю?

— Ну, конечно, Малыш. Утром сразу шепни словечко Славовичу. Пусть скажет Бешеному, что мы с тобой в этом деле компаньоны.

Минут через пять Малыш снова разбудил друга.

— Послушай, Смок! Эй, Смок!

— Ну?

— По десять долларов штука — и ни цента меньше. Правильно я говорю?

— Ну, ясно… — пробормотал Смок, засыпая.

Наутро в магазине Аляскинской торговой компании Смок снова встретил у галантерейного прилавка Люсиль Эрол.

— Дело на мази! — весело объявил он. — Дело на мази. Бешеный приходил к Славовичу насчет яиц, давал большие деньги, и просил, и грозил. А теперь Славович уже, наверно, ему сказал, что яйца скупили мы с Малышом.

Глаза Люсиль Эрол вспыхнули радостью.

— Сейчас пойду завтракать! — воскликнула она. — Закажу яйца, а когда их не окажется, сделаю такое жалобное лицо, что и каменное сердце смягчится. Уж, конечно, Бешеный наседал на Славовича! Он постарается перекупить всю партию, хотя бы ему для этого пришлось распроститься с одним из своих рудников. Я его знаю. Но только вы не уступайте. Десять долларов, Смок, на меньшее я не согласна. Если вы продадите дешевле, я вам никогда не прощу.

В полдень Малыш занялся приготовлениями к обеду: поставил на стол котелок с бобами, кофе, лепешки на сковороде, жестянку с маслом, банку сгущенного молока, дымящуюся оленину с беконом, компот из сушеных персиков.

— Обед подан, — объявил он. — Только взгляни сперва, как там Салли.

Смок отложил упряжь, которую он чинил, открыл дверь и увидел, как Салли и Быстрый бесстрашно отгоняют свору соседских собак, сбежавшихся к ним в надежде чем-нибудь поживиться. Но он увидел и еще нечто, заставившее его поспешно захлопнуть дверь и кинуться к печи. Сковорода, на которой жарилась оленина, еще не остыла — рывком он поставил ее на переднюю конфорку, положил большой кусок масла, схватил яйцо, разбил, вылил на шипящую сковороду и потянулся за вторым. Но тут подскочил Малыш и удержал его за руку.

— Эй, ты что делаешь?

— Яичницу, — сказал Смок, стряхивая руку Малыша, и разбил второе яйцо. — Ты что, стал плохо видеть? Может, тебе кажется, что я причесываюсь?

— Да ты не заболел ли? — тревожно спросил Малыш, когда Смок, ловко оттолкнув его локтем, разбил над сковородой третье яйцо. — Или, может, просто рехнулся? Ведь тут яиц уже на тридцать долларов.

— А будет на шестьдесят, — ответил Смок, разбивая четвертое. — Не мешай, Малыш. К нам поднимается Бешеный, через пять минут он будет здесь.

Поняв наконец, в чем тут соль, Малыш с облегчением вздохнул и сел к столу. А когда в дверь постучали, Смок уже сидел против него за столом, и перед каждым стояла тарелка с дымящейся яичницей из трех яиц.

— Войдите! — крикнул Смок.

Вошел Чарли Бешеный, молодой великан добрых шести футов ростом, весивший ни много ни мало сто девяносто фунтов, и пожал обоим руки.

— Присаживайся, Бешеный, закуси с нами, — пригласил Малыш. — Смок, поджарь-ка ему яичницу. Пари держу, он уже давно не пробовал яичка.

Смок вылил еще три яйца на горячую сковороду и через несколько минут поставил яичницу перед гостем. Тот смотрел на нее во все глаза; Малыш признавался потом, что ему страшно стало: вдруг Бешеный сунет яичницу в карман и удерет…

— А пожалуй, даже самые богатые тузы в Штатах не едят так, как мы, — ликовал Малыш. — Вот мы сейчас втроем уплетем яиц на девяносто долларов, и хоть бы что.

Бешеный уставился на быстро исчезающие яйца и словно окаменел.

— Ешь, ешь, — подбодрил его Смок.

— Они… не стоят они по десять долларов! — медленно произнес Бешеный.

Малыш принял вызов.

— Всякая вещь стоит столько, сколько можно за нее получить, так? — спросил он.

— Да, но…

— Какие тут «но»? Я же говорю, сколько мы можем за них взять. По десять долларов за штуку, это как пить дать. Имей в виду, мы со Смоком — яичный трест. Раз мы говорим — десять долларов штука, значит, так оно и будет. — Малыш тщательно вытер свою тарелку лепешкой. — Я, кажется, мог бы съесть еще яичко-другое, — вздохнул он и положил себе бобов.

— Как же это вы так едите яйца, — с упреком сказал Бешеный, — это… это просто нехорошо!

— Уж такая у нас со Смоком слабость, страшно любим яйца, — извиняющимся тоном объяснил Малыш.

Бешеный без особого удовольствия доел свою яичницу и неуверенно посмотрел на двух друзей.

— Послушайте, ребята, вы можете мне оказать большую услугу, — начал он, нащупывая почву. — Продайте мне, или одолжите, или подарите, что ли, этак с дюжину яиц.

— Сделай милость, — ответил Смок. — Мне и самому иной раз до смерти хочется яичницы. Но не такие уж мы бедняки, чтобы брать деньги за угощение. Ни гроша не возьмем. — Тут его под столом сильно ударили ногой, и он понял, что спокойствие изменяет Малышу. — Так сколько тебе, Бешеный, дюжину?

Бешеный кивнул.

— А ну, Малыш, поджарь ему еще дюжину, — сказал Смок. — Вполне сочувствую. Было время, я и сам мог уплести целую дюжину зараз.

Малыш вскочил, но Бешеный удержал его.

— Нет, не надо жарить, — сказал он. — Мне нужны сырые яйца.

— Ты что, хочешь взять их с собой?

— Вот-вот.

— Какое же это угощение? — запротестовал Малыш. — Это… это уже купля-продажа.

— Это совсем другое дело, Бешеный, — поддержал Малыша Смок. — Я думал, ты просто хочешь их съесть. Понимаешь, мы затеяли одну коммерческую операцию.

Грозные огоньки в голубых глазах Бешеного разгорелись ярче обычного.

— Я заплачу вам, — бросил он. — Сколько?

— Но не за дюжину, — ответил Смок. — Дюжину

мы продать не можем. Мы не торгуем в розницу, у нас крупная операция. Не будем же мы сами себе портить рынок. Мы скупили все яйца до единого — и продадим их только все сразу.

— Сколько у вас яиц и сколько вы за них хотите?

— Сколько у нас, Малыш?

— Сейчас скажу. — Малыш откашлялся и стал считать вслух: — Девятьсот семьдесят три отнять девять, остается девятьсот шестьдесят два. По десять за штуку — это получается за все вместе девять тысяч шестьсот двадцать кругленьких долларов. Ну и, конечно, мы ведем дело по-честному: за тухлые яйца деньги обратно, только тухлых тут нет. Вот уж чего я никогда на Клондайке не видал, так это тухлых яиц. Самый последний дурак не повезет сюда тухлые яйца.

— Правильно, — поддержал Смок. — За тухлые яйца деньги обратно. Стало быть, вот что мы предлагаем, Бешеный: плати девять тысяч шестьсот двадцать долларов, и все яйца на Клондайке до единого — твои.

— А потом ты продай их по двадцать за штуку — и выручишь вдвое, — посоветовал Малыш.

Бешеный уныло покачал головой и положил себе в тарелку бобов.

— Это мне не по карману, Малыш. Мне ведь нужно всего несколько штук. Я бы взял дюжину-другую по десять долларов штука. Даже по двадцать взял бы, но только не всю партию.

— Все или ничего, — отрезал Смок.

— Послушайте, — в порыве откровенности сказал Бешеный, — я расскажу вам все начистоту, только пускай это останется между нами. Вы ведь знаете, мы с мисс Эрол были помолвлены. Ну, и теперь она со мной порвала. Это вы тоже знаете. Это все знают. Яйца мне нужны для нее.

— Ха! — зло усмехнулся Малыш. — Так вот зачем они тебе понадобились? Не ожидал я от тебя!

— Чего не ожидал?

— Это просто низость, скажу я тебе! — воскликнул Малыш, охваченный благородным негодованием. — Я не удивлюсь, если кто-нибудь всадит в тебя пулю, ты этого заслуживаешь.

Бешеный вспыхнул, готовый разразиться одним из своих знаменитых припадков ярости. Он сжал вилку с такой силой, что она согнулась, голубые глаза его метали молнии.

— Слушай, ты это про что? Если ты думаешь, что у меня плохое на уме и я это скрываю…

— Я знаю, что думаю, — упрямо возразил Ма-

лыш. — Уж, конечно, тут ничего не скроешь. Кидают только в открытую.

— Что кидают?

— Яйца, сливы, мячи, да мало ли что. Только ты просчитаешься, Бешеный. Публика этого не потерпит. Хоть она и артистка, а ты не имеешь права закидать ее на сцене яйцами.

Казалось, Бешеного вот-вот хватит удар. Он судорожно глотнул горячего, как кипяток, кофе и понемногу пришел в себя.

— Ошибаешься, Малыш, — неторопливо, холодно сказал он. — Я не собираюсь закидать ее яйцами. Ты пойми! — с жаром выкрикнул он. — Я хочу поднести ей яйца на тарелочке, сваренными всмятку, она их очень любит.

— Так я и знал, что этого не может быть! — обрадовался Малыш. — Уж кто-кто, а ты не способен на такую подлость!

— Вот и хорошо, — сказал Бешеный, решив не обижаться. — Но перейдем к делу. Теперь вы знаете, зачем мне нужны яйца. Они мне нужны до зарезу.

— До того, что возьмешь их за девять тысяч шестьсот двадцать долларов? — спросил Малыш.

— Да ведь это просто грабеж! — возмутился Бешеный.

— Это сделка, — отрезал Смок. — Ты что думаешь, мы их накупили, чтобы поправить свое здоровье?

— Да поймите вы! — взмолился Бешеный. — Мне нужно только две-три дюжины, не больше. Я вам заплачу по двадцать долларов за штуку. А остальные мне куда девать? Сколько лет я жил здесь и не ел яиц, уж как-нибудь и дальше без них проживу.

— Да ты не горячись, — посоветовал Малыш. — Не нужны они тебе — и не надо. Мы тебе их не навязываем.

— В том-то и штука, что они мне нужны, — жалобно сказал Бешеный.

— Что ж, ты знаешь, во сколько они тебе обойдутся — в девять тысяч шестьсот двадцать долларов, а если я сосчитал неправильно, можно пересчитать.

— А вдруг от них не будет толку? — возразил Бешеный. — Вдруг мисс Эрол уже разлюбила яйца?

— По-моему, мисс Эрол стоит десяти тысяч, — спокойно вставил Смок.

— Стоит! — Бешеный вскочил и дал волю своему красноречию. — Да она стоит миллиона! Она стоит всего, что у меня есть! Она стоит всего золота, сколько его есть на Клондайке! — Он снова

сел и продолжал спокойнее: — Но это не значит, что я должен просадить десять тысяч долларов на ее завтраки. Вот что я предлагаю. Одолжите мне дюжины две яиц. Я отдам их Славовичу, и он преподнесет их ей от моего имени. Она мне уже сто лет не улыбалась. Если эти яйца подарят мне ее улыбку, я заберу у вас всю партию.

— Согласен ты на этих условиях подписать контракт? — спросил Смок, спеша поймать его на слове: он-то знал, что Люсиль Эрол улыбнется!

Бешеный даже рот раскрыл.

— Быстро же у вас дела делаются, — сказал он не без злости.

— Мы только соглашаемся на твое предложение, — ответил Смок.

— Ладно! Давай чернила и бумагу, пиши контракт, — вконец разозлился Бешеный, прижатый к стене.

Смок немедленно составил документ, из которого следовало, что Бешеный обязуется заплатить по десять долларов за каждое предложенное ему яйцо при условии, что две дюжины, выданные ему авансом, послужат его примирению с Люсиль Эрол.

Бешеный уже готов был подписать бумагу и вдруг застыл с пером в руке.

— Только вот что, — сказал он. — Если уж я покупаю яйца, они должны быть свежие.

— На Клондайке несвежих не бывает, — фыркнул Малыш.

— А все-таки, если попадется хоть одно плохое яйцо, вы возвращаете мне за него десять долларов.

— Ну, конечно, — согласился Смок. — Это справедливо.

— Берусь съесть каждое тухлое яйцо, которое ты найдешь, — объявил Малыш.

Смок вставил в контракт слово «свежие», Бешеный мрачно подписался, взял ведерко с пробными двумя дюжинами, надел рукавицы и шагнул к двери.

— До свиданья, грабители! — буркнул он и хлопнул дверью.

V

На другое утро Смок был свидетелем сцены, которая разыгралась у Славовича. Бешеный пригласил его за свой столик рядом со столиком Люсиль Эрол. Все произошло в точности так, как она предсказывала.

— Вы все еще не достали яиц? — жалобно спросила она официанта.

— Нет, мэм, — был ответ. — Говорят, кто-то скупил все яйца в Доусоне. Мистер Славович пытался приобрести несколько штук специально для вас. Но тот, кто все скупил, не хочет выпускать партию из рук.

Вот тут-то Бешеный и подозвал хозяина и за плечо притянул его к себе.

— Слушай, Славович, — хрипло зашептал он ему на ухо. — Вчера вечером я тебе принес две дюжины яиц. Где они?

— В кладовой, я только пяток разморозил и держу для вас наготове.

— Это не для меня, — еще тише прошептал Бешеный. — Свари их всмятку и преподнеси мисс Эрол.

— Я сам сейчас все сделаю, — заверил Славович.

— Да передай от меня поклон, не забудь, — прибавил Бешеный, отпуская наконец плечо Славовича, которое он до сих пор держал железной хваткой.

Люсиль Эрол сидела, уставясь в тарелку, и на ее хорошеньком личике было ясно написано, что грудинка с консервированным картофельным пюре приводит ее в совершенное уныние. И тут Славович поднес ей на тарелке два сваренных

всмятку яйца.

— Мистер Бешеный просит оказать ему честь, — сказал он так, что его услышали и за соседним столиком.

«Вот это актриса!» — подумал Смок, глядя на Люсиль. Лицо ее радостно вспыхнуло, она невольно обернулась — вот-вот улыбнется! — и только усилием воли сдержалась и что-то сказала Славовичу. Бешеный под стулом наступил Смоку на ногу.

— Будет ли она есть? Вот что главное! Будет она есть? — тревожно шептал он.

Они искоса поглядывали на соседний столик и видели, что Люсиль колеблется: она едва не отодвинула тарелку, но соблазн был слишком велик.

— Беру все яйца! — сказал Бешеный. — Контракт остается в силе. Ты видел? Нет, ты видел? Она чуть не улыбнулась. Я ее знаю. Теперь все в порядке. Еще пара яиц завтра — и она простит меня, и конец ссоре. Я так благодарен тебе, Смок, я бы пожал тебе руку, да боюсь, она увидит. Ты не грабитель, нет, ты мой благодетель!

VI

Смок вернулся домой в самом праздничном настроении и застал Малыша мрачнее тучи за пасьянсом. Смоку было известно: раз Малыш сел за пасьянс, значит, все плохо на этом свете.

— Молчи и не приставай ко мне, — буркнул Малыш вместо приветствия.

Но немного погодя его прорвало, и он излил перед Смоком душу.

— Все пошло прахом, — в отчаянии объявил он. — Мы вылетели в трубу. Завтра во всех кабачках будут продавать коктейль с яйцом по доллару стакан. Всякий бездомный нищий мальчишка в Доусоне сможет есть яйца до отвала. Как по-твоему, с кем я встретился? Один человек привез на продажу три тысячи яиц — понятно тебе? Три тысячи, он только что доставил их сюда с Сороковой Мили.

— Враки, — недоверчиво сказал Смок.

— Да, враки, черта с два! Я сам их видел. Его зовут Готеро — такой огромный парень с голубыми глазами. Француз из здешних. Он сперва спрашивал тебя, а потом отозвал меня в сторону и убил насмерть. Он прослышал, что мы покупаем яйца, понимаешь? Он знал, что на Сороковой Миле

есть три тысячи штук, и прямо поехал и купил их. «Покажи их мне», — говорю. И он показал. Там, на берегу, были его упряжки, собаки отдыхали и два индейца-погонщика тоже, они только-только добрались с Сороковой Мили. И на нартах ящики из-под мыла, такие, знаешь, деревянные ящики. Мы вытащили один и прямо тут же, на льду, между торосами, вскрыли. А там — яйца! Полно яиц, и все опилками пересыпаны. Продулись мы с тобой, Смок! Наша карта бита. Знаешь, что этот нахал мне заявил? Что он их все нам отдаст по десять долларов за штуку. А знаешь, что он делал, когда я уходил? Писал объявление, что продает яйца. Он предлагает нам первым купить всю партию по десять долларов и будет ждать до двух часов дня. А если мы не купим, выбросит их на рынок и испортит нам всю музыку. Я, говорит, этими делами никогда не занимался, но уж когда счастье само плывет в руки, я его не упущу, — это он про нас с тобой.

— Ну, ничего, — беспечно сказал Смок. — Только не теряй голову и дай мне подумать. Надо действовать быстро и слаженно, в этом весь секрет. Я сговорюсь с Бешеным, чтобы он в два часа пришел за своей покупкой. А ты купи яйца у этого Готеро. Поторгуйся с ним как следует.

Даже если они тебе обойдутся по десять долларов штука, все равно мы сбудем их Бешеному по той же цене. А купишь дешевле — прекрасно, мы на этом еще и заработаем. Ну, шагай. Смотри, чтобы они были здесь в два часа, не позже. Попроси собаку полковника Бови и нашу упряжку тоже возьми. И будь здесь ровно в два.

И Смок стал спускаться с холма.

— Послушай, — крикнул вдогонку Малыш, — ты бы прихватил зонтик! А то, глядишь, и с неба яйца посыплются.

Смок нашел Бешеного в кабачке «М. и М.»; последовало бурное объяснение.

— Имей в виду, мы тут купили еще яиц, — сказал Смок, когда Бешеный согласился прийти к ним в два часа и тут же расплатиться.

— Везет вам на яйца, не то что мне, — сказал Бешеный. — А сколько штук еще вы купили и сколько песку мне приносить?

Смок заглянул в записную книжку.

— Малыш подсчитал, что у нас сейчас три тысячи девятьсот шестьдесят два яйца. Если помножить на десять…

— Сорок тысяч долларов! — завопил Бешеный. — Вы ж говорили, что у вас их девятьсот штук с чем-то! Это вымогательство! Я на это не

пойду.

Смок вытащил из кармана контракт и показал пункт об оплате всей партии яиц.

— Тут не указано, сколько именно яиц мы тебе поставляем. Ты обязался уплатить наличными по десять долларов за каждое полученное от нас яйцо. Теперь их у нас прибавилось, но контракт есть контракт, ты его сам подписал. Говоря по чести, мы узнали про эту новую партию уже после того, как ты его подписал. Тогда уж нам пришлось купить их, а то вся наша операция лопнула бы.

Пять долгих минут Бешеный боролся с собой, не в силах вымолвить ни слова, и наконец все-таки сдался.

— Плохо мое дело, — уныло сказал он. — Куда ни повернись, всюду яйца, прямо шагу ступить нельзя. Надо мне поскорей развязаться с этой историей. А то еще, пожалуй, яичная лавина свалится на голову. В два часа я буду у вас. Но подумать только: сорок тысяч долларов!

— Всего тридцать девять тысяч шестьсот двадцать, — поправил Смок.

— Да ведь это двести фунтов песка! — вне себя крикнул Бешеный. — Мне придется привезти его на собаках!

— Мы дадим тебе свою упряжку, чтобы отвезти

яйца, — вызвался Смок.

— А потом куда я их дену? Ну, ничего. Я приду. Но теперь я до самой смерти яйца в рот не возьму. Мне о них и думать тошно.

В половине второго по крутому склону холма поднялись две упряжки — это Малыш привез яйца, купленные у Готеро.

— Мы заработаем почти вдвое, — говорил он, пока они со Смоком перетаскивали ящики в хижину. — Я дал за них по восемь долларов, француз крепко выругался по-своему — и согласился. Стало быть, у нас чистой прибыли по два доллара на штуку, а ведь их три тысячи. Я уплатил ему сполна. Вот расписка.

Пока Смок доставал весы и готовил все к приходу Бешеного, Малыш погрузился в расчеты.

— Вот оно, все подсчитано! — с торжеством объявил он. — Мы получаем двенадцать тысяч девятьсот семьдесят долларов барыша. И Бешеный не в убытке. Он получает мисс Эрол. И яйца тоже достаются ему. Как ни верти, дело для всех выгодное. Внакладе никто не останется.

— Готеро и тот выручил двадцать четыре тысячи, — рассмеялся Смок. — Ну, тут, конечно, надо вычесть, во что ему обошлись яйца и перевозка. А если Бешеный захочет придержать эти яйца,

он еще на них наживется.

Ровно в два часа Малыш, выглянув за дверь, увидел, что к ним поднимается Бешеный. Он вошел оживленный и деловитый. Снял тяжелую медвежью шубу, повесил ее на гвоздь и подсел к столу.

— Ну, подавайте сюда ваш товар, разбойники, — начал он. — Да смотрите, впредь и не поминайте при мне о яйцах, не то плохо вам будет.

И все втроем стали подсчитывать яйца, которые Малыш со Смоком скупили до появления Готеро. Когда отсчитали двести штук, Бешеный вдруг ударил одно яйцо о край стола и большими пальцами ловко раскрыл его.

— Эй! Постой! — запротестовал Малыш.

— Мое это яйцо или нет? — огрызнулся Бешеный. — Я плачу за него десять долларов и не желаю покупать кота в мешке. Уж раз я выкладываю по десять долларов за яйцо, мне надо знать, что они свежие.

— Если оно тебе не нравится, я могу его съесть, — лукаво предложил Малыш.

Бешеный посмотрел, понюхал и покачал головой:

— Незачем, Малыш. Яйцо хорошее. Дай-ка мне кастрюльку. Я его сам съем на ужин.

И еще дважды Бешеный на пробу разбивал яйца и, убедившись, что они свежие, выливал их в стоящую рядом кастрюлю.

— Тут на две штуки больше, чем ты говорил, Малыш, — сказал он, кончив считать. — Не девятьсот шестьдесят два, а девятьсот шестьдесят четыре.

— Виноват, обсчитался, — с готовностью признал свою ошибку Малыш. — Мы их тебе так подкинем, для ровного счета.

— Еще бы, вы можете себе это позволить, — хмуро согласился Бешеный. — Стало быть, одна партия есть. Девять тысяч шестьсот двадцать долларов. Получайте! Пиши расписку, Смок.

— Да уж давай досчитаем до конца, — предложил Смок, — и за все сразу заплатишь.

Бешеный покачал головой:

— Я в счете не силен. Лучше сперва покончим с одной партией, чтоб не запутаться.

Он достал из внутренних карманов шубы два мешочка с золотом, длинные, туго набитые, похожие на колбасы. Когда он расплатился за первую партию, в мешочках осталось золотого песка долларов на триста, не больше.

Потом притащили ящик из-под мыла и начали пересчитывать следующие три тысячи яиц.

Отсчитав первую сотню, Бешеный опять с силой стукнул яйцо о край стола. Раздался не треск, а такой звук, точно это было не яйцо, а мраморный шарик.

— Насквозь промерзло, — сказал Бешеный и стукнул сильнее.

Он поднял яйцо, и они увидели, что на месте удара скорлупа рассыпалась в пыль.

— Ну да, — сказал Малыш, — как не промерзнуть, ведь их везли с Сороковой Мили. Их надо топором рубить.

— Тащи топор, — сказал Бешеный.

Смок принес топор, и Бешеный, у которого был меткий глаз и ловкая рука дровосека, разрубил яйцо точно пополам. Внутри оно выглядело весьма сомнительно. От недоброго предчувствия у Смока мороз пробежал по коже. Малыш оказался храбрее. Он взял половинку яйца и понюхал.

— Запах самый обыкновенный, — сказал он.

— Зато вид необыкновенный, — возразил Бешеный. — Да и какой может быть запах, оно же все промороженное. Постойте-ка…

Он положил обе половинки на сковороду, поставил ее на переднюю конфорку горячей плиты, и все трое застыли в нетерпеливом ожидании, молча, с расширенными ноздрями. Постепен-

но по комнате начал распространяться самый недвусмысленный запах. Бешеный хранил молчание, и Малыш тоже не раскрывал рта, хотя все уже было ясно.

— Выкинь его! — крикнул Смок, задыхаясь.

— Что толку? — спросил Бешеный. — Все равно придется проверить остальные.

— Только не здесь! — Смок закашлялся и с трудом одолел приступ тошноты. — Разрубай их, сразу будет видно. Выкинь его, Малыш! Выкинь вон! Уф! И не затворяй дверь.

Открывали ящик за ящиком, брали наугад яйцо за яйцом, разрубали их пополам — и убеждались, что все яйца до единого безнадежно и безвозвратно протухли.

— Так и быть, Малыш, можешь их не есть, — насмехался Бешеный. — И уж разрешите мне поскорей убраться отсюда. В контракте речь идет только о свежих яйцах. Одолжите мне, пожалуйста, упряжку, я увезу те, что свежие, пока они тоже не протухли от такого соседства.

Смок помог нагрузить нарты. А Малыш подсел к столу и начал раскладывать пасьянс.

— Интересно, долго ли вы придерживали этот товар? — съязвил напоследок Бешеный.

Смок не ответил и, взглянув на поглощенного

пасьянсом Малыша, стал швырять ящики за дверь, прямо в снег. Потом спросил мягко:

— Слушай, Малыш, во сколько тебе, говоришь, обошлись эти три тысячи?

— По восемь долларов штука. Молчи и не приставай ко мне. Я не хуже тебя умею считать. Мы потеряли на этой затее семнадцать тысяч долларов, да будет тебе известно. Я подсчитал, еще когда мы сидели и собирались нюхать то первое яйцо.

Смок раздумывал несколько минут, потом опять прервал молчание:

— Слушай, Малыш. Сорок тысяч долларов — это ведь двести фунтов золотого песка. Бешеный взял нашу упряжку, чтобы отвезти яйца. Сюда он пришел без нарт. Два мешка с песком он принес прямо в карманах, они весили фунтов по двадцать, не больше. Уговор был платить сразу наличными. Он захватил с собой столько, сколько нужно было, чтобы расплатиться за хорошие яйца. Он не собирался платить за те три тысячи. Значит, он знал, что они тухлые. А откуда он знал? Как это понимать, скажи, пожалуйста?

Малыш сгреб карты, хотел было стасовать их наново, потом остановился.

— И понимать нечего. Младенец тебе растол-

кует. У нас семнадцать тысяч убытку. У Бешеного семнадцать тысяч барыша. Тем яйцам, которые привез Готеро, хозяин вовсе не Готеро, а сам Бешеный. Еще что тебя интересует?

— Вот что. Почему ты не сообразил, что надо яйца сперва проверить, а потом уже платить за них?

— Да очень просто. Этот мошенник Бешеный все рассчитал с точностью до секунды. Мне некогда было смотреть, свежие яйца или не свежие. Надо было скакать во весь дух, а то я не поспел бы сюда к расчету. А теперь будь так добр, разреши задать тебе один деликатный вопрос. Как, бишь, зовут ту особу, которая надоумила тебя заняться этой выгодной операцией?

Малыш в шестнадцатый раз безуспешно раскладывал свой пасьянс, а Смок уже принялся готовить ужин, когда к ним постучался полковник Бови, вручил Смоку письмо и прошел дальше, к себе домой.

— Видал ты его? — с яростью крикнул Малыш. — Я думал, он вот-вот расхохочется. Поднимут нас с тобой на смех. Теперь нам в Доусоне не житье.

Письмо было от Бешеного, и Смок прочел его вслух:

«Дорогие Смок и Малыш! Нижайше вам кланяюсь и приглашаю вас сегодня на ужин к Славовичу. С нами ужинает мисс Эрол, а также Готеро. Пять лет назад, в Сёркле, мы с ним были компаньонами. Он славный малый и будет моим шафером. Теперь насчет яиц. Они попали на Клондайк четыре года назад и уже тогда были тухлые. Они были тухлые, еще когда их отправляли из Калифорнии. Они спокон веку тухлые. Один год они зимовали в Карлуке, другой – в Нутлике, последнюю зиму пролежали на Сороковой Миле, их там продали, потому что не была внесена плата за хранение. А на эту зиму, надо полагать, они застрянут в Доусоне. Не держите их в теплой комнате. Люсиль просит сказать вам, что мы все вместе как-никак расшевелили Доусон. Так что выпивка за вами, я считаю.

С совершенным почтением ваш друг Б.».

— Ну, что скажешь? — спросил Смок. — Мы, конечно, примем приглашение?

— Я тебе одно скажу, — ответил Малыш. — Бе-

шеному и разориться не страшно. Он же артист, черт его дери, замечательный артист. И еще я тебе скажу: плохая моя арифметика. У Бешеного будет не семнадцать тысяч барыша, а куда больше. Мы с тобой поднесли ему в подарок все свежие яйца, сколько их было на Клондайке, — девятьсот шестьдесят четыре штуки, считая те два, что я ему подкинул для ровного счета. И он, негодяй, еще нахально утащил с собой в кастрюльке те три, которые мы разбили на пробу. А напоследок вот что я тебе скажу. Мы с тобой записные старатели и прирожденные разведчики. Но что до финансовых махинаций и разных способов разбогатеть в два счета, тут мы такие простофили, каких еще свет не видал. Так давай уж лучше заниматься настоящим делом, будем лазить по горам и лесам, и если ты когда-нибудь заикнешься мне про яйца — кончено, я тебе больше не компаньон. Понятно?

Поселок Тру-ля-ля

I

Смок и Малыш столкнулись на углу возле салуна «Олений Рог». У Смока лицо было довольное, и шагал он бодро. Напротив, Малыш плелся по улице с самым унылым и нерешительным видом.

— Ты куда? — весело окликнул Смок.

— Сам не знаю, — был грустный ответ. — Ума не приложу. Прямо деваться некуда. Два часа убил на покер — скука смертная, карта никому не шла, остался при своих. Сыграл разок со Скифом Митчелом в криббедж на выпивку, а теперь вовсе не знаю, что с собой делать. Вот слоняюсь по улицам и жду — хоть бы подрался кто или собаки погрызлись, что ли.

— Я тебе припас кое-что поинтереснее, — сказал Смок. — Потому и ищу тебя. Идем!

— Прямо сейчас?

— Конечно.

— Куда?

— На тот берег, в гости к старику Дуайту Сэндерсону.

— Первый раз про такого слышу, — угрюмо

ответил Малыш. — Вообще первый раз слышу, что на том берегу кто-то живет. Чего ради он там поселился? Он что, не в своем уме?

— Он кое-что продает, — засмеялся Смок.

— Чего там продавать? Собачью упряжку? Рудник? Табак? Резиновые сапоги?

Смок только головой качал в ответ на все вопросы.

— Пойдем — увидишь. Я хочу рискнуть: куплю у него товар, а если хочешь, входи в долю, купим пополам.

— Уж не яйца ли? — воскликнул Малыш, скорчив испуганную гримасу.

— Идем, — сказал ему Смок. — Пока будем переходить реку, можешь отгадывать до десяти раз.

Улица вывела их на высокий берег Юкона, и они спустились на лед. В трех четвертях мили перед ними почти отвесно вставал противоположный берег — крутые утесы в сотни футов вышиной. К ним вела, кружа и извиваясь среди разбитых, вздыбленных ледяных глыб, едва заметная тропинка. Малыш плелся за Смоком по пятам, развлекаясь догадками: что же такое может продавать Дуайт Сэндерсон?

— Оленей? Медные копи или кирпичный завод? Это на первый случай. Медвежьи шкуры,

вообще меха? Лотерейные билеты? Картофельное поле?

— Почти угадал, — ободряюще сказал Смок. — Но только подымай выше.

— Два картофельных поля? Сыроварню? Торфяники?

— Недурно, Малыш. Ты не так уж далек от истины.

— Каменоломню?

— Почти так же близко, как картофельные поля и торфяники.

— Погоди. Дай подумать. Остался последний раз.

Минут десять они шли молча.

— Знаешь, Смок, не буду я больше голову ломать. Если то, что ты покупаешь, похоже сразу и на картофельное поле, и на торфяник, и на каменоломню, я не берусь отгадать. И не войду с тобой в долю, пока сам эту штуку не увижу и не пощупаю. Что это такое?

— Ладно, скоро сам увидишь. Будь так добр, погляди вон туда, вверх. Видишь, вон там хибарка и из трубы дым идет? Это и есть жилье Дуайта Сэндерсона. Вся эта земля его, и он продает ее под застройку.

— Ах вот как? А больше у него ничего нет?

— Больше ничего, — засмеялся Смок. — Не считая ревматизма. Говорят, он страдает ревматизмом.

— Стой! — Малыш схватил товарища за плечо и силой остановил его. — Уж не собираешься ли ты в таком гиблом месте покупать землю под застройку?

— На десятый раз отгадал. Шагай.

— Погоди минутку! — взмолился Малыш. — Ты только посмотри, тут же одни утесы да откосы, ни клочка ровного, где же тут строиться?

— Вот уж не знаю!

— Так ты не собираешься тут ничего строить?

— Дуайт Сэндерсон продает только под застройку, — уклончиво ответил Смок. — Идем. Нам надо еще одолеть эту гору.

Подъем был крутой — казалось, узкая тропинка, петляя, ведет прямо в небо, точно лестница Иакова. Малыш охал и кряхтел на неожиданных поворотах и крутых откосах.

— Выдумал тоже — строить здесь! Да тут нет ровного местечка, чтобы почтовую марку налепить! И берег не годится, тут пароходы не пристают. Вся погрузка проходит по другой стороне. Вот он, Доусон. Там хватит места еще на сорок тысяч жителей. Слушай, Смок, ты пита-

ешься мясом. Я это знаю. Тебе, конечно, не затем нужна эта земля, чтоб строиться на ней. Так какого черта ты ее покупаешь, скажи на милость?

— Чтобы продать, конечно.

— Но не все же такие сумасшедшие, как вы с Сэндерсоном.

— Может, и не совсем такие, Малыш, но вроде того. Так вот, я возьму эту землю, разобью на участки и продам их здоровым и разумным жителям Доусона.

— Ха! Весь Доусон до сих пор не забыл про те яйца. Ты что, хочешь еще больше насмешить народ?

— Непременно.

— Ну, знаешь, Смок, это больно дорогое удовольствие. Я помогал тебе смешить людей, когда мы скупали яйца, и мне лично этот смех обошелся почти что в девять тысяч долларов.

— Ладно. На этот раз незачем тебе входить в долю. Барыши будут мои, но все равно ты должен мне помочь.

— Это пожалуйста. И пускай надо мной еще посмеются. Но я не выброшу на эту затею ни унции. Сколько Сэндерсон просит за землю? Долларов двести, триста?

— Десять тысяч. Но желательно получить ее

за пять.

— Эх, почему я не священник! — сокрушенно вздохнул Малыш.

— Что это вдруг?

— Я бы произнес самую красноречивую проповедь на текст, который тебе, может быть, знаком, а именно — о дураке и его деньгах.

— Войдите! — брюзгливо откликнулся на их стук Дуайт Сэндерсон.

Когда они вошли, он сидел на корточках перед каменным очагом и толок кофейные зерна, обернутые в кусок мешковины.

— Чего вам? — грубо спросил он, высыпая истолченный кофе в кофейник, стоявший на угольях.

— Хотим потолковать о деле, — ответил Смок. — Говорят, вы продаете эту землю под застройку. За сколько вы ее отдадите?

— За десять тысяч, — был ответ. — Слыхали? А теперь смейтесь, если угодно, и убирайтесь вон. Вот она, дверь. До свидания…

— Не затем я пришел, чтобы смеяться. Я мог бы найти себе другую забаву, а не лезть сюда, на вашу гору. Я хочу купить у вас землю.

— Ах вот как? Что ж, умные речи приятно и слушать. — Сэндерсон подошел и сел напротив

посетителей, положив руки на стол и опасливо косясь на кофейник. — Я вам сказал мою цену и не стыжусь повторить: десять тысяч. Можете смеяться, можете купить — как угодно.

И чтоб показать, насколько это ему безразлично, он узловатыми пальцами забарабанил по столу и уставился на кофейник. Потом начал напевать себе под нос: «Тра-ля-ля, тру-ля-ля, тру-ля-ля, тра-ля-ля…»

— Послушайте, мистер Сэндерсон, — сказал Смок. — Эта земля не стоит десяти тысяч. Если б она стоила десять тысяч, ее можно было бы оценить и во сто тысяч. А если она не стоит ста тысяч — а вы сами знаете, что не стоит, — так не стоит и десяти центов.

Сэндерсон постукивал по столу костяшками пальцев и бубнил себе под нос «тру-ля-ля, тра-ля-ля», пока кофе не убежал. Тогда он долил в кофейник немного холодной воды, отставил его на край очага и опять уселся на свое место.

— А сколько вы дадите? — спросил он.

— Пять тысяч, — ответил Смок.

Малыш застонал.

Снова молчание; старик барабанит по столу и напевает свое «тру-ля-ля».

— Вы не дурак, — сказал он затем Смоку. —

Вы говорите, если эта земля не стоит ста тысяч долларов, она не стоит и десяти центов. А сами предлагаете мне пять тысяч. Значит, она стоит и все сто тысяч.

— Но вы не получите за нее и двадцати центов, — горячо возразил Смок, — хоть просидите тут до самой смерти.

— От вас получу.

— Нет, не получите.

— Значит, буду сидеть тут, пока не помру, — отрезал Сэндерсон.

Не обращая больше внимания на посетителей, он занялся стряпней, точно был в хижине один. Разогрел котелок с бобами, лепешку и принялся за еду.

— Нет, спасибо, — пробормотал Малыш. — Мы ни капельки не голодны. Мы только что пообедали.

— Покажите ваши бумаги, — сказал наконец Смок.

Сэндерсон пошарил в изголовье своей койки и вытащил сверток документов.

— Все в полном порядке, — сказал он. — Вот эта длинная, с большими печатями, прислана прямиком из Оттавы. Это вам не бумажонка от местных властей. Само канадское правительство

дало мне право собственности на эту землю.

— Это было два года назад? А сколько участков вы уже продали? — осведомился Смок.

— Не ваше дело, — буркнул Сэндерсон. — Я могу и один жить на своей земле, если пожелаю. Законом это не возбраняется.

— Даю вам пять тысяч, — сказал Смок.

Сэндерсон покачал головой.

— Не знаю, кто из вас больше спятил, — горестно промолвил Малыш. — Выйдем на минуту, Смок. Я хочу тебе сказать два словечка.

Смок нехотя повиновался — уж очень настаивал его компаньон.

— Ты только сообрази, — сказал Малыш, когда они вышли за дверь, — ведь вокруг этого дурацкого участка всюду такие же скалы, и они ничьи. Застолби их и стройся сколько душе угодно.

— Они не годятся, — ответил Смок.

— Да почему не годятся?

— Тебя удивляет, почему я покупаю именно это место, когда кругом земли сколько хочешь?

— Еще бы не удивляло, — подтвердил Малыш.

— То-то и оно! — с торжеством сказал Смок. — Раз ты удивляешься — значит, и другие удивятся. И от удивления все сбегутся сюда. Раз ты удивляешься, значит, я правильно рассчитал. Вот что

я тебе скажу, Малыш: я поднесу Доусону такой подарок, что они забудут, как смеяться над нами из-за тех яиц. Вернемся в дом.

— Здоро́во, — сказал Сэндерсон, снова увидев их в дверях. — А я думал, вас и след простыл.

— Ну, за сколько вы уступите землю? — спросил Смок.

— За двадцать тысяч.

— Даю вам десять.

— Ладно, продам за десять. Я только этого и хотел. А вы когда выложите денежки?

— Завтра в Северо-Западном банке. Но за эти деньги мне нужны от вас еще две вещи. Во-первых, когда вы получите свои десять тысяч, вы уедете на Сороковую Милю и пробудете там до конца зимы.

— Это можно. Еще что?

— Я вам заплачу двадцать пять тысяч, а вы мне пятнадцать вернете.

— Согласен. — Сэндерсон повернулся к Малышу. — Когда я поселился здесь, все говорили, что я дурак, — сказал он насмешливо. — Что ж, значит, такому дураку цена десять тысяч долларов, так, что ли?

— На Клондайке полно дураков, — только и нашелся ответить Малыш, — глядишь, которому-

нибудь и повезет.

II

На другой день была законно скреплена продажа земли, принадлежавшей Дуайту Сэндерсону («землевладение, которое впредь должно именоваться поселком Тру-ля-ля» — как было обозначено в купчей по требованию Смока). И кассир Северо-Западного банка отвесил Сэндерсону на двадцать пять тысяч принадлежавшего Смоку золотого песка, причем несколько случайных посетителей заметили и эту процедуру, и размер суммы, и получателя.

Золотоискатели — народ подозрительный. Чуть кто сделал что-либо не совсем обычное — даже просто-напросто отправился поохотиться на лося или вышел ночью полюбоваться северным сиянием, — как все уже готовы заподозрить, что он нашел золотые россыпи или наткнулся на богатую жилу. И конечно, едва стало известно, что такой видный житель Доусона, как Смок Беллью, выплатил старику Дуайту Сэндерсону двадцать пять тысяч долларов, весь город пожелал узнать, за что уплачены эти деньги. Дуайт Сэндерсон помирал с голоду на своей заброшенной земле — что же у него, спрашивается, могло быть такого,

что стоило бы двадцать пять тысяч? Ответа не было — и, естественно, жители Доусона с лихорадочным любопытством следили за каждым шагом Смока.

К середине дня распространился слух, что несколько десятков доусонцев уложили свои походные мешки и инструменты и припрятали в кабачках по Главной улице, чтобы можно было в любую минуту двинуться в путь. Куда бы ни направлялся Смок, множество глаз следило за ним. Его считали человеком серьезным, и ни один из многочисленных знакомых не осмелился спросить его про сделку с Дуайтом Сэндерсоном. С другой стороны, никто ни словом не упоминал при нем о яйцах. Столь же дружелюбное внимание повсюду встречал и Малыш.

— Прямо как будто я убил кого или оспа у меня, так они за мной следят, а заговорить боятся, — жаловался Малыш, повстречав Смока у входа в «Олений Рог». — Вон видишь, по той стороне идет Билл Солтмен? Ему до смерти хочется поглядеть на нас, а он уставился куда-то в конец улицы. Можно подумать, он нас с тобой и знать не знает. А я спорю на хорошую выпивку: вот завернем сейчас за угол, будто спешим куда, а потом повернем назад — и уж непременно налетим

на него, потому как он сразу поскачет за нами.

Они испробовали этот трюк — и правда, когда повернули назад, за углом натолкнулись на Солтмена, который шагал им вдогонку широким походным шагом.

— Здорово, Билл! — приветствовал его Смок. — Далеко собрался?

— Здорово! Просто так, вышел прогуляться, — ответил Солтмен. — Просто вышел прогуляться. Чудная погода, правда?

— Это ты так прогуливаешься? — усмехнулся Малыш. — А я-то подумал: вот несется во весь опор!

В тот вечер, кормя собак, Малыш безошибочно чувствовал, что из темноты в него со всех сторон впиваются десятки пар глаз. И, привязывая собак к столбу, вместо того чтобы оставить их на ночь на свободе, он знал, что дает Доусону новый повод для волнений.

Обдумав заранее план действий, Смок поужинал в ресторане и принялся развлекаться. Он нарочно кружил по всему Доусону — и всюду оказывался в центре внимания. Кабачки, куда он заходил, тотчас наполнялись народом и сразу пустели, как только он выходил за дверь. Если он подсаживался к дремавшей, всеми заброшенной

рулетке и покупал партию фишек, вокруг сразу собирался десяток игроков. Он не удержался от маленькой мести — встал и вышел из театра именно в ту минуту, когда Люсиль Эрол запела свою самую популярную песенку. Добрых две трети слушателей покинули зал вслед за Смоком.

В час ночи он прошел по Главной улице, на которой царило необычайное оживление, свернул на перекрестке и стал подниматься на холм, к своей хижине. На полдороге он приостановился и ясно услышал, как позади поскрипывает снег под чьими-то мокасинами.

Целый час хижина была погружена в темноту; потом Смок зажег свечу, и, выждав ровно столько времени, сколько надо человеку, чтобы одеться, они с Малышом вышли и начали запрягать собак. Работая при свете, падавшем из отворенной двери, они услышали неподалеку слабый свист. Ответный свист донесся откуда-то снизу.

— Ты только послушай, — усмехнулся Смок. — Это они следят за нами и сообщают обо всем в город. Пари держу, в эту самую минуту по крайней мере человек сорок вылезают из-под одеял и натягивают штаны.

— Ну и глупый же народ! — фыркнул Малыш. — Ничего не стоит их обжулить. Знаешь, чудаки,

которые в наше время зарабатывают деньги своим горбом, это… это просто чудаки! На свете полным-полно дурачья, они только и ждут, чтоб им облегчили карманы. И вот что я тебе скажу: если ты еще не передумал, возьми меня в долю.

Груз на нартах был невелик — меховые одеяла, запас провизии. Небольшой моток стальной проволоки едва заметно выглядывал из-под мешка со съестным, и на самом дне нарт был почти совсем спрятан лом.

Рукой в рукавице Малыш с нежностью погладил проволоку и еще разок ласково дотронулся до лома.

— Ха! — шепнул он. — Я и сам бы призадумался, если б темной ночью заметил на чьих-нибудь нартах этакие штуки.

Осторожно, в молчании они спустились со своей упряжкой с холма, потом вышли на Главную улицу и, удвоив осторожность, повернули на север, к лесопилке, подальше от центра города. Им не встретилось ни души, но едва они свернули к лесопилке, позади, в темноте, которую не могло рассеять слабое мерцание звезд, раздался свист. Быстрым шагом они прошли еще с четверть мили, миновали лесопилку, больницу. Потом повернули назад той же дорогой и, пройдя сотню

ярдов, чуть не наскочили на пятерых пешеходов, спешивших рысцой им навстречу. Все пятеро слегка сгибались под тяжестью походных мешков. Один из них остановил передовую собаку Смока, остальные подошли вплотную.

— Встретились вам нарты? — был первый вопрос.

— Нет, — ответил Смок. — Это ты, Билл?

— Черт меня побери! — в величайшем изумлении произнес Билл Солтмен. — Да это Смок!

— Чем это вы занимаетесь среди ночи? — спросил Смок. — Гуляете?

Прежде чем Билл Солтмен успел ответить, к ним подбежали еще двое, а там подоспело еще несколько человек, и скрип шагов по снегу возвещал о приближении толпы.

— С кем это ты? — спросил Смок. — Или опять в поход за золотом?

Солтмен не ответил, он раскуривал трубку, которая вряд ли могла доставить ему удовольствие, судя по тому, как он все еще задыхался от бега. Ясно было, для чего ему понадобилось зажечь спичку: он хотел разглядеть нарты, и Смок видел — все взоры устремились на моток проволоки и на лом. Спичка погасла.

— Да просто так, разные слухи ходят, просто

слухи, — многозначительно и таинственно пробормотал Солтмен.

— Может, вы посвятите нас с Малышом?

Кто-то сзади насмешливо фыркнул.

— А вы сами куда направляетесь? — спросил Солтмен.

— А вы кто? Добровольная полиция?

— Да просто так, интересуемся, — сказал Солтмен, — просто так.

— Еще как интересуемся, — откликнулся другой голос из темноты.

— Любопытно знать, — ввернул Малыш, — кто тут чувствует себя самым большим дураком?

Все расхохотались, всем стало неловко.

— Пошли, Малыш, нам пора, — сказал Смок и погнал собак.

Толпа двинулась следом.

— Эй, а вы не ошиблись? — съязвил Малыш. — Вы ведь шли в ту сторону, а теперь ни с того ни с сего повернули обратно. Может, вы потеряли направление?

— Пошел к черту, — любезно ответил Солтмен. — Куда хотим, туда и направляемся.

И нарты двинулись по Главной улице. Смок шел впереди, Малыш правил шестом, а за ними — свита человек в шестьдесят, все с походным

снаряжением за плечами. Было три часа ночи, и только отпетые гуляки видели эту процессию и могли назавтра поведать о ней Доусону.

Полчаса спустя Смок с Малышом взобрались на свой холм и распрягли собак у порога хижины под угрюмыми взглядами шестидесяти провожатых.

— Спокойной ночи! — крикнул им Смок, затворяя дверь.

Через пять минут он задул свечу, а через каких-нибудь полчаса они с Малышом снова бесшумно выбрались из хижины и, не зажигая огня, начали запрягать собак.

— Эй, Смок! — окликнул Солтмен, подходя ближе, так что они смутно различили в темноте его силуэт.

— Я вижу, от тебя не отделаешься, Билл, — весело отозвался Смок. — А где твои дружки?

— Пошли выпить по стаканчику. Оставили меня смотреть за вами в оба, вот я и смотрю. А все-таки, Смок, признавайся, что у тебя на уме? Вы не отделаетесь от нас, так уж давай начистоту. Все мы — твои друзья, ты это знаешь.

— Бывают случаи, когда с друзьями можно говорить начистоту, а бывает так, что и нельзя, — уклончиво ответил Смок. — На этот раз никак

нельзя, Билл. Иди-ка лучше спать. Спокойной ночи.

— Никакой спокойной ночи не будет. Ты нас еще не знаешь. Мы вопьемся не хуже клеща.

— Что ж, — вздохнул Смок, — если вы настаиваете, дело ваше. Идем, Малыш. Нечего зря тратить время.

Нарты тронулись; Солтмен пронзительно свистнул и зашагал следом. У подножия холма ответили свистом, дальше послышался еще свист и еще… Малыш правил шестом, Смок и Солтмен шли рядом за нартами.

— Слушай, Билл, — сказал Смок. — Я хочу тебе кое-что предложить. Хочешь присоединиться к нам?

Солтмен не колебался ни минуты.

— И бросить товарищей? Ну нет. Мы все к вам присоединимся.

— Тогда ты первый! — воскликнул Смок, внезапно обхватил Солтмена обеими руками и, столкнув его с тропы, опрокинул в глубокий снег.

Малыш крикнул на собак и бешено погнал упряжку вниз по тропе, которая, извиваясь среди редких хижин, разбросанных по холмам и косогорам, бежала к югу, к окраине Доусона. Смок и

Солтмен, вцепившись друг в друга, катались по снегу. Смок был полон сил и задора и надеялся взять верх, но Солтмен оказался на пятьдесят фунтов тяжелее — это были пятьдесят фунтов превосходных, натренированных мускулов — и снова и снова одолевал его. Не раз он укладывал Смока на обе лопатки, и Смок, очень довольный, лежал и отдыхал. Но всякий раз, как Солтмен хотел высвободиться и встать, Смок вцеплялся в него, и начиналась новая схватка.

— Ничего, силенка у тебя есть, — задыхаясь, признал Солтмен минут через десять, опять повалив Смока в снег и усевшись на него верхом. — И все-таки я тебя каждый раз укладываю.

— А я каждый раз тебя задерживаю, — тоже задыхаясь, ответил Смок. — Мне только того и надо. Малыш за это время знаешь куда укатил?

Солтмен отчаянно рванулся, но ему все же не удалось освободиться. Смок ухватил его за ногу, дернул — и тот растянулся на снегу во всю длину. От подножия холма донесся тревожный, вопросительный свист. Солтмен сел и пронзительно свистнул в ответ, но Смок тут же вцепился в него, повалил на спину, уселся верхом на грудь, коленями уперся в его могучие бицепсы, руками — в плечи и вдавил в снег. Так и нашли их

золотоискатели. Смок расхохотался и встал.

— Спокойной ночи, друзья, — сказал он и стал спускаться под гору, а шестьдесят взбешенных золотоискателей угрюмо и решительно двинулись за ним по пятам.

Смок повернул к северу, миновал лесопилку и больницу и пошел тропой, ведущей по реке вдоль крутых скал, над которыми вздымалась Лосиная гора. Он обошел индейскую деревню и направился к Лосиному ручью, опять повернул и оказался лицом к лицу с преследователями.

— Вы меня совсем загоняли, — сказал он, делая вид, что зол как черт.

— Тебя, кажется, никто не заставляет, — вежливо пробормотал Солтмен.

— О нет, ни капельки, — огрызнулся Смок, еще успешнее прикидываясь обозленным, и, пройдя через толпу своих провожатых, зашагал назад к Доусону. Дважды он пытался свернуть с тропы и напрямик, через торосы, перейти на другой берег, но спутники не отставали, и он каждый раз сдавался и сворачивал к доусонскому берегу. Он побрел по Главной улице, пересек по льду реку Клондайк, дошел до Клондайк-сити и снова вернулся в Доусон. В восемь часов, когда стало светать, он привел всю усталую ораву к ресто-

рану Славовича, где в часы завтрака столики приходилось брать с бою.

— Спокойной ночи, друзья, — сказал он, расплачиваясь по счету.

Но не тут-то было, пришлось еще раз пожелать им спокойной ночи у подножия холма. При дневном свете они не стали преследовать его и только смотрели, как он поднимался к своей хижине.

III

Два дня Смок околачивался в городе, и все время за ним неотступно следили. Малыш исчез вместе с нартами и собаками. Ни один человек из тех, кто разъезжал вверх или вниз по Юкону, кто приехал с Бонанзы, Эльдорадо или Клондайка, его не встречал. Оставался только Смок — уж, конечно, он рано или поздно постарается установить связь со своим исчезнувшим компаньоном; и все взоры были обращены на Смока. Весь вечер второго дня он просидел дома, погасил лампу в девять часов, а на два часа завел будильник. Добровольный страж за дверью услыхал звон будильника, и когда полчаса спустя Смок вышел из хижины, его ждала толпа уже не в шестьдесят человек, а по меньшей мере в триста. Их озаряло яркое северное сияние, и в сопровождении столь

пышной свиты Смок спустился в город и вошел в «Олений Рог». В минуту трактир был набит до отказа, злые и нетерпеливые посетители пили, платили и четыре долгих часа смотрели, как Смок играет в криббедж со своим старым другом Брэком. В начале седьмого, скорчив унылую, злобную гримасу, ни на кого не глядя, никого не узнавая, Смок вышел из «Оленьего Рога» и пошел по Главной улице, а за ним нестройными рядами шагала толпа в триста человек, хором выкликая:

— Левой, правой! Сено, солома! Раз! Два! Три!

— Спокойной ночи, друзья, — сказал он сквозь зубы, останавливаясь на берегу Юкона у обрыва, где тропа круто сбегала вниз. — Я позавтракаю и лягу спать.

Все триста закричали, что проводят его, и по льду двинулись за ним на другой берег, прямиком к Тру-ля-ля. Около семи часов утра он привел всю ватагу к извилистой тропинке, которая поднималась по крутому откосу к хибарке Дуайта Сэндерсона. Сквозь затянутое промасленной бумагой окошко виднелся огонек свечи, над трубой вился дым. Малыш распахнул дверь.

— Входи, Смок, — сказал он. — Завтрак готов. А это что за народ?

На пороге Смок обернулся.

— Ну, друзья, спокойной ночи. Надеюсь, вы приятно провели время!

— Одну минуту, Смок! — крикнул Билл Солтмен, и в его голосе прозвучало жестокое разочарование. — Мне надо с тобой потолковать.

— Валяй, — весело ответил Смок.

— За что ты заплатил старику Сэндерсону двадцать пять тысяч? Можно узнать?

— Ты меня огорчаешь, Солтмен, — был ответ. — Я прихожу в свое, так сказать, загородное имение, мечтаю найти покой, тишину, хороший завтрак, а ты с целой оравой устраиваешь мне перекрестный допрос. Для чего же человеку загородное имение, если он и тут не находит тишины и покоя?

— Ты не ответил на мой вопрос, — с неумолимой логикой возразил Билл Солтмен.

— И не собираюсь отвечать, Билл. Это наши счеты с Дуайтом Сэндерсоном, больше они никого не касаются. Есть еще вопросы?

— А почему это у тебя в ту ночь были с собой лом и проволока?

— Да какое тебе, собственно, до этого дело? Хотя, если Малышу угодно, он может тебе ответить.

— Пожалуйста! — воскликнул Малыш, с радостью вступая в разговор. Он уже открыл рот, но

поперхнулся и посмотрел на Смока. — Скажу тебе, Смок, по секрету, строго между нами: по-моему, это их вовсе не касается, черт подери. Пойдем-ка. Там уже весь кофе выкипел.

Дверь затворилась, и триста провожатых, огорченные и недовольные, разбились на группы.

— Послушай, Солтмен, — сказал кто-то, — а ведь ты хвалился, что приведешь нас на место.

— С чего вы взяли? — сварливо ответил Солтмен. — Я сказал, что Смок приведет нас на место.

— Так это оно и есть?

— Я знаю столько же, сколько и ты. Но все мы знаем, что Смок где-то что-то пронюхал. За что бы он заплатил Сэндерсону двадцать пять тысяч? Не за эту же никудышную землю, ясно.

Толпа хором согласилась с этим рассуждением.

— Ну а теперь что будем делать? — печально спросил кто-то.

— Я, например, пойду завтракать, — бодро сказал Чарли Бешеный. — Выходит, ты одурачил нас, Билл.

— И не думал, — возразил Солтмен. — Это Смок нас одурачил. Но все равно, двадцать пять тысяч-то он платил?

IV

В половине девятого, когда стало совсем светло, Малыш осторожно приоткрыл дверь и выглянул наружу.

— Вот те на! — воскликнул он. — Они все смылись обратно в Доусон! А я-то думал, они тут станут лагерем!

— Не бойся, ты скоро их увидишь, — успокоил его Смок. — Или я сильно ошибаюсь, или мы и оглянуться не успеем, как сюда сползется половина Доусона. Ну, давай помогай, живо! Надо дело делать.

— Ох, ради всего святого, объясни ты мне, что к чему? — взмолился Малыш час спустя, оглядывая плоды их общих трудов: установленную в углу хижины лебедку с приводом, обвивающимся вокруг двойного деревянного вала.

Смок без малейшего усилия повернул рукоятку, и канат со скрипом побежал вхолостую вокруг вала.

— Ну-ка, Малыш, выйди за дверь и скажи, на что это похоже.

Стоя за дверью, Малыш услышал тот самый скрип и визг, какой издает лебедка, вытягивая груз, и поймал себя на том, что бессознатель-

но прикидывает, какой глубины должна быть шахта, откуда этот груз вытаскивают. Потом все стихло, и он мысленно увидел ведро, подтянутое вплотную к блоку. Затем он услышал, как рукоятка повернулась в обратную сторону, ослабляя канат, и как стукнуло ведро, отставленное на край шахты. Широко улыбаясь, он распахнул дверь.

— Понял! — крикнул он. — Я чуть было и сам не попался на удочку! Дальше что?

Дальше понадобилось натащить в хижину столько камня, что хватило бы нагрузить доверху десяток нарт. И еще много других забот было у них в этот необычайно хлопотливый день.

— А сейчас бери собак и отправляйся в Доусон, — наставлял Малыша после ужина Смок. — Собак оставишь у Брэка, он о них позаботится. За тобой будут следить, так ты попроси Брэка пойти на склад Аляскинской торговой компании и купить весь динамит, — там у них в запасе всего несколько сот фунтов. И пускай Брэк закажет кузнецу штук шесть прочных сверл, таких, чтоб можно было бурить самую твердую породу. Брэк — опытный старатель, он сумеет втолковать кузнецу, что именно требуется. Кстати, дай Брэку все сведения по нашему участку, пускай он зав-

тра сообщит их инспектору приисков. А в десять часов выходи на Главную улицу и прислушайся. Имей в виду, я не хочу, чтоб получилось слишком много шуму. Пускай будет слышно в Доусоне — но и только. Я запалю три штуки разной силы, а ты заметь, когда оно прозвучит лучше всего.

В десять часов вечера, когда Малыш, ощущая на себе множество любопытных взглядов и напряженно прислушиваясь, прогуливался по Главной улице, он услышал слабый, отдаленный взрыв. Через полминуты донесся второй взрыв, погромче, — на него обратили внимание и другие прохожие. А затем раздался третий, тут уж задребезжали стекла, и люди выскочили на улицу.

— Здорово их тряхнуло! — задыхаясь, объявил Малыш, едва он час спустя переступил порог хибарки в Тру-ля-ля. Он схватил Смока за руку. — Поглядел бы ты на них! Случалось тебе разворошить муравейник? В точности то же самое! Когда я уезжал, Главная улица так и кишела народом, так и гудела. Завтра сюда набьется столько доусонцев, что шагу нельзя будет ступить. Они уже сейчас сюда подкрадываются, так и знай, или я ни черта не смыслю в золотоискателях.

Смок усмехнулся, шагнул к фальшивой лебедке

и раза два со скрипом повернул рукоятку. Малыш выдернул в нескольких местах мох, которым были заделаны пазы между бревнами, чтобы в щелку можно было видеть, что творится вокруг хижины. Потом задул свечу.

— А ну, — шепнул он спустя полчаса.

Смок медленно повернул ворот лебедки, выждал несколько минут, подхватил оцинкованное ведро, наполненное землей, и со стуком, скрипом и скрежетом с размаху поставил его на груду камней, которые они натащили в дом. Потом, заслоняя огонек спички ладонями, закурил.

— Трое уже тут, — прошептал Малыш. — Ты бы поглядел! Знаешь, когда загремело ведро, они прямо затряслись. Вот один сейчас пробует заглянуть в окно…

Смок затянулся сигаретой и при ее красноватом свете посмотрел на часы.

— Надо проделывать это регулярно, — шепнул он, — будем вытаскивать ведро каждые четверть часа. А в промежутках…

Набросив на камень сложенный втрое кусок мешковины, он ударил по нему долотом.

— Прекрасно, прекрасно! — в восторге простонал Малыш, бесшумно отходя от щелки. — Они сошлись в кружок — видно, совещаются.

С этой минуты и до четырех часов утра, с пятнадцатиминутными перерывами, слышно было, как в хибарке вытаскивают тяжелое ведро скрипучей лебедкой, которая на самом деле крутилась вхолостую. Затем непрошеные гости удалились, и Смок с Малышом легли спать.

Когда рассвело, Малыш осмотрел следы мокасин на снегу.

— Большой Билл Солтмен тоже тут был, — сказал он. — Погляди, какие огромные следы!

Смок взглянул на реку.

— Готовься встречать гостей, — сказал он. — Вон двое уже топают по льду.

— Ха! Вот погоди, в девять часов Брэк зарегистрирует наши заявки, тогда к нам две тысячи притопают.

— И все до единого будут кричать, что найдена «главная жила», — засмеялся Смок. — «Наконец-то открыт источник всех богатств Клондайка!»

Малыш вскарабкался на утес и глазом знатока оглядел ряд участков, которые они застолбили.

— Конечно, это похоже на излом жилы, — сказал он. — Кто смыслит в этом деле, тот ее и под снегом проследит. Тут всякий поверит. А вот и обнажение, вот и порода выходит наружу. Можно подумать, тут и впрямь жила.

Когда двое гостей, перейдя реку, взобрались по извилистой тропе на крутой откос, дверь хибарки оказалась заперта. Билл Солтмен, шедший первым, тихо подошел к двери, прислушался и кивком подозвал Чарли Бешеного. Изнутри донесся скрип и стон лебедки, поднимающей тяжелый груз. Они дождались минуты затишья, потом услышали обратный поворот вала и стук ведра о камень. За следующий час это повторилось еще четыре раза. Наконец Бешеный постучал в дверь. Изнутри послышались неясные звуки, там что-то делали, крадучись и спеша, затихли, снова крадучись заспешили, — и наконец минут через пять Смок, тяжело переводя дух, приотворил дверь и выглянул в щелку. Лицо и рубашка у него были в пыли, в мелких осколках. И поздоровался он что-то чересчур приветливо.

— Одну минуту, — прибавил он, — сейчас я к вам выйду.

Он натянул рукавицы и выскользнул в полуоткрытую дверь, чтобы принять гостей прямо на снегу. Они тотчас заметили, что плечи у него в пыли, даже не разобрать, какого цвета рубашка, и колени перепачканы — сразу видно, не успел толком почиститься и отряхнуться.

— Вот ранний визит, — сказал он. — Как вы

оказались на этом берегу? Собрались на охоту?

— Мы всё знаем, — сказал Бешеный. — Так что давай в открытую, Смок. Вы тут кое-что нашли.

— Если вам нужны яйца… — начал Смок.

— Да брось ты! Мы хотим поговорить о деле.

— А, так вы хотите купить участки под застройку? — затараторил Смок. — Тут есть превосходные участки. Но, понимаете, мы их пока не продаем. Надо еще изучить местность, разбить улицы. Приходи через недельку, Бешеный, и если ты хочешь поселиться тут в тихом и мирном уголке, я тебе покажу чудное местечко. На той неделе все наверняка будет уже готово. До свидания. Извините, что не приглашаю вас войти, но Малыш… сами знаете, он не без странностей. Он говорит, что поселился здесь ради тишины и покоя. Сейчас он спит, и я до смерти боюсь его разбудить.

Говоря без умолку, он крепко пожал им руки на прощанье. Все еще не умолкая и пожимая им руки, перешагнул порог и тотчас закрыл за собой дверь.

Они переглянулись и многозначительно кивнули друг другу.

— Колени-то, видал? — хрипло зашептал Солтмен.

— А как же! И плечи. Перемазался, когда ползал

по шахте. — Говоря это, Бешеный обводил глазами засыпанную снегом глубокую лощину, и вдруг его взгляд задержался на чем-то, что заставило его присвистнуть. — Смотри-ка, Билл! Вот, вот, видишь, яма? Да это же они рыли шурф! И в обе стороны следы на снегу. Если это не жила, которая простирается по обе стороны, так я ничего не понимаю. Самая настоящая жила.

— И какая громадная! — воскликнул Солтмен. — Да, ничего не скажешь, находка!

— И внизу, вдоль откоса — видишь, как порода выходит наружу и опять уходит вглубь? Откос как раз перерезает жилу.

— А ты вон куда погляди, — Солтмен показал на дорогу, пересекавшую скованный льдом Юкон. — Похоже, весь Доусон идет сюда.

И Бешеный увидел, что вся дорога чернеет, залитая сплошным людским потоком вплоть до дальнего доусонского берега, на котором тоже толпится народ.

— Ну, не мешает, пока они не нагрянули, заглянуть в тот шурф, — сказал он и быстро зашагал к лощине.

Но тут дверь хибарки распахнулась, и на пороге появились Смок и Малыш.

— Эй! — окликнул Смок. — Вы куда?

— Хотим выбрать участок, — отозвался Бешеный. — Поглядите на реку. Весь Доусон будет расхватывать ваши участки, и мы хотим выбрать первыми. Верно, Билл?

— Еще бы, — подтвердил Солтмен. — По всему видно, шикарный будет поселок, от желающих переехать сюда прямо отбою не будет.

— Вы пошли не в ту сторону, ту часть мы не продаем, — сказал Смок. — Участки под застройку вон там, направо, и повыше на утесах. А эта часть, от реки и до самого верха, не продажная. Так что поворачивайте оглобли.

— Но мы присмотрели себе именно эту землю.

— Говорят вам, не продается, — резко ответил Смок.

— Что ж, ты и пройтись в ту сторону не разрешаешь? — упорствовал Солтмен.

— Не разрешаю. Довольно вы тут погуляли, надоело. Поворачивайте назад.

— А мы все-таки хотим пройтись, — упрямо сказал Солтмен. — Идем, Бешеный.

— Смотрите, это противозаконно, вы вторгаетесь в чужие владения, — предостерег Смок.

— Вовсе нет, мы просто гуляем, — весело возразил Солтмен и, повернувшись, двинулся было дальше.

— Эй! Стой на месте, Билл, не то я тебя сейчас продырявлю! — загремел Малыш, выхватывая два «кольта» и прицеливаясь. — Еще шаг — и я проделаю одиннадцать дырок в твоей поганой шкуре. Понятно?

Ошарашенный Солтмен остановился.

— Понять-то он понял, — пробормотал Малыш. — Но если он пойдет дальше, тогда что? Не могу же я стрелять. Как тогда быть?

— Послушай, Малыш, рассуди здраво! — взмолился Солтмен.

— Поди сюда, тогда и порассуждаем, — ответил Малыш.

Первая волна доусонцев уже захлестнула крутой откос и надвинулась на них, а они все еще пререкались.

— Человек хочет купить землю, присматривает себе участок, а вы говорите, что он куда-то вторгается, — доказывал Бешеный.

— А если земля уже принадлежит другому владельцу? — возражал Малыш. — Как раз этот самый кусок — частная собственность, вот и все. Говорят тебе, этот участок не продается.

V

— Надо скорее кончать, — шепнул Малышу Смок. — А то их, пожалуй, не удержишь…

— Храбрый ты парень, если надеешься их удержать, — шепнул в ответ Малыш. — Тут их две тысячи, и еще прибавится. Того и гляди ринутся на наши участки.

Запретная черта проходила по ближнему краю лощины, там, где Малыш остановил Солтмена с Бешеным. В толпе оказался лейтенант северо-западной полиции и человек шесть полицейских. Смок подошел к лейтенанту и заговорил с ним вполголоса.

— Из Доусона народ все прибывает, — сказал он, — скоро наберется тысяч пять, не меньше. Того и гляди кинутся захватывать участки. Вы только представьте, тут всего пять заявок, это выходит тысяча человек на участок, причем четыре тысячи из пяти бросятся на самый ближний. Этого нельзя допустить, здесь будет столько жертв, сколько не было за всю историю Аляски. А кроме того, на эти пять участков сегодня утром уже сделаны заявки, и никто не имеет права их перехватить. Короче говоря, нельзя, чтоб началась драка за участки.

— Верно, — сказал лейтенант. — Сейчас я соберу и расставлю своих людей. Мы не можем допустить беспорядка — и не допустим. Но вы все-таки поговорите с ними.

— Тут какая-то ошибка, ребята! — громко начал Смок. — У нас еще не все готово, и мы ничего не продаем. Улицы еще не размечены. А вот на будущей неделе прошу пожаловать: открываем широкую распродажу…

Взрыв общего гнева и нетерпения прервал его на полуслове.

— Нам не нужны никакие улицы! — выкрикнул молодой старатель. — Нам не нужно то, что на земле. Мы пришли за тем, что под землей.

— Мы не знаем, что тут есть под землей, — ответил Смок. — Зато мы знаем, что на этой земле можно выстроить отличный поселок.

— Верно! — подтвердил Малыш. — Уединенное место, и вид красивый. Кто любит уединение, все так тысячами сюда и кинутся. Это будет самое людное уединенное местечко на Юконе!

Снова раздались крики нетерпения, и Солтмен, который разговаривал о чем-то с вновь подошедшими доусонцами, выступил вперед.

— Мы пришли сюда, чтоб застолбить участки, — начал он. — Мы знаем, что вы тут сдела-

ли, — застолбили пять участков на золотой жиле, вон они идут в ряд по откосу и вдоль ущелья. Только вы при этом смошенничали. Две записи у вас фальшивые. Кто такой Сэт Байрс? Никто у нас и не слыхал про такого. А вы сегодня утром сделали заявку на его имя. И на имя Гарри Максуэлла записали заявку. Но Гарри Максуэлла здесь нет. Он в Сиэтле. Он еще осенью отсюда уехал. Стало быть, две заявки свободны, можно их распределять заново.

— А если у меня есть от него доверенность? — спросил Смок.

— Нет у тебя никакой доверенности, — ответил Солтмен. — Ну-ка покажи, если есть. И все равно эти участки нужно делить заново. Айда, ребята.

И Солтмен переступил запретную черту, подавая пример остальным, но тут готовую хлынуть за ним толпу остановил громкий окрик лейтенанта:

— Ни шагу дальше! Вы не имеете права!

— Ах вот как, не имеем права? — переспросил Билл Солтмен. — Разве по закону не разрешается заново столбить, если заявки сделаны неправильно?

— Действуй, Билл! Не сдавайся! — подбадривала толпа, не переходя, однако, запретную черту.

— По закону разрешается, верно? — вызывающе спросил Солтмен, наступая на лейтенанта.

— Пускай разрешается, — последовал невозмутимый ответ. — Я не могу допустить, чтоб толпа в пять тысяч человек кинулась на две заявки, — и не допущу. Это будет беспорядок, а наше дело — не допускать беспорядка. Здесь, сейчас, на этом самом месте, северо-западная полиция представляет собой закон. Если кто перешагнет эту черту, буду стрелять. А вы, Билл Солтмен, осадите назад.

Солтмен нехотя повиновался. И все же в толпе, теснившейся повсюду, где можно было примоститься на этих скалистых уступах, склонах и утесах, нарастало беспокойство, которое не предвещало ничего хорошего.

— Боже милостивый! — шепнул лейтенант Смоку. — Посмотрите вон туда, на край обрыва, его точно мухи облепили. Стоит толпе податься в сторону, как сотни людей свалятся вниз.

Смока пробрала дрожь; он выступил вперед.

— Давайте действовать по справедливости, друзья. Если вы непременно хотите, я вам распродам участки под застройку по сто долларов штука, а когда поселок будет распланирован, вы распределите их по жребию.

Возмущенная толпа всколыхнулась, но Смок предостерегающе поднял руку:

— Ни с места, вы все! Иначе сотни людей свалятся с обрыва и разобьются. Положение угрожающее.

— Все равно тебе эту землю не заграбастать! — выкрикнул кто-то. — Нам ни к чему тут строиться. Мы хотим застолбить участки.

— Но спорных заявок только две, — возразил Смок. — Ну, они достанутся двоим, а остальные что будут делать?

Он утер лоб рукавом, и тут новый голос выкрикнул:

— Мы все войдем в долю, всё поделим поровну!

Те, кто громкими криками одобрил это предложение, и не подозревали, что оно сделано человеком, с которым Смок заранее уговорился и которому теперь подал знак, утирая лоб.

— Не будьте свиньями, не хватайте всё себе, — продолжал этот человек. — Примите всех в долю, поделите между всеми права на землю — и на ископаемые, какие есть в земле, тоже.

— Да ни при чем тут права на ископаемые, говорят вам, — возразил Смок.

— Делите их со всем прочим. А мы попытаем

счастья.

— Вы хотите, чтоб я уступил насилию, — сказал Смок. — Лучше бы вы сюда не являлись.

Было очевидно, что он в нерешимости, и мощный рев толпы заставил его окончательно уступить. Но Солтмен и другие, стоявшие в первом ряду, начали что-то возражать.

— А вот Билл Солтмен и Бешеный не желают, чтоб вы все участвовали в этом деле, — сообщил толпе Смок. — Кто же теперь свинья?

Это сразу изменило настроение толпы не в пользу Солтмена и Бешеного.

— А как же вы хотите все поделить? — продолжал Смок. — Контрольный пакет должен остаться за мной и Малышом. Мы первые открыли это место.

— Верно! — закричало сразу много голосов. — Правильно! Это справедливо!

— Три пятых будут на нашу долю, — предложил Смок, — а вы все поделите между собой остальные две пятых. И вам придется оплатить свои паи.

— Десять центов за доллар! — раздался крик. — И акции обложению не подлежат!

— И председатель правления самолично подносит каждому его дивиденды на серебряном

блюде, — насмешливо заключил Смок. — Нет уж! Будьте благоразумны, друзья. Десять центов за доллар — это поможет начать дело. Вы покупаете две пятых всех акций и за стодолларовую акцию платите десять долларов. Это самое большее, на что я могу согласиться. А если вам это не подходит — пожалуйста, начинайте драку, сбросьте мои заявочные столбы. Больше чем на две пятых я не дам себя нагреть.

— Но только не выпускайте дутых акций! — крикнул кто-то, и это прозвучало как программа, на которой сошлись все.

— Вас тут около пяти тысяч человек, значит, и паев должно быть пять тысяч, — стал вслух рассчитывать Смок. — А пять тысяч — это две пятых от двенадцати с половиной тысяч. Таким образом, капитал Акционерной компании поселка Тру-ля-ля составит миллион двести пятьдесят тысяч долларов, это будет двенадцать тысяч пятьсот паев по сто долларов каждый, и вы все купите пять тысяч паев и уплатите по десять долларов за штуку. И плевать мне, если вы не согласны. Будьте все свидетелями — я иду на это только потому, что вы меня заставили.

Доусонцы остались в уверенности, что поймали Смока с поличным, ибо он сфабриковал

две фальшивые заявки. Тотчас было выбрано правление и заложены основы Акционерной компании поселка Тру-ля-ля. Не пожелав, как это было предложено, распределять акции на другой день в Доусоне — ведь все, кто не участвовал в нынешнем нашествии, тоже захотят урвать свою долю, — члены правления уселись вокруг костра, разведенного на льду у подножия горы, и вручали каждому из присутствующих расписку в обмен на десять долларов в золотом песке, который, как полагается, отвешивали на специальных весах, — для этого из города притащили десятка два весов.

Только к вечеру вся эта работа была закончена и поселок Тру-ля-ля опустел. Смок и Малыш остались одни. Они ужинали у себя в хижине и посмеивались, глядя на списки акционеров, насчитывавшие четыре тысячи восемьсот семьдесят четыре фамилии, и на мешки, в которых, как они знали, было золота на сорок восемь тысяч семьсот сорок долларов.

— Но ты еще не довел дело до конца, — заметил Малыш.

— Он придет, — убежденно ответил Смок. — Это прирожденный игрок, и когда Брэк шепнет ему словечко, так он и помирать будет, а при-

тащится.

Не прошло и часа, как в дверь постучали и вошел Бешеный, а за ним Билл Солтмен. Жадным взглядом они окинули хибарку, и глаза их остановились на лебедке, искусно прикрытой одеялами.

— А если я хочу получить тысячу двести акций? — доказывал Бешеный полчаса спустя. — Сегодня вы продали пять тысяч, вместе будет всего-навсего шесть тысяч двести. У вас с Малышом остается шесть тысяч триста. Все равно контрольный пакет за вами.

— Да на что тебе дался наш поселок? — удивился Малыш.

— Ты это знаешь не хуже меня, — отвечал Бешеный. — Между нами говоря, — он покосился на окутанную одеялами лебедку, — это просто прелестный поселок.

— Но вот Билл тоже хочет, чтоб ему подбавили, — проворчал Смок, — а мы никак не можем отдать больше пятисот паев.

— Сколько ты хочешь вложить в это дело? — спросил Бешеный.

— Ну, скажем, пять тысяч долларов, — сказал Солтмен. — Больше мне не наскрести.

— Послушай, Бешеный, — продолжал Смок все

тем же ворчливым, обиженным тоном, — если б мы не были добрыми знакомыми, я не продал бы тебе ни единой из этих дурацких акций. И уж, во всяком случае, больше чем пятьсот акций мы с Малышом не отдадим, и вам придется заплатить по пятьдесят долларов за штуку. Это мое последнее слово, не хотите — не надо. Билл может взять сотню, а на твою долю останется четыреста.

А назавтра весь Доусон держался за бока от смеха. Смех вспыхнул рано утром, едва рассвело, когда Смок подошел к доске объявлений у входа на склад Аляскинской торговой компании и кнопками прикрепил к доске лист бумаги. Он еще не успел всадить последнюю кнопку и отойти, а люди уже собрались и читали, заглядывая через его плечо, и фыркали. Вскоре перед доской толпилось несколько сот человек, и задним ничего не было видно. Криками потребовали, чтобы кто-нибудь читал вслух; и затем весь день то один, то другой по общему требованию громогласно перечитывал вывешенное Смоком объявление. И немало было таких, что стояли в снегу и выслушивали это чтение по нескольку раз, чтобы лучше, во всех язвительных подробностях, запомнить статьи объявления, которое гласило:

«Акционерная компания поселка Труля-ля сводит свой баланс на стене. Это ее первый и последний баланс.

Всякий акционер, который не пожелает пожертвовать десять долларов Доусонской городской больнице, может получить назад свои десять долларов, обратившись лично к Чарли Бешеному, а в случае отказа последнего уплатить эти деньги немедленно получит их, обратившись к Смоку Беллью.

Имеется остаток акций на сумму 7126 долларов. Эти акции, принадлежащие Смоку Беллью и Джеку Малышу, не стоят ничего и могут быть приобретены бесплатно, по первому требованию, любым жителем Доусона, желающим переменить местожительство и насладиться тишиной и уединением в поселке Тру-ля-ля.

Примечание. Тишина и уединение гарантируются в поселке Тру-ля-ля на вечные времена.

Подписи:

Смок Беллью, председатель
Джек Малыш, секретарь».

Тайна женской души

I

— А все-таки, я вижу, ты не очень-то спешишь жениться, — заметил Малыш, возобновляя разговор, оборвавшийся несколько минут назад.

Смок не ответил; сидя на краешке мехового одеяла, он опрокинул в снег ворчащую собаку и внимательно обследовал ее лапы. А Малыш, поворачивая перед огнем надетый на палку мокасин, от которого валил пар, пристально всматривался в лицо компаньона.

— Погляди-ка на северное сияние, — продолжал Малыш. — Экое непостоянство! Совсем как женщина: то она так, то этак, и не поймет, чего ей надо. У самой лучшей женщины ветер в голове, если уж она не совсем дура. И все они настоящие кошки — что большие, что маленькие, красавицы и уродины. А если какая увяжется за мужчиной — ну, считай, за тобой охотится голодный лев или гиена.

И снова красноречие Малыша иссякло. Смок ударил собаку, которая чуть не укусила его за руку, и продолжал осматривать ее израненные,

кровоточащие лапы.

— Фу-ты! — опять заговорил Малыш. — Да неужто я не женился бы, если б захотел? А может, меня бы и против моей воли окрутили, но только я всегда удирал, как заяц. Знаешь, Смок, что меня спасало? Хорошее дыхание. Я просто бегу что есть духу. Хотел бы я посмотреть на ту юбку, которая способна меня загонять.

Смок отпустил собаку и тоже повернул перед огнем свои мокрые мокасины, насаженные на палки.

— Придется нам завтра сидеть на месте и шить для собак мокасины, — сказал он наконец. — Этот битый лед совсем искалечил им лапы.

— Нам нельзя оставаться на месте, — возразил Малыш. — И назад повернуть еды не хватит. Если мы с тобой завтра-послезавтра не нападем на след оленей или этих самых белых индейцев, придется нам слопать своих собак вместе с изрезанными лапами. А кстати сказать, кто их вообще видел, белых индейцев? Все это враки. Как может индеец быть белым? Это все равно что назвать белым чернокожего. Нет, Смок, завтра надо двинуться дальше. Вся округа точно вымерла, никакой дичи нет. Сам знаешь, вот уж неделя, как нам не попадалось ни одного заячьего следа.

Надо выбраться из этого гиблого места куда-нибудь, где водится дичь.

— Собаки будут бежать вдвое быстрей, если дать им денек отдохнуть и обуть их в мокасины, — сказал Смок. — Ты бы влез на какую-нибудь горку и осмотрелся. Мы, наверно, уже вот-вот выйдем на ту равнину с холмами, о которой рассказывал Лаперль.

— Ха! Лаперль сам говорит, что проходил тут десять лет назад и был в ту пору не в своем уме от голода, даже не понимал толком, что у него перед глазами. Помнишь, он рассказывал, будто на вершинах гор развевались огромные флаги? Ясное дело: все у него в голове мутилось. И он сам говорил, что не видел никаких белых индейцев, это уж Энтон сочинил. А Энтон помер за два года до того, как мы с тобой прикатили на Аляску. Да ладно, завтра пойду огляжусь. Может, удастся подстрелить лося. А сейчас пора спать, вот что я тебе скажу.

II

Все утро Смок провел на стоянке: шил собакам мокасины, чинил упряжь. В полдень он приготовил обед на двоих, съел свою порцию и начал ждать Малыша. Час спустя он стал на лыжи и

двинулся по следу товарища. Он поднялся по руслу ручья и миновал узкое ущелье, которое неожиданно вывело его на просторную поляну, — видно было, что когда-то на ней паслись лоси. Однако ни один лось не побывал здесь с осени, с тех пор как выпал первый снег. Следы лыж Малыша пересекали пастбище и поднимались по косогору. Дойдя до вершины, Смок остановился. След шел дальше, вниз по откосу. За милю отсюда, вдоль русла нового ручья, рос невысокий ельник, и видно было, что Малыш прошел через этот лесок. Смок взглянул на часы, подумал о надвигающейся темноте, о собаках, о покинутой стоянке и скрепя сердце отказался от мысли продолжать поиски. Но прежде чем повернуть назад, он внимательно осмотрелся. На востоке в небо, точно зубья пилы, вгрызались снежные пики Скалистых гор. Гряда за грядой вздымались горные цепи, и все они тянулись на северо-запад, отрезая пути к той равнине, о которой рассказывал Лаперль. Казалось, горы сговорились преградить дорогу пришельцу, заставить его вернуться назад, к Юкону. Смок спрашивал себя, многие ли до него приходили сюда и отступали перед этим грозным зрелищем. Правда, Лаперль не отступил, но ведь он перева-

лил через Скалистые горы с востока.

До полуночи Смок поддерживал большой костер, чтобы Малыш мог издали его увидеть. А утром, чуть забрезжило, свернул лагерь, запряг собак и с рассветом пустился на поиски. В узком ущелье вожак упряжки насторожил уши и заскулил. И немного погодя Смок увидел шестерых индейцев, идущих навстречу. Они шли налегке, без собак, у каждого за плечами был совсем небольшой мешок с походным снаряжением. Они окружили Смока. К немалому его удивлению, они его явно искали. Сразу выяснилось также, что они не говорят ни на одном из индейских наречий, на которых он знал хоть слово. Белыми они не были, но казались и выше и крепче индейцев, живущих в долине Юкона. Пятеро были вооружены старинными длинноствольными мушкетами Компании Гудзонова залива, в руках шестого Смок увидел хорошо ему знакомый винчестер — это был винчестер Малыша.

Индейцы не стали тратить время на переговоры со своим пленником. Смок был безоружен, ему оставалось только покориться. Они тотчас разобрали груз, лежавший на нартах, каждый взвалил часть себе на плечи, Смоку дали нести меховые одеяла — его и Малыша. Собак распряг-

ли, а когда Смок запротестовал, один из индейцев знаками объяснил, что дорога впереди слишком тяжела для нарт. Смок примирился с неизбежным, спрятал нарты на берегу ручья, сунув их стоймя в снег, и побрел вместе со своими конвойными. Они направились к северу, перевалили через невысокую гряду, спустились к перелеску, который накануне заметил Смок. Миль десять-двенадцать шли по руслу ручья, а когда он стал отклоняться к западу, свернули по узкому притоку прямо на восток.

В первый раз они остановились на ночлег в месте, где за несколько дней до них стояли лагерем какие-то люди. Тут хранились запасы вяленой лососины и мяса, — все это индейцы теперь взяли с собой. От стоянки уходило много лыжных следов, и Смок понял, что эти-то люди и захватили Малыша; и еще прежде, чем стемнело, ему удалось разглядеть на снегу следы знакомых лыж, более узких, чем лыжи индейцев. Он знаками стал расспрашивать спутников, они кивнули и показали на север.

И во все следующие дни они показывали на север; и как ни кружила, ни извивалась тропа меж беспорядочно теснящихся, нацеленных в небо скалистых пиков, все же она упорно вела

на север. То и дело казалось, что в этой суровой снежной пустыне дальше нет дороги, и, однако, тропа поворачивала, отступала, находя невысокие перевалы и избегая крутых, неодолимых горных кряжей. Здесь навалило больше снегу, чем ниже, в долинах, и каждый шаг надо было брать с бою, утаптывая целину лыжами. Притом все спутники Смока были молоды, шли легким, быстрым шагом; и в глубине души он невольно гордился тем, что без труда поспевает за ними. Они были закалены кочевой жизнью, с самого раннего детства привыкли прокладывать путь через снега; и все же он был так крепок и здоров, что этот переход давался ему не тяжелее, чем им.

За шесть дней они достигли главного перевала и миновали его; хоть он был ниже окружающих грозных гор, но все же лежал на огромной высоте и недоступен был для нагруженных нарт. А через пять дней, спускаясь капризной, извилистой тропой все ниже и ниже, они вышли на широко раскинувшуюся холмистую равнину, открытую Лаперлем десять лет назад. Смок узнал ее с первого взгляда. В этот морозный день термометр показывал сорок градусов ниже нуля и воздух был так прозрачен, что видно было на сто миль

вокруг. Насколько хватал глаз, перед Смоком расстилалась эта волнистая равнина. Далеко на востоке еще виднелись Скалистые горы, вздымавшие в небо свои неприступные, покрытые снегом зубчатые гребни. К югу и к западу тянулись изрезанные ущельями отроги, которые Смок и его спутники недавно пересекли. А здесь, в гигантской впадине, лежал край, по которому прошел Лаперль, — край, одетый снегами, но, несомненно, богатый дичью, а летом это, конечно, смеющаяся, цветущая, вся в зелени земля.

К полудню они спустились по широкому руслу замерзшего потока, мимо утонувших в снегу ив и голых осин, пересекли ровные пространства, густо поросшие елью, и вышли к большому лагерю, покинутому совсем недавно. На ходу Смок подсчитал примерно следы костров — их было сотни четыре, а то и пять; как видно, здесь стояли лагерем несколько тысяч человек. Тропа была свежая, утоптанная множеством мокасин, так что Смок и его похитители сняли лыжи и без них пошли еще быстрей. Все больше признаков указывало на обилие в этих местах дичи, все чаще попадались следы хищников — волков и рысей. Один из индейцев с радостным возгласом указал на широкую поляну, усеянную обглоданными

оленьими черепами: снег на поляне был взрыт и измят, словно тут разыгралось большое сражение. И Смок понял, что после недавнего снегопада охотники перебили здесь немало дичи.

Стало смеркаться, но индейцы ничем не обнаруживали намерения остановиться на ночлег. В сгущавшихся сумерках они шли все вперед и вперед; порой небо вспыхивало, тьма рассеивалась и огромные мерцающие звезды бледнели, подернутые трепетной зеленоватой дымкой северного сияния. Собаки Смока первыми заслышали вдалеке шум лагеря, насторожились и тихонько заскулили от нетерпения. Потом и человеческий слух стал улавливать отдаленный гул, еще смутный, но не смягченный расстоянием, как бывает обычно. Напротив, это был пронзительный, дикий шум, нестройные резкие звуки перебивались еще более резкими — протяжным воем множества лаек, и в этом вое, то визгливом, то заунывном, слышались тревога и боль, угрюмая безнадежность и вызов. Сняв рукавицу, Смок открыл стекло карманных часов и кончиками пальцев нащупал стрелки — они показывали одиннадцать. Его провожатые оживились. Ноги, столько отшагавшие за долгий день пути, сами собой ускорили шаг — теперь люди

почти бежали. Внезапно они вышли из темного ельника, яркий свет многих костров ослепил их, многоголосый шум оглушил. Перед ними лежало огромное становище.

Они пробирались между неровными рядами вигвамов, и шум, как прибой, вздымался им навстречу и катился вслед — возгласы, приветствия, вопросы и ответы, шутки, насмешки, ответные шутки, злобное рычание лаек, которые так и сыпались на собак Смока, точно косматые яростные бомбы, брань индианок, смех, хныканье детей и плач грудных младенцев, стоны разбуженных всем этим больных — адский шум и крик оглушал в этом становище первобытного народа, не знающего, что такое нервы.

Спутники Смока палками и прикладами отбивались от налетающих отовсюду псов, а его собаки, напуганные таким множеством врагов, рыча и огрызаясь, жались к своим двуногим защитникам, грозно ощетинивались и вставали на дыбы.

Вновь прибывшие остановились у костра, разведенного на утоптанном снегу, где сидели на корточках Малыш и два молодых индейца, поджаривая на огне нарезанную длинными узкими кусками оленину. Еще три молодых индейца

лежали, завернувшись в меха, на подстилке из еловых ветвей, при виде подошедших они сели. Малыш поверх костра взглянул на Смока, но лицо его осталось таким же бесстрастным и неподвижным, как лица его соседей; он не кивнул, не улыбнулся и продолжал жарить мясо.

— Что это с тобой? — сердито спросил Смок. — Язык отнялся?

Малыш весело ухмыльнулся.

— Вовсе нет, — ответил он. — Я индеец. Учусь ничему не удивляться. Когда они тебя зацапали?

— На другой день после твоего ухода.

— Хм… — В глазах Малыша заплясали искорки. — Мои дела идут прекрасно, хуже некуда. Тут у нас лагерь холостяков. — И он широким жестом обвел все это великолепие: костер, постели из еловых ветвей на снегу, вигвамы из оленьих шкур и щиты от ветра, сплетенные из тех же еловых ветвей и ивовых прутьев. — А вот это сами холостяки. — Малыш показал на молодых индейцев, произнес несколько гортанных слов на их языке, и их глаза и зубы сверкнули в ответной улыбке. — Они рады познакомиться с тобой, Смок. Садись и высуши мокасины, я сейчас приготовлю поесть. А здорово я болтаю по-ихнему? Тебе тоже надо выучиться. Похоже, мы у них

останемся надолго. Тут есть еще один белый, ирландец, он попал к ним шесть лет назад. Они его поймали на дороге к Большому Невольничьему озеру. Дэнни Мак-Кен его звать. Он тут обзавелся женой, у них уже двое детишек, но, если подвернется случай, он рад будет дать тягу. Видишь, вон направо маленький костер? Это он и есть.

Как видно, тут и предстояло жить Смоку: провожатые оставили его и его собак и исчезли среди вигвамов. Смок занялся своей обувью, потом стал уплетать кусок за куском дымящееся мясо, а Малыш жарил все новые куски и рассказывал новости:

— Похоже, Смок, мы с тобой здорово влипли. Не так-то просто будет отсюда выбраться. Это самые настоящие, чистейшей воды дикие индейцы. Сами они не белые, но вождь у них белый. Говорит, точно у него полон рот горячей каши, и уж если он не шотландец, так и не знаю, какие они есть, шотландцы. Он тут у них царь и бог и всему голова. Что он скажет, тому и быть. Так и запомни. Дэнни Мак-Кен шесть лет все старается от него удрать. Дэнни — парень неплохой, только у него пороху не хватает. Какой дорогой отсюда выбраться, он знает, на охоте высмотрел: западнее, чем мы с тобой сюда шли. Только одному ему

не уйти, никак с духом не соберется. А втроем мы это дело обстряпаем. Бородач — крепкий парень, стоящий, да только у него не все дома.

— Кто это Бородач? — спросил Смок с полным ртом, на миг отрываясь от еды.

— Да этот самый их вождь. Шотландец. Он уже человек немолодой и сейчас, верно, спит, а завтра он потолкует с тобой и докажет, как дважды два, что в его владениях ты просто червяк и больше никто. Тут распоряжается он один. Ты должен крепко вбить себе это в башку. Места эти неисследованные, никому не известные, и хозяин здесь он. И уж он не даст тебе про это забыть. Тут примерно на двадцать тысяч квадратных миль охотничьи угодья — и все это его. Вот он и есть белый индеец, да и его девчонка тоже. Ха! Не смотри на меня такими глазами. Погоди, сам увидишь. Хорошенькая и совсем белая, как отец — как Бородач, значит. А оленей тут!.. Я сам видел. Сытые, откормленные, стадо в сто тысяч голов, — десять тысяч волков и диких кошек идут по пятам, хватают отставших и кормятся объедками. Да-да, у нас и объедки остаются. Стадо идет на восток, и мы теперь будем все время двигаться следом. Самцов мы едим, а что не съедим, коптим и вялим про запас, чтоб было на весну, пока не

начнется лов лосося. Я тебе вот что скажу: чего Бородач не знает про лосося и про оленей, того уж никто на свете не знает.

III

— Вот он идет, Бородач, и с таким видом, будто по делу, — шепнул Малыш и, дотянувшись до ближайшей ездовой собаки, вытер жирные руки о ее косматую шерсть.

Было утро, и холостяки, сидя на корточках вокруг костра, жарили оленину и с аппетитом завтракали. Смок поднял глаза — к их костру направлялся невысокий, худощавый человек в одежде из шкур, как любой индеец, но, несомненно, белый; за ним собаки тащили нарты и шагали человек десять индейцев.

Смок разбил кость и, высасывая горячий мозг, с интересом разглядывал хозяина здешних мест. Густая борода и рыжевато-седые волосы, закопченные дымом костров, почти совсем скрывали лицо этого человека, но видно было, что оно худое, изможденное, щеки совсем ввалились. А все же он здоровый, хоть и худ, как скелет, решил Смок, заметив его расширенные ноздри и широкую грудь, — они говорили о глубоком дыхании, об отличных легких — залоге жизни и здоровья.

— Здравствуйте, — сказал Бородач, снимая рукавицу, и протянул руку. — Меня зовут Снасс.

Они обменялись рукопожатием.

— А меня Беллью, — сказал Смок, чувствуя какую-то непонятную неловкость под испытующим, пронзительным взглядом черных глаз Снасса.

— Я вижу, у вас тут еды достаточно.

Смок кивнул и опять взялся за мозговую кость; почему-то ему было приятно слышать этот мурлыкающий шотландский говор.

— Грубая пища. Но зато мы почти не знаем голода. И это куда полезней, чем всякие деликатесы, которыми питаются в городах.

— Я вижу, вы не любитель города, — отшутился Смок, чтобы сказать что-нибудь, и был поражен мгновенной переменой в собеседнике.

Он весь задрожал и поник, точно какое-то чувствительное растение. Потом в глазах его вспыхнули ужас, безмерное отвращение, жгучая ненависть, точно крик нестерпимой боли. Он круто повернулся и, овладев собой, бросил через плечо:

— Мы еще увидимся, мистер Беллью. Олени идут на восток, и я отправляюсь вперед, чтобы выбрать место для стоянки. Вы все сниметесь

завтра.

— Вот тебе и Бородач! — пробормотал Малыш, когда Снасс и его спутники отошли подальше, и снова вытер руки о шерсть пса, который с наслаждением принялся слизывать с себя жир.

IV

Немного позже Смок пошел пройтись по становищу, поглощенному несложными будничными заботами. Только что возвратился большой отряд охотников, и мужчины разбрелись каждый к своему костру. Женщины и дети запрягали собак в легкие нарты, уходили с ними, а когда возвращались, все вместе тащили нарты, нагруженные уже промерзшим мясом только что убитой дичи. Стоял морозный день, какие бывают ранней весной, и вся эта первобытная жизнь шла при тридцати градусах ниже нуля. Ни на ком вокруг не было ни клочка ткани: всем одинаково служили одеждой меха или светло-желтая замша. У мальчиков были в руках луки, колчаны и стрелы с костяными наконечниками; у многих — заткнутые за пояс или висящие в кожаных ножнах на груди костяные или каменные ножи для выделки шкур. Женщины, согнувшись над кострами, коптили мясо, а привязанные за спи-

ной у матерей младенцы сосредоточенно сосали куски сала и смотрели на все круглыми глазами. Огромные псы — настоящие волки — злобно ощетинивались при виде чужака, вооруженного короткой дубинкой, и принюхивались к его запаху, но дубинка заставляла их мириться с присутствием Смока.

В самой середине становища Смок наткнулся на очаг, который явно принадлежал Снассу. Хотя и временное, жилище его было больше и прочнее других. Свернутые шкуры и всякое снаряжение громоздились на помосте, где их не могли достать собаки. Большая брезентовая палатка служила спальней и жильем. Рядом стояла другая, шелковая, какие обычно предпочитают путешественники по неисследованным землям и богатые любители охоты. Смок, никогда не видевший такой палатки, подошел ближе. Пока он стоял и смотрел, передние полотнища распахнулись, и вышла молодая женщина. Ее движения были так стремительны и появилась она так внезапно, что Смок был ошеломлен, точно увидел призрак. Казалось, и он так же поразил ее, и несколько минут они молча смотрели друг на друга.

Она была облачена в звериные шкуры, но та-

ких великолепных, так мастерски расшитых меховых одежд Смок никогда еще не видел. Парка с откинутым капюшоном — из какого-то незнакомого ему, очень светлого серебристого меха. Муклуки на моржовой подошве сшиты из множества серебристых рысьих лапок. Длинные рукавицы, кисточки муклуков, каждая мелочь в этом меховом костюме была как бледное серебро, мерцающее в свете морозного дня; и из этого мерцающего серебра поднималась на гибкой точеной шее изящная головка — синие глаза, нежно розовеющие щеки, уши, точно маленькие розовые раковины, светло-каштановые волосы, в которых сверкали искорки инея и морозной пыли. Смоку казалось, что он видит сон; наконец, спохватившись, он потянулся к шапке. И тут изумление в глазах девушки сменилось улыбкой; быстрым, уверенным движением она сняла рукавицу и протянула руку.

— Здравствуйте, — сказала она негромко, степенно, со странным и милым акцентом, и ее голос, серебристый, как ее меховые одежды, прозвучал неожиданно для ушей Смока, уже свыкшихся с пронзительными голосами индианок.

Он промямлил что-то, смутно напоминающее о том, что когда-то он был светским человеком.

— Я рада с вами познакомиться, — продолжала она медленно, с трудом подыскивая слова и неудержимо улыбаясь. — Вы меня, пожалуйста, простите, я не очень хорошо говорю по-английски. Я, как вы, тоже англичанка. Мой отец шотландец. Моя мать умерла. Она была француженка, и англичанка, и немножко индианка. Ее отец был большой человек в Компании Гудзонова залива… Брр! Холодно! — Она надела рукавицы и стала растирать свои розовые уши, которые уже начали белеть. — Пойдемте к огню и поговорим. Меня зовут Лабисквы. А вас как зовут?

Так Смок познакомился с Лабисквы, дочерью Снасса, который называл ее Маргерит.

— Моего отца зовут не Снасс, — сообщила она Смоку. — Снасс — это его только по-индейски так зовут.

Многое узнал Смок и в этот день и потом, когда племя двинулось по следу оленей. Да, это были настоящие дикие индейцы — те, которых много лет назад встретил и от которых бежал Энтон. Здесь близко проходила западная граница их охотничьих владений, а на лето они перекочевывали на север, в тундру, к берегам Ледовитого океана, и в восточном направлении доходили до самой Лусквы. Что это за река — Луква, Смок так

и не понял, и ни Лабискви, ни Мак-Кен не могли ему объяснить. Изредка Снасс, взяв сильнейших охотников, отправлялся на восток, переходил Скалистые горы, миновал озера, реку Маккензи и доходил до Бесплодных земель. В последний раз, когда они побывали в той стороне, и была найдена шелковая палатка, ставшая жилищем Лабискви.

— Она принадлежала экспедиции Миллисента и Эдбери, — сказал Смоку Снасс.

— А, помню! Они охотились на мускусных быков. Спасательной экспедиции не удалось разыскать никаких следов их обоих.

— Я их нашел, — сказал Снасс, — но они были уже мертвы.

— Об этом до сих пор никто ничего не знает. Вести не дошли.

— Вести никогда не доходят, — любезно пояснил Снасс.

— Вы хотите сказать, что если бы вы застали их в живых?..

Снасс кивнул:

— Они остались бы со мной и с моим народом.

— Энтон, однако, ушел, — сказал Смок с вызовом.

— Не помню такого имени. Давно это было?

— Лет четырнадцать-пятнадцать назад, — ответил Смок.

— Значит, он все-таки пробрался… А я не раз спрашивал себя, что с ним сталось. Мы звали его Длинный Зуб. Это был сильный человек, очень сильный.

— И Лаперль прошел здесь десять лет назад.

Снасс покачал головой.

— Он видел следы ваших стоянок. Это было летом.

— Тогда понятно, — ответил Снасс. — Летом мы бываем на сотни миль севернее.

Но как ни старался Смок, он не мог найти ключа к прошлому Снасса. Кем он был до того, как переселился в эти дикие северные края? Человек, несомненно, образованный, он уже долгие годы не читал ни книг, ни газет. Он не знал и знать не хотел, что изменилось за это время в мире. Он слыхал о нашествии золотоискателей на Юкон, о клондайкской золотой лихорадке. Но золотоискатели никогда не вторгались в его владения, и он был этому рад. А огромный внешний мир для него просто не существовал. Снасс и слышать о нем не хотел.

Лабискви тоже мало что могла сообщить Смоку о прошлом отца. Она родилась здесь,

в охотничьем становище. Ее мать умерла, когда девочке было шесть лет. Мать была красавица — единственная белая женщина, которую видела Лабискви за всю свою жизнь. Она сказала это с грустью — и с грустью снова и снова заговаривала о том мире, откуда ее отец бежал безвозвратно. Да, она знает, что существует другой, большой мир, но это ее тайна. Она давно поняла, что одно упоминание о нем приводит отца в ярость.

Энтон рассказал одной индианке, что дед Лабискви — отец ее матери — занимал высокий пост в Компании Гудзонова залива. Позднее индианка рассказала об этом Лабискви. Но имени своей матери девушка так и не узнала.

От Дэнни Мак-Кена нельзя было почерпнуть никаких полезных сведений. Он не любитель приключений. Бродячая жизнь среди дикарей ужасна, а он ведет ее вот уже девять лет. Он жил в Сан-Франциско, его напоили и обманом затащили на китобойное судно; с мыса Барроу он и еще трое из команды бежали. Двое умерли, третий бросил его на полпути, когда они с огромным трудом пробирались к югу. Два года прожил он среди эскимосов, прежде чем набрался мужества снова пуститься в тяжкий и страшный путь на юг, а когда оставалось всего несколько дней до

ближайшего поста Гудзоновой компании, его захватили в плен молодые охотники Снасса. Мак-Кен был маленький неумный человечек с больными глазами, он мечтал и говорил только об одном: как бы вернуться в милый город Сан-Франциско, к милой его сердцу профессии каменщика.

V

— Наконец-то к нам попал умный человек, — сказал Смоку Снасс однажды вечером у костра. — До вас нам все не везло. Впрочем, был еще старик Четырехглазый. Это индейцы так его прозвали, он был близорук и носил очки. Он был профессор зоологии. (Смок отметил про себя, что Снасс совершенно правильно произнес это слово.) Мои охотники захватили его в верховьях реки Поркьюпайн, он заблудился и отстал от своей экспедиции. Умный человек был, спору нет, но чего-то ему не хватало. Вечно он сослепу сбивался с дороги. Правда, он знал геологию и умел обращаться с металлами. На берегах Лусквы есть уголь, Четырехглазый устроил там для нас отличные кузницы. Он чинил наши ружья и научил этому молодежь. В прошлом году он умер, и нам его очень недостает. Он заблудился,

замерз в какой-нибудь миле от лагеря, — вот как это случилось.

В тот же вечер Снасс сказал Смоку:

— Вам надо бы выбрать себе жену и завести собственный очаг. Вам будет удобнее, чем с молодыми охотниками. У нас, знаете, есть такой девичий праздник — девушки зажигают костры и ожидают суженых. Это обычно делается среди лета, когда пойдет лосось, но я могу распорядиться раньше, если хотите.

Смок засмеялся и покачал головой.

— Помните, — спокойно сказал в заключение Снасс, — Энтон — единственный, кому удалось отсюда выбраться. Ему повезло, необыкновенно повезло.

Лабискви говорила Смоку, что у ее отца железная воля.

— Четырехглазый называл его Замороженным Пиратом — не знаю, что это означает, — Ледяным Тираном, Пещерным Медведем, Первобытным Зверем, Оленьим Королем, Бородатым Леопардом и еще разными именами. Четырехглазый любил такие слова. Это он меня выучил английскому языку. Он всегда шутил. Никак нельзя было понять, серьезно он говорит или нет. Когда я сердилась, он называл меня — мой дружок гепард.

А что такое гепард? Он всегда меня так дразнил.

Смока удивляла ребячески наивная, оживленная болтовня Лабискви, которая так не вязалась с ее обликом взрослой девушки.

Да, ее отец — человек непреклонный. Его все боятся. Он страшен, когда рассердится. Тут есть племя Дикобразов. Они и еще племя Лусква служат Снассу посредниками, продают за него в факториях шкуры и покупают ему патроны и табак. Он всегда поступал честно, а вождь Дикобразов начал его обманывать. Снасс дважды предупреждал его, а потом поджег его селение, и человек пятнадцать из племени Дикобразов были убиты в схватке. После этого никто не пытался обмануть Снасса. Однажды, когда она была еще маленькая, один белый человек пытался убежать отсюда, и его убили. Нет, отец сам не убивал, он только отдал приказ молодым охотникам. Никогда еще ни один индеец не ослушался ее отца. И чем больше она рассказывала, тем непроницаемее казалась Смоку тайна Снасса.

— Скажите мне, — спросила Лабискви, — правда, что были на свете мужчина и женщина, их звали Паоло и Франческа и они очень любили друг друга?

Смок кивнул, и она просияла.

— Мне о них рассказывал Четырехглазый. Значит, он все-таки не выдумал. Понимаете, я как-то не верила. Спросила отца, а он так рассердился! Индейцы мне говорили, что он страшно ругал Четырехглазого. Потом были еще Тристан и Изольда… Даже две Изольды. Это очень печальная история. Но я хотела бы любить так. А в том, вашем мире все мужчины и женщины так любят? Здесь — нет. Здесь просто женятся. Наверно, они тут слишком заняты другими делами. Я англичанка, я никогда не выйду замуж за индейца — правильно это, как по-вашему? Я поэтому еще не зажигала своего девичьего костра. Некоторые молодые охотники уже сколько раз просили, чтобы отец заставил меня зажечь костер. И Либаш тоже. Он великий охотник. А Махкук все ходит и поет песни. Он такой смешной! Сегодня, когда стемнеет, приходите к моей палатке — услышите, как он поет. Мороз, а он ходит вокруг и поет. Но отец говорит, делай как знаешь, и потому я не зажгу костра. Понимаете, когда девушка решает выйти замуж, она зажигает костер, чтобы юноши об этом узнали. Четырехглазый говорил, что это прекрасный обычай. А сам так и не выбрал себе жены. Может быть, он был слишком старый. У него было очень мало волос на голове, но мне

кажется, на самом деле он был не такой уж старый. А как вы узнаёте, что вы влюблены? Так влюблены, как Паоло и Франческа?

Смок смутился под ясным взглядом ее синих глаз.

— Видите ли… — с запинкой начал он. — Говорят… те, кто влюблен, говорят, что любовь дороже жизни. Когда мужчина или женщина почувствуют, что кто-то им милее всех на свете… ну, тогда, значит, они влюблены. Так оно и получается, только это ужасно трудно объяснить. Это просто знаешь, вот и все.

Она посмотрела куда-то вдаль, сквозь дым костра, потом вздохнула и вновь взялась за иглу (она шила меховую рукавицу).

— Во всяком случае, — решительно объявила она, — я никогда не выйду замуж.

VI

— Уж если мы сбежим, придется удирать со всех ног, — мрачно сказал Малыш.

— Мы тут в огромной западне, — согласился Смок.

Поднявшись на небольшой голый холм, они оглядывали утопающее в снегах царство Снасса. На востоке, на юге и на западе его замыкали

остроконечные вершины и зубчатые хребты далеких гор. К северу без конца и края простиралась все та же холмистая равнина, но оба они знали, что и там им перережут дорогу пять или шесть горных цепей.

— В это время года я могу дать вам три дня форы, — сказал Смоку в тот вечер Снасс. — Вас выдадут следы, сами понимаете. Энтон бежал, когда снега уже не было. Мои молодые охотники догонят любого белого; и притом вы сами проложите для них тропу. А когда снег сойдет, уж я позабочусь о том, чтобы вы не могли сбежать, как Энтон. Мы ведем здоровую, привольную жизнь. А тот мир — он быстро забывается. Меня до сих пор удивляет, как легко, оказывается, обойтись без него.

— Дэнни Мак-Кен мне покоя не дает, — говорил Смоку Малыш. — Попутчик он, понятно, никудышный. Но он клянется, что знает дорогу на запад. Придется нам с ним столковаться, Смок, а то плохо тебе будет.

— Почему только мне? Все мы в одинаковом положении.

— Ну уж нет. Вот тебе и впрямь надо смотреть в оба.

— А что такое?

— Ты ничего не слыхал?

Смок покачал головой.

— Мне сказали холостяки, — продолжал Малыш. — Они сами только что узнали. Это разыграется нынче, чуть не на полгода раньше срока.

Смок пожал плечами.

— И не любопытно тебе, о чем речь? — поддразнил Малыш.

— Я слушаю.

— Так вот, жена Дэнни только что сказала холостякам... — Малыш помолчал для внушительности. — А холостяки, понятно, рассказали мне. Сегодня вечером будут зажжены девичьи костры. Вот и все. Как тебе это понравится?

— Не понимаю, куда ты клонишь.

— Ах вот как, не понимаешь? А это очень даже ясно и понятно. За тобой охотится девчонка, и она собирается зажечь костер, и зовут эту девчонку Лабискви. Ого, видал я, какими глазами она на тебя смотрит, когда ты на нее не глядишь. Она никогда не зажигала костра. Все говорила, что не выйдет замуж за индейца. А теперь она зажжет костер, и — это уж как пить дать — ради тебя, милый друг.

— Да, это ты логично рассудил, — сказал Смок, и сердце его упало, когда он вспомнил, как вела

себя Лабискви в последние дни.

— Это уж как пить дать, — повторил Малыш. — Вот и всегда так. Только мы надумали удирать — нате вам, вмешивается девчонка и все запутывает. Не будет нам удачи… Эге! Слышишь, Смок?

Три старухи остановились на полдороге между лагерем холостяков и костром Мак-Кена, и самая старая что-то выкрикивала пронзительным, визгливым голосом.

Смок узнавал имена, но далеко не все слова были ему понятны, и Малыш с грустной усмешкой стал переводить:

— Лабискви, дочь Снасса, Повелителя Туч, Великого Вождя, зажигает сегодня вечером свой первый девичий костер. Мака, дочь Оуитса, Грозы Волков…

Так были перечислены имена десяти или двенадцати девушек, и затем три вестницы побрели дальше, чтобы объявить новость у других костров.

Юношей, поклявшихся никогда не разговаривать с девушкой, — потому их и звали холостяками, — не занимало предстоящее празднество; наутро они должны были по приказу Снасса пуститься в дальний путь, но теперь, чтобы яс-

ней выразить свое презрение к происходящему, решено было отправиться немедля. Снасса не удовлетворяли расчеты старых охотников: если олени, по следу которых идет племя, и впрямь так малочисленны, решил он, значит, стадо разделилось. И послал холостяков в разведку на север и на запад — отыскивать вторую половину огромного стада.

Смок, встревоженный намерением Лабискви зажечь костер, объявил, что хочет пойти с холостяками. Но сначала он посовещался с Малышом и Мак-Кеном.

— Жди нас там на третий день, Смок, — сказал Малыш. — А мы захватим снаряжение и собак.

— Только помни, — предупредил Смок, — если как-нибудь так получится, что мы не встретимся, вы должны идти своей дорогой и выбираться на Юкон. Это дело решенное. Если выберетесь — летом вернетесь за мной. А если повезет мне, я удеру и потом вернусь за тобой.

Мак-Кен, стоя подле своего костра, показал глазами на крутую мрачную гору на западе, там, где на равнину выходила высокая, неприступная гряда.

— Вот это она и есть, — сказал Мак-Кен. — С южной стороны — небольшой ручеек. Мы

поднимемся по нему. На третий день вы нас встретите. Мы попадем туда на третий день. В каком бы месте вы ни вышли на этот ручей, вы найдете если не нас, то наш след.

VII

Но Смоку не повезло. Холостяки решили вести разведку в другом направлении, и на третий день, в то самое время, как Малыш и Мак-Кен со своими собаками пробирались вверх по ручью, Смок с холостяками за шестьдесят миль к северо-востоку от них напали на след второго оленьего стада. Несколько дней спустя, в слабом свете сумерек, еще более тусклом от валящего снега, они вернулись в становище. Индианка, рыдавшая у костра, вдруг вскочила и накинулась на Смока. Глаза ее горели злобой, она осыпала его бранью и проклятиями, протягивая руки к недвижному и немому, завернутому в меха телу, лежавшему на недавно прибывших нартах. Смоку оставалось лишь догадываться, что произошло, и, подходя к костру Мак-Кена, он готовился к новому взрыву проклятий. Но увидел самого Мак-Кена, который усердно жевал кусок оленины.

— Я не воин, — заскулил он в объяснение. — А Малыш убежал, хотя за ним еще идет погоня.

Он дрался как черт. Да все равно его поймают, не выбраться ему. Он подстрелил двоих, но они поправятся. А одному всадил пулю прямо в сердце.

— Знаю, — ответил Смок. — Я только что видел вдову.

— Снасс хотел с вами поговорить, — прибавил Мак-Кен. — Приказал, как только вернетесь, чтоб шли к его костру. Я вас не выдал. Вы ничего не знаете. Помните это твердо. Малыш удрал со мной на свой страх и риск.

У костра Снасса Смок застал Лабискви. В ее глазах, обращенных к нему, сияла такая нежность, что он испугался.

— Я рада, что вы не пытались убежать, — сказала она. — Видите, я… — Она замялась, но глаз не опустила, и нельзя было не понять, что означает льющийся из них свет. — Я зажгла свой костер, зажгла, конечно, для вас. Мой час настал. Вы мне милее всех на свете. Милее, чем отец. Милее, чем тысяча Либашей и Махкуков. Я люблю. Это так странно. Люблю, как Франческа, как Изольда. Старик Четырехглазый говорил правду. Индейцы так не любят. Но у меня синие глаза и белая кожа. Мы оба белые, вы и я.

Никогда еще ни одна женщина не предлагала Смоку руку и сердце, и он не знал, как себя вести.

Впрочем, это было даже не предложение. В его согласии никто и не сомневался. Для Лабискви все это было так просто и ясно, такой нежностью лучились ее глаза, что Смоку оставалось только удивляться, почему она еще не обняла его и не склонилась головой ему на плечо. Потом он понял, что хотя она искренна и простодушна в своей любви, но нежные ласки влюбленных ей незнакомы. Первобытные дикари их не знают. Лабискви негде было этому научиться.

Она все лепетала, изливая любовь и радость, переполнявшую ее сердце, а Смок собирался с духом, — надо же как-нибудь открыть ей горькую правду… Казалось, желанный случай представился ему.

— Но послушайте, Лабискви, — начал он, — вы уверены, что Четырехглазый рассказал вам всю историю любви Паоло и Франчески?

Она всплеснула руками и радостно засмеялась:

— Это еще не все! Я так и знала, что это еще не все про любовь! Я много думала с тех пор, как зажгла свой костер. Я…

Но тут сквозь завесу падающего снега к костру шагнул Снасс — и удобный случай был упущен.

— Добрый вечер, — буркнул Снасс. — Ваш приятель натворил тут черт знает чего. Хорошо, что

хоть вы оказались умнее.

— Может, вы мне скажете, что случилось? — спросил Смок.

Зубы Снасса, удивительно белые по сравнению с прокопченной дымом костров бородой, блеснули в недоброй усмешке.

— Конечно, скажу, — ответил он. — Ваш приятель убил одного из моих людей. Это жалкое ничтожество Мак-Кен струсил при первом же выстреле. Больше он не удерет. Вашего приятеля ловят в горах мои охотники — и они его изловят. Юкона ему не видать. А вы теперь будете спать у моего костра и с охотниками больше не пойдете. Я сам буду приглядывать за вами.

VIII

Переселившись к костру Снасса, Смок попал в затруднительное положение. Теперь он гораздо больше виделся с Лабискви. Она ничуть не скрывала своей нежной, невинной любви, и это приводило его в ужас. Она смотрела на него влюбленными глазами, и каждый ее взгляд был лаской. Снова и снова он собирался с духом, чтобы сказать ей о Джой Гастелл, и всякий раз приходил к убеждению, что он просто трус. И что хуже всего, Лабискви так очаровательна! Нельзя

не любоваться ею… Каждая минута, проведенная с ней, заставляла его презирать себя — и все же как отрадны были эти минуты. Впервые перед ним раскрывалась женская душа — и так прозрачно-чиста была душа Лабискви, так поразительно наивна и невинна, что Смок видел ее до дна и читал в ней, как в раскрытой книге. Вся изначальная женская доброта была в Лабискви, с ее нетронутой душой, чуждой лжи и каких-либо условностей. Он вспомнил Шопенгауэра, которого читал когда-то, и ему стало ясно, что угрюмый философ глубоко заблуждался. Узнать женщину, как Смок узнал Лабискви, значило понять, что все женоненавистники — душевнобольные.

Лабискви была просто чудо, и однако рядом с ее лицом из плоти и крови неизменно вставало, точно огненное видение, лицо Джой Гастелл. Джой была всегда так сдержанна, так владела собой, она подчинялась всем запретам, какие навязала женщине цивилизация, но теперь воображение Смока награждало Джой Гастелл теми же сокровищами души, что открылись ему в Лабискви. Одна лишь возвышала другую, и все женщины всего мира возвысились в глазах Смока благодаря тому, что увидел он в душе Лабискви, в краю снегов, у костра Снасса.

Немало узнал он и о самом себе. Он вспомнил все, что знал о Джой Гастелл, и понял, что любит ее. А между тем ему так хорошо, так отрадно подле Лабискви. Что же это, если не любовь? Можно ли назвать это чувство иначе, не унизив его? Нет, это любовь. Конечно, любовь. Оказывается, он склонен к многоженству! Это открытие потрясло его до глубины души. Когда-то, живя среди сан-францисской богемы, он слышал разговоры о том, что мужчина может любить сразу двух, даже трех женщин. Тогда он этому не верил. И как мог бы он поверить, не испытав ничего подобного? Но теперь другое дело. Теперь он и впрямь любит сразу двух. И хотя его чувство к Джой Гастелл наверняка сильнее, в иные минуты он готов поклясться, что больше он любит Лабискви.

— На свете, должно быть, много женщин, — сказала она однажды. — И женщины любят мужчин. Вас, наверно, многие женщины любили. Расскажите мне о них.

Смок не ответил.

— Расскажите, — повторила она.

— Я никогда не был женат, — уклончиво ответил он.

— И у вас больше никого нет? Нет за горами другой Изольды?

Вот тут-то Смок и понял, что он трус. Он солгал. Против воли, но все же солгал. Он покачал головой, медленно, ласково улыбнулся — и сам не подозревал, сколько нежности отразилось на его лице, когда Лабискви вся просияла от счастья.

Он пытался оправдаться в собственных глазах, успокаивал себя заведомо лицемерными рассуждениями, но он и вправду был не настолько спартанец, чтобы безжалостно разбить сердце этой девочки.

Смущение Смока возрастало еще и из-за Снасса. Ничто не ускользало от черных глаз шотландца, и каждое слово его было исполнено значения.

— Кому приятно видеть свою дочь замужем? — говорил он Смоку. — Человек с воображением, во всяком случае, к этому не стремится. Это тяжело. Говорю вам, даже думать об этом горько. Но что ж, такова жизнь; Маргерит тоже должна когда-нибудь выйти замуж.

Наступило молчание, и Смок в сотый раз спрашивал себя, что же таится в прошлом Снасса.

— Я человек грубый, жестокий, — продолжал Снасс. — Но закон есть закон, и я справедлив. Мало того, здесь, среди этих первобытных людей, я и закон и судья. Никто не выйдет из моей воли. Притом я отец, и живое воображение всегда было

моим проклятием.

К чему велась эта речь, Смок так и не узнал, — ее прервали громкое ворчание и взрыв серебристого смеха, донесшиеся из палатки, где Лабискви играла с недавно пойманным волчонком. Лицо Снасса исказилось от боли.

— Ничего, я это переживу, — угрюмо пробормотал он. — Маргерит должна выйти замуж, и это счастье для меня и для нее, что здесь оказались вы. На Четырехглазого у меня было мало надежды. Мак-Кен был до того безнадежен, что я сплавил его индианке, которая зажигала свой костер двадцать лет подряд. Если бы не вы, пришлось бы выдать ее за индейца. Либаш мог бы стать отцом моих внуков!

В эту минуту из палатки с волчонком на руках показалась Лабискви и подошла к костру, чтобы посмотреть на того, к кому ее словно притягивало магнитом; глаза ее сияли любовью, которую ее никто не научил скрывать.

IX

— Слушайте, — сказал Мак-Кен. — Теперь весна, оттепель, снег покрывается настом. Самое время двинуться в путь, только вот в горах весной бывают снежные бури. Я их хорошо знаю. С другим

я бы не рискнул бежать, но с вами решаюсь.

— Где уж вам бежать, — возразил Смок. — Вы всякому будете только обузой. Какой вы мужчина, вы размякли, как кисель. Если уж я сбегу, так сбегу один. А пожалуй, и вовсе не сбегу, меня никуда не тянет. Оленина мне по вкусу, и лето уже недалеко, будем есть лососину.

— Ваш приятель умер, — сказал Снасс. — Мои охотники не убивали его. Они нашли его мертвым, он замерз в горах, его там застигли весенние метели. Отсюда никому не уйти. Когда мы отпразднуем вашу свадьбу?

А Лабискви сказала:

— Я смотрю и вижу — в лице и в глазах у вас тоска. Я так хорошо знаю ваше лицо! У вас на шее маленький шрам, под самым ухом. Когда вам хорошо, уголки рта у вас поднимаются вверх. А когда у вас печальные мысли, уголки опускаются вниз. Когда вы улыбаетесь, от глаз идут лучики — три, четыре. Когда смеетесь — шесть. Иногда бывает даже семь, я считала. А теперь нет ни одного. Я не читала книг. Я не умею читать. Но Четырехглазый меня многому научил. Я правильно говорю по-английски. Это он меня научил. Я видела и у него тоску в глазах, точно голод, — тоску по большому миру. Он часто тоско-

вал по тому миру. А ведь у нас он ел вдоволь мяса, и рыбы тогда было много, и ягод, и кореньев, и даже мука была, — нам ее часто приносят Дикобразы и Лусква в обмен на меха. А все-таки ему не хватало того, большого мира. Разве тот мир так хорош, что и вам его недостает? У Четырехглазого ничего не было. А у вас — я. — Она со вздохом покачала головой. — Четырехглазый и умирая тосковал. Может быть, если вы останетесь здесь навсегда, вас тоже убьет тоска по тому миру? Боюсь, что я совсем не знаю, какой он, тот мир. Хотите убежать туда?

Смок не в силах был ответить, лишь уголки его губ дрогнули — и она поняла.

Минуты проходили в молчании; видно было, что Лабискви борется с собой, и Смок проклинал себя за непонятную слабость: как мог он выдать ей свою тоску по свободе, по большому миру — и не сказать о своей любви к другой женщине!

И опять Лабискви вздохнула.

— Хорошо, — сказала она. — Я так люблю вас, что даже не боюсь отца, хотя в гневе он страшней, чем снежная буря в горах. Вы рассказали мне, что такое любовь. Это — испытание любви. Я помогу вам убежать отсюда и вернуться в большой мир.

X

Смок проснулся и лежал тихо, не шевелясь. Маленькая теплая рука скользнула по его щеке, мягко легла на губы. Потом мех, от которого так и веяло морозом, защекотал его лицо, и ему шепнули на ухо одно только слово:

— Идем.

Он осторожно сел и прислушался. Сотни собак по всему становищу уже завели свою ночную песню, но сквозь вой и лай Смок расслышал совсем близко негромкое, ровное дыхание Снасса.

Лабискви тихонько потянула его за рукав, и он понял, что надо следовать за ней. Он взял свои мокасины, шерстяные носки и в спальных мокасинах неслышно вышел наружу. У погасшего костра, при красноватом отсвете последних угольев, она знаком велела ему обуться, а сама опять скользнула в шатер, где спал Снасс.

Смок нащупал стрелки часов — был час ночи. Совсем тепло, подумал он, не больше десяти ниже нуля. Лабискви вернулась и повела его по темным тропинкам через спящее становище. Как ни осторожно они шли, снег все же поскрипывал под ногами, но этот звук тонул в стоголосой собачьей жалобе: псы самозабвенно выли, им было

не до того, чтобы залаять на проходивших мимо мужчину и женщину.

— Теперь можно и разговаривать, — сказала Лабискви, когда последний костер остался в полумиле позади.

Она повернулась к нему — и только сейчас, в слабом свете звезд, Смок заметил, что она идет не с пустыми руками; он дотронулся до ее ноши — тут были его лыжи, ружье, два пояса с патронами и меховые одеяла.

— Я обо всем позаботилась, — сказала она и радостно засмеялась. — Целых два дня я готовила тайник. Я снесла туда мясо, и муку, и спички, и узкие лыжи, на которых хорошо идти по насту, и плетеные лыжи, которые будут держать нас, даже когда снег станет совсем слабый. О, я умею прокладывать тропу, мы пойдем быстро, любимый.

Слова замерли на губах Смока. Удивительно уже то, что она помогла ему бежать, но что она и сама пойдет с ним, этого он никак не ожидал. Растерянный, не зная, как быть дальше, он мягко отнял у нее ношу. Потом, все еще не в силах собраться с мыслями, одной рукой обнял девушку и притянул к себе.

— Бог добрый, — прошептала Лабискви. — Он послал мне возлюбленного.

У Смока хватило мужества промолчать о том, что он хотел бы уйти один. Но прежде чем он вновь обрел дар речи, образы далекого, многоцветного мира, дальних солнечных стран вспыхнули в его памяти, мелькнули и померкли.

— Вернемся, Лабискви, — сказал он. — Ты станешь моей женой, и мы всегда будем жить с Оленьим народом.

— Нет, нет! — Она покачала головой и вся протестующе выпрямилась в кольце его рук. — Я знаю. Я много думала. Тоска по большому миру измучит тебя, долгими ночами она будет терзать твое сердце. Она убила Четырехглазого. Она убьет и тебя. Всех, кто приходит сюда из большого мира, грызет тоска. А я не хочу, чтобы ты умер. Мы пойдем на юг и проберемся через снежные горы.

— Послушай меня, дорогая, — уговаривал он, — вернемся!

Она прижала руку в рукавице к его губам, не давая ему продолжать.

— Ты любишь меня? Скажи, любишь?

— Люблю, Лабискви. Ты моя любимая.

И снова ее рука ласково зажала ему рот.

— Идем к тайнику, — решительно сказала Лабискви. — До него еще три мили. Идем.

Смок не трогался с места, она потянула его за

руку, но не могла сдвинуть. Он уже готов был сказать ей, что там, на юге, его ждет другая…

— Нельзя тебе возвращаться, — заговорила Лабискви. — Я… я только дикарка, я боюсь того большого мира, но еще больше я боюсь за тебя. Видишь, все так и есть, как ты мне говорил. Я тебя люблю больше всех на свете. Люблю больше, чем себя. Нет таких слов в индейском языке, чтобы сказать об этом. Нет таких слов в английском языке. Все помыслы моего сердца — о тебе, они яркие, как звезды, и им нет числа, как звездам, и нет таких слов, чтобы о них рассказать. Как я расскажу тебе, что в моем сердце? Вот смотри!

Она взяла его руку и, сняв с нее рукавицу, притянула к себе, под теплый мех парки, прижала к самому сердцу. В долгом молчании Смок слышал, чувствовал, как бьется ее сердце, и знал, что каждый удар этого сердца — любовь. А потом медленно, едва заметно, все еще держа его за руку, она отстранилась, шагнула. Она вела его к тайнику — и он не мог ей противиться. Казалось, это ее сердце ведет его — сердце, которое бьется вот здесь, в его руке.

XI

Подтаявший накануне снег за ночь прихватило морозом, и лыжи легко, быстро скользили по прочному насту.

— Вот сейчас за деревьями будет тайник, — сказала Смоку Лабискви.

И вдруг она схватила его за руку, вздрогнув от испуга и изумления. Среди деревьев плясало веселое пламя небольшого костра, а перед ним сидел Мак-Кен. Лабискви что-то сказала сквозь зубы по-индейски, — это прозвучало как удар хлыста, и Смок вспомнил, что Четырехглазый называл ее гепардом.

— Недаром я опасался, что вы сбежите без меня, — сказал Мак-Кен, когда Смок и Лабискви подошли ближе, и его колючие хитрые глаза блеснули. — Но я следил за девушкой, и, когда она припрятала тут лыжи и еду, я тоже собрался в дорогу. Я захватил для себя и лыжи и еду. Костер? Не бойтесь, это не опасно. В становище все спят как убитые, а без огня я бы тут замерз, дожидаясь вас. Сейчас и пойдем?

Лабискви испуганно вскинула глаза на Смока и, тотчас приняв решение, заговорила. В своем чувстве к Смоку она была совсем девочкой, но те-

перь она говорила твердо, как человек, который ни от кого не ждет совета и поддержки.

— Ты собака, Мак-Кен, — процедила она сквозь зубы, с яростью глядя на него. — Я знаю, что ты задумал: если мы не возьмем тебя, ты поднимешь на ноги все становище. Что ж, хорошо. Придется тебя взять. Но ты знаешь моего отца. Я такая же, как он. Ты будешь работать наравне с нами. И будешь делать то, что тебе скажут. И если попробуешь устроить какую-нибудь подлость — знай, ты пожалеешь, что пошел.

Мак-Кен посмотрел на нее, и в его свиных глазках мелькнули страх и ненависть, а в глазах Лабискви, обращенных к Смоку, гнев сменился лучистой нежностью.

— Я правильно ему сказала? — спросила она.

Рассвет застал их в предгорьях, отделявших равнину, где обитало племя Снасса, от высоких гор. Мак-Кен намекнул, что пора бы и позавтракать, но они не стали его слушать. Поесть можно и позже, среди дня, когда наст подтает на солнце и нельзя будет идти дальше.

Горы становились все круче, и замерзший ручей, вдоль которого они шли, вел их по все более глубоким ущельям. Здесь не так заметно было наступление весны, хотя в одном из ущелий из-под

льда уже выбивалась вольная струя и дважды они замечали на ветвях карликовой ивы первые набухающие почки.

Лабиксви рассказывала Смоку, по каким местам им предстоит идти и как она рассчитывает сбить и запутать погоню. Есть только два выхода из Оленьей страны — на запад и на юг. Снасс немедля вышлет молодых охотников сторожить обе эти дороги. Но к югу ведет еще одна тропа. Правда, на полпути, среди высоких гор, она сворачивает на запад, пересекает три горных гряды и сливается с главной южной дорогой. Не обнаружив там, на главной дороге, следов, погоня повернет назад в уверенности, что беглецы направились на запад; никто не заподозрит, что они осмелились избрать более долгий и трудный кружной путь.

Взглянув через плечо на Мак-Кена, шедшего последним, Лабиксви сказала негромко:

— Он ест. Нехорошо.

Смок оглянулся. Ирландец набил карманы оленьим салом и теперь исподтишка жевал на ходу.

— Есть будете только на привале, Мак-Кен, — приказал Смок. — Впереди никакой дичи не будет, всю еду надо с самого начала делить поровну. Ведите себя честно, иначе вы нам не

попутчик.

К часу дня наст сильно подтаял, и узкие лыжи стали проваливаться, а еще через час не держали уже и широкие плетеные лыжи. Впервые путники сделали привал и поели. Смок подсчитал запасы съестного. Оказалось, что Мак-Кен захватил с собой совсем мало еды. Его мешок был набит шкурками черно-бурой лисы, и для остального почти уже не оставалось места.

— Я просто не знал, что их так много, — объяснил он. — Я собирался в темноте. Зато они стоят больших денег. Оружие у нас есть, патронов много, набьем дичи — это сколько угодно.

— Волки тебя слопают, это сколько угодно, — с досадой сказал Смок, а глаза Лабискви гневно вспыхнули.

Вдвоем они рассчитали, что провизии хватит на месяц, если строго экономить и не наедаться досыта. Лабискви потребовала, чтобы и ей дали нести часть груза; после долгих споров Смок сдался и разделил всю поклажу на три части, строго определив величину и тяжесть каждого тюка.

На другой день ручей вывел их в широкую горную долину; здесь наст уже сильно подтаял, и они с большим трудом, то и дело проваливаясь, добрались наконец до склона новой горы, где под

ногами была более твердая ледяная корка.

— Еще десять минут — и нам бы не перейти равнину, — сказал Смок, когда они остановились передохнуть на обнаженной вершине. — Теперь мы поднялись, должно быть, на тысячу футов.

Но тут Лабискви молча показала вниз, на равнину. Меж деревьев, рассеявшись редкой цепью, темнели пять точек. Они почти не двигались.

— Это молодые охотники, — сказала она.

— Они проваливаются чуть не по пояс, — сказал Смок. — Сегодня им уже не выбраться на твердую дорогу. Мы опередим их на несколько часов. Идемте, Мак-Кен. Да побыстрей. Есть будем, когда уже нельзя будет идти дальше.

Мак-Кен тяжело вздохнул, но в кармане у него уже не было оленьего сала, и он побрел за ними, упорно держась позади.

Они опять шли долиной, но уже значительно выше; здесь солнце растопило наст только к трем часам пополудни, а к этому времени им удалось войти в отбрасываемую горой тень, где снег уже снова подмерзал. Лишь раз они приостановились, достали оленье сало, отобранное у Мак-Кена, и съели его на ходу. Промерзшее мясо затвердело, как камень, его нельзя было есть, не разогрев на огне, а сало крошилось во рту и кое-как утоляло

мучительный голод.

Только в девять часов, когда кончились долгие сумерки и под пасмурным небом воцарилась непроглядная темень, они сделали привал в рощице карликовых елей. Мак-Кен ныл и жаловался. Девять лет жизни за Полярным кругом ничему его не научили, по дороге он наглотался снега, и теперь, кроме усталости после дневного перехода, его еще мучила жажда и во рту жгло как огнем. Прикорнув у костра, он стонал и охал, пока Смок с Лабискви разбивали лагерь.

Лабискви была неутомима, Смок только дивился ее живости и выносливости, силе ее духа и тела. Бодрость ее не была напускной. Всякий раз, встретясь с ним глазами, она улыбалась ему и, случайно коснувшись его руки, медлила отнять свою. Но стоило ей взглянуть на Мак-Кена, как лицо ее становилось жестоким, беспощадным и глаза сверкали ледяным, недобрым блеском.

Ночью поднялся ветер, повалил снег; весь день они шли, ослепленные метелью, не разбирая дороги, и не заметили ручейка, по руслу которого надо было свернуть на запад и выйти к перевалу. Еще два дня плутали они по горам то вверх, то вниз, и наконец весна осталась позади — здесь, наверху, все еще властвовала зима.

— Теперь охотники потеряли наш след, почему бы нам не отдохнуть денек? — упрашивал Мак-Кен.

Но отдыха нельзя было себе позволить. Смок и Лабискви хорошо сознавали опасность. Они заблудились высоко в горах, где не видно было никакого следа и признака дичи. День за днем пробирались они в холодном каменном хаосе, в лабиринте ущелий и долин, которые почти никогда не приводили на запад. Попав в такое ущелье, они вынуждены были идти до конца: по обе стороны вздымались обледенелые вершины и отвесные скалы, грозные и неприступные. Нечеловечески тяжел был их путь, холод отнимал силы, и все же пришлось еще уменьшить дневную порцию пищи.

Однажды ночью Смока разбудил шум борьбы. В той стороне спал Мак-Кен, и слышно было, как он хрипит и задыхается. Смок ногой разворошил костер, и вспыхнувшее пламя осветило Лабискви: схватив ирландца за горло, она пыталась вырвать у него изо рта кусок мяса. Смок увидел, как рука Лабискви метнулась к бедру и в ней блеснуло лезвие ножа.

— Лабискви! — властно позвал он.

Ее рука застыла в воздухе.

— Не надо, — сказал он, подойдя к ней.

Дрожа от гнева, она помедлила еще мгновение, потом рука ее нехотя опустилась и вложила нож в ножны. Словно опасаясь, что не совладает с собой, она отошла к костру и подбросила хворосту в огонь. Мак-Кен сел и, раздираемый страхом и яростью, плаксиво и злобно забормотал в свое оправдание что-то невнятное.

— Где вы взяли мясо? — спросил Смок.

— Обыщи его, — сказала Лабисквы.

Это были ее первые слова, голос ее прерывался от гнева, она с трудом сдерживала себя.

Мак-Кен пытался отбиваться, но Смок взял его железной хваткой, обыскал и вытащил кусок оленины — Мак-Кен запрятал его под мышкой, чтобы отогреть. Тут внезапный вскрик Лабисквы заставил его оглянуться. Она бросилась к мешку Мак-Кена и развязала его. Вместо мяса из мешка посыпались мох, хвоя, щепки, — всю эту дрянь он напихал туда, чтобы его изрядно полегчавшая ноша сохраняла прежний вид и размеры.

Лабисквы вновь схватилась за нож и кинулась на вора, но Смок удержал ее, и она поникла в его объятиях, всхлипывая от бессильной ярости.

— Любимый мой, я ведь не из-за еды! — задыхаясь, говорила она. — Я о тебе, это твоя жизнь.

Собака! Это он тебя, тебя пожирает!

— Ничего, мы еще поживем, — успокаивал ее Смок. — Теперь он понесет муку. Не станет же он есть ее сырой, а если попробует, я сам его убью, потому что он пожирает и твою жизнь, не только мою. — Он притянул Лабискви к себе. — Родная, убийство оставь мужчинам. Убивать — не женское дело.

— Ты бы не стал меня любить, если б я убила этого пса? — удивилась она.

— Любил бы не так сильно, — уклончиво ответил Смок.

Лабискви вздохнула.

— Хорошо, — покорно сказала она, — я его не убью.

XII

Охотники неутомимо преследовали их. Они прекрасно знали эти места, к тому же им сопутствовала удача; раз напав на занесенный метелью след, они его уже не упускали. Когда выпадал снег, Смок и Лабискви всячески старались сбить преследователей с толку, поворачивали на восток, хотя перед ними была дорога на юг или на запад, карабкались на высокую гору, когда можно было выбрать не такой крутой подъем.

Не все ли равно, ведь они уже заблудились. Но им не удавалось избавиться от погони. Иной раз они день-два не видели индейцев, но всякий раз молодые охотники Снасса появлялись опять. После снегопада, когда заметало все следы, они кидались в разные стороны, как стая гончих, и тот, кто первым вновь нападал на след, зажигал костер, дымом подавая знак товарищам.

Смок потерял счет времени, дням и ночам, метелям и привалам. Это был долгий, беспросветный кошмар, полный мук и тяжкого труда, и все же они шли вперед и вперед, и Мак-Кен, спотыкаясь, плелся позади, бормоча что-то о Сан-Франциско, заветной своей мечте. Они шли — и гигантские остроконечные вершины, суровые и невозмутимые, вставали над ними, уходя в ледяную синеву небес. Они то скользили по мрачным ущельям, среди отвесных скал, где на крутизне даже снег не держался, то пробирались оледенелыми долинами, по насквозь промерзшим озерам. Однажды ночью, в короткую передышку между двумя снежными бурями, они увидали в небе огненный отсвет далекого вулкана. Никогда больше они его не видели и даже спрашивали себя, не померещилось ли им в тот раз.

Наст заносило толстым слоем рыхлого снега,

потом снег покрывался ледяной коркой, и ее вновь заносило снегом. Местами, в глубоких ущельях и долинах, они шли по толще снега во много сотен футов, а местами, в узких расселинах, где дуло, как в трубе, пересекали небольшие ледники, подметенные ветром начисто, до последней снежинки. Точно безмолвные призраки, они проползали по нависшим снеговым глыбам, готовым каждую секунду обрушиться лавиной, или просыпались среди ночи от грохота обвалов. На высотах, где уже не было ни леса, ни кустарника, они не могли развести огонь на привале, — надо было теплом собственного тела отогревать промороженное мясо, чтобы поесть. И все время Лабискви оставалась верна себе. Она была неизменно бодра и весела, только на Мак-Кена глядела без улыбки, и ни холод, ни оцепенение безмерной усталости не могли заглушить ее любви к Смоку.

Зорче кошки следила она за распределением их скудных припасов, и Смок видел, что каждый глоток Мак-Кена выводит ее из себя. Однажды она сама взялась делить еду, и тотчас Мак-Кен разразился неистовыми протестами: не только ему, но и себе она положила гораздо меньше, чем Смоку. После этого Смок всегда сам делил еду.

Как-то всю ночь шел снег, и наутро небольшая лавина снесла их на сто ярдов по склону горы; они выбрались из-под снега задохнувшиеся, но невредимые. Однако при этом потерялся мешок Мак-Кена, где была вся их мука. Тотчас второй обвал похоронил этот мешок под снегом уже навсегда. И хоть беда случилась не по вине Мак-Кена, Лабискви с тех пор даже не смотрела в его сторону; Смок понимал, что она боится не совладать с собой.

XIII

Стояло утро, вокруг была какая-то особенная, ничем не нарушаемая тишина, синело над головой безоблачное небо, ослепительно сверкал под солнцем снег. Они брели вверх по обледенелому откосу, которому не было ни конца, ни края, — брели медленно, точно усталые тени в этом ледяном, безжизненном мире. Ни звука, ни ветерка, все вокруг застыло и замерло. За сотни миль на горизонте вставал зубчатый хребет Скалистых гор с острыми вершинами, видными так отчетливо, словно до них было каких-нибудь пять миль.

— Что-то будет… — прошептала Лабискви. — Ты чувствуешь? Что-то надвигается… Смотри, все

так странно вокруг!

— Меня пробирает дрожь, — ответил Смок, — но это не от холода. И не от голода.

— Дрожь в мозгу, в сердце! — подхватила Лабискви. — Вот и у меня тоже.

— Нет, это не внутри, — определил Смок. — Как будто покалывает тонкими ледяными иглами. Я чувствую это всей кожей, каждым нервом.

Минут через пятнадцать они остановились передохнуть.

— Дальних гор больше не видно, — сказал Смок.

— Воздух какой-то густой, тяжелый, — сказала Лабискви. — Дышать тяжело…

— Три солнца! — хрипло пробормотал Мак-Кен, зашатался и крепче стиснул палку, чтобы не упасть.

Два ложных солнца появились по обе стороны настоящего.

— Пять, — сказала Лабискви.

Они стояли и смотрели, и все новые солнца вспыхивали у них перед глазами.

— Господи, да их не сосчитать! — в страхе крикнул Мак-Кен.

И правда — куда ни глянь, полнеба пылало и сверкало слепящими вспышками все новых

солнц.

Вдруг Мак-Кен издал пронзительный вопль изумления и боли.

— Жжет! — крикнул он и снова взвыл от боли.

Потом вскрикнула и Лабискви, и Смоку словно вонзилась в лицо ледяная игла, его обожгло, точно кислотой. Он вспомнил, как когда-то, купаясь в море, ожегся о ядовитые стрекала медузы-сифонофоры. Ощущение было настолько сходное, что он машинально провел рукой по щеке, пытаясь отбросить жгучие нити. Внезапно раздался до странности глухой выстрел. Внизу под откосом стояли на лыжах молодые индейцы и один за другим стреляли по беглецам.

— Разойдемся! — крикнул Смок. — Лезьте вверх, в этом спасение! Мы уже почти на вершине. Они на четверть мили ниже нас, сейчас мы перевалим, пойдем под гору и далеко их опередим!

Все трое кинулись врассыпную и изо всех сил стали карабкаться вверх по снежному откосу. Невидимые воздушные жала кололи и жгли им лица. Приглушенные выстрелы странно отдавались в ушах.

— Слава богу, — задыхаясь, проговорил Смок, — у четверых из них мушкеты, только у одного винчестер. И все эти солнца не дают им целиться.

Они никак не рассчитают. Мажут на добрых сто футов.

— Видишь, отец вне себя, — отозвалась Лабискви. — Он приказал нас убить.

— Как странно, — сказал Смок, — твой голос звучит как будто очень издалека.

— Закрой рот! — крикнула вдруг Лабискви. — Не говори, молчи! Я знаю, что это. Закрой рот рукавом, вот так, и молчи.

Мак-Кен упал первым и через силу поднялся. И потом все они падали вновь и вновь, пока не добрались до вершины. Они не могли понять, почему руки и ноги не повинуются им, все тело онемело, движения стали медленными, тяжелыми. Достигнув вершины, они оглянулись и увидели, что индейцы, поминутно спотыкаясь и падая, карабкаются вслед за ними.

— Им не дойти сюда, — сказала Лабискви. — Это белая смерть. Я ее никогда не видела, но я знаю. О ней рассказывали старики. Скоро поднимется туман — не такой, как все туманы, как бывает вечером, или перед рассветом, или в сильный мороз. Мало кто видел его и остался в живых.

Мак-Кен начал задыхаться и хватать ртом воздух.

— Закройте рот! — прикрикнул на него Смок.

Слепящий свет залил все вокруг, и Смок опять поднял глаза к бесчисленным солнцам. Они мерцали, затуманивались. В воздухе плясали мельчайшие огненные искры. Вершины гор, даже самые близкие, исчезли в этом странном и страшном тумане, и молодые индейцы, все еще упрямо пробивавшиеся вверх, к беглецам, утонули в нем. Мак-Кен опустился в снег, сел на корточки и закрыл лицо руками.

— Вставайте, пойдем, — приказал Смок.

— Не могу, — простонал Мак-Кен.

Согнувшись в три погибели, он раскачивался из стороны в сторону. Смок направился к нему, медленно, с трудом, огромным усилием воли преодолевая оцепенение, сковавшее каждый мускул. Он отметил, что мысли его ясны. Только тело словно поражено непонятным недугом.

— Оставь его, — сердито пробормотала Лабискви.

Но Смок упорствовал; он поднял ирландца на ноги и повернул лицом к склону, по которому им предстояло спуститься. Потом подтолкнул его, и Мак-Кен, то правя, то притормаживая своей палкой, понесся на лыжах вниз и скрылся в сиянии алмазной пыли.

Смок посмотрел на Лабискви, и она улыбнулась

ему, хотя еле стояла на ногах. Он кивнул ей, давая знак спускаться, но она подошла ближе — и почти рядом, в каком-нибудь десятке футов друг от друга, они одновременно помчались вниз сквозь жгучее и жалящее холодное пламя.

Как ни тормозил Смок, он был много тяжелее Лабискви и потому, опередив ее, понесся под гору с ужасающей быстротой; ему удалось задержаться лишь далеко внизу, на ровном оледенелом плоскогорье. Здесь он дождался Лабискви, и они пошли рядом; шли все медленнее и наконец уже еле передвигали ноги. Оцепенение все больше овладевало ими, и, несмотря на отчаянные усилия, они ползли, как улитки. Они прошли мимо Мак-Кена, который опять скорчился на снегу, не сняв лыж, и Смок на ходу палкой заставил его подняться.

— Нужно остановиться, — с трудом прошептала Лабискви, — иначе мы умрем. Нужно укрыться, так говорят старики.

Она не стала развязывать узлы, а для скорости перерезала ремни, стягивавшие мешок. Смок тоже разрезал ремни своего мешка, и, в последний раз взглянув на смертоносный огненный туман и на бесчисленные солнца, они завернулись с головой в свои одеяла и крепко обнялись. Потом

кто-то натолкнулся на них и упал, они услышали всхлипывания, брань, оборвавшуюся отчаянным, раздирающим кашлем, и поняли, что рядом свалился Мак-Кен.

Потом и их стало мучить удушье, внезапные, неудержимые приступы сухого кашля раздирали грудь, сотрясали все тело. Смок почувствовал, что у него начинается жар, Лабискви тоже лихорадило все сильнее. Чем дальше, тем чаще и мучительней становились припадки кашля, и только под вечер худшее миновало. Понемногу дышать становилось легче, и в промежутках между приступами они засыпали, обессиленные.

А Мак-Кен кашлял все громче, надрывнее, они слышали его стоны и вопли и поняли, что он без сознания. Один раз Смок попытался сбросить с себя мех, но Лабискви обхватила его обеими руками.

— Нет, нет! — умоляла она. — Нельзя раскрываться, это смерть. Лежи вот так, прислонись ко мне лицом и дыши медленно, тихо, вот так, как я, и молчи.

Они дремали, лежа в темноте, приступы кашля слабели, и все же всякий раз они кашлем будили друг друга. Уже за полночь, по расчетам Смока, Мак-Кен раскашлялся в последний раз. Потом он

начал стонать — глухо, непрерывно, как больное животное.

Смок проснулся от того, что губы Лабискви коснулись его губ. Ее руки обвивали его, голова его лежала у нее на груди. Голос Лабискви звучал весело и звонко, как всегда, в нем больше не было глухих, незнакомых нот.

— Вот уже и день, — сказала она, приподнимая мех, закрывавший их лица. — Смотри, любимый, вот уже и день. И мы с тобой живы и не кашляем больше. Давай встанем, посмотрим, что делается вокруг, хотя я могла бы остаться так с тобой на веки вечные. Этот последний час мне было так хорошо. Я не спала и смотрела на тебя, я так тебя люблю.

— Мак-Кена совсем не слышно, — сказал Смок. — А что случилось с охотниками, почему они не нашли нас?

Он откинул мех, огляделся и увидел в небе лишь одно, самое обыкновенное солнце. Дул легкий ветерок, еще прохладный, но обещавший в недалеком будущем теплые дни. Весь мир снова стал простым и обычным. Мак-Кен лежал навзничь, его немытое, почерневшее от дыма костров лицо окоченело, застыло, как мрамор. Лабискви это зрелище ничуть не взволновало.

— Посмотри! — воскликнула она. — Овсянка. Это добрый знак.

Погони нигде не было видно — молодые индейцы либо погибли там, за перевалом, либо повернули назад.

XIV

Еды у них оставалось совсем мало, они не смели съесть и десятой доли того, что им было необходимо, сотой доли того, что хотелось съесть; много дней блуждали они по скалистой пустыне, отупевшие, полуживые, точно во сне. Порой Смок ловил себя на том, что лепечет что-то бессмысленное и несвязное, уставясь на нескончаемые, ненавистные снежные вершины. И снова — казалось, через века — он приходил в себя от звука собственного голоса, бормотавшего что-то. Лабискви тоже почти все время была как в бреду. Они двигались машинально, ничего не сознавая. И все время они стремились на запад, и все время покрытые снегом неприступные вершины преграждали им путь, сплошные каменные стены вставали наперерез, заставляя сворачивать то к северу, то к югу.

— На юге выхода нет, — говорила Лабискви. — Старики знают. Надо идти на запад, только на

запад.

Охотники Снасса больше не преследовали их, но голод гнался за ними по пятам.

Однажды вновь похолодало, повалил снег, даже не снег, а какая-то морозная пыль, сухая и сыпучая, как песок. Так продолжалось весь день и всю ночь и еще два дня и две ночи. Нельзя было и шагу ступить, пока на весеннем солнце этот сыпучий покров не подтает и не подернется за ночь настом, — они лежали, закутавшись в меха, и отдыхали, и поэтому ели еще меньше, чем всегда. Так ничтожно мала была теперь дневная порция съестного, что она не успокаивала муки голода, терзавшие желудок, а еще больше мозг. И вот Лабискви, разом проглотив свою обычную долю — крохотный кусочек мяса, — вдруг с пронзительным радостным вскриком, всхлипывая и лепеча что-то, как зверек, накинулась на завтрашнюю порцию и жадно впилась в нее зубами.

И тут Смок увидел нечто поразительное. Вкус мяса привел Лабискви в себя. Она выплюнула жалкий кусочек мяса и яростно, изо всей силы ударила стиснутым кулаком по своим согрешившим губам.

И еще много удивительного дано было Смоку

увидеть в те дни. После долгого снегопада поднялся вихрь, подхватил сухие, мелкие снежинки и закружил их, как самум кружит песок в пустыне. Всю ночь бушевала эта снежная буря; потом настал ясный, ветреный день, и при свете его Смок огляделся; на глаза его навертывались слезы, голова кружилась, и ему казалось, что он спит или грезит. Со всех сторон высились остроконечные пики, громадные и поменьше, то одинокие, как часовой, то по несколько сразу, точно титаны, которые сошлись на совет. И над каждой горной вершиной реяли, развевались на многие мили, полыхали в лазурном небе гигантские снежные знамена, молочно-белые, туманные, переливающиеся светом и тенями, пронизанные серебром солнечных лучей.

— «Я ныне Господа узрел, грядущего во славе», — запел Смок, глядя на эти полотнища снежной пыли, развеваемые ветром, точно шелковые небесные стяги, излучающие свет.

Он смотрел и смотрел, а увенчанные знаменами снежные вершины не исчезали, и все же ему казалось, что это только сон, но тут Лабискви поднялась и присела.

— Я сплю и вижу сны, Лабискви, — сказал он. — Посмотри. Может быть, и тебе снится тот же сон?

— Это не сон, — ответила она. — Старики рассказывали мне и об этом. Значит, скоро подует теплый ветер и мы не погибнем, мы пойдем на запад — и дойдем.

XV

Смок застрелил овсянку, и они разделили ее.

Потом в долине, среди ив, на которых, хоть они и стояли в снегу, уже набухали почки, он подстрелил зайца. И наконец однажды он убил тощую белую ласку. Но больше дичи им не попадалось — ни одного живого существа, только раз высоко над головой они увидали стаю диких уток, летящих на запад, на Юкон.

— Ниже, в долинах, уже лето, — сказала Лабискви. — Скоро лето настанет и здесь.

Лицо ее исхудало, но большие, сияющие глаза стали еще больше, сияли еще ярче, и вся она светлела при одном взгляде на Смока, поражая его какой-то дикой, неземной красотой.

Дни становились длиннее, снег начал оседать. Каждый день покрывавшая его ледяная корка таяла, каждую ночь его вновь схватывало морозом; беглецам приходилось пускаться в путь с рассветом и идти до поздней ночи, а среди дня, когда подтаявший наст проваливался, не

выдерживая их тяжести, делать привал. Смока временно поразила снежная слепота, и Лабиски-ви, обвязавшись ремнем вокруг талии, повела его за собой, точно на буксире. А когда она сама ослепла от сверкающего снега, уже он повел ее за собой, обвязавшись ремнем. Полумертвые от голода, они все глубже погружались в какой-то сон наяву и все шли и шли по этой воскресающей после зимы, но пустынной земле, где они были единственными живыми существами.

Как ни изнурен был Смок, он теперь засыпал со страхом, — горькие и страшные сны преследовали его в этом безумном сумеречном краю. Вечно ему снилась еда, вечно она была перед ним, у самых губ, — и в последний миг коварный властитель снов отнимал ее у него. Он задавал обеды своим старым сан-францисским друзьям и сам жадно и нетерпеливо следил за всеми приготовлениями, сам украшал стол гроздьями винограда с багряными осенними листьями. Гости запаздывали, и, пока он здоровался с ними, смеялся, отвечал шутками на шутки, его терзало одно желание — скорее сесть за стол. И вот он крадется к столу, никем не замеченный, хватает пригоршню черных спелых маслин — и, обернувшись, видит перед собой нового гостя. Остальные

окружают его, и снова смех, шутки, остроты, и все время его сводит с ума мысль о спелых маслинах, которые он зажал в кулаке.

Он давал немало таких обедов и всякий раз оставался ни с чем. Он посещал пиршества, достойные Гаргантюа, где толпы гостей поедали без счета целые туши зажаренных быков, выхватывая их из огромных жаровен и острыми ножами отрезая сочные ломти дымящегося мяса. Он стоял, разинув рот, и смотрел снизу вверх на длинные ряды индеек, — их продавали лавочники в белых фартуках. И все покупали их, кроме Смока, а он никак не мог перейти оживленную, людную улицу и все стоял, как прикованный, и смотрел разинув рот. Вот он снова ребенок, он сидит на слишком высоком стуле, размахивая ложкой, а перед ним в больших мисках — молоко и хлеб, и ему никак до них не дотянуться. То он гнался по горным пастбищам за пугливыми телками и долгие века мучился в тщетном усилии поживиться молоком, то в зловонных подземельях дрался с крысами за объедки и отбросы. Любая пища сводила его с ума, он бродил по просторным конюшням, где на целые мили тянулись стойла, в них стояли откормленные кони, и он искал, где же ведра и кормушки, куда им насыпают отруби

и овес, — искал и не находил.

Только один-единственный раз сон не обманул его. Он спасся после кораблекрушения, или, быть может, его высадили на необитаемый остров, и вот, изголодавшийся, он борется с грозным тихоокеанским прибоем, отдирает от скал двустворчатые раковины и тащит их на отмель, где вдоволь сухих водорослей, выброшенных волнами. Он разводит костер и кладет свою драгоценную добычу на уголья. Из раковин бьет пар, створки раскрываются, видна мякоть, розовая, точно лососина. Теперь они готовы, и здесь некому выхватить кусок у него изо рта. Наконец-то, думает он сквозь сон, наконец-то сон сбывается. На этот раз он поест. Он был так уверен в этом — и все же сомневался и уже готов был к неминуемому разочарованию: вот сейчас видение исчезнет… Но наконец нежно-розовая мякоть, горячая, сочная, у него во рту. Он вонзил в нее зубы. Он ест! Чудо совершилось! Это разбудило его. Он проснулся во мраке, лежа на спине, и услышал, что бормочет, и взвизгивает, и мычит от радости. Челюсти его двигались, он жевал, во рту у него было мясо. Он не шевельнулся, и скоро тонкие пальцы дотронулись до его губ и в рот ему проскользнул новый крохотный кусочек мяса.

Но теперь он не стал есть — и больше от этого, чем от того, что он рассердился, горько заплакала Лабискви и еще долго всхлипывала в его объятиях, пока наконец не уснула. А он лежал без сна, изумляясь, как чуду, силе женской любви и величию женской души.

И вот кончились их последние припасы. Неприступные вершины остались позади, уже не так круты были невысокие перевалы, наконец-то открывался передними путь на запад. Но и силы их пришли к концу, еды не осталось ни крошки, и однажды, проснувшись поутру, они не смогли встать. Смок кое-как поднялся на ноги, упал — и уже ползком, на четвереньках стал разводить костер. Но все попытки Лабискви оказались тщетными, — всякий раз она снова падала, совсем обессиленная. Смок упал подле нее, слабая усмешка тронула его губы, — зачем же он, как заведенный, старается разжечь никому не нужный костер? Готовить нечего и греться не надо — тепло. Ласковый ветерок вздыхает в ветвях елей, и отовсюду из-под исчезающего на глазах снега доносится звон и пение невидимых ручейков.

Лабискви лежала неподвижно, почти без дыхания, и минутами Смоку казалось, что она уже мертва. К концу дня его разбудило беличье

цоканье. Волоча за собой тяжелое ружье, он потащился по талому, размякшему снегу. Он то полз на четвереньках, то вставал и, шагнув к белке, падал и растягивался во всю длину, а белка сердито цокала и неторопливо, словно дразня, уходила от него. У него не было сил быстро вскинуть ружье и выстрелить, а белка ни минуты не сидела спокойно. Не раз Смок падал в снежную слякоть и плакал от слабости. И не раз огонек жизни готов был угаснуть в нем и на него обрушивалась тьма. Он не знал, сколько времени пролежал в обмороке в последний раз, но когда очнулся, был уже вечер, он весь продрог, и мокрая одежда, заледенев на нем, примерзла к насту. Белка исчезла, и, усталый, измученный, он все же кое-как приполз назад к Лабискви. Он так ослабел, что проспал всю ночь мертвым сном и никакие сновидения не тревожили его.

Солнце уже поднялось, все та же белка стрекотала в ветвях, когда он проснулся от того, что рука Лабискви коснулась его щеки.

— Положи руку мне на сердце, любимый, — сказала она ясным, но еле слышным голосом, прозвучавшим словно издалека. — В моем сердце — любовь, моя любовь в твоей руке.

Казалось, прошли часы, прежде чем она снова

заговорила:

— Помни, на юг дороги нет. Олений народ хорошо это знает. Иди на запад… там выход… ты почти дошел… ты дойдешь…

Смок забылся сном, похожим на смерть, но еще раз Лабискви разбудила его.

— Поцелуй меня, — сказала она. — Поцелуй, и я умру.

— Мы умрем вместе, любимая, — ответил он.

— Нет! — Чуть заметным, бессильным движением руки она заставила его замолчать.

Слабый голос ее звучал едва слышно, и все же Смок расслышал каждое слово. С трудом дотянувшись до капюшона своей парки, она вытащила из его складок небольшой мешочек и вложила ему в руку.

— А теперь поцелуй меня, любимый. Поцелуй меня и положи руку мне на сердце.

Он прижался губами к ее губам, и снова тьма нахлынула на него, а когда сознание вернулось, он понял, что теперь он один и скоро умрет. И устало обрадовался тому, что скоро умрет.

Он ощутил под рукой мешочек и, мысленно посмеиваясь над своим любопытством, потянул завязки. Из мешочка посыпались крохи съестного. Он узнал каждую крошку, каждый

кусочек — все это Лабискви украла сама у себя. Тут были остатки лепешек, припрятанные давным-давно, когда еще Мак-Кен не потерял мешка с мукой; надкусанные ломтики и обрезки оленьего мяса и крошки оленьего сала; задняя нога зайца, даже не тронутая; задняя ножка белой ласки и часть передней ножки; лапка овсянки и ее крылышко, которое Лабискви надкусила, но не стала есть… жалкие огрызки, трагические жертвоприношения: она отдавала свою жизнь, эти крохи отнимала у нее, терзаемой голодом, безмерная любовь.

С безумным смехом он отбросил все это на лед и снова забылся.

Ему приснился сон. Юкон пересох. Он бродил по обнажившемуся дну, среди грязных луж и изодранных льдами скал, подбирая крупные самородки. Их тяжесть начинала утомлять его, но тут он открыл, что они съедобные. И он стал жадно есть. В конце концов, что толку было бы в золоте, которое люди ценят так высоко, если бы им нельзя было насытиться?

Когда Смок проснулся, настал новый день. Сознание его странно прояснилось. Глаза уже не застилала пелена. Он больше не ощущал знакомой голодной дрожи во всем теле. Радостная

легкость пронизывала все его существо, точно в него вливалась весна. Блаженное чувство охватило его. Он обернулся, чтобы разбудить Лабискви, увидел ее и вспомнил все. Он стал искать глазами крохи пищи, которые накануне разбросал по снегу. Они исчезли. И он понял, что это и были золотые самородки его сна, его бреда. В бреду, во сне он вернулся к жизни, ибо Лабискви отдала ему свою жизнь; она вложила ему в руку свое сердце и открыла ему глаза на тайну, имя которой — душа женщины.

Он поразился тому, что может двигаться с такой легкостью, — у него хватило сил отнести ее закутанное в меха тело к обнажившемуся на солнце песчаному откосу, подрубить его топором и похоронить Лабискви под обвалом.

Три дня, не имея больше ни крошки во рту, он пробирался на запад. На третий день он свалился под одинокой елью на берегу большой реки, уже свободной ото льда, и понял, что это Клондайк. Слабость и забытье одолевали его, но он еще успел развязать свою поклажу, улыбнуться на прощание сияющему миру и закутаться в одеяло.

Разбудило его сонное попискивание. Уже наступили сумерки. В ветвях ели у него над головой примостились на ночлег белые куропатки.

Острый голод заставил его действовать, хотя все движения его были бесконечно медленны. Долгих пять минут прошло, пока ему удалось наконец поднять ружье к плечу, еще пять минут, лежа на спине, он старательно целился вверх и все не решался спустить курок. Потом выстрелил и промахнулся. Ни одна куропатка не упала, но ни одна и не улетела. Они только сонно, бессмысленно копошились и шуршали в ветвях. Плечо у него болело. Второй выстрел пропал, потому что он невольно вздрогнул от боли, нажимая курок. Должно быть, в один из этих трех дней он упал и расшиб плечо, хотя нипочем не мог вспомнить, когда и как это случилось.

Куропатки не улетели. Он свернул одеяло, осторожно засунул его между правым боком и рукой. Уперев приклад ружья в этот меховой сверток, он выстрелил еще раз, и с дерева упала куропатка. Он жадно схватил ее, но мяса почти не оказалось, — пуля крупного калибра вырвала его, оставив только жалкий комок измятых перьев. А куропатки все не улетали, и он решил: стрелять — так только в голову! Теперь он целил только в голову. Он заряжал все снова и снова… Мимо… Попал! Глупые куропатки, которым лень было улететь, дождем посыпались на него — он

отнимал у них жизнь, чтобы утолить свой голод, чтобы жить. Их было девять, и вот наконец он свернул шею девятой. И потом долго лежал, не шевелясь, и сам не понимал, почему он и смеется и плачет.

Первую куропатку он съел сырую. Потом лег и уснул, и эта поглощенная им жизнь вернула к жизни его тело. Среди ночи он проснулся, мучимый голодом, и у него хватило сил развести огонь. До самого рассвета он жарил куропаток и ел, и его стосковавшиеся от безделья челюсти перетирали в порошок хрупкие косточки. Потом он весь день спал, проснулся среди ночи и снова уснул, и его разбудило солнце нового дня.

С удивлением он увидел, что костер ярко разгорелся, пожирая свежую порцию хвороста, а сбоку на угольях стоит закопченный кофейник, окутанный облаком пара. У огня, так близко, что Смок мог бы дотянуться до него рукой, сидел Малыш, курил самокрутку и пристально, зорко всматривался в лицо друга. Губы Смока дрогнули, но ему не удалось выговорить ни слова: что-то перехватило горло, в груди закипали слезы. Он протянул руку за самокруткой и жадно вдохнул дым, еще и еще.

— Давно я не курил, — негромко, спокойно

сказал он наконец. — Очень, очень давно.

— И не ел, как видно, вон до чего отощал, — ворчливо прибавил Малыш.

Смок кивнул и показал на белые перья куропаток, раскиданные вокруг.

— Зато недавно поел, — ответил он. — Вот от чашки кофе я бы не отказался. Я уже забыл, какой у него вкус. И от лепешек не откажусь, и от сала.

— И от бобов? — подсказал Малыш.

— Ну, бобы — это пища богов! Оказывается, я опять изрядно проголодался.

Один стряпал, другой ел — и между делом они коротко рассказали друг другу, что с каждым произошло с тех пор, как они расстались.

— Клондайк вскрылся, — сказал в заключение Малыш, — надо было дождаться, пока пройдет лед. Собрал я шестерых ребят — молодец к молодцу, ты их всех знаешь, — снарядили мы две лодки. Двинулись полным ходом, где шестами отпихивались, где бечевой тянули, где волоком волокли. Но на водопадах пришлось бы застрять на целую неделю. Тут я оставил ребят перетаскивать лодки через скалы. Чуяло мое сердце, что надо поторапливаться. Прихватил побольше еды и пошел. Я так и знал, что отыщу тебя где-нибудь тут еле живого.

Смок кивнул и крепко стиснул руку Малыша.

— Что ж, пойдем, — сказал он.

— Ну нет, дудки! — возмутился Малыш. — Мы с места не двинемся по крайней мере дня два. Тебе надо отдохнуть и подкормиться.

Смок покачал головой.

— Да ты посмотри на себя, — уговаривал Малыш.

Зрелище было неутешительное. Смок оброс бородой, но видно было, что лицо у него жестоко обморожено — черно-багровое и все в струпьях. Щеки провалились, и даже сквозь бороду и усы, кажется, можно было пересчитать все зубы под натянувшейся кожей. Так же туго она обтягивала и лоб и скулы под глубоко запавшими глазами. Клочковатая борода была не золотистая — как ей бы полагалось, — а грязно-черная, опаленная у костров на привалах, и вся в копоти.

— Давай укладывай вещи, — сказал Смок. — Мне надо идти.

— Ты же слаб, как младенец. Ты не можешь и шагу ступить. И что за спешка?

— Малыш, я иду за тем, что всего дороже на Клондайке, и я не могу ждать. Вот и все. Давай укладывайся. Дороже этого нет ничего в целом мире. Перед этим ничто золотые озера, и золотые

горы, и жизнь, полная приключений, это даже лучше, чем быть настоящим мужчиной и питаться медвежатиной.

У Малыша глаза на лоб полезли от изумления.

— Боже милостивый, — сказал он хрипло. — Да ты что? Совсем спятил?

— Вовсе нет. Наверно, человеку не мешает хорошенько поголодать, и тогда у него раскроются глаза. Во всяком случае, я научился видеть. Я увидел такое… Прежде мне и не снилось, что это возможно. Теперь я знаю, что такое женщина.

Малыш уже открыл рот, губы его насмешливо вздрагивали, глаза смеялись, но Смок не дал ему сострить.

— Не надо, — сказал он мягко. — Ты не знаешь, а я знаю.

И Малыш удержался от шутки.

— Ха, — сказал он, — мне и гадать не надо, и так ясно, кто она. Все кинулись осушать Нежданное озеро, а Джой Гастелл и с места не тронулась. Она сидит в Доусоне и ждет, когда я вернусь и привезу тебя. А если не привезу, она поклялась продать все, что у нее есть, и нанять целую армию охотников, и отправиться в Оленью страну, и вышибить дух из старика Снасса и всей его орды… Но постой, куда же ты, дай я хоть уложусь, пойдем вместе!

Джек Лондон
1876 – 1916



В середине января 1876 года в Сан-Франциско никому не известная учительница музыки Флора Веллман родила нежеланного сына от сбежавшего любовника. Урожденный Джон Гриффит Чейни прожил короткую яркую жизнь и стал знаменитым писателем. Мы знаем его под именем Джек Лондон.

Его биологический отец Уильям Чейни, по одним слухам, странствующий астролог, по другим — профессор искусств, настаивал, чтобы его любовница Флора Веллман сделала аборт, и категорически отказывался дать ребенку свое имя.

Мать писателя хотела застрелиться, но лишь ранила себя и стала посмешищем всего города — заметка о неудавшемся суициде была опубликована в «Кроникл» и способствовала спешному отъезду Чейни. Флора после рождения первенца была больше озабочена поисками мужа, чем воспитанием сына. Мать отдала ребенка своей бывшей рабыне Вирджинии. Через год Флора вышла замуж и забрала своего сына у кормилицы.

У мужа Флоры, Джона Лондона, уже были две дочери от первого брака. Со старшей девочкой, Элизой, писатель был близок и дружил до конца своих дней. Отчим официально усыновил писателя, и дал ему свою фамилию. Некоторое время семья Лондона пыталась зарабатывать фермерством, но вскоре под давлением Флоры отчим перевез их в городок Окленд близ Сан-Франциско.



Флора Веллман, мать Джека Лондона. 1921 год

Джек Лондон с детства искал любые способы накопить денег и не чурался тяжелого труда. Кое-как окончив начальную школу, он начал работать. Сначала помогал, чем мог, на ферме отчима, пока они не переехали в Окленд. Затем, уже в городе, доставлял лед в богатые дома, расставлял кегли в кегельбане, убирал пивные павильоны, продавал газеты, нанимался на мелкую подработку где придется. К 14 годам он уже

вкалывал наравне со взрослыми на консервной фабрике и зарабатывал 10 центов в час. Монотонная деятельность и копеечная оплата угнетали его дух — Лондон боялся отупеть от беспросветных тягот.

Его единственными отдушинами в то время были мечты и Оклендская публичная библиотека. Позднее Элиза Лондон, научившая сводного брата читать, вспоминала, как застенчивый и необщительный мальчик пристрастился к чтению и все свободное время проводил с книгой.

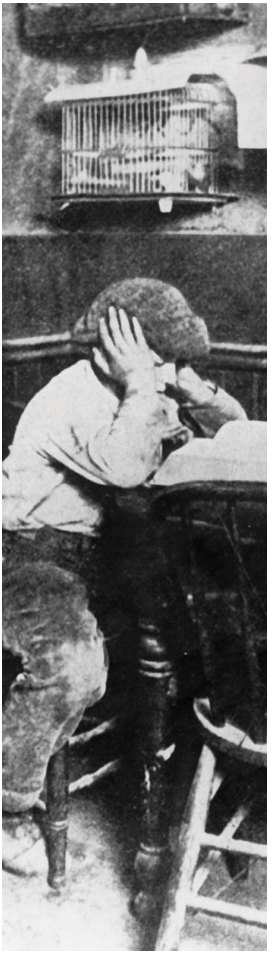
«Я читал все подряд, но в основном исторические и приключенческие романы. Читал утром, днем и ночью, в постели и за столом, по дороге в школу и из нее. Я читал на перемене, пока другие мальчики играли», — вспоминал он потом. Его интерес направляла и подогревала сотрудница библиотеки Ина Кулбрит, Уже известным литератором, Лондон написал Ине Кулбрит: «Вы первая, кто поощрил меня к чтению. Я был нетерпеливым, жаждущим, жадным малым. И однажды я нашел в библиотеке книгу о Франсиско Писсаро[97]. Вы проштамповали том, выдали его мне и похвалили за то, что я читаю

[97] Сноски: 97
Испанский конкистадор, завоеватель империи инков.

такие книги. Если бы вы только знали, как я горжусь этим!»



Джек Лондон в возрасте 9 лет со своей собакой по кличке Ролло. 1885 год



Джек Лондон учится в баре. 1886 год

Авантюрные романы Р. Л. Стивенсона, В. Ирвинга и Г. Мелвилла не только подстегнули фантазию, но и подтолкнули к приключениям: «Вглядываясь в туманные дали беспредельного будущего, я собирался продолжать все ту же, как я именовал ее, мужскую игру — странствовать по жизни во всеоружии неистощимого здоровья и неслабеющих мускулов, застрахованный от всяких бед».

Однажды 15-летний Лондон за одну ночь заработал больше, чем за месяц на консервной фабрике. Он одолжил у кормилицы 300 долларов и купил небольшую шхуну. Вдоль Оклендского побережья и в бухте Сан-Франциско он собирал устрицы и продавал их в местные ресторанчики. На берегу он обзавелся полезными, но опасными знакомствами — с местными аферистами, нечистыми на руку моряками и другими персонажами, которыми всегда кишели приморские города. Он писал: «Я встретил здесь самых разнообразных людей, многие из них были в прошлом такими же молодцами, как я, такими же „белокурыми бестиями“, — этих матросов, солдат, рабочих смял, искалечил, лишил человеческого облика тяжелый труд и вечно подстерегающее

несчастье, а хозяева бросили их, как старых кляч, на произвол судьбы».

В 17 лет он нанялся матросом на шхуну «Софи Сазерленд», идущую через Тихий океан на тюлений промысел. Позже «Тайфун у берегов Японии», очерк о том морском путешествии, даст в 1893 году старт его писательской карьере и сразу же принесет первую награду — премию одной из калифорнийских газет.

Рейс продлился семь месяцев, и, вернувшись, Лондон устроился каменщиком на джутовую фабрику, затем в кочегарку, а после, не в силах усидеть на месте, вновь отправился путешествовать — теперь уже по железной дороге через всю Америку: «Мне только что минуло 18 лет, и я принял решение пойти бродяжить. С Запада, где люди в цене и где работа сама ищет человека, я то на крыше вагона, то на тормозах добрался до перенаселенных рабочих центров Востока, где люди — что пыль под колесами, где все высунув язык мечутся в поисках работы. Это новое странствие в духе «белокурой бестии» заставило меня взглянуть на жизнь с другой, совершенно новой точки зрения. Я уже не был пролетарием, я, по излюбленному выражению социологов, опустился «на дно», и я был потрясен, узнав те пути,

которыми люди сюда попадают». В 1894 году он принял участие в походе на Вашингтон — марше безработных. Общение с люмпенами и жизнь впроголодь быстро утомила Джека: «О, скитаться по путям-дорогам отнюдь не значит срывать цветы наслаждений!» Вскоре юноша был пойман в штате Нью-Йорк и отсидел месяц в тюрьме города Буффалло за бродяжничество. Обо всем этом он напишет позже в автобиографических очерках «Дорога», «Сцапали!» и других.



Бар Heinold’s First and Last Chance существует

и по сей день





Фотография ориентировочно 1904–1906 годов. На пляже в Калифорнии фотограф Арнольд Генте ведет съемку группы поэтов и писателей, среди которых самый дальний — Джек Лондон

Примерно в это же время Лондон познакомился с социалистическими идеями, и они его полностью захватили. Он окончательно убедился, что физический труд — путь к страданиям: многие его знакомые умирали от нищеты, болезней и непосильного труда.

«У меня были крепкие мускулы, и капиталисты выжимали из них деньги, а я — весьма скудное пропитание. Я был матросом, грузчиком, бродягой; работал на консервном заводе, на фабриках, в прачечных; косил траву, выколачивал ковры, мыл окна. И никогда не пользовался плодами своих трудов!» Лондон понял: пора полагаться на собственный мозг. «Все дни своей жизни я выполнял тяжелую физическую работу, и каждый день этой работы толкал меня все ближе к пропасти. Я выберусь из пропасти, но выберусь не силой своих мускулов. Я не стану больше работать физически: да поразит меня господь, если я когда-либо вновь возьмусь за тяжелый труд, буду работать руками больше, чем это абсолютно необходимо. С тех пор я всегда бежал от тяжелого

физического труда».

Умственные занятия, по убеждениям Лондона, увеличивали срок жизни. Получив премию за первый рассказ, Лондон осознал, что писательством можно зарабатывать. Но для этого недостаточно одного желания и любви к чтению — для начала надо получить образование.

Лондон вернулся в Калифорнию, «засел за книги» и вернулся в старшие классы общеобразовательной школы, чтобы стать, по его словам, «торговцем мозгом». Тогда же он вступил в Социалистическую партию, очарованный ее идеалами: «Не помню, какую книгу я раскрыл первой, да это, пожалуй, и не важно. Я уже был тем, чем был, и книги лишь объяснили мне, что это такое, а именно, что я социалист. С тех пор я прочел немало книг, но ни один экономический или логический довод, ни одно самое убедительное свидетельство неизбежности социализма не оказали на меня того глубокого воздействия, какое я испытал в тот день, когда впервые увидел вокруг себя стены социальной пропасти и почувствовал, что начинаю скользить вниз, вниз — на самое ее дно».



Джек Лондон в одежде рабочего



Джек Лондон в 1906 году в Йельском университете с Александром Ирвином

Лондон тяготился учебой — уроки казались ему слишком простыми и скучными. Он прошел четыре учебных курса за один год и начал готовиться к поступлению в Калифорнийский университет в Беркли. В университете Лондон изучал философию и социологию, интересовался учением Дарвина, еще больше читал. «На свете так много хороших книг и так мало времени, чтобы их прочесть», — писал он. Некоторое время спустя Лондона отчислили — образование было дорогим, и накопленных средств не хватило.

Попытки заработать на писательстве пока не приносили много денег. За первый рассказ ему предложили всего пять долларов, он едва не бросил это ремесло, но затем Лондону удалось продать очерк «Тысяча смертей» уже за 40 долларов.

В 1897 году Джек променял Калифорнию на перспективные просторы Севера. В числе отчаянных авантюристов, охваченных «золотой лихорадкой», писатель отправился на Клондайк.

Ничего, кроме цинги и тяжелых простуд, привычный к влажному жаркому климату Джек Лондон не заработал. Американский Север по-

разил Лондона. Здесь все было непривычным: ландшафты, климат, условия. Но более всего писателя удивляли люди Севера и их суровый быт. Золотоискатели, охотники, авантюристы и бродяги вызывали у него исследовательский интерес. Он много запоминал и записывал.


HEART OF
THE KLONDIKE
ACROSS THE CHILKOOT PASS

«Сердце Клондайка — земля обетованная», постер к произведению Скотта Марбла. 1897 год

В Сан-Франциско писатель вернулся через 11 месяцев, поднаторевший в политических спорах, с пошатнувшимся здоровьем и богатым материалом для будущих произведений. О том периоде своей жизни он писал: «В Клондайке я нашел себя, там все молчат. Все думают. Там у вас вырабатывается правильный взгляд на жизнь. Сформировалось и мое миросозерцание». В течение следующих десяти лет Джек Лондон напишет более ста пятидесяти новелл, повестей и эссе о том, что узнал и увидел на Аляске.

Его возвращение и желание писать совпали с прорывом в полиграфии. Новые технологии позволили удешевить производство журналов, публикующих короткие произведения. Рассказы были как никогда в моде. Лондон писал с завидной скоростью и постоянством. Некоторые новеллы он переписывал по нескольку раз, меняя названия. Основным предметом его писательского исследования оставался человек — эволюция его психологии в тяжелых условиях, связь между поступками и натурой, социальный дарвинизм, саморазвитие и рефлексия. Человек у Лондона — существо постоянно изменяющееся, но нрав-

ственное и творческое.

В начале XX века он снова отправился в путешествие — в этот раз к берегам Англии. По следам той поездки Лондон написал «Люди бездны». Роман не был принят в Великобритании, зато понравился американским читателям. Жизнь наконец-то развернулась другой стороной. Лондон арендовал виллу на озере Меррит, там изменился круг его знакомых, он завел новых друзей — в их числе писатель Джордж Стерлинг, прототип Расса Бриссендена в автобиографическом романе «Мартин Иден». Стерлинг познакомил Лондона с другими литераторами, помог завести полезные знакомства.

7 апреля 1900 года Лондон женился на Элизабет Маддэрн, невесте своего погибшего на военной службе друга. В этот же день впервые вышел сборник «Сын волка» — коллекция из девяти ранних рассказов, основанных на «северном» материале.

Темы, поднятые в «Сыне волка», Лондон продолжил развивать в циклах «Бог его отцов» и «Дети мороза». Университетские знания о социальном дарвинизме и концепция «сверхчеловека» Ницше получили практическое применение. Герой Лондона — жесткий, иногда жестокий, но гибкий

человек. Таких он встретил на Аляске.



Экземпляр первого тиража первого издания «Людей бездны», 1903 год

Джек Лондон в 1905 году

Спустя три года брака с Маддэрн Лондон ушел от жены к Чармиан Киттеридж, с которой прожил всю жизнь. Примерно в это же время Лондон получил писательское признание. Его рассказ «Зов предков» не был похож ни на что иное. Впервые литература затронула тему противопоставления цивилизации и дикой природы. Своим рассказом Лондон проиллюстрировал теорию Дарвина о выживании сильнейшего. Об авторе сразу заговорили, издательство Macmillan выкупило права на книгу за 2000 долларов.

В 1904 году по заданию газеты «Сан-Франциско Икземинер» Джек Лондон отправился освещать события Русско-японской войны в качестве военного корреспондента.

В январе того же года он прибыл в Иокогаму, где японские власти его арестовали за незаконную съемку. Лондона освободили благодаря вмешательству консула. Командировка Лондона продлилась полгода. За это время он был как минимум трижды арестован.

Летом 1904 года Джек Лондон впервые приехал в Богемскую рощу — знаменитый закрытый клуб в Калифорнии. В его состав до сих пор входят только состоятельные граждане, чиновники выс-

шего ранга, крупные бизнесмены. Попасть туда можно лишь по персональному приглашению, которого некоторые кандидаты ждут десятки лет. Это членство было для Лондона признанием и подтверждением его правоты. Он наконец-то выгодно продал мозг, как и мечтал в юности.

Лондон много путешествовал по стране и в Старый Свет, читал лекции о социализме по приглашению колледжей и университетов. Он неутомимо писал. Его гонорары доходили до 50 000 долларов. Близкая подруга и соратница по партии писательница Анна Струнская описывала его в этот период таким: «Он добился высокого жизненного уровня, но не гнался за богатством. Что-то было в нем и от Наполеона, и от Ницше. Но ницшеанские взгляды были им преобразованы в социалистические, и благодаря своему наполеоновскому темпераменту он крепко-накрепко уверовал в успех, которого добился. Впечатлительный и эмоциональный по натуре, он заставил себя твердо держаться избранного пути. Он жил строго по распорядку. Его нормой была тысяча слов в день, отредактированных и перепечатанных. Позволял он себе только четыре с половиной часа сна и регулярно с рассветом принимался за работу. Вечера посвящались

чтению научных трудов, работ по истории и социологии. Он называл это созданием научной базы… В часы отдыха он занимался боксом, фехтованием, плаванием — он был великолепным пловцом. Лондон ходил под парусом и немало часов проводил, пуская змея — у него их имелся большой выбор».

В 1905 году вышел сборник «Вера в человека», продолжающий цикл северных рассказов. В это же время писатель купил огромное ранчо в Глен-Эллен, в которое вложил гораздо больше денег, чем заработал за всю жизнь.

Лондон, охваченный начальственным энтузиазмом, мало внимания уделял деталям, но развил кипучую деятельность на ранчо, кидаясь в крайности. Он тратил огромные суммы, влез в чудовищные долги и с раздражением, равно пропорциональным расходам, занимался литературой — исключительно ради денег.



Фронтиспис к повести «Зов предков». Художник Филип Гудвин

На территории поместья он построил особняк из 26 комнат — Дом Волка. Дом сгорел в 1913 году, до того, как Лондон с женой в него переехали. Пожар уничтожил панели красного дерева, внутреннюю отделку, все убранство — остались лишь каменные стены. Страховые компании подозревали хозяина в поджоге, но не смогли это доказать.

Один за другим вышли сборники новелл «Любовь к жизни» (1907) и «Потерянный лик» (1910). Лондон продолжал размышлять о предназначении человека и жизни на пике возможностей, использовать которые удается лишь в экстремальных условиях. «Северные истории» пополнились также циклами «Смок Беллью» (1911) и «Смок и малыш» (1912). Эти рассказы отличались от ранних — в них был мягкий юмор и больше авантюрных приключений, чем размышлений о ницшеанском человеке.

Эти новеллы закрыли последнюю страницу «северной истории». К тому моменту Лондон уже страдал от болезни почек. Долги росли, а идеи новых произведений появлялись все реже. Писатель был подавлен и даже пытался искать

утешение в алкоголе — об этом он рассказал в автобиографической повести «Джон Ячменное зерно», Тогда же Лондон обратился к антиутопии, издав романы «Алая чума» и «Межзвездный скиталец».

Путь созидания перерос в саморазрушение, творческий кризис давил, писатель больше не придумывал новые сюжеты, а пытался купить их у начинающих авторов. Лондон не мог больше сочинять и все глубже погружался в депрессию. Вдобавок после командировки в Мексику в своих материалах, подготовленных для журнала «Кольерс», Лондон оправдал политику США относительно менее развитых государств и разругался с товарищами по партии.

Джек Лондон умер в 40 лет. Официальной причиной считается передозировка морфия. Позднее появилась версия суицида — немалую роль в этом убеждении сыграли его собственные произведения. Эта теория так и не получила подтверждения.



Джек Лондон за шесть дней до своей кончины. 1916 год

«Я объезжаю свои прекрасные владения. Я сижу на великолепной лошади. Воздух пьянит, как вино. Виноградники на покатых холмах пылают осенними красками. Над горою Сонома собирается морской туман. В тихом небе догорает вечернее солнце. У меня есть все, чтобы считать себя счастливым. Я живу. Я полон грез и тайн. Я весь пропитан солнцем, воздухом и светом. Все во мне живучее, здоровое. Я двигаюсь, управляю движениями существа, на котором сижу верхом. Я горд оттого, что живу, оттого, что познал страсть и вдохновение. У меня есть еще тысячи других причин гордиться. Я властитель царства разума, я попираю все ничтожное копытами своего коня…»

Анастасия Шевченко



Джек Лондон отдыхает на скамейке из ствола дерева в Богемианской роще. 1904 год